

**Руссо Ж.-Ж.**

**Педагогические сочинения:**

В 2-х т.

**Том 1. Эмиль, или О воспитании**

/Под ред. Г. Н. Джигладзе; сост. А. Н. Джуринский. — М.: Педагогика, 1981. — 656 с. — (Пед. б-ка). В надзаг.: АПН СССР.

© Издательство «Педагогика», 1981 г.

Утверждено к печати Редакционной коллегией серии «Педагогическая библиотека» Академии педагогических наук СССР

Рецензент кандидат философских наук, доцент Ф. Т. МИХАЙЛОВ. Составитель А. Н. ДЖУРИНСКИЙ

## Содержание

От составителя

- Жан-Жак Руссо и его педагогическое наследие. Г. Н. Джигладзе
- Педагогические и психологические идеи романа-трактата Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании». Анри Валлон

### Эмиль, или О воспитании

- Книга I [с момента рождения ребенка до освоения им речи]
- ["Города — пучина для человеческого рода. В несколько поколений расы погибают или вырождаются..."]
- Книга II [период детства до 12 лет]
- [Вегетарианство!!!]
- Книга III [от 12 до 15 лет]
- Книга IV [от 15 лет; именно с этого возраста, считает Руссо, следует начинать основное в воспитании — учить любить людей]
- Исповедание веры савойского vicar
- Книга V [от 20—25 лет]
- Софи, или Женщина
- О путешествиях
- Эмиль и Софи, или Одинокие

В первом томе представлено крупнейшее педагогическое произведение Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании», в котором педагогические идеи великого представителя Просвещения получили наиболее яркое выражение. Полный текст произведения публикуется на русском языке впервые.

Для ученых-педагогов, работников народного образования, а также для всех, кто интересуется историей педагогики.

Творчество Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) — великого французского просветителя, философа, Писателя, педагога — чрезвычайно многогранно. Значительное место в наследии Ж.-Ж. Руссо занимает педагогическая проблематика. В настоящем издании представлены работы Ж.-Ж. Руссо, посвященные вопросам воспитания.

Помимо педагогических произведений в издании представлены работы и фрагменты сочинений Ж.-Ж. Руссо философского, социального характера, а также художественные произведения, поскольку в них освещаются те или иные педагогические вопросы. В издание включен ряд писем Ж.-Ж. Руссо.

Главный педагогический труд Руссо — роман-трактат «Эмиль, или О воспитании» публикуется в 1-м томе настоящего издания. В этом же томе публикуется «Эмиль и Софи, или Одинокие».

Во 2-й том вошли работы, посвященные семейному и общественному воспитанию, формированию нравственности, особенностям детства, психики ребенка, отдельным дидактическим вопросам. Расположение работ в хронологической последовательности помогает проследить эволюцию педагогических взглядов Ж.-Ж. Руссо. Одно из первых педагогических сочинений — «Трактат о воспитании г-на де Сент-Мари» написан Ж.-Ж. Руссо в самом начале творческого пути. Педагогическая тематика нашла отражение и в последнем сочинении — «Прогулки одинокого мечтателя», — которое Ж.-Ж. Руссо не успел закончить. Материалы 2-го тома существенно дополняют педагогический роман Ж.-Ж. Руссо. Включенные в сборник фрагменты трактатов «Об общественном договоре», «О политической экономии», «Соображения об образе правления в Польше» проливают свет на понимание Ж.-Ж. Руссо социальной среды как важнейшего условия воспитания. Отрывок из романа «Юлия, или Новая Элоиза» раскрывает взгляды Руссо на семейное воспитание. Работы «Рассуждение о науках и искусствах», «Замечания на опровержение Станислава», «Предисловие к Нарциссу», «Письма о морали», «О нравах» демонстрируют взгляды Руссо на нравственные основы воспитания. В «Исповеди», «Прогулках одинокого мечтателя», отрывки из которых представлены в издании, автор продолжил начатое им в «Эмиле» изучение особенностей детства. Материалы 2-го тома, написанные до 1762 г., т. е. до окончания работы над «Эмилем», часто содержат в наброске те педагогические идеи, которые затем будут развернуты в «Эмиле» в цельную систему.

Часть представленных в данном издании работ Ж.-Ж. Руссо публикуется на русском языке впервые. Большинство новых переводов сделано по четырехтомному Собранию сочинений Ж.-Ж. Руссо, изданному в Париже «Библиотекой Плеяды», а также по двадцатитомному парижскому изданию переписки Руссо, вышедшему в 1924—1934 гг. Все сноски, сделанные самим Руссо, даны на соответствующих страницах текста.

Вступительная статья к изданию написана академиком АПН СССР и АН Грузинской ССР Джибладзе Г. Н. Во втором томе помещена статья французского ученого А Валлона\*, в которой на основе анализа романа-трактата «Эмиль, или О воспитании» автор раскрывает основные особенности педагогики Ж.-Ж. Руссо. В конце каждого тома помещены комментарии к публикуемым работам Руссо и указатель имен, подготовленные А. Н. Джуриным.

\* *А. Валлон* (1879—1962) — французский психолог, педагог, общественный деятель, член Французской компартии. Известен как соавтор демократического проекта школьной реформы (1946), один из первых пропагандистов советской педагогики во Франции.

### **Жан-Жак Руссо и его педагогическое наследие**

В Центральной Европе — высокогорной Швейцарии — старой Гельветии и ее изумительно красивой Женеве — есть маленький остров имени великого французского просветителя, философа, романиста, автора опер, драматических произведений, социальных и педагогических трактатов.

Остров находится в середине широкой реки Рона. Когда-то река грозила ему затоплением, но берега были укреплены, и теперь на острове разбит маленький парк с миниатюрными киосками, расставлены маленькие столы и стулья. Когда Руссо жил в Женеве, он очень любил этот остров и целые дни проводил под высокими его деревьями. Сейчас на острове стоит памятник Руссо: великий писатель восседает в кресле на пьедестале, держит перо, что-то пишет.

Очень много в жизни Руссо связано с Женевой — детство, возвышение и изгнание, знакомство с Гольбахом, Гриммом, горячий спор с Вольтером, письмо к д'Аламберу... Здесь жили адресаты его писем — д'Эпине и д'Удето. Кто знает, сколько мыслей — философских, публицистических, педагогических — родилось у Руссо здесь, у Женевского озера. Женева — это город Руссо, город человека, который изумил человечество своими шедеврами — «Элоиза», «Эмиль», «Исповедь», своими трактатами и первым из них: «Рассуждение: способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?», в котором, ответив на поставленный вопрос, Руссо бросил вызов общепризнанному мнению. Эта книга принесла своему 37-летнему автору имя и славу большого философа.

Но творения Руссо принесли ему не только славу. Он знает изгнание, долгие скитания, горькие разочарования. Сколько раз оказывался он перед лицом полной катастрофы. Человек, имя

которого было окружено ореолом славы еще при жизни, который в свое время был самым знаменитым писателем мира, бежал от общества, уединился, остался одиноким мечтателем, и последняя его книга (неоконченная) называется «Прогулки одинокого мечтателя». Он был в дружеских отношениях с выдающимися людьми Франции и порвал с каждым из них — с Вольтером, Дидро, Гольбахом, Гриммом, д'Аламбером.

Руссо предвидел Великую французскую революцию. Он утверждал, что зло будет уничтожено только революцией. И оговаривался, что ее следует бояться так же, как и зла, которое должно быть уничтожено этой революцией. Большого сказать он не мог. Но и это прозвучало громовым раскатом.

Во всех своих творениях Руссо был глубоко убежденным воинствующим мыслителем. Он не только восставал против существующего строя, существующих порядков и старых, отживших понятий, но прокладывал путь новому, светлому, прогрессивному, строил огромное здание гуманизма, человеческого счастья. Он любил человека и верил в человека.

Ставшее самым известным изречение Руссо (в трактате «Об общественном договоре, или Принципы политического права»): «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах» — утверждало право человека на свободу и равенство и одновременно выражало неприятие социального жизнеустройства существующего и существовавших обществ.

Трактат привлек внимание Карла Маркса. Живя в Крейцнахе, 25-летний Маркс сделал выписки из этой работы. Маркс обращает внимание на следующие слова Руссо: «Общественное состояние — это священное право, которое служит основанием для всех остальных прав. Это право, однако, не является естественным, следовательно, оно основывается на *соглашениях*»; «Самое древнее из всех обществ и единственное естественное — это *семья*»; «Таким образом, семья... прообраз политических обществ, правитель — это подобие отца, народ — детей»<sup>\*</sup>.

Энгельс отметил диалектичность суждений великого просветителя. «...Руссо видит в возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был антагонистичен, он в то же время был и регрессом»<sup>\*\*</sup>. Анализируя учение Руссо о равенстве и неравенстве, Энгельс пишет: «...уже у Руссо имеется не только рассуждение, как две капли воды схожее с рассуждением Маркса в «Капитале», но мы видим у Руссо и в подробностях целый ряд тех же самых диалектических оборотов, которыми пользуется Маркс: процессы, антагонистические по своей природе, содержащие в себе противоречие; превращение определенной крайности в свою противоположность и, наконец, как ядро всего — отрицание отрицания»<sup>\*\*\*</sup>.

Эта оценка Энгельсом характера мышления Руссо должна явиться основой анализа педагогических идей великого просветителя.

Руссо бывал и односторонен и противоречив в своих суждениях, впадал в крайность. Просветители, энциклопедисты — друзья Руссо — были материалистами. Руссо, напротив, выступал против материализма с позиций деизма, не замечая, вместе с тем, что во многих

вопросах стоит на теоретических позициях материализма. Это один из примеров известных противоречий Руссо. Гегель, высоко ценя талант Руссо, подчеркивал крайность и односторонность многих его суждений. Имея в виду принцип «сознательной свободной воли отдельного лица», Гегель отмечает, что «у Руссо этот противоположный принцип доведен до крайности и выступает во всей своей односторонности»<sup>\*\*\*</sup>. Анализируя принципы Руссо о свободе, несвободе, об общественном договоре, Гегель замечает: «Эти принципы, выставленные так абстрактно, следует признать правильными, однако скоро начинается двусмысленность»<sup>\*\*\*\*\*</sup>.

И так почти во всем: диалектичность и односторонность, широта взгляда и крайность мысли, идеи, обладающие огромной перспективой развития, и мысли, у которых нет будущего. И это не только в философии, социологии Руссо, но и в его педагогике.

\* Руссо Ж.-Ж. Трактаты.—М., 1969, с. 471.

\*\* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 143.

\*\*\* Там же, с. 144.

\*\*\*\* Гегель. Соч., т. X, 1932, с. 222.

\*\*\*\*\* Там же, т. XI, 1935, с. 399.

Один из выдающихся мыслителей — и не только XVIII в., — Руссо оставался сыном своей эпохи, но сыном великим. Об авторе «Эмиля» можно сказать словами Энгельса: «Великие мыслители XVIII в., так же как и все их предшественники, не могли выйти из рамок, которые им поставила их собственная эпоха»<sup>\*</sup>. Руссо не составил исключения.

Энциклопедист по размаху своих интересов, своего дарования, Руссо оставил след в самых разнообразных отраслях человеческого знания. Он писал о театре — «Письмо к д'Аламберу о зрелищах» (1758), о музыке — «Письмо о французской музыке» (1753), «Письмо оркестранта Королевской Музыкальной Академии товарищам по оркестру» (1753), написал «Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании» (1761). До сих пор является фундаментальным пособием «Музыкальный словарь» Руссо, изданный в 1767 г. Руссо предугадал многие вопросы будущего: появление совершенно новых наук, новых отраслей человеческого познания.

Руссо писал в «Исповеди»: «Из всех моих сочинений я обдумывал и охотнее всего обрабатывал «Политические установления», им я готов был посвятить всю мою жизнь».

Вот перечень основных социально-политических работ Руссо, который свидетельствует о напряженности интереса Руссо к данной проблематике и месте, которое занимала она в его творчестве: «Рассуждение о пауках и искусствах...» (1750), «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1774), «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762), «О политической экономии» (1755), «Суждение о вечном мире» (1756), «Проект конституции для Корсики» (1765), «Соображения об образе правления в Польше» (1771—1772).

На вопрос о том, «способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?», Руссо категорически отвечал отрицательно. Он приводил бесчисленные факты из истории в доказательство своего обвинения наук и искусств как «источников всяческих зол». Человек по натуре добр, но общество развращает его, и в этом не последняя роль принадлежит науке и искусству. «Пока умножаются жизненные удобства, совершенствуются искусства и распространяется роскошь, истинное мужество сереет, воинские доблести исчезают; и все это тоже дело наук и всех этих искусств, что развиваются в тиши кабинетов»\*\*.

В своем «Рассуждении о науках и искусствах» Руссо решительно выступает против существующей системы воспитания. «С первых же лет нашей жизни безрассудное воспитание изощряет наш ум и извращает наши суждения. Я вижу повсюду бесчисленные заведения, где с большими затратами воспитывают молодежь, чтобы научить ее всему, но только невыполнению ее обязанностей», — пишет он\*\*\*.

Через много лет очень сурово оценив свой первый трактат, как самый «слабый» и даже «посредственный», Руссо, однако, поставит его первым из трех своих сочинений, в которых выражены им «великие почины». Этими тремя главными своими сочинениями Руссо признавал «Рассуждение о науках и искусствах», «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» и «Эмиль, или О воспитании». «Три эти произведения неотделимы друг от друга и образуют вместе единое целое», — писал великий просветитель. Эти произведения выразили основные аспекты мировоззрения Руссо, основные проблемы его творчества.

\* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 17.

\*\* Руссо Ж.-Ж. Трактаты, с. 23.

\*\*\* Там же, с. 25.

Руссо связывает вопросы науки, искусства и нравственности, социального неравенства и воспитания. Он детальнейшим образом разработает свою систему воспитания, но к ней он подойдет как социальный мыслитель. «У нас есть физики, геометры, химики, астрономы, поэты, музыканты, художники, но у нас нет граждан, а если они еще и остались, то, затерянные в глуши деревень, гибнут в нищете и презрении. Вот до какого состояния доведены, вот какие чувства встречают с нашей стороны те, кто дает нам хлеб, а нашим детям молоко», — напишет Руссо в «Рассуждении о науках и искусствах». Он ставит вопросы и сам дает ответы. «Отчего происходят все эти злоупотребления, как не от губительного неравенства между людьми, порожденного возвеличением талантов и унижением добродетелей?»

В 1761 г. в Амстердаме выходит в свет «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо — роман в письмах, ставший эпохальным явлением французской литературы. Роман имел огромный успех у читателей и оказал далеко идущее влияние на литературу. Достаточно вспомнить гётевского «Вертера», чтобы увидеть силу этого влияния. Гуманизм, защита человеческого достоинства представителей

низов, критика господствующих социальных и моральных устоев связывали двух великих авторов единой нитью преемственности.

Как и в большинстве своих произведений, внимание в «Новой Элоизе» Руссо уделяет вопросам педагогики. Письма героев романа друг к другу часто являются рассуждениями на педагогические темы.

Надо вспомнить, что в XVII—XVIII вв. Джон Локк предлагает цельную систему воспитания. Эта система опирается на материализм, и не случайно философские взгляды французских просветителей — Гольбаха и Гельвеция, Дидро и Руссо явились ответвлениями материализма Локка. Насколько обязан был руссоизм своим основным принципом — сенсуализмом — Локку, можно видеть на педагогической доктрине Руссо. За 70 лет до Руссо Локк в педагогическом трактате «Мысли о воспитании» (1693) писал: «Предоставим природе возможность формировать тело так, как она считает лучшим: предоставленная самой себе, природа работает гораздо лучше и точнее, чем работала бы тогда, если бы следовала нашим указаниям»<sup>\*</sup>. Естественное воспитание должно было осуществить тот идеал, который Локк характеризовал следующим образом: «Здоровый дух в здоровом теле — вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире»<sup>\*\*</sup>.

Руссо развивает Локка. Но и в этом он совершенно оригинален.

Среди философов нового времени Руссо принадлежит к числу тех, которые утверждали природную доброту как исходный принцип. «Человек по природе добр, — писал Руссо. — И чтобы согласовать этот принцип с той не менее очевидной истиной, что люди злы, нужно было проследить историю человеческого сердца, показать происхождение всех пороков»<sup>\*\*\*</sup>. И Руссо находит истоки всех пороков. В третьем диалоге известного произведения «Руссо — судья Жан-Жака» он формулирует: «Природа создала человека счастливым и добрым, но общество искажает его и делает несчастным»<sup>\*\*\*\*</sup>. Воспитывая, должно любить воспитуемого, это не только главное, это главнейшее. И воспитывать человека должно — опираясь на его собственную природу.

Как известно, Эмиль — герой одноименного романа — педагогического трактата Руссо — воспитывался на лоне природы, вне города и вне общества. Воспитание на лоне природы, вдали от развращающего влияния городской цивилизации, в наибольшей степени способствует развитию природных стремлений и природных чувств. Руссо рассматривал человека как объект, управляемый законами природы и лишь на этом пути могущий достичь всего.

\* Локк Д. Пед. соч. М., 1939, с. 77.

\*\* Там же, с. 72.

\*\*\* Письмо Руссо к Ф. Крамеру от 13 октября 1764 г. Цит. по кн.: Жан-Жак Руссо об искусстве. М., 1959. с. 108.

\*\*\*\* Там же, с. 111.



То возвеличение природы и ее роли в жизни человека, которое свойственно Руссо и руссоизму, во многом определило и художественные достоинства его романа-трактата и романа в письмах. В художественной прозе Руссо создал великолепные картины природы, показав прелесть и красоту гор и долин старой Гельветии. Вспомним, как он описывает ослепительный пейзаж гор Вале или неповторимую красоту Женевского озера. Это было первоткрытие в европейской прозе. Руссо, как никто, чувствовал красоту природы и понимал огромное ее значение в формировании мира людей, в воспитании их в духе гуманизма, гармонии, целостности.

Руссо считал, что плохое, неверное воспитание ломает внутренний мир ребенка, уничтожает заложенные в нем природой хорошие качества. К такому искажению природы ребенка приводит введенное иезуитами авторитарное воспитание, вся внутренняя логика которого сводилась к тому, что воспитатель и воспитуемый выступали по отношению друг к другу как диктатор и раб. Авторитет учителя учащийся должен был признать беспрекословно и принять как догму, «истинность» которой не нуждается в доказательствах. Такая система воспитания не могла создать людей, мыслящих свободно, действующих сознательно.

Роман-трактат «Эмиль, или О воспитании» явился главным педагогическим сочинением Руссо, целиком и полностью посвященным проблемам воспитания человека. В нем два главных действующих лица — Эмиль (от рождения до 25 лет) и его воспитатель, почти все эти 25 лет проведенный рядом с Эмилем. Для выражения своих педагогических идеи Руссо создал в своем романе такую ситуацию, когда воспитатель начинает воспитывать ребенка, оставшегося с малолетства сиротой, и берет на себя все обязанности и права родителей. И Эмиль является полностью плодом многолетних усилий своего воспитателя.

Великий поборник природного, естественного воспитания, Руссо первую книгу «Эмиля» начинает тезисом: «Все выходит хорошим из рук Творца, все вырождается в руках человека». Нам легко понять парадоксальность этой мысли. Однако нельзя, не увидеть здесь решительного неприятия Руссо существующего порядка вещей.

Руссо намечает три вида воспитания и три типа учителя: Природа, Люди, Предметы. Все они участвуют в воспитании человека: природа внутренне развивает наши задатки и органы, люди помогают использовать это развитие, предметы действуют на нас и дают опыт. Природное воспитание не зависит от нас, действует самостоятельно. Предметное воспитание частично зависит от нас.

Воспитание — великое дело, и оно может создать свободного и счастливого человека. Естественный человек — идеал Руссо — гармоничен и целен, в нем высоко развиты качества человека-гражданина, патриота своей родины. Он абсолютно свободен от эгоизма. В качестве примера подобного человека Руссо называет имя лакедемонянина Педарета, который пожелал стать членом совета трехсот и, когда ему в этом отказали, обрадовался, что в Спарте оказалось триста человек лучших, чем он.

Еще один исторический пример. Лакедемонянка имела пятерых сыновей, которые пошли на войну. Она ожидала сведений о ходе боевых действий, и, когда сообщают, что все пятеро ее сыновей погибли, она с возмущением говорит рабу-вестнику: «Бесчестный раб, разве я об этом спрашивала?!» «Мы победили»,— сказал он, и мать лакедемонянка бежит в храм, чтобы возблагодарить бога.

Роль воспитателя для Руссо заключается в том, чтобы обучать детей и дать им единственное ремесло — жизнь. Как заявляет воспитатель Эмиля, из его рук не выйдет ни судебный чиновник, ни военный, ни священник,— прежде всего это будет человек, который при нужде сможет быть и тем и тем.

Воспитание является столь огромным и ответственным делом, что один человек должен воспитывать только одного человека. Воспитатель Эмиля воспитывает только Эмиля, одновременно являясь и его учителем. Воспитатель и учитель — это одно и то же для Руссо. Он не разделяет обучение и воспитание, ибо считает, что ребенка нужно обучить только одной-единственной науке — науке об обязанностях человека. И главное не обучение, а руководство, не учитель, а руководитель, задача которого не давать законы детям, а научить их самих найти эти законы. Самовоспитание — стержень. Руссо утверждает, что бедные, которые все время трудятся, не нуждаются в воспитании, ибо они сами воспитывают себя. В воспитании нуждаются только богатые. Бедные сами могут стать людьми, ибо они трудятся, и труд — их воспитатель.

Руссо считает, что для ребенка знание добра и зла, понимание миссии человека в обществе не нужны. Он должен оставаться ребенком. У ребенка свои взгляды, свое сознание, свои чувства, и нельзя навязывать ему взгляды и чувства взрослого человека. Это такая же бессмыслица, как и требовать от 10-летнего ребенка, чтобы он имел высоту пять футов и способность суждения. В этом возрасте не следует развивать у ребенка способности-суждения. Автор «Эмиля» не соглашается с Джоном Локком, который занимал совершенно противоположную позицию.

Воспитатель Эмиля в своей деятельности пользуется творческим характером ребенка, его способностью подражать, желанием активно проявить себя в деле; когда ребенок видит, как люди работают в огороде, сеют, выращивают и убирают урожай, у него тоже появится желание делать то, что он видит. И тут воспитатель преподносит своему воспитаннику уроки морали и знание добра и зла, не давая ему самих понятий, не обсуждая с ним этих вопросов. Знакомит ребенка с нормами морали не путем логических понятий, а путем опыта.

Эмиль воспитывается вне среды своих сверстников и вне какой-либо среды вообще. Все и всех для него заменяет воспитатель.

Руссо освобождает детей от всяких поручений и отнимает у них книгу — великое «орудие несчастья», как он считает. Даже в 12-летнем возрасте Эмиль не будет знать, что такое книга.

Отвергая всяческое насилие в воспитании ребенка, Руссо считает, что единственно эффективным методом обучения является собственное желание ребенка обучаться. Задача

воспитателя — дать ему это желание. Непосредственный интерес — вот в чем заключается успех любого обучения. Это самая большая и единственная движущая сила. И надо поставить ребенка в ситуацию, когда у него возникнет необходимость и отсюда желание чему-либо обучиться, например чтению.

Обучая своего воспитанника астрономии, географии, воспитатель не преподносит готовых знаний, а заставляет его самого добывать их в процессе деятельности. Руссо считает, что с детьми надо разговаривать языком действия, прибегая к словесному обучению лишь там, где невозможно действие. Чтобы передать Эмилю знание сторон света, воспитатель заставляет его заблудиться в лесу и оказаться вынужденным ориентироваться. Открытые им самим знания приводят Эмиля в восторг.

Руссо проявляет изумительную изобретательность в разработке конкретных приемов и методов воспитания.

В своих воспитательных принципах Руссо решительно выступает против праздности, провозглашая, что «труд... является неизбежной обязанностью человека в общественном состоянии. Всякий праздный гражданин — богатый или бедный, могущественный или слабый — это дармоед».

Среди всех видов труда Руссо отдает предпочтение ручному труду, труду ремесленника, который, по его утверждению, занимает наиболее самостоятельное положение в обществе. Руссо требует от человека не таланта, а знания какого-нибудь ремесла, настоящего, подлинного, ремесла, даже чисто механического искусства, где руки работают больше, чем голова, и которое не несет богатства, но с помощью которого можно «терпеть неимение богатства». И не случайно великий просветитель обучает Эмиля столярному делу.

Руссо перечисляет виды труда по установленной им самим степени важности: на первое место он ставит земледелие, йотом кузнечное дело, столярное мастерство и т. д. Здесь он выступает сыном своего времени. Все приобретенное, говорит Руссо, можно потерять,— лишь один труд дает нам счастье и оправдание жизни. Если человек пользуется способностью своих рук, для него исчезают все трудности. Если человек владеет ремеслом, он независим, ему нет нужды унижаться и раболепствовать. Поэтому Руссо заставляет своего Эмиля изучить какое-нибудь ремесло.

Когда Эмилю исполнилось 15 лет, Руссо с гордостью заявляет, что его Эмиль трудолюбив, воздержан, имеет твердый характер, свободный ум, физически здоров, у яего свободное сердце. Теперь наступило время развития чувств, первоначальных сенсорных побуждений. Важно, чтобы у ребенка не сложилось ложного представления о счастье. Поэтому не следует демонстрировать ему богатства, увлекательные зрелища, знакомить с жизнью света. Надо отказаться от всего этого, пока молодой человек не будет способен правильно оценить достоинства и недостатки общества и людей.

Человек рождается голым и бедным, в жизни он обязательно будет испытывать скорбь, болезни, несчастья. И он умрет. В 16 лет человек уже знает, что такое мучение, ибо он сам мучился, но он еще не знает, что и другие мучаются. Надо воспитывать в человеке чувства гуманности, доброты, бескорыстия и не допускать в сердце воспитанника такие чувства, как зависть, жадность, ненависть, жестокие страсти, Руссо формулирует три условия, соблюдение которых дает человеку счастье и возвышает его как разумное существо: сочувствие другому, помощь другим, высокая чувствительность в сочувствии.

Придавая огромное значение правильному воспитанию, Руссо рассказывает, что Эмиль в возрасте шести лет почти ничем не отличался от других детей, ибо этих последних еще не успели изуродовать неверным воспитанием, но после того, как началось воспитание Эмиля (методами автора романа на-тракта та), он стал резко выделяться среди своих сверстников, ибо они, эти сверстники, уже были изуродованы плохим воспитанием. Когда надо начинать воспитание?

Руссо отвечал на этот вопрос еще в «Новой Элоизе»: «Воспитание должно начинаться со дня рождения ребенка,— говорит Сен-Прё.— Какая пора более выгодна для воспитания их характеров, чем та, когда совсем не приходится их переламывать».

Руссо выступает против Локка, который предлагает изучение души, а потом тела. Руссо возражает: сперва надо изучить тело, а потом душу.

Требование Руссо заметно приближается к требованию Яна Амоса Коменского, ибо и великий чешский педагог доказывал, что изучение внешнего мира мы должны начинать с изучения предметов, а не понятий\*.

\* См.: *Джибладзе Г.* Философия Коменского. Изд. Тбилисского университета, 1973, с. 128-154.

Руссо — деист, поэтому для нас должна быть абсолютно понятна его борьба против некоторых материалистических положений и иногда резкие обвинения в адрес материализма XVIII в. Вместе с тол он непримиримо критиковал официальную религию, но тоже с позиций деизма. Лучшей верой Руссо считал «естественную религию», которая отличается простотой и ясностью, тогда как официальная религия основана на таинствах и культе. Руссо стоит за религиозное воспитание. Для него единственная книга, которую люди обязаны знать и Эмиль должен изучить,— это книга природы, ибо она учит, как служить создателю и как преклоняться перед ним.

Основой педагогической концепции Руссо является возрастная педагогика. Руссо смотрел на ребенка с точки зрения возрастной его самобытности. С ребенком нужно обращаться «так, как подобает его возрасту»,— писал Руссо. В целом комплексе воспитания необходимо наблюдение за ребенком, изучение его мира. Никто до Руссо так не заботился о возрастном принципе в педагогике, как это делает он. Этот принцип является основным в построении романа «Эмиль», в котором деление на пять книг определено пятью возрастными периодами детства, выделенными Руссо.

В соответствии с возрастом ребенка изменяются цели, задачи и средства воспитания. Решение задач воспитания требует постепенности, они последовательно встают перед воспитателем и не могут быть решены раньше или позже того времени, которое определено им возрастными особенностями развивающегося организма растущего человека. Существует определенный возраст, в котором следует обучать наукам. И не раньше определенного возраста должно проходить освоение общественных устоев и норм. Можно насадить в ребенке основы общественного поведения раньше времени, тогда, когда он не в состоянии еще понять их, и, став взрослым, он всю жизнь будет следовать им, но он никогда не будет понимать, что он делает. Приведите ко мне 12-летнего мальчика, говорит Руссо, который ничего не знает, и я обязуюсь вернуть его вам, когда ему будет 15 лет, с такими знаниями, как у его ровесников, обучающихся с детства, с тем различием, что у них будут звания только в памяти, а у него — в рассуждении. Дайте обществу 20-летнего человека; через год под хорошим руководством он будет более разумный и хорошо воспитанный, чем тот, которого воспитывали с детства. И это потому, что воспитанник Руссо уже будет иметь способность осознать основы преподаваемых ему знаний и воспитываемой в нем морали.

Изо дня в день на протяжении более двух десятков лет идет воспитание Эмиля, строго учитывающее возрастные этапы его развития. Руссо создал собственную шкалу этапов возрастного развития: от рождения до 2 лет; от 2 до 12 лет; с 12 до 15 лет; с 15 до 22, с 22 до 24.

Кончая четвертую книгу романа, Руссо предупреждает, что наступил последний момент, когда Эмиль должен выбрать подругу жизни, и, если он допустит ошибку, поправить ее будет уже поздно. Вся пятая, последняя книга «Эмиля» посвящается этой проблеме, и мы не имеем права оставить без внимания теорию Руссо о любви, женитьбе, гражданственности новобрачных.

Эмилю уже 22 года, и Руссо считает этот возраст последним актом юности. Развязкой этого акта должна быть любовь и женитьба. В романе появляется третье главное действующее лицо — будущая подруга Эмиля Софи, которая Олицетворяет идеальный тип молодой женщины, как Эмиль — молодого мужчины.

Локк считает, что, когда наступает период женитьбы, воспитателю делать уже нечего, он должен удалиться. Руссо решительно не согласен с этим и заявляет, что «вовсе не намерен в настоящем случае следовать совету Локка». Подруга Эмиля «Софи должна быть женщиной так же, как Эмиль — мужчиной, т. е. она должна обладать всеми качествами, присущими человеческой природе и ее полу, дабы выполнить свое назначение в области физической и моральной». Отсюда начинается подробная, сложная, интересная теория сходства и различия между женщиной и мужчиной. В человеческих качествах женщина равна мужчине — это аксиома для Руссо. Даже во внешнем облике женщины и мужчины он не видит существенной разницы. Однако Руссо приходит к мысли, что «в области гражданских отношений никак нельзя назначать представителей обоих полов на одни и те же должности, на одни и те же работы, вследствие чего

неминуемо возникают самые нестерпимые злоупотребления». Женщина воспитывает детей — разве это маленькая должность? Ребенок растет в семье и на большой родине. Невозможно поставить между ними знак равенства, однако невозможно и отделить их друг от друга. Семья является маленькой ячейкой, устоем родины, государства; она служит ее гигантскому организму. Семья должна исходить из интересов родины, государства, и эти интересы должны проявляться и в воспитании ребенка. «Разве любовь,— пишет Руссо,— какую мы питаем к своим близким, не является залогом любви к нашей отчизне? Разве не семья, вся маленькая родина, внушает нам привязанность к великой родине? Разве хороший сын, хороший муж, хороший отец не являются в то же время и хорошими гражданами?» В вопросе о положении женщины в обществе Руссо остается сыном своего века. «Следуя внушениям природы, мужчина и женщина должны действовать согласно, но не должны делать одно и то же». Женщина и мужчина должны быть воспитаны ее одинаково и разными методами.

Руссо считает, что «оба пола обладают одинаковыми способностям», но не в равной мере; развивать в женщине мужские свойства, пренебрегая присущими ей качествами,— значит действовать явно ей во вред».

В каждой из пяти книг «Эмиля» Руссо дает подробную возрастную характеристику Эмиля. Так же подробно он характеризует и Софи. У нее превосходные задатки: сердце — самое чувствительное, ум — проницательный, характер — легкий, внешний облик — обыкновенный, но приятный.

Софи появляется в жизни Эмиля вполне своевременно, именно тогда, когда герой подошел к той возрастной границе, когда, по условиям возрастной периодизации, созданной Руссо, ему положено вступить в пору любви и счастья. Но воспитатель, как мы знаем, не считает возможным предоставить Эмиля самому себе. Он не считает его воспитание законченным, а свое дело выполненным. Когда Эмиль готов обвенчаться с любимой, воспитатель предлагает ему на два года уехать за границу, и лишь после того, как он узнает о жизни народов, государств, людей, он сможет жениться.

Вернувшись из двухлетнего путешествия воспитаннику наставник дает свое согласие на брак и предлагает поселиться не в городе, а в сельской местности. «Это исконный образ жизни человека,— считает Руссо,— это самое мирное, самое естественное существование, кое любезнее всего человеку с неизвращенным сердцем».

Утопичность этого завершения очевидна. Но в нем же и его демократичность, неприятие догматического, аристократического воспитания.

Выпуская своих героев в жизнь, Руссо скажет: «Я умиляюсь при мысли о том, сколько благодеяний смогут совершить Эмиль и Софи, пребывая в своем скромном убежище, как они оживят деревню и вдохнут новые силы в злосчастного поселянина».

Завершая свое грандиозное творение, свою тщательнейшим образом разработанную систему воспитания. Руссо вложит в уста Эмиля слова, обращенные к его воспитателю: «... я нуждаюсь в вас больше чем когда-либо. Вы исполнили свои обязанности: научите меня, как подражать вам, а вы отдохните — пора!»

Этими словами заканчивается «Эмиль», и этими словами автор подкрепляет основы своей педагогической системы. Один воспитатель формирует одного гражданина, но из этого вырастает нескончаемая цепь воспитания как процесса, идущего от поколения к поколению.

Но как сложилась жизнь Эмиля и Софи, воспитанных и соединенных в одной семье по педагогической доктрине Руссо? Добились ли они полного счастья, о котором думали они сами и к которому готовил их наставник?

Руссо намеревался написать продолжение «Эмиля» в нескольких книгах, но оставил нам только два письма Эмиля к своему воспитателю; второе из них незаконченное.

Продолжение педагогического романа должно было называться «Эмиль и Софи, или Одинокие». Из двух писем Эмиля к своему наставнику мы узнаем о трагической судьбе Эмиля и Софи. Идиллия, которой заканчивается «Эмиль», разрушена.

Что же случилось, чем вызвана трагедия? Или при столкновении с жизнью не оправдала себя воспитательная система? Однако Эмиль пишет своему наставнику: «Никогда я так остро не сознавал всю ценность ваших наставлений, как в те дни, когда на меня обрушились удары жестокой судьбы, похитившей у меня все, за исключением моего «я». Я одинок, я все потерял; но остался верен себе, и отчаянье не повергло меня в прах».

Жизнь героев была испорчена развращающим влиянием большого города. Оказавшись в Париже, Эмиль и Софи резко изменились, утратив все свои достоинства. Светская жизнь развратила Софи и превратила Эмиля в человека, уже не способного любить свою супругу. Они расстаются.

Роман-трактат «Эмиль» пробил брешь в традиционной педагогике. Руссо, блестяще обобщив педагогические суждения своих предшественников и современников, создал концепцию, выразившую новые тенденции и устремления.

Роман надо рассматривать прежде всего как изложение взглядов Руссо на основные моменты становления человека. Руссо считал, что каждое новорожденное человеческое существо — прекрасное и одаренное, что следует путем воспитания сделать так, чтобы такое природное совершенство не только не потускнело, но и засверкало новыми красками. Руссо видел в ребенке существо особой телесной и духовной организации, при формировании и развитии которого следует учитывать его возраст и интересы, организовывать побудительные условия для поступков и суждений так, чтобы обеспечить переход от естественного, природного состояния к состоянию общественному. Руссо полагал, что человеку от рождения присущи противоречивые устремления (самолюбие и любовь к ближним), гармония которых приносит ему и обществу счастье и свободу

тогда, когда не выходит из очерченных природой границ. Условием эффективности такой гармонии и согласования должно было стать воспитание.

Эмиль — идеальный персонаж. Он лишен недостатков, защищен от тлетворных влияний общества природным здоровьем. Реального прототипа такого героя быть не могло, я Руссо создал его силой своего воображения. Эмиль, которому чужды культурные традиции уходящего общества, который полагается на собственный здравый смысл, фактически оказывается сколком утопического, основанного на разумных началах общества. Эмиль внесоциален, он существо без частных, способное естественно войти в грядущее общество, общество счастья и свободы. Руссо верил в такую перспективу человечества, и его программа воспитания соразмерялась с такой перспективой.

Руссо решительно отверг существующую систему воспитания.

«Эмиль» — главное педагогическое сочинение Руссо. Но тема воспитания человека присутствует и в других его работах, расширяя наше представление о педагогических взглядах великого просветителя.

Взгляды Руссо на цели, задачи, методы воспитания сыграли большую роль в развитии педагогики конца XVIII — начала XIX в. Критика сословно-феодальной системы воспитания, подавлявшей личность ребенка, дух гуманизма и демократизма, враждебность догматизму и схоластике, требование активизации обучения, его связи с жизнью, с личным опытом ребенка, призыв к родителям сделаться активными воспитателями своих детей, к серьезному трудовому воспитанию, составлявшие ценные стороны педагогического творчества Руссо, открывали пути развития передовой теории и практики воспитания.

Имя Жан-Жака Руссо уже в начале второй половины XVIII в. стало известно в России. Сумароков признавал огромный талант Руссо. Радищев цитировал «Общественный договор». «В демократической программе Руссо Радищева привлекали беспощадное отрицание всего феодального порядка и идея прямого народоправства, мысль о народе «в сборном лице его» как источнике и носителе суверенитета. Эти представления навсегда вошли в политическое сознание Радищева», — пишет Ю. Лотман\*.

Русский историк и писатель Карамзин, лично знавший Иммануила Канта и Вольфганга Гёте, восхищался гением великого француза, считал, что Руссо предвидел Великую французскую революцию. «Руссо! Руссо! Память твоя теперь любезна человекам; ты умер, но дух твой живет в «Эмиле», но сердце твое живет в «Элоизе»\*\*.

Интерес к Руссо в России никогда не увядал. Лев Толстой в конце жизни признавался, что находился под сильным влиянием Руссо. «Я прочел всего Руссо, да, все двадцать томов, включая «Музыкальный словарь», — говорил Толстой. — Я не только восхищался им; я боготворил его: в пятнадцать лет я носил на груди медальон с его портретом как образок»\*\*\*. Для Толстого, как он сам писал, «Руссо и Евангелие — два самые сильные и благотворные влияния» на его жизнь.



«Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости»\*\*\*\*.

Общеизвестен огромный авторитет Руссо в России. Творения Руссо за последние более чем 200 лет интересовали всех, кто мыслил. Даже его ошибки и парадоксы встречали интерес и понимание. Его могли и не любить, но считали наставником. Он покорял своим гуманизмом, демократизмом, человеколюбием. «В самих его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия»,— писал Карамзин\*\*\*\*\*.

Чернышевский называл Руссо гениальным, говорил о его нежной любви к людям и писал, что Руссо «ничего, кроме давно-гениального, не отдавал... в печать»\*\*\*\*\*.

\* Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века.— В кн.: *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты, с. 567.

\*\* Цит. по: *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты, с.582.

\*\*\* Там же, с. 555—556.

\*\*\*\* Там же, с. 601.

\*\*\*\*\* Там же, с. 582.

\*\*\*\*\* Там же, с. 599.

Большой интерес вызвали произведения Руссо среди педагогов России. Пристальное внимание педагогике Руссо, «великого знатока человеческих страстей», уделял К. Д. Ушинский. Качественно новый этап изучения педагогического наследия Руссо начали педагоги-марксисты. Н. К. Крупская в работе «Народное образование и демократия» уделила особое внимание взглядам Руссо на трудовое воспитание. Советская педагогическая наука развивает и творчески использует прогрессивные идеи великого педагога.

Для современного человечества Руссо — история, но вечно живая история. К нему обращаются как к бессмертному вдохновителю прогресса, свободы, счастья, гуманизма.

*Г. Н. Джигладзе*

## Комментарии

### ЭМИЛЬ, ИЛИ О ВОСПИТАНИИ

Впервые опубликован в 1762 г. в Париже и Амстердаме. Неоднократно переиздавался еще при жизни автора.

Русские переводы «Эмиля» (с сокращениями или фрагментами) издавались неоднократно: в 1770, 1779, 1807, 1866, 1896, 1911, 1913, 1961, 1976 гг. Наиболее полное издание 1911 г.

В настоящем издании «Эмил, или О воспитании» печатается в переводе П. Д. Первого по изданию: *Руссо Ж.-Ж.* Эмил, или О воспитании. 2-е изд. М., Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1911. Сокращения в тексте Руссо, сделанные в переводе Первого, восполнены по

французскому изданию: *Rousseau J.-J. Oeuvres completes*, t. IV. Paris, Bibliotheque de la Pleiade, 1969 (перевод И. Я. Волевич).

Руссо начал работать над романом приблизительно в 1753 г. Последняя, пятая книга написана в 1759 г. Руссо намеревался продолжить работу над «Эмилем», но эти планы остались неосуществленными. Частично замысел продолжения отразился в набросках «Эмиль и Софи, или Одинокие».

Тотчас по выходе в свет «Эмиль» оказался под запретом церкви. Спустя 10 дней после публикации романа тираж в Париже был конфискован и сожжен. В парламенте церковники возбудили против автора романа судебное дело. Руссо писал 5 июня 1762 г.: «...Парламент намерен подвергнуть меня суду, я полагаю, что тем самым... он лишь проявит собственную глупость» (*Corresp on dance generalo de J.-J. Rousseau*, t. VII, p. 277). А через два дня: «...Они могут меня лишить жизни, но не свободы. Карьере моей конец, остается завершить ее достойно» (*Corresp on dance gene-rale de J.-J. Rousseau*, t. VII, p. 283).

Руссо бежит из Парижа в Швейцарию в небольшое селение близ Берна. В июле 1762 г., после того как власти Женевы и Берна отказали Руссо в убежище, автор «Эмиля» перебирается в Швейцарию, в небольшой городок Мотье в кантоне Невшатель.

Амстердамский тираж первого издания «Эмиля» постигла та же участь, что и издание в Париже. Он был сожжен в июне 1762 г. В августе архиепископ Парижа Бомон вносит «Эмиля» в список запрещенных книг и объявляет роман покушением на «основы христианской религии, спокойствие государств». В октябре папа Клемент XIII предаст автора «Эмиля» анафеме.

Не пришелся по нраву «Эмиль» и русской императрице Екатерине II. Прочитав попавший в Петербург в 1763 г. экземпляр «Эмиля», она писала: «Особенно не люблю я эмильевского воспитания: не так думали в наше старое доброе время». После такого заключения на ввоз «Эмиля» в Россию наложен был запрет.

Не поняли педагогического романа Руссо и некоторые из недавних его друзей — деятелей Просвещения. Гельветии осудил содержащийся в «Эмиле» призыв к черни не подчиняться своим суверенам (*Helvetius. De l'Homme de ses facultes intellectuelles et de son education*. Londres, (S.a.), t. 1—2, p. 2).

Вольтер критически отнесся к идеям «естественного воспитания», хотя и нашел, что в педагогическом романе «есть страниц пятьдесят» достойных, «чтобы переплести в сафьян» (*Державин К. Н. Вольтер — читатель «Эмиля» Руссо.*— Известия АН СССР. Отделение общественных наук, 1932, № 4, с. 329).

Роман «Эмиль» отразил общее мировоззрение Руссо, где педагогика — важная, но не единственная сфера. Читатель «Эмиля» заметит, что Руссо был хорошо знаком с педагогическими идеями своего времени. Руссоистская программа прозрачно напоминает суждения Рабле о физическом воспитании, Тюрго — о природной доброте человека, Сен-Пьера — о нравственном

воспитании, Плюша — о преподавании живых языков, де Понса — о преподавании естественных наук, Бонне — о наглядном обучении и т. д.

«Эмиль» породил широкий интерес к проблемам воспитания. Резко увеличилось число педагогических сочинений. Во Франции за 25 лет после появления трактата Руссо было опубликовано вдвое больше работ по вопросам воспитания, чем за предшествующие 60 лет.

«Эмиль» стал настольной книгой многих крупнейших мыслителей Европы. Его с восторгом приветствовали Юм и Кант. Последний признавался, что педагогический роман произвел на него такое большое впечатление, как ни одна из прочитанных книг.

«Эмиль» оказал воздействие на виднейших педагогов конца XVIII в., в первую очередь И. Г. Песталоцци и И. Базедова. И. Г. Песталоцци принял решение заняться воспитательной деятельностью под непосредственным впечатлением от прочтения «Эмиля», который, по его мнению, означал переворот в педагогике. Основав в Цюрихе учебное заведение, Песталоцци пытался осуществить педагогические идеи Руссо,

Немецкий педагог-реформатор И. Базедов в своей воспитательной работе опирался на идеи педагогического романа Руссо.

Идеи «Эмиля» вдохновили деятелей французской революции. Они видели в «Эмиле» педагогическую программу будущего справедливого общества. Коммунист-утопист Бабеф, страстный поклонник автора «Эмиля», дал своим детям имена героев романа и пытался на практике осуществить педагогические рекомендации Руссо, обучая сына и дочь.

Авторы проектов школьных реформ и декретов в период французской революции использовали идеи «Эмиля». М.-Ж. Шенье называл Руссо «создателем наилучшей системы воспитания». Л.-М. Лепелетье был инициатором торжественной манифестации в честь педагогических заслуг Руссо.

В России писатель-революционер А. Н. Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (глава «Крестыцы») описывает воспитание двух молодых дворян, в основных чертах напоминающее воспитание героя романа Руссо. Огромный интерес к педагогическим идеям Руссо проявлял Л. Н. Толстой. Замышляя план одного из своих первых произведений— «Четыре эпохи развития», Л. Н. Толстой явно под влиянием «Эмиля» выделил в нем четыре части: Детство, Отрочество, Юность, Молодость.

Пристально изучал педагогический роман великий русский педагог-демократ К. Д. Ушинский. По мнению Ушинского, ценность «Эмиля» для педагогической теории перевешивала ошибочность некоторых конкретных рекомендаций (см.: Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии.— *Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения.* М., 1974, т. 1, с. 359-360, 396-397, 461, 473).

Уже при жизни Руссо «Эмиль» вызвал осуждение критиков. Они рассуждали по одной из двух схем: либо признавали известную ценность педагогических идей «Эмиля», а затем утверждали,

что в них отсутствует система, либо утверждали, что любая сколько-нибудь интересная идея в романе заимствована.

Многие буржуазные философы и педагоги (Ф. Ницше, Ж. Леметр, И. Тен и др.) стали использовать ошибочные суждения Руссо для аргументации собственных доктрин. Так, Ж. Леметр утверждал, что единственное достоинство «Эмиля» в возвеличении религиозного воспитания.

С начала XX в. вновь начинает расти интерес к педагогическим идеям Ж.-Ж. Руссо. Буржуазные педагоги отбрасывают революционную сущность педагогической программы «Эмиля». Идеи Руссо стали использоваться для оправдания педоцентризма «реформаторской педагогики», теорий внеклассового воспитания,

Современные буржуазные педагоги, прибегая к прямым и косвенным ссылкам на «Эмиля», пытаются заставить поверить в надклассовое воспитание. «Чем дольше ребенок будет находиться в естественном состоянии, тем меньше для него опасности стать рабом законов общества»,— пишет современный французский педагог-клерикал, поклонник Руссо Франсис Имбер (*Francis Imbert*). *Education et politique dans le livre I de l'Emile.*— *Revue d'histoire et de philosophie religieuses*, 1975, N 1, p. 113—122).

В работах М. Немо, Ж. Шато, Ж. Гуенно, других современных буржуазных руссоистов наметилась тенденция модернизации «Эмиля», включения Руссо в антиисторические схемы развития педагогической мысли. Скажем, Ж. Шато, игнорируя социально-историческую обусловленность возникновения тех или иных педагогических теорий, произвольно делит историю развития педагогической мысли на два потока, в один из которых, названный им «конкретным», включает педагогов из всех исторических эпох, в том числе и Ж.-Ж. Руссо (*Chateau J. J.-J. Rousseau. Sa philosophie de l'education*. Paris, 1962, p. 139).

Начало качественно нового этапа изучения «Эмиля» связано с русским революционным движением на рубеже XIX—XX вв. «Нас интересуют не отдельные рекомендации, а целостная педагогическая концепция Руссо и ее научный анализ»,— писала В. Засулич (*Засулич В. Ж.-Ж. Руссо*. М., 1925, с. 83).

Н. К. Крупская в ряде работ, в частности в «Народном образовании и демократии», указывала на актуальность идей Руссо, в особенности по трудовому обучению.

Советские ученые (Н. К. Гончаров, Н. А. Константинов, А. П. Пинкевич, А. И. Пискунов, И. Ф. Свадковский и др.), зарубежные педагоги-марксисты (А. Валлон, Ж.-Л. Лесеркль, Ж. Снидерс и др.) выявляли все ценное в педагогическом наследии Руссо для развития теории и практики воспитания.

1. «Зло, от которого мы страдаем, излечимо, и нам, созданным для безупречного существования, помогает сама природа, если мы желаем исправиться» (*лат.*) (*Сенека. О гневе*, 2, 13).

2. Имеется в виду приятельница Ж.-Ж. Руссо г-жа *Шенонсо*. По словам Руссо, она подала ему мысль написать трактат по воспитанию (см.: *Руссо Ж.-Ж. Исповедь*, кн. 9.— Избранные сочинения. М., 1961, т. III с. 357).

3. Подобную трактовку исторического прогресса Руссо дает и в своих ранних работах, в частности в «Рассуждении о науках и искусствах» (1749).

4. Имеется в виду книга английского философа, педагога Джона Локка (1632—1704) «Мысли о воспитании», на которую часто прямо или косвенно ссылается Руссо; была переведена на французский язык в 1695 г. Труды Д. Локка, в частности «Опыт о познавательной способности человека», Руссо начал изучать не позднее 1740 г.

Руссо созвучны мысли Локка о необходимости воспитывать ребенка в соответствии с особенностями детской психологии, «учить, забавляя»; он разделяет его протест против схоластики в обучении, против бессмысленного изучения древних языков.

Однако между взглядами Руссо и Локка было и существенное различие. Оно обусловлено разными мировоззренческими позициями. В отличие от Локка, Руссо разрабатывал демократическую программу воспитания. По-разному осмыслили Локк и Руссо сущность воспитания и обучения. Локк полагал, что чувства, способности, знания — результат практического опыта воспитанника. Руссо в воспитании исходил из природного начала и не мог принять практицизма и рационализма Локка.

5. Свидетельством справедливости упрека Руссо в адрес современников («Детства не знают») являются художественные произведения конца XVIII в. Писатели чрезвычайно редко касались тем детства. Скульпторы и живописцы в своих произведениях представляли детей уменьшенными копиями взрослых.

Руссо открыл детство для современников и потомков.

- ["Города — пучина для человеческого рода. В несколько поколений расы погибают или вырождаются..."]

Sanabilibus agrotamus malis;  
ipsaque nos in rectum natura genitos,  
si emendari velimus, juvat.  
Sen[eca], De ira, 2, 13 1.

### ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Этот сборник размышлений и наблюдений, набросанных без порядка и почти без связи, начат был в угоду одной доброй матери, умеющей мыслить<sup>2</sup>. Сначала я предполагал ограничиться заметкой в несколько страниц, но помимо воли увлекся сюжетом, и записка эта стала чем-то вроде сочинения, слишком объемистого, конечно, по своему содержанию, но слишком краткого по отношению к предмету, о котором оно трактует. Я долго не решался обнародовать его, и оно часто, когда я работал над ним, давало мне чувствовать, что недостаточно написать несколько брошюр для того, чтобы уметь сочинить книгу. После тщетных усилий улучшить его, я счел нужным издать его в том виде, как оно есть, полагая, что тут важнее всего обратить общественное внимание на этот предмет и что если мои мысли неправильны, то, возбуждая в других правильные мысли, я все-таки не совсем даром потрачу свое время. Человек, который из своего уединения представляет публике написанные им страницы, не имея почитателей, ни партии, которая защищала бы их, не зная даже, что о них думают или говорят,— такой человек не должен бояться в случае, если он ошибается, что его заблуждения будут приняты без разбора.

Я не стану распространяться о важности хорошего воспитания; не стану также подробно доказывать, что принятое теперь воспитание дурно. Тысячи других уже делали это раньше меня, и не хочется наполнять книгу вещами давно всем известными. Замечу только, что возгласы против установившейся практики раздаются с незапамятных времен, а меж тем не додумываются предложить лучшую. Литература и знание нашего века гораздо более стремятся к разрушению, чем к созиданию<sup>3</sup>. Критикуют тоном наставительный, а чтобы предлагать, нужно принять иной тон, который не очень-то нравится философскому высокомерию. Несмотря на столько сочиненных, которые, говорят, не имеют иной цели, кроме общественного блага, первое из всех благ — искусство образовывать людей — до сих пор еще в забвении. Предмет, взятый мной, и после книги Локка<sup>4</sup> совершенно не нов, и я сильно опасаюсь, как бы он не остался таким же и после моей книги.

Детства не знают<sup>5</sup>: при тех ложных понятиях, которые имеются о нем, чем дальше идут, тем больше заблуждаются. Самые мудрые из нас гонятся за тем, что людям важно,— знать, не

принимая в расчет того, в состоянии ли дети научиться этому. Они постоянно ищут в ребенке взрослого, не думая о том, чем он бывает прежде, чем стать взрослым. Вот вопрос, который я прилежнее всего изучал так, чтобы можно было, если весь метод мой окажется химеричным и ложным, все-таки извлечь пользу из моих наблюдений. Быть может, я очень плохо понял, что нужно делать. Но я думаю, что хорошо видел тот предмет, над которым мы должны работать. Итак, прежде всего хорошо изучите ваших воспитанников, ибо вы решительно их не знаете. А если с этой именно целью вы читаете эту книгу, то, думаю, она принесет вам некоторую пользу.

Что касается принятой мною системы, которая в данном случае есть не что иное, как следование самой природе, то эта часть больше всего озадачит читателя. С этой же стороны, без сомнения, будут нападать на меня и, быть может, будут правы. Читатель подумает, что перед ним не трактат по воспитанию, а скорее грезы мечтателя о воспитании. Но что же делать? Я пишу на основании не чужих идей, а своих собственных. Я смотрю на вещи не как другие люди. В этом меня давно уже упрекали. Но в моей ли власти смотреть чужими глазами и увлекаться чужими идеями? Нет. От меня зависит не упорствовать в своем мнении, не считать себя одного более мудрым, чем весь свет. Я не в силах изменить чувство, но могу не доверять своему мнению — вот все, что могу сделать и что делаю. Если иной раз я принимаю решительный тон, то не для того, чтобы внушительно действовать им на читателя, а для того, чтобы говорить с ним так, как думаю. К чему я стал бы предлагать в форме сомнения то, в чем лично нисколько не сомневаюсь? Я выражаю как раз то, что происходит в моем уме.

Свободно излагая свое мнение, я далеко не считаю его неопровержимым и постоянно сопровождаю его доводами, чтобы их взвесили и судили по ним. Но хотя я не желаю упорствовать в защите своих идей, тем не менее считаю своей обязанностью их изложить, ибо основные положения, в которых я совершенно расхожусь с мнением других, далеко не лишены интереса. Они принадлежат к тем правилам, относительно которых весьма важно знать, истинны они или ложны, и которые приводят человеческий род к счастью или несчастью.

«Предлагайте то, что исполнимо» — беспрестанно повторяют мне. Это все равно, что говорить: «Предлагайте то, что делают, или по крайней мере такое благо, которое уживалось бы с существующим злом». Такой проект по отношению к известного рода предметам гораздо химеричнее моих проектов, ибо в таком союзе добро портится, а зло не исцеляется. Я скорее был бы согласен во всем следовать установившейся практике, чем принимать лучшее лишь наполовину: тогда в человеке меньше было бы противоречия — он не может одновременно стремиться к двум противоположным целям. Отцы и матери, ведь исполнимо то, что вы желаете исполнять. Неужели я должен угождать вашей прихоти?

Во всякого рода проектах две вещи нужно принимать в расчет: во-первых, абсолютное достоинство проекта, во-вторых, легкость его исполнения.

В первом отношении, для того чтобы проект был допустим и исполним сам по себе, достаточно и того, если заключенное в нем достоинство соответствует природе предмета. Здесь, например, достаточно того, если предлагаемое воспитание пригодно для человека и хорошо приурочено к человеческому сердцу.

Второе соображение зависит от отношений, существующих при известном положении людей. Отношения эти несущественны для предмета и, следовательно, не необходимы и могут до бесконечности видоизменяться. Таким образом, иное воспитание применимо в Швейцарии и непригодно для Франции. Иное годится для буржуа, иное для знати. Большая или меньшая легкость исполнения зависит от тысячи обстоятельств, которые невозможно определить иначе, как при частном применении метода к той или иной стране, к тому или другому состоянию. Но все эти частные применения, не существенные для моей цели, не входят в мой план. Другие могут заняться ими, если захотят,— каждый для той страны или государства, которые будут иметь в виду. Для меня достаточно того, чтобы всюду, где будут родиться люди, можно было создать из них то, что я предлагаю, и чтобы созданное оказалось лучшим и для них самих, и для других. Если я не исполнил этого обязательства, это, без сомнения, моя вина. Но если я исполнил его, читатель не вправе требовать от меня большего, ибо только это я и обещал.

## КНИГА I

Все выходит хорошим из рук Творца, все вырождается в руках человека. Он принуждает одну почву питать растения, возвращенные на другой, одно дерево приносить плоды, свойственные другому. Он перемешивает и путает климаты, стихии, времена года. Он уродует свою собаку, свою лошадь, своего раба. Он все перевертывает, все искажает, любит безобразия, чудовищное. Он ничего не хочет видеть таким, как создала природа,— не исключая и человека: и человека ему нужно выдрессировать, как лошадь для манежа, нужно переделать на свой лад, как он окорнал дерево в своем саду.

Без этого все шло бы еще хуже, а наша порода не хочет получать отделку лишь наполовину. При порядке вещей, отныне сложившемся, человек, предоставленный с самого рождения самому себе, был бы из всех самым уродливым. Предрассудки, авторитет, необходимость, пример, все общественные учреждения, совершенно подчинившие нас, заглушали бы в нем природу и ничего не давали взамен ее. Она была бы подобна деревцу, которое случайно выросло среди дороги и которое скоро погубят прохожие, задевая его со всех сторон и изгибая во всех направлениях.

К тебе обращаюсь я, нежная и предусмотрительная мать \*, сумевшая уклониться от такой дороги и предохранить подрастающее деревце от столкновений с людскими мнениями! Ухаживай, поливай молодое растение, пока оно не увяло,— плоды его будут некогда твоей усладой. Строй с ранних пор ограду вокруг души твоего дитяти; окружность может наметить иной, но ты одна должна ставить решетку на ней\*\*.



\* Первоначальное воспитание важнее всего, и это первоначальное воспитание бесспорно принадлежит женщинам. Если бы Творец природы хотел, чтобы оно принадлежало мужчинам, он наделил бы их молоком для кормления детей. Поэтому в наших трактатах о воспитании всегда обращайтесь речь по преимуществу к женщинам; ибо, кроме того, что им сподручнее, чем мужчинам, заботиться о воспитании и они всегда сильнее на него влияют, самый успех дела их заинтересовывает гораздо больше, как как стоит им овдоветь, и они чуть не попадают под власть своих детей, ж тогда последние дают им сильно чувствовать последствия — хорошие или дурные — употребленного ими способа воспитания. Законы, которые всегда столь много заняты имуществом и столь мало личностью, так как они имеют целью спокойствие, а не добродетель, не дают матерям достаточной власти. Меж тем их положение вернее положения отцов, обязанности их тяжелее, заботы нужнее для порядочности семьи, и, вообще, у них больше привязанности к детям. Есть случаи, когда сына, не питающего почтения к отцу, можно некоторым образом извинить; но если бы в каком бы то ни было случае сын был настолько испорченным, что не почитал бы свою мать — мать, которая носила его в своем лоне, кормила его своим молоком, которая целые годы забывала самое себя, чтобы заниматься исключительно им,— такую жалкую тварь следовало бы задушить скорее, как чудовище, недостойное смотреть на свет божий. «Матери,— говорят,— балуют детей своих». Это, без сомнения, их вина; но они, быть может, менее виноваты, чем вы, которые развращаете детей. Мать хочет, чтобы ее дитя было счастливым, чтобы оно было таким с этой вот самой минуты. В этом она права. Если же она обманывается в средствах, ее нужно просветить. Честолюбие, корыстолюбие, тирания, ложная предусмотрительность отцов, равно как их небрежность, жестокая бесчувственность, во сто раз губительнее для детей, чем слепая нежность матери. Впрочем, надо выяснить смысл, который я придаю слову «мать», что и будет сделано ниже.

\*\* Меня уверяют, будто г. Формей<sup>1</sup> думает, что я имел здесь в виду свою мать, и будто он говорит это в каком-то сочинении. Уверять в этом — значит насмеяться жестоко над Формеем или надо мной.

Растениям дают определенный вид посредством обработки, а людям — посредством воспитания. Если бы человек родился рослым и сильным, его рост и силы были бы для него бесполезны до тех пор, пока он не учился бы пользоваться ими; мало того: они были бы вредны ему, так как устраняли бы для других повод помогать ему\*, а предоставленный самому себе, он умер бы от нищеты прежде, чем узнали б о его нуждах. Жалуются на положение детства, а не видят, что человеческая раса погибла бы, если бы человек не являлся в мир прежде всего ребенком. Мы рождаемся слабыми — нам нужна сила; мы рождаемся всего лишенными — нам нужна помощь; мы рождаемся бессмысленными — нам нужен рассудок. Все, чего мы не имеем при рождении и без чего мы не можем обойтись, ставши взрослыми, дается нам воспитанием.

\* Будучи подобен им во внешности и лишенный как слова, так и идей, им выражаемых, он был бы не в состоянии дать им понять, что он нуждается в их помощи, и ничто в нем не обнаруживало бы этой нужды.

Воспитание это дается нам или природою, или людьми, или вещами. Внутреннее развитие наших способностей и наших органов есть воспитание, получаемое от природы; обучение тому, как пользоваться этим развитием, есть воспитание со стороны людей; а приобретение нами собственного опыта относительно предметов, дающих нам восприятие, есть воспитание со стороны вещей.

Каждый из нас, следовательно, есть результат работы троякого рода учителей<sup>2</sup>. Ученик, в котором эти различные уроки противоречат друг другу, дурно воспитан и никогда не будет в ладу с самим собою; в ком они все попадают в одни и те же пункты и стремятся к одним и тем же задачам, тот только и идет к своей цели, и живет правильно. Он один хорошо воспитан.

Меж тем из этих трех различных видов воспитания воспитание со стороны природы вовсе не зависит от нас, а воспитание со стороны вещей зависит лишь в некоторых отношениях. Таким образом, воспитание со стороны людей — вот единственное, в котором мы сами — господа; да и тут мы только самозванные господа, ибо кто может надеяться всецело управлять речами и действиями всех тех людей, которые окружают ребенка?

Коль скоро, таким образом, воспитание есть искусство, то почти невозможно, чтоб оно было успешным, потому что совпадение вещей, необходимое для его успешности, не зависит от человека. Все, что можно сделать с помощью забот,— это более или менее приблизиться к цели, по, чтобы достигнуть ее, для этого нужно счастье.

Какова же эта цель? Это — та самая, которую имеет природа, как только что доказано. Так как для совершенствования воспитания необходимо взаимное содействие трех его видов, то два другие вида следует направлять согласно с тем, над которым мы не властны. Но, может быть, это слово «природа» имеет слишком неопределенный смысл; попробуем здесь точное установить его.

Природа, говорят нам, есть не что иное, как привычка\*. Но что это означает? Разве пет привычек, которые приобретаются только пассивно и которые никогда не заглушают природы? Такова, например, привычка растений, которым мешают расти прямо. Оставленное на свободе, растение сохраняет наклон, который его принудили принять; но соки не изменили из-за этого своего первоначального направления, и если растение не перестает расти, то продолжение его делается снова вертикальным. То же самое бывает и с наклонностями человека. Пока мы остаемся в одном и том же состоянии, мы можем сохранять те наклонности, которые являются результатом привычки, даже если они менее всего нам естественны; но лишь только положение изменяется, привычка исчезает, и возвращается природное. Воспитание, несомненно, есть не что иное, как привычка. Меж тем, разве нет людей, которые забывают и утрачивают полученное воспитанием, и

других, которые сохраняют все это? Откуда эта разница? Если название природы давать только привычкам, сообразным с природою, то можно было бы избавить себя от подобной галиматьи.

\* Формей уверяет нас, что этого именно никто не говорит. Однако, мне кажется, что как раз это самое и сказано в следующем стихе, на который я намеревался отвечать:

Природа, поверь мне, та же привычка<sup>3</sup>.

Формей, который не хочет делать надменными подобных себе, скромно выдает нам мерку своего мозга за меру человеческого разума.

Мы родимся чувственно восприимчивыми и с самого рождения получаем различными способами впечатления от предметов, нас окружающих. Лишь только мы начинаем сознавать, так сказать, наши ощущения, у нас является расположение или искать вновь, или избегать предметов, производящих эти ощущения,— сначала смотря по тому, насколько приятны нам последствия или неприятны, затем смотря по сходству или несходству, которое мы находим между нами и этими предметами, и, наконец, смотря по суждениям, которые мы о них составляем на основании идеи счастья или совершенства, порождаемой в нас разумом. Эти расположения расширяются и укрепляются по мере того, как мы становимся восприимчивее и просвещеннее; но под давлением наших привычек они более или менее изменяются в зависимости от наших мнений. До этого изменения они и суть то, что я называю в нас природою.

Итак, к этим первоначальным расположениям все и нужно было бы сводить, и это было бы возможно, если бы три наших вида воспитания были только различны; но что делать, когда они противоположны,— когда вместо того, чтобы воспитывать человека для него самого, хотят воспитывать его для других? Тут согласие невозможно. Под давлением необходимости бороться или с природою, или с общественными учреждениями приходится выбирать одно из двух — создавать или человека, или гражданина, ибо нельзя создавать одновременно того и другого.

Всякое частное общество, раз оно бывает тесным и хорошо сплоченным, отчуждается от общества в обширном смысле слова. Всякий патриот суров к иностранцам: они для него — только люди вообще, они — ничто в его глазах\*. Это неудобство неизбежно, но оно не так уже важно. Важнее всего быть добрым к людям, с которыми живешь. Вне дома спартиат был честолюбив, жаден, несправедлив; но в стенах его дома царствовали бескорыстие, справедливость, согласие. Не верьте тем космополитам, которые в своих книгах идут искать вдали обязанностей, пренебрегаемых ими вокруг себя. Иной философ любит театр, чтоб быть избавленным от любви к своим соседям.

\* Поэтому-то войны республик более жестоки, чем войны монархии.

Человек естественный — весь для себя; он — численная единица, абсолютное целое, имеющее отношение лишь к самому себе или к себе подобному. Человек-гражданин — это лишь дробная единица, зависящая от знаменателя, значение которой заключается в ее отношении к целому — к общественному организму. Хорошие общественные учреждения — это те, которые лучше всего

умеют изменить природу человека, отнять у него абсолютное существование, чтобы дать ему относительное, умеют перенести его *я* в общую единицу, так как каждый частный человек считает себя уже не единым, частью единицы и чувствует только в своем целом. Гражданин Рима не был ни Гаем, ни Луцием: это был римлянин; даже отечество он любил ради отечества. Регул считал себя карфагенянином, поскольку он стал имуществом своих господ. В качестве иностранца он отказывался заседать в римском сенате: требовалось, чтоб карфагенянин дал ему на этот счет приказание. Он негодовал на то, что ему хотели спасти жизнь. Он победил и торжествующим вернулся умирать среди мучений<sup>4</sup>. Все это мало, мне кажется, напоминает людей, которых мы знаем.

Лакедемонянин Педарет являлся, чтобы получить доступ в совет трехсот; его отвергли, и он возвращается домой, весьма радуясь, что в Спарте нашлось триста человек, дороже стоящих, чем он<sup>5</sup>. Я предполагаю, что это выражение радости было искренним: есть основания думать, что оно было таковым. Вот гражданин!

Одна спартанка отпустила в армию пять сыновей и ждала известий с поля битвы. Является илот: с трепетом она спрашивает, что нового. «Твои пять сыновей убиты!» — «Презренный раб! Разве я тебя об этом спрашивала?» — «Мы победили!» Мать бежит к храму и воздает благодарение богам. Вот гражданка!<sup>6</sup>

Кто при гражданском строе хочет сохранить первенство за природным чувствованием, тот сам не знает, чего хочет. Будучи всегда в противоречии с самим собою, вечно колеблясь между своими склонностями и своими обязанностями, он никогда не будет ни человеком, ни гражданином; он не будет пригоден ни для себя, ни для других. Он будет одним из людей нашего времени — будет французом, англичанином, буржуа,— он будет ничем.

Чтобы быть чем-нибудь, чтобы быть самим собою и всегда единым, нужно действовать, как говоришь, нужно всегда быть готовым на решение, которое должно принять, нужно принимать его смело и следовать ему постоянно. Я жду, пока мне покажут это чудо, чтобы знать, человек ли это или гражданин или как он берется быть одновременно тем и другим.

Из этих неизменно противоположных целей вытекают два противоречащие друг другу вида воспитания: одно — общественное и общее, другое — частное и домашнее.

Хотите получить понятие о воспитании общественном — читайте «Государство» Платона. Это вовсе не политическое сочинение, как думают те, кто судит о книгах только по заглавиям,— это прекраснейший, какой только был когда составлен, трактат о воспитании<sup>7</sup>.

Когда желают сослаться на область химер, то указывают на воспитание у Платона; но если бы Ликург<sup>8</sup> представил нам свое воспитание только в описании, я находил бы его гораздо более химеричным. Платон заставляет лишь очищать сердце человека; Ликург изменил природу его.

Общественного воспитания уже не существует и не может существовать, потому что, где нет отечества, там не может уже быть и граждан. Эти два слова — «отечество» и «гражданин» —

должны быть вычеркнуты из новейших языков. Я хорошо знаю и основание для этого, но не хочу о нем говорить: это не важно для моего сюжета.

Я не вижу общественного воспитания в тех смешных заведениях, которые зовут коллежами<sup>\*</sup>. Я не принимаю в расчет также светского воспитания, потому что это воспитание, стремясь к двум противоречивым целям, не достигает ни одной из них: оно способно производить лишь людей двуличных, показывающих всегда вид, что они все делают для других, а на деле всегда думающих только о себе. А так как эти изъявления общи для всего «света», то они никого не вводят в обман. Вот сколько забот тратится даром!

\* Есть в Академии Женевы и особенно в парижском университете профессора, которых я люблю и очень уважаю и которых считаю очень способными хорошо наставлять молодежь, если бы они не были вынуждены следовать установившейся практике. Я убеждаю одного из них опубликовать проект реформ, им задуманный. Может быть, попытаются, наконец, искоренить зло, видя, что против него есть средства.

Из этих противоречий рождается то, которое мы беспрестанно испытываем сами на себе. Увлекаемые природой и людьми на совершенно разные дороги, вынужденные делить себя между этими различными побуждениями, мы следуем среднему направлению, которое не ведет нас ни к той, ни к другой цели. Проведши всю свою жизнь в подобной борьбе и колебаниях, мы заканчиваем ее, не сумевши согласовать себя с самим собою и не ставши годным ни для себя, ни для других.

Остается, наконец, воспитание домашнее или воспитание со стороны природы; но чем будет для других человек, воспитанный исключительно для себя? Если можно было двойную цель, которую ставят перед собою, соединить в одно, то, уничтожая в человеке противоречия, мы, может быть, уничтожили бы великое препятствие на его пути к счастью. Чтобы судить об этом, нужно было бы видеть человека вполне сформированным, нужно было бы подметить его склонности, увидеть его успехи, проследить ход развития; одним словом, нужно было бы разузнать человека естественного. Думаю, что, кто прочтет это сочинение, тот сделает некоторые шаги в этих изысканиях.

Что нам следует делать, чтобы создать этого редкого человека? Многое, несомненно: следует позаботиться, чтобы ничего не было деланного. Когда приходится плыть против ветра, то лавируют; но если море бурно и если хотят оставаться на месте, то следует бросить якорь. Берегись, молодой кормчий, чтобы канат твой не стал травиться или не стал бы тащиться якорь, чтобы судно не отчалило прежде, чем ты это заметишь.

В общественном строе, где все места намечены, каждый должен быть воспитан для своего места. Если отдельный человек, сформированный для своего места, уходит с него, то он ни на что уже не годен. Воспитание полезно лишь настолько, насколько судьба согласуется с званием родителей; во всяком другом случае оно вредно для воспитанника уже по тем предрассудкам,

которыми оно наделяет его. В Египте, где сын обязан был принять звание отца своего, воспитание имело, по крайней мере, верную цель; но у нас, где только классы остаются, а люди в них беспрестанно перемещаются, никто, воспитывая сына для своего класса, не знает, не трудится ли он во вред ему.

В естественном строе, так как люди все равны, то общее звание их — быть человеком; кто хорошо воспитан для своего звания, тот не может быть дурным исполнителем и в тех же званиях, которые связаны с этим. Пусть предназначают моего воспитанника к тому, чтобы носить саблю, служить церкви, быть адвокатом,— мне все равно. Прежде звания родителей природа зовет его к человеческой жизни. Жить — вот ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук, он не будет — соглашаюсь в этом — ни судьей, ни солдатом, ни священником: он будет прежде всего человеком; всем, чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае надобности, так же хорошо, как и всякий другой, и, как бы судьба ни перемещала его с места на место, он всегда будет на своем месте.

«Occupavi te fortima! alque cepi: omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses»<sup>\*9</sup>.

Изучение человеческого состояния есть наша истинная наука. Кто умеет лучше всех выносить блага и бедствия этой жизни, тот из нас, по-моему, и воспитан лучше всех; отсюда следует, что истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях. Научаться мы начинаем, начиная жить; наше воспитание начинается вместе с нами; первый наш наставник — наша кормилица. И самое слово «воспитание» указывает на «питаний». «Educat obstetrix,— говорит Варрон,— educat nutrix, instituit pedagogus, docet magister»<sup>\*\*10</sup>. Таким образом, воспитание (в первоначальном смысле слова), наставление и образование суть три столь же различные по своей цели вещи, как мы различаем няньку, наставника и учителя. Но эти отличия дурно поняты; и чтобы быть хорошо руководимым, ребенок должен следовать за одним всего руководителем.

\* [Цицерон]. Тускулланские беседы, V. 9.

\*\* Нонип Марцелл. [Лексикон].

Итак, следует обобщить наши взгляды и видеть в нашем воспитаннике человека вообще — человека, подверженного всем случайностям человеческой жизни. Если бы люди родились привязанными к почве своей страны, если бы целый год продолжалось одно и то же время года, если бы каждый крепко был связан со своим состоянием, что никогда не мог его переменить, то установившаяся практика была бы пригодна в некоторых отношениях; ребенок, воспитанный для своего положения, никогда не выходя из него, не мог бы и подвергнуться случайностям другого положения. Но при виде изменчивости человеческих дел, но при виде того беспокойного и подвижного духа нашего века, который с каждым поколением все перевертывает, можно ли придумать что-либо безрассуднее этого метода — так воспитывать ребенка, как будто бы ему не предстоит никогда выходить из своей комнаты, как будто он должен быть, беспрестанно окруженным «своими людьми»? Если несчастный ступит хоть шаг по земле, если спустится хоть

на ступень,— он пропал. Это не значит учить его выносить бедствия: это значит развивать восприимчивость к ним.

Думают только о том, как бы уберечь своего ребенка; этого недостаточно: нужно научить, чтобы он умел сохранять себя, когда станет взрослым, выносить удары рока, презирать избыток и нищету, жить, если придется, во льдах Исландии или на раскаленном утесе Мальты<sup>11</sup>. Каких бы вы ни предпринимали предосторожностей, чтобы он не умер, ему придется все-таки умереть, и, если смерть его не была бы результатом ваших забот, последние были все-таки превратно направленными. Все дело не в том, чтобы помешать ему умереть, а в том, чтобы заставить его жить. А жить — это не значит дышать: это значит действовать, это значит пользоваться нашими органами, чувствами, способностями, всеми частями нашего существа, дающими нам сознание нашего бытия. Не тот человек больше всего жил, который может насчитать больше лет, а тот, кто больше всего чувствовал жизнь. Иного хоронят столетним старцем, а он умер в самом рождении. Ему выгоднее было сойти в могилу юношей, если бы он дожил хоть до юности.

Вся наша мудрость состоит в рабских предрассудках; все наши обычаи — не что иное, как подчинение, стеснение, принуждение. Человек-гражданин рождается, живет и умирает в рабстве: при рождении его затягивают в свивальник, по смерти заколачивают в гроб; а пока он сохраняет человеческий образ, он скован нашими учреждениями.

Говорят, что многие повивальные бабки выправляют голову новорожденных детей, что придают ей более соответственную форму,— и это терпится! Наши головы, видите ли, дурно устроены Творцом нашего бытия: их приходится переделывать извне повивальным бабкам, изнутри философам. Карибы наполовину счастливее нас.

«Едва ребенок вышел из чрева матери, едва получил свободу двигать и расправлять свои члены, как на него налагают новые узы. Его спеленывают, укладывают с неподвижною головою, с вытянутыми ногами, с уложенными вдоль тела руками: он завернут во всякого рода пеленки и перевязки, которые не позволяют ему изменить положение. Счастье его, если он не стянут до того, что нельзя дышать, и если догадались положить его на бок, чтобы мокроты, которые должны выходить ртом, могли стекать сами собою: иначе он не имел бы возможности повернуть голову на бок, чтобы способствовать их стоку»<sup>\*</sup>.

<sup>\*</sup> [Бюффон]. Естественная история, т. IV<sup>12</sup>.

Новорожденный ребенок имеет потребность протягивать и двигать свои члены, чтобы вывести их из онемения, в котором они так долго оставались, будучи собранными в клубок. Их, правда, вытягивают, но зато мешают им двигаться; даже голову закутывают в чепчик: подумаешь, люди боятся, как бы ребенок не подал признака жизни.

Таким образом, импульс внутренних частей тела, стремящегося к росту, встречает непреодолимое препятствие для потребных ему движений. Дитя непрерывно делает бесполезные

усилия, которые истощают его силы или замедляют их развитие. В сорочке<sup>13</sup> он был менее сжат, менее стеснен, менее сдавлен, чем теперь в пеленках; я не вижу, что он выиграл своим рождением.

Бездействие, принужденное состояние, в котором держат члены ребенка, только стесняет обращение крови и соков, мешает ребенку крепнуть и расти и уродует его телосложение. В местностях, где не принимают этих сумасбродных предосторожностей, люди все рослы, сильны, хорошо сложены\*. Страны, где закутывают детей в пеленки, кишат горбатыми, хромыми, косолапыми, кривоногими, рахитиками, людьми, изуродованными на все лады. Из боязни, чтобы тело не обезобразилось от свободных движений, спешат обезобразить его укладыванием в тиски. Ребенка охотно сделали бы паралитиком, чтобы помешать ему стать уродливым. Столь жестокое принуждение может ли остаться без влияния на нрав и темперамент детей? Их первое чувство — чувство боли и муки: все движения, в которых они имеют потребность, встречают одно препятствие; будучи более несчастными, чем преступник в оковах, они делают тщетные усилия, раздражаются, кричат. Вы говорите, что первые звуки, ими издаваемые,— это плач? Охотно верю: вы досаждаете им с самого рождения; первыми дарами, которые они получают от вас, бывают цепи; первыми приемами обращения с ними оказываются мучения. Если они ничего не имеют свободным, кроме голоса, как же не пользоваться им для жалоб? Они кричат от страдания, которое вы им причиняете; если бы вас так спутали, вы кричали бы громче их.

Откуда идет этот безрассудный обычай? От противной природе привычки. С тех пор как матери, пренебрегая своего первую обязанностью, не захотели больше кормить детей своих, пришлось доверять их наемным женщинам; а последние, очутившись таким образом матерями чужих детей, к которым природа не внушала им никакого чувства, старались лишь о том, чтобы избавить себя от труда. За ребенком, оставленным на свободе, нужен был бы беспрестанный надзор; но когда он крепко связан, его бросают в угол, не смущаясь его криками. Лишь бы не было доказательств небрежности кормилицы, лишь бы питомец не сломал руки или ноги, а то какая, в самом деле, важность, что он погибнет или останется хилым на всю жизнь? Члены сохранены за счет тела — и кормилица права, чтобы там ни случилось.

\* См. примечание \*\*\*.

Знают ли эти милые матери, которые, развязавшись со своими детьми, весело предаются городским развлечениям, знают ли они меж тем, какому обращению подвергается дитя, оставшееся в деревне, в своем свивальнике? При малейшем крике, неожиданно раздавшемся, его вешают на гвоздь, как узел с платьем, и, пока кормилица не спеша займется своими делами, несчастный остается, таким образом, пригвожденным. Когда ребенка заставляли в подобном положении, всегда оказывалось, что у него лицо посинело: так как сильно сжатая грудь не позволяла крови циркулировать, то последняя ударяла в голову, и пациента считали совершенно спокойным, потому что он не имел силы кричать. Не знаю, сколько часов ребенок может



оставаться в этом положении, не лишаясь жизни, но сомневаюсь, чтобы это могло тянуться очень долго. Вот, по-моему, одно из важнейших неудобств пеленания.

Полагают, что дети, оставленные на свободе, могут принимать неловкое положение и делать движения, способные повредить правильному развитию членов. Но это одно из пустых умствований нашей ложной мудрости, которое ни разу не подтверждалось на опыте. Из всего множества детей, которые у народов, более рассудительных, чем мы, вскормлены были при полной свободе пользоваться своими членами, не видно было ни одного ребенка, который ранил бы себя или искалечил: дети не в состоянии придать своим движениям такую силу, которая может сделать последние опасными, а когда они принимают насильственное положение, боль скоро дает им знать, что его следует переменить.

Мы не додумались еще пеленать щенят или котят, а заметно ли, чтобы результатом этой небрежности было для них какое-нибудь неудобство? «Дети тяжелее» — ладно! Но они, соразмерно с этим, зато и слабее. Они едва в состоянии двигаться, как же они могли изувечить себя? Если ребенка растянуть навзничь, он умер бы в этом положении, как черепаха, не будучи в состоянии повернуться.

Не довольствуясь тем, что перестали кормить своих детей, женщины не хотят и рожать их; следствие вполне естественное. Как только положение женщины-матери делается обременительным, скоро находят средство совсем от него избавиться: хотят, чтобы работа оставалась бесполезною — для того чтобы постоянно начинать ее сизнова, и приманку, данную для умножения природы, обращают во вред последней. Привычка эта, в дополнение к другим причинам уменьшения населения, возвещает нам о ближайшей участи Европы. Науки, искусства, философия и нравы, ею порождаемые, не замедлят сделать из Европы пустыню. Она будет обитаема дикими зверями<sup>4</sup> и это будет небольшая перемена в жителях.

Я видел не раз мелкие уловки молодых женщин, которые прикидываются желающими кормить детей своих. Они умеют так устроить, чтоб их поторопили отказаться от этой прихоти: они ловко впутывают в дело супругов, врачей, особенно матерей. Муж, осмелившийся согласиться, чтоб его жена кормила своего ребенка, был бы пропащим человеком, его принимали бы за убийцу, который хочет отделаться от жены. Благоразумные мужья, вам приходится в жертву миру приносить отцовскую любовь. Счастье ваше, что в деревне есть женщины более целомудренные, чем ваши жены! Еще больше ваше счастье, если время, выигрываемое последними, не предназначено для других, помимо вас.

Обязанность женщин не возбуждает сомнений; но спорят о том, не все ли равно для детей, при том презрении, которое питают к ним матери, материнским ли молоком они вскормлены или чужим. Этот вопрос, судьями в котором являются врачи, я считаю решенным по желанию женщин<sup>\*</sup>; лично я тоже думал бы, что ребенку лучше сосать молоко здоровой кормилицы, чем

нездоровой матери, если приходится бояться какой-нибудь новой беды от той же самой крови, из которой он создан.

\* Союз женщин и врачей всегда казался мне одной из самых забавных особенностей Парижа. Через женщин именно врачи приобретают свою репутацию, а через врачей женщины исполняют свои прихоти. Отсюда легко догадаться, какого сорта искусство нужно парижскому врачу, чтобы стать знаменитым.

Но разве вопрос должен рассматриваться только с физической стороны и разве ребенок менее нуждается в заботах матери, чем в ее груди? Другие женщины, даже животные, могут дать ему молоко, в котором отказывает мать; но материнская заботливость не восполняется ничем. Женщина, которая вместо своего кормит чужого ребенка,— дурная мать; как же она будет хорошей кормилицей? Она могла бы ею сделаться, но только постепенно: для этого нужно, чтоб привычка изменила природу; ребенок вследствие дурного ухода сто раз успеет погибнуть, прежде чем кормилица почувствует к нему материнскую нежность.

Из этой самой выгоды вытекает и неудобство, которое одно должно было бы лишить всякую чувствительную женщину решимости отдавать своего ребенка на кормление другой,— я говорю о необходимости разделять с последнею право матери или, скорее, уступать это право, видеть, как ее ребенка любит другая женщина, столько же и даже больше, чем мать, чувствовать, что нежность, которую он сохраняет к своей собственной матери, есть милость, а его нежность к подставной матери есть долг; ибо не к тому ли я обязан питать сыновнюю обязанность, в ком встретил материнские заботы? Чтобы поправить эту беду, внушают детям презрение к своим кормилицам, обращаясь с ними как с настоящими служанками. Когда служба их кончилась, удаляют ребенка или увольняют кормилицу, затем дурным приемом отбивают у ней охоту навещать своего питомца. Через несколько лет он уже не видит и не знает ее. Мать, думающая заменить ее собою и искупить свое невнимание своею жестокостью, ошибается. Вместо того чтоб из бесчувственного питомца сделать нежного сына, она учит его неблагодарности; она учит его презирать со временем и ту, которая дала ему жизнь, как он презирает вскормившую его своим молоком.

Как упорно я настаивал бы на этом пункте, если бы не было таким скучным делом — тщетно твердить о полезных вещах! Этот вопрос глубже, чем думают. Хотите каждого вернуть к своим первейшим обязанностям — начинайте с матерей: вы будете изумлены переменами, которые произведете. Все вытекает постепенно из этой основной распущенности: весь нравственный строй изменяется к худшему; естественное потухает в сердцах; внутренность жилищ принимает менее оживленный вид; трогательное зрелище зарождающейся семьи не привлекает уже мужей, не внушает уважения посторонним; уже не так почитают мать, не видя при ней детей; семья не имеет постоянного местожительства; привычка не скрепляет уз крови; нет ни отцов, ни матерей, ни детей, ни братьев, ни сестер; все едва знакомы друг с другом — как они после этого будут друг

друга любить? Каждый думает лишь о себе. Когда дом есть только печальная пустыня, повеселиться приходится идти в другое место. Но пусть только матери соблаговолит кормить детей своих, нравы преобразуются сами собою, природные чувства проснутся во всех сердцах, государство снова станет заселяться; этот первый шаг — этот шаг один вновь все соединит. Прелесть домашней жизни — лучшее противоядие дурным нравам. Возня детей, которую считают докучливой, становится приятной; она делает отца и мать более необходимыми, более дорогими друг другу; она крепче завязывает между ними супружескую связь. Когда семья оживлена и одушевлена, домашние заботы составляют самое дорогое занятие жены и самое сладкое развлечение мужа. Таким образом, исправление одного этого злоупотребления скоро даст в результате всеобщую реформу, и природа скоро вступит в свои права. Пусть только женщины снова станут матерями — и мужчины скоро станут опять отцами и мужьями.

Бесполезные речи! Даже скука светских удовольствий никогда не доводит до таких речей. Женщины перестали быть матерями; они не хотят ими быть. Если бы они захотели, они едва ли бы были в состоянии; теперь, когда установился противный этому обычай, каждой из них пришлось бы бороться с оппозицией всех знакомых, которые составят против нее заговор,— одни потому, что не сами подали пример, другие потому, что не хотят ему следовать.

Впрочем, есть еще кое-где молодые женщины доброго нрава, которые осмеливаются презирать в этом вопросе господство моды и ропот представительниц своего пола и с добровольною отвагою выполняют этот столь приятный долг, налагаемый па них природою. Дай Бог, чтоб привлекательность благ, ожидающих тех, кто исполняет его, увеличивала число этих женщин! Основываясь на выводах, получаемых из самого простого рассуждения, и на наблюдениях, опровержения которых я никогда не встречал, я смело обещаю этим достойным матерям прочную и постоянную привязанность со стороны их мужей, истинно сыновнюю нежность со стороны детей, уважение и почтение общества, удачные роды, без случайностей и без дурных последствий, прочное и крепкое здоровье, наконец, удовольствие видеть некогда, как им подражают собственные дочери и как их ставят в пример чужим дочерям.

Нет матери, нет и дитя. Между ними взаимные обязанности; и если они дурно выполняются одною стороною, то и другая станет ими пренебрегать. Дитя должно любить свою мать прежде, чем будет знать, что должно ее любить. Если голос крови не подкреплён привычкою и заботами, то он затихнет в первые же годы, и сердце умирает, так сказать, прежде, чем родится. Таким образом, мы с первых же шагов разошлись с природою.

С нею расходятся и противоположным путем, — когда женщина не только не пренебрегает материнскими заботами, но доводит их до крайности, когда делает из ребенка своего идола, увеличивает и поддерживает его слабость, чтоб не дать ему чувствовать ее, когда, надеясь изъять его из-под законов природы, охраняет его от тяжелых впечатлений, не помышляя о том, сколько тяжелых впечатлений и опасностей взваливает на его голову в будущем, взамен некоторых

неудобств, от которых предохраняет его на минуту, и сколь варварскою является эта предосторожность — продление детской слабости до трудовой поры зрелого возраста. Фетида, чтобы сделать своего сына неуязвимым, погрузила его, как рассказывает миф, в воды Стикса<sup>10</sup>. Аллегория эта прекрасна и ясна, Жестокие матери, о которых я говорю, поступают иначе: погружая детей своих в негу, они подготавливают их к страданию; они открывают их поры для восприятия всякого рода болезней, жертвою которых они непременно и станут, сделавшись взрослыми.

Наблюдайте природу и следуйте по пути, который она вам прокладывает. Она непрерывно упражняет детей; она закаляет их темперамент всякого рода испытаниями; она с ранних пор учит их, что такое труд и боль. Прорезывание зубов причиняет ему лихорадку; острые колики доводят их до конвульсий; продолжительные кашли душат их; глисты мучат; полнокровие портит у них кровь; различные кислоты приходят в брожение и причиняют им опасные сыпи. Почти весь ранний возраст полон болезнями и опасностями; половина рождающихся детей умирает до восьмого года. Но вот испытания кончились, и ребенок приобрел силы; а коль скоро он в состоянии пользоваться жизнью, основа последней делается более прочной.

Вот правила природы. Зачем вы ей противоречите? Разве вы не видите, что, думая исправлять ее, вы только разрушаете ее работу и тормозите ее заботы? Делать извне, что она делает изнутри, по-вашему, значит удваивать опасность; совершенно нет: это значит отклонять ее, уменьшать. Опыт показывает, что детей, получивших изнеженное воспитание, умирает больше других. Лишь бы не превышать меру детских сил, а то, употребляя их в дело, меньше рискуешь, чем щадя их. Приучайте детей к невзгодам, которые им придется со временем выносить. Приучайте тело их к суровости времен года, климатов, стихий, к голоду, жажде, усталости: окунайте их в воды Стикса. Пока тело не приобрело привычки, его без опасности можно приучить к чему хочешь; но раз оно в полном развитии, всякая перемена становится для него губельной. Дитя вынесет изменения, которые не вынес бы взрослый: его фибры, мягкие и гибкие,, без усилия принимают склад, который дают им; фибры же взрослого,, более затвердевшие, уже только насильственно могут изменить полученный раньше склад. Ребенка можно, значит, сделать крепким, не подвергая опасности его жизнь и здоровье. А если бы и был какой риск, все-таки не следовало колебаться. Так как это риск, неразлучный с человеческой жизнью, то не лучше ли всего будет перенести его на то время жизни, когда он менее всего убыточен?

Подрастая, ребенок делается драгоценнее. К цене его личности присоединяется цена забот, которых, он стоил; к потере жизни, если он умирает, присоединяется чувство утраты. Таким образом, в заботах об его сохранении нужно иметь в виду преимущественно будущее; против опасностей юности нужно его вооружить прежде, чем он достигнет ее; ибо если цена человеческой жизни все увеличивается до того самого возраста, когда жизнь можно сделать

полезной, то не безумно ли избавлять детство от немногих зол путем накопления их к разумному возрасту? Это ли уроки учителя?

Участь человека — страдать во все времена. Даже самая забота о самосохранении связана со скорбью. Счастливо детство, что знает только боли физические, которые не так жестоки, гораздо менее болезненны и гораздо реже заставляют нас отказываться от жизни! Не убивают себя из-за боли, причиняемой подагрой; одни душевные боли порождают отчаяние. Мы жалеем об участи детства, а нужно бы жалеть о пашей участи. Наибольшие наши бедствия приходят к нам от нас самих.

При рождении ребенок кричит; первое детство его проходит в плаче. Его то качают и ласкают, чтоб успокоить, то грозят и бьют, чтобы заставить замолчать. Мы или делаем, что ему нравится, или требуем от него, что нам нравится: сами подчиняемся его прихотям или его подчиняем нашим,— никакой середины! Ему приходится давать приказания или получать. Таким образом, его первые идеи — идеи власти и рабства. Прежде чем уметь говорить, он командует; не будучи еще в состоянии действовать, он повинует; а иной раз и наказывают его прежде, чем он мог бы узнать свою вину или, лучше сказать, провиниться. Таким-то путем с ранних пор вносят в его молодое сердце страсти, которые сваливают потом на природу: положив немало труда на то, чтобы сделать его злым, потом жалуются, что находят его таким.

Шесть или семь лет подобным образом проводит ребенок в руках женщин, будучи жертвой их капризов и своих собственных; и после того, как обучат его и тому и сему, то есть загромоздят память его словами, которых он понять не может, или вещами, которые ни на что ему не годны, после того, как заглушат в нем природное страстями, возбуждаемыми в нем, передают это искусственное создание в руки наставнику, который докапчивает развитие искусственных задатков, найдя их уже вполне сформированными, и научает его всему, кроме познания самого себя, кроме умения пользоваться самим собою, кроме умения жить и делать себя счастливым. Наконец, когда этот ребенок, раб и тиран, исполненный знаний и лишенный смысла, одинаково слабый и телом и духом, бывает брошен в свет, то, выказывая здесь свою глупость, свое высокомерие и все свои пороки, он заставляет людей оплакивать человеческое ничтожество и испорченность. Но они ошибаются: это человек наших прихотей; человек природы создан иначе.

Итак, если вы хотите, чтоб он сохранил свой оригинальный вид, берегите этот вид с той самой минуты, как ребенок является в мир, лишь только он родится, завладейте им и не покидайте его, пока он не станет взрослым: без этого вы никогда не добьетесь успеха. Как настоящая кормилица есть мать, так настоящий наставник есть отец. Пусть они условятся между собой о порядке исполнения своих обязанностей, равно как и о системе; пусть из рук одной ребенок переходит в руки другого. Рассудительный и недалекий отец лучше его воспитает, чем самый искусный в мире учитель, ибо усердием лучше заменяется талант, чем талантом усердие.

А дела, служба, обязанности... Ах, да! обязанности! Быть отцом — это, несомненно, последняя обязанность\*!!! Нечего удивляться, что мужчина, жена которого погнушалась кормить ребенка — плод их союза, гнушается воспитывать его. Нет картины более прелестной, чем картина семьи; но недостаток одной черты портит все остальные. Если у матери слишком мало здоровья, чтоб быть кормилицей,; то у отца окажется слишком много дел, чтоб быть наставником. Дети, удаленные, разбросанные по пансионам, по монастырям и коллегам, перенесут в другое место любовь к родительскому дому или, лучше сказать, вынесут оттуда привычку ни к чему не быть привязанными. Братья и сестры едва будут знать друг друга. Когда потом они церемонно соберутся все вместе, они будут, может быть,, весьма вежливы друг с другом, но обходиться они будут как чужие. Коль скоро нет уже интимности между родными, коль скоро общество семьи не составляет жизненной отрады, приходится прибегать к безнравственным наслаждениям взамен ее. Кто настолько глуп, что не видит связи во всем этом?

\* Когда читаешь у Плутарха, как цензор Катон<sup>15</sup>, управлявший с такою славою Римом, воспитывал сам своего сына с колыбели, и притом с такой заботливостью, что покидал вес, чтобы присутствовать, когда кормилица, т. е. мать, перепеленывала и обмывала ребенка; когда читаешь у Светония<sup>16</sup>, как владыка мира<sup>17</sup>, им покоренного и им же управляемого, сам учил своих внуков письму, плаванию, начаткам науки и постоянно держал при себе их, то невольно посмеешься над чудачками того времени, забавлявшимися подобными пустяками,—они, должно быть, настолько были ограничены, что не сумели бы заниматься великими делами великих людей нашего времени.

Производя и питая детей, отец исполняет этим только третью часть своей задачи. Он должен роду человеческому дать людей, обществу — общественных людей, государству — граждан. Всякий человек, который может платить этот тройной долг и не делает этого, виновен и, может быть, более виновен, если платит его наполовину. Кто не может выполнить обязанностей отца, тот не имеет права быть им. Никакая бедность, никакие труды, никакое внимание к людскому мнению не избавляют его от обязанности кормить своих детей и самому воспитывать их. Читатель, ты можешь поверить мне в этом! Я предсказываю всякому, у кого есть сердце и кто пренебрегает столь священными обязанностями, что он долго будет проливать слезы по поводу вины своей и все-таки никогда не будет утешен.

Но что делает этот богач, этот глава семейства, столь занятый делами и принужденный, по его словам, кинуть детей своих на произвол судьбы? Он нанимает другого человека брать на себя заботы, которые ему в тягость. Продажная душа! Неужели ты думаешь за деньги дать твоему сыну другого отца? Не обманывай себя; ты даже не учителя дашь ему, а лакея. Лакей скоро вырастит другого лакея<sup>18</sup>.

Много рассуждают о качествах хорошего воспитателя. Первое, которое я потребовал бы от него,— а оно предполагает и много других — это не быть человеком продажным. Бывают столь

благородные занятия, что им нельзя предаваться за деньги, не выказывая себя этим недостойным их; таково именно ремесло наставника. «Кто же, наконец, будет воспитывать моего ребенка?» — «Я сказал уже тебе, что ты сам». — «Но я не могу». — «Ты не можешь!.. Ну так создай себе друга. Другого средства я не вижу».

Воспитатель! — какая возвышенная тут нужна душа!.. Поистине, чтоб создавать человека, нужно самому быть отцом или больше, чем человеком. И такую-то должность вы спокойно вверяете наемникам!

Чем больше думаешь об этом, тем больше замечаешь трудностей. Следовало бы, чтоб воспитатель был воспитан для своего питомца, чтоб прислуга последнего была воспитана для своего господина, чтоб все окружающие его получали именно такие впечатления,; какие должны передавать ему; пришлось бы, восходя от воспитания к воспитанию, зайти бог весть куда. Как может хорошо воспитать ребенка тот, кто не был хорошо воспитан!

Можно ли отыскать этого редкого смертного? Не знаю. В наши времена нравственной низости кто знает, какой степени добродетели может еще достигнуть человеческая душа? Но предположим,; что это чудо найдено. Чем он должен быть, ото мы увидим из обозрения того, что он должен делать. Я заранее предвижу, что отец, который поймет всю цену хорошего воспитателя, решится обойтись без него; ибо ему труднее было бы. приобрести его, чем самому им сделаться. Если же он хочет поэтому создать себе друга, то пусть воспитывает своего сына, чтоб он и был другом: ему незачем уже искать друга в другом месте; природа уже сделала половину дела.

Некто — я знаю только его ранг — сделал мне предложение воспитывать его сына. Он, несомненно, оказал мне много чести; но вместо того, чтобы жаловаться на мой отказ, он должен быть доволен моей скромностью. Если б я принял его предложение и если б я ошибся в своей методе, это было бы воспитание неудавшееся; если б я имел успех, было бы гораздо хуже: сын его отказался бы от своего титула, он не захотел бы быть принцем.

Я слишком проникнут сознанием величия обязанностей наставника, я слишком чувствую Свою неспособность, чтобы принять подобную должность, с чьей бы стороны она ни была предложена; даже интерес дружбы служил бы для меня лишь новым поводом к отказу. Думаю, что, прочитав эту книгу, немногие покусятся сделать мне это предложение; и я прошу тех, кто мог бы это сделать, не принимать на себя бесполезного труда. Я уже достаточно испробовал некогда это ремесло, чтобы быть уверенным, что я для него не гожусь, и мое положение избавляло бы меня от него, если бы я даже и годился для него по своим талантам. Думаю, что это публичное заявление должно и для тех, кто, пожалуй, и не соглашался бы со мной, быть достаточно убедительным, чтобы считать меня искренним и твердым в своих решениях.

Не будучи в состоянии выполнить задачу наиболее полезную, я возьму на себя смелость испробовать по крайней мере более легкую задачу: по примеру многих других я возьмусь за дело, за перо, и вместо того, чтобы сделать то, что нужно, постараюсь сказать это. Я знаю, что при

попытках, подобных моей, автор, имеющий всегда полное раздолье в системах, которые он не обязан применять на практике, обыкновенно без труда дает много прекрасных правил, которым невозможно следовать, и что, за отсутствием деталей и примеров, даже то, что удобно исполнимо в его предложениях, остается без употребления, если он не показал, как это применять к долгу. Поэтому я решил взять на себя воображаемого воспитанника, предположить нужные мне возраст, здоровье, знания и все таланты, потребные для того, чтобы трудиться над его воспитанием, и вести его с момента рождения до того времени, когда он, ставши зрелым человеком, не будет уже нуждаться в ином руководителе, кроме самого себя. Этот метод мне кажется пригодным для того, чтобы помешать автору, не доверяющему себе, блуждать в мире призраков; ибо как только он отступит от обычной практики, стоит ему только испытать свой метод на своем же воспитаннике, и он скоро почувствует — или за него читатель,— идет ли вслед за развитием ребенка и по пути, естественному для человеческого сердца.

При всех представлявшихся мне затруднительных случаях я старался поступать так. Чтобы не увеличивать бесполезно объема книги, в тех принципах, истину которых должен чувствовать каждый, я ограничился простым изложением. Что же касается правил, которые могли бы нуждаться в доказательствах, я все их применил к моему Эмилю или к другим образцам и с очень большими подробностями показал, как то, что я устанавливаю, может быть выполнено на практике. Таков по крайней мере план, которым я задался. А удачно ли вышло, об этом судить читателю.

Поэтому-то я сначала мало говорил об Эмиле, так как мои первые правила воспитания, хотя и противоречат установившимся, отличаются такой очевидностью, что всякому разумному человеку трудно отказать в сочувствии. Но по мере того как я подвигаюсь вперед, воспитанник мой, иначе руководимый, чем ваши, уже не является обыкновенным ребенком: ему нужен режим, годный специально для него. Тут он чаще появляется на сцену, а в последнее время я ни на минуту не теряю его из виду до тех пор, пока он, что бы там ни говорил, не будет уже иметь ни малейшей нужды во мне.

Я не говорю о качествах хорошего воспитателя. Я их предполагаю наперед и себя самого предполагаю одаренным всеми этими качествами. Читая это произведение, всякий увидит, как я щедр к себе.

Замечу только, что воспитатель ребенка, вопреки обычному мнению, должен быть молод, и даже так молод, как только может быть молод человек умный. Я желал бы, чтоб он сам был ребенком, если б это можно было, чтобы он мог стать товарищем своего воспитанника и привлечь к себе доверие, разделяя с ним забавы его. Между детством и зрелым возрастом слишком мало общего для того, чтобы могла когда-нибудь при такой разнице в годах образоваться очень прочная привязанность. Дети ласкаются иногда к старикам, но никогда их не любят.



Хотят, чтобы воспитателем был человек, завершивший воспитание хотя бы одного ребенка. Слишком большое требование! Один человек может иметь один такой опыт; если бы для успеха дела нужно было два, то по какому же праву воспитатель брался бы за первое? С приобретением большой опытности можно было бы лучше действовать; но для этого не хватало бы уже сил. Кто раз настолько хорошо выполнил эту должность, что почувствовал все ее трудности, тот не покусится снова взяться за нее. А если он дурно выполнил ее в первый раз, это дурное предзнаменование для второго раза.

Я согласен, что большая разница — следить за молодым человеком в течение четырех лет или руководить им в течение двадцати пяти лет. Вы поручаете воспитателю вашего сына уже вполне сформировавшимся. Я же хочу, чтоб он имел воспитателя с рождения. Человек, приглашенный вами, может через каждое пятилетие менять своего воспитанника, мой все время будет иметь только одного. Вы отличаете учителя от воспитателя — новая нелепость! Разве вы отличаете ученика от воспитанника? Одну лишь науку предстоит преподавать детям — науку об обязанностях человека. Наука эта едина, и, что бы там ни говорил Ксенофонт о воспитании персов<sup>19</sup>; она неделима. Впрочем, преподавателя этой науки я назвал бы скорее воспитателем, чем учителем, так как ему надлежит больше руководить, чем обучать. Он не должен давать правил: он должен заставлять находить их.

Если нужна такая заботливость при выборе воспитателя, то и ему вполне позволительно выбирать себе воспитанника, особенно если дело идет об образце. Выбор этот не может касаться ни умственных способностей, ни характера ребенка, так как то и другое узнается лишь по окончании дела, а я усыновляю ребенка еще до рождения его. Если бы я мог выбирать, я взял бы ребенка обыкновенного ума, каким я предполагаю своего воспитанника. В воспитании нуждаются лишь обыкновенные люди; их воспитание одно и должно служить образцом для воспитания им подобных. Люди иные воспитываются, несмотря на всякие образцы.

Страна тоже не лишена влияния на развитие людей; они достигают всего, чем могут быть, лишь в умеренных климатах. Невыгодность резких климатов очевидна. Человек не посажен, как дерево, в одной стране, чтобы навсегда и оставаться в ней; и кто отправляется с одного края света, чтобы дойти до другого, тот принужден сделать двойной путь сравнительно с тем, кто отправляется из срединного пункта к тому же пределу.

Пусть обитатель умеренной страны побывает последовательно на том и другом конце света — его преимущество будет еще очевиднее, ибо он и подвергается таким же изменениям, как и тот, кто переходит с одного края света на другой, он все-таки наполовину меньше последнего удалится бы от своего природного телосложения. Француз живет и в Гвинее, и в Лапландии<sup>20</sup>; но негр не выживет, как он, в Торнео или самоед в Бенине<sup>21</sup>. Кроме того, организация мозга, очевидно, менее совершенна в том и другом краю света. Ни негры, ни лапландцы не обладают таким разумом, как

европейцы. Поэтому, если я хочу, чтобы мой воспитанник мог быть обитателем земли, я выберу его в умеренном поясе — во Франции, например, скорее, чем в другом месте.

На севере люди много потребляют, живя на неблагоприятной почве; на юге они на плодородной потребляют мало; отсюда порождается новая разница, которая делает одних трудолюбивыми, других — созерцательными<sup>22</sup>. Общество представляет нам подобие этих различий, на одном и том же месте, между бедными и богатыми: первые населяют неблагоприятную почву, вторые — страну плодородную. Бедняк не нуждается в воспитании; воспитание со стороны его среды — вынужденное; он не мог бы иметь другого. Напротив, воспитание, получаемое богатым от своей среды, менее всего ему пригодно как для него самого, так и для общества. К тому же естественное воспитание должно делать человека годным для всех человеческих состояний; а воспитывать бедняка для богатой жизни менее разумно, чем богача для бедности; ибо если принять в расчет численность того и другого состояния, то разорившихся больше, чем поднявшихся вверх. Выберем поэтому богатого: мы по крайней мере будем уверены, что у нас стало одним человеком больше, тогда как бедняк может сам по себе сделаться человеком.

В силу того же обстоятельства я не прочь, чтобы Эмиль был из хорошего рода. Все-таки лишняя жертва будет вырвана из цепей предрассудка.

Эмиль — сирота. Не важно, есть ли у него отец и мать. Взявши на себя их обязанности, я наследую и все их права. Он должен почитать своих родителей, но случаться он должен меня одного. Это мое первое или, скорее, единственное условие.

Я должен прибавить еще одно требование, служащее последствием первого: нас никогда не должны разлучать друг с другом иначе, как с нашего согласия. Это существенная статья, и я желал бы даже, чтобы воспитанник и воспитатель считали себя настолько неразлучными, чтобы и жизненный жребий их представлял всегда для них интерес. Как скоро они видят разлуку вдали, как скоро предусматривают момент, который должен их сделать чуждыми друг другу, они уже чужды. Каждый строит свою маленькую систему особняком, и оба, занятые мыслью о времени, когда они не будут уже вместе, неохотно остаются друг с другом. Ученик смотрит на учителя как символ учения и бич детства; учитель видит в ученике только тяжелое бремя, от которого горит желанием избавиться: они единодушно мечтают о моменте, когда увидят себя освобожденными друг от друга, и так как между ними никогда не бывает истинной привязанности, то одному, по необходимости, не хватает бдительности, другому — послушания.

Но когда они видят себя как бы обязанными провести всю жизнь вместе, для них важно заставить друг друга взаимно любить, и уже в силу этого они делаются друг другу дорогими. Ученик не стыдится следовать в детстве тому, кто будет его другом в зрелом возрасте. Воспитателя интересуют попечения, плоды которых он должен собрать, и все достоинства, которыми од наделяет своего воспитанника, суть капитал, скопляемый им на старость.

Трактат этот предполагает удачные роды, ребенка хорошо сложенного, крепкого и здорового. Для отца нет выбора, он никому не должен отдавать предпочтение в семье, дарованной ему богом; все дети одинаково — его дети; всем им он должен оказывать одну и ту же заботливость и ту же нежность. Калеки они или нет, немощные или крепкие, каждый из них есть данное на хранение сокровище, в котором он должен дать отчет тому, из чьей руки получил, и брак есть столько же договор с природою, сколько и между супругами. Но кто берет на себя обязанность, которой природа не налагала на него, тот должен обеспечить себя средствами выполнения; иначе он делает себя ответственным даже за то, чего не смог сделать. Кто берет в свои руки слабого и хилого питомца, тот меняет звание воспитателя на звание сиделки; он тратит на охранение бесполезной жизни время, которое предназначал на увеличение ее ценности; он рискует со временем услышать от безутешной матери упрека в смерти сына, которого он так долго для нее сохранял.

Я не взялся бы за воспитание ребенка болезненного и худосочного, хотя бы ему предстояло прожить лет восемьдесят. Мне не надо воспитанника, всегда бесполезного и для себя самого, и для других, который занят единственно самосохранением и в котором тело вредит воспитанию души. Чего я достиг бы, напрасно расточая свои заботы,— удвоил бы только потерю общества и, вместо одного, отнял бы у него двух? Пусть другой вместо меня борется за этого немощного — я соглашаюсь на это и одобряю его человеколюбие; но у меня — не таков мой талант: я не умею учить жить того, кто только и думает о том, как бы спасти себя от смерти.

Нужно, чтоб тело имело силу повиноваться душе: хороший слуга должен быть сильным. Я знаю, что невоздержанность возбуждает страсти; она изнуряет под конец и тело; но и умерщвление плоти, посты часто приводят к тому же результату, хотя и вследствие противоположной причины. Чем слабее тело, тем больше оно повелевает; чем сильнее оно, тем больше повинуется. Все чувственные страсти гнездятся в изнеженных телах, которые возбуждаются тем сильнее, чем меньше они могут удовлетворить их.

Слабое тело расслабляет душу. Отсюда — господство медицины, искусства более губительного для людей, чем все болезни, которые оно имеет претензию исцелять. Я не знаю, право, от какой болезни излечивают нас врачи, но я знаю, что они наделяют нас самыми пагубными болезнями: трусостью, малодушием, легковерием, страхом смерти; если они исцеляют тело, зато убивают мужество. Какое нам дело, что они поднимают на ноги трупы? Нам нужны люди, а их-то никогда и не выходит из их рук.

Медицина в моде между нами; это и должно быть. Это забава людей праздных, ничем не занятых, которые, не зная, куда девать время, проводят его в заботах о самосохранении. Имей они несчастье родиться бессмертными, они были бы самыми жалкими из существ; такая жизнь, которую они никогда не боялись бы потерять, не имела бы для них никакой цены. Этим людям и нужны медики, которые, чтобы польстить, угрожают им и ежедневно доставляют единственную радость, которую они способны воспринять,— радость, что они не умерли.

Я не имею никакого желания распространяться здесь о бесполезности медицины. Единственная цель моя — рассмотреть ее с нравственной стороны. Не могу, однако, не заметить, что люди относительно ее применения прибегают к тем же софизмам, как и при изыскании истины. Они всегда предполагают, что, кто пользует больного, тот и излечивает его, кто ищет истину, тот и находят ее. Они не видят, что прежде всего нужно сопоставить выгоду одного исцеления, произведенного врачом, со смертью сотни больных, убитых им же, пользу открытой истины — с вредом, порождаемым заблуждениями, которые являются в одно время с нею. Наука, которая научает, и медицина, которая исцеляет, без сомнения, очень хороши; но наука, которая обманывает, и медицина, которая убивает,— дурны. Научитесь же различать их. Вот сущность вопроса. Если бы мы могли не ведать истины, то никогда не были бы обманываемы ложью; если бы мы умели воздержаться от желания получить исцеление вопреки природе, мы никогда не умирали бы от руки медика; в том и другом случае воздержание было бы разумным; мы, очевидно, остались бы в выигрыше при таком воздержании. Я не оспариваю, значит, того, что медицина полезна некоторым людям, но говорю, что она пагубна для рода человеческого.

Мне скажут, как это постоянно говорят, что в ошибках виноват медик, но что медицина сама по себе непогрешима. Отлично! Но в таком случае пусть же она является к нам без медика; а пока они будут являться вместе, приходится во сто раз больше бояться ошибок представителей искусства, чем надеяться на помощь самого искусства.

Это лживое искусство, созданное скорее для болезней ума, чем для болезней тела, одинаково бесполезно как для одних, так и для других; оно не столько излечивает нас от болезней, сколько вселяет в нас ужас перед ними; оно не столько отдаляет смерть, сколько заранее дает чувствовать ее: оно расходует жизнь вместо того, чтобы продолжать ее; а если б оно и делало ее более продолжительною, это скорее служило бы во вред роду человеческому, потому что заботы, налагаемые им, отнимали бы нас у общества, а внушаемые им ужасы отвлекали бы нас от обязанностей. Сознание опасностей и заставляет нас бояться их: кто считает себя неуязвимым, тот ни перед чем не испытывает страха. Изображая Ахилла предохраненным от опасности, поэт отнимает у него заслугу доблести; всякий другой на его месте с такою же честью оказался бы Ахиллом. Хотите найти людей, истинно мужественных, ищите их там, где нет медиков, где незнакомы с последствиями болезней, где почти не думают о смерти. От природы человек умеет и страдать стойко, и умирать в мире. Роняют в нем дух и отучают его умирать именно медики со своими рецептами, философы со своими правилами, духовники со своими поучениями.

Пусть поэтому дадут мне воспитанника, который не имел бы нужды во всех этих людях,— или я отказываюсь. Я не хочу, чтобы другие портили мою работу. Я хочу воспитывать один или вовсе не вмешиваться в дело. Разумный Локк, проведший часть своей жизни в изучении медицины, настоятельно рекомендует никогда не пичкать детей лекарствами, ни из предосторожности, ни из-за легкого недомогания. Я пойду дальше и заявляю, что, не обращаясь сам никогда к медикам, я

никогда не позову их и к моему Эмилю, исключая случая, — когда жизнь его будет в явной опасности; тогда, если и убьют его, так это не будет для него худшим злом.

Я хорошо знаю, что врач не преминет извлечь выгоду из этой отсрочки. Если ребенок умрет, — окажется, что врача пригласили слишком поздно; если избежит смерти, — спасителем окажется он. Так и быть! Пусть врач торжествует; но главное — пусть зовут его лишь в случае крайности.

Не умея вылечиваться, пусть ребенок умеет быть больным: это искусство восполняет первое и часто бывает гораздо более успешным, это — искусство природы. Когда животное болеет, оно страдает молча и держит себя спокойно. Меж тем незаметно, чтобы немощных животных было больше, чем людей. Скольких людей убили нетерпение, страх, беспокойство и особенно лекарства — людей, которые пощажены были бы своею болезнью и исцелились бы благодаря одному времени! Мне скажут, что животные, ведя образ жизни, более соответственный природе, должны быть меньше подвержены страданиям, чем мы. Хорошо! Но ведь этому именно образу жизни я хочу научить своего воспитанника: он должен, значит, извлечь из него ту же самую пользу.

Единственная полезная часть медицины — гигиена; да и та не столько наука, сколько добродетель. Воздержанность и труд — вот два истинных врача человека: труд обостряет его аппетит, а воздержанность мешает злоупотреблять им.

Чтобы знать, какой режим наиболее полезен для жизни и здоровья, нужно лишь знать, какого режима держатся народы, которые пользуются наилучшим здоровьем, отличаются наибольшею крепостью и наибольшею продолжительностью жизни. Если из всеобщих наблюдений не оказывается, чтобы применение медицины давало людям более крепкое здоровье или более продолжительную жизнь, то уже в силу того, что искусство это бесполезно, оно, кроме того, вредно, потому что совершенно понапрасну занимает время, людей и вещи. Приходится вычестить из жизни время, потраченное на сохранение ее, так как оно потеряно для пользования жизнью; но этого мало: когда время употреблено на то, чтобы мучить нас, оно уже не только обращается в ничто, оно — величина отрицательная, и, чтобы счет был правилен, нужно столько же вычестить из того, что осталось у нас. Человек, проживший десять лет, не зная врачей, жил больше для себя и других, чем тот, кто прожил тридцать лет жертвою их. Сделав тот и другой опыт, я, думаю мне, имею больше права, чем всякий другой, выводить отсюда заключение.

Вот для меня основания — желать для себя воспитанника крепкого и здорового; вот начала, в силу которых я хочу сохранять его таковым же. Я не стану долго останавливаться на доказательствах полезности ручных работ и телесных упражнений для укрепления темперамента и здоровья — этого никто не оспаривает; примеры наиболее продолжительной жизни наблюдаются почти всегда у людей, которые больше всего предавались упражнению, больше всего вынесли усталости и трудов\*. Я не стану также входить в обстоятельные подробности относительно забот, которые я намерен предпринять с этою одною целью: мы увидим, что заботы эти столь

необходимо связаны с моим методом, что достаточно вникнуть в дух его, чтобы не нуждаться в других объяснениях.

\* Вот пример, взятый из английских газет,— я не мог удержаться, чтобы не привести его: столько он возбуждает размышлений, относящихся к моему сюжету. «Один обыватель, по имени Патрик О'Нейл, родившийся в 1647 г., только что женился в 1760 г. в седьмой раз. Он служил в драгунах на 17-м году царствования Карла II и в различных войсках до 1740 г., когда получил отставку. Он участвовал во всех походах короля Вильгельма и герцога Мальборо. Человек этот ничего не пил, кроме обыкновенного пива; питался всегда растительной пищей, а мясо ел лишь за обедами, которые он давал иной раз своей фамилии. Постоянной его привычкой было вставать и ложиться вместе с солнцем, если только этому не мешали его обязанности. Теперь ему 113-й год; он хорошо слышит, здоров и ходит без палки. Несмотря на свой глубокий возраст, он не остается ни одной минуты праздным и каждое воскресенье ходит в свою приходскую церковь, сопровождаемый своими детьми, внуками и правнуками».

Вместе с жизнью являются потребности. Новорожденному ребенку нужна кормилица. Если мать соглашается исполнить свой долг — в добрый час! Ей дадут письменное наставление; ибо выгода здесь имеет и свою обратную сторону: воспитатель здесь несколько более удален от своего воспитанника. Но нужно думать, что интересы ребенка и уважение к человеку, которому мать намерена вверить столь дорогой залог, сделают ее внимательною к советам наставника; а что она захочет сделать, то, несомненно, она сделает лучше всякой другой. Если нужна чужая кормилица, постараемся прежде всего сделать хороший выбор.

Одно из несчастий богатых людей в том, что их во всем обманывают. Что же тут удивительного, если они дурного мнения о людях? Их портит богатство; и они же первые, как справедливое возмездие, испытывают на себе дурную сторону того единственного орудия, которое им знакомо. У них все исполнено дурно, исключая того, что они делают сами; а они почти никогда ничего не делают. Нужно найти кормилицу — выбор ее поручают акушеру. Что же отсюда выходит? А то, что лучшею оказывается та, которая больше ему заплатила. Я не пойду поэтому к акушеру за советом насчет выбора для Эмиля кормилицы; я постараюсь выбрать ее сам; быть может, я не сумею так красноречиво рассуждать по этому вопросу, как хирург, но зато, наверное, я буду добросовестнее, и усердие мое меня меньше обманет, чем жадность его.

Выбор этот не такая уже великая тайна; правила для него известны; но, мне кажется, следовало бы несколько больше обращать внимание на возраст молока, равно как и на его качество. Недавно появившееся молоко совершенно водянисто; оно должно оказываться почти слабительным, чтобы прочистить остатки *mesonium*<sup>23</sup> сгустившегося в кишках новорожденного ребенка. Мало-помалу молоко становится гуще и доставляет ребенку пищу тем более плотную, чем больше последний приобретает силы переваривать ее. Недаром, конечно, природа изменяет густоту молока у всякого рода самок, смотря по возрасту питомца.

Итак, для ребенка, только что родившегося, нужна и кормилица, только что родившая. Такой выбор, я знаю, представляет своего рода трудности; но раз мы вышли из порядка природы, нам всюду нужно преодолевать трудности, чтобы сделать что-нибудь хорошо. Удобный путь только один — делать дурно; его именно и выбирают.

Кормилица должна быть также здорова и чувствами, как телом; переменчивость страстей может, как и переменчивость соков, испортить молоко; к тому же довольствоваться лишь стороной физической — значит видеть только половину предмета. Молоко может быть хорошим, а кормилица дурною; хороший характер — такая же существенная вещь, как и хороший темперамент. Если взять женщину порочную, то и питомец — не скажу, что заразится ее пороками, но по крайней мере будет терпеть от них. Не обязуется ли она, вместе с молоком, отдавать ребенку и свои заботы, которые требуют усердия, терпения, кротости, опрятности? Если она обжорлива, невоздержанна, она скоро испортит свое молоко; если она нерадива или вспыльчива, то что станет у ней с беднягой ребенком, который не может ни защититься, ни пожаловаться? Никогда, в чем бы то ни было, злые не бывают годными на что-нибудь доброе.

Выбор кормилицы тем более важен, что у питомца не должно быть иной, кроме нее, воспитательницы, как и не должно быть и другого наставника, кроме воспитателя. Такой был обычай у древних, которые меньше умствовали и были мудрее нас. Выкормив девочку, кормилицы уже не покидали ее потом. Вот почему в их театральных пьесах большинство наперсниц — кормилицы. Невозможно, чтобы ребенок, переходящий постепенно через столько различных рук, получил хорошее воспитание. При всякой перемене он внутренне делает сравнения, которые всегда уменьшают его уважение к своим руководителям, а следовательно, и власть последних над ним. Если в нем хоть раз зародится мысль, что бывают и взрослые, у которых не больше разума, чем у детей, то весь авторитет лет уже потерян, и воспитание окажется неудачным. Ребенок не должен знать иных авторитетов, кроме отца своего и матери или, за их отсутствием, кормилицы своей и воспитателя; даже и из этих двух лиц одно лишнее; но такое разделение неизбежно, и единственное средство помочь здесь долу состоит в том, чтобы два лица различного пола, руководящие ребенком, настолько были согласны между собой в своих отношениях к нему, чтобы двое были для него лишь одним лицом.

Нужно, чтобы кормилица пользовалась несколько большими удобствами жизни, чтобы пища у нее была несколько более питательна, но не следует ей совершенно изменять образ жизни; ибо быстрая и всецелая перемена, даже от худшего к лучшему, всегда опасна для здоровья; и так как обычный ее режим сохранил или дал ей здоровье и хорошее сложение, то к чему же изменять его? Крестьянки меньше едят мяса и больше овощей, чем городские женщины; этот растительный режим оказывается более благоприятным для них самих и детей их, чем режим противоположный. Когда они поступают кормилицами в городские семьи, их начинают кормить супами — в убеждении, что суп и мясной бульон улучшат у них млечный сок и увеличат количество молока.

Я совершенно не согласен с этим мнением; и за меня говорит опыт, который учит нас, что дети, подобным образом вскормленные, более других подвержены коликам и глистам.

В этом мало удивительного, потому что животное вещество, когда разлагается, кишит червями, чего не бывает с веществом растительным. Молоко, хотя и вырабатывается в теле животного, есть вещество растительное<sup>\*</sup>; это показывает анализ его; оно легко скисается и не только не дает никакого следа летучей щелочи, как это бывает с веществами животными, но дает, как растения, нейтральную соль.

Молоко травоядных самок слаще и здоровее, чем молоко плотоядных. Образовавшись из вещества, однородного с ним самим, оно лучше сохраняет свою природу и менее подвержено разложению. Что же касается количества, то всякий знает, что мучная пища дает больше крови, чем мясная: первая должна, значит, производить больше и молока. Мне не верится, чтобы ребенок мог когда-либо страдать от глистов, если его отняли от груди не слишком рано или после отнятия кормили исключительно растительной пищей и если кормилица его тоже питалась лишь растительной пищей.

Очень возможно, что молоко, которое дает растительная пища, скорее скисается; но я вовсе не смотрю на кислое молоко как на пищу нездоровую: целые народы употребляют молоко не иначе, как в кислом виде,— и ничуть от этого не страдают; а весь этот подбор веществ, всасывающих кислоты, кажется мне чистым шарлатанством. Есть натуры, для которых молоко совершенно не годится,— в этом случае никакое всасывающее вещество не сделает его сносным; другие же переносят его без всяких всасывающих средств. Боятся молока свернувшегося,— но это безрассудство: ведь известно, что в желудке молоко всегда свертывается. Этим-то путем оно и становится пищей настолько плотной, что может питать детей и новорожденных животных; если бы оно не свертывалось, оно просто проходило бы в желудке и не питало бы<sup>\*\*</sup>. Как ни разбавляй молоко, сколько ни употребляй всасывающих веществ, все-таки, кто ест молоко, тот переваривает и творог: это — правило без исключений. Желудок так хорошо приспособлен к свертыванию молока, что сывороточную закваску производят именно с помощью желудка телячьего.

<sup>\*</sup> Женщины едят хлеб, овощи, молочное; самки собак и кошек также едят все это; волчицы едят даже траву. Вот растительные соки для их молока. Остается исследовать молоко тех пород, которые питаются исключительно одним мясом, если есть такие,— в чем я сомневаюсь.

<sup>\*\*</sup> Хотя питающие нас соки представляют жидкость, но они должны получаться из плотных пищевых веществ. Если бы человек работающий питался одним бульоном, он скоро погиб бы. Но его гораздо лучше поддерживало бы молоко, потому что оно свертывается.

Итак, вместо того чтобы изменить обычную пищу кормилицы, достаточно, думаю, давать ей ту же пищу, но в большем количестве и с лучшим выбором. Постная пища горячит не вследствие самого состава пищевых веществ; приправы — вот что делает ее нездоровую. Измените правила вашей кухни: не жарьте ничего в масле; пусть масло, соль, молочное не проходит через огонь;



варите овощи в воде и приправляйте их лишь тогда, когда их горячими подают на стол,— и постная пища вместо того, чтобы горячить, даст кормилице молоко в изобилии и лучшего качества\*. Раз для ребенка признан лучшим режим растительный, каким же образом для кормилицы лучшим будет режим животный? Тут очевидное противоречие.

\* Кто глубже хочет вникнуть в вопрос о преимуществах и неудобствах пифагорейского режима, тот может обратиться к трактатам, написанным по поводу этого важного предмета докторами Кокки и Бианки З<sup>4</sup>, его противником.

Воздух влияет на телосложение детей особенно в первые годы жизни. В нежную и мягкую кожу он проникает через все поры и мощно действует на эти возникающие организмы; он оставляет следы, которые никогда не сглаживаются. Поэтому и я вовсе не того мнения, что крестьянку следует тащить из деревни, запереть ее в городе и заставить в четырех стенах кормить ребенка: вместо того чтоб ей дышать дурным городским воздухом, я предпочитаю, чтобы ребенок дышал хорошим деревенским воздухом. Он войдет в быт своей деревенской матери, будет жить в ее деревенском доме, и воспитатель последует за ним туда же. Читатель должен хорошо помнить, что воспитатель этот не наемный человек: это — друг отца. Но если, скажут мне, такого друга не найдешь, если подобный переезд невыполним, если нельзя выполнить ни одного из ваших советов,— что тогда делать вместо этого?.. Я сказал уже об этом: то, что вы делаете, тут нет нужды в советах.

Люди созданы не для того, чтобы скучиваться в муравейники, но чтобы жить рассеянными по земле, которую они должны обрабатывать. Чем больше они скучиваются, тем более портятся. Телесные немощи, равно как и душевные пороки, являются неизбежным последствием этого слишком многочисленного скопления. Из всех животных человек наименее способен жить в стаде. Люди, скученные как овцы, в самое короткое время погибли бы. Дыхание человека смертельно для подобных ему: это не менее верно и в собственном смысле, чем в переносном.

Города — пучина для человеческого рода. В несколько поколений расы погибают или вырождаются; им нужно обновление, а это обновление дает всегда деревня. Посылайте же детей своих обновляться, так сказать, и восстанавливать среди полей силу, утраченную в нездоровой атмосфере местностей, слишком густо населенных. Беременные женщины, живущие в деревне, спешат на время родов в город: они должны были бы поступать совершенно наоборот, особенно те, которые хотят сами кормить своих детей. Им менее пришлось бы жалеть о городе, чем они думают; среди обстановки, более естественной для человеческого рода, удовольствия, связанные с обязанностями, налагаемыми природою, скоро отбили бы у них всякую охоту к другим, сюда не относящимся, удовольствиям.

После родов ребенка прежде всего обмывают теплой водой, к которой обыкновенно примешивают вина. Прибавление вина кажется мне совершенно излишним. Так как природа

ничего не производит такого, что подвергалось уже брожению, то невероятно, чтоб употребление искусственно полученной жидкости необходимо было для жизни ее творений.

По той же причине и нагревание воды оказывается предосторожностью столь же мало необходимою; и действительно, множество народов моют новорожденных детей своих прямо в реке или море, но наши дети, изнеженные еще до рождения, вследствие изнеженности отцов и матерей, являются в свет уже с расстроеным организмом, который нельзя сразу подвергать всем испытаниям, имеющим в виду восстановить его. Лишь постепенно можно довести его до первоначальной крепости. Держитесь поэтому на первых порах обычая и лишь исподволь уклоняйтесь от него. Чаще мойте детей; их неопрятность показывает, что это необходимость. Если их просто вытирать, то это дерет кожу. Но по мере того как дети крепнут, понижайте постепенно температуру воды, пока наконец не станете летом и зимой мыть их в холодной воде и даже в ледяной. Так как, во избежание опасности, важно, чтоб это понижение температуры было медленным, последовательным и незаметным,; то для точного измерения можно пользоваться термометром.

Раз установившись, эта привычка к купанью не должна уже прекращаться; важно сохранить ее на всю жизнь. Я рассматриваю ее не только со стороны опрятности и здоровья для данного момента, но и вижу в ней полезную меру для развития большой гибкости в ткани фибров, так, чтобы они, без труда и риска, выносили различные степени жара и холода. С этою целью желательно было бы по мере возраста привыкать мало-помалу купаться изредка в теплой воде всех степеней теплоты, какие можно выносить, и часто в холодной воде всевозможных градусов. Таким образом, приучив себя выносить различную температуру воды, которая, как жидкость более плотная, имеет больше точек соприкосновения с нашим телом и сильнее на нас действует, мы стали бы почти нечувствительными к изменениям температуры воздуха<sup>25</sup>.

Не допускайте, чтобы ребенка в тот же момент, как он впервые вздохнул, выйдя из своих оболочек, закутывали в другие оболочки, в которых ему еще теснее. Прочь чепчики, прочь завязки и свивальники; достаточно просторных и широких пеленок, которые давали бы свободу всем его членам и не были бы настолько тяжелы, чтобы стеснять его движения, или настолько теплы, чтобы не давать ему чувствовать влияния воздуха\*. Поместите его в просторную, хорошо обитую колыбель\*\*, где он мог бы легко и безопасно двигаться. Когда он начнет укрепляться, пустите его ползать по комнате; дайте ему возможность развешивать, вытягивать свои маленькие члены; вы увидите, что они со дня на день будут крепнуть. Сравните его с ребенком, которого крепко пеленают в том же возрасте, и вы будете изумлены разницею в их развитии\*\*\*.

\* В городах детей заставляют задыхаться, держа их взаперти и постоянно одетыми. Люди воспитывающие, очевидно, еще не поняли, что холодный воздух не только не вреден, но даже укрепляет детей, а теплый воздух расслабляет их, причиняет лихорадку и губит их.

\*\* Я говорю «колыбель»<sup>26</sup>, употребляя обычное слово, за неимением другого, но я все-таки убежден, что нет ни малейшей необходимости качать детей и что этот обычай часто бывает для них губительным.

\*\*\* «Древние перуанцы, пеленая детей в очень просторный свивальник, руки у них оставляли свободными; когда же их распеленывали, то оставляли на свободе в ямке, вырытой в земле и устланной пеленками, опуская туда до половины туловища; в таком положении руки у них были свободными, и они могли по желанию двигать свою голову и сгибать туловище, не падая и не ушибаясь. Как только они научатся переступать с ноги на ногу, их манили издали грудью, чтобы заставить ходить. Дети негров сосут иной раз грудь в положении гораздо более утомительном: они охватывают коленями и ногами одно из бедер матери и так крепко прижимаются, что могут держаться на нем без всякой поддержки со стороны матери. Они хватаются ручонками за грудь матери и постоянно сосут ее, не соскальзывая и не падая, несмотря на различные движения матери, которая тем временем занята бывает обычной своей работой. Дети эти со второго месяца начинают ходить или скорее ползать на коленях и руках. Благодаря упражнению они привыкают почти так же быстро передвигаться в этом положении, как если бы они бегали на ногах» (Бюффон, Естественная история, т. IV, с. 192). К этим примерам Бюффон мог бы прибавить и указание на Англию, где нелепый и варварский обычай пеленать детей со дня на день выходит из употребления. См. также «Путешествие в Сиам» Ла Лубера, «Путешествие по Канаде» Ле Бо и др.<sup>37</sup>. Я наполнил бы страниц двадцать цитатами, если бы имел нужду подтвердить свое мнение фактами.

Нужно ожидать большого сопротивления со стороны кормилиц, которым ребенок, крепко связанный по рукам и ногам, доставляет меньше хлопот, чем тот, за которым нужно постоянно наблюдать. Кроме того, если ребенок не завернут, неопрятность его скорее бросится в глаза; приходится, значит, чаще подмывать его. Наконец и обычай — это такой аргумент, который в известных странах неопровержим, — к удовольствию черни всех государств.

Нечего рассуждать с кормилицей; приказывайте, наблюдайте за исполнением и прилагайте все старание, чтоб облегчить ей на деле те заботы, которые вы возложите на нее. Почему вам не разделить этих забот? При обычных способах вскармливания, когда имеют в виду только физическую сторону, лишь бы ребенок был жив, лишь бы не зачах, остальное почти не важно; но здесь, где воспитание начинается вместе с жизнью, ребенок уже при рождении бывает учеником не воспитателя, а природы. Воспитатель только и делает, что изучает, под руководством этого первого учителя, и не допускает, чтобы заботы последнего встречали помеху. Он присматривает за питомцем, наблюдает его, следит и бдительно высматривает первый проблеск его слабого понимания, подобно тому, как мусульмане при приближении первой четверти зорко высматривают момент восхода луны.

Мы рождаемся способными к учению, по ничего не понимающими,; ничего не сознающими. Душа, скованная несовершенными и полусформированными органами, не чувствует даже своего собственного существования. Движения, крики ребенка, только что родившегося, суть чисто механические проявления, лишённые сознания и воли.

Предположим, что ребенок имел бы при своем рождении рост и силу человека взрослого, что он вышел бы, так сказать, во всеоружии из лона матери своей, как Паллада вышла из головы Юпитера<sup>28</sup>; этот мужчина-дитя был бы совершенным глупцом, автоматом, статуей недвижимой и почти но чувствующей: он ничего не видел бы, ничего не слышал бы, никого не узнавал бы; не умел бы повернуть глаз к тому, на что нужно смотреть, он не только не замечал бы ни одного предмета вне себя, но и не относил бы ни одного предмета к тому органу чувств, с помощью которого он не мог бы заметить; цвета не доходили бы до его глаз, звуки не доходили бы до ушей; тела, которых он касался бы, не вызывали бы в его теле ощущений прикосновения; он не знал бы даже, что у него самого есть тело; прикосновение его рук совершалось бы в мозгу его; все его ощущения собирались бы в одном пункте; все его существование заключалось бы в общем средоточии чувств (*commune sensorium*), у него была бы всего одна идея — именно идея его «я», к которой он относил бы все свои ощущения, и эта идея или, скорее, чувство было бы единственной вещью, отличающей его от обыкновенного ребенка.

Этот человек, сформированный сразу, не умел бы даже стоять на ногах; ему потребовалось бы много времени, чтобы научиться держать себя в равновесии; быть может, он ни разу и не сделал бы такого опыта, и вы увидели бы, как это огромное тело, сильное и крепкое, не может, как камень, сдвинуться с места или ползает и тащится, как щенок, по земле.

Он чувствовал бы всю тягость своих потребностей, не сознавая их и не умея придумать никакого средства, чтобы удовлетворить их. У него не было бы никакого непосредственного сообщения между мускулами желудка и мускулами рук и ног; если бы даже он был окружен пищей, ничто не заставляло бы его сделать хоть один шаг, чтобы приблизиться к ней, или протянуть руку, чтобы захватить ее; и так как тело его уже получило надлежащий рост, члены совершенно развиты и он, следовательно, не производил бы тех постоянных беспокойных движений, которые свойственны детям, то он мог бы умереть с голоду, не тронувшись с места для того, чтобы найти себе пропитание. Кто хоть немного размышлял о порядке приобретения и прогрессе наших знаний, тот не может отрицать, что таково почти и было первобытное состояние невежества и глупости, естественное для человека, прежде чем он научился чему-либо из опыта или от подобных себе.

Итак, мы знаем или по крайней мере можем знать тот первый пункт, с которого каждый из нас отправляется, чтобы дойти потом до обычной для нас степени разумения; но кто знает другой крайний пункт? Каждый подвигается вперед более или менее, смотря по своим способностям, вкусу, потребностям и талантам, смотря по своему рвению и случаям, где можно выказать это

рвение. Я не думаю, чтобы какой-нибудь философ был настолько смел, чтобы сказать: вот предел, до которого может пойти человек и которого он не сумеет перейти. Мы не знаем, чем нам быть позволит наша природа; ни один из нас не измерил расстояния, которое может быть между одним человеком и другим человеком. Где та низкая душа, которую никогда не согревала эта идея и которая в своей гордости не говорила подчас самой себе: «Сколько мною уже пройдено! Сколь многого я могу еще достигнуть! Почему и ближнему моему не идти дальше меня?» Воспитание человека, повторяю, начинается вместе с рождением его; прежде чем говорить, прежде чем слышать, он уже обучается. Опыт предшествует урокам; в момент, когда он узнает кормилицу, он уже многое приобрел. Мы были бы изумлены познаниями человека, даже самого грубого, если бы проследили развитие его с момента, когда он родился, до того момента, которого он достиг. Если разделить все знания человеческие на две части и отнести к одной знания, общие всем людям, а к другой — свойственные ученым, то последняя часть оказалась бы самой незначительной по сравнению с первой. Мы почти не замечаем приобретений всеобщих, потому что мы делаем эти приобретения, вовсе не думая о них, и даже не достигли еще разумного возраста, потому что знание можно подметить лишь путем различения, а величины общие, как в алгебраических уравнениях, не идут в счет.

Животные даже — и те много приобретают. У них есть чувства — нужно научиться удовлетворять их; нужно научиться есть, ходить, летать. Четвероногие, которые с самого рождения могут держаться на ногах, ходить все-таки не умеют на первых порах: в их первых шагах видны лишь неуверенные попытки. Канарейки, вырвавшиеся из клеток, не умеют летать, потому что никогда не летали. Для существ одушевленных и чувствующих все служит предметом обучения. Если бы растения были способны к прогрессивному движению, и они должны были бы иметь чувства и приобретать познания: в противном случае виды скоро погибли бы.

Первые ощущения детей чисто аффективные — они ощущают только удовольствие или страдание. Так как они не могут ни ходить, ни брать предметы, то им требуется много времени для того, чтоб у них мало-помалу образовались ощущения с характером представления, указывающие на существование предметов вне их самих. Но прежде чем эти предметы займут для них пространство, удалятся, так сказать, от их глаз, получают размеры и форму, повторение аффективных ощущений начинает уже подчинять их владычеству привычки. Мы видим, что глаза их беспрестанно обращаются к свету, и, если свет падает сбоку, незаметно принимают это же направление; таким образом мы должны стараться держать их лицом к свету из опасения, чтобы глаза их не стали косыми или не привыкли смотреть косо. Нужно также с ранних пор приучать их к потемкам; иначе они будут плакать и кричать, лишь только очутятся в темноте. Слишком точное распределение пищи и сна делает то и другое необходимым по истечении каждого определенного промежутка времени: скоро желание начинает являться уже не из потребности, а из привычки,

или, лучше сказать, привычка прибавляет новую потребность к потребности природной — вот это-то и следует предупреждать.

Единственной привычке нужно дать возможность развиваться в ребенке: это — не усваивать никаких привычек. Пусть его не носят на одной руке чаще, чем на другой; пусть не приучают одну руку скорее протягивать или чаще пускать в дело, чем другую; пусть не приучают есть, спать, действовать в один и те же часы; пусть он не боится ни ночью, ни днем одиночества. Подготавливайте исподволь царство свободы и умение пользоваться своими силами, предоставляя его телу привычки естественные, давая ему возможность быть всегда господином самого себя и во всем поступать по своей воле, как только будет иметь ее.

Когда ребенок начинает различать предметы, важно уметь делать выбор между предметами, которые ему показывают. Очень естественно, что все новые предметы интересуют человека. Он чувствует себя столь слабым, что боится всего, с чем незнаком; привычка же видеть новые предметы без особенного возбуждения уничтожает этот страх. Дети, воспитанные в домах, где соблюдается чистота, где не терпят пауков, боятся последних, и эта боязнь остается у иных часто в зрелом возрасте. Но я не видывал, чтобы кто-нибудь из крестьян — мужчина, женщина или ребенок — боялся пауков.

Как же не начинать воспитания ребенка еще прежде, чем он станет говорить и понимать, если уж один выбор предметов, которые ему показывают, способен сделать его или ребенком, или мужественным? Я хочу, чтоб его приучали к виду новых предметов, к виду безобразных, отвратительных, причудливых животных, но не иначе, как постепенно, исподволь, пока он не освоится с ними и, видя, как другие берут их в руки, не станет, наконец, и сам брать их. Если в детстве без ужаса он глядел на жаб, змей, раков, то и выросши он без отвращения будет смотреть на какое угодно животное. Нет предметов ужасных для того, кто видит их каждый день.

Все дети боятся масок. Я начну с того, что покажу Эмилю маску с приятными чертами лица; затем кто-нибудь у него на глазах наденет ее на лицо: я начну хохотать, засмеются и все, — и ребенок вместе с другими. Мало-помалу я приучу его к маскам с менее приятными чертами и, наконец, к фигурам отвратительным. Если я хорошо выдержал градацию, то он не только не испугается последней маски, но будет смеяться над ней, как и над первой. После этого я не боюсь уже, что его испугают масками.

Когда, при прощании Гектора с Андромахой, младенец Астианакс, испуганный султаном, развевавшимся на шлеме отца, не узнал последнего, бросился с криком на лоно кормилицы, вызвав у матери улыбку, смешанную со слезами, — что следовало тогда сделать, чтобы рассеять этот испуг? То именно, что сделал Гектор: положить шлем на землю и потом обласкать ребенка<sup>29</sup>. Но в минуту более покойную на этом не остановились бы: подошли бы к шлему поближе, поиграли бы его перьями, дали бы ребенку подержать их в руке, наконец; кормилица взяла бы

шлем, надела бы его, улыбаясь, себе на голову — если только рука женщины осмелилась бы коснуться оружия Гектора.

Если нужно приучить Эмиля к звуку огнестрельного оружия, я сначала зажигаю затравочный порох в пистолете. Это внезапно и на миг явившееся пламя, этот род молнии веселит его; я повторяю тот же опыт с большим количеством пороха; прибавляю постепенно в пистолет небольшой заряд без пыжа, заряд побольше; наконец, приучаю его к выстрелам из ружья, к мортирам, пушкам — к самой страшной пальбе.

Я заметил; что дети редко боятся грома, если только раскаты не бывают ужасными и действительно невыносимыми для органа слуха; боязнь эта у них является тогда только, когда они узнают, что молния ранит, а иной раз и убивает. Когда разум начинает внушать им страх, устройте так, чтобы их ободряла привычка. Путем медленной и искусной постепенности и взрослого и ребенка можно сделать бесстрашным до отношению ко всему.

В первые годы жизни, когда память и воображение еще бездействуют,; ребенок бывает внимателен лишь к тому, что в данное время действует на его чувства; так как ощущения его служат первым материалом для его познаний, то представлять их ему в надлежащем порядке — значит готовить его память к тому, чтобы со временем она в том же порядке доставляла их и его разуму. Но так как ребенок внимателен только к своим ощущениям, то на первый раз достаточно отчетливо показать ему связь этих самых ощущений с предметами, их производящими. Он хочет до всего дотронуться, все взять в руки: не препятствуйте этой пытливости, она дает ему первые опыты знания, самые необходимые. Этим именно путем он научается ощущать тепло, холод, твердость и мягкость, тяжесть и легкость тел, судить об их величине, фигуре и о всяких доступных чувству свойствах, — судить с помощью зрения, осязания, слуха, особенное помощью сопоставления зрения с осязанием, посредством оценки на взгляд того ощущения, которое он получил бы при помощи пальцев\*. Мы только через движение знаем, что есть вещи, отличные от нас самих, и только через наше собственное движение приобретаем идею протяжения. Ребенок не имеет этой идеи; поэтому-то он и протягивает руку безразлично и к тому предмету, который в ста шагах от него. Это усилие его вам кажется властным мановением, приказом, которые он отдает предмету, чтоб он приблизился, или вам, чтобы вы принесли его, но это вовсе не то: это только значит, что он теперь видит у конца своих рук те самые предметы, которые видел сначала в своем мозгу, потом в глазу своем, и что он может представить себе лишь такое протяжение, которого может достигнуть. Заботьтесь же чаще носить его гулять, переносить с места на место, давать ему чувствовать перемену местности, чтобы научить его судить о расстояниях. Когда он начнет различать их, тогда нужно изменить методу и носить его туда, куда вам хочется, а не туда, куда ему хочется, потому что, коль скоро чувство уже не обманывает его, усилия его вызываются уже другою причиной. Перемена эта замечательна и требует объяснения.

\* Обоняние развивается в детях позже всех других чувств; до двух- или трехлетнего возраста они, по-видимому, не чувствительны ни к хорошим, ни к дурным запахам. Они выказывают в этом отношении то же равнодушие или, скорее, нечувствительность, какие мы замечаем у некоторых животных.

Ощущение неудовлетворенной потребности выражается знаками, когда для удовлетворения ее необходима помощь другого. Отсюда — крики детей. Они плачут много; это так и должно быть. Так как все их ощущения имеют характер аффективный, то, если они приятны, дети наслаждаются ими молча; если же они тягостны, они выражают это на своем языке и требуют облегчения. А пока они бодрствуют, они почти не могут оставаться в состоянии безразличия: они спят или находятся под влиянием аффекта.

Все наши языки суть произведения искусства. Долго искали, нет ли языка природного и общего всем людям. Он, несомненно, есть — это тот язык, которым говорят дети, прежде чем научаются говорить. Язык этот нечленораздельный, но он выразителен, звучен, понятен. Пользуясь своими языками, мы до того стали пренебрегать им, что наконец совершенно его забыли. Станем изучать детей, и около них мы скоро припомним его. Кормилицы — учителя для нас этого языка; они все понимают, что говорят их питомцы; они отвечают им, ведут с ними очень связные беседы и хотя произносят слова, но слова эти совершенно бесполезны; не смысл слова понимают дети, а то выражение, с которым оно сказано.

К языку голосовому присоединяется язык жестов — не менее энергичный. Жесты эти не в слабых руках детей, а на их лицах. Удивительно, как выразительны уже эти физиономии, еще плохо сформировавшиеся: черты их с минуты на минуту изменяются с непостижимой быстротой; вы видите, как, подобно блескам молнии, зарождается и исчезает улыбка, желание, страх; каждый раз вы будто видите другое лицо. Мускулы лица у них, несомненно, подвижнее, чем у нас. Но зато их тусклые глаза почти ничего не говорят. Таким и должен быть язык знаков в возрасте, которому знакомы лишь телесные потребности: выражение ощущений заключается в движениях лица, выражение чувствований — во взгляде.

Так как первое состояние человека есть состояние ничтожности и слабости, то первые звуки его бывают жалобой и плачем. Ребенок чувствует свои потребности и не может их удовлетворить — и вот он просит чужой помощи криками; если ему хочется есть или пить, он плачет; если ему слишком холодно или слишком жарко, он плачет; если у него является потребность движения, а его держат в покое, он тоже плачет; ему хочется спать, а его качают — он опять плачет. Чем меньше он может располагать своим состоянием, тем чаще он требует, чтоб изменяли последнее. У него один способ выражения, потому что у него только один, так сказать, род злополучий: при несовершенстве своих органов он не различает их разных впечатлений; все бедствия производят в нем одно ощущение — бола.



Из этого плача, который, казалось бы, столь мало заслуживает внимания, рождается первое отношение человека ко всему тому, что его окружает: здесь куется первое звено той длинной цепи, из которой образовался общественный строй.

Когда ребенок плачет, то, значит, ему не по себе, он ощущает какую-нибудь потребность, удовлетворить которую не умеет: мы исследуем, разыскиваем эту потребность — находим и удовлетворяем ее. Если мы не находим ее или если нельзя удовлетворить ее, плач продолжается и надоедает нам: мы ласкаем ребенка, чтобы заставить его замолчать, убаюкиваем, напеваем ему, лишь бы он заснул: если он упрямится, мы раздражаемся, грозим ему; грубые кормилицы подчас и бьют его. Какие странные уроки получает он при вступлении в жизнь!

Я никогда не забуду, как одного из таких докучливых плакс прибила кормилица. Он тотчас же смолк; я подумал, что он испугался. Я говорил себе: вот будет раболепная душа, от которой ничего не добьешься иначе, как строгостью. Я ошибался: несчастного душил гнев; у него захватило дыхание; я увидел, как он посинел. Минуту спустя раздались пронзительные крики: все выражения злобы, ярости, отчаяния, на какие способен этот возраст, слышались в этих воплях. Я боялся, чтоб он не испустил духа среди этого волнения. Если б я сомневался, врожденно ли человеческому сердцу чувство справедливого и несправедливого, один этот пример меня убедил бы. Я уверен, что горячая головня, упавшая случайно на руку этого ребенка, была бы для него менее чувствительна, чем этот удар, довольно легкий, но нанесенный с очевидным намерением оскорбить его.

Это расположение детей к вспыльчивости, досаде, гневу требует чрезвычайной осторожности. Бургав<sup>30</sup> полагает, что их болезни в большинстве случаев относятся к классу конвульсивных, потому что нервы их более восприимчивы к раздражению вследствие того, что голова у них пропорциональна больше, чем у людей возмужалых, а система нервов обширнее. Удаляйте от них, как можно старательнее, прислугу, которая их дразнит, сердит, выводит из терпения: она во сто раз опаснее, губительнее для них, чем суровость климата и времен года. Пока дети будут встречать сопротивление лишь в вещах, а не в воле другого, они не сделаются ни упрямыми, ни гневными и лучше сохранят свое здоровье. Здесь кроется одна из причин того, что дети простого народа, будучи свободнее и независимее, оказываются вообще менее хилыми и нежными и более крепкими, чем те, которым хотят дать лучшее воспитание с помощью постоянных противоречий их желаниям; но нужно всегда помнить, что большая разница — повиноваться им или только не противоречить.

Первый плач детей есть просьба; если не принимать мер предосторожности, то она скоро делается приказанием; они начинают тем, что заставляют себе помогать, а кончают тем, что заставляют служить себе. Таким образом, из их слабости сначала возникает чувство зависимости, затем рождается идея власти и господства; но так как эта идея возбуждается в них не столько их потребностями, сколько нашими услугами, то тут начинают, значит, проявляться нравственные

влияния, непосредственная причина которых лежит уже не в природе; теперь уже видно, почему можно с этого первого возраста разобрать тайное намерение, лежащее в основе жеста или крика.

Когда ребенок протягивает руку с усилием и молча, он думает достать предмет, потому что не умеет оценивать расстояния,— в этом случае он заблуждается; но когда он жалуется и кричит, протягивая руку, тут уже не обманывается в расстояния, а приказывает или предмету приблизиться, или вам принести ему предмет. В первом случае медленными и небольшими шагами поднесите его к предмету; во втором не показывайте даже вида, что слышите его; чем больше будет кричать, тем менее вы должны его слушать. С ранних пор следует приучить ребенка не повелевать ни людьми, потому что он не господин их, ни вещами, потому что они его не понимают. Таким образом, если ребенок желает какой-нибудь вещи, которую видит и которую хотят ему дать, то лучше поднести его к предмету: он извлекает из этого образа действия вывод, доступный его возрасту, а другого средства внушить ему этот вывод нет.

Аббат де Сен-Пьер<sup>31</sup> называл людей большими детьми; можно было бы и — наоборот — детей назвать маленькими людьми. Как сентенции, эти положения заключают в себе долю истины; как принципы, они нуждаются в пояснении. Но когда Гоббс<sup>32</sup> называл злого человека сильным ребенком, он высказывал мысль совершенно противоречивую. Всякая злость порождается слабостью; ребенок только потому и бывает злым, что он слаб; сделайте его сильным, и он будет добр: кто мог бы делать все, тот никогда не делал бы зла. Из всех свойств всемогущего Бога благодать такое свойство, без которого труднее всего представить себе Бога. Все народы, признававшие два начала, злое начало всегда ставили ниже доброго; в противном случае они предполагали бы нечто абсурдное. См.: «Исповедание веры савойского викария».

Один разум научает нас распознавать добро и зло. Совесть, заставляющая нас любить одно и ненавидеть другое, не может, значит, развиваться без разума, хотя она и не зависит от него. До наступления разумного возраста мы делаем добро и зло, не сознавая его, и в наших действиях нет нравственного элемента, хотя бы он и был иной раз в нашем суждении о действиях другого, имеющих к нам отношение. Ребенку хочется привести в беспорядок все, что он видит; он бьет, ломает все, что может достать; он хватается птицу, как схватил бы камень, и душит ее, сам не зная, что делает.

Отчего это? Философия станет объяснять это прежде всего естественными пороками: гордость, властолюбие, самолюбие, злость человека — и сознание своей слабости, могла бы она прибавить — вселяют в ребенка страсть совершать поступки, выражающие силу, и доказывать самому себе свое собственное могущество. Но вот посмотрите на этого дряхлого старика, доведенного круговоротом человеческой жизни снова до детской слабости: он не только остается неподвижным и покойным, но хочет еще, чтобы все и вокруг него оставалось таковым же; малейшая перемена его смущает и беспокоит; ему хотелось бы, чтобы царил тишина. Каким образом то же бессилие в соединении с теми же страстями могло бы в двух возрастах вести к

столь различным результатам, если бы первая причина оставалась неизменною? И где искать этого различия причин, как не в физическом состоянии обоих индивидов? Начало деятельное, общее им обоим, в одном развивается, в другом потухает; один формируется, другой разрушается; один стремится к жизни, другой — к смерти. Слабеющая деятельность старика сосредоточивается в его сердце; в сердце же ребенка она бьет ключом и распространяется наружу; ребенок — можно сказать — чувствует в себе столько жизни, что может оживлять и все окружающее. Создает ли он или портит — все равно: ему лишь бы изменять состояние вещей, а всякое изменение есть действие. Если у него как будто больше склонности к разрушению, то это не от злости: это оттого, что действие созидающее всегда бывает медленным, а действие разрушающее, как более стремительное, больше подходит к его живости.

Наделяя детей этим деятельным началом, Творец природы озаботился, чтоб оно мало приносило вреда, и предоставил им для этой деятельности очень мало силы. Но как скоро у них является возможность смотреть на окружающих людей как на орудие, которое они могут по своему произволу пустить в действие, они им пользуются, чтобы удовлетворить свою склонность и возместить свою собственную слабость. Вот каким путем они становятся докучными, тиранами, высокомерными, злыми, неукротимыми; и это развитие ведет начало не от прирожденного духа господства, по само вызывает этот дух, ибо не нужно долгого опыта для того, чтобы почувствовать, как приятно действовать чужими руками и, пошевелив только языком, приводить в движение вселенную.

Подрастая, мы приобретаем силы, делаемся менее беспокойными, менее подвижными, больше углубляемся в себя. Душа и тело приходят, так сказать, в равновесие, и природа требует уже лишь столько движения, сколько необходимо для нашего самосохранения. Но желание повелевать не замирает вместе с потребностью, его породившею; власть будит самолюбие и льстит ему, а привычка укрепляет его: так прихоть занимает место потребности, так пускают свои первые корни предрассудки и ложные убеждения.

Раз известен нам принцип, мы ясно уже видим пункт, где покидают естественный путь; посмотрим, что нужно делать, чтоб удержаться на нем.

У детей не только нет избытка сил, но даже не хватает их для всего того, чего требует природа; нужно, значит, предоставить им пользование всеми теми силами, которыми она наделила их и которыми они не умеют злоупотреблять. Вот первое правило.

Нужно помогать им и восполнять для них недостаток разумения или силы во всем, что касается физических потребностей. Это — второе правило.

Оказывая им помощь, нужно ограничиваться только действительным, не делая никаких уступок ни прихоти, ни беспричинному желанию; ибо их не будут мучить прихоти, если не дать им возможности зародиться, так как они не вытекают из природы. Это — третье правило.

Нужно старательно изучать язык детей и их знаки, чтобы различать — так как они в этом возрасте не умеют еще притворяться,— что в их желаниях идет непосредственно от природы и что порождено прихотью. Это — четвертое правило.

Суть этих правил состоит в том, чтобы давать детям больше истинной свободы и меньше власти, предоставлять им больше действовать самим и меньше требовать от других. Таким образом, приучаясь с ранних пор ограничивать желания пределами своих сил, они мало будут чувствовать лишения того, что не в их власти.

Вот, значит, новое основание — и притом очень важное — давать телу и членам детей полную свободу, заботясь только о том, чтоб устранить опасность падения и удалять от их рук все, что может их ушибить.

Ребенок, у которого тело и руки свободны, неминуемо будет меньше плакать, чем ребенок, затянутый свивальником. Кому знакомы только физические потребности, тот плачет лишь тогда, когда страдает, и это очень большое преимущество; ибо в этом случае мы вовремя узнаем, когда он нуждается в помощи, и мы должны, не медля ни минуты, подать ее, если возможно. Но если вы не можете облегчить его положения, оставайтесь спокойными и не ласкайте его с целью успокоить: ласки ваши не исцелят его колик, а между тем он будет помнить, что нужно сделать для того, чтоб его приласкали; и если он хоть раз сумеет по своей воле занять вас собою, он стал уже вашим господином,— и все пропало.

Если меньше стеснять детей в движениях, они меньше будут плакать; если вам меньше будет надоедать плач их, вы меньше станете мучиться, заставляя их молчать; реже слыша угрозы или ласки, они станут менее боязливými или менее упрямыми и скорее останутся в своем естественном состоянии. Они получают грыжу не столько оттого, что им дают волю плакать, сколько оттого, что слишком усердствуют их успокоить; а доказательство я вижу в том, что дети, наиболее остающиеся в пренебрежении, менее других ей подвержены. Я, однако, очень далек от желания, чтобы пренебрегали детьми,— напротив, важно предупреждать их нужды и не давать им воли заявлять о них криками. Но я не хочу также, чтобы заботы о них были бестолковы. Зачем они станут воздерживаться от плача, раз они видят, что плач их пригоден для стольких целей? Узнавши, какую цену придают их молчанию, они берегутся расточать его. Они, наконец, настолько возвышают его цену, что его нельзя уже и купить, и тогда излишним плачем они уже насилуют себя, истощают и губят.

Продолжительный плач ребенка, который не связан, не болен, ни в чем не нуждается, происходит исключительно от привычки и упорства. Тут виновата не природа, а кормилица, которая, не желая выносить докучливых криков, только умножает их; она не понимает, что, заставляя ребенка молчать сегодня, мы этим побуждаем его еще больше плакать завтра.

Единственный способ искоренить или предупредить эту привычку — это не обращать на плач никакого внимания. Никто не любит трудиться даром, даже дети. Они упорны в своих попытках;

но если у вас больше твердости, чем у них упрямства, они сдаются и уже не возвращаются к этому. Таким-то образом избавляют их от плача и приучают только тогда проливать слезы, когда их вынуждает к этому боль.

Впрочем, когда они плачут от каприза или упрямства, есть верное средство прекратить плач: стоит только развлечь их каким-нибудь приятным и поражающим предметом, который заставит их забыть о плаче. Большинство кормилиц отличается этим искусством; и если употреблять его с большим разбором, оно очень полезно; но в высшей степени важно, чтобы ребенок не заметил намерения развлекать его и забавлялся, не помышляя, что о нем заботятся,— а в этом именно все кормилицы не особенно ловки.

Отнимают детей от груди всегда слишком рано. Время, когда их нужно отнимать, указывается прорезыванием зубов, и это прорезывание обыкновенно бывает трудным и болезненным. Машинальный инстинкт побуждает в этом случае ребенка нести ко рту все, что он держит,— с целью жевать. Думают облегчить операцию тем, что в качестве погремушки дают ему какое-нибудь твердое тело, например слоновую кость или полировальный зуб<sup>33</sup>. Я полагаю, что это — заблуждение. Эти твердые тела, надавливая десны, вместо того чтобы размягчать, делают их мозолистыми, затверделыми, подготавливают прорезывание более трудное и болезненное. Станем брать за образец всегда инстинкт. Мы видим, что щенки упражняют свои подрастающие зубы не на камнях, не на железе или кости, а на дереве, коже, лоскутках,— на материях мягких, которые поддаются и в которые зуб может вонзиться.

Теперь уже ни в чем не умеют соблюдать простоты, даже по отношению к детям. Серебряные, золотые, коралловые бубенчики, граненый хрусталь, всякой цены и всякого вида погремушки — сколько бесполезных и губительных приборов! Ничего этого не нужно — никаких бубенчиков, никаких погремушек! Маленькие древесные ветки с плодами и листьями, головка мака, в которой гремят зерна, солодковый корень, который ребенок может сосать и жевать, будут забавлять его столько же, сколько эти великолепные безделушки, и будут хороши тем, что не станут приучать его к роскоши с самого рождения.

Выяснено, что детская кашлица не особенно здоровая пища. Кипяченое молоко и сырая мука производят много желудочных нечистот и мало пригодны для нашего желудка. В кашлице мука менее сварена, чем в хлебе, и, кроме того, она не перебродила; хлебная похлебка, рисовая каша кажутся мне более предпочтительными. Если желают приготовить непременно мучную кашлицу, то муку нужно предварительно несколько поджаривать. На моей родине из такой Подсушенной муки готовят очень приятный и очень здоровый суп. Мясной бульон и суп тоже плохое кушанье, употреблять которое следует как можно реже. Важно, чтобы дети приучились прежде всего жевать: это верный способ облегчить прорезывание зубов; а когда они начинают глотать пережеванное, слюна, перемешанная с пищей, облегчает им пищеварение,

Я заставлял бы их поэтому жевать на первых порах сухие фрукты, корки. Я давал бы им вместо игрушки небольшие ломтики черствого хлеба и сухаря, вроде пьемонтского хлеба, который в той стране называют *grisses*<sup>34</sup>. Размягчая этот хлеб во рту, дети глотали бы по крошке, зубы скоро прорезались бы, и дети отвыкли бы от груди прежде, чем это заметили бы. У крестьян обыкновенно очень крепкий желудок, и детей у них отучают от груди не с большими церемониями, чем мы указали.

Дети слышат говор с самого рождения; с ними говорят но только прежде, чем они станут понимать сказанное, но даже прежде, чем они могли бы передать слышанные звуки. Их орган речи, пока еще неповоротливый, лишь мало-помалу начинает подражать произносимым перед ними звукам, и в точности неизвестно даже, с такою ли отчетливостью они на первых порах воспринимают ухом эти звуки, как и мы. Я не против того, чтобы кормилица забавляла на первых порах ребенка пением и очень веселыми, очень разнообразными мотивами; но я далеко не согласен, чтоб она беспрестанно оглушала его потоком бесполезных слов, в которых он ничего не понимает, кроме тона, каким они произносятся. Я бы хотел, чтобы первые членораздельные звуки, понимать которые учат ребенка, были медленно произносимыми, легкими, ясными, часто повторяемыми и чтобы слова, ими выражаемые, относились только к видимым предметам, которые перед этим можно показать ребенку. Несчастливая привычка легко удовлетворяться словами, которых мы не понимаем, начинается гораздо раньше, чем думают. Школьник слушает в классе разглагольствование учителя точно так же, как он слушал в пеленках болтовню кормилицы. Мне кажется, что весьма полезным делом было бы такое воспитание, чтоб он ничего тут не понимал.

Мысли зарождаются роем, когда хочешь заняться формированием языка и первых речей ребенка. Но что бы там ни делали, дети учатся говорить всегда одним и тем же способом, и все философские умствования тут совершенно бесполезны.

Прежде всего, у них, так сказать, своя, соответственная возрасту, грамматика, синтаксис которой содержит правила более общие, чем наш; если внимательно всмотреться в дело, мы изумились бы точности, с какою они держатся известных аналогий, очень ошибочных, если хотите, но очень последовательных, которые не нравятся нам только по своей резкости или потому, что обычай не допускает их. Я недавно слышал, как один отец разбил ребенка за то, что он сказал: *Mon pere, irai-je-t-y?* А ребенок этот, как видно, лучше придерживался аналогии, чем наши знатоки грамматики: если ему говорили: *Va-s-y*, то почему же он не может сказать: *Irαι-je-t-y?* Заметьте, кроме того, с какою ловкостью он избегал зияния, которое оказалось бы в выражениях: *irαι-je-y* или *y irαι-je*. Виноват ли бедный ребенок, если мы совсем некстати выбросили из фразы определительное наречие «у», потому что не умели с ним сладить<sup>35</sup>? Невыносимым педантством и совершенно излишнею заботой является старание наше исправлять у детей все эти мелкие отступления от обычая — ошибки, от которых они со временем пе

преминут отвыкнуть и сами собой. Говорите всегда правильно в присутствии их; старайтесь, чтобы ни с кем им не было так приятно оставаться, как с вами, и будьте уверены, что язык их незаметно очистится под влиянием вашего, хотя бы вы никогда не укоряли их за ошибки.

Злоупотреблением совершенно иного рода — хотя его не менее легко предотвратить — является то обстоятельство, что слишком торопятся заставить детей говорить, точно боятся, что сами собой они не научатся говорить. Эта безрассудная поспешность производит действие, прямо противоположное тому, которого ожидают. Они учатся говорить слишком поздно, слишком неотчетливо: чрезвычайное внимание, с которым встречают каждое их слово, избавляет их от труда хорошо расчленять звуки; и так как они едва достаивают раскрывать свой рот, то у многих из них на всю жизнь остается слабое произношение и неясный выговор, так что их почти не понимаешь.

Я много жил между крестьянами и никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из них — мужчина, женщина, девочка или мальчик — когда-нибудь картавил. Отчего это происходит? Неужели органы у крестьян иначе устроены, чем у нас? Нет, но их иначе упражняли. Против моего окна есть холмик, на котором собираются для игры окрестные ребята. Хотя они довольно далеко от меня, но я отлично различаю все, что они говорят, и часто из этого извлекаю хорошие заметки для этого сочинения. Каждый день ухо мое обманывает меня относительно их возраста; я слышу голоса десятилетних детей — оглядываюсь и вижу, что по росту и чертам лица это дети 3—4 лет. Я прodelываю этот опыт не исключительно над собой: городские жители, которые приходят меня навестить и которых я спрашиваю об этом же, впадают всегда в туже ошибку.

Происходит эта разница оттого, что городским детям, которые до 5 или 6 лет воспитываются в комнате и под крылом гувернантки, стоит лишь пробормотать — и их поймут; едва они станут шевелить губами, как их стараются слушать; им подсказывают слова, которые они плохо передают; а так как их окружают постоянно одни и те же люди, то благодаря постоянному вниманию последние угадывают то скорее, что те хотели сказать, чем то, что сказали.

В деревне — совершенно другое дело. Крестьянка не торчит постоянно возле своего ребенка; он принужден научиться очень ясно и очень громко выговаривать то, что ему нужно сказать. В поле дети, рассеявшись и удалившись от отца, матери и других детей, приучаются так говорить, чтобы слышно было на расстоянии, и силу голоса соразмерять с пространством, отделяющим их от того, к кому они обращаются с речью. Вот каким образом действительно учатся произношению, а не уменьем пробормотать несколько гласных на ухо внимательной гувернантке. Таким образом, когда к крестьянскому ребенку обращаются с вопросом, стыд может помешать ему ответить, но что он скажет, то скажет ясно, тогда как для городского ребенка нянька должна служить переводчиком, а иначе мы ничего не поймем из того, что он цедит сквозь зубы\*.

Подрастая, мальчики должны бы исправиться от этого недостатка в коллежах, а девочки — в монастырях; действительно, те и другие в общем говорят отчетливее, чем те, которые все время

воспитывались в отцовском доме. Но приобрести произношение столь же ясное, как у крестьян, мешает им необходимость заучивать много вещей наизусть и потом громко читать выученное; ибо, заучивая урок, они привыкают бормотать, произносить небрежно и дурно; когда же они громко отвечают урок, бывает еще хуже: они с усилиями подыскивают слова, тянут и удлинняют слоги; невозможно, чтобы язык не запинался, когда память хромает. Таким-то образом приобретаются или сохраняются недостатки произношения. Ниже мы увидим, что у моего Эмиля не будет этих недостатков — или по крайней мере если он приобретет их, то не по этим причинам.

Я согласен, что простой народ и поселяне впадают в другую крайность, что они говорят почти всегда громче, чем нужно, что, произнося слишком точно, они сильно и грубо расчленяют слова, делают слишком сильные ударения, плохо подбирают выражения и т. д.\* Явление это не без исключений; и часто дети, которых сначала меньше всего было слышно, делаются самыми оглушительными, когда начнут возвышать голос. Но если бы требовалось входить во все эти мелочи, я никогда не кончил бы; всякий рассудительный человек должен видеть, что излишек и недостаток, происшедшие от одного и того же злоупотребления, одинаково исправляются моей методой. Я считаю нераздельным оба эти правила: «всегда умеренно» и «никогда в излишке». Раз хорошо установлено первое, из него необходимо вытекает и второе.

Но, прежде всего, эта крайность кажется мне гораздо менее порочною, чем противоположная: так как вразумительность — первый закон речи, то говорить так, что другие не понимают, значит делать самую большую, какая только может быть, ошибку. Хвалиться отсутствием ударений — значит хвалиться тем, что отнимаешь у фразы грацию и энергию. Ударение — душа речи, оно придает ей чувство и истинность. Ударение менее лжет, чем слово; поэтому-то, быть может, люди благовоспитанные так и боятся его. Обычай трунить над людьми, так чтоб они этого не замечали, происходит именно от привычки все говорить одним тоном. Место изгнанного ударения унаследовала смешная, искусственная, подверженная капризам моды манера произношения — та, которую особенно мы замечаем у придворной молодежи. Эта манерность речи и обхождения и делает, вообще говоря, первую встречу с французом отталкивающей и неприятною для других наций. Вместо того чтобы придать своей речи ударение, он прибегает к изысканности тона. Это — плохое средство расположить других в свою пользу.

Все те мелкие недостатки языка, к которым так боятся приучить детей, совершенно ничтожны: их очень легко предупредить или исправить; но недостатки, которыми наделяют детей, делая выговор их глухим, невнятным, робким, непрерывно критикуя их интонацию, выискивая в каждом слове ошибки,— эти недостатки никогда не исправляются. Человека, который учился говорить лишь в проходах у кровати, не будет слышно во главе батальона; он не произведет почти действия на народ, среди волнения. Научите прежде всего детей говорить с мужчинами: они сумеют хорошо говорить и с женщинами, когда будет нужно.



Вскормленные в деревне, во всей сельской простоте, дети наши приобретут там более звучный голос; они не приучатся к невнятному лепету городских детей; они не переймут там также ни деревенских выражений, ни деревенского тона или по крайней мере легко потом отвыкнут от них, если наставник, с самого рождения их живущий вместе с ними и притом со дня на день все более и более тесною жизнью, станет правильностью своей речи предупреждать или сглаживать влияния крестьянской речи. Эмиль станет говорить по-французски так же чисто, как только умею я, но он станет говорить отчетливее меня и гораздо лучше выделять звуки.

Ребенок, начинающий говорить, должен слышать только такие слова, которые может понять, и произносить только такие, которые может выговаривать членораздельно. Усилия, им употребляемые для этого, ведут к тому, что он повторяет один и тот же слог — как бы для того, чтобы научиться более отчетливо произносить его. Если он начинает бормотать, не мучьтесь так сильно над угадыванием того, что он говорит. Претензия на то, чтобы всегда быть выслушиваемым, есть тоже род власти, а ребенок не должен пользоваться властью. Пусть довольно будет и того, что вы очень внимательно печетесь о необходимом; а это уж его дело стараться втолковать вам то, что ему не очень необходимо. Тем более не следует ребенка торопить, чтоб он говорил; он и сам хорошо научится говорить по мере того, как будет чувствовать полезность этого.

Замечают, правда, что дети, начинающие говорить слишком поздно, никогда не говорят так отчетливо, как прочие; но их орган не потому остается неуклюжим, что они поздно заговорили; напротив, они потому и начинают говорить поздно, что родились с неуклюжим органом; а иначе почему же они стали бы говорить позже других? Разве им реже приходится говорить? Разве их меньше побуждают к этому? Напротив, беспокойство, причиняемое этим замедлением с той минуты, как его заметят, ведет к тому, что их гораздо настойчивее заставляют лепетать, нежели тех, которые членораздельно заговорили с ранних пор; и эта бестолковая поспешность может много содействовать невнятности их выговора, тогда как, при меньшей стремительности, они имели бы время более его усовершенствовать. Детям, которых слишком торопят говорить, нет времени ни научиться хорошему произношению, ни хорошо постичь то, что заставляют их говорить, тогда как, если им предоставляют идти самостоятельно, они сначала упражняются над такими слогами, которые легче всего произносить, и, мало-помалу придавая им то или иное значение, которое можно понять по их жестам, представляют вам свои собственные слова, прежде чем заимствовать ваши. Вследствие этого они заимствуют слова не иначе, как хорошо поняв их. Так как их не торопят пользоваться словами, то они прежде всего внимательно наблюдают, какой вы придаете им смысл, и, когда уверятся, то заимствуют их.

Самое большое зло, проистекающее от той стремительности, с которою учат говорить прежде времени детей, заключается не в том, что первые речи, которые держат к ним, и первые слова, произносимые ими, не имеют для них никакого смысла, но в том, что эти речи и слова имеют у

них иной смысл, не тот, какой мы придаем, а мы не умеем этого и подметить; таким образом, давая нам, по-видимому, точные ответы, они говорят, не понимая нас и оставаясь непонятыми с нашей стороны. Подобными недоразумениями объясняется обыкновенно и то изумление, в которое повергают иногда нас детские речи, когда мы приписываем им такие идеи, которых сами дети не соединяли с ними. Это невнимание с нашей стороны к настоящему смыслу, какой придают дети словам, и кажется мне причиной первых их заблуждений; а заблуждения эти, даже если будут исправлены, оказывают влияние на склад их ума в остальную часть жизни. Я буду не раз иметь впоследствии случай разъяснить это примерами.

Итак, ограничивайте как можно больше словарь ребенка. Это очень большое неудобство, если у него больше слов, чем идей, и если он умеет наговорить больше, чем может обдумать. Одною из причин, почему ум крестьян вообще более точен, чем ум городских жителей, я считаю то обстоятельство, что словарь их не так обширен. У них мало идей, но они отлично их сопоставляют.

Первое развитие детства подвигается почти со всех сторон разом. Ребенок почти одновременно учится и говорить, и есть, и ходить. Здесь собственно начинается первая эпоха его жизни. До этих пор он остается почти тем же, чем был во чреве матери; он не имеет ни одного чувствования, ни одной идеи, у него едва есть ощущения; он не чувствует даже своего собственного бытия.

Vivit, et est vitæ nescius ipse suce<sup>\* 36</sup>.

\* *Ovid[ius]*. *Trist[ia]*, I, 3.

### К н и г а I Комментарии

Первая книга «Эмиля» охватывает период с момента рождения ребенка до освоения им речи.

1. *Де Формей Самуэль* (1711—1797) — французский протестантский писатель. Известен как один из авторов «Энциклопедии». В числе сочинений Формея — «Трактат о нравственном воспитании» (1765). Формей оказался одним из инициаторов кампании насмешек и клеветы в адрес «Эмиля». Пытаясь принизить труд Руссо, Формей издал в 1763 г. в Берлине «Анти-Эмиля», где обвинил автора педагогического романа в плагиате. Вслед за Формеем в этом же стали обвинять Руссо и другие, особенно его современник монах Кажо. Последним из таких хулителей оказался Сент-Бев.

Все примечания, где упоминается Формей, сделаны Руссо при переиздании романа.

2. Мысль о «трех воспитаниях» («природном, разумном и полезном») высказывал уже Плутарх, произведения которого Руссо хорошо знал (см.: *Плутарх*. О воспитании детей, гл. IV).

3. Перефразирована строка из трагедии Вольтера «Магомет»: «Натура в моих глазах нечто иное, как привычка». Идет от формулы Аристотеля «Более всего нас устраивает природное состояние, поэтому надо сделать привычки нашей второй натурой».

4. Имеется в виду рассказ о римском политическом деятеле Марке Атилии *Регуле* (II в. до н. э.). Регул был взят в плен и направлен карфагенянами в Рим, чтобы склонить римлян к миру. Прибыв в Рим, Регул отказался говорить в сенате, сославшись на то, что, став пленником, он лишился прав римского гражданина.
5. Эпизод из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Руссо с восьми лет наизусть знал произведения древнегреческого историка. В описываемой Плутархом древней Спарте Руссо усматривал образцы нравственного, патриотического воспитания.
6. См.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Ликург*, 25.
7. Древнегреческий философ Платон (427—347 до н. э.) излагает в трактате «Государство» свою систему общественного воспитания. С 3 лет дети (имеются в виду дети свободных граждан, а не рабов) должны посещать созданные при храмах детские площадки, с 7 до 12 — учиться чтению, письму, счету, музыке в государственных заведениях, с 13 до 15 — посещать школы физического воспитания. Юношам с 16 до 18 лет надлежало изучать в целях военного образования математику и астрономию, с 18 до 20 — проходить воинскую подготовку. Наиболее одаренные мужчины в возрасте 30—35 лет могли получать философское образование.
8. *Ликург* (IX—VIII вв. до н. э.) — легендарный спартанский законодатель, которому приписывают, в частности, введение суровых методов воспитания детей. Как пишет Плутарх, Ликург видел в воспитании «самое важное и самое прекрасное дело законодателя» (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Ликург*, 14).
9. «Овладел я тобою, судьба, и тебя полонил; все выходы твои преградил я, чтобы ты не могла добраться до меня» (*лат.*) — Руссо цитирует Цицерона по Монтеню (см.: *Монтень. Опыты*, II, 2). Слова принадлежат Метродору Хиосскому (330—278 до н. э.), древнегреческому философу — ученику Эпикура.
10. «Принимает повитуха, вскармливает кормилица, наставляет воспитатель, учит учитель» (*лат.*) (*Ноний. Лексикон*). Трактат Марцелла Нония (III в.) — римского грамматика представляет не только филологический, но и исторический интерес, поскольку содержит высказывания авторов, труды которых утеряны. В данном случае Ноний цитировал римского философа-эклектика Марка Теренция Варрона Реактинского (116—27 до н. э.).
11. См.: *Локк Д. Мысли о воспитании*, § 5.
12. Автор «Естественной истории» в 35 томах французский ученый *Жорж-Луи Леклерк Бюффон* (1708—1787) известен своими прогрессивными взглядами, за что подвергался гонениям церковников.
13. То есть в пузыре в материнском чреве.
14. По древнегреческой мифологии, богиня Фетида окунула своего сына Ахилла в воды Стикса, реки — обители душ умерших.

15. См.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: Катон, 34. Речь идет о римском политическом деятеле Марке Катове Старшем (234—149 до н. а.).
16. См.: *Светоний*. Жизнь двенадцати цезарей, кн. II, §64. *Траинвилл Гай Светоний* (ок. 70 — 160 н. э.) — римский историк.
17. Имеется в виду римский император *Август Октавиан* (63-14 до н. э.).
18. Намек на слова древнегреческого философа Аристиппа (V в. до н. э.), который по вопросу, какую плату он возьмет за воспитание юноши, ответил: «Тысячу драхм», а когда ему возразили, что цена слишком велика и за такие деньги можно купить раба, добавил: «Купи и будешь иметь двух» (см.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, II, 72).
19. Древнегреческий историк, философ Ксенофонт (ок. 430—355 или 354 до п. э.) после участия в походах персидского царя Кира Младшего записал сведения о воспитании персов в своем труде «Киропедия».
20. Лапландией называли в XVIII в. территории Кольского и чисти Скандинавского полуостровов.
21. *Бенин* — территория в Западной Африке.
22. Эти суждения Руссо напоминают высказывания Бюффона (см. примеч. 12) и Кондильяка (1715—1780) — французского философа-просветителя. Но, в отличие от этих ученых, Руссо интерпретировал связи человека и природы диалектически, полагая, что они приводят не только к количественным, но и качественным изменениям в человеческой личности.
23. Мекопиум (*лат.*).
24. *Кокки Антонин* — врач из Флоренции (1695—1758), *Бианки Джованни* — итальянский естествоиспытатель (1693 — 1775).
25. См.: *Локк Д.* Мысли о воспитании, § 7, 18.
26. Здест. в. оригинале слово *berceau* (люлька).
27. *Ла Лубер*, автор книги «Путешествие в Сиам» (1691) и *Ле Бо*, автор «Путешествия по Канаде» (1738) — французские коммерсанты и путешественники. В книге Ле Бо рассказывается, как североамериканские индейцы закаливали своих детей.
28. Имеется в виду античный миф о рождении богини Пал-лады из головы бога Юпитера.
29. См.: *Гомер*, Илиада. Песнь 6, 465—470.
30. *Бургав Герман*, (1665—1738) — голландский врач, профессор Лейденского университета, в трактате «О детских болезнях» указывал, что новорожденный обладает подвижной индивидуальной нервной системой. Трактат был переведен на французский язык в 1759 г.
31. *Аббат Сен-Пьер* (1658—1743) — французский философ и писатель, автор ряда сочинений, в том числе по вопросам воспитания: «Проект улучшения воспитания» (1728), «Преимущества воспитания в коллежах над домашним воспитанием» (1740). Де Сен-Пьер ставил вопросы

нравственного воспитания в связи с задачами общественного формирования личности, настаивал на расширении естественнонаучного образования и сокращении преподавания древних языков.

Руссо знал лично Сен-Пьера, намеревался даже подготовить к изданию его труды.

32. *Гоббс Томас* (1588—1679) — английский философ-материалист. Основные сочинения Гоббса — «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651), трилогия «О теле», написанная на латинском языке и состоящая из трех частей: «О теле», «О гражданине», «О человеке».

Гоббсу принадлежит теория возникновения государства на основе общественного договора из естественных догосударственных состояний, когда люди жили разобщенно и во взаимной вражде. Гоббс выдвигал принцип изначального равенства людей.

Труды Гоббса оказали влияние на философские и педагогические взгляды Руссо. В итоге, однако, Руссо пришел к противоположному пониманию сущности человека, чем Гоббс. Автор «Эмилия» считал нравственные качества человека присущими ему от рождения и оценивал их как добрые по сути. Гоббс же считал, что добродетели и пороки прививаются человеку окружающей средой.

33. Так назывался инструмент для обработки металла.

34. Сухое печенье (*итал.*).

35. Во французском языке в формах *ira-t-il, va-s-y t u s* являются остатками прежних личных окончаний третьего и второго лица. Вставка *t* в форме первого лица *ira-je-t-u*, следовательно, не может быть оправдана аналогией. Ребенок сохраняет в форме первого лица букву *u*, которую для благозвучия обычно здесь опускают.

36. «Живет и сам не знает, что живет» (*лат.*) (Овидий. Скорби, I, 3).

## КНИГА II

- [Вегетарианство!!!]

За младенчеством следует второй период жизни, на котором, собственно, кончается детство<sup>1</sup>, ибо слова *infant*<sup>2</sup>, *puer*<sup>3</sup> не являются синонимами, Первое из них вытекает из второго и означает «неумеющий говорить», происходит от *puerum infantem* — выражения, которое мы находим у Валерия Максима<sup>4</sup>. Но я продолжаю пользоваться этим словом по традиции нашего языка вплоть до того возраста, для которого имеются иные обозначения.

Когда дети начинают говорить, они уже меньше плачут. Это естественный шаг вперед; один язык заменяется другим. Раз они могут высказать словами, что страдают, зачем же им выражать это криками» если только боль не настолько сильна, что ее не выразить словами? Если дети продолжают и после этого плакать, это вина лиц, их окружающих. Как только Эмиль хоть раз скажет: «мне больно», то разве уж только самые сильные боли могут заставить его плакать.

Если ребенок слаб и чувствителен, если от природы склонен кричать ни с того, ни с сего, то, делая эти крики бесполезными и ни к чему не ведущими, я скоро уничтожаю и самый их источник. Пока он плачет, я не иду к нему, и бегу, лишь только он смолкнет; скоро, чтобы подозвать меня, он станет молчать или — самое большее — подаст только голос. О смысле знаков дети судят только по их видимому действию; другого критерия для них нет: какую бы боль ни причинил себе ребенок, он редко заплачет, когда он один или когда, по крайней мере, не надеется, что его услышат.

Если он упадет, ушибет голову, разобьет до крови нос или обрежет пальцы, я вместо того, чтобы с испуганным видом суетиться около него, останусь спокойным по крайней мере на некоторое время. Беда случилась — необходимо, чтоб он перенес ее; всякая суетливость с моей стороны только еще более напугала бы его и усилила бы ощущение боли. Когда поранишь себя? то в сущности мучит не столько самая рана, сколько страх. Я избавлю его по крайней мере от этого последнего страдания, ибо о своей беде он будет судить непременно так, как, по его взгляду, я сужу: если он видит, что я тревожно подбегаю, утешаю его и жалею, он сочтет себя погибшим; если же он видит, что я сохраняю хладнокровие, он скоро и сам ободрится и, когда перестанет чувствовать боль, будет уверен, что он исцелен. В этом именно возрасте мы берем первые уроки мужества и, перенося без страха легкие боли, постепенно учимся выносить и сильные.

Я не только не старался бы предохранить Эмиля от ушибов, но даже был бы очень недоволен, если б он никогда не ушибался и рос, не зная боли. Страдание — это первая вещь, которой он должен научиться, и это умение ему понадобится больше всего. Можно, пожалуй, подумать, что дети для того и бывают малы и слабы, чтобы без всякой опасности брать эти важные уроки. Если ребенок полетит на пол, он не сломает ноги; если ударит себя палкою, не переломит руки; если схватит острый нож, то сожмет его слабо и неглубоко порежет себя. Я не слыхал, чтобы на свободе дети убивались когда-нибудь до смерти, калечили себя или наносили себе значительную рану, если только безрассудно не оставляли их на краю возвышения, одних около огня или с опасными поблизости инструментами. Что после этого сказать о том арсенале орудий, который собирают вокруг ребенка с целью всячески оградить его от боли, так что, ставши взрослым, он остается во власти боли, лишенным мужества и опыта, при первой царапине считает себя умирающим и падает в обморок при виде первой капли своей крови?

Мы одержимы страстью вечно учить детей тому, чему они гораздо лучше научились бы сами, и забывать о том, в чем мы одни могли бы их наставить. Что может быть глупее этого старания научить их ходить, как будто где видано, чтобы кто-нибудь, будучи взрослым, не умел ходить вследствие небрежности кормилицы? Напротив, сколько мы видим людей, которые всю жизнь дурно ходят потому, что их дурно учили ходить!

У Эмиля не будет ни особых шапочек, ни корзин на колесах, ни тележек, ни помочей; по крайней мере лишь только он научится переступать с ноги на ногу, его будут поддерживать

только на мостовой, и то для того, чтобы поспешно ее пройти\*. Вместо того чтоб оставлять его коптеть в спертом воздухе комнаты, пусть выводят его ежедневно на луг. Пусть он там бегаёт, резвится, пусть падает хоть сто раз в день,— тем лучше для него: он скорее научится подниматься. Приятное чувство свободы искупит собою много ран. Мой воспитанник часто будет ушибаться, но зато он будет всегда, весел; если ваши ушибаются реже, зато они всегда стеснены, всегда на привязи, всегда скучны. Сомневаюсь, чтобы выгода была на их стороне.

\* Нет ничего смешнее и неувереннее походки людей, которых в детстве слишком много водили на помочах: вот еще одно из замечаний, которые стали пошлыми лишь вследствие того, что они справедливы, и притом справедливы далеко не в одном смысле.

Другая сторона развития дает детям еще меньше поводов жаловаться — я говорю о развитии их сил. Чем больше они могут сделать сами по себе, тем реже они нуждаются в помощи другого. Вместе с силою развивается знание, которое дает им возможность управлять ею. На этой именно второй ступени начинается собственно жизнь личности: тут она начинает сознавать самое себя. Память распространяет чувство торжества на все моменты ее существования. Она делается истинно-единою, одною и тою же, а следовательно, способною ощущать счастье и горе. Пора, значит, смотреть на ребенка как на нравственное существо.

Хотя легко определяют наибольшую продолжительность человеческой жизни и вероятность в каждом возрасте достигнуть этого предела, однако нет ничего более неизвестного, чем продолжительность жизни каждого человека в отдельности; очень мало людей достигают этого крайнего предела. Наибольшим опасностям жизнь подвергается при своем начале; чем меньше кто жил, тем меньше должен надеяться жить. Из нарождающихся детей самое большее половина достигает юности, и есть вероятность, что воспитанник ваш не доживет до возмужалости<sup>5</sup>.

Что же после этого думать о том варварском воспитании, которое настоящим жертвует для неизвестного будущего, которое налагает на ребенка всякого рода окопы и начинает с того, что делает его не-счастливым, чтобы подготовить ему вдали какое-то воображаемое счастье, которым он, вероятно, никогда и не воспользуется? Если б я даже признавал это воспитание разумным по своей сущности, как все-таки смотреть без негодования на этих бедняг, изнывающих под невыносимым игом и осужденных на непрерывный, как каторжники, труд, без уверенности, что все эти заботы принесут им когда-нибудь пользу! Возраст веселья проходит среди плача и наказаний, угроз и рабства. Несчастливого мучат для его блага и не видят. смерти, которую призывают и которая готова захватить его среди этой печальной обстановки. Кто знает, сколько детей погибает жертвою сумасбродной мудрости отца или наставника? Счастье им, что они избавились от этой жестокости: смерть без сожалений о жизни, в которой они знали только мучения,— вот единственное благо, извлекаемое ими из бедствий, которые их заставили вынести.

Люди, будьте человечны! Это ваш первый долг. Будьте такими по отношению ко всякому состоянию, всякому возрасту, во всем, что только чуждо человеку! Разве есть какая-нибудь

мудрость для вас вне человечности? Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам, к его милому инстинкту! Кто из вас жалел подчас о том возрасте, когда улыбка не сходит с уст, когда душа наслаждается постоянно миром? Зачем хотите вы отнять у этих невинных малюток возможность пользоваться временем, столь кратким и столь быстро от них утекающим, этим драгоценным благом, злоупотреблять которым они еще не умеют? Для чего вы хотите наполнить горестью и страданиями первые годы, которые мчатся так быстро и не возвратятся уже для них, как не могут возвратиться и для вас? Отцы! разве вы знаете момент, когда смерть ожидает ваших детей? Не готовьте сожалений, отнимая у них тот небольшой запас минут, который дает им природа: как скоро они в состоянии чувствовать удовольствие существования, дайте им возможность наслаждаться жизнью: позаботьтесь, чтоб они не умирали, не вкусив жизни, в какой бы час Бог их ни призвал!

Сколько голосов готовы подняться против меня! Я издали слышу вопли той ложной мудрости, которая беспрестанно отвлекает нас от самих себя, настоящее всегда считает за ничто, неумолимо преследуя будущее, убегающее по мере приближения к нему,— той мудрости, которая, перенося нас туда, где нас нет, переносит таким образом и туда, где мы никогда не будем.

В это-то время, говорите вы, и нужно исправить дурные наклонности человека; в детском именно возрасте, когда скорби менее всего чувствительны, и нужно умножать их, чтобы предохранить от них разумный возраст. Но кто вам сказал, что все это распределение в ваших руках и что все те прекрасные наставления, которыми вы отягощаете слабый ум ребенка, не будут для него со временем скорее губительны, чем полезны? Кто вас уверил, что вы что-нибудь выгадываете теми печальями, которыми вы так щедро его наделяете? Зачем вы ему уделяете больше бедствий, чем их связано с его состоянием, раз вы не уверены, что эти настоящие бедствия послужат облегчением для будущего? И как вы докажете, что дурные склонности, которые вы претендуете искоренить, но порождены в нем гораздо скорее вашими дурно направленными заботами, чем природою? Жалкая предусмотрительность — делать человека несчастным теперь, в надежде — будь она верна или нет — сделать его счастливым потом! Но если эти грубые резонеры своеволие смешивают со свободой, счастливого ребенка с избалованным, то научим их различать эти вещи.

Чтобы не гнаться за химерами, не будем забывать того, что прилично нашему положению. У человечества — свое место в общем порядке Вселенной, у детства — тоже свое в общем порядке человеческой жизни: в человеке нужно рассматривать человека, в ребенке — ребенка. Указать каждому свое место и укрепить его на нем, упорядочить человеческие страсти сообразно с организацией человека — вот все, что мы можем сделать для его благосостояния. Остальное зависит от посторонних причин, которые не в нашей власти.

Мы не знаем, что такое абсолютное счастье или несчастье. Все перемешано в этой жизни: здесь не испытаешь ни одного чувства совершенно чистым, двух моментов не пробудешь в одном и том



же состоянии. Ощущения души нашей, равно как и изменения нашего тела, представляют собою непрерывное течение. Добро и зло свойственны всем нам, но в различной мере. Самый счастливый тот, кто терпит меньше всего скорбей; самый несчастный тот, кто испытывает меньше всего радостей. Всегда страданий больше, чем наслаждений,— это удел, общий для всех. Таким образом, счастье человека в здешнем мире есть состояние только отрицательное: мерилом его должно быть наименьшее количество бедствий, испытываемых человеком.

Всякое скорбное чувство неразрывно с желанием избавиться от него; всякая идея удовольствия неразрывна с желанием пользоваться им; всякое желание предполагает собою лишение, а все лишения, испытываемые нами, прискорбны; таким образом, нищета наша состоит в несоразмерности наших желаний с нашими возможностями. Чувствующее существо, способности которого равнялись бы желаниям его, было бы существом абсолютно счастливым.

В чем же, значит, заключается человеческая мудрость,— иначе говоря, где путь к истинному счастью? Она состоит не в ограничении наших желаний, ибо, если бы последние были уже наших сил, то часть наших способностей оставалась бы без применения и мы не наслаждались бы всем нашим бытием; она и не в том состоит, чтобы расширять наши способности, ибо, если наши желания вдруг расширились бы еще в большей пропорции, то мы только стали бы еще более несчастными. Истинная мудрость заключается в ограничении избытка желаний сравнительно со способностями и восстановлении совершенного равновесия между силами и волею,— тогда только все силы будут в действии, а душа между тем останется покойною, и человек окажется вполне уравновешенным.

Природа, которая делает все к лучшему, первоначально так именно и устроила человека. Непосредственно она дает ему только желания, необходимые для самосохранения, и способности, достаточные для удовлетворения этих желаний. Все прочие она укрывает в глубине его души, как бы в запасе, чтоб они развивались по мере надобности. Только в этом первобытном состоянии и встречается равновесие между силой и желанием, и человек не бывает несчастным. Лишь только эти способности, присущие в виде возможности, переходят в действие, воображение — самая деятельная из всех способностей — пробуждается и опережает их. Оно-то и расширяет для нас границы возможного, в хорошую или дурную сторону, а следовательно, возбуждает желания и питает их надеждою на удовлетворение. Но предмет, который сначала, казалось, был под рукою, убегает так быстро, что мы не можем его нагнать; когда мы полагаем, что настигли, он принимает новый вид и оказывается далеко впереди нас. Не видя пространства, уже пройденного, мы считаем его за ничто, а пространство, которое остается нам пройти, непрестанно увеличивается и расширяется. Таким образом мы истощаем силы, не достигая предела, и, чем более мы выиграем в наслаждении, тем дальше уходит от нас счастье.

Напротив, чем ближе человек остается к своему естественному состоянию, тем менее разницы между его способностями и его желаниями и тем, следовательно, менее удален он от счастья.

Никогда он не бывает менее несчастным, чем в тот момент, когда он, по-видимому, лишен всего, ибо несчастье состоит не в лишении вещей, а в нужде, ощущаемой нами.

Действительный мир имеет свои границы, мир воображения безграничен: не будучи в состоянии расширить первый, сузим второй, ибо единственно от разницы между ними рождаются все скорби, которые делают нас истинно несчастными. Отнимите силу, здоровье, прекрасное самочувствие — и все блага этой жизни станут мнимыми; отнимите скорби тела и угрызения совести — и все бедствия станут воображаемыми. Это общий принцип, скажут мне; я согласен; но практическое приложение его нельзя назвать общим, а о нем только мы и ведем здесь речь.

Мы говорим: «человек слаб»; но что это означает? Слово «слабость» указывает на известное отношение, на отношение в свойствах того существа, которое мы называем слабым. То существо, в котором сила превосходит потребности (будь это даже насекомое, червь), есть существо сильное; а в ком потребности превышают силу (будь это слон или лев, будь завоеватель, герой, бог), тот — существо слабое. Возмущившийся ангел, недовольный своею природою, был более слабым, чем счастливый смертный, мирно живущий сообразно со своею природою. Человек очень силен, когда он довольствуется быть тем, что он есть; но он оказывается очень слабым, если хочет подняться выше человечества. Не воображайте поэтому, что, расширяя свои способности, вы тем самым расширяете свои силы: напротив, вы их уменьшаете, если гордость ваша простирается дальше ваших сил. Измерим окружность нашей сферы, останемся в центре, как паук среди своей паутины, и мы всегда будем довольны самими собою; нам незачем будет жаловаться на свою слабость, ибо мы не будем никогда ее чувствовать.

Животные все имеют ровно столько способностей, сколько необходимо им для самосохранения. Один человек имеет избыток в них. И не странно ли, что этот избыток служит орудием его несчастья? Во всякой стране человек своими руками может заработать больше того, что нужно для пропитания. Если бы он был настолько мудр, чтобы считать этот излишек за ничто, — он всегда имел бы необходимое, потому что никогда не имел бы ничего лишнего. Большие потребности рождаются от больших богатств, говорил Фаворин<sup>6</sup>, и часто, чтобы приобрести вещь, которой у нас нет, лучшим средством для этого служит — отнять у себя те, которые есть. Выбиваясь из сил, чтобы увеличить свое счастье, мы этим путем попадаем в несчастье. Всякий человек, который желал бы только одного — именно жить, был бы счастлив, а следовательно, и добр, ибо что ему была бы за выгода быть злым?

Если бы мы были бессмертны, то мы были бы самыми несчастными существами. Тяжело, конечно, умирать; но зато приятно надеяться, что не вечно будешь жить и что скорби этой жизни закончатся лучшею жизнью. Если бы нам предложили бессмертие на земле, кто захотел бы принять этот печальный дар? Какое прибежище, какая надежда, какое утешение оставалось бы нам тогда против жестокостей судьбы и несправедливости людей? Неужда, который ничего не видит впереди, мало чувствует цену жизни и мало боится потерять ее; человек просвещенный

видит блага высшей цены, которые он и ставит выше жизни. Только полужнание и ложная мудрость, простирая взор свой до смерти, но не дальше, делают ее для нас худшим из зол. Для человека мудрого необходимость умереть — это только довод в пользу того, чтобы переносить скорби. Если б мы не были уверены, что некогда расстанемся с него, то не стоило бы и сохранять ее. Наши моральные бедствия зависят от людского мнения, кроме одного, именно преступления: последнее зависит от нас; наши физические бедствия или сами прекращаются, или губят нас. Время или смерть — вот наше лекарство; но мы тем больше страдаем, чем меньше умеем страдать, а между тем мы хлопочем над тем, чтобы излечить наши болезни, вместо того чтоб учиться их переносить. Живи согласно с природой, будь терпелив и гони прочь врачей; ты не избежешь смерти, но ты испытаешь ее всего раз, между тем как они ежедневно ее приносят в твое встревоженное воображение, а лживое их искусство вместо того, чтобы продолжать твои дни, отнимает у тебя возможность наслаждаться ими. Я не перестану спрашивать: каким истинным благом наделило людей это искусство? Одни из тех, которые лечились, правда, умерли бы без этого; но зато миллионы людей, которые от него погибли, остались бы живы. Рассудительный человек, не пускайся в эту лотерею, где слишком много шансов против тебя! Страдай, умирай или, пожалуй, лечись, но все-таки живи до самого последнего своего часа.

\* Разумеется, я здесь говорю о людях, которые умеют размышлять, не обо всех людях.

В человеческих учреждениях все не что иное, как безумие и противоречие. По мере того как жизнь наша теряет свою цену, мы все более и более о ней беспокоимся. Старики дорожат ею больше, чем молодежь; им не хочется терять тех приготовлений, которые они делали, чтобы наслаждаться ею; слишком жестоко — умереть в 60 лет, не начавши жить! Думают, что человек питает сильную страсть к самосохранению (и это правда), но не замечают, что страсть эта в том виде, как мы ее чувствуем, в значительной степени есть дело наших же рук. По природе человек заботится о своем сохранении лишь настолько, насколько у него есть для этого средства; лишь только эти средства ускользают от него, он успокаивается и умирает без напрасных мучений. Первый урок покорности Провидению дает нам природа. Дикари, равно как и звери, очень мало противятся смерти и встречают ее почти без жалоб. Когда этот закон природы нарушился, явился другой, ведущий начало от разума; но немногие умеют извлекать его, и это искусственное самоотречение никогда не бывает таким полным и всецелым, как первое.

Предусмотрительность! Да, предусмотрительность, которая беспрестанно нас уносит дальше нас самих и часто увлекает туда, куда мы никогда не попадем, — вот истинный источник всех наших бедствий. И откуда это у такой тленной твари, как человек, такая страсть смотреть всегда вдаль, в будущее, которое так редко приходит, и пренебрегать настоящим, в котором он уверен? Эта страсть тем губельнее, что с возрастом она непрестанно усиливается; старики, вечно недоверчивые, предусмотрительные и жадные, предпочитают сегодня отказать себе в необходимом, лишь бы у них был избыток, когда им будет сто лет. Ко всему мы прилепляемся, за

все хватаемся: всякое время, место, люди, вещи, все, что есть, все, что будет,— все касается каждого из нас: личность наша в конце концов оказывается только малейшей частью нас самих. Каждый расплывается, так сказать, по целой земле и делается восприимчивым на всей этой огромной поверхности. Удивительно ли после этого, что скорби наши умножаются во всех пунктах, где только можно нас поразить? Сколько государей приходят в отчаяние от потери страны, которой они никогда не видали! Сколько купцов начинают кричать в Париже, как только коснется кто Индии.

Неужели это природа уносит нас так далеко от нас самих? Неужели это она так устраивает, что каждый узнает о своей судьбе от других, и узнает иногда последним, так что иной так и умирает, не узнав, счастлив он или нет? Я вижу бодрого, веселого, сильного, здорового человека; присутствие его внушает радость, глаза его говорят о довольстве и прекрасном состоянии духа: он несет в себе образ счастья. Приносят с почты письмо; счастливый человек смотрит, видит свой адрес, открывает, читает. В момент вид его изменяется, он бледнеет, он падает в обморок. Пришедши в себя, он плачет, волнуется, охает, рвет себе волосы, оглашает воздух криками,— подумаешь, с ним начались ужасные конвульсии. Безрассудный, какую болезнь причинила тебе эта бумага? какого члена лишила она тебя? какое преступление заставила тебя совершить? что, наконец, она изменила в тебе настолько, что ты перешел в такое состояние?

Но пусть это письмо затерялось бы, пусть добрая рука бросила бы его в огонь: судьба этого смертного, одновременно и счастливого и несчастного, представляла бы, мне кажется, странную загадку. Несчастье его, скажете вы, было бы все-таки действительным. Хорошо. Но он не чувствовал бы его. Где же оно, стало быть, было? Счастье его было воображаемым. С этим я согласен: здоровье, веселость, прекрасное расположение, довольство духа — все это не более, как призраки. Где мы находимся, там мы уже не существуем: мы существуем только там, где нас нет. Стоит ли после этого так бояться смерти, если только то, в чем состоит истинная жизнь, остается?

Ограничь, человек, свое существование пределами своего существа, и ты уже не будешь несчастным. Оставайся на том месте, которое в цепи творений назначила тебе природа; пусть ничто не заставит тебя сойти с него! Не противься суровому закону необходимости; не истощай, из желания противостоять ему, сил своих, которые Небо дало тебе не для того, чтобы расширить или продолжать свое существование, но только для того, чтобы хранить последнее, как Ему угодно и насколько Ему угодно. Твоя свобода, твоя власть простираются лишь настолько, насколько простираются твои природные силы, но не дальше; все остальное — это только рабство, иллюзия, тщеславие; Самое господство бывает рабским, когда оно основано на людском мнении: ибо в этом случае ты зависишь от предрассудков людей, которыми управляешь с помощью предрассудков же. Чтобы руководить ими, как тебе хочется, ты должен вести себя, как им угодно. Стоит им переменить образ мыслей, и ты вынужден будешь переменить образ действия. Приближенным твоим нужно только уметь управлять мнениями народа, которым претендуешь ты

управлять, мнениями фаворитов, которые тобою управляют, мнениями твоего семейства или, наконец, твоими собственными: все эти визири, придворные, жрецы, солдаты, камергеры, болтуны-камерфрау, даже дети, если бы ты был даже Фемистоклом по гению\*, готовы водить тебя среди твоих легионов, как будто ты сам дитя. Что бы ты ни делал, никогда твоя действительная власть не пойдет дальше твоих действительных способностей. Как только ты стал смотреть чужими глазами, так приходится и хотеть чужою волею. «Народы в моем подданстве»,— гордо говоришь ты. Пусть так. Но ты — что ты такое? Подданный своих министров. А министры, в свою очередь, что такое? Подданные своих секретарей, своих любовниц, слуги своих слуг. Берите все, захватывайте все, и потом сыпьте золото полными руками; воздвигайте батареи, ставьте виселицы, колеса, издавайте законы, умножайте шпионов, солдат, палачей, тюрьмы, цепи,— но для чего все это вам служит, бедные люди? Ведь не будут вследствие этого лучше вам служить, не будете вы менее обворованы, менее обмануты, более независимы. Вы постоянно твердите: «мы хотим», а делаете всегда то, что захотят другие.

\* «Этот маленький мальчик, которого вы видите там,— говорил Фемистокл своим друзьям,— есть властитель Греции, ибо он управляет своей матерью, мать его управляет мною, я управляю афинянами, афиняне управляют греками»<sup>7</sup>.

Только тот исполняет свою волю, кто для исполнения ее не нуждается в чужих руках вдобавок к своим; отсюда следует, что первое из всех благ не власть, а свобода. Истинно свободный человек хочет только то, что может, и делает, что ему угодно. Вот мое основное положение. Стоит только применить его к детскому возрасту, и все правила воспитания будут сами собой вытекать из него.

Общество ослабило человека не только тем, что отняло у него право на его собственные силы, но особенно тем, что сделало их недостаточными. Вот почему желания его умножаются вместе со слабостью; вот чем объясняется слабость ребёнка по сравнению с возмужалым возрастом. Если взрослый человек — существо сильное, а ребенок — существо слабое, то это не потому, чтобы первый имел больше абсолютной силы, чем второй, а потому, что первый может естественным путем удовлетворить свои нужды, второй — не может. Итак, взрослый человек имеет больше воли, а ребенок — больше прихотей — под этим словом я разумею все желания, которые не основаны на истинных нуждах и которые можно удовлетворить только с помощью других.

Я указал причины этого состояния слабости. Природа вознаградила эту слабость привязанностью отцов и матерей; но и эта привязанность может иметь свои излишества, свои недостатки и злоупотребления. Родители, которые живут в гражданском быту, преждевременно вводят в него и своего ребенка. Наделяя его большими потребностями, чем он имеет, они не облегчают его в слабости, но еще увеличивают ее. Они увеличивают ее и тем, что предъявляют ему требования, каких не предъявляла бы природа, подчиняют своей воле тот небольшой запас сил, который он имеет для собственных целей, и обращают с той или другой стороны в рабство ту взаимную зависимость, которая порождается его слабостью и их привязанностью.

Мудрый человек умеет оставаться на своем месте; но ребенок, не знающий своего места, не сумел бы на нем и держаться. Он имеет среди нас тысячу лазеек, чтобы выйти из него: обязанность руководителей — удерживать его, а это не легкая задача. Он должен быть не зверем, не взрослым, а ребенком: нужно, чтобы он зависел, а не слепо повиновался; нужно, чтобы он просил, а не приказывал. Он подчинен другим только вследствие своих нужд и вследствие того, что они видят лучше его, что ему полезно, что может содействовать или вредить его самосохранению. Никто, даже отец, не имеет права приказывать ребенку то, что ему ни на что не нужно.

Пока еще предрассудки и учреждения человеческие не изменили наших природных наклонностей, счастье детей, так же как и взрослых, состоит в пользовании своею свободой; но в первых свобода эта ограничена слабостью. Всякий, кто делает то, что хочет, счастлив, если он довольствуется самим собою,— вот положение взрослого человека, живущего в естественном состоянии. Всякий, кто делает то, что хочет, несчастлив, если нужды его превосходят запас его сил,— вот что можно сказать о ребенке в том же состоянии. Дети и в естественном состоянии пользуются только несовершенною свободой, подобною той, которою пользуются взрослые в гражданском быту. Каждый из нас, не будучи в состоянии обойтись без других, снова делается в этом отношении слабым и несчастным. Мы созданы, чтобы быть взрослыми; законы и общество снова погружают нас в детство. Богачи, вельможи, короли — все это дети, которые, видя, как хлопчут облегчить их бедственное положение, находят в этом самом предмете для чисто детского тщеславия и гордятся заботами, которыми их не окружали бы, если бы они были взрослыми.

Эти соображения очень важны и служат для разрешения всех противоречий социальной системы. Есть два сорта зависимости: зависимость от вещей, лежащая в самой природе, и зависимость от людей, порождаемая обществом. Первая, не заключающая в себе ничего морального, не вредит свободе и не порождает пороков; вторая, не будучи упорядоченною\*, порождает все пороки; через нее-то именно и развращают друг друга и господин и раб. Если есть какое средство искоренить это зло в обществе, то оно состоит в том, чтобы заменить человека законом и вооружать общую волю действительной силой, превышающей действие всякой частной воли. Если бы законы народов, подобно законам природы, могли иметь такую незыблемость, которую никогда не могла бы одолеть никакая человеческая сила, то зависимость от людей стала бы тогда зависимостью от вещей, в государстве соединились бы все преимущества естественного состояния и гражданского, к свободе, которая предохраняет человека от пороков, присоединилась бы нравственность, возвышающая его до добродетели.

\* В моих «Принципах Политического права»<sup>8</sup> доказано, что ни одна частная воля не может быть упорядочена в социальной системе.

Держите ребенка в одной зависимости от вещей, и вы будете следовать порядку природы в постепенном ходе его воспитания. Противопоставляйте его неразумной воле одни только

физические препятствия или такие наказания, которые вытекают из самих действий и которые он при случае припоминает; нет нужды запрещать дурной поступок, достаточно помешать совершению его. Опыт или бессилие должны одни заменять для него закон. Соглашайтесь исполнить его желания не потому, что он этого требует, а потому, что это ему нужно. Когда он действует, пусть не знает, что это — послушание; когда за него действуют другие, пусть не знает, что это — власть. Пусть он одинаково чувствует свободу как в своих действиях, так и в ваших. Вознаграждайте в нем недостаток силы ровно настолько, насколько это нужно ему, чтобы быть свободным, а не властным; пусть он, принимая ваши услуги с некоторого рода смирением, мечтает о том моменте, когда сумеет обойтись и без них и когда будет иметь честь сам служить себе.

Для укрепления тела и содействия его росту природа имеет свои средства, которым никогда не следует противодействовать. Не нужно принуждать ребенка оставаться на месте, когда ему хочется ходить, — и заставлять ходить, когда ему хочется остаться на месте. Если свобода детей не искажена по нашей вине, они не захотят ничего бесполезного. Пусть они прыгают, бегают, кричат, когда им хочется. Все их движения вызваны потребностями их организма, который стремится окрепнуть; но нужно недоверчиво относиться к тем желаниям, которых они не могут выполнить сами, так что исполнять их придется вместо них другим. В этом случае нужно заботливо отличать потребность истинную, естественную от зарождающейся прихоти или от той потребности, которая происходит вследствие указанного мною избытка жизни.

Я уже сказал, что нужно делать, когда ребенок плачет с целью получить то или другое. Я прибавлю только, что если он уже может словами попросить то, чего желает, и если, с целью скорее получить или настоять на отказанном, он подкрепляет свою просьбу плачем, то следует отказать ему наотрез. Если его словами руководит потребность, вы должны это знать и тотчас исполнить его просьбу; но уступить в чем-нибудь его слезам — значит возбуждать новые потоки слез, значит научить его сомневаться в вашей доброжелательности и уверить, что навязчивость сильнее действует на вас, чем доброта. Если он не будет считать вас добрым, он скоро будет злым; если он будет считать вас слабым, он скоро станет упрямым; нужно всегда по первому знаку исполнять то, в чем не хотите отказать. Не будьте щедры на отказы, но и не отменяйте их никогда.

Особенно берегитесь приучать ребенка к пустым формулам вежливости, которые при случае служат ему магическим словом для подчинения себе всего окружающего и для получения в одну минуту чего угодно. Вычурное воспитание богачей непременно делает их вежливо-властными, предписывая им особые термины, которыми они должны пользоваться, чтобы никто не осмелился им противоречить; дети их не знакомы ни с просительным топом, ни с выражениями просьбы; когда просят, они так же высокомерны, даже больше, как и тогда, когда приказывают, как будто они уверены, что этим путем гораздо легче заставить слушаться. Сразу видно, что «пожалуйста» означает в их устах: «мне так угодно», а «прошу вас» значит: «приказываю вам». Удивительная

вежливость, если она в конце концов ведет к изменению значения слов и к тому, что не в состоянии говорить иначе, как властно! Что касается меня, то я не так боюсь грубости Эмиля, как высокомерия, и лучше хочу, чтобы он тоном просьбы говорил: «сделайте это», чем тоном приказа — «прошу вас». Для меня важно не выражение, употребляемое им, а смысл, который он влагает в него.

Бывает излишек суровости, и бывает излишек мягкости: того и другого нужно одинаково избегать. Если вы не обращаете внимания на страдания детей, вы подвергаете опасности их здоровье и жизнь, делаете их несчастными в настоящем; если же вы с излишней заботливостью охраняете их от малейшего страдания, то вы приготавливаете им большие бедствия, делаете их изнеженными, чувствительными; вы их выводите из положения людей, к которому они со временем возвратятся помимо вашей воли. Чтобы не подвергать их некоторым естественным страданиям, вы делаетесь виновником таких страданий, которыми природа их не наделяла. Вы скажете, что я впадаю в ту же ошибку, как те дурные отцы, которых я упрекал в том, что они счастье детей приносят в жертву отдаленному будущему, которое может никогда и не наступить.

Вовсе нет: свобода, предоставляемая мною воспитаннику, обильно вознаграждает его за те незначительные неудобства, которым я его подвергаю. Вот маленькие шалуны, играющие на снегу: они посинели, окоченели, едва в состоянии шевелить пальцами. От них зависит пойти и обогреться, но они не делают этого; если их принудить к этому, то жестокость принуждения они почувствуют во сто раз сильнее жестокости холода. На что вы жалуетесь? Разве я сделаю вашего ребенка несчастным, подвергая его лишь тем неудобствам, которые он желает сам выносить? Я делаю ему добро в настоящий момент, оставляя его свободным: я делаю ему добро и для будущего, давая ему оружие против зол, которые ему придется переносить. Если б ему предоставили выбор — быть моим воспитанником или вашим, неужели, вы думаете, он задумался бы хоть на минуту?

Неужели вы представляете возможным какое-нибудь истинное счастье для того или иного существа вне его органического бытия,— а стараться избавить человека от всех одинаковых зол, свойственных его роду, не значит ли это выводить его из пределов органического его бытия? Да, это так. Чтобы чувствовать великие блага, ему нужно узнать малые невзгоды — такова его природа. Если физическая Сторона развивается слишком успешно, нравственная портится. Человек, незнакомый с болью, не был бы знаком ни с трогательностью человеколюбия, ни со сладостью сострадания; сердце его ни на что не отзывалось бы, он не жил бы общею жизнью, был бы чудовищем между людьми.

Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным? Это — приучить его не встречать ни в чем отказа; так как желания его постоянно будут возрастать вследствие легкости удовлетворения их, то рано или поздно невозможность вынудит вас, помимо вашей воли, прибегнуть к отказу, и эти непривычные отказы принесут ему больше мучений, чем самое



лишение того, чего он желает. Сначала он захочет получить палку, которую вы держите, скоро он запросит ваши часы, затем запросит птицу, которая летит перед ним, запросит звезду, которую видит на небе, запросит все, что только увидит; если вы не Бог, как вы его удовлетворите?

Человек от природы расположен считать своим все, что находится в его власти. В этом смысле верен до известной степени принцип Гоббса: увеличивайте вместе с желаниями и средства их удовлетворить, и тогда каждый делается владыкой всего. И действительно, ребенок, которому стоит только пожелать, чтобы получить, станет считать себя властелином вселенной; на всех людей он станет смотреть, как на рабов своих, и, когда, наконец, принуждены будут ему отказать в чем-нибудь, он, думая, что все возможно, если он приказывает, примет этот приказ за бунт. Все резоны, представляемые ему в такие годы, когда он не способен еще рассуждать, кажутся ему пустыми отговорками; он видит всюду недоброжелательство; так как чувство мнимой несправедливости ожесточает его характер, то он начинает всех ненавидеть и, не умея быть никогда благодарным за снисходительность, негодует на всякое противодействие.

Как представить, чтобы ребенок, обуреваемый таким образом гневом и пожираемый самыми раздражающими страстями, мог быть когда-нибудь счастлив? Какое уж тут счастье! Это — деспот, это в то же время самый низкий из рабов, самая жалкая из тварей. Я видел детей, воспитанных таким образом; они желали, чтобы им плечом своротили с места дом, чтобы дали петуха, которого они видели на шпиге колокольни, чтобы остановили шествие полка и дали им подольше послушать барабанный бой, и, если не спешили им повиноваться, они оглашали криками воздух, не желая никого слушать. Все тщетно хлопотали угодить им; так как вследствие легкости исполнения желания их усиливались, то они упорно настаивали на вещах невозможных и всюду находили себе только противоречия и препятствия, муку и скорбь. Вечно бранясь, вечно своевольничая, вечно злясь, они целые дни проводили в криках и жалобах. Могли ли они быть существами вполне счастливыми? Соединение слабости и господства порождает лишь безумие и бедствия. Из двух избалованных детей один бьет стол, другой заставляет бичевать море: им придется много бичевать и бить, прежде чем они будут жить довольными.

Если это сознание власти делает их несчастными с самого детства, что же будет, когда они вырастут, когда их сношения с другими людьми начнут расширяться и умножаться? Привыкнув видеть, что все перед ними склоняется, как они будут изумлены, когда, при вступлении в свет, почувствуют, что все им противится, и когда они окажутся подавленными тяжестью этой вселенной, которую думали двигать по своей воле!

Их заносчивый вид, их мелкое тщеславие навлекают на них одни оскорбления, презрение и насмешки; обиды сыплются на них градом; жестокие испытания скоро научают их, что они незнакомы ни со своим положением, ни со своими силами; не будучи в состоянии сделать все, они, наконец, приходят к мысли, что не могут сделать ничего. Все эти непривычные препятствия отнимают у них энергию, все это презрение заставляет их потерять себе цену: они становятся

вялыми, робкими, заискивающими и падают настолько ниже самих себя, насколько выше хотели подняться.

Возвратимся к основному положению. Природа создала детей, чтобы мы их любили и приходили к ним на помощь; но создала ли она их для того, чтобы мы им повиновались и боялись их? Дала ли им внушительный вид, суровый взгляд, грубый и грозный голос, чтобы внушить к ним страх? Я понимаю, что рев льва поражает ужасом животных, что они трепещут при виде его страшной пасти; но что может быть нелепее, гнуснее и смешнее зрелища, как целый штат должностных лиц, в парадных одеждах, с главным начальником впереди, повергается перед ребенком, который еще в пеленках, и ведет к нему пышную речь, а тот кричит и пускает слюни в ответ?<sup>9</sup>

Если рассматривать детство само по себе, едва ли мы найдем в мире существо более слабое и жалкое, чем ребенок, более зависящее от всего окружающего и столь сильно нуждающееся в жалости, заботах и покровительстве. Кажется, что он своим нежным личиком, своим трогательным видом так и просит, чтобы каждый, кто к нему подходит, проникся жалостью к его слабости и позаботился ему помочь. Что после этого может быть противнее и непристойнее того, как властный и упрямый ребенок командует всем окружающим и, не стесняясь, принимает тон господина по отношению к людям, которым стоит только его покинуть, чтобы он погиб?

С другой стороны, кто не видит, что слабость первого возраста так сковывает детей, что было бы жестоко к этому подчинению присоединять еще подчинение нашим капризам, отнимая у них без того ограниченную свободу, которой они так мало могут злоупотреблять и лишение которой столь бесполезно и для них, и для нас? Если нет зрелища, более достойного смеха, как высокомерный ребенок, то и нет зрелища, более достойного жалости, чем боязливое дитя. С наступлением разумного возраста наступает гражданское подчинение; зачем же нам после этого предупреждать его домашним подчинением? Допустим, чтобы хоть один момент жизни был свободен от ига, которого не налагала на нас природа; предоставим ребенку пользоваться естественной свободой, которая хоть на время удаляет его от пороков, порождаемых рабством. Пусть эти строгие наставники, эти отцы, раболепствующие перед своими детьми, являются каждый со своими легкомысленными возражениями, но прежде чем тщеславиться своими методами, пусть они научатся хоть раз методу природы.

Возвратимся к практической стороне. Я сказал уже, что ребенок ваш должен получать не в силу того, что он требует, но в силу того, что нуждается\*, должен делать не в силу послушания, но исключительно в силу необходимости; таким образом слова: «повиноваться» и «приказывать» будут вычеркнуты из их словаря, а тем более слова «долг» и «обязанность»; зато слова «сила», «необходимость», «невозможность», «неизбежность» должны занимать в нем видное место. До разумного возраста не может явиться никакой идеи ни о нравственности, ни о социальных отношениях; поэтому следует, по возможности, избегать слов, указывающих на эти понятия, из

опасения, чтобы ребенок не придал им на первых порах ложного смысла, который потом мы не сумеем или не сможем изменить. Первая ложная идея, попавшая в его голову, бывает в нем зачатком заблуждения и порока; за этим именно первым шагом и нужно особенно следить. Устройте так, чтобы, пока на него действуют только чувственно-воспринимаемые предметы, все идеи его устанавливались на ощущениях; устройте, чтобы он со всех сторон видел вокруг себя только мир физический; без этого, будьте уверены, он совсем не станет вас слушать или составит о нравственном мире, о котором вы ему говорите, такие фантастические понятия, что вы их не искорените всю жизнь.

\* Нужно заметить, что как страдание часто составляет необходимость, так и удовольствие иной раз является потребностью. Значит, существует только одно желание у детей, которому никогда не следует угодить: это желание заставлять других повиноваться себе. Отсюда следует, что при всяком их требовании нужно обращать особенное внимание на мотив этого требования. Соглашайтесь, по мере возможности, на все, что может доставить им действительное удовольствие, но непременно отказывайте в том, чего они требуют вследствие прихоти или только для того, чтобы проявить свою власть.

Рассуждать с детьми было основным правилом Локка<sup>10</sup>; оно в большой моде и теперь; однако успех его, мне кажется, вовсе не доказывает, что его и действительно нужно пускать в ход; что касается меня, то я не видал ничего глупее детей, с которыми много рассуждали. Из всех способностей человека разум, представляющий собою, так сказать, объединение всех других, развивается труднее всего и позже всего, а им-то и хотят воспользоваться для развития первых способностей! Верх искусства при хорошем воспитании — сделать человека разумным, а тут претендуют воспитывать ребенка с помощью разума! Это значит начинать с конца, из работы делать инструмент, нужный для этой работы. Если бы дети слушались голоса разума, они не нуждались бы в воспитании. Говоря с ними с самого малого возраста непонятным для них языком, мы приучаем их отделяться пустыми словами, проверять все, что им говорят, считать себя такими же умными, как и наставники, быть спорщиками и упрямцами; а чего думаем достигнуть от них разумными доводами, все это получается исключительно в силу алчности, страха, тщеславия, к которым мы вынуждены всегда прибегать вдобавок к доводам разума.

Вот формула, к которой можно свести почти все уроки нравственности, какие дают и какие можно давать детям:

Наставник. Этого не должно делать.

Ребенок. А почему же не должно делать?

Наставник. Потому что это дурной поступок.

Ребенок. Дурной поступок! А что такое дурной поступок?

Наставник. Дурно поступать — значит делать то, что тебе запрещают.

Ребенок. Что же будет дурного, если я сделаю, что запрещают?

Наставник. Тебя накажут за непослушание.

Ребенок. А я так сделаю, что об этом ничего и не узнают.

Наставник. За тобой станут следить.

Ребенок. А я спрячусь.

Наставник. Тебя будут расспрашивать.

Ребенок. А я солгу.

Наставник. Лгать не должно.

Ребенок. Почему же не должно лгать?

Наставник. Потому что это дурной поступок, и т. д.

Вот неизбежный круг. Выйдите из него, и ребенок перестанет вас понимать. Не правда ли, как полезны эти наставления? Мне очень интересно было бы знать, какими рассуждениями можно заменить этот диалог. Сам Локк был бы, наверное, в большом затруднении. Распознавать благо и зло, иметь сознание долга человеческого — это не дело ребенка.

Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми. Если мы хотим нарушить этот порядок, мы произведем скороспелые плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не замедлят испортиться: у нас получатся юные ученые и старые дети. У детей своя собственная манера видеть, думать и чувствовать, и нет ничего безрассуднее, как желать заменить ее нашей; требовать от ребенка в десять лет рассуждения все равно, что требовать от него пяти футов роста. И действительно, к чему послужил бы ему разум в этом возрасте? Он служит уздой силы, а ребенок не нуждается в этой узде.

Стараясь убедить наших воспитанников, что повиновение есть долг, вы присоедините к этому мнимому убеждению насилие и угрозы или, что еще хуже, лесть и обещания. Таким образом, прельщенные выгодой или принужденные силой, они делают вид, что убеждены разумом. Они очень хорошо видят, что повиновение выгодно им, а сопротивление вредно, лишь только вы замечаете то или другое. Но так как вы требуете от них все таких вещей, которые им неприятны, и так как всегда тяжело исполнять чужую волю, то они тайком делают по-своему, в убеждении, что поступают хорошо, если никто не знает о их ослушании, но с готовностью сознаться, что поступили дурно, когда их уличат,— из опасения еще большего зла. Так как в их возрасте немислимо сознание долга, то нет в мире человека, которому удалось бы действительно внушить им это сознание; страх наказания, надежда на прощение, приставание, неумение найтись при ответе вытягивают из них все требуемые признания, а мы думаем, что убедили их, тогда как мы только надоели им или запугали их.

Что же выходит из всего этого? Во-первых, налагая на них обязанность, которой они не чувствуют, вы вооружаете их против вашей тирании и отвращаете от любви к вам; далее, вы научаете их быть скрытными, двоедушными, лживыми — из желания вырвать награду или укрыться от наказания; наконец, приучая их покрывать всегда тайный мотив каким-нибудь

видимым мотивом, вы сами даете им средство беспрестанно обманывать вас, скрывать от вас свой истинный характер и при случае отделяться от вас и от других пустыми словами. Вы скажете: но законы ведь тоже употребляют принуждение по отношению к взрослым, хотя они и обязательны для совести. Согласен; но что такое эти взрослые, как не те же дети, испорченные воспитанием? Вот это-то именно и нужно помнить. Употребляйте с детьми силу, а со взрослыми разум — таков естественный порядок; мудрец не нуждается в законах.

Обращайтесь с вашим воспитанником сообразно с его возрастом. Поставьте прежде всего его на должное место и умеете удержать на нем так искусно, чтоб он не пытался покинуть его. Тогда, не зная еще, что такое мудрость, он на практике получит самый важный урок ее. Никогда не приказывайте ему — ничего на свете, решительно ничего! Не допускайте у него даже представления, что вы претендуете на какую-нибудь власть над ним. Пусть он знает только, что он слаб и что вы сильны., что, по взаимному вашему положению, он необходимо зависит от вас. Пусть он это знает, пусть научится этому, пусть чувствует это; пусть с ранних пор чувствует над своей гордо поднятой головой жестокое иго, налагаемое на человека природой, тяжелое иго необходимости, под которым должно склониться всякое ограниченное существо. Пусть он видит эту необходимость в вещах, а не в капризе людей\* ; пусть уздой, его удерживающею, будет сила, а не власть. Не запрещайте ему того, от чего он должен воздерживаться, поставьте ему только препятствие, без объяснений, без рассуждений; что ему позволяете, позволяйте с первого слова, без упрашивания, без просьб и особенно без условий. Дозволяйте с удовольствием, отказывайте лишь с сожалением; но все отказы ваши пусть будут бесповоротны, пусть не колеблет вас никакая настойчивость; пусть сказанное вами «нет» будет несокрушимой стеной, так, чтобы, испытав раз 5—6 перед ней свои силы, ребенок не пытался уже опрокинуть ее.

Таким именно способом вы сделаете его терпеливым, ровным, безропотным, смирным — даже тогда, когда он не получит желаемого, ибо это лежит в природе человека — терпеливо переносить неизбежность вещей, но не сумасбродную волю другого. Слова: «нет больше» — вот ответ, против которого никогда не восставал ребенок, если только не считал его ложью. Впрочем, тут нет середины: нужно или ничего вовсе не требовать, или с самого начала приучить его к полнейшему подчинению. Худший способ воспитания — это заставлять его колебаться между его волей и вашей и постоянно оспаривать, кто из двух, вы или он, будет господином: я в сто раз предпочел бы, чтобы он оставался им всегда.

\* Ребенок, наверное, будет принимать за каприз всякое желание, которое противно его собственному и оснований которого он не будет знать. А ребенок не находит оснований во всем том, что идет вразрез с его прихотями.

Странно, что с тех пор, как берутся воспитывать детей, не придумали еще другого способа руководить ими, кроме соревнования, зависти, ненависти, тщеславия, жадности, низкого страха, всех страстей, наиболее опасных, наиболее способных волновать и портить душу, даже прежде

чем сформируется тело. При всяком преждевременном наставлении, которое вбивают им в голову, в глубине их сердца насаждают порок; безрассудные воспитатели думают сделать чудо, делая их злыми с целью научить, что такое доброта, а потом важно говорят нам: таков уж человек. Да, таков человек, которого вы сделали.

Испробованы все орудия, кроме одного-единственного, которое может вести к успеху,— кроме хорошо направленной свободы. Не нужно и браться за воспитание ребенка, когда не умеешь вести его, куда хочешь, с помощью одних законов возможного и невозможного. Так как сфера того и другого одинаково неизвестна, то ее можно, по желанию, расширять или суживать вокруг него. С помощью одной узды — необходимости — его можно связывать, двигать вперед, задерживать, не возбуждая в нем ропота; с помощью одной силы вещей можно делать его гибким и послушным, не давая возможности одному пороку зародиться в нем, ибо страсти не возбуждаются, пока они не способны произвести никакого действия.

Не давайте вашему ученику никаких словесных уроков; он должен получать их лишь из опыта; не налагайте на него никаких наказаний, ибо он не знает, что такое быть виноватым; никогда не заставляйте его просить прощения, ибо он не сумел бы вас оскорбить. Лишенный всякого нравственного мотива в своих поступках, он не может сделать ничего такого, что было бы нравственно злым и заслуживало бы наказания или выговора.

Я вижу уже, что испуганный читатель судит об этом ребенке по вашим детям, но он ошибается. Постоянное стеснение, в котором вы держите своих воспитанников, раздражает их живость; чем больше они стеснены на ваших глазах, тем буйнее они с того момента, как вырвутся: нужно же им вознаградить себя, когда они могут, за то суровое стеснение, в котором вы их держите. Два городских школьника наделают в ином месте больше опустошений, чем вся детвора целой деревни. Заприте барчонка и крестьянского мальчика в комнате; первый все опрокинет, все переломает, прежде чем второй шевельнется с места. Отчего это, если не оттого, что один спешит до конца воспользоваться минутой свободы, меж тем как другой, всегда уверенный в своей свободе, никогда не торопится ею воспользоваться? А меж тем дети поселян, которым все-таки часто потворствуют или прекословят, еще очень далеки от того состояния, в котором я желал бы их видеть.

Примем за неоспоримое правило, что первые природные движения всегда правдивы: в сердце человеческом нет исконной испорченности; в нем не находится ни одного порока, о котором нельзя было бы сказать, как и откуда он туда проник. Единственная страсть, прирожденная человеку,— это любовь к самому себе, или самолюбие, в обширном смысле слова. Это самолюбие само по себе, т. е. по отношению к нам самим, хорошо и полезно; а так как оно не предполагает того или иного необходимого отношения к другим, то и с этой стороны оно безразлично; дурным или хорошим оно делается лишь вследствие применения, которое дают ему, и отношений, в которые ставят его. Пока не явится руководитель самолюбия — разум, необходимо, значит, чтобы

ребенок ничего не делал потому только, что его видят или слышат, словом, ничего не делал из-за других, но делал лишь то, чего требует для него природа, и тогда он ничего не сделает нехорошего.

Я не говорю, что он никогда не наделает беспорядка, не поранит себя, не сломает, может быть, дорогой мебели, если она случится у него под руками. Он может наделать много дурного, не сделав ничего злого, потому что злой поступок обуславливается намерением повредить, а он никогда не будет иметь этого намерения. Если бы он хоть раз возымел его, все было бы уже потеряно: он был бы злым почти безвозвратно.

Иной поступок, дурной в глазах скупости, вовсе не дурен с точки зрения разума. Предоставляя детям полную свободу резвиться, следует удалять от них все, что могло бы сделать эту резвость слишком убыточной, и не оставлять у них под руками ничего ломкого и ценного. Пусть комната их будет убрана простою и прочною мебелью; долой зеркала, долой фарфор и предметы роскоши. Что касается моего Эмиля, которого я воспитываю в деревне, то комната его ничем не будет отличаться от комнаты крестьянина. К чему убирать ее с такою заботливостью, если ему так мало придется в ней оставаться? Впрочем, я ошибаюсь: он сам будет убирать ее, и мы скоро увидим, чем именно.

Если, несмотря на ваши предосторожности, ребенок произведет какой-нибудь беспорядок, разобьет полезную вещь, не наказывайте его за вашу небрежность, не браните его, пусть не услышит он ни одного слова упрека; не давайте ему даже заметить, что он причинил вам огорчение; поступайте так, как будто вещь разбилась сама собою, и в конце концов будьте уверены, что вы многое сделали, если сумели не сказать ни слова.

Осмелюсь ли я высказать здесь самое великое, самое важное и самое полезное во всем воспитании правило? Не выигрывать нужно время, нужно тратить его. Дюжинные читатели, извините мне мои парадоксы: они необходимо являются, когда размышляешь; а что вы там ни говорите, я предпочитаю быть человеком с парадоксами, чем человеком с предрассудками. Самый опасный промежуток человеческой жизни — это от рождения до двенадцатилетнего возраста. Это — время, когда зарождаются заблуждения и пороки, а нет еще никакого орудия для их уничтожения; когда же является орудие, корни бывают уже столь глубоки, что поздно их вырывать. Если бы дети одним прыжком перескакивали от грудного к разумному возрасту, воспитание, которое дают, годилось бы для них; но, если сообразоваться с естественным ходом вещей, им нужно совершенно противоположное воспитание. Нужно, чтобы они сохраняли неприкосновенной свою душу до тех пор, пока она не будет иметь всех своих способностей: ибо невозможно, чтобы она, оставаясь слепую, видела светоч, который вы несете перед ней, и чтобы на необозримой равнине идей она следовала тому пути, который так слабо намечается разумом даже для самых лучших глаз.

Таким образом, первоначальное воспитание должно быть чисто отрицательным. Оно состоит не в том, чтобы учить добродетели и истине, а в том, чтобы предохранить сердце от порока, а ум — от заблуждения. Если бы вы могли сами ничего не делать и не допускать других до этого, если бы вы могли довести нашего воспитанника здоровым и сильным до двенадцатилетнего возраста, но так, чтобы он не умел отличить правой руки от левой, то с первых же ваших уроков его взор раскрылся бы для разума; будучи без предрассудков и без привычек, он ничего бы не имел в себе такого, что могло бы противодействовать вашим заботам. Он скоро стал бы в ваших руках мудрейшим из людей, и вы, начав с того, что ничего не делали, произвели бы чудо в деле воспитания.

Поступайте противно обычаю, и вы почти всегда будете поступать хорошо. Так как из ребенка хотят создать не ребенка, а ученого, то отцы и наставники только и делают, что журят, исправляют, дают выговоры, ласкают, угрожают, обещают, наставляют, приводят резоны. Поступайте лучше этого: будьте рассудительны и не рассуждайте с вашим воспитанником, особенно с целью заставить его согласиться на то, что ему не нравится, ибо вечно приводить таким образом доводы разума в вещах неприятных для ребенка — это значит наскучить ему этим разумом и заранее уничтожить к нему доверие в душе, еще не способной понимать его. Упражняйте тело ребенка, его органы, чувства, силы, но оставляйте его душу в бездействии, пока можно. Бойтесь всех чувствований, возникающих раньше суждения, умеющего их оценить. Задерживайте, останавливайте чуждые впечатления и не спешите делать добро, чтобы помешать возникнуть злу, ибо добро только тогда бывает таковым, когда его освещает разум. Смотрите на всякую остановку, как на выигрыш: подвигаться к цели, ничего не теряя, это значит много выигрывать. Дайте детству созреть в детях. Наконец, если какой-нибудь урок становится для них необходимым, берегитесь давать его сегодня, если можете безопасно отложить до завтра.

Другое соображение, подтверждающее полезность этого метода, касается особых дарований каждого ребенка: нужно с ними хорошо ознакомиться, чтобы знать, какой нравственный режим пригоден для них. Каждый ум имеет свой собственный склад, сообразно с которым и следует управлять им; для успешности принимаемых забот важно, чтобы им управляли таким-то путем, а не иным. Благоразумный наставник! изучай дольше природу, хорошо наблюдай за своим воспитанником, прежде чем сказать ему первое слово; дай прежде всего на полной свободе обнаружиться зачаткам его характера; не принуждай его в чем бы то ни было, чтобы лучше видеть его во всей целостности. Неужели вы думаете, что это время свободы потеряно для него? Совершенно напротив: оно окажется лучше всего употребленным, ибо таким образом вы научитесь не терять ни одной минуты из времени более ценного, тогда как если вы начнете действовать, не узнавши, что нужно делать, то вы будете действовать наугад; вы можете обмануться, и вам придется возвращаться назад: вы дальше будете от цели, чем в том случае, если меньше торопились бы достигнуть ее. Не поступайте поэтому, как скупой, который, из желания ничего не потерять,



теряет много. Жертвуйте в первом возрасте временем, которое вы с избытком воротите в более позднем возрасте. Мудрый врач не дает опрометчиво рецептов с первого же взгляда, но предварительно изучает темперамент больного, прежде чем предписать что-либо; он начинает лечить поздно, но зато вылечивает, меж тем как врач, слишком поспешивший, убивает больного.

Но куда же нам поместить этого ребенка? где его воспитать таким образом? Как будто он существо нечувствительное, как будто он автомат! Держать ли его на луне или на необитаемом острове? Удалить ли его от всех людей? Разве он не будет непрерывно в мире видеть зрелище и пример чужих страстей? разве он никогда не увидит других детей своего возраста? разве он не будет видеть своих родителей, соседей, кормилицу, гувернантку, слугу, самого воспитателя, который не ангелом же будет, наконец?

Возражение это сильно и важно. Но разве я говорил вам, что естественное воспитание — дело легкое? О, люди! Моя ли вина, если вы сделали трудным все, что хорошо? Я чувствую эти трудности, я не отрицаю их: может быть, они непреодолимы; но во всяком случае верно то, что при старании преодолеть их до известной степени преодолевают. Я показываю цель, которую следует задаться: я не говорю, что можно достичь ее; но я говорю, что, кто ближе подойдет к ней, тот будет иметь больше всего успеха.

Помните, что прежде, чем вы осмелитесь взяться за формирование человека, вам самим нужно сделаться людьми; нужно, чтобы в вас самих был образец, которому от должен следовать. Пока еще ребенок несознательно относится к окружающему, есть время все подготовить так, чтобы первые взоры он бросал только на такие предметы, которые следует ему видеть. Внушите всем уважение к себе, заставьте прежде всего себя полюбить, чтобы каждый искал случая вам угодить. Вы не будете управлять ребенком, если вы не господин всего, что окружает его; а этот авторитет никогда не будет достаточным, если он не основан на уважении к добродетели. Тут дело не в том, чтобы опустошать свой кошелек и сыпать деньги полными руками: я никогда не видел, чтобы деньги кого-нибудь заставили любить. Не нужно быть скупым и жестоким; мало — жалеть нищету, которую можно облегчить; но хотя бы вы открыли все сундуки, если вы не открываете при этом и своего сердца, для вас навсегда останутся закрытыми сердца других. Свое собственное время, свои заботы, свои привязанности, самих себя — вот что вы должны отдавать другим; ибо, что бы вы ни делали, люди всегда чувствуют, что ваши деньги — это не вы. Иные знаки сочувствия и доброжелательства оказывают более действия и па деле полезнее, чем все дары: сколько несчастных, больных нуждаются скорее в утешении, чем в милостыне! Скольким угнетенным покровительство полезнее, чем деньги! Мирите людей, которые ссорятся, предупреждайте тяжбы; склоняйте детей к долгу, отцов к снисходительности; содействуйте удачным бракам; ставьте преграду притеснениям; хлопчите, широко пользуйтесь влиянием родителей вашего воспитанника в защиту слабого, которому отказывают в правосудии и которого давит сильный. Смело объявляйте себя покровителем несчастных! Будьте справедливы,

человечны, благотворительны. Творите не одну милостыню, творите дела любви: дела милосердия облегчают больше бедствий, чем деньги. Любите других, и они вас будут любить; помогайте им, и они вам станут помогать; будьте братьями их, и они будут вашими детьми.

Вот еще одна из причин, почему я хочу воспитывать Эмиля в деревне, вдали от этой шайки лакеев, самых презренных из людей после своих господ, вдали от грязных городских нравов, которые вследствие лоска, их покрывающего, делаются обольстительными и заразительными для детей, тогда как пороки крестьян, являясь без прикрас и во всей своей грубости, скорее способны оттолкнуть, чем обольстить, если нет никакого интереса подражать им.

В деревне воспитатель гораздо скорее будет обладать предметами, которые захочет, показать ребенку; его репутация, его беседы, его пример будут иметь такое влияние, какого они не могли бы иметь в городе; так как он всем полезен, то каждый будет стараться оказать ему услугу, заслужить его уважение, высказать себя перед учеником таким, каким учитель желал бы в действительности видеть всех; и если люди не исправятся при этом от порока, то они удержатся от неприличных поступков, а нам только это нужно для нашей цели.

Перестаньте обвинять других в своих собственных ошибках: зло, которое видят дети, меньше портит их, чем то, которому вы их научаете. Вечные проповедники, вечные моралисты и педанты, вы за одну идею, которую даете, считая ее хорошею, наделяете их сразу двадцатью другими, никуда не годными; поглощенные тем, что происходит в вашей голове, вы не видите действия, производимого вами на их головы. Неужели вы думаете, что в длинном потоке слов, непрестанно вами извергаемом, нет ни одного ложно понятого ими? Неужели вы думаете, что они не комментируют на свой лад ваших многоречивых объяснений и не найдут в них материала для составления своей системы, доступной их пониманию, которую сумеют при случае выставить против вас?

Послушайте мальчугана, которому только что читали наставления; предоставьте ему свободно болтать, расспрашивать, говорить, что вздумается, и вы с удивлением увидите, какой странный оборот приняли в его уме ваши рассуждения: он все смешивает, все ставит вверх дном, выводит вас из терпения, бросает подчас в отчаяние своими непредвиденными возражениями, доводит вас до того, что вы молчите и заставляете его замолчать; а что он может подумать о молчании человека, который так любит говорить? Если он когда-нибудь возьмет верх, если он заметит это, прощай, воспитание! Все кончено с этой минуты, он уже старается не научиться, он старается опро- вергать вас.

Ревностные наставники, будьте просты, скромны, сдержанны! Никогда не спешите действовать только с тем, чтобы помешать другим действовать. Я не устану повторять: откладывайте, если можно, хорошее наставление из опасения дать дурное. Берегитесь на этой земле, природа которой могла бы создать первый рай человека, играть роль искусителя из желания научить невинность познанию добра и зла: раз вы не в состоянии помешать ребенку поучаться извне, примерами,

ограничьте всю вашу бдительность тем, чтобы запечатлеть в его уме эти примеры в том виде, который ему пригоден.

Пылкие страсти производят сильное действие на ребенка, который бывает свидетелем их, потому что они имеют очень чувствительное, сражающее его выражение и вынуждают его остановить на них внимание. Особенно резкими бывают вспышки гнева, так что их невозможно не заметить, если они на виду. Нечего и говорить, что тут представляется для педагога отличный случай начать прекрасную речь. Ну их! Прочь прекрасные речи! Не надо ничего, ни одного слова! Подзовите просто ребенка: удивленный зрелищем, он не замедлит обратиться к вам с расспросами. Ответ прост: он вытекает из самих предметов, поражающих его чувства. Он видит воспаленное лицо, сверкающие глаза, угрожающие жесты, слышит крики — все это признаки, что тело не в обычном состоянии. Скажите ему спокойно, без нажима, без таинственности: «Этот бедный человек болен, у него припадок лихорадки». Вы можете воспользоваться здесь случаем и дать ребенку, но лишь в немногих словах, понятие о болезнях и их действии, ибо это также лежит в природе и составляет одну из цепей необходимости, которыми он должен чувствовать себя связанным.

Может ли быть, чтобы в силу этой идеи, далеко не ложной, он с ранних пор не получил некоторого отвращения к проявлению чрезмерных страстей, которые он будет считать болезнью? И думаете ли вы, что подобного рода понятие, внушенное кстати, не произведет такого спасительного действия, как скучнейшая проповедь морали? Но зато посмотрите, к каким последствиям ведет это понятие в будущем: вы уже имеете право в случае нужды обращаться с упрямым ребенком, как с больным, запереть его в комнате, уложить, если нужно, в постель, держать на диете, грозить ему зарождающимися в нем пороками, представлять их ненавистными и страшными, меж тем как он никогда не будет считать наказанием ту строгость, которую вы, может быть, принуждены будете употребить для его излечения. А если **вам** самим, в минуту вспыльчивости, случится потерять хладнокровие и сдержанность, с которою вы должны вести ваши занятия, не старайтесь скрыть от него своей ошибки, но скажите ему откровенно, с нежным упреком: «Друг мой, вы причинили мне боль».

Необходимо, однако, чтобы ни одна наивность, которую может сказать ребенок в силу простоты внушенных ему идей, никогда не подхватывалась в его присутствии и не повторялась так, чтобы он мог ее заметить. Один нескромный взрыв хохота может испортить дело шести месяцев и причинить вред, непоправимый на всю жизнь. Я не перестану повторять: чтобы управлять ребенком, необходимо управлять самим собою. Я представляю себе такую сцену: в самый разгар ссоры между двумя соседками малютка Эмиль подходит к наиболее бешеной из них и говорит тоном соблезнования: «Бедняжка, вы больны,— как мне жаль вас!» Наверное, это остроумное слово произведет действие на зрителей, а может быть, и на действующих лиц. Без смеха, без упрека и без похвалы, я волею или неволею увожу его, прежде чем он заметит это

действие или по крайней мере подумает об этом, и спешу развлечь его другими предметами, которые заставили бы его скоро забыть об этой сцене.

Цель моя — не во все подробности входить, а только изложить общие правила и дать примеры для затруднительных случаев. Я считаю невозможным довести в среде общества ребенка до двенадцатилетнего возраста и не дать ему никакого понятия об отношениях человека к человеку и о нравственной стороне людских поступков. Достаточно стараться, чтобы эти понятия сделались для него необходимыми как можно позже, а когда они станут неизбежными, ограничивать их применение пользою данной минуты, лишь для того, чтобы ребенок не считал себя господином всего и не делал зла другому без угрызений совести и бессознательно. Есть характеры мягкие и спокойные, которые без всякой опасности можно далеко вести в их первобытной невинности: но есть и натуры буйные, в которых рано развивается жестокость и которые нужно скорее сделать людьми, чтобы не быть принужденным посадить их на цепь.

Наши первые обязанности касаются нас самих; наши первоначальные чувствования сосредоточиваются на нас же самих; все наши естественные движения относятся прежде всего к нашему самосохранению и благоденствию. Таким образом, первое чувство справедливости порождается в нас не тою справедливостью, которую мы обязаны делать, но тою, которую обязаны другие по отношению к нам, и вот еще одна из нелепиц при обычных способах воспитания: детям прежде всего толкуют об их обязанностях, но никогда не говорят об их правах, т. е. начинают как раз с противоположного, с того, чего они не могут понять и что не может их интересовать.

Если бы мне предстояло направлять таких детей, о которых я только что говорил, я сказал бы себе: «Ребенок не трогает лиц<sup>\*</sup>, не бросается на вещи». Опыт скоро научит уважать всякого, кто выше его летами или силой, но вещи не могут сами защищаться. Значит, первую нужно внушать ему идею собственности, чем идею свободы, чтобы он мог иметь эту идею, он должен иметь какую-нибудь собственность. Называть ему собственностью его одежду, мебель, игрушки, значит ничего ему не сказать, потому что хотя он располагает этими вещами, но он не знает, почему и как они ему достались. Сказать ему, что он их имеет потому, что ему дали, значит поступить не лучше; ибо, чтобы дать, нужно иметь; следовательно, это только собственность, возникшая раньше его собственности, а ему хотят разъяснить самый принцип собственности, не говоря уже о том, что дар есть договор, ребенок же не может еще знать, что такое договор<sup>\*</sup>. Заметьте, прошу вас, читатели, на этом примере и на сотне тысяч других, как мы, набивая голову детей словами, не имеющими для них никакого смысла, все-таки полагаем, что дали им очень хорошее наставление.

\* Никогда не следует допускать, чтобы ребенок играл со взрослыми, как с низшими или даже как равными себе. Если он осмелился не шутя ударить кого-нибудь, хотя бы слугу своего, хотя бы палача, сделай так, чтобы он с лихвой получил назад свои удары, чтобы отбить у него охоту повторять это. Я видел, как неблагоприятные гувернантки поощряли упрямство ребенка,

подстрекали его драться, давали бить себя и смеялись над его слабыми ударами, не думая, что удары эти были покушением убить со стороны маленького буяна и что, кто в детстве хочет бить, тот взрослым захочет убить.

Итак, надлежит восходить к началу собственности, ибо оттуда именно должна зародиться первая идея о ней. Живя в деревне, ребенок получит некоторое понятие о полевых работах; для этого нужны только глаза и досуг, а у него будет то и другое. Всякому возрасту, а особенно его возрасту, свойственно желание создавать, подражать, производить, проявлять могущество и деятельность. Увидев раза два, как возделывают сад, как сажают, собирают, разводят овощи, он в свою очередь захочет заниматься огородничеством.

В силу установленных выше принципов, я не противлюсь его желанию; напротив, я содействую, разделяю его вкус, работаю с ним, не для его удовольствия, но для своего; по крайней мере он так думает. Я делаюсь его огородником: в ожидании пока у него разовьется мускульная сила, я вскапываю за него землю; он входит во владение священнее и почтеннее того, когда Нуньес Бальбао во имя испанского короля вступал во владение Южной Америкой, всадив в землю древко своего знамени на берегах Южного моря<sup>11</sup>.

Ежедневно мы приходим поливать бобы и с восторгом следим за их выходом. Я увеличиваю эту радость, говоря ему: «это принадлежит тебе», и, объясняя ему при этом выражение «принадлежит», даю ему почувствовать, что он положил сюда свое время, свой труд, свои заботы, одним словом, свою личность, что в этой земле есть частица его самого, которую он может требовать назад, от кого бы то ни было, подобно тому как он мог бы вырвать свою руку из руки другого человека, которому вздумалось бы насильно ее удержать.

В один прекрасный день он спешит туда, с лейкою в руке, и... о, зрелище! о, горе! бобы все вырваны, почва вся взрыта,— не узнаешь даже места. Увы! Куда девался мой труд, моя работа, сладкий плод моих забот и стараний? Кто похитил у меня мое добро? кто отнял мои бобы? Молодое сердце возмущено: в первый раз чувство несправедливости только что излило в него свою черную горечь; слезы текут ручьями; безутешное дитя наполняет воздух воплями и криками. В его горе и негодовании принимают участие, ищут, осведомляются, производят расследование. Наконец, оказывается, что натворил беду огородник: его призывают.

\* Вот почему большинство детей желают получить обратно то, что они подарили, и плачут, если им не хотят возвращать. Этого не бывает уже с ними, когда они хорошо поняли, что такое дар; но дарят они после этого уже с большой осмотрительностью.

Но мы совершенно ошиблись в расчете. Огородник, узнав причину жалобы, начинает жаловаться еще громче нас: «Как, господа! это вы испортили так мою работу! Я посеял тут мальтийские дыни, семена которых получены мною, как драгоценность, и которыми я надеялся угостить вас, когда они созреют; и вот вы, чтобы посадить свои жалкие бобы, истребили у меня

дыни, а они уж совсем было взошли, и их совершенно нечем мне заменить. Вы мне нанесли непоправимый ущерб, и сами лишены удовольствия поесть редких дынь».

Ж а н - Ж а к. Извините нас, любезный Робер! Вы положили сюда свой труд, свои усилия. Я хорошо вижу, что мы виноваты в том, что испортили вашу работу, но мы вам доставим еще мальтийских семян и не станем уже копать землю, не разузнав сначала, не трудился ли на ней кто-нибудь раньше нас.

Робер. Нет, господа! Вам придется отложить свои заботы: свободной земли больше почти нет. Я обрабатываю ту, которую удобрил отец мой; каждый со своей стороны делает то же: все земли, которые вы видите, давным-давно заняты.

Э м и л ь. Господин Робер! Значит семена дынь часто пропадают?

Робер. Нет, извините, милый мальчик! К нам не часто являются такие шаловливые мальчуганы, как вы. Никто не трогает огорода своего соседа; каждый уважает труд другого, чтобы и его собственный был обеспечен.

Эмиль. Но у меня нет огорода.

Робер. Ну так что же из этого? Если вы будете портить мой огород, я не стану больше пускать вас в него гулять: я, знаете ли, не хочу даром терять своего труда.

Жан-Жак. Нельзя ли предложить сделку доброму Роберу? Пусть он нам уступит, моему маленькому другу и мне, уголок своего огорода для обработки с условием получить половину продуктов.

Р о б е р. Я уступаю вам без условий. Но помните, что я вскопаю ваши бобы, если вы тронете мои дыни.

Из этого опыта передачи детям первоначальных понятий мы видим, как идея собственности естественно восходит к праву первого завладения путем труда. Это ясно, наглядно и просто и всегда доступно детскому пониманию. Отсюда до права собственности и до обмена один всего шаг, после которого следует тотчас остановиться.

Ясно, кроме того, что объяснение, которое занимает у меня тут две страницы, на практике, может быть, будет делом целого года, ибо в сфере нравственных идей нужно подвигаться вперед как можно медленнее и как можно тверже упрочивать каждый шаг. Молодые наставники, подумайте, прошу вас, над этим примером и помните, что во всякой сфере уроки ваши должны заключаться скорее в действиях, чем в речах, ибо дети легко забывают, что сказали и что им сказано, но не забывают того, что сделали и что им сделано.

Подобные наставления нужно давать, как я сказал, то раньше, то позже: кроткий характер воспитанника ускоряет эту нужду, буйный — замедляет; способ вести эти наставления совершенно очевиден, но чтобы не упустить в трудном вопросе ничего важного, дадим еще пример.

Неугомонный ребенок ваш портит все, до чего ни дотронется. Вы не должны сердиться: удалите только с глаз долой все, что он может испортить. Он ломает свою мебель — не торопитесь заменить ее новою: дайте ему почувствовать вред лишения. Он бьет окна в своей комнате: пусть на него ночь и день дует ветер — не бойтесь, что он получит насморк: лучше ему быть с насморком, чем сумасбродом. Никогда не жалуйтесь на неудобства, которые он вам причиняет, но постарайтесь, чтоб он первый почувствовал их. Наконец, вы велите вставить новые стекла, все-таки не говоря ему ни слова. Он снова разбивает. Теперь перемените метод: скажите ему сухо, но без гнева: «Окна принадлежат мне, они застеклены на мой счет; я хочу, чтоб они были целы». Затем закройте его в темноту, в комнату без окон. При этом столь необычайном вашем поступке он начинает кричать, бушевать; никто его не слушает. Скоро он утомляется и переменяет тон; он жалуется и рыдает. Является слуга; упрямец просит его выпустить. Слуге нечего и искать предлога к отказу — он просто отвечает: «У меня тоже есть окна; я тоже хочу, чтоб они были целы» — и уходит. Наконец, когда ребенок пробудет там несколько часов, настолько долго, чтобы заскучать и потом помнить об этом, кто-нибудь внушает ему мысль предложить вам соглашение, чтобы вы возвратили ему свободу, если он обяжется не бить стекол. Лучшего и не надо. Он просит вас позвать к нему; вы приходите; он делает свое предложение, вы тотчас принимаете его, говоря: «Вот отлично придумано! Мы оба выиграем, И как это раньше ты не додумался до этой прекрасной мысли!» Затем, не требуя ни уверений, ни подтверждения своего обещания, вы радостно обнимаете его и тотчас же уводите в его комнату, считая это соглашение столь же священным и ненарушимым, как если б оно было скреплено клятвой. Какое, вы думаете, понятие вынесет он из всего этого случая о верности взаимных обязательств и пользе их? Я жестоко обманулся бы, если бы нашелся в свете хоть один ребенок, еще не испорченный, на которого не подействовал бы этот образ действий и который захотел бы после этого нарочно бить окна. Проследите цепь, связывающую все это.

Копая ямку, чтобы посадить свой боб, маленький шалун и не думает, что он копает яму, куда скоро засадит его жизненный опыт\*.

\* Впрочем, если бы это сознание необходимости исполнять свои обязательства не подкреплялось в уме ребенка соображениями пользы, то начинающееся зарождающееся внутреннее чувство скоро внушило бы ему это сознание, как закон совести, как врожденный принцип, для развития которого требуются только те факты сознания, к которым он применяется. Эта первая черта начертана в нашем сердце не рукою человека, но Творцом всякой справедливости. Отнимите эту первоначальную основу договора и обязательств, им налагаемых, и все станет пустым и призрачным в человеческом обществе. Кто держится своего обещания лишь в силу выгоды, тот не больше связан, чем если бы он совсем ничего не обещал,— по крайней мере он будет иметь возможность нарушать его, поступая, как игрок, который не спешит воспользоваться случаем, чтобы выждать другого момента, когда можно будет воспользоваться им с большей выгодой. Это

правило в высшей степени важно и заслуживает глубокого изучения, ибо здесь именно человек начинает впадать в противоречие с самим собой.

Теперь мы в сфере нравственных отношений; теперь открыта дверь для порока. Вместе с договорами и обязанностями рождается обман и ложь. Лишь только является возможность делать то, чего не должно, является и желание скрыть то, чего не следовало бы делать. Как скоро обещание вызывается интересом, другой интерес, больший, может заставить нарушить его; все дело тут в том, чтобы нарушить безнаказанно; средства для этого вполне естественные — скрытность и ложь. Не имея возможности предупредить порок, мы здесь уже поставлены в необходимость его наказывать. Вот источник бедствий человеческой жизни, которые начинаются с началом заблуждений.

Я уже достаточно доказывал, что наказание никогда не следует налагать на детей, как наказание, что оно должно всегда являться естественным последствием их дурного поступка. Итак, не гремите красноречием против лжи, не наказывайте детей прямо за то, что они солгали: не сделайте так, чтобы если они солгали, то на их голову пали и все дурные последствия лжи, которая ведет к тому, например, что нам совсем не верят, когда мы говорим правду, или, несмотря на все наши оправдания, обвиняют в дурном поступке, которого мы не совершили. Но объясним, что значит для детей лгать.

Есть два рода лжи: ложь на деле, которая относится к прошлому, и ложь в помысле, касающаяся будущего. Первая имеет место, когда отрицают сделанное или утверждают, что сделали то, чего не сделано, вообще когда заведомо говорят против истины факта. Вторая бывает, когда обещают, не думая сдержать обещание, и вообще когда выказывают намерение, противное тому, какое имеется в действительности. Эти оба рода лжи могут иногда сливаться в одно<sup>\*</sup>; но здесь я рассматриваю те стороны, которыми они отличаются.

\* Когда, например, преступник, обвиняемый в преступлении, в защите своей ссылается на то, что он честный человек. Тут ложь касается и дела, и помысла.

Кто чувствует нужду в чужой помощи, кто не перестает испытывать на себе расположение других, тому нет никакого интереса обманывать их; напротив, он находит очевидную выгоду в том, чтобы они видели вещи в истинном свете, из опасения, чтоб обман их не послужил ему во вред. Отсюда ясно, что ложь на деле не свойственна детям; но закон послушания и вызывает необходимость лгать, ибо так как послушание тяжело, то всякий, как можно больше, тайком уклоняется от него, а близкая выгода избежать наказания или выговора берет верх над отдаленною выгодой, сопряженной с изложением истины. При естественном и свободном воспитании из-за чего станет лгать вам ребенок? что ему скрывать от вас? Вы не журите его, не наказываете, ничего от него не требуете — отчего же ему не рассказать вам всего того, что он сделал, так же откровенно, как и своему маленькому товарищу? В этом признании для него не больше опасности в первом случае, чем во втором.



Ложь в помысле еще менее свойственна детям, потому что обещания делать что-либо или не делать чего-либо суть акты договора, которые выходят уже за пределы естественного состояния и нарушают свободу. Мало того, все обязательства детей ничтожны и сами по себе; ибо, принимая обязательство, они и сами не знают, что делают, так как их ограниченный взор не может простираться дальше настоящего. Едва ли ребенок может лгать, когда он принимает обязательство: так как он только и думает о том, чтобы выпутаться из беды в настоящую минуту, то всякое средство, не ведущее к немедленному действию, делается для него годным: своим обещанием на будущее время он не обещает ничего; воображение ребенка, пока еще дремлющее, не умеет распространить бытия его на две различные сферы времени. Если б обещанием броситься завтра из окна он мог избежать розг или получить коробку конфет, он тотчас же дал бы такое обещание. Вот почему законы считают недействительными обязательства детей; если же строгие отцы и наставники добиваются от них исполнения обязательств, то лишь по отношению к тому, что ребенок должен был бы сделать и без всякого обещания.

Не сознавая того, что делает, когда дает обязательство, ребенок не может поэтому и давать ложных обязательств. Не то бывает, когда он нарушает обещание: это новый род лжи — ложь обратно действующая, ибо он очень хорошо помнит свое обещание, но не видит большой важности в том, выполнено оно или нет. Не будучи в состоянии читать книгу будущего, он не может предвидеть и последствий факта, и, когда он нарушает свои обязательства, он поступает как раз сообразно со своим возрастом.

Отсюда следует, что ложь детей — это дело наставников и что желать научить детей говорить правду значит не что иное, как учить их лгать. В пылу стремления направлять, руководить, наставлять никак не могут найти достаточного числа орудий, чтобы добиться цели. Путем бесосновательных правил и неразумных наставлений хотят сделать новые захваты в области детского ума и предпочитают, чтобы дети восприняли их уроки и лгали, а не оставались невеждами и правдивыми.

Что же касается нас, то так как мы даем своим воспитанникам только уроки практические и больше желаем, чтоб они были добрыми, чем учеными, то и не станем домогаться от них истины из опасения, чтоб они не исказили ее, и не будем заставлять их делать обещания, которые им не захотелось бы исполнять. Если в мое отсутствие случится какая-нибудь беда и я не буду знать ее виновника, я остерегусь обвинять Эмиля или говорить ему: «Не ты ли это?»\* Ибо чего я добьюсь этим, кроме того, что научу его запираяться? Если же своенравный характер ребенка вынудит меня вступить с ним в какое-нибудь соглашение, то я приму все меры, чтобы предложение исходило всегда от него, а не от меня, чтобы если он дал обязательство, то всегда имел текущий и осязательный интерес выполнить его, чтобы в случае неисполнения эта ложь навлекла на него такие бедствия, источник которых он видел бы в самом порядке вещей, а не в мстительности своего воспитателя. Но я не имею ни малейшей нужды прибегать к таким жестоким средствам и

почти уверен, что Эмиль очень поздно узнает, что такое ложь, и, узнав это, будет очень удивлен, не будучи в состоянии понять, для чего она может служить. Очевидно, что, чем более я делаю его благосостояние независимым от чужой воли или от чужих суждений, тем больше я отнимаю у него всякую выгоду лгать.

\* Нет ничего нескромнее этого вопроса, особенно если ребенок виновен: в этом случае, если он подумает, что вы знаете его поступок, он увидит в вашем вопросе расставленные вами сети, и это мнение не может не вооружить его против вас. Если же он не подумает этого, он скажет себе: «Зачем же мне признаваться в своей вине?» И вот вам первая попытка лжи, явившаяся следствием вашего неразумного вопроса.

Если не спешат наставлять, то не спешат и требовать, делают все не торопясь, чтобы если требовать, то требовать кстати. Тогда ребенок развивается уже тем самым, что не портится. Но если опрометчивый наставник, не умея взяться за дело, ежеминутно заставляет ребенка давать то те, то другие обещания, без различия, без выбора и без меры, ребенок, утомленный и отягощенный всеми этими обещаниями, перестает обращать на них внимание, забывает их, наконец, пренебрегает ими и, считая их пустыми словами, забавляется тем, что то дает их, то нарушает. Итак, если вы желаете, чтоб он был верен в слове, будьте скромны в своих требованиях.

Подробности, в которые я только что вдавался по поводу лжи, можно во многих отношениях применить и ко всем другим обязанностям, которые предписывают детям, делая, таким образом, их не только ненавистными, но и неисполнимыми. Чтоб явиться перед ними проповедниками добродетели, их заставляют полюбить все пороки; запрещая иметь их, тем самым наделяют ими. Хотят сделать детей благочестивыми и вот водят их скучать в церковь; заставляя постоянно бормотать молитвы, вынуждают их мечтать о том, как хорошо было бы совсем не молиться Богу. Чтоб внушить любовь к ближним, заставляют их подавать милостыню, как будто самим не стоит вовсе этим заниматься. Нет, не ребенок должен подавать, а наставник: какую бы ни питал он привязанность к своему воспитаннику, он должен оспаривать у него эту честь, он должен дать ему понять, что в его годы он не достоин еще этого. Милостыня — дело человека, который знает цену того, что дает, и нужду своего ближнего. Ребенок ничего этого не знает, и в пожертвовании нет для него никакой заслуги: он подает без чувства любви, тут нет милосердия; он чуть не стыдится подавать, думая на основании своего и вашего примера, что подают только дети, а взрослые уже не делают этого.

Заметьте, что ребенка всегда заставляют подавать вещи, цены которых он не знает,— деньги, которые он только для этого и носит в кармане. Ребенок скорее отдаст сто луидоров, чем один пирожок. Но допросите этого расточителя отдать вещи, которые ему дороги: игрушки, сласти, завтрак, и вы скоро увидите, действительно ли сделали его щедрым.

Дело бывает и так: ребенку очень скоро возвращают то, что он дал, так что он приучается отдавать все, что вполне надеется получить обратно. Я замечал в детях почти только эти два рода

щедрости: они дают, что им совсем не нужно или то, в возвращении чего они уверены. Сделайте так, говорил Локк, чтоб они на опыте убедились, что самый богатый всегда есть вместе с тем и самый щедрый. Но это значит сделать ребенка щедрым на вид, а скупым на деле. Локк добавляет, что таким путем дети приучатся к щедрости. Да! К щедрости ростовщика, которая, по пословице, дает «карася», чтобы получить «поросю»<sup>12</sup>. Но когда дело пойдет о том, чтоб и вправду дать что-нибудь, прости и привычка! Перестанут им возвращать, и они сейчас же перестанут давать. Подумайте скорее о привычках души, чем о привычке рук. Все другие добродетели, которым учат детей, походят на эту. И вот, проповедуя о таких прочных добродетелях, заставляют их влачить свои юные годы среди скуки! Не правда ли, какое ученое воспитание?

Наставники! Бросьте жеманничать, будьте добродетельны и добры; пусть примеры ваши запечатлеваются в памяти воспитанников ваших, в ожидании, пока не проникнут в сердца. Вместо того чтобы спешить требовать от моего воспитанника дело милосердия, я лучше сам буду совершать их в его присутствии и отниму у него даже возможность подражать мне в этом: такая честь ему не по летам; ибо важно, чтобы он не привыкал смотреть на человеческие обязанности только как на обязанности детские. Если же, видя, как я помогаю бедным, он начнет расспрашивать меня об этом, я скажу ему, когда придет время сказать\*: «Друг мой, я поступаю так потому, что когда бедные согласились, чтобы были и богатые, то богачи обещали кормить тех, которые ни в своем имуществе, ни в труде не найдут средств к жизни». — «Значит, вы тоже обещали это»? — возразил он. «Конечно! Распоряжаться добром, которое идет через мои руки, я тогда только могу, если соблюдаю условие, связанное с обладанием этим добром».

\* Разумеется, я разрешаю его вопросы не тогда, когда ему угодно, но когда сам сочту нужным; поступать иначе значило бы подчиняться его воле и ставить себя в самую опасную зависимость — в зависимость воспитателя от воспитанника.

Услышав эту речь,— а мы видели уже, как довести ребенка до понимания ее,— иной (но не Эмиль) захотел бы, пожалуй, подражать мне и вести себя на манер богача; в подобном случае я по крайней мере не дал бы ему такой возможности; я предпочел бы, чтоб он похитил у меня мое право и подавал бы тайком. Такой обман свойствен его возрасту и единственный, который я простил бы ему.

Знаю, что все эти добродетели из-за подражания суть добродетели обезьяны и что всякое доброе дело бывает только тогда нравственно добрым, когда совершается как таковое, а не в силу того, что так подступают другие. Но в возрасте, когда сердце ничего еще не чувствует, не мешает заставлять детей подражать действиям, к которым хотят их приучить, в ожидании, пока они будут в состоянии совершать их сознательно и вследствие любви к добру. Человек — подражатель, даже животное склонно к тому же; склонность к подражанию — свойство упорядоченной природы; но она вырождается в порок среди общества. Обезьяна подражает человеку, которого боится, и не подражает животным, которых презирает; она считает хорошим то, что делает существо, стоящее

выше ее. Среди нас дело происходит наоборот: наши всевозможные арлекины подражают прекрасному с целью унижить его, сделать смешным; в сознании своей низости они стараются сравнить с собою то, что лучше их; если же и силятся скопировать те, чему удивляются, то в самом выборе предметов уже обнаруживается ложный вкус подражателей: они добиваются того, чтоб обморочить других или вызвать одобрение своему искусству, вместо того чтобы самим сделаться лучше и умнее. Основой подражания у нас бывает желание выходить постоянно за пределы своей природы. Если я успею, в своем предприятии, Эмиль, наверное, не будет иметь такого желания. Таким образом, мы должны отказаться от той мнимой выгоды, которую оно может принести.

Вникните во все правила нашего воспитания, и вы найдете, что они все навыворот, особенно в том, что касается добродетелей и нравов. Один только урок нравственности годен для детства и в высшей степени важен для всякого возраста — это не делать никому зла. Самое наставление делать добро, если оно не подчинено этому правилу, опасно, лживо и противоречиво. Кто только не делает добра? Все его делают, и злой не отстаёт от других: за счёт сотни несчастных он делает одного счастливым, а отсюда — все наши бедствия. Самые высокие добродетели суть добродетели отрицательные; они вместе с тем и самые трудные, потому что чужды тщеславия и стоят выше даже того, столь сладостного для человеческого сердца удовольствия, чтобы другого отпустить от себя довольным. О, какое благо непременно делает своим ближним тот (если есть такой человек), кто никогда не делает им зла! Какая отвага духа, какая мощь характера нужна для этого! Не рассуждениями об этом правиле, но только пытаясь приложить его к делу, можно убедиться, как важно и трудно иметь в этом успех\*.

\* Правило никогда не вредить ближнему влечёт за собою другое правило — как можно меньше иметь связей с человеческим обществом, ибо в общественном строе благо одного по необходимости бывает источником зла для другого. Отношение это лежит в сущности вещей, и ничто не может его изменить. Можно задаться вопросом на основании этого принципа, кто лучше: человек общительный или тот, кто любит уединение? Один знаменитый писатель говорит<sup>13</sup>, что только злой бывает одинок; что касается меня, то я утверждаю, что только добрый живёт одиноко. Если это предположение менее поучительно, зато оно справедливее и разумнее первого. Если бы злой был одинок, какое он делал бы зло? Лишь среди общества он расставляет свои орудия, чтобы вредить другим. Если кто хочет повернуть этот аргумент в пользу доброго человека, то мой ответ в тексте, к которому относится это примечание.

Вот несколько слабых соображений о предосторожностях, желательных при наставлении детей, к которому приходится иной раз прибегать, чтобы не дать им возможности вредить себе или другим, а особенно перенимать дурные привычки, от которых трудно будет потом их отучить; но будьте уверены, что эта необходимость редко будет представляться для детей, воспитанных как следует, потому что невозможно, чтоб они стали непослушными, злыми, лживыми, жадными, если

в их сердцах не посеять пороков, делающих их таковыми. Таким образом, сказанное мною по этому вопросу скорее относится к исключениям, чем к правилу; но эти исключения учащаются по мере того, как детям представляются случаи выходить из своего состояния и заражаться пороками взрослых. Детям, которых воспитывают среди общества, необходимы наставления более ранние, чем воспитывающимся в уединении. Значит, подобное воспитание в одиночку было бы предпочтительнее уже потому, что оно давало бы ребенку время созреть.

Другой род исключений, совершенно противоположный, составляют дети, счастливая природа которых возвышает их над их возрастом. Как есть люди, которые никогда не выходят из детства, так есть и другие, которые не проходят, так сказать, детского возраста и почти от рождения суть взрослые. Беда в том, что это последнее исключение очень редко встречается, весьма трудно распознается и что ни одна мать, воображая, что ребенок может быть чудом, не сомневается, что именно ее ребенок один из таких. Матери идут дальше; они принимают за необычайные приметы те самые, которые указывают на обычный порядок: живость, горячность, ветреность, остроумную наивность; но все это признаки, характерные для возраста и лучше всего доказывающие, что ребенок есть только ребенок. Удивительно ли, что ребенок, которого заставляют много болтать, которому позволяют все говорить, который не стеснен ни в каком отношении никакими приличиями, натолкнется случайно и на удачную остроту? Гораздо удивительнее было бы, если б этого не случалось, точно так, как было бы удивительно, если б астролог, тысячу раз предсказывая ложно, ни разу не сказал бы правды. Они столько будут лгать, говорил Генрих IV, что наконец скажут правду. Кто хочет выдумать какие-нибудь остроты, тому стоит только говорить больше глупостей. Храни Бог от беды тех модных людей, которые ничем иным не заслужили того, что их везде хорошо принимают.

Самые блестящие мысли могут попасть в голову детей, или, лучше сказать, умнейшие слова попадают им на язык, точно так, как и самые ценные алмазы могут очутиться у них в руках; но это не значит, что мысли или алмазы принадлежат им; для этого возраста нет еще истинной собственности в той или иной области. Слова, которые говорит ребенок, для него бывают не тем, чем для нас: он связывает с ними не такие же идеи. Идеи эти, если они есть, не имеют в его голове ни последовательности, ни связи: ничего точного, ничего уверенного нет во всех его мыслях. Рассмотрите ближе ваше мнимое чудо. В иные моменты вы найдете в нем порыв необыкновенной деятельности, ясность ума, готовую пронизать облака. Но чаще всего тот же самый ум кажется вам слабым, вялым и как бы окутанным густым туманом. Он то опережает вас, то остается неподвижным. Порою вы скажете: «Это гений», а минуту спустя: «Это глупец». Оба раза вы ошибаетесь: это только ребенок. Это орленок, который в одну минуту рассекает воздух, а минуту спустя падает снова в гнездо.

Обращайтесь же с ним сообразно с его возрастом, несмотря на обманчивые признаки, и берегитесь, как бы излишним упражнением не истощить его силы. Если молодой мозг

разгорячается, если вы видите, что он начинает кипеть, дайте ему прежде всего отстояться на просторе, но никогда не подогревайте его, чтоб он совсем испарился; а если первые брызги ума испарятся, удерживайте, крепче храните остальные, пока с годами не обратится все в животворную теплоту и в истинную силу. Иначе вы потеряете время и хлопоты, разрушите свое собственное дело и, неосторожно упившись всеми этими жгучими парами, в остатке получите только выжимки, лишённые всякой крепости.

Из ветреных детей выходят дюжинные взрослые: я не знаю наблюдения более общего и более верного, чем это. Нет ничего труднее, как различить в детстве действительную тупость от той наружной и обманчивой тупости, которая бывает предвестником сильного духа. На первый взгляд кажется странным, что эти две крайности имеют столь сходные признаки; однако это так и должно быть; ибо в возрасте, когда человек не имеет еще никаких истинных идей, вся разница между тем, у кого есть гений, и тем, у кого его нет, заключается в том, что последний принимает лично ложные идеи, тогда как первый, находя лишь ложные идеи, не принимает ни одной. Он походит, значит, тем на глупца, что один ни на что не годен, а другому ничто не годно. Единственный признак, по которому можно различить их, зависит от случая: случай может предоставить последнему посильную идею, тогда как первый всегда и везде один и тот же. Младший Катон<sup>14</sup> в детстве казался в семье тупоумным. Он был молчалив и упрям — вот все, что могли сказать о нем. Только в передней Суллы дядя его научился распознавать его. Не войди он в эту переднюю, он, быть может, слыл бы тупицей вплоть до разумного возраста; не живи Цезарь, быть может, этого самого Катона, разгадавшего пагубный гений первого и столь далеко предвидевшего все его замыслы, все время считали бы вздорным пророком. О, как легко ошибиться тому, кто судит о детях столь поспешно! Такие люди часто больше самих детей бывают детьми. Я знаю, как один человек<sup>15</sup> пожилых уже лет, удостоивший меня своей дружбы, слыл в кругу семьи и друзей весьма ограниченным: этот превосходный ум зрел в тишине. Вдруг он выказал себя философом, и я не сомневаюсь, что потомство даст ему почетное и выдающееся место между лучшими мыслителями и наиболее глубокими метафизиками его века.

Уважайте детство и не торопитесь судить о нем ни в хорошую, ни в дурную сторону. Дайте исключениям обнаружиться, доказать себя, подольше укрепиться, прежде чем принимать по отношению к ним особые методы. Дайте дольше действовать природе, прежде чем возьметесь действовать вместо нее, чтобы не помешать, таким образом, ее работе. Вы знаете, говорите вы, цену времени и не хотите его терять. Но разве вы не видите; что дурное употребление его скорее, чем ничегонеделание, можно назвать потерей времени и что дурно направленный ребенок гораздо дальше от мудрости, чем тот, которого совсем не наставляли? Вы тревожитесь, видя, как он проводит свои первые годы, ничего не делая. Как! Разве быть счастливым не значит ничего? Разве прыгать, играть, бегать целый день значит ничего не делать? Да он во всю свою жизнь не будет так занят! Платон в «Государстве», которое считают столь суровым, воспитывает детей не иначе,

как среди празднеств, игр, песен, забав; можно было бы сказать, что научить их веселиться и было его главной целью; а Сенека говорит о древнеримской молодежи, что она была всегда на ногах, что ее ничему не учили такому, что изучают сидя<sup>16</sup>. Разве от этого она была хуже, достигая возмужалости? Не бойтесь же этой мнимой праздности. Что сказали бы вы о человеке, который с целью из всей жизни извлечь пользу, вздумал бы не спать никогда? Вы сказали бы: это человек безумный; он не пользуется временем, а отнимает его у себя; чтобы избежать сна, он бежит навстречу смерти. Помните же, что здесь то же самое и что детство — сон разума.

Кажущаяся легкость учения и есть причина гибели детей. Мы не видим, что самая легкость эта служит доказательством того, что они ничему не научаются. Мозг их, гладкий и отполированный, отражает, подобно зеркалу, представляемые ему предметы; но в нем ничего не остается, ничто не проникает внутрь. Слова ребенок запоминает, а идеи отскакивают прочь: слушающие понимают их, один он не понимает их.

Хотя память и мышление — две существенно различные способности, однако на самом деле первая развивается лишь вместе со вторым. До наступления разумного возраста ребенок воспринимает не идеи, но образы; а между ними та разница, что образы суть отрешенные от действительности картины чувственно воспринимаемых предметов, идеи же суть понятия о предметах, определяемые отношениями последних. Образ может оставаться одиноким в уме, его представляющем, но всякая идея предполагает другие. Работая воображением, мы только видим; понимая — сравниваем. Ощущения наши носят характер чисто пассивный, тогда как восприятия или идеи рождаются из активного начала, которое судит. Это будет доказано ниже.

Итак, я говорю, что дети, не будучи способны к суждению, не имеют и настоящей памяти. Они удерживают звуки, образы, ощущения, редко идеи, еще реже связь их. Думают опровергнуть меня возражением, что дети выучивают же некоторые элементы геометрии; но это как раз и говорит за меня: это доказывает, что они не только не умеют сами рассуждать, но не умеют даже запомнить рассуждения других; проследите методы этих маленьких геометров, и вы тотчас увидите, что они запомнили лишь точное начертание фигур и термины доказательства. При малейшем новом возражении они теряют голову; переверните фигуру, и они станут в тупик. Все их знание — в ощущении: они ни в чем не дошли до понимания. Самая память их не более совершенна, чем остальные способности, потому что, когда они становятся взрослыми, им почти всегда приходится переучивать вещи, вместо которых в детстве они заучили слова.

Я, впрочем, далеко не думаю, чтобы дети не имели никакой способности рассуждать\*. Напротив, я знаю, что они очень хорошо рассуждают в той области, которая им знакома и касается их текущих и осязательных интересов. Но относительно их познаний мы и заблуждаемся, приписывая им такие, каких они не имеют, и заставляя рассуждать о том, чего они не умеют понять. Ошибаемся мы и в том, что желаем устремить их внимание на соображения, несколько их не интересующие, например на предстоящую выгоду, на счастье в лета возмужалости, на

уважение, которое будут питать к ним, когда они вырастут; все эти речи, обращенные к лицам, лишенным всякой предусмотрительности, не имеют для них решительно никакого значения. Между тем все насильственное обучение этих бедных малюток направлено именно на такие предметы, совершенно чуждые их уму. Судите после этого о внимании, которое они могут оказать при этом<sup>17</sup>. Педагогам, которые с великим торжеством выставляют перед нами познания, преподанные ими своим ученикам, уплатили за то, чтобы они вели ипую речь, чем я; однако по их собственному поведению видно, что они думают точно так, как я. Ибо чему же, наконец, они учат детей? Словам, словам и вечно словам. Между различными науками, которым они хвастливо берутся обучать, они тщательно избегают выбирать такие, которые действительно были бы полезны детям, как науки о вещах, и в которых дети, конечно, не успевали бы; но выбирают такие, в которых можно показаться знающим, выучив одни термины: геральдику, географию, хронологию, языки и т. п.,— все это знания столь далекие от человека, особенно от ребенка, что было бы чудом, если бы что-нибудь из всего этого хоть раз в жизни могло ему пригодиться.

\* При писании мне сто раз приходило в голову, что невозможно в обширном труде одним и тем же словам придавать всегда один и тот же смысл. Нет языка настолько богатого, чтобы дать столько терминов, оборотов, фраз, сколько оттенков могут иметь наши идеи. Система определять все термины, беспрестанно заменять определяемое определением хороша, но не практична, ибо как избежать круга? Определения могли бы быть хороши, если бы мы для составления их употребляли не слова. Несмотря на это, я убежден, что даже при бедности нашего языка можно быть ясным: это достигается не тем, что одним и тем же словам всегда придаешь одни и те же значения, а тем, что при употреблении каждого слова стараешься, чтобы придаваемое ему значение достаточно определялось относящимися к нему мыслями и чтобы каждый период, где встречается это слово, служил для него, так сказать, определением. То я говорю, что дети не способны рассуждать, то заставляю их рассуждать довольно тонко. Не думаю, что я в этом противоречу сам себе в своих мыслях, но не могу не сознаться, что часто противоречу в своих выражениях.

Иной будет удивлен, что я отношу изучение языков к числу вещей бесполезных в воспитании; но он не должен забывать, что я говорю здесь только о занятиях первоначального возраста; что бы там ни толковали, я не думаю, чтобы какой-нибудь ребенок — я не говорю о чудесах — мог до 12- или 15-летнего возраста действительно изучить два языка.

Я согласен, что если бы изучение языков состояло только в изучении слов, т. е. образов и звуков, их выражающих, то оно могло бы годиться для детей; но языки, изменяя наименования, переменяют и идеи, ими представляемые. Склад головы формируется по языкам; мысли принимают окраску наречий. Один разум — всеобщ; ум в каждом языке имеет свою особую форму, свое отличие, которое отчасти может быть и причиной или следствием национальных характеров; догадка моя подтверждается тем, что у всех наций мира язык следует за переменами в нравах и, подобно последним, сохраняется или портится.



Из этих различных форм ребенок практически знакомится только с одной; ее единственно и сохраняет до разумного возраста. Чтоб иметь две, ему нужно уметь сравнивать идеи; а как он станет их сравнивать, когда он едва в состоянии воспринять их? Каждую вещь можно обозначить тысячью различных знаков, но каждая идея может иметь всего одну форму: значит, только на одном языке он и может научиться говорить. Однако, возражают мне, он научается нескольким. Я отрицаю это. Я видел эти маленькие феномены, которые воображают, что говорят на 5—6 языках. Я слышал, как они по-немецки говорили поочередно словами латинскими, французскими, итальянскими: правда, они пускали в дело 5—6 словарей, но говорили они всегда только по-немецки. Одним словом, давайте детям сколько угодно синонимов: вы измените слова, не язык; язык они всегда будут знать только один.

Чтобы скрыть неспособных детей в этом отношении, их заставляют изучать преимущественно мертвые языки, относительно которых не существует уже неопровержимых суждений. Так как обыденное употребление этих языков давным-давно исчезло, то довольствуются подражанием тому, что написано в книгах; и это называется «говорить» на этих языках. Если уж таков греческий и латинский язык учителей, то судите после этого о языке детей! Едва успевают они зазубрить свои «Начатки»<sup>18</sup>, в которых решительно ничего не понимают, как их учат уже сначала передавать французскую речь латинскими словами, затем, когда они более успеют, кроить прозой периоды Цицерона и стихами центоны Вергилия<sup>19</sup>. И вот они воображают, что говорят по-латыни: кто станет им противоречить?

При каком бы то ни было изучении одни наименования, без идеи о представляемых ими вещах, ровно ничего не значат. А меж тем ребенка только и учат этим знакам, не будучи никогда в состоянии довести его до понимания вещей, представляемых этими знаками. Думают обучить его землеописанию, а научают только видеть карты; обучают именам городов, стран, рек, существование которых он не может себе представить иначе, как на бумаге, где ему их указывают. Помню, я видел где-то географию, которая начиналась так: «Что такое земля? Это картонный глобус». Такова именно детская география. Я утверждаю за достоверное, что нет ни одного ребенка лет десяти, который, просидевши года два над сферой и космографией, сумел бы на основании данных ему правил добраться из Парижа до Сен-Дени<sup>20</sup>. Я считаю за факт, что не найдется ни одного, который по плану отцовского сада сумел бы, не заблудившись, обойти все его извороты. Вот каковы эти ученые, умеющие в любое время указать, где Пекин, где Исфагань<sup>21</sup>, где Мексика и все страны мира.

Говорят, что детей следует занимать таким изучением, где нужны только глаза; с этим можно было бы согласиться, если бы существовала такая наука, где нужны только глаза; но я не знаю такой.

Вследствие другого, еще более смешного заблуждения их заставляют изучать историю: воображают, что история как раз им по силам, так как она есть только собрание фактов. Но что же

разумеют под этим словом — «факты»? Неужели думают, что отношения, определяющие исторические события, так легко схватить, что идеи их без труда формируются в уме детей? Неужели полагают, что истинное знание событий можно отделить от знания причин их и следствий,; что исторические явления так мало связаны с нравственными, что можно ознакомиться с одними, не зная других? Если в действиях людей вы видите только внешние и чисто физические движения, то чему же вы учитесь в истории? Решительно ничему; и это изучение, лишенное всякого интереса, не дает вам ни удовольствия, ни образования. Если вы хотите оценивать эти действия по их нравственным отношениям, попробуйте сделать эти отношения понятными для ваших учеников, и вы тогда увидите, что история им не по летам.

Читатели, помните всегда, что с вами говорит не ученый, не философ, но простой человек, друг истины, человек без партии, без системы, отшельник, который, мало живя с людьми, тем менее имеет случаи узнать их предрассудки и тем больше имеет времени для размышлений о том, что его поражает при сношениях с ними. Мои рассуждения основаны не столько на принципах, сколько на фактах; и я думаю, что дам вам лучшее средство судить об этом, если до временам буду приводить вам тот или иной пример наблюдений, внушивших мне эти рассуждения.

Я приехал на несколько дней в деревню к одной доброй матери семейства, которая очень заботилась о своих детях и об их воспитании. Раз утром, когда я присутствовал при уроках старшего из них, гувернер, очень хорошо обучивший его древней истории, воспроизводя историю Александра, остановился на известном поступке врача Филиппа<sup>22</sup>, послужившем сюжетом для картины, и, конечно, вполне заслуженно. Гувернер, человек с достоинством, высказал о неустрашимости Александра несколько замечаний, которые мне не понравились, но я не стал оспаривать их, чтобы не уронить его в глазах воспитанника. За столом не преминули, по французскому обычаю, заставить мальчика много болтать. Живость, естественная в его возрасте, и ожидание неизбежных похвал принудили его наговорить тысячу глупостей, сквозь которые прорывались по временам некоторые удачные выражения, заставлявшие забывать все остальное. Наконец, дошла очередь до истории врача Филиппа. Он рассказал ее очень ясно и бойко. После обычной дани похвал, которых требовала мать и ожидал сын, стали рассуждать по поводу рассказанного. Большинство порицало безрассудство Александра; некоторые, по примеру гувернера, удивлялись его твердости и мужеству, из чего я понял, что ни один из присутствовавших не видел, в чем состояла истинная прелесть поступка. «Что касается меня,— сказал я,— то мне кажется, что, если есть сколько-нибудь мужества или твердости в поступке Александра, то он не более как сумасбродство». Тогда все пришли к общему соглашению, что это было сумасбродство. Я думал было отвечать и стал горячиться, но одна женщина, сидевшая возле меня и не проронившая ни одного слова, наклонилась к моему уху и тихо сказала: «Молчи, Жан-Жак, они тебя не поймут». Я взглянул на нее и, пораженный, замолчал.

После обеда, подозревая по некоторым указаниям, что мой юный ученый совершенно ничего не понял в истории, которую так хорошо рассказал, я взял его за руку, сделал с ним один круг по парку и, расспросив все, как мне хотелось, нашел, что он удивился, как никто, столь хваленому мужеству Александра; но знаете ли, в чем он видел это мужество? Единственно в том, что тот в один прием проглотил неприятного вкуса напиток, не колеблясь и не выказав ни малейшего отвращения. Бедного ребенка недели за две перед тем заставили принять лекарство, которое он принял с большим трудом; он и теперь еще чувствовал во рту неприятный его вкус. Смерть, отравление он принял в своем уме лишь за неприятные ощущения; он не понимал иного яда, кроме александрийского листа. Однако нужно сознаться, что твердость героя произвела сильное впечатление на его юное сердце, и при приеме первого же лекарства, которое ему придется проглотить, он твердо решил быть Александром. Не входя в объяснения, которые были бы, очевидно, выше его понимания, я укрепил его в похвальных намерениях и вернулся домой, внутренне смеясь над высокою мудростью отцов и наставников, которые думают обучать детей истории.

Не трудно вложить им в уста названия королей, империй, войн, завоеваний, революций, законов; но когда придется связывать с этими словами ясные идеи, то все эти объяснения далеко будут уступать разговору с садовником Робером.

Иные читатели, недовольные словами: «Молчи, Жан-Жак»,— спросят, как я предвижу, что же, наконец, нахожу я такого прекрасного в поступке Александра. Жалкие! Если вам нужно еще объяснять, то где же вам понять это? Я нахожу то прекрасным, что Александр верил в добродетель, что он верил в нее, рискуя своей головой, рискуя собственной жизнью, что великая душа его была так создана, чтобы верить. Каким прекрасным исповеданием веры был этот прием лекарства! Нет, никогда смертный не заявил своей веры столь величественно. Если есть какой-нибудь новейший Александр, пусть укажут мне подобные черты в нем.

Если нет науки слов, то нет и науки, годной для детей. Если они не имеют истинных идей, то они не имеют и настоящей памяти, ибо я не называю так ту, которая удерживает одни ощущения. К чему начертывать в их уме целый каталог наименований, которые ничего для них не выражают? Изучая вещи, не изучат ли они и наименования? Зачем налагать па них бесполезный труд изучать их два раза? А меж тем какие опасные предрассудки начинают внушать им, заставляя их принимать за науку слова, не имеющие для них никакого смысла! С первого же слова, которым ребенок удовлетворяется, с первой же вещи, которой он научился с чужих слов, не видя сам ее полезности, способность суждения пропадает, и долго ему придется блистать в глазах глупцов, прежде чем он вознаградит эту потерю\*.

Нет, если природа дает мозгу ребенка мягкость, которая делает его способным воспринимать всякого рода впечатления, то это не для того, чтобы на нем начертывали названия королей, чисел, термины геральдики<sup>23</sup>, космографии, географии и все те слова, не представляющие никакого

смысла для его возраста и никакой пользы для какого бы то ни было возраста, которыми обременяют его грустное и бесплодное детство, но для того, чтобы все идеи, которые он может постичь и которые полезны ему, все идеи, которые относятся к его счастью и должны со временем просветить его насчет обязанностей, с ранних пор запечатлевались в нем неизгладимыми чертами и по могли ему вести себя в течение своей жизни так, как это свойственно его существу и его способностям.

\* Большинство ученых учены на манер детей. Обширная эрудиция вытекает не столько из множества идеи, сколько из множества образов. Даты, имена собственные, местности, все предметы, изолированные от идей или лишенные их, удерживаются в памяти единственно с помощью запоминания обозначений, и редко какая-нибудь из этих вещей вспоминается без одновременного воспоминания передней или задней страницы того листка, на котором мы о ней читали, или того образа, под которым она представилась нам в первый раз. Такою почти была модная наука последних столетий. Наука нашего века — иное дело: теперь не изучают, не наблюдают; теперь грезят, и грезы несколько дурных ночей важно выдают за философию. Мне скажут, что мне тоже грезится; согласен, но я — чего другие не делают — и выдаю свои грезы за грезы, предоставляя читателю искать, нет ли в них чего полезного для людей, которые не спят.

За отсутствием книжного обучения тот род памяти, который может быть у ребенка, не остается вследствие этого в бездействии; ребенка поражает все, что он видит или слышит, и он это запоминает; он держит в своем сознании реестр поступков и речей людей, и все окружающее служит для него книгой, из которой он, сам того не замечая, непрерывно обогащает свою память в ожидании, пока рассудок не будет в состоянии пользоваться ею. В выборе этих предметов, в заботе представлять ему постоянно те, которые он может познать, и скрыть те, которые он не должен знать, и состоит истинное искусство развивать в нем эту первую способность; этим именно путем и нужно стараться образовать для него запас знаний, которые служили бы для воспитания его в течение юности и направляли бы его поведение во всякое время жизни. Эта метода, правда, не создает из ребенка чуда и не дает гувернанткам и преподавателям случая блистать, но зато она формирует людей рассудительных, сильных, здоровых телом и умом, которые, не возбуждая удивления в юности, возбуждают уважение к себе, став взрослыми.

Эмиль никогда ничего не будет заучивать наизусть, даже басен Лафонтена, несмотря на всю их наивность, на всю их прелесть; ибо слова басен — это не басни, точно так, как и слова, составляющие историю, не история. Как можно быть настолько слепым, чтобы назвать басни детскою моралью, упуская из виду, что апология басни, забавляя детей, вводит в обман их, что, обольщенные ложью, они упускают истину и что старание сделать поучение приятным для них мешает им воспользоваться последним? Басни могут поучать взрослых, но детям нужно говорить голую правду: как скоро ее прикрывают покрывалом, они уже не дают себе труда поднять его.

Всех детей заставляют учить басни Лафонтена, и нет ни одного ребенка, который понимал бы их. Если бы они понимали, было бы еще хуже, ибо мораль их так запутана и настолько не соответствует детскому возрасту, что направила бы ребенка скорее к пороку, чем к добродетели. «Опять парадоксы!» — скажете вы. Пусть так; но посмотрим, не истинны ли они.

Я говорю, что ребенок не понимает басен, учить которые его заставляют, потому что, какое бы усилие ни употребляли, чтобы сделать их простыми, желание извлечь из них поучение вынуждает нас вводить туда такие идеи, которых ребенок не может усвоить, потому что самая поэтическая форма, облегчая заучивание, затрудняет понимание их, так что приятность покупается за счет ясности. Не называя множества басен, в которых ничего нет понятного и полезного для детей и которые все-таки заставляют без разбора заучивать вместе с другими, ограничимся теми, которые автор составил как бы специально для детей.

Во всем собрании басен Лафонтена я знаю всего 5—6 таких, где вполне блещет детская наивность; из этих 5—6 я беру для примера первую<sup>\*</sup>, потому что мораль ее больше всего подходит ко всякому возрасту, потому что дети лучше всего ее понимают и заучивают с наибольшим удовольствием, наконец, потому что ввиду всего этого и сам автор предпочел поместить ее во главе своей книги. Если действительно предположить, что содержание ее понятно детям, нравится им и может поучать их, то, конечно, басня эта — образцовое его произведение. Пусть же мне будет позволено в немногих словах проследить и разобрать ее.

LE CORBEAU ET LE RENARD<sup>24</sup>, Fable<sup>25</sup>.

Maitre corbeau, sur un arbre perche<sup>26</sup>.

Maitre! Что значит это слово само по себе? Что значит оно, когда стоит перед именем собственным? Какой в этом случае имеет смысл?

Что такое un corbeau — «ворон»?

Что такое un arbre perche ?

Не говорится: sur un arbre perche, а говорят: perche sur un arbre. Следовательно, нужно довести речь о перестановке слов в поэзии: нужно сказать, что такое проза и что такое стихи.

Tenoit dans son bee un from age<sup>27</sup>.

Какой сыр: швейцарский, бри или голландский? Если ребенок не видал воронов, какая вам польза говорить о них? Если он видел, как он представлял себе, что ворон держит сыр в клюве? Картины рисовать всегда станем с природы.

Maitre renard, par l'odeur alleche...<sup>28</sup>

Опять maitre! Но тут это слово у места: лисица — очень ловкий «мастер» — maitre своего дела. Нужно сказать, что такое un renard — «лисица», и отличить ее естественный характер от условного, который придают ей в баснях.

Alleche. Это слово редко употребительное. Нужно его объяснить; нужно сказать, что оно употребляется только в стихах. Ребенок спросит, почему в стихах говорят иначе, чем в прозе. Что вы ему ответите?

\* Это вторая, а не первая, как справедливо заметил г. де Формей.

Alleche par l'odeur. Сыр, который держал сидевший на дереве ворон, должен был иметь очень сильный запах, чтоб лисица могла его пронюхать из перелеска или из норы своей! Так-то вы изощряете в вашем воспитаннике способность к рассудительной критике, которая если и впадает в обман, то не иначе, как приняв все меры предосторожности, и которая умеет в чужих рассказах отличить истину от лжи!

Lui tint a peu pres ce langage<sup>29</sup>.

Ce langage — «такую речь»! Значит, лисицы говорят? Значит, они говорят па одном языке с воронами? Мудрый наставник, берегись: взвесь хорошо свой ответ, прежде чем дать его; он важнее, чем ты думаешь.

Eh! bonjour, monsieur le corbeau!<sup>30</sup>

Monsieur! — титул, на глазах ребенка обращаемый в насмешку, даже прежде чем он узнает, что это титул почетный. Тем, которые читают: monsieur du Corbeau, придется немало потратить труда, прежде чем они объяснят эту частицу du<sup>31</sup>.

Que vous etes joli! que vous me semblez beau!<sup>32</sup>

Липшие слова, бесполезное многословие. Ребенок, видя повторение одного и того же в разных выражениях, научается размазывать речь. Если вы скажете, что в этом многословии высказывается искусство автора, что оно входит в планы лисицы, которая хочет многословием как бы умножить похвалы, то эта отговорка будет хороша для меня, но не для моего воспитанника.

Sans mentir, si votre ramage...<sup>33</sup>

Sans mentir! Значит, иногда и лгут? Что подумает ребенок, если вы сообщите ему, что лиса потому только и говорит: sans mentir, что лжет?

Repondoit a votre plumage<sup>34</sup>...

Repondoit! Что значит это слово? Попробуйте научить ребенка сравнивать столь разнородные качества, как голос и оперенье, и вы увидите, как он поймет вас.

Vous seriez le phenix des hotes de ces bois<sup>35</sup>.

Le phenix — «феникс»! Что такое феникс? Вот мы сразу очутились в лживой древности, почти в мифологии.

Des notes de ces bois ! Какая фигурная речь! Лыстец облагораживает свой язык и придает ему больше достоинства, чтобы сделать его более обольстительным. Поймет ли ребенок эту тонкость? знает ли он, может ли знать, что такое высокий стиль и низкий стиль?

A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie<sup>36</sup>

Нужно испытать предварительно очень сильные страсти, чтобы чувствовать смысл этого ходячего, как пословица, выражения.

Et, pour montrer sa belle voix...<sup>37</sup>

Не забудьте, что для понимания этого стиха и всей басни ребенок должен знать, что такое «прекрасный голос» ворона.

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie<sup>38</sup>.

Стих — удивительный: одна гармония его дает уже картину. Я вижу большой, гладкий открытый клюв, слышу, как падает сыр между ветвей; но все эти красоты пропали для ребенка.

Le renard s'en saisit, et dit: Mon bon monsieur<sup>39</sup>,

Вот доброта, превращенная уже в глупость. Нечего сказать^ не теряют времени поучать детей.

Apprenez que tout flatteur...<sup>40</sup>

Общее правило; мы уже потерялись.

Vit aux dépens de celui qui l'écoute<sup>41</sup>.

Никогда десятилетний ребенок не понимал еще этого стиха.

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute<sup>42</sup>.

Это понятно, и мысль очень хороша. Однако очень мало еще найдется детей, которые сумели бы сравнить урок с сыром и не предпочли бы сыр уроку. Нужно, значит, дать им донять, что этот намек — только насмешка. Сколько тонкостей для ребенка!

Le corbeau, honteux et confus<sup>43</sup>,

Опять излишество; но это уже не извинительно.

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus<sup>44</sup>.

Jura! Какой глупец учитель осмелится объяснить ребенку, что такое клятва?

Вот сколько подробностей! А все-таки их гораздо меньше, чем нужно было бы для разбора всех мыслей этой басни и для сведения их к простым и элементарным идеям, из которых каждая мысль составлена. Но кто убежден в необходимости такого анализа для того, чтобы сделать себя понятным для детей? Никто из нас не является настолько философом, чтоб уметь поставить себя на место ребенка. Перейдем теперь к морали.

Я спрашиваю: нужно ли шестилетних детей учить тому, что есть люди, которые льстят и лгут из-за своей выгоды? Совершенно достаточно было бы научить их тому, что есть такие насмешники, которые высмеивают мальчуганов и втайне издеваются над их глупым чванством; но сыр портит все дело: детей учат не столько не ронять его из собственного клюва, сколько стараться выронить его из чужого клюва. Это мой второй парадокс, но он не менее важен.

Следите за детьми, которые учат басни, и вы увидите, что когда они могут сделать применение, то почти всегда делают применение, противоположное намерениям автора, и вместо того, чтоб остерегаться недостатка, от которого их хотят исправить или предохранить, скорее склонны полюбить порок, с помощью которого можно извлекать выгоду из чужих недостатков. В

предыдущей басне дети смеются над вороном, но они симпатизируют все лисице; в следующей басне<sup>45</sup> вы воображаете, что ставите им в образец стрекозу; ничуть не бывало: они выберут муравья. Никто не любит унижаться: они всегда выберут красивую роль; это выбор самолюбия, выбор вполне естественный. А между тем какой ужасный урок для детей! Самым ненавистным из всех чудовищ был бы жадный и жестокий ребенок, который знал бы цену того, что у него просят и в чем он отказывает. Муравей делает больше: он научает ребенка издеваться при отказе.

Во всех баснях, где одним из действующих лиц является лев, ребенок не преминет взять роль льва, так как она обыкновенно самая блестящая; а когда он распоряжается каким-нибудь дележом<sup>46</sup>, то, хорошо наученный своим образцом, всячески постарается завладеть всем. Другое дело, когда комар поражает льва<sup>47</sup>: тут ребенок уже не лев, он — комар. Он учится убивать со временем жалом тех, на кого не осмелился бы напасть твердою рукой.

Из басни о чахлом волке и жирной собаке вместо примера умеренности, который претендуют ему предоставить, он извлекает урок своеволия<sup>48</sup>. Никогда не забуду я, как горько плакала одна маленькая девочка, которую привели в отчаяние этой басней, постоянно проповедуя ей о послушании. Немало трудились, чтоб узнать причину ее слез; наконец узнали. Бедный ребенок скучал на привязи, он чувствовал, как цепь трет ему кожу на шее; он плакал о том, что он не волк.

Итак, мораль первой из приведенных басен учит ребенка самой низкой лести, мораль второй учит бесчеловечности, третья басня учит несправедливости, четвертая — насмешке, пятая дает урок независимости. Этот последний урок, излишний для моего воспитанника, не более годен и для ваших. Если вы дадите им противоречивые наставления, какого же плода вы ожидаете от своих попечений? Но, может быть, за исключением этого, в той же морали, которая дает мне повод возражать против басен, можно найти немало доводов и в пользу сохранения их. В обществе на словах нужна одна мораль, для дела другая, и эти две морали вовсе не похожи друг на друга. Первая — в катехизисе, где ее и оставляют; вторая — для детей в баснях Лафонтена, для матерей в его сказках<sup>49</sup>. Одного автора хватает на всех.

Уладим дело, господин Лафонтен! Я со своей стороны обещаю читать вас с выбором, любить вас, учиться на ваших баснях, ибо я надеюсь не ошибиться насчет их содержания; что же касается моего воспитанника, то позвольте не давать ему учить ни одной из них до тех пор, пока вы мне не докажете, что ему полезно заучивать вещи, в которых он не поймет и четвертой доли, что в тех, которые он может понять, он никогда не вдастся в обман и что он не станет учиться, глядя на плута, вместо того чтобы исправляться, глядя на жертву обмана.

Устраняя таким образом все обязанности детей, я устраняю и орудия, причиняющие им наибольшее горе,— именно книги. Чтение — бич детства, и почти единственное занятие, которое умеют дать им. Эмиль в двенадцать лет едва ли будет знать, что такое книга. Нужно же по крайней мере, скажут мне, чтоб он умел читать. Согласен: нужно, чтобы он умел читать, когда чтение ему полезно; до этой же поры оно годится лишь на то, чтобы надоедать.



Если ничего не должно требовать от детей ради послушания, то отсюда следует, что нельзя учить их ничему такому, в чем они не видят действительного и непосредственного интереса для себя — удовольствия или пользы; иначе, какой мотив побудит их учиться? Искусство говорить с отсутствующими и слушать их, искусство делиться с ними издали, без посредника, своими чувствами, желаниями и помыслами — это такое искусство, полезность которого может быть ощутительной для каждого возраста. Каким же чудом это столь полезное и приятное искусство стало мукой для детей? Причина та, что их принуждают заниматься им против желания и делают из него такое употребление, в котором дети ничего не понимают. Ребенок не очень заинтересован в том, чтобы совершенствовать орудие, которым его мучат; но сделайте так, чтоб это орудие служило для его удовольствий, и он скоро будет заниматься помимо вашего старания.

Немало хлопочут найти лучшие методы для обучения чтению: придумывают конторки, карточки; комнату ребенка превращают в мастерскую типографии. Локк хочет, чтобы ребенок учился читать по игральным костям<sup>50</sup>. Не правда ли, какое прекрасное изобретение? Какая жалость к ребенку! Но есть средство более верное, чем все это, средство, о котором всегда забывают; это — желание учиться. Внушите ребенку это желание и затем оставьте в покое ваши конторки и игральные кости — всякая метода будет хороша для него.

Непосредственный интерес — вот великий двигатель, единственный, который ведет верно и далеко. Эмиль получает иной раз от отца, родных или друзей записки с приглашением на обед, прогулку, катанье на лодке, с приглашением посмотреть какой-нибудь общественный праздник. Записки эти коротки, ясны, отчетливо и хорошо написаны. Нужно найти кого-нибудь, кто бы прочел их; такого человека не всегда найдешь в данное время или он мало склонен к услуге за вчерашнюю услужливость ребенка. Таким образом, случай, момент проходит. Наконец, ему читают записку, но уже поздно. Ах, если бы он сам умел читать! Получают еще записки; они так коротки! содержание так интересует! Хотелось бы попробовать разобрать их; другие то помогают, то отказывают. Ребенок напрягает силы, наконец, разбирает половину записки: дело идет о том, что завтра предстоит есть крем... Но где и с кем? Сколько тратится усилий, чтобы прочитать и остальное! Я не думаю, чтоб Эмилю понадобилась конторка. Стоит ли говорить теперь о письме? Нет, мне стыдно прибавляться пустяками в трактате о воспитании.

Прибавлю только одно замечание, которое является важным правилом: чего не торопятся добиться, того добиваются обыкновенно наверняка и очень быстро. Я почти уверен, что Эмиль до десятилетнего возраста отлично научится читать и писать именно потому, что для меня совершенно все равно, научится он этому до пятнадцати лет или нет; но я лучше хотел бы, чтоб он никогда не умел читать, лишь бы не покупать этого умения ценою всего того, благодаря чему самое умение становится полезным; к чему послужит ребенку чтение, если у него навсегда отобьют охоту к нему? *Id in primis cavere oportebit, ne studia, qui amare nondum poterit, oderit, et amaritudinem semel perceptam etiam ultra rudes annos reformidet*<sup>\*51</sup>.

\* *Quintil[ian]*. L. I, с. 1.

Чем больше я настаиваю на своей бездеятельной методе, тем больше чувствую, как растут возражения. Если воспитанник ваш ничему не учится у вас, он научится от других. Если вы не предупреждаете заблуждения открытием истины, он научится лжи; предрассудками, которые вы боитесь вселить в него, он будет заражаться от всего окружающего; они будут входить в него через все его чувства; они извратят его разум даже прежде, чем он разовьется, или же дух его, притупившись от долгого бездействия, погрязнет в материи. Непривычка думать в детстве отнимает эту способность и на всю остальную жизнь.

Мне кажется, я мог бы легко ответить на это; но к чему эти постоянные ответы? Если моя метода сама за себя отвечает на возражения, она хороша; если нет, она ничего не стоит. Я продолжаю.

Если, соображаясь с планом, который я начал начертывать, вы будете держаться правил, прямо противоположных тем, которые установлены, если вместо того, чтобы вести вдаль ум вашего воспитанника и заставлять его вечно блуждать в других местностях, в других климатах, в других веках, на краях земли и даже в небесах, вы постараетесь держать его всегда в самом себе и сделать внимательным к тому, что непосредственно его касается, то вы найдете его способным и к восприятию, и к памяти, и даже к рассуждению; это естественный закон. По мере того как чувствующее существо становится деятельным, оно приобретает способность суждения, пропорциональную своим силам; и только при силе, превышающей ту, которая потребна ему для самосохранения, развивается в нем умозрительная способность, могущая употреблять этот избыток силы на другие цели. Поэтому, если хотите развить ум вашего воспитанника, развивайте силы, которыми ум должен управлять. Упражняйте непрерывно его тело; сделайте его крепким и здоровым, чтобы сделать мудрым и рассудительным; пусть он работает, действует, бегают, кричит, пусть он всегда будет в движении: пусть он будет взрослым по крепости, и он скоро будет взрослым по разуму.

Правда, и с этой методой, вы сделали бы его тупицей, если бы вечно ходили за ним, направляя его, вечно ему говорили: иди туда, иди сюда, стой, делай это, не делай того. Если ваша голова управляет его руками, то его голова становится для него бесполезной. Но помните наши условия: если вы только педант, то вам не стоит труда и читать меня.

Жалкое заблуждение — воображать, что телесные упражнения вредят умственным занятиям! Как будто эти два дела недолжны идти рядом, как будто одним не должно всегда направляться другое!

Есть два сорта людей, тело которых в постоянном упражнении и которые, наверное, одинаково мало заботятся о развитии своей души: я говорю о крестьянах и дикарях. Первые грубы, непонятливы, неловки; вторые известны большой смышленостью и еще известнее хитростью ума своего; вообще нет ничего тупее крестьянина и лукавее дикаря. Отчего происходит эта разница?

Оттого, что первый, вечно делая, что приказывают, что делал отец его или что сам он делал с юности, никогда не отступает от рутины; среди своей почти автоматической жизни он постоянно занят одними и теми же работами, поэтому привычка и послушание заменяют для него разум.

Другое дело — дикарь: не будучи привязан к одному месту, не имея никакой заданной работы, никому не повинуюсь, не признавая иного закона, кроме своей воли, он принужден при каждом поступке в своей жизни рассуждать; он не делает ни одного движения, ни одного шага, не рассмотрев предварительно последствий. Таким образом, чем более упражняется его тело, тем больше просвещается его ум; сила и разум растут у него вместе и расширяют друг друга.

Ученый наставник! посмотрим, который из наших воспитанников походит на дикаря и который на крестьянина. Ваш, во всем подчиненный вечно поучающей власти, ничего не делает иначе, как по приказу; он не смеет есть, когда голоден, смеяться, когда весел, плакать, когда печален, не смеет подать одну руку вместо другой, не смеет передвинуть ногу не так, как ему предписано; скоро он не посмеет и дышать не по вашим правилам. Для чего вы хотите, чтоб он думал, если вы обо всем думаете за него? Для чего ему нужна предусмотрительность, если он уверен в вашей? Видя, что вы берете на себя попечение о сохранении и благополучии, он чувствует себя освобожденным от этих забот; рассудок его полагается на ваш рассудок; он без размышления делает все, чего вы не запрещаете ему, хорошо зная, что ничем не рискует. К чему ему учиться предугадывать дождь? Он знает, что вы за него смотрите на небо. Зачем ему выбирать время для прогулок? Он знает, что вы не дадите ему пропустить час обеда. Пока вы не запрещаете есть, он ест: он уже слушается не голоса своего желудка, а вашего голоса. Сколько бы вы ни изнеживали его тела бездействием, вы не делаете его разумения более гибким. Напротив, вы окончательно роняете в его глазах разум, заставляя расходовать небольшой наличный запас его на такие вещи, которые кажутся ему самыми бесполезными. Не видя, на что годен разум, он наконец решает, что он ни на что не годен. Когда он дурно рассуждает, его останавливают,— вот наибольшая беда, которая может с ним случиться; а это бывает так часто, что он почти не думает об этом; опасность столь привычная уже не пугает его.

Вы, однако, находите в нем ум; у него есть ум на то, чтобы болтать с женщинами тоном, о котором я уже говорил; но, если ему случится отвечать самому за себя, если придется принять решение в какой-нибудь затруднительном обстоятельстве, вы увидите, что он во сто раз глупее и тупоумнее сына самого простого мужика.

Что касается моего питомца, или, скорее, питомца природы, то, приучаемый с ранних пор обходиться, насколько возможно, своими средствами, он не привык беспрестанно обращаться к другим за помощью, а тем более выставить перед ними свои великие познания. Зато он судит, предусматривает, рассуждает во всем, что касается его непосредственно. Он не пускается в болтовню, он действует; он не знает ли слона о том, что делается в свете, но он отлично умеет делать то, что ему следует. Так как он беспрестанно в движении, то он вынужден наблюдать

много вещей, знакомиться со множеством действий; он с ранних пор приобретает большую опытность; он берет уроки у природы, а не у людей; он научается тем лучше, что нигде не видят намерения научить его. Таким образом, тело его и ум упражняются разом. Действуя всегда по своей мысли, а не по мысли другого, он непрерывно соединяет две операции — мысль и действие; чем сильнее и крепче, тем умнее и рассудительнее делается он. Вот средства иметь со временем то, что считается непримиримым, но что, однако, соединили в себе почти все великие люди,— силу тела и силу души, разум мудреца и крепость атлета.

Молодые наставники! я вам проповедую трудное искусство — управлять без предписаний, делать все, ничего не делая. Искусство это, сознаюсь, не по летам вам; оно не пригодно на то, чтобы с первого же раза блеснуть вам перед отцами своими талантами или похвастать небывалыми качествами; но оно одно способно вести к успеху. Вам не удастся никогда создать мудрецов, если вы не создадите сначала шалунов. Таково было воспитание спартанцев: вместо того чтобы прилеплять их к книгам, их прежде всего учили воровать обед. А были ли спартанцы вследствие этого тупоумными, когда становились взрослыми? Кому не известна сила и меткость их возражений? Всегда готовые побеждать, они уничтожали своих врагов во всякого рода войне, и болтуны-афиняне столько же боялись их языка, сколько ударов.

При самом тщательном воспитании учитель приказывает и воображает, что управляет; в действительности же управляет ребенок. С помощью того, что вы требуете от него, он добивается от вас того, что ему нравится, и всегда умеет заставить вас за час усердия заплатить ему недель снисходительности. Каждую минуту приходится с ним договариваться. Договоры эти, которые вы предлагаете на свой манер, а он выполняет на свой, всегда обращаются в пользу его прихотей, особенно если вы имели неосторожность, на его счастье, поставить в условиях такую вещь, которой он вполне надеется добиться и помимо условий, налагаемых на него. Ребенок обыкновенно гораздо лучше читает в уме учителя, чем учитель в сердце ребенка. Да это так и должно быть; ибо всю смышленность, которую ребенок, предоставленный самому себе, употребил бы на заботы о своем самосохранении, он употребляет на то, чтобы спасти свою природную свободу от цепей своего тирана, тогда как последний, не имея никакой настоящей нужды разгадывать ребенка, находит иной раз для себя выгодным дать волю его лености или тщеславию. Изберите с вашим воспитанником путь противоположный; пусть он считает себя господином, а па деле вы будьте сами всегда господином. Нет подчинения столь совершенного, как то, которое сохраняет наружный вид свободы; тут поработают самую волю. Разве бедный ребенок, который ничего не знает, ничего не может сделать, ни с чем не знаком, не в вашей власти? Разве вы не располагаете по отношению к нему всем окружающим? Разве вы не властны производить на него какое вам угодно влияние? Разве его занятия, игры, удовольствия, горести не в ваших руках, даже без его ведома? Конечно, он должен делать только то, что хочет; но он должен хотеть только того,

чего вы от него хотите; он не должен делать ни одного не предусмотренного вами шага; не должен открывать рта, если вы не знаете, что он скажет.

Тогда только он может предаваться телесным упражнениям, потребным для его возраста, и не притуплять при этом ума; тогда только вместо того, чтобы изощрять свою хитрость в увертках от несносной для него власти, он будет занят единственно тем, чтоб извлекать из всего окружающего как можно больше пользы для своего настоящего благополучия; тогда именно вы будете изумлены тонкостью его изобретательности для присвоения себе всего, чего он может добиться, и для истинного пользования жизнью, независимо от условных понятий.

Оставляя его таким образом господином своей воли, вы не станете вызывать его па капризы. Не чувствуя, что поступает так, как следует, он скоро будет делать только то, что должен делать; и хотя бы тело его находилось в постоянном движении, вы увидите, что и все силы разума, ему доступные, пока дело будет касаться настоящей и видимой выгоды, будут развиваться гораздо лучше и гораздо целесообразнее, чем при занятиях чисто умозрительных.

Таким образом, не видя в вас стремления противоречить ему, не питая к вам недоверия, не имея ничего такого, что нужно скрывать от вас, он не станет вас и обманывать, не станет лгать вам; он явится таким, каким бывает, когда не чувствует страха; вам можно будет изучать его на полной свободе, и, какие бы вы ни хотели дать ему уроки, вы можете обставить их так, чтоб он никогда не догадывался, что получает уроки.

Он не станет уже с любопытною ревностью подсматривать за вашими нравами и не будет испытывать тайного удовольствия при виде ваших промахов. Неудобство, предупреждаемое этим, довольно велико. Одну из первых забот у детей составляет, как я сказал, открытие слабой стороны у тех, кто ими руководит. Склонность эта ведет к злобе, но не от нее происходит: она является следствием потребности ускользнуть от докучливой власти. Изнемогая под тяжестью налагаемого на них ига, дети стараются сбросить его; а недостатки, замечаемые ими в наставниках, дают им лучшие средства для этого. В то же время зарождается привычка примечать людей по их недостаткам и находить удовольствие в открытии последних. Ясно, что этим путем мы заграждаем еще один источник пороков в сердце Эмиля; не имея никакого интереса находить во мне недостатки, он не станет и искать их во мне; ему не особенно захочется искать их и в других.

Все эти приемы кажутся трудными, потому что не решаются их применить; но в сущности они не должны быть трудными. Мы вправе предполагать в вас сведения, необходимые для того ремесла, которое вы избрали; мы должны ожидать, что вам знакомо естественное развитие человеческого сердца, что вы умеете изучать человека и личность, что вы наперед знаете, к чему склонится воля нашего питомца при виде всех тех предметов, интересных для его возраста, которые вы будете выставлять перед его глазами. А иметь орудия и хорошо знать их употребление — разве не значит быть мастером своего дела?

Вы в ответ ссылаетесь на капризы ребенка; но вы не правы. Каприз детей — это не дело природы; это дело дурного воспитания; это значит, что они повиновались или приказывали; а я сто раз повторял, что не нужно ни того, ни другого. У вашего воспитанника, значит, будут только те капризы, которым вы его научите; справедливость требует, чтобы вы несли сами и наказание за свои ошибки; Но как, скажете вы, исправить их? Это возможно еще при лучшем образе действия и при большом терпении.

Поручили мне на несколько недель ребенка<sup>52</sup>, который привык не только делать все по своему произволу, но вдобавок заставлял всех исполнять свою волю и, следовательно, был преисполнен прихотями. В первые же сутки, чтоб испытать мою снисходительность, он захотел встать в полночь. Во время самого глубокого сна моего он соскакивает с постели, надевает халат и зовет меня. Я встаю, зажигаю свечу; ему только этого и хотелось. Через четверть часа его начинает клонить сон, и он снова ложится, довольный своим опытом. Два дня спустя он повторяет его с таким же успехом и без малейшего знака нетерпения с моей стороны. Когда он обнимал меня, снова ложась спать, я сказал ему совершенно серьезно: «Дружок мой, все это прекрасно, но не делайте больше этого». Эти слова подстрекнули его любопытство, и на следующий же день, желая посмотреть, как я осмелюсь не слушаться его, он не преминул встать в том же самом часу и позвать меня. Я спросил, что ему нужно. Он сказал, что не может спать. «Тем хуже»,— возразил я, не трогаясь с места. Он попросил меня зажечь свечу. «Зачем?» — сказал я, не трогаясь с места. Лаконичный тон начал смущать его. Он принялся ощупью отыскивать огниво и стал высекать огонь; я не мог удержаться от смеха, слыша, как он ударяет себя по пальцам. Наконец, убедившись, что этого ему не сделать, он поднес огниво к моей постели; я сказал, что мне его не нужно, и повернулся на другой бок. Тогда он принялся бегать опрометью по комнате, с криком и пением, производя большой шум и ударяясь о стол и стулья; но он очень старательно умерял эти удары, хотя не переставал при каждом очень сильно кричать, надеясь причинить мне беспокойство. Все это пропадало даром, и я видел, что, рассчитывая на красноречивые увещания или гнев, он никак не мог помириться с таким полным хладнокровием.

Однако, решившись упорством победить мое терпение, он продолжал свою возню с таким успехом, что я, наконец, разгорячился; но, предчувствуя, что испорчу все дело неуместною вспыльчивостью, я принял другое решение. Ничего не говоря, я встал, пошел за огнивом, но не нашел его; я спрашиваю его у ребенка; тот подает мне, трепеща от радости, что, наконец, восторжествовал надо мной. Я высекаю огонь, зажигаю свечу, беру за руку мальчугана и спокойно отвожу его в соседний кабинет, где ставни были плотно закрыты и где нечего было разбивать, и оставляю его там впотьмах; затем, заперев за ним дверь на ключ, снова ложусь, не промолвив с ним ни слова. Нечего и говорить, что сначала он поднял шум; но я этого ожидал и нимало не смутился. Наконец, шум стихает; я прислушиваюсь; слышу, что ребенок укладывается, я

успокаиваюсь. На другой день утром вхожу в кабинет и вижу, что мой маленький упрямец лежит на диване и спит глубоким сном, в котором после такой усталости, очевидно, очень нуждался.

Дело этим не кончилось. Мать узнает, что ребенок провел две трети ночи вне постели. Все сразу пропало! Ребенок, думают, при смерти. Видя удобный случай отомстить, он притворяется больным, не предвидя, что ничего этим не выиграет. Зовут врача. К несчастью Для матери, врач оказывается шутником, который, чтобы позабавиться ее ужасами, постарался усилить их. Между тем он шепчет мне на ухо: «Предоставьте дело мне; я обещаю вам в короткое время вылечить ребенка от фантазии быть больным». Действительно, была предписана диета, ребенку велено оставаться в комнате и принимать лекарства. Я вздыхал, видя, как бедная мать была введена в обман всем окружающим, кроме меня одного, которого она возненавидела именно потому, что я ее не обманывал.

После довольно жестоких упреков она сказала мне, что сын нежного телосложения, что он единственный наследник семейства, что его во что бы то ни стало нужно беречь и что она не желает, чтоб я дразнил его. В последнем я был совершенно согласен с нею, но под словом «дразнить» она разумела: «не во всем его слушаться». Я увидел, что по отношению к матери нужно принять такой же тон, как и по отношению к ребенку. «Сударыня,— сказал я ей довольно холодно,— я не знаю, как воспитывать наследника, а главное — и не хочу этого знать; вы можете принять это к сведению». Во мне нуждались еще некоторое время; отец уладил все; мать написала наставнику, чтоб он поторопился вернуться, а ребенок, видя, что ничего не выигрывает, если мешает мне спать или притворяется больным, сам, наконец, решил спать и чувствовать себя здоровым.

Можно представить, сколько подобных капризов вытерпел от маленького тирана его несчастный гувернер; ибо воспитание производилось на глазах матери, которая не терпела, чтобы наследнику выказывали в чем-нибудь ослушание. В каком бы часу он ни захотел выйти из дому, приходилось быть готовым вести его или, скорее, следовать за ним, а он всегда старался выбрать такой момент, когда видел гувернера наиболее занятым. Он вздумал и надо мной проявить такую же власть и днем отомстить за покой, который поневоле давал мне ночью. Я готов был на все и начал с того, что заставил его увериться собственными глазами, с каким удовольствием я делаю приятное ему; затем, когда вопрос зашел о том, чтобы вылечить его от капризов, я взялся за дело иначе.

Прежде всего нужно было донести его до сознания своей вины; это не было трудно. Зная, что дети, думают только о настоящем, я легко одержал над ним верх предусмотрительностью; я озаботился доставить ему дома занятие, которое, как я знал, ему было очень по вкусу, и в тот момент, когда он был наиболее увлечен им, предложил ему пойти погулять; он наотрез отказался; я настаивал, он не слушал: мне пришлось сдаться, и он отлично подметил этот признак подчинения.

На следующий день была моя очередь. Он скучал — я заранее так устроил дело; я, напротив, казался очень занятым, Этого было совершенно достаточно, чтобы заставить его решиться. Он не преминул подойти с целью оторвать меня от работы, чтобы вести его скорее гулять. Я отказался; он упорствовал. «Нет,— сказал я,— исполняя свою волю, вы научили и меня тому же; я не хочу идти гулять».— «Ну, хорошо! — с живостью возразил он.— Я пойду один».— «Как хотите». И я опять принялся за работу.

Он одевается, несколько обеспокоенный том, что я позволял ему это делать и сам не делал того же. Готовый выйти, он приходит проститься; я прощаюсь; он старается напугать меня рассказом о путешествиях, которые намерен сделать; слушая его, можно было подумать, что он идет па край света. Нисколько не волнуясь, я пожелал ему счастливого пути. Смущение его удваивается. Однако он принимает бодрый вид и, собираясь уходить, велит своему лакею следовать за ним. Лакей, предупрежденный заранее, отвечает, что ему некогда, что он занят исполнением моих приказаний и должен повиноваться скорее мне, чем ему. На этот раз ребенок теряется. Как понять, что ему позволяют выходить одному, ему, который считает себя таким важным для всех прочих существом и думает, что небеса и земля озабочены его сохранением? Однако он начинает чувствовать свою слабость; он понимает, что очутится один среди незнакомых людей; он заранее видит опасности, которым подвергается; одно упрямство пока еще поддерживает его; он медленно сходит с лестницы в большом смущении. Наконец, он выходит на улицу, утешаясь несколько надеждою, что за беду, которая может с ним случиться, отвечать буду я.

Этого я и ждал. Все было подготовлено заранее; а так как дело шло о публичной, так сказать, сцене, то я запасся согласием отца. Едва он сделал несколько шагов, как слышит направо и налево различные замечания на свой счет. — «Братцы, смотрите, какой красивый барчук! Куда это он идет один? Он заблудится; попросить его разве зайти к нам?» — «Берегись, соседка! Разве ты не видишь, что это маленький своевольник? Его, видно, прогнали из отцовского дома за то, что он не хотел быть путным. Не следует пускать к себе таких шалунов; пускай идет, куда хочет».— «Ну что же! Бог с ним! Как бы только не приключилось с ним беды!» Немного дальше он встречает шалунов, одних почти с ним лет; они его дразнят и смеются над ним. Чем дальше, тем больше затруднений. Один, без защиты, он видит себя игрушкой для всех и чувствует с немалым изумлением, что его бант на плече и золотые обшлага не внушают уже к нему уважения.

Между тем один из моих друзей, которого он не знал и которому я поручил наблюдать за ним следил за ним шаг за шагом, незаметно для него, и подошел, когда пришло время. Для этой роли, похожей на роль Сбригани в «Пурсоньяке»<sup>53</sup>, требовался человек умный, и она исполнена была превосходно. Не запугивая ребенка излишним выставлением всего ужаса его поступка, он так хорошо дал ему почувствовать безрассудство его выходки, что через полчаса привел его ко мне покорным, сконфуженным и не смевшим поднять глаз.



К довершению бедствий его путешествия, в ту самую минуту, как он возвращался, выходит из долга отец, встретивший его на лестнице. Пришлось сказать, откуда он шел и почему меня не было с ним<sup>\*</sup>. Бедный ребенок желал бы провалиться сквозь землю. Не находя ничего приятного в продолжительных выговорах, отец сказал ему с большею сухостью, нежели я ожидал бы: «Когда ты захочешь выйти один, ты властен сделать это; но так как я не хочу иметь в доме бродягу, то в подобном случае постарайся не возвращаться больше сюда».

\* В подобном случае можно без риска требовать от ребенка правды; ибо он тогда хорошо знает, что не сумеет скрыть ее и что если осмелится сказать ложь, то сейчас же будет уличен.

Что касается меня, то я встретил его без упреков и без насмешек, по несколько сурово и, боясь, чтоб он не заподозрил во всем случившемся простую шутку, не хотел вести его в этот день гулять. На следующий день я с большим удовольствием увидел, что он с торжеством проходил со мной мимо тех людей, которые накануне смеялись над ним, встретив его одного. Попятно, что после этого он уже не грозил мне, что уйдет без меня.

Подобными средствами в течение короткого времени, пока я был с ним, мне удалось заставить его делать все, что я хотел, ничего не приказывая и ничего не запрещая ему, без нравоучений, без увещаний, без надоеданья бесполезными уроками. Зато, когда я говорил, он был доволен; но молчание мое держало его в страхе: он понимал, что что-нибудь неладно, и всегда урок получал не от меня, а от самой вещи. Но возвратимся назад.

Эти постоянные упражнения, предоставленные таким образом руководству одной природы, укрепляя тело, не только не притупляют ум, но, напротив, развивают в нас тот вид разума, который единственно доступен для первого возраста и больше всего необходим для какого бы то ни было возраста. Они дают нам умение пользоваться своими силами, распознавать отношение нашего тела к телам окружающим, пользоваться естественными орудиями, которые в нашей власти и пригодны для наших органов. Что можно сравнить с глупостью ребенка, которого воспитывали вечно в комнате и па глазах матери и который, не зная, что такое тяжесть и сопротивление, хочет вырвать огромное дерево или поднять скалу? Когда я первый раз вышел из Женевы, я хотел догнать скакавшую лошадь и кидал камни в гору Салев, которая была в двух милях от меня; я был посмешищем для всех детей деревни и казался им настоящим идиотом. Лет в восемнадцать мы узнаем из философии<sup>54</sup>, что такое рычаг; а в деревне нет такого двенадцати летнего малыша, который не умея бы пользоваться рычагом лучше первого механика академии. Уроки, полученные школьниками друг от друга на дворе училища, в сто раз полезнее всего того, что скажут им когда-либо в классе. Посмотрите, как кошка в первый раз входит в комнату: она осматривается, оглядывается, обнюхивает, она ни минуты не остается в покое, ничему не доверяет, пока не рассмотрит всего, не разузнает всего. Так же поступает и ребенок, начинающий ходить и вступающий, так сказать, в свет. Вся разница в том, что к зрению, которым обладает и ребенок и кошка, первый присоединяет при наблюдении руки, данные ему природой, а вторая —

тонкое чутье, которым она одарена. Эта именно способность, смотря по тому, хорошо или дурно она развита, и делает детей ловкими или неуклюжими, неповоротливыми или проворными, ветреными или осторожными.

Так как первые естественные движения человека проявляются в желании помериться со всем окружающим и испытать в каждом видимом предмете все осязаемые свойства, которые могут в нем быть, то первая паука ребенка — это род экспериментальной физики, относящейся к его самосохранению, а его отвлекают занятиями умозрительными, даже прежде чем он разумеет свое место в здешнем мире. Пока его органы, нежные и гибкие, могут приноравливаться к телам, на которые они должны действовать, пока чувства его еще чисты и не знают обмана, в это самое время и нужно упражнять те и другие в свойственных им функциях; тут-то и нужно учиться распознавать чувственно воспринимаемые отношения, существующие между нами и вещами. Так как все проникающее в человеческий разум идет туда путем чувства, то первая стадия в развитии разума — это разумение чувственное; оно и служит основанием для разумения умственного: первые наши учителя философии — это наши ноги, руки, глаза. Заменить все это книгами не значит учить нас рассуждать; это значит учить нас пользоваться чужим разумом, учить нас много верить и ничего никогда не знать.

Для упражнения в искусстве нужно прежде всего добыть орудия; а чтобы эти орудия употреблять с пользою, их нужно сделать достаточно прочными, так, чтобы они могли выдержать работу. Чтобы научиться думать, нужно, значит, упражнять свои члены, свои чувства, свои органы, которые служат орудием нашего разума; а чтобы извлечь из этих орудий всю возможную пользу, нужно, чтобы тело, снабжающее ими, было крепко и здорово. Таким образом, никак нельзя сказать, что истинный разум человека формируется независимо от тела; напротив, хорошее телосложение и делает умственные процессы легкими и верными.

Указывая, на что следует употреблять продолжительную праздность детства, я вхожу в подробности, которые покажутся смешными. Забавные уроки! Скажут мне: ведь они, по вашему же собственному отзыву, ограничиваются тем, учиться чему никто не имеет нужды. Зачем тратить время на приобретение познаний, которые приходят всегда сами собой и не стоят ни труда, ни забот? Какой двенадцатилетний ребенок не знает всего того, чему вы хотите учить вашего и чему, вдобавок, научили его учителя?

Господа, вы ошибаетесь: я преподаю своему воспитаннику искусство очень обширное, очень трудное, вам, конечно, незнакомое,— искусство быть невеждой; ибо наука того, кто думает, что он знает лишь то, что в действительности знает, сводится к немногому. Вы даёте науку — в добрый час! Я готовлю орудие, пригодное для ее приобретения. Говорят, что раз, когда венецианцы с большим торжеством показывали испанскому посланнику свои сокровища в С.-Марко, последний, вместо всякой любезности, посмотрев под столы, сказал им: «*Qui non c'e la*

radice»<sup>55</sup>. Когда я вижу наставника, выставяющего напоказ знания своего ученика, мне всегда хочется сказать то же самое.

Все, размышлявшие об образе жизни древних, приписывают гимнастическим упражнениям ту телесную и душевную крепость, которая очень заметно отличает их от людей нового времени. Способ, которым Монтень<sup>56</sup> подкрепляет это мнение, показывает, что он и сам был глубоко проникнут этими мыслями: он беспрестанно и на тысячу ладов возвращается к нему. Говоря о воспитании ребенка, он замечает: чтобы укрепить его душу, нужно закалить его мускулы; приучая его к труду, мы приучаем к боли; следует приучать его к неприятности упражнений, чтобы научить терпеть неприятности вывиха, колики и всяких страданий. Мудрый Локк, добрый Роллен<sup>57</sup>, ученый Флери<sup>58</sup>, педант де Круза<sup>59</sup>, писатели, столь различные между собой во всем остальном, сходятся в одном этом пункте, что нужно много упражнять тело ребенка. Это самое разумное из их правил; оно-то именно находится и будет находиться в наибольшем пренебрежении. Я уже достаточно говорил о его важности; а так как нельзя привести лучших оснований и более обдуманых наставлений, чем те, которые мы находим в книге Локка, то я ограничусь простой ссылкой на нее, взяв па себя смелость прибавить к его наблюдениям несколько своих.

Тело растет, поэтому всем членам нужно дать в одежде простор; ничто не должно стеснять ни их движения, ни роста; ничего не надо слишком узкого, ничего такого, что плотно облегает тело, никаких перевязок! Французская одежда, стеснительная и вредная для здоровья взрослых, особенно губельна для детей. Остановленные в своем обращении, соки застаиваются при покое, который увеличивается от недеятельной и сидячей жизни, портятся и причиняют скорбуг — болезнь, со дня на день распространяющуюся среди нас и почти неизвестную древним, которых предохранял от нее их способ одеваться и образ жизни. Гусарский костюм, вместо того чтобы устранить это неудобство, увеличивает его<sup>60</sup>: избавляя детей от некоторых перевязок, он зато жмет всюду тело. Лучше всего держать детей, пока можно, в курточке, а затем одевать их в очень широкое платье и не гоняться за тем, чтобы оно обрисовывало их талию, ибо это только уродует ее. Их телесные и умственные недостатки происходят почти все от одной и той же причины: их хотят преждевременно сделать взрослыми.

Есть цвета веселые и цвета мрачные; первые более нравятся детям; они и идут к ним больше. Я не вижу, почему бы не соображаться в этом случае с удобствами, столь естественными; но лишь только они начнут предпочитать ту или иную материю потому именно, что она богата, сердца их уже заражены роскошью, они уже преданы всем прихотям моды; а вкус этот является у них, разумеется, не сам собой. Трудно даже рассказать, сколь влияет на воспитание выбор одежды и мотивы этого выбора. Мало того, что ослепленные матери обещают своим детям наряды в виде награды; мы видим даже, как иные безумные воспитатели грозят одеть своих питомцев в грубую, простую одежду в виде наказания: если вы, мол, не будете лучше учиться, если вы не будете

беречь своего платья, вас оденут, как этого крестьянского мальчугана. Это все равно, что говорить: знайте, что, если человек значит что-нибудь, то только благодаря платью; вся цена ваша зависит от вашего костюма. Нужно ли удивляться, что эти столь мудрые уроки действительно влияют на юношество, что оно ценит только наряды и судит о достоинстве по одной внешности?

Если бы мне пришлось исправлять избалованного таким образом ребенка, я постарался бы, чтобы самые богатые его костюмы были самыми неудобными, чтобы он всегда был ими на тысячу ладов стеснен, сжат, связан; я так устроил бы, чтобы свобода и веселье обращались в бегство перед его великолепием: захочет он вмешаться в игры детей, проще одетых, — в минуту все расстраивается, все исчезает. Наконец, я ему наскучил бы, я настолько пресытил бы его пышностью, настолько сделал бы его рабом своего раззолоченного платья, что оно стало бы бичом его жизни, что он с таким ужасом не смотрел бы на самую мрачную тюрьму, с каким на приготовления к своему наряду. Пока мы не подчинили ребенка своим предрассудкам, быть на воле, быть свободным — это всегда его первое желание; костюм самый простой, самый удобный, менее всего стесняющий, всегда бывает для него самым ценным.

Одни привычки тела соответствуют деятельной жизни, другие — жизни бездеятельной. Последний образ жизни, предоставляя сокам возможность ровного и однообразного течения, вынуждает нас предохранять тело от перемен в воздухе; первый, заставляя тело непрерывно переходить от движения к покою, от жары к холоду, заставляет нас приучать его к этим переменам в воздухе. Отсюда следует, что люди, ведущие комнатную и сидячую жизнь, должны во всякое время одеваться тепло, чтобы сохранять тело в ровной температуре, почти одинаковой во все времена года и во все часы дня. Кто же, напротив, постоянно выходит при ветре, в жару и в дождь, кто — в большом движении и проводит большую часть времени на открытом воздухе, тот должен быть одет всегда легко, чтобы привыкнуть, без вреда для себя, переносить всякие перемены погоды, всякую температуру. Я советовал бы тем и другим не менять одежды сообразно с временами года; так будет поступать постоянно и Эмиль, — я разумею здесь не то, что он летом будет носить зимнюю одежду, как люди сидячей жизни, но что он и зимой будет носить летнее платье, как люди деятельные. Последнего обычая держался Ньютон в течение всей своей жизни, а он прожил 80 лет.

Поменьше или вовсе не нужно головных уборов в какое бы ни было время года. У древних египтян голова всегда была открыта; персы покрывали ее тяжелыми тюрбанами, необходимость употребления которых Шарден<sup>61</sup> объясняет климатом страны. Я уже говорил, в другом месте \*, о различии, какое, осматривая поле битвы, нашел Геродот между черепами персов и черепами египтян<sup>63</sup>. Так как весьма важно, чтобы, головные кости сделались более крепкими и компактными, менее хрупкими и пористыми, для лучшего предохранения нас не только от ранений мозга, но и от насморков, флюсов и всяких влияний воздуха, приучайте детей ваших летом и зимою, днем и ночью, всегда оставаться с непокрытой головой. Если же, для опрятности

и для сохранения волос в порядке, вы хотите на ночь покрывать им голову, то берите тонкий и редкий колпак, вроде сетки, в которую баски завертывают сноп волосы. Я хорошо знаю, что па большую часть матерей скорее подействуют наблюдения Шардена, чем мои доводы, и они всюду станут находить климат Персии, что же касается меня, то я не для того выбрал своим воспитанником европейца, чтобы сделать из него азиата.

\* Письмо к д'Аламберу о зрелищах<sup>62</sup>.

Вообще, детей слишком кутают, особенно в первые годы. Скорее следовало бы приучать их к холоду, чем к теплу; сильный холод никогда не вредит им, если их с ранних пор приучали к нему; но при излишнем жаре ткань их кожи, слишком еще нежная и слабая, пропуская слишком свободно испарину, доводит их этил до неизбежного истощения. Поэтому замечают, что в августе детей умирает больше, чем в какой-либо другой месяц. К тому же при сравнении северных пародов с южными оказывается несомненным, что привычка к излишнему холоду более укрепляет тело, чем привычка к излишнему жару. По мере того как ребенок растет п фибры его укрепляются, мало-помалу приучайте его не бояться солнечного жара; идя постепенно вперед, вы без всякой опасности приучите его к зною жаркого пояса.

Локк среди мужественных и разумных правил, которые он дает, впадает и в противоречие, неожиданное для мыслителя, настолько точного. Желая, чтобы дети летом купались в ледяной воде, он в то же время не хочет, чтобы они в разгоряченном состоянии пили холодную воду или ложились на землю на сыром месте\*. Но если уж он хочет, чтобы башмаки у детей во всякое время промокали, почему же им не промокать, когда ребенку жарко? И разве нельзя делать те же заключения от ног к телу, которые он делает от рук к ногам и от лица к телу? Если вы, сказал бы я ему, соображения о лице применяете ко всему телу, почему же вы порицаете меня за то, что я соображения о ногах применяю к телу?

\* Как будто крестьянские дети выбирают посуше землю, чтобы сесть или лечь, как будто слыхано где, чтобы сырость земли повредила кому-нибудь из них. Если слушать врачей, то подумаешь, что дикари не могут двинуться от ревматизмов.

Чтобы не дать детям возможности пить в разгоряченном состоянии, он предписывает приучать их, прежде чем пить, съесть предварительно кусок хлеба. Очень странное требование — давать ребенку есть, когда ему хочется пить; по-моему, лучше бы давать ему пить, когда ему хочется есть. Никто меня не убедит, что наши первые позывы неправильны, так что их нельзя удовлетворять, не подвергая себя опасности. Если бы это было так, то род человеческий сто раз успел бы погибнуть, прежде чем научился бы тому, что нужно делать для своего сохранения.

Я хочу, чтобы всякий раз, как Эмилю захочется пить, ему давали пить; я хочу, чтобы ему давали чистую воду, без всяких приготовлений, даже не подогревая, будь он хоть весь в поту, будь это хоть среди зимы. Я рекомендую только различать свойство воды. Речную воду давайте ему сейчас же, такую, какую ее почерпнули из реки; ключевую воду следует некоторое время оставлять на

воздухе, прежде чем пить. В теплое время года речная вода теплая; не то бывает с ключевой водой, которая не была в соприкосновении с воздухом; нужно подождать, пока температура ее не сравняется с атмосферной. Зимой, напротив, ключевая вода менее опасна в этом отношении, чем речная. Но зимой неестественно сильно потеть и не часто это бывает, особенно на открытом воздухе, ибо холодный воздух, ударяясь постоянно о кожу, вгоняет пот внутрь и не дает порам достаточно открываться для свободного пропуска испарины. А между тем я вовсе не предполагаю, что зимой Эмиль будет заниматься у камелька; напротив, он будет вне дома, среди полей, среди снегов. Если он разгорячается только оттого, что играет в снежки, давайте ему пить, когда ему захочется; пусть он продолжает после этого играть, и не станем бояться никакой опасности. Если он вспотеет при каком-нибудь другом занятии и захочет пить, пусть пьет холодную воду, даже тотчас же. Но только сделайте так, чтоб он подалше и помедленнее сходил за ней. Холодный воздух достаточно его освежит, так что, придя, он будет пить без всякой для себя опасности. Особенно старайтесь, чтоб он не заметил этих предосторожностей. По-моему, пусть лучше он будет иной раз болен, лишь бы не ежеминутно наблюдал за своим здоровьем.

Детям нужен продолжительный сон, потому что они непрерывно в движении. Одно служит восстановительным средством для другого: потому-то мы видим, что они нуждаются в том и другом. Время отдыха — ночь, оно указано природой. Постоянно наблюдается, что сон бывает более покойным и сладким, пока солнце за горизонтом, а когда воздух разгорячен его лучами, он не дает нашим чувствам такого полного покоя. Таким образом наиболее здоровой была бы, конечно, привычка вставать и ложиться вместе с солнцем. Отсюда следует, что в нашем климате человеку и всем животным нужно вообще зимой больше спать, чем летом. Но гражданская жизнь не настолько проста и естественна, не настолько ограждена от перемен и случайностей, чтобы следовало приучать человека к этому единообразию, пока оно не станет для него необходимым. Нужно, разумеется, подчиняться правилам; но первым правилом должна быть возможность без риска нарушать их, когда придет необходимость. Не вздумайте поэтому безрассудно изнеживать нашего воспитанника продолжительностью покойного, ничем никогда не нарушаемого сна. Предоставляйте его прежде всего, без всякого стеснения, закону природы; но не забывайте, что в нашей среде он должен быть выше этого закона, что он должен уметь без вреда для себя лечь поздно, встать рано, неожиданно быть разбуженным, проводить ночи на ногах. Если взяться за дело раньше, если идти вперед всегда осторожно и постепенно, то можно приучить темперамент к тем самым вещам, которые были бы для него разрушительными, если бы он подвергся им после полного уже своего развития.

Важно приучиться прежде всего к жесткой постели: это лучшее средство не находить потом ни одну постель дурною. Вообще суровая жизнь, раз обратившись в привычку, увеличивает число приятных ощущений; жизнь изнеженная подготавливает бесчисленную массу неприятностей. Люди, воспитанные слишком нежно, могут заснуть лишь на пуху; люди, привыкшие спать на досках,

заснут где угодно; кто, ложась спать, сейчас же засыпает, для того нет жесткой постели. Мягкая постель, на которой тело погружается в перья или даже в гагачий пух, размягчает, так сказать, и расслабляет тело. Поясница, слишком тепло прикрытая, разгорячается. В результате часто является каменная болезнь или другие недуги, а неизбежным следствием бывает слабое телосложение, порождающее все другие болезни<sup>64</sup>.

Лучшая постель та, на которой лучше всего спится. Такую именно постель мы — Эмиль и я — готовим себе в течение дня. Чтобы постлать нашу постель, нам не нужно приведенных из Персии рабов; взрывая для посева землю, мы учимся взбивать и свои тюфяки. Я знаю по опыту, что, когда ребенок здоров, его можно, почти по произволу, заставить спать или бодрствовать. Когда ребенок лег и надоедает своей болтовней няне, она говорит ему: «Спи!» Это все равно, что сказать ему, когда он болен: «Выздорови!» Лучшее средство усыпить его — это наскучить ему. Говорите, пока он не вынужден будет молчать, и он скоро заснет: нравоучения всегда на что-нибудь да годны; уж лучше читать нравоучения, чем укачивать: но если вы употребляете это усыпительное средство вечером, берегитесь употреблять его днем.

Я буду иной раз будить Эмиля, но не столько из опасения приучить его к слишком продолжительному сну, сколько для того, чтобы приучить его ко всему, даже ко внезапному пробуждению. Впрочем, я был бы слишком не способен к своей должности, если бы не умел принудить его просыпаться самому и вставать по моей, так сказать, воле, но так, чтобы мне не пришлось ему сказать ни одного слова.

Если он мало спит, я стараюсь показать ему, как скучно будет завтрашнее утро, и он сам будет считать выигранным все время, которое проспит; если он спит слишком много, я обещаю ему доставить любимую забаву, когда встанет. Если я хочу, чтобы он проснулся в определенное время, я говорю ему: завтра, в шесть часов, отправляются на рыбную ловлю или туда-то гулять; хочешь участвовать? Он соглашается, просит меня разбудить; я или обещаю или нет, смотря по обстоятельствам: если он просыпается слишком поздно, то уже не застает меня. Дело можно будет назвать очень неудачным, если скоро он не научится просыпаться сам.

Впрочем, если нам придется заметить — а это бывает редко — в каком-нибудь вялом ребенке склонность предаваться лени, то мы должны не поощрять эту склонность, которая может совершенно его притупить, но противопоставить ей какой-нибудь стимул, который возбуждал бы ребенка. Понятно, что речь идет не о насильственном принуждении к действию, а о том, чтобы расшевелить его, вызвав в нем какое-нибудь желание, ведущее к цели; и если это желание выбрано с толком и соответствует порядку природы, то оно сразу приводит нас к двум целям.

Я не могу представить ничего такого, к чему нельзя бы было, при небольшой ловкости, приохотить, даже пристрастить детей, не прибегая ни к тщеславию, ни к соревнованию, ни к зависти. Для этого достаточно их живости, их подражательного ума, а особенно их природной веселости — орудия, действие которого всегда верно и которого никогда не сумел бы придумать

наставник. Во всех играх, когда они вполне убеждены, что это только игра, они без жалоб и даже со смехом переносят то, из-за чего при других обстоятельствах пролили бы целые потоки слез. Долгое голодание, удары, ожоги, всякого рода усталость — это забавы молодых дикарей, доказывающие, что и самая боль имеет свою приправу, которая может отнять у ней горечь; но умением приготовить это кушанье обладают не все учителя, и не все, быть может, ученики умеют вкушать его без гримас. Вот я и снова готов запутаться, если не остерегусь, в исключениях.

Есть, впрочем, обстоятельство, не допускающее исключений, — это то, что человек подвержен боли, всякого рода скорбям, случайностям, опасностям, угрожающим жизни, наконец, подвержен смерти. Чем более его освоят со всеми этими идеями, тем лучше исцелят его от докучливой чувствительности, которая к скорби прибавляет еще нетерпение; чем больше приучат человека к страданиям, могущим его постигнуть, тем скорее отнимут от них, как сказал бы Монтень, «черту необычайности»<sup>65</sup> и тем неуязвимее и суровее сделают его душу; тело его будет броней, которая станет отражать все стрелы, могущие проникнуть в его сердце. Так как приближение смерти не будет для него смертью, то он едва почувствует, что такое смерть; он не будет, так сказать, «умирать»; он будет только или живым или мертвым, ничего больше. О нем тот же самый Монтень мог бы сказать, как он сказал об одном марокканском короле, что ни один смертный не захватил у смерти так много жизни. Постоянство и твердость, равно как и другие добродетели,— это для детства первые предметы обучения; но научатся дети этим доблестям не тогда, когда узнают их имена, а когда испробуют их па деле, сами не зная, что это такое.

Упомянув о смерти, кстати, спросим себя: как нам поступить со своим воспитанником относительно оспы? Прививать ли ее в малолетстве или подождать, пока он не получит ее естественным путем? Первая мера, более сообразная с принятой нами практикою, гарантирует от опасности тот возраст, когда жизнь наиболее дорога, перенося риск на возраст, когда она менее всего дорога, если только можно назвать риском хорошо обставленную прививку.

Но второй способ более подходит к нашим общим принципам, к правилу давать полный простор природе в тех заботах, которые она любит принимать одна, прекращая их, лишь только человек захочет вмешаться. Человек, близкий к природе, всегда подготовлен: предоставим же этому учителю самому прививать оспу — он выберет момент лучше, чем мы.

Не выводите из этого, что я порицаю прививку; ибо те рассуждения, в силу которых я освобождаю от нее своего воспитанника, очень плохо подойдут к вашим детям. Ваше воспитание ведет к тому, что они не избегнут болезни, коль скоро заразятся; если вы предоставляете появление ее случаю, то очень вероятно, что они погибнут от нее. Я замечаю, что в различных странах тем более противятся прививке, чем необходимее она там становится, и причины этого легко понять. Да и едва ли я сочту важным обсуждать этот вопрос по отношению к Эмилю. Ему привьют оспу, а может быть, и нет, смотря по времени, местности, обстоятельствам; это почти безразлично для него. Если привьют, то выгадают тем, что будут предвидеть и знать заранее его



болезнь, а это что-нибудь да значит; если же она появится естественным путем, то мы предохраним его от врача, а это еще важнее.

Воспитание исключительное, стремящееся единственно к тому, чтоб отличить получивших его от простонародья, всегда предпочитает обыкновенным предметам обучения, а потому и наиболее полезным, такие предметы, изучение которых очень дорого стоит. Таким образом, заботливо воспитанные молодые люди все обучаются верховой езде, потому что это дорого стоит; но почти ни один из них не учится плавать, потому что это ничего не стоит, потому что и ремесленник так же хорошо может плавать, как и всякий другой. Между тем путешественник, не прошедши никакого курса, садится на лошадь, держится на ней и умеет пользоваться ею, насколько нужно; но на воде, кто не умеет плавать, тот тонет, а плавать нельзя, не научившись. Наконец, верховая езда тебе составляет вопроса жизни, тогда как никто не может быть уверен, что набегит опасностей, которым мы столь часто подвергаемся на воде. Эмиль на воде будет чувствовать себя, как на земле. Жаль, что нельзя жить во всех стихиях! Если бы можно было научить его летать по воздуху, я сделал бы из него орла; я сделал бы его саламандрой<sup>66</sup>, если бы можно было стать нечувствительным к огню.

Боятся, что, учась плавать, ребенок утонет; учась ли он утонет или потому, что не учился, все равно — виной будете вы. Одно тщеславие делает нас безрассудно слепыми; люди не бывают безрассудно отважными, когда их никто не видит. Эмиль не будет таким, даже если бы смотрела на него вся Вселенная. Так как успех упражнений не зависит от риска, то в пруду отцовского парка он мог бы научиться переплывать Геллеспонт<sup>67</sup>; по следует привыкать даже к риску, чтобы научиться не смущаться перед ним,— это существенная часть первоначального обучения, о котором я только что говорил. Впрочем, если я буду заботливо соразмерить опасность с его силами и всегда разделять ее с ним, то мне не придется бояться безрассудной отваги, так как забота о его сохранении будет у меня тесно связана с заботой о собственной безопасности.

Ребенок меньше взрослого и не имеет ни силы его, ни разума, но видит и слышит он так же хорошо, как взрослый, или почти так же; вкус у него так же чувствителен, хотя и менее тонок; он так же хорошо различает запахи, хотя и не проявляет такой же чувствительности. Из всех способностей первыми формируются и совершенствуются в нас чувства. Их, значит, следует прежде всего развивать; а между тем их только и забывают, ими-то и пренебрегают больше всего.

Упражнять чувства — это значит не только пользоваться ими: это значит учиться хорошо судить с помощью их, учиться, так сказать, чувствовать; ибо мы умеем осязать, видеть, слышать только так, как научились.

Бывают упражнения чисто естественные, механические, которые содействуют укреплению тела, но не дают никакой пищи суждению: дети плавают, бегают, прыгают, гоняют кубарь, пускают камни — все это очень хорошо; но разве мы имеем только руки и ноги? Разве у нас нет, кроме того, глаз, ушей и разве эти органы излишни при существовании первых? Упражняйте же не

только силы, но и все чувства, или управляющие; извлекайте из каждого всю возможную пользу, затем впечатления одного поверяйте другим. Измеряйте, считайте, взвешивайте, сравнивайте. Употребляйте силу лишь после того, как рассчитаете сопротивление; поступайте всегда так, чтоб оценка результата предшествовала употреблению средств. Покажите ребенку, как выгодно никогда не делать недостаточных или излишних усилий. Если вы приучите его предвидеть таким образом результат всех его движений и путем опыта исправлять ошибки, то не ясно ли, что, чем больше он будет действовать, тем станет рассудительнее?

Приходится сдвинуть тяжесть; если он берет рычаг слишком длинный, он потратит излишнее усилие; если рычаг слишком короток, ему не хватит силы: опыт может научить его выбирать именно ту палку, которую нужно. Эта мудрость, значит, не будет ему не по летам. Нужно перенести тяжесть; если он хочет взять столько, сколько может нести, и не браться за то, чего ему не поднять, то не будет ли он принужден определять вес на глаз? Если он умеет сравнивать массы одного содержания, но различного объема, то пусть учится делать выбор между массами одного объема, но различного содержания: ему необходимо будет приравливать к их удельному весу. Я видел молодого человека, очень хорошо воспитанного, который не хотел верить, пока не испытал, что ведро, наполненное толстыми дубовыми щепками, весит легче, чем то же ведро с водою.

Мы не в одинаковой степени властны над всеми нашими чувствами. Есть между ними одно такое, действие которого никогда не прерывается во время бодрствования,— я говорю об осязании, оно распространено по всей поверхности нашего тела, как постоянная стража, приставленная для извещения нас обо всем, что может нам повредить. В этом же чувстве мы благодаря непрерывному упражнению раньше всего приобретаем волей-неволей опытность, а следовательно, имеем менее нужды заботиться об его особенном развитии. Однако мы замечаем, что у слепых осязание вернее и тоньше, чем у нас, потому что, не будучи руководимы зрением, они принуждены учиться извлекать единственно из первого чувства те суждения, которые доставляет нам второе. Почему же после этого не учат нас ходить в темноте, как они, распознавать ночью тела, которые попадают на нас под руки, судить об окружающих предметах, — словом, делать ночью и без света все, что они делают днем и без зрения? Пока светит солнце, мы имеем преимущество над ними; впотьмах они, в свою очередь, становятся нашими руководителями. Мы слепы полжизни, с тою разницею, что настоящие слепые умеют всегда ходить самостоятельно, а мы среди ночи не осмеливаемся сделать шага. У нас свечи, скажут мне. Как, опять искусственные орудия? Кто вам ручается, что в случае нужды они повсюду последуют за вами? Что касается меня, то я предпочитаю, чтоб у Эмиля глаза были в кончиках пальцев, а не в лавке свечного торговца.

Вы заперты ночью в каком-нибудь здании; хлопните в ладоши — вы узнаете по отголоску, велико помещение или мало, в середине вы или в углу. На полфута от стоны воздух, окружая вас

менее толстым слоем и сильнее отражаясь, иначе и ощущается вашим лицом. Стойте на месте и поворачивайтесь постепенно во все стороны: если есть открытая дверь, легкий ток воздуха укажет вам это. Если вы в лодке, вы узнаете по тому, как будет ударять вам в лицо воздух, не только направление, в котором плывете, но и то, медленно или быстро несет вас течение реки. Эти и тысяча подобных наблюдений хорошо могут производиться только ночью; среди дня, как бы внимательны мы ни были, зрение будет не только помогать нам, но и отвлекать нас и наблюдения не удадутся. Между тем тут еще не пускаются в ход руки или палка. Сколько наглядных познаний можно приобрести путем ощупыванья, даже пи до чего не дотрагиваясь! Побольше ночных игр! Этот совет важнее, чем кажется. Ночь, естественно, пугает людей, а иной раз и животных\*. Разум, познания, ум, мужество избавляют немногих от этого удела. Я видел, как умники, вольнодумцы, философы, воины, бесстрашные среди дня, дрожали ночью, как женщины, при шуме древесного листа. Ужас этот приписывают влиянию нянькиных сказок; это — заблуждение: есть причина естественная. Какая же это причина? Та же, которая глухих делает недоверчивыми, простонародье суеверным,— незнакомство с предметами, нас окружающими, и с тем, что происходит вокруг нас\*\*. Если я привык издали замечать предметы и заранее предвидеть получаемые от них впечатления, то, не видя ничего вокруг себя, могу ли я не вообразить себе тысячи существ, тысячи движений, которые могут повредить мне и от которых невозможно мне уберечься? Как ни уверен я, что для меня нет никакой опасности в данном месте, я все-таки не так хорошо в этом уверен, как тогда, когда действительно это видел бы; значит, я всегда имею повод бояться, которого не имел бы днем. Я знаю, правда, что постороннее тело почти не может оказывать действия на мое тело, не возвестив о себе каким-нибудь шумом,— зато как я напрягаю беспрестанно свой слух! При малейшем шуме, причину которого я не могу разобрать, инстинкт самосохранения заставляет меня прежде всего предполагать все то, что должно больше всего принуждать меня быть настороже и что, следовательно, скорее всего способно меня испугать. Я решительно ничего не слышу, но при всем том я не спокоен, ибо, наконец, и без шума меня могут захватить врасплох. Мне приходится предположить вещи такими, какими они были прежде, какими они должны и теперь еще быть, приходится видеть то, чего не вижу. Таким образом, принужденный пускаться в ход воображение, я скоро перестаю владеть им, и, что я делал для успокоения себя, то причиняет мне еще большую тревогу. Если я слышу шум, мне чудятся воры; если я ничего не слышу, я вижу привидения: бдительность, внушаемая мне заботою о самосохранении, дает мне лишь поводы к страху. Все, что должно меня успокоить, заключается лишь в моем разуме, но более сильный инстинкт говорит мне совершенно иное. К чему мне служит здравая мысль, что нечего бояться, раз я ничего не могу сделать?

\* Этот ужас делается особенно очевидным при больших солнечных затмениях.

\*\* Вот и еще причина, хорошо объясненная философом, на которого я часто ссылаюсь и широкие взгляды которого еще чаще меня просвещают. «Когда мы, вследствие особых обстоятельств, не

можем иметь истинного представления о расстоянии и можем судить о предметах только по величине угла или, скорее, отражения, образуемого ими в наших глазах, то мы необходимо ошибаемся насчет величины этих предметов. Всякий испытал, что, идя ночью, куст, стоящий поблизости, принимаешь за большое, стоящее вдали дерево или же большое, отдаленное дерево принимаешь за куст, стоящий по соседству; точно так же, если мы не узнаем предметов по форме, то не можем составить себе этим путем никакого представления о расстоянии, то мы опять неизменно ошибаемся. Муха, стремительно пролетевшая на расстоянии нескольких дюймов от наших глаз, покажется нам в этом случае птицей, находящейся на очень большом расстоянии; лошадь, стоящая неподвижно среди поля в положении, сходном, например, с положением барана, казалась бы нам только большим бараном, пока мы не разглядели бы, что это лошадь; но как скоро мы разглядели бы, что это лошадь; но как скоро мы разглядели бы ее, она тотчас же показалась бы нам такой же большой, какими бывают лошади, и мы немедленно исправили бы свое первое суждение. -- Всякий раз, как мы попадаем ночью в незнакомые места, где мы не можем судить о расстоянии и где вследствие темноты не можем рассмотреть форму предметов, является опасность впадать каждую минуту в ошибку при суждениях о представляющихся нам предметах. Отсюда происходит страх, нечто вроде внутренней боязни, которую внушает темнота ночи почти всем людям; на этом основано появление привидений и гигантских, ужасных образов, о которых рассказывают столько людей, будто видевших их. Обыкновенно им отвечают, что эти образы были в их фантазии; меж тем они действительно могли быть в их глазах, и очень возможно, что они и в самом деле видели то, о чем рассказывают; ибо раз мы не можем судить о предмете иначе, как по углу, образуемому им в глазу, то необходимо должно случиться, что этот неизвестный предмет станет расширяться и увеличиваться по мере приближения к нему. Если зритель не может знать, что видит и на каком расстоянии, и если первоначально, когда предмет был на расстоянии 20—30 шагов, он казался ему вышиной в несколько футов, то он должен казаться вышиной в несколько сажень, когда будет от зрителя всего в нескольких футах, что, действительно, должно удивлять и пугать последнего, пока он не тронет предмета или не разглядит его; в тот самый момент, как он разглядит, что это такое, предмет этот, казавшийся гигантским, вдруг уменьшится и покажется ему лишь в своей действительной величине; но если зритель убежит или не осмелится подойти к нему, то несомненно, что он не будет иметь другого представления об этом предмете, кроме того, которое составилось на основании образа, отраженного им в глазу, и что он действительно увидит гигантскую или ужасную по величине и очертанию фигуру. Таким образом, предрассудок насчет привидений основан на природе, и появление их не зависит, как думают философы, единственно от воображения» (Бюффон. Естественная история, т. VI, с. 22). В тексте я старался показать, что предрассудок этот всегда частью зависит и от воображения; что же касается причины, объясненной в том отрывке, то очевидно, что привычка ходить ночью должна научить нас различать вид, который принимают в

наших глазах находящиеся в темноте предметы благодаря сходству своих форм и различию расстояний; ибо когда бывает настолько еще светло, что нам можно видеть контуры предметов, то контуры эти всегда должны казаться нам тем более смутными, чем дальше от нас предмет, так как с удалением предмета увеличивается и лежащий между ним и нами слой воздуха,— и этой большей или меньшей ясности контуров в силу привычки бывает достаточно, чтобы предохранить нас от ошибки, о которой говорит здесь Бюффон. Таким образом, какое объяснение ни предпочитать, все-таки моя метода оказывается всегда действительностью, и опыт вполне подтверждает это.

Раз найдена причина зла, она указывает и на лекарство. Во всякой вещи привычка убивает воображение; его пробуждают только новые предметы. Относительно тех, которые мы видим каждый день<sup>1</sup>, действует уже не воображение, а память; вот на чем основана аксиома: «*Ab assuetis pop fit passio*»<sup>68</sup>, ибо страсти разжигаются лишь огнем воображения. Поэтому не приводите резонов тому, кого вы хотите приучить не бояться потемок; водите его чаще в потемки, и будьте уверены, что все аргументы философии не будут стоить этого образа действия. У кровельщиков на крышах не кружится голова, и не видано, чтобы, кто привык быть в темноте, тот боялся бы ее. Итак, вот другое преимущество ночных игр вдобавок к первому; но чтоб эти игры удались, я особенно рекомендую для этого веселость. Пет ничего печальнее темноты: не вздумайте запереть вашего ребенка в темницу. Пусть он смеется, когда входит в темноту; пусть смеется и перед выходом оттуда; пока он там, пусть мысль об оставленных за дверью забавах и о тех, кто его ожидает, отвлекает его от фантастичных представлений, которые могли бы его там преследовать.

Есть предел жизни, за которым, идя вперед, начинаешь пятиться назад. Я чувствую, что перешел этот предел. Я начинаю второй раз переживать свою жизнь. Пустота зрелого возраста, испытанная мною, рисует мне сладкую пору первых лет. Старая, я снова делаюсь ребенком и охотнее вспоминаю, что я делал десяти лет от роду, нежели то, что делал в тридцать лет. Читатели, простите же мне, если я беру иной раз примеры с самого себя; чтобы хорошо написать эту книгу, я должен писать ее с удовольствием.

Я был в деревне на воспитании у одного священника по имени Ламберсье<sup>69</sup>. Товарищем у меня был двоюродный брат; он был богаче меня, и с ним обращались как с наследником, тогда как я, удаленный от отца, был только бедным сиротой. Мой рослый братец Бернар был замечательно труслив, особенно ночью. Я так много смеялся над его страхом, что Ламберсье, которому наскучило мое хвастовство, захотел испытать на деле мое мужество. В один осенний, очень темный вечер он дал мне ключ от церкви и велел сходить за библией, которую оставили в кафедре. Чтобы подстрекнуть мое самолюбие, он прибавил несколько слов, которые сделали невозможным для меня отступление.

Я отправился без свечи; если б она была у меня, вышло бы, может быть, еще хуже. Нужно было пройти по кладбищу; я отважно миновал его, ибо я никогда не испытывал ночных ужасов, пока находился на открытом воздухе.

Отворяя дверь, я услышал под сводом отголосок, который показался мне похожим на голоса и начал колебать мою римскую твердость. Отворив дверь, я хотел войти; но едва сделал несколько шагов, как остановился. При виде глубокого мрака, царившего в этом обширном здании, я был охвачен ужасом, от которого у меня стали дыбом волосы: я пячусь назад, выхожу и пускаюсь бежать, весь дрожа. На дворе я встретил маленькую собачку, которую звали Султаном; ласки ее меня успокоили. Стыдясь своей трусости, я вернулся назад, стараясь, однако, вести с собой и Султана, который не хотел идти за мной. Я быстро шагнул за дверь и очутился в церкви. Едва я вошел, мною снова овладел страх, притом столь сильный, что я потерял голову; и хотя кафедра стояла направо и я очень хорошо это знал, но, незаметно как-то повернувшись, я долго искал ее налево и запутался между скамьями; я уже не понимал, где я, и, не будучи в состоянии отыскать ни кафедры, ни двери, впал в невыразимое волнение. Наконец, я заметил дверь, мне удалось выбраться из церкви, и я удалился с таким же успехом, как и в первый раз, твердо решив не ходить туда одному иначе, как среди бела дня.

Я возвращался домой. При самом почти входе я различаю голос Ламберсье по громким взрывам хохота. Я уже заранее принимаю их на свой счет и, стыдясь, не решаюсь отворить дверь. В это самое время я слышу, как дочь Ламберсье, беспокоясь за меня, приказывает служанке взять фонарь, а сам Ламберсье собирается идти искать меня, в сопровождении моего отважного брата, которому впоследствии не преминули бы приписать всю честь экспедиции. В один момент все мои ужасы рассеялись, и остался только страх быть застигнутым среди бегства: я бегу, я лечу в церковь; не путаясь и не ощупывая дороги, я добираюсь до кафедры, всхожу на нее, беру библию, кидаюсь вниз; в три прыжка я очутился вне храма, забыв даже затворить дверь; вхожу, запыхавшись, в комнату и бросаю на стол библию, растерянный, но весь трепещущий от радости, что удалось упредить назначавшуюся мне помощь.

Спросят, не выдаю ли я эту черту за образец, достойный подражания, и за пример веселости, которой я требую в подобного рода упражнениях. Нет, но я выдаю ее за доказательство того, что для человека, испуганного мраком ночи, ничего не может быть успокоительнее, как слышать, что собравшееся в соседней комнате общество смеется и спокойно ведет беседу. Я желал бы, чтобы учитель, вместо того чтобы одному забавляться со своим воспитанником, по вечерам собирал толпу веселых детей, чтоб их посылали в темную комнату сначала не поодиночке, а по несколько человек вместе и чтобы никого не пытались посылать в одиночку, не убедившись заранее, что он не слишком перепугается.

Я ничего не могу себе представить столь забавного и полезного, как подобные игры, лишь бы только мало-мальски ловко устраивать их. Я устроил бы в большом зале нечто вроде лабиринта из

столов, кресел, стульев, ширм. В безвыходных извилинах этого лабиринта, среди 8—10 коробко-ловушек, я поставил бы одну, почти сходную по виду, но наполненную конфетами; ясными, но краткими словами я определил бы точно место, где стоит интересная коробка; чтобы отличить ее, я дал бы указания, совершенно достаточные для людей более внимательных и менее ветреных, чем дети<sup>\*</sup>; затем, заставив маленьких соперников бросить жребий, я посылал бы одного за другим на поиски, пока не нашлась бы эта привлекательная коробка; а розыски эти я постарался бы сделать трудными, соразмеряясь с ловкостью детей.

\* Чтобы приучить их к вниманию, говорите им всегда лишь то, что представляет для них осязательный и текущий интерес; особенно не должно быть длиннот и никогда — ни одного лишнего слова; но вместе с тем избегайте в ваших речах темноты и двусмысленности.

Вообразите себе маленького Геркулеса, возвращающегося с коробкою в руке и гордого своим подвигом. Коробка ставится на стол; ее торжественно открывают. Я отсюда слышу взрывы хохота, гиканье веселой толпы, когда вместо ожидаемого лакомства находят аккуратно уложенного на мох или хлопчатую бумагу майского жука, литку, уголь, желудь, репу или другую подобную вещь. В другой раз во вновь выбеленной комнате можно повесить на стену какую-нибудь игрушку, какую-нибудь вещицу; задачей будет — найти ее, не дотрагиваясь до стены. Едва вернется принесший вещь, как запачканный в белом край его шляпы, носок башмаков, пола платья, рукав сейчас же выдадут его неловкость, если он хоть чуть-чуть нарушил условие. Сказанного совершенно достаточно, быть может, даже слишком достаточно, для выяснения смысла такого рода игр. Если вам все нужно говорить да говорить, не читайте меня.

Какие преимущества над другими ночью будет иметь человек, воспитанный подобным образом! Ноги его, привыкшие твердо ступать впотьмах, руки, привыкшие легко разбираться во всех окружающих телах, без труда будут руководить им среди самого густого мрака. Воображению его, занятому ночными играми его юности, не легко обратиться к страшным предметам. Если ему почудятся взрывы хохота, это будет хохот его старых товарищей, а не домовых; если ему представится сборище, это будет не шабаш ведьм, а комната его воспитателя. Ночь, вызывая в нем лишь мысли веселые, никогда не будет для него страшной; вместо того чтобы бояться, он будет любить ее. Случись быть ему в военной экспедиции, он всякий час готов будет идти так же охотно один, как и за толпой. Он проникнет в стан Саула<sup>70</sup>; пройдет его, не запутавшись; дойдет, никого не разбудив, до палатки царя и вернется назад незамеченным. Нужно похитить коней Реза<sup>71</sup> — без опасений обращайтесь к нему. Между людьми, воспитанными иначе, вам не так легко найти Улисса<sup>72</sup>.

Я видел людей, хотевших посредством неожиданностей приучить детей ничего не бояться ночью. Эта метода очень дурна, она производит действие, совершенно противное тому, какого желают, и всегда делает их еще более трусливыми. Ни разум, ни привычка не могут ободрить человека при мысли о предстоящей опасности, если он не знает ни степени ее, ни рода, или при

опасении неожиданностей, которым он не раз подвергался. Меж тем, как быть уверенным, что всегда убережешь своего воспитанника от подобных случайностей? Вот, мне кажется, наилучший совет, которым можно предупредить его на этот случай. «Ты имеешь в этом случае,— сказал бы я Эмилию,— полное право защищаться, ибо зачинщик не даст тебе времени обдумывать, хочет ли он нанести тебе вред или только попугать; а так как выгода на его стороне, то даже бегство не есть защита для тебя. Смело хватай поэтому того, кто врасплох нападает на тебя ночью, человек это или зверь, все равно; сжимай, держи его изо всех сил; если он отбивается, бей, не скупись на удары и, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, не выпускай из рук добычи, пока не узнаешь хорошо, кто это такой. Разъяснение, вероятно, покажет, что тебе нечего было много бояться, а такой способ обращения с шутниками естественно должен отучить их от подобных шуток».

Хотя из всех наших чувств осязанию мы даем наиболее непрерывные упражнения, однако суждения его остаются, как я сказал, несовершенными и более грубыми, чем суждения всякого другого чувства, потому что при употреблении его мы постоянно присоединяем и чувство зрения, а так как глаз достигает предмета скорее, чем рука, то ум почти всегда судит помимо осязания. Зато суждения, основанные на осязании, всегда наиболее верны, именно потому, что они наиболее ограничены; простираясь лишь настолько, насколько могут достать наши руки, они исправляют погрешности других чувств, которые устремляются вдаль, к предметам, едва ими замечаемым, тогда как осязанием, если уж что замечаем, то замечаем хорошо. Прибавьте к тому же, что, присоединяя, когда нам угодно, силу мускулов к действию нервов, мы соединяем, вследствие одновременного ощущения, суждение о температуре, величине и фигуре с суждением о тяжести и твердости. Таким образом, осязание, извещающее нас лучше всех чувств о впечатлении, которое могут произвести на наше тело тела посторонние, есть такое чувство, которое чаще всего бывает в употреблении и всего непосредственнее дает нам знание, необходимое для нашего самосохранения.

Подобно тому как зрение дополняется изощренным осязанием, почему бы этому последнему не дополнять собою до известной степени и слуха, так как ведь звуки возбуждают в звучащих телах колебания. осязаемые и для осязания? Положив руку на виолончель, можно без помощи глаз и ушей, по одному сотрясению и дрожанию дерева различить, какой звук издает она, низкий или высокий, и извлекается ли он из квинты или из баса. Пусть упражняют чувство в этих изменениях, и я не сомневаюсь, что со временем оно может сделаться настолько тонким, что пальцами можно будет выслушать целую арию. А при таком предположении ясно, что с глухим легко можно говорить с помощью музыки; раз топы и темпы не менее согласных и гласных способны к правильным сочетаниям, их можно было бы принять и за основания речи.

Одни упражнения ослабляют и притупляют чувства осязания; другие, напротив, изощряют его, делая более нежным и тонким. Первые, присоединяя к постоянному соприкосновению с твердыми телами много движения и силы, делают кожу грубою, мозолистою и отнимают у нее



природную чувствительность; вторые, благодаря легким и частым соприкосновениям, придают этой самой чувствительности разнообразие, так что ум наш, внимательный к этим постоянно повторяющимся впечатлениям, приобретает легкость в суждении обо всех этих модификациях. Эта разница ощутима при употреблении различных музыкальных инструментов: крепкое и сдавливающее пальцы прикосновение к виолончели, контрабасу и даже скрипке, придавая пальцам больше гибкости, делает кончики их жесткими; прикосновение к гладкой и полированной поверхности клавиатур делает их тоже гибкими, но в то же время и чувствительными. В этом отношении, следовательно, клавиатуры предпочтительнее.

Важно, чтобы кожа закалялась под влиянием воздуха и могла не бояться его перемен, ибо она защищает остальное. Впрочем, я не хотел бы, чтобы рука грубела, слишком рабски исполняя все одну и ту же работу, чтобы кожа на ней делалась почти мозолистой и теряла ту изощренную чувствительность, с помощью которой мы, проведя рукой по предмету, узнаем уже, какой он, и которая иной раз в темноте заставляет нас, смотря по характеру соприкосновения, испытывать приятное или неприятное сотрясение в теле.

К чему принуждать моего воспитанника всегда иметь под ногами бычью кожу? Что за беда, если его собственная может, при случае, служить ему подошвой? Ясно, что в этой части тела нежность кожи никогда не может быть для чего-нибудь полезною; наоборот, она часто немало вредит. Разбуженные врагом в своем городе, я полночь, в глухую зимнюю пору, женевицы скорее нашли свои ружья, чем башмаки. Кто знает, не была ли бы взята Женева, если бы ни один из них не умел ходить босиком?<sup>73</sup>

Станем всегда вооружать человека против непредвиденных случайностей. Пусть Эмиль бегаёт по утрам босиком, во всякое время года, по комнате, по лестнице, по саду; вместо того чтобы бранить его, я стану ему подражать; я позабочусь только удалить с полу стекло. Скоро я буду говорить о ручных работах и играх. А пока пусть он учится делать всякие движения, благоприятствующие развитию тела, и принимать во всех положениях самую легкую и прочную позу; пусть умеет прыгать с разбегу, в высоту, лазать по дереву, перелезать через ступу; пусть умеет всегда находить равновесие; пусть все его движения, жесты будут упорядочены по законам равновесия — гораздо прежде, чем возьмется за их объяснение статика. По способу, как нога его ступает на землю, а тело держится на ноге, он должен чувствовать, хорошо ему или нет. Уверенное положение всегда отличается грацией; самые твердые позы бывают вместе с тем и самыми изящными. Если бы я был танцевальным учителем, я не проделывал бы всех обезьяньих прыжков Марсея\*, пригодных для той страны, где он их делает; вместо того чтобы вечно занимать своего воспитанника прыжками, я повел бы его к подошве скалы; там я показал бы ему, какое положение следует принимать, как держать корпус и голову, какие делать движения, как опираться то ногою, то рукою, чтобы с легкостью пробираться по утесистым, неровным и

каменистым тропинкам и перескакивать с выступа на выступ, то поднимаясь, то спускаясь. Я скорее сделал бы из пего соперника дикой козы, чем танцора из Оперы.

\* Знаменитый парижский танцевальный учитель, который, хорошо зная свой мир, из хитрости корчил из себя сумасброда и важничал своим искусством, которое притворно находил смешным, на деле питая к нему величайшее уважение. В сфере другого искусства, не менее вздорного, и теперь еще можно видеть, как подобным образом важничает и безумствует один комедиант, имеющий не меньший успех. Такой метод во Франции всегда надежен. Истинный талант, более скромный и менее шарлатанский, здесь не имеет успеха. Скромность здесь — добродетель глупцов.

Насколько осязание сосредоточивает свои действия вокруг человека, настолько зрение расширяет поле своих действий вдаль от человека; оттого-то они и бывают обманчивыми: ведь человек одним взглядом обнимает половину своего горизонта. Как не ошибиться в чем-нибудь при таком множестве одновременных впечатлений и возбуждаемых ими суждений? Таким образом, зрение — самое обманчивое из всех наших чувств, потому именно, что око шире всего распространяется и операции его, далеко опережая собою все другие чувства, настолько бывают быстрыми и обширными, что их невозможно проверить с помощью других чувств. Больше того: самые иллюзии перспективы необходимы нам для уяснения пространства и для сравнения частей его. Без обманных явлений мы ничего не видели бы в отдалении; без градаций в величине и освещении мы не могли бы оцепитышкакого расстояния, или, скорее сказать, для нас не существовало бы расстояния. Если из двух равной величины деревьев одно, находящееся в ста шагах от нас, казалось бы таким же большим и так же явственно виднелось бы, как и то, которое в десяти шагах, то мы помещали бы их одно возле другого. Если бы мы все предметы видели в их истинных размерах, то мы не видели бы никакого пространства и все казалось бы нам помещенным на нашем глазу.

Чувство зрения имеет одну и ту же меру для суждения и о величине предметов, и об их расстоянии, именно величину угла, образуемого ими в нашем глазу; а так как эта величина есть простое следствие сложной причины, то при нашем суждении о нем каждая из составных причин остается неопределенною, иначе говоря, суждение необходимо делается ошибочным. Ибо как различить прямо па глаз, почему угол, под которым один предмет представляется мне меньшим, чем другой, бывает таким-то, потому ли, что первый предмет действительно меньше, или потому, что он более удален?

Итак, здесь нужно держаться противоположной, сравнительно с предыдущею, методы; вместо упрощения нужно удваивать их, всегда проверять другими ощущениями; орган зрения нужно подчинять органу осязания и задерживать, так сказать, стремительность первого чувства тяжелым и правильным ходом второго. За недостатком такого навыка наши измерения на глаз очень неточны. Мы совершенно не отличаемся верностью взгляда при суждении о высоте, длине,

глубине, расстояниях; а что здесь не столько вина чувства, сколько недостаток навыка, это доказывается тем, что у инженеров, землемеров, архитекторов, каменщиков, живописцев глаз вообще гораздо вернее, чем у нас, и они правильнее определяют меры протяжения: так как ремесло дает им в этом отношении опытность, приобретением которой мы пренебрегаем, то сомнительность показаний угла у них вознаграждается другими признаками, точнее, па их глаз, определяющими отношение между двумя причинами, дающими этот угол.<sup>74</sup>

Детей всегда легко склонить к таким действиям, которые дают телу движение, не стесняя его. Есть тысяча способов, чтобы заинтересовать их измерением, распознаванием, оценкою расстояний. Вот очень высокое вишневое дерево. Как нарвать вишен? Годится ли для этого лестница от риги? Вот очень широкий ручей. Как нам перейти его? Можно ли перекинуть через него одну из досок со двора? Нам хотелось бы из окоп удить во рвах, окружающих замок,— во сколько сажен длины нужно для этого удочки? Я хотел бы повесить качели между этими двумя деревьями — хватит ли на это двухсаженной веревки? Мне говорят, что в другом доме комната наша будет в двадцать пять квадратных футов, — как вы думаете, годится ли она для нас, больше ли она будет этой комнаты? Мы очень проголодались, вот две деревни — до которой из них скорее дойдешь пообедать? И т. п.

Требовалось приучить бегать одного вялого, ленивого ребенка, который сам по себе не был склонен ни к этому упражнению, ни к какому-либо другому, хотя его предназначали в военную службу: он убедил себя, не знаю как, что человек его сословия не должен ничего ни делать, ни знать и что дворянство его должно заменить ему и руки и ноги, равно как и всякого рода заслугу. Едва ли ловкости самого Хирона было бы достаточно, чтобы из такого дворянчика сделать быстроногого Ахилла.<sup>75</sup> Трудность тем увеличивалась, что я не хотел ему решительно ничего предписывать: я исключил из моих прав увещания, обещания, угрозы, соревнование, желание блеснуть. Как, ничего не говоря ему, возбудить в нем желание бегать? Бегать самому — это было бы средством не очень верным и часто неудобным. Кроме того, требовалось еще извлекать из этого упражнения какой-нибудь поучительный урок для него, чтобы деятельность тела приучать всегда идти заодно с деятельностью рассудка. Вот как я придумал поступить, я, т. е. тот, кто говорит в этом примере.

Отправляясь с ним на прогулку, после полудня, я клал иногда в карман пару любимых его пирожков; гуляя\*, мы съедали по одному и возвращались домой очень довольные. Раз он заметил, что у меня было три пирожка; он мог бы, не поморщившись, съесть хоть шесть и спешил окончить свой, чтобы выпросить у меня третий. «Нет,— говорю я,— пирог этот я отлично съел бы и сам, или, пожалуй, мы поделились бы, по мне хочется устроить из-за пего состязание в беге между вон теми двумя маленькими мальчуганами». Я позвал их, показал им пирог и предложил условия. Большого им и не требовалось. Пирог положили на большой камень, который служил целью; намечено было ристалище; мы отошли и сели; по данному знаку

мальчуганы пустились бежать; победитель схватил пирог и безжалостно съел его на глазах зрителей и побежденного. Забава эта стоила дороже пирожка; но на первых порах она не произвола действия и кончилась ничем. Я не унывал и не торопился: воспитание детей — это такое ремесло, где нужно уметь терять время, чтоб его выигрывать. Мы продолжали свои прогулки; часто брали по три пирожка, а иной раз четыре; по временам один, даже два пирога доставались бегунам. Если приз был не велик, зато и оспаривавшие его не были честолюбивы: получившего приз хвалили, поздравляли; все совершалось торжественно. Чтобы сделать возможной перемену счастья и увеличить интерес, я намечал более длинное ристалище, допускал несколько соперников. Как только выступали они на арену, все прохожие останавливались, чтобы поглядеть: восклицания, крики, хлопанье в ладоши подстрекали их; я не раз видел, как и мой мальчуган вздрагивал, поднимался, вскрикивал, когда кто-нибудь из них почти настигал или перегонял другого; это были для него олимпийские игры.

\* Речь идет, как мы сейчас увидим, о прогулке в поле. Публичные городские гулянья губительны для детей того и другого пола. Тут именно зарождается у них тщеславие и желание привлекать взоры: в Люксембурге, в Тюильри, особенно в Пале-Рояле знатная парижская молодежь принимает тот дерзкий и фатовский вид, который делает ее столь уморительной и возбуждает насмешки и отвращение к ней во всей Европе.

Меж тем соперники пускались иной раз в плутовство: они задерживали друг друга, заставляли друг друга падать или подбрасывали один другому под ноги камни. Это дало мне повод разлучить их и заставить бегать от разных концов, хотя и одинаково удаленных от дели; скоро увидят причину этой предусмотрительности, ибо я должен излагать это важное дело с большими подробностями.

Когда моему кавалеру наскучило постоянно смотреть, как на его глазах съедали пирожки, возбуждавшие в нем сильную зависть, он догадался, наконец, что умение бегать может годиться на что-нибудь. и, видя у себя такие же две ноги, начал тайком испытывать себя. Я делал вид, что ничего не замечаю; но я понял, что моя хитрость удалась. Когда он счел себя довольно сильным — а я еще раньше него проник в его мысль, — он нарочно стал приставать ко мне, чтоб я отдал ему оставшийся пирожок. Я отказываю, он настаивает и, наконец, с видом досады говорит мне: «Ну, хорошо! кладите его на камень, обозначьте место для бега, а там мы посмотрим!» — «Ладно! — сказал я, смеясь, — но разве такой франт умеет бегать? В результате вы получите еще больший аппетит, а не средство его удовлетворить». Задетый моею насмешкою, он напрягает все силы и получает приз, тем более что я отметил очень короткое пространство и озаботился устранить лучшего конкурента. Попятно, как легко мне было, после этого первого шага, занимать этими упражнениями ребенка. Скоро он так к ним пристрастился, что без всяких послаблений, почти наверняка побеждал в беге моих шалунов, как ни длинен был конец.

Эта победа повела за собою другую, о которой я и не думал. Пока он редко получал приз, он съедал его почти всегда один, как делали его конкуренты; но, привыкнув побеждать, он стал великодушным и часто делился с побежденными. Это дало повод мне самому сделать нравственное наблюдение, и я узнал из этого, где истинное начало великодушия.

Продолжая вместе с ним намечать в различных местах пункты, от которых каждый должен был бежать одновременно с другими, я назначил, незаметно для него, расстояния неодинаковые, так что на стороне того, кому приходилось пробежать больше, чем другому, чтобы достигнуть той же цели, была очевидная невыгода; но хотя выбор я предоставлял моему ученику, он не умел им пользоваться. Нисколько не заботясь о расстоянии, он выбирал всегда наиболее заманчивый путь, так что, легко предвидя его выбор, я был почти властен по своему произволу давать ему — или проигрывать, или выигрывать пирожок; уловка эта тоже вела не к одной только цели.

Однако, так как в мои расчеты входило, чтобы он усмотрел разницу, то я старался делать ее заметно для него; но при всей вялости в покойном состоянии он был столь жив в играх и столь мало подозревал меня, что мне стоило больших трудов дать ему заметить, что я плутую. Наконец, мне удалось это, несмотря на его ветреность; он меня упрекнул. Я сказал ему: «На что же вы жалуетесь? Разве, желая сделать подарок, я по властен предложить свои условия? Кто велит вам бежать! Разве я обещал вам назначать равные концы? Не вы ли делаете выбор? Избирайте кратчайший путь, и никто вам не помешает. Как же вы не видите, что я вам же помогаю и что неравенство, на которое вы ворчите, вам же выгодно, если вы сумеете воспользоваться им?» Это было ясно; он понял, а для выбора требовалось уже ближе присматриваться. Сначала он вздумал считать шаги; по измерение шагами ребенка медленно и ошибочно; кроме того, я решил увеличить число состязаний в один и тот же день, а так как забава превратилась после этого в род страсти, то жалко было терять на измерение концов время, назначенное для беганья. Живость детства плохо мирится с подобною медлительностью: и вот он стал учиться лучше смотреть, лучше оценивать на глаз расстояние. После этого мне не трудно уже было развивать и поддерживать эту склонность. Наконец, после нескольких месяцев опыта и ошибок, которые исправлялись, глазомер у него так изоощрился, что, когда я прикидывал мысленно, что пирог лежит на таком-то отдаленном предмете, он почти так же верно определял расстояние глазом, как землемер цепью.

Так как из всех чувств зрение труднее всего отделить от суждений ума, то немало нужно времени, чтобы научиться видеть; долго нужно проверять зрение осязанием, чтобы приучить первое из этих чувств давать нам верный отчет о фигурах и расстояниях: не будь осязания, не будь постепенного движения, самые зоркие в мире глаза не могли бы дать нам никакой идеи о протяженности. Для устрицы целая Вселенная должна быть лишь одной точкой; она ничем больше не казалась бы даже тогда, когда человеческая душа дала бы этой устрице свои познания. Только ходьбою и ощупыванием, счетом и измерением размеров мы научаемся оценивать их; но

зато если бы мы всегда измеряли, то чувство наше, полагаясь на инструмент, не прибрело бы никакой правильности. Не нужно также, чтобы ребенок сразу переходил от измерения к глазомеру; сначала нужно, чтоб он, продолжая по частям сравнивать то, чего не сумел бы сравнить сразу, точное число единиц заменял по приблизительному расчету другими единицами, чтобы вместо постоянного наложения меры рукою приучался прикидывать ее на глаз. Однако я хотел бы, чтоб его первые операции проверяли действительным измерением, с целью исправить его ошибки, и чтобы, если в его чувственном восприятии остается какой-нибудь ложный след, он научился поправлять его с помощью более правильного суждения. У нас есть природные меры, которые почти одни и те же во всех местах,— шаги человека, расстояние размаха рук, рост его. Когда ребенок прикидывает на глаз высоту этажа, воспитатель его может служить ему вместо сажени; если он прикидывает высоту колокольни, мерой длины пусть для него будут дома; хочет он узнать, сколько лье пройдено, пусть сосчитает, сколько шли часов, и в особенности пусть тут ничего не делают за него: пусть он делает все сам.

Нельзя научиться хорошо судить о протяженности и величине тел, не научившись вместе с тем распознавать фигуры их и даже воспроизводить их; ибо воспроизведение это в сущности основывается исключительно на законах перспективы, а нельзя оценивать протяженность по этим признакам, если не имеешь понятия об этих законах. Дети, великие подражатели, все пробуют рисовать; я хотел бы, чтобы и мой воспитанник занимался этим искусством, не ради самого именно искусства, а ради приобретения верного глаза и гибкости в руке; да и вообще не важно, знаком ли он с тем или иным упражнением: важно лишь, чтоб он получил ту пронизательность чувства и тот хороший склад тела, который приобретается этим упражнением. Поэтому я ни за что не пригласил бы для него учителя рисования, который дает для подражания одни лишь подражания и заставляет рисовать только с рисунков: я хочу, чтоб у него не было иного учителя, кроме природы, иной модели, кроме предметов. Я хочу, чтоб у него на глазах был самый оригинал, а не бумага, изображающая его, чтоб он набрасывал дом с дома, дерево с дерева, человека с человека, с целью приучиться хорошо наблюдать тела с их наружными признаками, а не принимать ложных и условных подражаний за настоящие подражания. Я отговаривал бы его даже чертить что-либо на память при отсутствии предметов до тех пор, пока вследствие многочисленных наблюдений хорошо не запечатлятся в его воображении их точные образы: я боюсь, чтобы, заменяя истину в вещах прихотливыми и фантастичными фигурами, он не лишился понимания пропорций и любви к красотам природы.

Я хорошо знаю, что при таком способе он долго будет пачкать бумагу, не производя ничего такого, что можно было бы узнать, что он поздно приобретет изящество контуров и обычную у рисовальщиков легкость штрихов, а умения распознавать живописные эффекты и хорошего вкуса в рисунке и никогда, может быть, не добьется; но зато он приобретет, несомненно, большую правильность глаза, большую верность руки, знание истинных соотношений в величине и фигуре,

существующих между животными, растениями и природными телами, и скорее постигнет игру перспективы. Вот чего именно я и добивался; в мои планы входит не столько то, чтоб он умел подражать предметам, сколько то, чтоб он узнал их; я лучше желаю, чтоб он показал мне растение — акант и не так хорошо умел чертить акантовую листву капители<sup>76</sup>.

Впрочем, как при этом упражнении, так и при всех других, я не претендую на то, чтобы воспитанник мой забавлялся один. Желая сделать это занятие еще более приятным для него, я и сам постоянно буду заниматься тем же. Я не хочу, чтоб у него был другой соперник, кроме меня; но я буду соперником неутомимым и бесстрашным; это придаст интерес его занятиям, не порождая между нами зависти. Я возьму карандаш по его примеру; сначала я буду им действовать так же неловко, как и он. Будь я Апеллесом, я все-таки окажусь простым пачкуном. Я начну с того, что нарисую человека в том роде, как лакеи чертят па стенах: черта вместо руки, черта вместо ноги, а пальцы толще руки. Позже кто-нибудь из нас заметит эту несоразмерность; мы подметим, что нога имеет толщину, что эта толщина не везде одна и та же, что рука имеет определенную длину по сравнению с телом и т. д. При этих успехах я — самое большее — буду идти рядом с ним или так мало буду опережать его, что ему всегда легко будет нагнать меня, а часто и перегнать. У нас будут краски, кисти; мы будем стараться подражать колориту предметов и всей их наружности, равно как и фигуре их. Мы будем раскрашивать, малевать, пачкать; но во всех своих мараньях мы не перестанем всматриваться в природу; мы никогда ничего не будем делать иначе, как на глазах учителя<sup>77</sup>.

Мы были в затруднении относительно украшений для нашей комнаты — вот и опи готовы. Я велю наши рисунки вставить в рамки; велю закрыть их хорошими стеклами, чтобы их уже не трогали и чтобы каждый, видя, что они сохраняются в том состоянии, как вышли из наших рук, старался не пренебрегать и своими. Я размещаю их по порядку вокруг комнаты, каждый рисунок в 20—30 экземплярах, показывающих постепенные успехи художника, начиная с момента, когда дом был почти безобразным четырехугольником, и кончая моментом, когда фасад его, профиль, пропорции и тени переданы с самым точным правдоподобием. Эти градации не могут не являться картинами, постоянно интересными для нас и любопытными для других, не могут не возбуждать в нас еще большее соревнование. Первые, самые грубые из этих рисунков я отделяваю в самые блестящие, раззолоченные рамки, которые возвышали бы их цену; но, когда подражание делается более точным и рисунок действительно хорош, я вставляю его в самую простую черную рамку: он не нуждается в другом украшении, кроме самого себя, и было бы жалко, если бы рама отвлекла внимание, которого заслуживает предмет. Таким образом, каждый из нас добивается чести получить гладкую рамку; и если один хочет выказать пренебрежение к рисунку другого, то присуждает его к золотой раме. Когда-нибудь, может быть, эти золотые рамы перейдут у нас в поговорку, и мы будем удивляться тому, сколько людей воздают себе должное, ставя себя в подобные рамки.

Я сказал, что геометрия была бы не под силу детям; но в этом виноваты мы. Мы не чувствуем того, что их метода не наша: что для нас становится искусством рассуждать, то для них должно быть только искусством видеть. Вместо того чтобы давать им нашу методу, нам лучше было бы перенять их методу; ибо наш способ изучения геометрии — столько же дело воображения, сколько рассудка. Когда предложена теорема, доказательство ее приходится выдумывать, т. е. приходится отыскивать, из какой известной уже теоремы данная теорема должна вытекать, и из всех последствий, которые можно извлечь из этой самой теоремы, выбирать именно то, о котором должна идти речь.

При таком способе самый точный мыслитель, если он не одарен изобретательностью, должен стать в тупик. Таким образом, что же отсюда выходит? Вместо того чтобы заставлять нас отыскивать доказательства, нам их подсказывают; вместо того чтобы нас учить рассуждать, учитель за нас рассуждает и упражняет одну нашу память.

Начертите точные фигуры, соединяйте их, накладывайте одну на другую, рассматривайте отношения их; идя от наблюдения к наблюдению, вы найдете тут всю элементарную геометрию, не прибегая ни к определениям, ни к задачам и ни к каким другим формам доказательства, кроме простого наложения фигур. Что касается меня, то я не имею претензии учить Эмиля геометрии: он сам меня будет учить; я буду искать отношения, он будет их находить, ибо я так их буду искать, чтобы дать ему возможность найти. Например, вместо того чтобы употреблять циркуль для начертания круга, я начерчу его с помощью острья, привязанного к вращающейся вокруг стержня нитке. Затем, когда я захочу сравнивать радиусы между собою, Эмиль посмеется надо мной и даст мне понять, что одна и та же нить, постоянно натянутая, не могла дать расстояний неравных.

Если я хочу измерить угол в  $60^\circ$ , я описываю от вершины этого угла не дугу, но целую окружность, ибо, когда имеем дело с детьми, у нас ничего не должно подразумеваться. Я нахожу, что доля окружности, заключающаяся между двумя сторонами угла, есть шестая часть окружности. Затем я описываю от той же вершины другую, еще большую окружность и нахожу, что эта вторая дуга опять составляет шестую часть своей окружности. Я описываю третью концентрическую окружность и проделываю над нею ту же пробу; я продолжаю повторять ее с новыми окружностями до тех пор, пока Эмиль, раздосадованный моею тупостью, не сообщит мне, что всякая дуга, большая или малая, заключенная между сторонами этого самого угла, всегда будет шестой частью своей окружности, и т. д. Вот мы дошли сейчас до употребления транспортира.

Чтобы доказать, что углы, лежащие по одну сторону прямой, равны двум прямым, описывают окружность: я же, напротив, устрою так, чтобы Эмиль заметил это первоначально в круге, и затем спрошу: «Если отнять окружность, то изменится ли и величина прямых линий, углов и т. д.?»

На правильность фигур не обращают внимания: ее предполагают и прямо принимаются за доказательство. Мы же, напротив, никогда не будем гоняться за доказательствами; нашей главной



задачей будет провести совершенно прямые, совершенно правильные, совершенно равные линии, сделать вполне правильный прямоугольник, начертать совершенно круглую окружность. Чтобы проверить правильность фигуры, мы рассмотрим ее со стороны всех ее видимых свойств, и это будет давать нам возможность ежедневно открывать новые свойства. Мы станем складывать по диаметру два полукруга, по диагонали две половины прямоугольника; мы сравним две фигуры, чтобы видеть, у которой стороны сходятся точнее и которая, следовательно, лучше сделана; мы будем спорить о том, должно ли это равенство при делении существовать всегда и в параллелограммах, трапециях и т. д. Попытаемся иной раз предугадать успех опыта; прежде чем производить его, постараемся отыскать основания и т. д. Геометрия для моего ученика — это только искусство умело пользоваться линейкой и циркулем; он не должен смешивать ее с рисованием, при котором он не будет употреблять ни того, ни другого из этих приборов. Линейка и циркуль будут под замком и будут выдаваться ему только изредка и то на короткое время, чтобы не приучать его к маранью; но мы можем брать иной раз свои фигуры, идя на прогулку, и беседовать о том, что сделали или что хотим сделать.

Я никогда не забуду одного молодого человека, виденного мною в Турине, которого в детстве учили распознавать очертания и поверхности, давая ему ежедневно из всех геометрических фигур с равными периметрами выбирать, какие хочет,— вафли. Маленький обжора исчерпал все искусство Архимеда, чтобы найти фигуру, где было бы больше еды.

Когда ребенок играет в волан, он приучает глаз и руку к точности; когда он пускает кубарь, он напрягает свою силу, употребляя ее в дело, но ничему не научается, Я не раз спрашивал, почему детям не предлагают тех же самых игр, изошряющих ловкость, которыми занимаются взрослые,— игры в мяч, в шары, бильярд, лук, лапту, музыкальные инструменты. Мне отвечали, будто некоторые из этих игр им не по силам, а для других недостаточно еще развиты их члены и органы. Я нахожу эти доводы неосновательными: ребенок не имеет роста взрослого человека и все-таки носит платье одного с ним покроя. Я не требую, чтоб он играл нашими киями на бильярде в три фута вышиною, чтобы он ходил перекидывать мяч в наши игорные клубы или чтоб он отягощал свою маленькую руку отбойником для игры в мяч; но пусть он играет в зале, окна которого защищены; пусть сначала пользуется мягкими мячами, пусть его первые отбойники будут из дерева, потом из кожи и, наконец, из кишечной струны, натянутой сообразно с его успехами. Вы предпочитаете волан, потому что он менее утомляет и не представляет опасности. Но вы не правы в том и другом доводе. Волан — игра женская; но нет ни одной женщины, которую не обратил бы в бегство летящий мяч. Их белая кожа не должна грубеть от синяков, и не ушибов ждут их лица. Но мы, созданные для того, чтобы быть сильными, уже не воображаем ли, что станем сильными без всякого труда? и на какую мы будем способны защиту, если никогда не будем подвергаться нападению? Игры, где без риска можно быть неловким, играютя всегда вяло: падающий волап никого не ушибает; но ничто так не изошряет ловкости рук, как необходимость закрывать голову,

ничто не дает такой верности глазу, как потребность защищать глаза. Бросаться с одного конца зала в другой, рассчитывать скачок мяча, пока он еще в воздухе, отбрасывать его сильной и меткой рукой — подобные игры годятся не столько для взрослого человека, сколько для того, чтобы сделать его таковым.

«Фибры ребенка,— говорят,— слишком мягки!» Они менее упруги, но зато более гибки; «рука его слаба»,— но ведь это все-таки рука; ею и нужно делать, соблюдая известную соразмерность, все, что другой делает подобным орудием. «У детей нет в руках никакой ловкости»,— поэтому-то я и хочу сделать руки ловкими: ловкости не имел бы и взрослый, если бы столь же мало упражнялся, как и дети; мы только тогда можем знать, на что годны наши органы, когда употребляли их уже в дело. Лишь долгий опыт научает нас извлекать пользу из самих себя; опыт этот и есть истинная наука, заниматься которой никогда нам не рано.

Все, что раз сделано, можно сделать. У ловких и хорошо сложенных детей часто мы встречаем такое же проворство в членах, какое может быть у взрослого. Почти на всех ярмарках можно видеть, как дети проделывают разные фокусы эквилибристики, ходят на руках, прыгают, танцуют на канате. Сколько лет детские труппы привлекали своими балетами зрителей в «Итальянскую комедию»!<sup>78</sup> Кто не слышал в Германии и Италии о пантомимной труппе знамени-того Николини? Замечал ли кто у этих детей движения менее развязные, позы менее грациозные, меньшую верность слуха, меньшую легкость танцев, чем у настоящих взрослых танцоров? Пусть пальцы на первых порах будут толсты, коротки, малоподвижны, пускай руки будут пухлы, мало способны крепко схватить — разве это мешает многим детям уметь писать или рисовать в том возрасте, когда другие не умеют держать карандаша или пера? Весь Париж помнит еще маленькую англичанку, которая в десять лет проделывала чудеса на клавикордах\*. У одного чиновника<sup>80</sup> я видел, как его сына, восьмилетнего мальчика, ставили на стол за десертом, точно статую, менаду подносами, и он играл там на скрипке, почти одной с ним величины, удивляя своим исполнением самих артистов.

Все эти примеры и сотня тысяч других доказывают, мне кажется, что предполагаемая в детях неспособность к нашим упражнениям существует только в воображении и что если в некоторых упражнениях они не успевают, то это потому, что их никогда не упражняли.

Скажут, что я впадаю здесь по отношению к телу в ошибку, мною же указанную, что рекомендую преждевременное развитие, которое порицаю в детях по отношению к уму. Но тут очень большая разница: в одном случае успех только кажущийся, в другом — действительный. Я показал, что ума, который они, по-видимому, выказывают\* у них нет, меж тем как все, что они делают как бы напоказ, они Действительно делают. Впрочем, нужно всегда помнить, что все эти упражнения должны быть только игрою, легким и добровольным направлением движений, которых требует от них природа, искусством разнообразить их забавы, чтобы сделать их более приятными для них; тут не должно быть ни малейшего принуждения, обращающего упражнения

в труд. Ведь всякую, наконец, забаву можно сделать предметом поучительным для них. А если бы я не мог этого сделать, важно только, чтобы забавы были безвредны и чтобы проходило время, а успехи детей, в каком бы то ни было упражнении, не важны для настоящей минуты; меж тем если считать необходимым обучение их тому или иному, то никогда невозможно, несмотря ни на какие приемы, достигнуть цели без принуждения. без досады и скуки.

\* Маленький семилетний мальчик проделывал несколько позже еще более изумительные вещи<sup>79</sup>.

Сказанное мною об этих двух чувствах, употребление которых бывает наиболее непрерывным и важным, может служить примером того, как упражнять и прочие чувства. Зрение и осязание одинаково распространяются и на тела, находящиеся в покое, и на тела движущиеся; но шум или звук производят только движущиеся тела, так как лишь сотрясение воздуха может привести в действие чувство слуха, если бы все было в покое, мы ничего не слышали бы. Поэтому ночью, когда мы движемся лишь настолько, насколько нам угодно, и когда, значит, приходится бояться лишь тех тел, которые сами движутся, ночью, повторяю, важно иметь особенно бдительный слух и по воспринимаемому ощущению уметь судить, велико или мало тело, производящее ощущение, далеко ли оно или близко, сильно ли его сотрясение или слабо. Сотрясенный воздух, встречая препятствия, отражается от них и, производя эхо, повторяет и ощущение, так что шум или звук тела слышится в другом месте, а не там, где последнее находится. Если на равнине или в долине приложить ухо к земле, то гораздо дальше услышишь голоса людей или топот коней, чем слышал бы стоя.

Подобно тому как мы сравнивали зрение с осязанием, полезно сличать его и со слухом и узнавать, которое из двух впечатлений, идущих одновременно от одного и того же тела, дойдет скорее до соответственного органа. Когда видишь пушечный огонь, можно еще укрыться от удара; но как только услышишь звук, тогда уже поздно,— ядро тут. По промежутку времени между молнией и ударом можно судить, на каком от нас расстоянии разражается гром. Сделайте так, чтобы ребенку были известны все эти опыты; пусть он сам производит те, которые ему по силам, и пусть путем индукции находит другие; но я в сто раз больше желал бы, чтобы он не знал их, если вы считаете нужным ему рассказывать о них.

У нас есть орган, соответствующий слуху,— я понимаю голос; но мы не имеем подобного же органа, который соответствовал бы зрению; мы не можем «издавать» цвета, подобно звукам. Таким образом, у нас есть и еще средство для развития первого из этих чувств — мы можем упражнять активный и пассивный органы, один с помощью другого.

У человека три рода голоса, а именно: голос речи, или членораздельный, голос пения, или мелодический, и голос патетический, или выразительный, который служит языком страстей, оживляя и пение, и речь. У ребенка, как и у взрослого, есть все три рода голоса, но он не умеет подобным же образом сочетать их: у него, как и у нас, есть смех, крики, жалобы, восклицания,

стоны, но он не умеет перемешивать эти изменения с двумя другими родами голоса. Совершенная музыка — та, которая наилучшим образом соединяет эти три рода голоса. Дети не способны к такой музыке, и в их пении никогда нет души. Точно так же и в области членораздельного голоса язык их невыразителен; они кричат, но не акцентируют, и как в речи их мало выразительности, так и в голосе их мало энергии. Речь нашего воспитанника будет еще ровнее, еще проще, потому что к ней не будут примешивать своего голоса страсти, еще не проснувшиеся. Не вздумайте поэтому давать ему читать вслух роли из трагедии или комедии или учить его, как говорят, «декламировать». У него будет слишком много смысла, так что он не сумеет выдержать тон в вещах, которых не может понимать, и придать выражение чувствам, которых никогда не испытывал.

Учите его говорить ровно, ясно, хорошо выговаривать, произносить точно и без аффектации, различать грамматическое и просодическое ударения и следить за ними, говорить всегда настолько громко, чтоб его слышали, но никогда не возвышать голоса больше, чем нужно, что является обычным недостатком детей, воспитанных в коллежах: во всякой вещи — ничего излишнего!

Точно так же и в пении: сделайте голос его верным, ровным, гибким, звучным, ухо — чувствительным к такту и гармонии, но ничего больше. Музыка подражательная и театральная не по его летам; я не желал бы даже, чтобы он пел со словами; если же он захотел бы этого, я постарался бы сочинить нарочно для него песенки, занимательные для его возраста и столь же простые, как и его идеи.

Понятно, что, если я так мало спешу учить его чтению письма, я еще менее буду спешить учить его чтению музыки. Оградим его мозг от всякого слишком трудного внимания и не будем торопиться пригвоздить его ум к условным знакам. Это, признаюсь, представляет, по-видимому, некоторую трудность; ибо, если на первый взгляд знание нот и кажется не более необходимым для умения петь, чем знание букв для умения говорить, все-таки тут разница в том, что, говоря, мы передаем свои собственные мысли, а при пении передаем почти только чужие; а для того чтобы их передавать, нужно их читать.

Но, во-первых, вместо того чтобы читать, их можно слушать, а мелодия уху передается еще вернее, чем глазу. Далее, чтобы хорошо знать музыку, недостаточно передавать ее: нужно заниматься и композицией, и одному нужно учиться вместе с другим, а иначе не будешь никогда хорошо знать ее. Упражняйте вашего маленького музыканта прежде всего в составлении музыкальных фраз, совершенно правильных, с хорошим кадансом; затем учите связывать их простейшей модуляцией, наконец — обозначать их различные отношения правильной пунктуацией, что достигается хорошим выбором кадансов и пауз. В особенности не должно быть неестественного нения, ничего патетического, выразительного! Мелодия всегда пусть будет певучей и простой, всегда вытекающей из основных нот гаммы и всегда настолько ясно

обозначающей бас, чтобы ребенок чувствовал его и без труда следил за ним при аккомпанировании; ибо, чтобы развить и голос, и ухо, он должен петь не иначе, как под клавикорды.

Чтобы, лучше оттенить звуки, их расчленяют при произношении; отсюда обычай — петь по нотам без текста, с помощью известных слогов. Чтобы различить ступени, нужно дать названия и этим ступеням и их различным, точно определенным положениям; отсюда — названия интервалов, а также обозначение буквами алфавита клавишей клавиатуры и нот гаммы. С и А означают собою звуки точно определенные, неизменные, производимые всегда одними и теми же клавишами. Ut и la — другое дело. Ut есть постоянно тоника мажорного наклонения или медианта минорного наклонения. La есть постоянно тоника минорного наклонения или шестая нота мажорного наклонения. Таким образом, буквы отмечают неизменные пункты в отношениях нашей музыкальной системы, а слоги — соответственные пункты подобных отношений в различных гаммах. Буквами обозначаются клавиши клавиатуры, а слогами — ступени наклонения. Французские музыканты странным образом перепутали эти различия; они смешали смысл слогов со смыслом букв и, бесполезно удвоив число знаков для клавиш, не оставили знаков для обозначения нот гаммы, так что у них ut и С всегда одно и то же, что неверно и чего не должно быть, ибо тогда для чего же служило бы С. Да и способ их петь гаммы крайне труден и в то же время не приносит никакой пользы, не давая уму никакой ясной идеи, так как по этой методе слоги, например, ut и mi могут оба одинаково обозначать терцию мажорную и минорную, увеличенную или уменьшенную. По какому-то странному злополучию, где написаны самые прекрасные книги о музыке, в той же самой стране и труднее всего научиться ей.

Будем держаться с нашим воспитанником методы более простой и ясной; пусть для него существуют только два наклонения, отношения которых всегда были бы одни и те же и всегда обозначались бы одними и теми же слогами. Поет ли он или играет на инструменте, пусть он умеет развить наклонение из каждого из двенадцати тонов, которые могут служить ему базисом, и, модулирует ли он в D, в C, в G и т. д., финалом пусть будет всегда la или ut, смотря по наклонению. При таком способе он всегда вас поймет; существенные для правильного пения и игры отношения наклонений всегда будут ясно представляться его уму, исполнение будет чище, и успех быстрее. Нет ничего смешнее того, что французы называют «естественным» сольфеджированием — *au naturel*: это значит отделять идеи от вещи, чтобы заменить их идеями чуждыми, которые ведут только к путанице. Нет ничего естественнее, как сольфеджировать с транспортивкою, когда начальный тон транспортирован. Но я уже слишком много говорю о музыке<sup>81</sup>: учите ее, как хотите, лишь бы она всегда оставалась только забавой.

Вот мы хорошо ознакомились с положением посторонних тел по отношению к нашему телу, с их весом, фигурой, цветом, с их твердостью, величиной, расстоянием, с температурой, покоем, движением. Мы узнали, какие из них следует приближать и какие удалять от себя, узнали способ

побеждать их сопротивление или противопоставлять ему такое же, которое предохраняло бы нас от вреда; но этого недостаточно: наше собственное тело непрерывно истощается, оно нуждается в беспрестанном обновлении. Хотя мы имеем способность превращать другие вещества в наше собственное вещество, но и выбор не пустое дело: не все бывает пищей для человека, и из веществ, могущих ею быть, есть более и менее годные, смотря по сложению его породы, смотря по климату, в котором он живет, смотря по его личному темпераменту и по образу жизни, предписываемому ему положением в свете.

Мы умерли бы с голоду или отравились бы, если бы для выбора пищи, годной для нас, пришлось ждать, пока опыт научит нас раз-узнавать ее и выбирать; но Верховная Благодать, сделавшая из удовольствия существ чувствующих — орудие их сохранения, по тому, что приятно вкусу нашему, извещает нас о том, что годится желудку нашему. С точки зрения природы, нет для человека более надежного врача, чем его собственный аппетит; и если взять его в первобытном состоянии, то для меня несомненно, что тогда пища, которую он находил наиболее приятной, была для него вместе с тем самою здоровою.

Даже больше. Создатель печется не только о тех потребностях, которыми он нас наделил, но и о тех, которыми мы сами себя наделяем; и чтобы желание стояло всегда рядом с потребностью, он так устроил, что наши вкусы меняются и искажаются вместе с образом жизни. Чем более мы удаляемся от естественного состояния, тем больше теряем свои естественные вкусы, или, скорее, привычка создает в нас вторую природу, которою мы так хорошо замещаем первую, что никто между нами уже не знает этой первой.

Отсюда следует, что самые естественные вкусы должны быть и самыми простыми, ибо они именно легче всего видоизменяются, тогда как вкусы, изошренные и раздраженные нашими прихотями, получают такую форму, которая уже не меняется. Человек, не принадлежащий еще ни к какой стране, без труда применится к обычаям какой угодно страны; но человек одной страны не делается уже человеком другой.

Это мне кажется справедливым относительно всех чувств, и особенно справедливо в применении к чувству вкуса. Наша первая пища — молоко; мы лишь постепенно привыкаем к острым вкусам; сначала они нам противны. Фрукты, овощи, травы и, наконец, некоторые сорта жареного мяса, без приправы и без соли, составляли пиршество первых людей\*. Когда дикарь в первый раз пьет вино, он делает гримасу и выплевывает его; и даже среди нас, кто прожил лет по двадцати, не испробовав крепких напитков, тот не может уже привыкнуть к ним; мы все были бы непьющими, если бы нам не давали вина в молодые наши годы. Наконец, чем проще наши вкусы, тем они терпимее ко всему: отвращение обыкновенное всего возбуждается блюдами сложными; видано ли, чтобы кто-нибудь потерял вкус к воде или хлебу? Вот путь природы; вот, значит, правило и для нас. Станем как можно дольше сохранять у ребенка его первоначальный вкус; пусть

пища у него будет обыкновенная и простая, пусть небо его приучается лишь к вкусам, не слишком острым, и пусть не развивается у него вкусов исключительных.

\* См. «Аркадию» Павсания<sup>82</sup>, а также отрывок из Плутарха, приведенный ниже.

Я не задаюсь здесь вопросом, здоров этот образ жизни или нет; я смотрю на дело не с этой точки зрения. Чтобы предпочесть его, для меня достаточно знать, что он наиболее сообразен с природой и легче всего может применяться к всякому другому. Кто говорит, что детей нужно приучать к такой пище, которую они будут употреблять, ставши взрослыми, тот, мне кажется, рассуждает неправильно. Почему же пища должна быть тою же самою, меж тем как образ жизни их столь различен? Взрослый человек, истощенный трудом, заботами, горем, нуждается в пище сочной, которая приносила бы жизненные силы<sup>83</sup> его мозгу; ребенок, который только что резвился и тело которого растет, нуждается в пище обильной, которая давала бы ему много млечного сока. Кроме того, у взрослого есть уже свое положение, должность, жилище; по кто может быть уверен в том, что судьба готовит ребенку? Не будем давать ему, ни в одном отношении, такой определенной формы, которую, в случае нужды, слишком трудно было бы изменить. Не станем доводить его до того, чтоб он умер с голоду в других странах, если не станет всюду таскать за собою французского повара, или чтобы он говорил со временем, что только во Франции умеют есть. Вот — говоря мимоходом — забавная похвала! Что касается меня, то, напротив, я сказал бы, что именно французы и не умеют есть, раз требуется такое топкое искусство, чтобы делать блюда их съедобными.

Между различными нашими ощущениями вкус дают те, которые, говоря вообще, наиболее для нас чувствительны. Да и важнее для нас скорее правильно судить о веществах, которые должны составлять часть нашего существа, чем о тех, которые только окружают его. Тысяча вещей безразличны для осязания, слуха, зрения; но нет почти ничего безразличного для вкуса. Кроме того, деятельность этого чувства — совершенно физическая и материальная: оно одно ничего не говорит воображению — по крайней мере в ощущениях его меньше всего участвует воображение, тогда как ко впечатлению всех других чувств подражание и воображение часто примешивают и долю нравственного. Да и, вообще говоря, сердца нежные и сладострастные, характеры пылкие и поистине чувствительные, легко волнуемые другими чувствами, к этому чувству почти равнодушны. Но из этого самого факта, ставящего вкус ниже других чувств и делающего стремление угождать ему более презренным, я, напротив, вывел бы заключение, что самое подходящее средство управлять детьми — это руководить ими посредством их чрева. Стимул чревоугодия предпочтительнее стимула тщеславия, особенно тем, что первое есть позыв природы, непосредственно вытекающий из чувства, а второе — результат людского мнения, подверженный людским прихотям и всякого рода злоупотреблениям. Чревоугодие — страсть детства; эта страсть не может устоять ни перед какою другою; при малейшей конкуренции она исчезает. Да, поверьте мне, ребенок даже слишком скоро перестает думать о том, что есть, и, когда сердце его

будет слишком занято, его не станет почти занимать небо. Когда он будет взрослым, тысяча стремительных чувствований придут на смену чревоугодию и то и дело будут раздражать его тщеславие; ибо одна только страсть живет на счет других и в конце концов все их поглощает. Я не раз наблюдал людей, которые придавали большое значение вкусным кускам, которые, просыпаясь, мечтали о том, что будут есть в течение дня, и обеды описывали с большею точностью, чем Полибий<sup>84</sup> описывал битву; я нашел, что все эти мнимые взрослые были лишь сорокалетними детьми, лишенными крепости и устойчивости — *fruges consumere nati*<sup>85</sup>. Чревоугодие — порок сердец, лишенных содержания. Душа обжоры — вся в его небе, он создан лишь для того, чтобы есть; при своей тупой неспособности он лишь за столом — насвоем месте, лишь о блюдах он умеет судить: оставим ему эту роль без сожалений; для нас, как и для него, лучше, чтоб он выполнял именно эту роль, а не другую.

Опасение, чтобы чревоугодие не укоренилось в ребенке, способном на кое-что и хорошее, есть опасение мелкого ума. В детстве мы только и думаем, чтобы поесть; в юности мы уже не думаем об этом: нам все вкусно, у нас много и других дел. Впрочем, я не желал бы, чтобы средство, столь низкое, употребляли неумеренно и чтобы честь совершить доброе дело поддерживали вкусным куском. Но раз все детство проходит или должно проходить лишь в играх и резвых забавах, я не вижу, почему бы упражнениям чисто телесным не получать награды материальной и осязаемой. Если маленький житель Майорки, видя корзину на вершине дерева, сбивает ее с помощью своей пращи, то разве не справедливо, что он пользуется ею и что вкусный завтрак восстанавливает силы, потраченные на добывание его\*? Если молодой спартанец, подвергаясь риску получить сотню ударов розог, ловко проскользнет в кухню, украдет там живую лисицу и, унося ее под своим платьем, будет исцарапан и искусан ею в кровь; если, из-за стыда быть пойманным, ребенок допустит истерзать себе внутренности, не поморщившись и не испустив ни одного крика, то не будет ли справедливым, чтоб он воспользовался, наконец, своею добычей и съел ее, после того как она изъела его?<sup>86</sup> Хороший обед никогда не должен быть вознаграждением; но почему бы ему не быть иной раз последствием забот, употребленных на его добывание? Эмиль на пирог, положенный мною на камне, не смотрит как на награду за быстрый бег; он только знает, что единственное средство получить этот пирог — это добежать до него скорее другого.

\* Уже много веков тому назад жители Майорки утратили это искусство; это было в эпоху, когда их пращники пользовались громкой славой.

Это не противоречит только что изложенным мною правилам относительно простоты блюд: ибо, чтобы польстить детскому аппетиту, приходится не возбуждать чувствительность детей, но только удовлетворять ее, а это достигается самыми обыкновенными в мире вещами, если только не стараются утончить вкус детей. Их постоянный аппетит, возбуждаемый необходимостью расти, есть верная приправа, заменяющая для них множество других. Плоды, какое-нибудь печенье,



несколько более нежное, чем обыкновенный хлеб а главное — искусство наделять всем этим умеренно — вот средство вести армии детей хоть на край света, не возбуждая в них потребности в острых вкусах и не рискуя притупить чувствительность их нёба.

Одним из доказательств, что вкус к мясу неестествен в человеке, служит равнодушие детей к этим блюдам и предпочтение, которое все они оказывают растительной пище, как-то: молочному, мучному, плодам и пр. Особенно важно не искажать этого первоначального вкуса и не делать детей плотоядными, если не в видах здоровья, то в видах характера их; ибо каким бы образом ни объясняли опыта, но несомненно, что великие любители мяса в общем более жестоки и люты, чем другие люди: это наблюдение относится ко всем местностям и всем временам. Известно английское варварство<sup>\*</sup>; гавры, напротив, самые кроткие из людей<sup>\*\*</sup>. Все дикари жестоки, но не нравы их ведут к этому: жестокость эта порождается их пищею. На войну они идут, как па охоту, и с людьми обходятся, как с медведями. В Англии мясники но принимаются даже в свидетели<sup>\*\*\*</sup>, равно как и хирурги. Великие злодеи закаляют себя на убийства, напиваясь кровью. Циклопов, поедающих мясо, Гомер изображает ужасными людьми, а лотофагов — столь любезным народом, что, кто раз испытал их обращение, тот забывал даже свою страну, лишь бы жить с ними<sup>89</sup>.

\* Я знаю, что англичане очень хвалятся своей человечностью и добрым природным нравом своей нации, которую они называют good natured people<sup>87</sup>. Но сколько бы они ни кричали это, никто им не вторит.

\*\* Баниане, которые воздерживаются от всякого мяса строже, чем гавры, почти так же кротки, как и последние<sup>88</sup>; но так как нравственность их менее чиста и культ менее разумен, то они не так честны.

\*\*\* Один из английских переводчиков этой книги; отметил здесь мой промах и то и другое исправил. Мясники и хирурги принимаются в свидетели; но первые не допускаются в присяжные (суд равных) по делам о преступлениях; а хирурги допускаются.

«Ты меня спрашиваешь,— говорил Плутарх<sup>90</sup>,— почему Пифагор<sup>91</sup> воздерживался есть мясо животных; я же, напротив, спрашиваю у тебя, какое человеческое мужество должен был иметь первый, кто поднес к устам своим растерзанное мясо, кто разгрыз своими зубами кости испускающего дух зверя, кто велел подать себе мертвые тела — трупы и поглотил своим желудком члены, которые, минуто назад, блеяли, мычали, ходили и видели. Как рука его могла вонзить железо в сердце существа чувствующего? Как взоры его могли вынести смертоубийство? Каким образом мог он смотреть, как выпускают кровь, сдирают кожу, расчленяют бедное, беззащитное животное? Как мог он выносить вид трепещущего мяса? Как запах его не перевернул в нем сердце? Как он не брезговал, как не почувствовал отвращения, как не был охвачен ужасом, когда ему пришлось брать в руки нечистоты этих ран, очищать черную и запекшуюся кровь, их покрывающую?

Снятые кожи валялись кругом по земле,

Мясо па вертеле будто рычало в огне...

Без содроганья не мог его есть человек;

Даже в утробе своей он слышал стенанье...

Вот что он должен был представлять себе и чувствовать в первый раз, как пересилил природу, чтоб устроить это ужасное пиршество, в первый раз, как возбудил в нем голод — живой зверь, как ему захотелось насытиться животным, которое пока еще паслось, и он указывал, как нужно зарезать, расчленив и изжарить ту овцу, которая лизала ему руки. Удивляться приходится тем, кто начал эти жестокие пиршества, а не тем, кто отказывается от них: те первые могли бы еще оправдать свое варварство уважительными причинами, которых нет для нашего варварства и отсутствие которых делает нас во сто раз более варварами, чем они.

«О смертные, любимцы богов! — сказали бы нам эти первые люди.— Сравните времена; посмотрите, как счастливы вы и как несчастны были мы! Земля, недавно образованная, и воздух, отягощенный парами, еще не поддавались стройному ходу, времен года; течение рек, не установившись, разрушало со всех сторон берега их; разливы, озера, глубокие болота наводняли собою три четверти земной поверхности; остальная четверть была покрыта джунглями и бесплодными лесами. Земля не производила никаких годных плодов; у нас не было никаких орудий для обработки; мы не знали искусства пользоваться ими, и время жатвы не наступало никогда для тех, кто ничего не сеял. Голод нас не покидал. Зимой мох и древесная кора были обыкновенными нашими кушаньями. Несколько сырых кореньев пырея или вереска были для нас чистым объедением; а когда люди могли найти буковые плоды, орехи или желуди, то от радости плясали вокруг дуба или бука под звуки какой-нибудь дикой песни, называя землю своею кормилицей и матерью: это было их единственным праздником, это были их единственные игры; вся остальная часть человеческой жизни была только горем, заботой и нищетой.

Наконец, когда земля, обобранная и голая, ничего уже нам не давала, мы, вынужденные из-за самосохранения жестоко оскорблять природу, стали есть сотоварищей по нищете своей, лишь бы только не погибнуть с ними. Но вас, жестокие люди, вас что вынуждает проливать кровь? Посмотрите, какое обилие благ окружает вас!

Сколько плодов производит вам земля, сколько богатств дают вам поля и виноградники, сколько животных доставляют вам молоко, чтобы питать вас, и шерсть, чтобы одевать вас! Чего же еще требуете вы от них? И какая ярость ведет вас к совершению стольких убийств,— вас, пресыщенных благами и по горло заваленных припасами? Зачем клевете вы на вашу мать, обвиняя ее в том, что она не в состоянии кормить вас? Зачем грешите вы против Цереры, изобретательницы священных законов, и против милостивого Вакха, утешителя людей? Как будто даров, расточаемых ими, недостаточно для сохранения человеческого рода! Как у вас хватает духа их сладкие плоды перемешивать на ваших столах с костями и вместе с молоком есть кровь животных, которые дают вам его. Пантеры и львы, которых вы называете дикими зверями,

следуют своему инстинкту — поневоле и умерщвляют других животных, чтобы самим жить. Но вы, вы во сто раз более дики, чем они: вы без необходимости подавляете инстинкт, чтобы предаваться своим жестоким наслаждениям. Животные, которых вы едите, не те, которые едят других: вы их не едите — этих плотоядных зверей, вы подражаете им; вам хочется съесть только невинных и кротких животных, которые никому не делают зла, которые привязаны к вам и служат вам, а вы их пожираете в награду за их услуги.

О противоестественный убийца! Если ты упорно утверждаешь, что природа создала тебя пожирать тебе подобных — существа из мяса и костей, чувствующие и живущие, как и ты, так заглуши же в себе ужас, который она внушает тебе к этим ужасным пиршествам; убивай животных сам,— я говорю: собственными твоими руками, без всяких железных орудий, без ножей; раздирай их когтями, как это делают львы и медведи, кусай этого быка и разрывай его на части; вонзи твои когти в его шкуру; ешь живым этого ягненка, пожирай его мясо совершенно теплым, пей его душу вместе с кровью! Ты содрогаешься, тебе страшно чувствовать на зубах трепетание живого мяса? Сострадательный человек! Ты начинаешь тем, что убиваешь животное, и затем ты съедаешь его как бы для того, чтобы заставить умереть его еще раз. Но и этого недостаточно тебе: мертвое мясо все еще отталкивает тебя, твои внутренности не могут его выносить: нужно видоизменить его с помощью огня, сварить, изжарить, приправить снадобьями, которые преобразили бы его; тебе нужны люди, которые бы варили, стряпали, жарили, чтоб избавить тебя от ужаса убийства и обрядить тебе мертвые тела, так чувство вкуса, обманутое этими превращениями, не отталкивало от того, что ему чуждо, и чтобы ты с удовольствием смаковал трупы, вид которых сам по себе едва ли был терпим для глаз».

Отрывок этот не относится к моему сюжету; но я не мог противиться искушению переписать его и думаю, что немногие читатели не будут мною довольны.

Впрочем, какому бы режиму вы ни подчиняли детей, если вы приучаете их только к обыкновенным и простым блюдам, то предоставьте им есть, бегать и играть, сколько им, угодно, и затем будьте уверены, что они никогда не будут есть слишком много и не будут страдать несварением желудка; но если вы половину времени морите их голодом и если они найдут средство ускользнуть от вашей бдительности, они, насколько хватит сил, вознаградят себя, они наедятся по горло, до отвала. Аппетит наш бывает чрезмерным только потому, что мы хотим павязать ему другие правила — не природные; вечно регулируя, предписывая, прибавляя, урезывая — мы все делаем с весами в руке; но весы эти соразмерны с нашими фантазиями, а не с нашим желудком. Я постоянно возвращаюсь к своим примерам; у крестьян ларь для хлеба и подвал для плодов всегда отперты, а дети, как и взрослые, не знают, что такое несварение желудка.

Впрочем, если случится, что ребенок наестся слишком много — чего я не считаю возможным при моей методе,— то его так легко развлечь любимыми его забавами, что можно довести даже до

изнурения от недостатка пищи, а он этого и не заметит. Каким образом средства, столь верные и легкие, ускользают от внимания всех наставников? Геродот рассказывает<sup>92</sup>, что лидийцам<sup>93</sup>, страдавшим от крайнего голода, пришлось в голову изобрести игры и другие развлечения, с помощью которых они обманывали голод и проводили целые дни, не думая о еде\*. Ваши ученые наставники сто раз, может быть, читали это место, но не замечали, как можно применить его к детям. Иной из них, быть может, скажет мне, что ребенок неохотно оставляет обед свой, чтобы идти учить урок. Учитель, вы правы, но об этом развлечении я и не думал.

\* Древние историки высказывают множество воззрений, которыми можно было бы воспользоваться, даже если бы факты, предоставляемые ими, были ложны. Но мы не умеем извлекать никакой истинной пользы из истории: ученая критика поглощает все; меж тем не очень важно, чтобы факт был истинным, если только можно извлечь из него полезное наставление. Благоразумные люди должны были бы смотреть на историю как на сборник басен, мораль которых хорошо принорована к человеческому сердцу.

Чувство запаха по отношению к вкусу играет ту же роль, как чувство зрения по отношению к осязанию: оно предупреждает, уведомляет его, каким образом должно действовать на него, то или другое вещество, и располагает домогаться его или избегать, смотря по впечатлению, получаемому заранее. Я слышал, что у дикарей обоняние дает совершенно иное ощущение, чем у нас, и они совершенно иначе судят о приятных и дурных запахах. Что касается меня, я этому поверил бы. Запахи сами по себе суть слабые ощущения: они потрясают больше воображение, чем чувство, и не столько действуют тем, что дают, сколько тем, чего заставляют ожидать. При таком предложении вкусы одних, уклонившись вследствие их образа жизни так далеко от вкусов других, должны вести их и к совершенно противоположным суждениям о вкусовых веществах, а следовательно, и о запахах, которые возвещают об этих вкусах. Татарии должен с таким же удовольствием нюхать вонючий кусок конины, с каким иной нага охотник нюхает полусгнившую куропатку.

Наши ощущения, сопряженные с досугом, как, например, вдыхание запаха цветов в цветнике, должны остаться невоспринимаемыми для людей, которым приходится столь много ходить, что они уже не могут любить прогулок, или для тех, кто недостаточно работает, чтобы находить наслаждение в отдыхе. Люди вечно голодные не могут находить большого удовольствия в благоуханиях, которые не возвещают ни о чем съедобном.

Обоняние — чувство воображения; давая нервам более сильное напряжение, оно должно сильно возбуждать мозг; поэтому-то оно на одну минуту воодушевляет паше самочувствие, а в конце концов истощает его. В сфере любви оно производит довольно известные эффекты: нежное благоухание будуара не такая ничтожная ловушка, как думают; и я не знаю, что лучше — поздравлять или жалеть того благоразумного и мало чувствительного человека, которого запах цветов на груди возлюбленной не заставлял никогда трепетать.

Обоняние, следовательно, не должно быть слишком деятельным в первом возрасте, когда воображение, оживляемое немногими пока еще страстями, почти не восприимчиво к волнениям и когда нет еще достаточно опытности, чтобы одним чувством предвидеть то, что обещает другое. Да и наблюдением вполне подтверждается это следствие; несомненно, что у большинства детей это чувство еще неразвито и почти тупо. Это не потому, что ощущение у них не было так же тонко, а может быть, и более тонко, чем у взрослых, но потому, что, не соединяя с ним никакой другой идеи, они нелегко поддаются чувствованию удовольствия или страдания и не бывают настолько польщенными или обиженными, насколько бываем мы. Я думаю, что, не выходя из этой же самой системы и не прибегая к сравнительной анатомии обоих полов, легко найти причину, почему женщины в общем более живо ощущают запахи, чем мужчины.

Говорят, что дикари Канады с самой юности до того изощряют обоняние, что хотя имеют собак, по не считают нужным употреблять их для охоты и сами для себя служат собаками. Я, правда, понимаю, что если бы детей приучали отыскивать свой обед, подобно тому как собака отыскивает дичь, то, может быть, в совершенствовании их обоняния дошли бы до такой же степени; но я не вижу, в сущности, какое полезное применение можно было бы извлечь для них из этого чувства, если не считать ознакомления их с его отношениями к чувству вкуса. Действительно, природа заботливо принуждает нас глубже вникнуть в эти отношения. Действие чувства вкуса она сделала почти нераздельным с действием обоняния, поместивши органы этих чувств по соседству и устроив во рту непосредственное сообщение между ними, так что мы ничего не можем вкушать, не обоняя в то же время. Я желал бы только, чтобы не искажали этих естественных отношений с целью обмануть ребенка, прикрывая, например, приятным ароматом горечь лекарства; ибо разлад между двумя чувствами бывает в этом случае слишком велик, чтобы можно было обмануть ребенка, а так как чувство наиболее деятельное поглощает действие другого, то он принимает лекарства не с меньшим отвращением; отвращение это распространяется на все ощущения, испытываемые им одновременно; в присутствии слабейшего воображение напоминает ему и о другом; очень приятный аромат для него является уже только отвратительным запахом: таким-то образом наша неуместная предосторожность увеличивает сумму неприятных ощущений на счет приятных.

Мне остается поговорить в следующих книгах о развитии здравого смысла,— это нечто вроде шестого чувства и называется у французов *sens commun* — «общим чувством», не столько потому, что оно — общее для всех людей, сколько потому, что оно есть результат хорошо направленной деятельности остальных чувств и знакомит нас с природой вещей путем слияния всех наружных признаков этих вещей. Это шестое чувство не имеет, следовательно, особого органа: оно пребывает лишь в мозгу, и ощущения его, чисто внутренние, называются понятиями или идеями. Числом этих идей, именно и измеряется обширность наших познаний; отчетливость и ясность их именно и составляют точность ума, а искусство сопоставлять их друг с другом называется

человеческим рассудком. Таким образом, то, что я называл чувственным или детским рассудком, состоит в образовании простых идей путем слияния нескольких ощущений; а то, что я называю интеллектуальным или человеческим рассудком (разумом), заключается в образовании сложных идей путем слияния нескольких простых идей.

Итак, предположив, что моя метода есть метода природы и что я не ошибся в применении ее, мы привели нашего воспитанника через область ощущений к крайним пределам детского рассудка: первый шаг, который мы сделаем дальше, должен быть уже шагом взрослого. Но прежде чем вступить на это новое поприще, бросим на минуту взгляд на то, которое мы только что прошли. Каждый возраст, каждое состояние жизни имеет свое, соответственное ему, совершенство, род зрелости, ему именно свойственный. Мы часто слышали, как говорят о «законченном человеке»; посмотрим же, что такое законченный ребенок: это зрелище будет для нас более новым, а может быть, не менее и приятным.

Бытие конечных существ столь бедно и столь ограничено, что, когда мы видим только то, что есть, мы никогда не бываем тронуты. Химеры — вот что прикрашивает действительные предметы; и если воображение не придает прелести тому, что на нас действует, то скудное удовольствие, получаемое от предмета, ограничивается органом, а сердце оставляет всегда холодным. Земля, разукрашенная сокровищами осени, выставляет напоказ богатство, которому дивится взор; но это удивление не трогательно: оно порождается скорее размышлением, чем чувствованием. Весною поле, почти голое, ничем еще не покрыто, леса не дают тени, зелень только что пробивается, но сердце тронуту при этом виде. Видя такое возрождение природы, мы чувствуем, как оживаем и сами; нас окружают картины радости, и эти спутники наслаждения — сладкие слезы, всегда готовые присоединиться к любому сладостному чувству, висят уже на наших ресницах; но на картину сбора винограда, как бы ни была она одушевлена, жива и приятна, всегда смотришь сухими глазами.

Отчего эта разница? Оттого, что к зрелищу весны воображение присоединяет и картины времен года, которые должны за нею следовать; к этим нежным почкам, которые видит глаз, оно прибавляет цветы, фрукты, тень, а порою и тайны, которые она может прикрыть. Оно воссоединяет в одном пункте времена, которые должны следовать друг за другом, и видит предметы не столько такими, какими они будут, сколько такими, какими желает их видеть, потому что выбор их зависит от него самого. Осенью, напротив, нечего видеть, кроме того, что есть. Если мы захотим добраться до весны, зима останавливает нас, и заледеневшее воображение замирает среди снегов и инея.

Таков источник той прелести, которую мы находим в созерцании прекрасного детства — предпочтительно перед совершенством зрелого возраста. Когда мы испытываем истинное удовольствие при виде взрослого? Тогда, когда воспоминание о его поступках заставляет нас возвращаться назад по следам его жизни и снова, так сказать, молодит его на наших глазах. Если

же мы принуждены рассматривать его таким, как он есть, или представлять его таким, каким он будет в старости, то идея об угасающей природе искореняет в нас всякое удовольствие. Нет никакого удовольствия видеть, как человек идет большими шагами к своей могиле, а образ смерти все обезображивает.

Но когда я представляю себе ребенка — десяти или двенадцати лет — здорового, крепкого, хорошо для своего возраста развившегося, он не возбуждает во мне ни одной идеи, которая не была бы приятна,— ни в настоящем, ни относительно будущего: я вижу его кипучим, живым, воодушевленным, свободным от гнетущей заботы, от утомительной и тяжелой предусмотрительности, всецело отдавшимся своему действительному существованию и наслаждающимся такою полнотою жизни, что она как бы хочет распространиться и вне его. Я вижу его впереди, в другом возрасте, вижу упражняющим чувство, ум, силы, которые со дня на день развиваются и каждую минуту дают о себе знать все новыми и новыми признаками; я созерцаю его ребенком, и он мне нравится; его горячая кровь как бы вновь согревает мою; мне думается, что я живу его жизнью, и жизненность его делает снова меня молодым.

Бьют часы — и какая перемена! В один момент взгляд его омрачается, веселость исчезает; прости — радость, прости — резвые игры! Строгий и сердитый человек берет его за руку, важно говорит ему: «Идите, сударь»,— и уводит его. В комнате, куда они входят, я вижу книги. Книги! какое печальное для его возраста убранство! Бедный ребенок предоставляет увлечь себя, бросает взгляд сожаления на все окружающее, замолкает и уходит, с глазами, полными слез, которых он не смеет проливать, с сердцем, полным вздохами, которых не смеет испускать.

О ты, которому ничего подобное не угрожает, для которого ни одно время жизни не бывает порой стеснения и скуки, который наступление дня видит без тревоги, приближение ночи без нетерпения и часы считает только по своим удовольствиям,— ступай сюда, мой счастливец, иди, мой милый питомец, утешить нас своим присутствием в разлуке с этим несчастливцем, иди!.. Он приходит, и я чувствую при его приближении порыв радости, которую, вижу, и он разделяет. Ведь он подходит к своему другу, к своему товарищу, к соучастнику в своих играх; он хорошо уверен, смотря на меня, что не останется долго без развлечения; мы не зависим никогда один от другого, но мы всегда друг с другом в ладу и ни с кем нам так не хорошо, как друг с другом.

Его фигура, поступь, осанка говорят об уверенности и довольстве: лицо его сияет здоровьем; твердая походка придает ему бодрый вид; цвет лица, нежный еще, но не вялый, не носит следов женственной изнеженности; воздух и солнце уже наложили на него отпечаток, достойный его пола; мускулы лица, еще округленные, начинают уже обнаруживать некоторые черты зарождающейся физиономии; глаза, не одушевленные еще огнем чувства, не утратили зато всей своей природной ясности — их не затемнили продолжительные печали; бесконечные слезы не избородили щек. Посмотрите, какая живость возраста в этих движениях, быстрых, но уверенных, какая твердость, признак независимости, какая опытность, признак многократных упражнений!

Вид у него открытый и свободный, но не дерзкий и не тщеславный; лицо, которого не приковывали к книгам, не опущено вниз; нет нужды говорить ему: «поднимите голову», ни стыд, ни страх никогда не принуждали его опускать ее вниз.

Дадим ему место среди собрания. Рассматривайте, расспрашивайте его с полным доверием; не бойтесь ни его навязчивости, ни болтовни, ни нескромных вопросов. Не опасайтесь, что он завладеет вами, что он вздумает занимать вас одной своей особой, так что вы не будете в состоянии от него отделаться.

Не ждите от него также и приятных речей или пересказа того, что ему я натвердил; не ждите ничего, кроме наивной и простой правды — без прикрас, без изысканности и тщеславия. Он и о дурном поступке, который совершил или думает совершить, скажет так же свободно, как о хорошем, нисколько не беспокоясь о том действии, которое произведут на вас слова его; он будет пользоваться даром слова во всей простоте первоначального его употребления.

Детям любят предсказывать все хорошее, и всегда возбуждает сожаление поток глупостей, постоянно разрушающий те надежды, которые нам хотелось бы основать на каком-нибудь удачном выражении, случайно попавшем ребенку на язык. Если мой воспитанник редко возбуждает подобные надежды, зато он никогда не возбудит и сожаления, ибо он никогда не говорит бесполезных слов и не тратится на болтовню, которой, как он знает, никто не слушает. Его идеи ограничены, но ясны; если он ничего не знает на память, он много знает на опыте; если он хуже другого ребенка читает в книгах, зато он лучше читает в книге природы; его ум — не в языке, но в голове; памяти у него меньше, чем рассудка; говорить он умеет только на одном языке, но он понимает, что говорит, и если он не говорит так хорошо, как другие, зато он действует лучше, чем они.

Он не знает, что такое рутина, обычай, привычка; что он делал вчера, это не влияет на то, что он делает сегодня\*: он никогда не следует формуле, но уступает перед авторитетом или примером,, действует и говорит лишь так, как ему кажется лучшим. Не ждите поэтому от него затверженных речей или заученных манер, но всегда ждите верного выражения его идей и поведения, вытекающего из его склонностей.

\* Привлекательность привычки происходит от естественной в человеке лени, а лень эта увеличивается от потворства привычкам: гораздо легче делать то, что уже делалось; но протоптанной дороге легче становится идти. К тому же можно заметить, что власть привычки очень сильна над стариками и людьми ленивыми и очень незначительна над молодежью и людьми живого характера. Этот режим хорош лишь для слабых душ, и он их с каждым днем все больше и больше ослабляет. Одна только привычка полезна для детей: это привычка без труда подчиняться необходимости вещей; и для взрослых одна лишь привычка полезна: это — подчиняться без труда разуму. Всякая другая привычка — порок.



Вы найдете у него небольшое число нравственных понятий, относящихся к его настоящему положению, и — ни одного понятия о положении людей в их взаимных отношениях; да и к чему они служили бы ему, коль скоро ребенок не есть еще действительный член общества? Говорите с ним о свободе, собственности, даже о договоре, — это-то он может знать; он знает, почему что — его, то принадлежит ему; а что — не его, то не принадлежит ему; дальше этого он ничего уже не знает. Если заговорите с ним о долге, о послушании, он не будет знать, что вы хотите сказать; прикажете ему что-нибудь — он не послушает; но скажете ему: «Если ты сделаешь мне такое-то удовольствие, я при случае отплачу тем же», — и он тотчас поспешит исполнить вашу просьбу, ибо он ничего лучшего не ищет, как расширить свое владение и приобрести над вами права, в ненарушимости которых уверен. Может быть, даже он не прочь занимать известное место, быть на счету, за что-нибудь слыть; но если им руководит этот последний мотив, он, значит, уже вышел из пределов природы: вы, значит, заранее не загородили хорошенько всех путей к тщеславию.

Со своей стороны, если ему понадобится какая-нибудь помощь, он попросит ее безразлично у первого встречного; он обратился бы за ней и к королю, как к своему слуге: все люди пока еще равны в его глазах. Вы замечаете по виду, с которым он просит, насколько он чувствует, что перед ним ничем не обязаны; он знает, что исполнение его просьбы — милость. Он знает также, что чувство гуманности побуждает соглашаться на просьбы. Выражения его просты и лаконичны. Голос, взгляд, жесты у него — как у существа, одинаково приученного и к удовлетворению просьб, и к отказам. Это — не подлое и раболепное подчинение раба и не властный голос господина; это, — скромное доверие к подобному себе, это — благородная и трогательная кротость существа свободного, но чувствительного и слабого, которое просит помощи у существа, тоже свободного, но сильного и благодетельного. Если вы исполните просьбу его, он не станет благодарить вас, но он будет чувствовать, что на нем лежит долг. Если вы отказываете в ней, он не станет жаловаться, не станет настаивать: он знает, что это будет бесполезно; он не скажет себе: «мне отказали», но скажет: «это было невозможно»; а против хорошо осознанной необходимости, как я уже сказал, почти не возмущаются.

Оставьте его одного на свободе и, не говоря ни слова, посмотрите на его действия; заметьте, что он станет делать и как примется за дело. Не имея нужды доказывать себе, что он свободен, он ничего не делает из-за одной прихоти, только для того, чтобы показать, что он может распоряжаться самим собою; разве он не знает, что он всегда сам себе господин? Он резв, легок, проворен; в движениях его видна вся живость его возраста, но вы не видите ни одного, которое не имело бы цели. Что бы он ни задумал сделать, он никогда не предпримет ничего свыше своих сил, ибо он хорошо испытал их и знает; средства у него всегда будут приспособлены к планам, и он редко будет действовать, не уверившись в успехе. Взгляд у него будет внимательный и рассудительный; он не пойдет глупо расспрашивать других о том, что и без того видно, но будет рассматривать сам и, прежде чем расспрашивать, употребит все силы, чтобы самому найти то,

чему он хочет научиться. Если попадет в неожиданные затруднения, он растеряется меньше, чем кто-либо другой; если встретится с опасностью, испугается тоже меньше. Так как воображение его остается пока в бездействии и ничего еще не сделано для его возбуждения, то он видит только то, что есть, знает настоящую цену опасности и всегда сохраняет хладнокровие. Необходимость так часто тяготела над ним, что он уже не противится ей: он несет ее иго с самого рождения и хорошо к нему привык; он всегда готов на все.

Занимается он или забавляется, то и другое для него — все равно; игры его суть занятия, и он не чувствует разницы между этим. Во всяком деле он высказывает интерес, который возбуждает улыбку, и свободу, которая так нравится, обнаруживая одновременно и склад своего ума, и круг своих познаний. Разве это не настоящая картина детского возраста, картина очаровательная и милая, когда мы смотрим, как хорошенький ребенок, с живым и веселым взором, довольный и серьезный по виду, с открытою и смеющеюся физиономией делает, играя, самые серьезные вещи и занят глубокомысленно самыми пустыми забавами?

Хотите теперь судить о нем по сравнению? Введите его в круг других детей и оставьте на свободе. Вы скоро увидите, который из детей наиболее выказывает истинное развитие, который ближе к совершенству этого возраста. Между детьми городскими ни один не оказывается ловчее его, но он и сильнее всякого другого. Между маленькими крестьянами он равен другим по силе и всех превосходит ловкостью. Во всем, что по силам детскому уму, он судит, рассуждает, предвидит лучше всех их. Нужно действовать, бегать, прыгать, передвигать предметы, поднимать тяжести, определять расстояния, изобретать игры, выиграть приз? Поневоле скажешь, что природа — к его услугам: так легко он умеет покорить всякую вещь своей воле. Он создан, чтобы руководить, чтобы управлять себе равными: способность, опытность заменяют для него право и власть. Дайте ему какое угодно имя и одежду — все равно: он всюду будет первенствовать, всюду станет главою других; последние всегда будут чувствовать его превосходство над собой: он будет господином, не думая вовсе приказывать; они будут повиноваться, не замечая, что повинуются.

Он достиг детской зрелости, он жил жизнью ребенка, он не покупал своего совершенства ценою своего счастья; напротив, они содействовали одно другому. Приобретши весь разум своего возраста, он был счастлив и свободен, насколько позволяла его физическая организация. Если роковая коса скосит в лице его цвет наших надежд, нам не придется оплакивать сразу и жизнь его, и смерть, мы не обострим своей печали воспоминанием о страданиях, которые ему причинили; мы скажем себе: «по крайней мере, он наслаждался своим детством; мы ничего не заставили его потерять из того, что дала ему природа».

Великое неудобство этого первоначального воспитания в том, что оно попятно лишь для людей дальновидных и что глаза дюжинные видят в ребенке, воспитанном с такою заботливостью, лишь шалуна. Наставник больше думает о своем интересе, чем об интересе своего ученика; он старается доказать, что не теряет понапрасну времени и недаром берет деньги, которые ему платят; он

снабжает его такими познаниями, которые, как товар лицом, можно выставить напоказ, когда захочешь; неважно, полезно ли то, чему он учит,— лишь бы это было видным. Без разбора, без толку, он набивает его память сотнями пустяков. Хотят проэкзаменовать ребенка — заставляют его развернуть свой товар; он его раскладывает — все довольны, затем он завертывает снова свой тюк и уходит. Мой воспитанник не настолько богат; у него нет тюка, чтобы развернуть напоказ, ему нечего показывать, кроме себя самого. А ребенка, как и взрослого, не разглядишь в одну минуту. Где те наблюдатели, которые умеют одним взглядом схватить черты, его характеризующие? Есть такие, но их мало, а на сто тысяч отцов такого не найдется ни одного. Вопросы слишком многочисленные надоедают и всякому, отбивая охоту, а тем более детям. Через несколько минут внимание их утомляется, они уже не слушают того, что упорно спрашивают у них, и отвечают наугад. Такая манера экзаменовать их бесполезна и полна педантства; часто одно слово, пойманное на лету, лучше обрисовывает их смысл и ум, чем длинные беседы; но нужно беречься, чтоб это слово не было подсказанным или случайным. Нужно самому иметь много рассудка, чтоб оценить рассудок ребенка.

Я слышал от покойного лорда Гайда<sup>94</sup> рассказ о том, как один из его друзей<sup>95</sup>, вернувшись из Италии после трехлетнего отсутствия, захотел испытать успехи своего девяти- или десятилетнего сына. Они отправились раз вечером вместе с гувернером гулять на равнину, где школьники забавлялись пусканием воздушного змея. Отец, проходя, спрашивает у сына: «Где змей, тень которого — вот здесь?» Не задумываясь, не поднимая головы, ребенок отвечал: «На большой дороге». И действительно, прибавил лорд Гайд, большая дорога была между солнцем и нами. Отец, при этих словах, поцеловал сына и, окончив экзамен, ушел, не говоря ни слова. На следующий день он прислал гувернеру документ на получение пожизненной пенсии — сверх жалованья.

Что за человек — этот отец! И каким обещал быть сын! Вопрос — именно по возрасту; ответ очень прост; но посмотрите, какую он предполагает ясность в детском суждении! Так-то приручал питомец Аристотеля и того знаменитого рысака, которого не мог укротить ни один наездник<sup>96</sup>.

## **Книга II Комментарии**

Вторая книга «Эмиля» охватывает период детства до 12 лет (с момента освоения ребенком речи).

Руссо ниспровергает бытовавшие представления о ребенке и детстве. Так, Д. Локк считал дитя *tabula gasa* (чистой доской), французский энциклопедист Морелле — «существом без индивидуальности».

Руссо провозгласил право детей на уважение. Для Эмиля предлагалась программа «прогрессивного, естественного, отрицательного», воспитания. «Прогрессивное» воспитание означало следование в воспитании этапам развития ребенка, не ускоряя насильственно процесса

его формирования. Должны быть учтены потребности и склонности ребенка. Побудительной силой такого воспитания объявлялось самосовершенствование личности.

«Отрицательное» воспитание предполагало определенное торможение умственного и нравственного развития, чтобы это развитие не опережало возможностей данного возраста.

В формировании Эмиля до 12 лет особое место отведено физическому воспитанию. Оно рассматривалось как существенный способ создания гармонии между воспитанником и средой (природной и общественной). Руссо первый придавал столь большое значение физическому воспитанию как условию умственного развития. Он исключил даже тень сомнения в необходимости теснейшей взаимосвязи физического и интеллектуального воспитания.

1. Руссо выясняет значение французского слова *enfance*. Первоначально оно означало младенческий возраст. Затем приобрело более широкое значение и стало соответствовать общему понятию «детство».

2. Младенец (*франц.*),

3. Ребенок (*франц.*).

4. *Валерий Максим* — древнеримский писатель (I в.)-Известен его трактат «О законодательных деяниях и изречениях».

5. Вопрос о выживаемости малолетних детей стоял во времена Руссо во Франции чрезвычайно остро. Так, в 1740-х гг. смертность детей от одного года до трех лет составляла в Париже 43%, в Лионе — 70%.

6. *Фаворин* (II в.) — римский философ, друг Плутарха. Свои работы писал на греческом языке. Трактат Фаворина «Об обязанности матерей самим кормить своих детей» переведен был на французский язык в 1732 г.

7. Руссо цитирует здесь Плутарха (Сравнительные жизнеописания: Фемистокл, 18). *Фемистокл* (525—460 до н. э.) — выдающийся государственный деятель и полководец Афин (Древняя Греция), вождь рабовладельческой демократии.

8. Имеется в виду трактат Руссо «Об общественном договоре, или Принципы политического права», опубликованный в 1762 г.

9. В книге французской писательницы Стефании де Жан-лис (1746—1830) «Адель и Теодор» воспитатель французского дофина пишет своему воспитаннику: «Когда вам был всего год, вы получали в колыбели большие почести, чем те, которые вам оказывают теперь: различные сословия приходили приветствовать вас».

10. См.: *Локк Д.* Мысли о воспитании, §81.

11. *Васко Нуньес Вальбао* (1475—1517) — испанский мореплаватель и путешественник. Первым из европейцев пересек Центральную Америку и вышел к Тихому океану.

12- Дословно это место переводится так: «дает яйцо, чтобы иметь быка».

13. Имеется в виду Д. Дидро и его книга «Естественный ребенок».
14. Речь идет о римском политическом деятеле *Катоне Младшем* (ок. 95—45 до н. э.), о котором известно, что он спросил, почему никто не решается убить диктатора Рима Суллу (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания; Катон*, 3).
15. Имеется в виду французский философ *Этьен Бонно Кондильяк* (1715—1783), автор «Трактата об ощущениях» (1754).
16. См.: *Сенека. Письма*, 88. То же место из «Писем» Сенеки приводит Монтень (см.: *Монтень. Опыты*, II, 21).
17. Здесь Руссо возражает педагогам, в частности Локку, предлагавшему как можно раньше начинать обращаться с детьми как со взрослыми (см.: *Локк Д. Мысли о воспитании*, § 95).
18. «Начатками» в XVIII в. называли элементарную грамматику латинского языка.
19. *Вергилий* (70—12 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды» и «Буколик».
20. Сен-Дени в XVIII в. было сельским предместьем Парижа.
21. Исфагань с X до XVIII в. являлась столицей Персии.
22. Речь идет об описанном древнеримским историком Квинтом Курцием (I в.) эпизоде из жизни Александра Македонского (356—323 до н. э.). Александр получил уведомление, что его врача Филиппа подкупили и что тот намерен отравить своего господина. Александр вручил Филиппу письмо с доносом, а сам выпил напиток, поданный ему врачом (см.: *Курций Квинт. История Александра Великого*, кн. III, гл. 6).
23. Геральдика — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы.
24. Ворон и лисица (*франц.*).
25. Басня (*франц.*).
26. Господин ворон, на дереве взгромождаясь.—Здесь и далее басню Лафонтена «Ворона и лисица» даем в подстрочном переводе с французского языка.
27. Держал в своем клюве сыр.
28. Госпожа лисица, запахом привлеченная...
29. Перед ним держала приблизительно такую речь.
30. А! Добрый день, господни ворон!
31. Артикль *le* в данном случае придает слову единичное значение, а артикль *du* — значение собственного имени.
32. Как вы милы! Каким вы мне кажетесь прекрасным!
33. Без лести (сказать), если бы ваше пенье...
34. Соответствовало вашему оперенью...
35. Вы были бы фениксом здешних лесов.
36. При этих словах ворон был вне себя от радости.
37. И чтобы показать свой прекрасный голос...

38. Он открывает широкий клюв, выпускает свою добычу.
  39. Лисица хватается ее и говорит: «Мой добрый господин...»
  40. Поймите, что всякий льстец...
  41. Живет за счет того, кто его слушает...
  42. Этот урок стоит вполне сыра, без сомнения.
  43. Ворон пристыженный и смущенный.
  44. Поклялся, но несколько поздно, что его на этом уже не проведут.
  45. Имеется в виду басня Лафонтена «Стрекоза и муравей».
  46. Имеется в виду басня Лафонтена «Телка, коза и овца в союзе со львом».
  47. Имеется в виду басня Лафонтена «Лев и мышь». Употребленное в оригинале слово *toucher* создает игру слов, имея два значения: «мошка» и «мальчишка».
  48. В басне Лафонтена «Волк и собака» по совету собаки волк намеревается идти служить людям, которые его будут досыта кормить. Заметив на шее собаки след ошейника, волк поворачивает обратно.
  49. «Сказки» написаны Лафонтеном в 1665 г. По содержанию напоминают «Декамерона» Бокаччо.
  50. См.: Локк Д. Мысли о воспитании, § 150—153.
  51. «Прежде всего нужно будет заботиться о том, чтобы он не возненавидел занятий, которых не может еще любить, и чтобы горечь, испытанная им раз, не мучила его впоследствии, когда пройдут годы невежества» (*лат.*). Руссо цитирует «Наставление в ораторском искусстве» из книги древнеримского писателя Марка Фабия Квинтилиана (ок. 35—96) «Институты». Во французском переводе «Институты» были впервые опубликованы в 1725 г.
  52. Руссо имеет в виду свою службу секретарем г-жи Дюпен — супруги парижского откупщика в 1743 г. Дюпен поручила ему на короткое время воспитание своего сына — де Шононсо (род. в 1730 г.) (см.: Исповедь, кн. 7, с. 256).
  53. Упомянуты пьеса Мольера «Господин Пурсоньяк» и персонаж из этой пьесы.
  54. Философией в XVIII в. называли все науки о природе и человеке.
  55. «Здесь нет корня» (*итал.*).
  56. *Монтень Мишель* (1533—1592) — выдающийся представитель позднего Возрождения во Франции.
- Основной труд Монтеня — «Опыты». На этот труд часто прямо или косвенно ссылается Руссо в «Эмиле». Монтень был автором и специального педагогического трактата «Об обучении детей» (1580).
- В «Опытах» Монтень подверг резкой критике средневековую школу, выступил за сближение воспитания и образования с жизнью, ломку схоластического обучения, полноценное физическое воспитание. Монтень провозгласил необходимость создания светской школы.

По мнению Монтеня, ребенок становится личностью не столько благодаря приобретаемым знаниям, сколько развив свои способности критического мышления. Монтень придавал большое значение индивидуальности ребенка. Для успеха воспитания необходимо обеспечить разнообразные связи ребенка с окружающим миром, в том числе со знатоками наук, умными и благожелательными взрослыми друзьями, которые познакомят ребенка с духовными ценностями, по мнению Монтеня, заключающимися прежде всего в античности.

Монтень высказывал оригинальные для своего времени идеи о механизме взаимоотношений воспитателя и воспитанника.

В «Эмиле» Руссо развил ряд педагогических идей Монтеня, продолжил критику сословной школы, книжности и схоластики в обучении. Вслед за Монтенем Руссо провозгласил необходимость воспитания ненасильственного, считающегося на каждом этапе жизни ребенка с его возрастными особенностями, культ здорового физического развития детей.

Однако при известной общности взгляды Монтеня и Руссо на воспитание и образование существенно различаются. Так, ими дана разная оценка роли религии в нравственном воспитании. Монтень подверг сомнению как антигуманные самые постулаты религии, считая тем самым, что религия враждебна идеалам воспитания, которые он выдвигал. Руссо же остался в плену религиозных воззрений и отводил религии важное место в нравственном становлении человека. «Там, где Монтень снимает перед богом шляпу, Руссо становится на колени» — так довольно точно формулирует отношение к религиозному воспитанию двух мыслителей современный французский руссоист Ж. Шато (*Chateau J, Montaigne psychologue et pedagogue. Paris, 1964, p. 136*).

Если Монтень предлагал не откладывать нравственного и умственного формирования, то Руссо призывал притормозить решение задач нравственного и умственного развития. Если Монтень советовал обучать ребенка в школе, давать ему обширные гуманитарные и естественнонаучные знания с раннего возраста, то Руссо рекомендовал решать эти задачи в значительно более позднем возрасте. Ж.-Ж. Руссо, отрицая существующие теорию и практику воспитания, создал педагогическую концепцию, обращенную в будущее.

57. *Роллен Шарль* (1661—1741) — французский писатель, автор «Трактата об учении». В трактате предусматривался, в частности, план реформы содержания образования в коллежах. Роллен предлагал центральное место в обучении отвести национальному языку и литературе, а также истории Франции. Идеи Ш. Роллена были использованы в школьной практике.

58. *Флери Клод* (1640—1723) — кардинал Франции, воспитатель будущего французского короля Людовика XV. В своем трактате «О выборе предметов и методов обучения» (1686) К. Флери подверг критике схоластическое обучение.

59. *Круза Жан-Пьер* (1663—1750) — швейцарский математик и педагог, был наставником одного из будущих немецких владетельных князей. Известен как автор педагогических трактатов: «Новые максимы о воспитании детей» и «Воспитание детей»).
60. Руссо имеет в виду тогдашнюю моду в дворянской среде одевать детей в военную форму.
61. *Шарден Жан* (1643—1713) — французский путешественник, издал в 1711 г. «Дневник путешествий в Персию и Восточные Индии», сведения из которого приводит Руссо.
62. Трактат Руссо «Письмо к д'Аламберу о зрелищах» написан в 1758 г. Д'Аламбер — французский просветитель, один из создателей «Энциклопедии».
63. Древнегреческий историк Геродот (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) так пишет о том, что он увидел на поле битвы между персами и египтянами: «...В одном месте лежат кости персов, в другом египтян... черепа персов так ломки, что их легко продырявить брошенным легким камешком; черепа египтян, напротив, так крепки, что их едва можно разбить ударами камня. Разница эта... зависит от того, что египтяне начиная с детства стригут себе волосы и черепа их грубеют от солнца; по той же причине египтяне не лысеют... Вот почему египтяне имеют крепкие черепа. Что у персов черепа слабые, объясняется следующим обстоятельством: с раннего детства они изнеживают себе черепа употреблением войлочных шапок» (*Геродот. История*, кн. III, 12).
64. Разрабатывая систему физического воспитания, Руссо использует здесь рекомендации Локка (см.: *Локк Д. Мысли о воспитании*, § 7, 10, 17, 18, 22).
65. Подобного выражения (в оригинале «Эмилия» написано *pointure etrangete*) у Монтеня нет.
66. Саламандрой называли мифическое существо, не горящее в огне.
67. То есть Дарданеллы.
68. «Привычное не порождает страсти» (*лат.*).
69. Руссо в «Исповеди» (кн. 1) подробно описывает время, проведенное им в пансионате пастора Ламберсье.
70. В Библии есть эпизод, как в стан Саула под покровом ночи проник враждовавший с ним Давид. Застав Саула спящим, Давид отказался его убивать и покинул лагерь. *Саул* — основатель Израильско-Иудейского царства (конец XI в. до н. э.). *Давид* (конец XI в.—ок. 950 до н. э.) — оруженосец и зять Саула; был заподозрен в измене и бежал к филистимлянам; после гибели Саула Давид провозглашен был царем Иудеи.
71. В «Энеиде» Вергилия рассказано о том, как осаждавшие Троию греки, узнав, что им удастся взять город, если они завладеют конями союзника троянцев — царя Реза, убили Реза и добыли его коней.
72. Речь идет о герое древнегреческого эпоса Одиссее (Улиссе), перешившем множество приключений и проявившем мужество и отвагу.
73. Имеемся в виду отражение внезапного ночного нападения на Женеву в 1602 г. войск герцога Савойского.



74. То есть расстояние и величина предмета.
75. Кентавр Хирон был наставником юного Ахилла (см.: *Гомер*. Илиада, XI, 831).
76. В орнамент капители — верхней части колонны античных зданий — входило Изображение формы листьев аканта.
77. То есть природы.
78. «Итальянской комедией» назывался в Париже один из театров. В этом театре ставились не только балеты и музыкальные спектакли для взрослых, но и пантомимы для детей.
79. Возможно, что Руссо имеет в виду 7-летнего Моцарта, который поразил парижан своим исполнительским искусством в 1763 г.
80. Вероятно, имеется в виду французский музыковед, современник Руссо де Боажелу.
81. Руссо известен как сочинитель нескольких опер и музыки для балетов. Он — автор статьи по теории музыки в «Энциклопедии». Из «Эмиля» следует, что Руссо отказался от ранее предлагавшегося им цифрового метода записи музыки, о котором он говорил в своем докладе 1742 г. во Французской академии.
82. *Павсаний* (II в.) — греческий географ и историк, автор «Описаний Эллады» в 10 книгах. «Аркадия» — седьмая книга «Описаний»,
83. В оригинале *espris*. Очевидно, это декартовское понятие *spiritus animales* (*лат.*) — жизненные силы.
84. *Полибий* (ок. 205—120 до н. э.) — древнегреческий писатель, автор «Всеобщей истории» в сорока книгах.
85. «Потребляет плоды земли» (*лат.*) (см.: *Гораций*. Послания, 1, 2, 27: мы «рождены, чтобы потреблять плоды земли»).
86. Эпизод взят Руссо из Плутарха (Сравнительные жизнеописания: Ликург, 18),
87. Добрый по природе народ (*англ.*).
88. *Баниане* — одна из каст в средневековой Индии. *Гавры* (гербы) — жители древней Персии, поклонники религиозного учения, которое осуждало кровавые жертвоприношения.
89. См.: *Гомер*. Одиссея, IX, 94 и др.  
Лотофаги — мифический народ, питавшийся цветками лотоса.
90. Ниже приводятся пять глав трактата Плутарха «О питании мясом».
91. *Пифагор* (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ-идеалист.
92. *Геродот*. История, кн. 1, S 94.
93. *Лидийцы* — жители западной части Малой Азии в древности.
94. Имеется в виду *Генри Корнбери*, затем барон *Гайд* (1710—1753) — английский политический деятель, путешественник-, писатель. Известен как автор комедии и ряда анонимных сочинений. Гайд является прототипом друга Сси-Прс в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
95. Речь идет о маршале до Бель-Иле.

96. Имеется в виду Александр Македонский, воспитателем которого был Аристотель. Руссо упоминает рассказанный Плутархом эпизод об укрощении юным Александром коня Буцефала. (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: Александр, 9).

### КНИГА III

Хотя вся первая пора жизни вплоть до юности есть пора слабости, но есть момент, в течение этого первого возраста, когда благодаря тому, что возрастание сил превзошло рост потребностей, подрастающее живое существо, абсолютно пока еще слабое, делается относительно сильным. Так как потребности его еще не все развились, то его наличных сил более чем достаточно для удовлетворения имеющихся потребностей. Как человек, оно было бы очень слабым; как дитя, оно очень сильно.

Откуда происходит слабость человека? От неравенства между его силой и желаниями. Страсти именно делают нас слабыми, потому что для их удовлетворения требовалось бы более сил, нежели дала нам природа. Сокращайте, значит, желания: это все равно, что увеличивать свои силы; кто может больше, чем желает, у того есть остаток их; он, несомненно, существо очень сильное. Вот третья ступень в развитии детства — о ней теперь я и буду говорить. Я продолжаю называть ее детством за неимением выражения, более пригодного для обозначения ее; этот возраст приближается к юношескому, но не является еще возрастом зрелости.

В двенадцать или тринадцать лет силы ребенка развиваются гораздо быстрее потребностей. Самая сильная из последних, самая страшная не дает еще себя чувствовать; самый орган ее остается в состоянии несовершенства и только тогда способен выйти из него, когда его принудит к этому воля. Будучи мало чувствительным к суровостям климата и времен года, ребенок безнаказанно бравитурит этим, его зарождающийся жар заменяет ему платье; аппетит заменяет приправу: все, что может питать, пригодно для этого возраста; захочется спать ему — он растягивается на земле и спит; он всюду видит себя окруженным всем тем, что ему необходимо; ни одна воображаемая потребность не мучит его; мнение света бессильно над ним; его желания не идут дальше того, что можно забрать руками; он не только может удовлетворить сам себя, но у него силы даже больше, чем нужно; это единственное время в его жизни, когда возможно подобное состояние.

Я предчувствую возражение. Правда, мне не скажут, что у ребенка больше потребностей, чем я предполагаю, но станут отрицать силу, которую я приписываю ему: не подумают, что я говорю о своем воспитаннике, а не о тех движущихся куклах, которые путешествуют из комнаты в комнату, которые падают в ящике и таскают тяжести из картона. Мне скажут, что мужская сила обнаруживается только вместе с возмужалостью, что лишь жизненные силы, выработанные в

соответственных сосудах и распространившиеся по всему телу, могут придать мускулам плотность, деятельность, крепость, упругость, из которых вытекает настоящая сила. Вот она — кабинетная философия; что же касается меня, то я ссылаюсь на опыт. Я вижу в ваших деревнях, как подростки пашут, боронят, управляют плугом, нагружают бочки с вином, правят телегою — совершенно, как их отцы: их можно было *бы* принять за взрослых, если бы не выдавал их звук голоса. Даже в городах наших молодые рабочие, кузнецы, слесари почти так же сильны, как и мастера их, и были бы не менее ловки, если бы вовремя обучили их. Если и есть тут разница — и я согласен, что она есть,— то она, повторяю, гораздо меньше разницы между пылкими желаниями взрослого и ограниченными желаниями ребенка. К тому же мы ведем здесь речь не только о физических силах, но преимущественно об умственной силе и способности, которая восполняет их или направляет.

Этот промежуток, когда индивидуум может больше, чем желает, хотя и не представляет собою поры наибольшей абсолютной силы, есть, как я уже сказал, пора наибольшей относительной силы. Это самое драгоценное время жизни — время, которое приходит только раз; оно очень кратко и тем более кратко, что, как увидим впоследствии, именно этому времени и важно дать хорошее употребление.

Что же ребенку делать с этим избытком способностей и сил, который теперь у него налицо, по которого не будет в другом возрасте? Он постарается употребить его на занятия, которые могли бы ему в случае нужды принести пользу; он перенесет, так сказать, на будущее излишек своего теперешнего бытия; сильный ребенок приготовит запасы для слабого взрослого; но он устроит свои склады не в сундуках, которые могут у него украсть, и не в титулах, которые нужны ему: чтобы действительно обладать своим приобретением, он поместит его в своих руках, в голове, в самом себе. Вот, значит, время для работ, образования, учения, и заметьте, что не я произвольно делаю этот выбор: его указывает сама природа.

Человеческий разум имеет свои пределы, и один человек не только не может знать всего, но не может даже целиком знать то немногое, что знают другие люди. Так как противоположное всякому ложному положению есть истина, то число истин неисчерпаемо, как и число заблуждений. Нужен, значит, выбор относительно вещей, которые следует преподавать, и времени, пригодного для изучения их. Из знаний, которые нам под силу, одни ложны, другие бесполезны, третьи служат пищей для высокомерия того, кто ими обладает. Только те немногие знания, которые действительно содействуют нашему благосостоянию, и достойны поисков за ними умного человека, а следовательно, и ребенка, которого хотят сделать таковым. Надлежит знать не то, что есть, но только то, что полезно.

Из этого небольшого числа нужно исключить в данном случае еще те истины, для понимания которых нужен ум, вполне уже сформировавшийся, затем истины, предполагающие знание

людских отношений, которого ребенок не может приобрести, и те, которые хотя сами по себе правильны, но располагают неопытную душу к ложному мышлению о других предметах.

Итак, мы очертили себе самый маленький кружок по сравнению с действительностью; но какую все еще огромную сферу представляет этот кружок, если мерить по детскому уму! О, тайники человеческого разума! Какая дерзкая рука осмелилась коснуться вашего покрова? Сколько пропастей, я вижу, роется нашими суетными науками вокруг этого юного бедняги! О, ты, который намерен вести его по этим опасным тропинкам и отдернуть перед его глазами священную завесу природы,— трепещи! Хорошо удостоверься прежде всего в выносливости его головы и твоей собственной; бойся, чтоб она не закружилась у того или другого, а быть может, и у обоих вместе. Страхись благовидных приманок лжи и одурачивающих паров высокомерия. Помни, постоянно помни, что невежество никогда не было причиной зла, что лишь заблуждение пагубно и что заблуждаются не насчет того, чего не знают, а насчет того, что думают знать.

Успехи ребенка в геометрии могут вам служить опытом и известного рода мерой для суждения о развитии его разума; но как скоро он может различать, что полезно и что нет, требуется много осторожности и искусства для того, чтобы вести его к занятиям умозрительным. Хотите вы, например, чтоб он отыскал среднюю пропорциональную между двумя линиями; устройте прежде всего дело так, чтоб ему потребовалось найти квадрат, равный данному прямоугольнику; если же вопрос шел бы о двух средних пропорциональных, то пришлось бы сначала заинтересовать его задачей удвоения куба, и т. д. Смотрите, как мы постепенно приближаемся к понятиям моральным, которыми определяется добро и зло. До сих пор мы знали только закон необходимости; теперь мы обращаем внимание на то, что полезно; скоро мы дойдем до того, что прилично и хорошо.

Один и тот же инстинкт одушевляет различные способности человека. За деятельностью тела, стремящегося к развитию, следует деятельность ума, который ищет знаний. Сначала дети только подвижны, затем они становятся любопытными; и это любопытство, хорошо направленное, есть двигатель возраста, до которого мы дошли теперь. Станем всегда различать наклонности, порождаемые природой, от тех, которые порождаются людским мнением. Есть жажда знания, которая основана лишь на желании слыть за ученого; есть и другая, которая рождается от естественного для человека любопытства по отношению ко всему, что может его интересовать — вблизи или издали. Врожденное стремление к благосостоянию и невозможность вполне удовлетворить это стремление заставляют человека беспрестанно изыскивать новые средства для содействия ему. Такова первая основа любознания; это естественное для человеческого сердца влечение, но развитие его совершается лишь пропорционально нашим страстям и нашим познаниям. Представьте себе философа, сосланного на необитаемый остров со своими инструментами и книгами и уверенного, что он проведет там одиноко остаток своих дней: он не станет уже хлопотать о системе мира, о законах притяжения, о дифференциальном исчислении;

он, быть может, во всю жизнь не откроет ни одной книги; но он ни в каком случае не преминет обойти до последнего уголка свой остров, как бы ни был он велик. Выкинем же из наших первых занятий и те познания, стремление к которым не оказывается естественным для человека, и ограничимся теми, к которым влечет нас инстинкт.

Остров для человеческого рода — это земля; самый поразительный для наших глаз предмет — солнце. Лишь только мы начинаем удаляться от самих себя, наши первые наблюдения должны обратиться на то и другое. Потому-то философия почти всех диких народов вертится исключительно около вопросов о воображаемых разделах земли и о божественности солнца.

Какое уклонение, скажут, быть может. Сейчас мы были заняты только тем, что касается нас, что непосредственно нас окружает,— и вот мы вдруг проносимся по земному шару и перескакиваем на край Вселенной! Но это уклонение есть следствие развития наших сил и склонности ума нашего. В пору слабости и неспособности забота о самосохранении сосредоточивает нас на самих себе; в пору мощи и силы желание расширить свое существование переносит нас за пределы нас самих и заставляет нас ринуться так далеко, как только можно; но так как интеллектуальный мир нам еще незнаком, то мысль наша не идет дальше нашего зрения и понимание наше расширяется лишь вместе с пространством, им обнимаемым.

Преобразуем ощущения свои в идеи, но не будем сразу перескакивать от предметов чувственно-воспринимаемых к предметам умственным, с помощью первых мы и должны дойти до вторых. При первоначальной работе ума чувства пусть будут всегда нашими руководителями: не нужно иной книги, кроме мира; не нужно иного наставления, кроме фактов. Читающий ребенок не думает, он только и делает, что читает; он не учится, а учит слова.

Сделайте вашего ребенка внимательным к явлениям природы, и вы скоро сделаете его любознательным; но чтобы поддерживать в нем любознательность, не торопитесь никогда удовлетворять ее. Ставьте доступные его пониманию вопросы и предоставьте ему решить их. Пусть он узнает не потому, что вы ему сказали, а потому, что сам понял; пусть он не выучивает науку, а выдумывает ее. Если когда-нибудь вы замените в его уме рассуждение авторитетом, он не будет уже рассуждать: он станет лишь игрушкой чужого мнения.

Вы хотите обучать этого ребенка географии и отправляетесь за глобусами, земными и небесными, за картами; сколько инструментов! К чему все эти представления? Почему не показываете ему прежде всего самый предмет, чтоб он по крайней мере знал, о чем вы ему говорите?

В один прекрасный вечер мы отправляемся гулять в подходящую местность, где горизонт совершенно открыт и позволяет в полном блеске видеть заход солнца; мы подмечаем предметы, по которым можно признать место заката. На другой день, чтобы подышать свежестью утра, мы снова идем в то же место до восхода солнца. Пустив по небу огненные полосы, оно еще издали дает знать о своем приближении. Пожар увеличивается, восток весь как бы в пламени; блеск его

возбуждает в нас ожидание светила еще задолго до его появления: ежеминутно ждешь, что оно вот-вот явится; наконец, мы его видим. Блестящая точка сверкнула, как молния, и тотчас наполнила все пространство; покров мрака рассеивается и падает. Человек узнает свое обиталище и находит его разукрашенным. Зелень за ночь получила новую яркость колорита; при блеске зарождающегося дня, при первых лучах, которые золотят ее, она является нам покрытою блестящею сетью росы, отражающей в себе свет и цвета. Птицы собираются хором, и единогласно приветствуют Отца жизни; ни одна не безмолвствует в этот момент; их щебетанье, пока еще слабое, кажется более томным и нежным, чем в остальное время дня,— в нем чувствуется вялость мирного пробуждения. Стечение всех этих предметов дает чувствам впечатление свежести, которое как бы проникает в самую душу. Это — полчаса восторга, пред которым ни один человек не может устоять: зрелище, столь великое, столь прекрасное и восхитительное, никого не оставляет равнодушным.

Полный восхищения, наставник хочет сообщить его и ребенку; он думает тронуть его, обращая его внимание на ощущения, которые волнуют его самого. Чистая глупость! Жизненность зрелища природы заключена в сердце человека; чтобы видеть его, нужно его чувствовать. Ребенок замечает предметы, но он не может заметить отношений, которые связывают их, не может постичь сладкой гармонии их союза. Чтобы испытывать сложное впечатление, являющееся одновременным результатом всех этих ощущений, нужна опытность, которой он не приобрел, нужны чувствования, которых он не испытал. Если он не бродил долго по бесплодным равнинам, если горячие пески не жгли его ног, если его никогда не мучило удушливое отражение обожженных солнцем утесов,— как он может наслаждаться свежим воздухом прекрасного утра, как может очаровать его чувства благоухание цветов, прелесть зелени, влажное испарение росы, прогулка по мягкому и нежному лугу? Может ли пение птиц пробудить в нем сладостное волнение, если ему незнаком еще язык любви и удовольствия? Может ли он с восторгом видеть зарождение чудного дня, если воображение не умеет нарисовать ему тех радостей, которыми можно наполнить этот день? Наконец, как он может тронуться красотой зрелища природы, если он не знает, чья рука озаботилась украсить его?

Не держите перед ребенком речей, которых он не может понять. Прочь описания, прочь красноречие, прочь образы и поэзия! Теперь дело не в чувствовании или вкусе. Продолжайте быть ясным, простым и холодным; скоро, скоро придет пора взяться за иной язык.

Воспитанный в духе наших правил, привыкший извлекать все орудия из самого себя и прибегать к помощи другого в том лишь случае, когда сознает свое бессилие, ребенок долго и молча станет рассматривать каждый новый предмет, который увидит. Он вдумчив, но не любит расспросов. Довольствуйтесь поэтому тем, чтобы представлять ему вовремя предметы; затем, когда увидите, что его любознательность достаточно возбуждена, задайте ему какой-нибудь лаконичный вопрос, который навел бы его на путь к решению.

В данном случае, насмотревшись вместе с ним на заходящее солнце обратив его внимание на горы и другие соседние предметы, давши ему вдоволь наговориться о всем этом, помолчите несколько минут, как будто задумавшись, и затем скажите ему: «Я думаю о том, что вчера вечером солнце зашло вон там, а сегодня утром взошло тут; как это могло быть?» Больше ничего не прибавляйте: если он будет вам задавать вопросы, не отвечайте,— заговорите о другом. Предоставьте его самому себе и будьте уверены, что он над этим задумается.

Чтобы ребенок привык к внимательности и чтобы его сильно поражала какая-нибудь осязательная истина, для этого нужно, чтобы она несколько дней тревожила его, прежде чем он ее откроет. Если он этим путем не достаточно постигает ее, есть средство сделать ее еще более осязательной: нужно перевернуть вопрос. Если он не понимает, как солнце переходит от запада к востоку, он по крайней мере знает, как оно переходит от востока к западу; чтобы знать это, нужно только иметь глаза. Разъясните же первый вопрос с помощью другого; если ученик ваш не совсем туп, аналогия станет настолько ясной, что не может ускользнуть от него. Вот первый урок его по космографии.

Так как от одной чувственной идеи к другой мы идем вперед всегда медленно, долго осваиваемся с одною, прежде чем перейти к другой, и, наконец, никогда не принуждаем своего воспитанника к вниманию, то от этого первого урока далеко еще до ознакомления с истинным движением солнца и фигурой земли; но так как все видимые движения небесных тел основаны на одном и том же принципе и первое наблюдение ведет ко всем остальным, то, чтобы от суточного обращения дойти до вычисления затмений, для этого нужно меньше усилия, хотя и больше времени, чем для того, чтобы хорошо понять смену дня и ночи.

Так как солнце обращается вокруг мира, то оно описывает, значит, круг, а всякий круг должен иметь центр; это мы уже знаем. Этого центра нельзя видеть, ибо он в самой середине земного шара; но можно обозначить на поверхности две противоположные точки, ему соответствующие. Прут, проходящий через три точки и продолженный с той и с другой стороны до неба, будет осью мира и осью ежедневного вращения солнца. Круглый волчок, вертящийся на своем острие, представляет небо, вращающееся около своей оси; два конца волчка — это два полюса: ребенок будет очень рад узнать, где один из полюсов; я покажу его в хвосте Малой Медведицы. Вот развлечение для ночного времени. Мало-помалу мы знакомимся со звездами, а отсюда зарождается первое желание ознакомиться с планетами и наблюдать созвездия.

Вы видели солнечный восход в Иванов день; теперь посмотрим на него в Рождество или в другой какой-нибудь хороший зимний день; известно ведь, что мы не ленивы и находим себе удовольствие бравировать перед стужею. Я принимаю меры, чтобы это второе наблюдение происходило в той же местности, где было сделано первое; и если употребить некоторую ловкость, чтобы приготовить замечание, то один из нас непременно воскликнет: «Ай-ай, вот так штука: солнце-то восходит не на том же месте! — вот наши прежние приметы, а теперь оно

восходит вот где» и т. д. Значит, есть летний восток и зимний восток и т. д. Молодой наставник, ты уже выведен на путь. Этим примеров тебе должно быть достаточно для того, чтобы с полной ясностью изучить небесную сферу, принимая мир за мир, солнце за солнце.

Вообще, только тогда вещь заменяйте знаком, когда вам невозможно показать ее; ибо знак поглощает внимание ребенка и заставляет его забывать о вещи, им представляемой.

Армилярная сфера<sup>1</sup> кажется мне машиной, нескладно устроенной, с несоответственными размерами. Эта путаница кругов и странных фигур, на них обозначенных, придает ей вид тарабарщины, пугающей детский ум. Земля слишком мала, круги слишком велики, слишком многочисленны; иные, как например, колурии<sup>2</sup>, совершенно бесполезны; каждый круг шире земли; толщина картона придает им вещественный вид, заставляющий принимать их за действительно существующие кругообразные массы; и когда вы говорите ребенку, что это круги воображаемые, он не знает, что же у него перед глазами, и ничего уже не понимает.

Мы никогда не умеем поставить себя на место детей; мы не входим в их идеи, а преподносим им паши собственные и, следя всегда лишь за нашими собственными рассуждениями, с помощью последовательного сцепления истин набиваем голову их лишь нелепостями и заблуждениями.

Спорят, что выбрать: анализ или синтез — при изучении наук. Не всегда необходимо делать выбор: иной раз при одних и тех же исследованиях можно и разлагать, и слагать, можно руководить ребенком методом поучающим, но так, чтоб ему казалось, что он делает только анализ. В этом случае оба метода, одновременно применяясь, могут служить друг для друга доказательством. Отправляясь сразу от двух противоположных пунктов и не подозревая, что совершает один и тот же путь, ребенок будет совершенно изумлен встречей, и это изумление может быть только приятным. Я хотел бы, например, приняться за географию с этих двух концов и к изучению обращения земного шара присоединить измерение частей его, начиная с того места, где живем. В то время, как ребенок изучает сферу и переносится, таким образом, в небеса, верните его к делению земли и покажите ему сперва его собственное местопребывание.

Первыми географическими пунктами для него будут город, где он живет, и деревенский дом его отца; потом пойдут — промежуточная местность, текущие по соседству реки, наконец, вид солнца и способ ориентироваться. Тут пункт соединения. Пусть он сам составит карту всего этого — карту самую простую и сначала состоящую из двух только предметов, к которым он мало-помалу присоединит и другие, по мере ознакомления и оценки их расстояний и положения. Теперь вы уже видите, каким преимуществом мы снабдили его заранее, давши ему верный глазомер.

Несмотря на это, ребенком нужно, конечно, несколько руководить, но руководить очень мало, незаметным для него образом. Если он ошибается, оставьте его в покое, не исправляйте ошибок, ждите молча, пока он сам не будет в состоянии увидеть их и исправить, или, самое большее, приведите при удобном случае какую-нибудь выкладку, которая дала бы ему заметить свой промах. Если б он никогда не ошибался, он так хорошо не научился бы. Впрочем, дело не в



точном знании топографии страны, но в ознакомлении со средством изучить ее, не важно, будут ли у него в голове эти карты,— важно лишь, чтоб он хорошо понимал, что они представляют, и чтоб имел ясную идею об искусстве составления их. Видите, какая уже разница между знанием ваших учеников и незнанием моего! Те знают карты, мой составляет их. Вот и новое убранство для его комнаты.

Помните всегда, что задача моего образования не в том, чтобы преподать ребенку много вещей, но в том, чтобы допускать в его мозг лишь идеи правильные и ясные. Если б он ничего не знал, мне горя мало, лишь бы он не заблуждался, и я для того только влагаю ему в голову истины, чтобы гарантировать его от заблуждений, которые он приобрел бы вместо этих истин. Разум, способность суждения приходит медленно, предрассудки же прибегают толпою; от них-то и нужно его предохранить. Но если вы в науке видите одну лишь пауку, то вы пускаетесь в бездонное, безбрежное море, наполненное подводными рифами, и вам никогда из него не выбраться. Когда я вижу, как человек, одержимый страстью к познаниям, всецело поддается их чарам и перебегаёт от одного к другому, не умея остановиться,— мне так и кажется, что я вижу собирающего на берегу раковины ребенка, который сначала нагружает себя ими, потом, увлеченный все новыми и новыми находками, бросает одни, снова набирает другие, пока, наконец, подавленный их многочисленностью и не знающий, что выбрать, не бросает всего, возвращаясь домой с пустыми руками.

В первый возраст времени было много: мы старались больше терять его, из опасения, чтоб оно не оказалось дурно употребленным. Здесь совершенно наоборот: у нас не хватает времени на то, чтобы сделать все, что было бы полезно. Помните, что страсти приближаются, а как только они постучатся в дверь, ваш воспитанник устремит на них уже все свое внимание. Мирный возраст разумения столь краток, так быстро проходит и столько должен выполнить необходимых задач, что было бы безумием думать, что его хватит на то, чтобы сделать ребенка ученым. Вопрос не в том, чтобы преподать ему науки: нужно лишь зародить в нем вкус, чтоб он полюбил их, и дать ему методы, чтобы он мог изучать, когда вкус этот лучше разовьется. В этом, без сомнения, состоит основной принцип всякого хорошего воспитания.

Теперь пора также мало-помалу приучать ребенка к тому, чтоб он умел сосредоточивать внимание на одном и том же предмете; но это внимание должно поддерживаться не принуждением, а непременно удовольствием или желанием; нужно прилагать всю заботу, чтобы оно не утомляло ребенка и не доходило до скуки. Будьте же всегда настороже и, что бы там ни было, бросайте все, прежде чем он станет скучать, ибо не так важно, чтоб он учился, как то, чтоб он ничего не делал против желания.

Если он сам обращается к вам с вопросами, отвечайте столько,; сколько нужно для того, чтобы питать в нем любопытство, а не пресыщать его; а главное — если видите, что он вместо расспросов с целью научиться чему-нибудь, начинает молоть вздор и засыпать вас глупыми

вопросами, то немедленно остановитесь и будьте уверены, что он не интересуется уже вещью, а только стремится подчинить вас своим запросам. Нужно обращать больше внимания на мотив, заставляющий его говорить, чем на слова, им произносимые. Это предостережение, до сих пор не столь нужное, приобретает крайнюю степень важности, лишь только ребенок начинает рассуждать.

Между общими истинами существует взаимная связь, благодаря которой все науки основываются на общих принципах и из них последовательно развиваются: эту связь обусловлен философский метод. Но не о ней теперь идет речь. Есть связь совершенно иного рода,— связь, благодаря которой всякий предмет в частности привлекает другой предмет и всегда указывает на тот, который за ним следует. Этого порядка, который постоянно возбуждаемым любопытством питает внимание, потребное для всех вообще предметов, держится большинство людей, и он-то особенно необходим для детей.

Когда мы ориентируемся для снятия местности на карту, нам нужно начертить меридианы. Две точки пересечения между двумя равными теньями, утренней и вечерней, дают превосходный меридиан для нашего 13-летнего астронома. Но меридианы эти стираются; чтобы начертить их, нужно время; они принуждают работать всегда на одном и том же месте: такие хлопоты, такое стеснение могут надоеть ему. Мы это предвидели — мы заранее озаботились этим.

Вот я снова пускаюсь в длинные и мелочные подробности. Читатели, я слышу ваш ропот и пренебрегаю им: я не хочу пожертвовать вашему нетерпению наиболее полезную часть этой книги. Примиритесь с моими подробностями, ибо я примирился уже с вашими жалобами.

Давно уже мы заметили — мой воспитанник и я,— что янтарь, стекло, сургуч, различные тела, подвергнутые трению, притягивают соломинки, тогда как прочие не притягивают. Случайно мы находим тело, обладающее еще более замечательным свойством: оно притягивает, на некотором расстоянии и без всякого трения, металлические опилки и всякие кусочки железа. Долгое время мы забавляемся этим свойством, ничего, кроме этого, не замечая тут. Наконец? мы открываем, что оно сообщается и самому железу, если его известным образом потереть магнитом.

Однажды мы отправляемся на ярмарку\* и видим, как фокусник с помощью куска хлеба приманивает восковую утку, плавающую в бассейне с водою. Совершенно изумленные, мы не говорим, однако: «Это — колдун», потому что не знаем, что такое колдун. Нас непрестанно поражают действия, причины которых мы не знаем, но мы не торопимся ни о чем судить и спокойно остаемся в своем невежестве, пока не находим случая выйти из него.

\* Я не могу удержаться от смеха, читая тонкую критику г. де Формея на этот небольшой рассказ. «Фокусник этот,— говорит он,— хвастливо соревнующийся с ребенком и важно читающий мораль его наставнику, есть лично из мира Эмилей»<sup>3</sup>. Проницательный г. де Формей не мог никак догадаться, что эта сцена была уже подготовлена и что фокусник был научен заранее,

какую разыгрывать роль; действительно, об этом я не говорил. Но сколько раз зато я заявлял, что пишу не для таких людей, которым обо всем нужно сказать!

Вернувшись домой, мы так долго толковали о ярмарочной утке, что нам пришло в голову проделать то же самое: мы берем порядочную иглу, хорошо намагниченную, окружаем ее белым воском, которому придаем, насколько умеем, форму утки, так чтоб игла проходила через тело, а ушко иглы образовало клюв. Мы пускаем на воду эту утку, подносим к клюву конец ключа и видим — легко понять нашу радость,— что наша утка следует за ключом точно так, как ярмарочная утка плыла за куском хлеба. Наблюдать, в каком направлении утка останавливается, если ее оставить на свободе, мы успеем и в другой раз; а пока, совершенно поглощенные своим предметом, мы не желаем ничего больше.

В тот же вечер мы опять идем на ярмарку с готовым хлебом в карманах: и лишь только фокусник проделал свои штуки, мой маленький ученый, который едва владел собою, говорит ему, что этот фокус не труден и что он сам так же хорошо все это проделает. Его ловят на слове; он тотчас вынимает из кармана кусок хлеба, в котором был спрятан кусочек железа, и с бьющимся сердцем подходит к столу; почти дрожа от волнения, он подносит хлеб,— утка подплывает и следует за ним; ребенок вскрикивает и трепещет от радости. От рукоплесканий, от криков собравшейся публики голова у него идет кругом, он вне себя. Сконфуженный фокусник подходит, однако, к нему, обнимает его, поздравляет и просит удостоить его и завтра своим присутствием, добавляя, что он позаботится, чтобы собралось еще больше народу подивиться его ловкости. Мой маленький натуралист, возгордившийся успехом, не прочь и еще поболтать; но я тотчас полагаю предел его болтовне и увожу его домой, осыпанного похвалами.

До следующего дня ребенок, с забавным волнением, считает каждую минуту. Он приглашает всякого встречного — ему хочется, чтобы весь род человеческий был свидетелем его славы; он ждет не дождется назначенного часа и собирается раньше срока: мы летим на место сбора; зала уже полна. Входим — молодое сердце прыгает от радости. На очереди стоят другие фокусы; фокусник превосходит самого себя и проделывает изумительные вещи. Ребенок ничего не видит; он волнуется, потеет, едва переводит дух и рукою, дрожащей от нетерпения, все время перебирает в кармане кусок хлеба. Наконец, и его очередь; фокусник торжественно предвещает публику. Он подходит, несколько сконфуженный, вынимает свой кусок и... О, превратность человеческих судеб! Утка, столь ручная вчера, сегодня стала дикой; вместо того чтобы подставить клюв, она повертывает хвостом и уплывает; она так же старательно избегает хлеба и руки, его подающей, как вчера гонялась за ними. После тысячи бесполезных попыток, неизменно вызывавших насмешки, ребенок начинает жаловаться, уверяет, что его обманывают, что прежнюю утку подменили другою, и вызывает фокусника, чтоб он попробовал сам приманить эту утку.

Фокусник, ничего не говоря, берет кусок хлеба и подносит его утке; утка тотчас же начинает гнаться за хлебом и плывет за удаляющеюся рукою. Ребенок берет этот же самый кусок; но опять,

как и прежде, никакого успеха: утка издевается над ним и юлит кругом по бассейну. Наконец, он отходят прочь совершенно сконфуженный и уже более не решается подвергать себя насмешкам.

Тогда фокусник берет принесенный ребенком кусок хлеба и пускает его в дело с таким же успехом, как и свой; он вынимает из него железо перед публикой,— снова хохот над нами,— и этим простым куском хлеба приманивает утку, как и прежде. Он проделывает то же с помощью другого куска, отрезанного перед всей публикой посторонними руками, приманивает своей перчаткой, концом кольца: наконец, удаляется на середину комнаты и, заявив напыщенным тоном, свойственным этому люду, что утка так же будет слушаться и его голоса, как слушается шестов, отдает ей приказание — и утка повинуетя: он велит ей плыть направо, и она плывет направо; велит вернуться, и она возвращается; велит кружиться, и она кружится — не успеет приказать, как она уже готова. Удвоенные рукоплескания слишком обидны для нас. Мы ускользаем незаметно и запираемся в своей комнате, вместо того чтобы рассказывать всем о своих успехах, как мы предполагали.

На другой день утром стучат в нашу дверь; я открываю — это вчерашний фокусник. Он скромно жалуется на наше поведение. Что он сделал нам такого, что мы стараемся уронить его фокусы в глазах публики и отнять у него средства к пропитанию? Что тут такого удивительного в искусстве приманивать восковую утку, чтобы стоило покупать эту честь ценою заработка честного человека? «Право, господа, если б я имел другой талант для своего пропитания, я бы не гордился этим искусством. Бы должны были бы подумать, что человек, всю жизнь свою занимавшийся этим жалким промыслом, знает тут больше вас, занимавшихся этим лишь несколько минут. Если я не сразу показал вам свои главные номера, то это потому, что не следует торопиться неосмотрительно выставлять напоказ все, что знаешь; я всегда стараюсь свои лучшие штучки сберечь про запас, и после всего этого у меня найдутся еще и другие для того, чтобы поубавить пыла у юных вертопрахов. Впрочем, господа, я по своей охоте пришел показать вам секрет, поставивший вас в такой тупик; прошу только вас не употреблять его мне во вред и быть в другой раз более сдержанными».

Затем он показывает нам свой механизм, и мы с крайним удивлением видим, что тут все дело в сильном, хорошо заправленном магните, который незаметно приводится в движение спрятавшимся под стол ребенком.

Фокусник складывает свои инструменты; поблагодарив его и извинившись перед ним, мы хотим ему подарить что-нибудь, но он отказывается. «Нет, господа, я не настолько доволен вами, чтобы принимать от вас подарки; я, против вашей воли, оставляю вас обязанными передо мной — это мое единственное мщение. Знайте, что великодушие встречается во всех состояниях; я беру плату за свои фокусы, а не за свои уроки».

Выходя, он обращается лично ко мне с громким выговором. «Я охотно извиняю,— говорит он,— этого ребенка: он согрешил по неведению. Но вы, сударь, должны были знать его ошибку —

зачем же вы допустили ее? Раз вы живете вместе, вы, как старший, должны заботиться о нем, давать ему советы: ваша опытность — это авторитет, который должен им руководить. Когда он в зрелых годах станет упрекать себя в заблуждениях молодости, он, несомненно, поставит вам в упрек те, от которых вы его не предостережете»\*.

\* Мог ли я предполагать, что найдется такой глупый читатель, который не заметит, что этот выговор есть речь, продиктованная слово в слово наставником, имевшим здесь свои цели? Можно ли было во мне самом предполагать столько тупости, чтобы я считал естественной эту речь в устах фокусника? Я по крайней мере полагал, что я тут высказал очень небольшой талант впадать в уста людей речи, свойственные их состоянию. Посмотрите, кроме того, на конец следующего параграфа. Не ясно ли было это для всякого другого, кроме г. Формея?

Он уходит и оставляет обоих нас сконфуженными. Я упрекаю себя в своей мягкой уступчивости; я обещаю ребёнку в другой раз жертвовать ею ради его интересов и предостерегать его от ошибок, прежде чем он их сделает; ибо близко время, когда наши отношения изменятся и когда услужливость товарища должна смениться строгостью наставника: перемена эта должна производиться постепенно; нужно все предусмотреть, и притом предусмотреть издалека.

На другой день мы опять идем на ярмарку, чтобы снова посмотреть фокус, секрет которого мы узнали. С глубоким уважением подходим мы к нашему Сократу-фокуснику<sup>4</sup>; мы едва осмеливаемся поднять на него глаза; он осыпает нас любезностями и предоставляет нам почетное место, что еще более нас посрамляет. Он проделывает свои фокусы, как и всегда; но над фокусом с уткой самодовольно останавливается подольше, часто поглядывая на нас с довольно гордым видом. Мы все знаем и не смеем пикнуть. Если бы мой воспитанник осмелился только открыть рот, его, право, стоило бы задушить.

Все детали этого примера важнее, чем это кажется. Сколько уроков в одном уроке! Сколько оскорбительных последствий влечет за собою первое движение тщеславия! Молодой наставник, старательно высматривай это первое проявление. Если ты сумеешь так устроить, чтобы результатом его оказалось одно унижение и неприятности\*, то будь уверен, что оно долго не повторится. Сколько приготовлений! — скажете вы. Я согласен — и все для того, чтобы устроить компас, который заменил бы нам меридиан.

\* Это унижение, эти неприятности, значит, дело моих рук, а не фокусника. Так как г. Формей хотел еще при жизни моей овладеть этой книгой и напечатать ее без всяких иных церемоний, кроме замены моего имени его собственным, то он должен был бы по крайней мере принять на себя труд прочитать ее — я не говорю уже о состоянии.

Узнавши, что магнит действует сквозь другие тела, мы спешим устроить приспособление, подобное тому, какое мы видели: выдолбленный стол, очень плоский бассейн, прилаженный на этом столе и наполненный на несколько линий водою, утку, сделанную несколько тщательнее, и т. д. Часто и внимательно следя за бассейном, мы подмечаем, наконец, что утка, оставленная в

покое, стремится принять почти всегда одно и то же направление: находим, что оно идет с юга на север. Больше ничего и не нужно: компас найден или почти найден; и мы уже в области физики.

На земле бывают различные климаты, и у этих климатов бывают различные температуры. Разница между временами года по мере приближения к полюсу делается все заметнее; все тела от холода сжимаются, от тепла расширяются; действие это легче измеряется в жидкостях и заметнее всего в спиртуозных жидкостях — вот основание термометра. Ветер ударяет в лицо; значит, воздух есть тело, нечто текучее; мы его чувствуем, хотя не имеем средства видеть его. Опрокиньте стакан в воду, вода не наполнит его, если только вы не оставите прохода для воздуха; значит, воздух способен оказывать сопротивление. Погрузите стакан глубже, вода поднимется в пространстве, которое было занято воздухом, но не в состоянии целиком его заполнить; значит, воздух способен сжиматься до известной степени. Мяч, наполненный сжатым воздухом, прыгает легче, чем наполненный каким-нибудь другим материалом; значит, воздух — тело упругое. Лежа в ванне, поднимите руку горизонтально над водою: и вы почувствуете, что на нее давит страшная тяжесть; значит, воздух — тело, имеющее тяжесть. Приводя воздух в равновесие с другими жидкостями, можно измерять вес его; на этом основаны барометр, сифон, духовое ружье, воздушный насос. Все законы статики и гидростатики находятся с помощью таких же грубых опытов. Я не хочу, чтобы за каким-либо из всех этих наблюдений отправлялись в кабинет экспериментальной физики; мне не нравится весь этот набор инструментов и машин. Приемы учености убивают науку. Все эти машины или пугают ребенка, или своим видом развлекают и поглощают то внимание, которое он должен был обратить на их действия.

По моему мнению, все свои машины мы должны делать сами; но мы не должны, не видевши опыта, начинать дело с приготовления инструмента; мы должны наткнуться на опыт как бы случайно и потом мало-помалу создавать инструмент для поверки его. Пусть лучше инструменты наши будут не так совершенны и точны, лишь бы иметь нам более ясное понятие о том, чем они должны быть, и о действиях, которые они должны производить. Для своего первого урока статики, вместо того чтобы искать весы, я просовываю палку в спинку стула, привожу ее в равновесие и измеряю оба конца; затем привешиваю с той и другой стороны тяжести — то равные, то неравные — и, подвигая ее то вперед, то назад, по мере необходимости, нахожу, наконец, что равновесие зависит от взаимного соотношения между количеством веса и длиною рычагов. И вот мой юный физик уже умеет поверять весы, не выдавши их.

Неоспоримо, что о вещах, которые мы узнаем подобным образом сами, получают понятия гораздо более ясные и верные, чем те, которыми мы обязаны чужим наставлениям; не говоря уже о том, что этим путем мы не приучаем своего разума к раболепному подчинению авторитету, мы, кроме того, делаемся более искусными в отыскании отношений, в связывании идей, в изобретении инструментов, чем тогда, когда все это усваиваем в том самом виде, как нам предлагают, и ослабляем таким образом ум свой бездеятельностью, подобно тому как и тело человека, которому

все подают, которого одевают, обувают всегда слуга и возят лошади, лишается, наконец, своей силы и употребления членов. Буало<sup>5</sup> хвалился, что научил Расина<sup>6</sup> подбирать трудные рифмы. Среди стольких удивительных методов, имеющих целью упростить изучение наук, мы, право, очень нуждаемся в том, чтобы кто-нибудь дал указание, как учиться с напряжением сил.

Самое ощутительное преимущество этих медленных и трудных изысканий заключается в том, что среди умозрительных занятий они поддерживают в теле деятельность, в членах гибкость и постоянно приучают руки к труду и полезному для человека употреблению. А вся эта масса инструментов, выдуманных для того, чтобы руководить нами в наших опытах и восполнять точность чувств, заставляет нас пренебрегать этим упражнением. Графометр избавляет от необходимости оценивать величину углов; глаз, вместо того чтобы с точностью измерять расстояния, полагается на цепь, которая за него измеряет; безмен освобождает меня от необходимости прикидывать на руке вес, который я узнаю с помощью этого безмена. Чем искуснее наши приборы, тем более грубыми и неловкими делаются наши органы: собирая вокруг себя машины, мы не находим их уже в самих себе.

Но когда мы употребляем на производство этих машин ту ловкость, которая могла бы заменить машины, когда проницательность, необходимую для того, чтобы обходиться без них, мы применяем к их устройству, то мы выигрываем, ничего не теряя, к природе прибавляем искусство и, не делаясь менее ловкими, становимся более изобретательными. Если я, вместо того чтобы привязывать ребенка к книгам, занимаю его работой в мастерской, то руки его работают на пользу ума: он становится философом, думая, что он только ремесленник. Наконец, это упражнение имеет и другие выгоды, о которых я буду говорить ниже, и мы увидим, как от игр философских можно возвыситься до истинно человеческой деятельности.

Я уже сказал, что познания чисто умозрительные почти не пригодны для детей, даже в том возрасте, который близок к юношескому; но не вводя их слишком рано в область систематической физики, устройте дело все-таки так, чтобы все эти опыты связывались один с другим некоторого рода дедукцией, чтобы при помощи этого сцепления дети могли в порядке разместить их в своем уме и в случае нужды припоминать; ибо изолированным фактам и даже суждениям очень трудно долго держаться в памяти, если нам не за что ухватиться, чтобы вызвать их в сознании.

При исследовании законов природы начинайте всегда с явлений наиболее общих и наиболее заметных и приучайте вашего воспитанника принимать эти явления не за доказательство, но за факты. Я беру камень, делаю вид, что кладу его в воздухе; разнимаю руку — камень падает. Эмиль, я вижу, внимательно следит за тем, что я делаю, и я говорю ему: «Почему этот камень упал?»

Какой ребенок станет в тупик при этом вопросе? Никакой; даже Эмиль дал бы ответ, если бы я не принял заранее мер, чтоб он не умел отвечать. Все скажут, что камень падает потому, что он тяжел. А что же бывает тяжелым? То, что падает. Значит, камень потому падает, что он падает?

Тут мой юный философ и в самом деле станет в тупик. Вот его первый урок систематической физики; принесет ли он в этом виде ему пользу или нет, но он во всяком случае будет уроком здравого смысла.

По мере того как подвигается вперед разумение ребенка, появляются другие важные соображения, побуждающие нас делать еще более строгий выбор в его занятиях. Как скоро он настолько ознакомился с самим собою, что понимает, в чем состоит его благосостояние, как скоро он может обнять достаточно обширные отношения, чтобы судить, что ему пригодно и что не пригодно, с тех пор он уже в состоянии почувствовать разницу между трудом и забавой и смотреть на последнюю лишь как на отдых от первого. Тогда предметы, действительно полезные, могут войти в круг его занятий и заставить его уделять им гораздо больше прилежания, чем он уделял бы простым забавам. Закон необходимости, постоянно возрождаясь, с ранних пор учит человека делать то, что ему не нравится, с целью предупредить зло, которое еще более не нравилось бы. Вот на что пригодна предусмотрительность; а из этой предусмотрительности, хорошо или дурно направленной, рождается вся мудрость или все бедствия человеческие.

Всякий человек хочет быть счастливым; но для достижения счастья нужно прежде всего знать, что такое счастье. Счастье естественного человека так же просто, как и его жизнь: оно состоит в отсутствии страдания; здоровье, свобода, достаток в необходимом — вот в чем оно заключается. Счастье нравственного человека — нечто иное; но не о нем здесь речь. Я не перестану никогда повторять, что только чисто физические предметы могут интересовать детей, в особенности таких, в которых не пробудили тщеславия и которых не заразили заранее ядом предрассудков.

Когда, не испытывая еще нужд, дети уже предвидят их, то разумение их, значит, уже очень развито: они начинают узнавать цену времени. В таком случае следует приучать их направлять свои занятия на предметы полезные, но эта польза должна быть ощутимой для их возраста и доступной их пониманию. Всего, что связано с нравственным порядком и знанием общества, нужно избегать в эту раннюю пору, потому что они не в состоянии понять этого. Нелепо требовать от них прилежания, если им только намекают неопределенно, что это-де служит для их блага, а сами они не знают, каково это благо, если их уверяют, что они извлекут из этого пользу, когда станут взрослыми, а сами они нисколько в настоящее время не интересуются этой мнимой пользой, не будучи в состоянии понять ее.

Пусть ребенок ничего не делает на слово: для него хорошо только то, что он сам признает таковым. Заставляя его постоянно обгонять свое понимание, вы думаете, что пускаете в дело предусмотрительность, а на самом деле вам ее недостает. Чтобы вооружить его какими-нибудь простыми орудиями, которых он никогда, быть может, не употребит в дело, вы отнимаете у него самое универсальное орудие человека — здравый смысл; вы приучаете его искать всегда руководителя, быть всюду машиной в руках другого. Вы хотите, чтобы он был послушен в детстве; это значит желать, чтобы, выросши, он стал легковерным простофилей. Вы ему



беспреданно говорите: «Все, что я требую от тебя, служит для твоей же пользы, но ты не в состоянии понять этого. Что мне за дело до того, исполняешь ты или нет мои требования? Ведь ты трудишься для себя одного». Всеми этими прекрасными речами, которые вы держите теперь перед ним с целью сделать его мудрым, вы подготавливаете успех тех речей, с которыми со временем обратятся к нему мечтатель, тайновидец, шарлатан, плут или любой безумец, желая поймать его в свою ловушку или навязать ему свое безумие.

Взрослому следует знать много такого, полезности чего ребенок не сумеет понять; но нужно ли и можно ли учить ребенка всему тому, что следует знать взрослому? Старайтесь научить ребенка всему, что полезно для его возраста, и вы увидите, что все его время будет с избытком наполнено. Зачем вы хотите, в ущерб занятиям, которые приличны ему теперь, засадить его за занятия, свойственные тому возрасту, дожить до которого у него столь мало вероятия? Но, скажете вы, время ли приобретать нужные знания тогда, когда придет момент употребить их в дело? Не знаю, но знаю одно, что невозможно научиться этому раньше, ибо истинные наши учителя — это опыт и чувствование, а что потребно человеку, это человек лучше всего чувствует среди тех отношений, в какие он попал. Ребенок знает, что он создан для того, чтобы стать взрослым; все понятия, которые он может иметь о состоянии взрослого человека, являются для него предметом знания; но он должен оставаться в абсолютном невежестве относительно тех идей об этом состоянии, которые ему не вод силу. Вся моя книга есть не что иное, как непрерывное доказательство этого принципа воспитания.

Как скоро мы добились того, что воспитанник наш усвоил идею, соединенную с словом «полезный», мы имеем новое важное средство для управления им: слово это сильно поражает его, потому что он понимает его только в применении к своему возрасту и ясно видит, что здесь дело касается его настоящего благосостояния. На ваших детей это слово не действует, потому что вы не озаботились дать им понятие о пользе, доступное их уму, и потому что, раз другие обязаны всегда доставлять им то, что полезно для них, они сами не имеют уже нужды помышлять об этом и не знают, что такое польза.

На что это нужно? — вот слова, которые отныне делаются священными, решающими разногласие между ним и мною во всех действиях нашей жизни; вот вопрос, который с моей стороны неизменно следует за всеми его вопросами и служит уздой для тех многочисленных, глупых и скучных расспрашиваний, которыми дети, без усталости и пользы, утомляют всех окружающих — скорее с целью проявить над нами некоторого рода власть, чем извлечь из этого какую-нибудь пользу. Кому внушают, как наиболее важное желание знать только полезное, тот вопрошает, подобно Сократу; он не задает ни одного вопроса, не давши себе в нем отчета, которого, как он знает, потребуют от него прежде, чем разрешить вопрос.

Смотрите, какое могущественное средство действовать на воспитанника даю я в ваши руки. Не зная оснований ни для одной вещи, он почти осужден молчать, когда вам угодно; и наоборот,

какое огромное преимущество имеете вы в своих познаниях и опытности, чтобы указывать ему пользу всего того, что ему предлагаете! Ибо не забывайте, что задавать ему этот вопрос значит научать, чтобы он, в свою очередь, и вам задавал его; вы должны рассчитывать, что впоследствии на всякое ваше предложение и он, по вашему примеру, не преминет возразить: «А на что это нужно?»»

Здесь, быть может, самая опасная западня для воспитателя. Если вы на вопрос ребенка, из желания отделаться от него, приведете хоть один довод, которого он не в состоянии понять, то, видя, что вы в рассуждениях основываетесь не на его идеях, а на своих собственных, он будет считать все сказанное вами пригодным для вашего, а не его возраста; он перестанет вам верить — и тогда все погубило. Но где тот наставник, который согласится стать в тупик и сознаться в своей вине перед учеником? Все считают своею обязанностью не сознаваться даже в том, в чем виноваты. Что же касается меня, то моим правилом будет сознаваться даже в том, в чем я неповинен, если мне невозможно будет привести доводов, доступных пониманию ребенка; таким образом, поведение мое, всегда ясное на его взгляд, никогда не будет для него подозрительным, и, предполагая в себе ошибки, я сохраню для себя больше влияния, нежели другие, скрывающие свои ошибки.

Прежде всего, вы должны хорошо помнить, что лишь в редких случаях вашею задачей будет указывать, что он должен изучать: это его дело — желать, искать, находить; ваше дело — сделать учение доступным для него, искусно зародить в нем это желание и дать ему средства удовлетворить его. Отсюда следует, что вопросы ваши должны быть не многочисленными, но строго выбранными; а так как ему приходится чаще обращаться к вам с вопросами, чем вам к нему, то вы всегда будете более обеспечены и чаще будете иметь возможность сказать ему: «А на что тебе нужно знать то, о чем ты спрашиваешь меня?»»

Далее, так как важно не то, чтоб он учился тому или иному, а то, чтоб он хорошо понимал, чему учиться и на что это ему нужно, то, как скоро вы не можете дать пригодного для него разъяснения по поводу сказанного вами, не давайте лучше никакого. Скажите ему без зазрения совести: «Я не могу дать тебе удовлетворительного ответа: я ошибся. Оставим это». Если наставление ваше было действительно неуместным, то не беда отказаться от него совсем; если же нет, то при небольшом старании вы скоро найдете случай сделать заметно для ребенка полезность этого наставления.

Я не люблю голословных объяснений; молодые люди мало обращают на них внимания и почти не помнят их. Предметного, предметного! Я не перестану повторять, что мы слишком много значения придаем словам; своим болтливым воспитанием мы создаем лишь болтунов.

Предположим, что в то время, как я изучаю со своим воспитанником течение солнца и способ ориентироваться, он вдруг прерывает меня вопросом: к чему все это нужно? С какою прекрасною речью я обращаюсь к нему! Сколько вещей я могу преподать ему при этом случае — отвечая на его вопрос особенно если кто-либо будет свидетелем нашей беседы!\*

\* Я часто замечал, что при ученых наставлениях, которые дают детям, заботятся не столько о том, чтобы дети слушали, сколько о том, чтобы их слышали присутствующие взрослые. Я хорошо уверен в том, что говорю, и о я сделал это наблюдение над самим собою.

Я буду говорить ему о пользе путешествий, о выгодах торговли, о произведениях, свойственных каждому климату, о нравах различных народов, об употреблении календаря, о важности для земледелия вычислений продолжительности времен года, об искусстве мореплавания, о способе находить направление среди моря и точно следовать своему пути, не зная, где находишься. Политика, естественная история, астрономия, даже мораль и международное право войдут в мое объяснение, чтобы дать моему воспитаннику высокое понятие о всех этих науках и внушить сильное желание изучить их. Когда я выскажу все, у меня будет настоящая выставка педанта, из которой ребенок не усвоит ни одной мысли. У него, как и прежде, будет большая охота спросить у меня, для чего нужно умение ориентироваться, но он не посмеет — из опасения рассердить меня. Он найдет более выгодным притворяться, что понимает все то, что принудили его выслушать. Вот как ведется образцовое воспитание.

Но наш Эмиль, которого воспитывают более грубо и в которого мы; с таким трудом влагаем туго воспринимаемую понятливость, совершенно не станет слушать всего этого. После первого же непонятого ему слова он убежит, начнет резвиться по комнате и оставит разглагольствовать меня одного. Поищем решения более грубого: мой научный аппарат никуда для него не годится.

Мы наблюдали местоположение леса к северу от Монморанси<sup>7</sup>, когда он перебил меня своим докучливым вопросом: на что это нужно? «Ты прав,— сказал я ему,— подумаем об этом на досуге; и если найдем, что это занятие ни на что не пригодно, не станем за него и браться; ведь у нас немало и полезных развлечений». Мы переходим к другому делу, а о географии во весь день не заводим уже и речи.

На другой день утром я предлагаю ему прогуляться до завтрака; он идет с величайшей охотой: бегать дети всегда готовы, а у этого проворные ноги. Мы забираемся в лес, проходим луга, путаемся и уже не знаем, где находимся; когда приходится идти домой, не можем найти дороги. Время идет, становится жарко; мы голодны; мы торопимся, блуждаем попусту из стороны в сторону; кругом видим только рощи, каменоломни, равнины — и ни одной приметы для распознавания местности! Изнемогая от жары, совершенно усталые и голодные, мы, чем больше бегаем, тем больше запутываемся. Наконец, мы садимся, чтоб отдохнуть и обсудить положение. Эмиль — если предположить, что он воспитан, как и всякий другой ребенок.— не рассуждает, а плачет, он не знает, что мы у самых ворот Монморанси и что только лесок скрывает его от нас; но этот перелесок для Эмиля — целый лес: человек его роста может схорониться в кустах.

После нескольких минут молчания я говорю ему с беспокойным видом: «Как же нам быть, дорогой Эмиль? как выйти отсюда?»

Эмиль *(весь в поту и горько плачет.)*

Я ничего не знаю. Я устал; мне хочется есть, пить; я не могу дальше идти.

Жан-Жак

А я разве в лучшем положении? Неужели, думаешь, я пожалел бы слез,— если бы можно было ими завтракать? Не плакать следует: нужно распознать местность. Посмотри на свои часы: который час?

Эмиль Уже полдень, а я ничего не ел...

Жан-Жак Правда... уже полдень, и я ничего не ел.

Эмиль

О, как вы, должно быть, голодны!

Жан-Жак

Беда в том, что обед не придет сюда ко мне. Теперь полдень — как раз тот час, в который мы вчера наблюдали из Монморанси поло-

жение леса. Вот если бы мы могли точно так же и из лесу наблюдать положение Монморанси!..

Эмиль. Да... но вчера мы видели лес, а отсюда города не видно.

Жан-Жак

В том-то и беда... Вот если бы мы могли, не видя города, найти его положение!..

Эмиль Милый мой!..

Жан-Жак Мы, кажется, говорили, что лес находится...

Эмиль К северу от Монморанси.

Жан-Жак Следовательно, Монморанси должно быть...

Эмиль К югу от леса.

Жан-Жак У нас есть средство отыскать север в полдень,

Эмиль Да, по направлению тени.

Жан-Жак

А юг?

Эмиль

Как тут быть?

Жан-Жак Юг противоположен северу.

Эмиль

Это верно... стоит только поискать направление, противоположное тени. Ах, вот юг, здесь юг! Наверное, Монморанси в этой стороне; пойдем в эту сторону.

Жан-Жак Ты, может быть, прав; пойдем по этой тропинке через лес.

Эмиль *(хлопает в ладоши и радостно вскрикивает)*

Ах, я вижу Монморанси! Вот оно прямо перед нами, совсем на виду! Идем завтракать, обедать, бежим скорей! Астрономия на что-нибудь да годится.

Заметьте, что если он и не скажет этой последней фразы, то все-таки подумает об этом: нужды нет, лишь бы не я ее сказал. Во всяком случае будьте уверены, что он всю жизнь не забудет урока этого дня, меж тем как, если бы я ограничился тем, что преподнес бы ему все это в его же комнате, речь моя на другой день была бы забыта. Нужно высказываться, насколько можно, в действиях, а словами говорить лишь то, чего не умеем сделать.

Читатель, конечно, не предполагает, что я такого низкого мнения о нем, что стану приводить примеры на каждый вид занятий; но о чем бы ни шла речь, я всеми силами должен убеждать воспитателя— хорошо соразмерять свои доводы со способностью воспитанника; ибо — повторяю еще раз — беда не в том, что он не понимает, а в том, что он считает себя понимающим.

Помню, как я раз, желая внушить ребенку охоту к занятиям химией и показавши ему несколько примеров осаждения металлов, объяснял, как делаются чернила. Я говорил ему, что их чернота происходит единственно от сильно разьединенного железа, выделенного из купороса и осажденного щелочною жидкостью. Среди моих ученых объяснений маленький плутишка поставил меня в тупик тем именно вопросом, которому я сам его научил: я оказался в большом затруднении.

Поразмыслив несколько, я придумал средство: я велел принести вина из погреба хозяина дома и другого вина в восемь су от виноторговца, налил в небольшой флакон раствора нелетучей щелочи; затем, поставив перед собою в двух стаканах эти два сорта вина<sup>\*</sup>, сказал ему следующее:

\* При каждом объяснении, которое хотят предложить ребенку, небольшие приготовления, предшествующие объяснению, много содействуют возбуждению его внимания.

«Многие съестные припасы подделывают, чтоб они казались лучшими, чем бывают в действительности. Эти подделки обманывают глаз и вкус; но они вредны, и подделанная вещь, при всей своей красивой наружности, становится худшею, чем была прежде.

Подделывают преимущественно напитки, и особенно вина, потому что здесь обман труднее узнать и он приносит больше выгоды обманщику.

Подделка вин неустоявшихся или кислых производится с помощью глета; глет есть препарат свинца. Свинец в соединении с кислотами дает очень сладкую соль, которая ослабляет на вкус кислоту вина, но бывает ядом для тех, кто пьет такое вино. Значит, прежде чем пить подозрительное вино, важно знать, подмешан в нем глет или нет. А чтобы открыть это, я рассуждаю так.

Вино содержит не только воспламеняемый спирт, как это ты видел в водке, которую из него выгоняют,— оно содержит еще кислоту, как это ты можешь узнать по уксусу и винному камню, которые тоже из него извлекаются.

Кислота имеет сродство с металлическими веществами и соединяется с ними путем растворения, так что образуется сложная соль,— такая, например, как ржавчина, которая есть не

что иное, как железо, растворенное кислотою, содержащейся в воздухе или в воде, или такая, как медянка-ярь, которая есть не что иное, как медь, растворенная в уксусе.

Но эта же самая кислота имеет еще больше сродства со щелочными веществами, чем с металлическими, так что вследствие вступления первых в сложные соли, о которых я только что говорил тебе, кислота принуждена оставить металл, с которым была соединена, и соединиться со щелочью.

Тогда металлическое вещество, освободившись от кислоты, державшей его в растворенном состоянии, осаживается и делает жидкость мутною.

Если, значит, в одно из этих вин подмешан глет, то кислота его держит глет в растворенном состоянии. Если я подолью в него щелочной жидкости, она принудит кислоту освободиться от глета и соединиться с нею самой; свинец, не удерживаемый уже в растворе, снова проявится, взмутит жидкость и, наконец, осядет на дно стакана.

Если в вине нет ни свинца, ни другого металла\*, то щелочь спокойно\* соединится с кислотою, все останется растворенным, и не произойдет никакого осаждения».

Затем я последовательно налил щелочной жидкости в оба стакана; домашнее вино осталось светлым и прозрачным, а покупное вино в один момент взмутилось, и через час ясно можно было видеть свинец, осевший на дно стакана.

\* Вина, продаваемые в розницу у парижских виноторговцев, хотя не всегда подмешаны глетом, но редко свободны от свинца, потому что прилавки этих торговцев отделаны этим металлом и вино, разливающееся из мерки, протекая по этому свинцу и оставаясь на нем, всегда растворяет в себе некоторую часть его. Странно, что злоупотребление, столь очевидное и опасное, терпится полицией. Впрочем, ведь зажиточные люди, не пьющие почти этих вин, мало подвергаются опасности быть ими отравленными.

\*\* Растительная кислота очень умеренна. Если бы это была минеральная кислота, и притом менее разжиженная, то соединение не обошлось бы без вскипания.

«Вот,— прибавил я,— натуральное и чистое вино, которое можно пить, а вот вино поддельное, которое отравляет. Это открывается с помощью тех самых сведений, о полезности которых ты меня спрашивал: кто знает хорошо, как делаются чернила, тот умеет распознавать и подмешанные вина».

Я был очень доволен своим примером и, однако ж, заметил, что ребенка он не поразил. Только спустя некоторое время я понял, что сделал глупость; ибо, не говоря уже о невозможности для двенадцатилетнего ребенка проследить мое объяснение, полезность этого опыта ускользнула из его ума, потому что, отведав того и другого вина и найдя оба их вкусными, он не мог соединять никакой идеи со словом «подделка», которое, думалось мне, я так хорошо разъяснил ему. А слова «нездорово», «отрава» не имели для него никакого даже смысла; он был тут в таком же положении, как рассказчик о враче Филиппе: это положение всякого ребенка.

Отношение следствий к причинам, между которыми мы не замечаем связи, блага и бедствия, о которых не имеем понятия, потребности, которых никогда не испытывали,— все это не существует для нас: невозможно заинтересовать нас этими вещами в выполнении чего-нибудь, к ним относящегося. В пятнадцать лет смотришь такими же глазами на счастье быть умным человеком, какими в тридцать— на блаженство рая. Кто хорошо не представляет себе того и другого, тот не особенно станет добиваться этих вещей; а если даже представляет, этого мало: нужно желать их, нужно чувствовать потребность в них. Легко доказать ребенку полезность того, чему хотят его научить; но это доказывание не имеет никакого значения, если не умеют его убедить. Тщетно спокойный разум заставляет нас одобрять или порицать: одна лишь страсть заставляет нас действовать; а как пристраститься к интересам, которых не имеешь еще?

Не указывайте ребенку ничего такого, чего он не мог бы видеть. Пока человечество еще чуждо ему, не будучи в состоянии возвысить его до положения взрослого, низводите для него взрослого до положения ребенка. Помышляя о том, что может быть полезным для него в другом возрасте, говорите ему лишь о том, пользу чего он видит в настоящий момент. Впрочем, избегайте сравнений с другими детьми: не нужно соперников, не надо конкурентов — даже в беге,— коль скоро ребенок начинает рассуждать; по моему мнению, во сто раз лучше не учиться вовсе, чем учиться из-за одной зависти или тщеславия. Я буду только ежегодно отмечать сделанные им успехи, я буду сравнивать их с успехами последующего года и скажу ему: «Ты подрос на столько-то линий: вот какую канаву ты перепрыгивал; вот какую тяжесть ты мог поднять; вот на какое расстояние — мог бросать камень; вот какой конец — пробежал без остановки» и т. д. «Посмотрим, что ты сумеешь теперь». Таким образом, я поощряю, не возбуждая ни к кому зависти. Он захочет превзойти самого себя и должен это сделать; я не вижу никакой в том беды, что он соревнуется с самим собою.

Я ненавижу книги: они лишь учат говорить о том, чего не знаешь. Рассказывают, что Гермес вырезал элементы наук на колоннах с целью обезопасить свои открытия на случай потопа<sup>8</sup>. Если б он получше запечатлел их в голове людей, они остались бы там целыми, передаваясь из рода в род. Мозг, хорошо подготовленный,— это монумент, на котором надежнее всего запечатлеваются человеческие познания.

Нет ли средства сблизить всю массу уроков, рассеянных в стольких книгах, свести их к одной общей цели, которую легко было бы видеть, интересно проследить и которая могла бы служить стимулом даже для этого возраста? Если можно изобрести положение, при котором все естественные потребности человека обнаруживались бы ощутительным для детского ума способом и средства удовлетворить эти самые потребности развивались бы постепенное одной и тою же легкостью, то живая и простодушная картина этого положения должна служить первым предметом упражнения для воображения ребенка.

Пылкий философ, я уже вижу, как зажигается твое собственное воображение. Не трудись понапрасну: положение это найдено, оно описано и — не в обиду будь сказано — гораздо лучше, чем описал бы ты сам, по крайней мере с большим правдоподобием и простотой. Если уж нам непременно нужны книги, то существует книга, которая содержит, по моему мнению, самый удачный трактат о естественном воспитании. Эта книга будет первою, которую прочтет Эмиль; она одна будет долго составлять всю его библиотеку и навсегда займет в ней почетное место. Она будет текстом, для которого все наши беседы по естественным наукам будут служить лишь комментарием. При нашем движении вперед она будет мерилom нашего суждения; и пока не испортится наш вкус, чтение этой книги всегда нам будет нравиться. Что же это за чудесная книга? Не Аристотель ли, не Плиний<sup>9</sup> ли, не Бюффон ли? — Нет: это «Робинзон Крузо»<sup>10</sup>.

Робинзон Крузо на своем острове — один, лишенный помощи себе подобных и всякого рода орудий, обеспечивающий, однако, себе пропитание и самосохранение и достигающий даже некоторого благосостояния — вот предмет, интересный для всякого возраста, предмет, который тысячью способов можно сделать занимательным для детей. Вот каким путем мы осуществляем необитаемый остров, который служил мне сначала для сравнения. Конечно, человек в этом положении не есть член общества; вероятно, не таково будет и положение Эмиля; но все-таки по этому именно положению он должен оценивать и все другие. Самый верный способ возвыситься над предрассудками и сообразоваться в своих суждениях с истинными отношениями вещей — это доставить себя на место человека изолированного и судить о всем так, как должен судить этот человек, — сам о своей собственной пользе.

Роман этот, освобожденный от всяких пустяков, начинающийся с кораблекрушения Робинзона возле его острова и оканчивающийся прибытием корабля, который возьмет его оттуда, будет для Эмиля одновременно и развлечением, и наставлением в ту пору, о которой идет здесь речь. Я хочу, чтобы у него голова пошла кругом от этого, чтоб он беспрестанно занимался своим замком, козами, плантациями; чтоб он изучил в подробности — не по книгам, а на самих вещах — все то, что нужно знать в подобном случае; чтоб он сам считал себя Робинзоном, чтобы представил себя одетым в шкуры, с большим колпаком на голове, с большою саблей, во всем его странном наряде, исключая зонтика, в котором он не будет нуждаться. Я хочу, чтоб он задавался вопросами, какие принимать меры в случае недостатка того или иного предмета, чтоб он внимательно проследил поведение своего героя, поискал, не опустил ли тот чего, нельзя ли было сделать что-нибудь лучше, чтоб он старательно отметил его ошибки и воспользовался ими, чтобы при случае самому не делать подобных промахов; ибо будьте уверены, что он и сам захочет осуществить подобного рода поселок; это настоящий воздушный замок для того счастливого возраста, когда не знают иного счастья, кроме обладания необходимым и свободы.

Каким обильным источником является это увлечение для человека ловкого, который для того только и зарождает это увлечение в ребенке, чтобы извлечь из него пользу! Ребенок, торопясь



устроить склад вещей на своем острове, проявит больше страсти к учению, чем учитель к преподаванию. Он захочет знать все, что полезно для этого, и притом — только полезно: вам не нужно будет руководить им, придется лишь сдерживать его. Впрочем, поспешим поселить его на этот остров, пока он ограничивает этим свои мечты о счастье; ибо близок день, когда если он захочет на нем жить, то жить не один, когда его ненадолго удовлетворит и Пятница, на которого он теперь не обращает внимания.

Занятие естественными искусствами, которым человек может отдаваться и в одиночку, ведет к открытию искусств промышленных, для которых требуется уже совместная работа многих рук. Первыми могут заниматься отшельники, дикари; но вторые могут явиться лишь среди общества и делают последнее необходимым. Пока известны лишь физические потребности, каждый человек удовлетворяет самого себя; с появлением избытка делается неизбежным раздел и распределение труда; ибо, хотя один человек, работающий в одиночку, зарабатывает пропитание не более как на одного человека, сто человек, работающих сообща, сработают уже столько, что этого хватит на пропитание двухсот человек. Таким образом, коль скоро часть людей отдыхает, совместная деятельность работающих должна возместить собою праздность тех, которые ничего не делают.

Вашей главной заботой должно быть устранение от ума вашего воспитанника всех понятий об общественных отношениях, недоступных для его разумения; но когда неразрывная связь знаний вынуждает вас показать ему взаимную зависимость между людьми, то вместо того, чтобы показывать ее с моральной стороны, обратите сначала все его внимание в сторону промышленности и механических искусств, которые делают людей полезными друг для друга. Водя его из мастерской в мастерскую, никогда не допускайте его ограничиваться одним наблюдением, без приложения своих рук к делу; пусть он выходит не раньше, чем узнает в совершенстве основы всякого производства или, по крайней мере, всего, что наблюдал. А для этого работайте сами, давайте всюду пример: чтобы сделать его мастером, будьте всюду подмастерьем и принимайте в расчет, что за час работы он выучит больше того, что запомнил бы после целого дня объяснений.

Общественная оценка различного рода искусств находится в обратном отношении к их действительной пользе. Эта оценка в прямом отношении с их бесполезностью; так и должно быть. Самые полезные искусства — это те, которые менее всего оплачиваются, потому что число работников соразмеряется с потребностями людей, а работа, необходимая для всех, неизбежно стоит в той цене, какую может платить бедняк. Напротив, те высокоумные люди, которых зовут не ремесленниками, а артистами, работая единственно на праздных и богатых, назначают своим безделушкам цену произвольную, а так как все достоинство этих вздорных работ заключается в людском мнении о них, то самая стоимость их составляет уже часть этого достоинства, и ценят их соразмерно тому, что за них заплачено. Богач дорожит ими не из-за пользы, а из-за того, что бедняк не может за них заплатить. *Nolo habere bona nisi quibus populus invidet*<sup>\*11</sup>.

\* *Петрон[ин, Сатирикон, гл. 100.]*

Что станет с вашими воспитанниками, если вы дадите им возможность усвоить этот глупый предрассудок, если вы сами благоприятствуете ему, если они видят, например, что в мастерскую золотых дел мастера вы входите с большим почтением, чем в мастерскую слесаря? Какое суждение составит у них об истинном достоинстве искусств и о настоящей стоимости вещей, если они увидят, что цены, установленные прихотью, всюду находятся в противоречии с ценою, вытекающею из действительной полезности, что, чем дороже ценится вещь, тем меньше она стоит? С той же минуты, как вы дадите забраться в голову этим идеям, бросьте все остальное воспитание: против вашей воли, они окажутся воспитанными, как и все прочие; четырнадцать лет забот пропали у вас даром.

Эмиль, заботясь о снабжении всем нужным своего острова, будет иначе смотреть на вещи. Робинзон гораздо более дорожил бы лавкою торговца скобяными товарами, чем всеми безделками Саида. Первый показался бы ему очень почтенным человеком, а второй — мелким шарлатаном.

«Мой сын создан для того, чтобы жить в свете; он не с мудрецами будет жить, а с безумцами; нужно, следовательно, чтоб он знал их безумия, потому что они хотят быть руководимыми именно с помощью этого безумия. Действительное знание вещей, быть может, хорошо, но знакомство с людьми и их суждениями еще лучше: в человеческом обществе важнейшее орудие человека — это сам человек, и самый мудрый тот, кто лучше всего пользуется этим орудием. К чему детям давать понятие о воображаемом порядке, совершенно противном тому, который они найдут установившимся и с которым им придется сообразоваться? Научите их прежде всего быть мудрыми, а потом вы научите их и судить о том, в чем состоит безумство других».

Вот на каких обманчивых правилах основывается ложное благоразумие отцов, стремящееся сделать детей рабами предрассудков, которыми их питают, и игрушкою той самой безрассудной толпы, из которой думают сделать орудие их страстей. Чтобы познать человека, сколько вещей нужно знать еще раньше этого! Человек — последний предмет изучения для мудреца, а вы имеете претензию сделать его первым предметом обучения для ребенка! Прежде чем просветить его относительно наших чувствований, научите его оценивать эти чувствования. Разве это значит узнавать безумие, если мы его принимаем за разум? Чтобы быть мудрым, нужно различать, что не мудро. Как ребенок ваш узнает людей, если он не умеет ни судить о их суждениях, ни разбираться в их заблуждениях? Беда — знать\* что они думают, когда не знаешь, истинны или ложны их мысли. Научите же прежде всего тому, что такое вещи сами по себе, а после этого вы укажете, чем они представляются нашим глазам: таким путем он научится сопоставлять людское мнение с истиной и возвышаться над чернью; ибо тот не знает, что такое предрассудки, кто усваивает их; тот не будет руководить толпой, кто похож на нее. Но если вы начинаете с того, что знакомите его с людским мнением, не научивши оценивать это мнение, то будьте уверены, что, несмотря на все ваши усилия, оно станет и его собственным мнением и вы уже не искорените его. Таким образом,

выходит, что если хотят сделать молодого человека рассудительным, то нужно хорошо развить в нем способность судить, вместо того чтобы диктовать ему наши собственные суждения.

Вы видите, что до сих пор я не говорил еще о людях с моим воспитанником; у него слишком много здравого смысла, чтобы слушать меня; его сношения со своими ближними не настолько еще ощутимы для него, чтоб он мог судить по самому себе о других. Он не знает иного человеческого существа, кроме самого себя, и даже очень еще далек от познания самого себя; но если у него мало суждений о своей личности, то по крайней мере суждения эти все правильны. Он не ведает, какое место занимают другие, но зато понимает свое место и умеет на нем держаться. Вместо законов социальных, которых он не может знать, мы опутали его цепями необходимости. Он пока еще не более как существо физическое — станем же обходиться с ним, как с таковым.

Все тела природы и все людские труды он должен оценивать по их видимому отношению к его собственной пользе, безопасности, самосохранению, благосостоянию. Таким образом, железо в его глазах должно быть гораздо ценнее золота, стекло ценнее алмаза; точно так же он больше почитает сапожника, каменщика, чем Ламперера, Леблана и всех ювелиров Европы; особенно пирожник — очень важный человек в его глазах, и он всю Академию наук променял бы на самого незначительного кондитера с улицы Ломбар. Золотых дел мастера, резчики, позолотчики, золотошвей, по его мнению, просто лентяи, которые забавляются совершенно бесполезными игрушками; он даже не особенно ценит и часовое мастерство. Счастливый ребенок наслаждается временем и не бывает его рабом; он им пользуется и не знает цены его. Безмятежность страстей, благодаря которой ход времени ему кажется всегда ровным, заменяет у него инструмент для измерения, при случае, времени\*. Предполагая, что он имеет часы или заставляя его плакать, я представлял себе заурядного Эмиля — только для того, чтобы дать полезный и понятный пример; что же касается настоящего Эмиля, то ребенок, столь мало похожий на других, не мог бы ни в чем быть примером.

Есть и другой порядок, не менее естественный и даже более разумный: искусства можно рассматривать до отношению к их взаимной необходимости друг для друга, ставя в первом ряду наиболее независимые и в последнем те, которые зависят от большого числа других. Этот порядок, ведущий к важным соображениям относительно порядка общественного, похож на предыдущий и подвергается таким же нарушениям при людской оценке искусств, так что обработкой сырых материалов заняты ремесла самые непочетные и почти безвыгодные и, чем больше материал переходит из рук в руки, тем ценнее и почетнее делается работа. Я не рассматриваю, действительно ли искусство, дающее последнюю форму этому материалу, требует большего мастерства и заслуживает большего вознаграждения, чем первоначальная обработка, делающая его годным для людского употребления; но я говорю, что в каждом случае искусство, применение которого наиболее распространено и наиболее необходимо, заслуживает, неоспоримо, и наибольшего уважения и что то искусство, для которого менее необходимы другие искусства,

более достойно почитания, чем искусства совершенно подчиненные, потому что оно свободнее я ближе к независимости. Вот настоящие правила для оценки искусств и промышленности; все остальное произвольно и зависит от людского мнения.

\* Время теряет для нас всякую меру, когда им хотят управлять наши страсти, по своему собственному произволу. Часами мудреца бывает ровность его настроения и спокойствие души: у него всегда удобный час, и он всегда его знает.

Первым и наиболее почтенным из всех искусств является земледелие; на втором месте я поставил бы кузнечное искусство, на третьем — плотничье и т. д. Ребенок, не обольщенный еще обычными предрассудками, будет судить точно так же. Сколько важных размышлений по этому поводу извлечет наш Эмиль из своего «Робинзона». Что подумает он, видя, что искусства совершенствуются не иначе, как подразделяясь и умножая до бесконечности число своих орудий? Он скажет себе: «Какая глупая страсть у людей к изобретательности! Подумаешь, что они боятся, как бы негодились им на что-нибудь руки и пальцы,— столько придумывают они орудий, чтоб обходиться без рук. Чтобы заниматься одним каким-нибудь искусством, они подчинили себе тысячи других; целый город нужен для каждого работника. Что же касается меня и моего товарища, то наш гений заключается в нашей ловкости; мы приготовляем себе такие орудия, которые можно было бы всюду носить с собою. Все эти люди, столь гордые своими талантами в Париже, ничего не умели бы делать на нашем острове, и им пришлось бы у нас же учиться ремеслу».

Читатель, не ограничивай здесь своих наблюдений одним телесным упражнением, одною ловкостью рук нашего воспитанника; но рассмотри, какое мы даем направление детской любознательности; прими во внимание смышленность, дух изобретательности, предусмотрительность; посмотри, какую рассудительность хотим мы развить в нем. Во всем, что он увидит, во всем, что станет делать, он захочет узнать все, он захочет дойти до корня; он ничего не станет допускать в виде предположения и откажется учиться тому, что требует предварительных познаний, которых у него нет еще; если он увидит, как делают пружину, ему захочется знать, как извлекли из рудника железо; если он увидит, как собирают составные части сундука, ему захочется знать, как было срублено дерево; если он работает сам, по поводу каждого орудия, которым пользуется, он не преминет спросить себя: «Если бы у меня не было этого орудия, как мне следовало бы поступить, чтобы приготовить подобное орудие или обойтись без него?»

При занятиях, которым наставник предается со страстью, трудно избежать ложного предположения, что и ребенок всегда питает к ним такую же охоту; поэтому, когда вы увлекаетесь работой, берегитесь, чтобы ребенок не скучал тем временем, не смея выказать вам своей скуки. Он должен быть поглощен предметом; но и вы должны быть поглощены ребенком, должны неустанно и незаметно для него наблюдать, высматривать, заранее предчувствовать все его чувства,

предупреждать те, которых он не должен иметь,— словом, так занимать его, чтоб он не только сознавал себя полезным в работе, но и находил в ней удовольствие вследствие ясного понимания того, для какой цели служит его работа.

Общение искусств состоит в обмене изобретательности, общение торговли — в обмене вещей, общение банков — в обмене знаков и денег; все эти идеи взаимно сплетаются, а элементарные понятия уже получены нами: мы положили фундамент для всего этого еще в первом возрасте — с помощью садовника Робера. Теперь нам остается лишь обобщить эти идеи, распространить их на большее число примеров, чтобы дать ребенку понять, что такое торговое движение само по себе, наглядно пояснив это подробностями из естественной истории о произведениях, свойственных каждой стране, подробностями из искусств и наук, относящихся к мореплаванию, и, наконец, указанием на большую или меньшую затруднительность провоза, смотря по отдаленности местностей, по положению стран, морей, рек и т. д.

Никакое общение не может существовать без обмена, никакой обмен — без общей меры, никакая общая мера — без равенства. Таким образом, первым законом для всякого общения является какое-нибудь условное равенство — между людьми или между вещами.

Необходимым результатом условного равенства между людьми, которое далеко отличается от равенства естественного, является положительное право, т. е. управление и законы. Политические познания ребенка должны быть ясны и ограничены: об управлении вообще он должен узнать лишь то, что относится к праву собственности, о котором он уже имеет некоторое понятие.

Условное равенство между вещами повело к изобретению монеты; ибо монета есть не что иное, как сравнительное выражение для стоимости разного рода вещей; в этом смысле монета является истинною связью общества; но монетой может быть все: некогда ею был скот, у многих народов и теперь еще монетой служат раковины; железо было монетой в Спарте, кожа — в Швеции, золото и серебро служат монетой у нас.

Металлы, как предметы более удобные для перенесения, были, говоря вообще, избраны в качестве посредствующего звена при всех обменах; металлы эти превратили в монету, чтобы не прибегать при каждом обмене к измерению или взвешиванию; ибо знак на монете есть не что иное, как свидетельство, что монета, таким образом помеченная, имеет такой-то вес; и государь один имеет право чеканить монету, потому что он один имеет право требовать, чтобы его свидетельство имело силу закона у всего народа.

Польза этого изобретения после таких объяснений делается очевидной даже для самого тупого человека. Трудно сравнивать непосредственно вещи, различные по природе,— сукно, например, с хлебом; но когда найдена общая мера, т. е. монета, то фабриканту и земледельцу легко перевести стоимость вещей, которыми они хотят обменяться, на эту общую меру. Если такое-то количество хлеба стоит такой-то суммы денег и такое-то количество сукна стоит той же суммы денег, то отсюда следует, что купец, получая этот хлеб за свое сукно, производит правильную мену. Таким

образом, с помощью монеты вещи различных видов делаются соизмеримыми и могут взаимно сравниваться

Не распространяйтесь дальше этого и не входите в объяснение моральных последствий этого учреждения. Во всякой вещи, прежде чем указывать злоупотребления, важно хорошо выяснить пользу. Если бы вы вздумали объяснять детям, как знаки ведут к пренебрежению вещами, как деньгами порождаются все химеры людского мнения, как страны, богатые деньгами, должны быть бедны во всем остальном, то, значит, вы с детьми обращались бы не только как с философами, но и как с мудрецами, и имели бы претензию сделать для них понятным то, чего хорошо не постигли даже многие философы.

На какую массу интересных предметов можно таким образом направить любознательность ребенка, не выходя ни разу из среды отношений действительных и материальных, доступных его пониманию, и не допуская возникнуть в его уме ни одной идее, которой он не мог бы постичь! Искусство наставника состоит в том, чтобы не направлять его наблюдательности на мелочи, ни с чем не связанные, но постоянно приближать его к основным отношениям, с которыми он должен со временем ознакомиться, чтобы приобрести правильное суждение о хорошем и дурном строе гражданского общества. Нужно уметь приспособлять беседы, которыми занимаешь его, к тому складу ума, который ему даден. Иной вопрос, который не мог бы даже слегка затронуть внимания другого, промучит Эмиля чуть не полгода.

Мы отправляемся обедать в богатый дом; мы видим приготовления к пиру, массу людей, толпу лакеев, множество блюд, изящную и тонкую сервировку. Во всей этой веселой и праздничной обстановке есть что-то опьяняющее, так что с непривычки кружится голова. Я предчувствую, какое действие произведет все это на моего воспитанника. В продолжение обеда, в то время как блюда следуют одно за другим и вокруг стола раздается тысяча шумных речей, я нагибаюсь к его уху и говорю ему: «А как ты думаешь, через сколько рук прошло все, что ты видишь на этом столе, прежде чем попасть сюда?» Какую толпу идей я пробуждаю в его мозгу этими немногими словами! Момент — и все опьянение восторга исчезло. Он задумывается, размышляет, высчитывает, беспокоится. В то время как философы, развеселенные винами, а быть может, и своими соседками, несут вздор и ведут себя, как дети, он философствует — один в своем углу; он спрашивает меня, я отказываюсь отвечать, откладываю до другого раза; он теряет терпение, забывает про еду и питье и горит желанием выйти из-за стола, чтобы переговорить со мною на свободе. Какая задача для его любознательности! Какой материал для его поучения! При своем здравом суждении, которого ничто не могло еще омрачить, что подумает он о роскоши, когда найдет, что все страны мира обложены были данью, что двадцать миллионов рук, быть может, долго трудились и тысячи людей поплатились, быть может, жизнью и все для того, чтобы пышно представить ему в полдень то, что вечером он оставит в другом месте.

Подмечайте старательно те тайные выводы, которые он извлекает в своем сердце из всех этих наблюдений. Если вы не так тщательно оберегали его, как я предполагаю, у него может явиться искушение направить свои размышления в другую сторону и вообразить себя важной в свете персоной — при виде того, скольких хлопот стоит приготовление «его» обеда. Если вы предчувствуете это рассуждение, то легко можете предупредить его, прежде чем оно зародится, или по крайней мере тотчас же сгладить связанное с ним впечатление. Не умея еще присваивать себе вещи иным путем, кроме материального обладания, он судит о том, предназначены они для него или нет, исключительно по чувственно воспринимаемым отношениям. Сравнения простого деревенского обеда, подготовленного упражнениями, приправленного голодом, свободой, весельем, с этим столь великолепным и столь чопорным пиршеством будет достаточно, чтобы дать ему понять, что, так как весь этот блеск пира не принес ему никакой действительной выгоды, так как из-за стола крестьянина он выходит с таким же удовлетворенным желудком, как и из-за стола банкира, то, значит, ни у того, ни у другого не было ничего такого? что он мог бы назвать поистине «своим».

Представим, что в подобном случае мог бы сказать ему воспитатель. «Припомни получше оба эти обеда и реши сам, за которым ты испытывал больше удовольствия, за которым ты подметил больше веселья? где ели с большим аппетитом, пили веселее, смеялись от всей души? который тянулся дольше без скуки и не нуждаясь в возобновлении с помощью других блюд? Однако ж смотри, какая разница: этот черный хлеб, который ты находишь столь вкусным, происходит из зерна, собранного этим же крестьянином; его мутное и кислое, хотя освежающее и здоровое вино добыто из собственного виноградника; столовое белье сделано из пеньки, выпряденной его же женой, дочерьми и работницей; ничьи другие руки, кроме рук его семьи, не приготавливали приправ для его стола; ближайшая мельница и соседний рынок — для него границы Вселенной. В чем же заключалось твое действительное пользование всем тем, что, сверх этого, доставили на тот стол отдаленные страны и человеческие руки? Если, несмотря на все это, ты обедал не лучше, то что же ты выиграл при этом изобилии? что там было такого, что можно было бы считать приготовленным для тебя?» «Если бы ты был хозяином дома,— может он прибавить,— то все это осталось бы для тебя еще более чуждым; ибо забота выставить на глаза других еще обладание окончательно лишила бы тебя наслаждения, соединенного с обладанием: тебе бы достался труд, а им удовольствие».

Эта речь может быть очень прекрасной; но она совсем негодна для Эмиля, которому она непонятна и которому никто не подсказывает его размышлений. С ним говорите проще. После этих двух опытов скажите ему как-нибудь утром: «Где сегодня нам обедать? среди той горы серебра, которая покрывала три четверти стола, среди цветников из бумажных цветов, которые подаются на зеркальном стекле за десертом, среди тех женщин в больших фижмах, которые обращаются с тобой, как с куклой, и хотят, чтобы ты говорил им, чего не знаешь, или лучше в той

деревне, в двух милях отсюда, у тех добрых людей, которые так радостно принимают нас и дают нам таких хороших сливок?» Выбор Эмиля не подлежит сомнению; ибо он не болтлив и не тщеславен; он не может выносить стеснений, и все наши тонкие приправы ему не нравятся; но он всегда готов бегать в деревне и очень любит хорошие фрукты, хорошие овощи, хорошие сливки и хороших людей\*. По дороге мысль приходит сама собой: я вижу, что эти толпы людей, работая на эти пышные обеды, теряют все плоды трудов своих или что они вовсе не думают о наших удовольствиях.

\* Вкус к деревне, которую я предполагаю в своем воспитаннике, есть естественный результат его воспитания. К тому же, не отличаясь тем фатовским и щегольским видом, который так нравится женщинам, он не встречает у них такого внимания к себе, как другие дети; следовательно, он меньше находит удовольствия в том, чтобы быть с ними, и меньше портится в их обществе, не будучи еще в состоянии почувствовать прелесть его. Я остерегался учить его целовать у них руки, говорить им пошлости, даже оказывать им предпочтительнее перед мужчинами должное уважение: я поставил себе за ненарушимый закон ничего не требовать от него такого, основание чего было, бы выше его понимания, а для ребенка нет справедливого основания обходиться с одним полом иначе, чем с другим.

Мои примеры, пригодные, быть может, для одного субъекта, окажутся негодными для тысячи других. Кто усвоит их дух, тот хорошо сумеет, в случае нужды, разнообразить их: выбор зависит от изучения природных свойств каждого ребенка, а это изучение зависит от предоставляемой им возможности обнаружить себя. Нельзя предполагать, что в течение 3—4 лет, которые находятся теперь в нашем распоряжении, мы могли бы ребенку, хотя бы и счастливо одаренному, природой, дать понятие о всех искусствах и всех естественных науках — понятие, достаточное для того, чтобы со временем он мог изучать их сам; но, проводя, таким образом, перед его глазами все предметы, которые ему важно узнать, мы даем ему возможность развивать свой вкус, свой талант, делать первые шаги к тому предмету, куда влекут его природные способности, и указывать нам путь, который нужно пролагать для него с целью содействовать природе.

Другим преимуществом этого сцепления знаний — ограниченных, но точных — является возможность показать их в связи, во взаимных отношениях, дать каждому из них надлежащее место в его оценке и предупредить в нем появление предрассудков, настраивающих большинство людей в пользу тех талантов, которые они развивают в себе, и против тех, которыми пренебрегли. Кто ясно видит порядок целого, тот видит, какое место должна занимать и каждая часть; кто хорошо видит часть и знает ее основательно, тот может быть человеком ученым; но тот, первый, есть человек рассудительный, а вы помните, что мы ставим себе целью приобрести не столько знание, сколько способность суждения.

Как бы то ни было, моя метода не зависит от моих примеров: она основана на измерении способностей человека в его различные возрасты и на подборе занятий, соответственных его



способностям. Я верю, что легко найти и другую методу, которая может показаться лучшей; но если она будет менее приурочена к видовым особенностям, к возрасту, полу, сомневаюсь, чтоб она имела такой же успех. Вступая в этот второй период, мы воспользовались избытком своих сил над потребностями, чтобы выйти из своих пределов; мы устремлялись на небеса, измеряли землю, отыскивали законы природы,— одним словом, мы исходили целый остров; теперь мы возвращаемся домой, незаметно приближаемся к своему жилищу. Какое счастье, что, входя, мы находим его еще не во власти врага, который угрожает нам и готовится им овладеть!

Что остается нам делать после того, как мы осмотрели все окружающее? Остается обратить в свою пользу все, что можем присвоить себе, и воспользоваться своею любознательностью в видах своего благосостояния. Доселе мы запасались всякого вида орудиями, не зная, которые из них нам понадобятся. Наши орудия, бесполезные для нас, быть может, пригодятся другим; а может быть, и нам, в свою очередь, понадобятся чужие орудия. Таким образом, мы все выиграем от этой мены; но, чтобы произвести ее, нужно знать свои взаимные нужды, нужно, чтобы каждый знал, что имеют другие для его употребления и что он может предложить им взамен. Предположим, что живут десять человек и у каждого десять видов различных потребностей. Приходится каждому ради своих нужд заниматься десятью видами работ; но благодаря разнице в природных способностях и таланте один меньше успеет в одной из этих работ, другой — в другой. Все, будучи способными на различные вещи, будут делать одно и то же, и дело пойдет у них плохо. Образует общество из этих десяти человек, и пусть каждый займется, для самого себя и для девяти остальных, тем родом деятельности, который лучше всего ему подходит; каждый будет пользоваться талантами других, как будто он один обладал ими всеми; каждый непрерывным упражнением будет совершенствовать свой собственный талант, и в результате выйдет, что все десятеро, вполне снабженные всем нужным, будут иметь еще избыток для других. Вот очевидная основа всех наших учреждений. Исследование последствий этого не касается моего сюжета: я занялся этим в другом сочинении<sup>\*13</sup>.

В силу этого принципа человек, который желал бы смотреть на себя как на существо изолированное, ни от чего не зависящее и удовлетворяющее само себя, неизменно был бы существом несчастным. Ему даже невозможно было бы существовать; находя всю землю покрытою «твоим» и «моим» и не имея ничего своего, кроме тела, откуда он возьмет средства для существования? Выходя из естественного состояния, мы этим самым принуждаем и ближних своих к тому же; никто не может пребывать в нем наперекор другим; желать оставаться в нем, при невозможности это сделать,— это все равно, что выйти из него; ибо первый закон природы — это закон самосохранения.

Таким-то образом мало-помалу образуются в уме ребенка идеи об общественных отношениях, даже прежде, чем он мог бы действительно стать активным членом общества. Эмиль видит, что если он хочет иметь орудия для своего употребления, то он должен иметь орудия и для

употребления других, чтобы в обмен на них получить предметы, необходимые ему и находящиеся во власти других. Мне легко довести его до сознания необходимости такой мены и дать ему случай воспользоваться ею.

\* Речь о происхождении неравенства.

«Ваше превосходительство, ведь нужно же жить!» — говорил один несчастный сатирик министру<sup>13</sup>, ставившему ему в упрек бесчестность его ремесла.— «Я не вижу в этом необходимости»,— холодно возразил ему сановник. Ответ этот, превосходный для министра, был бы варварским и ложным во всяких других устах. Всякому человеку нужно жить. Аргумент этот, которому каждый придает больше или меньше силы, смотря по степени своего человеколюбия, кажется мне неоспоримым для того, кто приводит его по отношению к самому себе. Так как из всех отвращений, внушаемых нам природой, самое сильное — это отвращение к смерти, то отсюда следует, что природа все позволяет человеку, если у него нет никакого другого способа жить. Принципы, в силу которых добродетельный человек научается презирать свою жизнь и приносить ее в жертву долгу, очень далеки от этой первобытной простоты. Счастливы народы, среди которых можно быть добрым без усилия и справедливым без Добродетели! Если же существует в мире бедственное положение, когда никто не может жить без зла и когда граждане по необходимости бывают плутами, то не злодея нужно вешать, а того, кто принуждает его стать таким.

Как скоро Эмиль узнает, что такое жизнь, моею первою заботой будет научить его, как сохранять ее. До сих пор я не различал званий, рангов, состояний; я не стану различать их и впоследствии, потому что человек один и тот же во всех званиях, потому что у богача желудок не больше, чем у бедного, и не лучше переваривает, потому что у господина руки не длиннее и не сильнее, чем у его раба, потому что вельможа не больше ростом, чем простолудин, и, наконец, потому что раз естественные потребности всюду одни и те же, то и средства удовлетворять их должны быть везде одинаковы. Приспособляйте воспитание человека к человеку, а не к тому, чем он не бывает. Неужели вы не видите, что, стараясь образовать его исключительно для одного звания, вы делаете его негодным для всякого другого и что, если судьбе угодно, все ваши труды кончатся тем, что он станет несчастным? Что смешнее обнищавшего вельможи, остающегося и в нищете своей с предрассудками своего рождения? Что может быть презреннее обедневшего богача, который, помня, с каким презрением относятся к бедности, чувствует себя самым последним из людей. Одному остается только ремесло общественного плута, другому — ремесло лакея, пресмыкающегося со своими прекрасными словами: «Ведь нужно же жить».

Вы полагаетесь на существующий строй общества, не помышляя о том, что этот строй подвержен неизбежным переворотам и что вам невозможно ни предвидеть, ни предупредить того строя, который могут увидеть ваши дети. Вельможа делается ничтожным, — бедняком, монарх — подданным; разве удары судьбы столь редки, что вы можете рассчитывать избегнуть их? Мы

приближаема к эпохе кризиса, к веку революций\*. Кто может ручаться вам за то, чем вы тогда станете? Все, что люди создали, люди могут и разрушить; неизгладимы лишь те черты, которые запечатлеваются природой, а природа не создает ни принцев, ни богачей, ни вельмож. Что же станет делать в ничтожестве этот сатрап, которого воспитали вы для величия? Что будет делать в бедности этот ростовщик, который умеет жить только золотом? Что будет делать, лишившись всего, этот пышный глупец, не умеющий пользоваться самим собою, видящий свое существование в том, что ему совершенно чуждо? Счастлив тот, кто умеет в этом случае расстаться с положением, которое его покидает, и остаться человеком назло своему жребия! Пусть хвалят, сколько угодно, того побежденного короля, который, как бешеный, хочет похоронить себя под обломками своего трона; что касается меня, я презираю его,— я вижу, что все его существование основано на одной его короне и что, когда он не король, он — ничто; но кто теряет корону и умеет обойтись без нее, тот становится выше ее. Из королевского сана, носить который может, не хуже другого, и трусливый, и злой, и безумный человек, он возвышается до звания человека, носить которое умеют лишь немногие люди. В этом случае он торжествует над судьбой и презирает ее; он всем обязан лишь самому себе, и, когда ему ничего другого не остается, как наказать себя, он не оказывается ничтожеством — он кое-что значит. Да, мне в сто раз милее царь Сиракуз в качестве учителя в коринфской школе<sup>14</sup> или македонский царь, ставший в Риме писцом<sup>15</sup>, чем жалкий Тарквиний<sup>16</sup>, не знающий, что делать с собой, когда перестал быть царем, чем наследник обладателя трех королевств<sup>17</sup>, являющийся игрушкой для всякого, кто дерзает издеваться над его нищетой, блуждающий от двора к двору, ища всюду помощи и находя всюду оскорбления, потому что не научился ничему другому, кроме того ремесла, которое уже не в его руках.

\* Я считаю невозможным, чтобы великие европейские монархии просуществовали долго: все они имели блестящее прошлое, а всякое государство, полное блеска, клонится к упадку. Мнение мое опирается на доводы более подробные, чем это правило; но теперь нехоти о них говорить, да они и слишком очевидны для каждого.

Человек и гражданин, кто бы он ни был, не может предложить обществу иного имущества, кроме самого себя; все остальное его имущество уже принадлежит обществу, помимо воли его; и когда человек богат, то или он не пользуется богатством, или вместе с ним пользуется и публика. В первом случае он крадет у других то, чего лишает себя самого; во втором случае ничего не жертвует другим. Таким образом, общественный долг целиком остается на нем, пока он выплачивает его только своим добром. «Но мой отец, наживая его, служил обществу...» Пусть так: он уплатил свой долг, но не ваш. Вы больше должны другим, чем в том случае, если бы вы родились без состояния, потому что вы родились в благоприятных условиях. Несправедливо было бы, если бы сделанное для общества одним человеком освобождало другого от его собственного долга; ибо каждый, будучи сам весь в долгу, может платить лишь за себя самого, и ни один отец не может передать своему сыну права быть бесполезным для своих ближних; а между тем он это

именно и делает, передавая сыну, как вы предлагаете, свои богатства, которые служат доказательством и наградой труда. Кто в праздности проедает то, чего сам не заработал, тот ворует это последнее, и рантье, которому государство платят за то, что он ничего не делает, в моих глазах почти не отличается от разбойника, живущего за счет прохожих. Вне общества, человек изолированный, никому ничем не обязанный, имеет право жить как ему угодно; но в обществе, где он живет по необходимости за счет других, он обязан уплатить трудом цену своего содержания; это правило без исключений. Труд, значит, есть неизбежная обязанность для человека, живущего в обществе. Всякий праздный гражданин — богатый или бедный, сильный или слабый — есть плут.

А из всех занятий, которые могут доставить человеку средство к существованию, ручной труд больше всего приближает его к естественному состоянию; из всех званий самое независимое от судьбы и людей — это звание ремесленника. Ремесленник зависит только от своего труда; он свободен — настолько же свободен, насколько земледелец есть раб, ибо последний зависит от своего поля, сборами с которого может овладеть другой. Неприятель, государь, сильный сосед, проигранная тяжба могут лишить его этого поля; с помощью этого поля его можно притеснять на тысячу ладов; но как только захотят притеснить ремесленника, он сейчас же готов в путь-дорогу: руки — при нем, и он уходит. Несмотря на то, земледелие есть первое ремесло человека: оно самое честное, самое полезное и, следовательно, самое благородное из всех, какими только может он заниматься. Я не твержу Эмилю: «Учись земледелию», — он уже знаком с ним. Все полевые работы ему хорошо известны: с них именно он и начал, к ним же постоянно и возвращается. Итак, я говорю ему: «Возделывай наследие отцов твоих». Но если ты потеряешь это наследие или у тебя нет его, тогда что делать? Учись ремеслу.

«Ремесло — моему сыну! сын мой — ремесленник! Сударь, подумали ли вы об этом?..» Я думал больше вас, сударыня: вы хотите довести его до того, чтобы он мог быть не чем иным, как лордом, маркизом, князем, а со временем, быть может, меньше, чем нулем; что же касается меня, я хочу наделить его рангом, которого он не может потерять, — рангом, который делал бы честь ему во все времена, — я хочу возвысить его до звания человека, и, что бы там вы ни говорили, у него в этом случае будет меньше равных по титулу, чем при тех титулах, которыми вы его наделите.

Буква убивает, дух оживляет. Дело не столько в том, чтобы научить ремеслу ради самого знания ремесла, сколько в том, чтобы победить предрассудки, выражающиеся в презрении к нему. Вам никогда не придется зарабатывать себе на пропитание. Ну, что ж? Тем хуже, тем хуже для вас! Но все равно: работайте по необходимости — работайте ради славы. Снизойдите до звания ремесленника, чтобы стать выше вашего звания. Чтобы подчинить себе эту судьбу и вещи, начните с того, чтобы стать независимым от них. Чтобы царствовать путем мнения, воцаритесь сначала над этим мнением.

Помните, что не таланта я требую от вас, а ремесла — настоящего ремесла, искусства, чисто механического, при котором руки работают больше головы, которое не ведет к богатству, но дает возможность обойтись без него. Я видел, как в домах, обитатели которых были далеки от всяких забот о насущном хлебе, отцы простирали свою предусмотрительность до того, что заботились не только дать детям образование, но и снабдить их такими познаниями, с помощью которых они могли бы, при случае, добыть себе средства к жизни. Эти дальновидные отцы воображают, что делают нечто важное; но этим не сделано ничего, потому что ресурсы, которыми они думают снабдить своих детей, зависят от той самой судьбы, выше которой они хотят их поставить. Таким образом, при всех своих прекрасных талантах, если обладатель их не встречает обстоятельств благоприятных для того, чтобы пустить их в дело, он погибнет от нищеты, как и в том случае, если бы не имел ни одного из них.

Если уж толковать об уловках и происках, то лучше употреблять их на поддержание своего изобилия, нежели на изыскание средств подняться из нищеты до своего первоначального состояния. Если вы занимаетесь искусствами, при которых успех зависит от известности художника, если вы готовите себя к должностям, добиться которых можно лишь благодаря милости, то к чему послужит вам все это в тот момент, когда, справедливо почувствовав отвращение к свету, вы погнушаетесь теми средствами, без которых нельзя иметь в нем успех? Вы изучили политику и интересы государей — все это очень хорошо; но что вы сделаете со своими познаниями, если вы не умеете пробираться к министрам, к придворным дамам, к правителям канцелярий, если вы не владеете секретом нравиться им, если все не видят в вас подходящего для них плута? Вы архитектор или живописец — пусть так! Но нужно ваш талант сделать известным. Уж не думаете ли вы ни с того ни с сего выставить произведение свое в салоне? Да, как бы не так! Нужно быть академиком; нужно чье-нибудь покровительство даже для того, чтобы получить в углу у стены какое-нибудь темное местечко. Бросьте-ка линейку и кисть, возьмите наемный фиакр и мчитесь от дома к дому — вот как приобретают известность. А между тем вы должны знать, что у этих сиятельных дверей встретите швейцаров и привратников, которые умеют понимать только по жестам и слышать только тогда, когда попадает что-нибудь в руки. Вы хотите учить тому, чему вас учили, стать учителем географии, математики или языков, музыки или рисования — для этого нужно найти учеников, а следовательно, и лиц, которые всюду рекомендовали бы вас. Будьте уверены, что важнее быть шарлатаном, чем искусным человеком, и что если вы знаете одно свое ремесло, то всегда будете лишь невеждою.

Смотрите же, как непрочны все эти блистательные ресурсы и сколько нужно вам других условий, чтобы извлечь из первых пользу. И потом, чем сами вы станете в этом позорном унижении? Неудача, ничему не научившая, принижает вас. Будучи более чем когда-либо игрушкой людского мнения, как возвыситесь вы над предрассудками, этими решителями вашей судьбы? Как станете презирать низость и пороки, которые потребны вам для существования? Вы

зависели только от богатства, а теперь вы зависите от богатых; вы только и сделали, что ухудшили свое рабство, увеличив тяжесть его своей нищетой. Теперь вы бедны и не свободны: это — худшее положение, в какое только может попасть человек.

Но если, вместо того чтобы прибегать для добывания средств к этим высоким знаниям, созданным для того, чтобы питать душу, а не тело, вы обращаетесь, в случае нужды, за помощью к рукам своим и даете им, какое умеете, употребление, то все трудности исчезают, все уловки становятся бесполезными; средство у вас всегда готово, когда приходит момент употребить его; честность, честь не служат уже препятствием в жизни; вам нет нужды быть подлым или лжецом перед вельможами, изворотливым и раболепным перед плутами, низким угодником всего света, быть должником или вором, что почти одно и то же, когда ничего не имеешь; вас не тревожит мнение других; вам незачем ездить на поклоны, не приходится льстить глупцу, умиловать швейцара, платить куртизанке или, что еще хуже, воскурять ей фимиам. Пусть плуты ведут великие дела,— вас это мало касается: это не помешает вам быть, в вашей невзрачной жизни, честным человеком и иметь кусок хлеба. Вы входите в первую мастерскую, где занимаются знакомым нам ремеслом. «Мастер, мне нужна работа».— «Садись, товарищ,— вот тебе работа». Не пришел еще час обеда, а вы уже заработали себе обед; если вы прилежны и воздержаны, то до истечения недели уже заработаете себе пропитание на следующую неделю: вы останетесь свободным, здоровым, правдивым, трудолюбивым, справедливым. Выигрывать подобным образом время не значит терять его.

Я решительно хочу, чтоб Эмиль обучался ремеслу. «Честному, по крайней мере, ремеслу»,— скажете вы. Что значит это слово?

Разве не всякое ремесло, полезное для общества, честно? Я не хочу, чтоб он был золотошвеем, или позолотчиком, или лакировщиком, как дворянин у Локка; я не хочу, чтоб он был музыкантом, комедиантом, сочинителем книг\*. За исключением этих и других, им подобных профессий, пусть он выбирает, какую хочет: я не намерен ни в чем стеснять его. Я предпочитаю, чтоб он был башмачником, а не поэтом, чтоб он мостил большие дороги, а не делал из фарфора цветы. Но, скажете вы, полицейские стражи, шпионы, палачи тоже полезные люди. От правительства зависит устроить, чтоб они не были полезными. Но оставим это... я был не прав: недостаточно выбрать полезное ремесло — нужно еще, чтоб оно не требовало от людей, им занимающихся, гнусных и несовместимых с человечностью свойств души. Итак, вернемся к первому слову — возьмемся за ремесло «честное»; но будем всегда помнить, что, где честность, там и полезность.

Один знаменитый писатель нашего века<sup>18</sup>, книги которого изобилуют великими проектами и узкими взглядами, дал обет, как и все священники того же исповедания, не иметь собственной жены; но, считая себя более совестливым, чем другие, в вопросе о прелюбодеянии, он, говорят, решил держать красивых служанок, с которыми, по мере сил, и заглаживал оскорбление, нанесенное им людскому роду этим необдуманном обязательством. Он считал обязанностью

гражданина — давать отечеству других граждан и тою данью, которую платил в этом смысле отечеству, умножал класс ремесленников. Как только эти дети подрастали, он всех их обучал ремеслу, к которому они имели охоту, исключая профессии праздные, пустые или зависящие от моды, какова, например, профессия парикмахера,; в которой нет никакой необходимости и которая со дня на день может стать бесполезною, пока природа не откажется наделять нас волосами.

Вот в каком духе мы должны выбирать ремесла для Эмиля, или, лучше сказать, не нам следует делать выбор, а ему самому: так как внушенные ему правила поддерживают в нем естественное презрение к вещам бесполезным, то он никогда не захочет тратить время на труды, не имеющие никакой ценности, а он не знает иной цены вещам, кроме их действительной полезности; ему нужно такое ремесло, которое могло бы пригодиться Робинзону на его острове.

\* «Но ведь ты сам такой же сочинитель»,— скажут мне. Да, к несчастью,— сознаюсь; но вина моя, которая, думаю, достаточно уже искуплена, не должна служить для других поводом для подобных ошибок. *и* пишу не для того, чтобы оправдать свои ошибки, но чтобы предохранить моих читателей от подражания мне.

Наглядно знакомя ребенка с произведениями природы и искусства, возбуждая его любознательность и следуя за ним, куда она влечет его, мы имеем возможность изучить его вкусы, склонности, стремления и подметить первый проблеск его дарования, если у него действительно есть дарование. Но общее заблуждение, от которого нужно и вас предостеречь, заключается в том, что действие случая приписывают силе таланта и за определившуюся склонность к тому или иному искусству принимают дух подражания, общий человеку и обезьяне, побуждающий их обоих машинально проделывать действия, которые видят,— не зная хорошо, к чему это пригодно. Мир полон ремесленников и особенно артистов, не имеющих природной способности к тому искусству, которым занимаются и к которому родители привлекли их с малолетства, руководствуясь посторонними соображениями или будучи вовлечены в обман их видимым усердием, которое они проявили бы точно так же и ко всякому другому искусству, если бы встретились с ним раньше. Иной слышит бой барабана — и воображает себя генералом; другой видит, как строят,— и уж хочет быть архитектором. Всякого соблазняет ремесло, которым занимаются на его глазах, если только он считает его уважаемым. Я знал одного лакея, который, видя, как пишет красками и рисует его господин, возмечтал быть живописцем и рисовальщиком. С той же минуты, как явилось у него это решение, он взялся за карандаш и если потом кинул его, то лишь для того, чтобы взяться за кисть, с которой не расстанется уже всю жизнь. Без уроков и без правил он принялся срисовывать все, что попадалось под руку. Целых три года провел он над своим мараньем, от которого, кроме службы, ничто не могло его оторвать, и никогда не падал духом, как ни малы были успехи при его посредственных способностях. Я видел, как он в течение шести месяцев очень жаркого лета, сидя перед глобусом, или, скорее, будучи прикован целыми

днями к своему стулу, в маленькой, обращенной на юг передней, в которой задыхались, даже проходя через нее, срисовывал этот глобус, перерисовывал, беспрерывно начинал и поправлял с непобедимым упорством, пока не нарисовал настолько хорошего шара, что остался доволен своей работой. Наконец, благодаря покровительству своего господина и советам одного художника он добился того, что снял ливрею и стал зарабатывать средства кистью. Настойчивость до известного предела восполняет талант: он дошел до этого предела и никогда уже его не перейдет. Постоянство и упорство этого честного малого похвальны. Он всегда сумеет приобрести уважение своею усидчивостью, верностью, нравственностью, но он рисовать будет — только вывески. Кого не ввело бы в обман его усердие, кто не принял бы его за настоящий талант? Большая разница — иметь охоту к работе и быть способным к ней. Нужна более тонкая, чем обыкновенно думают, наблюдательность для того, чтоб удостовериться в истинном даровании и истинной способности ребенка, который гораздо скорее выказывает желания свои, чем способности, и о котором всегда судят по первым, за неумением изучить вторые. Мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь рассудительный человек дал нам трактат об искусстве наблюдать за детьми. Очень важно знакомство с этим искусством: отцы и наставники пока не знают даже элементов его.

Но, быть может, мы придаем здесь слишком большое значение выбору ремесла. Так как речь идет о ручном труде, то этот выбор для Эмиля — сущие пустяки, а выучка его наполовину уже закончена благодаря тем упражнениям, которыми мы доселе занимали его. Какое дело хотите дать ему? Он на все готов: он уже умеет владеть заступом и мотыгой, умеет пользоваться токарным станком, молотком, рубанком, пилой; ему уже хорошо знакомы инструменты всех ремесел. Остается лишь приобрести достаточную быстроту и легкость в употреблении какого-нибудь из этих инструментов, и он сравняется с хорошими рабочими, их употребляющими; а у него в этом отношении есть большое преимущество перед всеми: он имеет ловкое тело, гибкие члены, так что без труда может принимать всякого рода положения и без усилия производить всякого рода продолжительные движения. Кроме того, у него верные изошренные органы; ему уже знакома вся техника искусств. Чтоб уметь работать, как мастер своего дела, ему недостает только привычки, а привычка приобретается лишь временем. Какому же из ремесел, между которыми остается нам сделать выбор, посвятить столько времени, чтобы можно было приобрести в нем ловкость? Вот в чем весь вопрос.

Дайте мужчине ремесло, приличное его полу, а юноше — ремесло, приличное его возрасту; всякая профессия, сопряженная с сидячей жизнью в комнате, изнеживающая и расслабляющая тело, ему не нравится и не годится. Никогда мальчик сам не пожелает быть портным; нужно искусство, чтобы засадить за это женское ремесло пол, который не создан для него\*. Иглой и шпагой не сумеют владеть, одни и те же руки. Будь я государем, я дозволил бы швейное и портняжное ремесло только женщинам и хромым, которые принуждены заниматься тем же, чем и женщины. Если предположить, что евнухи необходимы, то я нахожу, что восточные народы очень



глупо поступают, создавая их нарочно. Почему они не довольствуются теми, которых создала природа, — тою толпою вялых мужчин, которым природа изуродовала сердце? Они имели бы в них избыток в случае нужды. Всякий слабый, нежный, робкий мужчина осужден на сидячую жизнь: он создан, чтобы жить с женщинами или на их лад. Пусть занимается одним из ремесел, свойственных им, — в добрый час! А если уж непременно нужны настоящие евнухи, пусть определяют в это звание людей, которые позорят свой пол, принимая на себя обязанности для них неприличные. Их выбор указывает на ошибку природы; исправьте эту ошибку тем или иным способом — и вы поступите хорошо.

\* Портных у древних не было; одежда мужчин приготавливалась дома жещинами.

Я запрещаю своему воспитаннику ремесла нездоровые, но не те, которые трудны или даже опасны. Эти ремесла упражняют одновременно и силу, и мужество; они годны для одних мужчин, женщины не претендуют на них; как же после этого не стыдно мужчинам захватывать ремесла женщин?

Luctantur paucis, comedunt coliphia paucos,

Vos lanam trahitis, calathisque peracta refertis Vellera...<sup>\*10</sup>.

В Италии не видно женщин за прилавками, и нельзя ничего представить печальнее вида улиц этой страны для того, кто привык к улицам Франции и Англии. Видя галантерейных торговцев, продающих дамам ленты, помпоны, сетки, синель, я находил эти нежные уборы очень смешными в грубых руках, созданных для того, чтобы раздувать горн и бить по наковальне. Я говорил себе: «В этой стране женщинам следовало бы, в отместку, завести оружейные мастерские и оружейные лавки». Нет, пусть каждый производит и продает оружие своего пола. Чтобы быть знакомым с ним, нужно иметь с ним дело.

\* Juven[alis]. Sat[irae], [II, §3].

Молодой человек, обнаружь в своей работе руку мужчины! Учись сильною рукой владеть топором и пилой, научись обтесывать бревно, взбираться на кровлю, прилаживать конек, укреплять его стропилами и перекладинами; затем кликни твою сестру помогать тебе в работе, как она звала тебя работать по канве.

Слишком многого требую я от своих любезных современников — я чувствую это, но меня невольно иной раз увлекает сила доводов. Если какой-нибудь человек стыдится работать на виду у всех, вооружившись скобелем и подпоясавшись кожаным фартуком, я вижу в нем лишь раба людского мнения, готового краснеть за хорошие поступки, коль скоро кто станет смеяться над честными людьми. Впрочем, уступим предрассудкам отцов во всем, что не может повредить рассудку детей. Чтобы дочитать все полезные профессии, для этого нет нужды всеми ими заниматься; достаточно, если на одну из них мы не станем ставить ниже себя. Когда можно выбирать, когда, кроме того, ничто не предрешает нашего выбора, то почему же нам при выборе профессий одного и того же достоинства не сообразоваться с приятностью, склонностями,

удобствами? Обработка металлов полезна и даже полезнее всех ремесел; однако же, если меня не побудит особая причина, я не заставлю вашего сына подковывать лошадей, делать замки, работать у горна; мне не хотелось бы видеть его в кузнице, в образе циклопа. Точно так же я не сделаю из него каменщика, а еще менее — башмачника. Необходимо, чтобы существовали все ремесла; но кто может делать выбор, тот должен обратить внимание на опрятность; ибо здесь людское мнение уже ни при чем: здесь выбор наш решается чувством. Наконец, мне не нравятся те нелепые профессии, в которых рабочие, не проявляя никакой изобретательности, почти как автоматы, упражняют свои руки вечно одной и тою же работой; возьмем ткачей, чулочников, пильщиков камня — к чему на эти ремесла употреблять людей со смыслом? Тут машина водит другую машину.

Если хорошо обсудить все, то я скорее всего желал бы, чтобы моему воспитаннику пришлось по вкусу ремесло столяра. Оно опрятно, полезно; им можно заниматься дома; оно достаточно упражняет тело, требует от работника ловкости и изобретательности, и хотя форма произведений здесь определяется полезностью, но последняя не исключает изящества и вкуса.

Если же случится, что природные способности вашего воспитанника будут решительно направлены к наукам умозрительным, в таком случае я ничего не имел бы против того, чтобы дать ему ремесло, сообразное с его наклонностями; пусть он учится, например, делать математические инструменты, очки, телескопы и пр.

Когда Эмиль будет учиться ремеслу, я думаю учиться вместе с ним, ибо я убежден, что он лишь тому хорошо научится, что мы будем изучать вместе. Итак, мы оба поступим в ученье и будем требовать, чтобы с нами обходились не как с господами, а как с настоящими учениками, не в шутку принявшими эту роль; почему бы нам не быть ими и взаправду? Царь Петр был плотником на верфи и барабанщиком в своих собственных войсках: уж не думаете ли вы, что этот государь был ниже вас по рождению или заслугам? Вы понимаете, что я говорю это не Эмилю, а именно вам, кто бы вы там ни были.

К несчастью, мы не можем проводить все свое время за верстаком. Мы не для того поступили в ученье, чтобы стать рабочими, а для того, чтобы стать людьми; обучение же этому последнему ремеслу труднее и продолжительнее всякого другого. Как же нам быть? неужели брать столярного мастера на час в день, как берут учителя танцев?

Нет, в таком случае мы были бы не ремесленными учениками, но школьниками; а наша честолюбивая цель состоит не столько в том, чтобы научиться столярному ремеслу, сколько в том, чтобы поднять себя до звания столяра. Поэтому я держусь того мнения, что нам следовало бы раз или два, по крайней мере, в неделю проводить у мастера целый день — вставать в один с ним час, прежде него приниматься за работу, за его же столом есть, работать по его указаниям и, поужинав с его семьей, если он окажет нам такую честь, возвращаться, если хотим, спать на наши жесткие

постели. Вот каким образом изучают сразу несколько ремесел, вот как приучают к работе руки, не пренебрегая в то же время и другим учением.

Будем просты в своих хороших поступках. Постараемся не породить тщеславия своими заботами побороть его. Гордиться победой над предрассудками — значит подчиняться им. Говорят, что, по старинному обычаю оттоманского дома, султан обязан заниматься ручными работами; а каждый знает, что произведения царственных рук не могут быть ничем иным, как образцами искусства. И вот он торжественно раздает эти образцы искусства вельможам Порты; а за работу платят сообразно званию работавшего. Если я вижу здесь зло, то не в этом мнимом вымогательстве: оно, напротив, служит ко благу. Принуждая вельмож делить с ним награбленное у народа, государь тем меньше будет непосредственно грабить народ. Это необходимое облегчение при деспотизме; без него не могло бы и существовать это ужасное правление.

Истинное зло здесь заключается в том понятии о собственном достоинстве, которое внушается подобным обычаем этому бедному человеку. Как царь Мидас<sup>20</sup>, он видит, что все, до чего он ни коснется, превращается в золото, но не замечает, какие вследствие этого растут у него уши. Чтобы сохранить уши Эмиля короткими, предохраним руки его от этого богатого таланта; пусть цена того, что он делает, зависит не от работника, а от самого произведения. Пусть судят о его работе не иначе, как по сравнению с работой хороших мастеров. Пусть его работа оценивается по самой работе, а не по тому, что она его. О том, что хорошо сделано, скажите: «вот хорошая работа!» Но не добавляйте: «а кто это делал?» Если он сам говорит с гордым и самодовольным видом: «это делал — я», — то прибавьте холодно: «Ты или кто другой — это все равно; а работа во всяком случае хороша».

Добрая мать, особенно остерегайся лжи, которую тебе подготавливают. Если сын твой знает много вещей, не верь ничему, что он знает; если он имеет несчастье быть воспитанным в Париже и быть богачом, он пропал. Пока там будут ловкие артисты, он будет иметь все их таланты; но вдали от них он не будет уже иметь их. В Париже человек богатый знает все; невеждой там бывает только бедняк. Эта столица полна любителей и особенно любительниц, которые исполняют свои произведения не хуже того, как Гильом<sup>21</sup> изобрел свои цвета. Я знаю два-три почтенных исключения среди мужчин, — может быть, их и больше; но я не знаю ни одного между женщинами и сомневаюсь, чтобы они были. Вообще, в искусствах имя приобретается таким же образом, как и в судейском звании: художником и судьей художников можно сделаться — точно так же, как делаются доктором прав и судьей.

Таким образом, если бы раз было установлено, что знать ремесло — прекрасное дело, то дети ваши и, не учась, скоро бы научились ему: они выступали бы настоящими мастерами, как цюрихские советники. Для Эмиля вовсе не нужно этого церемониала. Ничего показного, и всегда — одна действительность! Пусть не толкуют о его знаниях — пусть он учится среди молчания.

Пусть создает мастерское произведение и не слывет мастером; пусть выказывает себя работником не в титуле, а в работе своей.

Если до сих пор я говорил понятно, то читатель должен видеть, каким образом я вместе с привычкой к телесным упражнениям и ручной работе незаметно прививаю моему воспитаннику охоту к размышлению и обдумыванию, чтоб она служила противовесом лености, которая могла бы пронзойти от его равнодушия к людским суждениям и от безмятежности его страстей. Чтобы не быть таким лентяем, как дикарь, он должен работать, как крестьянин, и думать, Как философ. Великая тайна воспитания заключается в умении так поставить дело, чтобы упражнения телесные и духовные всегда служили друг для друга отдохновением.

Но остережемся забегать вперед с наставлениями, требующими более зрелого ума. Когда Эмиль будет работником, он скоро и на самом себе почувствует неравенство состояний, которое сначала он наблюдал лишь стороной, судя по тем правилам, которые я внушаю ему и которые доступны его пониманию, он, в свою очередь, захочет испытать меня. Получая все от меня одного и видя себя столь недалеким от состояния бедняков, он захочет знать, почему я так далек от этого состояния. Быть может, он обратится врасплох ко мне с неудобными вопросами: «Вы богаты; вы мне говорили об этом, и я это вишу. Богач тоже обязан отдавать обществу свой труд; ведь и он человек. Но вы — что же делаете вы для общества?» Что сказал бы на эта ваш хваленый воспитатель? Не знаю. Он, может быть, был бы настолько глуп, что стал бы говорить ребенку о заботах, которыми, его окружают. Что же касается меня, то меня выручает из беды мастерская: «Вот, милый Эмиль, превосходный вопрос! Я обещаю тебе ответить за себя, когда и ты, с своей стороны, дашь такой ответ, которым сам будешь доволен. А в ожидании этого я постараюсь пока отдавать свои излишки тебе и беднякам и делать по столу или скамье в неделю, чтобы не быть совершенно бесполезным».

Итак, мы возвратились теперь к самим себе. Теперь ребенок наш готов перестать быть ребенком: он вошел в свое я. Теперь он более чем когда-либо чувствует узы необходимости, связывающей его с вещами. Начав с упражнения его тела и чувств, мы перешли потом к упражнению ума и суждения. Наконец, мы соединили употребление членов с применением способностей; мы создали существо действующее и мыслящее; чтобы закончить человека, нам остается только создать существо любящее и чувствительное, т. е. с помощью чувствования усовершенствовать разум. Но прежде чем перейти к этому новому строю вещей, бросим взгляд на тот, который мы покидаем, и посмотрим, насколько можно точнее, до каких пределов мы дошли.

Сначала наш воспитанник имел лишь ощущения, теперь у него есть идеи; прежде он только воспринимал чувствами, теперь он судит. Ибо из сравнения нескольких последовательных или одновременных ощущений и из составляемого о них суждения рождается некоторого рода смешанное или сложное ощущение, которое я называю идеей.

Способ образования идей и придает особый характер человеческому уму. Ум, формирующий свои идеи только по действительным отношениям, есть ум основательный; кто видит отношения такими, каковы они на самом деле, у того верный ум; кто плохо их оценивает, у того ложный ум; кто выискивает отношения воображаемые, не соответствующие ни действительности, ни внешности, тот сумасшедший; кто не умеет вовсе сравнивать, тот слабоумный. От большей или меньшей способности сравнивать идеи и находить отношения и зависит в людях большая или меньшая степень ума, и т. д.

Простые идеи суть не что иное, как сравниваемые ощущения. В простых ощущениях так же, как и в сложных ощущениях, есть уже суждения, которые я называю простыми идеями. В ощущение суждение является чисто пассивным: оно утверждает, что мы действительно чувствуем то, что чувствуем. В понятии, или идее, суждение активно: оно сближает, сравнивает, определяет отношения, не определенные чувством. Вот и вся разница, но она велика. Никогда не обманывает нас природа: всегда мы сами себя обманываем.

Я вижу, как восьмилетнему ребенку дают мороженое; он подносит ложку ко рту, не зная, что это такое, и, почувствовав холод, вскрикивает: «Ах, как это жжет!» Он испытывает очень сильное ощущение; он не знает ощущения, более сильного, чем жар огня, и думает, что ощущает именно этот жар. Однако ж он заблуждается: испытываемый холод неприятно на него действует, но не жжет, и эти два ощущения не похожи, потому что, кто испытал то и другое, тот уже не смешивает их. Итак, его обманывает не ощущение, а суждение, которое он выносит из него.

То же самое бывает с тем, кто в первый раз видит зеркало или оптический прибор, кто спускается в глубокий погреб среди зимы или лета, кто опускает в теплую воду очень разгоряченную или очень холодную руку, кто катает между двумя скрещенными пальцами небольшой шарик и т. д. Если он довольствуется высказыванием того, что видит, что ощущает, то, раз суждение его носит характер чисто пассивный, невозможно, чтоб он ошибся: когда же он судит о вещи по внешности, его суждение уже активно: он сравнивает, устанавливает путем индукции отношения, которых не наблюдал; в этом случае он обманывается или может обманываться. Чтобы исправить или предупредить заблуждение, нужен опыт.

Покажите ночью вашему воспитаннику облака, бегущие между луною и ним,— он подумает, что это бежит луна в противоположном направлении, а что облака остановились. Он думает так благодаря поспешному неведению, потому что обыкновенно он видит, что малые предметы скорее приходят в движение, чем большие, и потому что облака ему кажутся большими, чем луна, об отдаленности которой он не может судить. Когда, сидя в плывущей лодке, он смотрит с некоторого расстояния на берег, то впадает в обратную ошибку и думает, что бежит земля, потому что, не чувствуя своего собственного движения, он смотрит на лодку, море или реку и на весь свой горизонт как на неподвижное целое, а берег, который он видит бегущим, кажется ему только частью этого целого.

Когда ребенок в первый раз видит палку, наполовину погруженную в воду, то он видит сломанную палку; ощущение здесь правдиво, и оно оставалось бы таким, если бы мы не знали причины этого явления. Если, значит, вы спрашиваете у него, что он видит, он говорит: «сломанную палку», — и говорит верно, потому что вполне убежден, что видит сломанную палку. Но когда, обманутый своим суждением, он идет дальше и, высказав утвердительно, что видит сломанную палку, утверждает, кроме того, что видимое им и есть действительно сломанная палка, тогда он говорит ложь. Почему это? Потому что тут он становится активным и судит уже не в силу наблюдения, но в силу индукции, утверждая то, чего не ощущает, а именно, что суждение, получаемое им путем одного чувства, будет подтверждено и другим чувством.

Так как все наши заблуждения происходят от наших суждений то ясно, что, если бы нам не было нужды судить, мы не имели бы никакой нужды и учиться; нам никогда не представлялось бы случая обманываться, и мы были бы счастливее в своем невежестве, чем теперь при своем знании.

Кто станет отрицать, что ученые знают тысячу истинных вещей, которых невежды никогда не будут знать? Но ближе ли вследствие' этого ученые к истине? Совершенно напротив: идя вперед, они удаляются от нее; так как тщеславное стремление судить еще быстрее подвигается вперед, чем их познания, то каждая истина, ими узнаваемая, является в сопровождении сотни ложных суждений. Совершенно очевидно, что европейские ученые общества суть не что иное, как публичные школы лжи; и в Академии наук, несомненно, больше бывает заблуждений, чем во всем племени гуронов<sup>23</sup>.

Так как, чем больше люди знают, тем более обманываются, то единственным средством избежать заблуждения служит невежество. Не судите — и вы никогда не будете ошибаться. Это урок природы, равно как и разума. Вне среды непосредственных отношений между вещами и нами, очень немногих и очень ощутительных, мы от природы питаем глубокое равнодушие ко всему остальному. Дикарь не сделает шага, чтобы посмотреть на действие самой прекрасной машины и всех чудес электричества. «Какое мне дело?» — вот слова, самые обычные для невежды и самые приличные для мудреца.

Но, к несчастью, слова эти для нас уже не годятся. Нам до всего дело — с тех пор, как мы зависим от всего; и наша любознательность по необходимости расширяется вместе с нашими потребностями. Вот почему я наделяю философа очень большою любознательностью, а в дикаре не признаю ни малейшей. Последний ни в ком не имеет нужды, а тот нуждается во всех и особенно в поклонниках.

Мне скажут, что я отклоняюсь от природы: я не думаю этого. Она избирает свои орудия и направляет их сообразно не с людским мнением, а с потребностью. А потребности меняются, смотря по положению людей. Большая разница между естественным человеком, живущим в природном состоянии, и естественным человеком, живущим в общественном состоянии. Эмиль — не дикарь, которому предстоит удалиться в пустыню; он — дикарь, созданный для того, чтобы

жить в городах. Нужно, чтоб он умел доставать там все необходимое, извлекать пользу из их обитателей и жить если не так, как они, то по крайней мере вместе с ними.

Так как среди такого множества новых отношений, от которых он станет в зависимость, ему поневоле придется иметь суждения, то научим его судить хорошо.

Наилучшим способом научиться судить хорошо является тот, который больше всего стремится упростить наши опыты и даже обходиться по возможности без них и при всем том не впадать в заблуждения. Отсюда следует, что после продолжительной поверки одного чувства другим можно еще научиться проверять каждое чувство с помощью его же самого, не прибегая к другому чувству; тогда каждое ощущение станет для нас идеей, и эта идея будет всегда соответствовать истине. Вот какого рода приобретениями пытался я наполнить этот третий период человеческой жизни.

Такой образ действий требует терпения и осмотрительности, на которую немногие учителя способны, но без которой ученик никогда не научится хорошо судить. Если, например, ребенок по внешнему виду ошибочно считает палку сломанною, а вы, чтоб указать ему ошибку, поспешите вытащить ее из воды, то вы, быть может, выведете его из заблуждения, — но чему вы научите его? Ничему, кроме того, что он скоро узнал бы и сам. Разве так нужно вести свое дело? Вопрос тут не в том, чтобы научить его истине, а в том, чтобы показать ему, как нужно браться за дело, чтобы всегда открывать истину. Чтобы лучше вразумить его, не следует скоро выводить его из заблуждения. Возьмем для примера нас с Эмилем.

Прежде всего, на второй из предполагаемых вопросов всякий ребенок, воспитанный по обычному шаблону, не преминет ответить утвердительно. «Разумеется, это сломанная палка», — скажет он. Я сильно сомневаюсь, чтобы Эмил дал мне такой же ответ. Не видя необходимости быть ученым или казаться им, он никогда не торопится составить суждение: он судят лишь на основании очевидности; а в этом случае он далеко не находит ее, потому что знает, насколько обманчивы — хотя бы в области перспективы — наши суждения по наружному виду.

Кроме того, так как он по опыту знает, что мои вопросы, даже самые пустые, всегда имеют какую-нибудь цель, не сразу заметную, то у Нюго нет привычки отвечать наобум; напротив, он остерегается, напрягает внимание, тщательно обсуждает их, прежде чем ответить. Он никогда не дает мне такого ответа, которым был бы сам недоволен, и ему угодить трудно. Наконец, ни он, ни я не имеем претензии да познание истины вещей, а только желаем не впадать в заблуждения. Нам было бы гораздо стыднее удовлетвориться причиной, которая окажется неосновательной, чем вовсе не найти никакой причины. «Я не знаю»<sup>23</sup>, -- вот слова, которые так хорошо идут к нам обоим, которые мы так часто повторяем, что сказать их ничего не стоит ни тому, ни другому из нас. Не сорвется ли у него с языка необдуманый ответ или он избегнет его посредством нашего удобного слова «не знаю», мой отзыв будет одинаков; «посмотрим, исследуем!»

Эта палка, опущенная до половины в воду, воткнута в перпендикулярном положении. Чтобы знать, сломана ли палка, как это кажется, нам предстоит еще многое сделать прежде, чем вынуть ее из воды или взять в руки.

1. Сначала мы обходим вокруг палки и видим, что излом вертится вместе с нами. Значит, это только глаз наш изменяет его вид, а взгляды не могут двигать тел.

2. Мы смотрим отвесно на тот конец палки, который вне воды; палка уже не изогнута; конец, ближайший к нашему глазу, ровно закрывает собою другой конец\*. Неужели наш глаз выпрямил палку?

3. Мы возмущаем поверхность воды и видим, как палка складывается в несколько кусков, движется зигзагами и следует за волнением воды. Неужели, чтобы сломать, размягчить и расплавить подобным образом палку, достаточно того движения, которое сообщаем мы воде?

4. Мы выливаем воду — и видим, как палка мало-помалу выпрямляется, по мере понижения воды.

Неужели всего этого мало для выяснения факта и открытия преломления? Значит, неправда, будто зрение нас обманывает, так как мы ни в чем другом, кроме него, и не нуждаемся для исправления тех ошибок, которые ему приписываем.

\* Впоследствии благодаря более точному опыту я нашел противное. Преломление действует кругообразно, и палка кажется более толстой с того конца, который в воде, нежели с другого; но это ничуть не изменяет силы рассуждения, и вывод получается не менее точный.

Предположим, что ребенок настолько туп, что не понимает результата этих опытов; тогда на помощь зрению следует призвать осязание. Вместо того чтобы вынимать палку из воды, оставьте ее в том же положении, и пусть ребенок проведет рукою от одного конца до другого; он не почувствует угла; значит, палка не сломана.

Вы скажете мне, что здесь не только суждение, но и настоящее размышление. Правда; но разве вы не видите, что, коль скоро ум дошел до идей, всякое суждение есть размышление? Сознание всякого ощущения выражается предложением, суждением; значит, коль скоро мы сравниваем одно ощущение с другим, то мы размышляем. Искусство суждения и искусство размышления совершенно одинаковы. Эмиль никогда не будет знать диоптрики<sup>24</sup>, или пусть изучит ее около этой палки. Он не будет рассекать насекомых, не будет считать солнечных пятен; он не будет знать, что такое микроскоп и телескоп. Ваши ученые воспитанники будут смеяться над его невежеством.

Они будут правы; ибо, прежде чем пользоваться этими инструментами, я хочу, чтоб он их изобрел, а вы догадываетесь, что это будет не скоро.

Вот сущность всей моей методы в этой области. Если ребенок катает маленький шарик между двумя скрещенными пальцами и ему кажется, что он ощущает два шарика, то я позволю ему посмотреть не прежде, чем он убедится, что шарик всего один.



Из этих объяснений, думаю, достаточно видно, какие успехи сделал до сих пор ум моего воспитанника и по какому пути он дошел до этих успехов. Но вас испугало, быть может, количество вещей, которые я ему показывал. Вы боитесь, не слишком ли я обременяю ум его этим множеством познаний. Напротив, я учу его скорее не знать всего этого, чем знать. Я показываю ему путь к знанию,— правда, легкий, но длинный, неизмеримый, медленно проходимый. Я заставляю его сделать первые шаги, чтобы он знал, как выйти на него, но я не позволю ему идти далеко.

Принужденный учиться сам по себе, он пользуется своим разумом, а не чужим; ибо, кто не хочет уступать людскому мнению, тот не должен уступать и авторитету; а большая часть наших заблуждений зарождается не в нас самих, но переходит к нам от других. Результатом этого постоянного упражнения должна быть сила ума, подобная той силе тела, которая приобретается трудом и усталостью. Другое преимущество в том, что мы подвигаемся вперед лишь соразмерно со своими силами. Дух, равно как и тело, выносит лишь то, что может выносить. Когда, прежде чем уложить знания в памяти, мы усваиваем их путем разумения, то все, извлекаемое потом этим последним из памяти, принадлежит уже ему, меж тем как, обременяя память без ведома разумения, мы рискуем никогда не извлечь из нее ничего такого, что принадлежало бы разумению.

У Эмиля мало познаний, но те, какие есть у него, являются поистине его собственными; у него нет полужнаний. Среди небольшого числа вещей, которые он знает, и притом хорошо знает, самым важным является убеждение, что есть много такого, чего он не знает, и что со временем может знать, что еще больше таких вещей, которые знакомы другим людям, но которых он не будет знать во всю жизнь, что, наконец, есть бесконечное множество таких, которых ни один человек никогда не будет знать. У него ум всеобъемлющий, но не по сведениям, а по способности приобретать их — ум открытый, сметливый, готовый ко всему и, как говорит Монтень<sup>25</sup>, если не просвещенный, то по крайней мере способный к просвещению. Для меня достаточно, чтобы он умел указать, «для чего это», во всем, что только делает, и доказать «почему» — во всем чему только верит. Повторяю еще раз: цель моя не знание дать ему, но научить его приобретать, в случае нужды, это знание, ценить его как раз во столько, сколько оно стоит, и любить истину выше всего. С этой методой мало подвигаются вперед, но зато не делают ни одного бесполезного шага и не бывают никогда вынужденными отступить назад.

Эмиль обладает знаниями лишь в сфере естественных и чисто физических наук. История ему незнакома даже по имени; он не знает, что такое метафизика и мораль. Он знает существенные отношения человека к вещам, но ему не знакомо ни одно из нравственных отношений человека к человеку. Он плохо умеет обобщать идеи, создавать отвлечения. Он видит общие свойства у известного рода тел, но не рассуждает, что такое эти свойства сами по себе. Он ознакомился с отвлеченным пространством — при помощи геометрических фигур, получил понятие об

отвлеченной величине — с помощью алгебраических знаков. Эти фигуры и знаки и служат для этих отвлечений опорой, на которую полагаются его чувства. Он старается познать не природу вещей, а только те отношения их, которые его интересуют. Все чуждое себе он оценивает только по отношению к себе самому, но зато эта оценка точная и верная. Прихоть, условность не играют в ней никакой роли. Он более дорожит тем, что ему более полезно, и, никогда не удаляясь от этого способа оценки, ничего не уступает людскому мнению.

Эмиль трудолюбив, воздержан, терпелив, тверд, исполнен мужества. Воображение его, ничем не воспламененное, никогда не преувеличивает опасностей; немного бедствий, к которым он чувствителен; он умеет страдать с твердостью, потому что не приучен спорить с судьбою. Что касается смерти, он еще хорошо не знает, что это такое; но, привыкнув беспрекословно подчиняться закону необходимости, он умрет, когда придет смертный час, без стенаний и сопротивления, а больше этого ничего и не позволяет нам природа в этот момент, всеми ненавидимый. Жить свободно и мало прилепляться сердцем к делам человеческим есть лучшее средство научиться умирать. Одним словом, у Эмиля по части добродетели есть все, что относится к нему самому. Чтоб иметь и социальные добродетели, ему недостает единственно знакомства с отношениями, требующими этих добродетелей; ему недостает единственно тех сведений, которые ум его вполне уже готов воспринять.

Он рассматривает самого себя без отношения к другим и находит приличным, чтобы и другие о нем не думали. Он ничего ни от кого не требует и себя считает ни перед кем и ничем не обязанным. Он одинок в человеческом обществе и рассчитывает только на самого себя. Он имеет право более всякого другого полагаться на самого себя, ибо он достиг всего, чем можно быть в его возрасте. У него нет заблуждений, а если есть, то лишь те, которые для нас неизбежны; у него нет пороков, кроме тех, от которых ни один человек не может уберечься. Его тело здорово, члены гибки, ум точен и незнаком с предрассудками, сердце свободно и без страстей. Самолюбие, первая и самая естественная из всех страстей, едва еще в нем пробудилось. Не смущая ничьего покоя, он прожил довольным, счастливым и свободным, насколько позволяла природа. Неужели вы находите, что ребенок, достигший таким образом пятнадцатого года жизни, даром потерял предшествовавшие годы?<sup>26</sup>

### Книга III Комментарии

В этой книге Руссо описывает воспитание своего героя «в третьем состоянии детства», т. е. от 12 до 15 лет. Руссо называет это время «возрастом формирования интеллекта».

1. Армилярная сфера — средневековый астрономический прибор.

2. Колурии — два круга в армилярной сфере, разделяющие экватор и зодиак на четыре равные части.

3. Руссо цитирует неточно. Приводим текст Формея: «...Против ребенка, которому делают горькие упреки... и читают наставления (*Farmey. Anti — Emile. Berlin,*

1763, р. 104).

4. Руссо имеет в виду, что Эмиль, благодаря фокуснику, обучается сократическим методом.. Древнегреческий философ Сократ (468—400 или 399 до н. э.) применял со своими учениками метод бесед, ставя перед ними разнообразные вопросы.

5. *Буало-Депрео Никола* (1636—1711) — французский докт и критик, автор «Сатира, «Посланий», «Поэтического искусства» и др.

6. *Расин Жан* (1639—1699) — французский поэт и драматург, крупнейший представитель литературного классицизма.

7. В Монморанси, неподалеку от Парижа, Руссо писал «Эмиля».

8. Бог древних греков Гермес отождествлен здесь с богом древних египтян Тотом, которому приписывалось основание наук и искусств. Изображение Гермеса, вырезающего на колонне знаки, помещено в амстердамской издании «Эмиля» 1762 г.

9. Плиний Секунд Старший (23—79) — древнеримский писатель, автор «Естественной истории» в 37 книгах.

10. Герой произведения английского писателя Даниеля Дефо Робинзон Крузо, попавший на необитаемый остров и сумевший обеспечить собственное существование, был для Руссо образцом человеческой самостоятельности, а его образ жизни — показателем целесообразности. Руссо не раз в своих произведениях обращался к роману Дефо. Так, в «Юлии, или Новой Элоизе» один из героев проводит некоторое время на необитаемом острове.

11. «Только таких богатств хочу, которым позавидует народ» (*лат.*) (*Петроний Гай*. Сатирикон, гл. 100). Римский писатель Гай Петроний (I в.) в «Сатириконе» высмеивал быт и нравы римлян.

12. Имеется в виду «Рассуждение о неравенстве» (1754)

13. Речь идет об аббате Гюйо-Дефонтене и графе д'Аржансоне, друге энциклопедистов.

14. *Дионисий Младший* (IV в. до н. э.) — тиран Сиракуз взят был в плен и жил в большой нужде в Коринфе.

15. Имеется в виду Александр, сын последнего царя Македонии Персея (II в. до н. э.). Александр в 168 г. до н. э. был пленен римлянами и определен на службу писцом к Альбе.

16. *Тарквиний Гордый* (ум. 494 до н. э.) — последний царь Древнего Рима. За жестокость был изгнан из Рима.

17. Имеется в виду Карл-Эдуард Стюарт (Претендент) (1720—1788), который пытался силой захватить английский престол, но был разбит в 1746 г. в битве при Куллодене.

18. Речь идет об аббате Сен-Пьере.

19. «Борются редкие, редкие кормятся пищей атлетов; Вы же прядете шерсть и мотками в корзины кладете...» (*лат.*).

20. Бог Вакх дал легендарному фригийскому царю Мидасу способность превращать в золото все, к чему тот прикасался. Бог Аполлон наградил Мидаса ослиными ушами (см.: *Овидий. Метаморфозы*, XI, 85).

21. Гильом — действующее лицо из фарса аббата Д.-А. Брюе (1640—1723) «Адвокат Патлен» (1706). Имеется в виду диалог Патлена и Гильома. Патлен спрашивает, придумал ли Гильом краску, а тот отвечает, что сделал это вместе с красильщиком.

22. Гуроны — племя североамериканских индейцев.

23. «Я не знаю» — девиз французского писателя эпохи Возрождения Пьера Шаррона (1541—1603), трактат которого «О мудрости» Руссо хорошо знал,

24. Диоптрика — наука о преломлении световых лучей.

25. См.: *Мпнтень. Опыты*, II, 27.

26. Вольтер на полях «Эмиля» оставил пометку против этой фразы: «Разумеется, ведь это будет увалень, ничего не ведающий о своем окружении» (см.: *Державин К. Вольтер — читатель «Эмиля» Руссо.*— Известия АН СССР. Отделение общественных наук, 1932, № 4, с. 334).

#### КНИГА IV

- Первое правило
- Второе правило
- Третье правило
- Исповедание веры савойского викария

Как быстро мы проходим свое земное поприще! Первая четверть жизни протекла прежде, чем мы научились пользоваться жизнью; последняя четверть наступает уже после того, как мы перестали наслаждаться ею. Сначала мы не умеем жить, а вскоре затем — не в состоянии жить; в промежутке же, разделяющем эти два крайних периода, бесполезных для нас, три четверти времени уходит на сон, труд, горе, принуждение — на всякого рода страдания. Жизнь коротка не потому, что недолго продолжается, а потому, что из этого незначительного времени нам почти ничего не остается на наслаждение ею. Как бы ни был далек момент смерти от момента рождения, жизнь все-таки слишком коротка, если этим промежутком мы не сумели пользоваться.

Мы рождаемся, так сказать, два раза: раз — чтобы существовать, другой — чтобы жить; раз — как представители рода, другой — как представители пола. Кто на женщину смотрит как на несовершенно мужчину, тот, без сомнения, не прав; но внешняя аналогия говорит за него. До половой зрелости дети обоих полов ничем наружно не отличаются; то же лицо, та же фигура, тот же цвет кожи, тот же голос — все одинаково; и девочки — дети, и мальчики — дети; для существ столь сходных достаточно одного общего названия. Самцы, которых дальнейшее половое развитие встретило задержку, на всю жизнь сохраняют это сходство: они навсегда остаются

взрослыми детьми; и женщины, не теряющие этого сходства, во многих отношениях всегда кажутся теми же детьми.

Но человек вообще не для того создан, чтоб оставаться всегда в детстве. Он выходит из этого возраста в известное время, предписанное природой, и этот момент кризиса, хотя довольно краток, но имеет продолжительное влияние. Как рев моря задолго предшествует буре, так и этот бурный поворот предвещается ропотом зарождающихся страстей; глухое брожение предупреждает о близости опасности. Перемена в нраве, частые вспышки, постоянное волнение духа делают ребенка почти не поддающимся дисциплине. Он становится глухим по отношению к голосу, который делал его послушным: это лев в лихорадочном возбуждении, он не признает руководителя и не хочет уже быть управляемым.

К моральным признакам изменения нрава присоединяются заметные перемены и в наружности. Физиономия его развивается и получает характерные черты: редкий и мягкий пушок, растущий внизу щек, темнеет и густеет. Голос его спадает или, скорее, пропадает: он уже не ребенок и не взрослый и не может взять тона ни того, ни другого. Глаза его, это органы души, доселе ничего не выражавшие, получают смысл и выражение; загорающийся огонь одушевляет их, и взор, ставший более живым, сохраняя еще Святую невинность, не имеет уже прежней невыразительности: он уже чувствует, что взор этот может быть нескромным, приучается опускать его и краснеть; он делается чувствительным, не зная еще, что чувствует, и беспокойным, не имея еще повода к этому. Все это может прийти медленно и не застать их врасплох: но если его живость делается слишком нетерпеливою, если вспыльчивость переходит в бешенство, если он с минуты на минуту готов раздражиться и растрогаться, если он без причины льет слезы, если возле предметов, которые начинают быть для него опасными, пульс его ускоряется и взор воспаляется, если рука женщины, положенная на его руку, заставляет его трепетать, если он чувствует около нее смущение или робость,— тогда берегитесь, Улисс, мудрый Улисс! Мехи, которые закрывал ты с таким старанием, открыты; ветры вырвались уже из оков; не покидай ни на минуту руля — или все пропало!<sup>1</sup>

Вот где то второе рождение, о котором я говорил; вот когда человек воистину возрождается к жизни, и ничто человеческое ему не чуждо<sup>2</sup>. Доселе наши заботы были лишь детскими забавами; теперь только они получают истинное значение. В эту именно эпоху, когда обычное воспитание уже оканчивается, наше воспитание должно начинаться; но чтобы нагляднее изложить этот новый план, проследим с самого начала положение вещей, сюда относящихся.

Страсти наши суть главные орудия нашего самосохранения; поэтому желание истребить их настолько же тщетно, насколько смешно; это значило бы контролировать природу, преобразовывать созданное Творцом. Если бы Творец повелевал человеку уничтожать страсти, которыми его наделяет, то оказалось бы, что Он и желает и не желает; а это было бы противоречием самому себе. Никогда Он не давал людям такого неразумного повеления; ничего

подобного не начертано в человеческом сердце; а когда Творец объявляет человеку свою волю, Он не устами другого человека, а сам говорит ему. Он начертывает ее в глубине человеческого сердца.

Но и того, кто хотел бы помешать зарождению страстей, я считал бы почти столь же безумным, как того, кто хочет уничтожить их, и кто полагает, что таковы доселе были мои намерения, тот, конечно, очень дурно меня понял.

Но правильно ли рассуждают и те, которые из того обстоятельства, что обладать страстями — лежит в природе человека, заключают, что все страсти, которые мы чувствуем в себе и которые видим в других, естественны? Источник у них естественный — это правда; но его наводнила тысяча ручьев, чуждых для него: это большая река, которая беспрестанно увеличивается и в которой едва найдешь несколько капель ее первоначальных вод. Наши естественные страсти очень ограничены; они суть орудия нашей свободы, они имеют целью наше самосохранение. Все же те, которые порабащают нас и губят, приходят из другого места; природа нам их не давала — мы приобретаем их в ущерб ей.

Источником наших страстей, началом и основой всех прочих, единственною страстью, которая рождается вместе с человеком и никогда не покидает его, пока он жив, является любовь к себе; это страсть первоначальная, врожденная, предшествующая всякой другой: все другие являются в некотором смысле лишь ее видоизменениями. С этой стороны все страсти, если хотите, естественны. Но большая часть этих видоизменений вызывается причинами посторонними, без которых они и не появились бы; а самые эти видоизменения не только не полезны, но даже вредны нам: они изменяют основную цель и обращаются против своего начала: тут именно человек оказывается вне природы и становится в противоречие с самим собою. Любовь к самому себе всегда пригодна и всегда в согласии с порядком вещей. Так как каждому вверено прежде всего его собственное самосохранение, то первую и самую важную из его забот является — и должна являться — именно эта постоянная забота о самосохранении; а как мы могли бы заботиться о нем, если бы не видели в этом своего главнейшего интереса?

Следовательно, для нашего самосохранения нужно, чтобы мы любили себя, — нужно, чтобы мы любили себя более всего; а непосредственным последствием этого самого чувствования является и наша любовь к тому, что нас сохраняет. Всякий ребенок привязывается к своей кормилице; Ромул должен был привязаться к волчице, которая вскормила его молоком. Сначала эта привязанность бывает чисто машинальной. Что благоприятствует благосостоянию индивида, то привлекает его; что вредит ему, то отталкивает, — тут виден лишь слепой инстинкт. Обнаруженное намерение вредить нам или быть нам полезным — вот что инстинкт превращает в чувствование, привязанность — в любовь, отвращение — в ненависть. Мы не получаем пристрастия к существам бесчувственным, которые следуют лишь данному им толчку, но существа, от которых мы ждем добра и зла, смотря по их внутреннему расположению и воле, которых мы видим свободно

действующими за или против нас, внушают нам чувства, подобные тем, которые они обнаруживают по отношению к нам. Что приносит пользу нам, того мы ищем; но что *хочет* нам принести пользу, то мы любим; что вредит нам, того мы избегаем; но что *хочет* нам вредить, то мы ненавидим.

Первое чувство ребенка есть любовь к самому себе, а второе, вытекающее из первого,— любовь к тем, кто его окружает; ибо при том состоянии слабости, в котором он находится, он знакомится с другими лишь через помощь и уход, который получает. Сначала привязанность его к своей кормилице и гувернантке есть не что иное, как привычка. Он ищет их, потому что имеет нужду в них и потому что ему хорошо, что они есть у него; это скорее знакомство, чем расположение. Ему нужно много времени, чтобы понять, что они не только полезны ему, но и хотят быть полезными; вот тогда-то он начинает любить их.

Ребенок, значит, по природе расположен к доброте, потому что он видит, что все окружающее склонно ему помогать, и из этого наблюдения черпает привычку благожелательно относиться к себе подобным, но по мере того как расширяются его сношения, потребности, активная или пассивная зависимость, в нем пробуждается сознание его отношений к другим, ведущее к чувству долга и чувству предпочтения. Тогда ребенок делается высокомерным, ревнивым, лживым, мстительным. Если его принуждают к послушанию, он, не видя пользы в том, что ему приказывают, приписывает эти приказание капризу, желанию помучить его и упрямится. Если ему самому повинуются, он в первом же сопротивлении видит бунт, намеренное неповиновение; за непослушание он бьет и стул иди стол. Любовь к себе, касающаяся лишь нас самих, удовлетворена, когда удовлетворены наши истинные потребности; но самолюбие, которое сравнивает себя, никогда не бывает и не может быть удовлетворено, потому что чувство это, заставляя нас предпочитать себя другим, требует, чтобы в другие предпочитали нас самим себе,— а это невозможно. Вот каким образом нежные и сердечные страсти рождаются из себялюбия. Итак, добрым делает человека то обстоятельство, что он имеет мало потребностей и мало сравнивает себя с другими; а злым человека делает главным образом обилие потребностей и излишнее уважение к людскому мнению. На основании этого принципа легко видеть, каким образом можно направлять к добру или злу все страсти детей в взрослых. Правда, что, раз они не имеют возможности жить всегда в одиночестве, им трудно будет оставаться всегда добрыми; трудность эта даже необходимо будет увеличиваться с расширением их сношений, и здесь особенно делаются неизбежными, в виду опасностей со стороны общества, наше искусство и заботы для предупреждения в человеческом сердце той развращенности, которая порождается новыми потребностями.

Приличным для человека изучением является изучение его отношений. Пока он знает себя лишь в качестве существа физического, он должен изучать себя в своих отношениях к вещам — это занятие для его детства; когда он начинает сознавать свое нравственное бытие, он должен изучать

себя в своих отношениях к людям — это занятие для целой его жизни, начиная с того пункта, до которого мы теперь дошли.

Как скоро человеку нужна подруга, он уже, не изолированное существо, его сердце уже не одиноко. Все его связи с человеческим родом, все душевные привязанности рождаются с этою первою страстью. Его первая страсть скоро вызывает брожение и всех прочих. Инстинктивная склонность неопределенна. Один пол влечется к другому — вот движение природное. Выбор, предпочтение, личная привязанность суть дело знаний, предрассудков, привычки; чтобы сделаться способным полюбить, нужно время и незнания: любовь является, когда составилось суждение; предпочтение бывает лишь результатом сравнения. Эти суждения составляют незаметным для нас образом, но тем не менее они действительны. Настоящая любовь, что бы там ни говорили, всегда будет в почете у людей; ибо хотя увлечения ее вводят в заблуждения, хотя она не исключает в любящем сердце гнусных свойств и даже порождает их, все-таки она всегда предполагает и качества, достойные уважения, без которых мы не были бы в состоянии и чувствовать ее. Выбор этот противопоставляют разуму, но он исходит именно от разума. Любовь сделали слепую, потому что она видит отношения, которых мы не можем заметить. Кто не имел бы никакого понятия о достоинстве и красоте, для того всякая женщина была бы одинаково хороша, и первая встречная всегда оказывалась бы самою милою. Любовь не только не происходит от природы, но она служит мерилom и уздой для природных наклонностей; благодаря ей, за исключением любимого предмета, один под перестает существовать для другого.

Оказывая предпочтение, мы желаем его и для себя: любовь должна быть взаимной. Чтобы быть любимым, нужно сделаться милым; чтобы заслужить предпочтение, нужно сделаться милее другого, милее всякого другого по крайней мере в глазах любимого существа. Отсюда — первые сравнения с ними, отсюда — соревнование, соперничество, ревность. Сердце, до краев переполненное чувством, любит изливания; из потребности иметь возлюбленную скоро рождается потребность в друге. Кто почувствует, как сладко быть любимым, тот захочет быть любимым всеми; а если все желают для себя предпочтения, то необходимо является много недовольных. Вместе с любовью и дружбой рождаются раздоры, неприязнь, ненависть. И вот я вижу, как из недр всех этих разнородных страстей людское мнение воздвигает себе несокрушимый трон, а глупые смертные, поработанные его владычеству, свое собственное существование основывают на суждениях другого.

Расширьте эти понятия, и вы увидите, откуда является у нашего самолюбия та форма, которую мы считаем естественной, и каким образом любовь к себе, переставая быть безотносительным чувствованием, становится в великих душах гордостью, в мелких душах тщеславием и во всех душах постоянно питается за счет ближнего. Этот род страстей, не имея источника в сердце детей, не может зародиться здесь сам собою; только мы сами и вносим их туда, по нашей вине они и



пускают там корни; но не то бывает с сердцем юноши: здесь, что бы мы ни делали, они зародятся против нашей воли. Пора, следовательно, изменить методу.

Начнем с некоторых важных размышлений по поводу критического состояния, о котором идет здесь речь. Переход от детства к возмужалости не слишком точно определен природой, так что он разнообразится у отдельных лиц сообразно с темпераментами, у народов сообразно с климатами. Всякий знает разницу, наблюдаемую в этом отношении между странами жаркими и холодными, и каждый видит, что темпераменты пылкие развиваются скорее других: но можно ошибиться насчет причин, и часто физической причине можно приписывать то, что следует приписать нравственной: это одно из самых частых заблуждений философии нашего века. Внушения природы всегда медленны и запоздалы, внушения же людей почти всегда преждевременны. В первом случае чувства пробуждают воображение, во втором — воображение пробуждает чувства; оно дает им преждевременную деятельность, которая не может не обессиливать и расслабляет сначала отдельных лиц, а потом, с течением времени, даже целый род. Но и помимо действия климатов есть наблюдение еще более общее и верное, именно, что у образованных и благоустроенных народов возмужалость и половая способность наступают раньше, чем у народов невежественных и варварских\*. Дети с замечательною проницательностью сквозь все увертки приличия подмечают безнравственность, им прикрываемую. Утонченная речь, к которой их приучают, уроки вежливости, которые им преподают, покров таинственности, который стараются раскинуть перед их глазами,— все это лишь новые средства для того, чтобы подстрекнуть их любопытство. Уже из того, как берутся за дело, видно, что притворное желание скрыть это имеет целью просветить детей насчет этого; а из всех наставлений, которыми наделяют их, это последнее более всего идет им впрок.

\* «В городах, — говорит Бюффон, — и у зажиточных людей дети, привыкшие к изобильной и сочной пище, скорее достигают этого состояния; в деревне же и у бедного населения дети медленнее развиваются, потому что их плохо и слишком мало кормят; им нужно на это развитие года два-три лишних» (Естественная история, т. IV, 238). Я согласен с наблюдением, но не согласен с объяснением, потому что в странах, где крестьянин питается очень хорошо и ест много, как, например, в Валэсэ<sup>3</sup> или даже в некоторых горных округах Италии, например в Фриуле, пора возмужалости наступает у обоих полов точно так же позже, чем в городах, где, чтобы удовлетворить тщеславию, часто соблюдают в еде крайнюю экономию, где, как говорит пословица, «на брюхе шелк, а в брюхе щелк»<sup>4</sup>. Дивишься, когда видишь в этих городах рослых мальчуганов, сильных, как мужчины, но не утративших еще резкого голоса и не имеющих никакой растительности на подбородке, и рослых девушек, в остальном вполне сформировавшихся, но не имеющих еще периодического признака, характерного для их пола. Разница эта, мне кажется, происходит единственно оттого, что при простоте их нравов

воображение, долее остающееся в мире и покое, позже вызывает в крови брожение и не слишком ускоряет развитие их темперамента.

Обратитесь к опыту, и вы поймете, до какой степени эта неразумная метода ускоряет дело природы и губит темперамент. Здесь кроется одна из главных причин вырождения рас в городах. Молодые люди, рано истощенные, остаются малорослыми, слабыми, дурно сложенными; вместо того чтобы расти, они стареют, подобно тому, как виноградная лоза, которую заставили принести плод весною, чахнет и гибнет, не дожив до осени.

Нужно пожить среди грубого и простого населения, чтобы узнать, до какого возраста счастливое невежество способно продлить детскую невинность. Трогательно и вместе с тем смешно видеть, как там оба пола, огражденные спокойною уверенностью своих сердец, в цвете лет и красоты продолжают наивные игры детства и самую фамильярностью своей обнаруживают чистоту своих наслаждений. Когда, наконец, эта милая молодежь вступает в брак, оба супруга, наделяя друг друга первыми плодами своей зрелости, становятся дороже друг другу; обилие детей, здоровых и крепких, является залогом неизменного единения и плодом благоразумия первых лет их жизни.

Если возраст, когда человек начнет сознавать свои пол, изменяется под влиянием как воспитания, так и природы, отсюда следует, что наступление этого возраста можно ускорять и замедлять, смотря по тому, как будут воспитывать детей; и если тело то приобретает, то теряет физическую устойчивость, смотря по тому, замедляем ли мы или ускоряем половое развитие, то отсюда также следует, что, чем старательнее мы замедляем его, тем больше молодой человек приобретает крепости и силы. Я говорю пока о чисто физических последствиях; скоро увидим, что дело не ограничивается этим.

Эти размышления ведут к решению вопроса, столь часто возбуждаемого: следует ли с ранних лет просвещать детей по поводу некоторых предметов, подстрекающих их любопытство, или лучше ввести их в обман путем скромной лжи? Я думаю, что нет нужды ни в том, ни в другом. Во-первых, любопытство это является у них лишь тогда, когда оно возбуждено. Значит, нужно так поступать, чтобы не возбуждать его. Во-вторых, когда никто нас не вынуждает давать ответ, то нет надобности и обманывать предполагающего вопрос: лучше уж принудить к молчанию, чем отвечать лживо. Ребенка не удивит это правило, если мы озаботились подчинить его этому правилу в вещах маловажных. Наконец, если решатся дать ответ, то пусть это сделают с возможною простотой, без таинственности, без замешательства, без улыбки. Гораздо безопаснее удовлетворить любопытство ребенка, чем его возбуждать.

Пусть ваши ответы будут всегда серьезны, кратки, решительны, без всяких признаков колебания. Я не считаю нужным добавлять, что они должны быть правдивы. Нельзя, научая детей, как опасно лгать перед взрослыми, не чувствовать в то же время, что еще более опасна ложь

взрослых перед детьми. Одного случая доказанной лжи учителя перед учеником достаточно для того, чтобы погубить навсегда все плоды воспитания.

Абсолютное невежество в некоторых вещах, быть может, было бы приличнее всего для детей; но что невозможно скрывать от них всегда, об этом пусть они узнают заранее. Нужно, чтобы любопытство их или вовсе не пробуждалось, или удовлетворено было раньше того возраста, когда оно уже не безопасно. Ваше поведение по отношению к воспитаннику во многом зависит в этом случае от его личного положения, от окружающего его общества, от обстоятельств, в которых он может, по вашему предположению, очутиться, и т. д. Здесь важно ничего не предоставлять случаю; и если вы не уверены, что сумеете оставить его до 16 лет в неведении относительно различия между полами, то позаботьтесь, чтобы он узнал о нем до 10 лет.

Не люблю я, когда с детьми говорят языком слишком грубым или когда, чтобы не называть вещей их собственными именами, пускаются в длинные околичности, замечаемые детьми. Добрая нравственность проявляет в этих предметах всегда большую простоту; но воображение, загрязненное пороком, делает ухо в высшей степени чувствительным и вынуждает нас беспрестанно утончать выражения. Грубые термины не ведут к последствиям; похотливые мысли — вот что нужно удалять.

Хотя стыдливость естественна в человеческом роде, но от природы дети не имеют ее. Стыдливость рождается лишь вместе с познанием зла; а каким образом у детей, которые не имеют и не должны иметь этого познания, могло бы явиться чувство, служащее результатом этого познания? Давать им уроки стыдливости и целомудрия значит научать их тому, что есть вещи пристойные и непристойные, значит внушать тайное желание узнать эти последние. Рано или поздно они дойдут до конца; и первая искра, коснувшаяся их воображения, наверняка воспламенит их чувства. Кто краснеет, тот уже виноват; истинная невинность не стыдится ничего.

У детей не те же желания, что и у взрослых; но они, как и взрослые, имеют известного рода неопрятные отправления, оскорбляющие чувство, и уже из одного этого обстоятельства можно извлечь для них те же уроки пристойности. Следуйте духу природы, которая, помещая в одних и тех же местах органы тайных наслаждений и органы отвратительных отправлений, внушает нам в различные возрасты жизни все одни и те же заботы — путем то одной идеи, то другой: взрослому — путем скромности, ребенку — путем стремления к опрятности.

Я вижу только одно хорошее средство сохранить в детях невинность: нужно, чтобы все окружающие уважали ее и любили. Без этого вся сдержанность, которую стараются соблюсти по отношению к ним, рано или поздно изменяет самой себе; улыбка, взгляд, нечаянный жест обнаруживают перед ними все, о чем стараются умалчивать; для того чтобы научиться, им достаточно видеть, как от них хотели скрыть. Утонченность оборотов и выражений, которыми пользуются в разговорах между собою люди вежливые, предполагающая знания, которых дети не должны иметь, совершенно неуместна по отношению к ним; но когда истинно уважают их

простоту, то без труда находят в разговоре с ними те простые термины, которые для них годятся. Есть известная наивность речи, которая приличествует и нравится невинности,— вот настоящий тон, способный отвлечь ребенка от опасного любопытства. Когда с ним говорят обо всем просто, у него не является подозрения, что что-нибудь осталось невысказанным. Соединяя с грубыми словами неприятные идеи, им соответствующие, мы погашаем первые вспышки воображения, мы не запрещаем ему произносить эти слова и иметь эти понятия, но внушаем, незаметно для него самого, отвращение к воспоминанию о них. А от скольких затруднений избавляет эта наивная свобода тех, которые, черпая ее в своем собственном сердце, говорят всегда то, что нужно сказать, и говорят это всегда так, как чувствуют!

«Как делаются дети?» — вот затруднительный вопрос, который довольно естественно является у детей; от неосторожного или благоразумного ответа на него зависят иной раз нравственность и здоровье целой жизни. Самый короткий способ, которым мать думает отделаться, не обманывая своего сына, — это приказание молчать. Это было бы хорошо, если бы ребенка исподволь приучили к этому в вопросах, безразличных для него, и если бы он в этом новом тоне не подозревал тайны. Но мать редко останавливается на этом. «Это секрет женатых людей,— скажет она ему,— маленькие мальчики не должны быть так любопытны». Это прекрасный для матери выход из затруднения; но пусть она знает, что, задетый этим пренебрежительным отношением, маленький мальчик не будет иметь ни минуты покоя, пока не узнает секрета женатых людей, а он не замедлит узнать его.

Пусть будет мне позволено привести совершенно иной ответ на этот же вопрос,— ответ, мною слышанный и тем более меня поразивший, что дала его женщина, скромная как в речах, так и в манерах, но умевшая при случае, ради блага своего сына и ради добродетели, попирать ложный страх порицаний и презирать пустые речи шутников. Незадолго перед тем ребенок выкинул вместе с мочой небольшой камешек, разорвавший у него мочевой канал; но прошедшее страдание было забыто.— «Мама,— спрашивает маленький ветреник,— как делаются дети»? — «Их, милый мой.— отвечала без колебания мать,— выкидывают женщины вместе с мочой, и это сопровождается такими болями, что иные матеря умирают от этого». Пусть безумные смеются, пусть глупцы приходят в негодование; но умные пусть придумают ответ более рассудительный, более бьющий в самую цель.

Прежде всего, мысль о естественной и знакомой ребенку потребности отвлекает его от мысли о каком-то таинственном процессе. Добавочные идеи страданий и смерти покрывают эту последнюю покровом грусти, который смиряет воображение и сдерживает любопытство; все это переносит внимание ребенка на последствие родов, а не на причины их. Недуги человеческой природы, неприятные предметы, картины страдания — вот образы, к которым приводит этот ответ, если только отвращение, внушаемое им ребенку, допустит его до дальнейших расспросов. Как может зародиться тревожное вожелание среди бесед, подобным образом направленных? И

при всем том вы видите, что истина не была искажена и что тут не было нужды обманывать воспитанника вместо того, чтобы наставлять.

Ваши дети читают; из чтения они черпают знания, которых не имели бы не читая. Если они учатся, воображение загорается и разгорается в тиши детской комнаты. Если они живут в свете, они слышат странный жаргон, видят примеры, поражающие их: их столь глубоко убедили, будто они взрослые, что они, что бы ни делали люди в их присутствии, сейчас же ищут, чем бы это могло им пригодиться; нужно же, чтобы чужие действия служили для них образцом, коль скоро чужие суждения служат для них законом. Прислуга, которая поставлена в зависимость от них, а следовательно, заинтересована в том, чтобы угождать им, добивается их расположения ценою доброй нравственности; хохотуны-няньки перед четырехлетним ребенком говорят такие вещи, которых самая бесстыжая из них не осмелилась бы сказать пятнадцатилетнему. Они скоро забывают, что говорили; но тот не забывает слышанного. Скверными речами готовят распутные нравы; плут-лакей ребенка делает развратником, и секрет одного служит порукой за сохранение тайны другого.

Ребенок, воспитанный сообразно с его возрастом, стоит одиноко. Он знает лишь те привязанности, которые приобретены привычкой; он любит свою сестру, как и свои часы, любит друга, как и свою собаку. Он не сознает в себе никакого пола, никакого рода: мужчина и женщина для него равно чужды; он не относит к себе ничего из того, что они делают или что говорят; он этого не видит и не слышит или не обращает на это внимания; разговоры их так же мало его интересуют, как и примеры: все это создано не для него. Путем этой методы мы наделяем его не искусственным заблуждением, а невежеством природы. Придет время, когда та же природа озаботится просветить своего питомца; и только тогда она даст ему возможность без риска пользоваться уроками, которые преподает. Вот принцип; подробности правил не входят в мой сюжет, а средства, предлагаемые мною в виду других целей, годятся и для этой цели.

Если хотите ввести порядок и правильность в зарождающиеся страсти, продлите время их развития, чтоб они успевали уравновешиваться по мере нарождения. Тогда уже не человек повелевает ими, а сама природа, а ваше дело — предоставить ей распорядиться своей работой. Если бы ваш воспитанник был одинок, вам нечего было бы делать; но его воображение разжигается всем окружающим. Поток предрассудков его увлекает; чтобы удержать, его нужно толкать в противоположную сторону. Нужно, чтобы чувство сковало воображение и разум заставил умолкнуть людское мнение. Источник всех страстей — чувствительность, а воображение определяет их направление. Всякое существо, сознающее свои отношения, должно испытывать волнение, когда эти отношения изменяются и оно представляет себе или думает, что представляет, отношения, более соответственные его природе. Заблуждения воображения — вот что превращает в порок страсти всех ограниченных существ; ибо для того чтобы знать, какие отношения более всего приличны их природе, им нужно было бы узнать природу *всех* существ.

Итак, вот краткое изложение всей человеческой мудрости в деле страстей: 1) нужно осознать истинные отношения человека, как в сфере рода, так и в сфере индивидуального, и 2) упорядочивать все душевные привязанности сообразно с этими отношениями.

Но властен ли человек располагать свои привязанности сообразно с теми или иными отношениями? Конечно, если только он властен направлять свое воображение на тот или иной предмет или вкоренясь в него ту или иную привычку. Кроме того, здесь дело идет не о том, что человек может сделать над самим собой, а о том, что мы можем сделать над своим воспитанником — путем подбора обстоятельств, в которые его поставим. Выяснение средств, пригодных для удержания его на пути, установленном природой, ясно покажет и то, как он может сойти с этого пути.

Пока чувствительность ограничена его личностью, в его действиях нет ничего морального; когда же она начинает распространяться и на внешнее, тогда только являются в нем сначала чувствования, потом понятия о добре и зле, которые делают его истинно человеком и составную часть его рода. Значит, на этом первом пункте мы и должны на первых порах сосредоточить свои наблюдения.

Наблюдения эти тем труднее, что для них мы должны отбросить примеры, которые у нас на глазах, и искать таких, где последовательное развитие совершается в порядке естественном.

Ребенок вышколенный, отполированный и просвещенный, который только ждет возможности пустить в дело полученные им преждевременные наставления, никогда не ошибается в моменте, когда возможность эта является. Он не ожидает его, а ускоряет; он возбуждает в своей крови преждевременное брожение и знает цель своих вожделений задолго раньше того, чем испытает их. Не природа возбуждает его, он сам ее насилует: ей нечему учить его, когда она делает его взрослым; мысленно он возмужал гораздо раньше своей действительной возмужалости.

Истинный же ход природы бывает постепенным и более медленным. Лишь мало-помалу воспламеняется кровь, вырабатываются жизненные силы, формируется темперамент. Умный мастер, заведующий производством, заботится усовершенствовать все свои орудия, прежде чем пустить их в дело: первым вожделениям предшествует продолжительное беспокойство; продолжительное неведение дает им сначала ложное направление; желаешь — сам не зная чего. Кровь приходит в брожение и волнуется; избыток жизни ищет выхода наружу. Взор оживляется и останавливается на других лицах; начинаешь интересоваться окружающими, начинаешь чувствовать, что создан не для одинокой жизни; таким-то образом сердце раскрывается для человеческих движений и делается способным к привязанности.

Первое чувство, к которому восприимчив заботливо воспитанный юноша,— это не любовь, а дружба. Первым актом его зарождающегося воображения бывает сознание, что у него есть ближние; род привлекает его внимание раньше пола. Вот, следовательно, другое преимущество продолжительной невинности: возникающею чувствительностью можно воспользоваться для того,

чтобы бросить в сердце юноши первые семена гуманности. Преимущество это тем драгоценнее, что это единственное время жизни, когда эти самые задачи могут увенчаться истинным успехом.

Я всегда видел, что молодые люди, с ранних пор испорченные и преданные женщинам и разврата, были бесчеловечными и жестокими; пылкость темперамента дела та их нетерпеливыми, мстительными, бешеными; воображение их всецело занятое одним предметом, отказывалось от всего остального; они не знали ни жалости, ни милосердия; они пожертвовали бы отцом, матерью, целой Вселенной — здесь а малейшее из своих удовольствий. Напротив, юношу, воспитанного в счастливой простоте, уже первые движения природы вели к страстям нежным и благосклонным; его сострадательное сердце трогается бедствиями ближних; он трепещет от радости при свидании со своим товарищем; его руки способны к приветливым объятиям, глаза умеют проливать слезы умиления; он стыдится огорчить, ему жаль обидеть. Если жар воспламенившейся крови делает его резким, вспыльчивым, гневным, то минуту спустя вы увидите в изъявлениях его раскаяния всю доброту его сердца; он плачет, рыдает над нанесенной им раной; ему хотелось бы ценою своей крови искупить пролитую им кровь; вся его вспыльчивость пропадает, вся гордость смиряется перед сознанием своей вины. Если он оскорблен сам, в самом разгаре бешенства его обезоруживает одно простое извинение, одно слово; он так же искренно прощает чужие вины, как заглаживает свои собственные. Юность не есть возраст мстительности или ненависти: это возраст соболезнования, кротости, великодушия. Да, я утверждаю — и не боюсь быть опровергнутым со стороны опыта, — что юноша, не родившийся с дурными задатками и сохранивший до 20-летнего возраста свою невинность, в эти годы бывает самым великодушным, самым добрым, самым любящим и любезным из людей. Вам никогда не говорили ничего подобного; охотно этому верю: ваши философы, воспитанные среди всей испорченности коллежей, не имеют возможности знать это.

Слабость человека делает его общительным; общие наши бедствия — вот что располагает наши сердца к человечности: мы не чувствовали бы обязанности к человечеству, если бы не были людьми. Всякая привязанность есть признак несостоятельности; если бы каждый из нас не имел никакой нужды в других, он не подумал бы соединиться с ними. Таким образом, из самой нашей немощи рождается наше зыбкое счастье<sup>5</sup>. Существом истинно счастливым бывает существо обособленное; одно божество наслаждается абсолютным счастьем; но из нас никто не имеет о нем понятия. Если бы какое-нибудь несовершенное существо могло вполне удовлетворять само себя, чем бы оно стало наслаждаться — с нашей точки зрения? Оно было бы одиноким, жалким. Я не постигаю, как тот, кто не имеет ни к чему нужды, может любить что-нибудь; я не понимаю, как тот, кто ничего не любит, может быть счастливым.

Отсюда следует, что мы привязываемся к ближним не столько потому, что чувствуем их удовольствия, сколько потому, что чувствуем страдания их; ибо в последнем случае мы хорошо видим тождество нашей природы и ручательство в привязанности к нам и с их стороны. Если

наши общие нужды связывают нас выгодою, то наши общие бедствия связывают нас привязанностью. Вид счастливица внушает другим больше зависти, чем любви; мы готовы обвинить его в узурпации права, которого он не имеет,— права создавать себе исключительное счастье; да и самолюбие наше страдает, давая нам чувствовать, что этот человек не имеет в нас никакой нужды. Но кому не жаль несчастного, который на наших глазах страдает? Кто не захотел бы избавить его от бед, если бы для этого достаточно было одного желания? Воображение скорее ставит нас на место несчастного, чем на место счастливого человека; мы чувствуем, что одно из этих положений ближе нас касается, чем другое. Жалость — сладка, потому что, ставя себя на место страдающего, мы, однако, испытываем удовольствие — оттого, что не страдаем, как он. Зависть — горька, потому что вид счастливого человека не только не заставляет завистника стать на место счастливица, по возбуждает в нем сожаление, что он не на его месте. Один как бы избавляет нас от бедствий, им испытываемых, другой как бы лишает нас тех благ, которыми наслаждается.

Итак, если вы хотите возбудить и поддержать в сердце молодого человека первые движения зарождающейся чувствительности и направить его характер к благотворению и доброте, то не возбуждайте в нем гордости, тщеславия, зависти обманчивым образом мирского счастья; и прежде всего не выставляйте ему напоказ пышности дворов, роскоши дворцов, привлекательности зрелищ; не водите его в гостиные, в блестящие собрания; не показывайте ему большого света прежде, чем он мог бы оценить последний сам по себе. Показывать ему свет прежде, чем он узнает людей, значит, не образовывать его, а развращать, не научать, а обманывать.

От природы люди не бывают ни королями, ни вельможами, ни придворными, ни богачами; все родились нагими и бедняками, все подвержены бедствиям жизни, огорчениям, болезням, нуждам, всякого рода страданиям, всем, наконец, суждено умереть. Вот что воистину принадлежит человеку; вот от чего ни один смертный не избавлен. Итак, начинайте с изучения того в природе человеческой, что наиболее нераздельно с нею, в чем лучше всего выражается человечество.

В шестнадцать лет юноша знает, что значит страдать, ибо он сам страдал; но едва ли он знает, что другие существа тоже страдают: видеть страдание, не чувствуя его, это не значит знать; а ребенок, как я уже сто раз говорил, не представляя себе, что чувствуют другие, не знает иных бедствий, кроме своих; но когда впервые развивающиеся чувства зажигают в нем огонь воображения, он начинает в ближних своих чувствовать себя самого, начинает проникаться их жалобами и страдать их болью. Тогда-то печальная картина страдающего человечества должна пробудить в его сердце первое, какое только он испытал, страдание.

Если в ваших детях трудно подметить этот момент, то кто же виноват в этом? Вы так рано учите их притворно обнаруживать чувствительность, так рано знакомите их с ее языком, что, говоря всегда одним и тем же тоном, они ваши уроки обращают против вас же самих и не дают вам никакого способа различить, когда, переставши лгать, начинают они действительно чувствовать



то, что говорят. Но посмотрите на моего Эмиля: я довел его уже до такого возраста, и он не испытал еще чувств и не лгал. Не узнав, что значит любить, он не говорил никому: «Я вас очень люблю»; ему не предписывали, как держать себя при входе в комнату к отцу, к матери или больному воспитателю; ему не показывали искусства притворно выражать печаль, которой у него нет. Он ни о чьей смерти притворно не плакал, ибо он не знает, что значит умирать. Нечувствительность сердца выражается и в его манерах. Равнодушный, как и все прочие дети, ко всему, кроме самого себя, он не проникается ничьими интересами; он отличается от них только тем, что и не хочет казаться заинтересованным и не притворяется, как они.

Мало размышляя о существах, одаренных чувствительностью, Эмиль поздно узнает, что значит страдать и умирать. Жалобы и крики будут волновать его сердце, вид текущей крови заставит его отвернуться, конвульсии издыхающего животного вызовут в нем невыразимую скорбь, прежде чем он узнает, откуда происходят эти новые для него душевные движения. Если бы он остался тупым и жестокосердным, он их не испытывал бы; если б его больше учили, он знал бы их источник: он уже так много делал в мысли сопоставлений, что может чувствовать, но не настолько еще много, чтобы понимать, что чувствует.

Так зарождается жалость, первое относительное чувство, трогательное сердце человеческое, если человек следует порядку природы. Чтобы стать чувствительным и жалостливым, ребенок должен знать, что есть существа, подобные ему, которые страдают так же, как и он, и чувствуют те же горести, какие чувствует он, и, кроме того, другие горести, о которых он должен иметь понятие, потому что и сам может их испытать. И в самом деле, отчего возникает в нас жалость, как не оттого, что мы переносим себя на место другого и отождествляем себя со страдающим живым существом, покидаем, так сказать, свое бытие, чтобы пережить жизнь другого? Мы страдаем лишь настолько, насколько представляем его страдания; мы страдаем не в нас самих, а в нем. Таким образом, всякий делается чувствительным лишь тогда, когда его воображение оживляется и начинает переносить его за пределы собственного бытия.

Чтобы возбуждать и поддерживать эту зарождающуюся чувствительность, чтобы руководить ею или следовать за ее естественным ходом, нам остается, значит, представлять молодому человеку такие предметы, которые могли бы проявить силу его сердца, ищущую исхода, которые расширили бы сердце, распространяли бы его действие на другие существа, заставляли бы его на все отзываться, и заботливо удалять такие предметы, которые стягивают его деятельность к одному центру и преувеличивают значение человеческого «я»; другими словами, мы должны возбуждать в нем доброту, гуманность, сострадание, благотворительность, все страсти привлекательные и нежные, которые по природе нравятся людям, и препятствовать зарождению зависти, алчности, ненависти, всех страстей отталкивающих и жестких, не только уничтожающих, так сказать, чувствительность, но и делающих ее отрицательной и составляющих муку того, кто их испытывает.

Все предшествующие размышления можно, мне думается, свести к двум-трем правилам, точным, ясным и удобопонятным.

### **Первое правило**

*Сердцу человеческому свойственно ставить себя на место не тех людей, которые счастливее нас, но только тех, которые больше нас заслуживают жалости.*

Если есть исключения из этого правила, то они скорее кажущиеся, чем действительные. Таким образом, мы не ставим себя на место богача или вельможи, к которому привязываемся; даже искренно привязавшись к нему, мы присваиваем себе только часть его благосостояния. Иногда такого человека любят в несчастье; но пока он счастлив, у него истинным другом бывает разве только тот, кто не обманывается внешностью и, несмотря на его благоденствие, скорее сожалеет о нем, чем завидует ему.

Нас трогает счастье некоторых состояний, например счастье сельской и пастушеской жизни. Удовольствие видеть этих добрых людей счастливыми не отравлено завистью; мы в действительности заинтересовываемся ими. Отчего это? Оттого, что мы чувствуем себя властными спуститься до этого состояния мира и невинности и наслаждаться таким же счастьем; это прибежище для нас в случае крайности, и оно возбуждает мысли только приятные, потому что стоит нам пожелать, и мы можем наслаждаться этим. Всегда бывает приятно видеть свои возможности и созерцать свое собственное благо, даже тогда, когда не хочешь им пользоваться.

Отсюда выходит, что, если мы хотим внушить молодому человеку чувство гуманности, мы не только не должны удивлять его блестящим жребием других, но должны показывать ему печальные его стороны и внушать опасение перед ним. Тогда он с очевидностью убедится, что ему необходимо самому пролагать путь к счастью и не идти по следам другого.

### **Второе правило**

*Жалость возбуждают в нас только те чужие беды, от которых мы не считаем сами себя избавленными.*

Non ignara mali, miseris succurere disco<sup>6</sup>.

Я ничего не знаю прекраснее и глубже, трогательнее и истиннее этого стиха.

Почему короли безжалостны к своим подданным? — Потому что они не рассчитывают быть когда-либо простыми людьми. Почему богачи столь суровы к беднякам? — Потому что они не опасаются стать бедняками. Почему знать питает такое презрение к простому народу? — Потому что знатный никогда не будет простолюдином. Почему турки вообще человеколюбивее и гостеприимнее нас? — Потому что при совершенно самовластном правительстве величие и богатство частных лиц всегда непрочны и шатко, и они не видят в унижении и нищете состояния, совершенно чуждого себе<sup>\*</sup>; завтра каждый может оказаться тем, кем сегодня бывает тот, кому он помогает. Это размышление, постоянно повторяемое в восточных романах<sup>7</sup>, придает сюжетам некоторую долю трогательности, которой нет у нас при всей изысканности нашей сухой морали.

\* Теперь это, мне кажется, несколько изменяется: состояния, по-видимому, делаются более прочными, и люди также становятся более суровыми.

Не приучайте же вашего воспитанника смотреть с высоты своего величия на бедствия несчастных, на труды обездоленных и не надейтесь научить его жалеть их, если он смотрит на них как на чужих. Дайте ему понять, что судьба этих несчастных может быть его судьбою, что все их беды висят над его головой, что тысяча непредвиденных и неизбежных случайностей может с минуты на минуту обрушиться на него. Научите его не рассчитывать на родовитость, на здоровье или богатства; покажите ему все превратности судьбы; подыщите ему примеры людей, всегда слишком многочисленные, которые принадлежали к высшему, чем он, состоянию и пали ниже этих несчастных; по их ли вине это произошло или нет, теперь не в этом вопрос; да и знает ли еще он, что такое вина? Соблюдайте всегда постепенность в сообщении ему познаний и просвещайте его такими лишь сведениями, которые доступны его пониманию: нет нужды быть очень ученым, чтобы сознавать, что вся человеческая мудрость не может ему предрешить вопроса, живым ли он будет через час или умирающим, не заставит ли его боль почек еще до наступления ночи скрежетать зубами, богачом он будет или бедняком через месяц, не придется ли ему через год под ударами плети грести на алжирских галерах<sup>8</sup>. Особенно не вздумайте передавать ему все это холодным тоном, как обязательный для него катехизис: пусть он видит, пусть чувствует людские невзгоды; трогайте, пугайте его воображение опасностями, которыми всякий человек непрестанно окружен; пусть он видит вокруг себя все эти пропасти и, слушая, как вы их описываете, прижимается к вам из опасения попасть в них. «Мы сделаем его робким и трусом», — скажете вы. Увидим впоследствии; а что касается настоящего, то сделаем его прежде всего гуманным — вот что, собственно, важно для нас.

### **Третье правило**

*Жалость, внушаемая нам горем другого, измеряется нами не количеством этого горя, а тем чувствованием, которое мы предполагаем в людях страдающих.*

Мы лишь настолько жалеем несчастного, насколько считаем его заслуживающим сожаления. Физическое ощущение бедствий более ограничено, чем это кажется; но благодаря памяти, которая дает чувствовать их продолжительность, и воображению, распространяющему их и на будущее время, они делают нас поистине достойными сожаления. Вот, я думаю, одна из причин, почему мы более жестки к страданиям животных, чем к страданиям людей, хотя общая чувственность должна была бы одинаково отождествлять нас и с животными. Мы почти не жалеем стоящей в стойле извозчичьей лошади, потому что не предполагаем, чтобы она, жуя свое сено, думала о полученных ею ударах и ожидающей ее усталости. Точно так же мы не жалеем овцы, которую видим на лугу, хотя и знаем, что ее скоро зарежут, потому что полагаем, что она не предвидит своей участи. Подобным же образом, если смотреть на дело шире, становятся жестокими и к участи людей; богачей в бедствии, причиняемом ими беднякам, утешает предположение, что

последние настолько тупы, что вовсе его и не чувствуют. Вообще, о цене, которую каждый придает счастью ближних своих, можно судить по уважению, которое он может питать к ним. Очень естественно, что мы не дорожим счастьем людей, которых презираем. Не удивляйтесь поэтому, если политики с таким пренебрежением говорят о простом народе, если большинство философов силится изобразить человека столь злым.

Из народа состоит род человеческий: часть, сюда не принадлежащая, столь незначительна, что ее не стоит и считать. Человек — один и тот же во всех состояниях; а если это так, то самые многочисленные сословия заслуживают и наибольшего уважения. Перед человеком мыслящим исчезают все гражданские различия: он видит те же страсти, те же чувства и в денщике, и в человеке именитом; он видит тут разницу лишь в речи, в большей или меньшей изысканности выражений; а если и есть между ними какая-нибудь более существенная разница, то она не служит к чести тех, которые из них скрытнее. Народ выказывает себя таким, каков он есть; но светским людям нужно маскировать себя; если бы они показывали себя такими, каковы они есть, то они возбуждали бы отвращение.

Во всех состояниях, говорят наши мудрецы, одинаковая доля счастья и горя. Это положение столь же губительно, насколько оно несостоятельно; если все одинаково счастливы, то что за нужда мне беспокоиться из-за кого бы то ни было? Пусть каждый остается, как он есть; пусть раб терпит дурное обхождение, немощный пусть страдает, убогий пусть погибает; они ничего не выиграют от перемены состояния. Мудрецы эти исчисляют скорби богача и показывают суетность наслаждений — какой грубый софизм! Источник скорбей богача не состояние его, а исключительно сам он, злоупотребляющий своим положением. Будь он даже несчастнее бедняка, и тогда он не заслуживает жалости, потому что все его бедствия — дело его рук и от него одного зависит быть счастливым. Горести же несчастного происходят от обстоятельств, от суровости судьбы, над ним тяготеющей. Никакая привычка не может избавить его от физического чувства усталости, истощения, голода; ни остроумие ума, ни мудрость совершенно непригодны для того, чтоб избавить его от бедствий, связанных с его состоянием. Что выиграл бы Эпиктет<sup>9</sup>, если бы предвидел, что его господин сломает ему ногу? Ведь нога все-таки была бы сломанной; сверх своего страдания он испытывал бы еще горечь предвидения. Если бы простой народ был настолько же рассудителен, насколько мы считаем его глупым, — чем иным он мог бы быть помимо того, что он есть? что он стал бы делать помимо того, что делает? Изучайте людей этого состояния, и вы увидите, что у них столько же ума и больше здравого смысла, чем у вас, хотя речь у них и иная. Уважайте же род человеческий; имейте в виду, что он состоит в сущности из масс простого народа, что если бы изъять из него всех королей и всех философов, то этого никто почти и не заметил бы и в свете не стало бы хуже. Словом, научите нашего воспитанника любить всех людей и даже тех, кто их презирает; сделайте так, чтоб он не помещал себя ни в один класс, но

чтоб оказывался во всех классах; говорите при нем о роде человеческом с умилением, даже с жалостью, но никогда не отзывайтесь о нем с презрением. Человек, не позорь человека.

Вот этими-то путями и другими, им подобными, но совершенно не похожими на пути избитые, и следует проникать в сердце юноши, чтобы возбудить в нем первые природные движения и раскрыть его для сочувствия ближним; кроме того, я прибавлю, что к этим движениям нужно примешивать как можно меньше личного интереса; особенно не должно быть тщеславия, соревнования, славолубия, всех тех чувствований, которые принуждают нас сравнивать себя с другими; ибо эти сравнения никогда не обходятся без некоторой доли ненависти к тем, которые оспаривают у нас преимущество — даже только по нашей собственной оценке. В этом случае приходится быть ослепленным или раздражаться, быть злым или глупым; постараемся избежать этой альтернативы. Мне говорят: «Эти страсти, столь опасные, рано или поздно появятся помимо нашей воли». Я не отрицаю этого; для каждой вещи есть свое время и место; я говорю только, что мы не должны помогать их зарождению.

Вот сущность методы, которой следует держаться. Примеры и детали здесь бесполезны, потому что здесь начинается почти бесконечное разграничение характеров и потому что каждый пример, который я представил бы, для одного из ста тысяч, быть может, не годился бы. В этом же возрасте начинается для искусного наставника истинная роль наблюдателя и философа, который владеет искусством испытывать сердца в своих заботах об их образовании. Пока молодой человек не помышляет еще притворяться, пока он не научился еще этому, в его наружности, в его взорах и жестах, при каждом предмете, ему представляемом, мы видим и впечатление, получаемое им: на его лице мы читаем все движения его души; тщательное исследование их ведет к тому, что мы начинаем предвидеть их и, наконец, управлять ими.

Вообще замечено, что кровь, раны, крики, стоны, обстановка болезненных операций и все, что говорит чувствам о предметах страдания, скорее и неизбежнее поражает всех людей. Идея разрушения, как более сложная, не так поражает; картина смерти трогает позже и слабее, потому что никто не имеет за собою опыта умирания; пужно увидеть трупы, чтобы чувствовать агонию умирающих. Но раз картина эта запечатлелась в уме, для наших глаз уже нет зрелища более ужасного — потому ли, что на нас действует идея всецелого разрушения, воспринимаемая здесь путем чувств, или потому, что, зная неминуемость этого момента для всех людей, мы сильнее бываем поражены состоянием, которое, без всякого сомнения, неизбежно и для нас.

Эти различные впечатления имеют видоизменения и степени, зависящие от частного характера каждого индивида и от предшествующих его привычек; но они всеобщие, и никто вполне не избавлен от них. Есть впечатления более поздние и менее общие — они свойственнее душам чувствительным: это впечатления, получаемые от нравственных страданий, от внутренних болей, от огорчений, томления, уныния. Иные люди могут быть тронуты лишь криками и слезами; продолжительные и глухие стенания сердца, сжимаемого скорбью, никогда не вырывали у них

вздоха; подавленный вид, истомившееся и бледное лицо, потухшие и потерявшие способность плакать глаза никогда не вызывали у них самих слез; горести души для них не имеют значения; с ними порешено, их собственная душа ничего не чувствует; не ждите ничего от них, кроме непреклонной суровости, ожесточения, жестокости. Они могут быть неподкупными и справедливыми, до никогда не бывают милостливыми, великодушными, сострадательными; да и о справедливости их можно говорить лишь в случае, если справедливым может быть даже человек немилосердный.

Но не спешите на основании этого правила судить о молодых людях, в особенности о тех, которые, будучи воспитаны надлежащим образом, не имеют даже понятия о нравственных страданиях, ни разу ими не испытанных; ибо — повторяю еще раз — они могут выказывать сострадание только к тем бедствиям, которые им знакомы; и эта кажущаяся нечувствительность, происходящая единственно от неведения, скоро превращается в сострадание, когда они начинают сознавать, что в жизни человеческой есть тысячи горестей, которых они не знали. Что касается моего Эмиля, то, раз в детстве он отличался простотой и здравым смыслом, я уверен, что в юности у него будет добрая душа и чувствительность; ибо истинность чувств много зависит от правильности идей.

Но к чему напоминать здесь об этом? Многие читатели, без сомнения, упрекнут меня в забвении моих первоначальных намерений, в забвении того, что я обещал своему воспитаннику постоянное счастье. Несчастные, умирающие, зрелища горести и нищеты! Вот так счастье, вот так наслаждение для юного сердца, возрождающегося к жизни! Мрачный воспитатель, предназначавший ему такое приятное воспитание, вызывает его к жизни лишь для того, чтобы страдать. Вот что мне скажут. Но мне какое дело? Я обещал сделать его счастливым в действительности, а не добиваться того, чтобы он казался счастливым. Моя ли вина, что вы, всегда обманываясь наружностью, принимаете ее за действительность?

Возьмем двух молодых людей, входящих по окончании первоначального воспитания в свет двумя прямо противоположными дверьми. Один восходит сразу на Олимп и попадает в самое блестящее общество: его возят ко двору, к вельможам, богачам, красивым женщинам. Я предполагаю, что он всюду хорошо принят, и не стану исследовать действия этого приема на его разум: я предполагаю, что он устоит здесь. Удовольствия роем его окружают; его забавляют каждый день новые предметы. Он на все бросается с интересом, пленяющим вас. Вы видите его внимательным, старательным, любопытным; его первый восторг вас поражает; вы считаете его довольным. Но обратите внимание на состояние его души; по-вашему, он наслаждается; что же касается меня, я думаю, что он страдает.

Что прежде всего бросается ему в глаза? Множество мнимых благ, которых он не знал и большинство которых, будучи доступно ему лишь на минуту, как будто для того только и является перед ним, чтобы возбудить в нем сожаление, что он лишен их. Прогуливается ли он по дворцу, по

его беспокойному любопытству мы уже видим, что он задает себе вопрос, почему родительский дом у него не таков. Все его вопросы показывают вам, что он беспрестанно сравнивает себя с обладателем этого дома, и все, что он находит обидного для себя в этой параллели, подстрекает его тщеславие и возмущает его. Встречает ли он молодого человека, лучше одетого, чем он, я вижу, как он тайно ропщет на скупость своих родителей. Если он сам наряднее другого, он с горестью видит, что этот другой затмевает его своею родовитостью или умом, и вся позолота на нем бледнеет перед простой суконной одеждой. Если он один блестит в собрании и всячески топорщится, чтобы лучше быть видиму, у кого не явится тайного намерения унижить гордость и надменность молодого фата? Все скоро соединяются как будто в общем заговоре; беспокоящие взгляды степенного человека, насмешливые слова остряка тотчас же доходят до него; а выкажи ему хоть один человек пренебрежение, презрение этого человека в один момент отравляет похвалы других.

Дадим ему все, наделим его приятными свойствами, достоинствами; пусть он будет хорош собою, исполнен ума, мил: женщины будут добиваться его знакомства; но, ища его знакомства, прежде чем он полюбит их, они сделают его скорее безумным, чем влюбленным; он будет иметь у них успех, но не будет иметь ни восторгов, ни страсти, чтобы наслаждаться им. Так как желания его, не успевши зародиться, бывают уже предупреждаемы, то среди удовольствий он испытывает лишь скуку стеснения: пол, созданный для счастья его пола, внушает ему отвращение и надоедает прежде, чем он мог бы узнать его; если он продолжает с ним сношения, то из-за одного тщеславия; а если он почувствует истинную склонность, то ведь не один он будет юным, блестящим, милым — и он не встретит особенной верности в своих возлюбленных.

Я уже не говорю о сплетнях, изменах, всякого рода мерзостях, раскаяниях, неразлучных с подобной жизнью: известно, что, кто испытал свет, тот получает к нему отвращение; я говорю о неприятностях, связанных с первыми иллюзиями.

Какой представляется контраст для того, кто, будучи доселе замкнут в кругу своей семьи и друзей, видел себя единственным предметом всех их попечений, а теперь сразу попадает в среду, где так мало его ценят, и как бы тонет в чуждой для него сфере,— он, который так долго был центром своего круга! Сколько оскорблений, сколько унижений придется ему вынести, прежде чем он, среди людей незнакомых, расстанется с ложным понятием о своем значении,— понятием, которое он получил и развил в себе в кругу своих близких! Когда он был ребенком, ему все уступали, все суетились из-за него; стал юношей, и ему приходится уступать всем самому; а если он хоть чуть забудется и примет свой прежний вид, жестокие уроки очень скоро заставят его опомниться! Привычка легко получать желаемое заставляет его желать многого и дает ему чувствовать постоянные лишения. Все, что нравится, соблазняет его; ему хотелось бы иметь все, что имеют другие; он всего жаждет, всем завидует, хочет всюду господствовать; тщеславие грызет его, пыл необузданных желаний разжигает его молодое сердце; с ними зарождаются зависть и

ненависть, все губительные страсти разом пробуждаются в нем; они волнуют его среди светского шума, с ними же он возвращается по вечерам домой; он приходит недовольный собою и другими; засыпает с тысячью пустых планов в голове, волнуемый тысячью фантазий, а гордость рисует ему даже во сне химерические блага, которых он мучительно жаждет и которыми не будет обладать во всю свою жизнь. Вот ваш воспитанник. Посмотрим, каков мой.

Если первое зрелище, его поражающее, бывает источником грусти, зато первое углубление в самого себя порождает чувство удовольствия. Видя, от скольких бедствий он избавлен, он чувствует себя более счастливым, чем полагал. Он разделяет огорчения ближних, но это участие добровольное и приятное. Он находит утеху одновременно и в счастье, избавляющем его от этих бедствий; он чувствует в себе то состояние силы, которое переносит нас за пределы нас самих и заставляет в ином месте проявлять деятельность, которая излишня для нашего благосостояния. Без сомнения, чтобы сожалеть о чужой беде, нужно знать ее, но нет нужды самому переживать ее. Когда мы страдали или боимся, что будем страдать, мы жалеем тех, кто страдает; но пока страдаем, мы жалеем, только себя. А если вследствие того, что все мы подвержены жизненным невзгодам, каждый уделяет другим только то чувство, в котором не нуждается в настоящую минуту для самого себя, то отсюда следует, что сострадание должно быть чувством очень приятным, потому что оно говорит в нашу пользу, и, напротив, жесткий человек всегда несчастлив, потому что состояние его сердца не дает ему никакого излишка чувствительности, который он мог бы уделить страданиям других.

Мы слишком уверенно судим о счастье по внешности: предполагаем его там, где его всего меньше; ищем там, где не может его быть: веселость — весьма сомнительный его признак. Веселый человек — это часто лишь несчастливец, которому хочется ввести и обман других и забиться самому. Эти столь веселые, столь открытые и сияющие в обществе люди — у себя дома все бывают унылыми и ворчливыми, и на их домашних горько отзывается развлечение, которое они вносят в общество. Настоящее довольство не бывает веселым и шаловливым; дорожа столь сладким чувством, мы, испытывая его, думаем о нем, вкушаем с наслаждением, боимся, чтобы оно не испарилось. Человек истинно счастливый мало говорит и мало смеется; он сжимает, так сказать, свое счастье у своего сердца. Шумные игры, бурная веселость скрывают под собою досаду и скуку. Задумчивость же — подруга наслаждения; умилением и слезами сопровождаются самые сладкие радости, а чрезмерная радость, сама навлекает скорее слезы, чем смех.

Если обилие и разнообразие утех и кажется на первый взгляд содействующим счастью, если однообразие ровной жизни и кажется с первого взгляда скучным, то, всматриваясь ближе, мы, напротив, находим, что самая приятная привычка души состоит в умеренности наслаждения, дающей мало простора и вожделениям, и пресыщению. Тревога желаний порождает любопытство, непостоянство; пустота шумных удовольствий производит скуку. Наше состояние никогда не бывает для нас скучным, если мы не знаем состояния более приятного. Из всех людей в мире



дикари наименее любопытны и меньше всего скучают: для них все безразлично; они наслаждаются не вещами, а собою, всю жизнь проводят, ничего не делая, и никогда им не бывает скучно.

Светский человек весь заключается в своей маске. Никогда почти не углубляясь в себя, он всегда остается чуждым себе, и ему трудно бывает, когда он вынужден углубиться. Каков он в действительности, это ему нипочем; каким он кажется, это для него все.

Я невольно представляю на лице молодого человека, о котором я только что говорил, что-то дерзкое, приторное, вынужденное, неприятное и отталкивающее для людей простых— и рядом простую и привлекательную физиономию моего питомца, которая выказывает довольство, истинную ясность душевную, которая внушает уважение, доверие и будто только ждет дружеского излияния, чтобы отдать свою дружбу окружающим. Полагают, что физиономия есть простое развитие черт, уже намеченных природою. Я же думаю, что, помимо этого развития, черты человеческого лица незаметно образуются и получают выражение путем запечатления тех или иных, частых и обычных, душевных движений. Движения эти оставляют след на лице — это вполне несомненно; а когда они обращаются в привычку, то должны оставлять на нем неизгладимые отпечатки. Вот каким образом, по-моему, физиономия показывает характер, вот как можно судить по ней о последнем, не прибегая к таинственным объяснениям, предполагающим знания, которых мы не имеем.

У ребенка есть только два ясно намеченных душевных движения — радость и печаль: он смеется или плачет; средних звеньев для него не существует; он беспрестанно переходит от одного из этих движений к другому. Это непрерывное чередование препятствует им оставлять на его лице прочный отпечаток и не дает образоваться физиономии; но в том возрасте, когда, ставши чувствительнее, он живет или чаще испытывает волнения, впечатления, делаясь более глубокими, оставляют и следы, труднее поддающиеся уничтожению; из привычного состояния души вытекает и расположение черт, которые время делает неизгладимыми. Однако нередко можно видеть, что в различные возрасты у людей меняется и физиономия. Я видел это у многих и всегда находил, что у тех, за кем я мог хорошо наблюдать и следить, изменялись также и обычные страсти. Одно уже это наблюдение, хорошо проверенное, кажется мне решительным, и оно вполне уместно в трактате о воспитании, где важно научить по внешним признакам судить о душевных движениях.

Не знаю, будет ли мой юноша так же любим, не научившись подражать условным манерам и притворно выказывать чувства, которых нет,— не об этом теперь речь; но я знаю только, что он будет больше любить, и мне совершенно не верится, чтобы человек, любящий только самого себя, мог так искусно замаскироваться, что будет нравиться не меньше того, кто в своей привязанности к другим находит для себя лишь новое ощущение счастья. Что же касается самого чувства, то, мне кажется, я уже так много говорил о нем, что могу руководить в этом пункте рассудительного читателя, и показать ему, что я не противоречил себе.

Итак, я возвращаюсь к своей методе и говорю: когда приближается критический возраст, предлагайте молодым людям такие зрелища, которые их сдерживали бы, а не такие, которые возбуждают; отвлекайте зарождающееся воображение предметами, которые вместо того, чтобы разжигать их чувства, подавляли бы их деятельность. Удаляйте их из больших городов, где наряды и нескромность женщин ускоряют и предупреждают уроки природы, где всюду представляются их взору удовольствия, о которых они не должны знать раньше, чем будут в состоянии делать выбор. Ведите их назад в их прежние жилища, где сельская простота не давала бы слишком быстро развиваться свойственным их возрасту страстям; если же склонность к искусствам удерживает их пока еще в городе, то с помощью этой самой склонности старайтесь предупредить опасную праздность. Старательно избирайте для них общество, занятия, удовольствия: показывайте им лишь картины трогательные, но скромные, такие, которые умиляли бы, не обольщая, питали бы чувствительность, не возбуждая чувственности. Помните, кроме того, что всюду нужно бояться излишества и что неумеренные страсти всегда причиняют большее зло сравнительно с тем, которого хотят избежать. Дело не в том, чтобы Сделать из вашего воспитанника сиделку, брата милосердия, чтоб удручать его взоры непрерывными картинами болезней и страданий, водить его от немощного к немощному, из одной больницы в другую, с Гревской площади<sup>10</sup> в тюрьму: его нужно тронуть, а не делать безучастным к виду человеческих бедствий. Кому часто представляются одни и те же зрелища, тот перестает получать впечатления; привычка делает равнодушным ко всему; что слишком часто видим, то не рисуется уже в воображении, а воображение именно и дает нам чувствовать страдания другого; потому-то священники и врачи, постоянно видящие смерть и страдания, становятся безжалостными. Пусть же ваш воспитанник ознакомится с человеческим жребием и бедствиями ближних, но пусть он не слишком часто бывает их свидетелем. Один предмет, удачно выбранный и показанный в надлежащем свете, даст ему на целый месяц запас сердечного умиления и размышлений. Его суждения определяются не столько тем, что он видит, сколько воспоминанием о виденном, и прочность впечатления, получаемого им от предмета, зависит не столько от самого предмета, сколько от точки зрения, от которой заставляют его вспоминать о нем. Таким-то образом, наблюдая постепенность в примерах, уроках, картинах, вы долго будете притуплять остроту чувственности и отклонять природу в другую сторону, следуя ее собственному направлению.

По мере того как он приобретает сведения, выбирайте идеи, к ним относящиеся; по мере того как разжигаются его вожелания, подбирайте картины, могущие охладить их. Один старый воин, отличавшийся столько же нравственностью, сколько мужеством, рассказывал мне, что в ранней его юности отец его, человек чувственный, но очень набожный, видя, что зарождающиеся страсти неудержимо влекут сына к женщинам, ничем не пренебрегал, чтобы сдержать его; но наконец, чувствуя, что, несмотря на все заботы, он готов ускользнуть от него, вздумал свести его в госпиталь сифилитиков и, не предупредив, ввел его в залу, где толпа этих несчастных ужасным

способом лечения искупала разврат, доведший их до этого. При этом отвратительном зрелище, которое возмущало разом все чувства, молодой человек чуть не упал в обморок.— «Ступай, жалкий развратник,— сказал тогда отец громовым голосом,— предавайся низкой наклонности, тебя увлекающей; скоро ты будешь считать себя слишком счастливым, если тебя допустят в этот покой, где, будучи жертвой самых гнусных страданий, ты вынудишь отца твоего благодарить бога за твою смерть».

Эти немногие слова в соединении с резкой картиной, поразившей молодого человека, произвели впечатление, которое всю жизнь не сгладилось. Принужденный по своему положению проводить юность в гарнизонах, он предпочитал переносить все насмешки товарищей, лишь бы не подражать их распушенности. «Я был человеком,— говорил он мне, — я имел слабости; но дожив до моих лет, я не мог видеть публичной женщины без отвращения». Наставник, поменьше разговоров, но научись выбирать место, время, лиц, затем давай все свои уроки на примерах и будь уверен в их успехе!

Пользование детством — задача легкая; зло, проскользающее здесь, не бывает неизлечимым; добро, здесь приобретаемое, может прийти и позднее. Но не то бывает в первом возрасте, когда человек начинает поистине жить. Возраст этот всегда оказывается слишком коротким по сравнению с употреблением, которое нужно из него сделать, и его важность требует неослабного внимания: вот почему я усиленно рекомендую искусство продлить его. Одно из лучших правил приобретения хорошей культуры — замедление всего, насколько возможно. Сделайте прогресс медленным и верным; помешайте юноше сделаться мужчиной в момент, когда он совершенно готов сделаться им. Пока тело растет — формируются и вырабатываются и жизненные соки, которые должны успокоить волнение крови и придать силу фибрам. Если ты заставишь их принять другое направление, если предназначенное для совершенствования одного индивида служит на образование другого, то оба они остаются слабыми, и дело природы оказывается несовершенным. Умственные процессы, в свою очередь, страдают от этого искажения, и душа, столь же немощная, как и тело, слабо и вяло совершает свои отправления. Дородные и крепкие члены не создают ни мужества, ни гения: и мне понятно, что телесная сила не сопровождается душевной силой, когда при этом органы сообщения двух существ дурно устроены. Но как бы хорошо они ни были устроены, они всегда будут слабо действовать, если основой их будет кровь истощенная, обедневшая и лишенная того вещества, которое придает силу и движение всем частям организма. Вообще, в людях, которые в молодых годах предохранены были от преждевременной испорченности, замечают больше душевной крепости, чем в тех, у которых разврат начался вместе с возможностью ему предаваться; и это, без сомнения, одна из причин, почему народы, отличающиеся нравственностью, обыкновенно превосходят по здравому смыслу и мужеству те народы, у которых нет нравственности. Последние блистают единственно какими-то мелкими тонкостями, которые они называют умом, проницательностью, остроумием; но те великие и

благородные проявления мудрости и разума, которые отличают и украшают человека прекрасными деяниями, добродетелями, истинно полезными делами, встречаются почти только у первых.

Наставники жалуются, что пылкость этого возраста делает юность необузданною, и я это вижу; но разве это не их вина? Разве они не знают, что коль скоро они направили эту пылкость в сторону чувственности, то ей нельзя уже дать другое направление? Могут ли длинные и сухие проповеди педанта сгладить в уме его воспитанника картину удовольствий, которая у него составила? Изгонит ли он из сердца вожделения, его терзающие? Ослабят ли они пылкость темперамента, если он знает, на что употребить ее? Не раздражат ли его препятствия, загораживающие ему единственное счастье, о котором он имеет понятие? А в жестоком законе, которому подчиняют его, не умея сделать его понятным, что он увидит, как не каприз и злобу человека, которому хочется помучить его? Удивительно ли, если он заупрямится и, в свою очередь, возненавидит его?

Я хорошо понимаю, что снисходительностью можно сделать себя более сносным и сохранить внешний авторитет. Но я не вижу, к чему служит тот авторитет, сохраняемый не иначе, как путем потворства порокам, которые он должен был бы подавлять; это все равно, как если бы наездник, с целью усмирить горячую лошадь, принудил ее скакнуть в пропасть.

Эта пылкость юноши далеко не служит препятствием к воспитанию; напротив, благодаря ей оно завершается и заканчивается; она дает вам влияние на сердце молодого человека, когда он перестает быть менее сильным, чем вы. Первые его привязанности служат уздой, с помощью которой вы направляете все его движения: он был свободен, и я вижу его поработанным. Пока он ничего не любил, он зависел только от самого себя и своих потребностей; как скоро он любит, он зависит от своих привязанностей. Так образуются первые узы, соединяющие его с родом человеческим. Но, направляя в эту сторону его зарождающуюся чувствительность, не думайте, что она с первого же раза обнимает всех людей и что слова «род человеческий» будут для него что-нибудь обозначать. Нет, чувствительность эта ограничится на первых порах его ближними; а ближними его будут не незнакомые, но те, с которыми он имеет связи, которых привычка сделала для него дорогими или необходимыми, у которых он ясно видит общий с ним образ мыслей и чувствований, которых он видит подверженными тем же бедствиям, что и он перенес, и восприимчивыми к тем же удовольствиям, что и он испытал,— словом, те, в которых тождество природы более очевидно и, значит, внушает ему большее расположение ко взаимной любви. Лишь после того как он разовьет с тысячи сторон свои наклонности, лишь после многих размышлений над своими собственными чувствами и над теми, какие он будет наблюдать в других, он может дойти до обобщения своих индивидуальных понятий в отвлеченную идею человечества и присоединить к своим частным привязанностям те, которые могут отождествить его с родом.

Делаясь способным к привязанности, он делается восприимчивым и к привязанности других\*, а через это самое внимательным к внешним признакам этой привязанности. Видите ли вы, какую

новую власть вы приобретаете над ним? Сколькими цепями опутаете вы его сердце, прежде чем он заметит это! Чего он не почувствует, когда, открыв глаза на самого себя, увидит, что вы сделали для него, когда будет в состоянии сравнить себя с другими молодыми людьми его же лет и вас сравнить с другими воспитателями! Я говорю: когда он увидит; но берегитесь говорить ему об этом; если вы будете говорить, он не будет уже видеть. Если вы требуете от него повиновения взамен забот, которыми вы его окружали, он подумает, что вы провели его: он скажет себе, что, прикидываясь оказывающим ему услуги безвозмездно, вы имели претензию навязать ему долг и связать его контрактом, на который он не изъявлял согласия. Тщетно вы будете заявлять, что все ваши требования клонятся к его только пользе; вы ведь все-таки требуете, и притом во имя того, что вы делали без его согласия. Когда несчастный бедняк берет деньги, которые притворно дарят ему, и оказывается завербованным помимо своей воли, вы кричите, что это несправедливо; не бываете ли вы еще более несправедливыми, когда требуете от своего воспитанника платы за те заботы, на которые он не изъявлял согласия?

\* Привязанность может обходиться без взаимности, но дружба — никогда. Она есть обмен, договор, как и всякий другой, но она — самый священный из всех договоров. Слово «друг» не имеет другого соотносительного слова, кроме себя самого. Человек, который не есть друг своего друга, есть, несомненно, плут, ибо, только выказывая дружбу или притворяясь другом, можно добиться ее.

Неблагодарность была бы более редкою, если бы менее обычны были лихоимные благодеяния. Мы любим того, кто делает нам добро,— это чувство столь естественно! Неблагодарности нет в сердце человека, но есть в нем интерес: неблагодарных должников меньше, чем корыстных благодетелей. Если вы мне продаете свои дары, я буду торговаться насчет цены; но если вы притворно дарите, чтобы продать потом по вашей цене, то вы действуете обманом: неоценимыми бывают дары лишь тогда, когда они безвозмездны. Сердце подчиняется только своим собственным законам; кто желает его опутать, тот освобождает; кто предоставляет ему свободу, тот его опутывает. Когда рыбак закидывает в воду удочку, рыба подходит и доверчиво кружится около него; но, когда подхваченная крючком, скрытым под приманкою, она чувствует, что удочку вытаскивают, она пытается бежать. Неужели рыбак — благодетель? Неужели рыба неблагодарна? Видано ли когда, чтобы человек, забытый своим благодетелем, забывал последнего? Напротив, он всегда говорит о нем с удовольствием, он не может думать о нем без умиления; если он находит возможность какой-нибудь неожиданной услугой показать ему, что он помнит об его услугах, с каким внутренним удовольствием удовлетворяет тогда он свое чувство благодарности! С какою сладкою радостью он напоминает о себе! С каким восторгом он говорит ему: «Пришла и моя очередь!» Вот истинный голос природы; истинное благодеяние никогда не создает неблагодарных.

Итак, если признательность есть чувство естественное, если вы не уничтожаете его действия по своей вине, то будьте уверены, что воспитанник ваш, когда начнет понимать цену ваших забот,

будет к ним чувствителен, лишь бы сами вы не назначали им цены, и что они дадут вам над его сердцем власть, которую никто не может уничтожить. Но, прежде чем обеспечить за собой эту выгоду, берегитесь, как бы похвальбой перед ним не лишиться ее. Хвалиться перед ним своими услугами — значит делать их невыносимыми для него; забыть их — значит заставить его вспомнить о них. Пока не придет время обходиться с ним как с взрослым, никогда не поднимайте вопроса о том, чем он вам обязан, но заводите речь лишь о том, чем он не обязан. Чтобы сделать его послушным, предоставьте ему всю его свободу; прячьтесь, чтоб он вас искал; возвышайте его душу до благородного чувства признательности, говоря с ним лишь о его интересах. Я хотел, чтобы, прежде чем он будет в состоянии понять, ему не толковали, что все делают для его блага; в этих речах он увидел бы лишь вашу зависимость и принимал бы вас за своего слугу. Но теперь, когда он начинает чувствовать, что значит любить, он чувствует также, какие приятные узы могут соединять человека с тем, кого он любит; и в усердии, побуждающем вас беспрестанно заниматься им, он видит уже не привязанность раба, но преданность друга. А ничто не имеет такого влияния на человеческое сердце, как голос дружбы, хорошо изведанной; ибо мы знаем, что она всегда стоит лишь за наши интересы. Можно предположить, что друг обманывается, но нельзя думать, что он хочет обмануть нас. Иногда мы противимся его советам, но никогда их не презираем.

Мы вступаем, наконец, в нравственный мир: мы только что сделали второй шаг взрослого человека. Если бы было здесь уместно, я попытался бы поискать, как из первых сердечных движений поднимаются первые голоса совести, как из чувств любви и ненависти зарождаются первые понятия о добре и зле; я показал бы, что *справедливость* и *доброта* не суть только отвлеченные названия, не суть чисто нравственные понятия, созданные разумением, но являются истинными влечениями просвещенной разумом души и суть не что иное, как упорядоченное дальнейшее развитие наших первоначальных влечений, что на одном разуме, независимо от совести, нельзя основать никакого естественного закона и что все естественное право есть не что иное, как химера<sup>\*</sup>, если оно не основано на естественной для человеческого сердца потребности. Но я думаю, что здесь не место писать трактаты по метафизике и морали или давать какой-нибудь курс науки; мне достаточно наметить порядок и ход наших чувствований и познаний, в соотношении с нашим органическим складом. Другие, быть может, докажут то, что я здесь только отметил.

\* Даже правило — делать другим то, чего себе хотим от них, истинную основу имеет в совести и чувстве; ибо какое именно разумное основание заставило бы меня, будучи тем-то, действовать так, как если бы я был кем-либо другим, в особенности если я внутренне уверен, что никогда не окажусь в таком же положении? И кто поручится, что, точно следуя этому правилу, я добьюсь того, что и по отношению ко мне будут следовать этому же правилу? Злой извлекает выгоды из честности справедливого и своей собственной несправедливости; он очень рад, что весь мир справедлив, кроме него. Это соглашение, что бы там ни говорили, ие очень выгодно для людей

добродетельных. Но когда ищущая выхода душевная сила отождествляет меня с моим ближним, когда я чувствую себя в его, так сказать, личности, то я потому именно и хочу избавления его от страданий, чтобы не страдать самому; я заинтересовываюсь им из любви к самому себе, и основание правила заключается в самой природе, которая побуждает меня желать себе благосостояния, в каком бы месте я ни существовал. Отсюда я вывожу заключение, что неправда, будто правила естественного закона основаны на одном разуме: они имеют более прочный и надежный фундамент. Любовь к людям, вытекающая из любви к себе, — вот принцип человеческой справедливости. В евангелии сущность всей морали вытекает из сущности закона.

Так как мой Эмиль до сих пор рассматривал только самого себя, то первый взор, брошенный им на ближних, заставляет его сравнивать себя с ними, и первое чувство, пробуждаемое в нем этим сравнением, есть стремление занять первое место. Вот пункт, где любовь к себе изменяется в самолюбие и где начинают зарождаться все страсти, зависящие от этой последней. Но чтобы решить, какие из этих страстей будут господствовать в его характере — человеческие и кроткие или жестокие и зловердные, благожелательность и сострадание или зависть и алчность, для этого нужно знать, на каком месте он будет чувствовать себя между людьми и какого рода препятствия он сочтет нужным преодолеть, чтобы достигнуть того места, которое хочет занимать.

Чтобы руководить им в этом изыскании, нужно, после того как мы показали ему людей со стороны признаков, общих целому роду, показать их теперь со стороны видовых различий. Здесь является на сцену оценка неравенства, природного и гражданского, и картина всего общественного строя.

Общество нужно изучать по людям, а людей по обществу; кто захочет изучать отдельно политику и мораль, тот ничего не поймет ни в той, ни в другой. Обращаясь прежде всего к отношениям первобытным, мы видим, как они должны действовать на людей и какие страсти должны из них возникнуть: мы видим, что именно путем развития страстей эти отношения взаимно умножаются и делаются более тесными. Не столько сила рук, сколько кротость сердец делает людей независимыми и свободными. Кто желает немногого, тот зависит от немногих. А кто, постоянно смешивая суетные наши желания с нашими физическими потребностями, из этих последних делал фундамент человеческого общества, тот постоянно следствия принимал за причины и только путался в своих рассуждениях.

В естественном состоянии существует равенство фактическое, действительное и неделимое, потому что в этом состоянии невозможно, чтобы простого отличия одного человека от другого было достаточно для того, чтобы одного сделать зависимым от другого. В гражданском состоянии существует химерическое и призрачное равенство прав, потому что средства, предназначенные для поддержания его, сами служат для его разрушения и потому что общественная сила, соединяющаяся с более сильным, чтобы подавить слабого, нарушает тот род равновесия, который установила между ними природа<sup>\*</sup>. Из этого первого противоречия вытекают все те, которые

замечаются в гражданском строе между внешностью и действительностью. Всегда множество будет приносимо в жертву небольшому числу, интерес общественный — частному интересу; всегда эти благовидные названия — «справедливость» и «подчинение» — будут служить орудием насилия и оружием несправедливости; отсюда следует, что знатные сословия, которые выставляют себя полезными для других, в действительности полезны только самим себе — в ущерб другим; по этому критерию следует судить и об уважении, которого они заслуживают по справедливости и по требованиям разума. Остается посмотреть, благоприятствует ли их счастью тот ранг, который они присвоили себе, и мы узнаем, какое суждение каждый из нас должен составить о своем собственном жребии. Вот вопрос, который важен теперь для нас; но чтобы хорошо его разрешить, нужно прежде узнать человеческое сердце.

\* Всеобщий дух законов всех стран выражается в постоянном покровительстве сильному против слабого, имущему против неимущего; это неудобство неизбежно и не имеет исключений.

Если бы все дело было в том, чтобы показать молодым людям человека в его маске, то не было бы нужды и показывать; они сами бы его видели больше, чем нужно; но так как маска — не человек и лоск ее не должен их обольщать, то, рисуя им людей, рисуйте их такими, каковы они в действительности, не для того, чтоб они ненавидели их, но чтобы жалели их и не хотели походить на них. Вот, по моему мнению, самое правильное чувство, какое человек может питать к своему роду.

Ввиду этого теперь не мешает вступить на путь, противоположный тому, какому мы доселе следовали, и поучать молодого человека скорее чужим опытом, чем его собственным. Если люди обманывают его, он станет их ненавидеть; но если, встречая с их стороны уважение, он увидит, что они взаимно обманываются, то он станет жалеть их. Зрелище мира, говорил Пифагор, походит на зрелище олимпийских игр: одни там торгуют в лавках и думают только о своей выгоде; другие не щадят своей жизни и ищут славы; третьи довольствуются тем, что смотрят на игры,— и последние не из худших.

Для молодого человека желательно избрать такое общество, чтоб он был хорошего мнения о всех, кто живет с ним; с другой стороны, его нужно так хорошо ознакомить со светом, чтоб он был дурного мнения о всем, что там делается. Пусть он знает, что человек от природы добр; пусть он это чувствует, пусть судит о ближнем по самому себе; но пусть он видит, как общество портит и развращает людей; пусть он находит в их предрассудках источник всех их пороков; пусть он склонен будет уважать каждое отдельное лицо, но пусть презирает толпу: пусть он видит, что все люди носят почти одну и ту же маску; но пусть знает также, что есть лица более красивые, чем закрывающая их маска.

Этот метод, нужно признаться, имеет свои неудобства и не легко применим на практике; ибо, если он слишком рано делается наблюдателем, если вы приучаете его слишком близко всматриваться в чужие поступки, вы делаете его злоречивым и насмешливым, решительным и



поспешным в суждениях; он с отвратительным удовольствием будет стараться истолковать все в дурную сторону и не видеть ничего хорошего даже в том, что хорошо. Он во всяком случае привыкнет к зрелищу порока, привыкнет без отвращения смотреть на злых людей, как иные привыкают без жалости смотреть на несчастных. Скоро всеобщая испорченность будет служить ему не столько уроком, сколько извинением; он скажет себе: «Если уж таков человек, то мне не следует желать быть иным».

А если вы хотите поучать его теоретически и вместе с природой человеческого сердца показать ему и влияние внешних причин, превращающих склонности наши в пороки, то, сразу перенося его таким образом от предметов чувственно воспринимаемых к предметам умственным, вы пускаете в дело метафизику, которую он не в состоянии понять, делаете промах, которого доселе так заботливо избегали,— именно преподаете ему уроки, очень похожие на уроки школьные, и его собственный опыт и развитие разума заменяете в его душе опытом и авторитетом учителя.

Чтобы разом устранить эти два препятствия и чтобы сделать человеческое сердце доступным его пониманию, не рискуя в то же время испортить его собственное сердце, я хотел бы показать ему людей издали, показать их в других временах и других местах, и притом так, чтобы он мог видеть сцену и не имел возможности сам на ней действовать. Бот время заняться историей; через нее он будет читать в сердцах и без уроков философии; через нее он будет смотреть в них, как простой зритель, без личного интереса и без пристрастия, как судья, а не как сообщник или обвинитель.

Чтоб узнать людей, нужно видеть их действующими. В свете мы слышим их говорящими; они выставляют свои речи и скрывают поступки; но в истории они разоблачены, и мы судим о них по фактам. Даже самые слова их помогают оценивать их: сравнивая то, что они делают, с тем, что они говорят, мы видим сразу, что они такое и чем хотят казаться; чем более они маскируются, тем лучше их узнают.

К несчастью, это изучение представляет свои опасности и всякого рода неудобства. Трудно стать на такую точку зрения, с которой можно было бы справедливо судить о своих ближних. Одним из важных недостатков истории является то обстоятельство, что она рисует людей гораздо больше с их дурных сторон, чем с хороших; так как она заинтересовывает революциями, катастрофами, то, пока народ разрастается и благоденствует в тиши мирного правления, она о нем ничего не говорит, а начинает говорить лишь тогда, когда, не будучи уже в состоянии довольствоваться самим собой, он вмешивается в дела своих соседей или позволяет им вмешиваться в его собственные дела; она прославляет его лишь тогда, когда он уже близок к падению; все наши истории начинаются там, где они должны были бы оканчиваться. Мы имеем как раз историю народов погибающих; истории же народов размножающихся у нас нет; последние настолько счастливы и мудры, что ей нечего о них сказать; и действительно, мы видим, даже в наши дни, что о правительствах, которые лучше всего ведут себя, меньше всего говорят. Итак, мы

знаем только о зле, добро же почти не создает эпохи. Одни злые знамениты, а добрые забыты или подняты на смех,— и вот каким образом история, подобно философии, непрестанно клеветает на человеческий род.

Кроме того, описание фактов в истории далеко не бывает точным изображением этих фактов такими, какими они были: они изменяют свой вид в голове историка, они формируются сообразно с его интересами, получают окраску его предрассудков. Кто умеет поставить читателя как раз среди сцены, так, чтоб он видел происшествие таким, каким оно было? Невежество или пристрастие все преобразует. Даже не искажая исторического, со скольких различных сторон можно показать его, распространяясь или умалчивая относительно обстоятельств, к нему относящихся! Представьте один и тот же предмет с разных точек зрения — и он едва ли покажется одним и тем же, а меж тем ничто не изменяется, кроме взгляда зрителя. Достаточно ли для торжества истины так передавать истинный факт, что я вижу его совершенно иным, чем было в действительности? Сколько раз лишнее дерево, скала с правой или левой стороны, столб пыли, поднятый ветром, решали незаметным ни для кого образом исход сражения! Мешает ли это историку говорить вам о причине поражения или победы с такою уверенностью, как будто он всюду присутствовал? А на что мне нужны факты сами по себе, если смысл их остается для меня неизвестным? И какие уроки могу я извлечь из события, истинной причины которого не знаю? Историк дает мне причину, но он не выдумывает; и самая критика, из-за которой столько шуму, есть не что иное, как искусство догадываться, искусство выбирать из многих вымыслов такой, который более других походил бы на истину.

Читали ли вы когда «Клеопатру» или «Кассандру» или другие подобного рода книги?<sup>11</sup> Автор выбирает знакомое происшествие; затем, приспособляя его к своим целям, украшая деталями своего изобретения, персонажами, никогда не существовавшими, и воображаемыми портретами, сплетает вымысел за вымыслом, чтобы сделать чтение книги приятным. Я мало вижу разницы между этими романами и вашими историями, если не считать того, что романист увлекается больше своим собственным воображением, а историк больше подчиняется чужому; к этому я прибавлю, если хотите, что первый задается моральною целью, хорошою или дурною, а второй почти не заботится об этом.

Мне скажут, что историческая верность меньше интересует, нежели правдивость нравов и характеров: лишь бы сердце человеческое было хорошо изображено, а верно ли переданы события, это не особенно важно; да, наконец, какое нам дело,— прибавят,— до фактов, бывших две тысячи лет тому назад? Вы правы, если портреты хорошо срисованы с натуры; но если для большинства их модель была создана воображением историка, то обращаться к истории не значит ли делать тот промах, которого хотели избежать, и придавать авторитету писателей то значение, которое хотим отнять у авторитета учителя? Если моему воспитаннику приходится видеть одни

картины фантастические, то я предпочитаю, чтоб они были начертаны моею рукой, а не чужою; они будут по крайней мере лучше к нему приспособлены.

Худшие историки для молодого человека — это те, которые судят. Фактов давайте, фактов! И пусть он сам судит; этим путем он научается узнавать людей. Если суждение автора беспрестанно руководит им, он постоянно смотрит чужими глазами, а когда этих глаз недостает, то не видит уже ничего.

Я оставляю в стороне новейшую историю — не только потому, что в ней нет уже оригинальности и люди нашего времени похожи все друг на друга, но и потому, что историки наши, увлеченные единственным желанием блистать, только и делают, что самыми яркими красками пишут портреты, часто ничего не представляющие\*. У древних вообще меньше портретов, а в суждения они влагают меньше ума и больше чувства; но все-таки между ними приходится делать строгий выбор, и прежде всего нужно брать не самых рассудительных, а самых простодушных. Я не хотел бы давать в руки молодого человека ни Полибия<sup>19</sup>, ни Саллюстия<sup>20</sup>; Тацит<sup>21</sup> — книга стариков; молодые люди не способны ее понимать: нужно научиться подмечать в человеческих действиях основные черты человеческого сердца, прежде чем желать проникнуть в его глубины; нужно уметь читать факты, прежде чем читать сентенции. Философия в изречениях годится лишь для человека опытного. Юность не должна ничего обобщать: все ее образование должно заключаться в частных правилах.

\* См. Давилу<sup>12</sup>, Гвиччардини<sup>13</sup>, Страду<sup>14</sup>, Солиса<sup>15</sup>, Макиавелли<sup>16</sup>, а в иных случаях и самого де Ту<sup>17</sup>. Верто<sup>18</sup> почти один умеет рисовать, не прибегая к портретам.

Фукидид<sup>23</sup>, по моему мнению, истинный образец для историков. Он приводит факты, не рассуждая о них; но он не опускает ни одного обстоятельства, могущего дать нам самим возможность судить о них. Он все, что рассказывает, выставляет на суд читателю; он не только не становится между событием и читателем, но даже прячется; у него, кажется, не читаешь, а видишь. К несчастью, он говорит всегда о войне, и в его повествованиях видишь почти только наименее поучительную в мире вещь, именно сражения. «Отступление десяти тысяч»<sup>23</sup> и «Записки» Цезаря<sup>24</sup> заключают в себе почти ту же мудрость и тот же недостаток. Добрый Геродот, не дающий ни портретов, ни изречений, но плавный, наивный, полный подробностей, наиболее способных заинтересовать и понравиться<sup>25</sup>, был бы, может быть, лучшим из историков, если бы эти самые подробности не превращались часто в ребяческую простоту, способную скорее испортить вкус юноши, чем развить его: чтобы читать его, требуется уже умение распознавать. Я не говорю ничего о Тите Ливии<sup>26</sup> — его очередь придет; но он политик, он ритор, он — все, что не годится для этого возраста.

История вообще имеет тот недостаток, что записывает только осязаемые и заметные факты, которые можно связать с именами, местами, датами; но причины этих фактов, медленные и постепенные, которые не могут быть помечены подобным же образом, всегда остаются

неизвестными. Часто в выигранном или проигранном сражении находят причину революции, которая еще до этого сражения стала уже неизбежной. Война лишь обнаруживает происшествия, уже определенные нравственными причинами, которые историки редко умеют подмечать.

Философский дух обратил в эту сторону размышления многих писателей этого века; но я сомневаюсь, выигрывает ли истина от их трудов. Так как все они охвачены страстью составлять системы, то всякий из них старается видеть вещи не таковыми, каковы они в действительности, а такими, чтобы они согласовались с его системой.

Прибавьте ко всем этим размышлениям, что история показывает гораздо более поступки, чем людей, потому что она захватывает их в известные, избранные моменты, в их праздничном наряде; она выставляет лишь человека общественного, который принарядился напоказ: она не следит за ним в его доме, кабинете, в семействе, среди друзей его; она рисует его лишь тогда, когда он на сцене: она рисует скорее его платье, чем самую личность.

Я предпочитал бы начать изучение человеческого сердца с чтения частных биографий; ибо в этом случае, как бы человек ни прятался, историк всюду его преследует; он не дает ему ни минуты отдыха, ни одного уголка для того, чтобы избегнуть пронизательного взора зрителя; и когда один думает, что он лучше всего спрятался, для другого это лучшее время познакомиться с ним. «Те,— говорит Монтень,— которые пишут биографии, для меня более пригодны, так как они больше заняты намерениями, чем событиями, больше внутренним миром, чем происходящим извне: вот почему мне во всех отношениях приятнее такой историк, как Плутарх»<sup>27</sup>.

Правда, что гений людей объединенных, иначе сказать, народов, весьма отличен от характера человека, взятого в частности, и что знание человеческого сердца было бы очень несовершенным, если не изучать его также и в массе; но не менее справедливо и то, что для суждения о людях начинать дело нужно с изучения человека, и, кто в совершенстве знал бы склонности каждого индивида, тот мог бы предвидеть и все последствия их, скомбинированные в том целом, которое составляет народ.

Здесь опять нужно прибегнуть к древним по тем же причинам, о которых я уже говорил, и, кроме того, потому, что все обиходные и простые, хотя в то же время истинные и характерные частности изгнаны из современного стиля и люди у наших авторов являются такими же разукрашенными в частной жизни, как и на мировой сцене. Приличие, в писании не менее строго соблюдаемое, чем в поступках, позволяет говорить публично уже только о том, что позволено делать публично; а так как людей нельзя показывать иначе, как постоянно играющими роль, то из книг наших мы узнаем их не больше, чем в театрах. Пусть хоть сто раз пишут и переписывают биографии королей, мы не будем уже иметь Светониев\*.

\* Один только из наших историков<sup>28</sup>, подражавший Тациту в изображении великих черт, осмелился подражать Светонию, а подчас и копировать Комина<sup>29</sup> в чертах мелких; и даже эта попытка, увеличивающая ценность его книги, вызвала между нами осуждение.

Плутарх превосходит в этих самых частностях, в которые мы не смеем пускаться. Он с неподражаемой грацией рисует великих людей в мелких вещах; он столь удачно подбирает свои черты, что ему часто достаточно одного слова, улыбки, жеста, чтобы охарактеризовать своего героя. Шутливым словом Ганнибал одобряет свою испуганную армию и заставляет ее идти смеясь в битву, которая отдала ему Италию<sup>30</sup>; Агесилай верхом на палке<sup>31</sup> заставляет меня полюбить победителя великого царя; Цезарь, проходя по бедной деревушке и беседуя со своими друзьями<sup>32</sup>, разоблачает в себе, сам того не замечая, пройдоху, который говорил, что желает только одного — быть равным Помпею<sup>33</sup>; Александр выпивает лекарство и не говорит ни слова — это самый прекрасный в его жизни момент<sup>34</sup>; Аристид<sup>35</sup> пишет свое собственное имя на черепке и тем оправдывает свое прозвание; Филопемён<sup>36</sup>, скинув плащ, рубит дрова на кухне своего хозяина. Вот истинное искусство живописать. Физиономия выражается не в великих чертах и характере — не в великих деяниях: в безделицах именно и раскрывается нрав. Общественные дела слишком общи или слишком искусственны; а современное понятие о достоинстве и позволяет нашим авторам останавливаться почти исключительно на этих последних.

Одним из величайших людей последнего века был бесспорно Тюрэнн<sup>37</sup>. У биографа хватило мужества сделать жизнеописание его интересным при помощи мелких деталей, которые дают возможность узнать его и полюбить; но сколько частностей он счел нужным выкинуть — частностей, которые заставили бы еще более узнать героя и полюбить! Я приведу одну, взятую мною из хорошего источника, которую Плутарх ни за что не опустил бы, а Рамсей<sup>38</sup> ни за что не привел бы, если бы знал.

В один очень жаркий летний день виконт де Тюрэнн, в белой куртке и колпаке, стоял у окна в своей прихожей; неожиданно входит один из его слуг и, обманутый платьем, принимает его за поваренка, с которым этот слуга был большим приятелем. Он тихо подкрадывается сзади и рукою, которая не отличалась особенной легкостью, наносит ему сильный удар по спине. Получивший удар тотчас оборачивается. Лакей с ужасом видит лицо своего господина. Совершенно растерявшись, он бросается на колена: «Ваше Сиятельство! я думал, что это Жорж!» — «Да если бы это и Жорж был,— восклицает Тюрэнн, почесывая спину,— все-таки не следовало бы так сильно бить». И это вы не осмеливаетесь рассказать, жалкие писатели? Оставайтесь же навсегда без души, без сердца; закаляйте, ожесточайте свои железные сердца в вашем вздорном приличии; делайтесь презренным с помощью «достоинства». Но ты, добрый юноша, читающий об этом поступке и с умилением чувствующий всю кротость душевную, которая обнаруживается уже в первом движении души, ты прочти и о мелочности этого великого человека, которая проявлялась всякий раз, как вопрос шел о его родovitости и имени. Вспомни, что это тот самый Тюрэнн, который старательно уступал всюду место своему племяннику, чтобы все хорошо видели, что этот ребенок был главою царствующего дома. Сближай эти контрасты, люби природу, презирай людское мнение — и познавай человека. Очень немногие в состоянии понять, какое действие

может оказать чтение, подобным образом направленное, на совершенно свежий ум молодого человека. Так как мы с детства торчим над книгами и привыкли читать не думая, то прочитанное мало нас поражает тем более, что, нося уже в самих себе страсти и предрассудки, наполняющие историю и жизнь людей, мы все, что они делают, считаем естественным, потому что мы уклонились от природы и о других судим по себе. Но пусть представят себе молодого человека, воспитанного по моим правилам, пусть вообразят себе моего Эмиля, не-прерывные восемнадцатилетние заботы о котором имели одну цель — сохранить суждение неподкупным и сердце неиспорченным; пусть вообразят, как он, при поднятии занавеса, впервые бросает взоры на сцену мира или, лучше сказать, поместившись за сценой, видит, как актеры берут и надевают свои костюмы, и считает веревки и блоки, грубое действие которых обманывает взоры зрителей. За первым изумлением скоро последуют чувства стыда и презрения к роду человеческому; он вознегодует, увидевши, как весь род людской, обманывая себя, унижается до этих детских забав; он огорчится, увидев, как собратья его терзают друг друга из-за призраков и обращаются в диких зверей из-за неумения довольствоваться тем, что они люди. Несомненно, что при природных дарованиях воспитанника, если наставник выкажет хоть несколько благоразумия при выборе чтения, если мало-мальски направить его на путь размышлений, которые он должен извлечь из этого чтения, то упражнение это будет для него курсом практической философии, лучшим, конечно, и более понятным, чем все пустые умозрения, которыми засоряют умы молодых людей в наших школах. Когда, выслушав романтические проекты Пирра<sup>39</sup>, Киней<sup>40</sup> спрашивает его, какое же действительное благо доставит ему покорение мира, неизбежно влекущее за собою массу треволнений, то мы видим тут лишь мимолетное остроумное замечание; но Эмиль увидит здесь очень мудрое размышление, с которым он первый согласится и которое никогда не изгладится из его ума, потому что оно не найдет там никакого противоположного предрассудка, способного помешать впечатлению. Когда потом, читая жизнеописание этого безумца, он увидит, что все великие намерения его завершились тем, что он пал от руки женщины, то вместо того, чтоб удивляться этому мнимому героизму, что иное он увидит во всех подвигах столь великого полководца, во всех интригах столь великого политика, как не вечные поиски той несчастной черепицы, которая должна была закончить его жизнь и проекты позорною смертью.

Не все завоеватели убиты, не все узурпаторы потерпели крушения в своих предприятиях; многие из них покажутся счастливыми умам, проникнутым ходячими мнениями; но кто, не останавливаясь на внешности, судит о счастье людей по состоянию их сердец, тот в самых их успехах будет видеть бедствия для них; тот увидит, как вместе с удачей расширяются и растут их желания и грызущие сердце заботы; увидит, как они изнемогают, спеша вперед, но никогда не достигая своей цели; увидит, что они похожи на тех неопытных путешественников, которые, проникнув впервые в Альпы, у каждой горы думают, что переходят их, а очутившись на вершине, с унынием замечают перед собою еще более высокие горы.

Август<sup>41</sup>, победив своих сограждан и уничтожив соперников, сорок лет правил величайшею, какая только существовала, империей; но вся эта неизмеримая власть помешала ли ему биться головой о стены и оглушать свой обширный дворец криками, требуя назад у Вара<sup>42</sup> истребленных легионов? Если бы он победил всех своих врагов, к чему служили бы эти пустые триумфы, когда вокруг него беспрестанно нарождались всякого рода бедствия, когда самые дорогие друзья покушались на его жизнь, когда ему приходилось оплакивать позор или смерть всех своих близких? Несчастный хотел управлять миром и не сумел управлять своим домом! Что произошло от этого нерадения? Он увидел, как погибли во цвете лет его племянник<sup>43</sup>, приемный сын<sup>44</sup>, зять<sup>45</sup>; внук его<sup>46</sup> принужден был есть набивку своей постели, чтобы продолжить на несколько часов свою жалкую жизнь; дочь его и внучка, покрывши его своим позором, умерли — одна от нищеты и голода на пустынном острове, другая в тюрьме от руки палача<sup>47</sup>. Наконец, сам он, последний представитель своей несчастной фамилии, вынужден был, по настоянию его собственной жены, оставить наследником по себе чудовище<sup>48</sup>. Такова была участь этого владыки мира, столь возвеличенного за свою славу и свое счастье. Можно ли верить, чтобы хоть один из тех, кто удивляется этим последним, захотел купить их подобною ценою?

Я взял в пример честолюбие; но и проявление всех других страстей человеческих дает подобные же уроки тому, кто хочет изучать историю с целью познать себя и стать умнее, поучаясь примером умерших. Приближается время, когда жизнь Антония<sup>49</sup> будет для молодого человека еще более поучительной, чем жизнь Августа. Эмиль не признает самого себя в тех странных предметах, которые поразят его взоры во время этого нового для него изучения; но он сумеет заранее рассеять иллюзию страстей, прежде их зарождения, и, видя, что они во все времена ослепляли людей, будет предупрежден относительно способа, которым они могли бы и его ослепить, если бы он предался им. Эти уроки — я сознаю это — мало к нему приспособлены; может быть, когда к ним обратятся, они будут уже запоздалыми, недостаточными; но вы должны помнить, что ведь не эти уроки я намеревался извлечь из этого изучения. Приступать к нему я предполагал с другою целью; и конечно, если эта цель плохо достигнута, то виновен будет наставник.

Помните, что, лишь только самолюбие разовьется, стремящееся к сопоставлению «я» беспрестанно будет являться на сцену и молодой человек наблюдает других не иначе, как обращаясь к самому себе и сравнивая себя с ними. Следовательно, надлежит знать, на какое место он поставит себя среди своих ближних, после того как внимательно рассмотрит их. Уже по тому способу, как молодых людей заставляют читать историю, видно, что их преобразуют во всех, так сказать, действующих лиц, которых они там встречают, что из каждого стараются сделать и Цицерона, и Траяна<sup>50</sup>, и Александра, каждого стараются лишить мужества на случай, если он вздумает углубляться в самого себя, и каждому внушить сожаление, что он тот-то, а не иной. Эта метода представляет известные выгоды, которых я не отрицаю; что же касается моего Эмиля, то, если, проводя эти параллели, он хоть раз захочет быть кем-нибудь иным, а не самим собою, тогда,

будь этот иной хоть Сократом, хоть Катонем, все пропало; кто начинает чуждаться себя, тот не замедлит и совсем забыть себя.

Не философы лучше всего знают людей; они видят их лишь сквозь предрассудки философии, а я не знаю иной области, где было бы столько предрассудков. Дикарь судит о нас более здраво, чем философ. Последний чувствует свои пороки, негодует на наши и говорит сам себе: «Все мы злы»; а тот смотрит на нас без всякого волнения и говорит: «Вы — безумцы». Он прав, ибо никто не делает зла ради зла. Мой воспитанник — этот дикарь, с тою разницей, что Эмиль, более размышлявший, чаще сравнивавший, ближе видевший наши заблуждения, более строг к самому себе и судит лишь о том, что ему знакомо.

Только страсти наши раздражают нас против страстей другого; лишь собственный интерес заставляет нас ненавидеть злых; если бы они не делали нам никакого зла, мы питали бы к ним больше жалости, чем ненависти. Зло, причиняемое нам злыми, заставляет нас забывать о том зле, которое они сами себе причиняют. Мы легче извиняли бы им пороки, если бы могли знать, как они в своем собственном сердце наказываются за них. Мы чувствуем оскорбление и не видим наказания! выгоды очевидны, страдание же таится внутри. Думая наслаждаться плодом своих пороков, злой не меньше терзается, чем в том случае, если бы не имел никакого успеха; причина изменилась, а тревога осталась той же: сколько бы эти люди ни выставляли свою неудачу, сколько бы ни прятали свое сердце, поступки разоблачают его помимо воли их; но чтобы видеть это, не нужно иметь такое же сердце!

Страсти, разделяемые нами, прельщают нас; страсти, затрагивающие наши интересы, возмущают нас, и, в силу происходящей отсюда непоследовательности, мы порицаем в других то, чему хотелось бы нам подражать. Отвращение и самообман неизбежны, коль скоро мы вынуждены терпеть со стороны других то зло, которое причинили бы сами, если бы были на их месте.

Итак, что же нужно для того, чтобы хорошо наблюдать людей? Нужен большой интерес к их изучению, большое беспристрастие в суждении о них, нужно сердце настолько чувствительное, чтобы понимать все человеческие страсти, и настолько спокойное, чтобы не испытывать их. Если есть в жизни момент, благоприятный для этого изучения, так это тот, который я выбрал для Эмиля; раньше люди были бы чуждыми для него, позже он сам был бы им подобен. Людское мнение, влияние которого он видит, не приобрело еще власти над ним; страсти, действие которых он понимает, не волновали еще сердца его. Он человек, он заинтересован в своих братьях; он справедлив, он считает их равными себе. Но если он судит о них правильно, то, наверное, не захочет ни с кем из них поменяться местом; ибо цель всех тревожений, которым они предаются, основанная на предрассудках, которых нет у него, покажется ему целью фантастической. Что же касается его самого, то все, чего он желает, доступно его силам. От чего он мог бы зависеть, если он удовлетворяет самого себя и свободен от предрассудков? У него есть руки, здоровье\*, он



умерен, у него мало нужд и есть возможность удовлетворить их. Будучи воспитан при абсолютной свободе, величайшим из зол он считает рабство. Ему жаль несчастных королей, рабов всего того, что им повинуется; ему жаль ложных мудрецов, которые опутаны своей мишурной известностью; ему жаль этих глупых богачей, мучеников своей роскоши; жаль этих тщеславных сластолюбцев, которые всю жизнь свою отдают скуке из-за того, чтобы казаться наслаждающимися. Он пожалеет и врага, который причинит зло ему, ибо в злобе его он увидит несчастье для него самого. Он скажет себе: «Создавая для себя потребность вредить мне, этот человек ставит свою участь в зависимость от моей».

\* Я думаю, что смело могу считать здоровье и хорошее телосложение в числе преимуществ, приобретенных им воспитанием, или, скорее сказать, в числе даров природы, сохраненных для него воспитанием.

Еще шаг, и мы у цели. Самолюбие — орудие полезное, но опасное: оно часто ранит руку, которая им пользуется, и редко делает добро без зла. Эмиль, рассматривая, какое место он занимает между людьми, и видя себя счастливо помещенным, почувствует искушение приписать собственному разуму создание вашего разума и отнести к своим достоинствам результат счастья своего. Он скажет себе: «Я умен, а люди безумны». Жалея, он станет презирать их; видя свое довольство, он еще выше станет ценить себя; чувствуя себя более счастливым, чем они, подумает, что он более достоин счастья. Вот заблуждение, которого больше всего нужно бояться, потому что его труднее всего искоренить. Если бы он оставался в этом положении, он мало выиграл бы от всех наших забот; и если бы приходилось выбирать, я не знаю еще, не предпочел ли бы я самообман предрассудков самообману гордости.

Великие люди не обманываются насчет своего превосходства; они видят его, чувствуют, и тем не менее они скромны. Чем больше они имеют, тем больше сознают все, чего им недостает. Вместо того чтобы гордиться своим возвышением над нами, они угнетены сознанием своего ничтожества; при исключительности благ, которыми они обладают, они настолько разумны, что не стали бы тщеславиться даром, который не сами приобрели. Добродетельный человек может гордиться своей добродетелью, потому что он обязан ей себе; но чем станет гордиться человек умный? Что сделал для себя Расин, чтобы не быть Прадоном?<sup>51</sup> Что сделал Буало, чтобы не быть Котеном?<sup>52</sup>

Здесь опять станем поступать иначе. Не станем выделяться из общего строя. Я не предполагал в своем воспитаннике ни выходящей из ряда гениальности, ни особенной тупости. Я выбрал его между дюжинными умами, чтобы показать, насколько воспитание сильно над человеком. Все редкие случаи стоят вне правил. Итак, если Эмиль благодаря моим заботам предпочитает свой способ жить, видеть, чувствовать способу других людей, то он прав; но если он в силу этого считает себя натурой более возвышенной, счастливее, чем они, одаренной, он не прав — он

ошибается: нужно вывести его из заблуждения или, скорее, предупредить последнее, из опасения, чтобы потом не слишком поздно было искоренять его.

Нет безрассудства, от которого нельзя было бы исцелить не сошедшего с ума человека, за исключением тщеславия; что касается последнего, то его ничто не может искоренить, кроме опыта, если только можно его искоренить; но если оно только что зародилось, можно помешать, по крайней мере, его росту. Не тратьтесь поэтому на прекрасные рассуждения с целью доказать юноше, что он такой же человек, как и прочие, и подвержен тем же слабостям. Пусть лучше он *почувствует* это; иначе он никогда не будет этого знать. Здесь опять — исключение из моих собственных правил: пусть воспитанник мой сам испытает все случайности, которые могут доказать ему, что он не мудрее нас. Приключение с фокусником можно повторить на тысячу ладов: я предоставлю льстецам извлечь из него всевозможные выгоды: если вертопрахи завлекут его в какое-нибудь сумасбродство, я оставлю его на произвол судьбы; если шулеры завлекут его в игру, я отдам его в руки им, чтобы они его надули\*, я предоставлю им льстить, обирать, обкрадывать; а когда, опустошив его кармапы, они, наконец, осмеют его, я еще поблагодарю их, в его присутствии, за уроки, которые они сообразовали дать ему. Единственные сети, от которых я старательно буду предохранять его,— это Сети продажных женщин. Единственная пощада, которую я окажу ему, будет состоять в том,, что я и сам буду разделять все опасности, которым подвергну его, и все оскорбления, которые придется ему вынести. Я буду сносить все молча, без жалоб, без упреков, не говоря ему ни слова, — и будьте уверены, что, при такой сдержанности, строго проведенной, все, что на глазах у него я из-за него выстрадаю, произведет на его сердце больше впечатления, нежели выстраданное им самим.

\* Впрочем, воспитанника нашего не легко поймать в эту западню: его окружает столько развлечений, он всю жизнь не скучал и едва знает, на что пригодны деньги. Так как двигателями, с помощью которых ведут детей, бывают интерес и тщеславие, то эти же две пружины служат плутам и продажным женщинам и для того, чтобы впоследствии забирать их в свои руки. Когда вы видите, как возбуждают их алчность призами, наградами, когда видите, как в десять лет аплодируют им на публичном акте в коллеже, то вам легко представить, как в двадцать лет заставят их в игорном доме расстаться с кошельком своим или в публичном доме со своим здоровьем. Можно всегда держать цари, что самый ученый в классе будет потом самым большим игроком и развратником. А средства, которыми не пользовались в детстве, не поведут и в юности к таким же злоупотреблениям. Впрочем, нужно помнить, что в подобных случаях я держусь постоянного правила предполагать самые дурные последствия. Я стараюсь прежде всего предупредить порок; а затем я предполагаю его — чтобы искоренить.

Я не могу не вспомнить здесь того ложного понятия о достоинстве, когда воспитатели, чтоб играть глупую роль мудрецов, унижают своих воспитанников, нарочно обходятся с ними, как с детьми, и стараются отличиться от них во всем, что ни заставляют их делать. Вместо того чтоб

убивать подобным образом юное мужество, прилагайте все старание, чтобы поднять юный дух; делайте их равными себе, чтоб они действительно сравнялись с вами; а если они не могут еще подняться до вас, то снизойдите до них — без стыда, без сомнений. Помните, что честь ваша заключается не в вас, а в вашем воспитаннике; разделяйте его ошибки — с целью исправления их; принимайте на себя его стыд, чтобы загладить его; подражайте тому храброму римлянину, который, видя, что его армия бежит, и не будучи в состоянии остановить ее, пустился бежать во главе своих солдат, восклицая: «Они не бегут, они следуют за своим полководцем»<sup>53</sup>. Опозорил ли он себя этим? Нисколько: жертвуя подобным образом своей славой, он увеличил ее. Сила долга, красота добродетели вызывают невольную похвалу и перевертывают вверх дном наши нелепые предрассудки. Если бы я получил пощечину при исполнении своих обязанностей относительно Эмиля, я не только не мстил бы за эту пощечину, но хвалился бы ею перед всеми, и не думаю, чтобы нашелся в мире человек, настолько низкий\*, что не стал бы меня за это еще более уважать.

\* Я ошибался; такого человека я открыл: это Формей.

Это не значит, что воспитанник должен предполагать в наставнике такую же ограниченность сведений, как и у себя, и такую же легкость увлечения. Это убеждение хорошо в ребенке, который, не умея ничего ни видеть, ни сопоставлять, всех приравнивает к себе и оказывает доверие лишь тем, кто умеет и в самом деле стать в уровень с ним. Но молодой человек таких лет, как Эмиль, и такой же рассудительный, как он, не настолько уже глуп, чтобы впасть в подобный обман, да и нехорошо, если бы это случилось. Доверие его к воспитателю должно быть иного рода: оно должно основываться на авторитете разума, на превосходстве познаний — на преимуществах, которые молодой человек в состоянии оценить и в которых он видит для себя пользу. Долгий опыт убедил его, что он любим своим руководителем, что руководитель этот — человек умный, просвещенный, желающий ему счастья и знающий, что может доставить его. Он должен знать, что для собственной выгоды ему следует слушаться его советов. А если бы наставник позволял обманывать себя, как ученика, он потерял бы право требовать от него уважения и преподавать ему наставления. Еще менее воспитанник должен предполагать, что наставник нарочно позволяет ему попадать в ловушки и расставлять сети его простоте. Что же нужно делать, чтоб избежать одновременно того и другого неудобства? То, что всего лучше и всего естественнее: быть простым и правдивым, как он, предупреждать об опасностях, которым он подвергается, указывать на них ясно, осязательно, по без преувеличения, без недовольства, без педантических выходок, в особенности — не выдавая советов за приказания, пока они не станут приказаниями и пока этот повелительный тон не сделается решительно необходимым. Если он заупрямится и после этого — как это часто и будет случаться, — то прекратите всякие разговоры: оставьте его на свободе, следуйте за ним, подражайте ему, и все это — весело, чистосердечно; увлекайтесь, забавляйтесь, как и он, если это возможно. Если последствия становятся слишком серьезными, вы всегда тут, чтоб остановить его; а между тем молодой человек, будучи свидетелем вашей

предусмотрительности и вашей снисходительности, как будет поражен одной и тронут другой! Все его ошибки — это узы, которые он дает вам, чтобы вы могли задержать его в случае нужды. А высшее искусство наставника состоит здесь в том, чтобы вызвать случаи и так направлять увещания, чтобы заранее знать, когда молодой человек уступит и когда будет упрячиться, чтобы всюду окружать его уроками опыта, не подвергая никогда слишком большим опасностям.

Предупреждайте его об ошибках прежде, чем он их сделает; когда он сделал, не упрекайте его — вы этим только подзадорили бы и разожгли его самолюбие. Урок, который возмущает, не идет впредь. Я ничего не знаю глупее фразы: «Ведь я говорил тебе». Лучший способ заставить его помнить, что ему сказано, — это сделать вид, что вы забыли об этом. И наоборот, если вы видите его сконфуженным тем, что он не поверил вам, то кротко, добрыми словами постарайтесь изгладить это унижение. Он, наверное, привяжется к вам, видя, что из-за него вы забываете себя и вместо того, чтобы окончательно подавить его, утешаете. Но, если к его огорчению вы присоедините упреки, он возненавидит вас и поставит себе законом не слушаться вас, как бы в доказательство того, что он иного, чем вы, мнения о важности ваших советов.

Способ, каким вы утешаете его, может также служить для него наставлением, тем более полезным, что он будет вам доверять. Если вы, — положим, говорите ему, что тысячи других людей делают те же ошибки, то вы караете его; ибо, кто ценит себя выше прочих людей, для того крайне обидно утешаться их примером; это значит понимать, что самое большее, на что он может претендовать, — это лишь не уступать им.

Пора ошибок есть вместе с тем и пора басен. Причисляя виновного под чужой маской, можно поучать его, не задевая самолюбия; он поймет, что нравоучительная басня не ложь, применив к себе заключенную в ней истину. Ребенок, которого никогда не обманывали похвалами, ничего не поймет в басне, которую я выше разбирал, но вертопрах, только что обманутый льстецом, отлично поймет, что ворон был лишь глупцом. Таким образом из факта он извлекает правило; и опыт, который он скоро забыл бы, запечатлевается, с помощью басни, в уме его. Нет нравственного урока, который нельзя было бы получить путем чужого или своего собственного опыта. В случае, если опыт этот опасен, вместо того чтобы производить его самому, можно извлечь его из истории. Когда опыт не ведет к дурным последствиям, хорошо было бы, если бы молодой человек проделал его самодотом с помощью нравоучительной басни можно частные случаи, ему известные, свести к правилам.

Однако я не хочу сказать, что эти правила должны быть подробно развиты или даже просто — изложены. Нот ничего бесполезнее той морали, которою заканчивается большинство басен; как будто эта мораль не выражена или не должна быть выражена в самой басне вразумительным для читателя способом! Зачем же, приставляя в конце эту мораль, лишать читателя удовольствия самому находить ее? Искусство наставления заключается в том, чтобы сделать последнее приятным для ученика. А чтоб оно было приятно, ум его, когда вы говорите ему, не должен

оставаться настолько пассивным ко всему, что вы ему говорите, чтобы ему не требовалось решительно никакого напряжения для понимания. Нужно, чтобы самолюбие наставника всегда давало место и его самолюбию: нужно, чтобы он мог сказать себе: «Я понимаю, я проникаю в смысл, я умею делать, я научился». Одной из вещей, делающих скучным Панталоне итальянской комедии, является его старание истолковать публике те плоскости, которые и без того слишком уже понятны. Я не хочу, чтобы воспитатель был Панталоне<sup>51</sup>, а тем менее — сочинителем. Нужно всегда быть понятным, но не нужно всегда говорить все; кто говорит все, тот мало скажет, так как под конец его уже не слушают. Какой смысл имеют те четыре стиха, которые Лафонтен приставляет к басне о надувающейся лягушке? Опасался ли он, что его не поймут? Неужели ему, такому великому живописцу, требуется подписывать названия под предметами, им нарисованными? Вместо того чтобы обобщать этим свою мораль, он придает ей частный характер, в некотором роде ограничивает ее приведенными примерами и мешает к другим примерам. Я желал бы, чтобы, прежде чем дать басни этого неподражаемого автора в руки молодому человеку, откинули все эти выводы, которыми он старается пояснить свой ясный и милый рассказ. Если воспитанник ваш не понимает басни без пояснения, то будьте уверены, что не поймет ее и с пояснениями.

Кроме того, важно было бы придать этим басням более дидактический характер, более соответствующий постепенному развитию чувств и познаний молодого человека. Что может быть бестолковее, как читать эту книгу подряд, страницу за страницей, не обращая внимания ни на потребность, ни на случай,— читать сначала о вороне, потом о стрекозе\*, затем о лягушке, о двух мулах и т. д.? Мне особенно памятливы эти два мула, потому что я помню, как один ребенок, которого воспитывали для финансовой карьеры и которому прожужжали уши толками о предстоящей ему должности, читал эту басню, заучивал, произносил, повторял сотни и сотни раз — и не мог никогда извлечь из нее ни малейшего возражения против ремесла, к которому его предназначали. Я не только никогда не видал, чтобы дети делали какое-нибудь путное применение из заученных ими басен, но не видал и того, чтобы кто-либо заботился заставить их сделать это применение. Предлогом для этого изучения выставляется нравственное наставление; но истинная цель матери и ребенка — занять последним все общество, пока он читает свои басни; потому-то он и забывает их все, когда подрастет, когда нужно будет не произносить их, а извлекать из них пользу. Еще раз скажу: поучаться в баснях дело взрослых людей, и вот для Эмиля пришло время начать это изучение.

\* Здесь нужно принять к сведению поправку Формея. Сначала о стрекозе, потом о вороне и т. д.

Я издали указываю (ибо тоже не хочу говорить все) дороги, сбивающие с истинного пути, чтобы научить избегать их. Я думаю, что, следуя пути, который я наметил, воспитанник ваш самой дешевой, какая возможна, ценой приобретет познание людей и себя, что вы дадите ему полную возможность созерцать игру счастья, не завидуя любимцам его, и быть довольным собой,

не считая себя более мудрым, чем другие. Вы уже сделали его актером — с целью сделать зрителем: нужно докончить дело, так как только из партера видишь предметы такими, какими они кажутся, а со сцены видишь их такими, каковы они в действительности. Чтоб обнять целое, нужно встать вдали; а чтобы видеть детали, нужно подойти ближе. Но с какой стати молодому человеку вмешиваться в дела света? Какое право он имеет на посвящение в эти мрачные тайны? Поисками удовольствия ограничиваются интересы его возраста; он пока еще не располагает только самим собой; а это все равно, что ничем не располагать. Человек — самый дешевый из товаров, и между нашими, столь важными, правами собственности личное право всегда оказывается самым незначительным из всех.

Когда я вижу, что в годы наибольшей деятельности заставляют молодых людей ограничиваться занятиями чисто умозрительными, а потом они, без малейшей опасности, сразу пускаются в свет и в дела, то я нахожу, что тут столько же оскорбляют природу, сколько и разум, и не удивляюсь уже, что так мало людей, умеющих вести себя. Какой нужен странный склад ума, чтоб учить стольким бесполезным вещам, а искусство действовать — считать за ничто! Претендуют образовать нас для общества, а учат так, как будто каждый из нас должен проводить свою жизнь в одиноких думах, в своей келье или в беседах на разные вздорные темы с людьми, ничем не заинтересованными. Вы думаете, что учите детей жить, если обучаете их разным кривляньям и условным фразам, ничего не обозначающим. Но ведь и я тоже учил Эмиля жить, ибо я научил его ладить с самим собою и, кроме того, зарабатывать себе хлеб. Но этого недостаточно. Чтобы жить в обществе, нужно уметь обходиться с людьми, нужно знать, какими способами можно действовать на них: нужно рассчитывать действие и противодействие частных интересов в гражданском обществе и так верно предвидеть события, чтобы редко обманываться в своих начинаниях или, по крайней мере, принимать всегда лучшие меры для успеха. Законы не позволяют молодым людям заниматься своими собственными делами и располагать своим имуществом; но к чему служили бы эти меры предосторожности, если бы, до установленного законом возраста, они не могли приобрести никакой опытности? Они ничего не выиграли бы от этого ожидания и в 25 лет были бы такими же новичками в деле, как в 15 лет. Без сомнения, нужно помешать, чтобы молодой человек, ослепленный своим невежеством или обманутый страстями, не причинил сам себе зла; но быть благотворительным во всяком возрасте позволительно; во всяком возрасте можно покровительствовать под руководством умного человека несчастным, которые нуждаются только в поддержке.

Кормилицы, матери привязываются к детям благодаря попечениям, которыми они окружают их; а упражнение в добродетелях общественных внедряет в сердца любовь к человечеству: делая добро, можно сделаться добрым; я не знаю способа более верного. Пусть ваш воспитанник занимается всеми добрыми делами, ему посильными; пусть интересы неимущих будут всегда его личными интересами; пусть он им помогает не только кошельком, но и своими заботами; пусть он

оказывает им услуги, покровительство, пусть жертвует им собою и своим временем; пусть делается ходатаем по их делам — во всю жизнь ему не придется исполнять столь благородную роль. Сколько угнетенных, которых не стали бы даже слушать, добьются справедливости, если он станет просить за них с той неустрашимой твердостью, которую дает привычка к добродетели, если он будет осаждать двери вельмож и богачей, если он, в случае нужды, доведет даже до трона голос несчастных, которым нищета заперла все входы и которых опасение быть наказанными за зло, им самим причиненное, лишает даже смелости жаловаться!

Но неужели мы сделаем из Эмиля странствующего рыцаря, защитника угнетенных, паладина? Неужели он станет вмешиваться в общественные дела, играть роль мудреца и блюстителя законов перед вельможами, перед должностными лицами, перед государем, разыгрывать роль ходатая у судей и адвоката в судах? Я ничего не знаю об этом. Забавные и смешные имена нисколько не изменяют сущности вещей. Он будет делать все, что считает полезным и хорошим. Больше ничего он не будет делать, а он знает, что полезно и хорошо для него только то, что прилично его возрасту. Он знает, что первая обязанность его относится к собственной его личности, что молодые люди должны не слишком полагаться на себя, быть осмотрительными в поведении, почтительными перед людьми старшими, сдержанными и молчаливыми в пустых разговорах, скромными в вещах неважных, но смелыми на дела хорошие и мужественными при высказывании правды. Таковыми были те знаменитые римляне, которые, прежде чем получить доступ к должностям, проводили свою юность в преследовании преступлений и защите невинности, по имея иного интереса, кроме самообразования, путем служения справедливости и покровительства доброй нравственности. Эмиль не любит ни шума, ни ссор, не только между людьми\*, но даже между животными. Он никогда не раззадоривал до драки двух собак, никогда кошку не травил собакой. Этот дух мира есть результат его воспитания, которое, не давая никогда пищи его самолюбию и самомнению, приучало его искать удовольствий не в господстве или несчастье другого. Он страдает, видя страдания,— это естественное чувство. Причиной того, что молодой человек ожесточается и находит удовольствие смотреть на мучения существа чувствующего, бывает приступ тщеславия, заставляющий его считать себя изъятым от подобных страданий, благодаря своей мудрости или своему превосходству. Кого предохранили от такого склада ума, тот не может впасть в порок, вытекающий из этого склада. Итак, Эмиль любит мир. Картина счастья ласкает его взоры, и, если он может содействовать ему, это для него является новым поводом принять в нем участие. Я не хотел сказать, что вид несчастных возбуждает в нем только ту бесплодную и жестокую жалость, которая довольствуется соболезнаванием, хотя могла бы избавить от страданий. Деятельная благотворительность скоро даст ему познания, которых, при сердце более жестоком, он не приобретал бы или приобрел бы гораздо позднее. Если он видит несогласие между своими товарищами, он старается примирить их; если он видит огорченных, он расспрашивает о причине горя; если видит, как один ненавидит другого, старается узнать причину

этой вражды; если видит, как угнетенный стонет от притеснений человека сильного и богатого, старается разыскать, какими уловками тот прикрывает свои притеснения; и благодаря участию, которое он принимает в этих несчастных, он никогда не остается равнодушным к средствам устранить их бедствия. Итак, что же нам делать, чтоб употребить эти наклонности с пользой и соответственным его летам образом? Нужно направлять его заботы и познания и пользоваться усердием его для расширения их.

\* Но если его самого вызовут на ссору, как он будет вести себя? На это я скажу, что у него никогда не будет ссоры, что он никогда не позволит завлечь себя в ссору. Но, наконец, скажут, кто же обеспечен от пощечины или обвинения во лжи со стороны грубияна, пьяного человека или дерзкого плута, который, чтобы иметь удовольствие убить человека, сначала опозоривает его? Это другое дело: не следует, чтобы честь или жизнь граждан была в зависимости от грубияна, пьяницы или дерзкого плута, а от подобной случайности так же нельзя уберечься, как от падения на голову черепицы. Полученная пощечина и нанесенное оскорбление ведут к таким последствиям гражданского характера, которых не может предвидеть никакая мудрость и вознаградить за которые не может никакой суд. Бессилие законов возвращает, следовательно, оскорбленному его независимость; он в этом случае единственный судья, единственный посредник между обидчиком и собою: он один является истолкователем и исполнителем естественного закона; он должен удовлетворить себя за обиду; он один может это сделать; нет на земле правительства настолько неразумного, чтобы оно стало наказывать его за это в подобном случае. Я не говорю, что он должен идти драться,— это было бы нелепостью; я говорю, что он должен удовлетворить себя за обиду и что он один имеет на это право. Если бы я был государем, то — ручаюсь — без всей этой массы тщетных указов против дуэлей я вывел бы в своем государстве всякие пощечины и оскорбления, и притом очень простым способом, без всякого вмешательства судов. Как бы то ни было, Эмиль знает, как в подобном случае расправиться за свою обиду и какой пример он должен подать для обеспечения безопасности честных людей. Самый твердый человек не в силах помешать другим оскорбить его, но от него зависит помешать обидчику долго хвастаться нанесенным оскорблением.

Я не перестаю повторять: облачайте все ваши уроки молодым людям в форму поступков, а не речей; пусть они не учат по книгам того, чему может научить их опыт. Какая нелепая задача — упражнять их в искусстве говорить без всякого намерения что-либо сказать; давать чувствовать энергию языка страстей и всю силу искусства убеждать — на школьной скамье, когда у них нет никакого интереса кого-нибудь и в чем-нибудь убеждать! Все правила риторики кажутся лишь пустою болтовней тому, кто не знает, как применить их в свою пользу. Для чего знать ученику, каким способом Ганнибал склонял солдат к переходу через Альпы? Если бы вместо этих великолепных речей вы показали ему, как он должен приняться за дело, чтоб убедить своего надзирателя дать ему отпуск, будьте уверены, что он внимательнее отнесся бы к вашим правилам.



Если б я захотел преподавать риторику молодому человеку, у которого все страсти уже развились, то я представлял бы ему беспрестанно предметы, способные польстить его страстям, и исследовал бы вместе с ним, каким языком он должен говорить с другими людьми, если хочет принудить их благоприятствовать его желаниям. Но Эмиль мой находится в положении не столь выгодном для ораторского искусства; ограничиваясь почти одними физическими потребностями, он менее нуждается в других, чем другие в нем; а так как ему нечего просить у них для себя самого, то вещь, в которой он хочет убедить, не настолько его трогает, чтоб он стал чрезмерно волноваться. Отсюда следует, что речь его будет вообще проста и бедна образами. Слова он употребляет обыкновенно в собственном смысле и только для того, чтобы его попяли. Он мало говорит сентенциями, потому что не научился обобщать своих идей; у него мало образов, потому что он редко бывает страстен.

Это не значит, однако, чтобы он был совершенно флегматичным и равнодушным; этого не допускают ни лета его, ни нравы, ни вкусы; в годы пылкой юности живительные соки, задерживаемые и перегоняемые в крови, придают его молодому сердцу жар, который блесит в его взорах, чувствуется в речах, замечается в поступках. Речь его получила выразительность, а порой в ней слышится и пылкость. Благородное чувство, ее внушающее, придает ей силу и возвышенность; проникнутый нежною любовью к человечеству, он в словах передает движение души своей; в смелой его откровенности заключается нечто более пленительное, чем в искусственном красноречии других, или, лучше сказать, один он истинно красноречив, потому что ему стоит лишь показать, что он чувствует,— и он уже сообщает свои чувства слушателям.

Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что если практиковаться подобным образом в добрых делах, извлекать из удач или неудач размышления о причине их, то мало окажется полезных познаний, которых нельзя было бы принять в уме молодого человека, и что вдобавок ко всем истинным знаниям, которые можно приобрести в школах, он приобретет, кроме того, еще более важное знание, именно умение применять приобретенное к потребностям жизни. Невозможно, чтобы, принимая столько участия в ближних, он с ранних пор не научился взвешивать и оценивать их действия, вкусы, удовольствия и вообще давать тому, что может содействовать или вредить людскому счастью, оценку более правильную, чем это могли бы сделать те, которые, ни в ком не принимая участия, ничего никогда не делали для другого. Кто всегда занят только собственными делами, тот становится слишком пристрастным и не может здраво судить о вещах. Относя все к себе одному и собственною выгодой регулируя свои понятия о добре и зле, он наполняет ум свой тысячью смешных предрассудков и во всем, что приносит малейший вред его интересам, тотчас видит гибель всей Вселенной.

Распространим свое самолюбие на другие существа — таким путем мы превратим его в добродетель, и нет человеческого сердца, в котором эта добродетель не имела бы корня. Чем менее предмет наших забот касается непосредственно нас самих, тем менее приходится бояться

обольщения личным интересом; чем больше обобщается этот интерес, тем больше в нем справедливости, а наша любовь к человеческому роду есть не что иное, как любовь к справедливости. Итак, если мы хотим, чтоб Эмиль любил правду, если хотим, чтоб он ее знал, то будем в делах всегда держать его далеко от личного его интереса. Чем более его заботы посвящены будут чужому счастью, тем просвещеннее они будут и мудрее и тем менее он будет ошибаться в оценке добра и зла; но никогда не допускайте в нем слепого предпочтения, основанного единственно на лицепрятии или несправедливом предубеждении. Да и зачем он стал бы одному вредить, чтобы услужить другому? Для него не важно, на чью долю выпадает больше счастья,— лишь бы содействовать наибольшему счастью всех; а в этом и состоит первый интерес мудреца, после личного интереса, ибо каждый есть часть своего рода, а не часть другого индивида.

Чтобы помешать состраданию выродиться в слабость, нужно, значит, обобщать его и распространять на весь род человеческий. Тогда мы предаемся ему лишь настолько, насколько оно согласуется со справедливостью, потому что из всех добродетелей справедливость наиболее содействует общему благу людей. В силу разума, в силу любви к себе нужно к роду людскому питать еще большее сострадание, чем к ближнему своему, и жалость к злым есть очень большая жестокость к людям.

Впрочем, нужно помнить, что все эти средства, которыми я отвлекаю моего воспитанника от интересов его личности, имеют все-таки прямое отношение и к нему — не только потому, что из них проистекает внутреннее наслаждение, но и потому, что, делая его благотворительным по отношению к другим, я тружусь над его собственным образованием.

Я сначала дал средства, а теперь показываю действие их. Какой широкий кругозор открывается мало-помалу в его голове! Какими возвышенными чувствованиями заглушается в его сердце зародыш мелких страстей! Какая отчетливость суждения, какая точность ума образуется в нем из его культивированных наклонностей, из опытности, которая сосредоточивает стремления великой души в тесных пределах возможного и ведет к тому, что человек, стоящий выше других и не имеющий возможности поднять их до своего уровня, умеет сам спуститься к ним! В его разуме запечатлеваются истинные принципы справедливости, истинные образы прекрасного, все нравственные отношения живых существ, все идеи порядка; он видит место каждой вещи и причину, удаляющую ее от этого места; он видит, чем создается добро и что. противодействует ему. Не испытав человеческих страстей, он знает уже обманы их и игру.

Я подвигаюсь вперед, увлекаемый силою вещей, но я не обманываюсь па счет мнения читателей. Они давно уже видят меня в стране химер; со своей стороны, я все время вижу их в области предрассудков. Расходясь так далеко с обычными мнениями, а не перестаю представлять их в своем уме; я их рассматриваю, размышляю о них — не для того, чтобы держаться или избегать их, но чтобы взвесить их на весах рассуждения. Всякий раз, как последнее заставляет

меня уклоняться от них, наученный опытом, я уже совершенно уверен, что читатели не последуют за мной; я знаю, что, упорствуя в своем мнении, будто возможно лишь то, что они видят, они примут изображаемого мною молодого человека за существо воображаемое и фантастическое, потому что он отличается от тех, с которыми его сравнивают; им не приходит в голову, что он и должен отличаться: раз он воспитан иначе, раз его волнуют совершенно противоположные чувства, раз он получил совершенно не такое, как они, образование, было бы гораздо более удивительным, если б он походил на них, а не таким был, каким я предполагаю. Это не человеческий человек; это человек природы. И конечно, он должен быть очень странным на их взгляд.

В начале этого сочинения я не предполагал ничего такого, чего не мог бы наблюдать и всякий другой так же хорошо, как и я, потому что исходный пункт — я разумею рождение человека — для всех нас одинаков; но чем более мы подвигаемся вперед, я — культивируя природу, вы — извращая ее, тем дальше мы удаляемся друг от друга. В шесть лет мой воспитанник мало отличался от ваших, которых вы не успели еще изуродовать; теперь в них нет ничего уже сходного; а в лета возмужалости, которые приближаются, он должен явиться в совершенно противоположном свете, если только заботы мои не пропали даром. Количество приобретений, быть может, почти ровно с той и другой стороны, но самые приобретения совершенно не сходны между собою. Вы изумлены, что находите у первого высокие чувства, которых и в зародыше нет у вторых; но примите в расчет и то, что эти последние все бывают уже философами и богословами, прежде чем Эмиль узнает, что такое философия, и прежде чем он даже услышит о Боге.

Мне скажут: «Ни одно из ваших предположений не оправдывается на деле; молодые люди не так созданы; у них такие-то и такие-то страсти; они поступают так-то»; но говорить так. все равно, что уверять, будто груша никогда не бывает большим деревом, на том основании, что в садах своих мы видим только" малорослые деревья.

Я прошу этих судей, столь поспешных в порицании, принять во внимание, что ведь все сказанное ими я так же хорошо знаю, как и они, что ведь, вероятно, я дольше их об этом размышлял и, не имея никакого интереса морочить их, имею право требовать, чтоб они приняли, по крайней мере, па себя труд поискать, в чем я ошибаюсь. Пусть они хорошо исследуют организацию человека, пусть проследят первые движения сердца при том или ином обстоятельстве, чтобы видеть, насколько один индивид под влиянием воспитания может различаться от другого, пусть они дотом сопоставят мое воспитание с последствиями, которые я ему приписываю, и пусть скажут, в чем я неправильно рассуждал: тогда мне нечего будет ответить.

Мой сравнительно решительный тон несколько оправдывается, я думаю, тем обстоятельством, что я не только не увлекаюсь духом системы, но стараюсь по возможности меньше опираться на рассуждение и доверяю лишь наблюдению. Я основываюсь не на том, что вообразил себе, но на том, что видел. Правда, что я не ограничил своих опытов стенами одного города или одного масса

людей; но зато, сравнив столько классов и народов, сколько я мог видеть в своей жизни, проведенной среди наблюдений, я отбросил как нечто искусственное то, что принадлежало одному народу и не принадлежало другому, что свойственно одному состоянию и не свойственно другому, и лишь то считал неоспоримо принадлежащим человеку,; что свойственно всем, всякому возрасту, во всяком ранге и в какой бы то ни было нации.

А если вы будете по этой методе с детства следить за молодым человеком, который не будет отлит ни в какую особую форму и возможно меньше будет подчиняться авторитету и чужому мнению, на кого, думаете, он будет более всего походить — на моего воспитанника или на ваших? Вот какой, мне кажется, вопрос нужно решить, чтоб узнать, заблуждаюсь ли я.

Не легко человеку начинать мыслить, но как скоро он начал, он уже не перестает. Кто мыслил, тот всегда будет мыслить, и разум, раз предавшийся размышлению, не может уже оставаться в покое. Можно, значит, было бы подумать, что я требую или слишком многого, или слишком малого, что ум человеческий от природы не так быстро раскрывается и что, приписав ему способности, которых у него нет, я слишком долго держу его в круге идей, за который он должен бы был перешагнуть.

Но прежде всего примите во внимание, что, если желают сформировать человека природы, для этого вовсе не нужно создавать из него дикаря и ссылать его в глубь лесов, что раз он вращается в вихре общества, то достаточно, если он не позволяет увлекать себя ни страстям, ни людским мнениям, если он видит собственными глазами, чувствует собственным сердцем, если никакой авторитет не управляет им, кроме авторитета его собственного разума. При таком положении ясно, что масса предметов, на него действующих, частая смена чувствований, его волнующих, разнообразие средств для удовлетворения его действительных нужд должны дать ему множество идей, которых иначе он никогда не имел бы или приобретал бы гораздо медленнее. Естественное развитие ума ускорено, но не извращено. Один и тот же человек, который в лесах необходимо останется тупым, в городах должен сделаться умным и рассудительным, если будет здесь простым зрителем. Ничто так не содействует развитию ума, как безумия, которые видишь, но не разделяешь; и опять-таки даже, кто разделяет их, и тот научается, лишь бы он не обманывался насчет их и не увлекался заблуждением тех, которые совершают эти безумия.

Примите также в расчет, что раз способности наши заставляют нас ограничиваться вещами чувственно воспринимаемыми, то мы не оставляем почти никакого места абстрактным, философским понятиям и идеям чисто интеллектуальным. Чтобы возвыситься до них, мы должны или развязаться с телом, с которым так крепко связаны, или постепенно и медленно переходить от предмета к предмету, или, наконец, быстро и почти одним прыжком перескочить промежуток — совершить гигантский шаг, на который не способно детство, потому что даже и взрослым людям для этого нужно много ступенек, нарочно для них сделанных. Первая абстрактная идея есть первая из этих ступеней; но я никак не могу понять, каким образом решаются ее строить.

Непостижимое Существо, которое все обнимает, которое дает миру движение и образует всю систему существ, невидимо для наших глаз и неосязаемо для наших рук; Оно не поддается ни одному из наших чувств: работа видна, но работающий скрыт, Не легкое дело узнать, наконец, что Оно существует; а когда мы дошли до этого знания, когда спрашиваем себя: каково Оно, где Оно? — ум наш смущается, теряется, и мы можем только — мыслить.

Локк хочет, чтобы начинали с, изучения духа и потом переходили к изучению тела<sup>55</sup>. Метода эта — метода суеверия, предрассудков, заблуждения; это — не метода разума и даже не метода природы, хорошо упорядоченной; это все равно, что зажимать глаза с целью научиться видеть. Нужно долго изучать тела, чтобы составить себе истинное понятие о духах и предположить их существование. Противоположный порядок служит лишь к утверждению материализма.

Так как первыми орудиями наших познаний являются чувства, то непосредственно мы получаем понятие единственно о существах телесных и чувственно воспринимаемых. Слово *дух* не имеет никакого значения для того, кто не философствовал. Дух для простого народа и для детей есть не что иное, как тело. Воображают же они, что духи кричат, говорят, дерутся, производят шум! А нужно признаться, что духи, у которых есть руки и языки, очень похожи на тела. Вот почему все народы на свете, не исключая евреев, создавали себе телесных Богов. Мы сами при наших терминах «дух» и т. д. оказываемся большею частью настоящими антропоморфистами. Нас учат говорить, что Бог есть всюду; но мы также верим, что и воздух есть всюду, по крайней мере в нашей атмосфере; и самое слово *дух* по. своему происхождению означает лишь дуновение, ветер. Раз людей приучают говорить слова без понимания их, после этого легко заставить их говорить все, что угодно.

Сознание нашего воздействия на другие тела должно было на первых порах внушать нам мысль, что они действуют на нас тем же способом, каким мы на них действуем. Таким образом, человек начал с того, что одушевил все предметы, действие которых чувствовал. Чувствуя себя менее сильным, чем большинство этих существ, и не зная пределов их могущества, он предположил, что оно безгранично, и создал из них богов, лишь только наделил их телами. В первые века люди, пугаясь всего, ничего не видели в природе мертвым. Идея материи требовала не меньше времени для своего образования, чем идея духа, потому что эта первая идея уже есть абстракция. Таким образом они наполнили Вселенную чувственно постигаемыми божествами. Светила, ветры, горы, реки, деревья, города, даже дома — все имело свою душу, своего Бога, свою жизнь. Идолы Лавана<sup>56</sup>, маниту дикарей<sup>57</sup>, фетиши негров, всякие произведения природы и рук человеческих были первыми божествами смертных; политеизм был первой их религией, идолопоклонство — первым культом. Они лишь тогда могли познать единого Бога, когда, обобщая все более и более свои идеи, стали способными восходить до первой причины, соединять целую систему существ в одну идею и придавать смысл слову *сущность*, которое, строго говоря, означает величайшую из абстракций. Следовательно, всякий ребенок, который верит в бога, необходимо

бывает идолопоклонником или, по крайней мере, антропоморфистом; а кто представил себе Бога воображением, тот очень редко постигает его разумением. Вот то именно заблуждение, к которому ведет принятый Локком порядок.

Дошедши, каким бы то ни было образом, до абстрактной идеи сущности, мы видим, что для признания единой сущности нужно предположить в ней свойства непримиримые, взаимно исключают друг друга, такие, как мысль и пространство, из которых одно по существу делимо, а другое исключает собою всякое понятие о делимости. Кроме того, понятно, что мысль или, если хотите, чувствование, есть свойство первоначальное и неотделимое от сущности, которой оно принадлежит, и то же можно сказать и о протяжении по отношению к его сущности. Отсюда следует, что существа, теряющие одно из этих свойств, теряют и сущность, которой оно принадлежит, что, следовательно, смерть есть не что иное, как разделение сущностей, а существа, в которых эти два свойства соединены, состоят из двух сущностей, которым эти два свойства и принадлежат.

А теперь примите во внимание, какое расстояние остается еще между понятием о двух сущностях и понятием о божественной природе между непостижимой идеей воздействия нашей души на наше тело и идеей воздействия Божества на все существа. Каким образом идеи творения, совершенного уничтожения, вездесущности, вечности, всемогущества, идея свойств Божьих, все эти идеи, которые столь немногим людям представляются такими же смутными и темными, каковы они в действительности, и которые не заключают в себе ничего темного для простого народа, потому что он совершенно ничего тут не понимает,— каким образом эти идеи могли бы представиться во всей своей силе, т. е. во всей своей таинственности, юным умам, которые заняты пока еще первичною деятельностью чувств и постигают лишь то, чего касаются? Напрасно бездны бесконечного зияют всюду вокруг нас; ребенок не умеет пугаться их; его слабые глаза не могут измерить глубины их. Для детей все бесконечно; они ничему не умеют ставить пределов не потому, что у них слишком длинная мерка, а потому, что у них короток ум. Я даже заметил, что бесконечное для них скорее меньше, чем больше тех размеров, которые им известны. Неизмеримость пространства они станут оценивать скорее с помощью ног, чем при помощи зрения; оно будет для них простираться не за пределы зрения, а за пределы того, что можно пройти. Если им говорят о всемогуществе Бога, они сочтут Бога почти столь сильным, как их отец. Так как мерилом возможного служит для них собственное знание, то им во всякой вещи то, о чем говорят, представляется менее значительным, чем то, что они сами знают. Таковы естественные суждения при невежестве или ограниченности ума. Аякс побоялся бы помериться с Ахиллом, а Юпитера вызывает па бой, потому что знает Ахилла и не знает Юпитера. Один швейцарский крестьянин, который считал себя самым богатым из людей и которому старались объяснить, что такое король, с гордым видом спрашивал, может ли быть у короля сто коров в горах.

Я предвижу, сколь многие читатели будут изумлены тем, что, проследив весь первый возраст моего воспитанника, я ни разу не говорил ему о религии. В пятнадцать лет он не знал, есть ли у него душа: а быть может, даже в восемнадцать лет еще не время знать ему об этом; ибо если он узнает раньше, чем нужно, то представляется опасность, что он никогда не будет знать этого.

Если я хотел бы изобразить прискорбную тупость, я нарисовал бы педанта, обучающего детей катехизису. Мне возразят, что раз большинство христианских догматов суть тайны, то ожидать, пока ум человеческий станет способным постигать их, значит ожидать не того, когда ребенок станет взрослым человеком, но того, когда человек перестанет быть человеком. На это я отвечаю прежде всего, что есть тайны, которые человеку невозможно не только постичь, но и представить в мысли; и я не вижу, что выигрывают, преподавая детям эти тайны, если не считать того, что их с ранних пор учат лгать. Кроме того, я сказал бы, что, допуская эти тайны, нужно понимать, по крайней мере, что они непостижимы; а дети даже не способны к этому пониманию. Для возраста, при котором все — тайна, не существует тайн в собственном смысле.

*Чтобы быть спасенным, нужно верить в Бога.* Плохое понимание этого догмата бывает основой кровавой нетерпимости и причиной всех тех бесплодных наставлений, которые наносят смертельный удар человеческому разуму, приучая его отделяться одними словами. Без сомнения, мы не должны терять ни одного момента, чтобы заслужить вечное спасение; но чтобы его получить, для этого недостаточно повторять известного рода слова.

Обязанность верить предполагает собою возможность. Философ, который не верит, виновен, потому что дурно пользуется своим развитым разумом и потому что он в состоянии понимать истины, им отвергаемые.

Но во что верует ребенок, исповедующий христианскую религию? Верует в то, что постигает; а он так мало постигает передаваемое ему, что, если вы скажете ему противоположное, он усвоит это с такой же охотой. Вера детей и многих взрослых обусловлена местожительством. Одному говорят, что Магомет — пророк божий, и он повторяет, что Магомет — пророк божий; другому говорят, что Магомет — обманщик, и он повторяет, что Магомет — обманщик. Каждый из них утверждал бы то, что утверждает другой, если бы они оказались перемещенными один на место другого.

Когда ребенок говорит, что он верует в Бога, он не в Бога верит, а верит Петру или Якову, которые говорят ему, что существует нечто такое, что называют Богом. Он верит на манер Эврипида:

«О, Юпитер! Ничего ведь о тебе не знаю я, кроме имени»\*.

Мы держимся учения, что ни одно дитя, умершее до разумного возраста, не будет лишено вечного блаженства; католики держатся того же учения по отношению ко всем детям, принявшим крещение, хотя бы они никогда не слышали о Боге. Есть, значит, случаи, когда можно спастись без веры в Бога; это те случаи, когда ум человеческий — будь то в детстве или в состоянии безумия —

не способен к необходимым для познания Божества душевным движениям. Вся разница между мной и вами здесь в том, что, по-вашему, дети в семилетнем возрасте имеют эту способность, а я не признаю ее за ними даже в пятнадцать лет. Пусть я буду прав или не прав: ведь речь здесь идет не о догмате веры, а о простом естественноисторическом наблюдении.

Следуя тому же принципу, становится ясно, что, если какой-нибудь человек дожил до старости, не веруя в Бога, он не будет из-за этого лишен его лицезрения в загробной жизни, если только ослепление его не было вольным, а я утверждаю, что это бывает не всегда. Вы ведь признаете в отношении безумных, что они лишаются своих умственных способностей вследствие болезни; по они же не лишаются своих человеческих свойств, а следовательно, не теряют права на благодеяния своего Создателя. Почему же не распространить этого права также на тех, кто, будучи с детских лет оторван от всякого общества, вел совершенно дикую жизнь, лишенную всякого просвещения, которое можно приобрести только при общении с людьми? \*\* Ибо уже доказана невозможность для такого дикаря когда-нибудь мысленно возвыситься до познания истинного Бога. Разум говорит нам, что человек подлежит наказанию лишь за ошибки, совершенные им по своей воле, а непреодоленное невежество не может быть вменено ему в преступление. Отсюда следует, что перед лицом вечной справедливости всякий человек, обладающий необходимым просвещением, мог бы поверить и считался бы верующим, а каре подлежали бы только люди, отвернувшиеся от веры, сердце которых закрыто для истины.

\* Плутарх. Трактат о любви. Так же начиналась прежде трагедия «Мелалипп»<sup>58</sup>; но народные крикуны в Афинах принудили Эврипида изменить это начало.

\*\* Об естественном состоянии человеческого ума и о медлительности его развития см. первую часть «Рассуждения о неравенстве».

Остережемся возвещать истину тем, кто не в состоянии понять ее; ибо это значило бы подменять ее заблуждением. Лучше вовсе не иметь никакой идеи об истине, чем иметь идеи низшие, фантастичные, оскорбительные и недостойные ее. Не знать истину — меньшее зло, чем искажать ее.

«По-моему, пусть лучше думали бы,— говорит добрый Плутарх,— что пикакого Плутарха не было на свете, лишь бы не говорили, что Плутарх был несправедливым — завистливым, жадным и таким тираном, что требовал больше, чем давал возможность сделать»<sup>59</sup>.

Большим злом является то обстоятельство, что грубые представления о Божестве, запечатлеваемые в уме детей, остаются там на всю жизнь и что, став взрослыми, они не получают иного понятия о Боге, кроме полученного в детстве.

Я знал в Швейцарии одну добрую благочестивую мать семейства, которая настолько была убеждена в этом правиле, что не хотела наставлять своего сына в религии в первом возрасте жизни из опасения, чтобы, удовлетворившись этим грубым наставлением, он не пренебрег в разумном возрасте наставлениями лучшими. При ребенке этом о Боге говорили не иначе, как с



глубоким благоговением, и, лишь только он сам начинал говорить, его заставляли замолчать, так как это предмет слишком высокий для него и слишком важный. Эта предосторожность подстрекала его любопытство; самолюбие его с нетерпением ждало момента, когда можно будет узнать эту тайну; так заботливо от него скрываемаую. Чем меньше ему говорили о Боге, чем больше запрещали ему говорить о Нем самому, тем более он был занят этой мыслью: дитя это всюду видело Бога. И я боялся, как бы, чрезмерно разжигая воображение молодого человека этим видом тайны, столь неразумно затрагиваемой, не сбили его с толку и как бы вместо верующего не сделали из него в конце концов фанатика.

Но не следует бояться ничего подобного по отношению к Эмилю, который неизменно отказывается обращать внимание на все то, что выше его разума, и с глубоким равнодушием слушает о вещах, которых не понимает. Он так часто имел случаи говорить: «это не мое дело», что один лишний случай не поставит его в затруднение; и если его начинают тревожить эти великие вопросы, то не потому, что он слышал о них, а потому, что естественный ход его умственного развития направляет его изыскания в эту именно сторону.

Мы видели, каким путем развившийся ум человеческий приближается к этим тайнам; и я не прочь, утверждать, что естественным путем человек даже среди общества доходит до них не раньше зрелых лет. Но в том же самом обществе существуют неизбежные причины, ускоряющие развитие страстей; и если бы мы не ускоряли подобным же образом и роста познаний, служащих для урегулирования этих страстей, то мы поистине удалились бы от порядка природы, и равновесие было бы нарушено. Если мы не властны умерять излишнюю быстроту развития, то нам нужно с такою же быстротой вести вперед и то, что должно соответствовать ему, так чтобы порядок не нарушался, чтобы то, что должно идти вместе, не оказалось отделенным, чтобы человек был целым во все моменты своей жизни, а не проявлял себя в один момент одной из своих способностей, а в другой момент другими.

Какую трудность предстоит теперь мне преодолеть! Она тем более велика, что зависит не столько от природы вещей, сколько от малодушия тех, которые не отваживаются решить этот вопрос. Рискнем на первый раз, по крайней мере, предложить его. Ребенок должен быть воспитан в религии своего отца; ему всегда убедительно доказывают, что эта религия, какова бы она ни была, единственно истинная, что все другие — вздор и нелепость. Сила аргументов совершенно зависит от того пункта земли, где их предлагают. Пусть турок, который в Константинополе находит христианство столь смешным, посмотрит, как относятся к магометанству в Париже! В деле религии людское мнение особенно торжествует. Но мы, которые имеем притязание со всякой вещи сбрасывать ее иго, которые не желаем ничего уступить авторитету, не желаем преподавать нашему Эмилю ничего такого, чему он не мог бы научиться сам во всякой стране,— мы в какой религии станем его воспитывать? К какой секте присоединить нам человека природы? Ответ очень прост, мне кажется: мы не станем присоединять его ни к той, ни к другой, а дадим ему

возможность выбрать ту, к которой должен привести его наилучшим образом направленный разум.

...Incedo per ignes Suppositos cineridoloso<sup>60</sup>.

Не беда: ревность и чистосердечие доселе заменяли мне благоразумие; надеюсь, что эти поручители не покинут меня при нужде. Читатели, не бойтесь услышать от меня предостережения, недостойные друга истины: я никогда не забуду своего девиза; но мне, конечно, позволительно не надеяться на свои суждения. Вместо того чтобы из своей головы высказывать здесь вам, что я думаю, я расскажу, что думал один человек, стоивший больше меня. Я ручаюсь за истину фактов, которые будут сообщены: они действительно пережиты автором рукописи, которую я хочу переписать; ваше дело — видеть, можно ли из них извлечь размышления, полезные для предмета, о котором идет речь. Я не ставлю вам за образец чувствований другого или своих собственных: я вам предлагаю их для исследования.

«Тридцать лет тому назад один молодой человек, изгнанный из отечества, оказался в одном итальянском городе в крайней нищете. Родился он кальвинистом; но, по своей ветрености, очутившись изгнанником, в чужой стране, без средств, он переменил религию, чтобы найти пропитание. В этом городе был странноприемный дом для вновь обращенных: он был туда принят. Обучая его с помощью прений, в нем возбудили сомнения, которых раньше у него не было, и научили злу, которого он не знал: он услышал новые догматы, увидел еще более новые нравы, раз он увидел, он должен был стать их жертвой. Он хотел бежать — его заперли; он жаловался — его наказывали за жалобы; находясь во власти своих тиранов, он увидел, что с ним обходятся как с преступником вследствие того, что он не хотел поддаться преступлению. Кто знает, как впервые испытанное насилие и несправедливость раздражают неопытное юное сердце, тот легко представит его состояние. Слезы ярости текли из его очей, его душило негодование; он умолял небо и людей, вверял свою судьбу всем, и никем не был услышан. Он видел лишь презренную челядь, подчиненную бесчестному человеку, его оскорблявшему, или соучастников того же самого преступления, которые насмехались над его упорством и побуждали его последовать их примеру. Он пропал бы, если бы его не выручил один честный служитель церкви, который пришел по какому-то делу и странноприемный дом и нашел средство побеседовать с ним наедине. Служитель церкви был беден и во всех нуждался; но угнетенный в нем нуждался еще более; и вот он решился помочь его бегству, рискуя нажать себе опасного врага<sup>61</sup>.

Вырвавшись от порока, чтобы вернуться к нищете, молодой человек безуспешно боролся со своею судьбою; один момент он думал, что одолел ее. При первом же луче счастья беды и покровитель были забыты. Скоро он был наказан за эту неблагодарность; все его надежды исчезли, и, как ни благоприятствовала ему юность, его романтические идеи портили все. Не имея ни достаточных талантов, ни ловкости, чтобы пробить себе легкий путь, не умея быть ни человеком умеренным, ни бездельником, он имел притязание на такую массу вещей, что не сумел

ничего достигнуть. Впав в прежнюю нужду, не имея ни хлеба, ни убежища, готовый умереть с голоду, он вспомнил о своем благодетеле.

Он вернулся, нашел его и был им хорошо принят: вид его напомнил церковнослужителю то доброе дело, которое он сделал; подобное воспоминание всегда радует душу. Человек этот был от природы гуманен, сострадателен; по своим горестям он чувствовал горести другого, и благосостояние не сделало черствым его сердца; наконец, уроки мудрости и просвещенная добродетель укрепили еще более его добрый нрав. Он встречает молодого человека, ищет ему ночлег, рекомендует его, разделяет с ним все необходимое, которого едва хватило на двоих. Он делает для него еще больше: наставляет его, утешает, научает трудному искусству терпеливо переносить злополучие. Люди с предрассудками! ожидали ли вы всего этого от священника, и притом в Италии?

Этот честный церковнослужитель был бедным савойским викарием, который вследствие одного юношеского приключения не поладил со своим епископом и перебрался через горы искать средств, которых не хватало на родине. Он был не лишен ума и образования и, при своей привлекательной наружности, нашел покровителей, которые поместили его к одному министру воспитателем его сына. Он бедность предпочитал зависимости и не знал, как нужно вести себя у вельмож. Недолго он оставался у этого последнего; покидая его, он не потерял уважения к себе и так как жил благоразумно и всем внушал любовь к себе, то льстил себя надеждою снова войти в милость у епископа и получить какой-нибудь небольшой приход в горах, чтобы провести там остаток дней своих. Таков был крайний предел его честолюбия.

Природная склонность заинтересовала его (юным беглецом) и заставила его старательно испытать последнего. Он увидел, что бедствия уже истомили его сердце, что позор и презрение сразили его мужество, что гордость его, превратившаяся в горькую досаду, заставляла его в людской несправедливости и жестокости видеть лишь природный порок и добродетель считать химерой. Юноша увидел, что религия служит лишь маской для личного интереса, а церковная обрядность — прикрытием для лицемерия; он увидел, что, при этой тонкости пустых словопрений, рай и ад оказываются возмездием за простую игру словами, что первоначальная высокая идея Божества искажена фантастичными представлениями людей, и, найдя, что для веры в Бога нужно отказаться от составленного о Нем суждения, с одинаковым пренебрежением стал относиться не только к нашим смешным мечтаниям, но и к предмету, к которому мы применяем их. Ничего не зная о том, что есть, не имея представления о происхождении вещей, он погрузился в свое тупое невежество с глубоким презрением ко всем тем, которые думали, что знают об этом больше его.

Забвение всякой религии приводит к забвению человеческих обязанностей. Это падение уже более чем наполовину совершилось в сердце вольнодумца. Впрочем, он не был испорченным от

рождения; но неверие, нищета, заглушая в нем мало-помалу все природное, быстро влекли его к гибели и развивали в нем нравы бездельника и мораль атеиста.

Зло, почти неизбежное, не дошло, однако, до конца. Молодой человек имел познания, и воспитание его не было заброшено. Он был в том счастливом возрасте, когда брожение крови начинает согревать душу, еще не подчиняя ее яростным порывам чувственности. Душа его сохраняла еще всю свою упругость. Врожденная стыдливость, робость характера заменяли скромность и продлили для него ту эпоху, в которой вы с такою заботливостью стараетесь удержать вашего воспитанника. Ненавистный пример грубой испорченности и неприкрытого очарованием порока вместо того, чтобы разжечь его воображение, потушил его. Долго вместо добродетели сохранению его невинности содействовало отвращение; чтобы увлечь его, для этого нужны были более заманчивые прелести.

Церковнослужитель видел опасность и средства предотвратить ее. Трудности его не испугали: он находил удовольствие в своей работе и решил закончить ее и вернуть в лоно добродетели жертву, вырванную у порока. Чтобы выполнить свой план, он издалека принялся за дело: величие мотива одушевляло его мужество и внушало ему средства, достойные его рвения. Каков бы ни был успех, он был уверен, что время у него не пропадет даром. Когда желают одного лишь — именно хорошо сделать дело, то всегда успевают.

И прежде всего он постарался приобрести доверие своего прозелита: он не продавал ему своих благодеяний, не надоедал ему, не читал поучений, а всегда старался примениться к нему и стать малым, чтобы уравниваться с ним. Это было, мне кажется, довольно трогательное зрелище; человек серьезный становился товарищем повесы, добродетель применялась к тону распущенности, чтобы вернее восторжествовать над нею. Когда вертопрах открывался перед ним в своих безумиях и изливал ему свое сердце, священник слушал, ободрял его; не одобряя зла, он интересовался всем; ни разу строгое осуждение не останавливало болтовни юноши и сердечных его излиятий, удовольствие высказаться увеличивалось тем удовольствием, которое он видел в своем слушателе. Таким-то образом он дал полное признание, сам того не замечая.

Изучив его чувствования и характер, священник ясно увидел, что, не будучи невеждой для своих лет, он забыл все то, что следовало бы знать, и что позор, до которого довела его судьба, заглушал в нем всякое истинное понимание добра и зла. Бывает такая степень огрубения, что душа лишается жизни и внутренний голос перестает быть слышимым для того, кто думает лишь о своем питании. Чтобы избавить юного беднягу от нравственной смерти, которая была столь близка, он прежде всего старался пробудить в нем самолюбие и уважение к самому себе; он показывал перед ним более счастливое будущее в случае, если он хорошо употребит свои таланты; он разжигал в его сердце благородный пыл повествованием о прекрасных деяниях других людей; возбуждая удивление к совершившим эти деяния, он вызывал в нем желание совершить подобные же. Чтобы незаметно отвлечь его от праздной и бродячей жизни, он обязывал его составлять извлечения из

избранных книг п, делая вид, что ему нужны эти извлечения, питал к нему благородное чувство признательности. Он наставлял его окольным путем, с помощью этих книг и помогал ему снова составить настолько хорошее мнение о самом себе, чтобы не считать себя существом, не пригодным ни на что доброе, и не делать себя презренным в своих собственных глазах.

Одна мелочь даст понятие о том, какое искусство употреблял этот благодетельный человек, чтобы незаметно поднять из бездны порока сердце своего ученика, не подавая ему вида, что он заботится о его наставлении. Церковнослужитель отличался такою общепризнанною честностью и таким умением распознавать людей, что многие лица предпочитали передавать свою милостыню через его руки, а не через руки богатых городских священников. Раз, когда ему дали некоторую сумму денег для раздачи бедным, молодой человек имел низость в качестве бедняка попросить себе эти деньги. «Нет,— сказал тот,— мы братья; вы принадлежите мне, а я должен из этого взноса не брать ни гроша для своего употребления». Затем он дал ему из своих собственных денег, сколько тот просил. Подобного рода уроки редко остаются без следа в сердцах молодых людей, не совсем еще испорченных.

Я перестаю говорить в третьем лице — это забота совершенно излишняя; ведь вы отлично понимаете, любезный согражданин, что этот несчастный беглец — я сам: думаю, что я настолько уже далек от своего юношеского распутства, что мне нечего бояться признания в нем, и рука, меня извлекающая, вполне заслуживает того, чтобы я ценою некоторого своего стыда хоть несколько почтил ее благодеяния.

Дольше всего меня поражала в частной жизни моего достойного учителя эта добродетель без лицемерия, эта человечность без человеческих слабостей, постоянная прямота и простота речи и поведение, всегда согласное с этими речами. Я не видал, чтобы он беспокоился, ходят ли к вечерне те люди, которым он помогал, часто ли они исповедуются, говеют ли в назначенные дни, едят ли постное, или чтобы налагал на них другие подобные условия, без которых от ханжей, хоть умирай от нищеты, не дождешься никакой помощи.

Ободренный его замечаниями, вместо того чтобы выставлять ему на глаза притворное рвение новообращенного, я не слишком скрывал от него свой образ мыслей и не видел, чтобы он приходил от него в особенное негодование. Иной раз я мог бы сказать себе: «Мое равнодушие к принятому мною вероисповеданию он терпит потому, что видит во мне такое же равнодушие и к той вере, в которой я родился; он знает, что мое пренебрежение не есть дело партии. Но что я должен был думать, когда он при мне иной раз одобрял догматы, противоположные догматам римской церкви, и, по-видимому, не очень уважительно относился ко всем ее обрядам? Я принял бы его за переодетого протестанта, если бы видел в нем меньше усердия к тем самым обрядам, которые он, казалось, довольно мало почитал; но, зная, что он и без свидетелей исполняет свои священнические обязанности так же пунктуально, как и на глазах публики, я не умел разрешить этих противоречий. За исключением того недостатка, который навлек на него некогда немилость

епископа и от которого он не совсем еще исправился, жизнь его была образцовою, нравы безупречными, речи благопристойными и рассудительными. Живя с ним в самой задушевной дружбе, я научался со дня на день все более и более его уважать; и так как все эти добрые свойства совершенно пленили мое сердце, то я с беспокойным любопытством ждал момента, когда узнаю, на каком принципе он основывал единообразие столь необычайной жизни».

Момент этот пришел не скоро. Прежде чем открыться перед своим учеником, он постарался вызвать к росту те семена разума и доброты, которые сеял в его душе. Труднее было искоренить во мне горделивую мизантропию, известного рода раздражение против богачей и счастливых мира, как будто они были таковыми за мой счет, как будто их мнимое счастье захватило и долю моего. Безумное тщеславие юности, которое противится унижению, питало во мне слишком большую склонность к этому гневному настроению, а самолюбие, которое старался пробудить во мне ментор мой, доводя меня до гордости, делало людей еще более низкими в моих глазах и к ненависти против них прибавляло презрение.

Не вступая в прямую борьбу с этою гордостью, он не давал ей обратиться в жестокость душевную и, не лишая меня уважения к самому себе, старался сделать его менее презрительным по отношению к ближнему. Отодвигая от меня пустую внешность и показывая мне действительное зло, ею скрываемое, он учил меня оплакивать заблуждения мне подобных, сочувствовать их бедствиям и больше жалеть их, чем ненавидеть. Движимый состраданием к человеческим слабостям, вследствие глубокого сознания своих собственных, он всюду видел в людях жертву пороков, их собственных и чужих; он видел, что бедные стонут под игом богатых, а богачи под игом предрассудков. «Поверьте мне, — говорил он, — мечтания наши не только не скрывают наших бедствий, но увеличивают их, придавая цену тому, что не имеет цены, и делая нас чувствительными к тысяче ложных лишений, которых мы не чувствовали бы без них. Душевный мир состоит в презрении ко всему, что может его нарушить: больше всего дорожит жизнью тот, кто меньше всего умеет ею наслаждаться, и, кто больше всего алчет счастья, тот всегда самый несчастный.

«Ах, какие печальные картины! — воскликнул я с горечью. — Если от всего нужно отказаться, то для чего же мы родились? Если нужно презирать самое счастье, то кто же, наконец, умеет быть счастливым?» — «Да вот я», — отвечал однажды священник — тоном, который меня поразил. — «Счастливый — вы! Такой обездоленный, такой бедняк, изгнанный, преследуемый, — и вы счастливый! Как это могли вы стать счастливым?» — «Дитя мое, — возразил он, — я охотно расскажу вам это».

Затем он дал лишь понять, что, выслушав мои признания, он хотел поверить мне и свои тайны. «Я изолью перед вами, — говорил он, обнимая меня, — все чувствования моего сердца. Вы увидите меня, если не таким, каков я на деле, то по крайней мере таким, каким я вижу самого себя. Когда вы выслушаете мое полное исповедание веры, когда вы хорошо узнаете состояние моей

души, вы будете знать, почему я считаю себя счастливым и что вам следует делать, если вы разделяете мой образ мыслей, для того, чтобы быть таким же счастливым. Но этих признаний в минуту не сделаешь; нужно время, чтобы изложить вам все мои мысли о жребии человека и об истинной цене жизни; выберем час и место, удобные для того, чтобы нам мирно предаться этой беседе».

Я выказал полную готовность слушать его. Свидание было назначено не позже, как на другой день утром. Он повел меня за город, на высокий холм, внизу которого протекала По; ее течение виднелось из плодоносных берегов, омываемых ею; вдали неизмеримая цепь Альп увенчивала пейзаж; лучи восходящего солнца озаряли уже равнины и, бросая на поля длинные тени деревьев, холмов, домов, наполняли тысячью переливов света прекраснейшую картину, какая только поражала человеческий глаз. Можно было бы сказать, что природа выставляла напоказ нам все свое великолепие, чтобы дать нам предмет для беседы, и вот тут-то, насмотревшись молча на эти предметы, человек этот повел такую речь:

### **Исповедание веры савойского викария**

«Дитя мое, не ожидайте от меня ни ученых речей, ни глубокомысленных рассуждений, я не великий философ и мало забочусь о том, чтобы быть им. Но у меня есть здравый смысл, и я люблю истину. Я не хочу ни спорить с вами, ни даже пытаться убедить вас; для меня достаточно изложить вам, что я думаю в простоте своего сердца. Следуйте в продолжение моей речи внушению вашего сердца — вот все, о чем я прошу вас. Если" я ошибаюсь, то искренно; и этого достаточно, чтобы моя ошибка не вменялась мне в преступление; если вы тоже ошибаетесь, в этом не будет большой беды. Если же я думаю правильно, если у обоих нас есть разум и в наших интересах слушать его, то почему же вам не думать так же, как я?

Я родился бедняком, крестьянином, предназначенным по своему положению к тому, чтобы обрабатывать землю; почли за лучшее, чтобы я научился зарабатывать хлеб ремеслом священника, и нашли средство обучить меня. Конечно, и родители мои и я искали в этом не того, что хорошо, истинно, полезно, а лишь то, что нужно знать для того, чтобы быть посвященным. Я учился тому, чему хотели меня обучить; говорил то, что заставляли повторять; дал обязательство, как велели дать,— и сделался священником. Но я скоро почувствовал, что, обязываясь не быть мужчиною, я обещал больше, чем мог исполнить.

Нам говорят, что совесть — дело предрассудков; меж тем я по личному опыту знаю, что она упорно следует велению природы, наперекор всем людским законам. Как бы нам ни запрещали то или иное, совесть всегда слабо упрекает нас зато, что позволяет нам хорошо упорядоченная природа, а тем более за то, что она предписывает нам. Добрый юноша! она ничего еще не говорила вашим чувствам: живите дольше в том счастливом состоянии, когда ее голосом бывает голос невинности. Помните, что гораздо больше грешат против природы, когда предупреждают

ее, нежели когда борются с нею; чтобы знать, когда не преступно уступить ей, для этого нужно прежде научиться оказывать ей сопротивление.

С самой юности я почитал брак как первое и священнейшее установление природы. Отнявши у себя право на брачную жизнь, я решил ни в каком случае не осквернять этого права, так как, несмотря на мое школьное учение, я, ведя всегда однообразную и простую жизнь, сохранил в своем уме всю ясность первоначального света; правила мира нисколько не затемнили его, а бедность удаляла меня от искушений, подсказывающих софизмы порока.

Это именно решение меня и погубило; вследствие моего уважения к брачному ложу другого проступки мои остались без прикрытия. Пришлось искупить скандал: арестованный, отлученный, изгнанный, я гораздо долее был жертвою угрызений своей совести, нежели жертвою неводержанности своей, и имел возможность понять по упрекам, которые посыпались вслед за немилостью, что часто, стоит лишь отягчить свою вину,— и избежишь наказания.

Немного нужно подобных опытов, чтобы мыслящий ум пошел и дальше. Видя, как мои понятия о справедливости, честности и всех человеческих обязанностях опрокидываются вверх дном моими грустными наблюдениями, я каждый день терял какое-нибудь из своих прежних убеждений; а так как оставшихся у меня недостаточно было для составления из них самостоятельного целого, то я почувствовал, что ясность принципов мало-помалу затемняется в моем уме; я дошел наконец до того, что не знал больше, что думать, и очутился в том же положении, в каком вы теперь, с тою разницей, что мое неверие, как поздний плод более зрелого возраста, возникло с большими муками и труднее должно было поддаваться опровержению.

Я был в том состоянии неуверенности и сомнения, которым Декарт обуславливает поиск истины. Состояние это не может быть продолжительным; оно беспокойно и тягостно, и только интересы порока или леность души заставляют нас оставаться в нем. У меня сердце не было настолько испорчено, чтобы находить в нем удовольствие; а привычка к размышлению лучше всего сохраняется тогда, когда человек более доволен собою, чем своей судьбой.

И вот я размышлял о печальной участи смертных, носящихся по этому морю людских мнений без руля и компаса, по воле своих дурных страстей, без всякого иного руководителя, кроме неопытного кормчего, который не узнает дороги и не знает, откуда и куда плывет. Я говорил себе: «Я люблю истину, ищу ее и не могу разыскать; пусть мне укажут ее, и я буду крепко держаться ее: почему же ей нужно скрываться от рвущегося к ней сердца, созданного для поклонения ей?»

Хотя я часто испытывал большие бедствия, но никогда жизнь моя не была такой постоянно неприятной, как в это тревожное и тоскливое время, когда беспрестанно, переходя от сомнений к сомнениям, из своих долгих размышлений о причине моего бытия и о законе моего нравственного поведения я выносил одну лишь неуверенность, неясность и противоречия.

Я не могу понять, каким образом можно быть систематичным и искренним скептиком. Такие философы или не существуют, или они самые несчастные из людей. Сомнение в вещах, которые



надлежит знать нам, есть состояние, слишком насильственное для человеческого ума; он не может долго оставаться в нем и, помимо воли своей, так или иначе разрешает свои вопросы; он лучше хочет ошибаться, нежели ничему не верить.

Затруднение мое увеличивалось и тем обстоятельством, что, раз я принадлежу по рождению к церкви, которая разрешила все вопросы, которая не допускает никакого сомнения, то отвержение одного пункта заставляло меня отвергать и все остальное; невозможность принимать столь многие нелепые решения отклоняла меня и от тех, которые не были таковыми; говоря: «верь всему», мне не давали возможности верить чему бы то ни было, и я не знал, на чем остановиться.

Я обратился к философам, рылся в их книгах, разобрал различные их мнения; и я нашел, что все они горды, решительны в суждениях, догматичны, даже в своем мнимом скептицизме, всезнающи, но доказать ничего не могут и только издеваются друг над другом; и эта общая всем черта показалась мне единственною, в которой они все правы. Торжествующие, когда нападают, они бессильны при защите. Если вы станете взвешивать их доводы, то окажется, что они служат только для разрушения; если вы сочтете направление, окажется, что у каждого — свое; соглашаются они только для того, чтобы спорить; слушать их для меня не значило выйти из состояния неуверенности.

Я понял, что бессилие ума человеческого есть первая причина этого удивительного разнообразия мнений, а гордость — вторая причина. Мы не имеем мерки для этого необъятного механизма Вселенной; не можем вычислить его отношений; не знаем ни первых его законов, ни конечной причины; не знаем самих себя; не знакомы ни с природой своей, ни с нашим жизненным началом; едва ли знаем, простое существо человек или сложное: непроницаемые тайны окружают нас со всех сторон; они вне области наших чувств; мы думаем, что у нас достаточно разума для проникновения в них, а меж тем у нас только воображение. Каждый пролагает себе через этот воображаемый мир дорогу, которую считает хорошей, и никто не может знать, ведет ли его дорога к цели. Меж тем мы желаем во все проникнуть, все узнать. Одного только мы не умеем: не умеем оставаться в неведении относительно того, что нельзя знать. Мы предпочитаем лучше решать наугад и верить в то, чего нет, чем сознаться, что всякий из нас способен видеть лишь то, что есть. Будучи ничтожною частью великого целого, границы которого от нас ускользают и которое Творец отдал в добычу нашим безумным спорам, мы настолько тщеславны, что желаем определить, что такое это целое само по себе и что такое по отношению к нему.

Если бы философы были в состоянии открыть истину, кто из них дорожил бы ею? Каждый хорошо знает, что его система лучше обоснована, чем другие; но он защищает ее, потому что она — его система. Нет ни одного между ними такого, который, дойдя до познания истины и лжи, предпочел бы найденную им самим ложь истине, открытой другим. Где тот философ, который ради своей славы охотно не обманул бы человеческий род? Где тот, который в глубине своего сердца ставит себе иную цель, кроме желания отличиться? Лишь бы возвышаться над общим

уровнем, лишь бы затмить блеск своих соперников — чего же больше ему требовать? Самое важное — это думать иначе, чем другие. Между верующими он — атеист, среди атеистов был бы верующим.

Из этих размышлений я прежде всего извлек ту пользу, что научился ограничивать свои изыскания тем, что непосредственно интересовало меня, оставаясь в глубоком неведении относительно всего остального и беспокоясь, даже при своем сомнении, лишь о тех вещах, которые мне важно было знать.

Я понял, кроме того, что философы, вместо того чтобы избавить меня от моих бесполезных сомнений, только умножали те, которые мучат меня, и не разрешат ни одного из них. Я взял поэтому иного руководителя и сказал себе: «Обратимся к внутреннему свету: он меньше запутает меня, чем те, или, по крайней мере, мое заблуждение будет моим собственным, и я, следуя за своими собственными иллюзиями, меньше принесу себе вреда, чем путаясь в их лжи».

Тогда, перебирая в уме различные мнения, поочередно увлекавшие меня с самого детства моего, я увидел, что хотя ни одно из них не было настолько очевидным, чтобы породить убеждение, но все они были в различной степени правдоподобны и что внутреннее чувство принимало или отвергало их не в одинаковой мере. После этого первого наблюдения, сопоставляя между собою, без предвзятых мыслей, все эти различные идеи, я понял, что первая и самая общая из них была вместе с тем самою простою и самою разумною и что стоит только предложить ее последнею, как она тотчас же заслужит всеобщее одобрение. Представьте себе всех ваших философов, древних и современных, предварительно исчерпав все их странные системы, трактующие о силе, случайности, предопределении, необходимости, атомах, одушевленном мире, живой материи, всякого вида материализме, и после всех них знаменитого Кларка<sup>62</sup>, который освещает мир, возвещая, наконец, о Существовании существ у Подателя благ. С каким всеобщим удивлением, с каким единодушным восторгом была бы принята эта новая система, столь великая, столь утешительная и возвышенная, столь способная поднять душу, дать основу добродетели и в то же время поразительная, лучезарная, — простая система, в которой непостижимых для человеческого ума вещей меньше, мне кажется, числа абсурдов, встречаемых во всякой другой системе! Я говорил себе: «Неразрешимые возражения вызываются одинаково всеми системами, потому что ум человеческий слишком ограничен, чтобы разрешить их; значит, возражения эти опровергают не одну какую-нибудь систему по преимуществу. Но вот вопрос: какая разница между прямыми доказательствами? Эта единственная система, которая объясняет все, не должна ли быть предпочтена, если непонятного в ней не больше, чем в остальных?»

Итак, нося в душе вместо всякой философии любовь к истине и руководясь вместо всякой методы легким и простым правилом, избавляющим меня от бесплодной тонкости аргументов, я принимаюсь за исследование по этому правилу занимающих меня познаний, решив принять за очевидные все те, с которыми не могу не согласиться в глубине своего сердца, за истинные все те,

которые покажутся мне имеющими необходимую связь с первыми, все же прочие оставить в области неизвестного, не отвергая и не принимая их, не мучась над выяснением их, если они не ведут ни к чему практически полезному.

Но кто я? какое имею право судить о вещах и чем определяются мои суждения? Если они вызваны и вынуждены впечатлениями, полученными мною, то я напрасно тружусь над этими изысканиями: они не произойдут или произойдут сами по себе, без всякого с моей стороны вмешательства, с целью направлять их. Нужно, значит, сначала обратить свои взоры на себя, чтобы ознакомиться с орудием, которым хочу пользоваться, и знать, в какой мере при пользовании им могу на него полагаться.

Я существую и имею чувства, посредством которых получаю впечатления. Вот первая истина, которая поражает меня и с которой я вынужден согласиться. Есть у меня собственное чувство своего бытия или я чувствую последнее только через ощущения? Вот мое первое сомнение, которое, при наличных данных, невозможно мне разрешить. Ибо, получая непрерывные ощущения, непосредственно или через память, как могу я знать, не есть ли это сознание моего «я» нечто отдельное от этих самых ощущений и может ли оно быть независимым от них?

Мои ощущения происходят во мне, потому что они дают чувствовать мое существование; но причина их чужда мне, потому что они являются во мне независимо от меня, и не в моей власти ни вызвать их, ни уничтожить. Я, таким образом, ясно понимаю, что ощущение мое, которое во мне, и причина или предмет его, который вне меня, не одно и то же.

Следовательно, не только я существую, но существуют и другие существа, т. е. предметы моих ощущений. И если бы эти предметы были лишь идеями, все-таки несомненно, что эти идеи не я.

Все, что я чувствую вне себя и что действует на мои чувства, я называю материей; а все доли материи, которые я постигаю соединенными в отдельные существа, называю телами. Таким образом, все споры идеалистов и материалистов для меня не имеют никакого значения; их разграничения между внешностью и реальностью тел — чистые химеры.

И вот я совершенно так же уверен в существовании Вселенной, как в своем собственном. Затем я размышляю о предметах моих ощущений и, находя в себе способность сравнивать их, чувствую себя одаренным активной силой, о наличности которой раньше не знал.

Замечать — значит чувствовать; сравнивать — значит судить; судить и чувствовать не одно и то же. Через ощущение предметы представляются мне отдельными, изолированными, такими, каковы они в природе; через сравнение я их сдвигаю, перемещаю, так сказать, кладу один на другой, чтобы определить их различие или сходство и вообще все их отношения. Отличительная способность активного или разумного существа есть, по-моему, способность придавать смысл этому слову «есть». В существе, только чувственно воспринимающем, я напрасно искал бы этой разумной силы, которая налагает предмет на предмет и затем решает; этой силы я не найду в его природе. Это пассивное существо будет ощущать каждый предмет отдельно или даже ощущать

совокупный предмет, составленный из двух, но, не обладая никакой силой, чтобы сложить их, никогда не будет сравнивать и не будет иметь о них суждения.

Видеть два предмета сразу не значит видеть их отношения или судить об их различиях; замечать несколько предметов, одни вне других, не значит считать их. Я могу иметь в один и тот же момент представления о большой палке и о малой палке, не сравнивая их, не составляя суждения, что одна палка меньше другой, так же как могу видеть сразу всю мою руку, не считая пальцев на ней\*. Эти сравнительные идеи о б о л ь ш е м, меньшем, так же как числовые идеи об о д н о м, д в у х и т. д., не суть, конечно, ощущения, хотя ум мой и производит эти идеи только благодаря ощущениям.

\* Кондамин<sup>63</sup> рассказывает в своих «Путешествиях» о народе, который умеет считать только до трех. В среде этого народа люди, имея руки, постоянно видели свои пальцы и все-таки не умеют считать до пяти.

Нам говорят, что чувствующее существо различает ощущения вследствие несходств этих самых ощущений; это требует пояснения. Когда ощущения различны, чувствующее существо различает их по этим различиям, когда же они сходны, оно различает их потому, что ощущает их одни вне других. А иначе как оно различало бы в одновременном ощущении два одинаковых предмета? Оно неизбежно смешало бы эти два предмета и приняло бы их за один и тот же, особенно если держаться той системы, которая утверждает, что сами представления о пространстве не имеют протяжения.

Когда два ощущения, подлежащие сравнению, восприняты, то впечатление произошло, каждый предмет воспринят чувством, оба предмета восприняты, но вследствие этого отношение их все-таки не стало еще воспринятым. Если бы суждение об этом отношении было лишь ощущением и исходило бы ко мне единственно от самого предмета, то суждения мои никогда меня не обманывали бы, потому что я всегда действительно чувствую то, что чувствую.

Почему же я обманываюсь насчет отношения между этими двумя палками, особенно если они лежат не Параллельно? Почему я говорю, например, что маленькая палка равна трети большой, тогда как она равна только четверти? Почему изображение, т. е. ощущение, не соответствует своей модели, т. е. предмету? Потому что я активен, когда сужу, потому что процесс сравнения здесь ошибочен, потому что разумение мое, судящее об отношениях, примешивает свои заблуждения к истине ощущений, указывающих лишь на предметы.

Прибавьте сюда соображение, которое, я уверен, поразит вас, если вы вдумаетесь в него. Ведь если бы мы оставались совершенно пассивными при пользовании своими чувствами, то между нами не было бы никакого общения, и нам невозможно было бы узнать, что тело, которого мы касаемся, и предмет, который видим,— одно и то же. Тогда или вне себя мы ничего не видали бы, или для нас существовало бы пять чувственно постигаемых сущностей, подметить тождество которых мы не имели бы никакого средства.

Пусть дадут то или иное название этой силе моего ума, сближающей и сравнивающей мои ощущения; пусть называют ее вниманием, размышлением, соображением или как хотят: все-таки остается истинным, что она — во мне, а не в вещах, что я один порождаю ее, хотя порождаю лишь благодаря впечатлению, производимому на меня предметами. Не будучи властным чувствовать или не чувствовать, я властен более или менее разбираться в том, что чувствую.

Значит, я не просто существо чувствующее и пассивное, а существо активное и разумное; и что бы там ни говорила философия, я смело буду претендовать на честь мышления. Я знаю только, что истина в вещах, а не в моем уме, судящем о вещах, и что, чем менее я влагаю своего в мои суждения о них, тем более я уверен, что приближаюсь к истине. Таким образом, мое правило доверять больше чувствованию, чем разуму, подтверждается самим разумом.

Удостоверившись, так сказать, в самом себе, я начинаю смотреть вне себя — и с некоторого рода трепетом вижу себя брошенным, затерянным в этой обширной Вселенной и как бы потонувшим в неизмеримости существ, совершенно не зная, что они такое по отношению друг к другу или по отношению ко мне. Я изучаю их, наблюдаю, и первый предмет, представляющийся мне для сравнения с ними, — это я сам.

Все, что я постигаю при помощи чувства, есть материя, и все существенные свойства материи я вывожу из чувственно воспринимаемых качеств, которые дают мне возможность замечать ее и неотделимы от нее. Я вижу ее то в движении, то в покое; отсюда я вывожу заключение, что ни покой, ни движение не существенны для нее; но движение, будучи действием, есть результат причины, так что покой есть лишь отсутствие ее. Если, следовательно, ничто не действует на материю, то она не движется, и уже в силу того, что она индифферентна к покою и движению, естественное для нее состояние — покой\*.

\* Покой этот, если хотите, лишь относительный, по так как в движении мы наблюдаем большее или меньшее, то мы ясно постигаем один из двух крайних пределов, именно покой; мы так отчетливо его воспринимаем, что относительный покой склонны даже принять за абсолютный. А нельзя утверждать, что движение есть сущность материи, если ее можно постигать в покое.

Я замечаю в телах два рода движения: движение сообщенное и движение самопроизвольное или добровольное. При первом двигательная причина чужда движимому телу, а при втором она в нем самом. Отсюда я не стану заключать, что движение часов, например, произвольное; ибо, если бы ничто постороннее не действовало на пружину, то она не стремилась бы выпрямиться и не тянула бы сцепления колес. На том же основании я не стану приписывать самопроизвольность жидким телам, или даже огню, который делает тела текучими\*.

Вы спросите меня, произвольны ли движения животных; я отвечу вам, что ничего об этом не знаю, но что аналогия говорит за утвердительный ответ. Вы спросите еще, как же я знаю, что существуют движения самопроизвольные: я вам отвечу, что я потому знаю, что чувствую это. Я хочу двинуть свою руку и двигаю, так что движение это не имеет иной непосредственной

причины, кроме моей воли. Напрасно стали бы умствовать с целью уничтожить во мне это чувство; оно сильнее всякой очевидности; это все равно было бы, что доказать мне, что я не существую.

Если бы не было никакой самопроизвольности ни в действиях людей, ни в чем бы то ни было из того, что совершается на земле, то еще труднее было бы представить себе первую причину всякого движения. Что касается меня, я чувствую себя совершенно убежденным в том, что естественное состояние материи — быть в покое и что сама по себе она не имеет никакой силы действовать, так что, видя тело в движении, тотчас же решаю, что это тело одушевленное или что движение это ему сообщено. Мой ум совершенно отказывается допустить идею о неорганизованной материи, которая сама по себе двигалась бы или производила бы какое-нибудь действие.

Однако же эта видимая Вселенная есть материя — материя рассеянная и мертвая<sup>\*\*</sup>, не имеющая в своем целом ни единства, ни организации, ни ощущения связи частей, присущего одушевленному телу, так как несомненно, что мы, будучи частями ее, совершенно не чувствуем себя в целом. Эта самая Вселенная находится в движении, и в ее движениях, определенных, однообразных, подчиненных постоянным законам, нет ничего общего с той свободой, которая обнаруживается в произвольных движениях человека и животных. Мир, значит, не есть огромное животное, которое движется само по себе; есть, значит, какая-то посторонняя для него причина его движений, которой я не замечаю; но внутреннее убеждение делает эту причину настолько для меня осязательной, что, раз я вижу движение солнца, я непременно представляю себе и силу, его толкающую, или, если земля вращается, то я чувствую и руку, ее вращающую.

\* Химики смотрят на флогистон, или элемент огня, как на нечто рассеянное, недвижимое и устойчивое в сложных телах, часть которых он составляет, так что лишь посторонние причины освобождают его, воссоединяют, приводят в движение и превращают в огонь<sup>64</sup>.

\*\* Я употребил все усилия, чтобы понять, что такое живая молекула, и не мог добиться цели. Идея материи, чувствующей и не имеющей чувств, кажется мне непонятной и противоречивой. Чтобы усвоить или отвергнуть эту идею, нужно было бы прежде всего понять ее, а я, признаюсь, не имел этого счастья.

Если допустить всеобщие законы, прямого отношения которых к материи я не вижу, то что я этим выиграю? Раз законы эти не реальные существа, не субстанции, то, значит, они имеют какую-нибудь другую основу, мне неизвестную. Опыт и наблюдения познакомили нас с законами движения; но законы эти определяют результат, не указывая причин; они недостаточны для объяснения системы мира и хода Вселенной. Декарт из игральных костей строил небо и землю; но дать первый толчок этим костям или пустить в ход свою центробежную силу он мог лишь при помощи вращательного движения. Ньютон открыл закон тяготения; но одно тяготение скоро превратило бы Вселенную в неподвижную массу; к этому закону пришлось присоединить

метательную силу, чтобы заставить небесные тела описывать кривые. Пусть Декарт скажет нам, какой физический закон заставил вращаться его вихри; пусть Ньютон покажет нам руку, путившую планеты по касательной к их орбитам.

Первые причины движения не в материи; она получает движение и передает его, но не производит. Чем более я наблюдаю действие и противодействие сил природы, действующих друг на друга, тем более я убеждаюсь, что, переходя от действий к действиям, все-таки приходится восходить до какой-нибудь воли, как первой причины; ибо предполагать бесконечное восхождение причин значит совершенно не предполагать причины. Одним словом, всякое движение, не произведенное другим движением, может произойти только от самопроизвольного, самостоятельно акта, тела неодушевленные действуют лишь благодаря движению, а без воли нет настоящего действия. Вот мой первый принцип. Я верю, следовательно, что воля двигает Вселенную и одушевляет природу. Вот мой первый догмат или первый член моей веры.

Каким образом воля производит физическое и телесное действие? Я ничего не знаю об этом; но я испытываю на себе, что она его Действительно производит. Я хочу действовать — и действую; хочу двигать свое тело — и мое тело движется; но чтобы неодушевленное тело, находящееся в покое, само собою стало двигаться или производить движение, это непостижимо и беспримерно. Воля познается по своим действиям, а не по своей природе. Я знаю эту волю как двигательную причину; но понять, что такое материя, производящая движение, значило бы ясно представить себе следствие без причины т. е. не понять решительно ничего.

Постичь, каким образом воля моя приводит в движение мое тело, для меня так же невозможно, как понять, каким образом мои ощущения действуют на мою душу. Я не знаю даже, почему одна из этих тайн показалась более объяснимой, чем другая. Что касается меня, то, будь я пассивным существом, будь активным, способ соединения двух сущностей мне в том и другом случае представляется решительно непонятным. Очень странно, что эта самая непостижимость и бывает исходным пунктом для слияния двух сущностей в одну, как будто отправления столь различных природ при одном субстрате лучше объясняются, чем при двух.

Догмат, который я только что установил, правда, темен, но в нем все-таки есть смысл и нет ничего противоречащего разуму или наблюдению; а можно ли сказать это о материализме? Не ясно ли, что если движение было существенным свойством материи, то оно было бы неотделимым от нее, всегда было бы равномерным, всегда одним и тем же в каждой частице материи; оно было бы неотъемлемым, не могло бы ни увеличиваться, ни уменьшаться, и мы не могли бы даже представить материю в покое? Когда мне говорят, что движение не присуще ей, но необходимо в ней, то хотят ввести меня в обман игрою слов, которые легче было бы опровергнуть, если бы в них было несколько больше смысла. Что-нибудь одно: или движение материи исходит от нее же самой — и тогда оно присуще ей, или оно происходит от посторонней причины — и тогда оно лишь

настолько необходимо для материи, насколько действует на нее двигательная причина. Мы возвращаемся, значит, к первому затруднению.

Общие и абстрактные идеи бывают источником наибольших людских заблуждений; никогда жаргон метафизики не служил к открытию ни одной истины, он наполнил философию абсурдами, за которые бывает стыдно, если спрятать с них оболочку высокопарных слов. Скажите мне, друг мой, дают ли уму вашему какую-нибудь действительную идею, когда говорят вам о слепой силе, разлитой во всей природе. Думают сказать что-нибудь такими неопределенными словами, как: универсальная сила, необходимое **движение**, — и в сущности не говорят решительно ничего. Понятие о движении есть не что иное, как понятие о перемещении с места на место; не бывает движения без какого-либо направления; ибо индивидуальное существо не может сразу двигаться во все стороны. В какую же сторону необходимо движется материя? Вся ли материя в совокупности имеет однообразное движение, или каждый атом имеет свое особое движение? Сообразно с первой идеей целая Вселенная должна представлять твердую и неделимую массу; по второй идее она должна представлять лишь раздробленную и несвязную жидкость, при полной невозможности двум атомам когда-либо соединиться, В каком направлении будет происходить это общее движение всей материи? По прямой ли линии или кругообразно, вверх или вниз, направо или налево? Если каждая частица материи имеет свое особое направление, какие же будут причины всех этих направлений и всех этих различий? Если каждый атом или частица материи только и вращались бы вокруг своего собственного центра, то ничто никогда не сдвинулось бы со своего места и не существовало бы сообщаемого движения; и опять-таки нужно, чтобы это круговое движение направлялось в определенную сторону. Приписывать материи движение в отвлеченном смысле — значит произносить ничего не обозначающие слова; а приписывать ей определенное движение — значит предполагать причину, которая определяет его. Чем больше я предполагаю особых сил, тем больше у меня новых причин, требующих объяснения, — и все-таки я не нахожу никакого общего двигателя, их направляющего. Я не только не могу представить себе никакого порядка в случайном стечении элементов, но не могу даже представить себе и борьбу их, и хаос Вселенной мне более непонятен, чем ее гармония. Я понимаю, что механизм мира может быть непостижим для человеческого ума; но раз человек берется объяснить его, он должен говорить вещи, понятные людям.

Если движимая материя указывает мне на волю, то материя, движимая но известным законам, указывает мне на разумение, — это мой второй догмат. Действие, сравнение, выбор суть операций существа активного и мыслящего; значит, такое существо есть. Где же вы видите его существование? скажите мне. Не только в небесах, которые вращаются, в светиле, которое светит нам, не только во мне самом, но и в овце, которая пасется, в птице, которая летает, в падающем камне, в листке, который несетя по ветру.



Я сужу о мировом порядке, хотя и не знаю его цели, потому что, чтобы судить об этом порядке, для этого мне достаточно сравнивать части между собой, изучать их соединения и отношения, подмечать в них согласие. Я не знаю, для чего Вселенная существует; но я беспрестанно вижу, как она видоизменяется; я непрестанно замечаю внутреннее соотношение, в силу которого существа, ее составляющие, оказывают друг другу взаимную помощь. Я похож на человека, который в первый раз видит открытые часы и не перестает удивляться работе, хотя не знает употребления машины и не видал циферблата. «Я не знаю,— сказал бы он,— для чего пригодно целое; но я вижу, что здесь каждая штучка приноровлена к другим; в деталях работы я дивлюсь искусству работника и вполне уверен, что все эти колеса так согласно ходят ради какой-то общей цели, которой я не могу подметить».

Сопоставим частные цели, способы, всякого рода установленные отношения, затем прислушаемся к внутреннему чувству; какой здравый ум может отвергать его свидетельство? Чьим непредубежденным взорам видимый порядок Вселенной не возвещает о Высшем Разумении? Сколько нужно нагромоздить софизмов, для того чтобы не признавать гармонию существ и изумительное содействие каждой частицы сохранению других? Пусть сколько хотят говорят мне о комбинациях и шансах; что за польза вам доводить меня до молчания, если вы не можете довести меня до убеждения? и как вы отнимете у меня невольное чувство, которое, помимо моей воли, всегда опровергает вас? Если организованные тела, прежде чем принять постоянные формы, входили па тысячу ладов в случайные между собой комбинации, если сначала образовались желудки без ртов, ноги без голов, кисти рук без рук и всякого вида несовершенные органы, которые погибли вследствие того, что не могли сохранять себя, то почему же ни одной из этих недоделанных проб нет уже на наших глазах? почему природа предписала себе, наконец, законы, которым сначала не была подчинена? Я не должен изумляться, если действие происходит, раз это возможно; и пусть малая вероятность случая наверстана будет количеством проб — я на это соглашаюсь. Однако же, если бы мне сказали, что типографские буквы, брошенные на удачу, дали в результате Энеиду в полном порядке, я не сделал бы шага, чтобы проверить, правда ли это. «Вы забываете,— скажут мне,— о количестве проб».

Но сколько же нужно предположить этих метаний, чтобы сделать комбинацию вероятною? Что касается меня, то, видя здесь всего одну пробу, я могу, поставив бесконечность против одного, биться об заклад, что эта комбинация не есть результат случайности. Прибавьте сюда, что комбинации и выпавшие случаи дают всегда в результате нечто однородное с соединяемыми элементами, что организация и жизнь не могут получиться в результате от проб атомов, что химик, комбинируя разнородные тела, не может заставить их чувствовать и мыслить в его тигле\*.

\* Кто бы поверил, если бы не было доказательств, что человеческое сумасбродство могло дойти и до этого пункта? Амагт Лузитанский<sup>65</sup> уверял, что он видел маленького человечка, длиною с палец, заключенного в стакан и созданного с помощью алхимической науки Юлием Камиллом<sup>66</sup>, этим

вторым Прометеем. Парацельс<sup>67</sup> («О природе вещей») поучает, как производить этих маленьких людей, и утверждает, что пигмеи, фавны, сатиры и нимфы порождены были с помощью химии. И в самом деле, я не вижу, что отныне остается нам делать для установления возможности этих фактов, как не уверять, что органическая Материя не поддается жару огня и что молекулы ее могут сохранять жизнь и в калильной печи.

Я читал Ньевентита<sup>68</sup> с изумлением, и мне почти стыдно было за автора. Как могло этому человеку прийти в голову — составить книгу о чудесах природы, указывающих на мудрость Творца ее? Если бы книга была такого же огромной, как мир, и тогда она не исчерпала бы сюжета; а как скоро хотят вдаваться в подробности, самое великое чудо ускользает от внимания — я говорю о гармонии и согласии целого. Одно происхождение живых и организованных тел представляет уже пропасть для человеческого ума; непреодолимая преграда, которую природа поставила между видами, чтобы они не смешивались, с совершенною очевидностью выказывает ее намерения. Она не удовольствовалась установлением порядка, а приняла известные меры, чтобы ничто не могло его нарушать.

Нет во Вселенной существа, на которое нельзя было бы, с известной стороны, смотреть как на общий центр для всех других, вокруг которого они все сгруппированы, так что все взаимно являются целями и средствами одни для других. Ум путается и теряется в этой бесконечности отношений, из которых ни одно не запуталось и не потерялось в массе. Сколько нужно абсурдных предположений, чтобы вывести всю эту гармонию из слепого механизма материи, случайно приводимой в движение! Напрасно те, которые отрицают единство замысла, обнаруживающееся в отношениях всех частей этого великого целого, прикрывают свои нелепости абстракциями, координациями, общими принципами, всякими эмблематическими терминами: сколько бы они ни старались, я не могу постичь систему существ, подчиненных столь незыблемому порядку, без представления о разуме, устанавливающем этот порядок. Я не в силах верить, чтобы пассивная и мертвая материя могли произвести живые и чувствующие существа, чтобы слепая случайность могла произвести разумные существа, чтобы немнящее могло произвести существа, одаренные мышлением.

Итак, я верю, что мир управляется могущественною и мудрою волею; я это вижу или, скорее, чувствую это, и это мне важно знать. Но вечен ли этот мир или создан? едино ли начало вещей, или их два, или больше? какова природа их? Этого я не знаю — да и что за беда в этом незнании? По мере того как эти сведения станут для меня интересными, я буду стараться приобретать их; пока же я отказываюсь от праздных вопросов, которые могут волновать мое самолюбие, но бесполезны для моего поведения и превышают мой разум.

Не забывайте, что я не поучаю, а излагаю свой взгляд. Пусть материя будет вечной или созданной, пусть существует одно пассивное начало или пусть его вовсе не будет, остается все-таки несомненным, что целое едино и возвещает о едином разуме, ибо я не вижу ничего, что не

занимало бы определенного места в одной и той же системе и не содействовало бы одной и той же цели, т. е. сохранении) целого в установленном порядке. Это Существо, проявляющее волю и мощь, активное само по себе,— Существо, каково бы, наконец, ни было, которое двигает Вселенную и дает всему порядок, я называю Богом. С этим наименованием я связываю идеи разума, могущества, воли, исчисленные мною выше, и идею благодати, которая является необходимым их последствием; но я все-таки мало знаю Существо, которому приписал ее. Оно все так же скрывается от моих чувств и моего разума; чем больше я думаю о Нем, тем больше путаюсь. Я несомненно знаю, что оно существует, и существует само по себе; знаю, что мое существование подчинено его существованию и что все известные мне вещи находятся безусловно в том же положении. Я вижу Творца повсюду в Его творениях; я чувствую Его в себе, вижу Его всюду вокруг себя; но как скоро я хочу созерцать Его в нем самом, как только начинаю искать, где Он, кто Он, какая Его сущность, Он скрывается от меня, и мой смущенный ум ничего уже не видит.

Проникнутый мыслью о своем бессилии, я никогда не буду рассуждать о природе Бога, если только меня не принудят к этому мысли о Его отношениях ко мне. Рассуждения эти всегда дерзки; мудрый человек должен предаваться им лишь с трепетом и уверенностью, что он не создан для того, чтобы углубляться в них; ибо для Бога не столько оскорбительно, что о Нем не мыслят, сколько то, что о Нем мыслят дурно.

Открыв те из Его свойств, по которым я познаю Его существование, я возвращаюсь к себе и ищу, какое место я занимаю в порядке вещей, которым управляет Оно и который я могу изучать. По своим видовым признакам я бесспорно нахожусь на первом месте; ибо благодаря воле моей и орудиям, которые находятся в моем распоряжении для выполнения ее, у меня больше силы для того, чтобы действовать на все окружающие меня тела или чтобы подвергаться их действию или укрываться от него, смотря по желанию, чем у каждого из них для того, чтобы на меня действовать против моей воли, вследствие одного лишь физического импульса; а по разумению я один оказываюсь способным обозревать целое. Какое существо здесь, на земле, кроме человека, умеет наблюдать все другие, измерять, вычислять, предвидеть их движение, их действия и соединять, так сказать, чувство общего существования с чувством своего индивидуального существования? Что же тут смешного — думать, что все создано для меня, если я один умею все относить к себе?

Правда, значит, что человек — царь земли, им населяемой; ибо он не только укрощает животных, не только распоряжается стихиями, благодаря своей изобретательности, но даже один только на земле и оказывается умеющим распоряжаться ими; он даже присваивает себе через созерцание самые светила, к которым не может приблизиться. Пусть мне покажут другое на земле животное, которое умеет пользоваться огнем и заставит восхищаться солнцем. Как! Я могу наблюдать, познавать существа и их отношения, могу чувствовать, что такое порядок, красота,

добродетель, могу созерцать Вселенную, подняться до руки, ею управляющей, могу любить добро и творить его — и после этого мне равняться со зверями! Низкая душа! Это твоя мрачная философия делает тебя подобным зверям; или, скорее сказать, ты тщетно хочешь унижить себя: твой гений свидетельствует против твоих принципов, твое благожелательное сердце обличает твое же учение, и даже твое злоупотребление своими способностями, к твоей досаде, доказывает их превосходство.

Что же касается меня, то, не имея особой системы, которую приходилось бы защищать, я, человек простой и правдивый, не увлекаемый пристрастием к какой-нибудь партии, не добивающийся чести быть главою секты, довольный местом, куда поставил меня Бог,— я, после Бога, ничего не вижу лучше человеческого звания; и если бы мне предстояло выбрать себе место в ряду существ, что я мог бы выбрать лучшего, чем быть человеком?

Это размышление не столько вызывает гордость во мне, сколько трогает меня; ибо это мое положение не есть результат моего выбора и не было обусловлено заслугами существа, еще не существовавшего. Могу ли я, видя себя столь отличенным, не радоваться, что занимаю столь почетный пост, и не благословлять руку, поместившую меня здесь? Из первого же обращения к самому себе зарождается в моем сердце чувство признательности и благодарности к Творцу человеческого рода, а из этого чувства — первое чувство благоговения перед благодетельным Божеством. Я преклоняюсь перед высшим Всемогуществом, и меня умиляют Его благодеяния. Нет нужды учить меня этому поклонению: оно подсказано мне самой природой. Не является ли естественным следствием любви к себе почитание того, кто нам покровительствует, и любовь к тому, кто желает нам добра?

Но во что я обращаюсь, когда, чтобы узнать свое личное положение в человеческом роде, я затем рассматриваю различные ранги и людей, их занимающих? Какое зрелище! Куда девался порядок, который я наблюдал? Картина природы представляла мне лишь гармонию и соразмерность; картина рода людского представляет лишь смятение, беспорядок! Между стихиями царит согласие, а люди — в хаосе! Животные счастливы — один царь их несчастлив! О, мудрость, где твои законы? О, Провидение, так-то Ты правишь миром? благое Существо, где Твое могущество? Я вижу на земле зло.

Поверите ли, мой добрый друг, что из этих печальных размышлений и этих кажущихся противоречий образовались в моем уме возвышенные идеи о душе, которые доселе не вытекали из моих изысканий? Размышляя о природе человека, я думал, что открыл в ней два различных начала: одно возвышало его до изучения вечных истин, до любви к справедливости и нравственно прекрасному, до областей духовного мира, созерцание которого составляет усладу мудреца; другое возвращало его вниз, к самому себе, покоряло его власти чувств, страстям, которые являются их слугами, и противодействовало, с помощью их, всему тому, что внушало ему первое начало. Чувствуя себя увлеченным, сбитым с пути этими двумя противоположными движениями,

я говорил себе: «Нет, человек — не единое: я хочу — и я не хочу; я чувствую себя и рабом, и свободным; я вижу добро, люблю его — и делаю зло; я активен, когда слушаюсь разума, и пассивен, когда меня увлекают страсти: и самое горькое мученье для меня, когда я падаю, чувствовать, что я мог бы устоять».

Молодой человек! слушайте с доверием, я всегда буду чистосердечен. Если совесть — дело предрассудков, то я, без сомнения, не прав, и нет доказанной морали; но если человек от природы склонен предпочитать себя всему и если в то же время человеческому сердцу прирождено первое чувство справедливости, то пусть, кто считает человека существом простым, устранил эти противоречия, — и я после этого признаю одну только сущность.

Вы заметите, что под словом «сущность» я разумею вообще существо, одаренное каким-либо первообразным свойством, и отвлечение, полученное из всех частичных или второстепенных видоизменений. Если, значит, все известные нам первообразные свойства могут соединиться в одном и том же существе, то мы должны признать одну только сущность; если же иные свойства взаимно исключают друг друга, то является столько же различных сущностей, сколько может быть подобного рода исключений. Вы станете размышлять об этом; мне же, что бы там ни говорил Локк<sup>69</sup>, стоит лишь признать материю за нечто протяженное и делимое, и я уже уверен, что она не может мыслить, и когда какой-нибудь философ скажет мне, что деревья чувствуют и что скалы мыслят<sup>\*70</sup>, то, сколько бы он ни запутывал меня своими тонкими аргументами, я могу видеть в нем лишь недобросовестного софиста, который скорее соглашается наделить чувством камни, чем человека душою.

\* Мне кажется, что вместо того, чтобы утверждать, что скалы мыслят, новейшая философия открыла, наоборот, что люди не мыслят. Она признает в природе уже только существа чувствующие; между человеком и животным она находит только ту разницу, что человек есть существо чувствующее и имеющее ощущения, а камень — существо чувствующее, но не имеющее ощущений. Но если всякая материя действительно чувствует, то в чем же будет для меня заключаться чувствующая единица или индивидуальное «я»? Будет ли она в каждой молекуле материи или только в составных телах? Помещать ли мне эту единицу одинаково и в жидких, и в твердых телах, в элементах и толах сложных? В природе, говорят, есть лишь индивидуумы. Но каковы эти индивидуумы? Камень этот — индивидуум или скопление индивидуумов? Представляет ли он одно существо чувствующее или в нем столько их, сколько песчинок? Если каждый атом элемента есть существо чувствующее, то как понять это внутреннее общение, в силу которого один чувствует себя в другом, так что два их «я» сливаются в одно? Может быть, притяжение — такой закон природы, тайна которого нам неизвестна; но мы по крайней мере понимаем, что притяжение, действующее соответственно массам, не включает в себе ничего не совместимого с протяжением и делимостью. Неужели вы в таком же смысле понимаете и чувство? Чувственно воспринимаемые части имеют протяжение, но существо чувствующее невидимо и

едино; оно не разлагается на части; оно или бывает целым, или вовсе не бывает; следовательно, существо чувствующее не есть тело. Я не знаю, как понимают его наши материалисты, но мне кажется, что те же трудности, которые заставили их отвергать мысль, должны были бы принудить их отвергнуть и чувство, и я не вижу, почему, сделавши первый шаг, не сделать им и другого; и почему им труднее этот второй шаг? Раз они уверены, что они не мыслят, как же они осмеливаются утверждать, что они чувствуют?

Представим себе глухого, который отрицает существование звуков, потому что они никогда не поражали его слуха. Я кладу у него перед глазами струнный инструмент и заставляю последний с помощью другого скрытого инструмента звучать в унисон; глухой видит дрожание струны; я говорю ему: «Это производится звуком». «Вовсе нет,— отвечает он.— Причина дрожания струны заключается в ней самой: подобное дрожание есть качество, общее всем телам».— «Покажите же мне,— возражаю я,— это дрожание в других телах или, по крайней мере, причину его в этой струне».— «Я не могу,— отвечает глухой. — Но если я не понимаю, отчего дрожит эта струна, почему же я должен объяснить это вашими звуками, о которых я не имею ни малейшего понятия? Это, значат, непонятный факт объяснять еще более непонятной причиной. Или подайте мне ваши чувственно воспринимаемые звуки, или я стану утверждать, что их не существует».

Чем больше я размышляю о мышлении и о природе человеческого ума, тем более нахожу, что рассуждение материалистов похоже на рассуждение этого глухого. И в самом деле, они глухи к внутреннему голосу, который громко и вполне отчетливо говорил им: «Машина не мыслит; не существует ни движения, ни образа, который производил бы из себя мышление; а в тебе заключено нечто такое, что стремится сокрушить все оковы, его сдавливающие: пространство не есть для тебя предельная мера, целая Вселенная недостаточно велика для тебя; твои чувствования, твои желания, твое беспокойство, даже гордость твоя имеют иную основу, чем это тесное тело, в котором ты чувствуешь себя закованным».

Ни одно материальное существо не бывает активным само по себе, а я — активен. Сколько бы ни оспаривали меня, я чувствую это, и это говорящее во мне чувство сильнее доводов разума, его опровергающих. Я имею тело, на которое действуют другие и которое действует на других: это взаимное действие не подлежит сомнению; но воля моя не зависит от моих чувств; я соглашаюсь или противлюсь, я уступаю или бываю победителем — мне совершенно ясно говорит сознание, **когда** я делаю, что захотел сделать, и когда я лишь уступаю своим страстям. Я всегда властен желать, но не всегда имею силу исполнить желание. Когда я предаюсь искушениям, я действую под давлением внешних предметов. Когда я упрекаю себя в этой слабости, я слушаюсь только воли своей: я раб в силу своих пороков и свободен в силу угрызений совести; чувство моей свободы лишь тогда изглаживается во мне, когда я развращаюсь и не даю, наконец, голосу души возвышаться против законов тела.

О воле я узнаю лишь из сознания своей собственной воли; разумение мне известно не больше этого. Когда спрашивают, какова причина, определяющая мою волю, я, в свою очередь, спрашиваю, какова причина, определяющая мое суждение; ибо ясно, что эти две причины составляют лишь одну; кто хорошо понимает, что человек в своих суждениях активен, что разумение его есть лишь способность сравнивать и судить, тот увидит, что и свобода человека есть способность — подобная же или проистекающая из этой последней; он избирает хорошее, коль скоро правильно составил суждение; если же он неправильно судит, то и выбор его дурен. Какова же, значит, причина, определяющая его волю? Причина эта — его суждение. А какая причина определяет его суждение? Это его разумная способность, способность судить; определяющая причина заключается в нем самом; а иначе я ничего уже не понимаю.

Без сомнения, я не свободен не желать своего собственного блага, я не свободен желать себе зла; но свобода моя и состоит именно в том, что я могу желать лишь того, что мне свойственно или что я считаю таковым, без всякого постороннего для меня давления. Разве я не властен над самим собою?

Основа всякого действия заключается в воле свободного существа; восходить дальше этого нельзя. Не слово *свобода* не имеет никакого значения, а слово *необходимость*. Предполагать какой-нибудь акт, какое-нибудь действие, не вытекающее из активного начала, значит предполагать результаты без причин, значит попадать в логический круг. Что-нибудь одно: или не бывает первого толчка, или всякий первый толчок не имеет никакой предшествующей причины, и истинной воли без свободы нет. Итак, человек свободен в своих действиях и, как таковой, одушевлен нематериальной сущностью — это моё третий догмат веры. Из этих трех первых вы легко выведете все прочие, если даже я не стану их перечислять.

Если человек активен и свободен, то он действует сам от себя; все, что он свободно делает, не входит в систему, установленную Провидением, и не может быть вменяемо Провидению. Оно не желает зла, которое совершает человек, злоупотребляя свободой, которую Оно дает ему, но Оно не мешает ему совершать зло, потому ли, что зло это, со стороны существа столь слабого, совершенно ничтожно в Его глазах, или потому, что, препятствуя злу, Оно стесняло бы его свободу и, унижая его природу, произвело бы еще больше зла. Оно создало его свободным для того, чтобы он совершал не зло, но добро по выбору. Оно дало ему возможность делать этот выбор, правильно пользуясь теми способностями, которыми одарило его; но Оно настолько ограничило его силы, что злоупотребление свободой, до которого Оно допускает человека, не может нарушить всеобщего порядка. Зло, совершаемое человеком, падает на него самого, ничего не изменяя в системе мира, не мешая роду людскому сохраняться, наперекор самому себе. Роптать на то, что Бог не препятствует человеку совершать зло, значит роптать на то, что Он наделил его превосходной природой, придал его действиям облагораживающий их нравственный характер, дал ему право на добродетель. Высшее наслаждение — в довольстве самим собою; чтобы заслужить

это довольство, для того мы и помещены на земле и одарены свободой, для того мы и бываем искушаемы страстями и удерживаемы совестью. Что больше могло бы сделать для нас само Божественное Всемогущество? Могло ли оно вносить противоречие в нашу природу и вознаграждать за благие дела того, кто не имел бы возможности делать зло? Как! чтобы помешать человеку быть злым, следовало ограничить его инстинктом и сделать зверем? Нет! О, Бог моей души, я никогда не стану упрекать Тебя, что Ты создал ее по своему образу, чтобы я мог быть свободен, добр и счастлив, как и Ты.

Злоупотребление нашими способностями — вот что делает нас несчастными и злыми. Наши печали, заботы, страдания происходят от нас же самих. Нравственное зло бесспорно есть дело наших рук, а физическое зло не имело бы никакого значения, не будь наших пороков, которые сделали его чувствительным для нас. Не для сохранения ли нас и дает нам природа чувствовать наши нужды? Не является ли телесная боль признаком того, что машина расстраивается, и предупреждением, что нужно принять меры? Смерть... Но не отравляют ли злые своей жизни и нашей? Кто захотел бы жить вечно? Смерть есть лекарство от зол, которые вы себе причиняете; природа пожелала, чтобы вы не вечно страдали. Как мало подвержен бедствиям человек, живущий в первобытной простоте! Он живет почти без болезней, равно как и без страстей, он не предвидит и не чувствует смерти; когда он ее чувствует, то нищета его делает ее желанной для него, а после этого она уже не бедствие для него. Если бы мы довольствовались быть тем, что мы есть, нам незачем было бы оплакивать свой жребий; но в поисках за воображаемым благополучием мы наделяем себя тысячью действительных бедствий. Кто не умеет переносить немного страдания, тому предстоит много страдать. Расстроив организм неправильною жизнью, хотят восстановить его лекарствами; к переносимому бедствию присоединяют бедствие, которого боятся; ожидание смерти делает ее страшною и ускоряет ее; чем больше мы хотим избежать ее, тем больше ее чувствуем и всю жизнь свою умираем от ужаса, негодуя на природу за бедствия, которые причинили себе, оскорбляя последнюю.

Человек! Не ищи иного виновника зла; этот виновник — ты сам. Не существует иного зла, кроме того, которое ты совершаешь или терпишь, и то и другое приходит к тебе от тебя же самого. Всеобщее зло могло бы проявиться лишь в беспорядке, а в системе мира я вижу незыблемый порядок. Частное злополучие заключается лишь в чувствовании существа, его испытывающего; а это чувство человек не от природы получил: он сам себя наделил им. Горе мало имеет силы над тем, кто, мало думая о нем, не вспоминает его и не видит впереди. Откиньте наше губительное стремление вперед, откиньте наши заблуждения и пороки, отнимите созданное человеком,— и все станет благом.

Где все благо, там ничего нет несправедливого. Справедливость неразлучна с благостью; а благость есть необходимое следствие безграничного могущества и любви к себе, свойственной всякому самосознающему существу. Кто может все, тот умножением других существ расширяет,



так сказать, свое существование. Производство и сохранение — вот непрерывное проявление всемогущества: оно действует не над тем, чего нет; Бог не есть Бог мертвых, Он не может быть разрушителем и злым, не вредя себе. Кто все может, Тот может желать лишь того, что благо<sup>\*</sup>. Итак, существо всеблагое — потому что Оно всемогущее — должно быть также и всесправедливым; иначе Оно противоречило бы самому себе, ибо любовь к порядку, производящая его, называется **благостью**, а любовь к порядку, сохраняющая его, называется **справедливостью**.

Бог, говорят, ничем не обязан перед своими тварями. Я думаю, что Он обязан сделать для них все, что обещал, даруя им бытие. Дать людям идею блага и заставить их чувствовать потребность в нем — значит обещать это благо. Чем больше я углубляюсь в себя, чем больше размышляю, тем яснее читаю начертанные в душе моей слова: «Будь справедлив, и ты будешь счастлив». Однако, если принимать во внимание настоящее положение вещей, ничего этого нет: злой благоденствует, а справедливый остается угнетенным. Посмотрите, каким пылаем мы негодованием, когда это ожидание не сбывается! Сознание восстает и ропщет на своего Творца: оно вопиет к нему со стенанием: «Ты меня обманул!»

«Я обманул тебя, дерзкий! кто тебе сказал это? Разве исчезла твоя душа? разве ты перестал существовать? О, Брут!<sup>72</sup> о, сын, мой! не ерами своей благородной жизни позорным концом, не оставляй своей надежды и славы вместе с телом своим на полях филиппийских! К чему ты говоришь: «добродетель — пустяки», когда ты вот-вот получишь награду за свою собственную? «Я умру»,— думаешь ты; нет, ты будешь жить, и тогда-то Я исполню все то, что обещал тебе».

По ропоту нетерпеливых смертных можно было бы подумать, что Бог должен вознаградить их прежде заслуги, что он обязан заранее оплатить их добродетель. О! будем прежде всего добрыми, а затем мы будем и счастливыми. Не будем требовать награды раньше победы, штаты раньше труда. «Не на ристалище,— говорил Плутарх,— увенчивались победители наших священных игр, а после того, как пробежали его»<sup>73</sup>.

Если душа нематериальна, она может пережить тело; а если она его переживает, то Провидение оказывается правым. Если бы я не имел иного доказательства нематериальности души, кроме торжества злых и угнетения справедливых в этом мире, то одно уже это не позволяло бы мне сомневаться в ее нематериальности. Столь поразительный диссонанс во всеобщей гармонии заставлял бы меня искать ему объяснения. Я говорил бы себе: «Не все кончается для нас вместе с жизнью — порядок восстанавливается во всем при смерти».

\* Называя верховного бога *optimus maximus*<sup>71</sup>, древние высказывались правильно; но точнее было бы говорить *maximus optimus*, потому что благость происходит от могущества: он благ потому, что велик.

Я, правда, затруднялся бы вопросом, где же человек, когда все, что было в нем чувствующего, разрушено. Но этот вопрос не представляет уже для меня трудности, коль скоро я признал две

сущности. Понятно, что в течение моей телесной жизни, когда я замечаю вещи лишь с помощью чувств, все не поддавшееся чувствам от меня ускользает. Когда же связь тела и души распалась, я понимаю, что одно может разрушиться, а другое сохраниться. Почему разрушение одного повлекло бы за собою разрушение и другого? Напротив. Будучи столь различными по природе, сущности эти, благодаря соединению, были в насильственном состоянии; а когда это соединение прекращается, они обе возвращаются в свое естественное состояние: активная и живущая сущность приобретает снова всю силу, которую она тратила на движение пассивной и мертвой сущности. Увы! я отлично чувствую, благодаря своим порокам, что человек в течение своей жизни живет лишь наполовину, и жизнь души начинается только по смерти тела.

Но какова эта жизнь? и бессмертна ли душа по своей природе? Я не знаю. Мое ограниченное разумение не постигает ничего безграничного: все, что называют бесконечным, ускользает от меня. Что могу я отрицать, утверждать? какие рассуждения стану приводить я по поводу того, чего не могу постичь? Я верю, что она настолько переживает тело, сколько нужно для поддержания мирового порядка; а кто знает, значит ли это, что она вечно существует? Однако же я понимаю, как тело изнашивается и разрушается вследствие распада частей, но я не могу постичь подобного разрушения существа мыслящего; а не будучи в состоянии представить, как оно может умереть, я предполагаю, что оно не умирает. Коль скоро это предположение утешает меня и не заключает в себе ничего неразумного, то почему же мне его не принять?

Я чувствую свою душу, я узнаю ее через чувство и мысль; я знаю, что она есть, не зная, какова ее сущность; я не могу умствовать по поводу идей, которых не имею. Но я хорошо знаю, что тождество моего я продолжается лишь путем памяти, и, чтобы быть действительно тождественным, нужно помнить о своем прошлом бытии. Да я не мог бы припомнить после своей смерти, чем я был в течение жизни, если бы не припоминал одновременно и того, что я чувствовал, а следовательно, и того, что делал; и я не сомневаюсь, что это воспоминание будет составлять некогда блаженство добрых и мучение для злых. Здесь на земле тысяча пылких страстей заглушает внутреннее чувство и обманывает совесть. Унижения, неприятности, навлекаемые упражнением в добродетелях, мешают нам чувствовать все их прелести. Но когда, освободившись от иллюзий, порождаемых в нас телом и чувствами, мы будем наслаждаться созерцанием Верховного Существа и вечных истин, источником которых Оно бывает, когда красота порядка будет поражать все способности нашей души и мы будем заняты единственно сравнением сделанного нами с тем, что мы должны были бы делать, тогда-то именно голос совести вновь получит свою силу и власть, тогда-то неистощимые чувства чистого наслаждения, проистекающего от довольства самим собою, или горького сожаления о своем унижении и будут тем жребием, который каждый себе приготовит. Не спрашивайте меня, мой добрый друг, будут ли там другие источники блаженства и страданий; я этого не знаю; а чтобы утешиться в этой жизни и получить надежду на другую, для этого достаточно и того источника, который я себе представляю.

Я не скажу, что добрые будут «награждены»; ибо какого иного блага может достигнуть прекрасное существо, кроме блаженства существовать сообразно со своей природой? Но я утверждаю, что они будут блаженными, потому что Творец их, Творец всякой справедливости, сотворив их чувствующими, создал их не для страдания, потому что, не употребив во зло на земле свою свободу, они не были обмануты грехом в своем назначении; но они все-таки страдали в этой жизни и, значит, получают воздаяние в другой. Это сознание основано не столько на заслуге человека, сколько на понятии о благодати, которая мне кажется неотделимой от божественной сущности. Я только предполагаю сохраненными законы мирового порядка и Бога неизменным в самом Себе\*.

\* Не для нас, не для нас, Господь,  
А во имя Твое, во имя Твоего счастья,  
О Боже! Верни нас к жизни!  
Псалом 115.

Не спрашивайте меня и о том, вечны ли будут мучения злых и согласно ли с благодатью Творца их бытия осуждать их на вечные страдания; я и этого не знаю, и во мне нет такого пустого любопытства, чтобы искать ответов на бесполезные вопросы. Что мне за дело до того, что станет со злыми? Я мало интересуюсь их участью. Однако же мне трудно поверить, что они осуждены на бесконечные муки. Если высшая справедливость отмщает за себя, то она отмщает в этой жизни. Вы и ваши заблуждения, о, народы! — вот ее орудия! Бедствиями, которые вы причиняете себе, она и пользуется для того, чтобы наказать за преступления, навлекшие эти бедствия. В ваших именно ненасытных сердцах, снедаемых завистью, жадностью, честолюбием, мстительные страсти и наказывают вас среди вашего ложного благоденствия за злодеяния ваши.

Где кончаются наши преходящие потребности, где прекращаются наши безумные вожделения, там должны прекратиться и наши страсти и преступления. Чем дурным могут заразиться чистые души? Почему им быть злыми, если они не будут иметь ни в чем нужды? Если после отрешения от наших грубых чувств все их блаженство будет состоять в созерцании бытия, то они будут желать только добра; а кто перестает быть навсегда несчастным? Вот чему я склонен верить, не пытаюсь дать себе на этот вопрос решительный ответ. О, Существо милосердное и благое! Каковы бы ни были Твои постановления, я преклоняюсь перед ними; если Ты навеки наказываешь злых, я смиряю свой слабый разум перед Твоею справедливостью; но если угрызения совести этих несчастных должны со временем прекратиться, если бедствия их должны окончиться и если один и тот же мир одинаково ожидает некогда всех нас, я воздаю Тебе за это хвалу. Злой — не собрат ли мой? И сколько раз я подвергался искушению — уподобиться ему! Пусть же, избавившись от нищеты, он расстанется и со злостью, ее сопровождающею; пусть будет счастлив, как и я: счастье его не только не возбудит во мне зависти, но еще увеличит мое собственное.

Таким образом, созерцая Бога в делах Его и изучая по ним свойства Его, которые мне важно знать, я достиг того, что постепенно расширил и развил составившуюся у меня идею о бесконечном Существо, сначала несовершенную и ограниченную. Но если эта идея стала более благородною и возвышенною, зато она еще менее соразмерна с человеческим разумом. По мере того как я мысленно приближаюсь к вечному свету, его блеск ослепляет меня, приводит в смущение, и я вынужден оставить все земные понятия, помогавшие мне представлять его. Бог уже не телесен и не доступен чувственному восприятию; верховное Разумение, управляющее миром, уже не есть самый мир; я тщетно напрягаю и утруждаю свой ум, стремясь постичь Его непостижимую Сущность. Когда я думаю, что она именно дает жизнь и деятельность той живой и активной сущности, которая управляет одушевленными телами, когда мне говорят, что моя душа есть нечто духовное и Бог тоже есть дух, я возмущаюсь против этого унижения божественной Сущности; как будто Бог и душа моя одной и той же природы! как будто Бог единственное абсолютное Существо, единственное истинно деятельное, само по себе, — чувствующее, мыслящее, желающее Существо, от которого мы получаем мысль, чувство, деятельность, волю, свободу, бытие! Мы потому лишь свободны, что Он хочет этого, и Его неизъяснимая сущность то же для наших душ, чем бывают наши души для тел наших. Создал ли Он материю, тела, умы, мир — я ничего не знаю об этом. Идея о сотворении мира смущает меня и превышает мое понимание: я верю в нее, насколько могу постичь ее. Но я знаю, что Он образовал Вселенную и все существующее, что Он все создал, все устроил. Бог, конечно, вечен; но может ли ум мой обнять идею вечности? Зачем я стану отделяться словами без мысли? Но я понимаю, что Он существует прежде вещей, что Он будет, пока будут существовать вещи, что Он будет и после них, если всему должен прийти некогда конец. Что Существо, непостижимое для меня, дает бытие другим существам, это только темно и непонятно; но чтобы Существо и ничто могли сами по себе обращаться одно в другое, это вопиющее противоречие, это, очевидно, абсурд.

Бог — существо разумное; но каким образом он бывает таковым? Человек разумен, когда умеет рассуждать; но Высшему Разумению нет нужды рассуждать; для Него нет ни посылок, ни заключений; для Него нет даже предложений; Оно чисто созерцательное, Оно равно видит и все, что есть, и все, что может быть. Все истины для Него — одна идея, как все места — один пункт, все времена — один момент. Человеческая мощь действует теми или иными средствами, Божественное Могущество действует само через себя. Бог может, потому что хочет; Его воля составляет власть Его. Бог благ; нет ничего очевиднее этого; но доброта в человеке есть любовь к подобным себе, а доброта Божья есть любовь к порядку, ибо порядком Он поддерживает все существующее и связывает каждую часть с целым. Бог справедлив; я в этом убежден: это следствие Его благости; несправедливость людей — это их дело, а не Его; нравственный беспорядок, который в глазах философов говорит против провидения, в моих глазах лишь

доказывает Его существование. Но справедливость человека заключается в воздаянии каждому должного, а справедливость Бога — в требовании от каждого отчета в том, что Он дал ему.

Если я последовательно раскрыл эти свойства, о которых я не имею никакой абсолютной идеи, то это сделано путем вынужденных заключений, вследствие правильного пользования моим разумом; но я утверждаю не понимая, а это в сущности значит не утверждать ничего. Сколько бы ни говорил я: «Бог существует так-то, я это чувствую, я в этом убеждаюсь», — я все-таки мало постигаю, как это он может существовать «так-то».

Одним словом, чем больше я напрягаю усилия, чтобы усмотреть Его бесконечную сущность, тем менее я постигаю ее; но она есть, — и этого для меня достаточно; чем менее я ее постигаю, тем более преклоняюсь перед ней. Я смиряюсь, я говорю Ему: «Существо из существ! я существую, потому что существуешь Ты; непрестанно помышлять о Тебе для меня значит возвышаться до моего начала. Самое достойное употребление для моего разума — это уничтожаться перед Тобою, чувствовать себя подавленным Твоим величием — вот восхищение для моего ума, вот чем очаровательна моя слабость».

После того как из впечатлений от чувственно воспринимаемых предметов и из внутреннего чувства, побуждающего меня судить о причинах сообразно с моим внутренним светом, я вывел таким образом основные истины, которые важно было мне узнать, мне остается задаться вопросом, какие принципы я должен извлечь из них для своего поведения и какие правила должен предписать себе для того, чтобы выполнить свое назначение на земле, сообразно с предначертанием Того, Кто поместил меня сюда. Следуя всегда своему методу, я извлекаю эти правила не из принципов высшей философии, но нахожу их начертанными природой в глубине своего сердца неизгладимыми буквами. Когда я хочу что-либо делать, мне стоит лишь обратиться за советом к самому себе: все, что я сознаю хорошим, хорошо; все, что я чувствую дурным, дурно; лучший из всех казуистов — совесть; а к тонкостям рассуждения прибегают тогда, когда торгуются с нею. Первая из всех забот есть забота о самом себе; однако же как часто внутренний голос говорит нам, что, создавая наше благо на счет других, мы делаем зло! Мы полагаем, что следуем внушению природы, а меж тем мы ей противимся; слушая, что она говорит нашим чувствам, мы пренебрегаем тем, что она говорит нашим сердцам: активное существо повинует, существо пассивное повелевает. Совесть есть голос души, страсти — голос тела. Удивительно ли, что эти два голоса часто противоречат друг другу? и тогда которого слушаться? Рассудок слишком часто обманывает нас; мы приобрели полное право отказывать ему в согласии; но совесть не обманывает никогда; она — истинный путеводитель человека; она для души то же, что инстинкт для тела<sup>\*</sup>; кто следует ей, тот повинуется природе и не боится сбиться с пути. Это важный пункт, — продолжал мой благодетель, видя, что я хочу его прервать, — дайте мне несколько дольше остановиться на нем для уяснения его.

\* Современная философия, допускающая лишь то, чему находит объяснение, не находит возможным допускать эту темную способность, называемую инстинктом, которая как бы без всякого заранее приобретенного знания приводит животных к той или иной цели, инстинкт, по мнению одного из наших мудрейших философов, есть не что иное, как привычка, лишенная размышления, но приобретенная путем размышления<sup>74</sup>; из его объяснений этой способности приводится вывод заключение, что дети размышляют больше взрослых,— парадокс, настолько странный, что не стоит труда его и разбирать. Не вступая по этому поводу в споры, я спрашиваю, как должен я назвать тот пыл, с которым моя собака ведет войну с кротами, хотя она их и не ест, то терпение, с которым она подкарауливает их иной раз по целым часам, и ту ловкость, с которой она схватывает их, выбрасывает из земли в тот момент, когда они ее выталкивают, и потом умерщвляет, чтобы там же их и оставить; меж тем ее никто никогда не приучал к этой охоте и не указывал ей, что тут есть кроты. Я задаю и еще вопрос, и притом более важный: почему с первого же раза, как я пригрозил этой самой собаке, она бросилась спиной на землю, сложив лапы в умоляющей и наиболее способной меня тронуть позе, в которой она ни за что бы не оставалась, если бы я вместо того, чтобы смилостивиться, бил ее в этом положении. Как! Собака моя, совершенно еще маленькая и почти только что родившаяся, приобрела уже нравственные идеи? Она знает, что такое милость и великодушие? На основании каких же приобретенных познаний она надеялась успокоить меня, отдаваясь таким образом в мое распоряжение? Все собаки в свете делают почти то же самое в подобном же случае, и я ничего не говорю здесь такого, чего каждый не мог бы проверить. Пусть философы, столь презрительно отвергающие инстинкт, соблаговолят объяснить мне этот факт одним действием ощущений и доставляемых им познаний; пусть они объяснят его удовлетворительным для каждого разумного человека способом; тогда мне нечего уже будет сказать, и я перестану говорить об инстинкте.

Вся нравственная оценка наших действий заключается в суждении, которое мы сами о них составляем. Если благо и в самом деле есть благо, то оно должно быть таковым и в глубине наших сердец, как и в наших делах, и первой наградой за справедливость является сознание, что делаешь ее. Если нравственная красота сообразна с нашей природой, то человек лишь настолько может быть здоров умом и хорошо организован, насколько он добр. Если же она не такова, если человек по природе зол, то он не иначе может перестать быть злым, как извратившись, и доброта в нем есть лишь порок, противный природе. Созданный на то, чтобы вредить себе подобным, как волк создан для того, чтобы истерзать свою добычу, человеческий человек был бы таким извращенным животным, каким будет жалостливый волк, и одна добродетель доставляла бы нам угрызения совести.

Углубимся в самих себя, мой юный друг! Исследуем, оставив в стороне всякий личный интерес, к чему ведут нас наши склонности. Какое зрелище наиболее ласкает нас — зрелище мук или счастья других? Что нам приятнее всего совершить и что оставляет более приятное впечатление

по совершении — акт благотворительности или акт злобы? Кем интересуетесь вы в ваших театрах? злодеяния ли доставляют вам удовольствие? над наказанными ли виновниками их вы проливаете слезы? «Для нас,— говорят,— все безразлично, кроме нашего интереса». А меж тем, совершенно наоборот, сладость дружбы, человеколюбия утешает нас в наших скорбях; и даже в своих удовольствиях мы были бы слишком одиноки, слишком жалки, если бы нам не с кем было их разделять. Если ничего нет нравственного в сердце человека, то откуда же являются в нем эти восторги удивления перед геройскими деяниями, это любовное восхищение перед великими душами? Этот энтузиазм к добродетели какое отношение имеет к нашему частному интересу? Почему я желал бы быть скорее Катонем пронзающим себя<sup>75</sup>, чем торжествующим среди триумфа Цезарем? Отнимите у нашего сердца эту любовь к прекрасному — и вы отнимете всю прелесть у жизни. В чьей ограниченной душе низкие страсти заглушили собою усладительные чувствования, кто, сосредоточиваясь в самом себе, доходит, наконец, до того, что любит только самого себя, тот не испытывает уже восторгов, оледеневшее сердце его не трепещет уже от радости, сладкое умиление никогда не вызывает на его глаза слез, он ничем уже не наслаждается; несчастный уже не чувствует, не живет: он уже мертв.

Но как ни велико число злых на земле, немного бывает таких мертвенных душ, ставших нечувствительными, вне их интересов, ко всему, что справедливо и благо. Несправедливость нравится лишь настолько, насколько извлекают из нее пользу; во всем остальном люди хотят, чтобы невинный находил защиту. Когда мы видим на улице или на дороге какое-нибудь проявление насилия или несправедливости, в глубине сердца нашего тотчас же поднимаются гнев и негодование и заставляют нас встать на защиту угнетенного; но обязанность более могущественная удерживает нас, и законы отнимают у нас право защищать невинность<sup>76</sup>. Наоборот, если взоры наши поражает какое-нибудь проявление милости или великодушия, какое оно вызывает в нас удивление, какую любовь? Кто не говорит сам себе: «Хотел бы и я то же сделать»? Для нас, конечно, очень мало имеет значения, злым ли или справедливым был такой-то человек две тысячи лет тому назад; и однако же древняя история возбуждает в нас такое же участие, как если бы все это произошло в наши дни. Что мне за дело до преступлений Катилины?<sup>77</sup> Разве я боюсь быть их жертвой? Почему же он внушает мне такой же ужас, как если он был моим современником? Мы не потому только ненавидим злых, что они нам вредят, но потому, что они злы. Мы не только сами желаем быть счастливы, но желаем счастья и для другого, и если за это счастье мы не платим нашим счастьем, то оно только увеличивает наше. Наконец, нам помимо воли жаль несчастных; когда мы бываем свидетелями их горя, мы страдаем за них. Самые испорченные люди не могут потерять совершенно этой склонности; часто она ставит их в противоречие с самими собою. Разбойник, который грабит прохожих, все-таки прикрывает наготу бедняка, и самый жестокий убийца поддерживает человека, падающего в обморок.

Говорят о криках совести, которая тайно наказывает скрытые преступления и так часто выводит их наружу. Увы! Кто из нас никогда не слышал этого докучливого голоса? Говорят по опыту; и нам хотелось бы заглушить это тираническое чувство, причиняющее нам столько мучения. Станем повиноваться природе, и мы узнаем, с какою кротостью она царствует и какое наслаждение, подчинившись ей, иметь потом хорошее мнение о себе самом. Злой боится и избегает самого себя; веселья он ищет лишь вне себя самого; он обращает вокруг себя беспокойные взоры и ищет предмета, который его развлек бы; без едкой сатиры, без оскорбительной насмешки он был бы вечно печален; насмешливый смех — единственное его удовольствие. Наоборот, человек справедливый внутренне безмятежен; в смехе его слышится не злость, а радость; он носит в самом себе источник ее; он и в одиночестве так же весел, как среди общества; он не из окружающих извлекает свое довольство, а сам сообщает его.

Окиньте взором все нации мира, посмотрите все истории, среди всех этих нечеловечных и странных культов, среди этого чудного разнообразия нравов и характеров, вы найдете всюду одни и те же идеи справедливости и честности, везде одни и те же начала нравственности, везде одни и те же понятия о добре и зле. Древнее язычество породило гнусных богов, которых здесь на земле наказали бы как преступников и жизнь которых вместо картины высшего блаженства представляет картину злодеяний и удовлетворения похотей. Но порок, вооруженный священным авторитетом, тщетно спускался из вечного обиталища: нравственный инстинкт отталкивал от него сердца смертных. Прославляя разврат Юпитера<sup>78</sup>, дивились воздержанию Кеенократа<sup>79</sup>; бесстыдной Венере поклонялась целомудренная Лукреция<sup>80</sup>; Страху приносил жертву неустрашимый римлянин; он призывал бога, оскопившего отца<sup>81</sup> и умирал без ропота от руки своего отца. Самым презренным божествам служили самые великие люди. Святой голос природы, будучи сильнее голоса богов, заставлял почитать себя на земле и будто ссылал на небо преступление с его виновниками.

Есть, значит, в глубине душ врожденное начало справедливости и добродетели, в силу которого, вопреки нашим собственным правилам, мы признаем свои поступки и поступки другого или хорошими или дурными; это именно начало я называю совестью.

Но при этом слове со всех сторон, я слышу, поднимаются вопли мнимых мудрецов. «Заблуждение детства, предрассудки воспитания!» — кричат они в один голос. В уме человеческом ничего нет, кроме того, что входит туда путем опыта, и мы о всякой вещи судим лишь на основании приобретенных идей. Они идут дальше; они осмеливаются отвергать это очевидное и всеобщее согласие всех наций и в противовес бьющему в глаза единообразию людских суждений стараются отыскать во мраке какой-нибудь темный, известный им одним пример, — как будто все природные склонности уничтожаются испорченностью одного народа, как будто раз есть уроды, то уже нет вида. Но чему служат мучительные усилия скептика Монтеня откопать в каком-нибудь уголке мира привычку, противоположную понятиям справедливости?<sup>82</sup>



Что за охота ему облекать самых подозрительных путешественников авторитетом, в котором он отказывает самым знаменитым писателям? Могут ли несколько сомнительных и странных обычаев, установившихся вследствие местных причин, неизвестных нам, опровергнуть общий вывод, извлеченный из согласного мнения всех народов, противоположных во всем остальном и согласных в одном этом пункте? О, Монтень! Ты гордишься откровенностью и правдивостью, будь же откровенен и правдив, если философ может быть таковым, и скажи мне: есть ли такая страна на земле, где было бы преступлением защищать свою веру, быть милостивым, благодетельным, великодушным, где добрый человек был бы в презрении, а вероломный в почете? Каждый, говорят, содействует общему благу из-за своего интереса. Но откуда же происходит то, что справедливый содействует ему в ущерб себе? И что значит идти на смерть ради своего интереса? Без сомнения, всякий хлопочет лишь ради своего блага; но если существует нравственное благо, которое приходится принимать в расчет, то личным интересом можно будет объяснить лишь поступки злых: нужно думать, что дальше этого никто не решится идти. Слишком гнусной была бы философия, при которой мы были бы стеснены в добродетельных поступках, при которой не иначе можно было бы избавиться от хлопот, как подыскивая для этих поступков низкие намерения и противные добродетели мотивы, при которой мы вынуждены были бы унижать Сократа и клеветать на Регула. Если бы подобные учения могли когда-либо возникнуть среди нас, голос природы, равно как и голос разума, непрестанно восставал бы против них и не позволял бы ни одному из сторонников их выставлять в извинение свою чистосердечность.

Я не намерен входить здесь в метафизические споры, которые превышают мое и ваше понимание и ни к чему в сущности не ведут. Я сказал уже вам, что я хотел не философствовать с вами, но помочь вам, посоветоваться со своим сердцем. Если бы все философы мира доказывали, что я не прав, а вы чувствуете, что я прав, то мне ничего больше и не нужно.

Для этого следует лишь научить вас различать наши приобретенные идеи от наших природных чувствований; ибо мы необходимо чувствуем раньше, чем познаем; а так как мы не учимся желать себе блага и избегать зла, но получаем это желание от природы, то любовь к благу и ненависть к злу — такие же природные наши свойства, как и любовь к себе. Проявления совести суть не суждения, а чувствования; хотя все наши идеи приходят к нам извне, чувствования, оценивающие их, находятся внутри нас, — посредством их только мы и познаем соответствие и несоответствие между нами и вещами, которых мы должны домогаться или избегать.

Существовать для нас — значит чувствовать; чувствительность наша бесспорно предшествует нашему разумению, и чувства мы получили раньше идей \*. Какова бы ни была причина нашего бытия, она озаботилась о нашем самосохранении, дав нам чувствования, соответственные нашей природе; нельзя отрицать, по крайней мере, что они прирожденны. Чувствования эти, если речь вести об индивидууме, суть любовь к себе, опасение боли, ужас перед смертью, стремление к благополучию. Но если — в чем нельзя сомневаться — человек есть существо общественное по

своей природе или, по крайней мере, создан быть таким, то он может им быть лишь в силу других врожденных чувствований, имеющих отношение к его виду; ибо если признавать лишь потребности физические, то они должны, конечно, рассеивать людей вместо того, чтобы сближать их. А из нравственной системы, созданной этими двоякого рода отношениями — к самому себе и к своим ближним, и возникает импульс совести. Узнать добро не значит полюбить его; человек не обладает прирожденным знанием его; но коль скоро разум знакомит его с благом, совесть заставляет его любить это благо; это именно чувство и есть врожденное.

Итак, я не думаю, друг мой, чтобы невозможно было вывести из нашей природы непосредственное начало совести, независимое от самого разума. А если бы это было невозможно, в этом не было бы и необходимости; ибо, коль скоро отрицающие это начало, допущенное и признанное всем человеческим родом, не доказывают, что его не существует, но довольствуются простым утверждением этого, то, утверждая, что оно существует, мы имеем под собою точно такую же прочную основу, как и они, а кроме того, имеем за собою внутреннее свидетельство и голос совести, говорящий за нее самое. Если первые проблески суждения ослепляют нас и смешивают на первых порах предметы в наших глазах, то подождем, пока наши слабые глаза откроются снова и окрепнут, и мы скоро вновь увидим эти же предметы при свете разума, такими же, какими вначале показывала их природа; или, лучше сказать, будем более просты и менее тщеславны; ограничимся первыми чувствами, которые находим в себе, потому что к ним именно и приводит нас изучение, если только оно не сбilo нас с пути.

\* В известной мере идеи суть чувства, а чувства суть идеи. Оба названия пригодны для каждого впечатления, которое занимает наше сознание, и предметом, и нами самими, получившими от него восприятие, и лишь порядком этого восприятия определяется соответственное ему название. Когда, занятые прежде всего предметом, о себе мы мыслим лишь по рефлексии, то возникает идея; наоборот, когда полученное впечатление возбуждает наше первое внимание и мы лишь по рефлексии думаем о предмете, его причинившем, то это чувство.

О, совесть, совесть! божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, верный путеводитель существа темного и ограниченного, разумного и свободного, непогрешимый ценитель добра и зла, уподобляющий человека Богу! это ты создаешь превосходство его природы и придаешь нравственный смысл его действиям; без тебя я не чувствую в себе ничего такого, что поднимало бы меня над уровнем зверей, кроме печальной привилегии блуждать от ошибок к ошибкам при помощи мышления, лишённого руководства, и разума, лишённого основ.

Благодарение небу! мы освободились от этого ужасающего философского всеоружия: мы можем быть людьми, не будучи учеными; избавленные от необходимости тратить свою жизнь на изучение морали, мы с меньшими затратами получаем более верного путеводителя в неизмеримом лабиринте людских мнений. Но этого мало, что путеводитель существует: нужно уметь распознавать его и следовать ему. Если он говорит всем сердцем, то почему же столь немногие его

понимают? Увы! это оттого, что он говорит нам языком природы, а нас все кругом заставляет забыть этот язык. Совесть робка, она любит уединение и мир; свет и шум ее пугают: предрассудки, от которых иные ее производят, суть злейшие ее враги; она бежит или умолкает перед ними; их шумные голоса заглушают ее голос и мешают его понимать; фанатизм осмеливается подделываться под нее и ее именем подсказывает преступления. Она делается упрямой, наконец, если ее часто выпроваживают; ничего уже не говорит нам, не дает уже ответов, и, после столь продолжительного презрения к ней, ее столь же трудно призвать обратно, сколь трудно было изгнать.

Сколько раз при своих изысканиях я выбивался из сил от внутреннего холода, который в себе чувствовал! Сколько раз грусть и скука, проливая свой яд на мои первые размышления, делали их невыносимыми для меня? Мое зачерствелое сердце внушало мне лишь вялую и нерадивую любовь к истине. Я говорил себе: «Для чего мне мучиться в поисках того, чего нет? Нравственное благо — одна химера; нет ничего благого, кроме чувственных удовольствий». О, как трудно, раз я потерял вкус к душевным удовольствиям, снова приобрести его! Насколько труднее еще получить его, если никогда не имел! Если бы существовал человек настолько жалкий, что во всю жизнь свою ничего не совершал бы такого, воспоминание о чем делало бы его довольным самим собою и тем, что жил, такой человек был бы неспособен когда-либо познать себя; а не сознавая, насколько доброта ответственна его природе, он насильно оставался бы злым и был бы вечно несчастным. Но неужели вы думаете, что есть в целом мире хоть один человек, настолько испорченный, что сердце его никогда не поддавалось искушению делать добро? Это искушение столь естественно и столь сладко, что невозможно противостоять ему всегда; а воспоминания об удовольствии, которое оно доставило хоть раз, достаточно для того, чтобы вспоминать о нем непрерывно. К несчастью, искушение это на первых порах трудно удовлетворить; всегда имеешь множество оснований, чтобы противиться склонности своего сердца; ложная мудрость ограничивает его пределами человеческого я; нужна тысяча мужественных усилий, чтобы осмелиться перешагнуть эти пределы. Находить наслаждение в делании добра — это награда за сделанное добро, а награду эту получают лишь после заслуги. Нет ничего милее добродетели; но чтобы находить ее таковою, нужно вкусить ее. Когда хотят обнять ее, подобно сказочному Протею<sup>83</sup>, она принимает сначала тысячу ужасающих форм и, наконец, показывается в своем собственном виде лишь тем, кто не выпустил из рук добычи.

Постоянно обуреваемый то естественными чувствами, говорившими мне за общий интерес, то разумом, относившим все ко мне самому, я всю жизнь непрерывно носился бы в ту или другую сторону, делая зло, любя добро и всюду противореча самому себе, если бы новый свет не просветил моего сердца, если бы истина, давшая твердую основу моим мнениям, не упрочила и моего поведения и не привела бы меня в согласие с самим собою. Желают установить добродетель путем одного разума, но какую прочную основу можно дать ей? Добродетель, говорят, есть

любовь к порядку. Но может ли поэтому и должна ли эта любовь одерживать во мне верх над любовью к моему благополучию? Пусть мне представят ясное и достаточное основание, чтобы я мог отдать ей предпочтение. Их мнимое основание есть в сущности простая игра словами; ибо я тоже, в свою очередь, говорю, что порок есть любовь к порядку, понимаемому в другом смысле. Некоторый нравственный порядок есть всюду, где есть чувство и разумение. Разница в том, что добрый себя прилаживает к целому, а злой к себе прилаживает целое. Последний делает себя центром всех вещей; первый соразмеряет свой радиус и держится на окружности. Тогда он занимает должное место по отношению к общему центру, которым является Бог, и по отношению ко всем концентрическим кругам, т. е. тварям. Если Божества нет, то лишь злой рассуждает правильно, а добрый оказывается нерассудительным.

Дитя мое! О если бы вы могли почувствовать когда-нибудь, какое бремя сваливается с плеч, когда, исчерпав суетность людских мнений и вкусив горечь страстей, находишь, наконец, столь близко от себя путь мудрости, награду за труды этой жизни и источник счастья, в котором отчаялся! Все обязанности, налагаемые естественным законом, почти искорененные из моего сердца людской несправедливостью, снова начертываются там во имя вечной справедливости, которая налагает их на меня и видит, что я исполняю их. Я уже чувствую себя сознанием и орудием Верховного Существа, которое хочет блага, создает благо, создаст и мое благо, если моя воля будет согласна с его волею и если я правильно буду пользоваться свободой; я подчиняюсь установленному им порядку в уверенности, что и сам буду наслаждаться некогда этим порядком и находить в нем свое блаженство; ибо какое блаженство сладостнее сознания, что мы занимаем свое место в системе, в которой все — благо? Будучи жертвой страдания, я переношу его с терпением, зная, что оно временное и происходит от тела, которое не принадлежит мне. Если я делаю доброе дело без свидетелей, я знаю, что его видят; моим поведением в этой жизни я заручаюсь для будущей. Терпя несправедливость, я говорю себе: «Справедливое существо, управляющее всем, сумеет хорошо вознаградить меня за это». Нужды тела, бедствия жизни делают менее ужасной для меня мысль о смерти: тем менее связей предстоит мне порвать, когда придется покинуть все.

Почему нее душа моя подчинена чувствам и прикована к телу, которое порабощает и стесняет ее? Я ничего не знаю об этом. Разве я проник в божьи определения? Но я могу, не проявляя дерзости, делать скромные догадки. Я говорю себе: «Если бы дух человека оставался свободным и чистым, какая была бы заслуга любить и следовать установленному порядку, нарушать который для него не было бы никакого интереса? Правда, он был бы счастлив; но его счастьем недоставало бы высшей ступени — славы, добродетели и доброго свидетельства о самом себе. Раз душа связана со смертным телом узами, настолько же мощными, насколько непостижимыми, забота о сохранении этого тела побуждает ее все относить к нему и внушает ей интересы, противные всеобщему порядку, который однако же она способна видеть и любить; и вот тут-то правильное

пользование своей свободой становится одновременно и заслугой, и наградой, и душа подготавливает себе нерушимое счастье, вступая в борьбу со своими земными страстями и поддерживая в себе свою первоначальную волю.

Если даже в состоянии унижения, в котором мы находимся в течение этой жизни, все наши первые склонности законны, если все наши пороки происходят от нас же, то почему же мы жалуемся, что поработаны ими? почему упрекаем Творца вещей за бедствия, которые причиняем себе, и за врагов, которых сами вооружаем против себя? Ах! не станем портить человека: он без горя будет всегда добр, без угрызений совести — всегда счастлив. Преступники, уверяющие, что их вынудили совершить преступление, столько же лживы, сколько злы; как они не видят, что слабость, на которую они жалуются, создание их собственных рук, что их первое развращение происходит по их же воле, что, желая поддаться своим искушениям, они, наконец, поддаются им помимо воли и делают их непреодолимыми! Без сомнения, от них уже не зависит — не быть злыми и слабыми, но от них зависело не делаться такими. О, как легко мы оставались бы владыками над собою и своими страстями, даже в течение этой жизни, если бы, когда привычки наши еще не приобретены, когда ум наш только что начинает раскрываться, мы умели занять его предметами, которые он должен знать, чтобы оценить те, которых не знает, если бы искренно желали просветить себя, не зная того, чтобы блистать в глазах других, но чтобы быть добрыми и мудрыми сообразно со своею природою, чтобы найти свое счастье в исполнении своих обязанностей! Это изучение кажется нам скучным и трудным, потому что мы помышляем о нем тогда, когда уже испорчены пороком, когда предались уже страстям. Мы прочно устанавливаем свои суждения и оценку свою раньше познания добра и зла; а потом, измеряя все по этой ложной мерке, мы ничему не умеем придать настоящей цены.

Есть возраст, когда сердце, еще свободное, но уже горячее, тревожное, жадно стремясь к неведомому счастью, ищет его с пылливою уверенностью и, обманутое чувствами, останавливается, наконец, на его ложном образе, думая найти его там, где его вовсе нет. У меня эти иллюзии продолжались слишком долго. Увы! я слишком поздно распознал их и не мог совершенно разрушить их: они будут продолжаться, пока будет существовать это смертное тело, служащее причиною их. Но как они ни прельщают, они, по крайней мере, уже не обманывают меня; я признаю их за то, что они есть; увлекаясь ими, я презираю их; вместо того чтобы видеть в них предмет моего счастья, я вижу в них препятствие к нему. Я жажду момента, когда, избавившись от телесных оков, я буду самим собою, без противоречий, без разделения и для своего счастья буду нуждаться лишь в самом себе; в ожидании я пока счастлив и в этой жизни, потому что мало обращаю внимания на все ее бедствия, считаю ее почти постороннею для моего бытия и потому что все истинное благо, которое я могу извлечь из нее, зависит от меня.

Чтобы заранее подняться, насколько возможно, до этого состояния счастья, силы, свободы, я упражняюсь в возвышенном созерцании. Я размышляю о порядке Вселенной — не для того,

чтобы объяснять его посредством пустых систем, но чтобы дивиться ему беспрестанно, чтобы поклоняться премудрому Создателю, проявляющему Себя в нем. Я беседую с Ним, проникаюсь во всех своих способностях Его бедственной сущностью; умиляюсь Его благодеяниям, благословляю Его за дары; но я не прошу у Него. Чего мне просить у Него? Чтобы Он изменил для меня течение вещей, чтобы совершал чудеса в мою пользу? Мне ли, когда я больше всего должен любить порядок, установленный Его мудростью и поддерживаемый Его провидением, мне ли желать, чтобы этот порядок был нарушен из-за меня? Нет, это безрассудное желание заслуживало бы скорее наказания, чем исполнения. Я не прошу у Него и возможности делать добро: к чему просить о том, что дал мне Он? Не наделил ли Он меня совестью, чтобы любить добро, разумом, чтобы познавать его, свободой, чтобы выбирать его? Если я делаю зло, для меня нет извинения; я делаю его, потому что хочу; просить у Него, чтобы он изменил мою волю,— это значит требовать от Него того, чего он от меня требует, значит желать, чтобы Он делал мое дело, а я получал плату за него; не быть довольным своим состоянием значит желать иного, а не того, что есть, значит желать беспорядка и зла. Источник справедливости и истины, Боже милосердный и благой! При моей вере в Тебя, высшее желание моего сердца в том, чтобы совершалась Твоя воля. Присоединяя к ней свою волю, я делаю, что Ты делаешь, я покоряюсь Твоей благодати и думаю, что заранее разделяю то высшее блаженство, которое бывает паградою за это.

При справедливом недоверии к самому себе я одного прошу у него, или, скорее, одного ожидаю от его справедливости,— это исправления моих заблуждений, если я заблуждаюсь и если это заблуждение для меня опасно; чтобы быть чистосердечным, я не считаю себя непогрешимым: мои мнения, которые кажутся мне самыми истинными, могут оказаться ложью, ибо у какого человека нет своих мнений? А сколько людей согласных во всем? Но хотя мой самообман происходит от меня же самого, он один может избавить меня от него. Я сделал что мог для достижения истины; но ее источник слишком возвышен; виноват ли я, если мне не хватает сил идти дальше? ему именно и следует приблизиться».

Добрый священник говорил с жаром; он был взволнован, я также. Мне казалось, будто я внимаю божественному Орфею<sup>84</sup>, поющему свои первые гимны и обучающему людей поклонению богам. И однако, у меня возникло множество возражений, но я не высказал ни одного, ибо они были не столько убедительны, сколько неуместны; к тому же он говорил так уверенно, что грешно было бы прервать его. И по мере того как он высказывал то, что диктовала ему совесть моя собственная совесть как бы подтверждала мне все, что он говорил.

«Чувства, о которых вы мне только что поведали, — сказал я ему,— весьма необычны, по крайней мере в отношении того, что вы сами признали неизвестным. Я вижу, что они весьма близки к теизму или естественной религии, которую христиане нарочно смешивают с атеизмом или неверием, т. е. с совершенно противоположным учением. Но при теперешнем состоянии моей веры мне пришлось скорее подниматься, нежели опускаться до восприятия ваших убеждений, и

мне трудно принять вашу точку зрения, не будучи таким же умудренным знанием, как вы. Желая быть, по крайней мере, столь же искренним, я хочу посоветоваться с самим собою. Только внутреннее чувство должно побудить меня следовать вашему примеру, и вы сами меня учили, что вызвать его после того, как оно было подавляемо в течение долгого времени, не так-то просто. Я уношу в своем сердце все ваши рассуждения, мне следует обдумать их. Если, хорошенько рассудив наедине с собою, я проникнусь вашею убежденностью, вы станете моим последним апостолом, а я до самой смерти останусь вашим учеником. Вы же продолжайте наставлять меня, ведь вы сказали мне пока лишь половину того, что я должен знать. Говорите об откровении, о писании, о тех неясных догматах, в которых я пытаюсь разобраться, не в силах постигнуть их сути и не умея ни принять, ни отвергнуть их».

«Да, дитя мое,— сказал он, обнимая меня, — я скажу вам до конца все, что я думаю; я не хочу открывать вам мое сердце лишь наполовину. Мне была необходима ваша искренность, она и позволила мне ничего не утаить от вас. До сих пор я не сказал вам ничего, ни слова, в коем не был бы внутренне уверен, которое не могло бы, по моему убеждению, принести вам пользу. Но мне остается сделать еще одно признание, совсем иного рода, о том, что несет лишь смятение, тайну, неясность, что грозит мне неуверенностью и подозрениями. Едва решаясь на него, я, прежде чем советовать, поделюсь с вами своими сомнениями. Если бы вы были тверды в своих мыслях, я поколебался бы в изложении моих, но при вашем нынешнем состоянии вы выиграете оттого, что будете думать, как я<sup>\*</sup>. Впрочем, придавайте моим рассуждениям лишь то значение, какое сообразуется с вашим разумом; не мне судить, прав я или заблуждаюсь. В споре очень трудно не принять иной раз категоричный тон, а потому не забывайте, что в данном случае все мои утверждения для вас лишь повод к сомнению. Ищите истину сами, я же, с моей стороны, обещаю вам одно чистосердечие.

\* Вот, думаю я, именно то, что добрый викарий мог сказать в настоящее время публично.

В моем веровании вы видите лишь естественную религию,— странно, что людям нужна еще какая-то другая! Да и есть ли нужда в другой религии? В чем моя вина, ежели я служу Богу согласно тому свету, которым он озарил мой ум, согласно чувствам, которые он внушил моему сердцу? Могу ли я извлечь из какого-либо общепринятого учения чистоту морали и догматы, полезные для человека и почетные для его Творца, которые за неимением такой доктрины я не мог бы извлечь из свойств собственной моей природы при хорошем их применении? Укажите мне, что можно еще добавить во славу Божию, для блага общества и для моей собственной пользы к предписаниям естественного закона и какие еще добродетели способен пробудить во мне новый культ, кроме тех, коими я уже располагаю? Самые высокие представления о Божестве дает нам наш собственный разум. Приглядитесь к зрелищу природы, прислушайтесь к внутреннему голосу; неужто Бог еще не все открыл нашим глазам, нашей совести, нашему разуму? Что же нового могут нам сказать люди? Их откровения только порочат Бога, наделяя его человеческими

страстями. Я вижу, как отдельные догматы затемняют наши понятия о Высшем Существо, вместо того чтобы прояснить их, унижают его самого, вместо того чтобы возвысить; я вижу, как к непостижимым таинствам божьим присоединяются нелепые противоречия; новые доктрины делают человека надменным, нетерпимым, жестоким; вместо того чтобы установить на земле мир, они несут людям огонь и меч. И я спрашиваю себя, для чего все это, и не умею ответить. Я вижу вокруг себя лишь людские преступления и несчастья рода человеческого.

Мне говорят: дабы научить людей служить Богу, как он того хочет, нужно откровение. В доказательство приводится разобщенность самых причудливых культов, ими учрежденных; и никто не видит, что сама разобщенность эта происходит от различного толкования откровений. Едва только народы догадались заставить Бога говорить, как каждый заставил его говорить на своем языке и говорить то, что данному народу хочется услышать. Но ежели бы слово божие люди слушали в сердце своем, на свете никогда не было бы больше одной религии. Нужна единая религия, я в этом положительно убежден. Но неужто этот вопрос столь важен? Неужто для его решения потребовалось все божественное могущество? Не будем смешивать религиозную церемонию с самой религией. Богу нужен культ, исповедуемый сердцем; ежели такой культ соблюдается искренне, значит, он уже единообразен. Какое безумное тщеславие: воображать, будто Бог проявляет интерес к форме одежды священника, к порядку слов, произносимых им, к телодвижениям в алтаре, к коленопреклонениям! Ах, друг мой! Как бы высоко ты ни вознесся, ты всегда останешься достаточно близок к земле. Бог хочет, чтобы ему поклонялись, слушаясь велений разума и истины; вот подлинная задача всех религий, всех стран, всех людей, Что же касается внешних проявлений культа, то, если он должен быть единообразен в целях общего порядка, пусть этим займутся наши правители; для этого вовсе не требуются откровения.

Я и не помышлял об этом с самого начала. Увлекаемый предрассудками воспитания и тем самолюбием, которое всегда стремится вознести человека за пределы его возможностей, не будучи в силах подняться в моих жалких представлениях до уровня Высшего начала, я пытался низвести его до себя. Я хотел сократить бесконечное расстояние, установленное им между моей и его природою. Я жаждал более близкого общения с ним, особых поучений от него; я не довольствовался тем, что уподоблял Бога человеку,— желая возвыситься над себе подобными, я стремился к сверхъестественному знанию, я хотел, чтобы мой культ был исключительным, я хотел, чтобы Бог открыл мне то, чего он не открывал другим, или же то, что было бы доступно только моему пониманию.

Рассматривая этот мною установленный момент как точку зрения, из которой исходили все верующие, стремящиеся к более просвещенному культу, я находил в естественной религии лишь элементы, свойственные всякой другой. Я изучал всевозможные секты, заполонившие землю и взаимно обвиняющие друг друга во лжи и заблуждениях, и спрашивал: «Которая же из них настоящая?» Член каждой из них отвечал мне: «Моя». Каждый говорил: «Только я и мои



единомышленники думаем по справедливости. Все остальные погрязли в заблуждениях»,— «А почему вы знаете, что именно ваша секта настоящая?» — «Потому, что нам открыл это Бог»\*. — «А кто вам сказал о том, что Бог открыл это?» — «Мой пастырь, которому это хорошо известно. Он указал мне, как именно я должен верить, и я повинуюсь. Он утверждает, что все верующие иначе — лгут, и я их не слушаю».

\* «Все они,— говорил один добрый и мудрый священник,— утверждают, что они приобщены к своей вере и исповедуют ее но через посредство людей или других творений, но только от Бога. Но, говоря по правде, ничего не преувеличивая и не скрывая, это пустой довод; что бы они ни говорили, они связаны с усилиями человеческих рук и средств; первое свидетельство тому — способ, каким религии воспринимались в мире и еще до сих пор принимаются отдельными лицами: народ, страна, местность утверждают религию; вы исповедуете именно ту, которая принята в местности, где вы родились и воспитывались; обрезанные, крещеные, евреи, магометане, христиане — вот кем мы становимся задолго до того, как узнаем, что мы люди; нам не дано выбирать себе религию; свидетельство тому — сама жизнь и нравы, так плохо сообразующиеся с религией; свидетельство тому также и тот факт, что люди из-за весьма незначительных неудобств восстают против требований своей религии» (Шаррон. О мудрости. Кн. II, гл. 5).

По всей видимости, искреннее вероисповедание добродетельного богослова из Кондома <sup>85</sup> не очень отличалось от веры савойского викария.

Значит истина, думал я, не едина, и то, что достоверно для меня, может быть неверно для вас? Если тот, кто следует по правильному пути, и тот, кто Впадает в заблуждение, действуют одинаково, то какова заслуга или вина каждого из них? Ведь их выбор — дело случая, и несправедливо обвинять их; это значило бы награждать или карать людей за то, что они родились в той или другой стране. И тот, кто осмелился бы сказать, что Бог судит нас именно таким образом, оскорбил бы его правосудие.

Либо все религии хороши и угодны Богу, либо существует лишь одна, которую он дает и за отказ от которой карает; в таком случае ее легко узнать, отличить от ложных исповеданий и считать единственно истинной. Тогда ее приметы существовали бы во всякое время и во всякой стране и одинаково принимались бы всеми людьми и народами: великими и малыми, просвещенными и невежественными, европейцами, индийцами, африканцами, дикарями. Если бы на земле существовала одна религия, вне которой нам грозило бы вечное проклятие, и если бы хоть один искренне верующий смертный не был бы поражен ее очевидностью, то Бога этой религии следовало бы назвать несправедливейшим и жесточайшим из тиранов.

Вполне ли искренне мы ищем истину? Не будем считаться с правом происхождения или с авторитетом отцов и пастырей, но поверим нашей совестью и разумом все, чему они научили нас с

детства. Пусть они взывают ко мне: «Подчини твой разум!» — ведь то же самое может мне сказать и тот, кто меня обманывает. Для того чтобы смирить разум, нужно проявить разум.

Все богословские знания, которые я могу приобрести, обозревая Вселенную и добросовестно используя свои способности, ограничены пределами, о которых я говорил вам выше. Тому, кто стремится узнать больше, следует прибегнуть к необычным средствам. Но средства эти не есть творение рук людей, ибо ни один человек не происходит от иного корня, чем мой, и все, что знают люди, естественно, могу знать и я: любой может ошибаться так же, как я: если я и верю его словам, то не потому, что он их произносит, а потому, что он их доказывает. А доказательства эти я могу найти и в своей собственной душе; они ничего не добавляют к естественным средствам, которые Бог дал мне для познания истины.

Апостол истины, можете ли вы сказать мне что-нибудь, о чем я сам не мог бы свободно судить? Сам Бог заговорил, слушайте его откровения. Это совсем другое дело. Бог заговорил! Вот подлинно великое слово. А к кому он обратился? Он обратился к людям. Почему же я этого не слышал? Он поручил другим людям передать вам его слово. Я понимаю: люди должны передать мне сказанное Богом\*. Но я предпочел бы услышать слово божие из его собственных уст, ему бы это ничего не стоило, я же избежал бы соблазна. Но Бог оберегает вас от этого, он предпочитает говорить через своих посланцев. Каким же образом? При помощи чудес. А где же эти чудеса? В книгах. Кто же написал эти книги? Люди. А кто видел эти чудеса? Люди, которые их удостоверяют. Как, опять людские свидетельства? Опять только люди, которые доводят до моего сведения то, что им передали другие люди? Сколько же людей встало между Богом и мной! Однако посмотрим, исследуем, сравним, проверим. О, если бы Бог смилостивился и избавил меня от всей этой работы, неужто я служил бы ему менее усердно?

Вдумайтесь, друг мой, в какой страшный спор я вовлечен, какие огромные познания мне необходимы для того, чтобы обратиться к самой глубокой древности, чтобы рассмотреть, взвесить и сопоставить пророчества, откровения, факты, чтобы исследовать все памятники веры, установленные во всех странах мира, чтобы определить создателей, время, место и обстоятельства их создания! Какие точность и тщание понадобятся мне для того, чтобы отличить подлинники от подделок, чтобы сопоставить вопросы с ответами, а переводы с оригиналами; чтобы судить о беспристрастности свидетелей, об их здравом смысле и просвещенности; чтобы удостовериться, что ничего не было изъято, добавлено, переиначено, изменено, искажено. С каким умением я должен разобраться во всех противоречиях и судить о причинах молчания противников перед лицом предъявленных им фактов; определить, были ли они им предъявлены, придали ли они им достаточное значение, дабы снизить до отклика. Я должен также узнать, были ли книги настолько распространены среди них, чтобы они могли читать наши, проявили ли мы достаточную добросовестность, допустив к нам их труды и оставив в них нетронутыми самые веские возражения.

Даже если признать подлинность всех этих трудов, то вслед за тем нужно будет исследовать мотивы деятельности их авторов. Необходимо хорошенько разобраться в законах случайностей, учесть все возможные вероятности, дабы судить о том, какое пророчество не может быть выполнено без вмешательства чуда; не зная духа языков, на которых написаны эти произведения, нельзя понять, что здесь пророчество, а что риторика. Нужно узнать, какие факты соотносятся с порядком природы, а какие ему противоречат, чтобы выяснить, не вздумал ли просто некий ловкач обмануть простаков и ослепить мудрецов; нужно доискаться, к какому виду относится то или иное чудо и какую степень достоверности оно должно обладать, чтобы вера в него стала не только возможною, но невозможным и наказуемым стало одно сомнение в нем; нужно сравнить свидетельства о чудесах подлинных и мнимых и найти надежный путь для их распознавания; нужно, наконец, объяснить, почему Бог избрал для подтверждения своего слова средства, которые сами весьма нуждаются в подтверждении,— как будто он смеялся над легковерием людей и умышленно избегал более верных способов их убеждения.

Допустим, что Бог в своем величии снизойдет до того, что превратит какого-либо человека в пророка своей священной воли; но разумно ли, справедливо ли требовать, чтобы весь род человеческий подчинился голосу такого посланника божьего, не зная хорошенько, является ли он таковым? Правильно ли, что он, не предъявив никаких доказательств своей миссии, пророчит перед кучкой невежественных людей, сообщая им нечто, о чем все остальные узнают только из неясных слухов. Если принимать на веру все чудеса, которые якобы удалось узреть простолюдинам и блаженным во всех концах мира, то каждую секту пришлось бы признать истинной и чудес случалось бы намного больше, чем естественных событий; а самым великим чудом было бы полное отсутствие чудес там, где живут фанатики, страдающие за веру. Неизменяемый порядок природы лучше всего указывает на управляющую ею мудрую руку; нужно слишком уж много исключений, чтобы разубедить меня в этом; теперь же я слишком искренне верю в Бога, чтобы верить в такое число чудес, столь мало его достойных.

Допустим, что какой-нибудь человек обратился к нам с такою речью: «Смертные, объявляю вам волю Всевышнего; признайте в моем лице посланного меня. Я приказываю солнцу изменить свое движение, звездам — образовать иные сочетания, горам — сравняться с землею, волнам — подняться до небес, земле — принять другую форму». Разумеется, как не узнать тотчас же в этих чудесах руку властителя природы? Она ведь не повинуется обманщикам: те совершают свои чудеса на перекрестках, в пустынях, в комнатах — там, где им легко обвести вокруг пальца кучку зрителей, заранее расположенных всему поверить. Кто сможет точно указать мне число очевидцев, потребное для того, чтобы чудо стало достойно веры? Если чудеса, сотворенные в подтверждение вашего учения, сами нуждаются в доказательствах, то к чему они пригодны? Лучше уж было не творить их вовсе.

Остается, наконец, самое важное исследование в данной области: некоторые утверждают, что если Бог творит чудеса на земле, то и дьявол иногда подражает ему в этом, а потому, даже располагая самыми достоверными свидетельствами о чудесах, мы все же ни на шаг не продвинемся вперед; так, жрецы фараона осмеливались в присутствии самого Моисея являть те же знамения, которые он показывал по особому повелению Бога; почему бы им, в его отсутствие, на том же основании не присвоить себе такое же право?! Итак, поверив данное учение чудом, надо еще поверить чудо учением\*, из опасения принять дело дьявола за дело божие. Что вы думаете об этой дилемме?

\* Это точно установлено во многих местах «Писания», между прочим во «Второзаконии», гл. XIII, где сказано, что если пророк, возвещающий пришествие чужих Богов, подтверждает свои речи чудесами и если его пророчества сбываются, то им не только нельзя придавать значения, но этого пророка следует предать смерти. Ведь язычники предавали же смерти апостолов, возвещающих им о пришествии чужого Бога и подтверждавших свою миссию пророчеством и чудесами, и я не вижу, какие веские доводы можно было бы выдвинуть против них, чтобы они тотчас не обернулись против нас. Но что делать в подобном случае? Только одно: обратиться к доводам рассудка и оставить в покое чудеса, к которым лучше было бы и вовсе не обращаться. К этому призывает их самый обычный здравый смысл, которому противопоставляют множество весьма тонких казуистических ухищрений. Ухищрения в христианстве! Стало быть, Иисус Христос был не прав, когда обещал царство небесное блаженным? Значит, он был не прав, когда самую прекрасную свою заповедь начал с восхваления нищих духом, если от нас требуется такая изощренность ума, чтобы понять его учение и научиться верить в него? Докажите мне, что я должен подчиниться, то все будет хорошо. Но для того, чтобы доказать мне это, говорите со мною, моим языком; соразмерьте тонкости ваших рассуждений со способностями нищего духом, или я не признаю в вас истинного последователя вашего владыки, а в ваших словах не услышу его истину.

Если это учение исходит от Бога, оно должно быть отмечено священной печатью Божества; оно не только должно прояснить те смутные представления, какие сформированы нашим рассудком, но должно также предложить нам исповедание веры, морали и правил, соответствующее тем символам, благодаря которым мы познаем его сущность. И стало быть, если бы это учение открывало нам одни лишь нелепые и бессмысленные явления, внушая чувство отвращения к людям и страх к самим себе, если бы оно изображало Бога гневного, ревнивого, мстительного, пристрастного, Бога — человеконенавистника, Бога войны и сражений, карающего нас огнем и мечом, вечно призывающего к мукам и страданиям и угрожающего даже невинным, то мое сердце отринуло бы этого страшного Бога и я остерегся бы покинуть естественную религию и последовать за той, которую проповедует такое учение, мой выбор был бы не в пользу последней. Ваш Бог — не наш, сказал бы я этим сектантам: Если он начинает с того, что делает своим

избранником один парод, пренебрегая остальной частью рода человеческого, то не может он быть отцом всех людей, ибо тот, кто обрекает на вечные мучения неисчислимое множество своих творений, тот не является Богом благодати и милосердия, который запечатлелся в моем уме.

Что касается догматов, то разум подсказывает мне, что они должны быть ясными, вседоступными, поражающими своею очевидностью. Если естественная религия не удовлетворяет нас, то это оттого, что она никак не освещает великие истины, которые преподает нам; только откровение может позволить человеческому уму глубже проникнуть в эти истины, растолковать их людям, заставить поверить в них. Вера утверждается и укрепляется путем понимания; лучшая из всех религий непреложна и самая ясная; та же, чей культ изобилует всяческими тайнами и противоречиями, никогда не заставит меня поверить в нее. Бог, которому я поклоняюсь, есть Бог света, а не тьмы; он наделил меня разумом не для того, чтобы запретить пользоваться им; и принудить меня ограничить разум — значит оскорбить его Создателя. Служитель истины не должен угнетать разум человеческий, он должен просвещать его.

Мы умолчали о влиянии человеческой личности, а между тем трудно себе представить, как, не прибегая к нему, один человек может убедить другого, проповедуя ему неразумное учение. Предоставим на мгновение этим двум людям возможность высказать свои соображения и посмотрим, что они смогут сказать друг другу, с той резкостью выражений, какая обычно свойственна спорящим сторонам.

#### Вдохновенный спорщик

Разум учит нас, что целое более велико, нежели его часть; я же утверждаю именем Бога, что отдельные части более велики, чем целое.

#### Вдумчивый спорщик

Кто вы такой, что осмеливаетесь утверждать, будто Бог противоречит себе; и кому я должен скорее верить: ему, который путем разума внушает мне вечные истины, или вам, возвещающему мне разные нелепицы от его лица?

#### Вдохновенный

Мне, ибо мое утверждение неоспоримо и я неопровержимо докажу, что это Бог говорит моими устами.

#### Вдумчивый

Как! Вы собираетесь доказывать, что Бог посылает вас свидетельствовать против него самого? Какого же рода будут ваши доказательства? Как вы будете убеждать меня в том, что Бог действительно говорит со мною вашими устами, а не при посредстве разумения, коим он наделил меня?

#### Вдохновенный

Разумение, которым он вас наделил! Тщеславный и мелкий человек! Как будто вы первый нечестивец, чей разум блуждает в дебрях греха!

Вдумчивый

Служитель божий, да ведь и вы не первый обманщик, выдающий свое высокомерие за доказательство своей высокой миссии.

Вдохновенный

Как! Философы также способны на оскорбления!

Вдумчивый

Иногда, когда святоши подают им в том пример.

Вдохновенный

О, я имею право так говорить; я вещаю именем Бога.

Вдумчивый

Хорошо бы вам доказать ваши права, прежде чем пользоваться своими привилегиями.

Вдохновенный

Мои права неоспоримы. И земля и небеса будут свидетельствовать в мою пользу. Дайте лишь себе труд хорошенько прислушаться к моим рассуждениям.

Вдумчивый

Ваши рассуждения! Как это пришло вам в голову заявлять, будто мой разум меня обманывает; не значит ли это опровергать то, что он мог бы сказать мне вместо вас? Тот, кто отвергает разум, должен уметь убеждать, не опираясь на него. Ибо, предположим, что ваши рассуждения убедили меня; а вдруг это именно мой развращенный грехом разум заставил меня одобрить все, что вы говорили? Впрочем, можете ли вы привести доказательство более очевидное, нежели аксиома, которую оно призвано опровергнуть? То, что хороший силлогизм является ложью, столь же вероятно, как и утверждение, что часть больше целого.

Вдохновенный

Какая разница? Мои доказательства не нуждаются в возражениях. Они входят в разряд сверхъестественного.

Вдумчивый

Сверхъестественного! Что значит это слово? Я его не понимаю.

Вдохновенный

Изменения в природном устройстве, пророчества, чудеса, всякого рода знамения.

Вдумчивый

Знамения, чудеса! Я никогда не видел ничего подобного.

Вдохновенный

Другие видели это за вас. Толпы свидетелей... Свидетельство народов...

Вдумчивый

Разве свидетельство народов относится к разряду сверхъестественных явлений?

Вдохновенный

Нет, но когда оно единодушно, оно неопровержимо.

Вдумчивый

Нет ничего более неопровержимого, чем принципы разума, и ни одну нелепицу нельзя признать на основании человеческого свидетельства. Повторяю еще раз, приведите другое доказательство сверхъестественного, ибо ссылка на свидетельство людей о чем бы то ни было таковым не является.

Вдохновенный

О, закостенелое сердце! Благодать не осенила вас!

Вдумчивый

Это не моя вина; ибо, если верить вашим словам, мы должны быть сперва приобщены к благодати, чтобы просить о ней. Начните же, за неимением таковой, говорить со мною сами.

Вдохновенный

Ах, я именно это и делаю, вы же не слушаете меня; но что вы скажете о пророчествах?

Вдумчивый

Прежде всего знайте, что я слышал не больше пророчеств, чем видал чудес. Я скажу больше: ни одно пророчество пи на йоту не прибавит мне веры.

Вдохновенный

Приверженец сатаны! Отчего же пророчества не прибавят вам веры?

Вдумчивый

Чтобы это случилось, нужны три обстоятельства, стечение которых почти невозможно: я должен быть свидетелем пророчества, затем стать свидетелем события и, наконец, быть совершенно уверенным, что совпадение пророчества с событием не случайно; но даже, если бы пророчество оказалось более определенным, более явственным, более верным, нежели геометрическая аксиома, даже если бы это пророчество, сделанное наугад, не исключало бы свершения предсказанного, даже и тогда свершение это не является доказательством точности предсказателя.

Посмотрите же, к чему сводятся ваши самозванные сверхъестественные доказательства, ваши чудеса, ваше пророчество! К тому, чтобы принимать все на веру с чужих слов, подчинять воле человека волю бога, который взывает к моему разуму. Если бы вечные истины, доступные моему уму, могли претерпеть такое кощунство, у меня не осталось бы никакой уверенности в чуде преосуществления, и, далекий от веры в то, что вы говорите от имени господя, я начал бы сомневаться даже в его существовании.

Вот какие трудности подстерегают вас, дитя мое, и это еще далеко не все. Среди стольких религий, взаимно отвергающих и исключаящих друг друга, только одна может быть настоящей, ежели таковая вообще существует. Чтобы убедиться в этом, недостаточно ознакомиться с одной из них, надо исследовать их все; и, что бы вы ни открыли в этих религиях, нельзя отвергать ни

одну из них, не проникнув сперва в ее суть \*. Надо уметь сравнивать возражения с доказательствами. Надо знать доводы, которые противники предъявляют друг другу, так же как и ответы на них. Чем более логичным представляется нам какое-либо высказывание, тем глубже нужно исследовать причину, заставляющую столько людей находить его таковым. Надо быть очень уж глупым, чтобы поверить, будто достаточно выслушать ученых твоего толка для того, чтобы узнать доводы противной стороны. Покажите мне богословов, которые старались бы проявлять благородство по отношению к противнику! Есть ли среди них такие, что не пытаются очернить своих соперников с целью переспорить их? Любой из них блистает в своих рядах, успешно похваляется своими доказательствами среди единомышленников, но, оказавшись среди противников, он может попасть в глупое положение, предъявив те же доводы. Вы хотите узнать их мнение из книг? Но какой широтой взглядов нужно обладать для этого, сколько языков изучить, со сколькими библиотеками познакомиться и какое количество трудов прочесть! Кто возьмется руководить вами при выборе книг? Едва ли вам удастся разыскать лучшие произведения, созданные соперничающей стороной; еще труднее будет собрать ученые труды всех партий на свете. Но, даже если бы таковые и удалось найти, мы очень скоро отвергли бы их сами, ибо отсутствующий всегда не прав, а высказанные с уверенностью плохие доводы легко берут верх над правильными, если эти последние изложены небрежно. К тому же ничто не бывает столь обманчиво, как книги, которые по меньшей мере неточно передают истинные побуждения тех, кто их написал. Если бы вы захотели судить о католической вере по книге Боссюэ<sup>87</sup>, то, пожив среди нас, убедились бы, как вы далеки от ее понимания. Вы бы увидели, что те положения, которые используются для диспутов с протестантами, сильно отличаются от истин, которые преподносятся народу, и что книга Боссюэ ни в чем не совпадает с проповедями, звучащими с амвонов. Дабы правильно судить о какой-нибудь религии, ее следует изучать не по книгам ее проповедников; ей нужно учиться прямо от них, только тогда вы достигнете желаемого. Каждый из этих людей имеет свои традиции, свой здравый смысл, обычаи, предрассудки, которые лежат в основе исповедуемой религии, и все это следует принять к сведению, дабы иметь возможность судить о ней.

\* Плутарх сообщает<sup>86</sup>, что стоики, между прочими странными парадоксами, высказывают такой: при наличии противоречивых суждений нет никакой надобности выслушивать обе стороны. Ибо, говорят они, либо одна из них сможет доказать свои слова, либо нет. Если она сумела доказать то этим все сказано, и противная сторона будет посрамлена; если же нет, стало быть, она не права и незачем продолжать спор. Я нахожу, что метод тех кто допускает исключительность откровения, очень походит на этот метод стоиков. Если каждая из сторон настаивает на своей правоте, следует выслушать обе стороны, чтобы затеи остановиться на каком-нибудь одном мнении, иначе мы поступим несправедливо.

Сколько великих народов вовсе не печатают книг и не читают наших! Как же им судить о наших убеждениях? И как нам судить об их культах? Мы их высмеиваем, они нас презирают; и если



наши путешественники называют нелепыми их нравы, то им, чтобы отплатить нам той же монетой, нужно только посетить нашу страну. В любой части света достаточно найдется людей здравомыслящих и искренних в своей вере, честных приверженцев истины, которые стремятся к ее познанию, желая приобщиться к ней. И однако, каждый видит ее лишь в своем культе, находя нелепым религиозные обряды других народов. А между тем чужие культы вовсе не являются такими причудливыми, как нам это кажется, и разумное обоснование нами наших обрядов в данном случае ровно ничего не доказывает.

В Европе существуют три основные религии. Одна из них допускает только одно откровение, вторая — два, третья — три. Каждая из них ненавидит и проклинает две другие, обвиняя их в ослеплении, глухоте, упорстве и лжи. Какой беспристрастный человек осмелится стать судьей между ними, не взвесив хорошенько предварительно их доводов и не выслушав доказательств? Религия, допускающая одно откровение, является наиболее древней и кажется наиболее надежной. Та, что допускает три откровения, — самая молодая и кажется самой последовательной. Религия, признающая два откровения и отвергающая третье, могла бы быть наилучшей, но она отличается множеством вредящих ей предрассудков и несоответствий, бросающихся в глаза.

Священные книги религии, допускающей три откровения, написаны на языках, неизвестных народам, которые ее исповедуют. Евреи не знают больше древнееврейского языка; христианам незнаком ни древнееврейский, ни греческий. Турки и персы не понимают арабский язык, да и сами современные арабы не говорят больше на языке Магомета. Вот, не правда ли, удачная находка — проповедовать религию людям, говоря с ними на непонятном им языке? Мне ответят, что эти книги переведены. Прекрасный ответ! Кто меня убедит, что книги эти переведены точно, точный перевод вообще возможен?! И если Бог захочет обратиться прямо к людям, то он обойдется без помощи толмача.

Я никогда не соглашусь с тем, что в книгах заключено все знание, потребное людям, и что человек, которому недоступны эти книги и их толкователи, может быть наказан за свое невольное невежество. Всюду книги! Что за мания чтения! Европейцы смотрят на нее как на должное, потому что Европа наводнена книгами: они читают их, не думая о том, что на трех четвертях земного шара их никогда и не видывали. Разве не все книги написаны людьми? Так ли нужны они человеку, чтобы знать свои обязанности? И каким образом он узнавал о них до того, как люди начали писать книги? Нет, либо он сам научится выполнять свой долг, либо ему и знать о нем не надобно.

Наши католики много шумят об авторитете церкви; но что они от этого выигрывают, если им необходим целый арсенал доказательств для того, чтобы этот авторитет был установлен? В этом наша церковь недалеко ушла от всех прочих, желающих утверждать свое учение. Церковь выносит решение о том, что церковь имеет право решать. Не правда ли, вот прекрасное доказательство ее всевеличия! Освободитесь от него, и снова разгорятся все наши споры.

Много ли вы знаете христиан, что потрудились внимательно исследовать те тексты, с помощью которых иудаизм борется против христианства? Если некоторые из них и сумели кое-что узнать, так только из книг, написанных христианами. Великолепный способ знакомиться с доводами своих противников! Но как быть иначе? Ведь осмелюсь кто-нибудь издать у нас книгу, где открыто отдавалось бы предпочтение иудейству, мы обрушили бы кары и на автора, и на издателя, и на книгопродавца. Подобная мера удобна и надежна, а значит, всегда найдет себе оправдание. Как приятно опровергать мнение людей, не смеющих защищаться!\*

\* Среди тысяч известных фактов останавливаюсь на одном, не нуждающемся в комментариях. Когда в шестнадцатом веке католические богословы осудили на сожжение все еврейские книги, без разбора, достославный и ученый Рейхлин<sup>88</sup>, к которому обратились за советом по этому поводу, навлек на себя страшные гонения, едва не погубившие его, и это только потому, что он высказался за сохранение нескольких книг, в которых ни слова не говорилось против христианства и обсуждались вопросы, вовсе не имеющие отношения к религии.

Но и те из нас, кто имеет возможность вступать в беседы с евреями, также не много преуспели. Несчастные чувствуют себя в нашей власти; тирания, проявляемая по отношению к ним, делает их робкими; они знают, что христианскому милосердию ничего не стоит проявить несправедливость и жестокость; что могут они сказать, не рискуя навлечь на себя обвинение в богохульстве? Алчность увеличивает наш христианский пыл, а они слишком богаты, чтобы не быть виноватыми. Кроме того, наиболее ученые и просвещенные из евреев всегда наиболее осмотрительны. Вам, быть может, и удастся обратить в свою веру какого-нибудь бедняка, который за определенную мзду согласится изменить вере отцов; вы заставите вторить вам одного-двух жалких старьевщиков, уступивших, чтобы польстить вам; вы станете торжествовать над их невежеством или трусостью, тогда как их раввины лишь молча улыбнутся вашему недомыслию. Но неужели вы полагаете, что там, где они чувствуют себя в безопасности, их можно дешево купить?

Ясно как день, что в Сорбонне предсказания мессии припишут Иисусу Христу. Амстердамские же раввины,— и это тоже ясно, заявят, что предсказания эти не имеют к нему ни малейшего отношения. Я до тех пор буду считать, что недостаточно глубоко вник в толкование раввинами их учения, пока они не заведут свободное государство, школы и университеты, где они могли бы говорить и спорить, ничем не рискуя. Тогда, и только тогда, мы сможем узнать их истинные мысли.

В Константинополе турки приводят свои доводы, а мы не смеем привести свои; в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Если турки требуют от нас такого же почтения к Магомету, в которого мы не верим, какого мы требуем от евреев к Иисусу Христу, в которого они верят не более, чем турки, то виноваты ли турки? Правы ли мы? На какой разумной основе мы разрешим этот вопрос?

Две трети рода человеческого не принадлежат ни к евреям, ни к магометанам, ни к христианам; а сколько миллионов людей никогда и не слыхивали о Моисее, об Иисусе Христе, о Магомете? С этим положением спорят, утверждая, что миссионеры уже проникли повсюду. Легко сказать «повсюду», но разве они проникли в сердце еще не известной нам Африки, куда до сих пор еще не ступала нога европейца? Разве побывали они у татар, разве следовали верхом на лошадях за кочующими ордами, к которым еще никогда не приближался чужеземец и которые не только никогда не слыхали о папе, но едва ли что-нибудь знают и о великом Ламе? Добрались ли они до необъятных просторов Америки, где целые народы находятся еще в полном неведении относительно того, что кто-то из обитателей другого мира ступил на их землю? Едут ли они в Японию, откуда их навсегда изгнали и где нарождающимся поколениям рассказывают об их предшественниках, как о лукавых интриганах, лицемерно прикрывающихся пылкими проповедями, дабы втихомолку завладеть империей? Посещают ли они гаремы азиатских властителей, чтобы проповедовать Евангелие тысячам бедных рабынь? Чем так уж провинились женщины этой части света, что ни один миссионер не имеет возможности обратить их в истинную веру? Неужели им всем предстоит попасть в ад только за то, что они были на положении пленниц?

Но даже если и правда то, что евангельское учение распространилось по всей земле, какой в том толк? Накануне того дня, как первый миссионер явился в некую страну, там наверняка умер кто-нибудь, кто, таким образом, не смог услышать его проповеди. Так вот, скажите мне, что же будет с этим умершим? Если во всей Вселенной останется хоть один человек, никогда не слыхавший проповедей об Иисусе Христе, то не все ли равно, осудить одного этого человека или же целую четверть рода человеческого?

Предположим, что проповедники Евангелия донесли свои голоса до самых отдаленных народов: какое же из их слов могло быть принято на веру, не требуя самой тщательной проверки? — «Вы объявляете мне о Боге, родившемся и умершем две тысячи лет тому назад на другом конце света, в неизвестном маленьком городишке, и утверждаете, будто те, кто не поверит в это таинство, будут прокляты. Не слишком ли необычно это явление, чтобы в него нужно было поверить тотчас же на основании свидетельства одного лишь человека, совершенно мне неизвестного?! Почему это ваш Бог повелел, чтобы события, которыми я должен восхищаться, произошли так далеко от меня? Разве это преступление — не знать, что делается у антиподов? Как я могу догадаться, что на другом полушарии существовал когда-то еврейский народ и город Иерусалим? С таким же успехом от меня могли бы потребовать сведений о том, что творится на лупе. Вы говорите, что пришли сюда, дабы возвестить мне это; но почему вы не явились за тем же к моему отцу и за что вы осуждаете этого доброго старика, которому не довелось вас услышать? Отчего же ему суждено нести вечную кару за ваше нерадение, ему, который всегда был так добр, благодетен и привержен правде? Будьте добросовестны и, поставив себя на мое место, скажите: должен ли я, на основании одного только вашего свидетельства, поверить тем невероятным вещам, о которых вы мне

сообщили, и примирить столько несправедливостей с понятием о справедливом Боге, коего существование вы мне возвещаете? Окажите милость, покажите мне ту отдаленную страну, где творится столько чудес, невиданных у нас! Объясните мне, почему обитатели этого самого Иерусалима обошлись с Господом как с разбойником. Вы утверждаете, что они не признали его за Бога? А что же делать мне, никогда не слыжавшему о нем ни от кого, кроме как от вас? Вы оправдываетесь тем, что они понесли наказание, были рассеяны по всей земле, угнетены, обращены в рабство; что никто из них больше не приближается к этому городу. Несомненно, они вполне заслужили это, но что говорят нынешние жители города о богоубийстве, совершенном их предшественниками? Они отказываются от этого, они также не признают Бога за Бога? Так не проще ли было бы оставить город прямым потомкам тех людей?

Как! в том самом городе, где умер Бог, ни древние, ни современные его обитатели не признавали и не признают Бога! А вы хотите, чтобы я, который родился две тысячи лет спустя и в двух тысячах лье отсюда, признал его?! Неужто вам непонятно, что, прежде чем поверить этой книге, называемой священной, в которой тем не менее я ничего не понимаю, я должен узнать не от вас, а от других, когда и как она была составлена, как сохранилась и дошла до вас; какие доказательства приводят те, что отрицают ее, — отрицают, хотя знакомы с вашим учением так же хорошо, как вы сами. Вам должно быть ясно, что мне совершенно необходимо побывать в Европе, Азии, Палестине, чтобы самому все расследовать; только безумец мог бы принять вашу религию, не сделав этого».

Вот такое рассуждение кажется мне вполне разумным; более того, я утверждаю, что каждый здравомыслящий человек должен рассуждать в подобном случае именно так, отослав подальше миссионера, который, не давая никакого доказательства Своих слов, спешит наставить и окрестить бедного грешника. И я настаиваю, что вышеизложенные возражения годны для любой религии так же, как и для христианской. Отсюда следует, что если и существует истинная религия и если каждый человек обязан исповедовать ее под страхом проклятия, то следует всю свою жизнь провести в изучении, углублении, сравнении всех остальных религий и в путешествиях по тем странам, где они возникли. Никто не освобождается от этого первейшего человеческого долга, никто не имеет права полагаться на чужое суждение. Ремесленник, живущий только своим трудом, неграмотный пахарь, нежная и робкая девушка, калека, еле сползающий со своего ложа, — все без исключения должны изучать, размышлять, оспаривать, путешествовать, разъезжать по свету: не будет больше оседлого народа; по всей земле пойдут пилигримы, решившиеся на далекие странствия; не считаясь ни с большими издержками, ни с длительной усталостью, они будут проверять, сравнивать и исследовать различные культы. И тогда прощай ремесла, искусства, науки людей и все их гражданские обязанности; тогда не будет иных занятий, кроме исследования религии; и едва ли тот, кто пользовался самым крепким здоровьем, умел лучше употребить свое

время и разум не прожил больше всех, хотя бы к концу жизни поймет что-нибудь путное,— хорошо еще, если перед смертью он по крайней мере узнает, в какой вере ему следовало жить.

Если же вы согласитесь смягчить этот метод и дадите человеку малейшую возможность проявить свою волю при избрании религии, значит, вы сдали все свои позиции: ведь сын христианина следует религии своего отца, не вдумываясь в ее суть, и, как вы полагаете, он поступает хорошо, так почему же сын турка делает плохо, следуя религии своего отца? Все, кто не терпит иноверия, не ответят на это ничего, что удовлетворило бы здравомыслящего человека.

Под давлением таких доводов одни скорее предпочтут навлечь на Бога обвинения в несправедливости, наказывая невинных за грехи отцов, нежели отказаться от своего варварского догмата. Другие выходят из затруднения, неизменно посылая ангела просветить того, кто, оставаясь непросвещенным в отношении религии, отличался бы в то же время высокой нравственностью. Прекрасная выдумка этот ангел! Им мало того, что они развратили народ всеми этими выдумками,— они и самого господа Бога хотели бы заставить пользоваться ими.

Вы видите, сын мой, до какой нелепости доходит гордость и нетерпимость, когда каждый упорствует в своем мнении и уверен, что из всего рода человеческого он один прав. Беру в свидетели того Творца мира, которому поклоняюсь и которого вам возвещаю, что все мои поиски были искренни. Но, видя, что они были и всегда будут безуспешными и что я погружался в безбрежный океан, я возвратился к самому себе и ограничил свою веру первоначальными своими понятиями. Я не мог никогда поверить, чтобы Бог повелевал мне под угрозой адом быть ученым. Итак, я запер все книги. Одна только книга открыта всем очам, это книга природы. Из этой великой и возвышенной книги я и научаюсь служить и поклоняться своему Божественному Создателю. Никому не извинительно не считаться, потому что она говорит всем людям и языком, понятным для всех умов. Если бы я родился на пустынном острове, если бы я не видал иного человека, кроме себя, если бы я никогда не знал того, это совершилось в древности в одном уголке мира, я все-таки, упражняя свой разум и развивая его, пользуясь надлежащим образом непосредственными, дарованными мне Богом способностями, сам по себе научился бы познавать Его, любить Его, любить дела Его, желать блага, которого Он желает, и, чтобы угодить Ему, исполнять все свои обязанности на земле. Чему большему научило бы меня и все людское знание?

Признаюсь вам также, что святость Евангелия это такой аргумент, который говорит моему сердцу и против которого мне даже жаль было бы найти какое-нибудь дельное возражение. Посмотрите на книги философов со всею присущею им пышностью; как они ничтожны по сравнению с этой книгой! Возможно ли, чтобы книга, столь возвышенная и в то же время столь простая, была произведением человеческим? Возможно ли, чтобы тот, о ком она повествует, и сам был только человеком? Таков ли тон энтузиаста или честолюбивого основателя секты? Какая кротость, какая чистота в Его нравах! какая трогательная прелесть в Его наставлениях! какая возвышенность в Его правилах! какая глубокая мудрость в Его беседах! какое присутствие духа,

какая тонкость и правильность в Его ответах! какое у Него господство над страстями! Где человек, где мудрец, который умеет действовать, страдать и умирать без проявления слабости и без самохвальства? Когда Платон изображает своего воображаемого праведника\*, заклеянного всем позором преступления и достойного всех наград добродетели<sup>89</sup>, он черта в черту рисует Иисуса Христа; сходство столь поразительно, что все святые Отцы<sup>90</sup> чувствовали его, да и нельзя на этот счет ошибиться. Какие предрассудки, какое ослепление нужно иметь, чтобы осмелиться сравнивать сына Софрониска<sup>91</sup> с Сыном Марии! Какая разница между одним и другим! Сократ, умирающий без боли, без позора, легко выдерживает до конца свою роль; и если бы эта легкая смерть не покрыла потом его жизнь, можно было бы сомневаться, не был ли Сократ, при всем своем уме, не чем иным, как софистом. Он изобрел, говорят, мораль; но другие раньше него применяли ее на практике: он лишь говорил то, что те делали, он лишь извлекал уроки из их примеров. Аристид<sup>92</sup> был справедливым прежде, чем Сократ определил, что такое справедливость; Леонид<sup>93</sup> умер за свою страну прежде, чем Сократ из любви к отечеству создал долг; Спарта была воздержанною прежде, чем Сократ воздал должную похвалу воздержанности; прежде чем он дал определение добродетели, Греция изобиловала добродетельными людьми. Но где у своего народа мог Иисус заимствовать эту возвышенную и чистую мораль, уроки и пример которой он один давал? Из среды самого бешеного фанатизма провозглашена была самая возвышенная мудрость, и простодушие самых героических добродетелей почтило презреннейший из всех народов. Смерть Сократа, спокойно философствовавшего со своими друзьями,— самая приятная, какую только можно пожелать; смерть же Иисуса, испустившего дух среди мук, поносимого, осмеиваемого и проклинутого всем народом,— самая ужасная, какой только можно бояться. Сократ, принимая чашу с отравой, благословляет человека, с плачем подающего ее; Иисус, среди ужасного мучения, молится за своих остервенелых палачей. Да, если жизнь и смерть Сократа достойны мудреца, то жизнь и смерть Иисуса суть жизнь и смерть Бога. Скажем ли мы после этого, что евангельская история произвольно вымышлена? Друг мой, вымыслы бывают не таковы; а деяния Сократа, в которых никто не сомневается, менее засвидетельствованы, чем деяния Иисуса Христа. В сущности это значило бы переносить в другое место трудность, а не устранять ее; непостижимым было бы еще более предположение, что несколько человек сообща сфабриковали эту книгу, сюжет для которой доставило всего одно лицо. Иудейские писатели никогда не выдумали бы ни этого тона, ни этой морали; а Евангелие заключает в себе столь великие, столь поразительные, столь неподражаемые черты истины, что изобретатель был бы еще более удивительным, чем самый герой. Но при всем том, это самое Евангелие полно вещей невероятных, вещей, которые противоречат разуму и которые невозможно ни одному разумному человеку ни постичь, ни допустить. Что делать среди всех этих противоречий? Быть, дитя мое, всегда скромным и осмотрительным, уважать молча то, чего не можешь ни отвергнуть, ни понять, и смиряться перед Великим Существом, которое одно знает истину. Вот тот невольный скептицизм, в котором я

пребываю, но этот скептицизм несколько для меня не тягостен, потому что он не простирается на существенные для практической жизни пункты и потому что я имею твердо установившийся взгляд на основы всех моих обязанностей. Я служу Богу в простоте своего сердца. Я стремлюсь знать лишь то, что важно для моего поведения. Что касается догматов, которые не оказывают влияния ни на поступки, ни на мораль и над которыми мучаются столько людей, то я несколько о них не беспокоюсь. Я смотрю на все частные религии как на спасительные учреждения, которыми в каждой стране предписывается однообразный способ поклонения Богу путем общественного культа и которые все могут иметь для себя основание в климате, правлении, народном характере или в какой-нибудь другой местной причине, делающей одну из них более предпочтительною, чем другая, смотря по времени и месту. Я считаю все их хорошими, если люди при них надлежащим образом служат Богу. Существенное служение Богу — это служение в сердце. Бог не отвергает поклонения, когда оно искренне, под какой бы формой оно ни предлагалось. Призванный на служение церкви в той религии, которую я исповедую, я со всею возможною тщательностью выполнял предписанные мне труды, и совесть моя упрекала меня, если я добровольно манкировал в каком-нибудь отношении своими обязанностями. После долгого запрещения я получил, как вы знаете, благодаря влиянию г. Меллареда, позволение вернуться к исполнению своих обязанностей, чтобы иметь средства для пропитания. Прежде я служил мессе с тем легкомыслием, которое мы постепенно проявляем по отношению к важнейшим вещам, если их выполняем слишком часто; со времени усвоения своих новых принципов я служу ее с большим благоговением: я проникаюсь величием Верховного Существа, мыслью о его присутствии, о недостаточности человеческого ума, который столь мало постигает все относящееся к его Творцу. Не забывая, что я возношу Ему в установленной форме обеты народа, я тщательно слежу за всеми обрядами; я читаю внимательно, стараюсь никогда не пропустить ни одного слова и ни одной обрядности; когда приближается момент освещения даров, я отрешаюсь от всего земного, чтобы совершить его в том настроении, которого требует церковь и величие таинства; я стараюсь уничтожить свой разум перед Верховным Разумением; я говорю себе: «Кто ты такой, что пытаешься измерять бесконечное могущество?» Я произношу с почтением священные слова и питаю в их действии всю ту веру, которая от меня зависит. Что бы ни скрывалось за этою непостижимой тайной, я не боюсь, что в день суда буду наказан за то, что оскорблял ее когда-нибудь в своем сердце.

\* Государство, Диалоги, 2.

\*\* Смотрите Евангелие от Матфея, стих 5, V, 21.

Будучи удостоен священнослужения, хотя и в низшем сане, я не стану никогда ни совершать, ни говорить ничего такого, что делало бы меня недостойным исполнять высокие обязанности. Я всегда буду проповедовать людям добродетель, буду всегда увещевать их делать добро и, пока буду в состоянии, стану подавать им пример этого. Не в моей власти сделать религию любимой для них, не от меня зависит укрепить их веру в догматах истинно полезных, в таких, которым

всякий человек обязан верить; но сохрани меня Бог, если бы я стал когда-нибудь проповедовать им жестокий догмат нетерпимости, если бы я когда-либо заставлял их проклинать своего ближнего, говорить другим людям: «вы будете осуждены», говорить: «вне церкви нет спасения!»\* Если бы я был в сани, более выдающемся, это уклонение могло бы доставить мне много хлопот; но я настолько ничтожен, что мне нечего особенно бояться, и я почти не могу спуститься ниже, чем я теперь. Что бы там ни случилось, я не стану никогда хулить божественную справедливость и не буду лгать на духа святого.

\* Обязанность держаться религии своей страны и любить эту религию не простирается на догматы, противные доброй нравственности, такие, как догмат нетерпимости. Этот именно ужасный догмат и вооружает одних людей на других и делает всех их врагами человеческого рода.

Я долго добивался чести быть приходским священником; я и теперь еще добиваюсь, но уже не надеюсь на это. Я ничего не нахожу, мой добрый друг, прекраснее звания священника<sup>94</sup>. Хороший священник — служитель добра, как хороший судья есть служитель справедливости. Священнику совершенно незачем делать зло; если он не может сам по себе всегда делать добро, то для него всегда уместное дело — побуждать к этому других, и он часто достигает цели, если умеет внушить к себе уважение. О, если бы у меня был в наших горах какой-нибудь бедный приход, среди добрых людей! Я был бы счастлив; ибо мне кажется, что я составлял бы счастье своих прихожан. Я не делал бы их богатыми, но разделял бы их бедность; я снимал бы с них пятно позора и презрения, более невыносимого, чем самая нужда. Я заставлял бы их любить согласие и равенство, которые часто изгоняют нищету и делают ее всегда сносною. Когда они видели бы, что мне живется ничем не лучше, чем им, и я все-таки доволен жизнью, они научились бы утешаться в своем жребии и жить довольными, как я. В своих наставлениях я держался бы не столько духа церкви, сколько духа Евангелия, где догматы просты и мораль возвышенная, где мало различных обычаев и много дел христианской любви. Прежде чем преподавать им, что нужно делать, я всегда старался бы выполнить это на практике, чтобы они хорошо видели, что у меня слова ни в чем не расходятся с мыслью. Если бы у меня в соседстве или в приходе были протестанты, я не делал бы различия между ними и моими настоящими прихожанами во всем том, что касается христианской любви; я всех их одинаково побуждал бы к взаимной любви, склонял бы смотреть друг на друга, как на братьев, уважать все религии и мирно жить каждому в своей. Я думаю, что побуждать кого-нибудь покинуть ту религию, в которой он родился,— значит побуждать делать зло, а следовательно, и самому его делать. В ожидании большего просвещения станем охранять общественный порядок; станем уважать во всякой стране законы и не будем нарушать культа, который они предписывают: не будем склонять граждан к неповиновению; ибо мы не знаем достоверно, лучше ли для них будет переменять свои убеждения на другие, но очень хорошо знаем, что неповиновение законам есть зло.



Я только что изложил вам, юный друг, мое исповедание веры в том виде, как бог читает в моем сердце; вы первый, перед которым я это сделал: вы, быть может, единственный человек, который будет это знать. Пока остается некоторая добрая вера между людьми, не нужно смущать мирных душ и тревожить верования простых людей трудностями, которых они не в состоянии разрешить и которые тревожили бы их, не просвещая. Но раз все поколеблено, нужно сохранить ствол, пожертвовав ветвями. Совесть волнуемая, нерешительная, почти погасшая и находящаяся в таком состоянии, как была ваша, нуждается в подкреплении и пробуждении; и, чтобы снова дать ей прочную основу в вечных истинах, нужно окончательно вырвать те колебавшиеся столбы, за которые она думает еще удержаться.

Вы в том критическом возрасте, когда ум приучается ценить достоверность, когда сердце получает свою собственную форму и свой характер, когда человек определяется на всю жизнь, будь то в хорошую сторону или в другую. Позднее сущность утрачивается, и новые заимствования уже не заметны. Молодой человек, налагайте на вашу душу, пока еще гибкую, печать истины. Если бы я был более уверен в себе, я принял бы по отношению к вам догматический и решительный тон; но я — человек невежественный, подверженный заблуждению; что я мог делать? Я открыл вам свое сердце без всякой утайки; что я принимаю за достоверное, то и вам я выдал за таковое же; сомнения свои я выдавал вам за сомнения, мнения свои — за мнения; я высказал вам, почему я сомневаюсь и почему верую. Теперь ваше дело — судить; вы потребовали отсрочки; это предосторожность разумная: она внушает мне хорошее мнение о вас. Начните с того, чтобы сделать свою совесть способной желать просвещения. Будьте искренни с самим собою. Усвойте из моих чувствований то, в чем я убедил вас, отбросьте остальное. Вы еще не настолько испорчены пороком, чтобы для вас была опасность сделать дурной выбор. Я предложил бы вам переговорить об этом сообща; но когда вступают в споры, сейчас же является задор; примешивается тщеславие и упорство, и всякое чистосердечие пропадает. Друг мой, никогда не вступайте в споры; ибо спором не просвещают ни себя, ни других. Что касается меня, то лишь после многих лет размышления я принял решение; и я держусь его, моя совесть спокойна сердце мое довольно. Если бы мне захотелось произвести новое испытание своих чувствований, я не внес бы в него более чистой любви к истине, и ум мой. уже не столь деятельный, был бы менее способен познавать ее. Я останусь при теперешнем образе мыслей из опасения, чтобы склонность к созерцанию, став праздною страстью, незаметно не охладила моего рвения к исполнению своих обязанностей и чтобы мне снова не впасть в прежний скептицизм, выйти из которого у меня уже не было бы сил. Больше половины моей жизни протекло, и мне едва хватит времени на то, чтобы извлечь пользу из остального и добродетелями загладить свои заблуждения. Если я обманываюсь, то помимо воли. Кто читает в глубине моего сердца, тот хорошо знает, что я неохотно пребываю в ослеплении. При невозможности избавиться от него путем моих собственных познаний, для меня остается единственным средством выйти из него — добрая жизнь; и если даже из камней Бог

может породить детей Аврааму, то всякий человек имеет право надеяться получить внутреннее просвещение, когда он делается достойным его.

Если мои размышления приводят вас к тому же образу мыслей, какой имею я, если мои чувствования становятся вашими и вы принимаете такое же исповедание веры, то вот какой я даю вам совет: не подвергайте дольше вашу жизнь искушениям нищеты и отчаяния; не влачите ее с позором, на иждивении иноземцев; перестаньте питаться дешевым хлебом милостыни. Вернитесь в свое отечество, принимайте снова религию своих отцов, держитесь ее в чистоте своего сердца и уже не покидайте; она — самая простая и самая святая; из всех религий, существующих на земле, это, по-моему, такая, мораль которой наиболее чиста и которую больше всего удовлетворяется разум. Что касается издержек путешествия, то не затрудняйтесь этим вопросом: вас снабдят нужным. Не бойтесь также фальшивого стыда по поводу унижительного возвращения; краснеть нужно за промахи, а не за исправление их. Вы еще в таком возрасте, когда все прощается, но когда нельзя уже грешить безнаказанно. Когда вы захотите слушаться своей совести, тысячи пустых препятствий исчезнут по ее голосу. Вы почувствуете, что при той неизвестности, в которой мы находимся, было бы непростительным самомнением исповедовать другую религию, а не ту, в которой мы родились, и было бы криводушием не исполнять искренно предписаний религии, которую исповедуешь. Кто сбивается с пути, тот отнимает у себя важный повод к извинению перед судилищем Верховного судьи. Не простит ли он скорее то заблуждение, в котором мы воспитаны, чем то, которое мы осмелились сами себе выбрать?

Друг мой, пусть душа ваша всегда будет в таком состоянии, чтобы она желала существования Бога, — и вы никогда не будете в этом сомневаться. Впрочем, чью сторону вы ни приняли бы, помните, что религиозные обязанности независимы от людских учреждений, что праведное сердце есть истинный храм Божества, что во всякой стране и во всякой секте суть нравственного закона заключается в том, чтобы любить Бога выше всего и ближнего своего, как самого себя, что нет религии, которая избавляла бы от нравственных обязанностей, что только эти обязанности истинно необходимы, что внутреннее богопочитание — первая из этих обязанностей и что без веры не существует никакой настоящей добродетели.

Бегите тех, которые под предлогом объяснения природы сеют в человеческие сердца прискорбные учения и наружный скептицизм которых во сто раз положительнее и догматичнее, чем решительный тон их противников. Под высокомерным предлогом, будто они одни просвещены, правдивы и искренни, они властно подчиняют нас своим резким определениям и выдают нам за истинные принципы вещей невразумительные системы, созданные в их воображении. Впрочем, низвергая, разрушая и попирая ногами все, что люди почитают, они отнимают у людей, удрученных горем, последнее утешение в их несчастьи, а у могущественных отнимают единственную узду, сдерживавшую их страсти; они вырывают из глубины сердец чувства раскаяния в совершенном преступлении, надежду на добродетель и еще хвастливо

выставляют себя благодетелями рода человеческого. Никогда, говорят они, истина не бывает вредною для людей. Я в этом уверен, как и они, и, по моему мнению, что важное доказательство того, что преподаваемое ими учение не есть истина\*.

\* Обе партии нападают друг на друга с помощью такой массы софизмов, что желание разобрать их все было бы непосильной и безрассудной попыткой; достаточно будет и того, если отметим некоторые из них, по мерс того как они представляются. Одним из самых обычных для философской партии софизмов является противоположение предполагаемого народа, составленного из хороших философов, народу, состоящему из дурных христиан,— как будто нацию истинных философов легче создать, чем нацию истинных христиан! Я не знаю, легче ли между отдельными лицами найти одного, чем другого; но я хорошо знаю, что раз речь идет о народах, то нужно предположить и таких лиц, которые без религии будут злоупотреблять философией, подобно тому как наш народ злоупотребляет религией, не зная философии; и этим, мне кажется, значительно изменяется положение вопроса.

Бейль очень убедительно доказал, что фанатизм пагубнее атеизма — и это неоспоримо; но не менее верно и то, чего он не хотел высказать именно что фанатизм, хотя бы кровавый и жестокий, есть великая сильная страсть, возвышающая сердце человека, заставляющая его презирать смерть и дающая ему чудесную силу, и что, стоит его лучше направить, и тогда из него можно извлечь самые возвышенные добродетели; меж тем безверие и вообще дух, склонный к умствованиям и философствованию, привязывает к жизни, изнеживает, уничивает души, центром всех страстей делает низкий личный интерес, гнусное человеческое «я», и, таким образом, втихомолку подкапывает истинный фундамент всякого общества; ибо общее в частных интересах настолько ничтожно, что никогда не перевесит того, что есть в них противоположного.

Если атеизм не ведет к пролитию людской крови, то это не столько вследствие миролюбия, сколько вследствие равнодушия к благу; как бы ни шли в мире дела, это мало касается мнимого мудреца — лишь бы ему оставаться покойно в своей кабинете. Его принципы не ведут к убийству людей, но они мешают им нарождаться, так как разрушают нравы, ведущие к размножению людей, отрешают последних от людского рода, сводят все их привязанности к скрытому эгоизму, столько же губительно для народонаселения, как и для добродетели. Философское равнодушие похоже на спокойствие государства под игом деспотизма; это — спокойствие смерти; оно разрушительнее самой войны.

Таким образом, хотя фанатизм до своим непосредственным действиям губительнее того, что теперь называют философским духом, но в своих отдаленных последствиях он гораздо менее губителен. Притом же в книгах легко выставить напоказ прекрасные правила; но весь вопрос в том, основаны ли они на учении, необходимо ли они из него вытекают; а этого до сих пор ясно не обнаруживалось. Остается еще знать, сумеет ли философия, когда она будет при полной свободе и на троне, хорошо повелевать мелким тщеславию, корыстью, честолюбием, мелкими страстями

людей и проявит ли на деле то столь нежное человеколюбие, которым хвалится, держа в руке перо.

Со стороны принципов философия не может создать никакого блага, которого не создала бы еще лучше религия, а религия много создает такого, чего философия не может создать.

Со стороны практики — другое дело; но тут нужно еще исследовать вопрос. Ни один человек не следует во всем своей религии, если он имеет ее,— это верно; большинство людей почти не имеют ее и вовсе не следуют той, которой держатся,— это тоже верно; но некоторые ведь все-таки имеют же религию и следуют ей, по крайней мере отчасти, а нет сомнения, что религиозные мотивы часто препятствуют им делать зло и вызывают их на добродетели, на похвальные поступки, которых не было бы без этих мотивов.

Если монах отрицает вклады, то что отсюда следует, как не то, что доверивший их ему был глупцом? Если бы Паскаль<sup>95</sup> отрицал вклады, это доказывало бы, что Паскаль был лицемером, — и ничего больше. Но монах! Можно ли, значит, о людях, промышленяющих религией, сказать что они веруют? Все преступления, которые совершаются среди духовенства, как и в других местах, доказывают не то, что религия бесполезна, но что очень немногие люди веруют.

Наши современные правительства, бесспорно, обязаны христианству большей прочностью своей власти и малочисленностью революций; оно и самые правительства сделало менее кровавыми; это фактически доказывается сравнением их с древними правительствами. Религиозное просвещение, изгоняя фанатизм, придало больше мягкости христианским правам. Это изменение не дело литературы; ибо всюду, где литература процветала, человечность не была в большом почете; об этом свидетельствуют жестокости афинян, египтян, римских императоров, китайцев. Сколько дел милосердия совершено во имя Евангелия! Сколько раз возвращалось отнятое, сколько дано удовлетворений благодаря исповеди, которая практикуется у католиков. Сколько примирений и сколько милостыни вызывается я У нас приближением времени причащения! Как сдерживал еврейский юбилейный год жадность узурпаторов! Сколько бедствий он предупреждал! Основанное на законе братство объединяло всю нацию; среди нее не встречалось ни одного нищего. Их нет также у турков, где благотворительные учреждения бесчисленны: турки гостеприимны, но требованию религии, даже по отношению к врагам своей веры.

«Магометане утверждают,— говорит Шарден,— что после испытания, которое последует за всеобщим воскресением, все тела пойдут через мост, называемый *пуль-серро*, перекинутый над вечным огнем,— мост, который можно назвать, говорят они, третьим и последним испытанием и настоящим страшным судом, потому что там именно произойдет отделение добрых от злых» п т. д.

«Персы,— продолжает Шарден,— очень любят упоминать этот мост; и когда кто-нибудь терпит обиду, за которую никоим образом никогда не мог бы получить удовлетворение, то последним утешением для него бывают слова: «Ну, хорошо же! Клянусь живым богом, ты мне заплатишь за

это вдвойне в судный день; ты не пройдеши моста *пуль-серро*<sup>96</sup>, прежде чем меня не удовлетворишь; я уцеплюсь за край твоей одежды и брошусь к твоим ногам». Я знал многих выдающихся людей, и притом всяких профессий, которые, боясь, чтобы кто-нибудь не закричал им «стой!» при переходе по этому страшному мосту, выпрашивали прощения у тех, кто жаловался на них; это сотни раз случалось со мною самим. Люди знатные, которые назойливо заставляли меня совершать нежелательные для меня поступки, подходили ко мне, спустя некоторое время, когда полагали, что огорчение мое прошло, и говорили мне: «Прошу тебя, *галал бекон анишисра*», т. е. извини мне это. Иные даже делали мне подарки и оказывали услуги, чтобы я простил им и показал, что делаю это от всего сердца; причиной всего это служило не что иное, как верование, что нельзя будет пройти адский мост, если не заплатишь до последнего гроша тем, кого угнетали<sup>97</sup> (Том VII, с. 50).

Поверю ли я, чтобы мысль об этом мосте, дающем удовлетворение за столько обид, никогда не предупреждала этих последних? Если отнять у персов эту идею, убедив их, что нет никакого *пуль-серро* я ничего подобного, где бы угнетенные мстили по смерти своим тиранам, то не ясно ли, что это дало бы последним полную свободу и избавило бы их от заботы успокаивать этих несчастных? Значит, не правда, что такая философия не была бы вредной; она, значит, не была бы истинной. Философ, твои нравственные законы очень прекрасны; но покажи мне, сделай милость, чем они санкционируются. Перестанем хоть на один момент молоть вздор, и скажи мне прямо, чем ты замещаешь *пуль-серро*.

Добрый юноша! будьте искренны и правдивы без гордости; умеете быть незнающим, тогда вы не будете обманывать ни себя, ни других. Если когда-нибудь ваши культивированные таланты дадут вам возможность обращаться к людям с речью, говорите им все по совести, не заботясь о том, одобряют ли они вас. Злоупотребление знанием порождает собою недоверчивость. Всякий ученый пренебрегает обычным чувствованием; каждый хочет чувствовать по-своему. Гордая философия ведет к фанатизму. Избегайте этих крайностей; оставайтесь всегда твердо на пути истины или того, что вам будет казаться истиной в простоте вашего сердца, никогда не сворачивая с него из-за тщеславия или вследствие слабости. Смело исповедуйте Нога перед философами; смело проповедуйте человечность людям, не терпящим иной веры. Вы, быть может, один будете составлять свою партию; но вы в самом себе будете носить свидетельство, которое избавит вас от необходимости ссылаться на свидетельства людей. Пусть они любят вас или ненавидят, пусть читают или презирают ваши книги, это не важно. Говорите, что истинно; делайте, что благо; исполнять свои обязанности на земле — вот что важно для человека; и, только забывая себя, работают для себя самих. Сын мой, личный интерес нас обманывает, и только надежда на справедливое не обманывает».

Я переписал это сочинение не в качестве образца, которому должны следовать наши чувствования в деле религии, но чтобы показать пример, как можно рассуждать с воспитанником,

не уклоняясь от метода, которую я пытался установить. Пока мы не придаем значения ни авторитету людей, ни предрассудкам страны, где мы родились, один естественный свет разума среди условий, данных природой, не может повести нас дальше естественной религии, а этим я и ограничиваюсь по отношению к моему Эмилю. Если он должен иметь другую религию, я не имею уже права быть в этом деле его руководителем; ему одному принадлежит право выбрать ее.

Мы работаем в согласии с природой и, пока она формирует человека физически, пытаемся сформировать существо нравственное; но наши успехи не одинаковы. Тело уже крепко и сильно, в то время как душа еще немощна и слаба; и что бы ни могло сделать человеческое искусство, темперамент всегда предшествует разуму. Сдерживать один и возбуждать другой — вот к чему мы доселе всячески стремились для того, чтобы человек всегда был единым, насколько это возможно. Развивая природные свойства, мы задерживали зарождавшуюся чувствительность; мы ее регулировали, развивая разум; умственные предметы умеряли действие чувствительных предметов. Восходя к началу вещей, мы изъяли своего воспитанника из власти чувств; от изучения природы не трудно было подняться до вопроса о Творце.

Когда мы дошли до этого, сколько приобрели мы новых способов влияния на своего воспитанника! Сколько у нас новых способов обращаться к его сердцу! Только теперь истинный интерес свой он видит в том, чтобы быть добрым, делать добро, вдали от людских взоров и без принуждения со стороны законов, быть справедливым перед Богом и собою, исполнять долг свой, даже жертвуя жизнью, и носить в сердце добродетель не только из-за любви к порядку, которую всякий ставит всегда ниже любви к себе, но и из-за любви к Творцу своего бытия, любви, которая сливается в одно с этою любовью к себе, — чтобы наслаждаться, наконец, тем прочным счастьем, которое обещает ему в будущей жизни покойная и чистая совесть и созерцание этого Верховного Существа, раз он хорошо воспользуется этою жизнью. Вне этого я вижу лишь несправедливость, лицемерие и ложь между людьми; личный интерес, который при взаимной борьбе необходимо берет верх надо всем, учит каждого из них маской добродетели прикрывать порок. «Пусть все прочие люди хлопочут о моем благе в ущерб своему; пусть все делается для меня одного; пусть весь род человеческий умирает, если нужно, в горе и нищете, чтобы избавить меня на минуту от страдания или голода» — вот тайные речи всякого неверующего, пускающего в рассуждения. Да, я всю жизнь буду держаться того убеждения, что, кто сказал в своем сердце: «Нет Бога», а открыто говорит иначе, тот оказывается лжецом или безумцем.

Читатель, при всем моем старании я чувствую, что мы с вами никогда не будем видеть моего Эмиля в одинаковом свете; вы всегда будете представлять его похожим на ваших молодых людей, всегда нерассудительным, стремительным, ветреным, кидающимся от праздника к празднику, с увеселения к увеселению, никогда не способным ни на чем остановиться. Вам смешно будет видеть, как я из молодого человека, пылкого, живого, горячего, запальчивого, переживающего самый бурный возраст жизни, делаю созерцателя, философа, настоящего богослова. Вы скажете:

«Этот мечтатель вечно гоняется за своей химерой; представляя нам юношу, воспитанного на свой образец, он не формирует его, а создает, извлекает из своего мозга и, воображая, что постоянно следует природе, ежеминутно от нее уклоняется». Я же, сравнивая своего воспитанника с вашими, с трудом нахожу, что может быть между ними общего. При столь различном воспитании было бы почти чудом, если б он походил в чем-нибудь на них. Он детство свое провел в полной свободе, которую ваши воспитанники получают лишь в юности; а в юности он начинает подчиняться правилам, меж тем как ваши воспитанники были подчинены им в детстве. Для ваших воспитанников правила эти становятся бичом, они чувствуют ужас перед ними, видят в них продолжительную тиранию учителей и думают, что выходить из детства значит стряхнуть с себя всякое иго<sup>\*</sup>; тогда-то они и вознаграждают себя за долгое принуждение, в котором их держали, подобно тому как освобожденный от оков узник протягивает, двигает и разгибает свои члены.

\* Никто не смотрит на детство с таким презрением, как только что вышедшие из него, подобно тому как и чины с наибольшей тщательностью соблюдаются в тех странах, где неравенство не велико и где каждый всегда боится, чтобы его не смешали с низшим.

Эмиль, напротив, считает для себя честью сделаться человеком и подчиниться игу нарождающегося разума; тело его, уже сформированное, не нуждается теперь в прежних движениях и само собою начинает останавливаться, зато ум его, наполовину развившийся, начинает, в свою очередь, расправлять свои крылья. Таким образом, возраст разума для одних является лишь возрастом своеволия, для другого же он делается порою рассудительности.

Хотите знать, кто из них стоит ближе в этом отношении к естественному порядку,— обратите внимание на разницу, которая наблюдается при большем или меньшем удалении от этого порядка: наблюдайте молодых крестьян и посмотрите, такие ли они не сдержанные, как ваши. «В детстве,— говорит г. Ле Бо<sup>\*</sup>,— дикари постоянно деятельны и непрерывно заняты различными играми, которые приводят в движение их тело; но лишь только достигают юношеского возраста, они становятся спокойными, мечтательными; они занимаются уже почти, только серьезными играми или азартными». Эмиль, воспитанный в полной свободе, как крестьянские парни и молодежь у дикарей, подростки, должен, как и они, измениться и успокоиться. Вся разница в том, что он проявлял свою деятельность не исключительно с целью играть или питаться, что в своих трудах и играх он научился мыслить. И вот, дошедши таким путем до этого предела, он оказывается вполне подготовленным и для того пути, на который я его вывожу; вызывающие на размышление предметы, которые я ему представляю, возбуждают его любопытство, потому что они прекрасны сами по себе, совершенно новы для него и потому что он в состоянии их понять. И наоборот, раз вы надоедаете, мучите своими приторными уроками, длинными нравоучениями, вечными наставлениями в вере, как после этого вашим молодым людям не отказываться от умственной работы, которую вы сделали скучной для них, от обузы наставлений, которыми не перестают их заваливать, от размышлений о Творце их бытия, которого представили врагом их

удовольствий! Все это внушает им лишь отвращение, тошноту, скуку; принуждение отбило у них всякую охоту; возможно ли, чтобы теперь, когда они начинают располагать собою, они стали предаваться этим занятиям? Им может нравиться только новое; им уже не нужно ничего такого, что говорят детям. С моим воспитанником та же история: когда он становится взрослым, я говорю с ним, как со взрослым, и высказываю лишь то, что для него ново; он должен находить эти вещи приятными для себя по той же именно причине, по какой они скучны для других.

\* Приключения г. Ле Бо, парламентского адвоката, т. II, с. 70.

Вот каким путем я вдвойне выгадываю для него время, задерживая ход природы в пользу разума. Но действительно ли я задержал этот ход? Нет, я только помешал воображению ускорить его; я уравнивал уроками другого рода те преждевременные уроки, которые молодой человек получает со стороны. Раз его увлекает поток наших учреждений, то отвлекать его в обратную сторону, путем иного воспитания, значит не сталкивать с места, а удерживать на нем.

Наконец, приходит и торжественный момент, начертанный природой: «Ему нужно прийти». Раз человеку необходимо умереть, он должен и воспроизводить себя, чтобы род продолжался и сохранялся мировой порядок. Когда по признакам, о которых я говорил, вы предугадаете критический момент, тотчас же оставьте навсегда ваш прежний тон по отношению к нему. Он еще ваш ученик, он уже не воспитанник ваш. Это — ваш друг, это мужчина; обращайтесь отныне с ним, как с мужчиной.

Как! Отречься от своего авторитета, когда он наиболее мне необходим? Предоставить возмужалого юношу самому себе — в момент, когда он меньше всего умеет руководить собою и делает самые большие промахи? Отказаться от своих прав, когда для него важнее всего, чтобы я пользовался ими? Права ваши! Но кто велит вам отказываться от них? Напротив, теперь-то они и начинают существовать для него. Доселе вы ничего не добивались от него иначе, как силою или хитростью; авторитет, требование долга ему были неизвестны; чтобы заставить вас повиноваться, приходилось принуждать его или обманывать. По вы видите, каким множеством новых цепей опутали вы его сердце. Разум, дружба, признательность, тысяча привязанностей говорят ему голосом, которого он не может не узнать. Порок еще не сделал его глухим к этому голосу; он способен испытывать пока лишь природные страсти. Главная из них, любовь к себе, предает его в ваши руки; привычка точно так же предает его в вашу власть. Если минутный порыв вырывает его у вас, сожаление тотчас же возвращает его к вам; только то чувство, которое привязывает его к вам, постоянно; все прочие проходят и взаимно изглаживают друг друга. Не позволяйте развращать его — и он всегда будет послушным; он лишь тогда начинает быть непокорным, когда уже развращен.

Признаюсь откровенно, что если вы, очертя голову, броситесь в борьбу с его зарождающимися желаниями и вздумаете отнестись к новым потребностям, которые дают ему себя чувствовать, как к преступлению, то он недолго будет вас слушаться; но раз вы покидаете мою методику, я ни за что



уже вам не ручаюсь. Помните всегда, что вы — орудие природы, и вы никогда не будете ее врагом.

Но какое принять решение? Представляются два исхода — потворствовать его наклонностям или бороться с ними, быть его тираном или сообщником; а то и другое ведет к столь опасным последствиям, что поневоле приходится сильно колебаться в выборе.

Первый способ разрешить затруднение — это поскорее женить его; это самое верное и самое естественное средство. Я сомневаюсь, однако, чтоб оно было наилучшим и полезнейшим. Ниже я приведу свои основания, а пока я соглашаюсь, что действительно нужно женить молодых людей в возмужалом возрасте. Но возраст этот наступает для них раньше времени; мы именно и сделали его преждевременным; его нужно оттянуть до полной зрелости.

Если бы приходилось слушаться только наклонностей и следовать их указаниям, дело было бы очень просто; но между правами природы и нашими социальными законами столько противоречий, что для примирения их приходится беспрестанно лавировать и увертываться; нужно употребить много искусства, чтобы помешать человеку, живущему в обществе, быть совершенно искусственным.

На основании вышеизложенного я полагаю, что помощью указанных мною средств и других подобных можно продлить, по меньшей мере до двадцати лет незнакомство с вожделениями и чистоту чувств; это настолько верно, что у германцев молодой человек, терявший свою невинность до этого возраста, считался обесчестившим себя; а писатели крепость телосложения и многочисленность детей справедливо объясняют воздержанностью этих народов в пору юности<sup>98</sup>.

Можно даже еще больше продлить эту пору, и несколько веков тому назад это было самым обыкновенным явлением даже во Франции. В числе других известных примеров отец Монтеня, человек добросовестный и правдивый, сильный и хорошо сложенный, клятвенно уверял, что женился невинным 33 лет от роду, прослужив долго в итальянских войсках; а в сочинениях сына можно видеть, какую бодрость и веселость сохранял отец в 60 с лишком лет<sup>99</sup>. Противное мнение, несомненно, основывается скорее на наших нравах и предрассудках, чем на знакомстве с людским родом вообще.

Я могу, значит, оставить в стороне пример, представляемый нашею молодежью: он ничего не доказывает для того, кто не так воспитан, как она. Принимая в расчет, что природа не поставила тут неизменного предела, который нельзя было бы придвинуть или отдалить, я, думаю мне, могу, не выходя из ее законов, предположить, что Эмиль, благодаря моим заботам, остался доселе в своей первобытной невинности, и я вижу, что эта счастливая пора близка к концу. Окруженный опасностями, постоянно возрастающими, он при первом же случае, что бы я ни делал, ускользнет от меня; а случай этот не замедлит представиться; он последует за слепым инстинктом чувственности, и можно, насколько угодно, держать пари, что он погубит себя. Я столько размышлял о нравах людей, что отлично вижу неотразимое влияние этого первого момента на

остальную его жизнь. Если я притворюсь и сделаю вид, что ничего не замечаю, он воспользуется моею слабостью; уверенный, что обманывает меня, он станет презирать меня, и я сделаюсь соучастником его гибели. Если я попытаюсь сдерживать его, попытка окажется несвоевременной: он уже не станет слушать меня: я сделаюсь для него неудобным, ненавистным, невыносимым; он не замедлит развязаться со мною. Мне остается поэтому принять единственное разумное решение — сделать его самого ответственным за свои поступки, предостеречь его по крайней мере от нечаянных заблуждений и открыто показать ему опасности, которыми он окружен. Доселе я останавливал его с помощью его же неведения; теперь приходится останавливать его путем знания.

Эти новые наставления весьма важны, и дело следует начать несколько издалека. Это момент, когда приходится отдать ему, так сказать, отчет в своих действиях, указать ему, на что употреблено мое и его время, объявить ему, что такое он и что такое я, что сделал я и что он сделал, чем мы обязаны друг перед другом, показать ему все его нравственные отношения, все обязательства, которые он сам заключил, и все те, которые другие заключили с ним, показать, какого пункта достиг он в развитии своих способностей, какой путь остается ему сделать, какие трудности он встретит, какие существуют средства преодолеть эти трудности, в чем я пока еще могу ему помогать и в чем отныне он может сам себя поддерживать, указать, наконец, в каком критическом положении он находится, какие новые опасности его окружают, и выставить ему на вид все те веские причины, которые должны принудить его внимательно следить за самим собою, прежде чем послушаться своих зарождающихся желаний.

Не забывайте, что для руководства взрослым приходится принимать меры, противные тому, что вы предпринимали для руководства ребенком. Не колеблясь, посвятите его в те опасные тайны, которые вы так долго и с такою заботливостью скрывали от него. Так как нужно же, наконец, чтоб он знал их, то важно, чтоб он узнал не от другого и не сам собою, а от вас одних; так как отныне он вынужден бороться с ними, то, чтобы не быть застигнутым врасплох, ему нужно узнать своего врага.

Никогда молодым людям, которые оказались, сами не зная как, опытными в этих предметах, знание это не проходит даром. Эти нескромные уроки, которые не могут быть преподаваемы с честною целью, по меньшей мере грязнят воображение молодых людей и располагают их к порокам людей, дающих эти уроки. Этого мало; прислуга таким путем вкрадывается в душу ребенка, приобретает его доверие, заставляет его смотреть на воспитателя как на скучного и несносного человека; любимой у нее темой для тайных бесед бывает злословие над воспитателем. Когда . воспитанник дошел до этого, наставник может удалиться: ему тут уже ничего не поделать.

Но почему ребенок выбирает себе особых наперсников? — Все благодаря той же тирании руководителей его. Зачем ему было бы скрываться от них, если б он не был вынужден к этому? К чему он стал бы жаловаться, если бы у него не было никакого повода к этому? Очень естественно,

что слуги являются первыми его наперсниками; уже по тому, с какою поспешностью он бежит передать им свою мысль, видно, что он, пока не передаст им, считает ее не совсем обдуманной. Но будьте уверены, что, если ребенок не боится с вашей стороны ни нравоучений, ни выговоров, он вам всегда скажет все, что ему не посмеют доверять ничего такого, о чем он должен перед вами умолчать, раз будут уверены, что он ничего перед вами не скроет.

И больше всего заставляет меня полагаться на мою методу то обстоятельство, что, следя, насколько возможно, строго за ее результатами, я не вижу в жизни моего воспитанника ни одного положения, которое не оставляло бы во мне приятного впечатления. Даже в тот момент, когда его увлекает ярость темперамента и когда, возмущившись против сдерживающей его руки, он отбивается и готов от меня вырваться, в этих волнениях, в этих порывах я все еще встречаю его первоначальную простоту; сердце его, столь же чистое, как и тело, не знает ни скрытности, ни порока; упреки и презрение не делали его трусливым; низкий страх никогда не учил его лицемерить. Он обнаруживает всю откровенность невинности; он наивен без нерешительности; он еще не знает, к чему служит обман. В его душе не происходит ни одного движения, которого не выдавали бы его уста или взоры, и нередко чувства, им испытываемые, мне скорее делаются известными, чем ему.

Пока он продолжает свободно открывать мне свою душу и с удовольствием высказывать мне свои мысли, мне нечего бояться: опасность еще не близка; но если он становится более робким и сдержанным, если я замечаю в его речах первое замешательство стыда, то, значит, инстинкт уже развивается в нем, и к нему уже начинает присоединяться понятие о зле; тут нельзя уже терять ни минуты, и, если я не тороплюсь научить его, он скоро будет научен помимо воли моей.

Многие читатели, даже принимающие мои идеи, подумают, что здесь сводится все к разговору, наугад затеянному с молодым человеком, и что этим кончается дело. О, не так управляют человеческим сердцем! Слова ничего не значат, если мы не подготовили момента, чтобы сказать их. Прежде чем сеять, нужно вспахать землю; семя добродетели всходит нелегко; нужна долгая подготовка, чтобы укоренить его. Одною из причин, почему проповеди бывают особенно бесполезными, является то обстоятельство, что с ними обращаются безразлично ко всем людям, без толку и выбора. Как можно думать, что одна и та же проповедь годится для стольких слушателей, столь несходных по уму, темпераментам, возрасту, полу, состоянию, мнениям? Говорится всем, но не найдешь, быть может, и двоих, которым бы это одинаково годилось; а все наши душевные движения настолько непрочны, что в жизни каждого человека не бывает и двух моментов, когда одна и та же речь производила бы на него одно и то же впечатление. Посудите сами, время ли слушать серьезные уроки мудрости, когда воспламененные чувства затемняют рассудок и насилуют волю? Не вразумляйте же никогда 'молодых людей, даже в возрасте разума, если вы предварительно не сделали их способными понимать вас. Большинство речей пропадает

даром гораздо скорее по вине учителей, чем по вине учеников. Педант и наставник говорят почти одно и то же; но первый говорит при всяком случае, а второй тогда, когда уверен в их действии.

Как лунатик, блуждая во сне, спящим ходит по краям пропасти, в которую упал бы, если бы вдруг проснулся, так и Эмиль мой во сне невинности избегает опасностей, которых не замечает; если я внезапно разбужу его, он погиб. Постараемся прежде удалить его от пропасти, а потом мы разбудим его, чтобы показать ему ее несколько издали.

Чтение, уединение, праздность, изнеженная и сидячая жизнь, общество женщин и молодых людей — вот опасные для его возраста тропинки, которые постоянно держат его на краю опасности. Я направляю его чувства на другие чувственно воспринимаемые предметы; намечая иное течение его жизненным силам, я отвращаю их от того, которое они начали было принимать; упражняя тело утомительными работами, я останавливаю деятельность воображения, его увлекающего. Когда руки много работают, воображение отдыхает; когда тело сильно утомлено, сердце не разгорячается. Самая сподручная и самая легкая предосторожность — это вырвать его из опасности, сопряженной с местом. Я прежде всего увожу его вон из городов, вдаль от предметов, способных его искушать. Но этого недостаточно: в какой пустыне, в каком диком убежище спасется он от образов, его преследующих? Пустое дело — удалять предметы опасные, если я не удаляю от него и воспоминания о них; если у меня не хватает искусства отдалить его от всего, если я не отвлекаю его от его же собственной личности, то все равно было бы оставить его там, где он был.

Эмиль знает ремесло, но не ремесло это будет здесь нашим средством; он любит земледелие, но земледелия нам недостаточно; знакомые занятия обращаются в рутину; если он предается им, то это все равно, что ничего не делает; он думает совсем о другом, голова и руки работают отдельно. Ему нужно занятие новое, которое интересовало бы его своею новизной, которое не давало бы ему вздохнуть, нравилось бы, поглощало внимание, упражняло его, к которому он пристрастился бы, отдавшись ему всецело. А единственное занятие, соединяющее, мне кажется, все эти условия,— это охота. Если охота бывает когда невинным удовольствием, если когда она прилична человеку, то теперь именно следует обратиться к ней. У Эмиля есть все, что нужно для успеха в ней; он силен, ловок, терпелив, неутомим. Ему, несомненно, придется по вкусу это упражнение; он вложит в него весь пыл своего возраста; он избавится, по крайней мере на время, от опасных склонностей, зарождающихся от неги. Охота и сердце закаляет так же, как тело; она приучает к крови, к жестокости. Диану создали враждебной любви, и эта аллегория очень верна: любовные томления зарождаются лишь среди сладкого покоя; сильное упражнение заглушает нежные чувства. В лесах, среди сельских видов, любовник и охотник столь различно бывают настроены, что одни и те же предметы дают им совершенно различные образы. Прохладная тень, рощицы, сладкие убежища для первого представляются другому лишь притонами дичи, логовищами; где один слышит свирели, соловьев, щебетанье, там другому чудится звук рогов и лай собак; один

рисует воображением лишь дриады и нимфы, другому представляются лишь доезжие, своры, кони. Прогуляйтесь по полям с людьми того и другого сорта; по их речи вы сейчас узнаете, что земля имеет для них не одинаковый вид и что оборот их мыслей столь же различен, как и выбор удовольствий.

Для меня понятно, как соединяются друг с другом эти вкусы и как находят, наконец, время на все. Но страсти юности не перемешиваются подобным образом: дайте ей одно занятие, которое она любит, я скоро все остальное будет забыто. Разнообразие желаний происходит от разнообразия познаний; первые удовольствия, с которыми знакомишься, долго остаются единственным предметом стремлений. Я не хочу, чтобы вся юность Эмиля проходила в умерщвлении зверей, и не имею даже намерения во всем оправдывать эту свирепую страсть; с меня достаточно, если она настолько задержит другую, более опасную страсть, что даст возможность хладнокровно выслушать мои речи об этой последней и даст мне время обрисовать эту страсть, не возбуждая ее.

Есть эпохи в жизни человеческой, которые на то и созданы, чтобы никогда о них не забывать. Такова для Эмиля эпоха тех наставлений, о которых я говорю; она должна повлиять на всю остальную его жизнь. Постараемся же так запечатлеть ее в памяти его, чтоб она никогда не изгладилась. Одно из заблуждений нашего века заключается в том, что мы пускаем в дело один сухой рассудок, как будто бы у людей ничего, кроме ума, и не было. Пренебрегая языком знаков, говорящих воображению, мы лишаем себя самого энергичного из способов выразиться. Впечатление, производимое словом, всегда слабо, и к сердцу гораздо лучше обращаться с помощью глаз, чем с помощью слуха. Желая все основать на рассуждении, мы сводим свои наставления к пустословию и нисколько не влияем на действия. Рассудок сам по себе не деятелен; он тормозит иной раз деятельность, редко возбуждает ее и никогда не совершает ничего великого. Вечно рассуждать — это мания мелких умов. У сильных душ совершенно иной язык; этим-то языком они убеждают и вызывают на деятельность.

Я замечаю, что в новейшие века люди влияют друг на друга больше всего путем силы и материального интереса, так как древние гораздо больше действовали убеждением, настроением души, потому что они не пренебрегали языком знаков. Все договоры совершались торжественно, чтобы таким путем сделать их более ненарушимыми; прежде чем водворилась сила, судьями рода человеческого были боги; пред их-то лицом люди и заключали свои трактаты, союзы, произносили свои обещания; поверхность земли была книгою, в которой содержались эти документы. Утесы, деревья, груды камней, освященные этими актами и ставшие предметом почтения для этих варварских людей, были листами этой книги, постоянно открытой для всеобщего обозрения. Колодезь клятвы, «источник Живого видящего», старая «дубрава Мамре», гора «Иегова-ире»<sup>100</sup> — вот каковы были грубые, но величественные памятники, хранившие святость договоров; никто не осмелился бы посягнуть святотатственной рукой на эти памятники,

и добросовестность людей была более обеспечена речью этих немых свидетелей, чем теперь, при всей тщетной суровости законов.

Величавой пышностью царской власти правительства внушали уважение народам. Знаки достоинства — трон, скипетр, пурпуровая одежда, корона, повязка — были для этих последних священными вещами. Эти почетные знаки делали в их глазах достойным почтения и человека, которого они видели украшенным ими; без солдат, без угроз он встречал повиновение, лишь только начинал говорить. А теперь, когда нарочно стараются изъять из употребления эти знаки\*, что из этого выйдет? Царственное величие изглаживается из всех сердец; государи внушают повиновение лишь с помощью войск; уважение подданных поддерживается лишь страхом наказания. Короли избавлены от неудобства носить свою диадему, а вельможи — знаки своего достоинства; по зато приходится иметь сто тысяч рук, всегда готовых принудить к исполнению их приказаний. Хотя это им кажется, быть может, лучшим, но легко видеть, что в конце концов эта замена не приведет их к добру.

\* Римское духовенство очень искусно сохранило их, а по его примеру и некоторые республики, между прочим и Венецианская. Поэтому-то венецианское правительство, несмотря на упадок государства, пользуется еще, иод прикрытием своего древнего величия, всей привязанностью, всем обожанием народа; и после папы, украшенного своей тиарой, нет, быть может короли, властителя или иного человека в мире, более уважаемого, чем венецианский дож, лишенный власти и авторитета, но ставший священным благодаря споен пышности, и носящий под своей герцогской шляпой женский головной убор. Церемония с буцентавром<sup>101</sup> над которой так смеются глупцы, могла бы заставить венецианскую чернь пролить всю свою кровь для поддержания своего тиранического правительства.

Измумительны результаты<sup>102</sup>, которых древние достигали красноречием; но это красноречие заключалось не в одних красивых, искусно составленных речах; наибольшее действие оно производило тогда, когда оратор говорил очень мало. Что живее всего трогало, то выражалось не словами, а знаками — люди не говорили, а показывали. Предмет, выставляемый на глаза, потрясает воображение, возбуждает любопытство, держит умы в ожидании того, что скажут,— и часто одним этим предметом было все сказано. Не убедительнее ли это было всяких длинных речей, когда Фрасибул и Тарквиний срезывали маковые головки<sup>103</sup>, когда Александр прикладывал свою печать к устам своего любимца<sup>104</sup>, когда Диоген прохаживался перед Зенотшм<sup>105</sup>? Какой оборот слов мог бы передать так хорошо те же мысли? Дарий, забравшийся в Скифию<sup>106</sup> со своей армией, получает от скифского царя птицу, лягушку, мышь и пять стрел<sup>107</sup>. Посланный отодвигает этот подарок и возвращается, не сказав ни слова. В наши дни этого человека приняли бы за безумного. Это устрашающее приветствие было понято, и Дарий поторопился вернуться как можно скорее в свою страну. Замените эти знаки словами; чем больше в последних было бы

угрозы, тем меньше они устрашали бы; они оказались бы лишь пустой похвальбой, над которой Дарий насмеялся бы.

Как внимательны римляне к языку знаков! Разнообразные одеяния, сообразные с возрастами и состояниями, тоги, военные плащи, претексты, буллы, латиклавы, курульные кресла, ликторы, связки прутьев, топоры, золотые венки, венки из трав, из листьев, овации, триумфы<sup>108</sup> — все у них было пышно, представительно, церемониально, все производило впечатление на сердца граждан. Для государства было важно, собирался ли народ в том, а не ином месте, видел ли он перед собою Капитолий<sup>109</sup> или не видел, стоял ли лицом к сенату или нет, обсуждал ли он дола в такой-то или в иной день. Обвиняемые надевали особую одежду, кандидаты<sup>110</sup> также, воины не хвалились своими подвигами — они показывали раны свои. Я представляю себе картину, как, по смерти Цезаря, какой-нибудь из наших ораторов, желая тронуть народ, стал бы перебирать все общие места, обычные в этом искусстве, с целью дать патетическое описание ого ран, крови, трупа; Антоний, хотя и красноречив был, не говорил ничего подобного — он велел принести тело<sup>111</sup>. Вот это ригорика.

Но это отступление незаметно заводит меня, как и многие другие, далеко от моего предмета; а мои отступления настолько часты, что если они длинны, то становятся невыносимыми; итак, возвращаюсь к предмету.

Не пускайтесь никогда в сухие рассуждения с молодежью. Облекайте рассудок в тело, если хотите сделать его доводы чувствительными для нее. Чтоб язык ума сделался понятен, заставьте его проходить через сердце. Повторяю, холодные аргументы склоняют к известным мнениям, но не к действиям, заставляют нас так или иначе думать, но не действовать; ими доказывают, что нужно думать, а не то, что нужно делать. Если это справедливо относительно всех людей, то тем более относительно молодежи, которая находится еще во власти чувств и мыслит лишь настолько, насколько работает воображением.

Итак, даже после тех подготовлений, о которых я говорил, я ни за что не пошел бы, ни с того, ни с сего, в комнату Эмиля, чтобы произнести перед ним тяжелую и длинную речь о предмете, насчет которого хочу его просветить. Я прежде всего затрону его воображение; выберу время, место, обстановку наиболее благоприятную для желаемого впечатления; призову, так сказать, всю природу в свидетели нашей беседы; призову имя Вечного Существа, создавшего ее, в подтверждение истинности моей речи,— пусть Оно будет судьей между Эмилем и мною; я укажу на место, где мы находимся, на окружающие нас скалы, леса, горы как на свидетельство его и моих обязательств; я вложу в свои взоры, в свой тон и жесты весь тот энтузиазм и жар, который хочу ему внушить. Тогда-то я заговорю с ним, и он станет слушать; я расчувствуюсь, и он будет тронут. Проникшись святостью своих обязанностей, я сделаю для него более священными и его собственные обязанности; силу рассуждения я одушеворю образами и фигурами; я буду не распространяться многоречиво в холодных нравоучениях, а изливать свои бьющие через край

чувства; рассудок мой будет степенен и поучителен, но сердце мое будет не в состоянии наговориться. Тогда-то, указывая ему все, что я сделал для него, я в то же время покажу ему, что я это делал для самого себя: в моей нежной привязанности он увидит основание всех моих забот. В какое изумление, в какое волнение я повергну его, сразу изменив речь! Вместо того чтобы стеснять его душу, вечно твердя ему об его интересе, отныне я буду говорить ему лишь о своей собственной выгоде,— п я этим больше трону его; я воспламеню его юное сердце всеми чувствами дружбы, великодушия, признательности, которые я зародил уже и которые так приятно поддерживать. Я прижму его к своей груди, проливая над ним слезы умиления; я скажу ему: «Ты — мое добро, ты — мое дитя, мое создание; от твоего счастья я жду своего; если ты обманешь мои надежды, ты украдешь у меня двадцать лет моей жизни, ты сделаешь меня несчастным во дни моей старости». Таким-то образом можно заставить молодого человека выслушать себя и глубоко запечатлеть в его сердце воспоминание о всем сказанном.

Доселе я старался показывать на примерах, как воспитатель должен наставлять своего ученика и трудных случаях. Я покушался было сделать то же самое и в данном случае; но после многих попыток я отказываюсь от этого, убедившись, что французский язык настолько жеманен, что в письменном изложении совершенно не передает этой живой непосредственности, присущей первым представлениям по поводу известного рода предметов.

Французский язык, говорят, самый целомудренный из языков<sup>112</sup>; я же, напротив, считаю его самым непристойным; ибо мне кажется, что целомудренность языка должна состоять не в том, чтобы заботливо избегать неприличных оборотов, а в том, чтобы не иметь их действительно. Чтобы избегать их, нужно подумать о них; а нет языка, на котором было бы трудней говорить чисто, о всех смыслах слова, чем на французском. Читатель, всегда более искусный в отыскивании непристойного смысла, чем автор — в умении избегать подобных слов, негодует и всего пугается. Как могут не заразиться грязью слова, воспринимаемые развращенным слухом? Наоборот, народ, отличающийся добрыми нравами, имеет пригодные для всякой вещи выражения, и термины его всегда пристойны, потому что они пристойно употребляются. Невозможно представить себе более скромного языка, чем язык Библии, именно потому, что там все выражено с наивною простотой. Достаточно перевести эти места на французский язык, и они станут нескромными. То, что я должен сказать Эмилю, будет совершенно пристойно и целомудренно для его слуха; но чтоб это показать таковым же и при чтении, для этого нужно было бы иметь сердце столь же чистое, как и у него.

Я думаю даже, что рассуждения об истинной целомудренности речи и о ложной деликатности порока могли бы занять полезное место в тех беседах о нравственности, к которым приводит нас этот предмет; ибо, изучая язык приличий, он должен изучить и язык нравственной скромности, нужно же, чтобы он знал, почему эти два языка столь различны. Как бы то ни было, я утверждаю, что, если вместо пустых наставлений, которыми до срока прожужжат молодежи уши и над



которыми она насмехается в том возрасте, когда они были бы своевременны, мы станем выжидать, готовить момент для выслушивания их; если с наступлением этого момента изложим юноше законы природы во всей их истинности, укажем ему, как на доказательство непреложности этих знаков, на те физические и нравственные бедствия, которые навлекают па себя виновные в нарушении их; если, говоря ему о непостижимой тайне рождения, мы с идеей привлекательности, которую Творец природы придал этому акту, соединим идею исключительной привязанности, делающей его пленительным, идею долга верности, целомудрия, связанную с ним и удваивающую его прелести при достижении своей цели; если, рисуя ему брак не только как самое приятное из общений, но и как самый ненарушимый и священнейший из всех договоров, мы ярко представим все основания, в силу которых этот столь священный союз делается почетным в глазах всех людей и всякий, кто осмелится осквернить его чистоту, навлекает ненависть и проклятия; если мы нарисуем ему поражающую и верную картину разврата и сопровождающего его тупого скотства и укажем, как по незаметной покатости первое бесчинство ведет за собою и все другие и, наконец, приводит к гибели того, кто предается им; если, говоря я, покажем ему с полною очевидностью, каким образом с целомудрием связаны здоровье, сила, мужество, добродетели, самая любовь и все истинные блага человека,— я утверждаю, что после всего этого мы это самое целомудрие сделаем для него желанным и дорогим и найдем и душе его полную готовность покориться средствам, которые предложим ему для сохранения целомудрия; ибо, пока сохраняют его, к нему питают уважение, а презирают его только тогда, когда лишатся.

Неправда, будто склонность ко злу непреодолима, будто мы не властны побеждать ее, пока еще не приобрели привычки подчиняться ей. Аврелий Виктор <sup>113</sup> рассказывает, что несколько человек в упоении любви добровольно продали свою жизнь за одну ночь с Клеопатрой, и эта жертва не невозможна при опьянении страстью. Но предположим, что человек, самый неукротимый и менее всего владеющий чувствами, видит орудия казни и уверен, что через четверть часа погибнет в мучениях; человек этот в ту же минуту станет выше всех соблазнов, и для него не составит даже никакого труда противиться им; скоро ужасная картина, сопровождающая эти соблазны, совершенно отвлечет его в сторону, и» постоянно отвергаемые, они, наконец, не станут уже возвращаться. Все наше бессилие порождается единственно слабостью нашей воли, а чтобы сделать то, чего сильно желаем, на это мы всегда сильны: *Voienti nihil difficile*<sup>114</sup>. О, если бы мы столь же ненавидели порок, как любим жизнь, мы так же легко воздержались бы от приятного преступления, как воздерживаемся от смертельного яда, предлагаемого в сладком кушанье.

Как это не видят, что если все уроки, даваемые по этому поводу молодому человеку, остаются безуспешными, то это значит, что для его возраста они лишены смысла и что для каждого возраста доводы разума нужно облекать в такие формы, которые заставляли бы полюбить этот последний? Говорите важно, когда это нужно; по пусть ваши слова всегда отличаются привлекательностью,

которая побуждала бы его слушать вас. Не проявляйте сухости в борьбе с его вожделениями; не заглушайте его воображения; руководите последним из опасения, чтоб оно не породило чудовищ. Говорите с ним о любви, женщинах, удовольствиях; постарайтесь, чтоб он находил в ваших беседах прелесть, которая ласкала бы его юное сердце; не щадите усилий, чтобы сделаться его поверенным: лишь в этой роли вы истинно будете его руководителем. Тогда уже не бойтесь, что ваши разговоры ему наскучат; он заставит вас говорить больше, чем вы хотите. Я ни минуты не сомневаюсь, что если, на основании этих правил, я сумел принять все необходимые предосторожности и если речи мои, обращенные к Эмилю, будут соответствовать обстоятельствам, в которые он поставлен ходом жизни, то он сам по себе придет к решению, до которого я хочу его довести, с увлечением отдастся под мою охрану и скажет мне со всем жаром своего возраста, пораженный окружающими его опасностями: «Друг мой, защитник мой и наставник! Возьмите снова на себя ту власть, которую хотите сложить с себя как раз в то время, когда для меня важнее всего, чтоб она оставалась в ваших руках; доселе вы пользовались ею по моей слабости, теперь я передаю вам ее по своей воле, и она будет для меня еще более священной. Защищайте меня от всех врагов, осаждающих меня, и особенно от тех, которых я ношу в самом себе и которые предают меня; бодрствуйте над своим созданием, чтоб оно всегда было достойным вас. Я хочу повиноваться вашим законам, хочу всегда повиноваться,— вот моя неизменная воля; если я когда не послушаюсь вас, то это произойдет помимо воли моей; возвратите мне свободу, защищая меня против страстей, которые насилуют меня, не давайте мне быть рабом их, принудьте меня стать своим собственным господином и повиноваться не чувствам своим, а разуму».

Когда вы доведете вашего воспитанника до этого решения {а если он не придет к нему, это будет ваша вина), берегитесь слишком быстро ловить его на слове из опасения, чтобы, если когда-нибудь власть ваша покажется ему слишком суровой, он не счел себя вправе свергнуть-путь ее, обвинив вас в том, что вы захватили ее обманом. В этот именно момент особенно уместны сдержанность и важность, и этот топ тем сильнее на него подействует, что он заметит его у вас в первый раз.

Итак, вы скажете ему: «Молодой человек, вы легкомысленно принимаете трудные обязательства; нужно было бы с ними ознакомиться, чтоб иметь право принимать их; вы не знаете, с какою яростью чувственность, под личиной удовольствия, увлекает молодежь, подобную вам, в пучину пороков. У вас не низкая душа,— я это хорошо знаю; вы никогда не нарушите своего слова; но сколько раз вы, быть может, раскаетесь в том, что дали его! Сколько раз вы проклянете человека, любящего вас, когда для того, чтоб избавить вас от угрожающих бедствий, он увидит себя вынужденным раздирать ваше сердце. Подобно Улиссу, который, будучи увлечен пением сирен, кричал своим провожатым, чтоб они отвязали его<sup>115</sup>, и вы, увлекшись соблазнами удовольствий, захотите разорвать стесняющие вас узы; вы станете приставать ко мне с жалобами, станете упрекать меня в тирании в то время, как я всего нежнее буду за вами ухаживать; заботясь

лишь о вашем счастье, я навлеку на себя ненависть с вашей стороны. О Эмиль мой! быть тебе ненавистным — это такое для меня горе, которого я никогда не вынесу; даже твоего счастья я не хотел бы купить за такую дорогую цену. Добрый юноша! разве вы не видите, что, обязываясь повиноваться мне, вы обязываете меня руководить вами, служить вам до самозабвения, не слушать ни ваших жалоб, ни ропота, бороться беспрестанно с вашими и своими собственными желаниями? Вы налагаете на меня бремя, которое тяжелее вашего собственного. Прежде чем нам обоим принять его на себя, испытаем свои силы; повремените сами, дайте и мне время подумать об этом и знайте, что кто не спешит обещать, тот всегда вернее всех сдержит обещание».

Знайте также и вы, что, чем труднее вы сдаетесь на обязательства, тем больше облегчаете исполнение их. Важно, чтобы молодой человек чувствовал, что он обещает много и что вы обещаете еще больше. Когда момент наступит и он подпишет, так сказать, договор, тогда измените топ и вложите в свою власть столько же кротости, сколько обещали вы строгости. Вы скажете ему: «Юный друг мой! вам не хватает опыта, но я постарался, чтобы вам хватало разума. Вы в состоянии видеть, в чем бы то ни было, мотивы моего поведения; для этого нужно лишь подождать, когда вы будете хладнокровнее. Начинайте дело всегда с повиновения, а потом уже спрашивайте у меня отчета в моих приказаниях; я буду готов дать вам отчет, лишь только вы будете в состоянии понимать меня, и никогда не побоюсь выбрать вас судьей между мной и вами. Вы обещаете быть послушным, а я обещаю пользоваться этою покорностью лишь для того, чтобы сделать вас счастливейшим из людей. Порукой в исполнении моего обещания служит жребий, которым вы пользовались доселе. Найдите кого-нибудь из сверстников ваших, кто провел бы такую же приятную жизнь, как и вы,— и я не стану после этого ничего вам обещать».

Вслед за установлением моей власти первую моей заботой будет — отклонять необходимость пускать ее в дело. Я употреблю все меры, чтобы постепенно упрочить за собою его доверие, чтобы более и более делаться поверенным его сердца и посредником в его удовольствиях. Вместо того чтобы бороться с наклонностями его возраста, я стану сообразовываться с ним, чтобы быть их властелином; я проникну в его намерения, чтобы управлять ими; я не стану искать для него отдаленного счастья в ущерб настоящему. Я хочу, чтоб он был счастлив не раз, но всегда, если это возможно.

Люди, желающие мудро руководить молодежью, чтобы предохранить ее от сетей чувственности, внушают ей отвращение к любви и охотно вменили бы ей в преступление самую мысль о любви в эти годы, как будто бы любовь создана для стариков. Все эти лживые уроки, опровергаемые сердцем, не убедительны. Молодой человек, руководимый более верным инстинктом, втайне смеется над скучными нравоучениями, притворяясь, что соглашается с ними, и ждет лишь момента доказать на деле их неосновательность. Все это противно природе. Следуя противоположному пути, я вернее достигну той же цели. Я не побоюсь ласкать в нем сладкое чувство, которого он жаждет; я представлю это чувство высшим счастьем жизни, потому что оно п

в самом деле таково; рисуя ему картину этого чувства, я хочу, чтобы он предавался ему; давая чувствовать, какую прелесть придает чувственным наслаждениям единение сердец, я внушу ему отвращение к распутству и, заставив влюбиться, сделаю его благоразумным.

Каким нужно быть ограниченным, если видеть в зарождающихся желаниях молодого человека лишь препятствие к урокам разума! Я же вижу здесь истинное средство сделать его внимательным к этим самым урокам. На страсти действуют страстями же; с их тиранией нужно бороться с помощью их же власти; из самой природы всегда нужно извлекать орудия, пригодные для управления ею.

Эмиль не на то создан, чтобы всегда оставаться одиноким: будучи членом общества, он должен выполнять налагаемые им обязанности. Созданный для того, чтобы жить с людьми, он должен узнать их. Он знает человека вообще; остается ему ознакомиться с индивидами. Он знает, что делается в свете; остается посмотреть, как в нем живет. Пора показать ему внешнюю сторону той великой цепи, скрытый механизм которой ему уже известен. Он отнесется к ней не с тупым удивлением юного вертопраха, но с разборчивостью здравого и правильного ума. Страсти, конечно, могут ввести его в заблуждение — когда они не обманывают того, кто им предается? Но по крайней мере он не будет обманут чужими страстями. Если он увидит их, то взглянет на них оком мудреца, не увлекаясь их примером и не соблазняясь связанными с ними предрассудками.

Подобно тому как есть возраст, годный для изучения наук, так есть и возраст, пригодный для усвоения светского обращения. Кто научается этому обращению слишком рано, тот всю жизнь следует ему без разбора, без размышления, хотя самоуверенно, по совершенно не сознавая, что делает. По кто, изучая его, видит основания, тот следует с большею разборчивостью, а значит, и с большим смыслом и с большею грацией. Дайте мне двенадцатилетнего ребенка, совершенно ничего не знающего, и я на пятнадцатом году обязуюсь возвратить его таким же знающим, как тот, которого вы обучали с малолетства,— с тою разницей, что знания вашего будут содержаться лишь в памяти, а знания моего — в рассудке. Точно так же введите двадцатилетнего юношу в свет; при хорошем руководстве он в один год станет более милым и рассудительно вежливым, чем тот, которого воспитывали в свете с самого детства; ибо первый, будучи способен сознавать основания всех поступков, составляющих это обращение и соответственных с возрастом, положением, полом, может обратить эти основания в принципы и распространить их на непредвиденные случаи, тогда как второй, не имея иного руководства, кроме рутины, совершенно теряется, как только отступает от нее. Юные француженки все воспитываются до своего замужества в монастырях. Замечено ли чтоб им было трудно, по выходе оттуда, перенять эти манеры, столь новые для них? И можно ли обвинять парижанок в том, что они неуклюжи и растерянны с виду, незнакомы с светским обращением, потому что с детства не были допущены в свет? Предрассудок этот обязан своим происхождением все тем же светским людям, которые, не

зная ничего важное этой ничтожной науки, ложно воображают, что для усвоения ее нужно как можно раньше за нее приниматься.

Правда и то, что не нужно слишком долго ждать. Кто провел всю молодость вдали от большого света, тот в светском кругу до конца жизни будет отличаться смущенным, принужденным видом, вечной бестактностью в речах, неуклюжими и неловкими манерами, от которых уже не отучит его привычка жить в свете и которые вследствие усилия избавиться от них становятся еще более смешными. Для всякого рода обучения есть свое время, которое нужно знать, и особого рода опасности, которых нужно избегать. А при этом обучении особенно много бывает этих опасностей; но ведь для того и я принимаю меры предосторожности, чтобы не подвергать своего воспитанника этим опасностям.

Если моя метода удовлетворяет со всех сторон одной и той же цели, если, устраняя одно неудобство, предупреждает другое, то я вывожу заключение, что она хороша и что я на настоящей дороге. Это именно я и вижу в том средстве, которое в данном случае она мне подсказывает. Если я захочу быть строгим и сухим по отношению к своему ученику, я потеряю его доверие и он скоро станет скрытным по отношению ко мне. Если я хочу быть снисходительным, уступчивым или стану закрывать глаза, то что же ему за польза быть под моим руководством? Я в этом случае только даю ему право на распутство и облегчаю его совесть, в ущерб своей. Если я его введу в свет с единственной целью научить его, он научится большему, чем я желаю. Если я стану до конца удалять его от света, то чему же он научится от меня? Всему, быть может, кроме самого необходимого для человека и гражданина искусства — именно умения жить с себе подобными. Если я имею в виду при этих заботах слишком отдаленную пользу, она не будет иметь в его глазах никакого значения; он дорожит лишь настоящим. Если я ограничусь доставлением ему развлечений, то какая ему от этого будет польза? Он изнежится и ничему не научится.

Не нужно ничего подобного. Мое средство устраняет все затруднения. «Сердце твое,—скажу я молодому человеку,—нуждается в подруге; поищем же такую, которая подходила бы к тебе; мы не легко, быть может, найдем ее — истинное достоинство всегда редко; но не будем торопиться или падать духом. Несомненно, она существует, и мы найдем ее наконец или по крайней мере ближе всего к ней подходящую». Вот с каким заманчивым проектом я ввожу его в свет. Нужно ли мне еще прибавлять что-нибудь? Не видите ли вы, что дело сделано?

Можете себе представить, сумею ли я возбудить его внимание, рисуя ему образ предназначенной для него возлюбленной, сумею ли я сделать приятными и дорогими качества, которые он должен полюбить, сумею ли направить все его чувства на то, чего он должен искать или избегать. Я был бы самым неловким из людей, если б не заставил его заранее влюбиться — неизвестно еще в кого. Нужды нет, что описываемый мною предмет будет воображаемым: достаточно, чтобы он отклонял его от тех, которые могли бы соблазнить; достаточно, если он всюду будет делать сравнения, которые заставляли бы его предпочитать свою химеру

действительным предметам, его поражающим; да и что такое сама истинная любовь, как не химера, ложь, иллюзия? Мы гораздо больше любим образ, который создаем себе, чем предмет, в него облакаемый. Если б мы любимый предмет видели точно таким, каков он в действительности, любви не существовало бы на земле. Когда мы перестаем любить, особа, которую любили, ведь остается такою же, как и прежде, но мы видим ее уже не в том свете; завеса очарования падает, и любовь улетучивается. Меж тем, представляя воображаемый предмет, я властен над сравнениями, и мне легко помешать очарованию действительными предметами.

Я не хочу все-таки, чтобы молодого человека обманывали, рисуя ему образец совершенства, которого не может существовать; но я сделаю для его возлюбленной такой выбор между недостатками, чтобы они подходили к нему самому, нравились ему и содействовали исправлению его собственных недостатков. Я не хочу также, чтоб ему лгали, уверяя, что описываемый предмет действительно существует; но если ему понравится изображение, он скоро пожелает оригинала. От желания до предположения, что встретил желаемое, переход легкий; для этого достаточно нескольких ловких описаний, которые, придавая этому воображаемому предмету черты более осязательные, сделают его вполне правдоподобным. Я желал бы даже дать ему имя; я сказал бы с улыбкой: «Назовем Софи<sup>116</sup> вашу будущую возлюбленную; имя это предвещает много хорошего; если избранная не будет носить его, то она будет по меньшей мере достойна этого имени; мы заранее можем почтить ее этим именем». Если после всех этих подробностей, не утверждая и не отрицая, отделяться от него отговорками, то подозрения его скоро превратятся в убеждение; он подумает, что предназначаемую супругу от него скрывают и что он ее увидит, когда настанет пора. Раз он пришел к этому заключению и черты, которые нужно ему показать, хорошо подобраны, то все остальное — пустяки; его почти без риска можно вывести в свет; защищайте его только от чувственности, а сердце его в безопасности. Но олицетворит он или нет образец, который я сумел сделать для него привлекательным, образец этот, если он удачен, в такой же мере привяжет его ко всему, что похоже на него, и такое же внушит отвращение ко всему непохожему, как это сделал бы действительный предмет. Какое выгодное средство для предохранения его сердца от опасностей, которым должна подвергнуться его личность, для обуздания его чувств с помощью воображения и в особенности для избавления его от тех воспитательниц, которые слишком дорого заставляют расплачиваться за воспитание и приучают молодого человека к вежливости не иначе, как лишая его всякой нравственности! Софи так скромна — какими глазами он станет смотреть на их заискивания? Софи так проста — может ли ему понравиться их жеманство? Его мысли так далеки от его наблюдений, что последние никогда не будут для него опасными.

Все толкующие о руководстве детьми держатся одних и тех же предрассудков и правил, потому что они плохо наблюдают и еще хуже мыслят. Молодежь сбивается с толку не темпераментом, не чувствами, а людским мнением. Если бы здесь речь шла о мальчуганах, которых воспитывают в

коллежах, и о девочках, получающих воспитание в монастырях, я показал бы, что это справедливо даже по отношению к ним; ибо первыми уроками, получаемыми теми и другими, единственными, которые приносят плоды, бывают уроки порока, и не природа их портит, а пример. Но оставим воспитанников коллежей, монастырей с их дурными нравами; последние всегда останутся неисправимыми. Я говорю лишь о домашнем воспитании. Возьмите молодого человека, разумно воспитанного в доме отца, в провинции, и посмотрите на него в минуту его прибытия в Париж или вступления в свет; вы найдете у него правильные мысли, направленные на предметы пристойные, и волю столь же здравую, как и рассудок; вы заметите в нем презрение к пороку и отвращение к разврату; при одном имени продажной женщины вы увидите в его глазах негодование невинности. Я утверждаю, что ни один такой юноша не решился бы войти в одиночку в мрачные жилища этих несчастных, даже если бы знал, для чего они существуют, и чувствовал потребность.

По прошествии шести месяцев взгляните снова на того же самого молодого человека — и вы уже не узнаете его: вольные речи, правила высшего тона, развязные манеры заставляли бы принимать его за другого человека, если б насмешки его над своею первоначальной простотой, конфуз при напоминании о ней не показывали, что он тот же самый и что он стыдится этого. О, как он развился в короткое время! Откуда в нем такая большая и резкая перемена. От развития темперамента! Но разве темперамент его не так же развивался бы и в отцовском доме? А наверное, он там не усвоил бы ни этого тона, ни этих правил. От первых чувственных наслаждений? Совершенно напротив: кто начинает предаваться им, тот бывает робким, беспокойным, избегает белого света и шума. Первые наслаждения всегда таинственны; целомудрие приправляет и прикрывает их; первая возлюбленная делает не развязным, а робким. Всецело поглощенный столь новым для него положением, молодой человек углубляется в себя, чтобы насладиться им, и постоянно боится потерять его. Если он шумлив,— значит, он не страстен и не нежен; когда он хвастается, он не наслаждается.

Перемена образа мыслей — вот единственная причина этой разницы. Сердце его пока еще одно и то же, но мнения изменились. Чувствования медленнее изменяются, но наконец и они исказятся под влиянием мнений — и вот тогда только он будет истинно развращенным. Едва вступит в свет, он получает уже там другое воспитание, совершенно противоположное первому, обучающее его презирать то, что уважал, и уважать, что презирал; на уроки родителей и наставников заставляют его смотреть как на болтовню педантов, а на обязанности, о которых ему проповедовали, как на ребяческую мораль, которой нужно пренебречь, став взрослым. Он полагает, что честь обязывает его изменить поведение; он становится предприимчивым без желаний и фатом из-за ложного стыда. Он смеется над добрыми правами, прежде чем приохотиться к дурным, и хвастает развратим, не умея быть развратником. Никогда я не забуду признания одного молодого офицера швейцарской гвардии, которому сильно надоедали шумные увеселения его товарищей, но он не смел отказаться от них из опасения быть осмеянным. «Я приучаюсь к этому,— говорил он,— как

приучаются к табаку, несмотря на мое отвращение; охота придет с привычкой: нельзя оставаться всегда ребенком».

Таким образом, молодого человека, вступающего в свет, приходится предохранять гораздо более от тщеславия, чем от чувственности; он больше подчиняется чужим наклонностям, чем своим собственным; а самолюбие создает больше развратников, чем любовь. Установив это, я спрашиваю: есть ли на всей земле хоть один юноша, лучше моего Эмиля вооруженный против всего, что может затронуть его нравы, чувства, принципы? Есть ли хоть один более способный противостоять потоку? От какого соблазна Эмиль не защищен? Если вожделения влекут его к другому полу, он не находит в нем, чего ищет, а занятое раньше сердце сдерживает его. В чем он станет искать удовлетворения, если его волнуют и обуревают чувства? Отвращение к прелюбодеянию и разврату одинаково удаляет его и от продажных, и от замужних женщин, а распутство молодежи всегда начинается через одну из этих двух категорий женщин. Девушка-невеста может быть кокеткой; но она не будет бесстыдной, не бросится на шею молодому человеку, которого может на ней и жениться, если считает ее скромной; к тому же при ней всегда есть кто-нибудь для надзора. Эмиль, со своей стороны, не совершенно будет предоставлен самому себе; у обоих стражами будут по крайней мере робость и стыд, постоянные спутники первых вожделений; сразу они не перейдут к полному их сближению, а без препятствий дойти до нее постепенно у них не будет времени. Поступать иначе он стал бы лишь в том случае, если б уже перенял кое-что у своих товарищей, если б научился у них смеяться над своею сдержанностью, делаться нескромным из-за одного подражания. Но есть ли в мире человек, менее Эмиля склонный к подражанию? И на кого труднее всего действовать насмешливым тоном, как не на человека, у которого вовсе нет предрассудков и который не умеет ни в чем уступать предрассудкам других? Я двадцать лет работал над тем, чтобы вооружить его против насмешников; им понадобится далеко не один день па то, чтобы провести его; ибо смешное, в его глазах, есть лишь довод глупцов, а менее всего чувствителен к насмешке тот, кто стоит выше людского мнения. Не вышучиванием он убеждается, а разумными доводами, и, пока он таков, мне нечего бояться, как бы юные безумцы не похитили его у меня; за меня стоят совесть и правда. Если уж неизбежно вмешательство предрассудка, то и двадцатилетняя привязанность тоже что-нибудь да значит; его никогда не уверят, что я надоедал ему пустыми уроками; а в прямом и чувствительном сердце голос верного и истинного друга сумеет заглушить крики хоть двадцати соблазнительей. Так как все дело здесь в том, чтобы показать ему, что его обманывают и, представляясь, что считают взрослым, в действительности обходятся с ним как с ребенком, то я буду стремиться быть всегда простым, но серьезным и ясным в своих рассуждениях, чтобы он чувствовал, что я-то именно и отношусь к нему как к взрослому.

Я скажу ему! «Вы видите, что речи мои проникнуты исключительно вашим интересом, который вместе с тем является и моим, и никакого другого я не могу иметь. А этим молодым людям почему



так хочется убедить вас? Они желают обольстить вас. Они не любят вас, им нет никакого дела до вас; единственным мотивом для них служит тайная досада при виде того, что вы лучше их; они хотят подвести вас под свою ничтожную мерку; упрекая вас в том, что вы позволяете распорядиться собою, они имеют одну цель — хотят сами управлять вами. Неужели вы можете думать, что с этою переменой вы выиграете что-нибудь? Неужели их мудрость столь необыкновенна? Неужели их привязанность на один день сильнее моей? Чтобы придавать значение их насмешкам, нужно было бы уверовать в их авторитет; а какую опытность они имеют за собою, чтобы ставить свои правила выше наших? Они только подражают другим вертопрахам, как, в свою очередь, и сами хотят быть предметом подражания. Чтобы стать выше мнимых предрассудков отца своего, они подчиняются предрассудкам своих товарищей. Я не вижу, что они этим выигрывают, но я вижу, что они несомненно теряют два важных преимущества — отцовскую привязанность, внушавшую нежные и искренние советы, и отцовскую опытность, которая учит судить о том, что знаем, ибо отцы были детьми, а дети не были отцами.

Но как вы думаете: искренни ли они по крайней мере в своих безумных правилах? Даже этого нет, дорогой Эмиль; они обманывают себя из-за того, чтобы обмануть вас; в них нет согласия даже с самими собою; сердце постепенно изобличает их, и уста часто противоречат им. Иной из них поднимает на смех все, что пристойно, и — был бы в отчаянии, если б жена его держалась таких же мыслей, как он. Иной распространит это равнодушие на нравственность и на нравы будущей жены своей или даже, к довершению позора, на нравы жены, которая уже есть у него; но пойдите дальше, поговорите с ним о матери, и вы увидите, охотно ли он согласится быть плодом прелюбодеяния и сыном женщины зазорного поведения, захочет ли ложно носить чужую фамилию и украсть наследство у законного наследника, наконец, потерпит ли, чтобы с ним обходились как с незаконнорожденным? Кто из них захочет, чтобы бесчестие, которым он покрывает дочь другого, пало на его собственную дочь? Иной из них посягнет даже на жизнь вашу, если вы в отношении к нему приложите на практике все те принципы, которые они силятся внушить вам. Таким-то образом они обнаруживают, наконец, свою непоследовательность, и всякий видит, что никто из них не верит в то, что говорит. Вот мои резоны, дорогой мой Эмиль; взвесьте их резоны, если у них есть, и сравните. Если б я хотел, как они, пустить в дело презрение и насмешку, вы видели бы, что они дают повод к насмешке над ними столько же, быть может, даже больше, чем я им. Но я не боюсь и серьезного исследования. Торжество насмешников бывает кратковременным; истина остается, а неразумный смех их улетучивается».

Вы не представляете себе, каким образом Эмиль в двадцать лет может быть послушным. Какая разница в нашем образе мыслей! Я не понимаю, как он мог бы быть послушным в десять лет,— ибо какое влияние я мог бы приобрести на него в этом возрасте? Я лишь после пятнадцатилетних забот добился этого влияния. За это время я не воспитывал его, а подготавливал к воспитанию. Теперь же он настолько уже воспитан, что может быть послушным; он узнает голос дружбы и

умеет повиноваться разуму. Правда, я предоставляю ему с внешней стороны независимость; но на деле он никогда не был так подчинен, как теперь, ибо теперешнее его подчинение добровольное. Пока я не мог владеть его волей, я старался владеть его личностью и ни на шаг не покидал его. Теперь я иной раз предоставляю его самому себе, потому что не перестану никогда руководить им. Покидая, я обнимаю его и говорю уверенным тоном: «Эмиль, я доверяю тебя своему другу; я отдаю тебя в распоряжение его честному сердцу; он и будет отвечать мне за тебя».

Не минутное дело — расстроить здоровые привязанности, никогда не подвергавшиеся предварительной порче, и изгладить принципы, непосредственно вытекающие из природного света разума. Если какая перемена и произошла в мое отсутствие, она никогда не будет продолжительной и он никогда не сумеет так хорошо утаиться от меня, чтобы я не заметил опасности прежде наступления бедствия и не успел вовремя принять меры. Так как люди портятся не сразу, то не сразу они научаются и притворству, есть ли человек, столь неопытный в этом искусстве, как Эмиль, которому ни разу в жизни не пришлось пускать его в ход?

Благодаря этим и другим подобным заботам он, думаю, так хорошо предохранен от неподходящих влияний и изменных правил, что я предпочел бы видеть его скорее среди самого дурного парижского общества, чем одиноко сидящим в комнате или в парке и предоставленным всем волнениям его возраста. Как бы то ни было, из всех неприятелей, которые могут напасть на молодого человека, самый опасный и единственный, которого нельзя устранить,— это он сам; этот неприятель однако ж опасен лишь по нашей вине, ибо, как я уже тысячу раз твердил, чувственность пробуждается лишь под влиянием воображения. Чувственная потребность, собственно говоря, не есть потребность физическая; неправда, будто это истинная потребность. Если б непристойная мысль никогда не проникала в наш ум, то никогда, быть может, эта мнимая потребность и не пробуждалась бы в нас, и мы оставались бы целомудренными, без соблазнов и усилий и не вменяя себе этого в заслугу. Мы не знаем, какое глухое брожение возбуждают в крови молодежи известного рода положения и известного рода зрелища, хотя и сама она не может разобраться в причинах этой первой тревоги, которая нелегко унимается и немедленно же возобновляется. Что касается меня, то, чем больше я размышляю об этом важном кризисе и его причинах, ближайших и отдаленных, тем больше убеждаюсь, что отшельник, воспитанный в пустыне, без книг, без наставлений и без женщин, умер бы там девственником, до какого бы возраста ни дожил.

Но здесь идет речь не о дикаре подобного рода. Воспитывая человека в среде ему подобных и для общества, невозможно и даже неуместно держать его вечно в этом спасительном неведении; самое плохое знание — это знание наполовину. Воспоминания о поразивших нас предметах, приобретенные нами идеи следуют за нами в наше убежище, населяют его, помимо нашей воли, картинами еще более соблазнительными, чем самые предметы, и делают уединение это столь же

пагубным для того, кто приносит туда эти картины с собою, сколь оно полезно для человека, вечно остававшегося там в одиночестве.

Бодрствуйте же тщательнее над молодым человеком; он сумеет предохранить себя от всего остального; ваше дело — предохранять его от него же самого. Не оставляйте его в одипочестве ни днем, ни ночью; спите по крайней мере всегда в его комнате; пусть он ложится только тогда, когда сон уже валит с ног, и пусть оставляет постель тотчас же по пробуждении. Не надейтесь на инстинкт, коль скоро вы уже не ограничиваетесь одним инстинктом; он хорош, пока действует один; но он становится подозрительным, лишь только впутывается в людские учреждения; не искоренять его следует, а направлять, а это, быть может, труднее, чем совсем уничтожить. Было бы весьма опасно, если б он дал иное направление чувственности вашего воспитанника и научил его находить иные средства для ее удовлетворения; раз он узнает это заменяющее средство — он погиб. С той поры тело и сердце его будут вечно расслабленными; он будет носить в себе до могилы печальные результаты этой привычки, самой пагубной, какой только может подчиниться молодой человек. Без сомнения, лучше уж было бы... Если ярость горячего темперамента становится непреодолимою, мне жаль тебя, дорогой мой Эмиль; но я ни минуту не стану колебаться, я не допущу, чтобы цель природы была извращена. Если уж нужно, чтобы тебя поработил тиран, то я лучше подчиню тебя тому тирану, от которого могу избавиться; что бы ни случилось, мне легче будет вырвать тебя у женщин, чем у тебя самого.

До двадцати лет тело растет, и ему нужно все его вещество; воздержание в это время — в порядке природы, и если нарушается оно, то в ущерб телосложению. После двадцати лет воздержание есть нравственный долг; оно важно для того, чтобы научиться властвовать над собою и оставаться господином своих вождлений. Но нравственные обязанности имеют свои видоизменения, исключения, свои правила. Когда слабость человеческая делает неизбежным выбор одного из двух, то из двух зол предпочтем меньшее; во всяком случае лучше совершить проступок, чем заразиться пороком.

Помните, что я говорю здесь не о своем воспитаннике, а о вашем. Страсти его, брожение которых вы допустили, берут над вами верх; уступите же им открыто, не маскируя перед ним его победы. Если вы сумеете показать ему эту победу в ее истинном свете, он скорее устыдится, нежели возгордится ею, и вы сбережете для себя право руководить им в его заблуждении, чтобы избавиться его по крайней мере от гибели. Важно, чтоб ученик ничего — даже дурного — не делал без ведома и воли наставника, и в сто раз лучше, если воспитатель одобрит проступок и обманется, чем если будет обманут своим воспитанником и проступок совершится без его ведома. Кто считает нужным смотреть на что-нибудь сквозь пальцы, тот скоро окажется вынужденным па все закрывать глаза; первое допущенное злоупотребление ведет за собой и другое, и эта цепь кончается лишь низвержением всякого порядка и презрением ко всякому закону.

Другим заблуждением, против которого я уже боролся, но от которого никогда не избавятся ничтожные умы, является вечное стремление поддерживать свое учительское достоинство и желание прослыть в глазах ученика человеком совершенным. Этот метод бессмыслен. Как они не видят, что, желая укрепить свой авторитет, они уничтожают его, что, кто хочет, чтобы его слушали, тот долж\_ен стать в положение тех, к кому обращается, и что нужно быть человеком, чтобы уметь затронуть человеческое сердце! Все эти совершенные люди не трогают и не убеждают; им всегда можно возразить, что легко бороться со страстями, которых не испытываешь. Покажите воспитаннику свои слабости, если хотите исцелить его от собственных; пусть он видит в вас ту же борьбу, которую испытывает, пусть из вашего примера научится побеждать себя, пусть не говорит, как иные: «Старики эти, с досады, что они уже не молоды, хотят с молодыми людьми обращаться как со стариками; а так как все их же-лаиня угасли, то они вменяют нам в преступление наши желания». Монтень говорит<sup>117</sup>, что он спрашивал однажды у г. де Ланже<sup>118</sup>, сколько раз тот во время переговоров в Германии напивался из усердия к королю. Я охотно спросил бы у воспитателя какого-нибудь молодого человека, сколько раз он ходил в известного рода место из усердия к своему воспитаннику. Сколько раз... что я говорю! Если первый же раз не отобьет у развратника навсегда охоту ходить туда, если он не вынесет оттуда стыда и раскаяния, если он не прольет на вашей груди потоков слез, бросьте его сию же минуту: он — чудовище или вы — глупец; вы ни для чего и никогда не будете ему годны. Но оставим эти крайние средства, столь же печальные, как и опасные и не имеющие никакого отношения к нашему воспитанию.

Сколько нужно предосторожностей для молодого человека хорошего рода, прежде чем подвергнешь его соблазну нравов нынешнего века! Эти предосторожности тяжелы, но неизбежны; невнимание к этому пункту и губит всю молодежь; благодаря именно распутству юного возраста люди вырождаются и становятся тем, чем мы ныне видим их. Низкие и подлые даже в пороках своих, они совершенно ничтожны душою, потому что их истасканные тела с ранних пор развращены; у них едва остается силы на то, чтобы двигаться. Их лукавые мысли обнаруживают шаткость их ума; они неспособны чувствовать ничего великого и благородного; у них нет ни простоты, ни силы; будучи гнусными во всех отношениях и низко злыми, они в то же время тщеславны, плутоваты, лживы; они не имеют достаточного мужества даже для того, чтобы быть знаменитыми злодеями. Таковы презренные люди, сформировавшиеся под влиянием разгула юности; найдись между ними хоть один, который умел бы быть воздержанным и трезвым, умел бы среди них предохранить свое сердце, кровь, свои права от заражения примером,— он и тридцать лет задавил бы всех этих букашек, и стать их властелином ему было бы легче, чем владеть самим собою.

Если бы происхождение или судьба несколько благоприятствовали Эмилю, он мог бы стать этим человеком, если бы хотел; но он настолько презирал бы их, что не захотел бы подчиняться.

Посмотрим теперь, как он вступает в их среду, входит в свет — не с целью первенствовать в нем, но чтобы узнать его и найти в нем достойную себе подругу.

К какому бы классу он ни принадлежал по рождению, в какое бы общество ни вступал, первый выход его будет прост и неблистателен. Боже избави его от несчастья блистать в нем! Качества, поражающие с первого же взгляда, не по его части, он не имеет их и не желает иметь. Он так мало придает цены суждениям людей, что не станет ценить предрассудков и не хлопочет, чтобы его уважали, не успев ознакомиться с ним. Его манера держаться не заискивающая и не заносчивая, она естественна и искренна; ему незнакомы ни стеснение, ни притворство; в обществе он тот же, каким бывает наедине и без свидетелей. Значит ли это, что он груб, спесив, что он ни на кого не обращает внимания? Совершенно напротив; если наедине он не считает других людей за ничто, то почему же он станет пренебрегать ими, когда будет жить с ними? По манерам его не видно, что он предпочитает их самому себе, потому что этого предпочтения нет в его сердце; но он не выказывает также и равнодушия к ним, которого он далеко не ощущает; если у него нет формул вежливости, зато есть заботливость о людях вообще. Ему неприятно видеть чужие страдания; он не предложит своего места другому из-за простого кривлянья, но он охотно уступит его по доброте, если, видя, что тот забыт, придет к заключению, что это забвение его оскорбляет; ибо моему молодому человеку легче будет добровольно простоять, чем видеть, как другой стоит по принуждению.

Хотя в общем итоге Эмиль не уважает людей, но он не станет выказывать презрения к ним, потому что жалеет их и соболезнует им. Не будучи в состоянии внушить им стремление к действительным благам, он представляет им мнимые блага, удовлетворяющие их, из опасения, чтобы, отнимая эти блага без нужды, не сделать их еще более несчастными, чем прежде. Он поэтому не любит спорить или противоречить; но он также не льстец и не угодник; он высказывает свое мнение, не отвергая ничьих других, потому что выше всего любит свободу, а откровенность — одно из лучших ее прав.

Он говорит мало, потому что почти не хлопочет, чтобы им занимались; по той же причине он говорит лишь о вещах полезных, а иначе что же побуждало бы его вступать в разговор? Эмиль настолько сведущ, что никогда не будет болтуном. Страсть к болтовне происходит непременно или от претензии на ум, о которой я буду говорить ниже, или оттого, что мы придаем много значения пустякам, по глупости думая, что и другие также дорожат ими, как мы. Кто настолько сведущ, что умеет всему придать истинную цену, тот никогда не говорит слишком много, ибо он умеет также оценивать и внимание, ему уделяемое, и знает, насколько его речи могут быть занимательными. Вообще, люди, мало знающие, говорят много, а много знающие мало говорят. Вполне естественно, что невежда все, что знает, находит важным и всем это высказывает. Но просвещенный человек не так-то легко открывает свой запас знаний; ему слишком много

пришлось бы говорить, а он видит, что после него еще больше осталось бы невысказанного, и поэтому молчит.

Эмиль не только не оскорбляет своими манерами других, но даже сообразуется с их манерами — не для того, чтобы казаться опытным в светском обращении или пощеголять тоном вежливого человека, а напротив — из опасения не выделяться с целью избегнуть общего внимания; ему всего приятнее бывает, когда за ним никто не следит. Хотя при вступлении в свет он решительно незнаком с его манерами, тем не менее он не застенчив и не робок; если он стушевывается, то не вследствие замешательства, а вследствие того, что незамеченному лучше наблюдать, ибо он почти не беспокоится о том, что о нем думают, а быть смешным он ничуть не боится. Поэтому-то, будучи всегда спокойным и хладнокровным, он не приходит в смущение от ложного стыда. Смотрят на него или нет, он всегда поступает так хорошо, как только может; сосредоточиваясь в себе, чтобы лучше наблюдать других, он подхватывает их манеры с такою легкостью, которая недоступна рабам людского мнения. Можно сказать, что он потому и перенимает обычаи света, что мало дорожит ими.

Однако ж не обманывайтесь насчет его осанки и не вздумайте сравнивать ее с осанкою ваших юных любезников. Он тверд, но не самодоволен: манеры его свободны, но не презрительны; наглый вид свойственен лишь рабам, независимость не заключает в себе ничего принужденного. Я никогда не видал, чтобы человек, имеющий в душе гордость, выказывал ее в своей осанке; эта аффектация гораздо свойственнее низким и тщеславным душам, которые только этим и могут внушать почтение к себе. Я читал в одной книге<sup>119</sup>, как один иностранец явился раз в залу знаменитого Марсея<sup>120</sup> и тот спросил, из какой он страны. «Я англичанин»,— отвечает иностранец. «Вы англичанин? — возражает танцор.— Вы с того острова, где граждане принимают участие в общественном управлении и составляют часть верховной власти?» Нет, сударь, эта поникшая голова, этот робкий взгляд, эта неуверенная походка возвещают мне лишь титулованного раба какого-нибудь избирателя».

\* Как будто бы есть граждане, которые не бывают членами государства и не принимают в качестве таковых участия в верховной власти! Но французы, которым заблагорассудилось присвоить себе это почетное Наименование «граждан», принадлежавшее некогда членам галльских гражданских общин, до того извратили идею, что под словом этим ничего уже не разумеется. Человек, недавно написавший мне много глупостей, направленных против «Новой Элоизыч, украсил свою подпись титулом: «гражданин Пембёва»<sup>121</sup> — и думает, что великолепно подшутил надомною.

Не знаю, обнаруживает ли это суждение большое знакомство с истинными отношениями между характером человека и его внешностью. Что касается меня, то, не имея чести быть танцевальным учителем, я подумал бы совершенно обратное. Я сказал бы: «Этот англичанина не царедворец: я никогда не слыхал, чтобы царедворцы ходили с опущенною головой и имели неуверенную

походку; человек, застенчивый у танцора, легко может не быть застенчивым в палате общин». Наверное, этот Марсель принимает своих земляков за настоящих римлян.

Когда любишь, то желаешь и быть любимым. Эмиль любит людей и, значит, желает нравиться им. Тем более он желает нравиться женщинам; его возраст, нравственность, планы будущего — все содействует поддержанию в нем этого желания. Я упоминал о нравственности, ибо она имеет здесь большое значение; мужчины, обладающие ею, суть истинные поклонники женщин. Им незнаком, как другим, этот насмешливо любезный жаргон; но они способны на истинное, более нежное, исходящее от сердца увлечение. Возле молодой женщины и между сотнею тысяч развратников узнал бы человеке, обладающего нравственностью и повелевающего своей природой. Судите же, каков должен быть Эмиль, при его совершенно нетронутым темпераменте и при таком обилии причин, побуждающих противиться ему! Возле женщин он будет, я думаю, застенчив порой и неловок; но, наверное, эта неловкость не будет им неприятной, и даже наименее плутоватые из них слишком часто будут проявлять свое искусство пользоваться этим замешательством и усиливать его. Впрочем, внимательность его будет заметно изменять свою форму, смотря по положению женщин. С замужними он будет скромнее и почтительнее, при девушках-невестах живее и нежнее. Он не теряет из виду цели своих поисков и наибольшее внимание оказывает тому, что напоминает ему о ней.

Никто не будет относиться строже его ко всем вопросам об уважении, основанном на порядке природы и даже на требованиях общественного благоустройства; но первого рода уважение для него всегда будет важнее второго, и он почтительнее будет и частному человеку, который старше его, чем к должностному лицу одних с ним лет. Поэтому, будучи обыкновенно одним из наиболее юных членов общества, в котором он вращается, он будет всегда и одним из наиболее скромных — не из-за тщеславного желания казаться смиренным, но по естественному, основанному на разуме чувству. Он не будет отличаться развязным «знанием света», свойственным юному фату, который, чтобы повеселить компанию, говорит громче умных людей и перебивает речь старых; он не даст права сказать о нем, что сказал один старый дворянин Людовику XV, спрашивавшему, какой век тот предпочитает, свой или нынешний: «Государь, молодость я провел, уважая стариков, а в старости мне приходится уважать детей».

Обладая нежной и чувствительною душой, но не измеряя ничего по мерке людского мнения, он хотя и любит быть приятным для других, но не слишком станет гоняться за их уважением. Отсюда следует, что он будет более ласков, чем вежлив, что в нем никогда не будет ни чванства, ни жеманства, что его более тронет ласка, чем тысячи похвал. По тем же причинам он не станет пренебрежительно относиться ни к манерам, ни к своей осанке; он даже может проявить некоторую изысканность в наряде — не из желания казаться человеком со вкусом, но из желания сделать фигуру свою более приятною; ему не нужно будет золотой рамы, и вывеска богатства никогда не запятнает его убранства.

Каждый видит, что все это не требует с моей стороны целой кучи нравоучений, а является лишь следствием его первоначального воспитания. Светские приличия выдают нам за какую-то великую тайну, как будто в том возрасте, когда эти приличия перенимаются, это делается не само собою, как будто честность сердца не единственная основа главных их законов! Истинная вежливость заключается в изъявлении благосклонности к людям; она без труда обнаруживается, если есть в наличии; у кого ее нет, для того именно и пришлось из внешних ее проявлений создавать особое искусство.

«Самым прискорбным результатом светской вежливости бывает приобретение умения обходиться без добродетелей, которым она подражает. Пусть нам внушат при воспитании гуманность и стремление делать добро — и мы будем отличаться вежливостью или хуже вовсе не будем иметь в ней нужды.

Если у нас не будет вежливости, проявляющейся в грациозном обхождении, зато мы будем отличаться тою, которая характеризует честного человека и гражданина; нам незачем будет прибегать к фальши.

Вместо того чтобы быть хитрым из-за желания поправиться, достаточно будет быть добрым; вместо того чтобы быть лживым из-за желания польстить чужим слабостям, достаточно будет быть снисходительным.

Люди, с которыми подобным образом будут обходиться, не возгордятся этим и не испортятся; они будут лишь признательными и станут лучшими»\*.

\* *Дюкля* Размышления о нравах этого века.

Мне кажется, что воспитание, план которого я начертил, лучше всего должно порождать ту вежливость, которой требует здесь *Дюкля*.

Я согласен, конечно, что при столь своеобразных правилах *Эмиль* будет не таков, как все, и не дай бог, чтобы он был когда-нибудь таким же! Но в том, что будет отличать его от других, он не окажется несносным или смешным; различие будет заметно, но не будет неудобным для него: *Эмиль* будет, если хотите, милым иностранцем. На первых порах ему будут прощать его особенности, говоря: «Он еще сформируется». Впоследствии совершенно привыкнут к его манерам и, видя, что не изменяется, по-прежнему станут извинять ему и скажут: «Он так уже создан».

Его не будут приветствовать всюду, как милого человека, но будут любить, сами не зная за что; никто не станет превозносить похвалами его ум, но между умными людьми его охотно будут выбирать посредником: ум его будет отчетливым и будет держаться в известных границах; у него будут здравый смысл и здравое суждение. Никогда не гоняясь за новыми идеями, он не станет хвалиться умом. Я ему дал понять, что все спасительные и истинно полезные людям идеи бывают известны прежде других, что они именно во всякое время и составляют единственную истинную связь общества, а умам превыспренним остается лишь отличаться идеями вредными и пагубными



для человеческого рода. Этот способ возбуждать удивление почти не трогает его; он знает, в чем должен искать счастья своей жизни и чем может содействовать счастью другого. Сфера его познаний простирается но дальше того, что полезно. Путь его узкий и хорошо намеченный; не покушаясь сойти с него, он остается в толпе тех, кто идет по нему, и не желает ни сбиваться с него, ни блистать. Эмиль есть человек здравого смысла и не хочет быть чем-либо иным; сколько бы ни старались обидеть его этим титулом, он всегда будет считать его почетным.

Хотя желание нравиться не позволяет ему быть решительно равнодушным к мнению других, но он обратит внимание в этом мнении лишь на то, что непосредственно относится к его личности, не заботясь о произвольных оценках, законом для которых бывает мода или предрассудки. У него будет гордое желание все, что делает, делать хорошо и даже лучше других: в беге он захочет быть самым проворным, в борьбе — самым сильным, в работе — самым искусным, в играх, требующих ловкости, — самым ловким; но он мало станет добиваться преимуществ, которые сами по себе неясны и требуют подтверждения со стороны другого, — таких преимуществ, как быть умнее другого, лучше говорить, быть учнее и т. п.; еще меньше он добивается тех, которые совершенно не зависят от личности, например, превосходить другого знатностью рода, считаться богаче, влиятельнее, почетнее другого, поражать большею пышностью.

Любя людей, потому что они его ближние, он особенную любовь будет питать к тем, которые более всего на него походят, ибо он будет чувствовать себя человеком добрым; судя об этом сходстве по совпадению вкусов в вопросах нравственности, во всем, что зависит от доброты характера, он будет находить большое удовольствие в их одобрении. Он не скажет себе: «Как я рад, что меня одобряют»; но скажет: «Как я рад, что одобряют мой хороший поступок; как я рад, что люди, почитающие меня, сами заслуживают почета: пока они будут обладать столь здравым суждением, приятно будет добиться их уважения».

Изучая людей в свете по нравам, подобно тому как перед этим он изучал их в истории по страстям их, он часто будет иметь случаи размышлять о том, что льстит и что претит человеческому сердцу. Таким образом он начинает уже философствовать — об условиях людского вкуса: вот изучение, наиболее подходящее для него в эту пору.

Чем дальше мы идем за определениями вкуса, тем больше сбиваемся с дороги; вкус есть лишь способность судить о том, что правится или не правится большинству. Уклонитесь от этого определения — и вы не будете знать, что же такое вкус. Из этого не следует, чтобы людей со вкусом было больше других; ибо хотя большинство здраво судит о каждом предмете, все-таки немногие люди судят о всех предметах так, как это большинство, и хотя стечение наиболее общих вкусов и составляет хороший вкус, все-таки людей со вкусом мало, точно так же как мало бывает красавиц, хотя соединение наиболее обычных черт и составляет красоту.

Нужно заметить, что здесь дело идет не о том, что любят в силу того, что оно полезно, или ненавидят в силу того, что оно вредит нам. Вкус изощряется лишь на безразличных предметах

или, самое большое, на предметах забавы, а не на тех, которые связаны с нашими потребностями; чтобы судить об этих последних, не нужно вкуса — достаточно одного позыва к ним. Вот почему столь трудны и столь, мне кажется, произвольны решения, основанные на одном вкусе; ибо вне инстинкта, определяющего вкус, не видно иных оснований для этих решений. Кроме того, нужно различать законы вкуса в нравственном мире от его законов в мире физическом. В этом последнем случае основы вкуса кажутся решительно необъяснимыми. Но нужно заметить, что нравственный элемент входит во все то, что связано с подражанием<sup>\*</sup>; таким путем и объясняются те красоты, которые кажутся нам физическими, а в действительности вовсе не таковы.

\* Это доказано в «Опыте о происхождении языков», который найдут в собрания моих сочинений.

Прибавлю, что вкус подчиняется местным правилам и, таким образом, в тысяче мелочей становится зависимым от климатов, нравов, образа правления, учреждений, что есть иные вкусы, связанные с возрастом, полом, характером, и что и этом-то именно смысле и не следует спорить о вкусах.

Вкус от природы свойствен всем людям, но не все имеют его в одинаковой мере, не во всех он развивается в одинаковой степени и у всех подвержен изменениям вследствие различных причин. Мера возможного у человека вкуса зависит от чувствительности, которою он одарен, а усовершенствование его и направление зависят от обществ, среди которых мы жили. Для этого, во-первых, нужно пережить в многочисленных обществах, чтобы сделать много сравнений. Во-вторых, требуются общества веселые и праздные, ибо деловые общества берут за правило не удовольствие, а интерес. В-третьих, требуются такие общества, где неравенство было бы не слишком велико, где деспотизм мнестия был бы ограничен и где более царила бы страсть к наслаждению, чем к тщеславию; ибо в противном случае мода заглушает вкус, а люди скорее ищут не того, что нравится, а того, что отличает.

В этом последнем случае хороший вкус уже не есть вкус большинства. А почему это? Потому что точка зрения изменяется. Здесь масса не имеет уже своего суждения, а сообразуется со взглядами тех, которых считает просвещеннее себя; она одобряет не то, что хорошо, а то, что они одобрили. Старайтесь, чтобы у каждого человека во всякое время было свое собственное чувство,— и тогда, что всего приятнее само по себе, на стороне того всегда будет большинство голосов.

Люди в своих произведениях создают прекрасное лишь через подражание. Все настоящие образцы вкуса заключаются в природе. Чем больше мы удаляемся от учителя, тем безобразнее наши картины. В этом случае образцы свои мы извлекаем уже из любимых нами предметов; прекрасное, созданное фантазией, подчинено капризу и авторитету и есть уже не что иное, как то, что нравится нашим руководителям.

Руководят нами артисты, вельможи, богачи; а ими руководит личная выгода или тщеславие. Они наперерыв друг перед другом изыскивают средства тратить деньги — одни с целью

выставить напоказ свои богатства, другие с целью воспользоваться этим. Таким путем воцаряется чрезмерная роскошь, заставляющая любить то, что трудно достать и что дорого стоит; и тогда мнимое прекрасное, вместо того чтобы подражать природе, считается таковым лишь в силу того, что ей противоречит. Вот каким образом роскошь и дурной вкус оказываются неразлучными. Всюду, где вкус разорителен, он ложен.

Особенно развивается вкус — хороший или дурной — при сношениях между двумя полами; развитие его есть необходимое следствие той цели, которая имеется в виду при этом общении. Но когда желание нравиться ослабляется легкостью пользования, вкус должен искажаться; в этом, кажется мне, и заключается другая существенная причина того, что хороший вкус находится в зависимости от доброй нравственности.

Обращайтесь ко вкусу женщин в материальных вещах и в таких, которые зависят от чувственного суждения, а ко вкусу мужчин — в вопросах нравственных и более зависящих от разума. Когда женщины будут тем, чем они должны быть, они станут ограничиваться вещами, относящимися к их компетенции, и всегда будут хорошо судить; но с тех пор как они водворились судьями в литературу, с тех пор как пришлось судить о книгах и сочинять их изо всех сил, они ничего уже не понимают. Сочинители, обращающиеся за советами к ученым женщинам по поводу своих произведений, всегда могут быть уверены, что получают дурной совет; щеголи, советующиеся с ними насчет костюма, всегда смешно одеты. Я скоро буду иметь случай говорить об истинных талантах этого пола, о способе развития их и о том, в каких вопросах решения их должны быть приняты в расчет.

Вот эти элементарные размышления я и положу в основу рассуждения с Эмилем о предмете, в высшей степени для него интересном среди той обстановки, в которой он находится, и среди поисков, которыми занят. Да и кому этот предмет не интересен? Знание того, что может быть приятным или неприятным для людей, необходимо не только тому, кто имеет нужду в них, но также и тому, кто хочет быть им полезным; даже для того, чтобы услужить им, нужно понравиться; и искусство писать вовсе не есть праздное занятие, когда его употребляют на то, чтобы заставить выслушать истину.

Если бы для развития вкуса у моего ученика мне пришлось делить выбор между странами, где культивирование вкуса еще не начиналось, и другими, где вкус уже извращен, я последовал бы обратному порядку: я начал бы обзор с последних и окончил бы первыми. Этот мой выбор обусловлен был бы тем, что вкус портится от чрезмерной изысканности, делающей человека чувствительным к таким вещам, которых большинство людей не замечает; эта изысканность порождает страсть к спору, ибо чем более предметы утончаются, тем становятся многочисленнее; эта утонченность делает ощущение более деликатным и разнообразным. И вот образуется столько же вкусов, сколько голов. В спорах о предпочтении развиваются философский дух и знания; и таким образом люди учатся мыслить. Топкие наблюдения могут быть делаемы только людьми,

имеющими очень обширные знакомства, так как наблюдения эти поражают внимание после всех других, а люди, мало привычные к многочисленным обществам, все внимание свое посвящают крупным чертам. В настоящее время нет, быть может, на земле просвещенной страны, где общий вкус стоял бы ниже, чем в Париже. Между тем в этой же столице развивается хороший вкус; и, по-видимому, немного найдешь в Европе достойных внимания книг, авторы которых не приезжали бы за образованием в Париж. Кто думает, что достаточно читать книги, которые здесь пишутся, тот ошибается; из бесед с авторами гораздо более научаешься, чем из книг, да и не сами авторы всего более научают. Дух общества — вот что развивает тупую голову и расширяет взгляды, насколько это возможно. Если у вас есть искра таланта, проведите год в Париже: скоро вы будете всем тем, чем можете быть, или никогда уже ничем не будете.

Можно научиться думать и там, где царит дурной вкус: но для этого нужно не так думать, как думают люди, имеющие этот дурной вкус, а это весьма трудно, особенно если долго остаешься в их среде. С их помощью нужно совершенствовать орудие суждения, но употреблять его нужно не так, как они. Я постараюсь не утончать суждения Эмиля до искажения; и когда ощущение его будет настолько тонко, что он будет чувствовать и сравнивать различные вкусы людей, его собственный вкус я постараюсь сосредоточить на предметах самых простых.

Я еще заранее приму меры для сохранения в нем чистого и здорового вкуса. В вихре развлечений я сумею завести с ним полезные разговоры, и, постоянно направляя их на предметы, которые ему нравятся, я озабочусь сделать эти разговоры столь же занимательными, сколь и поучительными. Вот пора чтения, нора занимательных книг, вот время научить его анализу речи и сделать чувствительным ко всем красотам красноречия и слога. Мало учить языкам ради них самих; употребление их не так важно, как думают, но изучение языков ведет к изучению общей грамматики. Нужно изучать латынь, чтобы хорошо знать французский язык; нужно изучать и сравнивать тот и другой язык, чтобы понять правила искусной речи.

Существует, кроме того, известная простота вкуса, которая трогает сердце и встречается только в сочинениях древних. В красноречии, в поэзии, во всякого рода литературе он найдет у них, как и в истории, изобилие фактов и скупость в суждениях. Наши авторы, напротив, фантов приводят мало, а мнений высказывают много. Постоянно выдавать нам свое суждение за закон — это не есть средство развивать наше суждение. Различие между этими двумя вкусами чувствуется во всех памятниках литературы и даже в надгробных надписях. Наша гробница покрыты восхвалениями; на гробницах древних читали факты.

*Sta, viator. Herosm calcas* <sup>122</sup>. Если б я нашел эту эпитафию на древнем памятнике, я сразу догадался бы, что она новейшего происхождения; ибо между нами нет ничего обыкновеннее героев, а у древних они были редки. Вместо того чтобы говорить, что человек был героем, они сказали бы, что он сделал такого, чтобы быть им. С эпитафией этого героя сравните эпитафию изнеженного Сарданапала:

«Я построил Таре и Аихиал в один день, и теперь я мертв»<sup>123</sup>.

Которая, по вашему мнению, говорит больше? Наш надгробный стиль с его напыщенностью годен лишь на то, чтобы раздувать в героев карликов. Древние показывали людей в натуральном виде, и видно было, что это люди. Ксенофонт, чтобы почтить память нескольких воинов, предательски убитых при отступлении десяти тысяч, говорит: «Они умерли безупречными на воцне и в дружбе»<sup>124</sup>. И все. Но посмотрите, как в этой столь краткой и простой похвале сквозит то, чем было переполнено сердце автора. Жалок тот, кто не находит этого восхитительным!

На мраморе у Фермопил были вырезаны такие слова:

«Прохожий, ступай скажи Спарте, что мы умерли здесь, повинувшись ее святым законам»<sup>125</sup>.

Сразу видно, что надпись эту сочиняла не Академия надписей<sup>126</sup>.

Я обманулся, если мой воспитанник, придающий столь мало цены словам, не обратит прежде всего свое внимание на эту разницу и если она не повлияет на выбор его чтения. Увлеченный мужественным красноречием Демосфена<sup>127</sup>, он скажет; «Это оратор»; но читая Цицерона, он скажет: «Это адвокат».

Вообще, Эмилю будут больше по вкусу книги древних, чем наши,— уже по одному тому, что, будучи первыми, древние ближе всего к природе и гений их более самостоятелен. Что бы там ни говорили Ламотт<sup>128</sup> и аббат Террасон<sup>129</sup>, истинного прогресса разума нет в человеческом роде, потому что все, что с одной стороны приобретается, с другой теряется, потому что все умы отправляются всегда от одной и той же точки; а так как время, употребляемое на то, чтоб узнать, что думали другие, бывает потерянным для приобретения самостоятельного мышления, то в результате является увеличение приобретенных сведений и уменьшение умственной силы. Умы наши, как и руки, привыкли все делать с помощью инструментов и ничего сами по себе. Фонтенель говорил<sup>130</sup>, что весь этот спор о древних и новейших народах смахивает на вопрос, были ли прежде деревья больше, чем теперь. Если б земледелие подвергалось видоизменениям, то подобный вопрос был бы вовсе не бессмысленным. Поднявшись таким образом до источников чистой литературы, я докажу Эмилю стоки ее в резервуарах новейших компиляторов — журналы, переводы, словари; он бросит взгляд на все это и потом оставит, чтобы никогда уже не возвращаться к этому. Я дам ему послушать, чтобы позабавить его, болтовню академий; я дам ему заметить, что каждый из членов, их составляющих, отдельно взятый, всегда дороже стоит, чем взятый вместе с собранием; из этого он сам сделает вывод о полезности всех этих прекрасных учреждений.

Я поведу его на зрелища, чтоб изучать — не правы, а вкус; ибо там он особенно виден для тех, кто умеет рассуждать. «Оставь в стороне нравственные правила и мораль,— скажу я ему,— не здесь нужно их изучать. Театр создан не для торжества истины, а для того, чтобы польстить людям, позабавить их; ни в одной школе так хорошо не научишься искусству нравиться им и заинтересовывать человеческое сердце. Изучении театра ведет к изучению поэзии; цель в том и

другом случае совершенно одинакова». Если у Эмиля есть хоть капля вкуса к поэзии, с каким удовольствием он займется языками поэтов — греческим, латинским, итальянским! Это изучение будет для него забавой, без тени принуждения, и тем успешнее пойдет; оно будет усладой для него в том возрасте и при таких обстоятельствах, когда сердце с таким восторгом интересуется всеми родами прекрасного, способного его трогать. Вообразите себе по одну сторону моего Эмиля, а по другую шалуна из коллежа читающими четвертую книгу «Энеиды», или Тибулла<sup>131</sup>, или «Пир» Платона: какая разница! Как тронуту сердце одного тем, что на другого не производит даже впечатления! О, добрый юноша, остановись, прекрати чтение! Ты, вижу, слишком взволнован; я, конечно, хочу, чтобы язык любви тебе нравился, но я не хочу, чтоб он сбивал тебя с толку: будь человеком чувствительным, но оставайся и человеком мудрым. Если ты — лишь одно из двух, ты — ничто. Впрочем, покажет он успехи в мертвых языках, в занятии беллетристикой, поэзией или нет, это для меня не важно. Небольшая беда и вовсе не знать всего этого,— говоря о воспитании его, мы подразумеваем не эти пустяки.

Главная моя цель, когда я научаю его чувствовать и любить прекрасное во всех родах его, заключается в том, чтобы сосредоточить на этом прекрасном его привязанности и вкусы, помешать извращению его природных позывов и не допускать, чтоб он когда-нибудь в своем богатстве искал средств быть счастливым — средств, которые он должен найти ближе, при себе. Я сказал в другом месте<sup>132</sup>, что вкус есть не что иное, как искусство знать толк в мелких вещах,— и это очень верно; но так как от сцепления мелочей и зависит радость жизни, то подобные заботы далеко не излишни; через них мы научимся наполнять жизнь доступными нам благами, поскольку эти блага могут иметь для нас истинное значение. Я разумею здесь не нравственные блага, зависящие от добрых склонностей души, но только то, что касается чувственности, реального наслаждения; предрассудки же и людское мнение оставлены в стороне.

Пусть мне позволено будет для лучшего развития моей идеи оставить на минуту Эмиля, чистое и здоровое сердце которого не может уже служить образцом для кого-либо, и поискать в самом себе примера, более осязательного и подходящего к нравам читателя.

Есть звания, которые как бы изменяют природу и переделывают — в лучшую или худшую сторону — людей, к ним принадлежащих. Трус становится храбрецом, поступив в наваррский полк<sup>133</sup>. Корпоративным духом заражаются не только на военной службе, и не всегда результаты его проявляются с хорошей стороны. Я сотни раз с ужасом думал, что, если б мне сегодня выпало несчастье занять известного рода должность в известной стране, я завтра неизбежно стал бы тираном, лихоимцем, разорителем народа, вредным для государя, врагом — по своему званию — всякой человечности, всякой правды, всякого рода добродетели.

Точно так же, если б я стал богачом, я делал бы все, что нужно для того, чтобы быть им; я был бы, следовательно, высокомерен и низок, чувствителен и деликатен по отношению к самому себе, неумолим и жесток ко всем остальным; я был бы безучастным зрителем бедствий «подлой черни»,

ибо бедняков я иначе не называл бы, чтобы заставить других забыть, что и я некогда принадлежал к их же классу. Наконец, я обратил бы богатство в орудие для своих удовольствий, которыми единственно и был бы занят. До сих пор я был бы, как и все.

Но вот в чем я сильно отличался бы, думаю, от них: я был бы скорее чувственным и сластолюбивым, чем высокомерным и тщеславным, гораздо скорее предавался бы роскоши изнеженности, чем роскоши чванства. Мне было бы даже несколько совестно слишком выставлять напоказ свое богатство, и мне всегда думалось бы, что завистник, которого я подавлял бы своею пышностью, говорит на ухо своим соседям: «Вот плут, который очень боится, чтобы не узнали его плутней».

Из этого неизмеримого обилия благ, покрывающих землю, я стал бы искать того, что мне приятнее всего и что я легче всего могу себе присвоить. Вследствие этого я воспользовался бы богатством прежде всего для того, чтобы купить себе досуг и свободу, к которым прибавил бы и здоровье, если б оно продавалось; но так как оно покупается лишь воздержанностью, а без здоровья нет истинных удовольствий в жизни, то я из-за чувственности был бы воздержанным.

Я всегда оставался бы возможно ближе к природе, чтобы угодить чувствам, которыми она наделила меня, — будучи вполне уверен, что чем больше будет естественного в моих наслаждениях, тем действительнее они окажутся. В выборе предметов для подражания я всегда ее брал бы за образец; в своих аппетитах я отдавал бы ей предпочтение; в своих вкусах я всегда с нею советовался бы; из блюд я всегда выбирал бы те, которым она служит лучшею приправой и которая проходит через наименьшее число рук, прежде чем попасть на наш стол. Я предупреждал бы мошенническую фальсификацию, я шел бы навстречу удовольствию. Мое глупое и грубое обжорство не обогащало бы метрдотеля; он не продавал бы мне на вес золота яду вместо еды<sup>134</sup>; стол мой не был бы пышно покрыт великолепною дрянью и привезенной издалека мертвечиной; на удовлетворение своей чувственности я расточал бы свои собственные труды, потому что в этом случае самый труд есть удовольствие, прибавляемое к тому, которого ожидаешь от него. Если б мне захотелось попробовать какого-нибудь заморского блюда, я, как Апиций<sup>135</sup>, скорее сам отправился бы за ним на край света, чем выписывал его оттуда; ибо и самым изысканным блюдам всегда недостает той приправы, которой не привозят вместе с ними и которой не приготовит никакой повар, именно воздуха страны, произведшей их.

На том же основании я не стану подражать тем, которые, чувствуя себя хорошо там, где их нет, стараются всегда производить путаницу в чередовании времен года и климаты поставить в противоречие с временами года, которые, ища зимою лета и летом зимы, отправляются терпеть холод в Италии и жару на севере, не помышляя о том, что, спасаясь от суровости времен года, они снова встречаются с нею там, где люди не научились предохранять себя от этой суровости. Я же или оставался бы на месте, или поступал бы совершенно наоборот; я захотел бы в каждом времени года насладиться всем, что только есть в нем приятного и в каждом климате всем, что есть в нем

особенного. У меня было бы большое разнообразие удовольствий и привычек, непохожих друг на друга, которые всегда были бы в порядке природы; лето я проводил бы в Неаполе, а зиму в Петербурге; то, полулежа в прохладных гротах Тарента<sup>136</sup>, вдыхал бы в себя нежный зефир, то отдыхал бы среди иллюминации ледяного дворца, запыхавшись и утомившись удовольствиями бала.

Я желал бы в сервировке стола, в убранстве своего жилища подражать с помощью самых простых украшений разнообразию времен года и из каждого извлекать все его прелести, не захватывая тех, которые следуют позже. В таком нарушении порядка природы, в этом насильственном вырывании у нее продуктов, которые она дает поневоле, среди проклятий, и которые, не имея ни доброкачественности, ни вкуса, не могут ни питать желудка, ни угождать небу, виден труд, но не видно вкуса. Нет ничего безвкуснее первых сборов; с большими издержками иной парижский богач при помощи своих печей и теплиц добывается лишь того, что круглый год имеет у себя на столе плохие овощи и плохие фрукты. Если б у меня были вишни, когда на дворе мороз, и ароматные дыни среди зимы, какое мне удовольствие было бы есть их, когда я не ощущаю потребности промочить горло или освежить небо? Разве уж очень приятен в летнюю жару трудноперваримый каштан? Неужели вынутый из печи каштан я предпочел бы смородине, землянике, тем прохладительным фруктам, которые без всяких с моей стороны забот предлагает мне земля? Покрывать в январе месяце свой камин насильно выращенной растительностью, бледными цветами без запаха — значит не столько подкрашивать зиму, сколько портить весну; это значит лишать себя удовольствия — сходить в лес за первою фиалкой, подсмотреть развитие первой почки и воскликнуть в порыве радости: «Смертные! вы еще не покинуты, природа еще живет!»

Для того чтобы мне хорошо служили, я держал бы поменьше прислуги; это уже сказано, по хорошо повторить и еще раз. Буржуа получает больше истинных услуг от своего единственного слуги, чем герцог от десяти господ, его окружающих. Я сто раз думал, что если за столом стакан у меня под рукою, то я пью в тот же момент, как вздумаю, тогда как, если б у меня была пышная сервировка, прежде чем я мог бы утолить свою жажду, человекам двадцати пришлось бы повторять: «Вина! Вина!» Что делается с помощью другого, то все исполняется дурно, как бы ни брались за дело. Я не посылал бы в лавки, а ходил бы сам,— ходил бы для того, чтобы люди мои не вошли в сговор с купцами, чтоб иметь возможность лучше выбрать и дешевле заплатить; я ходил бы для приятного упражнения, чтобы немного посмотреть, что делается вне моего дома,— это освежает, а иной раз и поучает; наконец, я ходил бы с целью походить — и это всегда чего-нибудь да стоит. Скука возникает от слишком сидячей жизни; кто много ходит, тот мало скучает. Привратник и лакеи — плохие посредники; я не хотел бы, чтоб эти люди всегда стояли между мной и остальным светом, не хотел бы всегда пускаться в путь при грохоте кареты, как будто бы я боялся дать к себе доступ. «Лошади» человека, пользующегося своими ногами, всегда готовы;



если они устали или больны, он знает об этом раньше всякого другого и не опасается, что ему придется под этим предлогом торчать дома из-за того, что кучеру его вздумалось погулять; в дороге тысяча препятствий не заставляют его изнывать от нетерпения или стоять на мосте в тот момент, когда ему хотелось бы лететь. Наконец, раз лучше нас самих никто не может услужить нам, то, будь мы могущественнее Александра и богаче Креза<sup>137</sup>, мы только тогда должны получать услуги от других, когда же можем справиться сами.

Я не хотел бы иметь жилищем дворец, ибо в этом дворце я занимал бы всего одну комнату; всякое общее помещение не принадлежит никому отдельно, а комната каждого из моих слуг была бы для меня столь же чужою, как и комната моего соседа. Восточные пароды хотя очень сладострастны, но все имеют простые жилища и простую обстановку. На жизнь они смотрят как на путешествие, а на дом свой — как на трактир. Это основание, конечно, мало имеет силы для нас — богачей, ибо мы устраиваемся так, чтобы вечно жить; но у меня было бы другое основание, которое приводило бы к тому же результату. Мне казалось бы, что устраиваться с такою обстоятельностью на каком-нибудь месте — значит изгонять себя из всех других мест и создавать, так сказать, в своем дворце тюрьму для себя. Мир — достаточно красивый дворец; разве не все принадлежит богачу, если только он хочет пользоваться? *Ubi bene, ibi patria*<sup>138</sup> — вот его девиз; его пенаты там, где все могут деньги; родина его — всюду, куда может проникнуть казна его, подобно тому как Филипп<sup>139</sup> считал своею всякую крепость, куда мог войти мул, навьюченный серебром. К чему же окружать себя стенами и воротами как будто с целью никогда не выходить за них! Если эпидемия, война, возмущение гонит меня с одного моста, я иду в другое и вижу, что палаты мои прибыли туда еще раньше меня. Зачем мне трудиться над постройкой для себя особого дома, когда по всей Вселенной их строят для меня? Для чего мне, когда я так тороплюсь жить, исподволь подготавливать себе наслаждения, которые я сегодня же могу получить? Невозможно устроить себе приятной доли, если будешь постоянно в противоречив с самим собою. Эмпедокл<sup>140</sup> упрекал жителей Агригента<sup>141</sup> за то, что удовольствий у них такая масса, как будто им остается всего один день жить, а строятся они так, как будто им никогда не предстоит умереть<sup>142</sup>.

К тому же, для чего мне такое обширное жилище, если мне почти нечем его населить, а тем более наполнить? Обстановка моя была бы так же проста, как и вкусы мои; у меня не было бы ни галереи, ни библиотеки, в особенности если бы я любил чтение и знал толк в картинах. Я знал бы, что такие коллекции никогда не бывают полными и что неполнота их причиняет больше горя, чем полное отсутствие. В этом случае изобилие создает нищету; нет составителя коллекций, который бы этого не испытал. Кто знает в них толк, тот не должен их составлять; у того не бывает кабинета напоказ другим, кто сам умеет им пользоваться.

Игра — вовсе не забава для богатого человека, это удел для праздного человека; а мои удовольствия доставляли бы мне столько хлопот, что у меня на такие пустяки немного оставалось

бы времени. Теперь я вовсе не играю, будучи отшельником и бедняком,— разве только в шахматы<sup>143</sup>, да и это лишнее. Если б я был богачом, я играл бы еще меньше и только в самую маленькую игру, чтобы не видеть недовольных и самому не быть таким. Интерес игры, не представляющий побудительного мотива при достатке, в страсть может превратиться только у человека, обиженного умом. Прибыль, которую богач может иметь при игре, для него всегда менее чувствительна, чем потери; а так как характер умеренных игр, поглощающих исподволь барыш, таков, что в общем итоге они ведут скорее к проигрышу, чем к выигрышу, то, здраво рассуждая, нельзя сильно пристраститься к этой забаве, где все шансы имеешь против себя. Кто питает свое тщеславие случайными удачами, тот может искать их в предметах гораздо более пикантных; притом же эти удачи и в мелкой игре обнаруживаются точно так же, как и в самой крупной. Пристрастие к игре, плод жадности и скуки, может зародиться только в пустом уме и пустом сердце; а мне кажется, что у меня было бы достаточно чувства и познаний, так что я мог бы обойтись и без этого занятия. Редко бывает, чтобы мыслители находили большое удовольствие в игре, которая уничтожает привычку мыслить или направляет ее па совершенно бесплодные соображения; таким образом одним из благ, а быть может и единственным, которое порождается охотою к наукам, является некоторое охлаждение этой отвратительной страсти; подобным людям приятнее было бы упражняться в доказательствах полезности игры, чем предаваться ей. Это же касается меня, то, очутившись среди игроков, я стану оспаривать эту пользу, и мне приятнее будет смеяться над ними, видя их потери, чем самому выигрывать у них.

В частной жизни и в светском обществе я был бы совершенно одинаковым. Я желал бы, чтобы мое богатство всюду распространяло довольство и никогда не давало бы другим чувствовать свое неравенство. Мишура наряда неудобна в тысяче отношений. С целью сохранять между людьми возможно полную свободу я стал бы так одеваться, чтобы во всех рангах быть на своем месте и чтобы ни в одном не выделяться — чтобы без всякой принужденности, без всяких преобразований в своей личности, быть в загородном кабачке простолюдином и в Пале-Рояле приятным собеседником. Располагая вследствие этого большей свободой в своем поведении, я имел бы всегда полный доступ к удовольствиям людей всех званий. Есть, говорят, женщины, которые запирают свою дверь перед людьми в вышитых манжетах и принимают только людей в кружевах; значит, проводить день я отправлялся бы в другое место; но если б эти женщины были молоды и красивы, я мог бы подчас надеть и кружева, чтобы провести у них по меньшей мере ночь.

Единственною связью между моими знакомыми была бы взаимная привязанность, совпадение вкусов, сходство характеров; я заводил бы знакомства как человек, а не как богач, и никогда не потерпел бы, чтобы их прелесть была отравлена материальными соображениями. Если бы недостаток мой оставил во мне долю человечности, я далеко распространял бы свои услуги и благодеяния; но вокруг себя я желал бы видеть общество, а не двор, друзей, а не людей, покровительствуемых мною; я был бы не патроном своих гостей, а хозяином дома. Благодаря

независимости и равенству связи мои отличались бы полным чистосердечием и доброжелательностью, и, раз в них не были бы замешаны ни долг, ни материальный интерес, единственным условием для них служили бы удовольствие и дружба.

Нельзя купить ни друга, ни возлюбленной. При деньгах легко иметь женщин; но это средство ведет к тому, что никогда не будешь любим ни одной из них. Любовь не только не продается, но неизбежно убивается деньгами. Кто платит, тот, будь он милейшим из людей, уже по одному тому, что платит, не может быть долго любим. Он скоро начнет платить за другого или, скорее, с этим другим будут расплачиваться его же деньгами; и в этой двойной связи, основанной на корысти и разврате, лишенной любви, чести, истинного удовольствия, жадная, неверная и жалкая женщина, с которой получающий подлец точно так же обходится, как и она с дающим дураком, квитается, таким образом, с тем и другим. Приятно было бы выказывать щедрость по отношению к тому, кого любишь, если б это не составляло торга. Я знаю один только способ удовлетворить эту склонность по отношению к своей возлюбленной, не отравляя любви; это отдать ей все и потом быть на ее содержании. Остается узнать, есть ли такая женщина, по отношению к которой этот поступок не был бы сумасбродным.

Кто говорил: «Я обладаю Лаисой, а она мною — нет»<sup>144</sup>, тот сказал бессмыслицу. Обладание, если оно не взаимное, ничего не стоит; это, самое большее, половое обладание, а не обладание личностью. А где нет нравственного элемента любви, к чему там так хлопотать об остальном? Найти это — самое пустое дело. В этом отношении погонщик мулов ближе к счастью, чем миллионер.

О, если бы можно было достаточно раскрыть всю непоследовательность порока! Как обманывается он в своем расчете, когда достигает желаемого! Откуда это варварское стремление развратить невинность, сделать своею жертвою юное существо, которое мы должны были бы охранять и которое с первого шага мы неизбежно увлекаем его в пучину нищеты, откуда выведет его лишь смерть? Скотство, тщеславие, глупость, заблуждение — и больше ничего. В этом удовольствии нет даже ничего естественного; оно создано людским мнением, и притом самым подлым мнением, потому что это мнение обусловлено презрением человека к самому себе. Кто чувствует себя последним из людей, тот боится сравнения со всяким другим и хочет прослыть первым, чтобы менее быть ненавистным. Посмотрите, бывают ли когда наибольшими любителями этого мнимого удовольствия милые молодые люди, достойные того, чтобы их любили, — которым извинительнее было бы быть разборчивыми. Нет. Имея приятную наружность, достоинства, чувство, мало боишься опытности своей возлюбленной; с справедливою уверенностью говоришь ей: «Тебе знакомы удовольствия, ну что ж! Мое сердце обещает тебе такие, каких ты никогда не знала».

Но старый сатир, истаскавшийся от разврата, лишенный приятности, беспощадный и неуважительный, потерявший всякую честность, неспособный и недостойный нравиться ни одной

женщине, знающей толк в милых людях, думает наверстать все это перед невинной девушкой тем, что воспользуется ее неопытностью и пробудит в ней первое движение чувственности. Последняя его надежда в том, чтобы понравиться благодаря новизне; на это, бесспорно, он втайне и рассчитывает при своей причуде, но он обманывается: внушаемое им отвращение не менее естественно, чем те вожеления, которые он хотел возбудить. Он обманывается и в своем безумном ожидании: та же самая природа заботливо добивается возвращения своих прав; всякая девушка, продающая себя, уже отдавалась; и отдаваясь по своему выбору, она сделала уже сравнение, которого он боится. Он покупает, следовательно, лишь призрак удовольствия и остается после этого не менее противным.

Что касается меня, то, как бы я ни изменился, став богачом, есть все-таки пункт, относительно которого я никогда не изменюсь. Если у меня не останется ни нравственности, ни добродетели, зато останется по крайней мере некоторый вкус и смысл, некоторая деликатность; а это помешает мне по-дурачки расходовать свое богатство на погоню за химерами, тратить свой кошелек и жизнь на то, чтобы испытывать измены и быть посмешищем ребят. Если б я был молод, я искал бы удовольствий молодости; а так как я желал бы найти в них возможно высшую степень наслаждения, то искал бы их не так, как ищет богач. Если б оставался таким, как теперь, тогда другое дело: я благоразумно ограничился бы удовольствиями моего возраста, я усвоил бы вкусы, которые могу удовлетворить, и подавил бы те, которые составляли бы для меня одно мучение. Я не пошел бы с своей седой бородой искать насмешливого пренебрежения молодых девушек; я не перенес бы вида, как мои отвратительные ласки возбуждают в них омерзение, не допустил бы их составлять на мой счет смешные рассказы, фантастично, описывать гнусные удовольствия старой обезьяны в отместку за то, что они вынесли сами. Если же, вследствие неудачной борьбы с привычками, мои прежние, желания снова обратились бы в потребности, я, быть может, стал бы их удовлетворять, но со стыдом, краснея за самого себя. Я у потребности отнял бы характер страсти; подыскал бы себе как можно более подходящую пару и держался бы этого: я не создавал бы из своей слабости занятия для себя и особенно желал бы, чтоб у ней был лишь один свидетель. Жизнь человеческая представляет и другие наслаждения, если недостает этих; тщетно гоняясь за ускользающими удовольствиями, мы лишаем себя и тех, которые остаются при нас. Станем изменять вкусы вместе с родами; не будем перемещать возрастов, как и времен года: нужно быть самим собою во все времена и не бороться против природы, ибо тщетные усилия растрачивают жизнь и мешают нам ею пользоваться.

Простой народ почти не скучает, жизнь его деятельна; если увеселения его не разнообразны, зато они редки; многочисленность трудовых дней ведет к тому, что он с наслаждением пользуется несколькими днями праздников. Непрерывная смена продолжительных трудов и коротких досугов служит вместо приправы к удовольствиям, доступным этому званию. Для богачей скука бывает страшным бичом; среди всех увеселений, приготовленных с большими издержками, среди всей

массы людей, наперерыв старающихся угодить им, скука угнетает их и убивает; всю жизнь они только и делают, что бегут от нее и снова настигаются ею; они подавлены ее невыносимым бременем; женщины, которые не умеют ни заняться, ни веселиться, особенно пожираемы ею — под именем расстройства нервов; она превращается у них в ужасную болезнь, которая подчас отнимает у них разум, а наконец и жизнь. Что касается меня, то участь красивой парижанки я считаю самой ужасной после участи ухаживающего за ней любезника, который, превратившись и сам в праздную женщину, вдвойне, таким образом, удаляется от своего назначения я из-за тщеславного желания быть человеком, имеющим успех у женщин, переносит, томительную медлительность самых скучных дней, какие только выпадали когда на долю человека.

Приличия, моды, обычаи, порожденные роскошью и хорошим гоном, вносят в течение жизни самое скучное однообразие. Удовольствие, которым хотят щегольнуть перед другими, потеряно для всех; оно пропадает и для нас\*. Смешное, которого предрассудок боится больше всего на свете, всегда стоит с последним рука об руку, чтобы мучить его и наказывать. Смешными люди бывают лишь оттого, что держатся раз установленных форм: кто умеет видоизменять свои положения и удовольствия, тот сегодня изглаживает впечатление вчерашнего дня; он почти не остается в памяти людей, но он наслаждается, ибо всецело отдается каждому часу и каждой вещи. Моим единственным и постоянным образом действия был бы следующий: во всяком положении я был бы занят исключительно им одним, и всякий день для меня был бы сам по себе, независимо от вчерашнего и завтрашнего дня. Как с народом я был бы простолюдином, так в деревне я был бы деревенским жителем, и, когда заговорил бы о земледелии, крестьянин не стал бы надо мной смеяться. Я не стану в деревне строить город и в глубине провинции заводить Тюильри перед своим апартаментом. На склоне какого-нибудь красивого холма, хорошо защищенного от припека, у меня был бы маленький деревенский домик — белый домик с зелеными ставнями; и хотя соломенная крыша лучше других для всякого времени года, я для блеску предпочел бы ей — но не мрачную, аспидную, а скорее черепичную кровлю, потому что у нее более чистый и веселый вид, нежели у соломенной, и потому что на моей родине иначе и не покрывают домов, и это мне напоминало бы несколько счастливое время моей юности. Вместо двора у меня был бы скотный двор, вместо конюшни — хлев с коровами, чтобы можно было иметь молочные продукты, которые я очень люблю. Вместо цветников у меня был бы огород, а вместо парка прекрасный фруктовый сад, вроде того, о котором будет сказано ниже. Плоды, предоставленные в распоряжение гуляющих, не были бы подсчитаны и не собирались бы садовником; скупая роскошь не выставляла бы напоказ великолепных шпалер, цветников, до которых едва смеют дотронуться. А эта маленькая щедрость не была бы убыточной, потому что убежище себе я выбрал бы в какой-нибудь отдаленной провинции, где мало видят денег и много жизненных припасов, где царят изобилие и бедность.

\* Две светские дамы, чтобы показать, что они очень много веселятся, поставили себе за правило никогда не ложиться раньше пяти часов утра. В суровую зиму люди их проводят ночь на улице в ожидании их, принимая всяческие меры, чтобы как-нибудь не замерзнуть. Раз вечером или, лучше сказать, утром входят в комнату, где эти две особы, столь преданные удовольствиям, проводили свое время, не считая часов: оказывается, что они совершенно одни и спят каждая в своем кресле.

Там собирал бы я общество, отборное, но не многочисленное, друзей, любящих удовольствие и знающих в них толк, женщин, способных покинуть свое кресло и предаться сельским играм, взять иной раз, вместо челнока и карт, в руки удочку, силки, грабли для уборки сена и корзину для сбора винограда. Там было бы забыто все городское чванство, и, став в селе поселянами, мы очутились бы среди кучи разнообразных увеселений, которая каждый вечер ставила бы нас в затруднение вопросом, что выбрать для следующего дня. Упражнение и деятельная жизнь создали бы нам новый желудок и новые вкусы. Все наши обеды были бы пиршествами, на которых услаждало бы изобилие более, чем изысканность. Веселье, деревенские работы, резвые игры — первые повара в мире, и тонкие соусы очень смешны для людей, не имеющих покоя с восхода солнца. В сервировке не было бы ни особенного порядка, ни щегольства, столовая отыскивалась бы всюду: в саду, в лодке, под деревом, а иной раз и подальше, возле бьющего ключа, на зеленой и свежей траве, под купами ольховника и орешника; длинная вереница веселых гостей несла бы с песнями принадлежности пира; лужок служил бы вместо стола и стульев, берега родника были бы буфетом, и десерт висел бы на деревьях. Блюда подавались бы без порядка, аппетит освобождал бы от церемоний; каждый, открыто предпочитая себя всякому другому, находил бы естественным, если и всякий другой предпочитает себя самого; эта сердечная и умеренная фамильярность, при полном отсутствии грубости, лживости, принуждения, порождала бы забавные стычки, которые во сто раз прелестнее вежливости и более способны связывать сердца. Тут не было бы докучливого лакея, который подслушивает наши разговоры, критикует втихомолку наше обращение, жадным взглядом считает куски, забавляется тем, что заставляет нас ждать вина, и ропщет на излишнюю продолжительность обеда. Мы сами были бы своими слугами, чтобы остаться господами; каждому прислуживали бы все; время проходило бы без счета часов; обед был бы отдыхом и продолжался бы столько же, сколько дневная жара. Если б мимо нас случайно проходил какой-нибудь крестьянин, идущий на работу, с орудиями на плече, я развеселил бы его сердце какою-нибудь шуткою, несколькими глотками доброго вина, чтобы ему веселее было выносить свою нищету; да и самому мне было бы приятно ощущать себя внутренне тронутым и сказать себе втайне: «И я еще не перестал быть человеком».

Если местные жители собирались бы на какой-нибудь сельский праздник, я явился бы туда одним из первых со своей кучкой знакомых; если по соседству затевались бы какие-нибудь браки, которые здесь более благословенны небом, чем городские, то все знали бы, что я люблю повеселиться, и я был бы приглашен. Я принес бы этим добрым людям несколько подарков, таких

же простых, как и они сами, которые содействовали бы веселью праздника; а взамен их я нашел бы неоценимые блага, столь мало известные нашему брату,— откровенность и истинное веселье. Я приятно поужинал бы на конце их длинного стола; я подпевал бы хору, при исполнении старинной сельской песни и в их риге танцевал бы с большим увлечением, чем на балу в Опере.

«Доселе все чудесно,— скажут мне,— но охота? как это — жить в деревне и вдруг не охотиться?» Да, конечно; я хотел иметь лишь ферму — и был неправ. Я предполагаю себя богачом, и, значит, мне нужны удовольствия исключительные — разрушительные удовольствия. Это, конечно, совершенно иное дело. Мне нужны земли, леса, сторожа, оброки, приличные для землевладельца почести.

Отлично. Но у этой земли будут соседи, ревниво оберегающие права свои и выискивающие случая захватить чужие права; наши сторожа будут ссориться, а, может быть, и господа также; начнутся пререкания, жалобы, ненависть и по меньшей мере процессы, это уже не особенно приятно. Моим подданным невесело будет глядеть, как мои зайцы опустошают их хлеб или кабаны — их бобы; каждый, не осмеливаясь убить врага, уничтожающего работу его, захочет по крайней мере прогнать его со своего поля; проработав весь день на полях, ночью придется им сторожить эти поля; они заведут дворняжек, барабаны, рожки, колокольчики: всем этим гамом они не дадут мне ночью покоя. Я поневоле буду думать о нищете этих бедных людей и непременно стану упрекать себя за нее. Имей я честь быть от рождения вельможей, все это меня не очень бы трогало; но я — недавний выскочка, вновь испеченный богач — буду несколько напоминать еще душой простолюдина.

Это не все. Изобилие дичи будет соблазнять охотников, скоро мне придется наказывать браконьеров; мне понадобятся тюрьмы, тюремщики, полицейские стражи, галеры — все это мне кажется довольно жестоким. Жены этих несчастных станут осаждать мою дверь и надоедать мне своими криками, а иначе придется прогонять их, обижать. Бедные люди, которые не будут браконьерами, но у которых дичь моя потравит жатву, в свою очередь, придут ко мне жаловаться: одни будут наказаны за истребление дичи, другие будут разорены из-за того, что пощадили ее, — какой печальный выбор! Со всех сторон я будут видеть лишь картины нищеты и слышать одни стоны: удовольствие убивать на досуге, почти у себя под ногами, кучи куропаток и зайцев будет, мне кажется, этим сильно отравлено.

Если хотите отделить от удовольствий сопряженную с ними горечь, то отнимите у них характер исключительности: чем более вы сделаете их доступными всем людям, тем чище будет ваше наслаждение. Поэтому я поступлю не так, как только что говорил; не изменяя своих вкусов, стану руководиться тем, который предполагаю наименее убыточным. Я устрою свое сельское жилище в такой стране, где охота доступна всем и где моя забава не встретит затруднений. Дичь будет встречаться реже; но зато надо будет больше ловкости разыскать и приятнее будет настичь ее. Я не забуду, с каким сердечным трепетом отец мой встречал пролет первой куропатки и с какими

восторгами радости находил зайца, проискав его целый день. Да, я утверждаю, что когда он, один с своею собакой, навьюченный ружьем, охотничьей сумкой, пороховницей и своей небольшой добычей, возвращался вечером домой, измученный усталостью и исцарапанный терновником, то был довольнее своим днем, чем все ваши модные охотники, Которые, сидя на хорошей лошади, с двадцатью заряженными ружьями в запасе, только и делают, что меняют их да стреляют, убивая дичь у себя под ногами, без всякого искусства, без славы и почти без упражнения. Удовольствия, значит, бывает не меньше, а неудобства устранены, если не приходится ни сторожить землю, ни наказывать браконьеров, ни мучить несчастных, а это очень основательная причина для предпочтения. Как бы то ни было, но нельзя бесконечно мучить людей и не получать в то же время Никакой от них неприятности; продолжительные проклятия народа рано или поздно сделают дичь горькою на вкус.

Еще раз повторяю, исключительные удовольствия — это конец удовольствию. Истинные увеселения — это те, которые разделяешь с народом; а которые хочешь иметь Для себя одного, те уже перестают быть увеселениями. Если стены, воздвигаемые мною вокруг своего парка, создают для меня скучную келью, то я добился лишь того, что с большими издержками лишил себя удовольствия прогулки; и мне, таким образом, приходится искать этого где-нибудь вдали. Демон собственности заражает все, до чего касается. Богач хочет всюду быть господином и только там чувствует себя хорошо, где нет его: он вынужден вечно бежать от самого себя. Что касается меня, то и в этом случае, среди богатств, я поступал бы точно так же, как в бедности. Теперь я, при чужом добре, богаче, чем был бы при своем собственном; я овладеваю в соседстве всем, что для меня пригодно; нет завоевателя более настойчивого, чем я; я захватываю владения даже у принцев; я без разбора прибираю к рукам все незагороженные места, которые мне нравятся; я даю им имена, одно превращаю в «мой парк», другое в «мою террасу»,— и они уже мои; с этой поры я безнаказанно уже гуляю по ним; чтобы удержать во владении, почаще захожу сюда; я пользуюсь ночью, сколько хочу,— расхаживая по ней, и никогда не убедить меня, что формальный собственник присвоенного мною имения извлекает больше пользы из денег, которые оно приносит ему, чем я — из его земли. Станут досаждать мне рвами, заборами — небольшая беда: я беру свой парк на плечи и переносу его в другое место, незанятых мест немало в округе и мне можно будет долго грабить соседей, прежде чем лишусь убежища.

Вот примерный опыт того, как проявлять истинный вкус при выборе приятного досуга; вот в каком духе нужно им пользоваться; все остальное — лишь иллюзия, химера, глупое тщеславие. Кто уклонится от этих правил, у того, как бы он ни был богат, все золото пойдет прахом, и он никогда не узнает истинной ценности жизни.

Мне, без сомнения, возразят, что подобные увеселения доступны всем людям и что для наслаждения ими нет нужды быть богачом. К этому именно я и хотел свести дело. Удовольствие получается, когда желаешь его иметь; одно лишь мнение людское делает все недоступным и гонит



счастье прочь от нас; быть счастливым в сто раз легче, чем казаться. Человеку со вкусом и способному истинно наслаждаться с богатством нечего делать, ему достаточно быть свободным и властным над собою. Кто наслаждается здоровьем и не нуждается в необходимом, тот достаточно богат, если он выбросит из головы блага, обусловленные людским мнением; это и есть *aurea mediocritas*<sup>145</sup> Горация. Господа с денежными сундуками! Ищите же какого-нибудь другого употребления для вашего достатка, ибо для наслаждения все это никуда не годится. Эмилию все это будет так же хорошо известно, как и мне; но, имея более чистое и здоровое сердце, он чувствовать это будет лучше меня, а все его наблюдения в свете еще больше подтвердят ему это.

Проводя, таким образом, время, мы все ищем Софи и не находим ее. Важно было, чтоб она не скоро нашлась; поэтому мы искали ее там, где, как я хорошо знал, ее не было\*.

Наконец, момент уже близок: пора серьезно приняться за поиски, из опасения, чтобы Эмиль не создал себе другой, которую и примет за настоящую, чтобы не было слишком поздно поправлять свою ошибку. Итак, прощай, Париж — знаменитый город, город шума, дыма и грязи, в котором женщины не верят уже в честь, а мужчины — в добродетель. Прощай, Париж! Мы ищем любви, счастья, невинности, а потому нам нужно как можно дальше убраться от тебя.

\* «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов» (Притчи Соломона, XXXI, 10).

#### Книга IV Комментарии

Четвертая книга посвящена воспитанию Эмиля после достижения им 15 лет. Именно с этого возраста, считает Руссо, следует начинать основное в воспитании — учить любить людей.

Четвертая книга «Эмиля» особенно дорога была автору. Когда парламент Парижа решил сжечь издание «Эмиля», Руссо хотел спасти от огня прежде всего эту книгу романа.

1. Бог ветров Эол дал Одиссею (Уллису) мех с заключенными в нем ветрами. Когда во время плавания Одиссей заснул, его спутники развязали мех и выпустили ветры. Поднявшаяся буря унесла корабль Одиссея от родных берегов (см.: *Гомер. Одиссея*, X, 475 и дал.).

2. Перефразированное выражение древнеримского поэта Теренция (194—159 до н.э.): «Я человек, ничто человеческое мне не чуждо» (*Теренций. Самоистязатель*, I, I, 25).

3. Валэс — кантон в Швейцарии.

4. В оригинале: «Одежда из бархата, а в желудке отруби».

5. Цицерон в книге «О природе богов» (I, 44) говорит: «В нашей немощи лежит вся наша склонность и любовь».

6. «Хорошо знакомая с бедой, учусь я в бедах помогать» (*лат.*) (*Вергилий. Энеида*, I, 630).

7. Имеются в виду арабские сказки «Тысяча и одна ночь», французский перевод которых был опубликован в 1704-1717 гг.

8. Руссо намеревался писать продолжение «Эмиля», где герой попадал невольником на галеры в Алжир.

9. *Эпиктет* (ок. 50—138) — греческий философ, рабом привезен был в Рим, затем стал вольноотпущенником.
10. Гревская площадь в Париже была местом публичных казней.
11. Упомянуты романы французского писателя Ла Кальпренеда (1610—1663). Романы отличали вычурность и запутанная интрига.
12. *Генрико Катарино (Давила)* (1576—1631) — итальянский писатель, автор «Истории гражданской войны во Франции».
13. *Гвиччардини Франческо* (1482—1540) — итальянский писатель, автор «Истории войн в Италии», французский перевод которой был опубликован в 1738 г.
14. *Страда Фамиано* (1572—1649) — итальянец по происхождению, иезуитский писатель, автор «Истории Нидерландов».
15. *Солис-и-Рибаденеира Антонио* (1610—1686) — испанский писатель, автор «Истории Мексики».
- 16- *Макиавелли Николо ди Бернардо* (1469—1527) — итальянский политический деятель, автор трактата «О государстве», «Речей о Тите Ливии» и др.
17. *Де Ту Жак Огюст* (1553 — 1613) — представитель французского Возрождения, друг Монтеня, политический деятель, автор «Истории» в 138 книгах.
18. *Де Верто Рене Обер* (1655 — 1735) — французский писатель, автор «Истории Мальтийского ордена», «Истории ордена Госпитальеров», «Революции в Португалии», «Революции в Швеции» и др.
19. См., примеч. 84 к кн. П.
20. *Саллюстий Гай Крисп* (86—35 до н. э.) — римский историк, автор «Жизни Югурты» и «Заговора Катилины».
21. *Тацит Публий Корней* {ок. 55—120) — римский историк, автор «Анналов» и «Истории».
22. *Фукидид* (ок. 460—400 до п. э.) — греческий историк, автор «Истории пелопонесской войны».
23. Речь идет о сочинении Ксенофонта — древнегреческого писателя «Анабазиса».
24. Речь идет о «Записках о галльской войне» римского военного и политического деятеля Гая Юлия Цезаря (101—44 до н. э.).
25. Имеется в виду «История» Геродота.
26. *Тит Ливий* (59 до н. э.— 17 н. у.) — древнеримский историк; имеется в виду основной его труд «Римская история» в 1-42 книгах.
27. См.: *Монтень*. Опыты, II, 10.
28. Имеется в виду *Шарль Дюкло* (1704—1772) — французский писатель, автор с Рассуждении о нравах этого века», где во второй главе затронуты вопросы воспитания. Руссо в 1745—1747 г. был знаком с Дюкло (см.: Исповедь, кн. 9, с. 409).

29. *Комин* (1445—1509) — французский писатель, автор исторических «Мемуаров».

30. Речь идет о шутке карфагенского полководца Ганнибала (ок. 247—183 до н. э.), который в ответ на слова своего приближенного Гискона о том, что противостоявшие им войска римлян многочисленны, заметил: «При всей их многочисленности никто среди них не зовется Гисконом» (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Фабий Максим*, 31).

31. *Агесилай* (422—358 до н. э.) — царь Спарты (Древняя Греция). Плутарх пишет: «Агесилай вообще очень любил своих детей, и о нем часто рассказывали забавную историю, будто он дома играл со своими детьми, когда они были еще маленькими, и ездил с ними верхом на палочке» (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Агесилай*, 25).

32. Плутарх пишет: «...Когда Цезарь... проезжал мимо бедного городка с крайне немногочисленным и варварским населением и его приятели спросили со смехом: «Неужели и здесь есть соревнование из-за должностей, споры о первенстве, раздоры среди знати?»—«Что касается меня,— ответил им Цезарь,— ...то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме» (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Цезарь*, 11).

33. *Помпей* (107—49 до н. э.) — римский военный и политический деятель. Помпей был сначала союзником, а затем соперником Цезаря в борьбе за власть.

34. См. примеч. 22 к кн. II.

35. *Аристид (Справедливый)* (ок. 540 — ок. 467 до н. э.) — афинский государственный и политический деятель. В молодости Аристид участвовал в борьбе за рабовладельческую демократию, позднее примкнул к олигархии.

Когда в Афинах хотели осудить кого-либо, то писали его имя на глиняном черепке. Плутарх рассказывает, что, когда судили таким образом Аристида, один неграмотный крестьянин протянул черепок Аристиду и попросил написать имя Аристида. Тот спросил крестьянина, не обидел ли чем его Аристид, на что крестьянин ответил: «Нет, я даже не знаю этого человека, но мне надоело на каждом шагу слышать «Справедливый» да «Справедливый» (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Аристид*, 7).

36. *Филопеман* (253 — 183 до н. э.) — древнегреческий военный и политический деятель, возглавлявший вооруженные силы Ахейского Союза. В одном из сражений попал в плен и был казнен.

Приведенный Руссо эпизод есть у Плутарха (см.: *Сравнительные жизнеописания: Филопеман*, 2). Тот же эпизод приводит Монтень (см.: *Опыты*, I, гл. 17).

37. *Тюренн Анри* (1611—1675) — французский военный деятель.

38. *Рамсей* (1686—1743) — воспитатель, а затем биограф Тюренна, написавший «Историю виконта Тюренна» (1735).

39. *Пирр* (319—273 до н. э.) — царь древнего Эпира, убитый во время штурма города Аргоса упавшей с крыши черепицей.

40. *Киней* — приближенный Пирра.
41. См.: *Светаний*. Жизнь двенадцати цезарей: Август, 23. *Август Октавиан* (63 до н. э.— 14 н. э.) — римский император.
42. *Варр Публий Кеинтилиан* (ок. 53 до н. э. — 9 н. э.) — римский полководец, потерпевший поражение от германцев.
43. То есть Марцелл (41—23 до н. э.). Безвременная кончина Марцелла послужила поводом ряда стихотворений Вергилия (см.: *Вергилий*. Энеида, VI).
44. Руссо имеет в виду одного из усыновленных Августом детей своего зятя Агриппы: Гая (20—2 до н. э.) или Люция (17—4 до н. э.).
45. То есть Агриппа (63—12 до н. э.) — военный и политический деятель Древнего Рима.
46. Подробности, приводимые Руссо относительно смерти «внука» Августа, относятся к Друзу — сыну внучки Августа Агриппины (ум. 33). Заключенный в императорском дворце, Друз скончался от голода.
47. Дочь Августа Юлия Старшая (39 до н. э. — 14 н. э.) за развратное поведение отправлена была в ссылку, где и умерла. Точно так же кончила свою жизнь внучка Августа Юлия Младшая (18 до н. э.— 28 н. э.) (см.: *Тацит*. История, I, 53 и IV, 71).
48. Речь идет о Тиберии (42 до н. э.— 37) — сыне третьей жены Августа Ливии (от ее первого брака), ставшем императором Рима.
49. *Марк Антоний* (83—30 до н. э.) — римский военный и политический деятель.
50. *Траян* (52—117) — римский император, известен как выдающийся организатор и строитель.
51. *Прадон* (1632—1698) — французский писатель, драматург, автор трагедий «Регул», «Пирам и Фисбея». Написал памфлет против Расина «Суждение Аполлона о Федре».
52. *Котен* (1604—1682) — писатель, член Французской академии. Его высмеивали за напыщенный стиль Буа-ло в своих сатирах и Мольер в комедии «Смешные жеманницы».
53. Приписывается *Лутацию Катутлу* (конец II — начало I в. до н. э.) — римскому консулу (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: Марий, 80).
54. Панталоне — персонаж итальянской народной комедии, который обычно остается в дураках.
55. См.: *Локк Д.* Элементы естественной философии. I часть. Исследование о духах, § 190.
56. Назван упомянутый в Библии идолопоклонник сириец Лаван.
57. Так называли своих духов-покровителей североамериканские индейцы.
58. «Меланипп» — трагедия Эврипида (480—406/405 до н. э.). До нас не дошла.
59. См.: *Плутарх*. О суеверии, 27.
60. «...По огню я ступаю, который под пеплом коварным сокрыт» (*лат.*). (*Гораций*. Оды, II, I, 9).
61. Руссо рассказывает о себе. Савойский викарий — образ собирательный, в котором есть, в частности, черты встречавшихся на жизненном пути Руссо людей: аббата Гатье и аббата Гувона (см.: *Исповедь*, кн. 3, с. 89 и дал.).

62. *Кларк Самуэль* (1675—1729) — английский теолог, автор трактатов, где пытался обосновать существование бога: «Доказательства бытия и свойств божьих» (1705), «Истинность и достоверность естественной религии и религии откровения» (1705).

63. *Кондамин Шарль* (1701—1774) — французский путешественник, географ и историк, друг Руссо.

64. Излагаемая Руссо теория флогистона оказалась несостоятельной.

65. *Амато Хуан Родриго (А мат Лузитанский)* (род. 1511) — португальский врач, автор ряда медицинских трактатов, написанных по-латыни.

66. *Камилл Юлий* (род. 1479) — средневековый алхимик.

67. *Парацельс Филипп* (1493—1541) — немецкий естествоиспытатель и врач. В трактате «О природе вещей» Парацельс высказывал наряду с передовыми для своего времени научными идеями мистические суждения.

68. *Ньевентит Бернар* (1654—1718) — голландский математик и философ. Книга Ньевентита «Существование бога, доказанное чудесами природы» переведена была на французский язык в 1725 г.

69. См.: *Локк Д.* Опыт о познавательной способности человека, IV, 3, § 6.

70. Подобные мысли высказаны С. Кларком и Гоббсом, что мог иметь в виду Руссо (см., например, трактат Гоббса «О существовании и атрибутах бога», гл. IX).

71. Всеблагой, высочайший (*лат.*).

72. *Брут Марк Юний* (85—42) — римский политический деятель, противник цезарианской диктатуры. После поражения при Филиппах Брут умертвил себя мечом.

73. *Плутарх.* О невозможности для эпикурейца быть счастливым, 59.

74. См.: *Кондильяк.* Трактат о животных, II, 5.

75. Имеется в виду Катон Утический (95—45 до н. э.) — римский политический деятель, противник цезарианской диктатуры. Потерпев поражение при Тапсусе, пронзил себя мечом (см.: *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания: Катон, 60).

76. *Катилина Люций Сергий* (ок. 109—62 до н. э.) — римский патриций, организовавший заговор против римского сената.

77. Отсюда и далее Руссо использовал свои «Письма о морали» (см. второй том настоящего издания).

78. После Платона и особенно апологетов христианства суждения о разврате античных богов сделались в европейской литературе общим местом. Руссо утверждает, что разврат античных богов противоречит человеческой морали.

79. *Ксенократ* (396—314) — греческий философ, ученик Платона. Пример воздержания Ксенократа взят из «Опытов» Монтеня (см.: *Монтень.* Опыты, II, 33).

80. Лукреция по преданию обещана сыном царя древнего Рима Тарквиния Гордого (см.: *Ливий Тит*. Римская история, I, 58).
81. Имеется в виду бог Кронос, оскотивший своего отца бога Урана.
82. См.: *Монтень*. Опыты, I, 23.
83. *Протей* — бог древнегреческой мифологии. Согласно мифу, Протей обладал даром предвидения, но, чтобы получить от него предсказание, его надо было поймать и хитростью или силой удержать, так как он принимал разные виды и ускользал.
84. *Орфей* — знаменитый фракийский мифический певец, которому приписывались многочисленные религиозно-мистические стихи.
85. Имеется в виду Шаррон.
86. См.: *Плутарх*. Споры философов-стоиков, 7. Философская школа стоиков — одно из главных течений эллинистической и римской философии. Стоики стремились обосновать внутреннюю независимость и непоколебимость человеческой личности в условиях могущества эллинистического государства и Римской империи.
87. Имеется в виду «Объяснение доктрины католической церкви» Боссюэ (1627 — 1704) — французского идеолога абсолютизма, епископа, выступившего о богословским обоснованием королевско-абсолютистской власти. Французские просветители XVIII в. во главе с Вольтером доказывали несостоятельность реакционных философско-социологических идей Боссюэ.
88. *Рейхлин Иоганн* (1455—1522) — немецкий гуманист, осудивший предложения ряда католических богословов сжечь все священные книги евреев.
89. Речь идет о Сократе.
90. Имеются в виду Юстин (ум. ок. 165) — автор «Апологии» (I, 5), Климент Александрийский (ум. ок. 217) — известен его труд «Педагог».
91. *Софрониск* — отец Сократа.
92. См. примеч. 35.
93. *Леонид* (ум. 480 до н. э.) — царь Спарты (Древняя Греция); героически погиб вместе со своим отрядом, защищая от персов Фермопильское ущелье.
94. Вольтер подله этих слов в книге Руссо написал: «Глупец» (см. *Державин К.* Указ. статья, с. 334).
95. *Паскаль Блез* (1623—1662) — французский геометр, физик, религиозный философ, писатель.
96. Пуль-серро — мост, перекинутый через адский пламень.
97. *Шарден Жан*. Дневник путешествий в Персию и Восточные Индии (1711) (см. примеч. 61 к кн. II).
98. Сведения взяты из «Записок о галльской войне» (VI, 21) Цезаря, а также из сочинения Тацита «Германия» (20).
99. См.: *Монтень*. Опыты, II, 2.

100. Названы упомянутые в Библии «святые места». *Мамре* (Маврия) — дубрава, получившая свое название от амореянина Мамрия. *Иегова-ире* (гора-свидетель) названа была так после того, как здесь противники Лаван и Иаков заключили между собой мирный договор. *Источник живого, видящего* — назван так родник в пустыне Сур (Древний Египет), у которого египтянка Агарь увидела ангела. *Колодец клятвы* — вырытый мифическим родоначальником евреев Авраамом колодец, который назвал был так после того, как подле колодца заключили союз Авраам и Авимелох — царь филистимлян.

101. Имеется в виду дожившая до XVIII в. традиция, по которой ежегодно дож Венеции бросал с галеры-буцен-тавра в воду перстень, как бы сочетаясь брачными узами с морем.

102. Здесь и далее Руссо использует фрагменты своего написанного около 1761 г. трактата, полное название которого «Опыт о происхождении языков, а также мелодии и музыкальном подражании» (гл. I).

103. *Фрасибул* (*Трасибул*) (IV в. до н. э.) — тиран Милета (Древняя Гроция), обрезал верхушки хлебных колосьев, а Тарквиний Гордый — головки мака в знак необходимости казнить своих противников (см.: *Геродот*. История, V, 92. *Тит Ливий*. Римская история, кн. I, 54).

104. Александр Македонский прикладывал печать к губам своего любимца Эфестнона, чтобы призвать его к молчанию (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: Александр, 71).

105. Диоген-киник прохаживался перед Зеноном из Элей, чтобы опровергнуть утверждения последнего об ирреальности движения (см.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, VI, 39),

*Диоген из Синопа* (ок. 404—323 г. до н. э.) — древнегреческий философ-эклектик, подвергавший умеренной критике идеализм.

*Зенон Элейский* (род. ок. 500 г. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.

106. *Дарий I* (ок. 550—486 г. до н. э.) — царь древней Персии. Его поход (ок. 513 г. до н. э.) в Скифию оказался неудачным.

107. Дариго дали понять, что персы погибнут от стрел скифов, если не сумеют превратиться в птиц, мышей и лягушек (см.: *Геродот*, История, IV, 132).

108. *Тога, латиклава, претекста* — предметы одежды у древних римлян; *булла* — медальон со знаком свободнорожденного гражданина Рима. *Ликторы* — почетная стража в Риме, носили топоры и связки прутьев — символ единства. *Овации и триумфы* (т. е. торжества) в честь полководцев устраивались в Риме по определенному распорядку. Атрибутами этих торжеств могли быть золотые венки или венки из трав и листьев.

109. В Риме на Капитолийском холме стоял храм Юпитера, где заседали сенаторы. Перед храмом обычно проходили народные собрания.

110. Кандидатами в Древнем Риме называли претендентов на различные государственные должности. Кандидаты носили тогу — особую одежду из белой материи.

111. Марк Антоний отдал распоряжение хоронить убитого заговорщиками Гая Юлия Цезаря публично и с возможно более пышными почестями (см.: *Сеетоний. Жизнь двенадцати цезарей: Юлий*, 84).
112. См.: *Буало. Поэтическое искусство. II*, стих. 175—178.
113. *Аврелий Виктор* (IV в.) — римский писатель, автор книги «О знаменитых мужах».
114. Для желающего нет ничего трудного (*лат.*).
115. Когда Одиссей (Улисс) плыл на корабле мимо сирен, которые своим волшебным пением зазывали и губили мореплавателей, он залепил своим спутникам уши воском, а себя велел привязать к мачте (см.: *Гомер. Одиссея, XII*).
116. Софи в переводе с греческого означает мудрость. Это имя носила графиня д'Удето, в которую одно время был влюблен Руссо.
117. См.: *Монтень. Опыты, I*, 26.
118. *Гильом дю Беллей де Ланже* (1491—1543) — военный и политический деятель в царствование короля Франции Франциска I (1494—1547).
119. Имеется в виду трактат Гельвеция (1715—1771) «Об уме».
120. Марсель — знаменитый учитель танцев в Париже.
121. Пембёв — портовый город на берегу реки Луары. Подпись «Гражданин Пембёва» сделана автором письма к Руссо в пику Руссо, подписавшего свои произведения «Гражданин Женевы».
122. *Стой, путник, героя попираешь ногой (лат.)*. Эпитафия Франсуа де Мерси полководцу из Лотарингии, состоявшему на службе в Германии и погибшему в битве при Нордлингене (1645).
123. Эпитафия Сарданапалу (X—IX вв. до н. э.) — царя; древней Ассирии — приводится в урезанном виде. Полный текст эпитафии (см.: *Страбон. География, XIV, V, 9*) следующий: «Сарданапал, сын Анакиндарак-са, построил Анхиалу и Таре в один день. Ешь, пей, веселись, потому что все остальное не стоит этого».
124. См.: *Ксеиофонт. Анабазис, II*, 6, 30.
125. См.: *Геродот. История, VII*, 228.
126. Руссо иронизирует по поводу Французской академии по составлению надписей к общественным памятникам.
127. *Демосфен* (384—322 до н. э.) — знаменитый оратор Афин (Древняя Греция).
128. *Ламотт Франсуа Левайе* (1588—1672) — французский философ, поклонник Монтеня. Ламотт был наставником будущего короля Франции Людовика XIV. Основной труд Ламотта — «Пять диалогов в подражание древним».
129. *Террасой Жан* (1670—1750) — историк, писатель, автор нравственно-политического романа «Сетос».



130. *Фонтенель Бернар ле Буйе* (1657 — 1757) — французский ученый и писатель, автор ряда опер, драматургических произведений и басен. Руссо имеет в виду сочинение Фонтенеля «Рассуждение о множестве миров».
131. *Тибулл* (ок. 54 — ок. 19 до н. э.) — римский поэт, автор «Элегий».
132. В «Письме к д'Аламберу о зрелищах» (1758).
133. Выходцы из Наварры славились отвагой и смелостью в бою.
134. В оригинале игра слов: рыба (*poisson*) и яд (*poison*) звучат на французском языке сходно.
135. *Апиций* (*Аписмус*) — нарицательное имя чревоугодника в Риме.
136. *Тарента* — город в Италии на берегу залива того *те* названия.
137. Имя *Креза* (IV в. до и. э.) — царя древней Ливии сделалось нарицательным для обладателей несметных сокровищ.
138. *Где хорошо, там и родина* (лат.) — девиз тех, для кого материальное благополучие превышает патриотических чувств.
139. Имеется в виду царь Македонии Филипп II (382—336 до н. э.).
140. *Эмпедокл* (ок. 490—430 до н. э.) — древнегреческий философ, оратор, поэт.
141. *Агригент* — древнее поселение в Сицилии в IV в. до н.э.
142. См.: *Монтень*. *Опыты*, II, I.
143. Руссо был неплохим для своего времени шахматистом. Одно время он даже хотел полностью посвятить себя шахматной игре (см.: *Исповедь*, кп. 7, с. 252).
144. Данное выражение приписывается Аристиппу (V в. до н. о.) — древнегреческому философу. Аристипп произнес эти слова в ответ на упрек в связи с куртизанкой Лансой (см.: *Диоген Лаэртский*, *О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов*, II, 75).
145. *Золотая середина* (лат.) (см.: *Гораций*. *Оды*, II, 10, 5).

## КНИГА V

- Софи, или Женщина
- О путешествиях

Мы дошли уже до последнего акта юности, но мы еще не при развязке.

Не хорошо человеку быть одному. Эмиль — человек; мы обещали ему подругу, — и нужно дать ее. Подруга эта — Софи. В каких местах ее убежище? где нам найти ее? Для того чтобы найти, нужно знать ее. Узнаем прежде, какова она, — и нам легче будет разведать местность, где живет она; а когда мы найдем ее, это будет еще не конец делу. «Так как наш юный джентльмен, — говорит Локк, — готов уже жениться, то пора оставить его при его возлюбленной». И затем он

кончает свой труд<sup>1</sup>. Что же касается меня, то, не имея чести воспитывать джентльмена, я вовсе не хочу подражать в этом случае Локку.

### **Софи, или Женщина**

Софи должна быть женщиной, как Эмиль — мужчиной, т. е. должна обладать всем тем, что свойственно организации ее рода и пола, — для того чтобы занять надлежащее место в физическом и нравственном строе. Исследуем же прежде всего сходства и различия между ее полом и нашим.

Во всем, что не касается пола, женщина есть тот же мужчина: у ней те же органы, те же потребности, те же способности; машина построена по одному и тому же образцу, части в ней одни и те же, ход одной — все равно что ход другой, внешний вид одинаков, и, в каком бы отношении мы их не рассматривали, они отличаются между собой только по размерам действия.

Во всем, что касается пола, между женщиной и мужчиной всюду есть соотношения и всюду различия: трудность сравнения зависит от трудности определить, что в организации каждого из них связано с полом и что не связано. При помощи сравнительной анатомии и даже при простом осмотре мы находим такие общие отличия, которые, по-видимому, не связаны с полом; на самом же деле они связаны с ним, но такою связью, которую мы не в состоянии подметить. Мы не знаем, до чего эти связи могут простираться; мы достоверно знаем только то, что все общее в них относится к роду, а все, что в них есть различного, относится к полу. С этой двойной точки зрения мы находим между ними столько соотношений и столько противоположностей, что, быть может, это одно из чудес природы, что она могла создать два существа, столь похожих, наделив их столь различною организацией.

Эти соотношения и различия должны влиять на нравственную сторону; вывод этот сразу бросается в глаза, оправдывается опытом и доказывает тщетность споров о преимуществе или равенстве полов, как будто каждый из них, стремясь, сообразно со своим особым назначением, выполнить цели природы, не являемся в этом отношении более совершенным, чем в том случае, если бы он больше походил на другой! В том, что у них есть общего, они равны; в том, что у них есть различного, они не поддаются сравнению. Совершенная женщина и совершенный мужчина так же не схожи должны быть и умом, как лицом; совершенство не знает степеней.

При единении полов оба они равно содействуют общей цели, но не одинаковым способом. Из этого различия рождается первая осязаемая разница между нравственными отношениями того и другого. Один должен быть активным и сильным, другой пассивным и слабым; необходимо, чтобы одни желал и мог, и достаточно, чтобы другой оказывал мало сопротивления.

Раз установлен этот принцип, то из него следуем, что женщина создана специально для того, чтобы нравиться мужчине. Мужчина в свою очередь должен нравиться ей, но это уже не столь безусловная необходимость: достоинство его заключается в силе; он уже тем одним нравится, что

силен. Это не закон любви — я согласен с этим, но это закон природы, который предшествует самой любви.

Если женщина создана для того, чтобы нравиться и быть подчиненной, то она должна сделать себя приятно для мужчины, вместо того чтобы делать ему вызов; мощь ей заключается в ее чарах; ими-то она и должна принуждать его, чтобы он почувал свою силу и воспользовался ею. Самое верное средство возбудить эту силу заключается в том, чтобы путем сопротивления сделать ее необходимою. Тогда к вожделению присоединяется самолюбие и последнее празднует победу, которую первое помогает ему одержать ее. Вот источник нападения и защиты, смелости одного пола и робости другого, наконец, той скромности и стыдливости, которыми природа вооружила слабого для того, чтобы поработать сильного.

Кто может думать, что она тому и другому полу предписывает делать совершенно одинаковые шаги к сближению и что, у кого раньше появляются вожделения, тот первым должен и обнаруживать их? Какое странное извращение суждения! Раз выполнение дела ведет к столь различным для того и другого пола результатам, то естественно ли, чтобы они с одинаковою смелостью предавались этому? Как не видят, что при столь большом неравенстве ролей в общем акте, если б осторожность не внушала одному полу умеренности, как другому полу внушает ее природа, то в результате скоро оказалась бы гибель их обоих и род человеческий истреблен бы благодаря средствам, которые даны для его сохранения? При той легкости, с какою женщины разжигают свои чувства и пробуждают в глубине своих сердец остатки почти заснувшей страсти, если бы была на земле такая несчастная страна, в которой философия ввела бы подобный обычай, особенно в жарком климате, где женщин рождается больше, чем мужчин, то последние, измученные женщинами, оказались бы наконец их жертвою, обреченною на смерть, без всякой возможности от них защититься.

Самки животных не отличаются такою же стыдливостью, но что же отсюда следует? Такое ли у них беспредельное вожделение, как у женщин, для которых эта стыдливость служит уздою? Вожделение является у них только вместе с потребностью; потребность удовлетворена — и вожделение проходит; они не из притворства\* уже отвергают ухаживания самца, а взаправду; они делают как раз обратное тому, что делала дочь Августа<sup>2</sup>, и не принимают пассажиров, когда судно имеет уже свой груз. Даже когда они свободны, время склонности у них бывает коротким и скоро преходящим; инстинкт и толкает их, и останавливает. Чем будет восполняться в женщинах этот отрицательный инстинкт, если вы отнимете у них стыдливость? Ожидать, что они не станут помышлять о мужчинах,— значит ждать, пока эти последние станут ни на что не годными.

\* Я уже заметил, что отказы из жеманства и кокетства свойственны почти всем самкам, даже в среде животных и даже в том случае, когда она наиболее расположена сдаться; кто хоть раз видел их уловки, тот не может не согласиться с этим.

Высшее Существо желало во всем поддержать достоинство рода человеческого; даруя человеку склонности без ограничения, Оно в то же время дает ему закон, регулирующий эти склонности, чтоб он был свободен и распоряжался над самим собою; отдавая его в жертву неумеренным страстям, Оно присоединяет к этим страстям разум для того, чтобы управлять ими; отдавая женщину во власть беспредельных вожделений, Оно присоединяет к этим вожделениям стыдливость с целью сдерживать их. В добавок Оно дает еще немедленное вознаграждение за надлежащее пользование своими способностями — я разумею любовь к добропорядочности, возникающую в том случае, когда эту последнюю мы делаем правилом для своего поведения. Все это, мне кажется, гораздо выше инстинкта зверей.

Итак, разделяет человеческая самка вожделения мужчины или нет, хочет ли их удовлетворить или не хочет, она все равно отталкивает его и защищается, но не всегда с одною и тою же силою, а следовательно, не с одинаковым и успехом. Для того чтобы нападающий оказался победителем, требуется, чтобы подвергающийся нападению позволил ему или заставил это сделать, — а сколько существует ловких средств для того, чтобы вынудить у нападающего употребление силы! Свободнейший и приятнейший из всех актов не допускает реального насилия: этому противятся природа и разум, природа наиболее слабому дала ради этого столько силы, сколько нужно ее для сопротивления, в случае желания; а для разума реальное насилие является не только самым скотским из всех актов, но и совершенно противоречащим намеченной цели, — потому ли, что мужчина в таком случае объявляет войну своей подруге и дает ей право защищать свою личность и свободу, не щадя даже жизни нападающего, или потому, что женщина одна бывает судьей положения, в котором она находится, и ребенок не имел бы отца, если б всякий мужчина мог захватывать у нее права.

Таким образом, третьим последствием организации полов является то обстоятельство, что сильнейший бывает по внешнему виду повелителем, а в действительности зависит от слабейшего, и это не из-за пустого обычая, обусловленного вежливостью обхождения, и не из-за гордого великодушия, свойственного покровителю, а по неизменному закону природы, которая, давая женщине больше способности возбуждать вожделения, чем мужчине — удовлетворять их, ставит последнего, вопреки его желаниям, в зависимость от доброго расположения первой и принуждает его стремиться, в свою очередь, к тому, чтобы нравиться ей, с целью добиться, чтоб она позволила ему быть сильнейшим. Самой приятной для мужчины стороной в этой его победе является сомнение, слабость ли тут уступает силе или, наоборот, сдается добрая воля; а обычная хитрость женщины в том и состоит, что она старается оставить это сомнение нерешенным. Ум женщин совершенно соответствует в этом отношении их организации: вместо того чтобы краснеть за свою слабость, они хвалятся ею; их нежные мускулы неспособны на сопротивление; они нарочно представляются бессильными поднять самую легкую тяжесть: им было бы стыдно быть сильными; Чем это объясняется. Это объясняется не только желанием казаться деликатно сложенными, но и

более ловкою предосторожностью: они исподволь припасают для себя извинения и право быть слабыми в случае нужды.

Расширение круга познаний, приобретенных нами через порок, сильно изменило в нашем обществе старинные мнения относительно этого предмета, и о «насилиях» не говорят больше с тех пор, как они стали столь ненужными, а мужчины перестали им верить<sup>\*</sup>; меж тем они очень обычны в глубокой древности, у греков и евреев, потому что самые мнения эти связаны с простотою природы и только испытанности в разврате смогла искоренить их. Если в наши дни приводят меньше актов насилия, то, конечно, что не потому, что люди стали более воздержанными, но потому, что они теперь менее доверчивы, и жалоба, которая некогда была бы убедительной для народов, живших в простоте, в наши дни вызвала бы лишь насмешки шутников; теперь выгоднее молчать. Во Второзаконии<sup>3</sup> есть закон, по которому обманутая девушка наказывалась вместе с обольстителем, если преступление было совершено в городе; но если оно было совершено в поле или в пустынной местности, то наказывался один лишь мужчина: ибо «отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». Это добродушное толкование учило девушек не попадаться в местах, посещаемых людьми.

Это различие во взглядах очень ощутимо повлияло на нравы. Теперешняя любезность обхождения — результат этого различия. Мужчины, найдя, что удовольствия их зависят от воли прекрасного пола больше, чем они думали, пленили эту волю угодливостью, за которую тот вполне вознаградил их.

Смотрите, как физический мир незаметно приводит нас к миру нравственному и как из грубого единения полов мало-помалу зарождаются самые сладкие законы любви. Власть женщин оказывается у них не потому, что этого пожелали мужчины, а потому, что так хочет природа: она была у них еще раньше того, как они оказались имеющими ее. Тот самый Геркулес, который думал, что преодолел пятьдесят дочерей Феспия<sup>4</sup>, был вынужден прясть шерсть, сидя у Омфалы<sup>5</sup>; и сильный Самсон не так был силен, как Далила<sup>6</sup>.

\* Бывает такое несоответствие в возрасте и силах, что оказывается возможным действительное насилие; но, трактуя здесь об относительном положении полов, соответственно порядку природы, я беру общие соотношения между ними, в которых и выражается это относительное положение.

Власть эта принадлежит женщинам и не может быть отнята у них, даже когда они злоупотребляют ею; если бы они могли потерять ее, они давным-давно уже потеряли бы ее.

В ближайших последствиях полового различия не существует никакого равенства между полами. Самец бывает самцом лишь в известные моменты; самка же остается самкой всю жизнь или, по крайней мере, всю свою молодость; ей все беспрестанно напоминает о ее поле, и, чтоб хорошо выполнять свои функции, ей нужна и соответственная им организация. Ей нужна осторожность во время беременности; нужен покой во время родов: нужна тихая и сидячая жизнь, чтобы кормить своих детей; нужно терпение и кротость, чтобы воспитывать их, нужны рвение и

привязанность, ни перед чем не отступающая: она служит связью между детьми и отцом их, она одна заставляет его любить их и дает ему возможность с уверенностью называть их своими. Сколько нежности и забот нужно ей для поддержания всего семейства в единении! И наконец, все это должно быть для нее не одною из добродетелей, а естественным стремлением, без которого род человеческий скоро угас бы.

Взаимные обязанности того и другого пола не одинаково строги и не могут быть одинаково строгими. Когда женщина жалуется по, этому поводу на несправедливое неравенство, вносимое в эти отношения мужчиною, она не права: это неравенство не есть человеческое учреждение, или по крайней мере оно — не дело предрассудка, но дело разума: тот именно из двух полов, которому природа дала в качестве залога детей, и должен отвечать за этот залог перед другим полом. Несомненно, что никому не позволительно нарушать верность, и всякий неверный муж, лишаящий свою жену единственной награды за выполнение строгих обязанностей ее пола, есть Человек несправедливый и жестокосердный; но неверная жена делает больше: она разъединяет семью и сокрушает все природные связи; награждая мужчину детьми, ему не принадлежащими, она изменяет тем и другим и к неверности присоединяет вероломство. Едва ли можно найти такое бесчинство или преступление, которое не было бы связано с этим. Если есть ужасное в мире состояние, то это состояние несчастного отца, который, не питая доверия к своей жене, не осмеливается предаваться самым сладостным чувствованиям своего сердца, которого, когда он обнимает своего ребенка, мучит сомнение, не обнимает ли он чужое дитя, являющееся залогом его отчаяния, похитителем добра у его собственных детей. Что такое в этом случае семья, как не общество тайных врагов, которых виновная женщина вооружает одного против другого, принуждая их прикидываться взаимно любящими друг друга?

Итак, важно, чтобы женщина не только была верной, но и считалась таковою со стороны мужа, родных ее, со стороны всего света; важно, чтобы она была скромной, внимательной, осторожной и чтобы в глазах других, как и в ее собственной совести, читалось признание ее добродетели. Наконец, если важно, чтобы отец любил своих детей, то нужно, чтоб он уважал их мать. Таковы основания, которые даже внешний вид ставят в число обязанностей для женщин и делают для них честь и репутацию столь же необходимыми, как и целомудрие. Из этих принципов, вместе с нравственным различием между полами, вытекает и новое требование долга и приличия, предписывающее специально женщинам самое тщательное наблюдение за своим поведением, за своими манерами и внешнею выправкой. Неопределенно утверждать, что оба пола равны и что их обязанности одно и то же,— значит тратить время на пустую декламацию, значит говорить пустяки, пользуясь тем, что никто не будет отвечать на это.

Разве это значит рассуждать вполне основательно, если исключения нам выдают за опровержение общих законов, столь прочно обоснованных? Женщины, говорите вы, не всегда рожают детей. Не всегда, но все-таки их предназначение — производить детей. Как! На

основании того, что во Вселенной есть сотня больших городов, где женщины, ведя распущенную жизнь, мало рожают детей, вы утверждаете, что назначение женщины — меньше рождать их? А что стало бы с вашими городами, если бы отдаленные деревни, где женщины живут проще и целомудреннее, не вознаграждали бесплодие барынь? Сколько таких провинций, где женщины, родившие только четырех или пятерых детей, слывут малоплодовитыми\*? Наконец, что за важность, если та или другая женщина производит мало детей? Разве после этого быть матерью — уже не назначение женщины и разве природа и нравственность не должны общими законами содействовать этому назначению?

\* Без этого род человеческий непременно погиб бы: для его сохранения нужно, приняв в расчет все остальное, чтобы каждая женщина рождала по меньшей мере четырех детей; ибо из нарождающихся детей почти половина умирает до того времени, когда они сами могли бы иметь детей, двое же остальных нужны для того, чтобы иметь налицо отца и мать. А доставят ли вам города это население?

Да если б и были такие длинные промежутки между периодами беременности, какие предполагают, может ли женщина так резко менять один образ жизни на другой без опасности для себя и риска? Может ли сегодня быть кормилицей и завтра воином? Может ли менять темперамент и вкусы, как хамелеон меняет цвета? Может ли от заключения в четырех стенах и домашних забот сразу перейти к перенесению суровостей климата, к трудам и усталости, к опасностям войны? Может ли быть то боязливой\*, то храброй, то нежной, то сильной? Если молодые люди, воспитанные в Париже, с трудом переносят военную службу, то могут ли вынести ее, после пятидесяти лет изнеженной жизни, женщины, которые никогда не подвергались солнечному жару, которые едва умеют ходить? Могут ли они приняться за это суровое ремесло в том возрасте, когда мужчины покидают его?

\* Робость женщин является также природным инстинктом, охраняющим их от двойной опасности, которой они подвергаются во время родов.

Есть страны, где женщины рожают почти без страдания и кормят детей почти без труда,— я с этим согласен; но в этих самых странах мужчины ходят во всякое время полунагими, одолевают диких зверей, челн таскают как дорожный мешок, на охоте гонятся по семи-восми сот лье, спят под открытым небом, на голой земле, переносят невероятную усталость и по несколько дней проводят без пищи. Когда женщины становятся крепкими, мужчины делаются еще крепче; когда же мужчины изнеживаются, женщины еще более изнеживаются: если две величины изменяются одинаково, то разность остается неизменною.

Платон в своем «Государстве» предназначает для женщин те же упражнения, как и для мужчин<sup>7</sup>; это совершенно понятно для меня: отняв у своего государства частную семейную жизнь и не зная, что делать с женщинами, он увидел себя вынужденным сделать из них мужчин. Этот удивительный гений все скомбинировал, все предвидел; он предупреждал возражения, которых,

быть может, никто и не вздумал бы ему делать; но он плохо разрешил то возражение, которое ему делают. Я говорю не о той мнимой общности жен, упреки за которую, столь часто повторяемые, доказывают лишь то, что люди, делающие их, никогда не читали Платона; но я говорю о том отсутствии гражданских различий, при котором оба пола всюду встречаются в одних и тех же должностях, при одних и тех же занятиях и которое не может не порождать самых нетерпимых злоупотреблений; я говорю об этом исключении самых сладостных природных чувствований, принесенных в жертву искусственному чувству, которое через них только и может существовать, — как будто для образования условных связей не нужно природного единения, как будто любовь к близким не есть основа любви, которую мы обязаны питать к государству, как будто не через семью сердце привязывается к отечеству, как будто добрый гражданин создается не из доброго сына, доброго отца, доброго мужа!

Раз доказано, что мужчина и женщина не являются и не должны являться одинаково организованными ни по характеру, ни по темпераменту, отсюда следует, что они не должны получать и одинакового воспитания. Следуя направлению природы, они должны действовать согласно, но они не должны делать одно и то же; цель трудов — общая, но сами труды различны, а следовательно, различны и вкусы, дающие им направление. Попытавшись сформировать естественного мужчину, чтобы не оставлять своего дела неоконченным, посмотрим теперь, как должна формироваться и женщина, подходящая для этого мужчины.

Если хотите быть под хорошим руководством, следуйте всегда указаниям природы. Все, что характеризует пол, должно быть уважаемо, как установленное ею. Вы постоянно твердите: «Женщины имеют такой-то недостаток, которого у нас нет». Ваша гордость обманывает вас; у вас это было бы недостатком, но у них это — отличительное свойство; дело шло бы еще хуже, если бы они не имели этих свойств. Не давайте вырождаться этим мнимым недостаткам, но берегитесь уничтожать их.

Женщины, со своей стороны, не перестают кричать, что мы так воспитываем их, чтобы они были пустыми кокетками, что мы постоянно забавляем их пустяками, чтобы тем легче оставаться их повелителями; они сваливают на нас вину в тех недостатках, за которые мы их упрекаем. Какое безумие! С каких это пор мужчины стали вмешиваться в воспитание девиц? Кто мешает матерям воспитывать их, как им угодно? Они не имеют коллежей — какое несчастье! Дай Бог, чтоб их не было и для мальчиков! Эти последние тогда были бы воспитаны разумнее и добропорядочнее. Разве принуждают ваших дочерей тратить время на всякий вздор? Разве их против воли заставляют проводить полжизни за туалетом, по вашему примеру? Разве мешают вам учить их самим или отдавать в учении, куда вам угодно? Разве наша вина, если они нравятся нам, когда красивы, если жеманство их нас прельщает, если искусство, которому они учатся у вас, привлекать нас и льстить нам, если мы любим видеть их со вкусом одетыми, если мы предоставляем им точить на досуге оружие, которым они нас покоряют? Эх! Попробуйте



воспитывать их как мужчин — последние охотно согласятся на это. Чем больше они захотят походить на них, тем менее будут ими управлять, а тогда-то мужчины и будут повелителями в истинном смысле слова.

Все способности, общие обоим полам, не поровну распределены между ними; но, взятые в целом, они взаимно уравниваются. Женщина дороже стоит как женщина, но не хороша в качестве мужчины; где она защищает свои права, там она всюду одерживает верх; а где она хочет похитить наши права, там она всегда остается в проигрыше. Провергать эту общую истину можно только ссылкой на исключения: это постоянный способ аргументации у галантных сторонников прекрасного пола.

Итак, развивать в женщинах качество мужчины и пренебрегать теми, которые им свойственны,— значит очевидным образом действовать им во вред. Они настолько хитры, что отлично видят это и не хотят попасть впросак; пытаясь захватить ваши преимущества, они не расстаются со своими; отсюда происходит то, что, не будучи в состоянии управиться с теми и другими, так как они не совместимы, женщины, не поднимаясь до нашего уровня, не достигают и того, который доступен им, и, таким образом, теряют половину своей цены. Поверьте мне, рассудительная мать; не делайте из вашей дочери порядочного мужчину, как бы для того, чтобы изблечить природу в промахе; сделайте из нее порядочную женщину — и будьте уверены, что это будет лучше и для нее, и для нас.

Следует ли отсюда, что она должна быть воспитываема в полном невежестве и должна ограничиваться одними заботами по хозяйству? Неужели мужчина сделает из своей подруги служанку? Неужели, живя с нею, он лишит себя величайшей прелести общения? Неужели, чтобы лучше поработить ее, он лишит ее возможности чувствовать, знать? Неужели он сделает из нее настоящего автомата? Нет, без сомнения; этого не указала природа, которая наделяет женщин умом столь приятным и столь гибким; напротив, она хочет, чтобы они мыслили, судили, чтобы они любили, познавали, украшали ум свой, как и фигуру свою; это те орудия, которыми она наделяет их, чтобы возместить недостающую им силу и чтобы управлять нашей силой. Они должны учиться многому, но только тому, что им прилично знать.

Рассматривая ли я специальное назначение пола, наблюдаю ли его склонности, слежу ли за его обязанностями, я всюду неизменно нахожу указания на форму воспитания, ему приличную. Женщина и мужчина созданы друг для друга, но их взаимная зависимость не одинакова: мужчины зависят от женщин через свои вожеления; женщины зависят от мужчин и через вожеления, и через свои потребности; нам легче было бы существовать без них, чем им без нас. Чтобы иметь им необходимое, чтобы устроить свое положение, для этого нужно, чтобы мы дали им это, чтобы мы захотели им дать, чтобы мы считали их достойными этого; они зависят от наших чувствований, от цены, которую мы придаем их заслугам, от того, насколько мы дорожим их прелестями и добродетелями. По самому закону природы, женщины, как сами по себе, так и ради детей своих,

находятся в зависимости от суждения мужчины; мало, если они достойны уважения,— нужно, чтобы их уважали; недостаточно им быть прекрасными,— нужно, чтобы они нравились; недостаточно быть умными,— нужно, чтобы их признали за таковых; честь их зависит не от одного поведения, но и от репутации, и невозможно, чтобы женщина, которая соглашается прослыть бесчестной, была когда-либо порядочною. Мужчина, поступающий честно, зависит только от себя самого и может бравировать перед общественным суждением; по женщина, поступая честно, выполняет лишь половину своей задачи, и то, что думают о ней, для нее не менее важно, чем то, что она есть в действительности. Отсюда следует, что система ее воспитания должна составлять в этом отношении противоположность системе нашего воспитания: людское мнение для мужчин есть могила добродетели, а для женщин — это трон ее.

От хорошего телосложения матерей зависит прежде всего телосложение детей; от заботливости женщин зависит первоначальное воспитание мужчин; от женщин зависят, кроме того, нравы их, страсти, вкусы, удовольствия и самая честь. Таким образом, все воспитание женщин должно иметь отношение к мужчинам. Нравиться этим последним, быть им полезными, снискивать их любовь к себе и почтение, воспитывать их в молодости, заботиться о них, когда вырастут, давать им советы, утешать, делать жизнь их приятною и сладкою — вот обязанности женщин во все времена, вот чему нужно научить их с детства. Пока мы не поднимемся до этого принципа, мы будем плутать без толку, и все наставления, которые будут преподносить им, нисколько не послужат ни для их счастья, ни для нашего.

Но хотя всякая женщина хочет нравиться мужчинам и должна этого хотеть, есть все-таки большая разница между желанием понравиться человеку достойному, стоящему любви, и желанием нравиться тем ничтожным любезникам, которые бесчестят свой пол и тот пол, которому подражают. Ни природа, ни разум не могут заставить женщину полюбить в мужчине то, что походит на нее самое, а тем более она не должна перенимать манер мужчин с целью добиться их любви.

Поэтому, когда женщины, покидая скромный и степенный тон, приличный их полу, перенимают обращение этих вертопрахов, то они не только не следуют своему призванию, но даже отказываются **от него**; они у самих себя отнимают права, которые думают похитить у другого. «Если бы поступали иначе,— говорят они,— мы не нравились бы мужчинам». Они лгут. Нужно быть безумною, чтобы любить безумных; желание привлечь таких людей указывает на вкус той, которая обнаруживает это желание. Если б не было пустых мужчин, она поторопилась бы создать их, и пустоту их скорее можно назвать делом женщины, чем пустоту этой последней — делом мужчин. Женщина, которая любит настоящих мужчин и хочет понравиться им, подбирает и средства, подходящие к ее цели. Женщина — кокетка по своему положению; но кокетство ее меняет форму и предмет стремлений, смотря по ее целям; урегулируем эти цели согласно с целями природы — и женщина получит воспитание, подходящее для нее.

Маленькие девочки, чуть не с самого рождения, любят наряды; не довольствуясь тем, что они прекрасны, они хотят, чтобы их и находили таковыми: по всему их обращению видно, что их занимает уже эта забота; и едва они начинают понимать, что о них говорят, как ими можно уже управлять, указывая на то, что другие подумают о них. Если подобный мотив представить мальчуганам, он далеко не окажет на них такого влияния. Им лишь бы пользоваться независимостью и иметь удовольствия, а о том, что могут подумать о них, они очень мало заботятся. Нужно немало времени и труда, чтобы подчинить их этому же закону.

С какой стороны ни получают девушки этот первый урок, он очень для них пригоден. Так как тело рождается, так сказать, прежде души, то и первоначальное культивирование должно начинаться с тела: это общий для обоих полов порядок. Но цель этого культивирования различна: для одного этой целью служит развитие сил, для другой — раскрытие прелестей; это не значит, что качества эти должны быть исключительными для каждого пола — тут противоположно только применение этих качеств: женщинам нужно столько силы, чтобы все, что они ни делают, делать с грацией; мужчинам нужно столько ловкости, чтобы все, что они ни делают, делать с легкостью.

От крайней изнеженности женщин ведет начало изнеженность мужчин. Женщины должны быть сильны не как они, но для них, чтобы рождающиеся от них мужчины были тоже сильными. В этом отношении монастыри, где пансионеры питаются грубою пищей, но много резвятся, много бегают, играют на открытом воздухе и в садах, предпочтительнее отцовского дома, где девушка, при изысканном питании, при постоянных ласках или нагонях, вечно сидит на глазах у своей матери, в запертой со всех сторон комнате, не смеет ни встать, ни пойти, ни пикнуть, ни заговорить и не имеет свободной минуты для того, чтобы поиграть, попрыгать, побегать и покричать, чтобы предаться резвости, естественной для этого возраста: тут вечно царит или опасная распущенность, или нелепая строгость и никогда ничего нет сообразного с рассудком. Вот как разрушают тело и портят сердце молодежи.

В Спарте девушки упражнялись, как и мальчики, в военных играх, не с целью идти на войну, но чтобы рождать некогда детей, способных выносить ее трудности. Не это я одобряю: чтобы дать государству солдат, матерям нет необходимости носить ружье и проделывать на прусский манер артикулы; но я нахожу, что, говоря вообще, греческое воспитание было в этой своей части весьма разумным. Молодые девушки часто показывались в публике, но не вперемешку с мальчиками, а собранные отдельно. Не было почти праздника, жертвоприношения, церемонии, на которой не видны были бы толпы дочерей первейших граждан; увенчанные цветами, они пели гимны, составляли хоры при танцах, несли корзины, вазы, приношения и представляли извращенным чувствам греков прелестное зрелище, способное уравновесить дурное влияние их непристойной гимнастики. Какое впечатление ни производил этот обычай на сердца мужчин, все же благодаря упражнениям, приятным, умеренным и здоровым, он прекрасно наделял в юности этот пол

хорошим телосложением, изощрял и развивал благодаря постоянному желанию нравиться вкус его, не подвергая в то же время опасности его нравственность.

Как скоро эти молодые особы выходили замуж, их не видно было уже в публике; заключенные в своих домах, они сосредоточивали все свои заботы на своем хозяйстве и семье. Таков образ жизни, предписываемый этому полу природой и разумом. Потому-то от этих матерей рождались самые здоровые, самые крепкие, лучше всех в мире сложенные мужчины; и несмотря на дурную славу некоторых островов, достоверно, что из всех народов мира, не исключая даже римлян, нельзя указать ни одного, где женщины были бы одновременно и благонравные и милые и где лучше соединены были бы нравственность и красота, чем в Древней Греции.

Известно, что легкость одежды, не стеснявшая тела, много содействовала сохранению у обоих полов тех прекрасных пропорций, которые мы видим в древних статуях и которые теперь еще служат моделью для искусства, когда обезображенная природа перестала доставлять, ему образцы из нашей среды. У них не было ни одной из всех этих готических пут, из этого множества связок, которые со всех сторон сдавливают наши члены. Женщины их не знали употребления тех остовов из китового уса, посредством которых наши женщины скорее обезображивают свою талию, чем намечают ее. Я не могу представить себе, чтобы это злоупотребление, доведенное в Англии до непостижимой степени, не привело, наконец, к вырождению человеческого рода, и я утверждаю даже, что цель, которую имеют в виду при этом украшении, обнаруживает дурной вкус. Нет ничего приятного — видеть женщину перерезанною надвое, точно оса; это неприятно действует на глаз и заставляет страдать воображение. Тонкость талии, как и все остальное, имеет свои соотношения, свой предел, переход за который бывает, несомненно, недостатком; этот недостаток даже резал бы глаза на голом теле; почему же под одеждою он обратится в красоту?

Я не осмеливаюсь пускаться в разбор оснований, в силу которых женщины упорствуют в подобном затягивании себя; отвислая грудь, вздутый живот и прочее — все это, согласен, очень неприятно в особенности лет двадцати, но в тридцатилетней женщине это уже не поражает; а так как нам приходится, на зло самим себе, во всякое время быть тем, чем хочет нас сделать природа, и так как глаз мужчины не обманывается, то недостатки эти не так неприятны в любом возрасте, как неприятно глупое жеманство сорокалетней девочки. Все, что стесняет и насилует природу, указывает на дурной вкус; это справедливо относительно украшения тела, как и относительно украшения ума. Жизнь, здоровье, разум, благосостояние должны стоять впереди всего; грация неразлучна с непринужденностью; изящество — это не вялость, и, чтобы нравиться, для этого не нужно быть нездоровой. Когда страдаешь, то возбуждаешь жалость; но удовольствие и вождление одинаково ищут свежести здоровья. У детей обоего пола много общих забав; это и должно быть: разве у них нет общих забав и тогда, когда они подрастут? Но у них есть также собственные вкусы, отличающие один пол от другого. Мальчики ищут движений и шума, им нужны барабаны, кубари, тележки; девочки любят больше то, что кидается в глаза и служит к

украшению: зеркала, другие безделушки, лоскутки и особенно куклы: кукла — специальная забава этого пола — вот где вкусом очень наглядно определяется назначение этого пола. Материальная сторона искусства нравиться заключается в наряде, а это только доступно детям в этом искусстве.

Посмотрите, как маленькая девочка целый день возится со своей куклой, как беспрестанно меняет ей убранство, одевает и раздевает ее сотни раз, постоянно придумывает все новые и новые комбинации из украшений; хорошо или дурно они подобраны, не в этом дело; пальцам недостает ловкости, вкус еще не развился, но склонность уже обнаруживается; в этом вечном занятии время течет совершенно незаметно; часы бегут, она ничего не хочет знать и забывает даже об обеде — у нее больше позывов к наряду, чем к пище. «Но она наряжает,— скажете вы,— свою куклу, а не себя лично». Без сомнения; она видит свою куклу и не видит себя; она не может пока ничего сделать для себя самой; она еще не развилась, не имеет еще ни таланта, ни силы, она пока еще ничто, она вся в своей кукле и на ней сосредоточивает все свое кокетство. Но она не навсегда оставит его там и лишь ждет момента самой сделаться своей собственной куклой.

Итак, вот первая склонность, очень резко очерченная: вам остается лишь следить за ней и регулировать ее. Конечно, малютке от всего сердца хотелось бы уметь убирать свою куклу, делать ей банты на рукавах, косынки, фалбалу<sup>8</sup>, кружева; но тут ее так сурово подчиняют чужому произволу, что ей гораздо удобнее быть во всем обязанной своей собственной изобретательности. Вот основа для первых уроков, преподаваемых ей; уроки эти — не заданная ей задача, а оказанная ей услуга. И действительно, почти все девочки с большой неохотой учатся читать и писать; но когда дело касается иголки — они всегда охотно учатся. Они заранее воображают себя большими и с удовольствием думают о том, что эти таланты могут со временем помочь им наряжаться.

Раз проложен этот первый путь, не трудно идти и дальше: шитье, вышивание, плетение кружев являются сами собою. Вышивание по канве уже не так им по вкусу; мебель — совсем не их дело, она не связана с личностью, она связана с другими совсем представлениями. Вышивание по канве — забава для женщин; девочки никогда не будут заниматься этим с большим удовольствием.

Эти добровольные успехи легко распространяются и на рисование, ибо искусство это не безразлично для искусства одеваться со вкусом; но я не желал бы, чтобы их засадили за рисование ландшафтов, а тем более за рисование лиц. Берите листву, плоды, цветы, драпировку, все, что может пригодиться для того, чтобы придать изящное очертание нарядам или самой составить узор для вышивания в случае, если ничего не окажется по вкусу,— этого и достаточно. Вообще, если мужчинам важно ограничивать свое обучение полезными знаниями, то это еще важнее для женщин, которые хотя и ведут менее трудолюбивую жизнь, но бывают или должны быть более преданы своим занятиям и чаще отвлекаются от дела разными заботами, а поэтому и не имеют возможности увлекаться, по своему выбору, каким-нибудь искусством в ущерб своим обязанностям.

Что бы там ни говорили шутники, но здравый смысл одинаково свойствен обоим полам. Девочки вообще послушнее мальчиков, да над ними необходимо проявлять и больше власти, как я сейчас покажу; но отсюда не следует, что от них нужно требовать чего-нибудь такого, пользу чего они не в состоянии видеть; искусство матерей в том и состоит, чтобы показывать им эту пользу во всем, что они им предписывают, и это тем легче, что смывленность у девочек появляется скорее, чем у мальчиков. Это правило исключает по отношению к их полу, так же как и по отношению к нашему, не только все праздные занятия, которые не ведут ни к чему хорошему и не делают даже людей, предающихся им, более приятными для других, но и все те занятия, полезность которых не очевидна для этого возраста и не может быть заранее усмотрена ребенком даже в более позднем возрасте. Если я не желаю, чтобы мальчика торопились учить читать, то тем более я не желаю, чтобы принуждали к этому девочек, пока им не дадут хорошо понять, на что служит чтение; а при том способе, каким обыкновенно доказывают им полезность этого искусства, следят гораздо более за своею собственною, чем за их мыслью. Да, наконец, какая необходимость девочке — уметь так рано читать и писать? Разве ей так скоро предстоит заведовать хозяйством? Мало таких, которые не извлекают больше вреда, чем пользы из этой роковой науки, а все они настолько любопытны, что научаются этому без всякого принуждения, когда представляется досуг и случай. Быть может, раньше всего они должны научиться счету; ибо ничто так осязательно не обнаруживает свою полезность для всякого времени, ничто не требует большего навыка и не ведет так часто к ошибкам, как счет. Если малютка будет получать вишни для своего завтрака не иначе, как по арифметическому вычислению, то я ручаюсь, что она скоро научится вычислять.

Я знаю одну молодую особу, которая писать научилась раньше, чем читать, и которая прежде чем писать пером, начала писать иглою. Из всех букв она любила выделять одно только О. Она беспрестанно чертила кружки, большие и малые, кружки всякой толщины, одни кружки в других — и все навыворот. К несчастью, раз, когда она была занята этим полезным упражнением, она увидела себя в зеркало; найдя, что эта вынужденная поза делает ее неграциозной, она, как вторая Минерва<sup>8</sup>, закинула перо и не хотела уже выводить О. Брат ее не больше любил писать, чем она; но его выводило из терпения принуждение, а не тот вид, который оно придавало ему. Приняли другие меры, чтобы снова засадить ее за буквы; маленькая девочка была обидчива и тщеславна — она не подозревала, что белье ее служит для сестер ее; его метили, потом перестали метить: пришлось самой метить, — остальной ход дела понятен. Выясните пользу забот, возлагаемых вами на молодых девушек, но все же возлагайте их. Праздность и непослушание — два самых опасных для них недостатка, от которых труднее всего избавиться, раз они заражены ими. Девушки должны быть бдительны и трудолюбивы, — и это не все: они должны с ранних пор приучиться к принуждению. Это несчастье, если только это бывает для них несчастьем, неразлучно с их иолом, и они освобождаются от него лишь для того, чтобы терпеть еще более жестокие несчастья. Они всю жизнь свою будут покорены непрестанному и самому строгому

принуждению — принуждению, обусловленному приличиями. Их нужно в самого начала приучать и к стеснению, чтобы оно ничего для них не стоило, и к обузданию всех своих прихотей, чтобы подчинять их воле другого. Если б им захотелось вечно работать, нужно было бы подчас принуждать их к ничегонеделанию. Мотовство, пустота, непостоянство — вот недостатки, легко порождаемые испорченностью их первых наклонностей и вечным потворством этим наклонностям. Чтобы предупредить это злоупотребление, особенно приучайте их побеждать себя. При наших неразумных учреждениях жизнь честной женщины есть непрерывная борьба против самой себя, и справедливо, чтобы этот пол разделял тягость бедствий, которые он нам причинил.

Не давайте девушкам скучать за своими занятиями и пристращаться к своим забавам, что всегда случается при обычном воспитании, когда все скучное, по выражению Фенелона<sup>10</sup>, кладут по одну сторону, а все удовольствия — по другую. Первое из этих двух неудобств, если следовать вышеизложенным правилам, мыслимо лишь тогда, когда лица, их окружающие, не будут им нравиться. Маленькая девочка, которая любит мать или свою няню, целый день без скуки будет работать возле них; даже одна болтовня вознаградит ее за все стеснение. Но, если особа, руководящая ею, невыносима для нее", она будет питать одинаковое отвращение ко всему тому, что будет делать под ее надзором. Трудно допустить, чтобы вышел когда-нибудь прок из девочек, которым общество матерей не бывает более приятным, чем какое бы то ни было в мире общество; но, чтобы судить об их истинных чувствованиях, нужно изучать их и не доверяться тому, что они говорят, ибо они льстивы, притворны и с ранних пор умеют маскироваться. Тем более не должна им предписывать, чтобы они любили свою мать; любовь является не в силу долга и не здесь пригодно принуждение. Привязанность, заботливость, одна даже привычка заставит ее полюбить мать, если последняя ничем не навлечет их ненависти. Самое стеснение, в котором та держит их, если хороша направлено, не только не ослабит этой привязанности, но еще увеличит ее, потому что, раз зависимость — естественное состояние для женщин, девушки чувствуют себя созданными для повиновения.

В силу того же, что они имеют или должны иметь мало свободы, они и ту долю свободы, которую им предоставляют, доводят до крайности; крайние во всем, они отдаются своим играм еще с большим увлечением, чем мальчики,— это второе из неудобств, о которых я только что говорил. Увлечение это должна быть умеряемо, ибо оно бывает причиной многих пороков, свойственных женщинам,— между прочим, причиной капризов и пристрастия, которое заставляет женщину приходить сегодня в восторг от предмета, на который завтра она и не взглянет. Непостоянство вкусов так же для них пагубно, как и излишество,— то и другое вытекает из одного и того же источника. Не отнимайте у них веселья, смеха, шума, резвых игр, но не давайте им пресыщаться одним и перебегать к другому; не допускайте, чтобы хоть одну минуту в жизни они не знали узды. Приучайте их прекращать па половине свои игры и без ропота переходить к

другим заботам. Для этого достаточно пока одной привычки, потому что она только содействует природе.

Результатом этого привычного принуждения является послушание, которое во всю жизнь нужно женщинам, потому что они никогда не выходят из подчинения то мужчине, то суждениям мужчин, и потому что им никогда не позволительно относиться свысока к этим суждениям. Первое и самое важное качество женщины — кротость; созданная на то, чтобы повиноваться существу, столь не совершенному, как мужчина, часто столь преисполненному пороками и всегда преисполненному недостатками, она должна с ранних пор научиться терпеть даже несправедливость и без жалоб сносить вины мужа; не для него, а для себя она должна быть кроткой. Сварливость и упорство женщин только умножает их бедствия и дурные поступки мужей; последние чувствуют, что не этим оружием они должны побеждать их. Не для того Небо создало их вкрадчивыми и способными убеждать, чтобы они делались сварливыми; не для того создало слабыми, чтобы они были властными; не для того наделило их столь нежным голосом, чтобы они бранились; не для того дало столь тонкие черты, чтобы обезображивать их гневом. Когда они сердятся, то не помнят себя; они часто правы в своих жалобах, но они всегда не правы в своей ругани. Каждый должен сохранять тон, свойственный его полу: слишком кроткий муж может сделать жену дерзкою; но, если только мужчина не чудовище, кротость женщины смиряет его и, рано или поздно, торжествует над ним.

Пусть дочери всегда будут покорными, но пусть и матери не будут всегда неумолимыми. Для того чтобы сделать послушною молодую особу, незачем делать ее несчастною; чтобы сделать ее скромной, для этого не нужно доводить ее до отупения; напротив, я ничего не имел бы против того, чтобы ей подчас давали пускать в дело и долю хитрости — не с целью избежать наказания за непослушание, но с целью уклониться от необходимости послушаться. Дело не в том, чтобы сделать эту зависимость тяжелою,— достаточно дать ей почувствовать ее. Хитрость — талант естественный для этого пола; будучи убежден, что все естественные склонности хороши и правильны сами по себе, я держусь того мнения, что нужно развить и эту, как и прочие; следует лишь предупреждать злоупотребления.

Вопрос о правдивости этого замечания я отдаю на суд любого добросовестного наблюдателя. Я не хочу, чтобы наблюдения производили над самими женщинами; наши стеснительные учреждения могут вынудить их изощрять свой ум; я хочу, чтобы наблюдали за девочками, маленькими девочками, которые только что, так сказать, родились: пусть сравнят их с крошками мальчуганами того же возраста, и если эти последние не покажутся, рядом с ними, тупыми, ветреными, дураками, то я, бесспорно, не прав. Пусть мне позволено будет привести один пример, взятый во всей его детской наивности.

В большом ходу обычай запрещать детям просить что-нибудь со стола, ибо полагают, что наибольшие успехи при воспитании получаются тогда, когда детей заваливают кучей бесполезных



предписаний, как будто нельзя, если дети просят кусок того или другого, сейчас же дать или отказать<sup>\*</sup>, не заставляя бедного ребенка постоянно мучиться от алчного желания, обостренного надеждой. Всякий слышал о ловкости мальчугана, получавшего подобное предписание, как он, будучи забыт за столом, вздумал, наконец, попросить соли и т. д. Я не стану уже говорить, что можно было бы придраться к тому, что он просил не прямо мяса, а просил соли; упущение было столь жестоким, что, если бы он и открыто нарушил закон и сказал бы без уверток, что ему хочется есть, он, думаю, не был бы за это наказан. Но вот как поступила в моем присутствии одна маленькая шестилетняя девочка в случае гораздо более затруднительном, ибо, кроме того, что ей было строго запрещено просить что-нибудь, прямо или обиняками, неповиновение ее было уже потому непростительным, что она отведала уже всех блюд, кроме одного, из которого забыли ей дать, хотя ей очень хотелось поесть этого.

\* Ребенок делается докучливым, если находит это выгодным для себя; но он не станет дважды просить одной и той же вещи, если первый ответ всегда бывает непреложным.

Желая добиться того, чтобы исправили эту забывчивость, но так, чтобы не наказали ее за послушание, она стала перебирать все блюда, указывая на каждое пальцем и громко говоря: «Это я ела, это я ела»; но она с такою очевидностью нарочно обходила, ни слова не говоря, то блюдо, которого она не ела, что кто-то, подметив это, спросил: «А это ела ты?» — «О, нет!» — кротко возразила маленькая лакомка, опуская глаза. Я не стану ничего добавлять; сопоставьте: этот прием — хитрость девушки, а тот — хитрость мальчика.

Что есть, то хорошо, и никакой всеобщий закон не бывает дурным. Та особенная ловкость, которою наделен этот пол, является совершенно справедливым вознаграждением за силу, которой у него мало; без этого женщина была бы не подругой мужчины, а его рабой; благодаря этому превосходству таланта она держит себя наравне с ним и, повинувшись ему, управляет им. Все против женщины: наши недостатки, ее робость, ее слабость; за нее — только искусство ее и красота. Не должна ли она изощрять то и другое? Но красота не общее достояние; она погибает от тысячи случайностей, она проходит с годами, привычка уничтожает ее действие. Один лишь ум есть истинный ресурс для этого пола, но не тот глупый ум, которому придают в свете столько значения и который нисколько не содействует жизненному счастью, а ум, обусловленный положением женщины, т. е. искусство извлекать пользу из нашего ума и пользоваться нашими собственными преимуществами. Мы не можем себе представить, как эта женская ловкость полезна нам самим, сколько она придает прелести общению двух полов, как она помогает обуздывать буйство детей, как она сдерживает грубых мужей, как поддерживает порядок в семье, которая без этого волновалась бы несогласиями. Хитрые и злые женщины злоупотребляют ею — я это хорошо знаю; но чем порок не злоупотребляет? Не станем уничтожать орудий счастья только потому, что злые пользуются ими иногда для того, чтобы вредить.

Нарядом можно блистать, но нравиться можно только личностью. Уборы наши — это не мы сами; они часто безобразят своею изысканностью; часто наряд, заставляющий больше всего замечать ту, которая его носит, сам по себе менее всего заметен. Воспитание молодых девушек в этом пункте совершенно противно здравому смыслу. Украшения им обещают в виде награды, их заставляют любить изысканные наряды. «Как она хороша!» — говорят о них, когда они разряжены. А совершенно наоборот — следовало бы дать им понять, что все эти уборы служат только для прикрытия недостатков, что настоящее торжество красоты бывает тогда, когда она блистает сама по себе. Любовь к модам показывает дурной вкус, потому что лица не меняются вместе с модами; фигура остается одна и та же; поэтому что раз идет к ней, то идет к ней всегда.

Если б я видел, что молодая девушка важничает своими нарядами, я выказал бы беспокойство за ее фигуру, столь тщательно замаскированную, и за то мнение, которое могут составить о ней. Я сказал бы: «Все эти украшения делают ее слишком нарядной — очень жаль; а как вы думаете — может ли она без ущерба себе носить более простые платья? Настолько ли она хороша, чтобы могла обойтись без того или этого?» Быть может, девушка тогда первая попросила бы снять с нее это украшение и потом судить о ней; это был бы удобный случай аплодировать ей, если есть за что. Я тогда именно больше всего и расхваливал бы ее, когда она проще всего одета. Если она на наряд будет смотреть как на восполнение прелестей, недостающих самой личности, как на молчаливое признание, что она нуждается в вспомогательных средствах, раз хочет нравиться, то она будет не гордиться своим нарядом, а будет им унижена, и если, нарядившись более обыкновенного, услышит около себя слова: «Как хороша она!», то покраснеет с досады.

Впрочем, есть фигуры, которым нужен наряд; но нет таких, которые нуждались бы в богатых уборах: Разорительные наряды составляют гордость ранга, а не личности; они обусловлены единственно предрассудком. Истинное кокетство бывает иной раз изысканным, но оно никогда не поражает пышностью; и Юнона была более горда в своей одежде, чем Венера. «Не будучи в состоянии создать ее прекрасною, ты делаешь ее богатою», — говорил Апеллес<sup>11</sup> одному плохому живописцу, который рисовал Елену слишком увешанной нарядом. Я тоже заметил, что самые пышные наряды чаще всего служат вывескою для безобразных женщин: трудно придумать тщеславие более неуместное. Дайте молодой девушке, обладающей вкусом и презиращей моду, лент, газу, кисеи и цветов, — и она без алмазов, помпонов, кружев\* устроит себе такой наряд, который сделает ее во сто раз более очаровательной, чем это могли бы сделать все блестящие тряпки Дюша<sup>12</sup>.

\* Женщины, у которых кожа настолько бела, что они могли бы обойтись без кружев, возбудили бы очень большую досаду в других, если бы перестали носить их. Моды, которым красавицы имеют глупость подчиняться, почти всегда вводятся особами безобразными.

Так как что хорошо, то всегда остается хорошим, и нужно стараться быть всегда как можно лучшим, то женщины, знающие в нарядах толк, выбрав хорошие наряды, неизменно уже и

держатся своего выбора; они не меняют их ежедневно и меньше бывают ими заняты, чем те, которые не знают, на чем остановиться. Кто истинно заботится о наряде, тот мало занят туалетом. Молодые барышни редко имеют нарядные туалеты; труд, уроки наполняют их день, меж тем они одеты вообще с такою же заботливостью, как и дамы (только не румянятся), а часто и с большим вкусом. Излишнее занятие туалетом происходит от иной причины, нежели думают: оно вызывается скорее скукой, чем тщеславием. Женщина, проводящая по шести часов за туалетом, хорошо знает, что она выходит не лучше одетою, чем та, которая проводит за ним всего полчаса; но таким путем она сокращает убийственную медлительность времени, а лучше заниматься собою, чем скучать от всего. Не будь туалета, на что тратить жизнь с полудня до девяти часов? Собирая вокруг себя женщин, дамы забавляются тем, что досаждают им,— а это что-нибудь да значит; они избегают свиданий с глазу на глаз с мужем, которого только и можно видеть в эти часы,— а это еще важнее; а затем являются магазинщицы, торговцы подержанными вещами, щеголи, мелкие сочинители, стихи, песни, брошюры: не будь туалета, нельзя было бы так хорошо соединить все это. Единственной действительной выгодой, извлекаемой из этого, является возможность несколько более выставить себя напоказ, нежели тогда, когда женщина одета; но эта выгода, быть может, не так велика, как думают, и женщины за туалетом не столько выигрывают, сколько им хотелось бы. Давайте без всякого зазрения совести женщинам женское воспитание; пусть они любят заботы, свойственные их иолу, пусть будут скромны, пусть умеют смотреть за хозяйством, быть занятыми в своем доме; пышные туалеты выведутся сами собою, и они будут одеты еще с большим вкусом.

Первое наблюдение, которое делают молодые особы, когда подрастут, показывает им, что все эти посторонние прикрасы недостаточны, если у них нет своих собственных красот. Никогда нельзя наделить себя красотою и не вдруг приобретешь кокетство; но зато можно постараться придать приятность своим жестам, привлекательный тон своему голосу, можно приобрести выдержку, научиться ходить легко, принимать грациозные позы и всюду выказывать себя с наиболее выгодной стороны. Голос усиливается, становится тверже, получает тембр; плечи развиваются, походка делается уверенной,— и тогда поневоле замечаешь, что, как ни будь одета, всегда есть средство обратить на себя взоры других. С этих пор речь идет уже не только об игле и ручной работе — новые таланты являются на сцену и уже дают чувствовать свою полезность.

Я знаю, что строгие наставники хотят, чтобы молодых девушек не учили ни пению, ни танцам, ни одному из приятных искусств<sup>13</sup>. Это мне кажется забавным; и кого же они хотят учить этому? Мальчиков! Кому, мужчинам или женщинам, по преимуществу свойственно иметь эти таланты? «Никому», — ответят они; светские песни преступны, танцы — выдумка демона; молодая девушка не должна иметь иного развлечения, кроме труда и молитвы. Вот странные развлечения для десятилетнего ребенка! Что касается меня, то я очень опасаясь, как бы эти маленькие святоши, которых принуждают проводить детство в молитве, не проводили потом юности за

совершенно другим делом и не постарались, вышедши замуж, вознаградить себя за то время, которое потеряли, пока были девицами. Я полагаю что, обращая внимание на пол, нужно обращать его и на то, что прилично возрасту; думаю, что молодая девушка должна жить не так, как ее бабушка, что она должна быть живой, веселой, резвой, должна петь, плясать сколько душе угодно и вкушать все невинные удовольствия, свойственные возрасту,— и без того слишком скоро наступит время быть степенной и держать себя более серьезно.

Но действительно ли необходима эта перемена? Не является ли гребование это, быть может, плодом наших предрассудков? Наложив на честных женщин одни скучные обязанности, этим самым изгнали из брачной жизни все, что могло делать ее приятной для мужчин. Нужно ли удивляться, что молчание, царствующее у них в доме, гонит их оттуда или что у них так мало охоты попасть в это столь неприятное состояние? Преувеличивая все обязанности, христианство делает их неисполнимыми и тщетными; запрещая женщинам пение, ганцы и все светские забавы, оно делает их угрюмыми, ворчливыми, невыносимыми в семье. Нет религии, где брак был бы подчинен столь суровым обязанностям, и нет религии, где это столь священное обязательство так презиралось бы. Усилия помешать женщинам быть милыми повели к тому, что мужья стали равнодушными к ним. «Этого не должно бы быть»,— совершенно справедливо; но я утверждаю, что это должно было случиться, потому что христиане ведь, Наконец, те же люди. Что касается меня, то я желал бы, чтобы юная англичанка с такою же заботливостью развивала приятные таланты с целью нравиться своему будущему мужу, с какою молодая албанка развивает их для исфаганского гарема. «Мужья,— скажут — не очень-то хлопчут о всех этих талантах». Да, это верно, но это бывает тогда, когда таланты эти употребляются не на то, чтобы нравиться им, а лишь служат приманкой для юных наглецов, которые позорят «ужей. Но неужели выдумаете, что милая и добропорядочная жена, украшенная подобными талантами и посвящающая их развлечению «ужа, не увеличила бы счастья его жизни и не помешала бы ему, вышедши с усталой головой из кабинета, искать освежения где-нибудь вне дома? Кто не видал счастливого единения семейств, когда каждый умеет по-своему содействовать общему развлечению? Пусть нам скажут: доверие и фамильярность, царствующая здесь, невинность и кротость удовольствий, вкушаемых здесь, не вознаграждают ли за все, что только есть наиболее шумного в общественных удовольствиях?

Приятные таланты слишком усердно подводят под мерку искусства; их слишком обобщили: обратили все в правила и поучение и сделали очень скучным для юных особ то, что должно быть для них лишь забавою и резвою игрой. Я не могу представить себе ничего смешнее того, как старик — учитель танцев или пения с хмурым лицом подходит к молодым особам, которым так и хочется смеяться, и принимает на себя, для преподавания им своей пустой науки, такой педантичный и учительский тон, как будто он учит их катехизису. Разве, например, искусство пения немисливо без письменных музыкальных знаков? Разве нельзя сделать свой голос гибким и правильным, научиться петь со вкусом и даже аккомпанировать себе — и в то же время не знать

ни одной ноты? Разве одна и та же манера пения идет ко всем голосам? Разве одна и та же метода пригодна для всех умов? Никогда меня не уверят, что одни и те же позы, одни и те же па, одинаковые движения, одинаковые жесты и танцы идут и к маленькой, живой, резвой брюнетке и к рослой и красивой блондинке с томными глазами. Когда я вижу, как учитель дает им обоим совершенно одни и те же уроки, я говорю себе: «Этот человек держится рутины — и ничего не понимает в своем искусстве».

Спрашивают: учителя ли нужны для девочек или учительницы? Не знаю; мне очень хотелось бы, чтобы они не имели нужды ни в тех, ни в других, чтобы они свободно учились тому, к чему у них такая большая охота, и чтобы не видно было такой массы разряженных шутов, таскающихся по нашим городам. Мне как-то не верится, чтобы вред, причиняемый общением с этими людьми молодым девушкам, не был больше той пользы, которая извлекается из их уроков, чтобы их жаргон, их тон и чванство не внушили ученицам страсти к пустякам, которые так важны для первых и из которых эти последние не замедлят, по их примеру, сделать единственное свое занятие.

В искусствах, имеющих целью одно лишь увеселение, все может быть учителем молодых особ — отец, мать, брат, сестра, подруги, гувернантки, зеркало и особенно их собственный вкус. Не следует предлагать им брать уроки: нужно, чтобы они сами просили об этом; не следует из награды делать урок; в этих-то именно занятиях успех и зависит больше всего от желания успеть. Впрочем, если решительно нужны правильные уроки, я не стану определенно высказываться относительно пола того лица, которое должно их давать. Я не знаю, следует ли, чтобы танцевальный учитель брал юную ученицу за нежную, белую ручку, заставлял приподнимать юбку, поднимать глаза, разнимать руки, выставлять вперед трепещущую грудь; но я хорошо знаю, что я ни за что на свете не захотел бы быть этим учителем.

Через таланты и их применение формируется вкус; через вкус ум незаметно делается восприимчивым к идеям прекрасного, во всех его родах, и, наконец, к понятиям нравственным, сюда относящимся. Вот, быть может, одна из причин, почему чувство приличия и порядочности в девочках развивается раньше, чем в мальчиках; ибо думать, что это преждевременное чувство обязано своим развитием гувернанткам, — значит быть очень мало знакомым с направлением их уроков и с ходом развития человеческого ума. Дар речи занимает первое место в искусстве нравиться: им одним можно придать новую прелесть тому, что, благодаря привычке, не трогает уже чувств. Ум — вот что не только оживляет тело, но и в некотором роде и возобновляет его; смена чувств и идей — вот что одушевляет и разнообразит физиономию; речь, им внушаемая, и напрягает наше внимание, долго поддерживая в нас одинаковый интерес к одному и тому же предмету. Все эти причины, я думаю, и ведут к тому, что молодые девушки так быстро привыкают к приятной болтовне, что они умеют придать своим словам выразительность, прежде чем почувствуют ее, что мужчинам так приятно слушать их даже тогда, когда те еще не в состоянии

понимать их: они выслеживают первые проблески этого разума, чтобы таким образом подметить первое пробуждение чувства.

Язык у женщин гибкий; они говорят скорее, легче и приятнее мужчин. Их обвиняют и в том, что они говорят больше их: это и должно быть, и я охотно вменил бы этот упрек в похвалу; уста и глаза у них проявляют совершенно одинаковую деятельность, и, по одной и той же причине, мужчина говорит, что знает, а женщина — что нравится ей; одному, чтобы говорить, нужны познания, другой — нужен вкус; у одного главным предметом должно быть полезное, у другой — приятное. В их речах не должно быть иных общих черт, кроме истины.

Болтовню девушек поэтому нужно сдерживать не так, как мы сдерживали болтовню мальчиков, не суровым вопросом: «К чему это нужно?» — а другим вопросом, на который им легче ответить, вопросом: «К чему это приведет?» В этом первом возрасте, когда, не будучи еще в состоянии различать добро и зло, они не могут быть судьями личности, они должны поставить себе законом никогда не говорить ничего, кроме приятного, тому, с кем говорят; а это правило тем труднее применить на практике, что оно всегда должно быть подчинено первому, указанному выше правилу — правилу никогда не лгать.

Я вижу тут много и других затруднений, но они касаются более зрелого возраста. А в этом возрасте, чтобы быть правдивыми, молодым девушкам стоит только не быть грубыми; а так как грубость эта естественно отталкивает их, то воспитание легко научает их избегать ее. Вообще я замечаю, что в светских сношениях вежливость мужчин более официозна, а вежливость женщин более приветлива. Это различие не заведенное, а природное. Мужчина, по-видимому, больше старается услужить вам, а женщина благосклонно отнестись к вам. Отсюда следует, что, каков бы ни был характер женщин, вежливость их менее лжива, чем наша; она есть лишь дальнейшее развитие их первоначального инстинкта; но когда мужчина прикидывается предпочитающим мои интересы своим собственным, то какими бы доводами он ни прикрашивал эту ложь, я вполне убежден, что он лжет. Таким образом, женщинам почти ничего не стоит быть вежливыми, а следовательно, и девушкам ничего не стоит, научиться вежливости. Первый урок дает природа, а искусство лишь следует ей и определяет, смотря по нашим обычаям, в какой форме она должна выказываться. Что касается их взаимной вежливости, то это уже другое дело; они проявляют здесь такую принужденность, такую холодную внимательность, что, стесняя друг друга, не очень даже стараются скрыть это стеснение и кажутся искренними в своей лжи, не стараясь почти замаскировать ее. Однако молодые особы иной раз и в самом деле проявляют чистосердечную дружбу. В их лета веселость заменяет собою добрый характер: будучи довольны собою, они довольны и всеми. Несомненно также, что перед мужчинами они охотнее целуются и с большею грацией ласкают друг друга, гордясь тем, что безнаказанно разжигают их алчное стремление картиною милостей, которыми они так умеют возбудить их зависть.

Если не следует позволять мальчикам нескромные вопросы, то тем строже нужно запрещать это молодым девушкам, любопытство которых, удовлетворенное или неловко обманутое, ведет к совершенно иным последствиям, благодаря той проницательности, с которою они выслеживают скрываемые от них тайны, и благодаря их ловкому умению открывать их. Но, допуская с их стороны расспросов., я желал бы, чтобы их самих много спрашивали, чтобы старались вызвать их на болтовню, чтобы их дразнили с целью приучить легко говорить, делать быстрые возражения, с целью развивать им ум и язык, пока это можно сделать без всякой опасности. Эти беседы, если их вести всегда в шутовском тоне, но вести искусно и хорошо направлять, служили бы прелестною забавой для этого возраста и могли бы преподавать невинным сердцам этих молодых особ первые и, может быть, самые полезные, какие только они получают во всю свою жизнь, уроки нравственности, — научая их, под приманкою удовольствия и тщеславия, тому, чем можно заслужить истинное уважение мужчин и в чем состоит слава и счастье честной женщины.

Совершенно понятно, что если мальчики не в состоянии составить себе никакой истинной идеи о религии, то тем более идея эта превосходит понимание девочек; потому-то я и хотел бы с этими последними пораньше заводить об этом речь; ибо если пришлось бы ждать, пока они будут в состоянии методически обсуждать эти глубокие вопросы, то мы рисковали бы никогда не иметь возможности говорить с ними об этом. Разум женщин есть разум практический; он учит их очень искусно находить средства для достижения известной уже цели, но он не учит находить эту цель. Удивительно общественное соотношение полов. Из этого-то соотношения возникает единая нравственная личность, для которой женщина служит глазом, а мужчина рукою, но они в такой зависимости между собою, что от мужчины женщина научится тому, что ей нужно видеть, а от женщины мужчина узнает, что ему нужно делать. Если бы женщина могла так же хорошо восходить к принципам, как и мужчина, а мужчина обладал бы таким же пониманием деталей, как она, то, не будучи никогда друг от друга в зависимости, они жили бы в вечном раздоре и общения между ними не могло бы существовать. Но при той гармонии, которая между ними царствует, все стремится к общей цели, и еще неизвестно, кто больше вносит сюда своего; каждый следует толчку, данному другим; каждый повинует, и оба являются повелителями.

Так как поведение женщины подчинено общественному мнению, то уже поэтому и религия ее обусловлена авторитетом. Всякая девушка должна исповедовать религию своей матери и всякая жена — религию мужа. Если даже эта религия бывает ложною, то послушание, подчиняющее дочь и мать порядку природы, заглаживает перед Богом это греховное заблуждение. Не будучи в состоянии сами быть судьями, они должны подчиняться решению отцов и мужей.

Не будучи в состоянии извлечь из самих себя правил веры, женщины не могут ограничить их пределами очевидности и разума. Увлекаемые тысячею посторонних побуждений, они стоят всегда по эту или по ту сторону истины. Склонные всегда к крайностям, они бывают или вольнодумными, или ханжами; не видно, чтобы они умели соединять мудрость с благочестием.

Источники зла заключаются не только в беспутном характере этого пола, но и в плохой авторитетности нашего пола: распутство нравов внушает к этому авторитету презрение, а ужас раскаяния делает его тираническим — вот почему опп впадают всегда или в одну крайность, или в другую.

Так как авторитет должен направлять верования женщин, то задача наша заключается не столько в том, чтобы разъяснить перед ними основания, в силу которых мы веруем, сколько в ясном изложении того, во что веруем; ибо вера, опирающаяся на темные мысли, есть первый источник фанатизма, а вера, которой требуют по отношению к мыслям абсурдным, ведет к безумию или к неверию.

Прежде всего, преподавая молодым девушкам вероучение, никогда не делайте из него предмета скуки и принуждения, никогда не обращайтесь к нему в задачу или урок, а поэтому никогда не заставляйте их заучивать наизусть что-нибудь, сюда относящееся, — даже молитвы. На первых порах довольно будет, если сами вы, в присутствии их, регулярно будете читать свои молитвы, не принуждая их, однако, к этому присутствию. Пусть молитвы будут краткими, как учил этому Иисус Христос. Произносите их всегда с подобающим сосредоточением мыслей и благоговением; не забывайте, что если вы просите у Высшего Существа внимания к своим молитвам, то несравненно более вы должны вложить внимания в ту молитву, с которой обращаетесь к Нему.

Важно не столько то, чтобы девочки скорее ознакомились с вероучением, сколько то, чтобы они хорошо ознакомились, и в особенности чтобы они любили религию. Если вы делаете изучение ее тягостным для них, если вы Бога изображаете вечно гневающимся на них, если вы, во имя его, налагаете на них тысячу трудных обязанностей, которых на их же глазах никогда не исполняете сами, то не явится ли у них мысль, что знать катехизис и молиться Богу — это обязанность одних только маленьких девочек, и не пожелают ли скорее быть взрослыми, чтобы избавиться, подобно вам, от всего этого подчинения? Примеры нужны, примеры — без этого никогда ни в чем не успевают по отношению к детям.

Когда вы объясняете им догматы веры, то делайте это в форме прямого наставления, а не путем вопросов и ответов. Они должны отвечать только то, что думают, а не то, что им подсказали. В ответах катехизиса ученик учит учителя; ответы эти являются даже ложью в устах детей, потому что последние объясняют то, чего не понимают, и утверждают то, во что не в состоянии еще верить. Среди наиболее интеллигентных людей покажите мне таких, которые бы не лгали, пересказывая свой катехизис.

Первый вопрос, который я нахожу в нашем катехизисе, гласит: «Кто тебя создал и поместил в мир?» Маленькая девочка, вполне уверенная, что это ее мать, без всякого однако колебания, отвечает однако, что это бог. Во всем этом ей ясно только то, что на вопрос, которого почти не понимает, она дает ответ, которого вовсе не понимает.



Мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь человек, хорошо знакомый с ходом развития детского ума, взялся составить для детей катехизис<sup>14</sup>. Это, быть может, была бы самая полезная книга, какую только когда написали, и она, по моему мнению, делала бы очень большую честь ее, автору. Однако несомненно, что, если б эта книга была хороша, она почти не походила бы на наши.

Такой катехизис будет пригоден лишь тогда, когда ребенок по одним вопросам сам от себя будет составлять ответы, не заучивая их; само собою разумеется, что и он, в свою очередь, будет иной раз в состоянии задавать вопросы. Для уяснения того, что я хочу сказать, мне нужно было бы дать нечто в роде образца; но я хорошо чувствую, чего мне недостает для составления подобного образца. Попытаюсь по крайней мере дать хоть какое-нибудь понятие об этом.

Чтобы дойти до первого вопроса нашего катехизиса, речь, по моему соображению, должна была бы начинаться приблизительно так:

Няня

Помнишь ты, когда мать твоя была девочкой?

Малютка

Нет, нянюшка.

Няня

Почему же нет? Ведь у тебя такая хорошая память.

Малютка

Да меня тогда не было на свете.

Няня

Значит, ты не все время жила?

Малютка

Нет.

Няня

А всегда будешь жить?

Малютка

Да.

Няня

Ты — молодая или старая?

Малютка

Я — молодая.

Няня

А бабушка твоя — молодая или старая?

Малютка

Она старая.

Няня

А была она молодой?

Малютка

Да.

Няня

Почему же она теперь не молодая?

Малютка

Потому что состарилась.

Няня

И ты состаришься, как она?

Малютка

Не знаю\*.

\* Если всюду, где я поставил слова: «Не знаю», малютка отвечает иначе то нужно не полагаться на ответ, а тщательно разобрать его с нею.

Няня

А где твои прошлогодние платья?

Малютка

Они распороты.

Няня

Почему же их распороли?

Малютка

Потому что они были бы мне слишком малы.

Няня

А почему они были бы тебе слишком малы?

Малютка

Потому что я подросла.

Няня

Ну, а еще ты будешь расти?

Малютка

Да, конечно!

Няня

А чем становятся взрослые девушки?

Малютка

Они становятся женщинами.

Няня

А что делается с женщинами?

Малютка

Они становятся матерями.

Няня

А с матерями что делается?

Малютка

Они становятся старыми.

Няня

Значит, и ты станешь старой?

Малютка

Да, когда стану матерью.

Няня

А что делается со старыми людьми?

Малютка

Не знаю.

Няня

Что стало с твоим дедушкой?

Малютка

Он умер\*.

\* Малютка так ответит, потому что слышала это; но нужно проверить, имеет ли она какое-нибудь правильное понятие о смерти, ибо эта идея не так проста и не так доступна пониманию детей, как думают. В небольшой поэме об Авеле<sup>15</sup> можно видеть пример того, как давать им об этом понятие. Это прелестное произведение дышит восхитительной простотой, которая в высшей степени пригодна для беседы с детьми.

Няня

Почему же он умер?

Малютка

Потому что был стар.

Няня

Что же, значит, бывает с людьми старыми?

Малютка

Они умирают.

Няня

Значит, и ты, когда будешь старой...

Малютка (*прерывая ее*)

О нет, нянюшка, я не хочу умирать.

Няня

Дитя мое! никто не хочет умирать, а все умирают.

Малютка

Как, и мама умрет?

Няня

Как и все. Женщины стареют так же, как и мужчины, а старость ведет к смерти.

Малютка

Что же нужно делать, чтобы дольше не стареть?

Няня

Благоразумно жить, пока молод!

Малютка

Нянюшка! я всегда буду благоразумной.

Няня

Тем лучше для тебя. Но все-таки, неужели ты думаешь жить всегда?

Малютка

Когда я буду очень, очень старой...

Няня

Ну, что же?

Малютка

Да ведь ты говоришь, что когда сделаешься старой, то непременно нужно умереть.

Няня

Значит, ты когда-нибудь умрешь?

Малютка

Да...

Няня

А кто родился раньше тебя?

Малютка

Отец мой и мать.

Няня

А до них кто жил?

Малютка

Их отец и мать.

Няня

А кто будет жить после тебя?

Малютка

Мои дети.

Няня

А после них кто будет жить?

Малютка

Их дети.

И т. д.

Следуя этому пути, можно с помощью наглядной индукции найти для человеческой расы, как и для всякой вещи, начало и конец, т. е. отца и мать, не имеющих отца и матери, и детей, у которых не будет детей\*.

\* Разум не допускает применения к человеческом поколении идей вечности. Великая числовая последовательность, сводимая к акту, несовместима с этой идеей.

И лишь после длинного ряда подобных расспросов первый вопрос катехизиса окажется достаточно подготовленным: только тогда можно задать его и ребенок сможет его понять. Но какой неизмеримый предстоит еще скачок от этого и до второго вопроса, в котором содержится, так сказать, определение Божественной Сущности! Когда будет наполнен этот промежуток? Бог есть Дух! А что такое Дух? Не маленькой девочке решать эти вопросы; самое большее — она может задать их. Тогда я ответил бы ей просто: «Ты спрашиваешь, что такое Бог; это нелегко сказать: Бога нельзя ни слышать, ни видеть, ни осязать; Его познают лишь из дел. Его. Чтобы судить, что Он такое, нужно знать, что Он создал».

Если наши догматы все одинаково истинны, отсюда не следует, что они одинаково важны. Для славы Божьей не требуется, чтобы истина нам была известна во всех вещах.

Но для человеческого общества и для каждого из его членов важно, чтобы всякий человек знал и исполнял обязанности, налагаемые на него Божеским законом по отношению к ближним его и до отношению к нему самому. Вот чему мы должны непрестанно поучать друг друга, вот в чем отцы и матери обязаны особенно наставлять своих детей. Каждый должен знать, что существует Властитель судеб людских, по отношению к которому все мы — дети, который предписывает нам быть справедливыми, любить друг друга, быть благодетельными и милосердными, исполнять свои обязательства по отношению ко всем людям, даже по отношению к нашим и Его врагам, что видимое счастье этой жизни ничтожно, что будет другая жизнь после этой, в которой Высшее Существо является воздателем для добрых и судьей для злых. Эти и подобные догмы важнее всего преподавать юношеству; они должны быть предметом убеждения всех граждан. Кто отвергает их, тот, без сомнения, заслуживает наказания: он возмутитель порядка и враг общества. Кто обходится без них и хочет подчинить нас своим частным мнениями, тот противоположным путем приходит к тому же: чтобы установить порядок на свой лад, он нарушает мир; в своей безрассудной гордости он делает себя истолкователем Божественной воли, требует во имя Бога поклонения от людей и почитания, он делает себя Богом, насколько это возможно на его месте, его следовало бы наказывать как святотатца, если его не наказали бы за его нетерпимость.

Итак, держите ваших детей всегда в тесном кругу догматов, относящихся к морали. Убеждайте их, что полезнее всего для нас то знать, что научает нас хорошо поступать. Не делайте из ваших

девочек теологов и резонеров, но приучайте их сознавать всегда, что Бог все видит, что Он свидетель их действий, их мыслей, их добродетели и удовольствий, приучайте делать добро без чванства, потому, что Он любит это, терпеть бедствия без ропота, потому что Он вознаграждает за это, быть, наконец, во все дни своей жизни такими, какими им хотелось бы предстать перед Ним. Вот истинная религия, вот единственная, не допускающая ни злоупотребления, ни безбожия, ни фанатизма.

Впрочем, не нужно упускать из виду, что до того возраста, когда разум проясняется и зарождающееся чувство пробуждает совесть, благом и злом для юных особ является то, что признали за таковое окружающие их люди. Что приказывают им, то — благо; что запрещают, то — зло; больше этого ими не приходится знать. Отсюда видно, насколько важен — для них еще более, чем для мальчиков,— выбор лиц, которым придется окружать их и иметь над ними некоторую власть. Наконец, придет момент, когда они начнут судить о вещах сами по себе, и тогда пора будет переменить план их воспитания.

Но я, быть может, слишком уже много толкую об этом. Что станет с женщинами, если мы поставим для них законом лишь общественные предрассудки? Не станем унижать до такой степени пола, который нами управляет и почитал бы нас, если б мы его не уничижали. Существует для всего человеческого рода регулятор, предшествующий людскому мнению. С неуклонным направлением этого регулирующего начала должны сообразоваться все прочие начала; оно судит о самом предрассудке; и насколько людская оценка согласуется с ним, лишь настолько она и должна быть авторитетом для нас.

Это регулирующее начало есть внутреннее чувство. Я не стану повторять сказанного раньше; мне достаточно заметить, что если эти два начала не содействуют воспитанию женщин, то оно всегда будет неудовлетворительным. Чувство без людского мнения не даст им той душевной деликатности, которая добрую нравственность украшает светскою честью, а людское мнение без чувства создает лишь женщин лживых и бесчестных, которые внешность ставят на место добродетели.

Таким образом, для них важно развивать ту способность, которая служит посредницей между двумя руководителями, которая не дает заблуждаться совести и исправлять заблуждения предрассудка. Эта способность есть разум. Но сколько вопросов возникает при этом слове! Способны ли женщины к основательному рассуждению? важно ли для них развивать эту способность? с успехом ли они будут развивать ее? полезно ли это развитие для тех функций, которые на них возложены? совместимо ли оно с простотою, приличною им?

Различие точек зрения при решении этих вопросов ведет к тому, что, вдаваясь в противоположные крайности, одни ограничивают сферу женщины шитьем и вязаньем в кругу семьи, среди своих служанок, и делают ее таким образом первою служанкою хозяина, другие, не довольствуясь обеспечением за нею прав ее, заставляют ее захватывать и наши права; ибо ставить

ее выше нас в качествах, свойственных ее полу, и делать равной нам во всем остальном — не значит ли это переносить на жену первенство, которое природа дает мужу?

Резоны, побуждающие мужчину к сознанию своих обязанностей, очень несложны; еще проще резоны, побуждающие женщину к сознанию обязанностей. Повиновение и верность, которыми она обязана перед мужем, нежность и заботливость, которыми она обязана перед детьми, являются столь естественными и наглядными последствиями ее положения, что она не может, по чистой совести, не отозваться на внутреннее чувство, руководящее ею, или отказаться от своей обязанности, если только не совсем еще испорчены ее естественные склонности.

Я не безусловно порицаю требование, чтобы женщина ограничивалась одними занятиями своего пола и чтобы ее оставляли в глубоком невежестве относительно всего остального; но для этого нужны были бы совершенно простые, совершенно не испорченные общественные нравы или очень уединенный образ жизни. А в больших городах и в среде испорченных мужчин такую женщину слишком легко было бы обольстить; ее добродетель часто зависела бы только от случайности: в наш философский век ей нужна добродетель испытанная; нужно, чтобы она заранее знала и то, что могут ей сказать, и то, что она должна подумать об этом.

Кроме того, будучи подчинена суждению мужчин, она должна заслужить их уважение; особенно она должна добиться его от своего супруга; она должна не только внушать ему любовь к ее личности, но и заслужить от него одобрение своему поведению; она должна оправдать перед обществом сделанный им выбор и украсить мужа той честью, которую воздают женщине. А как она возьмется за все это, если она не знает наших учреждений, если она не знает толку в наших обычаях, в наших приличиях, если она не знакома ни с источником людских суждений, ни со страстями, определяющими эти суждения? Раз она зависит одновременно и от своей собственной совести, и от мнений других людей, она должна научиться сравнивать эти два регулирующие начала, примирять их и предпочитать первое лишь тогда, когда они находятся во взаимном противоречии. Она становится судьей своих судей, она решает, когда должна подчиниться им и когда должна отказать им. Прежде чем отвергнуть или допустить их предрассудки, она взвешивает их; она научается восходить к источнику их, предупреждать их, делать благоприятными для себя; она заботится, чтобы никогда не навлекать на себя порицания, если долг не мешает ей избежать его. Все это можно хорошо сделать лишь в том случае, если развивают ее ум и рассудок.

Я снова возвращаюсь к основному принципу и нахожу в нем разрешение всех своих затруднений. Я изучаю существующее, разыскиваю его причину и пахожу, наконец, что существующее хорошо. Я вхожу в открытые дома, где хозяин и хозяйка сообща принимают гостей. Оба они получили одинаковое воспитание, оба одинаково приветливы, оба одинаково одарены вкусом и умом, оба одушевлены одним и тем же желанием — хорошо принять гостей, чтобы, уходя, каждый остался доволен ими. Муж не упускает ни одного случая проявить ко

всякому свое внимание; он идет туда, идет сюда, за всем досматривает и занят тысячью мелочей; ему бы хотелось всему превратиться во внимание. Жена остается на своем месте; вокруг нее собрался маленький кружок — можно подумать, что он скрывает от нее остальное общество; однако ж она успевает заметить все, что ни происходит, успевает поговорить со всяким, кто только входит; она всячески хлопочет о том, что могло бы всех заинтересовать; она никому не делает ничего такого, что могло бы быть ему неприятно, и, ни в чем не нарушая порядка, последнего в обществе не забывает так же, как и первого. Подали кушанье, садятся за стол. Мужчина, узнав, кто с кем ближе сходитя, сообразно с этим и разместит всех; женщина, ничего не зная об этом, все-таки не обманется: она прочтет это сходство в глазах, к обращению, каждый окажется на том месте, где ему хочется быть. Я не говорю уже о том, что при подаче кушаний никто не бывает забыт. Хозяин дома ходит кругом, и ему не трудно никого не забыть; но женщина угадывает, на что вы смотрите с удовольствием, и сейчас же предложит вам это; говоря с соседом, она кидает взоры на конец стола; она умеет различить, кто потому не ест, что не голоден, и кто не смеет взять себе или попросить, потому что неловок или робок. Выходя из-за стола, каждый уверен, что она только о нем и думала: всем думается, что ей некогда было съесть хоть один кусок, — на самом же деле она ела больше, чем кто-либо.

Когда все разошлись, заходит речь о том, что происходило. Мужчина рассказывает, что ему говорили, что сказали и сделали те, с кем он вел беседу. Женщина же, если и не всегда бывает более точной в этом отношении, зато видела, что было сказано, совсем шепотом, на другом конце залы; она зато знает, что такой-то думал, на что намекали такие-то слова или такой-то жест; не было сделано ни одного выразительного движения, на которое у ней не оказалось бы совершенно готового толкования, почти всегда согласного с истиной. Тот же склад ума, благодаря которому светская женщина отличается в искусстве держать дом, помогает кокетке отличаться в искусстве забавлять сразу нескольких воздыхателей. Искусство кокетства требует еще более топкого распознавания, чем искусство быть вежливым; ибо если приветливо-вежливая женщина бывает таковою по отношению ко всем, то она всегда будет иметь достаточный успех; но кокетка, благодаря этому неловкому однообразию, скоро потеряет свою власть; пытаясь оказать услуги всем своим любезникам, она этим только оттолкнет их от себя. В обществе манеры, усвоенные при обхождении со всеми людьми, не перестают нравиться и каждому отдельно: лишь бы встретить хороший прием, а там уж никто не станет строго относиться к предпочтению, оказанному другим; но в деле любви благосклонность, которая не бывает необычайною, становится обидою. Для чувствительного мужчины во сто раз лучше одному получить дурной прием, чем встретить ласки вместе со всеми другими: для него нет ничего хуже того, что он не отличен от других. Таким образом, женщина, которая хочет, чтобы за нею ухаживали многие, должна убедить каждого из них, что она его именно предпочитает, и притом убедить на глазах всех прочих, которых, в свою очередь, должна убедить, на его глазах, в том же.



Если хотите видеть кого-нибудь в затруднительном положении, то посадите мужчину между двумя женщинами, с которыми у него тайные связи, потом наблюдайте, какой у него будет глупый вид. Поместите при таких же обстоятельствах женщину между двумя мужчинами (и конечно, за примером придется ходить не дальше), и вы будете изумлены ловкостью, с которой она проведет их обоих и заставит каждого из них смеяться над другим. Меж тем, если б эта женщина выказывала им одинаковое доверие и обращалась с ними с одинаковою короткостью, как они могли бы хоть на минуту быть обманутыми ею? Обращаясь с ними одинаково, не показывала ли она бы этим, что они имеют на нее одни и те же права? О, нет! Она гораздо лучше берется за дело! Она не только не одинаково с ними обходится, но еще нарочно выказывает неравенство в обращении; она умудряется так устроить, что тот, с кем она ласкова, объясняет это нежностью к нему, а тот, с кем она неприветлива, думает, что это с досады. Таким образом, каждый, довольный своей участью, видит, что она занята им одним, тогда как в действительности она занята только сама собою.

При общем стремлении нравиться кокетство действительно дает ей в руки подобные средства: капризы отталкивали бы, если б не было в них мудрой умеренности; а если она искусно пускает их в дело, то этим она обращает их в самые крепкие цепи для своих невольников.

*Usa ogn' arte la donna, onde sia collo*

*Nella sua retc alcun novello amante:*

*Ne con tutti, ne sempre un stesso volto*

*Serba, ma cangia a tempo atto e' sembiente.*<sup>16</sup>

На чем основано это искусство, как не на тонких и непрерывных наблюдениях, позволяющих ей видеть каждую минуту, что происходит в сердцах мужчин, и придавать каждому тайному движению, замечаемому ею, желательную силу, чтобы подавить его или ускорить? Меж тем учением ли приобретается это искусство? Нет, оно нарождается вместе с женщинами; они все обладают им, а мужчины никогда не бывают наделены им в той же степени. Это одна из отличительных черт женского пола. Присутствие духа, проницательность, тонкость наблюдения — вот наука женщины; ловкость в пользовании всем этим — вот талант их.

Вот что существует, и мы видели, почему это должно существовать. «Женщины лживы», — говорят нам. Такими они делаются. Дар, им свойственный, не лживость, а ловкость; если не извращены наклонности их пола, то они, даже когда лгут, не бывают лживыми. Зачем вы обращаетесь к их устам, когда не уста их должны говорить? Наблюдайте их взоры, цвет лица, дыхание, боязливость вида, слабость сопротивления — вот язык, которым наделяет их природа, чтобы отвечать вам. Уста всегда говорят: «Нет» — и должны так говорить. Но тон, которым это говорится, не всегда один и тот же, а тон этот не умеет лгать. Разве женщина имеет не те же потребности, как и мужчина, хотя у нее и нет такого же права выражать их? Это было бы слишком жестоко, если бы даже при законных желаниях у нее не было средства выражать их,

равнозначающего тому, которым она не смеет пользоваться. Неужели стыдливость должна делать ее несчастною? Неужели не видите, какое ей нужно искусство, чтобы передавать свои стремления, не раскрывая их? Какая ловкость нужна ей, чтобы заставить украсть у ней то, что ей самой очень хочется отдать! Как важно для нее научиться трогать сердце мужчины, не подавая ему вида, что она думает о нем! Каким очаровательным языком является яблоко Галатеи и ее неловкое бегство!<sup>17</sup> Что нужно ей еще прибавлять к этому? Неужели она должна сказать пастуху, который следует за нею под ивы, что она бежит туда с целью привлечь его? В таком случае она в некотором роде лгала бы, ибо она не увлекала бы. Чем больше у женщины сдержанности, тем больше ей требуется искусства даже по отношению к мужу своему. Да, я утверждаю, что, удерживая кокетство в должных пределах, тем самым его делают скромным и истинным, преобразуют в необходимое условие порядочности.

«Добродетель едина, — очень удачно говорил один из моих противников, — ее нельзя разложить, допуская одну часть и отвергая другую». Когда ее любят, то любят во всей ее неприкосновенности и не допускают в сердце по возможности, а в уста — никогда тех чувств, которых не следует питать. Нравственная истина заключается не в том, что существует, но в том, что хорошо; что дурно, того не должно было бы и существовать, в том не следует и признаваться, особенно если это сознание ведет к таким последствиям, которых без этого и не было бы. Если б я имел поползновение украсть и высказыванием своего намерения соблазнил бы и другого быть моим соучастником, то объявлять о своем поползновении разве не значит действительно поддаваться ему? Почему же говорите вы, что стыдливость делает женщин лживыми? Неужели женщины, легче всего теряющие ее, правдивее других? Как бы не так! Они в тысячу раз лживее. До такой степени испорченности доходят только путем пороков, только тогда, когда их все сохраняют при себе и когда они царят, при помощи интриг и лжи\*. Напротив, женщины, которые имеют еще стыд и не гордятся своими проступками, которые умеют скрыть свои вожеления даже от того, кто внушает их, от которых труднее всего вырвать любовные признания,— эти женщины бывают; кроме того, самыми правдивыми, наиболее искренними, наиболее постоянными во всех своих обязательствах, такими, на слово которых больше всего можно положиться.

\* Я знаю, что женщины, которые насчет известного пункта открыто высказывали свою точку зрения, очень хвастаются своей откровенностью и клятвенно уверяют, что, за исключением этого, все остальное в них в высшей степени заслуживает уважения; но я хорошо знаю и то, что они в этом никогда никого не убедили, кроме глупцов. Раз сброшена самая крепкая узда для их пола, что остается для сдерживания их? И какую честью они станут дорожить, отказавшись от той, которая свойственна их полу? Раз они дали полную волю своим страстям, им нет никакого интереса противиться этим страстям: *Nec foemina amissa pudicitia alia ubnuerit*<sup>18</sup>. Какой автор знал когда-либо лучше писателя, сказавшего эти слова — сердце человеческое у того и у другого пола.

Я знаю один только пример, который можно было бы привести как известное исключение из этих наблюдений; это г-жа де Ланкло<sup>19</sup>. Но зато г-жа де Ланкло и прослыла чудом. Среди презрения к добродетелям своего пола она, говорят, сохранила добродетели нашего пола: хвалят ее откровенность, прямоту, добросовестность в сношениях, верность в дружбе; наконец, к довершению ее славы, говорят, что она сделалась мужчиной. В добрый час! Но, при всей ее высокой репутации, я все-таки не захотел бы этого «мужчину» иметь своим другом, точно так же, как и своей возлюбленной.

Все это не так неуместно здесь, как кажется. Я вижу, к чему клонятся правила новейшей философии, поднимающей на смех стыдливость этого пола и его мнимое коварство; я вижу, что философия эта вернее всего приведет к тому, что женщины нашего века лишатся и той небольшой доли чести, которая осталась у них.

На основании приведенных соображений, думаю, можно определить вообще, какого рода развитие прилично женскому уму и на какие предметы следует с самой юности направлять их размышления.

Обязанности этого пола, как я уже сказал, на взгляд кажутся более легкими, чем это бывает при выполнении их. И женщины прежде всего должны научиться любить их, во внимание к преимуществам, ими доставляемым: это единственное средство сделать их легковыполнимыми. Каждое положение и каждый возраст имеет свои обязанности. Узнать их можно скоро, лишь бы полюбить их. Уважайте свое женское достоинство,— и, в какой бы класс людей вас небо ни поставило, вы всегда будете хорошею женщиною. Все дело в том, чтобы быть тем, чем создала нас природа; а мы всегда чересчур стремимся быть тем, чем желают нас видеть люди.

Исследование абстрактных и умозрительных истин, исследование принципов, аксиом науки, всего того, что стремится к обобщению идей, не под силу женщинам: все их занятия должны относиться к практической сфере; их дело — применять принципы, которые открыл мужчина, и производить наблюдения, которые приводят мужчину к установлению этих принципов. Все размышления женщин во всем, что непосредственно не связано с их обязанностями, должны быть направлены па изучение людей или на приобретение приятных познаний, единственная основа которых — вкус; ибо труды гениальные превосходят их понимание; нет у них также достаточной правильности суждения и внимательности, чтобы успевать в науках точных; что же касается физических знаний, то судить об отношениях между существами, одаренными чувствительностью, и о законах природы — дело того из двух, кто наиболее деятелен, наиболее подвижен, кто больше видит предметов, у кого больше силы и кто больше ее упражняет. Женщина, слабая и незнакомая с внешним миром, взвешивает и судит, какие двигатели может пустить в ход для восполнения своей слабости, и этими двигателями оказываются страсти мужчины. У нее механизм сильнее нашего; все рычаги его способны двигать человеческое сердце. Она должна обладать искусством заставлять нас делать все то, чего женский пол не может сделать

сам собою, по что необходимо ему или приятно; нужно, следовательно, чтобы она основательно изучила ум мужчины,— не отвлеченно, не ум мужчины вообще, но ум мужчин, ее окружающих, ум людей, которым она подчинена, путем ли закона или путем людского мнения. Нужно, чтобы она научилась по их речам, по их поступкам, взглядам, жестам узнавать их чувствования. Ей нужно уметь своими речами и действиями, своими взглядами и жестами внушать им чувствования, какие ей угодно, не подавая даже виду, что она это делает. Они лучше ее будут философствовать о человеческом сердце; но она будет лучше их читать в сердце людей. Дело женщин — открывать, так сказать, экспериментальную нравственность, наше дело — приводить ее в систему. У женщины больше ума, у мужчины больше гения; женщина наблюдает, а мужчина рассуждает: из этой совместной работы является в результате самое светлое разумение и самое полное знание, какое только может ум человеческий приобрести сам собою,— словом, самое верное знакомство с собою и другими, какое только доступно нашему роду. Вот каким образом искусством может беспрестанно совершенствоваться то орудие, которое дала природа.

Свет — вот книга для женщин; если они плохо в ней читают, это их вина или же это ослепляет их какая-нибудь страсть. Однако же истинная мать семейства не только не бывает светской женщиной, но даже почти столь же безвыходно заключена в своем доме, как и монахиня в монастыре. Нужно было бы, следовательно, с молодыми особами, которых отдают замуж, поступать так, как поступают или должны поступать с теми, которых отдают в монастыри; нужно показать им удовольствия, ими покидаемые, прежде чем они отрекутся от них, а иначе лживые картины этих удовольствий, незнакомых им могут со временем расстроить их сердце и смутить счастье их уединения. Во Франции девушки живут в монастырях, а женщины рыскают в свете. У древних было совершенно наоборот: девушки участвовали, как я сказал, во многих играх и в общественных празднествах, а женщины жили в уединении. Этот обычай был благоразумнее и лучше поддерживал нравственность. Некоторое кокетство позволительно девушкам-невестам; веселиться — вот их главное занятие. У женщин другие заботы дома — им не предстоит уже отыскивать мужей; но им была бы невыгодна подобная реформа, а они, к несчастью, задают тон. Матери! сделайте по крайней мере своими подругами дочерей ваших. Наделите их здравым смыслом и честною душой, а затем не прячьте от них ничего такого, на что может смотреть целомудренное око. Бал, празднества, игры, даже театр, все, что, при неумении видеть, обольщает неблагоприятную молодежь,— все это здоровым глазам может быть показано без риска. Чем лучше разглядят они эти шумные удовольствия, тем скорее они почувствуют к ним отвращение.

Я слышу крик, который поднимается против меня. Какая девушка устоит перед этим опасным примером? Они едва увидят сеет, как уже все теряют голову и ни одна из них не хочет расстаться с ним. Это возможно; но прежде чем предложить им эту обманчивую картину, хорошо ли вы подготовили их, умеют ли они смотреть на нее без волнения? Хороша ли вы описали им предметы, ею представляемые? Такими ли вы изобразили их, каковы они в действительности?

Хорошо ли вооружили их против обманов тщеславия? Развили ли в их юном сердце вкус к истинным удовольствиям, которых не найдешь в этой сутолоке? Какие предосторожности, какие меры приняли вы, чтобы предохранить их от ложного вкуса, вводящего их в обман? Вы не только ничего не дали их уму для борьбы с властью общественных предрассудков, ко даже питали эти последние; вы их заранее заставили полюбить все пустые развлечения, которые они встретят. Вы и тем заставляете их любить эти удовольствия, что сами предаетесь им. У молодых особ, вступающих в свет, нет иной воспитательницы, кроме матери, которая часто безумнее их самих и не может показать им предметы в ином свете, чем видит их сама. Ее пример сильнее самого рассудка и оправдывает их в собственных глазах; авторитет же матери служит для дочери извинением, не допускающим возражений. Если я высказываю желание, чтобы сама мать вводила дочь в свет, то делаю это в том предположении, что она покажет ей свет таким, каков он в действительности.

Зло является еще раньше. Монастыри суть настоящие школы кокетства, но не того добропорядочного кокетства, о котором я говорил, а того, которое порождает все странности женщин, создает самых сумасбродных жеманниц. Выходя оттуда и попадая вдруг в шумные общества, молодые женщины сразу чувствуют себя на своем месте. Они для того и были воспитаны, чтобы жить в этой среде; нужно ли удивляться, что они здесь хорошо себя чувствуют? Хотя я высказываю свое мнение не без опасения принять предрассудок за действительное наблюдение, но все-таки мне кажется, что в протестантских странах вообще больше семейной привязанности, больше достойных супругов и нежных матерей, чем в странах католических; а если это так, то нельзя сомневаться, что эта разница обусловлена отчасти монастырским воспитанием.

Чтобы любить тихую семейную жизнь, нужно быть с нею знакомым; нужно с самого детства почувствовать ее сладость. Лишь в родительском доме можно получить любовь к своему собственному дому, и ни одна женщина, воспитанная не матерью своей, не будет находить удовольствия в воспитании своих детей. К несчастью, в больших городах уже не существует домашнего воспитания. Общество там до того беспредельно и смешанно, что не остается уже убежища для уединения, и даже у себя дома всякий бывает на глазах публики. Благодаря совместной жизни в обществе люди не имеют уже семьи, едва узнают своих родителей: их встречают как посторонних; простота семейных нравов исчезает вместе с исчезновением нежной короткости отношений, которая и придавала им прелесть. Таким-то образом вместе с молоком всасывается привязанность к удовольствиям, свойственным веку, и к правилам, в нем господствующим.

На девушек налагают наружное стеснение с целью найти олухов, которые возьмут их замуж за их манеру держать себя. Но наблюдайте хоть минуту за этими молодыми особами: под сдержанным видом они плохо маскируют алчное стремление, их пожирающее, у них даже в глазах читается горячее желание подражать матерям своим. Они алчут не мужа, а вольности,

неразрывной с браком. К чему тут муж, если есть столько средств обойтись без него? Но муж все-таки нужен, чтобы прикрыть эти средства\*. Скромность у них на лице, а в глубине сердца у них распутство: притворная скромность сама служит признаком этого; они для того притворно и выказывают ее, чтобы поскорее развязаться с нею. Женщины Парижа и Лондона! Извините меня, умоляю вас. Ни одна местность не обходится без чудес; но что касается меня, я не знаю их, и если хоть у одной между вами душа поистине честная, то, значит, я ничего не понимаю в ваших учреждениях.

\* Путь мужчины в юности был одной из четырех вещей, которых мудрец не мог понять; пятой вещью было бесстыдство жены прелюбодейной, которая "поела и обтерла рот свой и говорит: я ничего худого не сделала" (Притчи, XXX, 20)

Все эти разнообразные способы воспитания одинаково развивают в молодых особах вкус к удовольствиям большого света и страсти, скоро возникающие из этого вкуса. В больших городах испорченность начинается вместе с началом жизни, а в маленьких она начинается с началом рассудка. Юные провинциалки, наученные презирать блаженную простоту своих нравов, торопятся попасть в Париж, чтобы заразиться испорченностью наших нравов; пороки, украшенные прекрасным именем талантов,— единственная цель их путешествия; я если по приезде им стыдно, что они так далеко отстали от благородной распущенности тамошних женщин, они зато скоро становятся достойными быть столичной женщиной. Где, по вашему мнению, начинается зло: в тех ли местах, где оно замышляется, или там, где его совершают?

Я не хочу, чтобы разумная мать привозила из провинции свою дочь в Париж с целью показывать ей эти картины, столь гибельные для других; но я говорю, что если это случится, то или эта девушка, значит, дурно воспитана, или эти картины будут для нее мало опасными. Кто имеет вкус, чувство, кто любит честное, тот не найдет их такими привлекательными, какими они кажутся для тех, кто поддается их очарованию. В Париже мы встречаем юных ветрениц, которые торопятся перенять местный тон и месяцев шесть одеваются по моде, чтобы потом всю жизнь подвергаться насмешкам; но кому известны те, которые, перепугавшись всей этой суетни, возвращаются в провинцию довольными своим жребием, так как они сравнили его с тем, которому другие завидуют? Сколько раз я видел, как молодые женщины, привезенные в столицу услужливыми мужьями, имевшими возможность поселиться там, сами отговаривали их от этого, назад ехали охотнее, чем туда, и говорили с умилением накануне отъезда: «Ах, вернемся в пашу хижину: там живут счастливее, чем в здешних дворцах». Мы не знаем всей той массы честных людей, которые не преклонили колена перед идолом и презирают неразумное поклонение ему. Шум поднимают лишь безумные; а умные женщины не производят сенсации.

А потому если, несмотря на общую испорченность, несмотря на всеобщие предрассудки, несмотря на дурное воспитание девушек, многие все-таки сохраняют испытанную рассудительность, то что будет, если эту рассудительность будут поддерживать ответственными

наставлениями или, лучше сказать, если ее не станут извращать порочными наставлениями? Ведь все дело и состоит в том, чтобы сохранять или восстанавливать природные чувствования. Это вовсе не значит, что следовало надоедать молодым девушкам вашими длинными проповедями или читать им вашу сухую мораль. Нравоучения у обоих полов убивают всякое хорошее воспитание. Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушать ненависть и к тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому. Дело не в том, чтобы, рассуждая с молодыми особами, пугать их обязанностями или отягчать иго, наложенное на них природою. Излагая им эти обязанности, будьте ясны и удобопонятны; не допускайте их думать, что исполнять эти обязанности не очень-то весело,— прочь сердитый вид, прочь гордая осанка! Все, что должно идти к сердцу, должно из него же исходить; их нравственный катехизис должен быть так же короток и так же ясен, как и катехизис религиозный, но он не должен быть таким же суровым. Покажите им в самых обязанностях источник для удовольствий и основание их прав. Разве так трудно любить, чтобы быть любимой, стать любезной, чтобы быть счастливой, заслужить уважение, чтобы добиться себе повиновения, уважать себя, чтобы заслужить уважение? Как прекрасны эти права, как они почтенны, как они дороги сердцу мужчины, когда женщина умеет внушать к ним уважение! Чтобы ими пользоваться, для этого не нужно ждать ни совершеннолетия, ни старости. Ее власть начинается вместе с рождением добродетелей; едва разовьются ее увлекательные стороны, как она уже царствует с помощью кротости своего характера, и делает скромность свою очень внушительной. Какой нечувствительный и жестокий мужчина не смягчит своей гордости и не проявит большой внимательности, когда он находится рядом с шестнадцатилетнею девушкой, любезной и умной, мало говорящей и много слушающей, скромной в обращении и учливой в разговорах, не забывающей, из-за красоты своей, ни своего пола, ни молодости лет своих, умеющей заинтересовать даже своею робостью и привлечь на себя такое же внимание, с каким она смотрит на всех?

Эти знаки внимания, хотя и чисто внешние, немаловажны: они основаны не только на одном чувственном влечении, они говорят о внутреннем сознании, присущем нам всем,— сознании, что женщины суть естественные судьи достоинства мужчины. Кто хочет быть презираемым женщинами? Никто в мире, даже и тот, кто не хочет уже любить их. Я говорю им такие жесткие истины, а меж тем неужели вы думаете, что суждения их для меня безразличны? Нет: одобрение их для меня дороже вашего, читатели, — вы часто скорее оказываетесь женщинами, чем они. Презирая их нравы, я все-таки хочу отдать честь их справедливости; мне мало дела до того, что они ненавидят меня, если только я вынуждаю их уважать меня.

Сколько великих дел совершили бы с помощью этой пружины, есяи б умели пускать ее в ход! Горе веку, где женщины теряют свое влияние и где суждение их не имеет уже никакого значения для мужчины. Это последняя степень развращения. Все народы, отличавшиеся нравственностью, почитали женщин. Посмотрите на Спарту, посмотрите на германцев, на Рим,— Рим, жилище

славы и доблести, если только эти последние имели когда жилище на земле. Там женщины чествовали подвиги великих полководцев, там они всенародно оплакивали отцов отечества, там их обеты или траур были священными, как самый торжественный приговор республики. Все великие перевороты шли там от женщин; через женщину Рим приобрел свободу<sup>20</sup>, через женщину плебеи добились консульства<sup>21</sup>, женщина положила конец тирании децемвиров<sup>22</sup>, женщинами осажденный Рим был избавлен от руки изгнанника<sup>23</sup>. Галантные французы! что вы сказали бы, видя перед собой эту процессию, столь смешную в ваших насмешливых глазах? Вы провожали бы ее свистками. Каким равнодушным взором мы смотрим на те же самые предметы! Но, быть может, мы все правы. Образуйте такой кортеж из нарядных французских дам, и мне трудно будет представить себе что-нибудь более неприличное; но составьте его из римлянок, и вы привлечете взоры вольсков и сердце Кориолана.

Я скажу больше — я буду утверждать, что добродетель столь же благоприятствует любви, как и другим правам природы, и что авторитет любовниц не менее выигрывает от нее, чем авторитет жен и матерей. Нет истинной любви без энтузиазма, и нет энтузиазма без предмета, олицетворяющего совершенство, действительное или химерическое, но все-таки существующее в воображении. Чем стали бы восторгаться любовники, если для них не существовало бы совершенства и если в любимом существе они видели бы лишь предмет чувственных наслаждений? Нет, не этим путем душа воспламеняется и отдается тем возвышенным восторгам, которыми бредит человек влюбленный и которые составляют всю прелесть его страсти. Я согласен, что в любви все лишь иллюзия, но есть в ней и действительное: это чувства, внушаемые ею по отношению к истинно прекрасному, которое она нас заставляет любить. Это прекрасное заключается не в любимом предмете, оно — плод наших заблуждений. Но что за важность! Ведь мы все-таки приносим все свои чувства в жертву этому воображаемому идеалу? Ведь сердце наше тем не менее проникается добродетелями, которые мы приписываем любимому существу? Ведь мы тем не менее отрешаемся от своего низкого эгоизма? Какой истинный любовник не был бы готов пожертвовать жизнью за свою возлюбленную? А возможна ли чувственная и грубая страсть в человеке, который хочет умереть? Мы смеемся над рыцарями! Это потому, что они знали любовь, а нам знакомо уже одно только распутство. Когда эти романтические взгляды стали делаться смешными, перемена эта была не столько делом разума, сколько делом дурных нравов.

Каков бы ни был век, естественные отношения не меняются, понятия о приличном и неприличном, из них вытекающие, остаются одни и те же, предрассудки, принимая имя разума, меняют только внешний вид свой. Всегда будет великим и прекрасным делом — быть своим собственным властелином, хотя бы для того, чтобы подчиниться потом фантастическим мнениям; истинно честные побуждения всегда будут понятны сердцу всякой рассудительной женщины, которая умеет в своем положении отыскать жизненное счастье. Целомудрие должно быть особенно приятной добродетелью для прекрасной женщины, обладающей некоторым



благородством души. Когда она видит весь свет у своих ног, она торжествует не только над всем, но и над собою: она в своем собственном сердце воздвигает себе трон, перед которым всякий спешит засвидетельствовать свое почтение; нежные или завистливые, но всегда почтительные чувства мужчин и женщин, всеобщее уважение и уважение к самой себе — все это за несколько минут борьбы вознаграждает ее непрестанной славой. Лишения преходящи, но награда за них постоянная. Каким наслаждением для благородной души является гордость добродетели, соединенная с красотой! Представьте в действительности героиню романа — она будет вкушать более изысканные наслаждения, чем разные Лаисы и Клеопатры; а когда красота исчезнет, у ней все-таки останутся слава и удовольствия; она и одна сумеет наслаждаться прошлым.

Чем выше и труднее обязанности, тем ощутительнее и тверже должны быть основания, па которые они опираются. Существует особый благочестивый язык, которым стараются прожужжать уши молодым особам, говоря им о самых важных материях и никогда ни в чем не убеждая. Этим языком, совершенно несоответственным с их идеями, и неуважением, с каким они втайне относятся к нему, объясняется та легкость, с какого они поддаются своим склонностям, не имея основания бороться с ними, — оснований, которые вытекали бы из самих вещей. Девушка, умно и благочестиво воспитанная, обладает, без сомнения, сильным орудием против искушений; но та, сердце или скорее слух которой питают единственно благочестивою болтовней, неизменно становится добычею первого ловкого оболъстителя который за нее возьмется. Никогда молодая и красивая особа не станет презирать своего тела, никогда не станет чистосердечно огорчаться тем, какие великие грехи порождаются ее красотой, никогда не станет искренно и перед богом оплакивать то обстоятельство, что она является предметом вождлений, никогда не поверит в душе, что самое сладостное сердечное чувство есть изобретение сатаны. Дайте ей другие основания, внутренние, лично до нее касающиеся, ибо те основания не произведут впечатления. Еще хуже будет, если — как это часто и случается — внесут противоречие в ее идеи, если сначала унижат ее, опорочивая тело и прелести ее как греховную скверну, потом это же тело, ставшее для нее столь презренным, заставят ее почитать, как храм Христов. Слишком возвышенные и слишком низкие идеи одинаково недостаточны и не могут совмещаться: нужно основание, доступное полу и возрасту. Уважение к долгу лишь тогда имеет силу, когда с ним соединяются мотивы, побуждающие нас выполнять этот долг.

*Quo quia non liceat non facit, ilia facit*<sup>24</sup>. Едва ли можно думать, что Овидий слишком строг в своем суждении.

Итак, если вы хотите внушить молодым особам любовь к добрым нравам, то не повторяйте беспрестанно: «Будьте благоразумны», но покажите им всю выгоду этого; дайте им почувствовать всю цену благоразумия — и вы заставите их полюбить его. Недостаточно предвидеть эту выгоду в отдаленном будущем — покажите, что им полезно в текущий момент в сношениях, свойственных их возрасту, и в характере их возлюбленных. Нарисуйте им человека добродетельного, человека с

достоинствами; научите их распознавать его, любить его — и любить для самих себя; докажите им, что только такой человек, будь они его подругами, женами или возлюбленными, может сделать их счастливыми. Вызывайте добродетель путем рассудка; дайте им почувствовать, что власть их пола и все его преимущества зависят не только от их хорошего поведения, от их нравственности, но, кроме того, и от нравственности мужчин, что они мало окажут влияния на души презренные и низкие, что служить своей возлюбленной можно только так, как служат добродетели. Будьте уверены, что тогда, описывая им нравы наших дней, вы вызовете в них искреннее отвращение; показывая им модных людей, вы возбудите в них презрение к ним; вы внушите нерасположение к их правилам, отвращение к их чувствам, пренебрежение -к их пустым любезностям; вы зародите в них более благородное честолюбие — желание царить над великими и сильными душами, честолюбие спартанских женщин, которым хотелось повелевать мужчинами. Женщина дерзкая, бесстыдная, интриганка, умеющая привлекать возлюбленных лишь кокетством и удерживать их лишь своими милостями, получает от них, как от лакеев, только услуги рабские и обыденные, а в случаях важных и значительных она не властна над ними. Но женщина, честная, любезная и разумная, внушающая окружающим почтение к себе, обладающая сдержанностью и скромностью,— словом, женщина, любовь к которой питается уважением, одним знаком посылает возлюбленных своих на край света, в битву, за славу, на смерть, куда ей угодно\*. Прекрасна мне кажется эта власть, и стоит труда купить ее себе.

\* Брантом<sup>25</sup> рассказывает, что во время Франциска I одна молодая особа, имевшая болтливого любовника, наложила на него решительное и полное молчание, и он так строго хранил его целых два года, что все считали его онемевшим вследствие болезни. Однажды, в большом собрании, возлюбленная его, отношении которой в те времена, когда любовь была тайной, никто не знал, похвалилась, что в один момент вылечит его, и сделала это с помощью одного слова: «говорите!» Разве нет чего-то великого и героического а подобной любви? Что большего могла бы сделать философия Пифагора, со всею ее пышностью?<sup>26</sup> Не представляется ли тут воображению божество, дающее смертному по одному своему слову орган речи? Какая женщина в настоящее время могла бы рассчитывать на подобное молчание в течение даже дня, хотя бы ей пришлось заплатить за это всем, что в ее власти?

Вот в каком духе велось воспитание Софи, требовавшее не столько труда, сколько заботливости, и скорее сообразовавшееся с ее склонностями, чем стеснявшее их. Скажем теперь несколько слов о ее личности, согласно с тем портретом, который я обрисовал Эмилю., и с тем представлением, которое он сам составил себе о супруге, способной сделать его счастливым.

Я не перестану повторять, что чудеса я оставляю в стороне. Эмиль — не чудо. Софи — тем менее. Эмиль — мужчина, а Софи — женщина; в этом вся их слава. При той путанице полов, которая царит между нами, принадлежать к своему полу — почти уже чудо.

Софи хорошо одарена от рождения, у нее добрые задатки; сердце у нее очень чувствительное, и эта чрезмерная чувствительность вызывает иной раз такую работу воображения, которая с трудом умеряется. Ум у нее не столько точный, сколько пронизательный; характер уживчивый и, однако, не ровный; фигура обыкновенная, но приятная; физиономия обещает, что у ней есть душа, и не обманывает; можно равнодушно подойти к пей, но отойти от нее нельзя без волнения. Другие имеют и такие хорошие качества, которых ей недостает; у других в большей степени развиты качества, которые она имеет; но ни у одной нет такого удачного подбора качеств, способного создать счастливый характер. Она умеет извлечь пользу из самых недостатков своих; и, если бы она была более совершенной, она нравилась бы гораздо меньше.

Софи не красавица; но возле нее мужчины забывают красивых женщин, красивые женщины недовольны собою. На первый взгляд она едва ли покажется хорошенькою; но чем больше на нее смотришь, тем больше она хорошеет; она выигрывает, где другие проигрывают, а что она выигрывает, того уже не теряет. Можно иметь более красивые глаза, более красивый рот, более представительную фигуру; но ни у кого нет более стройной талии, лучшего цвета лица, такой белой ручки, такой маленькой ножки, столь нежного взгляда, столь приветливой физиономии. Она не ослепляет, но заинтересовывает; она очаровывает, а чем — не сумеешь сказать.

Софи любит наряды и знает в них толк; у ее матери нет иной горничной, кроме нее; у ней много вкуса, так что она умеет одеться к лицу; но она ненавидит богатые платья; в ее наряде всегда видна простота, соединенная с изяществом; она любит не то, что блестит, а то, что идет ей. Она не знает, какие цвета в моде, но она чудесно знает, какие идут к ней. Нет девушки, которая на вид казалась бы одетою с меньшею, чем она, изысканностью и у которой наряд был бы так тщательно обдуман: ни одна принадлежность костюма не взята наугад, и все-таки ни в одной не видно искусственности. Костюм ее по виду очень прост, но в действительности очень кокетлив; она не выставляет напоказ своих прелестей — прикрывает их, но прикрывая, умеет дать пищу воображению. Видя ее, скажешь: «Вот скромная и добропорядочная девушка»; но пока остаешься с нею, глаза и сердце так и приковываются к ее фигуре, не будучи в состоянии оторваться; поневоле скажешь, что весь этот наряд, столь простой, для того только и занимает свое место, чтобы заставить воображение отбросить его часть за частью.

У Софи есть природные таланты; она это сознает и не пренебрегает ими; но так как она не имела случая искусно развить их, то она довольствуется тем, что, при своем прекрасном голосе, научилась петь правильно и со вкусом, научилась легко, плавно и с грацией ходить своими маленькими ножками, без стеснения и неловкости делать поклоны при всяком положении. Впрочем, у нее не было другого учителя пения, кроме отца ее, иной учительницы танцев, кроме матери; а соседний органист дал ей несколько уроков аккомпанирования на клавинофорте, которыми потом она занялась сама. Сначала она думала лишь о том, как бы покрасивее положить руку на эти черные клавиши, потом заметила, что рядом с резким и сухим звуком клавинофорте

звук голоса делается нежнее; мало-помалу она стала понимать гармонию; наконец, подрастая, она стала чувствовать прелесть выражения и полюбила самую музыку. Но это скорее охота, чем талант; она не умеет разбирать арию по нотам.

Предмет, который Софи лучше всего знает и которому заботливее всего ее обучали,— это свойственные ее полу работы, даже те, за которыми не особенно гоняются, как, например, шитье и кройка платьев. Нет ни одной швейной работы, с которой она была бы незнакома и которую не занималась бы с удовольствием; но всякой другой работе она предпочитает плетение кружев, потому что ни одна работа не придает такой приятной позы, ни в одной пальцы не упражняются с такой грацией и легкостью. Она научилась также всем тонкостям хозяйства. Она хорошо знакома с кухней и кладовой, знает цену припасов, понимает в них толк, умеет хорошо вести счета — она вроде дворецкого при матери. Созданная на то, чтобы со временем самой быть матерью семейства, она, управляя родительским домом, учится управлять своим; она может заменить при случае прислугу и охотно это делает. Только приказать умеешь лишь то, что умеешь сам выполнить,— вот почему мать занимает ее всем этим. Что касается самой Софи, то она не заходит так далеко; первый долг ее — это долг дочери; этот только долг она теперь и старается выполнить. Единственная цель ее — услужить своей матери и хоть частью облегчить ее заботы. Верно, впрочем, и то, что она не все их берет на себя с равным удовольствием. Например, хотя она и лакомка, но не любит кухни; в кухонных мелочах есть кое-что такое, что отталкивает ее: ей всегда кажется, что здесь слишком мало чистоты. В этом отношении она крайне избалована, и эта избалованность, доведенная до излишка, стала одним из ее недостатков; она лучше согласится перепарить на огне весь обед, чем запачкать свой рукавчик. По той же причине у ней никогда не являлось желания присматривать за садом. Земля ей кажется грязной; как скоро она видит навоз, ей чувствуется запах его.

Этим недостатком она обязана наставлениям матери. По мнению последней, чистота — одна из первых женских обязанностей, обязанность специально женская, необходимая, возложенная природою. Нет в мире предмета более противного, чем грязная женщина, и муж, чувствующий к ней отвращение, всегда прав. Мать столько с самого детства проповедовала дочери об этой обязанности, такой требовала от нее чистоты по отношению к ней самой, по отношению к вещам ее, комнате, работе ее, туалету, что все эти хлопоты, обратившиеся в привычку, отнимают у ней довольно значительную часть времени, да и в остальную часть стоят на первом месте; так что хорошее исполнение дела является только второй из ее забот, а первой заботой всегда бывает чистота.

Однако же все это не превратилось у ней в пустое жеманство или в изнеженность; утонченность роскоши здесь не играет никакой роли. В ее комнату никогда не попадало ничего, кроме простой воды; она не знает других духов, кроме запаха цветов, и мужу ее никогда не придется вдыхать запаха более нежного, чем ее дыхание. Одним словом, внимание, уделяемое ею внешности, не

заставляет ее забывать, что она обязана, употребить свою жизнь и свое время на занятия более благородные: она не знает той чрезмерной опрятности тела, которая грязнит душу; Софи более чем опрятна: она чиста.

Я сказал, что Софи была лакомкой. Она была такой по природе; но привычка сделала ее воздержанной, а теперь она воздержанна из добродетели. С девочками не то, что с мальчиками, которыми можно, до известной степени, управлять посредством чревоугодия. Эта склонность не обходится без последствий для женского пола; слишком опасно оставлять ее без внимания. Маленькая Софи в детстве, входя одна в комнату матери, не всегда возвращалась оттуда с пустыми руками и не отличалась испытанною верностью по части конфет и сластей. Мать поймала ее, уличила, наказала, заставила поголодать. Наконец ей удалось убедить ее, что сласти портят зубы и что от излишней еды потолстеет талия. Таким образом Софи исправилась; подросши она получила иные вкусы, которые отвлекли ее от этой низкой чувствительности. У женщин, как и у мужчин, чревоугодие перестает быть господствующим недостатком, как только пробуждается сердце. У Софи сохранились вкусы, свойственные ее полу, она любит молочное и сахарное, любит печенье и пирожное, но не любит мяса; она никогда не пробовала ни вина, ни крепких напитков; кроме того, она очень умеренна в еде. Женский пол, менее трудящийся, чем наш, меньше нуждается и в подкреплении. Во всякой вещи она любит то, что хорошо, и умеет этим насладиться; она умеет приспособиться и к тому, что нехорошо, и это лишение ничего ей не стоит.

Ум у Софи приятный, хотя не блестящий, основательный, хотя и не глубокий,— такой, о котором ничего не говорят, потому что всякий находит у ней не больше и не меньше ума, чем у него самого. Ум ее всегда нравится людям, с ней беседующим, хотя они и не очень просвещены, если брать мерилom то понятие, которое мы имеем о возможном развитии женского ума; ибо он развивался не через чтение, а только путем бесед с отцом и матерью, путем ее собственных размышлений и наблюдений, сделанных ею в том небольшом клочке мира, который она видела. Софи от природы весела; в детстве она была даже шаловлива; но мать постаралась мало-помалу обуздать эту ветреность из опасения, чтобы слишком внезапная перемена не обнаружила сразу и побуждение, сделавшее эту перемену необходимою. Поэтому она сделалась скромною и сдержанною даже раньше времени; а теперь, когда это время пришло, сохранять принятый тон ей уже не так трудно, как трудно было бы сразу вновь его усваивать, ничего не подозревая о причине этой перемены. Забавно видеть, как иной раз она, по старой привычке, предается детской резвости, а потом вдруг приходит в себя, умолкает, опускает глаза и краснеет: время, промежуточное между двумя возрастами, должно иметь нечто общее с тем и другим.

Софи не столько чувствительна, что не может сохранять постоянно ровное настроение; но в то же время она отличается такою кротостью, что чувствительность ее не может надоедать сильно другим: ей одной она и причиняет зло. Если ей скажут хоть одно обидное слово, она не надуется,

но сердце у ней сожмется, и она старается убежать, чтобы где-нибудь поплакать. Но если среди плача ее позовет отец или мать и скажет ей хоть слово, она тотчас же начнет играть и смеяться, ловко вытирая глаза и стараясь заглушить рыдания.

Она не совсем свободна и от капризов: прав ее, стоит несколько раздражить его, обращается в упрямство, и тогда она способна забыться. Но дайте ей время прийти в себя — и ее усилия загладить свою вину обратят эту последнюю почти в заслугу, Если ее наказывают, она послушна и покорна, и видно, что ей стыдно не столько наказания, сколько вины. Если ей ничего не скажут, она не преминет сама загладить свою вину и сделает это так откровенно и с такой охотой, что злопамятствовать на нее совершенно невозможно. Она поклонилась бы до земли последнему из слуг, и это унижение несколько не было бы ей тягостно; а как скоро ее простили, по ее радости и ласкам хорошо видно, какую большую тяжесть сняли с ее доброго сердца. Словом, она терпеливо выносит чужую вину и с удовольствием заглаживает свою. Таким бывает милый нрав этого пола, пока мы не испортим. Женщина создана на то, чтоб уступать мужчине и переносить даже обиду с его стороны. Но мальчуганов вы никогда не доведете до этой степени подчинения; внутреннее чувство в них поднимается и возмущается против несправедливости; природа не создала их на то, чтобы выносить несправедливость. Это *gravem Pelidae stomachum cedere nescii*<sup>27</sup>.

Софи религиозна; но религия ее проста; в ней мало догматов и обрядов, или, скорее сказать, считая самую существенною частью нравственность, она всю жизнь свою посвящает служению богу — путем добрых дел. Давая ей наставления по этому поводу, родители постоянно приучали ее к почтительной покорности, постоянно говоря ей: «Дитя мое, эти знания тебе не по летам: твой муж научит тебя, когда придет время». Впрочем, они не читали длинных проповедей о благочестии, а довольствовались тем, что сами подавали пример его, и этот пример запечатлелся в ее сердце.

Софи любит добродетель; эта любовь стала ее господствующею страстью. Она любит ее потому, что нет ничего столь прекрасного, как добродетель; любит потому, что добродетель составляет славу женщины, и добродетельная женщина кажется ей чуть не равною ангелам; она любит ее как единственный путь к истинному счастью, так как жизнь бесчестной женщины представляется ей лишь нищетою, беспомощным состоянием, несчастьем, позором, срамом; любит, наконец, потому, что она дорога ее почтенному отцу, ее нежной и достойной матери: не довольствуясь счастьем, получаемым через свою собственную добродетель, они хотят быть счастливыми и ее добродетелью, а для нее самой первое счастье — это надежда составить для них счастье. Все эти чувствования внушают ей энтузиазм, который возвышает ее душу и держит все мелкие ее наклонности в подчинении у этой столь благородной страсти. Софи останется целомудренной и честной до последнего издыхания; она поклялась в этом в глубине своей души, и поклялась в ту пору, когда уже чувствовала всю трудность сдержать подобного рода клятву; она

покаялась в то время, когда уже должна была бы отказаться от обязательства, если бы чувственность способна была господствовать над нею.

Софи не имеет счастья быть любезной француженкой, холодной по темпераменту и кокетливой из тщеславия, желающей скорее блистать, чем нравиться, ищущей развлечения, а не удовольствия. Ее снедает потребность любить; эта потребность отвлекает и смущает ее сердце даже среди празднеств: она утратила свою прежнюю веселость; резвые игры перестали существовать для нее; она не только не боится скуки, одиночества, но ищет его; в уединении она думает о том, кто должен сделать это уединение сладким для нее; все посторонние надоедают ей; ей нужно не свиту, а одного возлюбленного; она предпочитает нравиться одному честному человеку, но нравиться всегда вместо того, чтобы возбуждать крики модного восторга, которые длятся один день, а на следующий день превращаются в свист.

У женщин способность судить раньше развивается, чем у мужчин; находясь почти с самого детства в оборонительном положении и обладая залогом, который не легко беречь, они по необходимости раньше знакомятся с добром и злом. У Софи, во всем не по летам развитой, потому что темперамент ее ускоряет это развитие, и способность судить развилась скорее, чем у других девушек ее возраста. В этом нет ничего слишком необычайного: зрелость не везде бывает одинаковой в одно и то же время.

Софи осведомлена относительно прав и обязанностей ее пола и нашего. Она знакома с недостатками мужчин и пороками женщин; она знакома и с противоположными качествами и добродетелями — и все их запечатлела в глубине своего сердца. Нельзя иметь более высокое понятие о честной женщине, чем то, которое она составила себе,— и это понятие не пугает ее; но она с большим удовольствием мечтает о честном мужчине, о человеке с достоинством; она чувствует, что создана для такого человека, что достойна его, что может вознаградить его за счастье, которое получит от него; она чувствует, что отлично сумеет его распознать,— остается только найти его. Женщины суть естественные судьи достоинств мужчин, подобно тому как эти последние являются судьями достоинств женщины: это их взаимное право; и те и другие хорошо это знают, Софи сознает это право и пользуется им, но со скромностью, приличною ее молодости, неопытности, ее положению; она судит лишь о вещах, доступных ее пониманию, и тогда лишь судит, когда из этого можно извлечь какое-нибудь полезное правило. Об отсутствующих она говорит с величайшей осмотрительностью, особенно если это женщины. Она уверена, что болтовня представительницах их же пола и делает женщин злоречивыми и насмешливыми: пока они ограничиваются беседою о мужчинах, они бывают справедливы. Поэтому и Софи ограничивается лишь этим. Что же касается женщин, то она говорит о них лишь тогда, когда может сказать что-нибудь хорошее: она считает себя обязанной воздавать эту честь своему полу; а относительно тех, о которых она не умеет сказать что-либо хорошее, она не говорит ничего, и это все понимают.

Софи мало знакома со светскими обычаями; но она обязательна, внимательна и мила во всем, что ни делает. Счастливым характер помогает ей лучше всякого искусства. У ней есть своя особая вежливость, не зависящая от формул, не подчиненная моде, не изменяющаяся вместе с последнею,— вежливость, которая ничего не делает из-за обычая, но вытекает из истинного желания угодить и действительно умеет угодить. Она не знает пошлых комплиментов и не изобретает наиболее изысканных; она не говорит, что она «очень обязана», что ей «делают большую честь», не просит «не трудиться» и т. д. Еще реже ей приходит в голову сочинять фразы. На внимание, на установленную вежливость она отвечает поклоном или простым: «Благодарю вас!» — но это слово в ее устах стоит всякого другого. На истинную услугу она отзывается своим сердцем, и отзыв этот уже не комплимент. Она никогда не допускала, чтобы французский обычай налагал на нее иго жеманства; она не опиралась бы, например, переходя из одной комнаты в другую, на руку шестидесятилетнего старца, которого ей самой очень хотелось бы поддержать. Когда раздушенный любезник предлагает ей эту нелепую услугу, она покидает услужливую руку на лестнице и в два прыжка достигает своей комнаты, заявив ему, что она не хромя. И действительно, хотя она не велика ростом, но она никогда не хотела носить высокие каблуки: ноги у ней настолько малы, что могут обойтись и без них.

Она молчалива и почтительна не только с женщинами, но даже с мужчинами, женатыми или такими, которые гораздо старше ее; она никогда не займет места выше их, если ее не заставят, да и то при первой же возможности снова сядет на свое, низшее; ибо она знает, что права возраста важнее прав пола, так как предполагается, что они обладают мудростью, которая должна быть почитаема больше всего.

С молодыми людьми ее лет — другое дело: тут ей нужен совершенно иной тон, чтобы внушить им уважение, и она умела принимать его, не покидая скромного вида, ей свойственного. Если они сами скромны и сдержанны, она охотно сохранит в обращении с ними милую фамильярность юности; беседы их, исполненные невинности, будут шутливыми, но пристойными: если беседы эти станут серьезными, ей захочется, чтобы они были и полезными; если они сойдут на пошлости, она скоро положит им конец, ибо она особенно презирает пустую болтовню ухаживателей, как весьма оскорбительную для своего пола. Она хорошо знает, что мужчина, которого она ищет, не способен на такую болтовню, а она неохотно терпит в другом то, что не подходит к образу, запечатленному у нее в глубине сердца. Ее высокое мнение о правах своего пола, гордость души, порождаемая в ней чистотою ее чувствований, та энергия добродетели, которую она сознает в самой себе и которая делает ее достойною уважения в ее собственных глазах,— все это заставляет ее с негодованием относиться к тем сладким речам, которыми думают ее забавить. Она выслушивает их не с гневным видом, но с ироническим одобрением, которое сбивает с толку, или с такою холодностью, которой никак не ожидали. Если иной «красавец Феб» станет рассыпаться перед ней в любезностях, станет, с претензией на остроумие, расхваливать ее ум, красоту,



толковать о ее прелести, о том, какое высокое счастье ей нравится, то она способна прервать его, вежливо заявить ему: «Сударь! мне кажется, я знаю все это лучше вас; если нам нечего сказать друг другу более любопытного, то, я думаю, на этом мы и можем прекратить беседу». Закончить эти слова глубоким поклоном и очутиться затем в двадцати шагах от него для нее будет делом одной минуты. Спросите у ваших любезников, легко ли развести надолго свою болтовню, когда имеешь дело с таким упрямым умом, как этот.

Это не значит, однако, что она не любит похвал, нужно только, чтобы они были искренни и чтобы она могла быть уверена, что о ней действительно так же хорошо думают, как говорят. Чтобы казаться тронутым ее достоинствами, нужно прежде всего высказать свои собственные. Почтение, основанное на уважении, может польстить ее гордому сердцу, по всякое галантное зубоскальство всегда будет отвергнуто; Софи не на то создана, чтобы на ней упражнялись пустые таланты фигляра.

Обладая такую зрелостью суждения и развившись во всех отношениях не хуже двадцатилетней девушки, Софи и в пятнадцать лет не будет считаться родителями за ребенка. Едва они заметят в ней первую тревогу юности, как поспешат уже, пока она не усилится, принять меры; они станут держать к ней нежные и разумные речи. Нежные и разумные речи ей как раз по возрасту и по характеру. Если этот характер таков, как я его представляю, то почему бы отцу не поговорить с ней приблизительно так:

«Софи! Вот ты уже взрослая девушка, а тебе не вечно же предстоит быть девушкой. Мы желаем, чтобы ты была счастлива; этого мы желаем для себя именно, потому что наше счастье зависит от твоего. Счастье честной девушки заключается в том, чтоб осчастливить честного человека: нужно, следовательно, подумать о твоём замужестве; нужно подумать заранее, потому что от брака зависит жизненный жребий, а думать о нем никогда не бывает слишком рано.

Нет ничего труднее, как выбрать хорошего мужа,— если только выбор хорошей жены не бывает, пожалуй, еще более трудным. Софи! Ты будешь этой редкой женой, ты будешь украшением нашей жизни и счастья для наших старых лет; но какими достоинствами ты ни одарена, на земле немало людей, которые еще более имеют достоинств, чем ты. Всякий мужчина должен был бы гордиться обладанием тобою; но много и таких, которые еще более ценят придали бы тебе. Все дело в том, чтобы найти в этом числе такого, который подходил бы к тебе, распознать его и ему дать возможность узнать тебя.

Полное счастье, брачной жизни зависит от такой массы условий, что было бы безумием желать соединить их все. Нужно сначала обеспечить себя относительно наиболее важных; если окажутся на лицо и прочие, тем лучше; если их недостает, обходятся и без них. Совершенного счастья нет на земле; но самое большое несчастье и притом такое, которого всегда можно избежать, — это быть несчастным по своей вине.

Требования для брака бывают естественные, установленные обычаем, и такие, которые зависят единственно от людского мнения. Родители — судьи в двух последних категориях, а судьями в первой категории бывают одни лишь дети. При браках, заключаемых по воле родителей, руководствуются единственно требованиями искусственными и требованиями людского мнения; тут не личность сочетают браком, а звание и состояние; но все это подвержено изменениям, только личность остается всегда одной и той же, только ее носят всюду с собою; на зло судьбе брак может быть счастлив или несчастлив только по личным отношениям.

Мать твоя была знатного происхождения, я был богат; вот единственные соображения, побудившие наших родителей соединить нас. Я потерял состояние, она потеряла свое знатное имя: раз она забыта своей семьей, что ей теперь за польза от того, что она родилась барышней? Среди наших невзгод единокровные сердца наших утешало нас во всем; сходство вкусов побудило нас избрать это убежище; мы живем здесь счастливыми в бедности, мы заменяем друг для друга все остальное. Софи — наше общее сокровище; мы благословляем Небо за то, что оно дало нам это сокровище и отняло у нас все остальное. Ты видишь, дитя мое, куда привело нас Провидение: условия, которые повели к заключению нашего брака, исчезли, а мы остаемся счастливыми только в силу тех условий, которых вовсе не принимали в расчет.

Дело будущих супругов — выбирать друг друга. Взаимная склонность должна быть их первою связью: их глаза, сердца их должны быть первыми руководителями; ибо, так как первая их обязанность, после соединения, — любить друг друга, а любовь не зависит от нас самих, то эта обязанность по необходимости влечет за собою и другую, именно — обязанность полюбить друг друга еще прежде соединения. Вот право природы, которого ничто не может отменить: те, которые стеснили его такою массою гражданских законов, больше обращали внимание на внешний порядок, чем на супружеское счастье и права граждан. Ты видишь, милая Софи, что мы проповедуем тебе мораль легко выполняемую. Она стремится сделать тебя распорядительницею своей собственной судьбы, а нас учит в выборе твоего супруга полагаться на тебя.

Указав тебе основания, почему мы предоставляем тебе полную свободу, мы должны выяснить тебе и то, почему ты должна пользоваться ею благоразумно. Дочь моя, ты добра и рассудительна, в тебе есть прямота и благочестие, ты имеешь таланты, приличные честным женщинам, и не лишена прелести; но ты бедна: ты имеешь самые ценные блага, но тебе недостает тех, которые больше всего ценятся. Поэтому желай лишь того, чего можешь достигнуть, и регулируй свое честолюбие не собственными или нашими суждениями, а людским мнением. Если бы дело шло только о равенстве достоинств, то я не видал бы предела для твоих надежд; но ты не возносись выше своего состояния и не забывай, что оно самое ничтожное. Хотя человек, достойный тебя, не будет считать это неравенство за препятствие, но тогда тебе придется сделать то, чего он не сделает: Софи должна подражать своей матери и войти лишь в такую семью, которая стала бы гордиться ею. Ты не видала нашего богатства, ты родилась во время нашей бедности; ты делаешь

ее сладкой для нас и без труда разделяешь ее. Поверь же мне, Софи, не ищи благ, за освобождение от которых мы благословляем Небо; мы вкусили счастья лишь после того, как потеряли богатство.

Ты настолько мила, что всякому должна нравиться, и бедность твоя не такова, чтобы порядочный человек затруднялся выбрать тебя супругой. Твоего знакомства будут добиваться такие люди, которые не будут тебя стоить. Если бы они выказались перед тобою такими, каковы они в действительности, ты оценила бы их по достоинству; вся их пышность не долго бы морочила тебя; но, хотя у тебя есть здравый смысл и ты знаешь толк в достоинствах, тебе все-таки не хватает опытности и ты не знаешь, до какой степени люди могут притворяться. Ловкий плут может изучить твои вкусы, с целью прельстить тебя, и может прикинуться перед тобою имеющим добродетели, которых у него нет. Он погубит тебя, Софи, прежде чем ты это заметишь, и ты узнаешь ошибку лишь для того, чтобы оплакивать ее. Самыми опасными из всех сетей, единственными, которых разум не может избежать, бывают сети чувственности; если когда-либо ты, к несчастью, попадешь в них, ты ничего не будешь замечать, кроме иллюзий и химер, глаза твои будут ослепленными, рассудок помутится, воля твоя будет извращенной, заблуждение будет даже дорого тебе и, если ты даже будешь в состоянии распознать его, ты не захочешь отречься от него. Дочь моя, рассудку Ссфи я поручаю тебя, но не могу предоставить себя склонностям ее, сердца. Пока ты будешь хладнокровна, оставайся своим собственным судьей; но как скоро ты полюбишь, передай своей матери заботу о себе.

Я предлагаю тебе соглашение, из которого ты увидишь наше уважение к тебе и которое могло бы восстановить в наших отношениях порядок природы. Родители выбирают супруга своей дочери и советуются с нею лишь для формы — таков обычай. Мы поступим совершенно наоборот: ты выберешь, а от нас получишь совет. Пользуйся своим правом, Софи, пользуйся свободно и благоразумно. Супруг для тебя подходящий должен быть тобой избран, а не нами. Но наше дело обсудить, не обманываешься ли ты насчет иригодности партии и не поступаешь ли ты, сама того не зная, совершенно иначе, чем желаешь. Происхождение, состояние, ранг, людское мнение ничуть не войдут в наши расчеты. Выбирай честного человека, личность которого тебе нравится и характер которого подходит к тебе; каков бы он ни был в остальных отношениях, мы примем его в зятья. Богатство у него всегда будет достаточно, если у него есть руки, если он отличается нравственностью и любит свою семью. Звание его всегда будет достаточно высоким, если он облагораживает его добродетелью. Если весь мир нас осуждал бы, что нам за дело? Мы не одобрения общества искали,— нам достаточно твоего счастья».

Читатели, я не знаю, какое действие произвела бы подобная речь на девушек, воспитанных на ваш манер. Что касается Софи, она, может быть, не станет отвечать на нее словами: от стыда и умиления ей не легко будет выражаться; но я вполне уверен, что речь эта останется запечатленной в ее сердце на всю остальную жизнь и что, если можно рассчитывать на какую-либо человеческую решимость, так это на ту, которую вызовет эта речь, на решимость заслужить уважение родителей.

Возьмем самый худой исход и наделим ее пылким темпераментом, который делал бы тягостным для нее продолжительное ожидание: я утверждаю, что рассудок ее, познания, вкус, деликатность и особенно те чувствования, которыми с малолетства питали ей сердце, составят противовес для порывов ее чувственности, достаточный для того, чтобы победить их или по крайней мере долго противодействовать им. Она скорее согласится умереть мученицею своего положения, чем огорчить своих родителей, выйти замуж за недостойного человека и подвергнуться несчастиям неудачно сложившегося супружества. Самая свобода, полученная ею, только еще более возвысит ее душу и сделает ее еще более разборчивой при выборе себе повелителя. С темпераментом итальянки и чувствительностью англичанки она соединит, для сдерживания своего сердца и своей чувственности, гордость испанки, которая, даже в поисках за любовником, не легко находит такого, которого считала бы достойным самой себя.

Не всем дано чувствовать, какую мощь может придать душе любовь ко всему честному и какую силу можно найти в себе, когда хочешь быть искренно добродетельным. Есть люди, которым все великое кажется химерическим и которые, при своем низком и презренном рассудке, никогда не узнают, как могущественно над людскими страстями самое безумие добродетели. Этим людям нужно говорить лишь примерами; и тем хуже для них, если они упорствуют в их отрицании. Если б я сказал им, что Софи не есть существо воображаемое, что мною придумано только имя, что ее воспитание, нравы, характер, даже самая фигура действительно существовали и что память о ней и теперь еще вызывает слезы у целой честной семьи, они, без сомнения, нисколько не поверили бы. Да, впрочем, что мне мешает, без всяких оговорок, докончить историю девушки, столь похожей на Софи, что нет ничего удивительного, если мой рассказ одинаково может относиться и к ней? Пусть считают его истинным или нет, это не важно; я стану рассказывать, если хотите, небылицу, но зато я всегда буду выяснять свою методу и всегда буду идти к своей цели.

Молодая особа, при том темпераменте, которым я только что наделил Софи, имела и в остальных отношениях полное с нею сходство, так что вполне могла бы заслужить это имя,— и я оставляю его за ней. После приведенного мною разговора, отец ее и мать, рассудив, что женихи сами не явятся с предложениями в хижину, где они жили, послали ее провести зиму в городе, у тетки, которую по секрету уведомили о цели этого путешествия; ибо гордая Софи носила в глубине своего сердца горделиво-благородное сознание того, что она умеет торжествовать над собою, и, как бы ни был нужен ей муж, скорее умерла бы девушкой, чем решилась бы отправиться на поиски за ним.

Сообразуясь с видами родителей, тетка представила ее в домах, стала выводить в общество, на празднества, показала ей свет или, лучше сказать, ее показала в нем, ибо Софи мало заботилась о всей этой суете. Однако заметили, что она не обегает общества молодых людей приятной наружности, приличных и скромных на вид. При своей сдержанности, она обладала даже известного рода искусством привлекать их, которое довольно близко подходило к кокетству; но,

побеседовав с ними раза два-три, она находила их скучными. Скоро повелительный вид, с каким принимают поклонение, сменялся у ней обращением более смиренным и более холодною вежливостью. Будучи всегда внимательной к самой себе, она не давала им случая оказать ей хоть малейшую услугу: это достаточно показывало, что она не желает быть их возлюбленной.

Никогда чувствительные сердца не любили шумных удовольствий, пустого и бесплодного счастья людей бесчувственных, полагающих, что вести шумную жизнь значит наслаждаться ею. Софи, не найдя, чего искала, и отчаявшись найти этим путем, заскучала в городе. Она нежно любила родителей, ничто ее не могло вознаградить за их отсутствие, ничто не могло заставить ее забыть их; она вернулась домой гораздо раньше назначенного срока.

Едва она принялась за свои занятия в родительском доме, как тотчас заметили, что хотя поведение ее оставалось прежним, но настроение изменилось. Она стала проявлять рассеянность, нетерпение, была грустной и задумчивой, пряталась, чтобы тайком поплакать. Сначала подумали, что она влюблена и что ей стыдно этого; завели с нею речь об этом, она отговаривалась, уверяла, что не видала никого, кто мог бы тронуть ее сердце, — и Софи не лгала.

Однако ж томление ее постоянно увеличивалось, и здоровье начало расстраиваться. Мать, обеспокоенная этою переменой, решила, наконец, разузнать причину. Она застала ее наедине и пустила в ход тот вкрадчивый язык и те неотразимые ласки, которые умеет употреблять одна только материнская нежность: «Дочь моя, я носила тебя в своих недрах и ношу тебя беспрестанно в своем сердце: раздели же тайну своего сердца с сердцем твоей матери. Какие же эти секреты, которых мать не должна знать? Кто жалеет тебя в твоих скорбях, кто разделяет их, кто хочет облегчить их, как не отец твой и я? Ах, дитя мое! неужели тебе хочется, чтобы я умерла от твоего горя, не узнавши его?»

Молодой девушке, вместо того чтобы скрывать свои горести от матери, одного только и хотелось, именно иметь в ней утешительницу и поверенную в своих чувствах; но стыд мешал ей высказаться, а скромность ее не находила выражений для описания такого, недостойного ее, состояния, как то волнение, которое, помимо ее воли, испытывали ее чувства. Наконец, так как даже самый стыд служил указанием для матери, последняя вырвала у пей унижительные признания. Вместо того чтоб огорчать ее несправедливыми упреками, она утешила ее, пожалела, плакала о ней; она была настолько благоразумна, что не могла бы вменить в преступление это страдание, которое одна только добродетель и делала столь жестоким. Но для чего же без нужды переносить страдание, против которого было столь легкое и столь законное средство? Отчего ей не воспользоваться свободой, которую ей представили? Почему не выходила она замуж? Почему не выбирала мужа? Разве она не знала, что жребий ее зависит от нее одной и что, каков бы ни был ее выбор, он будет одобрен, потому что она не могла бы остановить свой выбор на человеке нечестном? Ее послали в город, она не захотела там оставаться; представлялось несколько партий, она все их отвергала. Чего же она ждала, чего ей хотелось? Какое необъяснимое противоречие!

Ответ был прост. Если бы дело шло только о подпоре для юности, выбор был бы скоро сделан, но повелителя на всю жизнь не так легко выбрать; а так как нельзя разделить этих двух выборов, то приходится долго ждать, а часто и даром терять молодость, пока не найдешь человека, с которым хотелось бы проводить жизнь. В таком именно положении была и Софи: ей нужен был возлюбленный, но этому возлюбленному приходилось быть мужем; а судя по тому, какого сердца она искала, ей почти одинаково трудно было найти как того, так и другого. Все эти молодые люди, столь блестящие, подходили ей только по возрасту; во всех других отношениях они всегда не сходились; поверхностный ум этих молодых людей, их тщеславие, болтовня, беспорядочная нравственность, пустая подражательность — все это внушало ей отвращение к ним. Она искала человека — и находила лишь обезьян; она искала души — и не находила ее.

«Как я несчастна! — говорила она своей матери. — Мне хочется любить — и я не вижу ничего такого, что мне нравилось бы. Сердце мое отталкивает всех тех, к кому влекут меня чувства. Я не вижу между ними ни одного, который не возбуждал бы во мне желаний, и в то же время каждый из них — подавляет во мне желания; влечение без уважения не может долго тянуться. Ах, не тут нужно искать человека, который нужен вашей Софи! Его очаровательный образ слишком глубоко запечатлелся в душе ее. Она может любить только его, лишь его она может сделать счастливым, с ним одним может быть счастлива. Она предпочитает чахнуть и бороться беспрестанно; лучше хочет умереть несчастной и свободной, чем умереть с отчаяния, выйдя за человека, которого не станет любить и которого сделает самого несчастного; лучше не жить, чем жить для страданий».

Пораженная этими странностями, мать нашла их столь чудными, что не могла не заподозрить здесь какую-нибудь тайну. Софи не была ни жеманницей, ни чудачкой. Откуда могла взяться у ней эта преувеличенная разборчивость, если ее с самого детства ничему так усердно не учили, как приспособляться к людям, с которыми придется жить, и из необходимости создавать добродетель? Этот образ милого человека, которым она была так очарована и к которому так часто возвращалась во всех своих разговорах, навел мать на догадку, что каприз этот имеет какое-нибудь другое основание, ей еще неизвестное, и что Софи высказала не все. Несчастливая, удрученная своим тайным горем, искала только случая излить свои чувства.

Мать пристаёт к ней, она колеблется, наконец сдается и, выйдя молча из комнаты, через минуту возвращается с книгой в руках. «Пожалейте вашу несчастную дочь: грусть ее неизлечима, слезам ее не иссякнуть... Вы хотите знать причину их: хорошо, вот она!» — сказала девушка, кидая книгу на стол. Мать берет книгу, открывает: это были «Приключения Телемака»<sup>28</sup>. Сначала она ничего не понимает в этой загадке; из расспросов и запутанных ответов она наконец увидела, с легко понятным изумлением, что дочь ее была соперницей Эвхарисы.

Софи любила Телемака и любила той страстью, от которой ничто не может исцелить. Как скоро отец и мать узнали о ее мании, они стали над ней смеяться и думали образумить ее. Они ошиблись: разум был не на их стороне; у Софи были свои разумные соображения, и она умела ими

пользоваться. Сколько раз она вынуждала их умолкнуть, направляя их собственные рассуждения против них же самих, доказывая им, что они сами создали все зло, что они развили ее не для человека ее времени, что ей необходимо приходится или принять образ мыслей ее мужа, или внушить ему свой собственный, что первое средство они сделали невозможным благодаря воспитанию, которое дали ей, а другим исходом и был тот, которого она искала. «Дайте мне,— говорила она,— человека, проникнутого моими правилами, или такого, которому я могла бы внушать их,— и я выйду за него; но до тех пор за что вам бранить меня? Лучше пожалейте меня. Я несчастна, я не безумна. Зависит ли сердце от воли? Не сам ли отец говорил это? Моя ли вина, если я люблю того, кого нет? Я не мечтательница; мне не нужно принца, я не ищу Телемака, я знаю, что это лишь вымысел: я ищу кого-нибудь, кто походил бы на него. И почему не существовать такому человеку, раз существую я,— я, чувствующая, что мое сердце так похоже на его сердце? Нет, не будем так позорить человечество; не станем думать, что человек милый и добродетельный есть лишь химера. Он существует, он живет, он, быть может, ищет меня; он ищет душу, которая умела бы его любить. Но кто он, где он? Я не знаю его; он не из тех, которых я видела; его, несомненно, не будет и между теми, которых я увижу. О, мать моя! Зачем ты сделала добродетель слишком привлекательной для меня? Если я могу любить лишь ее одну, то вина здесь не столько моя, сколько ваша».

Доводить ли мне это печальное повествование до его катастрофы? Пересказывать ли мне продолжительные распри, которые ей предшествовали? Представлять ли мне, как выведенная из терпения мать свои первоначальные ласки обратила в суровость? Показывать ли, как раздраженный отец забыл свои прежние обязательства и с самой добродетельной из дочерей обходился, как с безумной? Изображать ли, наконец, как несчастная, благодаря преследованию, которому ее подвергали, еще более привязавшаяся к своей химере, шла медленными шагами к смерти и сошла в могилу в момент, когда думали ее вести к алтарю? Нет, я оставлю в стороне эти мрачные предметы. Мне нет нужды идти так далеко, если я хочу показать на примере,— довольно, мне кажется, поразительном,— что, несмотря на предрассудки, порождаемые нравами века, женщины не более чужды энтузиазма к честному и прекрасному, чем мужчины, и что под руководством природы от них, как и от нас, можно добиться всего.

Меня остановят здесь вопросом, не природа ли предписывает нам предпринимать столько трудов для подавления неумеренных вожделений. Я отвечаю, что нет, но что зато не природа и внушает нам все эти неумеренные вожделения. Все же, что не от нее идет, идет против нее,— это тысячу раз доказывал.

Возвратим нашему Эмилю его Софи: воскресим эту милую девушку и наградим ее воображением менее живым и более счастливою участью. Я хотел изображать обыкновенную женщину; но, возвышая ее душу, я помутил ее разум; я сам сбился с толку. Вернемся к прежнему.

Софи при обыкновенной душе имеет лишь добрые нравственные задатки; все, чем она превосходит других женщин, есть следствие ее воспитания.

Я задался мыслью сказать в этой книге все, что можно было бы сделать, предоставляя каждому выбрать посильное для него из того, что я мог сказать хорошего. Я сначала думал исподволь воссоздать подругу Эмилию и воспитывать их друг для друга и друг с другом. Но, поразмыслив, я нашел, что все эти слишком преждевременные распределения были бы нецелесообразными и что было бы нелепо предназначать двух детей к соединению, прежде чем узнаешь, в порядке ли природы это соединение и будут ли между ними соотношения, пригодные для такого соединения. Не нужно смешивать того, что естественно в диком состоянии и что естественно в гражданском быту. В первом все женщины годны для всех мужчин, потому что те и другие сохраняют еще первоначальный и общий склад; во втором каждый характер развивается под влиянием общественных учреждений, каждый ум получил свой собственный определенный склад, и притом не от воспитания только, но от удачно или неудачно направленной встречи естественных задатков с воспитанием; поэтому подбирать их здесь можно уже не иначе, как знакомя друг с другом, чтобы видеть, во всех ли отношениях они подходят друг к другу, или чтобы остановить свой выбор по крайней мере на том, в ком больше этих сходных черт.

Зло состоит в том, что, развивая характеры, общественный быт разграничивает ранги, а так как каждый из этих порядков непохож на другой, то чем больше различий между состояниями, тем больше путаницы в характерах. Отсюда — неудачно подобранные браки и все беспорядки, ведущие от них начало; отсюда вытекает, как очевидное последствие, что, чем дальше удаляются от равенства, тем более извращаются естественные чувства; чем больше увеличивается расстояние между знатными и людьми мелкими, тем более ослабляются брачные узы; чем больше богачей и бедняков, тем меньше отцов и мужей. Ни господин, ни раб не имеют уже семьи: каждый из них занят лишь своим положением.

Хотите предупредить злоупотребления и сделать браки счастливыми — заглушите предрассудки, забудьте о людских учреждениях и советуйтесь с природой. Не соединяйте людей, которые подходят друг к другу лишь в данном состоянии и которые не станут уже подходить, раз это состояние изменится; но соединяйте таких, которые будут подходить один к другому, в каком бы положении ни оказались, в какой бы стране ни жили, в какое бы звание ни попали. Я не говорю, что условные отношения безразличны для брака, но я говорю, что влияние естественных соотношений настолько сильнее влияния условных, что оно одно определяет жизненный жребий; и что бывает такое сходство вкусов, нрава, чувств, характеров, которое должно было бы понудить разумного отца, будь он принц, будь монарх, не колеблясь женить своего сына на девушке, с которой у него будет это полное сходство, если б даже она родилась в бесчестной семье, если бы даже была дочерью палача. Да, я утверждаю, что, если бы даже все возможные несчастна должны были обрушиться на супругов, удачно вступивших в союз, они все-таки более наслаждались бы



истинным счастьем, вместе горюя, чем среди всех земных благ, отравленных разьединением сердец.

Итак, вместо того чтобы с самого детства предназначать супругу моему Эмилю, я ждал, пока узнаю, какая ему годится. Не я устроил это предназначение, а природа; мое дело — отыскать то, что она выбрала. Я говорю: «мое дело», а не дело отца; ибо, доверяя мне сына, он уступил мне свое место, заменил свое право моим: я — настоящий отец Эмиля, я сделал его человеком. Я отказался бы от воспитания, если бы не был властен женить его по его выбору, т. е. по моему. Только удовольствие сделать человека счастливым может вознаградить за все труды, предпринятые с целью дать ему возможность стать счастливым.

Но не думайте также, что, желая найти супругу Эмилю, я и в **самом** деле ждал, пока он не направится на поиски. Эти мнимые поиски не что иное, как предлог для ознакомления его с женщинами, чтобы он чувствовал всю цену той, которая подходит ему. Давным-давно Софи уже найдена; быть может, Эмиль ее уже видел; но он узнает ее лишь тогда, когда наступит время.

Хотя равенство званий и не составляет необходимого условия для брака, но, если это равенство присоединяется к другим подходящим условиям, оно увеличивает их цену; оно не может идти в сравнение ни с каким другим, но оно перевешивает, когда все равно.

Мужчина, если только он не монарх, не может искать жены во всех состояниях, ибо, если у него не будет предрассудков, он встретит их в других; иная девушка, быть может, и годилась бы ему, но он тем не менее не получит ее. Есть, значит, правила благоразумия, которые должны ограничивать поиски рассудительного отца. Он не должен гнаться для своего питомца за состоянием, которое выше его ранга, ибо это не от него зависит. Да если бы и мог, он все-таки не должен желать этого; ибо какое дело молодому человеку до рангов по крайней мере моему питомцу? Меж тем, забираясь вверх, он подвергается тысяче действительных зол, которые будет чувствовать всю жизнь. Я думаю даже, что он не должен стремиться и к уравниванию при помощи таких разнородных благ, как знатность и деньги, потому что каждое из них не столько возвышает цену другого, сколько извращает его, потому что люди никогда не сходятся в общей оценке, наконец, потому, что предпочтение, которое каждый отдает своему, подготавливает раздор между семьями, а часто и между супругами.

Кроме того, для правильности брака далеко не безразлично, берет ли мужчина супругу выше себя по званию, или ниже. Первый случай совершенно противен рассудку, второй — сообразнее с ним. Так как семья связана с обществом только через своего главу, то званием этого главы регулируется положение целой семьи. Когда он ищет подругу в более низком звании, он не спускается книзу, но возвышает свою супругу; наоборот, выбирая жену выше себя по званию, он унижает ее, не возвышаясь сам. Таким образом, в первом случае есть доля добра, без примеси зла, во втором есть зло, но нет добра. Притом же порядок природы требует, чтобы женщина повиновалась мужчине. Поэтому, если последний берет жену из более низкого звания, порядок

природы и порядок гражданский согласуются друг с другом — и все идет хорошо. Обратное бывает, когда, взяв жену выше себя по званию, мужчина должен выбрать одно из двух — поступиться или своим правом, или признательностью и быть или неблагодарным, или презиаемым. В этом случае жена, претендуя на власть, делается тираном своего главы; а повелитель, ставши рабом, оказывается самой смешной и самую жалкой из тварей. Таковы те несчастные фавориты, которых азиатские цари награждают и мучат своими брачными связями, которые, говорят, когда ложатся с женами, то не смеют иначе взбираться на кровать, как со стороны ног.

Я ожидаю, что многие читатели, помня, что я приписываю женщине природный талант управлять мужчиною, обвинят меня здесь в противоречии; однако же они будут в заблуждении. Большая разница, присваивает ли она себе право повелевать или управлять тем, кто повелевает. Власть женщины — это власть кротости, ловкости и угодливости; ее приказания — это ласки, угрозы ее — слезы. Она должна царить в доме, как министр в государстве, — заставляя давать ей такие повеления, каких ей хочется. В этом смысле достоверно, что лучшими семьями бывают те, где женщина имеет больше всего влияния; но если она не признает голоса главы, если хочет захватить его права и повелевать сама, то результатом этого беспорядка всегда бывает лишь нищета, скандал и бесчестье.

Остается выбор между равными и низшими; и я думаю, что приходится сделать еще несколько ограничений относительно этих последних; ибо трудно найти между подонками народа супругу, способную создать счастье честного человека, — не потому, чтобы в наших классах люди порочнее были, чем в высших, но потому, что там мало имеют понятий о том, что прекрасно и честно, а справедливость других сословий побуждает это сословие считать справедливым даже самые пороки свои.

От природы человек почти не мыслит. Мышление есть искусство, которому он научается, как и всем другим, и даже еще с большим трудом. Для того и другого пола я знаю всего два класса, действительно отличные один от другого, — класс людей мыслящих и класс людей немслящих, и это различие происходит почти единственно от воспитания. Мужчина, принадлежащий к первому из этих классов, сов, не должен роняться браком с другим классом; ибо общение лишено бывает своей наибольшей привлекательности, когда, имея жену, он принужден бывает мыслить в одиночку. Мысли людей, которые буквально всю жизнь проводят в работе из-за куска хлеба, нечем иным не заняты, как их работой или выгодой, и весь ум их как бы уходит в их руки. Это невежество не вредит ни честности, ни нравственности; часто оно даже содействует им; а с помощью размышления о своих обязанностях часто вступают в сделку с совестью и кончают тем, что вещи заменяют фразами. Совесть — самый просвещенный из философов; чтобы быть добродетельным человеком, для этого нет нужды знать «Обязанности» Цицерона<sup>29</sup>, и самая честная в мире женщина, быть может, меньше всего знает, что такое честность. Но не менее

справедливо и то, что один только просвещенный ум делает сношения приятными; а для отца семейства, который любит быть в семье, грустно, если он принужден замыкаться в самом себе и если некому понимать его.

К тому же, каким образом женщина, совершенно не привыкшая к размышлению, станет воспитывать детей своих? как разберет она, что для них пригодно? как расположит к добродетелям, которые ей незнакомы? как вселит достоинства, о которых не имеет никакого понятия? Она сумеет лишь ласкать или грозить, сделать их дерзкими или трусливыми; она создает из них жеманных обезьян или ветреных шалопаев, но они никогда не выйдут ни рассудительными умами, ни милыми детьми.

Не следует, значит, мужчине, получившему воспитание, брать жену невоспитанную, а следовательно, и из того сословия, где она не могла бы получать воспитание. Но простая и грубо воспитанная девушка для меня все-таки во сто раз приятнее, ученой и «остроум-нош девы, которой захотелось бы учредить в моем доме литературное судилище и сделать себя председательницей на нем. «Остроумная» жена — это бич для ее мужа, для детей, друзей, прислуги, всех людей. С гордой высоты прекрасного гения она пренебрегает всеми женскими обязанностями и начинает всегда с того, что превращает себя в мужчину — на манер де Ланкло. В свете она всегда смешна и совершенно справедливо подвергается порицанию, потому что это неизбежно бывает со всяким, кто бросает свое звание и не создан для того положения, которое хочет занять. Все эти женщины с великими талантами морочат ими одних лишь глупцов. Всякому бывает известно, кто тот художник или друг, который водит их пером или кистью, когда они работают; всякий знает, кто тот скромный литератор, который тайком подсказывает им изречения. Все это шарлатанство недостойно порядочной женщины. Если б у ней и были настоящие таланты, то своей претензией она их только унижала бы. Достоинство ее в том, чтобы быть неизвестною, слава ее — в уважении мужа, удовольствия ее — в счастье семейства. Читатели, — ссылаюсь на вас самих — скажите по совести: когда вы составляете лучшее мнение о женщине, входя в ее комнату, когда с большим почтением подходите к ней, — тогда ли, когда видите ее занятою работами, свойственными полу ее, заботами по хозяйству, окруженною домашним скарбом и детьми, или когда застаете ее пишущую стихи на своем туалетном столе, обложенною всякого сорта брошюрами и разноцветными записочками? Всякая ученая дева будет оставаться девой всю жизнь, если на земле будут разумные только мужчины.

*Quoeris cur nolim te dueere, Gnlia? diserta es* <sup>30</sup>.

За этими соображениями идет соображение относительно наружности; оно прежде всего бросается в глаза и после всего должно быть принято к сведению, но совершенно не принимать его в расчет все-таки нельзя. Большой красоты, мне кажется, скорее нужно избегать при женитьбе, чем гнаться за нью. Красота скоро блекнет вследствие обладания ею; недель через шесть она уже теряет всякое значение для обладателя; по опасности, порожденные ею, делятся, пока она

существует. Если красивая женщина не ангел, то муж ее — самый несчастный из людей; да если б она и была ангелом, как она избавит его от неприятности быть постоянно окруженным врагами? Если бы крайнее уродство не было отталкивающим, я предпочитал бы его чрезмерной красоте, ибо так как то и другое скоро для мужа становятся безразличным, то красота делается неудобством, а уродливость — преимуществом. Но уродливость, вызывающая отвращение, есть величайшее из несчастий; это чувство не только не изглаживается, но постоянно усиливается и превращается в ненависть. Подобного рода брак — чистый ад; лучше смерть, чем такой союз.

Ищите во всем середины, не исключая самой красоты. Лицу приятному и ласковому, внушающему не любовь, но расположение, нужно отдать предпочтение; в этом случае не бывает ущерба мужу, а преимущество обращается в обоюдную пользу; миловидность не блекнет, подобно красоте; в ней есть жизнь, она беспрестанно возобновляется, и после тридцати лет брачной жизни честная женщина, не лишенная прелести, так же правится своему мужу, как и в первый день.

Таковы размышления, остановившие мой выбор на Софи. Будучи, как Эмиль, воспитанницею природы, она более, чем всякая другая, создана для него: она будет женою *человека*. Она — ровня ему по рождению и достоинству, не ниже его по состоянию. Она не очаровывает с первого же взгляда, но с каждым днем более и более нравится. Ее главнейшая прелесть действует лишь постепенно и развертывается лишь при интимном сближении: муж почувствует ее больше всякого другого. Воспитание ее не блестящее, но и не небрежное; она без учения обладает вкусом, без искусства — талантами, без познаний — рассудком. Ум ее не имеет сведений, но он настолько развит, что она может учиться: это хорошо подготовленная почва, которая только ждет семени, чтобы принести плод. Она не читала ни одной книги, кроме Баррема<sup>31</sup> и «Телемака», случайно попавшегося ей в руки, но девушка, способная пристраститься к «Телемаку», может ли иметь бесчувственное сердце и невосприимчивый ум? О, милое невежество!

Счастлив тот, кому предназначено просвещать его! Она будет не профессором своего мужа, по учеником его; она не только по захочет подчинять его своим вкусам, но переймет его вкусы. Она будет дороже для него всякой ученой: ему предстоит удовольствие всему обучать ее. Пора, наконец, им свидеться; постараемся сблизить их. Мы уезжаем из Парижа грустными и задумчивыми. Это место болтовни не притягивает нас. Эмиль бросает презрительный взгляд на этот большой город и говорит с досадою: «Сколько пропало дней в тщетных поисках! Ах, не здесь подруга моего сердца! Друг мой! Вы это хорошо знали, по вам нипочем мое время и бедствия мои мало доставляют вам страдания». Я устремляю на него пристальный взор и говорю ему без всякого волнения: «Эмиль, уверены ли вы в том, что говорите?» Тотчас же он, переконфуженный, бросается мне на шею и, ни слова не сказав, сжимает меня в объятиях. Таким постоянно бывает его ответ, когда он по прав.

И вот мы едем по полям, как настоящие странствующие рыцари; мы не ищем, как они, приключений, — напротив, мы бежим от них, покидая Париж; но мы так похожи на них своим

плутаньем, своей неровной ездой: мы то несемся вскачь, то плетемся шагком. Кто следил за моим образом действий, тот должен был наконец уже вникнуть в их дух; и я не могу представить себе читателя, настолько предубежденного обычаем, чтобы предполагать, будто мы оба спим в отличной, плотно закрытой почтовой карете, едем, ничего не видя, ничего не наблюдая, считая пропащим все время между отъездом и приездом и стараясь скоростью езды вознаградить потерю времени. Люди говорят, что жизнь коротка, а я вижу, что они силятся сделать ее такою. Не умея употреблять времени, она жалуется на его скоротечность, но я вижу, что для них оно течет слишком медленно. Вечно поглощенные предметом, к которому стремятся, они с сожалением смотрят на промежуток, отделяющий их от него: одному хочется, чтобы скорее было «завтра», другому — чтобы наступил следующий месяц, третий перенесся за десять лет; никто не хочет жить «сегодня», никто не доволен текущим часом; все находят, что он идет слишком медленно. Но, жалуясь, что время течет слишком быстро, они лгут; они охотно платили бы за возможность ускорить его, охотно употребили бы свое состояние на то, чтобы растратить сразу всю жизнь; и нет, быть может, человека, который не превратил бы свои годы в очень небольшое число часов, если бы в его власти было отнять, в жертву скуке, те часы, которые ему в тягость, и, в жертву нетерпению, часы, отделяющие его от желанной минуты. Иной полжизни проводит в переездах из Парижа в Версаль, из Версаля в Париж, из города в деревню, из деревни в город, из одного квартала в другой; он очень затруднялся бы, куда деть время, если бы не знал секрета тратить его подобным образом, и нарочно бежит от своих дел, чтобы заняться приисканием дела; он мечтает наверстать время, излишне употребляемое, с которым иначе не знал бы что делать, или, наоборот, ездить ради езды, мчится на почтовых с единственною целью вернуться подобным же образом. Смертные! перестаните ли вы когда-нибудь клеветать на природу? К чему вы жалуетесь, что жизнь коротка, раз она, по вашему мнению, еще слишком длинна? Если хоть один из вас сумеет быть настолько умеренным в своих желаниях, чтобы не погонять времени, он не станет считать его слишком кратким; жить и наслаждаться для него будет одно и то же; и, доведись ему умереть молодым, он умрет пресыщенным жизнью.

Если бы метода моя представляла только это преимущество, то уж в силу одного этого ее нужно было бы предпочесть всякой другой. Я воспитал своего Эмиля не для желаний или ожиданий, но для наслаждения; и если он уносится в своих желаниях за пределы настоящего, то вовсе не с тою стремительною пылкостью, при которой надоедает медлительность времени. Он будет наслаждаться не только удовольствием желать, но и удовольствием идти к желанной цели; а страсти его настолько умеренны, что он всегда живет более в настоящем, чем в будущем.

Итак, мы путешествуем не как курьеры, а как путешественники. Нас занимают не только два предела, но и промежуток, их разделяющий. Самое путешествие — для нас удовольствие. Мы совершаем его, не сумрачно сидя, как бы в заключении, в маленькой клетке, плотно замкнутой. Мы путешествуем не по-женски, среди неги и покоя. Мы не лишаем себя ни вольного воздуха, ни

вида окружающих нас предметов, ни удобства рассматривать их когда вздумается. Эмиль никогда не сядет в почтовую карету и поедет на почтовых разве в том случае, если нужно торопиться. Но что может когда-либо торопить Эмиля? Единственная вещь — желание наслаждаться жизнью. Нужно ли прибавлять, что он торопится делать добро, когда только можно? Нет, ибо это тоже значит наслаждаться жизнью.

Я знаю только один способ путешествия более приятный, чем путешествие верхом: это пешее хождение. Тут отправляешься когда нужно; останавливаешься по своей воле; хочешь — идешь много, не хочешь — идешь мало. Наблюдаешь всю страну; завертываешь направо, налево; рассматриваешь все, что манит тебя; останавливаешься всюду, где открываются виды. Замечу речку — иду ее берегом; увижу ветвистую рощу — спешу под ее тень; встречаю грот — захожу в него; нахожу каменоломню — рассматриваю минералы. Всюду, где мне нравится, я делаю привал. Как только почувствую скуку, в ту же минуту пускаюсь в путь. Я не нахожусь в зависимости ни от лошадей, ни от ямщика. Мне нет нужды выбирать благоустроенные дороги, удобные пути; я прохожу всюду, где человек может пройти; вижу все, что человек может видеть, и, завися лишь от себя самого, наслаждаюсь всею свободой, какою человек может наслаждаться. Если начинается дурная погода и мною овладевает скука, я беру лошадей. Если я устал... Но Эмиль почти не устает; он силен, да и отчего ему уставать? Ведь он не спешит. Как может он скучать, когда останавливается? Ведь у него всегда есть чем развлечься. Он заходит к мастеру — и работает; чтобы дать отдых ногам, он упражняет руки.

Путешествовать пешком — значит путешествовать на манер Фалеса<sup>32</sup>, Платона, Пифагора. Мне трудно понять, как может философ решиться путешествовать иначе, лишив себя удовольствия исследовать богатства, которые он попирает ногами и которые земля рассыпает на его глазах. Кто, мало-мальски любя земледелие, не захочет ознакомиться с произведениями, свойственными климату тех местностей, по которым он проходит, и со способом их обработки? Кто, имея хоть каплю интереса к естественной истории, решится пройти мимо почвы — не рассмотрев ее, мимо скалы, — не отломив кусочка ее, мимо гор — не собрав растений, мимо кучи гольшей — не поискав ископаемых? Ваши салонные философы изучают естественную историю в кабинетах; у них есть игрушки, они знают имена и не имеют никакого понятия о природе. Но кабинет Эмиля богаче всех королевских: кабинет этот — целая земля. Каждая вещь здесь на своем месте: Устроитель природы, заведующий ею, распределил все в самом образцовом порядке; Добантону<sup>33</sup> лучше этого не сделать.

Сколько соединяется разнообразных удовольствий при этом приятном способе путешествия! Не говорю уже о том, что тут укрепляется здоровье, просветляется настроение. Я всегда замечал, что люди, путешествующие в прекрасных, совершенно покойных каретах, бывают задумчивы, мрачны, ворчливы или нездоровы, а пешеходы всегда веселы, беззаботны, всем довольны. Как радуется сердце, когда подходишь к ночлегу! Каким вкусным кажется грубый ужин! С каким

удовольствием садишься за стол! Как хорошо спится в жесткой постели! Когда желаешь лишь добраться до места, то можно ехать и в почтовой карете; но когда хочешь путешествовать, нужно идти пешком.

Если, прежде чем мы сделаем миль пятьдесят предполагаемым мною способом, Софи не будет забыта, то, значит, или я слишком неловок, или Эмиль очень нелюбознателен; ибо трудно ожидать, чтобы при таком запасе начальных сведений ему не захотелось приобрести их еще больше. Любознательным становиться лишь по мере обучения; а он знает столько именно, сколько нужно для желания учиться.

Меж тем один предмет сменяется другим, и мы подвигаемся все вперед. Конец для первого нашего путешествия я предназначил не близкий — предлог к тому легко найти, покидая Париж, нужно искать жену где-нибудь подальше.

Однажды, проблуждав больше обыкновенного по долинам, по горам, где не видно было никакой дороги, мы совершенно сбиваемся с пути. Дело не важное: все дороги хороши, лишь бы вели куда-нибудь; но когда проголодался, нужно же где-нибудь пристать. К счастью, мы встречаем крестьянина, который и ведет нас в свою хижину; мы с большим аппетитом садимся за его скудный обед. Видя, что мы так устали, так проголодались, он говорит нам: «Если бы бог помог вам пробраться на ту сторону холма, вас бы приняли лучше... Вы встретили бы мирный дом,— людей, таких сострадательных... добрые люди!.. Сердце у них не лучше, чем у меня, но они богаче,— хотя прежде, говорят, были еще богаче... Слава богу!.. Дела у них не плохи; кое-что от них перепадает и для всей округи».

При словах «добрые люди» сердце доброго Эмиля повеселело. «Друг мой! — говорит он, бросая на меня взор.— Пойдем в этот дом, хозяева которого благословляются соседями; мне бы очень хотелось их видеть; может быть, и им также приятно будет нас видеть. Я уверен, что они хорошо пас примут; если они сойдутся с нами, то мы и подавно сойдемся с ними».

Собрав сведения о расположении дома, мы отправляемся; долго мы блуждаем по лесам; нас застает сильный дождь; он задерживает нас, хотя и не останавливает. Наконец мы находим дорогу и вечером достигаем указанного дома. Среди окружающей деревушки один этот дом, хотя и простой, имел некоторую представительность. Мы называем себя, просим гостеприимства. О пас посылают сказать хозяину; он спрашивает нас, правда, приветливо; не говоря о цели нашего путешествия, мы объясняем, с какой целью дали крюку. От прежней жизни в достатке в нем сохранилось умение распознавать звание людей по их манерам: кто жил в большом свете, тот редко обманывается в этом отношении; по этому паспорту мы приняты.

Нам показывают комнату, очень маленькую, но чистую и удобную; в ней разводят огонь, мы находим белье, платье, все, что нужно. «Вот так раз! — говорит в изумлении Эмиль,— можно подумать, что нас ожидали! Как был прав крестьянин! какое внимание! какая доброта! какая предупредительность! и это по отношению к незнакомым! Мне кажется, что я перенесся во

времена Гомера». — «Будьте благодарны за все это, — говорю я ему, — но не удивляйтесь: где пришлые люди редки, там они всегда — желанные гости; ничто так не развивает гостеприимства, как редкость тех случаев, когда нужно его выказать, и лишь наплыв гостей искореняет гостеприимство. Во время Гомера почти не путешествовали; потому-то и путешественники были всюду хорошо принимаемы. Мы, быть может, единственные прохожие, которых видели здесь за целый год». «Что за беда! — возражает он, — похвально уже и то, что здесь умеют обходиться без гостей и все-таки всегда хорошо их принимать».

Обсохнув и оправившись, мы идем к хозяину дома; он знакомит нас с женой своей; та принимает нас не только вежливо, но и радушно. Ее взоры больше направлены на Эмиля. Мать в подобном случае редко принимает в своем доме мужчину таких лет — без тревоги или, по меньшей мере, без любопытства.

Торопят подавать ужин — из внимания к нам. Войдя в столовую, мы видим пять приборов; мы рассаживаемся, один остается пустым. Входит молодая особа, делает глубокий поклон и скромно садится, не говоря ни слова. Эмиль, занятый утолением голода или обдумыванием ответов, кланяется ей, говорит и ест. Главная цель его путешествия столь же далека от его мыслей, сколь далеким от конца пути он считает себя самого. Разговор вертится на том, как наши путники сбились с пути. «Я вижу в вас, сударь, — говорит ему хозяин дома, — милого и разумного юношу, и ваше прибытие сюда, усталыми и измокшими, вместе с вашим воспитателем, поневоле наводит меня на мысль о прибытии Телемака и Ментора на остров Калипсо». «Это правда, — отвечает Эмиль, — что мы находим здесь гостеприимство Калипсо». — «И прелести Эвхарисы», — добавляет его ментор. Но Эмиль знаком с «Одиссеей» и не знаком с «Телемаком»; он не знает, что такое Эвхариса. Что же касается молодой особы, то она — я вижу — краснеет до ушей, опускает глаза к тарелке и не смеет рта раскрыть. Мать, замечая ее замешательство, делает знак отцу, и тот переменяет разговор. Говоря о своем уединении, он незаметно переходит к рассказу о событиях, забросивших его сюда, о несчастьях своей жизни, о твердости своей супруги, об утешениях, которые они встретили в своем уединении, о кроткой и мирной жизни, которую они ведут в этом убежище, — и все время не говорит ни слова о молодой особе; рассказ оказывается таким приятным и трогательным, что его нельзя было слушать без интереса. Эмиль, взволнованный, расстроганный, перестает есть и слушает. Наконец, в тот момент, когда честнейший из мужчин с особенным удовольствием толковал о привязанности достойнейшей из женщин, молодой путешественник, не помня себя, схватывает руку мужа и пожимает ее, а другою рукой берет руку супруги и с восторгом нагибается к ней, орошая ее слезами. Наивная живость молодого человека восхищает всех; а молодой девушке, больше, чем кто-либо другой, тронутой этим признаком его сердечной доброты, кажется, что она видит Телемака, взволнованного бедствиями Филоктета<sup>34</sup>. Она украдкой переносит на него взоры, чтобы лучше рассмотреть его фигуру, и не находит в ней ничего такого, что не оправдывало бы сравнения. Открытый вид его дышит свободой — без



заносчивости; манеры его живы, но не напоминают вертопраха; порыв чувствительности делает взор его более кротким, физиономию более привлекательною; молодая особа, видя его проливающим слезы, готова примешать к ним и свои. Но, несмотря на такой прекрасный предлог, тайный стыд ее удерживает; она уже упрекает себя в том, что готова расплакаться, как будто проливать слезы из-за семьи своей дурно.

Мать, с самого начала ужина не перестававшая зорко наблюдать за ней, видит ее стеснение и избавляет ее, послав с каким-то поручением. Минуту спустя молодая девушка возвращается, но настолько еще не успокоенною, что расстройство ее бросается всем в глаза. Мать кротко говорит ей: «Софи, приди же в себя! Перестань оплакивать несчастья своих родителей. Ты утешение для них — не будь же чувствительнее их самих к горю».

При имени Софи можно было увидеть, как Эмиль вздрогнул. Пораженный столь дорогим звуком, он сразу приходит в себя и бросает жадный взор на ту, которая осмеливается носить это имя. Софи, Софи! неужели это тебя ищет мое сердце? неужели тебя мое сердце любит? Ой наблюдает, рассматривает ее с некоторого рода опасением и недоверием. Видит, что перед ним не та самая фигура, какую он создал себе воображением, и не знает, лучше она или хуже. Он изучает каждую черту, выслеживает каждое движение, каждый жест; на все находит тысячу неясных толкований; он отдал бы полжизни, лишь бы она захотела промолвить хоть слово. Беспокойный и смущенный, он смотрит на меня; глаза его задают мне сразу сотню вопросов, делают сотню упреков. Он как бы говорит мне с каждым взглядом: «Руководите же мною, пока есть время; если сердце мое отдастся и обманется, мне во всю жизнь уже не опомниться».

Эмиль меньше всех в свете умеет маскироваться. Да и как он мог бы прикинуться в момент наибольшего в своей жизни смущения, среди четырех зрителей, тщательно за ним следивших, из которых самый рассеянный на вид был в действительности самым внимательным. Расстройство его не ускользает от пронизательного взора Софи; по его глазам она отлично видит, что причина этого — она сама; она видит, что эта тревога не есть еще тревога любви, но что за дело? Он занят ею — и этого достаточно; она будет очень несчастной, если это пройдет ему безнаказанно.

Матери смотрят глазами дочерей, и у них больше опытности. Мать Софи рада успеху наших замыслов. Она умеет читать в сердцах обоих молодых людей; она видит, что пора дать точку опоры сердцу нового Телемака, и заставляет дочь свою заговорить. Дочь, при своей природной кротости отвечает робким тоном, который только усаливает впечатление. При первом же звуке этого голоса Эмиль сдался: это Софи — в этом уж нет сомнения. Если б это была и не она, слишком уже поздно откаться.

Тут-то чары этой обворожительной девушки потоками устремляются в его сердце, и он большими приемами начинает глотать яд, которым она его опаивала. Он перестает говорить, он уже не отвечает, видит одну Софи, слышит только Софи: она молвит слова — и он открывает уста; она опускает глаза — и он опускает свои; она вздохнет — и он вздыхает: Душа Софи стала,

кажется, его душой. И какие перемены в несколько моментов! Теперь уже не Софа трепещет — теперь очередь Эмиля. Куда девалась свобода, наивность, откровенность! Сконфуженный, смущенный, боязливый, он не смеет уже поднять глаза из опасения увидеть, как на него смотрят. Мучимый сознанием, что его видят насквозь, он хотел бы сделаться для всех невидимым, чтобы насытиться созерцанием и не быть самому под наблюдением. Софи, напротив, освобождается от замешательства перед Эмилем; она видит свое торжество, она наслаждается им:

*Nol mostra q̄ia, ben che in suo cor ne rida*<sup>35</sup>.

Она не изменяет обращения; но, несмотря на этот скромный вид и эти опущенные взоры, ее нежное сердце трепещет от радости и говорит ей, что Телемак нашелся.

Если я углублюсь здесь в историю их невинной любви, быть может слишком наивную и простую, читатель станет смотреть на эти мелочи как на пустую игру — и будет в этом не прав. Недостаточно обращают внимания на влияние, которое должно иметь первое сближение мужчины с женщиной на всю последующую их жизнь; не видят, что первое впечатление — столь живое, как впечатление любви или другой заменяющей ее склонности,— влечет за собой продолжительные последствия, сцепления которых мы не замечаем при чередовании лет жизни, но которые не перестают действовать до самой смерти. В трактатах о воспитании нам предлагают длинные разглагольствования, бесплодные и педантичные, о химерических обязанностях детей и ни слова не говорят нам о самой важной и труднейшей части всего воспитания, именно о кризисе, который служит переходом от детства к возмужалости. Если мои очерки будут в некотором отношении полезны, то особенно потому, что я счел возможным подольше остановиться на этой существенной части, опущенной всеми прочими, и не отказался от своего предприятия из-за ложной щепетильности или пугая трудностями языка. Если, что следовало бы делать, я лишь говорил, зато и говорил я то, что должен был говорить; мне мало дела до того, что у меня вышел роман. История человеческой природы — это довольно прекрасный роман. Виноват ли я, если он встречается только в этой книге? Разве такую должна быть история рода человеческого? Вы, искажающие этот род,— вы и делаете из моей книги роман.

Другое соображение, служащее подкреплением первому, заключается в том, что ведь здесь дело идет не о таком молодом человеке, который с самого детства отдан в жертву страху, алчности, зависти, гордости и всем страстям, служащим в качестве орудия при обычных способах воспитания; что здесь речь идет о молодом человеке, испытывающем в данном случае не только первую любовь, но и вообще первую страсть; что от этой страсти, единственной, быть может, которую он будет живо вспоминать всю жизнь, зависит окончательная форма, в которую должен вылиться его характер. Его образ мыслей, чувствования, вкусы, прочно установившись под влиянием продолжительной страсти, приобретут устойчивость, которая не позволит уже им меняться.

Понятно, что после подобного вечера ночь у нас с Эмилем не вся проходит во сне. Как! неужели одно сходство имен могло проявить такую силу над благоразумным человеком? Разве в мире всего одна Софи? Неужели у всех у них и одинаковая душа, как одинаково имя? Значит, все, каких он увидит, ему и предназначены! Не безумно ли пристраститься так к незнакомке, с которой он ни разу даже не говорил? Подождите, молодой человек, рассматривайте, наблюдайте. Вы даже еще не знаете, у кого вы; а послушаешь вас — подумаешь, что вы уже в своем доме.

Но теперь не время для нравоучения, да их никто бы не стал и слушать. Они только еще более заинтересовывают молодого человека Софи, возбуждая в нем желание оправдать свое увлечение. Это совпадение имен, эта встреча, которую он считает случайной, самая осторожность моя только увеличивают его возбуждение: Софи уже настолько казалась ему достойной любви, что он вполне уже рассчитывал и меня заставить полюбить ее.

Я догадывался, что на следующее утро Эмиль, как ни плохо его дорожное платье, постарается тщательнее приодеться. Так и выходит; по меня потешает поспешность, с какою он облачается в хозяйское белье. Я проникаю в его мысль; я с удовольствием читаю в ней, что ему хочется, подготовив неизбежность возвращения обмена вещей, установить нечто вроде корреспонденции, которая давала бы ему право пересылать сюда вещи и заезжать самому.

Я ожидал, что с своей стороны и Софи несколько принарядится, но я обманулся. Это вульгарное кокетство пригодно ради тех, кому хотят только понравиться. Кокетство истинной любви утонченнее; у пего много иных претензий. Софи оделась еще проще, чем накануне, и даже небрежнее, хотя все с тою же педантичной опрятностью. Я лишь потому не вижу кокетства в этой небрежности, что вижу в пей искусственные расчеты: Софи хорошо знает, что более изысканный наряд — то же объяснение в любви; но она не знает, что более небрежный наряд — объяснение в другом роде; она показывает, что тут не довольствуются тем, чтобы нравиться своим нарядом, но желают понравиться и своей особой. Ах! какое дело возлюбленному до того, в чем она одета? ему лишь бы видеть, что она занята им. Уже уверенная в своей власти, Софи не ограничивается желанием поразить своими прелестями взоры Эмиля — она хочет, чтобы их искало и сердце его; ей уже недостаточно того, что он видит их,— ей хочется, чтобы он предполагал их. Ведь он уже столько видел, что должен догадаться и об остальном.

Нужно думать, что во время наших ночных бесед Софи и мать ее тоже не оставались немymi; там тоже были вырваны признания, преподаны наставления. На другой день все собираются хорошо подготовленными. Нет еще двенадцати часов, как наши молодые люди уже свиделись; они не сказали друг другу еще слова, а уже видно, что друг друга понимают. Обхождение их не дружески свободное, в нем видны замешательство, робость; они не говорят друг с другом; их опущенные взоры как бы избегают друг друга — и даже это служит признаком взаимного понимания: они избегают один другого, но зато сообщая; ничего не сказав еще, они уже чувствуют потребность тайны. Отправляясь, мы просим позволения самим занести вещи, которые уносим.

Устами Эмиль просит позволения у отца, матери; меж тем беспокойные взоры его, устремленные на дочь, гораздо настойчивее обращаются с просьбою к этой последней. Софи не говорит ни слова, не делает никакого знака, как будто не видит и ничего не слышит; но она краснеет, а этот румянец более ясный ответ, чем слова ее родителей.

Нам позволяют зайти, не приглашая оставаться. Такое поведение совершенно уместно: можно дать приют путникам, которые ищут ночлега, но неприлично возлюбленному почевать в доме возлюбленной.

Едва мы оставили этот милый дом, как у Эмиля является мысль поселиться в окрестностях; соседняя хижина кажется ему уже слишком отдаленной: ему хотелось бы почевать в канаве у господского дома. «Юный ветреник! — говорю я ему тоном соболезнования, — как? вас уже ослепляет страсть? Вы уже не видите, пристойно ли это, разумно ли это? Несчастный! вы воображаете, что любите, — и вы ж хотите осрамить свою возлюбленную! Что скажут о ней, когда узнают, что молодой человек, вышедший из ее дома, ночевал в окрестности? Вы говорите, что любите ее! Зачем же вы хотите запятнать ее репутацию? Так-то вы оплачиваете за гостеприимство, оказанное вам ее родителями? Неужели вы хотите навлечь попреки на ту, от которой ожидаете своего счастья?» — «Ах! что мне за дело, — отвечает он с живостью, — до пустых толков людей и до несправедливых их подозрений? Не вы ли сами научили меня не придавать им никакого значения? Кто знает лучше меня, насколько я почитаю Софи, какого хочу для нее уважения? Моя привязанность не составит позора для нее, она составит ее славу, она будет достойной ее. Если я в сердце своем и на деле буду всюду оказывать ей то почтение, которого она заслуживает, то чем же могу оскорбить ее?» — «Дорогой Эмиль! — возражаю я, обнимая его, — вы рассуждаете в своих интересах; научитесь рассуждать в ее интересах. Не сравнивайте чести едкого пола с честью другого: тут совершенно различные принципы. Но эти принципы одинаково прочны и разумны, потому что они одинаково исходят от природы, потому что та же добродетель, которая заставляет вас ради вас самих презирать людские толки, обязывает вас уважать эти же толки ради вашей возлюбленной. Ваша честь — в одних ваших руках, а ее честь зависит от других. Пренебрегать ее честью значило бы оскорблять свою собственную, и вы сами не заслуживаете должного, если служите причиной того, что ей не воздают должного».

Выяснив ему основания этих различий, я даю ему почувствовать, какой несправедливостью было бы нежелание принимать их в расчет. Кто это сказал ему, что он будет супругом Софи, чувств которой он не знает, сердце которой, вместе с родителями, быть может, уже раньше дало обязательство, — супругом девушки, с которой он не-знаком и по отношению к которой ему, быть может, недостает какого-нибудь из условий, необходимых для счастья брака? Разве он не ведает, что всякий скандал ложится на девушку неизгладимым пятном, которое остается даже после брака с лицом, бывшим его причиной? Ах! какой одаренный чувством человек решился бы погубить ту,

кого он любит? Какой честный человек захочет заставить несчастную вечно оплакивать то, что она, на беду себе, полюбила ему?

Молодой человек, в ужасе от последствий, которые я ему представил, снопа оказывается крайним в своих решениях, и ему уже думается, что он слишком близок к жилищу Софи; он удваивает шаг, чтобы скорее убежать; он осматривается кругом, не подслушал ли кто нас; он уже готов тысячу раз пожертвовать своим счастьем за честь возлюбленной; он согласился бы лучше не видеть ее всю жизнь, чем причинить ей хоть одно неудовольствие. Это первый плод забот, предпринятых мною с самой юности его, с целью образовать в нем сердце, умеющее любить.

Все дело, значило, за тем, чтобы найти убежище — отдаленное, но все-таки сподручное. Мы ищем, осведомляемся; узнаем, что до города отсюда добрых две мили; мы предпочитаем найти квартиру в городе, а не в ближних деревнях, где наше пребывание стало бы подозрительным. Сюда-то наконец и прибывает наш новый возлюбленный, полный любви, надежды, радости и особенно добрых чувств. Вот каким образом, направляя мало-помалу зарождающуюся страсть к добру и честному, я незаметно придаю всем его склонностям тот же склад.

Я приближаюсь к концу моего поприща; я уже вижу вдали этот конец. Все великие трудности побеждены, все важные препятствия преодолены; ничего трудного уже не остается — лишь бы не испортить своего дела торопливым завершением его. При той неизвестности, которая окружает человеческую жизнь, станем особенно избегать ложной предусмотрительности, заставляющей настоящим жертвовать для будущего; это часто значит приносить в жертву что есть тому, чего не будет. Устроим, чтобы человек был счастлив во все возрасты,— из опасения, чтобы, после массы забот, он не умер, не отведав счастья. Меж тем если есть пора для наслаждения жизнью, то, конечно, этой порой бывает последнее время юности, когда телесные и душевные способности приобрели наибольшую крепость, когда человеку, находящемуся на половине его пути, оба конца, дающие чувствовать краткость этого последнего, виднеются лишь вдали. Если неосмотрительная юность обманывается, то не в том, что она хочет наслаждаться, а в том, что ищет наслаждения там, где его нет, и, готовя себе жалкое будущее, не умеет даже пользоваться настоящим моментом.

Посмотрите на моего Эмиля! Ему исполнилось двадцать лет; он хорошо сформирован, хорошо сложен духом и телом, силен, здоров, проворен, ловок, крепок, полон смысла, рассудка, доброты, гуманности, отличается нравственностью, вкусом, любит прекрасное, любит делать добро, свободен от господства жестоких страстей, изъят из-под ига людского мнения, но подчинен закону мудрости и послушен голосу дружбы; он обладает всеми полезными талантами и многими приятными талантами, не заботится о богатствах, нося источник их в своих руках, и, что бы ни случилось, не боится остаться без хлеба. Теперь вот он опьянен зарождающейся страстью; сердце его открывается для первого огня любви; сладкие иллюзии создают ему новый мир радостей и наслаждения; он любит милый предмет, который еще милее по характеру, чем по наружности; он ждет взаимности, которой чувствует себя достойным.

Из сходства сердец, из встречи честных чувств развилась их первая склонность: эта склонность должна быть прочной. Самому обольстительному бреду он предается с доверием, даже разумно, без страха, без сожаления, без угрызений совести, без всякой иной тревоги, кроме той, с которой неразлучно ощущение счастья. Чего может недоставать его счастью? Смотрите, ищите, придумывайте, что ему еще нужно и что можно прибавить к тому, что у него есть. Для него соединились все блага, которые можно получить разом; прибавить к ним что-нибудь можно лишь в ущерб другому; он счастлив столько, сколько возможно для человека! И неужели я в такой момент положу предел столь сладкой участи? Мне ли нарушать столь чистое блаженство? Ах! вся ценность жизни — в том блаженстве, которое он вкушает. Что я могу дать ему равносильного тому, что отниму у него? Даже завершая его счастье, я разрушил бы самую упоительную чару. Это высшее счастье в сто раз приятнее ожидать, чем получить; когда ждешь его, больше наслаждаешься, чем когда вкушаешь. О, добрый Эмиль! люби и будь любим! насладись дольше, прежде чем обладать; наслаждайся зараз и любовью, и невинностью; создай на земле себе рай в ожидании другого: я не прерву этого счастливого времени твоей жизни; я буду поддерживать твоё очарование; я продолжу его, насколько это будет мне возможно. Увы! Оно должно окончиться — и окончиться в короткое время; но я постараюсь по крайней мере, чтобы оно всегда жило в твоей памяти и чтобы ты никогда не раскаивался в том, что вкусил его.

Эмиль не забыл, что нам нужно кое-что возратить. Как только вещи были готовы, мы берем лошадей и летим во весь дух; на этот раз, в минуту отправления, ему хотелось бы быть уже там. Когда сердце открывается для страстей, оно открывается и для жизненной скуки. Если я не потерял даром времени, то не вся его жизнь будет проходить таким образом.

К несчастью, дорога оказывается с массой поворотов и местность — трудной для проезда. Мы сбиваемся с пути; он первый замечает это и, не выказывая нетерпения, не жалуясь, пускает в ход все свое внимание, отыскивая дорогу; он долго плуствует, прежде чем выбраться на дорогу, и все время сохраняет свое хладнокровие. Для вас это неважно, но для меня, знакомого с его вспыльчивым нравом, это весьма важно: я вижу тут плод заботливости, с какой я с самого детства приучал его покоряться требованиям необходимости.

Наконец мы прибываем. Нас принимают гораздо проще и ласковее, чем в первый раз: мы уже старые знакомые. Эмиль и Софи кланяются друг другу с некоторым замешательством и по-прежнему не говорят ни слова: о чем им говорить в нашем присутствии? Для беседы, которая им нужна, не нужно свидетелей. Общество гуляет в саду, Вместо особого цветника в этом саду — огород, очень искусно разбитый; вместо парка — площадь, покрытая большими и прекрасными фруктовыми деревьями всяких сортов, перерезанная в разных направлениях красивыми ручейками и грядками, полными цветов.

«Прекрасное место! — восклицает Эмиль, занятый своим Гомером и все время бывший в восторге. — Мне кажется, что я вижу сад Алкиной». Дочери хотелось бы знать, кто такой Алкиной,

и мать задает вопрос. «Алкиной,— говорю я им,— был царем Коркиры; сад его, описанный Гомером, раскритикован людьми со вкусом<sup>36</sup> за то, что был слишком прост и слишком мало разукрашен<sup>\*</sup>. У этого Алкиноя была милая дочь, которая накануне того, как один иноземец был гостеприимно принят в дом отца ее, видела сон, что ей скоро быть замужем». Софи, смущенная, краснеет, опускает глаза, кусает губы; трудно представить себе весь ее конфуз. Отец, которому хочется увеличить его, вмешивается в разговор и замечает, что юная царевна сама ходила мыть белье на реку. «Как вы думаете? — продолжал он.— Боялась ли она дотронуться до грязных салфеток и говорила ли, что от них пахнет салом?» Софи, задетая за живое, забыв свою природную робость, с живостью оправдывается. Ее отец хорошо знает, что, если б ей дозволили \*, она лучше всякой прачки справлялась бы со всем мелким бельем и еще с большим удовольствием делала бы это, если б ей приказали. Говоря это, она украдкой бросает на меня взгляды с тревогой, над которой я не мог не посмеяться, читая в ее открытом сердце волнение, вызвавшее эти речи. Отец ее был настолько жесток, что подхватил это опрометчивое замечание и спрашивает у нее насмешливым тоном, с какой стати она говорит здесь о себе и что у нее общего с дочерью Алкиноя. Пристыженная и трепещущая, она не осмеливается вымолвить слова или взглянуть на кого-нибудь. Прелестная девушка! теперь уж поздно притворяться: ты уж помимо воли объяснилась в любви.

\* Был за широким двором четырехдесятиный богатый

Сад, обведенный отовсюду высокой оградой; росло там

Много дерев плодоносных, ветвистых, широковершинных,

Яблонь, и груш, и гранат, золотыми плодами обильных,

Также и сладких смоковниц, и маслин, роскошно цветущих.

Круглый там год — и холодную зиму, и в знойное лето — Видимы были на ветвях плоды; постоянно там веял Теплый зефир, зарождая одни, наливая другие; Груша за грушей, за яблоком яблоко, смоква за смоквой, Гроздь пурпуровый за гроздом сменялись там созревая, Там разведен был и сад виноградный богатый; и гроздья Частью на солнечном месте лежали, сушимые зноем, Частью ждали, чтобы срезал их с глаз виноградарь; иные Были давимы в чанах, а другие цвели иль, осыпав Цвет, созревали и соком янтарногустым наливались. Саду границей служили красивые гряды, с которых Овощ и вкусная зелень весь год собиралась обильно.. Два там источника были: один обтекал, взвиваясь, Сад, а другой перед самым порогом царева жилища Светлой струею бежал, и граждане в нем черпали воду.

Таково описание царского сада Алкиноя в VII книге «Одиссеи»,— сада, в котором, к стыду этого старого мечтателя Гомера и государей того времени, не виднелось ни решеток, ни статуй, ни каскадов, ни дерновых лужаек.

Вскоре эта маленькая сценка была забыта или, скорее, как будто забыта. К счастью для Софи, Эмиль один ничего не понял. Прогулка продолжается, и нашим молодым людям, которые сначала

шли рядом с нами, с того и другого боку, трудно было приноровиться к нашей медленной походке; они опережают нас, приближаются друг к другу и, наконец, идут совсем рядом, и мы их видим довольно далеко впереди. Софи кажется внимательною и степенною. Эмиль с жаром говорит и жестикулирует; разговор, по-видимому, не наводит на них скуки. Проходит добрый час — мы возвращаемся, зовем их; они идут назад, но, в свою очередь, медленно, и видно, что выгадывают время. Наконец, разговор их сразу прерывается, прежде чем мы могли бы его расслышать, и они удваивают шаги, чтобы нагнать нас. Эмиль подходит к нам с открытым и ласковым видом; глаза его блестят от радости; однако он с некоторым беспокойством посматривает на мать Софи, чтобы видеть, как она примет все это. Софи далеко не так развязна; подходя, она кажется совершенно переконфуженною тем, что была с глазу на глаз с молодым человеком, хотя ей так часто приходилось бывать в таком положении со многими другими, не испытывая никакого замешательства,— и никто не находил этого дурным. Она поспешно бежит к матери, несколько запыхавшись, произнося какие-то незначачие слова, как будто с целью сделать вид, что она давно уже тут.

\* Признаюсь, я отчасти благодарен матери Софи за то, что она не позволила портить мылом эти нежные ручки, которые Эмилю так часто придется целовать.

По ясности, разлитой на лицах этих милых детей, видно, что беседа сняла с юных сердец большую тяжесть. Они по-прежнему сдержанны по отношению друг к другу, но в сдержанности уже меньше замешательства; она происходит уже только от почтительности Эмиля, скромности Софи и честности их обоих. Эмиль уже осмеливается обращаться к ней с двумя-тремя словами; иной раз и она осмеливается отвечать, но всякий раз, как открывает уста, непременно предварительно взглянет на мать. Самой заметной кажется перемена в ее обращении со мною. Она усерднее старается засвидетельствовать ко мне свое уважение, смотрит на меня с участием, говорит ласково, старается угодить мне; я вижу, что она устаивает меня своего уважения и что ей хочется добиться и моего. Я понимаю, что Эмиль уже говорил с нею обо мне; можно было бы подумать, что они уже сговорились подкупить меня; однако ничего подобного еще нет, да и сама Софи не скоро еще сдастся. Быть может, ему будет нужнее мое ходатайство перед пей, чем ей — ходатайство передо мной. Прелестная парочка!.. При мысли, что чувствительное сердце моего юного друга уделило мне значительное место в его первой беседе со своею возлюбленной, я чувствую, что награжден за свой труд; дружба его за все мне отплатила.

Посещения повторяются. Беседы между молодыми людьми становятся более частыми. Эмиль, опьяненный любовью, думает уже, что достиг счастья. Однако же он не получает формального признания от Софи; она его слушает и ничего ему не говорит. Эмилю известна ее скромность; такая сдержанность мало его удивляет; он чувствует, что она не дурного о нем мнения; он знает, что браки детей устраивают отцы, и предполагает, что Софи ждет приказания своих родителей; он просит у нее позволения похлопотать об этом, она не противится. Он сообщает об этом мне; я



говоря от его имени, даже в его присутствии. Каково его изумление, когда он узнает, что Софи зависит от одной себя и, чтобы сделать его счастливым, ей стоит лишь захотеть! Поведение ее становится для него совершенно непонятным. Уверенность его ослабевает. Он тревожится, видит, что успех его не так велик, как он думал; и вот тут-то нежнейшая любовь пускает в ход самые трогательные речи, чтобы склонить ее.

Эмиль не способен догадаться, что ему вредит: если ему не сказать, он не узнает вовеки, а Софи настолько горда, что не станет говорить ему. Затруднения, ее останавливающие, другую только подстрекали бы. Она не забыла уроков своих родителей. Она бедна, Эмиль богат — она это знает. Какую степень уважения ему нужно от нее? Какие ему нужны достоинства для того, чтобы сгладить это неравенство? Но разве ему могут прийти в голову эти препятствия? Знает ли Эмиль, что он богат? Считает ли он нужным даже хоть осведомляться об этом? Слава богу, ему нет никакой нужды быть богачом, он умеет делать добро и без этого. Добро, которое делает, он извлекает из своего сердца, а не из кошелька. Он отдает несчастным свое время, свои заботы, привязанности, свою личность; при оценке своих благодеяний он едва решается принимать сколько-нибудь в расчет те деньги, которые расточает неимущим.

Не зная, на кого свалить свою неудачу, он приписывает ее своей собственной вине: ибо кто смеет обвинить в капризах предмет его обожания? Унижение самолюбия усиливает скорби отвергнутой любви. Он подходит к Софи уже не с прежней милой доверчивостью сердца, которое чувствует себя достойным ее любви; он становится робким и трепещущим перед ней. Он уже не надеется тронуть ее нежностью, он старается склонить ее жалостью. Иной раз терпение его утомляется и готово перейти в досаду. Софи как бы предчувствует эти вспышки — и взглядывает на него. Один этот взгляд обезоруживает его, пугает; и вот он уже покорнее прежнего.

Смущенный этим упорным сопротивлением и этим непобедимым молчанием, он изливает свое сердце перед своим другом. Он поверяет ему горести этого сердца, сокрушенного тоскою, выпрашивает помощи и советов. «Какая непроницаемая тайна!.. Она заинтересована моею участью — я не могу в этом сомневаться; она не избегает меня, ей даже приятно быть со мною; когда я прихожу, она изъявляет радость, когда уезжаю, — сожаление; она благосклонно принимает мое ухаживанье; услуги мои, по-видимому, нравятся ей; она удостаивает меня советами, иной раз дает даже приказания. И однако ж она отвергает мои просьбы, мои моления. Когда я осмеливаюсь завести речь о женитьбе, она повелительно требует, чтобы я замолчал, и, если я прибавлю хоть слово, она тотчас же уходит от меня. Что за странная причина! Почему, желая, чтобы я принадлежал ей, она не хочет и слышать о том, чтобы быть моею? Вас она уважает, вас любит, вас не посмеет заставить замолчать; поговорите же с ней, заставьте ее говорить; услужите вашему другу, увенчайте свое дело; не делайте ваших попечений губительными для вашего воспитанника. Увы! То, что он получил от вас, составит несчастье его жизни, если вы не завершите его счастья».

Я говорю с Софи и без особенного труда вырываю у нее тайну, которую знал еще прежде, чем она высказалась. Труднее мне было добиться позволения сообщить это Эмилю: наконец, я добиваюсь и пользуюсь им. Это объяснение повергает его в изумление, от которого он никак не может прийти в себя. Для него совершенно непонятна эта деликатность; он не может представить себе, чтобы характер и достоинства зависели от большего или меньшего количества ливров. Когда я даю ему понять, насколько это важно с точки зрения предрассудков, он раздражается смехом и в порыве радости хочет сейчас же ехать, все изорвать, все выбросить, от всего отказаться, чтобы иметь честь быть столь же бедным, как и Софи, и возвратиться достойным ее руки.

«Куда, куда? — говорю я, останавливая его и смеясь, в свою очередь, над его стремительностью,— да когда же созреет этот юный ум? Профилософствовал всю жизнь, научишься ли ты наконец рассуждать? Как ты не видишь, что исполнением своего неразумного намерения ты только ухудшишь свое положение и сделаешь Софи еще более несговорчивой? Не большое преимущество — иметь несколько больше земных благ, чем она, но оно превратится в очень большое, если все эти блага пожертвовать ей; и если гордость ее не может принять первое твое одолжение, то как она решится принять второе? Если ей невыносима мысль, что муж может попрекать ее тем, что обогатил ее, допустит ли она, чтоб он мог попрекать ее тем, что обеднел из-за нее? Несчастный! страшись, чтоб она не заподозрила в тебе этого намерения. Стань, наоборот, экономным и бережливым ради любви к ней, из опасения, чтобы она не обвинила тебя в желании склонить ее с помощью ловкости и в добровольном пожертвовании того, что ты потерял бы по небрежности.

Неужели ты думаешь, что ей внушает страх самое обилие благ и что ее сопротивление обуславливается именно богатством? Нет, дорогой Эмиль, причина его более основательная и важная, заключается в том действии, какое производят богатства на душу обладателя. Она знает, что блага счастья предпочитают всему теми, у кого они есть. Все богачи ставят золото выше заслуг. При взаимном предложении денег и услуг они всегда находят, что первые никогда не покрываются последними, и думают, что перед ними остаются в долгу те, кто всю жизнь провел в служении им и ел их хлеб. Итак, что же нужно делать тебе, Эмиль, чтобы успокоить ее страхи? Дай ей хорошо ознакомиться с тобою — этого не сделаешь в один день. Укажи ей среди сокровищ твоей благородной души, чем можно искупить те, которыми ты имеешь несчастье обладать. Пересиль ее сопротивление с помощью твердости и времени; путем высоких и благородных чувствований заставь ее забыть твои богатства. Люби ее, служи ей, служи ее почтенным родителям. Докажи ей, что заботы эти не есть последствие безумной и преходящей страсти, но вытекают из неизгладимых принципов, запечатленных в глубине твоего сердца. Отдавай должную честь достоинству, обиженному судьбой: это единственное средство примирить его с тем достоинством, которому судьба благоприятствовала».

Легко понять, какие радостные восторги возбуждает эта речь в молодом человеке, сколько уверенности и надежды она придает ему, как радуется его честное сердце, что ему предстоит, с целью угодить Софи, делать как раз то, что он делал бы и сам по себе, если бы даже Софи не существовало или если бы он не был в нее влюблен. Кто хоть чуть понял его характер, тому легко представить поведение его в этом случае.

Итак, я оказался поверенным обоих моих друзей и посредником в их любви! Не прекрасное ли это звание для воспитателя? Оно до того прекрасно, что я во всю жизнь ничего не сделал такого, что меня настолько же возвысило бы в моих собственных глазах и сделало бы столь довольным самим собою. Впрочем, это звание имеет и свои собственные прелести: я недурно принят в доме; мне доверяют надзор за тем, чтобы влюбленные держались на должном пути. Эмиль, трепещущий от мысли, что не угодит мне, никогда не был столь послушным. Маленькая плутовка осыпает меня знаками дружбы, которые, однако, меня не обманывают и из которых я принимаю на свой счет лишь то, что мне приходится. Таким образом она косвенно вознаграждает меня за то почтительное расстояние, в котором она держит Эмиля. В моем лице она оказывает ему тысячу нежных ласк, которых ни за что на свете не согласилась бы оказать ему самому; а он, зная, что я не хочу вредить его интересам, очарован моим добрым согласием с нею. Он утешается, когда на прогулке она отказывается опереться на его руку, если только она предпочла мою. Он безропотно отходит, пожимая мне руку, тихо говоря и голосом, и взглядом: «друг, поговорите за меня». Он с интересом следит за нами взглядом своим: старается прочесть наши чувства на лицах наших и по жестам отгадать смысл речей наших; он знает, что все, что говорится между нами, касается его. Добрая Софи! как радуется твое искреннее сердце, когда, не имея возможности говорить с Телемаком, ты можешь беседовать с его Ментором! С какою милою откровенностью ты позволяешь ему читать в этом нежном сердце все, что там происходит! С каким удовольствием выказываешь ты перед ним все свое уважение к его воспитаннику! С каким трогательным простодушием ты позволяешь ему проникать в чувства более нежные! С каким притворным гневом ты отсылаешь докучливого человека, когда нетерпение заставляет его прерывать твою беседу! С какой восхитительною осадой ты упрекаешь его за нескромность, когда он придет и помешает тебе расхваливать его, слушать о нем и постоянно извлекать из моих ответов все новые и новые основания любить его!

Добившись таким образом того, что его стали терпеть как формально влюбленного, Эмиль пользуется всеми его правами; он говорит, убеждает, пристает, надоедает. Пусть отвечают ему жестко, пусть дурно с ним обходятся — беда невелика, лишь бы его выслушивали. Наконец, хотя не без труда, он добивается того, что и Софи, с своей стороны, соблаговолила открыто принять на себя власть любимой женщины, стала предписывать ему, что он должен делать, командовать им вместо того, чтобы просить, благосклонно принимать вместо того, чтобы благодарить, устанавливать число и время посещений, запрещать ему до такого-то дня приходить или по истечении такого-то часа оставаться. Все это делается не шутя, но очень серьезно; и если она с

трудом согласилась принять эти права, зато она пользуется ими с такою суровостью, которая доводит часто бедного Эмиля до сожаления о том, что он дал их. Но что бы она ни приказывала, он не возражает; и часто, уезжая из послушания, он смотрит на меня взорами, полными радости, которые говорят мне: «Вы видите, как она завладела мною». Между тем гордая девушка исподтишка наблюдает за ним и втайне подсмеивается над гордостью своего раба.

Альбани<sup>37</sup> и Рафаэль, дайте мне на время свою страстную кисть! Божественный Мильтон<sup>38</sup>, научи меня описывать моим грубым пером удовольствия любви и невинности! Но нет,— спрячьте ваши лживые искусства перед здоровою истиной природы. Пусть лишь будут у вас чувствительные сердца, честные души; а затем предоставьте вашему воображению блуждать без стеснения среди восторгов двух юных влюбленных, которые, на глазах родителей и руководителей, без смущения предаются сладкой иллюзии, ласкающей их, и, опьяненные вожделениями, подвигаясь мало-помалу к пределу, переплетают цветами и гирляндами те счастливые узы, которые должны соединять их до могилы. Такая масса очаровательных образов опьяняет меня самого; я собираю их без порядка и последовательности; волнение, ими причиняемое, мешает мне их связывать. О! кто, имея сердце, не сумеет создать в самом себе восхитительной картины различных положений отца, матери, дочери, воспитателя, воспитанника и обоюдного стремления тех и других соединить прелестнейшую парочку, любовь и добродетель которой способна создать для нее счастье?

Теперь-то, почувствовав истинную потребность нравиться, Эмиль начинает сознавать цену приятных талантов, которые он в себе выработал. Софи любит петь, он поет вместе с нею; даже больше того — он ее учит музыке. Она жива и проворна, любит прыгать — он танцует с нею, превращает ее прыжки в па, совершенствует ее. Уроки эти очаровательны, их оживляет резвое веселье; они придают сладость робкой почтительности любви: влюбленному позволительно быть руководителем своей повелительницы.

В доме есть старинные, совершенно расстроенные клавикорды, Эмиль исправляет их и настраивает: он и инструментальный мастер, и настройщик, и столяр; для него всегда было правилом — уметь обходиться без помощи другого во всем, что он мог бы сделать сам. Дом отличается живописным расположением: он снимает различные виды, в чем ему помогает иной раз и Софи, которая украшает ими кабинет отца. Рамки у них не вызолочены, да в этом нет и надобности. Видя, как Эмиль рисует, подражая ему, она по его примеру совершенствуется; она развивает все свои таланты, а прелесть ее служит для всех них украшением. Отцу и матери вспоминается их прежняя роскошь при виде того, как расцветают вокруг них художества, которые одни только и придавали в их глазах этой роскоши цену; любовь разукрасила весь их дом; она одна, без издержек и труда, водворяет в нем те самые удовольствия, которые некогда доставались им лишь с помощью денег и забот.

Как идолопоклонник обогащает ценными для него сокровищами предмет своего поклонения и разукрашивает на алтаре бога, которому поклоняется, точно так и влюбленный, хотя и видит в

своей возлюбленной совершенство, все-таки стремится беспрестанно наделять ее новыми и новыми украшениями. Ей не нужны они для того, чтобы нравиться ему; но у него уже такая потребность — украшать ее: это новый род поклонения, которое он воздает ей; это новый интерес, которым он усиливает удовольствие созерцать ее. Ему кажется, что все прекрасное не на своем месте, если оно не украшает величайшей красоты. Трогательно и вместе с тем смешно видеть, как Эмиль спешит обучить Софи всему, что сам знает, не справляясь, по вкусу ли ей и пригодно ли ей то, чему он хочет ее научить. Он говорит ей обо всем, объясняет все с чисто ребяческим увлечением; он уверен, что стоит ему сказать — и она сейчас же поймет; он заранее представляет себе, с каким удовольствием он будет рассуждать, философствовать с нею; он считает бесполезным всякое приобретение, которое он может выставить ей напоказ; ему чуть не стыдно знать что-нибудь такое, чего она не знает.

И вот он дает ей уроки философии, физики, математики, истории,— словом, всего. Софи с удовольствием подчиняется его рвению и старается извлечь из него пользу. Как доволен Эмиль, когда может добиться того, чтобы давать уроки — на коленях перед нею! Ему чудится, что он видит отверстие неба. Между тем, это положение, стеснительное более для ученицы, чем для учителя, не очень-то благоприятствует обучению. Тут не знаешь, куда деть свои глаза, как избежать преследующего их взора; а когда взоры встречаются, урок идет не лучше прежнего.

Искусство мыслить не чуждо женщинам, но им приходится лишь слегка касаться наук, требующих размышления. Софи постигает все, но удерживает немного. Наибольшие успехи она делает в морали и в вещах, касающихся вкуса; из физики она воспринимает лишь некоторое представление о всеобщих законах и о системе мира. Часто, среди прогулок, при созерцании чудес природы, сердца их, невинные и чистые, дерзают вознестись к ее Творцу; они не боятся его присутствия, они совокупно изливаются перед ним.

Как, двое влюбленных в цвете лет при свидании наедине — и толкуют о религии? Проводят время в изложении своих верований? К чему так уничивать возвышенное? Да, в этом нет сомнения: они толкуют об этом среди очарования, в котором находятся; они видят себя совершенными, они полны любви и с энтузиазмом беседуют о том, что придает всю цену добродетели. Жертвы, приносимые ей, только еще больше возвышают эту цену. Среди восторгов, с которыми приходится бороться, они вместе проливают подчас слезы, которые чище небесной росы, и эти сладкие слезы составляют очаровательную прелесть их жизни: они в самом восхитительном упоении, какое только испытывали человеческие души. Самые лишения усиливают их счастье, и жертвы возвышают их в собственных глазах. Чувственные люди, тела без души! они узнают когда-нибудь и ваши удовольствия и всю жизнь свою будут жалеть о той счастливой поре, когда отказывали себе в них!

Несмотря на это доброе согласие, у них не обходится иной раз без раздоров, даже ссор: возлюбленная — не без капризов, возлюбленный — вспыльчив; но эти маленькие бури проходят

быстро и только упрочивают союз; самая опытность учит Эмиля не очень-то их пугаться; раз.молвки ему не так вредны, как выгодны примирения. Результат первой из них заставил его ожидать того же и от других: он как бы закалился; да, наконец, если он не всегда получает от них такую осязательную выгоду, он все-таки выигрывает тем, что видит подтверждение со стороны Софи того искреннего участия, которое она принимает в его сердечной жизни. Хотите знать, какова же эта выгода? Я тем охотнее расскажу об этом, что пример этот даст мне возможность изложить одно весьма полезное правило и опровергнуть другое, весьма губительное.

Эмиль любит; значит, он не дерзок; еще очевиднее то обстоятельство, что властная Софи не такая девушка, которая стала бы спускать ему вольности. Так как благоразумие имеет свои пределы во всякой вещи, то ее скорее можно было бы обвинять в излишней суровости, чем в излишней снисходительности; и сам отец ее боится иной раз, как бы чрезмерная гордость не перешла в высокомерие. Во время самых уединенных свиданий Эмиль не смеет выпросить ни малейшей ласки, не смеет даже показать, что ему хочется этого; а когда она соблаговолит во время прогулки опереться на его руку — милость эту она не позволяет превращать в право,— он едва осмеливается порою прижать со вздохом эту руку к своей груди. Однако же после продолжительных усилий над собою он отваживается, наконец, поцеловать украдкой ее платье; и несколько раз был настолько счастлив, что она не соблаговолила даже замечать это. Но раз, когда он хотел несколько более открыто проделать эту вольность, она вздумала найти этот поступок очень дурным. Он упорствует, она раздражается; досада вырывает у нее несколько обидных слов; Эмиль не остается без ответа: остальная часть дня проходит в размолвке, и они расстаются весьма недовольными.

Софи не по себе. Мать — ее поверенная; как скрывать от нее свое горе? Это у ней первая размолвка; а размолвка на целый час — такое важное дело! Она раскаивается в своей вине: мать позволяет ей загладить ее, а отец даже приказывает.

На другой день Эмиль, встревоженный, приезжает раньше обыкновенного. Софи занята туалетом матери, отец в той же комнате; Эмиль входит почтительно, но с грустным видом. Едва отец и мать поздоровались с ним, как Софи оборачивается и, подавая ему руку, спрашивает ласковым тоном, как его здоровье. Ясно, что эта хорошенькая ручка для того только и протягивается таким образом, чтобы ее поцеловали: он берет ее и не целует. Софи, несколько пристыженная, принимает ее назад с такою любезностью, какую только может сохранить! Эмиль, не привыкший к женским манерам и не знающий, на что пригодны капризы, нелегко забывает их и не так скоро успокаивается. Отец Софи, видя ее замешательство, окончательно расстраивает ее своими насмешками. Бедная девушка, сконфуженная, униженная, не знает, что ей делать, и отдала бы все в мире, лишь бы иметь смелость расплакаться. Чем более она делает усилий, тем более сжимается ее сердце; наконец, слеза скатывается помимо ее воли. Эмиль видит ее слезу, бросается на колени, берет ее руку и несколько раз целует с увлечением. «Ну, право, вы слишком

добры,— говорит отец, разражаясь смехом, — я меньше проявил бы снисходительности ко всем этим шальным девчонкам и наказал бы уста, меня обидевшие». Эмиль, ободренный этими словами, обращает умоляющий взор в сторону матери и, подметив знак согласия, наклоняется с трепетом к лицу Софи, которая отворачивает голову и, желая спасти уста, подставляет розовую щечку. Нескромный юноша этим не довольствуется; сопротивление ему оказывают не очень большое. И какой поцелуй! Если бы он не был получен на глазах матери. Берегись, строгая девушка! Теперь часто будут просить у тебя — поцеловать платье, с условием, чтобы ты подчас и отказывала в этом.

После этого примерного наказания отец уходит по какому-то делу; мать высылает Софи под каким-то предлогом; затем обращается к Эмилю и говорит ему серьезным тоном: «Милостивый государь! я думаю, что молодой человек, с такими прекрасными задатками, так хорошо воспитанный, как вы, не захочет отплатить бесчестьем семьи за дружбу, которую последняя ему оказывает. Я не сурова и не мнительна; я знаю, что следует извинить резвой юности; это достаточно доказывается тем, что я допустила сейчас на своих же глазах. Посоветуйтесь с своим другом о ваших обязанностях — он вам скажет, какая разница между шутками, на которые дает право присутствие отца и матери, и вольностями, которые позволяют себе в их отсутствие, злоупотребляя их доверием и превращая в опасные сети те самые ласки, которые на их глазах бывают невинными. Он скажет вам, сударь, что дочь моя только тем и виновата была по отношению к вам, что не заметила с первого раза того, чего никогда не должна была допускать; он скажет вам, что лаской бывает лишь то, что принимают за ласку, и что недостойно честного человека злоупотреблять простодушием молодой девушки с целью тайком похитить те самые вольности, которые она может допустить и при всех. Ведь, что публично допускается приличием, это всякому известно; но неизвестно, на чем остановится, под покровом тайны, тот, кто себя одного делает судьей своих прихотей».

После этого заслуженного выговора, обращенного скорее ко мне, чем к моему воспитаннику, благоразумная мать уходит и оставляет меня в изумлении перед столь редкою предусмотрительностью: что дочь у ней на глазах целуют в уста, па это она мало обращает внимания, и приходит в ужас, если кто осмеливается где-нибудь на стороне поцеловать у ее дочери платье. Размышляя о нелепости наших правил, которые истинную порядочность всегда приносят в жертву приличию, я понимаю, почему, чем испорченнее сердца, тем целомудреннее бывают речи, и почему тем строже бывают поступки, чем бесчестнее тот, кто поступает так.

Внушая Эмилю по этому поводу сознание обязанностей, которые уже давно следовало бы втолковать ему, я нападаю на мысль, которая делает, быть может, большую честь Софи и которую я тем не менее никак не решаюсь сообщить своему влюбленному: ясно, что эта мнимая гордость, за которую упрекают ее, есть не более как весьма разумная предосторожность с целью оградиться от самой себя. Сознывая, к своему несчастью, всю пылкость своего темперамента, она страшится

даже первой искры и из всех сил старается уберечься от нее. Не из гордости она строга, а из унижения. Она берет власть над Эмилем из опасения, что не имеет ее над Софи; она пользуется одним, чтобы бороться с другою. Будь она увереннее, она была бы далеко не так горда. Исключите этот пункт — и какая в мире девушка окажется более кроткой и сговорчивой, кто терпеливее ее переносит обиду, кто больше ее боится обидеть другого, у кого меньше притязаний всякого рода, кроме притязаний на добродетель? Притом же горда она не своею добродетелью, а лишь для того, чтобы сохранить эту последнюю; когда же она может без риска отдаваться склонности своего сердца, она даже ласкается к своему возлюбленному. Но осторожная мать даже отцу не рассказывает о всех этих подробностях: мужчины не должны все знать.

Софи не только не возгордилась от этой победы, но даже стала еще более приветливой и менее требовательной по отношению ко всем, кроме, быть может, того, кто вызвал эту перемену. Чувство независимости уже не надувает гордостью ее благородного сердца. Она скромно торжествует победу, стоившую ей свободы. Обращение у нее уже не так свободно и речь застенчивее с тех пор, как она не может слышать слово «влюбленный» не краснея; но самодовольство все-таки проглядывает сквозь ее замешательство, и самая стыдливость эта не есть чувство тяжелое. Разница в ее поведении особенно заметна по отношению к юным посетителям дома. С тех пор как она не боится уже их, крайняя сдержанность ее по отношению к ним значительно ослабела. Сделав выбор, она уже не совестится обнаружить свою любезность перед посторонними; став менее разборчивой по отношению к их достоинствам, в которых она уже не заинтересована, она всегда находит их довольно милыми — как людей, которые не будут иметь к ней никакого отношения.

Если б истинная любовь способна была пускать в дело кокетство, я даже подумал бы, что вижу некоторые следы его в том, как Софи ведет себя с ними в присутствии своего возлюбленного. Можно было бы думать, что, не довольствуясь пылкой страстью, которую она разжигает в нем изысканною смесью ласк и сдержанности, она, кроме того, не прочь раздражать эту страсть некоторою долей беспокойства; можно было бы думать, что, нарочно забавляя своих юных гостей, она с единственной целью помучить Эмиля обнаруживает всю эту прелесть игривости, которую не смеет проявить по отношению к нему самому; но Софи настолько внимательна, настолько добра и рассудительна, что не станет и в самом деле мучить его. Воздерживаться от этого опасного стимула заставляют ее любовь и честность, восполняющая роль благоразумия; она умеет его встревожить и успокоить тогда именно, когда ей нужно; и если иной раз и причиняет ему тревогу, зато никогда не доводит до уныния. Простим же ей хлопоты, причиняемые ею любимому существу — из опасения, что он недостаточно еще связан с нею.

Но какое действие производит эта маленькая уловка на Эмиля? Станет он ревновать или не станет? Вот вопрос, который нужно обсудить; ибо подобные отступления тоже подходят к предмету моей книги и не слишком удаляют меня от сюжета.



Выше я показал, как в том кругу вещей, который зависит лишь от людского мнения, страсть эта проникает в сердце человека. Но в сфере любви другое дело: ревность кажется здесь столь близкою к природе, что трудно думать, чтоб она не вела начала от природы; и даже пример животных, из которых многие ревнивы до бешенства, по-видимому, неоспоримо устанавливает существование и противоположного любви чувствования. Разве людское мнение научает петухов разрывать друг друга в клочья и быков биться насмерть? Отвращение ко всему, что смущает и противодействует нашим наслаждениям, есть движение вполне естественное,— это неоспоримо. До известной степени то же можно сказать и о стремлении к исключительному обладанию тем, что нравится нам. Но когда это желание, став страстью, превращается в ярость или в подозрительную и угрюмую прихоть, тогда другое дело; эта страсть и может быть естественной, и может не быть: нужно разобраться.

Пример, взятый из мира животных, рассмотрен мною раньше, в «Рассуждении о неравенстве»; и теперь, когда я размышляю об этом снова, это исследование кажется мне настолько основательным, что я беру смелость отослать к нему читателей. К различиям, установленным мною в этом сочинении, я добавлю только то, что ревность, происходящая от природы, много зависит от половой способности и что когда эта способность бывает или кажется, ограниченной, то ревность эта достигает своего крайнего предела; ибо тогда самец, измеряя свои права по своим потребностям, не может смотреть на другого самца иначе как на докучливого соперника. У тех же самых пород самки, покоряющиеся всегда первому пришлому, достаются самцам лишь по праву победы и порождают между этими последними вечные битвы.

Напротив, у пород, где соединяются с одною, где совокупление порождает нечто вроде нравственной связи — род брака, самка, принадлежа по выбору самцу, которому отдалась, отказывает обыкновенно всякому другому, и самец, для которого эта предпочтительная привязанность служит ручательством за верность самки, менее тревожится при виде других самцов и мирнее с ними живет. У этих пород самец разделяет заботы о детенышах, и самка — это один из законов природы, которые нельзя созерцать без умиления,— привязанностью к отцу как бы оплачивает за привязанность этого последнего к своим детям.

А рассматривая род человеческий в его первобытной простоте, мы легко замечаем, что, в силу ограниченной способности самца и умеренности его вождений, ему предназначено природой довольствоваться одною всего самкою; это подтверждается численным равенством особей того и другого пола — по крайней мере в наших климатах, — равенством, которого далеко не существует у тех пород, где наибольшая сила самцов собирает по нескольку самок вокруг одного самца. И хотя мужчина не сидит, как голубь, на яйцах, хотя, не имея и сосцов, чтобы кормить детей, он в этом отношении подходит к классу четвероногих, все-таки, раз дети остаются так долго ползающими и слабыми, им и матери трудно было бы обойтись без привязанности отца и забот его, являющихся результатом этой привязанности.

Все наблюдения говорят, значит, за то, что из ревнивой ярости самцов у некоторых пород животных вовсе нельзя выводить заключений для человека; а если южные страны, где утвердилась полигамия, составляют исключение, то этим лишь сильнее подтверждается правило, так как тираническая предосторожность мужей обусловлена многочисленностью жен, а чувство собственной слабости побуждает мужчину прибегать к насилию с целью обойти законы природы.

У нас, где эти самые законы в этом смысле меньше нарушаются, но зато нарушаются в смысле противоположном и более отвратительном, ревность имеет исходное начало скорее в общественных страстях, чем в первобытном инстинкте. В большинстве любовных связей любовник гораздо более ненавидит своих соперников, чем любит свою возлюбленную; он боится, что выслушивают не его одного,— это и есть результат того самолюбия, происхождение которого я указал; тщеславие страдает в нем гораздо более, чем чувство любви.

Притом же наши нелепые учреждения сделали женщин такими притворщицами\*, так разожгли их аппетиты, что трудно рассчитывать даже на самую испытанную привязанность их и выказываемое ими предпочтение никогда уже не обеспечивает от опасности наткнуться на соперников.

В сфере истинной любви — другое дело. Я показал, в упомянутом уже сочинении, что это чувство не так естественно, как думают; большая разница между сладкой привычкой, привязывающей мужчину к его подруге, и той необузданною пылкостью, когда он упивается воображаемой очаровательностью предмета, который он видит уже не таким, каков он в действительности. Эта страсть, жаждущая исключительности и предпочтений, отличается от тщеславия лишь тем, что тщеславие, требующее всего и не дающее ничего взамен, всегда несправедливо, тогда как любовь, дающая столько, сколько требует, сама по себе есть чувство, исполненное справедливости. Притом же она, чем требовательнее, тем легчевернее: та же иллюзия, которая производит ее, делает ее и легко поддающейся убеждению. Если любовь причиняет тревоги, зато уважение доверчиво; а в честном сердце никогда не существовало любви без уважения, потому что каждый любит в любимом предмете лишь те качества, которыми дорожит.

Хорошо выяснив все это, можно с достоверностью сказать, на какого рода ревность Эмиль будет способен: так как эта страсть едва ли имеет зародыш в человеческом сердце, то, значит, форма ее определяется единственно воспитанием. Влюбленный и ревнивый Эмиль будет не гневным, подозрительным, недоверчивым, но деликатным, чувствительным и робким; он будет скорее встревоженным, чем раздраженным; скорее будет стараться снова привлечь свою возлюбленную, а не угрожать своему сопернику; он устранил его, если сможет, как препятствие, но не станет ненавидеть, как врага; если он будет его ненавидеть, то не за то, что он дерзнул оспаривать у него сердце, на которое он сам претендует, а за то, что он подвергает его действительной опасности потерять это сердце; он не будет глупо обижаться, в несправедливой

своей гордости, на то, что осмеливаются вступать с ним в конкуренцию; понимая, что право предпочтения основано единственно на достоинствах и что честь заключается в успехе, он удвоит старания, чтобы стать милым, и, вероятно, будет иметь успех. Великодушная Софи, раздражив его любовь некоторыми тревогами, сумеет успокоить их, вознаградить за них, и соперники, которые терпелись лишь с целью испытать его, скоро будут устранены.

\* Подразумеваемый здесь мною род притворства противоположен тому, который приличен им и которым наделила их природа: в одном случае они скрывают те чувства, которые у них есть, в другом — выдумывают такие, которых не имеют. Все светские женщины всю жизнь свою тщеславятся своею мнимою чувствительностью — и никогда ничего не любят, кроме самих себя.

Но куда я незаметно забрался? Эмиль, что стало с тобою? Могу ли я признать в тебе своего воспитанника? Как низко ты упал! Где тот молодой человек, столь сурово воспитанный, презиравший **все** невзгоды климата, обрекавший тело на самые грубые работы и подчинявший душу свою одним законам мудрости,— человек, недоступный предрассудкам, страстям, любивший только истину, уступавший только разуму, не зависевший ни от чего, стоящего вне его? Теперь, изнежившись в праздной жизни, он позволяет руководить собою женщинам; их забавы стали его занятием, их воля — его законом; молодая девушка решает его участь; он перед ней ползает и сгибается; серьезный Эмиль стал игрушкой ребенка!

Такова смена сцен в жизни; у каждого возраста есть свои пружины, приводящие его в действие, но человек всегда один и тот же. В десять лет им управляли пирожки, в двадцать — управляет возлюбленная, в тридцать — удовольствия, в сорок — честолюбие, в пятьдесят — скупость; когда же ему гнаться за одною мудростью? Счастлив, кого ведут к ней помимо воли! Что за дело до того, каков руководитель,— лишь бы он вел к цели! Герои, сами мудрецы платили эту дань человеческой слабости; и тот, в пальцах которого ломались веретена, не перестал вследствие этого быть великим человеком<sup>39</sup>.

Если хотите распространить на целую жизнь действие удачного воспитания, не покидайте и в пору юности добрых привычек детства; и если ваш воспитанник стал тем, чем должен быть, постарайтесь, чтоб он был одним и тем же во все времена. Вот та окончательная отделка, которую вы должны дать своей работе. Вот для чего особенно важно оставлять при молодых людях воспитателя; если бы не это, то нечего бояться, что они не сумеют полюбить без него. Наставников и особенно отцов обманывает мысль, что одним образом жизни исключается другой, что лишь только вырастешь, сейчас же нужно отказаться от всего, что делал, будучи малолетним. Если б это было так, то к чему же служили бы все попечения о детстве, коль скоро хорошие или дурные привычки этого возраста исчезают вместе с ним, коль скоро вступление в новый образ жизни необходимо влечет за собою и новый образ мыслей?

Как перерыв в памяти производят лишь тяжкие болезни, так и перерыв в нравах производится только сильными страстями. Хотя наша вкусы и наклонности меняются, но перемена эта, иной раз

довольно резкая, смягчается привычками. При взаимном чередовании наклонностей, как при искусном оттенении цветов, ловкий художник должен сделать переходы нечувствительными, должен перемешивать и соединять краски и, чтобы ни одна не бросалась резко в глаза, положить некоторые по всему полю. Правило это подтверждается опытом; люди невоздержанные ежедневно меняют привязанности, вкусы, чувства, и вместо всякого постоянства у них оказывается привычка к переменам; но человек урегулированный всегда возвращается к своим прежним обычаям и не теряет даже в старости охоту к удовольствиям, которые любил ребенком.

Если вы постараетесь, чтобы, переходя в новый возраст, молодые люди не относились презрительно к тому, который предшествовал, чтобы, перенимая новые привычки, они не покидали прежних и что хорошо, то любили бы делать всегда, невзирая на то, в какое время начали,— только тогда вы обеспечите свое дело и будете спокойны на их счет до конца их дней; ибо самый опасный переворот падает на тот возраст, который теперь под вашим наблюдением. Так как этого возраста всегда жаль, то и впоследствии с трудом расстаешься со вкусами, сохранившимися от этой поры, тогда как в случае резкого перерыва к ним не возвратишься уже во всю жизнь.

Большинство привычек, которые вы думаете привить детям и молодым людям, не бывают истинными привычками, потому что те усваивают их лишь насильно и, следуя им помимо воли, ждут лишь случая избавиться от них. Нельзя полюбить тюрьму вследствие долговременного в ней пребывания: привычка здесь, вместо того чтобы уменьшать отвращение, увеличивает его. Не таково положение Эмиля, который в детстве все делал не иначе как добровольно и с удовольствием и, став взрослым, продолжает поступать так же; для него власть привычки — новое прибавление к прелестям свободы. Деятельная жизнь, ручная работа, упражнение, движение сделались ему столь необходимыми, что он не мог бы отказаться от этого без страдания. Сразу принудить его к вялой и сидячей жизни значило бы заточить его, заковать, держать в насильственном состоянии принуждения; я уверен, что характер его и здоровье одинаково пострадали бы от этого. Он едва может свободно дышать в закупоренной комнате; ему нужны свежий воздух, движение, усталость. Даже у ног Софи он не может удержаться, чтобы не заглянуть иной раз одним глазком в поле,— ему так и хочется пробежаться по нему вместе с нею. Он остается, однако, если нужно оставаться; но он беспокоен, взволнован, он как бы силится вырваться: остается он потому, что в оковах. «Итак, вот каким потребностям,— скажете вы,— он подчинил его; вот зависимость, в которую он поставил его». И все это правда: я подчинил его званию человека.

Эмиль любит Софи; но какие прелести прежде всего привязали его? Способность чувствовать, добродетель, любовь ко всему честному. Любя эту любовь в своей возлюбленной, разве сам он потерял все это? Ради чего, в свою очередь, сдалась Софи? Ради всех чувств, которые свойственны сердцу ее возлюбленного, ради уважения к истинным благам, умеренности, простоты,

великодушного бескорыстия, презрения к роскоши и богатствам. Эмиль имел эти добродетели раньше, чем любовь сделала их обязательными для него. В чем же Эмиль действительно изменился? У него теперь новые основания — быть самим собою: вот единственный пункт, в котором он отличается от того, чем был.

Я не могу себе представить, чтобы, читая эту книгу с некоторым вниманием, кто-либо мог подумать, что вся обстановка настоящего положения Эмиля сложилась вокруг него случайно. Разве это случайность, что, в то время как в городах столько милых девушек, возлюбленную его приходится отыскивать лишь в глуши отдаленного убежища? Разве случайно сошлись они? Разве случайно им нельзя жить в одной местности? Разве случайно убежище его оказывается в такой дали от нее? Разве случайно он так редко видит ее и принужден удовольствию изредка видеть ее покупать ценою такой усталости? «Он изнеживается», — говорите вы. Напротив, он закаляется; чтобы устоять против утомления, которому подвергает его Софи, нужно быть именно таким сильным человеком, каким я его сделал.

Он живет за две добрых мили от нее. Это расстояние — те же кузнечные мехи; им-то я закаляю стрелы любви. Если б они жили бок о бок или если б он мог приезжать на свиданья, сидя на мягких подушках в хорошей карете, он любил бы ее — в свое собственное удовольствие, любил бы по-парижски. Неужели Леандр захотел бы умереть за Геро<sup>40</sup>, если бы море не разделяло их? Читатель, уволь меня от лишних слов; если ты способен понять меня, то легко проследишь мои правила в подробностях, которые привожу я.

В первые разы, когда мы отправлялись к Софи, мы брали лошадей, чтобы поскорее быть на месте. Мы находим это средство удобным и в пятый уже раз берем лошадей. Нас ждали. В полумили почти от дома мы замечаем на дороге общество. Эмиль всматривается, сердце у него бьется; подъезжаем ближе, он узнает Софи, бросается долой с коня, спешит, летит,— и вот уже в кругу любезного семейства. Эмиль любит хороших лошадей; его лошадь резва — она чувствует себя свободною, вырывается и летит через поле; я гонюсь за ней, с трудом настигаю и привожу ее назад. Софи, к несчастью, боится лошадей, и я не осмеливаюсь приблизиться к ней. Эмиль ничего не видит; но Софи сообщает ему па ухо, какой он труд взвалил на своего друга. Эмиль прибегает переконфузившись, берет лошадей и остается сзади: каждому, как и подобает, свой черед... Он уезжает первым, чтобы развязаться с нашими верховыми лошадьми. Оставляя таким образом Софи позади себя, он уже находит лошадь не особенно удобным средством сообщения. Он возвращается пешком, весь запыхавшись, и встречает нас на половине дороги.

При следующем путешествии Эмиль уже не хочет брать лошадей. «Отчего же? — говорю я, — нам стоит только взять слугу, который и будет смотреть за ними», — «Ах! — возражает он, — к чему нам так обременять почтенное семейство? Вы хорошо видите, что им хочется всех накормить, и людей, и лошадей». — «Правда,— говорю я,— они отличаются благородным гостеприимством бедности. Богачи — скупые при всей своей роскоши — дают помещение только

друзьям, но бедняки дают приют и лошадям своих друзей». — «Идем пешком! — говорит он, — неужели вы не решаетесь на это? Ведь вы так охотно разделяете утомительные удовольствия со своим питомцем». — «С величайшей охотой», — отвечаю я в ту же минуту, тем более, что и влюбленный, как мне кажется, не особенно желает производить своей любовью столько шума.

Приближаясь, мы встречаем мать и дочь еще дальше от дома, чем в тот раз. Мы бежим, как стрела. Эмиль весь в поту; дорогая ручка устаивает провести платком по его щекам. Немало переведется в свете лошадей, прежде чем мы решимся пользоваться их услугами.

Однако же довольно жестоко не иметь возможности проводить вечер вместе. Лето проходит, дни начинают убывать. Несмотря на все наши возражения, нам не позволяют возвращаться домой ночью; а когда мы прибываем не с утра, приходится уходить чуть не сейчас же после прибытия. Сожалея и беспокоясь о нас, мать, наконец, приходит к мысли, что хотя ночевать нам в доме неприлично, но можно найти помещение в деревне, чтобы иной раз переночевать там. При этих словах Эмиль хлопает в ладоши и трепещет от радости, а Софи, сама того не замечая, чаще целует свою мать в тот день, как та нашла это средство.

Мало-помалу нежная дружба и невинная короткость отношений устанавливаются и упрочиваются между нами. В дни, назначаемые Софи или ее матерью, я являюсь обыкновенно с своим другом; иной раз я отпускаю и его одного. Доверие возвышает душу, а с мужчиной нельзя уже обходиться как с ребенком; да и в чем же выразился бы мой успех до этой поры, если бы воспитанник мой не заслуживал моего хорошего мнения? Случается и мне отправляться без него; тогда он грустит, но не ропщет — да и к чему служил бы этот ропот? Притом же он хорошо знает, что я не стану вредить его интересам. Идем ля вместе или порознь, нас, разумеется, не останавливает никакая погода, и мы гордимся, если приходим в таком состоянии, что нас можно пожалеть. К несчастью, Софи запрещает нам добиваться этой чести и не велит приходиться в дурную погоду. На этот единственный раз она оказывается непокорной правилам, которые я втайне диктую ей.

Раз он отправился один, и я ждал его лишь на следующий день; но он, вяжу, приходит в тот же вечер, и я говорю ему, обнимая его: «Как! Дорогой Эмиль, ты возвратился к твоему другу?» Но вместо ответа на мои ласки он возражает с некоторой досадой: «Не думайте, что я по своей воле возвращаюсь так скоро, — я пришел против воли. Это она захотела, чтоб я шел; я пришел из-за нее, а не из-за вас». Тронутый этою наивностью, я снова обнимаю его и говорю: «Откровенная душа, искренний друг! Не прячь от меня того, что мне принадлежит. Если ты пришел из-за нее, то говоришь ты это из-за меня: твое возвращение — это ее дело, но откровенность твоя — это мое дело. Сохраняй навсегда эту благородную искренность прекрасных душ. Посторонним можно предоставить думать, что им угодно; но преступно позволять другу вменять нам в заслугу то, что мы сделали не для него!»

Я ни за что не стал бы уменьшать в его глазах цену этого признания, показывать, что здесь больше любви, чем великодушия, что он не столько хочет отнять у себя заслугу этого возвращения, сколько приписать ее Софи. Но вот чем, сам того не замечая, он открывает мне глубину своего сердца: если б он шел покойно, тихими шагами, погруженный в любовные мечты, то Эмиль, значит, есть возлюбленный Софи,— и только; если же он возвращается большими шагами, разгоряченным и хоть чуть ворчливым, то, значит, Эмиль — друг своего Ментора.

По этим распоряжкам видно, что мой молодой человек далеко не проводит всего своего времени с Софии видится с нею не столько, сколько ему хотелось бы. Ему позволяют всего одно или два путешествия в неделю; и посещения его часто длятся лишь полдня и редко переходят за следующее утро. У него гораздо больше уходит времени на ожидание свиданий или на приятные о них воспоминания, чем на действительные свидания. Даже то время, которое он уделяет на свои путешествия, уходит больше на ходьбу туда и обратно, чем на свидание с нею. Наслаждения его, истинные, чистые, прелестные, но более воображаемые, чем действительные, разжигают его любовь, но не изнеживают его сердца.

В те дни, когда он не видит ее, он не ведет праздной и сидячей жизни. В эти дни он все тот же Эмиль: он нисколько не преобразился. Всего чаще он бегаёт по окрестным полям, выслеживая их естественную историю; он наблюдает, исследует почвы, их произведения, способ обработки; сравнивает работы, которые видит, с теми, о которых знает; ищет причин этого различия; если считает другие способы более пригодными сравнительно с местным способом, то объясняет их земледельцам; предлагая лучшую форму плуга, он даёт для этой цели свои рисунки; находя пласт мергеля, учит их, как употреблять это неизвестное в стране удобрение; часто он и сам берётся за работу; поселяне дивятся, видя, как он искуснее обращается с их орудиями, чем они сами, видя, как он глубже и прямее их проводит борозды, ровнее сеет, с большим пониманием проводит гряды. Они не смеются над ним, как над пустым краснобаем по части земледелия; они видят, что он действительно знаком с ним. Словом, свое усердие и заботы он распространяет на все, что касается прямой и общей пользы; он даже этим не ограничивается: посещает дома крестьян, осведомляется об их состоянии, семействе, числе детей, количестве принадлежащей им земли, качестве продукции, о местах сбыта, средствах, повинностях, долгах и т. д. Денег он даёт мало, зная, что они оказываются обыкновенно дурно употребленными, но зато он сам следит за употреблением и старается, чтобы оно, помимо их воли, было полезным. Он снабжает их рабочими и часто им самим уплачивает поденщину за те работы, которые для них необходимы. Одному он заставляет поправить или покрыть полуразвалившуюся избу; другому помогает распахать землю, заброшенную за недостатком средств; третьего снабжает коровой, лошадью, всякого рода скотиной взамен той, которой он лишился; два соседа готовы затеять тяжбу — он уговаривает их, мирит; заболевает крестьянин — он доставляет ему уход, ухаживает за ним сам\*; другого теснит сильный сосед — он оказывает ему покровительство и ходатайствует за него;

бедные молодые люди нравятся друг другу,— он помогает им устроить брачную жизнь; добрая женщина лишилась своего милого ребенка — он навещает ее, утешает и не очень-то спешит убраться вон: он не пренебрегает бедняками, не торопится покинуть несчастных; он часто обедает у крестьян, которым помогает, обедает и у тех, которые не имеют в нем нужды: делаясь благодетелем одних в другом других, он не перестает быть их ровнею. Словом, он и лично всегда делает столько же добра, сколько своими деньгами.

\* Ухаживать за больным крестьянином — не значит давать ему слабительное, пичкать лекарствами, посылать за лекарем. При болезни бедняки эти нуждаются вовсе не в этом, а в лучшем и более изобильном питании. Попоститесь-ка сами, когда у вас лихорадка; но когда ею страдают крестьяне, дайте им мяса и вина; почти все их болезни происходят от нищеты и истощения, лучшая микстура для них — в вашем погребе, единственным аптекарем для них должен быть ваш мясник.

Иной раз он направляет свои обходы в сторону счастливого убежища; он мог бы заметить Софи невзначай, видеть ее гуляющей, не будучи ею замеченным; но Эмиль всегда чужд лукавства в своем поведении, он не умеет и не хочет ни в чем хитрить. Он обладает тою милою деликатностью, которая ласкает и питает самолюбие добрым мнением о самом себе. Он строго выдерживает изгнание и никогда не подходит настолько близко, что мог бы случайно добиться того, чем хочет быть обязан одной Софи. Зато он с удовольствием бродит по окрестностям, разыскивая следы ног своей возлюбленной, умиляясь трудами, которые она вынесла, и экскурсиям, которые она делала из угождения к нему. Накануне дней, когда он должен видаться с нею, он идет на какую-нибудь соседнюю ферму и заказывает ужин на следующий день. Прогулка как будто невзначай направляется как раз в ту сторону; мы заходим как бы случайно и находим фрукты, пирожки, сливки. Лакомка Софи не остается равнодушной к этой внимательности и охотно пользуется нашею предусмотрительностью, ибо и на мою долю всегда выпадает благодарность, хотя бы я и не принимал никакого участия в том, чем она вызвана: это детская уловка, к которой прибегают, когда стесняются благодарить прямо. Мы с отцом едим пироги и пьем вино; но Эмиль разделяет трапезу с женщинами, подкарауливая как бы украсть тарелку сливок, в которую опускалась ложка Софи.

По поводу пирожков я напоминаю Эмилю о его прежних бегах. Всем хочется знать, что это за бега; я объясняю, поднимается смех; у него спрашивают, умеет ли он и теперь бегать.— «Лучше, чем когда-либо! — отвечает он.— Было бы очень жаль, если б я разучился». Одному из этой компании очень хотелось бы видеть это, но он не осмеливается высказаться; другой берется сделать предложение; предложение принимается: собирают двух-трех молодых людей из окрестностей, назначается приз и, для большего сходства с прежними играми, кладут на конечный пункт пирог. Все наготове; отец дает сигнал, ударяя в ладоши. Проворный Эмиль летит во весь дух и оказывается у конца арены в то время, как мои три пентюха едва еще тронулись с места.



Эмиль получает приз из рук Софи и не менее великодушно, чем Эней<sup>41</sup>, раздает подарки всем побежденным.

Среди блеска триумфа Софи осмеливается вызвать победителя и хвалится, что бегаёт не хуже его. Он не отказывается вступить с нею в состязание; и пока она готовится к выступлению на арену, пока подбирает с обеих сторон свое платье и, больше желая выставить на глаза Эмиля свою стройную ножку, чем победить его в этой борьбе, оглядывает, достаточно ли коротка ее юбка, Эмиль что-то шепчет матери; та улыбается и кивает в знак одобрения. Затем он становится рядом со своей соперницей, и едва подали сигнал, как она летит уже, как птица.

Женщины не созданы для бега; если они бегут, то для того, чтобы их нагнали. Бег не единственная вещь, в которой они неловки, но это единственная, в которой они неграциозны: локти, отодвинутые назад и плотно прижатые к телу, придают им смешной вид, а высокие каблуки, на которые они забираются, придают им сходство с кузнечиками, если последним захотелось бы бегать вместо скаканья.

Эмиль, не предполагая, что Софи бегаёт лучше других женщин, не удостоивает тронуться с места и с насмешливой улыбкой смотрит, как она пустилась. Но Софи легка и носит низкие каблуки; она не нуждается в ухищрениях, чтобы показать, что у нее маленькая ножка; она летит вперед с такою быстротой, что если он хочет догнать эту новую Аталанту<sup>43</sup>, то ему нельзя терять ни минуты. Итак, он, в свою очередь, пускается вперед, подобно орлу, ринувшемуся на свою добычу; он преследует ее, мчится по пятам, наконец, настигает совершенно запыхавшуюся, тихонько охватывает левою рукою, поднимает, как перышко, и, прижимая к сердцу эту милую ношу, заканчивает в таком виде бег; он дает ей первой дотронуться до цели, затем с криком: «Победа за Софи!» преклоняет перед нею колени и признает себя побежденным.

К этим разнообразным занятиям присоединяется и занятие ремеслом, которому мы обучились. Раз, по крайней мере, в неделю и всякий день, когда дурная погода не позволяет нам бродить по полям, мы отправляемся с Эмилем работать у мастера. Работаем мы не для вида, не как люди из высшего звания, но взаправду, как настоящие работники. Отец Софи, придя раз к нам, застаёт нас за работой и с восхищением передает о всем виденном жене и дочери. «Сходите,— говорит он,— посмотрите этого молодого человека в мастерской, и вы увидите, презирает ли он занятия бедняка». Можно представить, с каким удовольствием слушает эти слова Софи! Об этом не раз заводят речь; им хочется застать его за работой! Расспрашивают меня, не подавая виду, с какою это целью; разузнав, когда у нас рабочий день, мать и дочь берут коляску и являются в этот день в город.

Входя в мастерскую, Софи замечает на противоположном конце молодого человека в куртке, с небрежно подвязанными волосами, столь занятого своим делом, что он ничего не видит; она останавливается и делает знак матери. Эмиль, с долотом в одной руке и молотком в другой, заканчивает гнездо; затем он перепиливает доску и кладет конец ее под гребенку для полирования.

Зрелище это не возбуждает в Софи смеха: оно трогает ее, оно достойно уважения. Женщина! Чти твоего главу: он работает для тебя, он зарабатывает твой хлеб, он кормит тебя. Вот — мужчина!

В то время как они внимательно наблюдают за ним, я замечаю их, дергаю Эмиля за рукав; он оборачивается, видит их, бросает инструменты и кидается к ним с криком радости. Успокоившись после первых порывов, он усаживает их и снова принимается за работу. Но Софи не может усидеть на месте; она с живостью поднимается, обходит мастерскую, рассматривает инструменты, щупает глянец досок, подбирает с полу стружки, смотрит на наши руки и потом заявляет, что это ремесло ей нравится, так как оно опрятно. Шалунья пробует даже подражать Эмилю. Своею белою и слабою ручкой проводит по доске рубанком; рубанок скользит и не забирает дерева. Мне видится в воздухе Амур, смеющийся и хлопающий крыльями; мне слышится, как испускает он крики радости и восклицает: «Геркулес отомщен!»<sup>43</sup>

Мать меж тем спрашивает мастера. «Сударь, сколько вы платите этим ребятам?» — «Я плачу им, сударыня, по 20 су на день и кормлю их; но если б этот молодой человек захотел, он зарабатывал бы гораздо больше, так как он лучший работник в округе». — «Двадцать су на день и кормите их!» — восклицает мать, посматривая на нас с умилением. «Точно так, сударыня!» — отвечает мастер. При этих словах она подбегает к Эмилю, обнимает его, принимает к груди, проливая слезы, и, будучи не в силах что-либо сказать, повторяет много раз: «Сын мой, сын мой!»

Проведя некоторое время в беседе с нами, но не отрывая нас от работы, мать, наконец, говорит дочери: «Едем! Становится поздно; нельзя заставлять других ждать нас». Затем, подойдя к Эмилю, она треплет его по щеке и говорит: «Ну, хорошо, прелестный работник! А с нами не хотите вы ехать?» — «Я занят, — отвечает он очень грустным тоном, — спросите у хозяина». Спрашиваю у хозяина, не может ли он обойтись без нас. Он отвечает, что не может. «У меня, — говорит, — спешная работа, и мне послезавтра нужно сдать ее. Рассчитывая на этих господ, я отказал рабочим, приходившим наниматься; если эти уйдут, я не знаю, откуда взять других, и не смогу сдать работу в обещанный срок». Мать не возражает и ждет, что скажет Эмиль. Эмиль опускает голову и молчит. «Сударь! — говорит она, несколько изумленная этим молчанием. — Что же вы на это скажете?» Эмиль бросает нежный взгляд на дочь ее и отвечает одной фразой: «Вы хорошо видите, что я должен остаться». Затем дамы отправляются и оставляют нас. Эмиль провожает их до двери, следит за ними глазами, насколько можно вздыхает, возвращается и молча принимается за работу.

Дорогою обиженная мать говорит дочери о странности такого поступка. «Как! — восклицает она, — неужели так трудно было удовлетворить хозяина и избавиться от обязательства оставаться? Неужели этот молодой человек, столь расточительный, тратящий деньги без всякой необходимости, не умеет достать их, когда нужно?» — «Нет, мама, — отвечает Софи, — не дай бог, чтоб Эмиль придавал столько значения деньгам, чтобы он пользовался ими для уклонения от личных обязательств, для того чтобы безнаказанно нарушать данное слово и принуждать к этому

другого! Я знаю, что ему легко было бы вознаградить мастера за небольшой убыток, причиненный его отсутствием; но вместе с этим он поработал бы свою душу богатством, привыкал бы замещать ими свои обязанности и думать, что он избавлен от всего, если только платит. У Эмиля другой образ мыслей, и я надеюсь, что не буду причиной его перемены. Неужели вы думаете, ему легко было остаться? Мама! Не обманывайтесь: он остался из-за меня; я это хорошо видела в его глазах».

Это не значит, чтобы Софи снисходительно относилась к ухаживанью, вытекающему из истинной любви; напротив, она властна, требовательна; она лучше хотела бы вовсе не быть любимой, чем быть любимой слегка. Она обладает благородною гордостью, свойственной достоинству, которое сознает себя, уважает себя и хочет, чтобы его так же почитали, как она себя почитает. Она пренебрегла бы сердцем, которое не умело бы чувствовать всей цены ее сердца и не любило бы ее за добродетели столько же и даже больше, чем за ее прелести,— сердцем, которое не предпочитало бы ей своего собственного долга, а ее самое — всякой иной вещи. Она не захотела бы иметь возлюбленного, который не знал бы иного закона, кроме ее воли; она хочет царить над человеком, но так, чтобы не исказить его. Таким-то образом, уничивив спутников Улисса, Цирцея презирает их и отдается тому одному, кого не смогла преобразить<sup>44</sup>.

Но, оставив в стороне это ненарушимое и священное право, Софи крайне ревниво хранит все свои и внимательно следит, насколько строго уважает их Эмиль, с каким усердием он исполняет ее желания с какою ловкостью предугадывает их, с какою бдительностью является в указанную минуту: она хочет, чтобы он и не опаздывал, и не опережал срока, хочет чтобы он был точен. Опережать — значит себя предпочитать ей, опаздывать — значит пренебрегать ею. Пренебрегать Софи! Случись это раз — другого вовеки не будет! Несправедливое даже подозрение могло бы погубить все; но Софи справедлива и отлично умеет заглаживать свою вину.

Раз вечером нас ждали; Эмиль получил приказание. Вышли встречать нас. Мы не приходим. Что с ними стало? Какое несчастье постигло их? Неужели не будет известий с их стороны? Вечер прошел в ожидании. Бедная Софи считает нас умершими; она безутешна, она мучится и проводит всю ночь в слезах. С вечера снаряжен был посол, чтобы осведомиться относительно нас и на другой день утром принести известия. Посол возвращается в сопровождении другого, отправленного с пашей стороны с устными извинениями и заявлением, что мы живы и здоровы. Минуту спустя являемся и мы сами. Тогда сцена меняется; у Софи высыхают слезы, а если она и проливает их, то это слезы ярости. Ее гордое сердце не унижается, хотя она и уверилась, что мы живы: Эмиль жив — и заставлял понапрасну ждать себя.

При нашем приходе она хочет запереться. Ей велят остаться — приходится оставаться; но тотчас же, покорившись, она принимает спокойный и довольный вид, чтобы поразить им других. Отец встречает нас и говорит: «Вы произвели переполох между вашими друзьями; здесь есть люди, которые нелегко вам это простят». — «Кто же это, папа?» — спрашивает Софи с самой

любезной улыбкой, какую только способна притворно выказать. «Что тебе за дело? — отвечает отец,— лишь бы это не ты». Софи не возражает и опускает глаза к своей работе. Мать принимает нас с холодным и натянутым видом. Смущенный Эмиль не осмеливается подойти к Софи. Она заговаривает с ним первая, спрашивает, как он здоров, приглашает садиться и так удачно притворяется, что бедный молодой человек, ничего еще не понимающий в языке сильных страстей, обманут этим хладнокровием и чуть сам не готов разобидеться.

Чтобы вывести его из заблуждения, я беру руку Софи и хочу поднести ее к губам, как иной раз делаю; она резко отнимает ее с словом «сударь!», так странно произнесенным, что это невольное движение души в один момент раскрывает Эмилю глаза.

Сама Софи, видя, что изменила себе, уже меньше притворяется. Ее наружное хладнокровие заменяется ироническим презрением. На обращенные к ней речи она отвечает односложными словами, произнесенными медленным и неуверенным тоном, как будто боясь, чтобы в них не слишком резко проглядывало негодование. Эмиль, полуживой от ужаса, смотрит на нее со скорбью и старается привлечь на себя ее взоры, чтобы лучше прочесть в них ее истинные чувства. Софи, еще более раздраженная его самоуверенностью, бросает на него такой взгляд, что отнимает у него всякую охоту беспокоить ее в другой раз. Эмиль, переконфуженный и трепещущий, не смеет уже, к великому для себя счастью, ни заговорить, ни взглянуть на нее; ибо, будь он даже неповинен, она никогда ему не простила бы, если б он отнесся пренебрежительно к ее гневу.

Видя, что теперь моя очередь и что пора объясниться, я подхожу снова к Софи. Я снова беру ее руку, и она уже не отнимает ее, ибо готова пасть в обморок. Я нежно говорю ей: «Дорогая Софи, мы попали в беду, но вы рассудительны и справедливы, не осудите нас, не выслушав: слушайте же». Она ничего не отвечает, и я веду такую речь:

«Вчера мы отправились в четыре часа; нам велено было явиться в семь, а мы всегда назначаем себе больше времени, чем это необходимо, с целью отдохнуть по дороге сюда. Мы уже прошли три четверти пути, как вдруг до нашего слуха доносятся скорбные рыдания; они раздавались из ущелья, в некотором от нас расстоянии. Мы прибегаем на крики и находим несчастного поселянина, который, возвращаясь из города на лошади немного под хмельком, упал с нее и так неудачно, что сломал себе ногу. Мы кричим, зовем на помощь, никто не отзывается; мы пытаемся посадить раненого па лошадь, но совершенно безуспешно: при малейшем движении несчастный испытывает страшные муки. Мы решили, наконец, привязать лошадь в лесу, в сторонке; затем, образовав из рук носилки, укладываем на них раненого и несем его, как только можно осторожнее, к нему домой, следуя направлению, которое он пай указывал. Переход был продолжительный; несколько раз приходилось отдыхать. Наконец, мы добираемся, истомленные усталостью; к нашему горькому изумлению, оказывается, что дом этот нам уже знаком и что несчастный, которого мы с таким трудом несли домой, был тем самым крестьянином, который так сердечно

принял нас в день первого нашего прибытия сюда. Среди тревоги, в которой мы были, мы не могли до этого момента признать его.

У него было двое маленьких детей. Жена его, готовившаяся подарить ему третьего, так была поражена случившимся, что почувствовала острые боли и через несколько часов разрешилась от бремени. Что было делать в таком положении, в уединенной избушке, где нельзя было надеяться ни на какую помощь? Эмиль решился захватить лошадь, оставленную нами в лесу, сесть на нее и мчаться во всю прыть в город за лекарем. Лошадь он отдал лекарю; сам же, не найдя сиделку, возвратился назад пешком со слугою, послав предварительно к вам нарочного, меж тем как я, попав в такое безысходное, как видите, положение между мужчиной со сломанною ногой и женщиною при родах, подготавливал пока в доме все, что было необходимо, насколько я мог предвидеть, для помощи им обоим.

Я не стану излагать вам остальных подробностей — не в них дело. До двух часов пополудни мы не имели — ни тот, ни другой — ни минуты отдыха. Наконец, к рассвету мы достигли нашего убежища, здесь поблизости, где и ждали часа вашего пробуждения, чтобы отдать вам отчет в своем приключении».

Я смолк, ничего не прибавив. Но прежде, чем кто-либо заговорил, Эмиль подходит к своей возлюбленной и, возвышая голос, говорит ей с большею твердостью, чем я ожидал: «Софи! вы — решительница моего жребия; вы отлично это знаете. Вы можете заставить меня умереть с горя; но не надейтесь заставить меня забыть права человечности; они для меня священнее ваших прав, и я никогда не откажусь от них ради вас».

Софи при этих словах вместо ответа поднимается, обнимает его и целует в щеку; затем, протягивая ему с неподражаемою грацией руку, говорит: «Эмиль! бери эту руку: она твоя. Будь, если захочешь, моим супругом и моим повелителем: я постараюсь заслужить эту честь».

Едва она обняла его, как восхищенный отец хлопает руками с криком: «Бис! Бис!» и Софи, не заставляя себя упрашивать, тотчас дважды целует Эмиля в другую щеку; но почти в тот же момент, испуганная всем тем, что сделала, спасается в объятиях матери и прячет свое раскрасневшееся от стыда лицо.

Я не стану описывать общей радости; всякий должен это понять. После обеда Софи спрашивает, далеко ли это будет, если посетить этих бедных больных. Этому желает Софи, притом же это доброе дело. Приходят: они оказываются на двух отдельных кроватях — одну велел принести Эмиль; вокруг них — люди, пришедшие им помочь,— об этом позаботился Эмиль. Но при всем том они оба так плохо устроены, что страдают столько же от своего положения, сколько от болезни. Софи велит подать себе передник доброй женщины и получше укладывает ее в постели; затем она то же делает и с мужем: ее нежная и легкая рука умеет отыскать все, что им мешает, и помягче уложить их страждущие члены. Они чувствуют себя облегченными уже тем, что она около них; она как будто предугадывает все, что может их беспокоить. Эта девушка, столь

деликатная, не боится ни грязи, ни дурного запаха и умеет устранить то и другое, не прибегая ни к чьим услугам и не тревожа больных. Та, которую видят всегда столь скромною, а иной раз столь брезгливою, которая ни за что в мире не коснулась бы пальцем постели мужчины, без всякого смущения поворачивает и перемещает раненого и старается уложить его в такой позе, чтобы ему удобно было долго в ней оставаться. Рвение из любви к ближнему стоит скромности; и все это она делает с такою легкостью и искусством, что больной, чувствуя себя облегченным, почти не догадывается, что его трогают. Жена и муж в один голос благословляют милую девушку, которая служит им, жалеет их, утешает. Это ангел небесный, посланный к ним Богом: она напоминает его своей фигурой и миловидностью, напоминает кротостью и добротою. Умиленный Эмиль в молчании любит ее. Мужчина, люби свою подругу! Бог даровал ее тебе для утешения тебя в скорбях, для облегчения в бедствиях. Вот — женщина!

Новорожденного крестят. Наши влюбленные принимают его от купели, сгорая в глубине своих сердец желанием поскорее дать и другим возможность сделать то же самое. Они ждут не дождутся желанного момента; они уверены, что пора уже: все сомнения Софи устранены, но мои — только еще зарождаются. Они еще не там, где думают: нужно, чтобы все имело свой черед.

Раз утром, после того как они не видались два дня, я вхожу в комнату Эмиля с письмом в руке и говорю ему, устремив на него пристальный взгляд: «Что станете вы делать, если узнаете, что Софи умерла?» Он испускает громкий крик, поднимается, всплеснув руками, и, не говоря ни слова, смотрит на меня блуждающим взором. «Отвечайте же», — продолжаю я с тем же спокойствием. Тогда, раздраженный моим хладнокровием, он приближается, со сверкающими от гнева глазами, и, останавливаясь в почти угрожающей позе, говорит: «Что я стал бы делать?.. этого я не знаю; но я хорошо знаю, что я во всю жизнь не увидел бы вторично того, кто это мне сообщит». — «Успокойтесь, — говорю я с улыбкою, — она жива, она отлично себя чувствует, думает о вас, и нас ждут там сегодня вечером. Но пойдем прогуляться и побеседуем».

Страсть, которой он поглощен, не позволяет ему уже предаваться, как прежде, чисто рассудочным беседам: чтобы сделать его внимательным к моим наставлениям, мне следовало заинтересовать его посредством этой самой страсти. Этого именно я и достиг этим страшным предисловием; теперь я вполне уверен, что он станет меня слушать.

«Нужно быть счастливым, дорогой Эмиль: это цель всякого чувствующего существа; это первое желание, внушенное нам природой, и единственное, которое никогда нас не покидает. Но где счастье? Кто это знает? Каждый ищет его, и никто не находит. Всю жизнь тратят на погоню за ним и умирают, не достигнув его. Юный друг мой! Когда при твоём рождении взял я тебя в свои руки и, призывая Верховное Существо в свидетели обязательства, которое я осмелился взять на себя, посвятил свои дни счастью твоей жизни, знал ли я сам, что беру на себя? — Нет, я знал только, что, делая тебя счастливым, я мог рассчитывать на свое собственное счастье. Пускаясь ради тебя в эти полезные поиски, я делал общее для нас обоих дело. Пока мы не знаем, что мы должны делать,

мудрость состоит в том, чтобы оставаться в бездействии. Вот то правило, в котором более всего нуждается человек и которому он менее всего умеет следовать. Искать счастья, не зная, где оно,— значит рисковать разойтись с ним, значит иметь против себя столько шансов, сколько есть дорог для того, чтобы заблудиться. Но не всем дано умение не действовать. Среди тревоги, в которой нас держит пылкая погоня за благосостоянием, мы скорее согласны обманываться при этой погоне, нежели бездействовать,— с целью разыскать счастье; а раз мы сошли с места, где могли бы познать его, мы уже не умеем возвратиться туда.

Находясь в таком же неведении, я пытался избегнуть такой ошибки. Принимая на себя попечение о тебе, я решился не делать ни одного бесполезного шага и не давать тебе это делать. Я держался пути природы в ожидании, что она покажет мне путь счастья. Оказалось, что это и был тот самый путь и что я, сам того не думая, шел по нему.

Будь моим свидетелем, будь моим судьей; я не отвергну твоего приговора. Твои первые годы не были принесены в жертву годам последующим; ты наслаждался всеми благами, которые дала тебе природа. Из бедствий, на которые она обрекла тебя и от которых я мог предохранять тебя, ты испытал лишь те, которые способны были закалить тебя для перенесения других бедствий. Всякое бедствие ты терпел лишь для того, чтобы избежать еще большего. Ты не знал ни ненависти, ни рабства. Свободный и довольный, ты остался справедливым и добрым; ибо страдание и порок неразлучны, и человек становится злым лишь тогда, когда бывает несчастным. О, если бы намять о твоём детстве жила в тебе до дней твоей старости! Я не боюсь, что, вспоминая о нём, твое доброе сердце перестанет когда-нибудь посылать благословения тому, кто управлял этим детством.

Когда ты вступил в разумный возраст, я уберег тебя от людского мнения; когда твое сердце стало, чувствительным, я предохранил тебя от власти страстей. Если б я мог продолжить эту внутреннюю безмятежность до конца твоей жизни, я вполне обеспечил бы свое дело, и ты был бы всегда счастлив, насколько это возможно для человека; но хотя я окунул твою душу, дорогой Эмиль, в Стиксе, я не мог сделать ее отовсюду неуязвимой; восстает новый враг, которого ты не научился еще побеждать и от которого я не мог тебя спасти. Этот враг — ты сам. Природа и судьба оставили тебя свободным. Ты мог выносить нищету, ты мог претерпевать болезни тела — болезни души тебе были известны; ты зависел лишь от общего человеческого жребия, а теперь ты зависишь от всех привязанностей, которыми сам себя наделил; научившись желать, ты сделал себя рабом своих желаний. Сколько горестей может постигнуть твою душу — даже если ничто в тебе не изменится, ничто не оскорбит тебя, ничто не затронет твоего существа! Сколько болезней ты можешь почувствовать, не будучи больным! Сколько смертей можешь перенести, не умирая! Ложь, ошибка, сомнение могут тебя довести до отчаяния.

Ты видел, как театральные герои, предаваясь крайним горестям, оглашали цепу своими бессмысленными криками, терзались горем, как женщины, плакали, как дети, и таким образом

заслуживали рукоплескания публики. Припомни, какую несообразностью показались тебе эти рыдания, эти крики, эти жалобы в устах людей, от которых нужно было ожидать лишь проявлений стойкости и твердости. «Как! — говорил ты, полный негодования.— Этим-то примерам учат нас следовать, эти-то образцы предлагают нам для подражания? Неужели люди боятся, что человек недостаточно еще будет мелким, недостаточно несчастным и слабым, если не станут превозносить его слабость, представляя ее под лживым образом доблести?» Юный мой друг! будь отныне более снисходителен к сцене: ты вот стал одним из ее героев.

Ты умеешь страдать и умирать; ты умеешь подчиняться закону необходимости в сфере физических бедствий; но ты не положил еще закона вожделениям твоего сердца; а все тревоги нашей жизни рождаются от наших привязанностей гораздо больше, чем от наших потребностей. Желания наши очень обширны, а сила наша почти ничтожна. Путем желаний человек привязан к тысяче вещей, а сам по себе не привязан ни к чему, даже не привязан к собственной жизни; чем сильнее его привязанности, тем более умножает он свои страдания. На земле все мимолетно: все, что мы любим, рано или поздно ускользнет от нас, а мы так привязаны к нему, как будто оно должно вечно существовать. Какой ужас при одном намеке на смерть Софи! Неужели же ты рассчитывал, что она будет вечно жить? Разве никто не умирает в ее годы? Она должна умереть, дитя мое, и, быть может, раньше тебя. Кто знает, жива ли она даже в настоящую минуту? Природа обрекла тебя лишь на одну смерть, а ты обрекаешь себя и на другую; и вот тебе предстоит умереть дважды.

Каким жалким оказываешься ты, подчинившись таким образом своим беспорядочным страстям! Вечно лишения, вечно потери, вечно тревоги; ты не будешь даже тем наслаждаться, что тебе останется. Страх все потерять помешает тебе обладать чем бы то ни было; из-за желания следовать только страстям своим ты никогда не сможешь удовлетворить их. Ты вечно будешь искать покоя, а он вечно будет убегать перед тобою; ты будешь жалким, поэтому станешь злым. Да и как ты мог бы не быть злым, не имея иного закона, кроме своих необузданных желаний! Если ты не можешь перенести невольных лишений, то каким образом ты подвергнешься им добровольно? Как сумеешь склонность принести в жертву долгу и противостоять сердцу, чтобы послушаться разума? Если ты не желаешь уже видеть того, кто сообщит тебе о смерти твоей возлюбленной, то как ты посмотришь на человека, который захочет отнять ее у тебя живою, который осмелится сказать тебе: «Она умерла для тебя: добродетель разлучила ее с тобою»? Если с нею необходимо жить, что бы там ни было, значит, нужды нет, замужем Софи или нет, свободен ли ты или не свободен, любит она тебя или ненавидит, отдадут ли ее за тебя или отказывают: ты хочешь, тебе нужно обладать ею во что бы то ни стало. Скажи же мне, перед каким преступлением остановится тот, у кого нет иных законов, кроме желаний его сердца, и кто не умеет противостоять ни одному из своих вожделений?



Дитя мое, нет счастья без мужества, нет добродетели без борьбы. Добродетель называют доблестью: доблесть есть основание всякой добродетели. Добродетель свойственна существу, слабому по природе и сильному по своей воле: в этом одном и состоит заслуга справедливого человека; и хотя Бога мы называем добрым, но мы не называем Его добродетельным, потому что Ему не нужно никаких усилий для того, чтобы делать добро. Чтобы объяснить тебе это слово, столь поруганное, я ждал, пока ты будешь в состоянии донимать меня. Пока ничего не стоит проявлять добродетель, мало нужды знакомиться с нею. Эта нужда приходит, когда пробуждаются страсти,— и вот для тебя она уже пришла.

Воспитывая тебя во всей природной простоте, я вместо того, чтобы проповедовать тебе трудные обязанности, оградил тебя от пороков, делающих эти обязанности трудными; я сделал ложь скорее бесполезною тебе, чем ненавистною; я научил тебя не столько воздавать каждому должное, сколько заботиться лишь о том, что относится к тебе; я сделал тебя скорее добрым, чем добродетельным. Но кто добр только, тот остается таким лишь до тех пор, пока находит в этом удовольствие: доброта сокрушается и гибнет при столкновении с людскими страстями; кто только добр, тот добр лишь для себя.

Что же такое человек добродетельный?<sup>45</sup> Это тот, кто умеет побеждать свои привязанности; ибо в этом случае он следует разуму, совести своей, исполняет долг свой, держит себя в порядке,— и ничто не может сбить его с пути. Доселе ты был свободен лишь наружно, ты пользовался лишь случайной свободой раба, которому ничего не приказали. Теперь будь свободен в действительности; учись делаться своим собственным господином: повелевай своему сердцу, Эмиль,— и ты будешь добродетельным.

Итак, вот новый курс учения, предстоящий тебе, и это учение труднее первого; ибо природа избавляет нас от бедствий, ею посылаемых, или научает переносить их; но она ничего нам не говорит относительно тех, которые исходят от нас самих; она покидает нас на произвол, предоставляет нам, как жертвам своих страстей, изнемогать под бременем напрасных страданий, да еще хвалиться слезами, из-за которых мы должны были бы краснеть.

Это твоя первая страсть. Это, быть может, единственная, достойная тебя. Если ты сумеешь управлять ею по-человечески, она будет и последнею; ты возьмешь верх над всеми остальными и будешь повиноваться одной добродетели.

Эта страсть не преступна — я хорошо это знаю; она так же чиста, как те души, которые испытывают ее. Честность ее создала, невинность ее воспитала. Счастливые возлюбленные! прелести добродетели служат вам лишь новым добавлением к прелестям любви; и приятные узы, вас ожидающие, будут столько же наградой за ваше благоразумие, сколько за вашу привязанность. Но скажи мне, искренний человек: ведь эта страсть, столь чистая, тем не менее покорила тебя? Ведь ты все-таки же стал ее рабом и, если она завтра перестанет быть невинною, разве ты сможешь завтра же заглушить ее? Теперь-то именно пора испытать твои силы; а тогда уже не

время, когда приходится употребить их в дело. Эти опасные опыты нужно производить подальше от опасности. Никто не упражняется в борьбе, перед лицом неприятеля — к ней готовятся до войны, а на войну идут совершенно подготовленными.

Большое заблуждение — разделять страсти на позволительные и запретные с целью предаваться первым и уклоняться от вторых. Все они хороши, когда мы остаемся повелителями их; все они дурны, когда мы подчиняемся им. Природа запретила нам расширять свои привязанности свыше сил своих; разум запрещает желать того, чего не может достигнуть; совесть запрещает поддаваться искушениям намеренно, а не помимо воли. Не в нашей власти — иметь или не иметь страсти, но от нас зависит — царить над ними. Все чувствования, над которыми мы господствуем, законны; все те, которые над нами господствуют, преступны. Человек не виновен в том, что полюбил жену другого, если эту несчастную страсть он держит в подчинении требованиям долга; но он виновен, если любит свою собственную жену до такой степени, что все приносит в жертву своей любви.

Не жди от меня длинных нравоучений; одно лишь нравоучение предстоит мне преподавать, и оно обнимает собою все прочее. Будь человеком; удерживай свое сердце в пределах своего назначения. Изучай и познай эти пределы; как они ни тесны, человек не бывает несчастлив, пока в них заключен; несчастным он бывает лишь тогда, когда хочет перейти их; несчастен он, когда среди своих бессмысленных желаний ставит в число возможных вещей то, что невозможно; несчастлив бывает, когда забывает свое человеческое положение с тем, чтобы создать себе воображаемое, которое всегда сводится в конце концов к его собственному. Чувствительным бывает лишение только тех благ, которые он считает себя вправе иметь. Очевидная невозможность получить их отбивает к ним всякую охоту; безнадежные желания не мучат. Нищего не мучит желание быть королем; король хочет быть богом лишь тогда, когда воображает, что он уже не человек.

Иллюзии, порождаемые гордостью, служат источником наибольших наших бедствий; но созерцание человеческой нищеты всегда делает мудреца умеренным. Он держится на своем месте, он не волнуется желанием сойти с него; он не тратит попусту сил, чтобы наслаждаться тем, чего не может сохранить; а употребляя все силы на то, чтобы наилучшим образом обладать тем, что у него есть, он в действительности бывает могущественнее и богаче нас всем тем, чего желает меньше, чем мы. Будучи существом смертным и обреченным на гибель, стану ли я связывать себя вечными узами здесь на земле, где все изменяется, все минует и откуда я сам завтра же исчезну? Эмиль, сын мой! что останется от меня, если я тебя потеряю? А меж тем мне нужно приучиться к мысли потерять тебя; ибо кто знает, когда тебя отнимут у меня?

Итак, если хочешь жить счастливо и разумно, привязывай свое сердце лишь к такой красоте, которая не погибает; пусть назначение твое ставит предел твоим желаниям, пусть обязанности твои идут впереди твоих склонностей: распространи закон необходимости и на нравственный

мир; научись терять то, что может быть отнято у тебя; научись покидать все, когда это повелевает добродетель; научись ставить себя выше случайностей, отречься от них, не терзаясь сердцем, быть мужественным в превратностях судьбы, дабы не быть никогда жалким; быть твердым в исполнении долга, дабы не стать никогда преступным. Тогда ты будешь счастлив, независимо от судьбы, и разумен, независимо от страстей. Тогда в обладании даже непрочными благами ты найдешь наслаждение, которого ничто не может смутить; ты будешь обладать ими, а они тобою — не будут; ты почувствуешь, что человек, от которого все ускользает, может наслаждаться лишь тем, что умеет терять. Ты не испытаешь, правда, очарования воображаемыми удовольствиями; но зато у тебя не будет и горестей, которые бывают результатом их, Ты много выиграешь от этого обмена, ибо горести эти часты и действительны, а удовольствия редки и призрачны. Восторжествовав над столькими обманчивыми мнениями, ты восторжествуешь и над мнением, придающим такую большую цену жизни. Ты проведешь свою жизнь без тревоги и закончишь ее без ужаса; ты расстанешься с нею так, как расстаешься со всякой вещью. Пусть другие, охваченные ужасом, думают, что, покидая жизнь, они перестают существовать; поняв свое ничтожество, ты будешь думать, что лишь начинаешь ее. Смерть — конец жизни для злого и начало жизни для праведного».

Эмиль слушает меня со вниманием и вместе с тем с беспокойством. Он боится, чтобы за этим предисловием не последовало какое-нибудь злое заключение. Он предчувствует, что, указывая ему на необходимость упражнять душевную силу, я хочу и действительно возложить на него это суровое упражнение; и, как раненый, который содрогается при приближении хирурга, он уже чувствует на своей ране болезненное, по спасительное прикосновение руки, которая не допускает рану до разложения.

Растерянный, смущенный, торопящийся узнать, к чему клонится моя речь, он вместо отпета задает мне вопросы, по задает со страхом. «Что же делать?» — говорит он почти с трепетом и не смея поднять глаз. «Что делать? — отвечаю я твердым голосом, — нужно расстаться с Софи». — «Что вы говорите! — восклицает он вспльчиво, — расстаться с Софи, покинуть ее, обмануть, быть изменником, плутом, клятвопреступником!» — «Как! — прерываю я его. — Эмиль боится, чтобы я не научил его чему-нибудь такому, что он и в самом деле заслужит эти наказания!» — «Нет, — продолжает он с тою же стремительностью, — ни вас и никого другого; я сумею, помимо вашей воли, сберечь ваше дело; я сумею не заслужить их».

Я ждал этой первой вспышки; я даю ей пройти, нисколько не волнуясь. Если б я не обладал тою сдержанностью, которую я проповедую, с какою миною я стал бы ему проповедовать! Эмиль настолько знаком со мною, что считает меня неспособным требовать от него чего-нибудь такого, что дурно, а он хорошо знает, что было бы дурно покинуть Софи — в том смысле, какой он придает этому слову. Итак, он ждет, чтобы я наконец объяснился. Тогда я начинаю снова свою речь.

«Неужели ты думаешь, дорогой Эмиль, что человек, в каком бы то ни было положении, может быть более счастлив, чем вы были в течение этих трех месяцев? Если ты так думаешь, то разуверься в этом. Не вкусив еще удовольствий жизни, ты уже исчерпал ее счастье. Выше того, что ты чувствовал, ничего нет. Чувственное блаженство мимолетно, и обычное состояние сердца всегда остается после этого в проигрыше. Ты надеждой наслаждался больше, чем будешь когда-либо наслаждаться действительностью. Воображение, разукрашивающее то, чего желают, охладевает при обладании. Кроме единственного существа, которое существует само по себе, прекрасно только то, чего нет. Если б это состояние могло продолжаться вечно, ты отыскал бы высшее счастье. Все же, связанное с человеком, носит отпечаток тленности; всему наступает конец, все преходяще в человеческой жизни; да если бы состояние, делающее нас счастливыми, и продолжалось непрерывно, привычка наслаждаться им притупила бы в нас всякий вкус. Если ничто не меняется извне, меняется сердце: счастье покидает нас или мы его покидаем.

Пока ты упивался, время, которого ты не измерял, меж тем текло. Лето кончается, приближается зима. Если бы мы и могли продолжать свои экскурсии в столь суровое время года, нам никогда этого не позволили бы. Приходится, помимо воли, менять образ жизни; этот не может продолжаться. Я вижу по твоим нетерпеливым взорам, что эта трудность не ставит тебя в тупик: признание Софи и твои собственные желания подсказывают тебе, какой есть легкий способ укрыться от снега и не предпринимать уже путешествий для свидания с нею. Средство, без сомнения, удобное; но с наступлением весны снег тает, а брак остается: нужно обсудить это с точки зрения всех времен года.

Ты хочешь жениться на Софи, а пет еще пяти месяцев с тех пор, как ты познакомился с нею! Ты хочешь жениться не потому, что она подходит тебе, но потому что она нравится, как будто любовь никогда не обманывается насчет взаимного соответствия, как будто, кто начинает с любви, тот никогда не оканчивает ненавистью! Она добродетельна — я это знаю; но разве этого достаточно? Разве для того, чтобы подходить друг к другу, достаточно быть честными людьми? Не в добродетели ее сомневаюсь я, а в характере. Разве характер женщины обнаруживается в один день? Знаешь ли ты, в скольких положениях нужно видеть ее, чтоб основательно узнать ее нрав? Неужели четырехмесячная привязанность служит тебе ручательством за всю жизнь? Быть может, двухмесячное отсутствие заставит тебя забыть о пей; быть может, другой ожидает лишь твоего удаления, чтобы изгладить память о тебе из ее сердца; быть может, по возвращении ты найдешь ее столь равнодушной, сколько до сих пор находил чувствительной. Чувства не зависят от принципов; она может остаться очень честной и перестать тебя любить. Она будет постоянна и верна — я склонен этому верить; но кто тебе ручается за нее и кто ей — за тебя, пока вы не подвергли себя испытанию? Неужели ты ждешь для этого испытания времени, когда оно станет для тебя уже бесполезным? Неужели ознакомление ты будешь откладывать до той поры, когда тебе нельзя уже будет отделиться?

Софи нет еще восемнадцати лет; тебе едва исполнилось двадцать два года; это возраст любви, а не брака. Хорош отец, и хороша мать семейства! Эх, если хотите умело воспитывать детей, подождите по крайней мере, пока сами не перестанете быть детьми! Знаете ли вы, как часто у молодых особ тяготы беременности, преждевременно вынесенные, расслабляют организм, разрушают тело, сокращают жизнь? Знаете ли вы, сколько детей остались немощными и слабыми из-за того, что питались в теле недостаточно еще развившемся? Когда мать и ребенок растут одновременно и вещество, необходимое для роста каждого из них, делится на двоих, то ни мать, ни ребенок не получают того, что предназначает им природа: как же им обоим не страдать от этого? Что-нибудь одно; или я очень плохо знаю Эмиля, или он лучше согласится жениться позже и иметь крепких детей вместо того, чтобы удовлетворять своему нетерпению в ущерб их жизни и здоровью.

Обратимся к тебе самому. Мечтая о звании супруга и отца, хорошо ли ты поразмыслил об их обязанностях? Становясь главою семьи, ты станешь членом государства. А что значит быть членом государства? Знаешь ли ты это? Ты изучал свои человеческие обязанности, но знаком ли ты с обязанностями гражданина? Знаешь ли ты, что такое правительство, законы, отечество? Знаешь ли ты, какою ценой покупается право жить и за кого ты должен умирать? Ты думаешь, что все узнал, а не знаешь еще ничего. Прежде чем займешь место в гражданском строе, ознакомься с ним и постарайся узнать, какой ранг тебе в нем подходит.

Эмиль! нужно расстаться с Софи,— я не говорю «покинуть ее»; если бы ты на это был способен, для нее было бы счастьем не выйти за тебя: расстаться нужно затем, чтобы возвратиться достойным ее. Не будь настолько тщеславен, чтобы думать, что ты уже достоин ее. О, как много остается еще тебе сделать! Ступай же выполнять эту благородную задачу; ступай, научись переносить разлуку; ступай зарабатывать себе награду за верность, чтобы по возвращении можно тебе было чем-нибудь похвалиться перед нею и требовать руки ее не как милости, но как вознаграждения».

Не привыкший еще бороться с самим собою, не привыкший еще желать одного, а домогаться другого, молодой человек не сдается; он противится, спорит. Зачем ему отказываться от счастья, его ожидающего? Не значит ли это пренебрегать рукою, ему предложенною, если он медлит принять ее? К чему же удаляться от нее, если он хочет научиться тому, что должен знать? Да если б это было необходимо, почему бы ему, соединившись неразрывными узами, не сделать из них верного залога своего возвращения? Пусть он станет ее супругом, и тогда он готов за мною следовать; пусть их соединят, — и он без боязни покинет ее... «Соединиться с тем, чтобы покинуть, — дорогой Эмиль, какое противоречие! Прекрасно, если влюбленный может жить без своей возлюбленной; но муж никогда не должен покидать свою жену без необходимости. Чтобы избавить тебя от угрызений совести, отсрочка, я вижу, должна быть невольной: нужно, чтобы ты мог сказать Софи, что покидаешь ее помимо своей воли. Ну, так будь же доволен и, раз не

повинуешься рассудку, признай над собой другого господина. Ты ведь не забыл же о договоре, заключенном со мною. Эмиль! Нужно расстаться с Софи — я этого хочу».

При этом слове он опускает голову, с минуту молчит и обдумывает, затем, смотря на меня с твердостью, говорит: «Когда же мы отправляемся?» — «Через неделю,— отвечаю я,— нужно подготовить Софи к этому отъезду. Женщины слабее, их нужно щадить, и так как эта разлука для нее не такой долг, как для тебя, то ей позволительно выносить ее с меньшим мужеством».

Мне очень хотелось бы продолжить до разлуки молодых людей летопись их любви; но я уже давно злоупотребляю снисходительностью читателей; сократим же рассказ, чтобы окончить сразу. Осмелятся ли Эмиль приступить к своей возлюбленной с тою же твердостью, какую он только что выказал перед своим другом? Я в этом уверен; самая истинность его любви должна быть для него источником этой твердости! Он был бы более смущенным перед ней, если б ему легче было покинуть ее: он расставался бы с сознанием вины, а эта роль всегда тягостна для честного сердца; но чем дороже ему стоит жертва, тем больше он гордится ею в глазах той, которая делает эту жертву тяжкой для него. Он не боится, что она ложно поймет мотивы, заставляющие его принять это решение. Он как бы говорит ей при каждом взгляде: «Софи! читай в моем сердце — и будь верна; твой возлюбленный не без добродетели».

Гордая Софи, с одной стороны, старается перенести непредвиденный удар, ее поразивший. Она силится казаться равнодушной; но так как ее не одушевляет, как Эмиля, честь борьбы и победы, то твердость ее оказывается менее выдержанной. Она плачет, вздыхает, к своей досаде, а страх быть забытой обостряет горечь разлуки. Не перед милым своим она плачет, не ему высказывает свои опасения: она скорее предпочла бы задохнуться, чем испустить хотя один вздох в его присутствии: я именно выслушиваю ее жалобы, я вижу ее слезы, меня она нарочно выбирает в поверенные. Женщины ловки и умеют притворяться: чем больше она втайне ропщет на мою тиранию, тем старательнее угождает мне; она чувствует, что судьба ее в моих руках.

Я утешаю ее, успокаиваю, ручаюсь передней за ее возлюбленного или, скорее, супруга: пусть сохраняет она такую же верность к нему, как и он к ней, — и через два года он будет супругом ее; я клянусь в этом. Она настолько уважает меня, что уверена в том, что я не хочу ее обманывать. Я ручаюсь перед каждым из них за другого. Сердца их, добродетель их, моя честность, доверие родителей — все их обнадеживает. Но что сделает рассудок против бессилия?.. Они разлучаются так, как будто никогда не должны свидеться.

Тут-то Софи вспоминает секреты Эвхарисы, и ей думается, что она действительно на ее месте. Не дадим во время разлуки разжигать эту фантастическую любовь.— «Софи! — говорю я однажды,— поменяйтесь с Эмилем книгами. Дайте ему вашего «Телемака», чтобы он учился походить на него, а вам пусть он отдаст «Зрителя»<sup>46</sup>, которого вы любите читать. Изучайте по нему обязанности честных женщин и не забывайте, что через два года обязанности эти придется

исполнять вам самим». На смену эту охотно соглашаются оба, и она придает им уверенности. Наконец настает грустный день — приходится расстаться.

Достойный отец Софи, с которым я во всем условился, обнимает меня, прощаясь со мною; затем, отведя меня в сторону, обращается ко мне серьезным тоном и с особым ударением со следующими словами: «Я сделал все, чтобы угодить вам; я знал, что имею дело с честным человеком; мне остается сказать вам одно слово: помните, что ваш воспитанник подписал уже свой брачный контракт — на устах моей дочери».

Какая разница в поступках обоих влюбленных! Эмиль, стремительный, горячий, взволнованный, сам не свой, испускает восклицания, проливает потоки слез на руках отца, матери, дочери', рыдая, обнимает всю домашнюю прислугу и тысячу раз повторяет одно и то же с беспорядочностью, которая во всяком другом случае показалась бы смешною. Софи, угрюмая, бледная, с потухшими глазами, мрачным взором, остается покойною, не говорит ни слова, не плачет, никого не видит, даже Эмиля. Напрасно он берет ее руки, сжимает ее в объятиях: она остается недвижимой, нечувствительной к его слезам, его ласкам, ко всему, что он делает: для нее — он уже уехал. Насколько это трогательнее докучливых причитаний и шумных сожалений ее возлюбленного! Он видит это, чувствует это, у него разрывается сердце; с трудом я увлекаю его; оставь я его еще на минуту — и он не захочет уезжать. Я очень доволен, что он уносит с собою этот печальный образ. Если когда-либо ему вздумается забыть то, что он должен питать к Софи, то, представляя его в том виде, как он оставил ее в момент отправления, я легко возвращу его к ней, если только сердце его не совершенно охладело.

### **О путешествиях**

Спрашивают, полезно ли молодым людям путешествовать, и много спорят об этом. Если бы вопрос ставить иначе и спрашивать, полезно ли людям путешествовать, то, быть может, он не вызывал бы столько споров.

Злоупотребление книгами убивает науку. Воображая, что знают прочитанное, люди считают себя избавленными от необходимости изучать. Слишком усердное чтение создает лишь самодовольных невежд. Из всех веков литературы не было века, в котором читали бы столько, сколько в нынешнем, и в котором было бы так мало людей знающих; ни в одной из стран Европы не печатают столько историй, сколько описаний путешествий, как во Франции, и нет страны, где меньше были бы знакомы с духом и нравами других народов. Такая масса книг заставляет нас пренебрегать книгой мира; а если мы и читаем еще в ней, то каждый держится своей страницы. Если бы фраза: «Можно ли быть персом?» — была мне неизвестна, слыша ее, я сейчас догадался бы, что она создана в такой стране, где больше всего царят национальные предрассудки, и тем полон, который больше всего распространяет их.

Парижанин уверен, что знает людей, а знает одних французов; живя в городе, всегда переполненном иностранцами, он смотрит на каждого иностранца как на необычайный феномен,

не имеющий ничего себе равного в остальной вселенной. Нужно вблизи видеть горожан этого великого города, нужно пожить с ними, чтобы поверить, что с таким умом можно быть таким глупым. Всего страннее то, что каждый из них, быть может, раз десять читал описание страны, житель которой так сильно изумляет его.

Слишком мудрено пробираться сквозь предрассудки авторов и наши собственные, чтобы дойти до истины. Я провел жизнь в чтении описаний путешествий и никогда не находил хоть двух описаний, которые давали бы мне одинаковое понятие об одном и том же народе. Сравнивая немногие, вынесенные мною наблюдения со всем прочитанным, я кончил тем, что забросил путешественников и пожалел о времени, вполне убедившись, что когда дело касается наблюдений какого бы то ни было рода, то нужно не читать, а видеть. Это было бы верно и тогда, если бы все путешественники были искренны, если бы они говорили лишь то, что видели или что думают, если бы они рядили истину только в те ложные цвета, которые она принимает в их глазах. Но каково бывает, когда приходится распутывать ее из массы лжи и недобросовестности!

Предоставим же хваленую книжную мудрость тем, кто способен ею довольствоваться. Она, как и искусство Раймонда Луллия<sup>47</sup>, хорошо может научить болтовне о том, чего не знаешь. Она годится лишь на то, чтобы создавать пятнадцатилетних Платонов, которые философствуют в гостиных и знакомят общество с обычаями Египта и Индии со слов Поля Люка<sup>48</sup> или Тавернье<sup>49</sup>.

Я считаю за неоспоримую истину, что, кто видел всего один народ, тот не знает людей, а знает лишь тех, с которыми жил. Итак, вот еще новый способ постановки вопроса о путешествиях: достаточно ли образованному человеку знать одних соотечественников или Для него важно знать людей вообще? Тут уже нет места ни спорам, ни сомнению. Видите, насколько решение трудного вопроса зависит иной раз от способа постановки его.

Но чтобы изучить людей, нужно ли для этого объехать всю землю? Нужно ли для наблюдения над европейцами побывать в Японии? Чтобы ознакомиться с родом, нужно ли для этого знакомиться со всеми индивидами? Нет; есть люди, которые столь походят друг на друга, что не стоит изучать их отдельно. Кто видел десятерых французов, тот видел их всех. Хотя нельзя сказать того же об англичанах и некоторых других народах, все-таки несомненно, что каждая нация имеет свой особый, специфический характер, который узнается путем индукции — из наблюдения не над одним членом, но над многими. Кто сравнил десять народов, тот узнал людей, точно так же как, кто видел десять французов, тот знает французов.

Для образования недостаточно объезжать страны; нужно уметь путешествовать. Чтобы наблюдать, для этого нужно иметь глаза и обращать их на тот именно предмет, который хочешь знать. Есть много людей, которых путешествия еще менее развивают, чем книги, потому что им незнакомо искусство мыслить, потому что при чтении умом их руководит по крайней мере автор, а при путешествии они сами собою ничего не умеют увидеть. Другие не паучаются потому, что не хотят научиться. Цель их совершенно иная, так что образование нисколько не занимает их; это



редкая удача, если кто с точностью подмечает то, чего не старался подметить. Из всех пародов в мире французы больше всего путешествуют; но, пропитанные своими обычаями, они путают все, что не сходно с этими последними. Французы есть во всех уголках вселенной. Ни и одной стране не встречаешь столько людей, совершавших путешествия, как во Франции. И при всем том, однако, из всех пародов Европы тот, который видит больше всего, меньше всего знает.

Англичанин тоже путешествует, но иначе; этим двум народам как бы суждено быть во всем противоположными. Английская знать путешествует, французская не путешествует; французский народ путешествует, английский — нет. Разница эта, мне кажется, клонится к чести последнего. У французов почти всегда есть какая-нибудь корыстная цель при путешествии; англичане же не пускаются искать счастья у других наций — разве только с целью торговли и с полными руками; если они путешествуют, то затем, чтобы сорить деньгами, а не с целью жить своею изворотливостью; они настолько горды, что не пойдут пресмыкаться па чужбине. Это ведет и к тому, что они большему научаются у иноземцев, чем французы, у которых совершенно другое на уме. У англичан есть, однако, и национальные предрассудки, их даже больше, чем у кого бы то ни было; но эти предрассудки основаны скорее на пристрастии, чем на невежестве. У англичанина — предрассудки гордости, у французов — предрассудки тщеславия.

Подобно тому как пароды наименее культурные бывают обыкновенно наиболее благоразумными, точно так же люди, менее других путешествующие, путешествуют лучше других, потому что, будучи менее нас углублены в пустые изыскания и менее заняты предметами нашего пустого любопытства, они посвящают все свое внимание тому, что действительно. На мой взгляд, одни испанцы умеют так путешествовать. В то время как француз обежит всех артистов страны, англичанин срисовывает какой-нибудь памятник древности, а немец носит свой «альбом» ко всем ученым, испанец молча изучает управление, нравы, полицию; из всех четырех он один, возвращаясь домой, из всего виденного им приносит и какое-нибудь наблюдение, полезное для его страны.

Древние мало путешествовали, мало читали, мало сочиняли книг, и однако же из тех, которые дошли до нас, видно, что они лучше наблюдали друг друга, чем мы наблюдаем своих современников. Не восходя уже до Гомера, единственного поэта, который переносит нас в страну, им описываемую, нельзя не отдать чести и Геродоту, который, хотя история его и ведется в виде рассказа<sup>50</sup>, а не в виде рассуждения, нравы описывает лучше всех наших историков, переполняющих свои книги портретами и характеристиками. Тацит лучше описал германцев своего времени<sup>51</sup>, чем какой бы то ни было писатель, описывающий теперешних немцев. Кто много читал из древней истории, тот, бесспорно, лучше знаком с греками, карфагенянами, римлянами, галлами, персами, чем любой народ нашего времени — с своими соседями.

Нужно также признаться, что так как оригинальность народных характеров со дня на день исчезает, то подмечать их вследствие этого делается все труднее. По мере того как расы

перекрещиваются и народы перемешиваются, мало-помалу исчезают и национальные особенности, некогда с первого же раза бросавшиеся в глаза. В былое время каждая нация оставалась замкнутой в самой себе; меньше было сообщений, меньше путешествий, меньше интересов, общих или противоположных, меньше политических или гражданских связей между народами; не было всех этих королевских сплетен, называемых дипломатическими переговорами, не было ни посланников, ни резидентов; большие мореплавания были редки: мало было торговых сношений с отдаленными краями; а если и существовала кое-какая торговля, то велась или самим государем, который пользовался для этого иноземцами, или людьми презираемыми, которые не имели ни на кого влияния и не содействовали сближению наций. Теперь в сто раз более связей между Европой и Азией, чем прежде было между Галлией и Испанией; одна Европа была более расчленена, чем теперь вся земля.

Прибавьте к этому, что древние народы, считавшие себя большею частью автохтонами, т. е. исконными жителями своей страны, занимали ее так долго, что забыли о веках протекших, когда предки их основались там, а климат успевал наложить на них прочную печать, тогда как у нас, после римских вторжений, позднейшие переселения варваров все перемешали, все слили в одно. Теперешние французы уже не рослые люди былого времени, светлорусые и белолицые; греки уже не прежние красавцы, созданные для того, чтобы служить образцами для искусства; наружность самих римлян, с изменением нрава их, изменила черты свои; персы, исконные обитатели Татари, с каждым днем теряют свою прежнюю уродливость вследствие примеси черкесской крови; европейцы уже не галлы, не германцы, не иберийцы или аллоброги<sup>52</sup> — все они не что иное, как скифы, различным образом выродившиеся, как по наружности, так еще более по нравам.

Вот почему в древности расовые особенности, свойства климата и почвы резче отличали один народ от другого по темпераменту, наружности, нравам, характеру, чем это бывает в наши дни, когда благодаря нашей европейской неусидчивости ни одна естественная причина не успевает оказать свое влияние, когда вследствие вырубания лесов, осушения болот, более однообразной, хотя и худшей, обработки земли уже не остается даже в физическом отношении прежнего различия между почвами и между странами.

Остановившись на подобного рода соображениях, быть может, не так спешили бы поднять на смех Геродота, Ктезия<sup>53</sup>, Плиния за то, что жители различных стран являются у них с оригинальными чертами и резкими особенностями, которых мы уже не видим. Чтобы встретить те же фигуры, для этого нужно было бы встретить тех же людей; остаться одинаковыми они могли бы лишь в том случае, если бы ничто их не изменяло. Можно ли сомневаться, что если бы мы могли сразу увидеть всех живших людей, то между людьми одного века и другого мы нашли бы больше разницы, чем теперь находим между одной и другой нацией.

Делаясь более трудными, наблюдения в то же время начинают производиться небрежнее и хуже; вот еще причина малой успешности наших изысканий в области естественной истории

человеческого рода. Сведения, извлекаемые при путешествиях, зависят от цели, с которою эти последние предпринимаются. Когда этою целью бывает подтверждение философской системы, путешественник видит лишь то, что хочет видеть; когда целью бывает материальный интерес, он поглощает все внимание людей, ему предающихся. Торговля и искусства, перемешивая и перепутывая народы, тоже служат помехой к их изучению. Раз они знают, какую прибыль могут извлечь из взаимных сношений, что же больше остается им еще знать?

Человеку полезно ознакомиться со всеми местами, где можно жить, чтобы потом выбрать место, где всего удобнее жить. Если бы каждый мог удовлетворять самого себя, то ему важно было бы ознакомиться лишь с тем пространством страны, которое может его прокормить. Дикарь, ни в ком не нуждающийся и ничего в мире не желающий, не знает и не старается узнать другие страны, кроме своей. Если ради прокормления он принужден подвигаться дальше, то он избегает мест, заселенных людьми; он гонится лишь за зверями, в них только и нуждается для своего пропитания. Что же касается нас, то, раз гражданская жизнь нам необходима и мы уже не можем обойтись без того, чтобы не есть людей, выгода каждого из нас требует, чтобы посещали такие страны, где легче всего их пожирать. Вот почему все стекается в Рим, в Париж, в Лондон. В столицах всегда кровь человеческая продается дешевле. Таким образом мы знакомимся лишь с великими народами, а великие народы все похожи друг на друга.

У нас, говорят, есть ученые, которые путешествуют для того, чтобы научиться; но это — заблуждение: ученые, как и прочие, путешествуют из-за материальной выгоды. Платонов, Пифагоров уже не встречается; а если и есть они, то очень далеко от нас. Наши ученые путешествуют лишь по поручению двора: их снаряжают, им ассигнуют суммы, платят, чтобы они посмотрели то-то и то-то, а в этом нет, конечно, никакой нравственной цели. Они должны посвящать все свое время этой единственной цели: они настолько честные люди, что не станут даром брать деньги. Если же, в какой бы то ни было стране, любопытные люди путешествуют на свой счет, то это всегда делается не с целью изучать, а с целью поучать людей. Не наука им нужна, а возможность пустить пыль в глаза. Где уж им научиться при своих путешествиях свергать с себя иго людского мнения! Они и путешествуют-то ради него.

Большая разница, для обозрения ли стран путешествуют или для того, чтобы видеть народы. Путешествующие из любопытства всегда имеют в виду первую цель, а вторая бывает для них лишь побочною. Совершенно наоборот должен поступать тот, кто хочет философствовать. Ребенок наблюдает вещи — в ожидании, пока будет в состоянии наблюдать людей. Взрослый должен начинать наблюдение с подробных себе, а потом может наблюдать и вещи, если имеет время.

Таким образом, из того, что мы неумело путешествуем, неосновательно заключать, что путешествия бесполезны. Но если мы признали пользу путешествий, будет ли отсюда следовать, что они полезны всем? Далеко нет; наоборот, они пригодны лишь для очень немногих людей; они

пригодны лишь для людей, которые настолько тверды, что могут выслушивать ложные учения, не обольщаясь ими, могут видеть примеры порока, не увлекаясь ими. Путешествия дают дальнейшее развитие природным наклонностям и окончательно делают человека добрым или злым. Возвращаясь из странствий по свету, человек бывает тем, чем будет всю свою жизнь, а возвращаются чаще злыми, чем добрыми, потому что отправляется больше склонных ко злу, чем склонных к добру. Молодые люди, дурно воспитанные и дурно направленные, заражаются в своих путешествиях всеми пороками народов, ими посещаемых, и не перенимают ни одной из добродетелей, перемешанных с этими пороками; но кто хорошо одарен природой, в ком хорошие задатки получили хорошее развитие и кто путешествует с искренним намерением научиться, те все возвращаются лучшими и более мудрыми, чем были при отправлении. Так будет путешествовать и мой Эмиль; так путешествовал тот молодой человек, достойный лучшего века, заслугам которого дивилась Европа, который в цвете лет погиб за свою страну<sup>54</sup>, хотя и заслуживал бы долгой жизни, и могила которого, украшенная лишь его доблестями, ожидала, пока почтит ее чуждая рука, посеявшая на ней цветы.

Все должно делаться на разумном основании, должно подчиняться своим правилам. И для путешествий, если принимать их за часть воспитания, должны быть свои правила. Путешествовать ради путешествия значит слоняться, быть праздношатающим; путешествовать, чтобы учиться,— это тоже слишком неопределенная цель: учение, не имеющее определенной цели, не имеет смысла. Я желал бы показать молодому человеку осязаемый интерес в учении, и этот интерес, удачно выбранный, придавал бы учению определенную окраску. Все это — продолжение метода, которой я стараюсь держаться.

Рассмотрев себя со стороны физических отношений к другим существам, со стороны нравственных отношений к другим людям, он должен теперь рассмотреть себя со стороны гражданских отношений к своим согражданам. Для этого нужно, чтобы он изучил сначала характер правления вообще, различные формы правительства и, наконец, ту частную форму, при которой он родился,— чтобы знать, удобно ли ему жить при таком правлении; ибо в силу права, которого ничто не может отменить, каждый человек, становясь совершеннолетним и своим собственным властелином, делается властным отказаться от договора, которым он связан с обществом, и покинуть страну, где последнее основалось. Лишь своим пребыванием в ней по наступлении разумного возраста он как бы подтверждает молча обязательство, принятое его предками. Он имеет право отказаться от своего отечества, как и от наследства своего отца; сверх того, раз родина есть дар природы, то, отказываясь от нее, отступаются лишь от своего собственного. Каждый человек, по непреложному праву, остается свободным — на свой собственный риск, — в каком бы месте ни родился, если только не добровольно подчинил себя законам, чтобы приобрести право быть под их покровительством.

Я сказал бы Эмилию, например, так: «До сих пор ты жил под моим руководством: ты не был в состоянии управлять самим собою. Но вот приближается возраст, когда законы, предоставляя тебе распоряжение своим добром, делают тебя властелином твоей личности. Ты окажешься в обществе одиноким, от всего зависимым, даже от отцовского наследия. Ты имеешь в виду утвердиться на месте: цель похвальная — она составляет одну из обязанностей человека; но, прежде чем жениться, нужно знать, ком хочешь быть, за каким занятием хочешь провести свою жизнь, какие меры хочешь принять для обеспечения куска хлеба себе и своему семейству; ибо, хотя и не следует ставить эти заботы главною своей задачей, нужно все-таки подумать когда-нибудь и об этом. Хочешь ли ты стать в зависимость от людей, которых презираешь? Хочешь ли основать свое благосостояние и упрочить свое положение путем гражданских отношений, которые постоянно будут отдавать тебя в распоряжение другого и принудят, для избавления себя от плутов, сделаться самому плутом?»

Затем я опишу ему всевозможные способы, как пускать в оборот свое добро, путем ли торговли, путем ли службы или посредством финансовых спекуляций; я покажу ему, что нет ни одного способа, который не сопряжен был бы с риском, не ставил бы его в шаткое и зависимое положение и не принуждал бы его регулировать свои нравы, чувства, поведение примером и предрассудками других.

«Есть и еще способ употреблять в дело свое время и свою особу,— сказал бы я ему,— можно поступить в военную службу, т. е. наняться за хорошую плату убивать людей, не сделавших нам ничего дурного. Это ремесло в большом почете между людьми, и они крайне дорожат теми, кто на это лишь и пригоден. Впрочем, ремесло это не только не избавляет от необходимости прибегать к другим ресурсам, но даже делает их еще более необходимыми; ибо к чести этого звания относится и то, что оно разоряет людей, посвящающих себя ему. Разоряются, правда, не все; незаметно входит даже в моду обогащаться в этом звания, как и в других; но я не думаю, чтобы, пояснив тебе, как ведут дело те, кому это удастся, я мог возбудить в тебе охоту подражать им.

Ты узнаешь притом же, что даже в этом ремесле не требуется уже ни мужества, ни храбрости — разве только для успеха у женщин, что, наоборот, наиболее пресмыкающийся, наиболее низкий и раболепный всегда бывает в наибольшем почете, что если вздумаешь взаправду заниматься своим ремеслом, то тебя станут презирать, ненавидеть, быть может, прогонят и, во всяком случае, ты будешь обойден чинами и вытеснен своими товарищами за то, что нес свою службу в траншеях в то время, как они несли ее за туалетом».

Понятно, что все эти разнообразные занятия не очень-то придутся Эмилию по вкусу.— «Как! — скажет он,— разве я забыл игры своего детства? разве у меня отнялись руки? разве сила моя истощилась? разве я не умею уже работать? Что мне за дело до всех ваших прекрасных должностей, до всех глупых людских мнений? Я не знаю иной славы, кроме славы человека добродетельного и справедливого; я не знаю иной чести, кроме чести жить независимо, с тем, кого

любишь, ежедневным трудом добывая себе аппетит и здоровье. Все эти затруднения, о которых вы говорите, меня почти не касаются. Мне не нужно иного имущества, кроме небольшой мызы в каком-нибудь уголке мира. Все мое корыстолюбие ограничится тем, что я стану извлекать из нее доход,— и я проживу безмятежно. Дайте Софн мне и иоле — и я буду богатым».

«Да, мой друг, для счастья мудреца достаточно жены и поля, ему принадлежащих; но эти сокровища, хотя и скромные, не так обычны, как ты думаешь. Самое редкое тобою найдено; поговорим о другом из них.

Поле, которое было бы твоим, дорогой Эмиль! А в какой местности найдешь ты его? в каком углу земли ты можешь сказать себе: «Здесь я сам себе хозяин, здесь хозяин участка, мне принадлежащего»? Все знают, в каких местах легко обогатиться; но кто знает, где можно обойтись без этого? Кто знает, где можно жить независимым и свободным, не имея надобности делать кому-либо зло и не боясь испытать его от других? Неужели ты думаешь, что так легко найти страну, где всегда позволительно быть честным человеком? Если есть какое законное и верное средство прожить без интриг, без хлопот, не зная зависимости, то средство это заключается, Конечно, в том, чтобы жить трудами рук своих, обрабатывая свою собственную землю; но где то государство, в котором можно сказать: «Земля, которая у меня под ногами,— моя?» Прежде чем избрать эту счастливую землю, хорошо удостоверься, найдешь ли там мир, которого ищешь, берегись, чтобы насильственное правительство, преследующая иноверцев религия, развращенные нравы не нарушили этого мира. Оградись от чрезмерных налогов, которые будут поглощать плоды твоих трудов, от бесконечных тяжб, которые истощат твой капитал. Устрой так, чтобы, живя справедливо, тебе не приходилось кланяться интендантам, их помощникам, судьям, священникам, сильным соседям, всякого рода плутам, всегда готовым мучить тебя, если ты пренебрегаешь ими. В особенности огради себя от притеснения вельмож и богачей; помни, что всюду их земли могут соприкасаться с виноградником Навуфея<sup>55</sup>. Если на твое несчастье какой-нибудь высокопоставленный человек купит или построит дом рядом с твоею хижинкой — поручишься ли ты, что он не найдет способа под каким-нибудь предлогом захватить твое наследство для округления своих владений и что ты завтра же не увидишь, как все твои средства будут поглощены широкой столбовой дорогой. А если для устранения всех этих неприятностей ты станешь пользоваться связями, то уже лучше сохранить тебе и богатства, ибо беречь их тебе будет не труднее. Богатство и связи взаимно подкрепляют друг друга: одно всегда плохо держится без другого.

У меня больше опытности, чем у тебя, дорогой Эмиль; я лучше вижу затруднительность твоего плана. Все-таки он прекрасен, он честен и действительно сделает тебя счастливым: постараемся же осуществить его. Я хочу предложить тебе следующее: посвятим два года, предназначенные нами для путешествия, на то, чтобы выбрать себе в Европе убежище, где ты мог бы жить счастливо с своим семейством, укрывшись от всех опасностей, о которых я только что говорил.

Если это удастся нам, то ты найдешь истинное счастье, тщетно отыскиваемое столькими другими, и не будешь считать время потерянным. Если же мы не будем иметь успеха, то ты излечишься от химерных мечтаний: ты утетишься в неизбежном несчастье и подчинишь себя закону необходимости».

Не знаю, все ли мои читатели сообразят, куда должны привести нас эти изыскания, с подобною целью предпринятые; но я хорошо знаю, что если по возвращении из путешествий, начатых и совершенных с этой целью, Эмиль не окажется посвященным во все вопросы правления, в общественные нравы и всякого рода государственные начала, то, значит, или он лишен ума, или я — рассудка.

Политическое право еще не появлялось, и нужно предположить, что оно никогда не появится. Гроций<sup>56</sup>, учитель всех наших ученых по этой части, не более как ребенок, и, что хуже всего, ребенок недобросовестный. Когда я слышу, как Гроция превозносят до небес, а Гоббса предают проклятию, мне ясно, сколько разумных людей читает или понимает этих двух писателей. На деле же оказывается, что их принципы совершенно сходны и они различаются лишь способом выражения. У них различна метода. Гоббс опирается на софизмы, а Гроций — на поэтов; все остальное у них общее.

Единственным современником, способным создать эту великую и бесполезную пауку, был бы Монтескье<sup>57</sup>. Но он и не думал трактовать о принципах политического права: он удовольствовался изучением положительного права существующих правительств; а нет ничего в мире столь разнородного, как эти две сферы знания.

И все-таки, кто хочет здраво судить о правительствах в том виде, как они существуют, тот обязан соединить эти оба способа исследования; чтобы хорошо судить о том, что есть, нужно знать, что должно быть. Труднее всего при исследовании этих важных предметов заинтересовать их обсуждением частного человека и ответить на два вопроса: «Какое мне дело?» и «Что я могу тут поделать?» Эмиля нашего мы сделали способным ответить на оба вопроса.

Вторая трудность обусловлена предрассудками детства, правилами, в которых люди воспитаны, особенно пристрастием писателей, которые постоянно говорят об истине, нисколько о ней не заботясь, а думают только о своем интересе, хотя и не говорят этого. А меж тем народ не наделяет ни кафедрами, ни пенсиями, ни местами в академиях; судите после этого, как станут эти люди устанавливать его права! Я постарался, чтобы и этого затруднения не существовало для Эмиля. Он едва знает, что такое правительство; единственная задача, его интересующая, — это отыскать наилучшее; он не имеет в виду сочинять книги; а если когда и напишет книгу, то не с целью выслужиться перед сильными мира сего, а для того чтобы установить права человечества.

Остается третья трудность, скорее мнимая, чем действительная, которую я не хочу ни разрешать, ни выяснять: с меня достаточно того, что она не охлаждает моего усердия, и я вполне уверен, что в изысканиях этого рода не столько необходимы великие таланты, сколько искренняя

любовь к справедливости и истинное уважение к правде. Таким образом, если только вопросы о правительстве могут справедливо обсуждаться, то это, по-моему, возможно или теперь, или никогда.

Прежде чем наблюдать, нужно создать себе правила для наблюдений; нужно составить себе масштаб, чтобы потом производить по нему свои измерения. Наши принципы политического права служат этим масштабам. Измерения свои мы будем производить на политических законах каждой страны.

Элементы наши ясны, просты, взяты непосредственно из природы вещей. Они создадутся из вопросов, которые мы обсудим между собою, а положения свои мы тогда лишь обратим в принципы, когда вопросы эти будут удовлетворительно решены.

Например, обращаясь прежде всего к природному состоянию, мы рассмотрим, рабами ли люди рождаются, или свободными, связанными с обществом или независимыми; добровольно ли они соединяются, или насильственно; может ли когда сила, их соединившая, создать неизменное право, по которому эта предшествующая сила остается обязательною даже тогда, когда пересилена другою, так что со времен Немврода<sup>58</sup>, который, говорят, подчинил своей силе первые народы, все прочие силы, разрушившие эту силу, оказались бы несправедливыми и узурпаторскими, а законными королями были бы лишь потомки Немврода или его преемники; или, если эта первая сила случайно прекратится, обязательна ли, в свою очередь, сила, за ней следующая, и устраняет ли она обязательность первой,— из чего следовало бы, что повиноваться мы обязаны настолько, насколько мы вынуждены к этому, и что мы избавлены от этой необходимости, коль скоро можем оказать сопротивление, хотя право это очень мало, мне кажется, прикрашивает силу и все оказывается лишь игрою слов.

Мы рассмотрим, можно ли говорить, что всякая болезнь приходит от бога и что, значит, звать врача — преступление.

Мы рассмотрим и то, обязательно ли, по совести, отдать на большой дороге кошелек разбойнику, требующему его, хотя бы даже мы могли спрятать его, ведь пистолет, который он держит, та же сила.

Значит ли слово *сила* в этом случае нечто иное, чем законная сила, а следовательно, и подчиненная тем законам, от которых получает свое существование.

Предположив, что люди отвергают это право силы, а за начало общественности принимают природное право или родительскую власть, мы станем отыскивать меру для этой власти, посмотрим, какое у нее основание в природе, оправдывается ли она чем-либо иным, кроме пользы ребенка, слабости его и естественной любви, которую чувствует к нему отец. Если, значит, слабость ребенка прекращается и рассудок его созревает, то не становится ли он единственным и естественным судьей в вопросе о том, что пригодно для его самосохранения, а следовательно,



своим собственным властелином, независимым от всякого другого человека, даже от отца? Ведь, что сын любит самого себя, это еще несомненное того, что отец любит сына.

Обязаны ли дети по смерти отца повиноваться старшему или другому какому лицу, которое не будет к ним питать привязанности, естественной для отца, и должен ли из поколения в поколение постоянно существовать единый глава, которому все семейство должно повиноваться? А в этом случае являлся бы вопрос: как власть могла когда-либо разделиться и по какому праву на земле уже не единый глава, управляющий родом человеческим, а многие?

Предположив же, что народы создались путем выбора, мы станем различать тогда право от фактического строя; мы спросим: если люди подчинялись своим братьям, дядьям или родным не вследствие обязательства, а по своей доброй воле, то не сводится ли подобное общество все-таки к свободной и добровольной ассоциации?

Переходя затем к праву рабства, мы рассмотрим, законно ли, когда человек отдается другому без ограничений, без оговорок, без каких бы то ни было условий, т. е. может ли он отказаться от своей личности, от своей жизни, разума, от своего «я», от всякой нравственной ответственности за свои поступки,— словом, прекратить существование до наступления смерти, вопреки природе, которая непосредственно на него возлагает заботу о его самосохранении, вопреки своей совести и разуму, которые предписывают ему, что он должен делать и от чего должен воздерживаться.

А раз в акте рабства есть некоторая оговорка, некоторое ограничение, то расследуем, не становится ли в таком случае акт этот настоящим договором, при котором каждая из договаривающихся сторон, не имея в качестве таковой общего над собою начальника\*, остается в вопросе об условиях договора своим собственным судьей, а следовательно, свободною в этом отношении и властною расторгнуть договор, как скоро сочтет его вредным для себя.

\* Если б они имели над собою общего начальника, то им был бы не кто иной, как государь: и тогда право рабства, основанное на праве верховной власти, не было бы принципом.

А если раб не может, значит, отдаться без ограничений своему господину, то каким же образом может безусловно отдаться своему владыке народ? Если раб остается судьей в вопросе о том, соблюдает ли договор его господин, то как же народу не остаться судьей в вопросе о соблюдении договора со стороны главы его?

Возвращаясь таким образом назад и разбирая смысл этого собирательного названия **народ**, мы посмотрим, не нужен ли был для создания народа договор, по крайней мере молчаливый, предшествующий тому, который мы предполагаем.

Так как до избрания себе короля народ бывает все тем же народом, то что же сделало его таковым, как не общественный договор? Следовательно, общественный договор есть базис всякого гражданского общества; в сущности этого акта и нужно искать сущность общества, им образуемого.

Мы поищем, каково содержание этого договора и нельзя ли выразить его в такой приблизительной формуле: «Каждый из нас отдает сообща свое добро, свою личность, свою жизнь и всю свою силу под высшее руководство всеобщей воли, и каждого члена мы совокупно принимаем как нераздельную часть целого».

Выставив это предположение, мы заметим, с целью определить потребные для нас термины, что вместо частных личностей, составляющих каждую из договаривающихся сторон, этот акт ассоциации производит собою моральное и коллективное тело, составленное из стольких членов, сколько собрание имеет голосов. Эта всенародная личность называется обыкновенно политическим телом, если название дается по отношению к его членам, — **государством**, если оно пассивно,— верховной властью, если оно активно,— и державой по сравнению с ему подобными. Что касается самих членов, то коллективно они называются **народом**, а в частности гражданами, как члены гражданской общины или участники Верховной власти, и **подданными**, как подчиненные этой самой власти.

Мы заметим, что этот акт ассоциации заключает в себе взаимное обязательство между общенародным целым и отдельными лицами и что каждый индивид, заключая, так сказать, договор с самим собою, оказывается обязанным в двух отношениях, т. е. как член державной власти — в отношении к отдельным лицам и как член государства — в отношении к державной власти.

Мы заметим, кроме того, что если всякий бывает связан лишь теми обязательствами, которые заключены с ним самим, то общенародное решение, могущее обязать всех подданных по отношению к державной власти, — в силу того, что каждый из них может быть рассматриваем с двух различных сторон, — не может, поставить государство в обязательные отношения к нему самому. Отсюда видно, что в нем нет и не может быть другого основного (в собственном смысле слова) закона, кроме общественного соглашения. Это не значит, однако, чтобы политическое тело не могло принять известного рода обязательства по отношению к другим; ибо по отношению к иностранцу оно становится существом простым, индивидом.

Так как две договаривающиеся стороны, т. е. каждое частное лицо и общенародное целое, не имеют над собою никакого общего начальства, которое могло бы решать их распри, то нужно рассмотреть, властна ли каждая из них нарушить договор, когда ей угодно, т. е. отказаться от него, насколько он ее касается, как скоро считает себя потерпевшею ущерб.

Для выяснения этого вопроса заметим, что раз, в силу общественного соглашения, державная власть может действовать лишь через мирскую и всеобщую волю, то и действия ее должны также иметь лишь всеобщие и мирские цели; отсюда следует, что частное лицо было бы затронуто непосредственно державной властью лишь в том случае, если были бы затронуты все, а это невозможно, потому что это значило бы желать самому себе причинить зло. Таким образом, общественный договор не нуждается ни в какой иной гарантии, кроме общенародной силы,

потому что ущерб может происходить лишь со стороны частных лиц; и в этом случае их не освобождают из-за этого от обязательства, а наказывают за нарушение его.

Чтобы лучше разрешить все подобные вопросы, мы постараемся помнить всегда, что общественное соглашение носит совершенно особый характер, свойственный ему одному, так как народ заключает договор с самим лишь собою, т. е. народ в совокупности, как державная власть, вступает в договор с частными лицами как подданными; от этого условия и зависит вся замысловатость и весь ход политической машины, оно одно и делает законными, разумными и безопасными обязательства, которые без этого были бы абсурдными, тираническими и подверженными величайшим злоупотреблениям.

Так как частные лица подчинены лишь державной «ласти, а державная власть есть не что иное, как всеобщая воля, то мы увидим, что каждый человек, повинувшись державной власти, повинуетя лишь самому себе и что при общественном договоре люди даже более свободны, чем в естественном состоянии.

Сравнив, по отношению к личности, свободу естественную с свободой гражданской, мы сопоставим затем, по отношению к имуществу, право собственности с правом державной власти, частное обладание с государственною собственностью. Если державная власть основана на праве собственности, то право это она больше всего должна уважать; оно для нее ненаруσιμο и священо, пока остается правом частным и индивидуальным; а как скоро оно рассматривается в качестве общего для всех граждан, оно подчинено всеобщей воле, и эта воля может его уничтожить. Таким образом, державная власть не имеет никакого права касаться имущества частных лиц, одного или многих; но она может законно овладеть имуществом всех, как это было в Спарте во время Ликурга<sup>59</sup>, тогда как уничтожение долгов, произведенное Солоном, было актом незаконным<sup>60</sup>.

Так как подданных ничто не обязывает, кроме всеобщей воли, то мы проследим, каким образом обнаруживается эта воля, по каким признакам можно несомненно узнать ее,— посмотрим, что такое закон и каковы истинные черты законности. Предмет этот совершенно новый: определение закона предстоит еще дать.

Как только народ начинает одного или нескольких своих членов рассматривать в отдельности, народ, значит, разделяется. Он образует между целым и его частью соотношение, создающее двух отдельных существ, из которых одно есть часть, а другое — целое, за вычетом этой части. Но целое, за вычетом части, не есть целое; значит, пока это отношение существует, нет уже целого, а есть две неравные части.

Напротив, когда весь народ постановляет относительно всего народа, он имеет в виду лишь самого себя, и если здесь создается отношение, то это отношение целого предмета, рассматриваемого с одной точки зрения, к целому предмету, взятому с другой точки зрения, без всякого деления этого целого. Предмет в этом случае, относительно которого делают

постановление, есть всеобщий, и воля, делающая постановление, тоже всеобщая. Мы рассмотрим, может ли какой-нибудь иного рода акт носить имя закона.

Если державная власть может высказываться лишь путем законов, а закон может иметь лишь всеобщую цель, одинаково касающуюся всех членов государства, то отсюда следует, что державная власть не имеет возможности постановлять что-нибудь относительно частного предмета; а так как для сохранения государства важно все-таки, чтоб оно решало и частные дела, то посмотрим, как это можно было бы устроить.

Акты державной власти могут быть лишь актами всеобщей воли; затем нужны акты побудительные — акты силы или управления для исполнения этих самых законов; и эти акты, напротив, могут иметь лишь частные цели. Таким образом, акт, которым державная власть постановляет избрать главу, есть закон; акт же, которым избирают этого главу во исполнение закона, есть акт управления.

Итак, вот еще третья сторона, с которой может быть рассматриваем соединившийся народ, т. е. его можно рассматривать в качестве магистрата или исполнителя законов, изданных им в качестве державной власти\*.

\* Эти вопросы и предположения извлечены большей частью из «Трактата об общественном договоре», а этот последний, в свою очередь, является отрывком более обширного труда<sup>61</sup>, который я предпринял, не сообразуясь с своими силами, и давно уже оставил. Небольшой трактат, вырванный мною оттуда {сущность которого я здесь излагаю), будет издан особо<sup>62</sup>.

Мы рассмотрим, возможно ли, чтобы народ отказался от права державной власти с целью облечь ею одного человека или нескольких; ибо раз акт избрания не есть закон и народ сам не является в этом акте державною властью, то не ясно, каким образом он может в этом случае передать право, которого не имеет.

Так как сущностью державной власти является всеобщая воля, то не ясно также и то, каким образом можно быть уверенным, что частная воля всегда будет в согласии со всеобщей волей. Скорее следует предположить, что она всегда будет противоположна этой последней; ибо частный интерес всегда стремится к тому, чтобы его предпочитали другим, а общественный интерес стремится к равенству; если б это согласие и было возможно, но не было бы необходимым и ненарушимым, то из него все-таки не могло бы выйти державного права.

Мы исследуем, могут ли, не нарушая общественного соглашения, стоящие во главе народа лица, под каким бы то ни было именем избранные, быть чем-либо иным, а не слугами народа, которым этот последний приказывает следить за исполнением законов; не должны ли эти начальники отдавать ему отчет в своих распоряжениях и не подчинены ли сами они тем законам, наблюдение за которыми на них возложено.

Если народ не может отчуждать своего верховного права, то не может ли он на время вверить его кому-нибудь? Если он не может создать себе повелителя, то нельзя ли ему создать себе представителей? Вопрос этот важен и заслуживает обсуждения.

Если народ не будет иметь ни верховного правителя, ни представителей, то следует рассмотреть, каким образом он может сам себе давать законы. Должен ли он иметь много законов? Часто ли должен изменять их? Легко ли большому народу быть своим собственным законодателем?

Не был ли и римский народ большим народом? Хорошо ли то, что существуют большие народы? Из предыдущих соображений вытекает, что в государстве есть тело, посредствующее между подданными и державною властью, и на это посредствующее тело возложено общественное управление, исполнение законов и поддержание гражданской и политической свободы.

Члены этого тела называются магистратами или королями, т. е. управителями. Целое тело, если иметь в виду людей, его составляющих, обозначается словом государь, а рассматриваемое со стороны действий называется правительством. Рассматривая действие целого тела, действующего относительно себя самого, т. е. отношение целого к целому, или державной власти к государству, мы можем сравнить это отношение с отношением крайних членов непрерывной пропорции, средним членом которой будет правительство. Управитель получает от державной власти приказания, которые передает народу; и, при прочих равных условиях, сила и власть его проявляется в той же степени, как сила и власть граждан, которые, с одной стороны, суть подданные, а с другой — носители державной власти. Как только переменяется какой-нибудь из трех членов, сейчас же нарушается и пропорция. Если державная власть хочет управлять, если государь хочет давать законы, или подданный отказывается повиноваться, правильный ход сейчас же заменяется беспорядком, и разложившееся государство впадает в деспотизм или в анархию.

Предположим, что государство состоит из 10 000 граждан. Державная власть может быть рассматриваема лишь коллективно, как нечто совокупное; но каждое частное лицо имеет, как подданный, индивидуальное и независимое существование. Таким образом, державная власть относится к подданному, как 10000:1, т. е. на долю каждого члена государства приходится лишь  $\frac{1}{10000}$  верховной власти, хотя подчинен он ей всецело. Предположим теперь, что народ состоит из 100000 особей. Положение подданных не изменяется, и каждый по-прежнему несет на себе все владычество законов, меж тем голос его, сведенный до  $\frac{1}{100000}$  целого, в десять раз уже меньше оказывает влияния на издание этих законов. Таким образом, подданный по-прежнему остается одним, а геометрическое отношение между ним и державной властью все увеличивается, сообразно с числом граждан. Отсюда вытекает, что с увеличением государства свобода уменьшается.

А чем меньше частные воли сходятся со всеобщей волей, т. е. нравы с законами, тем большей должна быть сила обуздывающая. С другой стороны, так как обширность государства представляет носителям общенародной власти больше искушений и средств злоупотреблять ею, то, чем больше силы у правительства для обуздания народа, тем больше силы должна иметь, в свою очередь, и державная власть для обуздания правительства.

Из этого двойного соотношения следует, что, представленная в виде непрерывной пропорции, зависимость между державной властью, правителем и народом не есть произвольная идея, но вытекает из самой природы государства. Кроме того, отсюда следует, что если один из крайних членов, именно народ, остается без изменения, то всякий раз, как удвоенное отношение увеличивается или уменьшается, простое отношение тоже, в свою очередь, увеличивается или уменьшается, а для этого необходимо, чтобы средний член изменился во столько же раз. Из этого мы можем вывести заключение, что нет единственной и абсолютной формы правительства, но должно быть столько и различных по природе правительств, сколько есть различных величин для государств.

Если чем многочисленнее парод, тем менее нравы его соответствуют законам, то исследуем, нельзя ли также сказать, по довольно очевидной аналогии, что, чем многочисленнее чиновники, тем слабее правительство.

Чтобы выяснить это правило, мы будем различать в личности каждого магистрата три воли, существенно различных: во-первых, собственную волю индивида, стремящуюся лишь к своей частной выгоде; во-вторых, общую волю магистратов, направленную единственно на пользу государя,— волю, которую можно назвать корпоративной волей и которая бывает всеобщей по отношению к правительству и частной для государства, по отношению к которому правительство есть часть; в-третьих, волю народную, или державную, которая бывает общей как по отношению к государству, взятому в смысле целого, так и по отношению к правительству, которое рассматривается как часть целого. В совершенном законодательстве частная и индивидуальная воля должна не иметь никакого почти значения; корпоративная воля, свойственная правительству, должна быть вполне подчиненной; следовательно, всеобщая и державная воля есть регулятор для всех остальных. По естественному же порядку, наоборот, по мере сосредоточения эти различные воли делаются более активными; всеобщая воля всегда бывает наиболее слабой, корпоративная воля занимает второе место, а воля частная предпочитается всему, так что каждый человек прежде всего бывает самим собою, затем магистратом и потом уже гражданином; градация эта прямо противоположна той, которая требуется для общественного порядка.

Установив это, предположим теперь, что правительство находится в руках одного только человека. Частная воля и корпоративная воля оказываются совершенно соединенными; а следовательно, воля достигает здесь высшей степени интенсивности, какой только может. А так как от этой степени и зависит применение силы, ввиду того что абсолютная сила правительства,

будучи всегда тождественной с силою народа, не изменяется, то отсюда следует, что наиболее активным из правительств будет управление одного.

И наоборот, соединим правительство с верховной властью, представим державную власть в лице государя, а граждан сделаем магистратами: в этом случае корпоративная воля, совершенно слившись с всеобщей волей, проявит не больше деятельности, чем эта последняя, а частную волю оставит во всей ее силе. Таким образом, правительство, оставаясь постоянно при одной и той же абсолютной силе, будет в наименьшей степени деятельным.

Правила эти неоспоримы; для подтверждения их служат и другие соображения. Мы видим, например, что магистраты более активны в сфере своей корпорации, чем граждане в своей сфере, и что, следовательно, частная воля там имеет гораздо больше влияния. Ибо на каждого магистрата почти всегда возложена какая-нибудь особая функция в управлении, тогда как каждый гражданин, взятый в отдельности, не несет на себе никакой функции державной власти. Кроме того, чем больше расширяется государство, тем более увеличивается его действительная сила, хотя она увеличивается и не пропорционально его расширению; но если государство остается одинаковым, то, как бы ни умножались магистраты, правительство не приобретает этим большей действительной силы, потому что оно есть носитель силы государства, которую мы предполагаем все время равную. Таким образом, вследствие этой многочисленности активность правительства уменьшается, а сила его не может увеличиваться.

Нашедши, что правительство ослабляется по мере умножения магистратов и что, чем народ многочисленнее, тем большей должна быть обуздывающая сила правительства, мы выведем отсюда заключение, что отношение магистратов к правительству должно быть обратным по сравнению с отношением подданных к державной власти, т. е., чем больше увеличивается государство, тем более должно сжаться правительство, так чтобы число начальников уменьшалось с увеличением населения.

Затем, чтобы обозначить все это разнообразие форм более точными наименованиями, мы отметим прежде всего, что державная власть может верить бразды правления всему народу или наибольшей части народа, так что граждан-магистратов бывает больше, чем простых граждан и частных лиц. Эту форму правительства называют демократией.

Или же управление можно сосредоточить в руках меньшего числа лиц, так что простых граждан будет больше, чем магистратов; эта форма носит название аристократии.

Наконец, можно концентрировать все управление в руках единственного магистрата. Эта третья форма наиболее обычна и называется монархией или королевским правительством.

Мы отметим, что все эти формы или по крайней мере две первые допускают постепенность и даже дают довольно много простора. Ибо демократия может обнимать весь народ или сузиться даже до половины. Аристократия, в свою очередь, может начиная от половины народа неопределенно сузиться до самого небольшого числа. Даже царская власть допускает иной раз

раздел — между отцом, например, и сыном, между двумя братьями или как-нибудь иначе. В Спарте всегда было два царя, а в Римской империи раз было до восьми императоров сразу, и все-таки нельзя было сказать, что империя разделилась. Есть пункт, где каждая форма правительства смешивается со следующей; нося одно из этих трех специальных названий, правительство в действительности может принять столько же форм, сколько в государстве граждан.

Даже больше того: так как каждое из правительств может в известных отношениях подразделяться на разнородные части, управляемые одна одним манером, другая — другим, то из комбинации этих трех форм может получиться множество смешанных форм, из которых каждая может подразделяться на всякого рода простые.

Во все времена много рассуждали о лучшей форме правительства, не принимая того в расчет, что каждая в известных случаях бывает наилучшею и в других случаях наихудшею. Мы же, раз число магистратов в различных государствах должно быть обратно пропорционально числу граждан<sup>\*</sup>, должны вывести заключение, что демократическое правительство пригодно вообще для малых государств, аристократическое для средних и монархия для больших.

\* Нужно помнить, что я разумею здесь лишь высших магистратов или людей, стоящих во главе нации, так как прочие бывают лишь заместителями их по той или другой части.

Эта нить изысканий доведет нас, наконец, до решения вопросов, каковы обязанности и права граждан, можно ли их отделять одни от других, что такое отечество, в чем именно оно заключается и почему каждый может распознать, имеет ли он отечество или не имеет его.

Рассмотрев таким образом каждый вид гражданского общества, взятый сам по себе, мы станем сравнивать эти общества и наблюдать их в различных соотношениях; мы увидим, что одни из них велики, другие малы; увидим, как они нападают друг на друга, обижают, разрушают друг друга и в этом непрерывном действии и противодействии создают больше несчастных и тратят больше человеческих жизней, чем в том случае, если бы все люди сохраняли свою первоначальную свободу. Мы исследуем, не слишком ли много допущено недочетов в общественном устройстве, и, в то время как общества берегут друг от друга свою естественную независимость, отдельные лица, подчиненные и законам и людям, не остаются ли подверженными бедствиям того и другого государства, не участвуя в их выгодах? Если б в мире не было никаких гражданских обществ, не лучше ли было бы, чем теперь, когда их много? Не есть ли это своего рода «смешанное государство», если участвуешь в двух и не обеспечен ни в одном, если невозможно ни то, ни другое; *per quem neutrum licet, nec tanquam in bello paratum esse, nec tanquam in pace securum?*<sup>63</sup> Не эта ли партийная и несовершенная ассоциация производит тиранию и войну? А тирания и война не являются ли самыми страшными бичами человечества?

Наконец, мы рассмотрим средства, предлагаемые для борьбы с этим злом,— лиги и конференции, которые, предоставляя каждому государству внутри полную свободу, извне дают ему оружие против всякого несправедливого посягательства. Мы постараемся узнать, как можно



установить целесообразную федеративную ассоциацию, от чего зависит ее прочность и на какую область можно распространять право конфедерации, не вредя правам державной власти.

Аббат Сен-Пьер предлагал ассоциацию из всех государств Европы для поддержания между ними вечного мира<sup>64</sup>. Осуществима ли эта ассоциация, и, если она установится, можно ли думать, что она будет прочною? Путем этих изысканий мы прямо подойдем ко всем вопросам общественного права, которые могут окончательно осветить нам вопрос о политическом праве.

\* Уже после того, как я написал это, доводы в пользу этого плана были изложены в извлечении из проекта; доводы же противные, по крайней мере те, которые показались мне основательными, будут изложены в собрании моих сочинений<sup>65</sup>, вслед за этим самым извлечением.

Наконец, мы установим истинные принципы права войны и посмотрим, почему Гроций и другие дали нам лишь ложные принципы. Я был бы очень удивлен, если бы среди всех этих рассуждений гоноша мой, как человек одаренный здравым смыслом, не прервал меня восклицанием: «Подумаешь, что мы строим свое здание из дерева, а не с людьми имеем дело, с такою точностью мы пригоняем каждый кусок по линейке!» — «Это правда, друг мой; но не забывай, что право не подгоняется к людским страстям и что ведь вопрос у нас шел о том, чтобы прежде всего установить истинные принципы политического права. А теперь, когда фундамент у нас заложен, отправляйся и посмотри, что такое люди на нем выстроили,— ты увидишь прекрасные вещи».

Затем я заставлю его читать «Телемака» и продолжать его путь; мы ищем счастливого Салента и доброго Идоменея, ставшего мудрым благодаря несчастиям. Совершая путь, мы встречаем много Проте-зилаев и ни одного Филоклеса. Адраста, царя данайцев, тоже нетрудно было встретить<sup>66</sup>. Но предоставим, впрочем, читателям вообразить себе наше путешествие или за нас совершить его с «Телемаком» в руке; а мы не станем им внушать неприятных сопоставлений, которых сам автор избегает или если делает, то помимо воли.

Впрочем, так как Эмиль не царь и я не бог, то мы не будем мучиться тем, что не в силах подражать Телемаку и Ментору в благодеяниях, расточаемых ими людям: никто лучше нас не умеет держаться своего места, никто меньше нас не желает его покидать. Мы знаем, что одна и та же задача дана всем, что, кто от всего своего сердца любит добро и делает его, насколько хватает сил, тот выполнил эту задачу. Мы знаем, что Телемак и Ментор — выдумки. Эмиль путешествует не как праздный лентяй и делает больше добра, чем если б был принцем. Будь мы королями, мы не больше сумели бы сделать добра. Будь мы благодетельными королями, мы, сами того не зная, причиняли бы тысячу действительных зол вместо одного доброго дела, которое думали бы сделать. Будь мы королями и мудрецами, первым добром, которое мы захотели бы сделать себе и другим, было бы отречение от королевской власти с целью снова стать тем, что мы есть.

Я говорил, почему путешествия оказываются для всех бесплодными. Еще бесплоднее они делаются для юношества, благодаря тому способу, каким совершаются. Воспитатели, запятые

больше своими удовольствиями, чем образованием своих питомцев, только и делают, что возят их из города в город, из дворца во дворец, из гостиной в гостиную; или если они люди ученые и близкие к литературе, то заставляют их проводить все время в беганье по библиотекам, посещениях антиквариатов, перелистывании старинных памятников, списывании старинных надписей. В каждой стране они заняты иным веком,— а это все равно, что заниматься иною страной,— так что, проехав с большими издержками Европу, среди пустых забав и скуки, они возвращаются, не увидав ничего такого, что может их интересовать, не узнав того, что могло бы им быть полезным.

Все столицы похожи одна на другую: все народы тут смешиваются, все нравы сливаются; не сюда следует идти изучать нации. Париж и Лондон — на мой взгляд — один и тот же город. У жителей их некоторые предрассудки различны, но предрассудков этих у одних не меньше, чем у других, а все правила общежития одинаковы. Всякий знает, какого сорта люди должны собираться при дворах. Всякий знает, какие нравы всюду должны порождать скопление населения и неравенство состояний. Как скоро мне говорят о городе, где считается двести тысяч душ, я уже наперед знаю, как там живут. Из-за того, что я мог бы узнать сверх этого, на месте, не стоит туда отправляться.

В отдаленных провинциях, где меньше движения, сношений, где меньше путешествует иностранцев, где жители реже перемещаются, реже меняют состояние и положение,— вот где нужно изучать дух и нравы наций. Взгляните мимоходом на столицу, но наблюдать страну отправляйтесь дальше. Французы не в Париже, они в Турени; англичане больше оказываются англичанами в Мерси, чем в Лондоне; испанцы скорее бывают испанцами в Галисии, чем в Мадриде. В этих именно дальних углах народ обнаруживает свой характер и выказывает себя таким, каков он есть, без всяких посторонних примесей; там именно хорошие и дурные стороны правительства наиболее чувствуются, подобно тому как и измерение дуг при наибольшем радиусе бывает более точным.

Необходимые соотношения между правами и правительством так хорошо изложены в книге «О духе законов»<sup>67</sup>, что для изучения этих соотношений нет лучшего средства, как прибегнуть к этому именно сочинению. Но вообще есть два легко доступных и простых критерия для суждения об относительной доброкачественности правительств. Один критерий — это населенность. Всякий раз как население страны уменьшается, государство клонится к упадку; а страна наиболее населенная,— будь она самую бедною,— бесспорно, управляется лучше всего\*.

\* Я знаю одно только исключение из этого правила; это — Китай.

Но для этого нужно, чтобы населенность эта была естественным последствием управления и нравственности; ибо, если она является вследствие колонизации или другими, случайными и временными путями, то врачеванием здесь только доказывается присутствие болезни. Когда Август издал законы против безбрачия<sup>68</sup>, то законы эти уже указывали на упадок Римской империи. Нужно хорошим управлением располагать граждан к браку, а не принуждать к этому

законами; нужно принимать в расчет не то, что делается насильственно, — ибо закон, который борется с естественными склонностями, обходится людьми и не достигает цели,— а то, что делается под влиянием нравов и благодаря естественному ходу управления, ибо только эти средства оказывают постоянное действие. Это было политикой доброго аббата Сен-Пьера — постоянно изыскивать мелкие средства против каждого частного зла вместо того, чтобы добраться до общего источника зол и посмотреть, нет ли средства исцелить их все разом. Дело не в том, чтобы отдельно лечить каждую язву, появляющуюся на теле больного; нужно очистить всю массу крови, производящей эти язвы. Говорят, что в Англии существуют призы за успехи по земледелию; этим для меня все сказано: это одно доказывает мне, что земледелие недолго в ней будет процветать. Второй признак относительно доброкачественности управления и законов обусловлен тоже населением, но только в другом смысле, именно — распределением его, а не количеством. Два государства, равные по величине и числу жителей, могут быть совершенно неравны по силе, и наиболее могущественным из них всегда бывает то, жители которого наиболее ровно распределены по территории: государство, в котором нет таких больших городов, а следовательно, а меньше всего блеску, всегда пересилит другое. Большие именно города истощают государство и составляют его слабую сторону: богатство, ими производимое, есть богатство наружное и обманчивое; тут много денег и мало проку. Говорят, что город Париж стоит для французского короля целой провинции; я же думаю, что он ему дороже нескольких провинций, что Париж во многих отношениях живет за счет провинций и что большая часть их доходов собирается в этот город, да там и остается, не возвращаясь никогда ни к народу, ни к королю. Непонятно, как это в настоящий век вычислений не нашлось никого, кто определил бы, насколько Франция была бы могущественнее, если бы Париж был уничтожен. Дурное распределение населения не только невыгодно для государства, но разорительнее даже малой населенности, потому что последняя только не производит ничего; а неправильное расходование сил дает в результате величину отрицательную. Когда я слышу, как француз и англичанин, гордясь обширностью своих столиц, спорят, которая из них, Париж или Лондон, заключает больше жителей, мне так я кажется, что они спорят между собою о том, которому из двух народов принадлежит честь иметь наихудшее управление.

Изучайте народ вне городов — только таким путем вы его узнаете. Пустое дело — наблюдать внешнюю форму управления, щеголяющую великолепием администрации и болтовнею администраторов. если не изучаешь при этом внутреннего характера его по тому действию, какое производит оно на народ, и притом на всех ступенях администрации. Так как разница между формою и сущностью распределена по всем этим ступеням, то узнать ее можно не иначе, как изучая все их. В иной стране по проискам низших служащих и начинаешь только чувствовать дух министерства; в другой, для того чтобы судить о том, свободна ли нация, нужно видеть, как выбирают членов парламента; какую ни возьмем страну, невозможно человеку, видевшему лишь

города, ознакомиться с управлением, потому что характер его никогда не бывает одинаков и в городе, и в деревне. А меж тем деревня и составляет страну, деревенское население и образует нацию.

Это изучение разных народов в их отдаленных провинциях, среди простоты их первобытного характера, приводит к общему заключению, благоприятному для моего эпитафия и очень утешительному для человеческого сердца: выходит, что все нации, при таком наблюдении, выказываются в лучшем свете, что, чем ближе они к природе, тем больше доброты в их характере; лишь запираясь в города, лишь изменяясь благодаря культуре, они развращаются и прежние недостатки, скорее грубые, чем вредные, превращают в пороки, приятные, но губительные.

Из этого наблюдения вытекает новое преимущество предлагаемого мною способа путешествовать: молодые люди, недолго оставаясь в больших городах, где царит страшная испорченность, менее подвержены опасности заразиться ею и, среди более простых людей, среди обществ, менее многолюдных, лучше сохраняют верное суждение, здоровый вкус, чистые нравы. Но, впрочем, моему Эмилю почти нечего бояться этой заразы: у него есть все для того, чтобы оградиться от нее. В числе других предосторожностей, принятых мною ради этого, я особенно, рассчитываю на привязанность, живущую в его сердце.

Мы уже не знаем теперь, какое влияние может оказать истинная любовь па склонности молодых людей, потому что лица, ими руководящие, не лучше знакомые с нею, чем они сами, отвращают их от этой любви. Меж тем неизбежно, что молодой человек или любит, или бывает развратником. Легко морочить людей внешностью. Мне приведут в пример тысячу молодых людей, которые — скажут мне — ведут совершенно целомудренную жизнь и без любви; но пусть мне назовут зрелого человека, уже настоящего мужчину, который добросовестно мог бы сказать, что именно так провел свою юность. Во всех добродетелях, во всех обязанностях стремятся лишь соблюсти приличие; я же ищу действительности, и если для достижения ее существуют иные средства помимо тех, какие я предлагаю, то, значит, я обманулся.

Идея сделать Эмиля влюбленным, прежде чем начать с ним путешествие, не моего изобретения. Вот происшествие, внушившее мне ее.

Был я в Венеции с визитом у гувернера одного молодого англичанина. Дело было зимою; мы сидели у огня. Гувернер получает с почты письма. Он прочитывает их и затем одно из них перечитывает вслух своему воспитаннику. Оно было написано по-английски, и я ничего не понимал; но во время чтения я вижу, как молодой человек обрывает свои прекраснейшие вышивные манжеты и бросает их одна за другою в огонь, всячески стараясь, чтобы этого никто не заметил. Удивленный этим капризом, я смотрю ему в лицо и как будто вижу в нем волнение; но хотя страсти довольно сходны у всех людей, внешние признаки их имеют национальные отличия, в которых легко ошибиться. У разных народов язык ощущений столь же различен, как и тот, которым говорят. Я ожидаю конца чтения и затем, показывая гувернеру на голые запястья у его

воспитанника, который меж тем из всех сил старался спрятать их, спрашиваю: «Нельзя ли узнать, что это значит?»»

Гувернер, увидав происшедшее, покатывается со смеху и с довольным видом обнимает своего питомца; затем, получив с его стороны согласие, дает мне требуемое объяснение.

Манжеты, рассказывает он, только что изорванные Джоном, подарены недавно одною дамою здесь в городе. А нужно вам сказать, что Джон у себя на родине дал обещание одной молодой барышне, которую он очень любит и которая заслуживает еще большей любви. Письмо это — от матери его возлюбленной, и я вам сейчас переведу место, бывшее причиной того истребления, свидетелем которого вы были:

«Люси по-прежнему трудится над манжетами лорда Джона. Мисс Бетти Рольдгэм вчера провела с нею целые полдня и из всех сил старалась помочь ей в работе. Узнав, что Люси встала раньше обыкновенного, я захотела посмотреть, что она делает, и оказалось, что она занята переделкою того, что вчера сработала мисс Бетти. Она не хочет, чтобы на ее подарке хоть один шов был сделан другою рукой, а не ее собственною».

Джон минуто спустя вышел, чтобы надеть другие манжеты; а я и говорю воспитателю: «Превосходный нрав у вашего воспитанника! Но скажите мне по правде: письмо матери мисс Люси не есть ли просто подделка? Не сами ли вы придумали такое средство против дамы, подарившей манжеты?» — «О, нет,— возразил он,— все так и было. Я не такой искусник в деле; я старался вложить в него побольше простоты, усердия — и бог благословил мой труд».

Поступок этого молодого человека не вышел из моей памяти; он способен был породить кое-что в голове такого мечтателя, как я.

Пора окончить. Поведем лорда Джона назад к мисс Люси, т. е. Эмиля к Софи, Он возвращается к ней с таким же нежным сердцем, с каким уезжал, но с умом более просвещенным; он возвращается на родину с одним преимуществом: он узнал правительства по их порокам и народы по их добродетелям. Я даже позаботился, чтобы он заключил с каким-нибудь достойным человеком в каждой нации союз гостеприимства, по образцу древних, и не прочь от того, чтобы он поддерживал эти знакомства путем переписки. Помимо того что сношения с отдаленными странами могут быть полезными и всегда приятны, это является превосходною мерой против национальных предрассудков, которые, нападавая на нас всю жизнь, рано или поздно берут над нами верх. Ничто так не помогает освободиться от этого ига, как бескорыстные сношения с рассудительными людьми, которых уважаешь и которые, не имея этих предрассудков и противодействуя им своими собственными, дают нам средство постоянно противопоставлять одни предрассудки другим и таким образом предохранять себя от тех и других. Не все равно, имеешь ли сношения с иностранцами у себя дома или в их стране. В первом случае они всегда относятся к той стране, где живут, с чувством пощады, заставляющим их скрывать свои мысли или благоприятно о ней отзываться, пока живут в ней; по возвращении же к себе они делаются строже

в суждениях и тут-то бывают справедливыми. Мне очень хотелось бы, чтобы иностранец, с которым я советуюсь, видел мою страну, но мнения о ней я спросил бы у него лишь в его собственной стране.

Употребив почти два года на странствования по некоторым большим государствам Европы и по множеству малых, изучив два-три главных языка, увидев все, что есть в них действительно замечательного, в отношении ли естественнoисторическом или в отношении управления, искусств, людей, Эмиль, пожираемый нетерпением, предупреждает меня, что назначенный нами срок приближается. Тогда я говорю ему: «Ну, друг мой! ты помнишь главную цель наших путешествий; ты обзирал, наблюдал; каков же, наконец, результат твоих наблюдений? На чем ты остановился?» Что-нибудь одно: или я обманулся в своей методе, или он должен ответить мне приблизительно так:

«На чем я остановился? Я решил оставаться таким, каким вы меня сделали, и добровольно не налагать на себя никакой новой цепи, кроме той, которую налагают на меня природа и законы. Чем больше я наблюдаю работу людей, в их учреждениях, тем яснее вижу, что из-за желания быть независимыми они делаются рабами и что самую свободу свою они тратят на бесплодные усилия упрочить ее. Чтобы не уступать потоку вещей, они создают себе тысячу привязанностей; а потом, как только вздумают сделать шаг, не могут тронуться — и удивлены, что ко всему привязаны. Чтобы сделаться свободным, для этого, мне кажется, ничего не нужно делать: достаточно нежелания расстаться со своею свободой. Это вы, учитель мой, сделали меня свободным, научив меня уступать необходимости. Пусть приходит она, когда ей угодно: я без сопротивления дам ей увлечь себя; а так как я не хочу бороться с нею, то я ни к чему и не привязываю себя с целью удержаться. Я искал в наших странствиях, нет ли где уголка земли, в котором я мог бы принадлежать абсолютно самому себе; но в каком месте среди людей можно не зависеть от страстей их? Исследовав все, я нашел, что самое мое желание заключало в себе противоречие; ибо, будь я не связан ничем другим, я по меньшей мере зависел бы от земли, на которой утвердился бы; жизнь моя была бы связана с этой землей, как дриады были связаны со своими деревьями; я нашел, что «обладание» и «свобода» — два несовместимых слова и что я мог бы быть господином своей хижины лишь в том случае, если б перестал быть своим собственным господином.

*Nos erat in votis modus agri non ita magnus*<sup>69</sup>.

Я помню, что приняться за эти розыски побудило нас богатство мое. Вы доказывали весьма основательно, что я не мог бы сохранить одновременно и богатство, и свободу, но, когда вы желали, чтобы я одновременно и был свободен, и не имел нужд, вы желали двух несовместимых вещей; ибо стряхнуть с себя зависимость от людей я мог бы не иначе, как возвратившись под иго природы. Итак, что же мне делать с состоянием, которое оставили мне родители? Я прежде всего устрою так, чтобы не зависеть от него; я развяжу все узы, привязывающие меня к нему; если мне оставят его, оно останется у меня; если отнимут, меня не увлекут с ним. Я не стану мучиться с

целью удержать его, но я останусь прочно на своем месте. Богатый или бедный, я буду свободен. Я буду свободен не только в такой-то стране, в таком-то краю — я буду свободен на всей земле. Для меня разбиты все цепи людского мнения; мне знакомы лишь цепи необходимости. Я научился носить их с самого рождения и стану носить их до смерти, ибо я — человек; да и почему я не сумел бы носить их, будучи свободным, если, будучи рабом, пришлось бы носить их еще больше, а вдобавок и цепи рабства?

Что мне за дело до моего положения на земле? какая важность в том, где я нахожусь? Всюду, где есть люди, я — между моими братьями; всюду, где нет их, я у себя дома. Пока я буду в состоянии оставаться независимым и богатым, у меня будут средства для прожития — и я буду жить. Если мое добро поработит меня, я без труда его брошу; у меня есть руки, чтобы работать, — и я проживу. Когда руки откажутся служить, я буду жить, если меня станут кормить, и умру, если меня покинут; ведь мне придется умереть, хотя бы даже меня не покидали; ибо смерть не бедствие, связанное с нищетою, но закон природы. В какое бы время ни пришла смерть, я не боюсь ее; она никогда не захватит меня приготавливающимся к жизни; она не помешает мне в том, что прожито.

Вот, отец мой, на чем я остановился. Если б я не имел страстей, я был бы, в своем звании человека, независим, как само Божество, так как, желая лишь того, что есть, я никогда не имел бы надобности бороться с судьбою. Как бы то ни было, меня связывает всего одна цепь; это единственная, какую я буду когда-либо носить, и я могу этим гордиться. Идем же, дайте мне Софи — и я свободен».

«Дорогой Эмиль! мне очень приятно слышать из твоих уст речи, приличные мужу, и видеть в твоём сердце такого же рода чувства. Это чрезмерное бескорыстие в твои лета мне очень нравится. Оно уменьшится, когда у тебя будут дети, и тогда ты будешь тем именно, чем должен быть добрый отец семейства и разумный человек. Еще до твоих путешествий я знал, каков будет результат их; я знал, что, присмотревшись ближе к нашим учреждениям, ты будешь очень далек от доверия к ним, которого они не заслуживают. Тщетно стремятся к свободе — под охраной законов. Законы! да где они есть? где они уважаемы? Всюду, как ты видел, под этим названием царит лишь частный интерес и людские страсти. Но вечные законы природы и мирового порядка существуют. Они для мудреца заменяют закон положительный; они начертаны в глубине его сердца совестью и разумом; им-то он и должен подчиняться, чтобы быть свободным; а раб лишь тот, кто поступает дурно, ибо он поступает так всегда помимо воли. Свобода — не в какой-либо форме правления, она в сердце свободного человека — он носит ее всюду с собою. Подлый человек всюду носит с собою рабство. Один был бы рабом в Женеве, а другой — свободным в Париже.

Если б я заговорил с тобою об обязанностях гражданина, ты, быть может, спросил бы у меня: «А где отечество?» — и подумал бы, что поставил меня в тупик. Ты, однако, ошибаешься, дорогой

Эмиль: у кого нет отечества, у того ведь есть по крайней мере родина. В ней все-таки есть управление и подобие законов, под которыми он спокойно прожил. Пускай общественный договор не был соблюден, что за беда? ведь частный интерес оберегал его точно так же, как это делала бы и всеобщая воля, ведь общественное насилие предохранило его от насилий частных лиц, ведь виденное им зло заставило его полюбить то, что было доброго, ведь самые учреждения наши заставили его познать и возненавидеть их собственные несправедливости. О Эмиль! Где тот добродетельный человек, который ничем не обязан своей стране? Каков бы он ни был, он обязан ей уже тем, что всего драгоценнее для человека,— обязан нравственностью своих действий и любовью к добродетели. Родись он в глуши лесов, он жил бы счастливее и свободнее; но так как он без всякой борьбы следовал бы своим наклонностям, то он был бы добр без заслуг, он не был бы добродетелен, а теперь он умеет им быть, несмотря на свои страсти. Один уже внешний вид порядка побуждает познать его и полюбить. Общественное благо, для других служащее лишь предлогом, для него является действительным побуждением. Он научается бороться с собою, побеждать себя, свой интерес приносить в жертву общему интересу. Неправда, будто он не извлекает никакой пользы из законов: они дают ему мужество быть справедливым, даже среди злых. Неправда, будто они не сделали его свободным: они научили его властвовать над собою,

Не говори же: «Что мне за дело, где бы ни жить!» Для тебя важно жить там, где ты можешь выполнять все свои обязанности, а одной из этих обязанностей является привязанность к месту твоего рождения. Твои соотечественники берегли тебя ребенком; ты должен любить их, став взрослым. Ты должен жить среди них или по крайней мере в таком месте, где ты мог бы быть им полезным, насколько хочешь быть полезным, и где они могли бы найти тебя, когда будут нуждаться в тебе. Бывают такие обстоятельства, когда человек вне отечества может быть более полезен своим согражданам, чем тогда, если бы жил в его недрах. В таком случае он должен руководиться лишь своею ревностью и безропотно выносить изгнание; самое изгнание это является одной из его обязанностей. Но тебя, добрый Эмиль, ничто не заставляет приносить эти болезненные жертвы, ты не брал на себя грустной обязанности говорить людям правду,— ступай же, живи среди них, поддерживай дружбу их в приятном знакомстве с ними, будь их благодетелем, будь образцом для них: твой пример им больше послужит на пользу, чем все наши книги, и добро, которое ты будешь делать на их глазах, больше тронет их, чем все наши пустые речи.

Это не значит, чтоб я убеждал тебя жить в больших городах; напротив, к числу примеров, которые добрые должны подавать другим, относится и пример патриархальной и сельской жизни, первоначальной жизни человека, самой мирной, самой естественной и йаиболее приятной для того, у кого сердце не испорчено. Счастлива, мой юный друг, страна, где нет нужды искать мира в пустыне! Но где такая страна? Добродетельный человек плохое находит удовлетворение своим склонностям среди городов, где ему приходится выказывать свое рвение почти только в пользу



интриганов и плутов. Прием, встречаемый там лентяями, являющимися туда искать счастья, окончательно опустошает страну, которую, напротив, следовало бы населять из городов. Все люди, удаляющиеся от большого общества, полезны уже тем, что удаляются, потому что все его пороки происходят от его многочисленности. Они полезны и тогда, когда могут возродить в пустынных местах жизнь, культуру и любовь к первобытному состоянию. Я прихожу в умиление при мысли, сколько благодеяний могут распространять вокруг себя из своего скромного убежища Эмиль и Софи, насколько они могут оживить деревню и раздуть потухшее рвение несчастного поселянина. Мне так и кажется, что я вижу, как растет население, как поля делаются плодородными, земля облекается в новый наряд, многолюдство и изобилие превращает труды в праздник, как крики веселья и благословения слышатся среди сельских игр вокруг милой парочки, придавшей им оживление. Золотой век считают химерой; он и будет всегда химерой для всякого, у кого сердце и вкус испорчены. Неправда даже, будто о нем сожалеют, потому что сожаления эти всегда напрасны. Что же следует делать, чтобы возродить его? Одну вещь, но вещь возможную: нужно полюбить его.

Он уже как бы возрождается вокруг жилища Софи, вам остается лишь сообща закончить то, что начато ее достойными родителями. Но пусть эта столь сладкая жизнь не отвращает тебя, дорогой Эмиль, от трудных обязанностей, если когда-либо они будут возложены на тебя; помни, что римляне переходили от плуга к консульству. Если государь или государство призывает тебя на службу отечеству, покинь все, чтобы выполнить на предназначенном тебе месте почетную обязанность гражданина. Если эта должность тягостна для тебя, есть честное и надежное средство освободиться от нее: стоит лишь выполнять ее с таким бескорытием, чтобы тебя надолго не оставляли в ней. Впрочем, не бойся неприятностей, сопряженных с подобной должностью: пока не переведутся люди настоящего века, не тебя будут звать на государственную службу».

Как жаль, что мне нельзя описать возвращение Эмиля к Софи и конец их поры любви, или, скорее, начало супружеской любви, их соединившей,— любви, основанной на уважении, которое длится всю жизнь, на добродетелях, которые не исчезают вместе с красотой, на сходстве характеров, которое делает отношения любовными и до самой старости продолжает упоение первых дней брака! Но все эти подробности, хотя могли бы нравиться, не были бы полезными; а до сих пор я позволял себе останавливаться лишь на таких приятных подробностях, пользу которых видел. Стану ли я нарушать это правило теперь при окончании моей задачи? Нет; к тому же я хорошо чувствую, что перо мое утомилось. Будучи слишком слабым для трудов, требующих такого продолжительного напряжения, я бросил бы и этот труд, если б он не был так близок к концу; чтобы не оставлять его недоделанным, пора закончить.

Наконец, я доживаю до самого очаровательного из дней в жизни Эмиля и самого счастливого из моих: я вижу, как увенчаны мои заботы, и начинаю вкушать плод их. Достойная пара соединяется

неразрывными узами; уста их произносят и сердца подтверждают клятвы, которые не будут напрасными: они становятся супругами.

Когда они возвращаются из храма, их приходится вести: она не знает, где они, куда идут, что вокруг них делается. Они ничего не слышат, отвечают лишь бессвязными словами; их смущенные взоры ничего уже не видят. О, бред любви! О, человеческая слабость! Чувство счастья раздавливает человека; он не настолько силен, чтобы его выносить.

Очень немногие люди умеют принять в день свадьбы приличный тон в обращении с новобрачными. Угрюмая пристойность одних и легкомысленные речи других одинаково мне кажутся неуместными. Лучше было бы дать этим юным сердцам возможность собраться с чувствами и отдаться волнению, которое не лишено прелести, чем так жестоко отвлекать их от этого, наводя скуку лживым приличием или смущая их плохими шутками, которые, даже если б нравились во всякое другое время, в этот день, без всякого сомнения, несносны для них.

Я вижу, что мои молодые люди, в сладкой истоме, их волнующей, ее слышат ни одной из обращенных к ним речей. Я, желающий, чтобы люди наслаждались каждым днем жизни,— дам ли я им потерять столь драгоценный день? Нет; я хочу, чтобы они вкушали его прелесть, чтобы насладились им, чтобы он был для них днем сладострастного упоения. Я вырываю их из докучливой толпы, осаждающей их, веду их прогуляться в уединенное место и привожу их в себя разговором о них же самих. Я хочу, чтобы речи <мой шли не только к их ушам, но и к сердцам; а я хорошо знаю, какой единственный предмет может занимать их в этот день.

«Дети мои,— говорю я им, взяв их за руки,— три года тому назад я увидел зарождение этого живого и чистого пламени, составляющего теперь ваше счастье. Оно беспрестанно увеличивалось; я вижу в ваших взорах, что оно достигло высшей степени своей силы; после этого оно может уже только ослабевать». Читатели! неужели вы не видите восторгов, порывов, клятв. Эмиля, негодующего вида, с каким Софи освобождает свою руку из моей, и читаемых во взоре их нежных обещаний обожать друг друга до последнего вздоха? Я даю им высказаться и затем продолжаю.

«Часто я думал, что, если б можно было продолжить в супружестве счастье любви, мы имели бы на земле рай. До сих пор этого не видано. Но если это не совершенно невозможно, то вы вполне достойны подать пример, которого никто вам не подаст и которому последовать сумеют немногие супруги. Хотите ли, дети мои, чтобы я указал вам средство, которое я для этого придумал и которое считаю единственно возможным?»

Они переглядываются с улыбкой и смеются над моей простотой.

Эмиль коротко благодарит меня за рецепт, говоря, что Софи, по его мнению, обладает лучшим, что ему достаточно и этого. Софи одобряет и, по-видимому, проникнута такою же верой. Однако сквозь насмешливый вид ее я различаю и некоторую долю любопытства. Я смотрю на Эмиля; он страстными взорами пожирает прелести своей супруги; это единственный предмет, занимающий

его любопытство, и все мои речи ничуть не стесняют его. Я улыбаюсь в свою очередь, говоря сам себе: «Я скоро сумею сделать тебя внимательным».

Разница, почти неуловимая, между этими тайными движениями является очень характерным признаком для того и другого пола, противоречащим общепринятому предрассудку — мужчины вообще менее постоянны, чем женщины, и им скорее, чем последним, надоедает счастливая любовь. Женщина издали чувствует непостоянство мужчины, и оно беспокоит ее<sup>\*</sup>; это же делает ее и более ревливой. Когда он начинает охладевать, то, принужденная оказывать ему, с целью сберечь его, всю ту внимательность, какую он некогда выказывал ей с целью нравиться, она в свою очередь плачет, унижается — в редко с таким же успехом. Привязанность и заботливость привлекают сердца, но почти не раскрывают их. Я возвращаюсь к своему рецепту против охлаждения любви в супружестве.

\* Во Франции жены отдаляются первыми; это и должно быть, потому что, имея мало темперамента и добиваясь лишь поклонения, они, раз муж не воздает его, мало уже заботятся о его личности. В других странах — наоборот: муж отделяется первым; это также естественно, потому что жены верные, но безрассудные, надоедая своими вожделениями, внушают, наконец, отвращение к себе. Эти общие истины могут допускать много исключений; но я уверен теперь, что это общие истины.

«Он прост и легко применим,— говорю я,— стоит только, став супругами, оставаться по-прежнему и влюбленными». — «Действительно,— говорит Эмиль, смеясь над секретом,— это не будет для нас трудно».

«Для тебя труднее, чем, быть может, ты думаешь. Дайте мне — прошу вас — время объясниться».

Узы, которые хотят слишком затянуть, лопаются. Это именно и бывает с узами брака, когда их хотят затянуть крепче, чем должно быть. Верность, которую брак налагает на обоих супругов, есть священнейшее из всех прав; но власть, которую он дает каждому из них над другим, есть нечто излишнее. Принуждение и любовь плохо живут вместе, а удовольствия не закажешь. Не краснейте, Софи, и не думайте убежать. Боже сохрани, чтоб я желал оскорбить вашу стыдливость! Но дело идет об участи всех ваших дней. Ради такой важной цели допустите же, при супруге и отце, речи, которых в ином случае вы не стерпели бы.

Пресыщает не столько обладание, сколько подчинение, и к содержанке сохраняют привязанность гораздо дольше, чем к жене. Каким это образом самые нежные ласки смогли превратить в обязанность, самое сладкое доказательство любви — в право? Взаимным желанием создается право: иного природа не знает. Закон может ограничить это право, но он не мог бы расширить его. Страсть так сладка сама по себе! Неужели из печального принуждения она должна черпать силу, которой не может почерпнуть из своей собственной привлекательности? Нет, дети мои: в браке сердца связаны, но тела не порабощены. Вы обязаны хранить верность, а не

угодливость. Оба могут принадлежать лишь друг другу, но каждый из двух должен принадлежать другому лишь настолько, сколько ему угодно.

Итак, если правда, дорогой Эмиль, что ты хочешь быть возлюбленным своей жены, то пусть и она всегда будет твоей возлюбленной и своей собственной госпожой; будь влюбленным, счастливым, но почтительным; получай все во имя любви, ничего не требуя во имя долга, и пусть малейшая ласка будет всегда для тебя не правом, а милостью. Я знаю, что стыдливость избегает открытых признаний и хочет, чтобы ее побеждали; но разве при деликатности и истинной любви влюбленный обманется насчет тайных желаний? Разве он не знает, когда сердце и взор позволяют то, в чем уста притворно отказывают? Пусть каждый из вас, всегда сам распоряжаясь своей особой и своими ласками, лишь тогда считает себя вправе расточать их другому, когда этот последний захочет. Помните всегда, что даже в браке удовольствие законно лишь тогда, когда желание разделяется. Не бойтесь, дети мои, что этот закон отделит вас друг от друга; наоборот, он заставит вас обоих больше заботиться о том, чтобы нравиться друг другу, и предупредит пресыщение. Так как вы будете принадлежать исключительно друг другу, то природа и любовь совершенно достаточно будут сближать вас».

При этих и других подобного рода речах Эмиль сердится, протестует; Софи, стыдясь, закрывает лицо веером и не говорит ни слова. Наиболее недовольным из них, пожалуй, оказывается не тот, кто больше жалуется. Я безжалостно настаиваю: я заставляю Эмиля краснеть за его неделикатность; я даю ручательство за Софи, что она со своей стороны принимает договор. Я вызываю ее на ответ; само собою разумеется, что она не осмеливается опровергать меня. Эмиль, обеспокоенный, ищет совета, в очах своей юной супруги; сквозь смущение их он различает, что они полны страстной тревоги, и это придает ему уверенность. Он бросается к ее ногам, с восторгом целует протянутую ему руку и клянется, что, помимо обещанной верности, он отказывается от всякого иного права на нее.— «Будь,— говорит он,— дорогая супруга, распорядительницей моих удовольствий, как ты распоряжаешься моею жизнью и участью. Если бы жестокость твоя стоила мне даже жизни, я и тогда возвратил бы тебе самые дорогие свои права. Я не хочу быть в чем-либо обязанным твоей угодливости — я хочу все получить от твоего сердца».

Добрый Эмиль, успокойся! Софи сама настолько великодушна, что не даст тебе пасть жертвою твоего великодушия.

Вечером, собираясь расстаться с ними, я говорю им тоном, насколько можно было, серьезным: «Помните же оба, что вы свободны и что здесь не может быть речи о супружеских обязанностях; поверьте мне, тут неуместна лживая уступчивость. Эмиль, хочешь идти? Софи позволяет». От ярости Эмиль готов будет меня побить. А вы, Софи, что сказали бы на это? Не увести ли мне его? Лгунья, краснея, скажет: «да». Очаровательная и милая ложь, стоящая дороже истины!

На другое утро... Картина блаженства не пленяет уже людей: испорченность порока столь же развратила вкус их, как и сердца. Они не умеют уже чувствовать то, что трогательно, видеть то,

что мило. Желая изобразить упоение страстью, вы ничего не можете придумать, кроме счастливых любовников, утопающих в пучине наслаждений,— но как далеки еще от совершенства ваши картины! Вы изображаете лишь половину наслаждений, наиболее грубую; самых сладостных прелестей здесь нет. О, кто из вас видел когда-либо двух юных супругов, под счастливыми предзнаменованиями вступивших в союз, в то время как они покидают брачное ложе и когда в их взорах, томных и целомудренных, сразу читаешь и упоение сладкими удовольствиями, только что испытанными, и милую беспечность невинности, и уверенность, пока столь очаровательную, что они проведут вместе остаток дней своих? Вот наиболее восхитительный предмет, какой только может представиться сердцу человеческого; вот истинная картина наслаждения: вы сто раз видели ее, не догадываясь о ней; ваши огрубевшие сердца уже не способны полюбить ее. Софи, счастливая и кроткая, проводит день в объятиях своей нежной матери — это очень сладкий отдых после ночи, проведенной в объятиях супруга.

На третий день я уже замечаю некоторую перемену в декорациях. Эмиль хочет казаться несколько недовольным; но сквозь это притворное недовольство я замечаю столь нежную услужливость и даже столько покорности, что не предвижу в этом ничего особенно прискорбного. Что касается Софи, она веселее, чем накануне; я вижу, как в глазах ее светится самодовольство; она очаровательна в обращении с Эмилем; она почти кокетничает с ним, что еще более его раздражает.

Перемены эти мало заметны; но от меня они не ускользают; это беспокоит меня, я расспрашиваю Эмиля наедине; я узнаю, что, к великому его сожалению и несмотря на все его настойчивые просьбы, ему пришлось в прошедшую ночь спать отдельно. Властная супруга поспешила воспользоваться своим правом. Происходит объяснение: Эмиль горько жалуется, Софи забавляется; но, наконец, видя, что он готов и взаправду рассердиться, она бросает на него взор, полный кротости и любви, и, сжимая мне руку, произносит всего одно слово, но таким тоном, который так и просится в душу: «Неблагодарный!» Эмиль настолько одурел, что ничего тут не понимает. Я же понимаю это: я удаляю Эмиля и беседую, в свою очередь, наедине с Софи.

«Я вижу,— говорю я ей,— причину этого каприза. Трудно было бы проявить больше деликатности и более некстати употреблять ее в дело. Дорогая Софи, будьте покойны! Я мужчину вам дал; не бойтесь принимать его за такового: вы получили первые всходы его юности; он ни перед кем не расточал любви, он надолго сохранит ее к вам.

Нужно, дорогое мое дитя, выяснить вам мои взгляды, высказанные, два дня тому назад в беседе с вами обоими. Вы, быть может, увидели в них лишь искусство беречь удовольствия с целью сделать их продолжительными. О, Софи! Беседа имела иную цель, более достойную моих забот. Делаясь вашим супругом, Эмиль стал вашим главою; вам предстоит повиноваться — так захотела природа. Однако, когда женщина ходит на Софи, хорошо, если она руководит мужчиною; это тоже закон природы; я для того и сделал вас распорядительницею его удовольствий, чтобы дать

вам столько же власти над его сердцем, сколько его пол дает ему над вашей особой. Это будет стоить вам тяжелых лишений; но вы будете господствовать над ним, если сумеете господствовать над собою; а происшедшее показывает мне, что это трудное искусство не превышает вашего мужества. Вы долго будете господствовать путем любви, если сделаете свои ласки редкими и ценными, если сумеете заставить ценить их. Хотите видеть своего мужа постоянно у ног своих — держите его всегда на некотором расстоянии от своей особы. Но проявляйте в своей строгости скромность, а не каприз; пусть он видит вас сдержанною, а не своенравною: смотрите, чтобы, сберегая его любовь, бы не заставили его сомневаться в вашей любви. Сделайте так, чтобы он любил вас за ласки и уважал за отказы; пусть он почитает целомудрие своей жены, не жалуясь на ее холодность.

Таким-то образом, дитя мое, он будет питать к вам доверие, станет выслушивать ваши мнения, советоваться с вами в делах своих и не станет принимать никаких решений, не обсудив дела с вами. Таким-то путем вы будете в состоянии призывать его к благоразумию, когда он заблуждается, действовать на него кротким убеждением, быть любезною с целью принести пользу и употреблять кокетство в интересах добродетели и любовь на пользу разума.

При всем том не думайте, чтобы самое это искусство могло всегда вам служить. Каких предосторожностей вы ни принимали бы, пользование удовольствиями уменьшает их цену и цену любви прежде всех других. Но когда любовь долго длилась, сладкая привычка восполняет пустоту и привлекательность доверия заменяет восторги страсти. Дети образуют между теми, кто дал им бытие, связь не менее сладкую и часто более прочную, чем самая любовь. Когда вы перестанете быть возлюбленной Эмиля, вы будете его женою и подругою, вы будете матерью его детей; Тогда вместо вашей прежней сдержанности установите между собою самые интимные отношения; не нужно уже отдельных постелей, не нужно отказов, капризов. Настолько сделайте его половиной, чтобы он не мог уже обойтись без вас и чтобы он, лишь только расстанется с вами чувствовал себя потерявшим связь с самим собою. Вы так хорошо, сумели водворить прелести семейной жизни в родительском доме, — устройте же, чтобы они царили и в вашем. Всякий мужчина, которому приятно в своем доме, любит свою жену. Помните, что, если супруг ваш будет счастлив у себя в доме, вы будете счастливою женой.

Что касается настоящего, не будьте так строги с вашим возлюбленным; он заслуживает большей снисходительности; его обидели бы ваши опасения; не берегите так заботливо его здоровье в ущерб его счастью и наслаждайтесь своим. Не следует ждать отвращения или охлаждать желания; отказывать нужно не ради отказа, но чтобы придать цену тому, что дают».

Затем, позвав Эмиля, я говорю в ее присутствии юному супругу; «Мы должны выносить иго, наложенное на себя. Старайся заслужить, чтобы его сделали для тебя легким. И прежде всего будь любезен и не воображай, что, надувшись, ты становишься милее. Мир нетрудно заключить, и каждый легко догадается — на каких условиях». Договор скрепляется поцелуем, после чего я

говоря своему воспитаннику: «Дорогой Эмиль! человек всю жизнь нуждается в совете и руководстве. Я старался, сколько хватало сил, исполнять до сих пор эту обязанность по отношению к тебе: здесь кончается мой долгий труд и начинается труд другого. Сегодня я отказываюсь от власти, которую ты мне вверил,— и вот кто отныне твой руководитель».

Мало-помалу первый бред утихает и позволяет им мирно наслаждаться прелестями своего нового положения. Счастливые влюбленные! Достойные супруги! Чтобы почтить их добродетели, чтобы изобразить их счастье, нужно было бы написать историю их жизни. Сколько раз, созерцая в них свое дело, я чувствовал себя охваченным восторгом, заставлявшим трепетать мое сердце! Сколько раз я соединял их руки в своих, благословляя Провидение и испуская глубокие вздохи! Какими поцелуями я осыпаю эти две руки, сжавшие одна другую! Какими потоками радостных слез я орошаю их! Они, в свою очередь, умиляются, разделяя мои восторги. Почтенные родители их еще раз переживают свою юность, глядя на детей своих, они начинают, так сказать, жить снова, в лице детей своих, или, лучше сказать, впервые познают цену жизни; они проклинаят свои прежние богатства, помешавшие им наслаждаться в том возрасте столь же прелестным жребием. Если на земле есть счастье, то надо искать его в том убежище, где живем мы.

Спустя несколько месяцев Эмиль входит раз утром в мою комнату и говорит, обнимая меня: «Наставник мой! поздравьте вашего питомца: он надеется иметь скоро честь быть отцом. О, какие заботы выпадут нам на долю и как часто мы будем нуждаться в вас! Боже сохрани, я уж не вручу вам воспитывать и сына, после того как вы воспитали отца. Не дай бог, чтобы обязанность, столь священная и приятная, исполнялась кем-нибудь другим, а не мною,— если бы даже мне удалось сделать для сына столь же счастливый выбор, какой сделали для меня! Но оставайтесь наставником юных наставников. Советуйте, руководите нами, мы будем послушны: пока я жив буду, я буду нуждаться в вас. Теперь, когда начинается отправление моих человеческих обязанностей, я нуждаюсь в вас больше, чем когда-либо. Вы исполнили свои обязанности: научите меня, как подражать вам, а вы отдохните — пора!»

### Книга V Комментарии

Эмиль вступает в ней по периодизации Руссо в «возраст счастья» (от 20—25 лет).

1. *Локк Д.* Мысли о воспитании, § 222.
2. *Юлия Старшая* — дочь римского императора Октавиана Августа.
3. Второзаконие, гл. XXII. «Второзаконие» — пятая книга «Пятикнижия» (составной части Библии).
4. *Фестий* — легендарный царь Беотии; был освобожден Геркулесом от геллконского льва, за что в благодарность посылал Геркулесу пятьдесят ночей подряд по одной из своих дочерей (см.: *Диодор.* Историческая библиотека, IV, 29).

5. Согласно мифу, за невольное убийство своего друга Ифрита Геркулес на три года продан был в рабство лидийской царице Омфале, которая одела его в женскую одежду и заставила вместе с женщинами прясть шерсть. Сама Омфала в это время носила принадлежавшие Геркулесу львиную шкуру и палицу.

6. Имеется в виду рассказ из библейской мифологии о Самсоне и его возлюбленной Далиле. В руки врагов Самсон попал в результате коварства Далилы, которая отрезала Самсону волосы, в которых таилась его сверхъестественная сила.

7. См.: *Платон*. Государство, кн. V.

8. *Фалбалой* назывались сложенные с мелкие складки обшивки из кружев.

9. Античный миф гласит, что богиня Минерва отказалась играть на флейте из опасения, что во время игры будет выглядеть некрасиво.

10. *Фенелон* (1651 — 1715) — писатель и педагог в сочинении «О воспитании девиц» замечал: «Обратите внимание на большой недостаток нашего воспитания: приятное совершенно отделяют от неприятного; приятное допускают только в удовольствиях, а все неприятное выпадает на долю учения. Что же остается делать после этого ребенку, как не ожидать с нетерпением конца этим занятиям и с жадностью стремиться к этим развлечениям» (*Фенелон*. О воспитании девиц, гл. V).

11. *Апеллес* (IV в. до н. э.) — один из наиболее знаменитых живописцев Древней Греции.

12. *Дюша* — владелица модной лавки в Париже.

13. Имеется в виду Фенелон и его «Воспитание девиц».

14. Во второй половине XVIII в. во Франции при обучении чаще всего употреблялся «Исторический катехизис» (вплоть до конца XIX в.)-

15. Речь идет о поэме швейцарского поэта С. Геснера (1730—1787) «Смерть Авеля».

16. «Много женщина знает искусств Новых поклонников в сети ловить; Не один для всех у ней жест и взгляд. Женщина все, Когда нужно, меняет» (*итал.*)— строки из поэмы «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).

17. *Вергилий*. Буколики, III, 64—65. См. «Буколик» Вергилия:

«Девушка резвая, яблоко бросив в меня,

Галатя в ветлы бежит, но жаждет, чтоб я ее раньше увидел».

18. «Потерявши целомудрие, женщина в другом уже не отказывает» (Тацит. «Летопись», IV, 3).

19. Нинон де Ланкло (1620—1705) собирала в своем салоне весь свет Парижа. Сведения и отзывы о Ланкло Руссо мог почерпнуть в книге Дюкло «Исповедание графа \*\*\*».

20. Речь идет о Лукреции, насилие над которой и ее самоубийство стали поводом для изгнания из Рима царя Тарквиния Гордого и его сына Секста, совершившего это насилие. События произошли в 509 г. до н. э. (см.: *Ливии Тит*. Римская история, кн. I, 58—60).

21. Речь идет о римлянке Лицинии, которая, как рассказывает Тит Ливий в «Римской истории», побудила плебеев добиваться права быть консулами. Такое право плебеи получили в 367 г. до н. э.



22. Речь идет о римлянке Вергинии. Стремясь овладеть юной Вергинией, децемвир Аийий Клавдий объявляет ее рабой своего клиента. Чтобы спасти свою дочь от бесчестия, отец закалывает Вергинию. Как рассказывает Тит Ливий в «Римской истории», событие оказалось поводом к восстанию плебеев (449 до н. э.), в результате которого в Риме было покончено с господством децемвиров. Децемвиры — члены комиссии, состоявшие из десяти лиц, ведавшие урегулированием различных гражданских вопросов. В большинстве своем децемвирами были знатные римляне — патриции.

23. Речь идет о римских матронах, которые, как это рассказано в «Римской истории» Тита Ливия, склонили Кориолана снять осаду с Рима. *Кориолан* (V в. до н. э.) — римский военный деятель, был изгнан из Рима, после чего возглавил племена вольсков и осадил город.

24. «А под запретом она, хоть не грешит, а грешна» (*лат.*) (*Овидий*. Любовные элегии, IV, 4. Пер. С. Ширвинского).

25. *Де Бурдель де Брантом Пьер* (1540—1614) — автор «Жизнеописаний полководцев», где дана яркая картина нравов французского дворянства.

26. Имеется в виду возникшее в начале I в. в Александрии политико-философское направление, так называемое неопифагорейство. Оно возникло в результате острой потребности людей эпохи эллинизма в субъективном самоуглублении, приводившем, с одной стороны, к магическому мистицизму, а с другой — к использованию пифагорейского учения о числах.

27. «Тяжек гнев Пелида, не умеющего отступать» (*лат.*) (*Гораций*. Оды, 1, б, 5). *Пелид* (Ахилл) — сын Пелея, герой «Илиады» Гомера.

28. Роман Фенелона «Приключения Телемака» критикует нравы французского дворянства рубежа XVII—XVIII вв. Герой романа Телемак вместе со своим наставником Ментором отправляется на поиски своего отца Одиссея. Во время этих поисков он встречается нимфу Эвхарис, которая полюбила его.

Роман пользовался во Франции необычайной популярностью.

29. Трактат Цицерона «Об обязанностях» посвящен, в частности, вопросам семьи и воспитания.

30. «Хочешь знать, почему не хочу вести тебя, Галла? Ты красноречива!» (*лат.*), (Строка из эпиграммы римского поэта Марка Валерия Марциала, 43—104).

31. *Баррем Франсуа* (1640—1703) — французский математик. Его учебные пособия «Исчисления» и «Арифметика» пользовались большой популярностью во Франции в XVII и XVIII вв.

32. *Фалес* (род. ок. 624 до н. э.) — древнегреческий философ, стихийный материалист.

33. *Добантон Луи* (1716—1749) — французский естествоиспытатель, сотрудничавший с Бюффеном.

34. *Филоктет* — герой Троянской войны, страдавший от укуса змеи.

35. «Не обнаруживает радости, хотя внутренне смеется» (*итал.*) — *Тассо Т.* Освобожденный Иерусалим, IV, 33.
36. Имеется в виду, очевидно, французский писатель Ла Мотт Удар (1672—1731). В «Рассуждении о Гомере» он подверг критике «Илиаду» и «Одиссею» с точки зрения изысканного вкуса дворянства XVIII в.
37. Франческо Альбани (1578—1660) — живописец Болонской школы, писал картины преимущественно на мифологические сюжеты.
38. *Мильтон* (1608—1674) — выдающийся английский писатель XVII в.
39. Намек на героя античного эпоса Геракла.
40. Речь идет об античной легенде о юноше Леандре и прекрасной жрице храма Афродиты Геро. Каждую ночь Леандр переплывал к своей любимой через Геллеспонт и погиб в волнах. Геллеспонт — древнегреческое название Дарданелл.
41. Эней — герой поэмы Вергилия «Энеида». Стал победителем в соревнованиях в беге.
42. Аталанта — героиня античного мифа. Прекрасно бегавшая, Аталанта поклялась стать женой лишь того мужчины, который победит ее в беге.
43. См. примеч. 5.
44. См.: *Гомер.* Одиссея, X. Сцена превращения Цирцеей спутников Одиссея в свиней запечатлена на одной из гравюр в первом издании «Эмиля».
45. Идеи, высказанные здесь, более обстоятельно изложены в трактате Руссо «Об общественном договоре» (гл. VIII).
46. «Зритель» («*The Spectator*») — популярный английский журнал. Французский перевод выпусков журнала за 1714—1726 г. издан был в Амстердаме до публикации «Эмиля».
47. *Луллий Раймунд* (1235—1315) — испанский теолог и поэт, изобретатель приспособления для возвещения истины.
48. *Люка Поль* (1664—1737) — французский путешественник, автор «Путешествия в Левант», «Путешествия в Грецию, Малую Азию, Македонию, Африку», «Путешествия в Турцию, Азию, Палестину, Верхний и Нижний Египет».
49. *Тавернье Жан-Батист* (1605—1689) — французский торговец и путешественник, автор «Путешествия в Турцию, Персию и Индию».
50. Имеется в виду «История» Геродота.
51. Имеется в виду сочинение римского историка Тацита «Германия».
52. Упоминаются племена, обитавшие в древности на территории Центральной Европы и Пиринейского полуострова.
53. *Ктезий (Ктесий)* (V в. до н. э.) — греческий историк и врач, автор трудов по истории древней Персии и Индии. Труды его дошли до нас в отрывках.
54. Имеется в виду граф де Жизор, убитый в 1758 г.

55. Согласно библейскому сказанию, Иезавель разграбила виноградник бедняка Навуфея, находившийся по соседству с ее домом.

56. *Гроцип Гуго (Гроциус)* (1583—1645) — голландский философ, теоретик естественного права и договорного происхождения государства. Наиболее известная его работа «Право войны и мира» издана была на французском языке.

57. *Монтескье Шарль Луи* (1689—1755) — французский философ и публицист, идеолог Просвещения. Наиболее известные его труды — «Персидские письма», «О величии и упадке римлян», «О духе законов». В авторе работы «О духе законов» (1748) педагогическая мысль Франции XVIII в. обрела своего родоначальника.

58. Немврод — по Библии основатель древнего Вавилона-

59. Речь идет о переделе земли и разделе движимого имущества, которые приписывают легендарному законодателю Спарты (Древняя Греция) Ликургу (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Ликург*, 8).

60. Имеется в виду так называемая сахтия {снятие бремени) законодателя Афин Солон (VI в. до н. э.), отменившего долговую кабалу и долги, сделанные под залог земли (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Солон*, 15).

61. Руссо имеет в виду свои «Политические институты», которые так и остались незавершенными.

62. Имеется в виду трактат «Об общественном договоре». На деле «Эмиль» появился на два месяца позже, чем «Об общественном договоре».

63. «Ни быть наготове, как на войне, ни быть безопасным, как среди мира» (*лат.*) (*Сенека. О спокойствии душевном*, I).

64. Речь идет о «Проекте вечного мира» (1713) аббата де Сен-Пьера (см. примеч. 31 к кн. I).

65. Руссо имеет в виду издание собрания своих сочинений, которое готовил парижский издатель Дюшэн.

66. Имеются в виду персонажи «Приключений Телемака» Фенелона: Идомей — царь Крита, изгнанный с острова и затем основавший образцовое государство в Саленто, Протезилай — коварный интриган, Филоклес — поборник правды, Адраст — бесчестный и коварный государь.

67. См. примеч. 57.

68. Имеется в виду законодательство (18 до н. э.) римского императора Октавиана Августа, которым тот пытался укрепить расшатанные в течение гражданских, войн семейные институты в Риме.

69. «Одно было в мыслях — иметь кусок поля, но очень » большой (*лат.*)» (*Гораций, Сатиры*, II, 6).

## Эмиль и Софи, или Одинокие

### Письмо первое

Я был свободен, я был счастлив, о мой наставник! Вы воспитали во мне сердце, способное испытывать счастье, и дали мне Софи; я вкусил блаженство любви и сладость дружеских излияний, у меня появилась семья, и я изведаль всю прелесть отцовских чувств; все сулило мне отрадную жизнь, все обещало мирную старость и тихую кончину в объятиях моих детей. Увы! Где она, эта счастливая пора, когда я жил, окрыленный радостью и надеждой, когда мечты о будущем придавали очарование настоящему, когда сердце мое, опьяненное восторгом, каждый день упивалось бесконечным блаженством? Все исчезло как сон: еще в молодых годах я все потерял — жену, детей своих, друзей, все, вплоть до общения с людьми. Все сладостные узы моего сердца порваны; уцелела лишь слабая, бесстрастная привязанность к жизни, лишенной радостей, но не омраченной угрызениями совести. Если мне суждено прожить еще долго после постигшей меня катастрофы, то мне предстоит состариться и умереть в одиночестве, не узрев ни одного человеческого лица, — и лишь рука Всевышнего закроет мне глаза<sup>1</sup>.

Что побуждает меня в таком состоянии заботиться о сохранении печальной жизни, Которую мне так трудно любить? Воспоминания и то утешение, которое мне доставляет мысль, что я исполнил свой долг и в мире сем безропотно покорялся извечным законам. Потеряв нее самое дорогое на свете, я уже почти мертв и терпеливо, без малейшего страха ожидаю желанного дня, когда то, что от меня еще осталось, закончит свой брренное существование.

Но живы ли вы, дорогой мой наставник? Разделяете ли вы еще на этой земле изгнания жребий смертного вместе с вашим Эмилем, или вы уже переселились вместе с Софи в обитель праведных душ? Увы! Где бы вы ни были, вы умерли для меня, мой глаза больше никогда вас не увидят, но сердце мое непрестанно стремится к вам. Никогда я так остро не сознавал всю ценность ваших наставления, как в те дни, когда на меня обрушились удары жестокой судьбы, похитившей у меня все, за исключением моего «я». Я одинок, я все потерял; но остался верен себе, и отчаяние не повергло меня в прах. У меня нет надежды, что вы получите мои письма,— без сомнения, они погибнут, не прочитанные ни одним человеком; но что за беда, они все же написаны, я их собираю, связываю в пачку, продолжаю писать, и все они адресованы вам; именно с вами я хочу поделиться воспоминаниями, которые поддерживают меня, хотя и раздирают мне душу; именно вам я хочу дать отчет своих сокровенных чувствах, в своем поведении, в порывах сердца, вами воспитанного. Я все вам поведаю, и хорошее и дурное, свои страдания, свои радости и ошибки; но мне кажется, что в моих признаниях нет ничего, что могло бы обесчестить ваши труды.

Мне рано улыбнулось счастье; я познал его с самого рождения, но мне не суждено было его вкушать до самой смерти. Все дни моего детства были счастливыми днями, я наслаждался свободой и невинными радостями, а исполнять ваши предписания мне всегда доставляло удовольствие. Все люди с умилением вспоминают о своих детских играх; но, быть может, у меня

одного к этим сладостным воспоминаниям не примешиваются воспоминания о пролитых мною слезах. О, почему я не умер ребенком — я наслаждался бы жизнью и не знал бы горестных сожалений.

Пришла юность, я по-прежнему был счастлив. В возрасте страстей чувства развивали мой разум. То, что вводит в заблуждение других, для меня было путем к истине. Я научился здраво судить о предметах, меня окружающих, и уяснил себе, что должно меня интересовать; я руководствовался при этом правилами простыми и верными; авторитеты и людское мнение не влияли на мое суждение. Чтобы познать связь вещей, я старался определить отношение каждой из них ко мне; по двум известным мне отношениям я находил третье; чтобы познать мир со всех интересующих меня сторон, мне достаточно было познать самого себя; определив свое место, я нашел все остальное<sup>2</sup>.

Таким образом, я узнал, что главная мудрость в том, чтобы желать лишь того, что есть, сообразуя желания сердца со своим уделом. «Это все, что от нас зависит,— говорили вы мне,— все остальное подвластно необходимости». Кто больше других борется против своей судьбы, неблагоприятен и всегда несчастнее всех: ежели ему и удастся порой несколько изменить свое положение, он достигнет лишь незначительного облегчения, и оно не стоит тревог и душевных мук. Он редко добивается успеха и ничего не выигрывает. Но какое существо, наделенное чувствами, может прожить жизнь, не испытывая ни страстей, ни привязанностей? Во всяком случае не человек; но животное или Бог. Итак, будучи не в силах предохранить меня от привязанностей, вы научили меня делать между ними выбор и отдавать душу лишь благородным, обращая их на самый достойный предмет — своих ближних; мое «я», так сказать, расширяясь, стремилось охватить все человечество, и я избег изменных страстей, приковывающих нас к собственной персоне<sup>3</sup>.

Когда с годами во мне пробудилась чувственность и мне стала нужна подруга, вы чувствительностью очистили пламя страстей; само воображение, которое обычно их раздувает, помогло мне их обуздать. Я полюбил Софи еще до того, как ее узнал; любовь предоохранила меня от соблазнов порока, привила мне вкус к прекрасному и благородному, и в сердце моем навеки запечатлелся священный закон добродетели. Когда же я наконец узрел достойный предмет моего обожания, когда ощутил всю силу очарования Софи, мою душу охватило сладостное, восхитительное чувство и невыразимый восторг. О, дорогие сердцу первые дни влюбленности, чарующие дни! Почему я вновь и вновь не могу вас переживать, отдаваясь вам всем существом? Другой вечности мне ненадобно.

Тщетные сожаления! Бесплодные мечты! Все минуло, все минуло безвозвратно... Мои пылкие стремления увенчались наградой; мои желания исполнились. Я стал супругом, оставаясь возлюбленным, и в спокойном обладании обрел счастье другого рода, но не менее истинное, чем когда я отдавался любовному бреду. Наставник мой, вы полагали, что знаете эту юную

волшебницу. О, как вы заблуждались! Вы знали мою возлюбленную, мою жену, но вы не знали Софи. Она владела разнообразными и неисчерпаемыми чарами, казалось, они ежеминутно возрождались, и последний день ее жизни мне открыл новые, неведомые

Я был отцом уже двух детей и проводил все время с обожаемой супругой и малютками, драгоценными плодами нашей любви; вы готовили меня к тому, чтобы дать моему сыну такое же воспитание, какое получил я сам, а моя дочь, под наблюдением матери, научилась ей подражать. Я занимался только делами, связанными с управлением родовым поместьем Софи; я позабыл о своем богатстве и утонул в блаженстве. Обманчивое блаженство. Трижды дознал я твое непостоянство. Твой срок — лишь краткий миг, и, когда мы достигаем вершины, ты уже идешь на убыль. Не вы ли, жестокий отец, нанесли ущерб нашему счастью? Что побудило вас в роковой день покинуть наш дом, отказавшись от мирной совместной жизни? Неужели мои нежные заботы оттолкнули вас от меня? Ваши труды доставляли вам удовлетворение: я это видел, я это чувствовал, я был в этом уверен. Казалось, вы были счастливы, созерцая мое счастье; казалось, нежные ласки Софи радовали ваше отцовское сердце; вы нас любили, вам было хорошо с нами, и вы нас покинули. Если бы вы от нас не удалились, я и поныне был бы счастлив; мой сын, возможно, был бы в живых и чужие руки не закрыли бы ему глаза. Его мать, добродетельная и обожаемая, по-прежнему оставалась бы в объятиях своего супруга. Ваш роковой уход навлек на меня все бедствия, все удары судьбы. Будь вы с нами, никогда преступление и напасти не обрушились бы на нашу семью; покинув нас, вы причинили мне больше страданий, чем за всю мою жизнь сделали добра.

Вскоре милости неба покинули дом, где вас не стало. Скорби и беды последовали одна за другой. За несколько месяцев мы потеряли отца, мать Софи и, наконец, ее дочку, ее прелестную дочку, о которой она так мечтала, которую так боготворила и не хотела пережить. Этот последний удар окончательно подкосил ее. Дотоле она жила в уединении довольная и спокойная, не ведая горя, и ее восприимчивая чувствительная душа не была готова к ударам судьбы. Она перенесла эти утраты, как переносят первое горе; и впрямь это было только начало наших бедствий. Ничто не могло осушить ее слез, после смерти дочери она еще острее почувствовала кончину своей матери; в своих стенаниях она непрестанно призывала ту и другую; их имена и ее горькие жалобы звучали в тех местах, где еще так недавно мать и дочь осыпали ее невинными ласками; все предметы, напоминая усопших, бередили ее душевные раны. Я решил увезти ее из этих печальных мест. В столице у меня были так называемые дела, но до сего времени я ими не занимался; я предложил переехать в Париж с одной соседкой, с которой Софи сдружилась и которая должна была там поселиться вместе с мужем. Софи согласилась, не желая расставаться со мной и не догадываясь о причине моей поездки. Ее горе было слишком ей дорого, и она не пыталась его успокоить. Утешать ее значило сетовать и плакать вместе с нею.

Приближаясь к столице, я внезапно испытал тревогу, дотоле мне незнакомую. В моей душе возникли самые мрачные предчувствия: мне вспомнилось все, что я видел сам и что вы мне рассказывали о больших городах, и я трепетал, думая о будущей нашей жизни в Париже. Я со страхом помышлял о том, какие опасности здесь угрожают нашему чистому союзу. Я содрогался, глядя на печальную Софи и сознавая, что сам увлекаю это добродетельное, прелестное создание в бездну предрассудков и пороков, где безвозвратно погибают невинность и счастье.

Однако, будучи уверенным в Софи и в себе, я не внял голосу благоразумия, решив, что это пустые страхи; они меня терзали, хотя казались мне плодом воображения. Увы! Я не подозревал, что они столь скоро и столь жестоко оправдаются. Мне не приходило в голову, что опасность подстерегает нас не в столице,— что она следует за нами по пятам.

Что сказать о двух годах, которые мы прожили в этом роковом городе, и о том, как ужасно подействовало на мою душу и как изменило мою судьбу пребывание в этой отравленной атмосфере? Вы слишком хорошо знаете о потрясениях, память о которых изгладилась в более счастливые дни, а ныне воспоминание усиливает мою скорбь, ибо я познал источник своих бедствий. Сколь глубокие перемены произошли во мне благодаря моей готовности завязывать знакомства с людьми чересчур любезными, знакомства, которые с течением времени начали переходить в дружбу! Как неприметно я заразился дурными примерами и легкомыслием, против которого вы в дни моей юности вооружали мое сердце презрением! Как различно воспринимали мы вещи, когда наш взор отвлекается посторонними предметами и когда мы всецело поглощены поразившим нас явлением! Уже прошли те времена, когда мое разгоряченное воображение стремилось только к Софи и отвращалось от всего остального. Теперь я уже к ней не стремился, я ею обладал, и ее очарование придавало прелесть тем самым вещам, которыми я пренебрегал в ранней молодости. Вскоре все эти вещи стали меня меньше привлекать — их было слишком много, и внимание мое рассеивалось. Я растратил душевные силы в этих пустых развлечениях, и постепенно сердце мое остывало и становилось не способным к глубоким чувствам. Я метался в погоне за удовольствиями: все меня привлекало, но быстро приедалось; мне нравились лишь новые места; и я искал забвения, отдаваясь забавам. Я чувствовал в себе глубокую перемену, но не хотел себе в этом признаться; я не давал себе времени заглянуть в свою душу из боязни, что не найду там прежнего Эмиля. Все мои привязанности ослабели, нежные чувства остыли: модная болтовня о чувстве и о нравственности заменила действительную жизнь. Я стал дамским угодником, не способным к подлинному чувству, стойком, лишенным добродетели, мудрецом, совершающим безумства: от вашего Эмиля осталось только имя да кое-какие рассуждения. Моя искренность, моя свобода, мои удовольствия, мои обязанности, вы сами, мой сын, даже Софи — все, что некогда увлекало меня, возвышало мой дух и заполняло жизнь, мало-помалу отдалялось от меня и словно отдаляло меня от самого себя, оставляя в расслабленной душе навязчивое ощущение пустоты и ничтожности жизни. Кончилось тем, что я перестал любить, по крайней мере

так мне думалось. Грозное и, казалось, уже угасшее пламя таилось под пеплом, и вскоре ему суждено было вспыхнуть с беспримерной силой.

Поистине непостижимая перемена! Каким образом та, которая была моей гордостью и составляла счастье моей жизни, принесла мне позор и отчаяние? Как описать столь прискорбное заблуждение? Нет, никогда не сумею ни сказать, ни передать на бумаге все ужасные подробности; это было бы слишком оскорбительно для памяти достойнейшей из женщин и слишком тягостно, мучительно для меня и заставило бы усомниться в самой добродетели; подобный рассказ стоил бы мне жизни. Приговор света, сети порока, дурные примеры, измена мнимых друзей, непостоянство и слабости человеческие — кто устоит перед вами? Ах! Если добродетель Софи не устояла, то какая женщина может быть уверена в своей добродетели? Но как прекрасна душа той, которая смогла все же восстать после падения и вновь подняться на прежнюю высоту!

Я хочу поведать о духовном возрождении ваших детей. Их заблуждения вам известны; я расскажу лишь о том, как они вновь обрели себя, и восстановлю ход событий.

Пряательнице удалось утешить Софи, вернее, развлечь ее, введя в общество, и моя жена быстро утратила любовь к домашней жизни и уединению: она совсем перестала думать об умерших и все меньше думала о живых членах своей семьи. Ее сын, подрастая, мало в ней нуждался, и мать уже привыкла обходиться без него. А я больше не был ее Эмилом, я стал только ее мужем, а муж порядочной женщины в большом городе — это человек, с коим на людях обходятся изысканно вежливо, но не встречаются наедине. Долгое время у нас был общий круг знакомых. Постепенно это изменилось. Каждый из нас стремился устроиться поудобнее, вдали от человека, имеющего право наблюдать за поведением другого.

Мы с ней уже не были одним существом, нас стало двое; светский образ жизни разъединил нас, наши сердца отдалились друг от друга; лишь иногда мы встречались у нашего соседа по деревне или у городских друзей. Жена соседа часто пыталась со мной кокетничать, но, встречая с моей стороны сопротивление, стоившее мне немалых усилий, под конец махнула на меня рукой и всецело привязалась к Софи, с которой стала неразлучной. Муж был связан нежной дружбой со своей супругой, а следовательно, и с моей. Внешне эта чета вела себя безупречно, но их правила должны были меня ужаснуть. Согласие, царившее в их семье, происходило скорее от обоюдного равнодушия к своим обязанностям, чем от подлинного чувства. Они не требовали друг от друга верности, полагая, что снисходительность больше, чем ревность, свидетельствует о любви, ничуть не обижаясь, если сами они не всегда были ее предметом. «Прежде всего пусть мой муж будет счастлив», — говорила жена. «Пусть моя жена будит моим другом — с меня этого довольно», — говорил муж. «Не от вас зависят наши чувства,— продолжали они. — Но от нас зависят наши поступки: каждый из нас заботится о счастье другого. Желать того, что желает любимое существо, — не в этом ли истинная любовь?» Таким путем предотвращаешь печальную необходимость избегать друг друга.



Если бы вдруг нам преподнесли такую систему, мы бы ужаснулись. Но разве мы не прощаем в минуты дружеских излияний то, что в другое время возмутило бы нас? Разве философия, приспособленная к человеческим порокам и заменяющая чувства, над которыми мы не властны, и тягостный бесполезный долг — взаимным вниманием, любезностью, предупредительностью, приличиями, а также искренностью, свободой поведения, откровенностью, доверием,— разве, говорю я, подобная философия, поддерживающая союз между людьми, — сердца которых разъединены,— не имеет великой власти над самыми благородными натурами, не обольщает их под личиной мудрости? Даже разум не мог бы ни в чем нас убедить, ежели бы к нему на помощь не приходила совесть. Вот отчего мы с Софи стыдились высказывать нежные чувства, которых у нас уже не было. Супруги, под чье влияние мы попали, не стесняясь, оскорбляли друг друга, воображая, что любят. Мы же еще хранили взаимное уважение и никак не могли его преодолеть, оно-то и заставляло нас наносить оскорбления втайне. Хотя, казалось, каждого тяготило общество другого, мы все-таки были ближе к истинному браку, чем наши почти не разлучавшиеся друзья. Когда перестаешь избегать того, кого оскорбляешь, — это верный знак, что сближение уже невозможно.

Но как раз тогда, когда связь между нами, казалось, была окончательно порвана, все изменилось самым удивительным образом. Внезапно Софи перестала искать развлечений и снова полюбила домашнюю, уединенную жизнь. Прежде она отличалась неровным настроением, теперь же не выходила из состояния мрачной грусти. С утра до вечера сидела она у себя в комнате, ни с кем не говорила, не плакала, никому не позволяла нарушать свое уединение. Даже ее приятельница стала ей несносна; она сообщила ей об этом и оказала холодный прием, но этим не оттолкнула; не раз Софи просила меня избавить ее от подруги. Я журил Софи, мне казалось, что ее каприз вызван ревностью, однажды я даже сказал ей об этом шутя.

— Нет, сударь, я отнюдь не ревную,— ответила она холодно и решительно,— но эта женщина внушает мне отвращение; и я вас умоляю об одном: никогда не допускайте ее ко мне.

Пораженный словами Софи, я захотел узнать, чем вызвана такая ненависть, но она не пожелала мне ответить. Она уже отказала от дома мужу, теперь я вынужден был отказать от дома жене, и мы больше их не видели.

Софи по-прежнему предавалась грусти, и это меня беспокоило. Я начал тревожиться; но как узнать причину, когда жена упорно молчит? Эту гордую женщину силой нельзя было заставить говорить. Мы давно перестали верить друг другу свои чувства, и меня не слишком удивляло, что она не открывает мне свою душу; следовало заслужить ее доверие; но то ли ее трогательная печаль согрела мне сердце, то ли я еще любил ее больше, чем мне казалось, но я почувствовал, что мне будут не в тягость заботы о ней, которыми я надеялся сломить наконец ее молчание.

Я не расставался с Софи; но тщетно старался я с ней сблизиться, выказывая ей самое нежное внимание; я с грустью убедился, что старания мои безуспешны. Я хотел было восстановить

супружеские права, от которых уже давно отступился, но встретил непреодолимое сопротивление. Это не был кокетливый отказ, которым хотят придать особенную цену ласкам, не тот нежный, скромный, но твердый отказ, воспламенявший мои чувства и внушавший уважение; это был суровый отказ, сделанный весьма решительным тоном, не позволявшим усомниться в ее искренности. Она настоятельно напомнила мне обязательства, взятые мною на себя в вашем присутствии.

— Что бы со мной ни случилось,— говорила она,— вы должны уважать себя и свято чтить слово, данное Эмилем. Мои заблуждения не дают вам права нарушать свое обещание. Вы можете меня наказать, но не вправе меня принудить, и, будьте уверены, я не потерплю насилия.

Что мог я ответить? Что оставалось мне предпринять? Я мог лишь пытаться ее смягчить, тронуть ее сердце и сломить упорство своей настойчивостью. Эти тщетные усилия разжигали мою любовь и самолюбие. Страсть моя только разгоралась, и для меня стало вопросом чести преодолеть это сопротивление. За десять лет супружества еще ни разу не вспыхивала во мне с такую силой законная страсть, как сейчас, после длительного охлаждения; ни разу в медовый месяц не проливал я у ее ног столько слез; но все было напрасно, она оставалась непреклонной.

Я был и удивлен и огорчен, зная, что подобная черствость не в ее натуре. Но я не отступался, и, если мне не удалось победить ее упорство, все же под конец, казалось, она стала проявлять меньше сухости. Я заметил кое-какие признаки досады и жалости, смягчавшие горечь ее отказов; порою я видел, что ей самой это тяжело; ее потухшие глаза смотрели на меня по-прежнему с грустью, но в них уже не чувствовалось былой суровости и, казалось, даже сквозила нежность. Я решил, что ей стыдно отказаться от далеко зашедшего каприза, что, не зная, как его объяснить, она упорствует и, быть может, только и ждет, чтобы я взял у нее силой то, что она не решалась дать добровольно. Эта мысль льстила моему самолюбию, и я охотно ей поддался. Софи будет только благодарна, если ей не придется давать согласие после столь длительного сопротивления.

Однажды в порыве страсти я присоединил к нежным мольбам горячие ласки и увидел, что она взволнована; я готов был завершить свою победу. Подавленная и трепещущая, Софи, казалось, вот-вот мне уступит; но внезапно, изменив тон, обращение и переменившись в лице, она отталкивает меня с невероятной силой и, устремив на меня ужасный взгляд, полный ярости и отчаяния, восклицает:

— Остановитесь, Эмиль, и знайте, что я теперь для вас ничто; другой осквернил ваше ложе; я беременна, никогда в жизни вы ко мне не прикаснетесь.

С этими словами она, как вихрь, устремляется в свою комнату и запирает за собой дверь.

Я был раздавлен...

Наставник мой, я рассказываю не историю моей жизни, события едва ли заслуживают того, чтобы о них писать: это история моих страстей, моих чувств и мыслей. Я должен подробно остановиться на самой ужасной катастрофе, когда-либо мною пережитой.

Глубокие телесные и душевные раны но сразу начинают кровоточить; не сразу начинаешь испытывать резкую боль; природа собирается с силами, чтобы устоять перед натиском страданий, и часто человек долго не чувствует боли, хотя ему уже нанесен смертельный удар. После этого неожиданного объяснения, после этих слов, которые мой слух отказывался воспринимать, я застыл на месте уничтоженный; глаза мои закрываются, смертельный холод пробегает по жилам; я не теряю сознания, но чувства как бы парализованы, жизнь покидает меня; все мое существо до глубины потрясено, в моей душе царит хаос, подобный тому, какой бывает на подмостках, когда меняется сцена, когда все приходит в движение и перестраивается на новый лад.

Не знаю, сколько времени я так простоял на коленях в полном оцепенении, не решаясь пошевелинуться, боясь удостовериться, что все происшедшее не было сном. Мне хотелось, чтобы это состояние забытья никогда не прекращалось. Но наконец я невольно очнулся, и первое мое чувство был ужас перед всем окружающим. Я вскакиваю на ноги, выбегаю из комнаты, ничего не видя вокруг, ни слова не говоря, спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу, иду большими шагами, удаляюсь с быстротой оленя, которому кажется, что он сможет убежать от стрелы, вонзившейся ему в бок.

Я бегу без остановок, не замедляя шага, до городского парка. Мне мучительны были дневной свет и ясное небо; я жаждал укрыться в тени деревьев; наконец, задыхаясь, полуживой, я упал на траву.

— Где я? Что со мною? Что я услышал? Какое несчастье! Безумец, за каким призраком ты гонялся? Любовь, честь, верность, добродетель, где вы? Достойная, благородная Софи оказалась бесчестной женщиной!

Это восклицание вырвалось у меня в порыве иступления, и тут же я почувствовал, что сердце мое разрывается; меня душили рыдания, я не мог ни вздохнуть, ни простопать; если бы тут же не последовал взрыв бешенства, я, верно бы, задохнулся. О, кто может распутать клубок смешанных чувств и выразить словами стыд, любовь, ярость, сожаление, нежность, ревность и ужасное отчаяние, которые одновременно меня охватили? Нет, это состояние, эту сумятицу чувств невозможно описать. Величайшую радость, охватывающую единым порывом все наше существо, возвышающую и расширяющую его, можно легко понять и вообразить. Но когда в груди, потрясенной великим горем, беснуются все фурии ада, когда человека обуревают тысячи противоречивых чувств и он не может в них разобраться, когда его разрывают на части стихийные силы,— он теряет свое единство, он весь в каждой своей ране, раздроблен в своих страданиях. Таково было мое состояние, и так продолжалось несколько часов. Как вам его изобразить? И в сотне томов я не передам то, что пережил в единый миг. Вы, счастливы с мелкой душой и чуть

теплым сердцем, не испытывавшие иных ударов, кроме обычных превратностей судьбы, и иных страстей, кроме низменной корысти, дай вам бог всегда считать подобное ужасное состояние химерой и никогда не знать жестоких терзаний чувствительного сердца.

Силы наши ограничены, и всякий раз за бурным порывом следует краткая передышка. В момент такого оцепенения, когда природа накапливает силы для борьбы со страданиями, я внезапно вспомнил свою молодость; вас, мой наставник, и ваши уроки; я подумал о том, что я ведь человек, и тотчас же задал себе вопрос: нанесен ли ущерб моей личности? Какое преступление я совершил? Утратил ли я часть себя самого? Если бы в этот миг я, каков я теперь, упал с облаков на землю и для меня началась бы новая жизнь — был бы я несчастен? Эта мысль, подобно вспышке молнии, озарила мою душу мгновенным светом, который тут же погас, но помог мне опомниться. Я с ясностью увидел себя со стороны, и этот проблеск сознания поведал мне, что я не способен рассуждать. Невообразимое смятение, овладевшее мною, не давало мне сосредоточиться; я не в состоянии был что-либо видеть, сравнивать, размышлять, принимать решения, судить о чем-либо. Итак, я понял, что, сколько бы ни мучился, я все равно не найду выхода, что думать о происшедшем значит бесплодно растравлять себе сердце, и сейчас мне остается одно: выждать, собраться с силами и успокоить свое воображение. Думается, что вы сами посоветовали бы мне это, будь вы тогда рядом со мной.

Решив дать выход безумным порывам, с которыми я никак не мог совладать, я даю себе волю с каким-то сладострастием отчаяния и словно испытываю от этого облегчение. Я вскакиваю и снова начинаю быстро шагать, куда глаза глядят: бегу, устремляясь то в одну, то в другую сторону, волнения сердца передаются моему телу, я не сдерживаю себя и вскоре выбиваюсь из сил; я задыхаюсь, глубокие вздохи прерывают стесненное дыхание, и порою кажется, что я вот-вот задохнусь,

Этот стремительный бег, казалось, меня оглушил и принес облегчение. В минуту взрыва страстей инстинкт повелевает кричать, двигаться, жестикулировать, это сообщает нам бодрость и отвлекает от страсти: пока человек возбужден, он во власти переходящего порыва; гораздо опаснее мрачное оцепенение, оно граничит с отчаянием. В тот вечер я получил почти смехотворное доказательство этого различия, если только безумие и несчастье человеческое способны вызвать смех у тех, кто также им подвержен.

Долго я шагал взад и вперед, но сознавая, что делаю, как вдруг очутился в центре города, на мостовой среди карет, недалеко от театра, в час перед началом представлений. Меня, наверное, раздавили бы в этой сумятице, если бы кто-то не схватил меня за рукав, предупреждая об опасности. Я бросаюсь и открытую дверь и попадаю к кафе. Там ко мне подходят знакомые; заговаривают со мной и куда-то уводят. Яркий свет и звуки музыки словно пробуждают меня ото сна. Я открываю глаза и осматриваюсь: оказывается, я в зрительном зале в день премьеры; вокруг толпа, и выбраться нет возможности.

Я содрогнулся, но тут же принял решение. Я не произнес ни слова и стоял спокойно, хотя нелегко мне далось это внешнее спокойствие. Кругом шумели, болтали, порою обращались ко мне: что мог я сказать в ответ, если ничего не слышал? Но когда один из тех, кто привел меня, ненароком упомянул о моей жене, то при звуке этого зловещего имени у меня вырвался пронзительный крик, который был услышан всеми находившимися в зале и вызвал ропот недоумения. Я быстро овладел собой, и все успокоилось. Но, видя, что окружающие обратили на меня внимание, я решил при первом же удобном случае удалиться и, незаметно приблизившись к двери, выскользнуть из зала еще до окончания спектакля.

Выйдя на улицу, я машинально опустил руку, которую во время представления прижимал к сердцу, и заметил, что мои пальцы в крови; мне даже показалось, что кровь струится у меня по телу. Я обнажил грудь и увидел, что она залита кровью и истерзана, как сердце, в ней заключенное. Вот какой ценой я сохранил спокойствие во время спектакля, и вы, конечно, понимаете, что такой зритель, как я, не в состоянии был судить о достоинстве пьесы.

Я поспешил удалиться, дрожа при одной мысли, что мне опять кто-нибудь встретится. Ночная темнота мне благоприятствовала; я снова принялся бродить по улицам, словно желая себя вознаградить за вынужденную неподвижность; я прошагал несколько часов без отдыха; наконец, очутившись вблизи своего квартала и еле держась на ногах, я вхожу в свой дом с неистово бьющимся сердцем; спрашиваю, что делает мой сын, мне отвечают, что он спит; я молчу и вздыхаю; слуги хотят мне что-то сказать — я приказываю им молчать; потом бросаюсь на постель и велю всем ложиться спать. После нескольких часов отдыха, еще более мучительного, чем вчерашнее возбуждение, я поднимаюсь до рассвета и, бесшумно пройдя по комнатам, приближаюсь к спальне Софи; и там, потеряв всякую власть над собой и поддавшись позорному малодушию, я осыпаю поцелуями и орошаю слезами порог; затем, крадучись, боязливо и осторожно, как преступник, я выхожу из дому, решив больше никогда сюда не возвращаться.

Тут окончился острый, но недолгий приступ безумия, и я пришел в себя. Думаю, что поступил, как должно, сперва уступив страсти, с которой не мог совладать, для того чтобы ее обуздать, когда она найдет себе выход. Перешитое душевное волнение пробудило в моем сердце нежность; прежняя ярость сменилась грустью, и, читая в своем сердце, я узрел на его скрижалях начертанную неизгладимыми письменами скорбь. Между тем я продолжал идти; я удалялся от ужасного места не столь поспешно, как накануне, но уже держась прямого пути. Я вышел за черту города и направился по первой большой дороге медленными, неуверенными шагами, какими ходят люди, убитые горем. Вставало солнце, озаряя все вокруг, и мне казалось, что я вижу новое небо, новую землю, новый мир, — все для меня изменилось. Я сам уже был не тот, что накануне, вернее, меня уже не было; мне оставалось оплакивать собственную смерть. О, сколько сладостных воспоминаний осаждало мое окаменевшее от горя сердце, вызывая рой милых образов и терзая его тщетными сожалениями! Воспоминания о былых восторгах обостряли горечь потерь, и мои

страдания превосходили перешитые наслаждения. Ах! Знаете ли вы, что значит внезапно перейти от величайшего блаженства к величайшей скорби? Ужасная перемена! Вчера, только вчера у ног обожаемой супруги я чувствовал себя счастливейшим из смертных; мною владела любовь, я подчинялся ее законам, признавал ее иго; ее деспотическая власть была детищем моей нежности, и меня радовала даже ее суровость. Почему мне не было дано прожить целые века в этом сладостном состоянии, почитать Софи, уважать ее, лелеять, жалуясь на ее суровость, тщетно пытаюсь ее смягчить, просить, взывать, умолять, без конца желать и никогда не достигать желаемого. Сладостное ожидание ласк, обманчивые надежды были упоительнее самого обладания. А теперь, ненавидимый ею, обманутый, обесчещенный, без надежд и упований, я лишен даже тех радостей, которые приносили желания. Я остановился, ужаснувшись при мысли, как изменилась та, о которой я привык думать с таким восторгом. Видеть Софи оскверненной и презренной! Нестерпимое, кошунственное зрелище. Всего ужаснее были не мои несчастья, но мучительный стыд за ту, что их причинила. Я не в силах был взирать на ее позор.

Накануне бессмысленные, неистовые муки не давали мне об этом подумать — я был поглощен своим страданием. Но мало-помалу сердечная боль, так сказать, сосредоточилась, и, когда я доискивался ее причины, в моем воображении невольно вновь вставали роковые черты. Мое поведение перед уходом из дому обличало недостойное влечение к этой женщине. Как ни трудно было мне ее ненавидеть, еще труднее было ее презирать; меня терзала мысль, что я навеки ее потерял, но еще ужаснее было сознание, что она заслуживает презрения.

Мои первые мысли о ней были полны горечи. Если измена обыкновенной женщины — преступление, то как назвать измену Софи? Низменные души, совершая подлость, не унижают себя, а верны своей природе, для них невозможны падения, ибо они не способны на взлеты. Прелюбодеяния светской женщины всего лишь плод легкомыслия; но неверная Софи — это гнуснейшее в мире чудовище: какая бездна между прежней и теперешней Софи; нет падения, нет преступления, равного этому.

Я обвинял ее, и с полным правом, продолжал я размышлять, ибо она оскорбила меня, ибо она, неблагодарная, поразила меня на смерть; но по какому праву я так строго ее сужу, не совершив суд над самим собою; может, здесь немалая и моя вина. Ты обвиняешь ее, что она уже не та, что прежде. О Эмиль, а сам ты разве не изменился? Разве, очутившись в этом огромном городе, ты не стал по-другому к ней относиться? Ах, ее непостоянство порождено твоим. Она поклялась тебе в верности, ну, а ты разве не клялся вечно ее обожать? Ты ее покидаешь и хочешь, чтобы она осталась тебе верной. Ты ею пренебрегаешь, а хочешь, чтобы она тебя почитала. Ты охладел, стал равнодушным, позабыл ее — и она вырвала тебя из своего сердца. Хочешь быть всегда любимым — будь всегда достойным любви. Ты подал дурной пример — она и нарушила свою клятву: не надо было ею пренебрегать, и она бы ввек тебе не изменила.

Когда вы жили с ней в уединении, там, где ты ее наглед в где ей надлежало оставаться всю жизнь, — разве она давала тебе повод для жалоб? Она ли просила тебя увезти ее из этого блаженного края? Помнишь, с каким горьким сожалением она его покидала? Слезы, которые она проливали там, были ей сладостнее ветреных городских забав. Она посвятила свою невинную жизнь твоему счастью, и ты ей был дороже, чем ее собственный покой. Но ей не удалось тебя удержать, и она покинула все и последовала за тобою. Это ты увез ее из мирного приюта добродетели, увлек за собой в пучину пороков и бедствий. Увы, ты сам во всем виноват: в том, что ее покинуло благоразумие, в том, что она не составила твоего счастья.

О, Эмиль, ты ее утратил, ты должен ненавидеть себя и жалеть ее; какое право имеешь ты ее презирать? Разве сам ты был безупречен? Разве не заразился светским легкомыслием? Правда, ты не изменил Софи, но сам перестал чтить добродетель и этим уже оправдал ее проступок. Разве ты не ввел ее в соблазн, поселившись в столице, где порядочность — предмет насмешек, где женщины стыдятся быть целомудренными, где единственная награда женской добродетели — издевательство и недоверие. Ты не нарушил верности, но разве твоя верность подвергалась таким искушениям? Разве ты наделян, подобно Софи, пламенным темпераментом — источником великих пороков, как и великих добродетелей? Дала ли тебе природа такое тело, созданное для любви, исполненное пагубных чар и подверженное чувственным соблазнам? О, достойна сожаления участь такой женщины! Какую борьбу ей приходится непрерывно и неустанно вести и против других, и против себя самой! Какое несокрушимое мужество, какое упорное сопротивление, какую героическую твердость должна она проявлять! Какие опасные победы ежедневно одерживать, не имея иных свидетелей, кроме неба и собственного сердца! И после стольких прекрасных лет, тяжелых испытаний и победоносной борьбы минута слабости, одна-единственная минута забвения кладет неизгладимое пятно на все ее безупречное прошлое и упраздняет её добродетель. Злосчастная женщина! Увы! Минутное заблуждение — причина всех твоих и моих несчастий! Да, сердце ее по-прежнему чисто — я в этом уверен: я слишком хорошо ее знаю и не могу обмануться. Ах, кто знает, к каким хитрым уловкам прибегала порочная, коварная женщина, завидуя ее добродетели и завлекая в сети это невинное, наивное создание! Разве не прочел я в глазах Софи раскаяние и сожаление? Не потому ли я снова очутился у ее ног, что увидел ее в печали? И разве ее трогательная грусть не пробудила во мне былую нежность? Ах! Разве ее поведение напоминает коварные повадки неверной жены, которая обманывает мужа, наслаждаясь изменой?

Я продолжал свои размышления, перебирая подробности ее поведения, вдумываясь в смысл ее удивительного признания. Каковы же были мои чувства, когда я увидал, что эта женщина, от природы застенчивая и скромная, преодолевая стыд, решилась на откровенное признание, сознавая, что опозорит себя в моих глазах; она не захотела сохранить мое доверие и спасти свою репутацию, утаить в падении, в котором отнюдь не была вынуждена признаться и которое легко

было бы прикрыть ласками; не захотела, чтобы я изливал свою отцовскую нежность на ребенка, который не мне обязан жизнью. Как я восхищался непреклонной смелостью этой женщины, даже ценою чести и жизни не унизившей себя до лжи и сохранившей даже в преступлении благородную доблесть! «Да,— говорил я себе, втайне любуясь ею, — даже потеряв честь, эта сильная душа не утратила достоинства, она виновата, но не заслуживает презрения — она могла совершить преступление, но не подлость».

Итак, мало-помалу, поддаваясь влечению сердца, я стал судить ее более мягко и снисходительно. Я не оправдывал ее, но находил ей извинения; я не прощал ее проступков, но одобрял поведение. Эти мысли меня утешали. Совсем ее разлюбить я не мог, и полюбить без уважения для меня было бы ужасно. Как только я убедился, что она все же достойна уважения, мне неожиданно стало легко. Человек слишком слаб и не в состоянии долго пребывать в крайнем напряжении чувств. Даже в избытке горя небо ниспосылает нам отраду. Сознывая ужасную свою судьбу, я находил некую радость в мысли о том, что Софи достойна уважения и глубоко несчастна; мне и самому было приятно оправдывать этим мое участие к ней. Я уже более не испытывал жгучей, острой боли и теперь от умиления порой проливал слезы. «Она навеки для меня потеряна, я это знаю,— твердил я себе, — но по крайней мере я имею право о ней думать, имею право ее жалеть и, не стыдясь, могу стонать и вздыхать о ней».

Между тем я все шел и шел вперед и, погруженный в эти размышления, незаметно прошагал весь день; наконец, я опомнился и, не испытывая вчерашнего возбуждения, когда ярость поддерживала мои силы, почувствовал крайнее изнеможение и потребность в пище и в отдыхе. Благодаря телесным упражнениям в годы юности я был крепок и силен, не страшился ни голода, ни усталости; но душевные страдания измучили меня. А вы, хотя и предохранили меня от бурных страстей, не научили меня их переносить. Я с трудом прошел последнюю милю до деревушки. Я не принимал пищи почти тридцать шесть часов; поэтому, поужинав, и даже с аппетитом, я лег спать, уже более не терзаемый страшными мыслями, довольный, что имею право думать о Софи, и почти с радостью помышляя о том, что она не столь уж испорчена и более достойна уважения, нежели я полагал.

Я спокойно проспал до самого утра. Горе и несчастье щадят наш сон и дают передышку душе; только угрызения совести никогда не дают нам уснуть. Поднявшись с постели, я почувствовал некоторое успокоение и стал думать о том, что мне делать дальше. Мне еще не приходилось переживать столь знаменательных в жестоких событий. Все мои связи с людьми были порваны или нарушены, теперь на мне лежали совсем другие обязанности; и взирал на вещи иными глазами, и так сказать, стал другим существом. Надо было трезво рассудить, как действовать дальше. Пока что я принял временное решение, дабы как следует все обдумать на досуге. Итак, я пошел дальше и через некоторое время добрался до ближайшего города; я нанялся к одному



мастеру и стал у него работать в ожидании, пока уляжется волнение души и я смогу видеть вещи такими, каковы они в действительности.

Никогда я так не понимал всю пользу полученного мною воспитания, как теперь, в этих ужасных обстоятельствах. Рожденный с нежной душой, восприимчивой ко всяким впечатлениям, легко возбудимой, и будучи довольно нерешительным первое время, а поддался естественным порывам, но потом снова овладел собою и смог обсудить положение столь же хладнокровно, как если бы речь шла о другом человеке. Покорившись необходимости, я перестал понапрасну сетовать и добровольно склонился под роковое иго; мое прошлое стало мне чуждым: я как бы вновь родился на свет и, решив придерживаться правил поведения, подходящих для настоящего момента, в ожидании, пока все выяснится, спокойно принялся за работу, как если бы я был счастливейшим из людей.

Еще в детстве вы твердо внушили мне, что, где бы я ни находился, я должен весь целиком там пребывать и, делая что-нибудь, никогда не думать о другом, ибо это значит ничего не делать и витать в пространстве. Итак, днем я был поглощен работой; вечером я возвращался к своим размышлениям; так попеременно давая отдых душе и телу, я сберегал силы и не испытывал ни душевной, ни физической усталости.

В первый же вечер, следуя нити своих прежних размышлений, я задал себе вопрос; но слишком ли близко я принимаю к сердцу проступок женщины, и то, что мне представляется катастрофой, возможно, лишь обычный случай, которому не стоит придавать большого значения? Не подлежит сомнению, рассуждал я, что всюду, где чтут добродетель, измена жены бесчестит мужа; но несомненно также, что во всех крупных городах и всюду, где люди, более испорченные, почитают себя более просвещенными, над такими взглядами смеются и находят их неразумными. «Ужели, — вопрошают они, — честь мужа зависит от чести жены? И если он попал в беду, то неужели он вдобавок и опозорен? Разве чужие пороки могут его обесчестить? Пусть та мораль и более строга, зато эта представляется нам более согласной с разумом».

Но как бы там ни судили о моих поступках, разве мои принципы не велят мне стоять выше людского мнения? Но все ли равно, что обо мне подумают, лишь бы я перед судом своей совести не перестал быть добрым, справедливым и честным? Разве милосердие может быть преступлением? Разве это будет подлостью, если я прощу обиду? В чем мой долг? Столько лет я презирал людские предрассудки, и неужели же я пожертвую им своим счастьем?

Но если даже этот предрассудок имеет основания, разве можно с ним считаться в данном, столь необычном, случае? Что общего между этой несчастной, в порыве отчаяния сознающей в своем преступлении, и теми вероломными женами, которые прибегают ко лжи, к обману или вместо откровенности проявляют наглость и кичатся своим позором? Всякая порочная женщина, которая не только изменяет своему долгу, но и презирает его, недостойна сожаления; щадить такую — значит быть соучастником бесчестного дела. Но та, которую нельзя назвать порочной, та, что

совершила ошибку и искупает ее раскаянием, скорее достойна сочувствия, чем ненависти; ее можно пожалеть, и не стыдно ее простить; она совершила проступок, но ее страдания — залог того, что она никогда этого не повторит. Софи, и в падении сохранившая достоинство, предаваясь раскаянию» будет заслуживать уважения; она еще ревностнее станет хранить верность, ибо она создана для добродетели и на опыте познала, что значит преступить долг; твердость и скромность, ее украшающие, останутся при ней: угрызения совести, унижение смягчат ее гордое сердце, и она уже не станет больше мною помыкать на правах любви, но будет ее оберегать без прежней гордости,— совершенная ошибка избавит ее от недостатка.

Когда страсти не могут нас одолеть с открытым забралом, они надевают личину мудрости, пытаясь нас уловить, и, прибегая к разумным доводам, заставляют вас поступать неразумно, Все эти софизмы только потому и казались мне убедительными, что шли навстречу моему влечению. Мне хотелось иметь право вернуться к неверной Софи, и я охотно внимал всем доводам, оправдывавшим мое малодушие. Но как я ни старался, разум менее податливый, чем сердце, не соглашался с безумными доводами. Мне не удавалось обмануть себя: я понимал, что подобные рассуждения лишь сбивают меня с толку, отнюдь не указывая выхода. С болью, но убежденно, я говорил себе, что правила света отнюдь не закон для того, кто хочет жить независимо, если уж выбирать среди предрассудков, сопряженных с благонравием; что не без основания люди порицают мужа за распутную жену — либо он не сумел выбрать себе подругу жизни, либо не сумел ею руководить; что мой пример подтверждает справедливость такого порицания, что если бы Эмиль сохранил благоразумие, то Софи никогда бы ему не изменила; что от женщины, не уважающей самое себя, требуют, чтобы она по крайней мере уважала своего мужа, если он того достоин, и если муж умеет сохранить свой авторитет, то, не удержав жену в должных границах, он заслуживает еще большего порицания, когда смотрит сквозь пальцы на ее поведение; что безнаказанность подобных проступков приводит к самым ужасным последствиям, доказывая равнодушие к добропорядочности и низость души, недостойную человека.

Вдобавок я понимал, что в моем случае достоинство, проявленное Софи, лишает меня последней надежды; ибо можно ободрить или поддержать слабую духом, можно образумить женщину, забывшую о своем долге, но как воздействовать на ту, которая, впадая в грех, не теряет мужества, сохраняет достоинство и в преступлении и сознательно творит зло. Да, Софи виновна, ибо она добровольно Пошла на преступление. Если эта гордая душа смогла победить стыд, то она могла бы победить и любую страсть; ей было бы ничуть не труднее сохранить мне верность, чем сообщить мне о своем проступке.

Даже если я и вернусь к своей супруге, она все равно не вернется ко мне. Если женщина, которая так меня любила, так была мне дорога, могла нанести мне оскорбление; если моя Софи могла порвать священные узы; если мать моего сына могла нарушить супружескую верность; если ничем не омраченная любовь и благородная гордость, свойственная незапятнанной добродетели,

не удержали ее, то что ее удержит в будущем от повторных падений? Труден лишь первый шаг к пороку, а потом человек грешит уже, сам того не замечая. Теперь уже ей нечего оберегать — утрачены и любовь, и добродетель, и честь; оскорбляя меня, она не будет опасаться даже укоров совести. Она знает мою душу, она сделала меня несчастнейшим из людей, и ей нипочем будет меня доконать.

Нет, я знаю ее душу, Софи никогда не полюбит человека, который имеет право ее презирать... Она больше меня не любит... Разве неблагодарная не заявила тебе об этом сама? Вероломная больше меня не любит. Ах! Она совершила величайшее преступление: я мог бы ей все простить, только не это.

— Увы! — продолжал я с горечью.— Я все время твержу о прощении, забывая, что тот, кому нанесена обида, нередко ее прощает, но обидчик — никогда. Без сомнения, она не только причинила мне зло, но и от всей души желает мне зла. Ах, как она должна меня ненавидеть!

Эмиль, ты жестоко заблуждаешься, воображая, что можно судить о будущем на основании прошлого. Все изменилось. Нет никакого смысла жить с нею; счастье, что она тебе дарила, уже не вернется. Для тебя уже нет прежней Софи, да и для Софи уже нет прежнего Эмиля. Отношения зависят от наших чувств; когда сердце меняется, меняется все; пусть все вокруг нас остается неизменным, но, если мы смотрим на мир другими глазами, мы все видим в ином свете.

Я прекрасно знаю, что она не надежна. Софи еще может стать достойной уважения, может заслужить мою нежность, может вернуть мне свое расположение, но она не может заглавить содеянное, и мы оба этого никогда не забудем. Верность, добродетель, любовь — все может воскреснуть, все, кроме доверия, а без взаимного доверия супруги испытывают досаду, печаль и отвращение друг к другу; чарующая прелесть невинности канула безвозвратно. Все кончено; все кончено; ни вблизи меня, ни вдали Софи уже не способна быть счастливой, а я могу быть счастлив лишь ее счастьем. Это и побуждает меня принять решение: лучше страдать вдали от нее, чем рядом с нею; лучше сожалеть о ней, чем мучить ее.

Да, все наши связи порваны, и это дело ее рук. Она нарушила свои обязательства, и теперь я свободен от своих. Для меня она уже ничто, разве она сама не сказала мне об этом. Она уже больше мне не жена; ужели встретиться с ней как с чужой? Нет, лучше век не встречаться. Я свободен,— по крайней мере я должен стать свободным. Ах, когда я уже освободился от всяких обязательств, зачем сердце мое еще не вполне свободно?

Но неужели оскорбление так и останется безнаказанным? Если неверная любит другого, разве ей станет хуже, когда она избавится от моей особы? Я покараю лишь самого себя, не ее; в ущерб себе я исполню ее желания. Так ли должно мстить за поруганную честь? Где справедливость? Где возмездие?

О несчастный! Кому ты хочешь мстить? Той, из-за которой ты приходишь в отчаяние, так как не можешь сделать ее счастливой. По крайней мере не ставь жертвой собственной мести. Причини ей

зло, но так, чтобы самому не испытать при этом боли. Некоторых преступников лучше всего предоставить угрызениям их совести, а наказание ее почти успокаивает. И разве жестокий муж достоин верной жены? Да и по какому праву, по какому полномочию он ее наказывает? Неужели ты ей судья — ведь ты больше ей не муж. Нарушив долг жены, она тем самым утратила права супруги. Связав себя с другим, она порвала узы, связывающие ее с тобой; она не скрыла этого от тебя; она и не думала приписывать себе верность, после того как ее нарушила; она не предавала, не лгала; перестав быть твоей, она прямо объявила, что она для тебя ничто. Какую же ты теперь имеешь над ней власть? Но, даже сохранив остатки власти, ты должен от них отказаться — ради собственного блага. Послушайся меня, будь великодушен, ибо так велит благоразумие, будь милосерд, ибо только так ты ей отомстишь. Смотри же, не предавайся гневу, он может привести тебя к ее ногам.

Так я поочередно внимал то голосу любви, призывавшей меня в ее объятия, то голосу ненависти, склонявшей меня к мести, — и какую пришлось мне выдержать борьбу, пока я принял наконец решение! И когда казалось, что я его уже принял, новая мысль всплыла, и моей решимости как не бывало. Я вспомнил о своем сыне и почувствовал к матери такую нежность, какой никогда не испытывал. Я понял, что ребенок нас связывает и она никогда не станет для меня чужой; понял, что дети создают нерасторжимые узы для тех, кто дал им жизнь, что это естественный, неопровержимый довод против развода. Ребенок дорог обоим, ни тот, ни другой не может от него отдалиться, он неизбежно их сближает; они оба к нему так нежно привязаны, что ребенок один способен заменить им целое общество. Но чего стоит этот довод в пользу матери моего сына, если его надо будет применить к матери чужого ребенка? Как? Ужели природа может допустить такое преступление? Ужели моя жена, разделяя нежность между двумя сыновьями, вынуждена будет делить любовь между двумя отцами? Эта мысль, самая ужасная из всех, что приходили в голову, пробудила во мне новую ярость; стоило мне только подумать об этом, как фурии снова начинали терзать мне грудь. Лучше мне увидеть своего сына мертвым, чем другого сына, от другого отца на руках у Софи. Эта картина вызвала во мне новый взрыв негодования, и Софи стала мне как никогда чуждой. Тут я принял окончательное решение и, дабы больше не испытывать сомнений, перестал думать об этом.

Это твердое решение угасило во мне всякую злобу. Софи для меня умерла; она не казалась мне больше виновной, но лишь достойной уважения и несчастной; я забыл о ее ошибках и с нежностью вспоминал все, что было в ней так мило и заставляло о ней сожалеть. Вследствие этого я вознамерился сделать все от меня зависящее, дабы облегчить ее положение покинутой жены; ибо, чтобы я ни думал о ней в гневе, что бы она ни сказала в отчаянии, я не сомневался, что в глубине души она еще питает ко мне нежность и ей тяжело меня потерять. Расходясь с ней, я должен первым долгом отнять у нее своего сына. Я содрогнулся при этой мысли; хотя я только что помышлял о мщении, мне было страшно думать о такой ужасной каре. Тщетно я говорил себе

в порыве раздражения, что вскорости она разлюбит это дитя, привязавшись к другому; тщетно, обуреваемый ревностью, я цеплялся за это ужасное предположение — всякий раз как только я представлял себе, в какое отчаяние придет Софи, когда у нее будут отнимать ее дитя, я терял мужество. Но все же мне удалось себя победить; с болью в сердце я принял это жестокое решение; я был уверен в своей правоте, полагая, что второе решение с необходимостью вытекает из первого, и, скрепя сердце, осуществил бы его, если бы одно непредвиденное происшествие не заставило меня усомниться.

Мне оставалось обдумать еще одно менее важное, как мне казалось, обстоятельство. Я уже принял решение касательно Софи, и теперь мне предстояло решить, как быть самому, коли я остался один. Я уже давно перестал быть одиноким на земле: как вы и предвидели, привязанности возымели власть над моим сердцем; я привык отождествлять себя со своим семейством; теперь надобно оторваться от него в какой-то мере, и это казалось еще труднее, чем оторваться от него всецело. Какую пустоту ощущаем мы в душе, какой урон, когда сразу теряем все привязанности и нам остаются лишь заботы о самих себе, или, того хуже, о существе, непрестанно напоминающем наши потери! Мне предстояло испытать себя: смогу ли я занять назначенное мне место в жизни, когда стану безразличен для всех на свете?

Но как найти это место тому, кто утратил все былые связи? Что предпринять? За что браться? Куда направить свои стопы? Чему должен посвятить жизнь человек, который сам не питает надежды на счастье и уже не надеется одарить счастьем дорогое существо, а судьба лишила его возможности принести кому бы то ни было счастье? Ежели все предпринятое для моего счастья уготовило мне печальную участь, то смел ли я после этого надеяться сделать для других то, чего вам не удалось сделать для меня? О, не подумайте: я по-прежнему был предан долгу, но уже не видел, в чем он состоит. Я не мог сразу установить, в чем заключается мой долг применительно к новому моему состоянию, и мой усталый ум нуждался в передышке перед тем, как перейти к новому предмету.

Я уже почти обрел покой. Утратив надежду, я избавился от беспокойства, с нею связанного, и, веря, что рано или поздно избавлюсь также от волнений, вызываемых желанием, видя, что прошлое перестало для меня существовать, я постарался войти в роль человека, начинающего новую жизнь. Я говорил себе, что мы всегда что-нибудь начинаем, что наше существование — это непрерывный ряд мгновений в настоящем, из которых каждое является для нас первым. Мы умираем и рождаемся каждое мгновение — что нового приносит нам смерть? Если для нас важно лишь предстоящее, то лишь будущее может сделать нас счастливыми или несчастными; а скорбеть из-за прошлого — значит извлекать из небытия предмет для печали. Эмиль, будь новым человеком, и тебе не доведется сетовать ни на судьбу, ни на природу. Твои несчастья — ничто, они поглощены бездной небытия; действительно существуют для тебя лишь твоя жизнь, здоровье, молодость, разум, таланты, познания, добродетели, наконец, коли тебе угодно, твое счастье.

Я снова принялся за работу, терпеливо выжидая, пока мои мысли не придут в порядок настолько, что станет ясно, как мне дальше быть; но если сравнить мое состояние с прежним, я уже достиг успокоения: в любых обстоятельствах мы всегда испытываем удовлетворение, если поступаем разумно. Коль нельзя быть счастливым вопреки судьбе, то можно, сохраняя равнодушие, оставаться спокойным назло року. Но при чувствительном сердце велика ли цена такому спокойствию. Легко достигнуть душевного равновесия, но весьма трудно его сохранять. Все мои решения едва не рухнули, и как раз в ту самую минуту, когда казалось, что я более всего в них утвердился.

Я работал у мастера, стараясь не привлекать к себе внимания. По-прежнему я одевался очень просто, к чему вы меня приучили; мои манеры не отличались изысканностью, я держался непринужденно, как человек, который всюду чувствует себя дома, а такое поведение столяру даже больше к лицу, чем вельможе. Все же по моему платью было видно, что я не рабочий; но, наблюдая, с какой ловкостью я работаю, мои хозяева решили, что я прежде был рабочим, потом поднялся ступенью выше, но не сумел на ней удержаться и опять вернулся к своему ремеслу. Неудачливый выскочка не внушает к себе особого уважения, и со мною держались почти на равной ноге. Вдруг я заметил, что все члены семьи переменили со мной обращение; фамильярность уступила место известной сдержанности; когда я работал, на меня смотрели с каким-то удивлением; все, что я делал в мастерской (а работал я лучше хозяина), вызывало восхищение; за каждым моим движением, за каждым жестом следили, старались обращаться со мной по-прежнему, но это им удавалось не без труда, и, казалось, они лишь из уважения ко мне воздерживаются от знаков особого почтения. Вначале я был поглощен своими мыслями настолько, что при всей своей наблюдательности не сразу обнаружил эту перемену; но вскоре, всецело отдавшись своему делу, я уже стал замечать, что творилось вокруг, и догадался, что вызываю у этих добрых людей любопытство и живейший интерес.

Я обратил внимание, что хозяйка не спускает с меня глаз. Женщины питают слабость к любителям приключений, которые вызывают у них интерес. При каждом ударе стамеской она словцо пугалась, и я видел, что ее удивляет, как это я ни разу не ушибся.

— Сударыня,— сказал я ей однажды,— я вишу, вы сомневаетесь в моей ловкости,— может, вы опасаетесь, что я недостаточно хорошо знаю свое ремесло?

— Сударь,— отвечала она — я вижу, вы хорошо знаете наше ремесло, можно подумать, что вы и впрямь всю жизнь этим занимались.

Тут я понял, что им известно, кто я такой; я стал допытываться, откуда они это узнали. Она заставила себя упрашивать, наконец, сообщила с таинственным видом, что два дня тому назад, к их дому подкатил экипаж, из которого вышла молодая дама; она захотела увидеть меня, но не велела говорить мне о ее приезде; потом подошла к застекленной двери, сквозь которую могла видеть, как я работаю в глубине мастерской; она опустила на колени перед дверью; рядом с ней

стоял ребенок, которого время от времени она сжимала в объятиях, причем у нее вырывались сдавленные рыдания; она пролиwała потоки слез и вынуживала такое отчаяние, что все, кто его видел, были глубоко взволнованы; несколько раз она, казалось, готова была вбежать в мастерскую, и, видимо, ей стоило немалых усилий от этого удержаться; потом, несколько успокоившись, она долго и яни-мательно смотрела на меня; затем, порывисто поднявшись и прижав головку ребенка к своему лицу, проговорила вполголоса: «Нет, он никогда не отнимет у тебя матери; пойдем, здесь нам больше нечего делать». С этими словами она поспешно вышла из дому, взяв с хозяев слово, что они мне ничего не скажут, потом села в карету и вмиг умчалась.

Хозяева добавили, что эта любезная дама внушила им симпатию и они обещали сдержать свое слово, тем более что она так настоятельно просила их об этом; они нарушили слово против воли; по ее экипажу, а главное, по ее внешности они сразу увидели, что это знатная особа, и догадались по всему ее поведению и речам, что это моя жена, ибо она ничуть не похожа на какую-нибудь содержанку.

Посудите сами о моем состоянии во время этого рассказа. Как много скрывалось за всем этим! Как жестоко она должна была тревожиться, какие ей пришлось производить розыски, чтобы напасть на мой след! Разве так поступает тот, кто утратил любовь? Что это за путешествие? Что ее побудило его предпринять? За каким занятием она меня застала? Ах! Она уже раньше видела меня в мастерской; но в тот раз она не стояла на коленях, не проливала слез. О, блаженное, блаженное время! Что случилось с этим ангелом небесным?.. Но зачем приезжала сюда эта женщина? Она привозила своего сына; моего сына... зачем? Быть может, она хотела меня видеть, говорить со мною? Но зачем ей было убегать? Или она хотела оскорбить меня? Чем вызваны ее слезы? Что нужно от меня этой изменнице? Быть может, она приехала издеваться над моим горем? Или она забыла, что теперь она для меня ничто? Думая о ее приезде, я всячески старался вызвать в своей душе злобные чувства, чтобы подавить умиление, чтобы не поддаться соблазну и не устремиться вослед несчастной. Тем не менее я остался у мастера. Я понял, что этот шаг с ее стороны доказывает одно — что она все еще любит меня; но и эта догадка не заставила меня отказаться от принятого решения. Затем, когда я обсудил более хладнокровно все обстоятельства приезда Софи, а особенно ее последние слова, мне стало ясно, почему она приехала и что побудило ее внезапно уехать, не показавшись мне на глаза. Софи обычно говорила просто, но ее слова озаряли мое сердце лучами света. Так было и на этот раз. «Он не отнимет у тебя мать»,— сказала она. Так, значит, она приехала сюда, опасаясь, что ее могут разлучить с ребенком, и уехала, убедившись, что этого не случится. Но почему она пришла к такому убеждению? Что она увидела? Эмиля, и спокойного Эмиля, работающего в мастерской. К какому выводу она могла прийти, наблюдая эту картину? Что Эмиля не обуревают страсти и он способен лишь на разумное решение? Значит, намерение разлучить ее с сыном не казалось ей разумным решением — как представлялось мне. Кто же из нас прав? Слова Софи давали ответ и на этот вопрос; в самом деле, в интересах ребенка

не отнимать у него матери,— какие тут могут быть еще сомнения! До сих пор я думал только о том, что ребенка отнимут у матери, а надлежало подумать, что будет, если мать отнимут у ребенка. Значит, не прав был я. Отнять у ребенка мать, которая ему так нужна, особенно в столь нежном возрасте, значит нанести ему ничем не возместимый ущерб. Это значит свести счеты с матерью, принеся в жертву ребенка; так можно поступить, лишь повинувшись страсти, а не разуму, если только мать не впала в безумие и если она не нравственный урод. Но лучшей матери, чем Софи, нельзя и пожелать для моего сына. Совместно мы не можем его воспитывать, и надобно будет этим заняться либо ей, либо мне, либо дать волю своему гневу и сделать ребенка круглой сиротой. Но в своем нынешнем положении что стану делать я с мальчиком? Я знаю, что я могу и чего не могу сделать, но мне еще не ясно, как именно я должен поступить. Потащу ли я такого маленького ребенка в чужие страны? Или я буду держать его на глазах у матери, мучая женщину, от которой мне надлежит бежать? Ах, никакая даль не спасет меня! Так оставим ребенка у матери, иначе рано или поздно дитя приведет к ней отца, куда бы он ни скрылся. Пусть ребенок останется у нее и мстит за меня: пусть ежедневно напоминает неверной о счастье, залогом которого он был, и о супруге, которого она сама у себя отняла.

Конечно, прежнее намерение отнять сына у матери возникло под влиянием гнева. Лишь в этом я был ослеплен страстью, и лишь это решение я переменял. Если бы мои родные исполнили мою волю, Софи воспитывала бы этого ребенка, и, быть может, он и по сей день был бы жив; но возможно, что тогда Софи окончательно умерла бы для меня; ее утешил бы ребенок, драгоценная часть меня самого, она не стремилась бы ко мне, и я больше никогда не увидел бы счастливых дней. Сколько еще предстояло нам перестрадать, искупая свои заблуждения, прежде чем вновь соединиться!

Мы хорошо изучили друг друга, я сразу догадался, что Софи предвидела, к чему может привести наша встреча, и это заставило ее внезапно удалиться. Она знала, что я рассудителен, но слабодушен; а я прекрасно знал, что эта гордая и возвышенная душа даже в своем падении не изменит себе. Ей невыносима была бы мысль, что ее, Софи, могут принять из милости. Она чувствовала, что ее преступление из тех, что никогда не забываются, она предпочла наказание прощению; она не перенесла бы прощения; оно было для нее унижительнее наказания. Она полагала, что должна сперва искупить и лишь затем может загладить свою вину; во имя справедливости она готова была принять все заслуженные страдания. Вот почему она была так бесстрашна и беспощадна к себе, признавшись в своем, преступлении вам и всем моим родным и умолчав о том, что извиняло, а может, даже оправдывало ее; об этом она упорно молчала, не сказав ни единого слова даже мне; об этом я узнал лишь после ее смерти.

Впрочем, когда она перестала бояться, что у нее отнимут сына, она не пожелала ни о чем просить для себя самой. Смягчить меня — значило бы меня унижить, а она с тем большей ревностью оберегала мою честь, что, уже простившись со своею, Софи могла совершить



преступление, но супруг, ею избранный, должен остаться безупречным. Ей одной была свойственна такая утонченность самолюбия, и, быть может, лишь я один мог это разгадать.

Я ей благодарен за то, что даже после того, как я ее покинул, она вовремя меня остановила и не дала осуществить неразумное решение, подсказанное мезтью. На сей раз я не оправдал ее высокого мнения обо мне, но зато быстро опомнился и поспешил исправить свою ошибку. Я понял, что в интересах ребенка не следует разлучать его с матерью. К тому же я решил, что его злополучный отец не должен подвергаться искушениям, от которых он только что избавился. Не лучше ли мне шить вдаль от нее, если близость к ней мне опасна? Этот мудрый урок я получил также от нее благодаря ее приезду: оставалось последовать этому наставлению, чтобы не пришлось преподнести его мне вторично.

Надо было бежать; это вытекало из всех предыдущих рассуждений и было важнее всего. Но куда? Я много об этом думал, не понимая, что меньше всего имеет значение, куда я направлю стопы, лишь бы подальше от нее. Зачем так долго выбирать убежище, когда повсюду я смогу жить или умереть,— а это все, что мне остается. Какое глупое самообольщение с нашей стороны воображать, будто вся природа принимает участие в незначительных событиях нашей жизни? Глядя, как я глубокомысленно размышляю, куда бы поехать, можно было подумать, будто для всего рода человеческого важно, дабы я жил именно в том, а не в другом краю и что вес моего тела может нарушить равновесие земного шара. Если бы я оценивал свою роль в жизни по той пользе, которую я могу принести себе подобным, я не ломал бы голову над тем, в какой стране я могу лучше всего исполнить свой долг, куда бы я ни направился, он всегда со мною, и человек всегда найдет достойное применение своим силам; я сказал бы себе, что, где бы я ни жил, в каком положении ни очутился, я всегда могу исполнить свое назначение, и никто не нуждался бы в других, если бы жил, как подобает человеку. Мудрец живет настоящим днем и умеет определить повседневные свои обязанности. Не будем же взваливать на себя непосильное бремя и не станем забегать вперед. Я должен думать лишь о тех задачах, какие ставит мне нынешний день, завтрашним придет свой черед. Сейчас я должен удалиться от Софи, и безразлично, какой я изберу путь, лишь бы поскорее уйти от нее. Такова задача.

Приняв решение, я в меру сил привел в порядок свои дела; я написал вам, своим родным, даже Софи. Я распорядился обо всем, не позаботился только о себе, ибо ни в чем не нуждался,— и, не имея ни лакея, ни денег, ни экипажа, отправился пешком, один-одинешенек, отбросив все желания и заботы. Я жил среди разных народов, переплывал моря и пересекал пустыни,— но в своих многолетних странствованиях, где бы ни находился, я сожалел лишь о том, от которой вынужден был бежать. Будь мое сердце спокойно, я ни в чем не испытывал бы недостатка.

### **Письмо второе**

«Я испил воды забвения; минувшее изгладилось из моей памяти, и Вселенная раскрывается передо мною» — так говорил я себе, покидая родину, которой мог только стыдиться и которую

мне оставалось лишь презирать и ненавидеть, ибо, будучи достоин счастья и уважения, я был обязан ей и порочным соотечественникам обрушившимися на меня несчастиями и позором. Я порвал узы, связывавшие меня с отечеством, и почувствовал связь со всем миром; я уже не был гражданином, но зато стал человеком.

Во время своих длительных путешествий я сделал наблюдение, что путь лишь тогда труден, когда думаем об отдаленности места назначения; однодневный путь всегда приятен; но зачем ставить себе отдаленную цель, если, совершая однодневные переходы, можно обойти вокруг света. Когда цель пути далека — нас страшит расстояние; нам кажется, что мы должны достигнуть ее одним скачком; другое дело, когда проходишь это путь по частям,— тогда это приятная прогулка, и мы достигаем цели. Путешественники никогда не расстаются со своими обычаями, привычками, предрассудками, искусственными потребностями и, так сказать, окружены собственной атмосферой, отделяющей их от посещаемой страны, которая представляется им каким-то совершенно чуждым миром. Француз хочет повсюду носить с собою всю Францию; если чего-либо ему недостает, местные преимущества ему сего не заменяют, все пропало. Вечно сравнивая туземное с тем, что покинул на родине, он инородное оценивает как дурное, и в Индии он ни за что не уснет, если постель не совсем такая, как в Париже.

Что до меня, то я покидал родные места подобно тому, как некогда выходил из леса близ Монморанси, направляясь в сторону, прямо противоположную тени. Я не торопился, но зато твердо и неуклонно продвигался вперед. После двух дней пути я почувствовал себя уже отрезанным от прошлого, и если бы даже я решил вернуться назад, то успел бы одуматься по дороге. По мере того как я удалился от опасного места, мне дышалось все свободнее, и я шагал с удовольствием. Не имея иной цели, я держался одного направления; я шагал то быстро, то медленно, как мне хотелось, насколько позволяли здоровье и настроение. Ничего не захватив с собою, я был всем обеспечен, и мне не надо было заботиться ни об экипаже, ни о пропитании. Я не опасался воров, ибо у меня не было иного кошелька и паспорта, кроме своих рук, а одежда, удобная и вполне подходящая для рабочего, составляла весь гардероб; когда она изнашивалась, я легко доставал себе новую, и так как, в отличие от путешественников, я не имел с собою никаких вещей и ни о чем не беспокоился, то не привлекал к себе внимания; повсюду меня принимали за местного жителя. Лишь изредка меня задерживали на границе, но мне это было нипочем, я делал остановку и работал не хуже, чем в другом месте, готовый оставаться там хоть всю жизнь, но поскольку я не слишком порывался идти дальше, передо мной вскоре открывались все пути. Суетливость и озабоченность в таких случаях подозрительны, но спокойный человек внушает доверие; меня всякий раз оставляли в покое, видя, что я безропотно подчиняюсь.

В редких случаях, когда я не находил работы по своему ремеслу, я выполнял другие работы. Вы сделали меня мастером на все руки<sup>5</sup>. То батрак, то мастеровой, то актер, порой имевший даже успех, я всюду находил применение своим знаниям я, не торопясь их обнаруживать, быстро

овладевал новым ремеслом. Благодаря полученному от вас воспитанию мне всякий раз верили, что я владею ремеслом, ибо я держал себя очень просто и, исполняя какую-нибудь работу, не домогался другой. Таким образом я всегда был па своем месте и мною были довольны.

Если я заболевал,— что случается весьма редко с человеком моего склада, умеренным в оде, работе, отдыхе и неотягощенный заботами,— я спокойно переносил недуг, не беспокоясь о своем здоровье и не страшась смерти. Вольное животное воздерживается от еды, не двигается и выздоравливает или умирает; я поступал так же, и все шло хорошо. Если бы тревожился о своем состоянии и досаждал людям своими страхами и жалобами, я бы им надоел, но я терпеливо переносил болезнь, и они выказывали мне сочувствие и внимание. Видя, что я никого не хочу беспокоить и ни на что не жалуюсь, люди сами заботились обо мне, а между тем, если бы я умолял их о помощи, они, быть может, и отказали бы в ней.

Я очень часто убеждался в том, что чем больше мы требуем от людей, тем охотнее они нам отказывают; они любят сохранять свободу действий; и, делая доброе дело, они хотят, чтобы в этом была только их заслуга. Просить о благодеянии — значит в какой-то мере предъявлять права на него, и тогда человек уже только исполняет Долг; а для самолюбия куда приятнее давать добровольно, чем платить долги.

Во время этих странствий,— которые в обществе с презрением называли бы бродяжничеством, ибо я не уподоблялся богачам, окружающим себя роскошью в путешествиях, — я иной раз спрашивал себя: «Что я делаю? Куда иду? Какова моя цель?» И отвечал себе: «Разве, родившись на свет, я не начал путешествия, которое окончится лишь с моей смертью? Я исполняю свое назначение, я остаюсь на своем месте; в невинности и в простоте я провожу эту краткую жизнь. Я никогда не причиняю зла ближним и уже тем самым делаю добро; удовлетворяя их нужды» я забочусь и о себе; я служу людям, никогда не причиняя им вреда; я показываю им, что ничего нет легче, как быть счастливым и добрым и не знать ни забот, ни тягостей. Я отказался от отцовского наследства — и живу; я не делаю ничего дурного — и живу; я не прошу милостыни — и живу. Итак, я приношу людям пользу и зарабатываю себе на хлеб, ибо люди ничего не дают даром».

Я не собираюсь писать историю своих путешествий и потому опускаю все случайные события. Я прибываю в Марсель, держась одного направления, я сажусь на корабль, намереваясь плыть в Неаполь; нужно заплатить за проезд; вы предвидели это, обучив меня морскому делу; а работа матроса ничуть не тяжелее на Средиземном море, чем на океане, только слова команды звучать по-другому. Я стал матросом. Капитан корабля, компаньон судовладельца, был вероотступник, возвратившийся в лоно христианской веры. После этого он был захвачен корсарами, но ему удалось, по его словам, ускользнуть из их рук, не будучи узнанным. Неаполитанские купцы доверили ему другое судно, и после своего возвращения из плена он совершал уже второй рейс; он всем и каждому рассказывал свою жизнь и умел показать себя в таком выгодном свете, что, забавляя, внушал доверие. Его нрав был столь же причудлив, как и его приключения: он только и

делал, что развлекал свою команду; на борту у него были две дрянные мортиры, из которых он палил весь день, а ночью пускал ракеты; я никогда не видел такого веселого капитана.

Я с увлечением выполнял обязанности матроса и, когда был свободен от вахты, орудовал с парусами или стоял у руля. Наблюдательность заменяла мне опыт, и вскорости я заметил, что мы значительно отклонились на запад, — стрелка компаса показывала верное направление, но, судя по движению солнца и заезд, мы двигались совсем в другом направлении, из этого следовало, что стрелка компаса каким-то непостижимым образом отклонилась. Я сказал об этом капитану: он понес всякий вздор и стал надо мной насмехаться, а поскольку на море началось волнение и опустился туман» я не смог проверить свои наблюдения. Поднялся сильный ветер, и нас отнесло в открытое море: ветер не стихал два дня; на третий день с левого борта мы увидели землю. Я спросил капитана, что это за страна.

— Христианская страна,— отвечал он.

Один из матросов высказал предположение, что это берега Сардинии; его подняли на смех как новичка, ибо он, хотя и был старым матросом, нанялся на этот корабль одновременно со мной.

Мне было совершенно безразлично, где мы находимся, по слова этого человека возбудили во мне любопытство, и я принялся шарить вокруг нактоуза: не валяется ли поблизости кусок железа, который мог бы отклонить стрелку? Каково же было мое удивление, когда я нашел большой магнит, спрятанный в углу. Как только я его убрал, стрелка начала колебаться и приняла правильное положение. В тот же миг кто-то крикнул:

— Парус.

Капитан посмотрел в подзорную трубу и заявил, что это французское судно. Оно держало курс прямо на нас, а мы его не избегали. Вскоре его можно было хорошо рассмотреть и все увидели, что это берберийский парус. Три неаполитанских купца, находившихся на борту с богатыми товарами, от ужаса закричали не своим голосом. Тут мне все стало ясно. Я подошел к капитану и сказал ему на ухо:

— Капитан, если нас схватят, ты погиб,— так и знай.

Я был при этом спокоен, и мой голос звучал так ровно, что капитан ничуть не встревожился и даже сделал вид, что ничего не слышал.

Он отдал приказ приготовиться к бою; но все оружие оказалось никуда не годным, и мы сожгли столько пороха, что, когда вздумали зарядить мортиры, оказалось, что его едва ли хватит на два выстрела. Но он нам и не понадобился: судно, приблизившись, даже не удостоило нас выстрела, нам приказали сдаться и тотчас же взяли на абордаж. До сих пор капитан исподтишка наблюдал за мной с некоторым недоверием, но едва он увидел на борту корсаров, как перестал обращать на меня внимание и прямо пошел к ним навстречу. Тут я почувствовал, что вправе стать судьей и отомстить за своих товарищей, попавших в рабство вместе со мной, избавляя человечество от предателя и море от одного из его чудовищ.

Я бросился к капитану и, воскликнув: «Я тебе обещал и сдержу слово!» — свес ему голову саблей, которую успел схватить. Заметив, что предводитель берберийцев кинулся ко мне с грозным видом, я не сдвинулся с места и, когда он подошел, протянул ему саблю рукояткой вперед.

— Возьми, капитан,— сказал я ему на франкском наречии,— я покарал злодея; ты можешь в свою очередь покарать меня.

Он взял саблю и занес ее над моей головой; я молча ожидал удара; но он улыбнулся и, протягивая мне руку, велел, чтобы меня не заковывали в цепи вместе с остальными; корсар ни слова не сказал о совершенной мною расправе, и я понял, что он догадался, чем она вызвана. Впрочем, этим преимуществом я пользовался лишь до прибытия в алжирский порт; там нас высадили и отправили на каторгу, сковав по двое, как охотничьих собак.

До сего времени, внимательно наблюдая все окружающее, я мало думал о себе. Но когда улеглось возбуждение, я начал размышлять о перемене в моей

судьбе и, пребывая все в том же строе мыслей и чувств, сказал себе: «Что я потеряю от такой перемены? Возможность делать глупости. Я стал свободнее; чем прежде. Эмиль в рабстве! — продолжал я.— А что это, собственно, значит? Разве я утратил прирожденную свободу? Разве я не родился рабом необходимости? Какое еще иго могут наложить на меня люди? Работу? Но разве я не работал, когда был свободным? Голод? Сколько раз я терпел его добровольно. Боль? Сколько бы меня люди ни терзали, они не причинят мне боль более острую, чем какая-нибудь песчинка! Гнет? Но он не будет тяжелее, чем гнет прежних цепей, а ведь я не хотел освободиться от них. С самого рождения я подвержен гнету страстей, и какая разница, кто накладывает на меня ярмо, я сам или кто другой, разве я не должен его нести вечно; кто знает, не будет ли теперешнее иго для меня легче прежнего? По крайней мере я владею разумом и смогу умерить страсть в другом человеке; а сколько раз мне изменял разум, когда я отдавался страстям! Кто наложил на меня две цепи сразу? Разве я и раньше не носил цепь? Подлинное рабство — это то, которое налагает на нас природа, люди — только ее орудия. Прикончит ли меня хозяин, или раздавит скала — не все ли равно? И самое худшее, что я могу ожидать в рабстве,— это произвол тирана, столь же неумолимого, как падающий камень. И на что мне свобода? Чего мне желать в нынешнем состоянии? Ах, чтобы вернуть себе бодрость, я должен теперь действовать, повинуюсь чужой воле за неимением своей!»

Рассуждая так, я пришел к выводу, что в действительности мало что изменилось; что даже если бы всякий мог делать то, что ему вздумается, все равно никто не был бы свободен; что все люди слабы, зависят от обстоятельств и суровой необходимости; что свободен лишь тот, кто с охотой выполняет ее веления, ибо тем самым он никогда не вынужден делать того, что ему неуютно.

Да, отец мой, я смело могу сказать, что годы моего рабства были годами моего царствования, и никогда я так не владел собой, как в ту пору, когда влачил цепи варваров. Подчиняясь произволу

их страстей, но не разделяя их, я научился лучше распознавать свои собственные. Заблуждения варваров были для меня более наглядным уроком, чем ваши наставления, я прошел у этих суровых учителей более полный курс философии, нежели у вас.

Впрочем, в рабстве я не испытывал такого жестокого обращения, какого ожидал. Правда, варвары обходились со мной дурно, окажись они в наших руках, им, пожалуй, пришлось бы еще хуже; я узнал, что с именами мавров и пиратов у нас связаны предрассудки, против коих я не был достаточно защищен. Им неведома жалость, но они справедливы, от них нечего ждать мягкости и милосердия, зато не приходится остерегаться их капризов и злобы. Они хотят, чтобы человек делал то, что в его силах, не требуют ничего сверх этого, карают только ослушника, но не слабосильного. Как счастливы были бы негры в Америке, если бы европейцы обнаруживали такую же справедливость; но для белых эти несчастные — только орудия труда, их ценят, лишь поскольку они полезны; в этом случае справедливость соразмерна выгоде.

Я переменял несколько хозяев,— причем это называлось продажей; будто можно продать человека. Продавали работу моих рук; но мою волю, мой разум, мою личность — все, чем я отличаюсь от других, конечно, не продавали; доказательство тому один случай, когда в первый раз моя воля столкнулась с волей так называемого хозяина и я вышел победителем; об этом стоит рассказать.

Сперва со мной обращались довольно мягко, рассчитывали, что меня выкупят; несколько месяцев я прожил в полном бездействии и, наверное бы, скучал, если бы мне была известна скука. Но под конец, видя, что я не веду переговоров с европейскими консулами и монахами, что никто не собирается меня выкупать и что я сам не рвусь на свободу, решили извлечь из меня пользу и отправили меня работать. Эта перемена ничуть меня не удивила, не рассердила. Я не боялся тяжелых работ, хотя предпочел бы что-нибудь более интересное. Мне удалось попасть в мастерскую, хозяин которой вскоре заметил, что я хорошо владею его ремеслом. Убедившись, что в мастерской я приношу ему больше дохода, чем раньше, он перевел меня туда — и не прогадал.

Все мои товарищи по каторге постепенно рассеялись: кого могли выкупить, тех выкупили; кого не смогли, те разделяли мою участь, но не всем так повезло, как мне. В числе оставшихся в неволе оказались два мальтийских рыцаря. Родственники их были бедны. Орден не выкупает своих служителей; а монахи, не будучи в состоянии выкупить всех, так же как и консулы, естественно, отбирали тех, кто мог их отблагодарить. Оба рыцаря, один молодой, а другой старик, были люди просвещенные и не лишены достоинства; но в их нынешнем положении эти достоинства были ни к чему. Они были знакомы с инженерной наукой, с тактикой, с латинским языком, с изящной словесностью. Они умели командовать и блистать в обществе, что едва ли могло пригодиться рабам. Вдобавок они весьма тяготились своими цепями, и философия, знанием которой они так кичились, не научила гордых дворян добровольно повиноваться «этому сброду, этим бандитам», как они величали наших хозяев. Мне было жалко этих бедняг; благородная спесь отвергала

подневольный труд, и в Алжире они стали последними из людей; их даже не считали за людей, ибо для корсаров враг, попавший в рабство, достоин величайшего презрения. Я мог помочь старику только своими советами; но он в них не нуждался, ибо был более образован, чем я, вернее, обладал внешними познаниями; он был прекрасно знаком с моралью и ее принципами, но не умел их применять, покориться игу необходимости. Молодой отличался еще большим нетерпением; пылкий, деятельный, отважный, он был поглощен мыслями о восстании, устраивал нелепые заговоры, которые всякий раз кончались неудачей и лишь ухудшали его положение. Я пытался было его образумить, посоветовал ему слгприться по моему примеру и усердным трудом облегчить свою участь; но он пренебрег моими советами, гордо заявив, что сумеет достойно умереть.

— Сударь,— возразил я,— лучше было бы, если бы вы умели жить.

Все же мне удалось добиться для него кое-каких поблажек, он принял это с благодарностью как человек благородный и чувствительный, но взглядами моими не проникся. По-прежнему он замышлял побег, надеясь одним смелым ударом добыть себе свободу; он доставлял столько беспокойства нашему хозяину, что под конец тот потерял терпение и решил разом отделаться и от него, и от меня: наша дружба показалась ему подозрительной. Так как я часто беседовал с юношей, убеждая его оставить вздорные попытки, хозяин решил, что я участник его заговоров. Нас продали распорядителю общественных работ, и нам пришлось трудиться под надзором такого же раба, как и мы, человека зверски жестокого,— который, желая выслужиться перед хозяином, начал нас изнурять непосильным трудом.

Первые дни это была для меня детская игра. Работу распределили между нами поровну, и, будучи сильнее и проворнее своих товарищей, я справлялся со своим уроком раньше других, после чего помогал наиболее слабым, делая за них часть задания. Но надсмотрщик заметил, как я ловок и силен, и, чтобы я не помогал товарищам, удвоил мне урок; он все подбавлял, пока под конец на мою долю стало выпадать столько труда и ударов, что, несмотря на телесную крепость, я начал изнемогать под тяжким бременем; а мои товарищи, в большинстве слабосильные и полуголодные, подвергаясь еще худшему обращению, чахли, выбиваясь из сил.

Не в силах более терпеть, я решил пойти на любой риск. Молодой рыцарь, которому я открылся, горячо меня поддержал. Я знал его отвагу и стойкость, особенно на глазах у людей; я мог положиться на его рыцарскую доблесть и героический пыл. Впрочем, я прежде всего надеялся на самого себя и не нуждался ни в чьей помощи для осуществления своего замысла; но мне стало ясно, что поддержка товарищей по несчастью принесет мне еще больший успех, и я решил вместе с рыцарем привлечь их к этой затее.

С трудом мне удалось его убедить, что о нашем решении надо товарищам сообщить прямо и без околичностей. Мы выбрали обеденное время, когда все собирались вместе и когда за нами меньше

наблюдали. Я обратился по-французски к своим соотечественникам, коих было человек двенадцать, решив, что лучше не говорить на наречии франков, понятном туземцам.

— Друзья мои,— начал я,— выслушайте меня. Силы мой подходят к концу, при таком нечеловеческом труде меня не хватит и на полмесяца, а ведь я один из самых сильных в нашей партии; так дольше не может продолжаться; либо я погибну от истощения, либо должен на что-нибудь решиться. Я избрал последнее и намерен завтра же отказаться от работы, хотя прекрасно знаю, что отказ может стоить мне жизни и во всяком случае жестоко на мне отзовется. Расчет мой прост. Если оставить все, как оно есть, то вскорости я погибну, ибо на спасение надежды нет; но, жертвуя немногими оставшимися днями жизни, я обретаю кое-какую надежду. Мой отказ, быть может, напугает надсмотрщика и покажет хозяину, что не к его выгоде нас изнурять. Коли этого не случится, я умру немного раньше срока — вот и все. Но к этому средству уж поздно будет прибегать, когда я потеряю последние силы и негоден буду для работы; тогда, пощадив меня, они ничего не выиграют и, уж конечно, меня прикончат, чтобы даром не кормить. Так, значит, надобно решиться теперь, пока еще им жалко меня терять. Если кто из вас согласен со мною и хочет последовать моему примеру, как вот этот отважный человек,— то чем больше нас будет, тем сговорчивее станут наши тираны; но ежели нас будет только двое, он да я, решимость наша не умалится, и вас всех мы призываем тому в свидетели.

Эта простая речь, произнесенная обыденным тоном, была выслушана без особого волнения. Однако четверо или пятеро из моих товарищей сказали, что поступят так же, как и я, и что я могу на них положиться. Остальные промолчали, и все было спокойно. Рыцарь, недовольный этим спокойствием, заговорил со своими товарищами на родном языке и с гораздо большей горячностью. Их было много; громким голосом он красноречиво распространялся о нашем безвыходном положении, возмущался жестокостью палачей; живописуя наши бедствия, он возбуждал недовольство, внушая надежду на мщение, пробуждал пыл; превознося людей сильных духом, презирающих мучения и побеждающих преграды, он так зажег сердца товарищей, что они прервали его речь криками, и все поклялись последовать нашему примеру и стоять насмерть.

На завтра, когда мы отказались работать, с нами жестоко расправились, но ни от нас двоих, ни от примкнувших к нам товарищей ничего не могли добиться; несмотря на все истязания, у нас не вырвалось ни единого крика. Иначе вели себя товарищи рыцаря. Его пылкие соотечественники уже через несколько минут утратили мужество, и, когда им исполосовали спины бичами из воловьих жил, они принялись за работу, кроткие, как ягнята. Возмущенный таким слабодушием, рыцарь, подвергаясь избиению, осыпал их упреками и бранью, но они его не слушали. Я постарался его утихомирить, напомнив, что предвидел и предсказал их отпадение. Я знал, что действие красноречия бывает очень сильным, но кратковременным. Люди, которые так быстро воспламеняются, столь же быстро и успокаиваются. Холодное, но основательное рассуждение не



зажигает людей, но, проникаясь доводами, они принимают твердое решение и от него не отступают.

Малодушие несчастных произвело на моих соотечественников неожиданное для меня действие, и я приписываю его скорее национальной вражде, чем стойкости французов. Те из них, которые прежде не поддерживали меня, видя, что мальтийцы принимаются за работу, освистали их и, желая пристыдить трусов, отделились и собрались вокруг меня; их пример увлек других, и вскоре взбунтовалась чуть ли не вся партия; хозяин, привлеченный шумом, явился наводить порядок.

Вы, конечно, догадываетесь, что ему сказал надсмотрщик в свое оправдание, стараясь вооружить против нас. Он не преминул указать на меня как на зачинщика мятежа, как па жожака головоуезов, затевающего восстание.

Хозяин посмотрел на меня и сказал:

— Так это ты сеешь смуту среди моих рабов? Ты слышал, в чем тебя обвиняют; если у тебя есть что сказать, говори.

Меня поразила такая сдержанность со стороны человека, падкого до наживы, которому грозит разорение; любой хозяин-европеец на его месте, опасаясь за свое добро, не захотел бы меня выслушать и подверг бы самым ужасным пыткам.

— Хозяин,— обратился я к нему на франкском жаргоне, — ты не можешь нас ненавидеть, раз ты совсем нас не знаешь; и мы не питаем к тебе ненависти,— ведь не ты нас мучаешь, и ты даже не ведаешь, какие муки мы терпим. Мы готовы нести иго необходимости и признаем твою власть. Мы не отказываемся отдавать тебе свои силы, раз таково веление судьбы, но твой раб довел нас до того, что мы изнемогаем, а потеряв нас, ты будешь разорен. Послушайся меня, поручи надзор над нами человеку более благоразумному, ибо этот надсмотрщик употребляет свою власть в ущерб тебе. Твое дело не пострадает, если нам будут давать задачу по нашим силам, ты сохранишь своих рабов, со временем наш труд принесет тебе куда больше дохода, чем теперь, когда нас так угнетают. Наши жалобы справедливы, а требования весьма умеренны. Коли ты нас не послушаешь, мы не отступимся от своего; твой слуга только что в этом убедился, а ты можешь проверить.

Я замолчал. Надсмотрщик хотел возразить, но хозяин велел ему замолчать и быстро оглядел моих товарищей; их бледность и худоба доказывали основательность моих жалоб, а решительный вид изобличал людей неробкого десятка. Затем, снова поглядев на меня, он сказал:

— Мне кажется, ты человек разумный; я хочу проверить, так ли это. Ты порицаешь поведение этого раба, посмотрим, как ты сам будешь себя вести в его должности; я назначаю тебя надсмотрщиком, а его ставлю на твое место.

Тотчас же он велел снять с меня цепи и заковать в них надсмотрщика; приказ был выполнен мгновенно.

Нет надобности говорить, как я вел себя на новом месте, не об этом сейчас речь. Моя история наделала шуму; хозяин рассказывал об этом случае направо и налево, вскоре толки пошли по всему Алжиру и дошли до самого бея, и он пожелал меня видеть. Хозяин повел меня к нему и, увидав, что я понравился бею, подарил ему мою особу. И вот ваш Эмиль — раб алжирского бея.

В новом своем положении мне приходилось придерживаться правил, давно мне известных; мы обсуждали их с вами во время наших путешествий; и хотя обстоятельства не позволяли мне как должно и в полной мере применять эти правила, мне неизменно сопутствовала удача. Я не стану утомлять вас излишними подробностями,— ведь не это Сейчас важно для нас с вами. Благодаря своим успехам я заслужил уважение своего повелителя.

Хасан Оглы пришел к власти самым честным путем: начав простым матросом, он дослужился до капитана и, пройдя все ступени во флоте и армии, поднялся до высших государственных должностей; после смерти алжирского бея он был избран на этот высокий пост единогласно турками и маврами, военными и гражданскими чинами. Уже двенадцать лет он с честью исполнял трудные обязанности бея, управляя непокорными варварами, беспокойным и разнузданным солдатским сбродом, который любит беспорядки и смуты, сам не знает, чего ему хочется находится в непрестанном брожении и жаждет перемен, не заботясь о том будут ли они ему на благо. Его правление не вызывало нареканий, хотя и не оправдало возложенных на него надежд. Он умел поддержать относительный порядок и спокойствие; дела шли лучше, чем прежде; торговля и земледелие развивались; флот достиг могущества, у народа было вдоволь хлеба. Но от бея так и не дождались блестящих операций, которые...

### Комментарии

#### Эмиль и Софи, или Одинокие

Написана в 1762—1767 гг. Работа осталась незавершенной. На русском языке впервые опубликована в 1800 г. Печатается в переводе Е. Н. Бируковой по изданию: *Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения*. М., 1961.

«Эмиль и Софи» является продолжением педагогического романа. Благополучие героев оборачивается в нем трагическими изменениями в их жизни. Выросшие в деревне, в условиях, единственно, по Руссо, соответствующих задачам воспитания, герои оказываются в Париже и становятся жертвами развращающего влияния городской цивилизации. Система воспитания, полученного героями, проходит суровое испытание жизнью.

Сформированный только своим воспитанием, Эмиль, уже взрослый человек, имеет теперь возможность сам оценить и полученное им воспитание, и самого воспитателя.

1. В оригинале здесь *instrument universel* — универсальный инструмент. Ср. у Р. Декарта в работе «Рассуждение о методе»: «Разум есть универсальный инструмент, который может служить во всех случаях жизни».

**Педагогические и психологические идеи романа-трактата Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании».**

[Перевод В. Э. Орла по изданию: J.-J. Bousseau. Emile ou de l'Éducation. Paris. Editions Sociales, 1958, p. 7—60.]

В жизни и творчестве Ж.-Ж. Руссо «Эмиль» занимает центральное место. Это наиболее полное и последовательное изложение его идей и поныне сохраняет большой интерес для педагогов, которым оно и предназначалось.

«Эмиль» последовал непосредственно за «Новой Элоизой», на страницах которой Руссо высказал суть тех положений педагогики, которые он развил в «Эмиле». Там мы находим основные положения «Общественного договора», который к тому времени был уже опубликован, хотя в «Эмиле» дело представлено так, будто он еще и не появлялся.

К этому времени Руссо уже порвал с энциклопедистами, которые не пощадили его книгу. Начинается настоящее преследование. Парижский парламент осуждает книгу на сожжение, и защитники Руссо во избежание ареста помогают ему перебраться в Швейцарию. Обвинение следует за обвинением: книгу осуждает Сорбонна, архиепископ Парижский, Женева, гражданином которой является Руссо, Голландия, где для «Эмиля» нашелся издатель. В кантоне Берн, где сначала укрывался Руссо, его свобода оказывается под угрозой — он переезжает в Невшатель. Здесь он пишет в свою защиту ответ на послание архиепископа Кристофа де Бомона и «Письма с горы».

Итак, «Эмиль» вызвал значительный для того времени отклик у читателей, и, хотя Вольтер счел книгу Руссо бессвязной и невразумительной, ее положения стали предметом страстных споров, вошли в моду и оказали влияние на нравы.

Последующие поколения в меньшей степени расходились в оценке этого произведения и личности самого Руссо. Благодаря республиканской гражданственности, презрению к монархам и раболепию, в насаждении которого Руссо обвинял их образ правления, благодаря его «теизму», породившему культ Высшего существа, звездным часом Руссо стала Великая французская революция. Но порою он оказывался мишенью для оскорблений и самого оскорбительного очернительства. Прекрасным примером этих противоречий служит отношение к нему католиков, которые, начав с неистовой враждебности, пришли в начале нашего столетия к почти безудержной апологии Руссо.

Не скрыт ли источник этих противоречий в самом Руссо? Его обвиняли в бессвязности; сам же он признавал свой стиль парадоксальным. Бессвязность противостоит собственной мысли автора, а все парадоксальное противостоит мыслям общепризнанным. Но это различие не всегда определено достаточно четко; в случае Руссо оно довольно туманно — ему случалось высказывать одно за другим (или даже одновременной) два противоречащих друг другу суждения. Руссо

обладает даром — или манией — антитезы. Он относится к тем умам, которые ничего не могут представить себе или постичь, не обратившись к противоположной идее или образу; к умам, мыслящим контрастами. Зачастую такие умы определяют свою точку зрения от противного — не прибегая к ее анализу. Отсюда иногда — отсутствие точного соответствия между значениями, придаваемыми одному и тому же термину в тех случаях, когда термин этот соотносится с той или иной своей противоположностью или когда одна из его противоположностей сама меняет свой смысл. У Руссо, таким образом, встречаются пары терминов, каждый из которых может показаться двусмысленным, ибо он оторван от своего антонима. Отсюда — нередко ощущаемая комментаторами трудность твердо и единообразно определить такие часто встречающиеся у Руссо слова, как Природа и Свобода.

Этот образ мышления имеет очевидные неудобства, но, с другой стороны, и выдающиеся достоинства. На примере Руссо они видны во всем их разнообразии. Контраст для него, прежде всего, язык сатиры. Он противопоставляет испорченным нравам своего времени нравы, которые он приписывает другим эпохам: иногда первобытным временам, иногда античности, а иногда даже куда более близкой к нему эпохе, например царствованию Франциска I. Произвольность такой аргументации очевидна, но ее язык более конкретен и в известном смысле более динамичен, он связан со ступенями истории человечества, на что не способен был язык сугубо моралистской критики современников Руссо.

Превосходя простые риторические приемы, контраст, кроме того, может способствовать взаимному определению таких понятий, как Человек и Гражданин или Человек общественный и Человек абстрактный, Необходимость и Общественные законы. Естественное равенство и Общественное неравенство. Таким образом, контраст — это средство определения понятии. Помимо того, он очень часто служит Руссо инструментом психологического анализа. Самый поразительный пример тому — сравнение Эмиля и Софи, Мужчины и Женщины. Исходя из принципа, что Женщина должна служить дополнением Мужчины, Руссо выводит из этого принципа все приемы психологии и педагогики, соответствующие каждому из полов, т. е. прямо противоположные. Несомненно, это спорный подход. Но, если дополнить его наблюдением, он может стать средством исследования.

Более того, контраст может относиться не только к плану концептуальному, но и к действительности; он может быть не только различительным, но и причинно-следственным; он выходит за пределы дефиниций и становится диалектическим. Противоположности дают потомство: альтруизм рождается из самолюбия, послушание дает начало способности к управлению. Руссо не прошел мимо диалектических отношений, связывающих явно противопоставленные друг другу понятия. Энгельс считал «Рассуждение о неравенстве»\* образцом диалектического мышления\*\*. Таким образом, противоречия, которыми зачастую попрекали Руссо, вовсе не выходят за рамки логики и реальной действительности. Они передают

ощущения вещей и людей, выходявшие за пределы обыкновенной их классификации и подчеркивавшие их противоречивое начало. В своей педагогике Руссо часто прибегает к субъективным противопоставлениям страстей или интересов.

Лансон писал о нем: «Он, в своей сентиментальной манере, сделал то же, что Паскаль, констатировавший симультанность противоположностей, то же, что Гегель в его сопоставлении тезиса и антитезиса. Правда, Руссо не перешел к синтезу и, как правило, лишает нас хладнокровия, необходимого, чтобы к нему перейти». Для Лансона источник противоречия Руссо в том, что чувство у него доминирует над разумом. Нет сомнения, что у Руссо действуют конфликты страстей и что, как правило, его эмоциональность амбивалентна; поэтому он не дает окончательных решений. Неопровержимо доказав серьезные опасности, скрытые в религиях, основанных на откровении, и превосходство естественной религии, он тут же с чувством распространяется на тему о достоинствах христианства.

\* Имеется в виду «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» Ж.-Ж. Руссо.

\*\* См.: *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 20, с. 100.

Диалектическое разрешение противоречий не является у Руссо сознательным и систематическим методом мышления, как это было у Гегеля и позднее у Маркса; нередко это просто сопоставление, не аутентичное и не случайное. Возможно, его страстная чувствительность делала его более восприимчивым к противоречиям, которые правят миром, а отсюда проистекали те потребности и та позиция, которые непосредственно касались его разума.

В самой концепции «Эмиля» наряду с глубокими наблюдениями и могучими истицами встречаются двусмысленности, способные сбить с толку. Во-первых, что это за книга? Согласно заглавию — роман, согласно подзаголовку — трактат о воспитании. Смешанную природу этого произведения признает и сам автор: «Я знаю, что при попытках, подобных (этому трактату о воспитании)... автор, имеющий всегда полное раздолье в системах, которые он не обязан применять на практике, обыкновенно без труда дает много прекрасных правил, которым невозможно следовать, и что, за отсутствием деталей а примеров, даже то, что удобно исполнимо в его предложениях, остается без употребления, если он не показал, как это применять к делу.

Поэтому я решил взять на себя воображаемого воспитанника, предположить нужные мне возраст, здоровье, знания и все таланты, потребные для того, чтобы трудиться над его воспитанием, и вести его с момента рождения до того времени, когда он, ставши зрелым человеком, не будет уже нуждаться в ином руководителе, кроме самого себя. Этот метод мне кажется пригодным для того, чтобы помешать автору, не доверяющему себе, блуждать в мире призраков; ибо как только он отступит от обычной практики, стоит ему только испытать свой метод на своем же воспитаннике, и он скоро почувствует — пли за него читатель,— идет ли вслед за развитием ребенка и по пути естественному для человеческого сердца...

Поэтому-то я сначала мало говорил об Эмиле, так как мои первые правила воспитания, хотя и противоречат установившимся, отличаются такой очевидностью, что всякому разумному человеку трудно отказать в сочувствии. Но по мере того как я подвигаюсь вперед, воспитанник мой, иначе руководимый, чем ваши, уже не является обыкновенным ребенком: ему нужен режим, годный специально для него. Тут он чаще появляется на сцену, а в последнее время я ни на минуту не теряю его из виду до тех пор, пока он, что бы там ни говорил, не будет уже иметь ни малейшей нужды во мне» (кн. I).

Фактически повествование становится последовательным только с момента встречи Эмиля с Софи, его будущей супругой, т. е. с пятого тома. В первых четырех книгах оно ограничено несколькими эпизодами, изложенными в качестве примеров; более того, их главным действующим лицом не всегда является Эмиль. Он остается одним из самых бесцветных персонажей — простой манекен, предназначенный для того, чтобы подчеркнуть ценность педагогических принципов, которые воспитатель якобы применяет на практике. Отношения этого воспитателя с его учеником показались бы экстравагантными и чудовищными, если бы мы перенесли их в неизменном виде в действительность: мальчик без семьи — его родители как будто отказались от всех своих прав, в том числе от права появляться и напоминать о себе сыну; на фоне их отсутствия особенно выигрывает наставник, или «воспитатель»; мальчик без товарищей, если не считать воспитателя, который отстраняет от него всех окружающих, даже слуг, заставляя довольствоваться лишь его обществом. Воспитатель, который управляет всей жизнью своего ученика, вплоть до питания, и который определяет, как следует за ним ухаживать в случае болезни; этот учитель, который готов на любой обман, чтобы создать именно те ситуации, которые он считает необходимыми для умственного и нравственного развития своего подопечного, использует все средства, сообразуясь с возрастом ученика, дабы завоевать и сохранить полное его доверие и обеспечить его послушание; наставник настолько отождествляет себя с учеником, что предпочитает вместе с ним совершить глупость, коль скоро он не сумел ее предотвратить; он выступает посредником между ним и его невестой, а затем вмешивается в их супружеские отношения. Какими подозрительными казались бы эти действия и намерения, если бы они не были лишь литературным приемом, признанным указать все необходимые условия для всесторонней подготовки молодого человека к жизни! Созданию этих условий способствует воспитатель. Чем больше условий, тем выше и почетнее роль воспитателя, хотя последняя имеет сугубо гипотетический характер. Учитель и ученик — чисто «воображаемые» фигуры, которые автор использует для иллюстрации своих идей. Как бы ни шокировали нас отдельные приемы, взятые сами по себе, на них не стоит слишком долго останавливаться, поскольку все они — фикция.

В педагогике Руссо главенствует один принцип: ребенок — это не взрослый, и взрослым не следует обращаться с ним по-взрослому. Ему еще предстоит пройти в своем развитии несколько

этапов. Если бы новорожденный имел телосложение и силу взрослого человека, он был бы «совершеннейшим идиотом», не осознающим даже самого себя. Мысль о том, что развитие ребенка год за годом проходит через последовательные стадии, очень четко выражена у Руссо. Этим убеждением объясняется членение его книги, каждая часть которой соответствует определенному возрасту. В настоящее время эта мысль принята большинством психологов. Как и Руссо, они признают, что органы и системы органов тела не формируются окончательно к моменту рождения и не достигают зрелости одновременно, что «функциональная зрелость», т. е. момент, когда становится возможным выполнение одной из функций, связана с формированием соответствующих органов и что таким образом начинается совершенно новое развитие, которое нуждается в руководстве. В этом и заключается суть воспитания, многообразные задачи которого доверены в «Эмиле» одному действующему лицу, «наставнику».

Основные этапы, или стадии детства, в общем, являются одними и теми же для Руссо и современной практики (как и практики других эпох), однако в зависимости от характера цивилизации меняются формы воспитания и воспитательные учреждения. Прежде всего, речь идет о младенчестве, продолжающемся вплоть до обучения языку (*infans*), т. е. о ребенке, «который не говорит». До этих пор он остается почти тем же, чем был во чреве матери; он не имеет ни одного чувствования, ни одной идеи, у него едва есть ощущения; он не чувствует даже своего собственного бытия. *Vivit, et vitae nescius ipse < suae*\* (кн. I). Со временем следует приучать его зрение и осязание к предметам, избранным воспитателем, особенно к тем, которые впоследствии могут вызвать в нем отвращение или страх. Ибо начиная уже с этого возраста можно и должно закалять его восприятие. Обращение с предметами, помимо того, имеет целью развить в ребенке простейшее ощущение различия между ним самим и внешним миром.

\* Он живет, и сам ее знает, что живет (*лат.*, Овидий).

«Мы только через движение знаем, что есть вещи, отличные от нас самих, и только через наше собственное движение приобретаем идею протяжения» (кн.

Однако здесь есть и серьезная лакуна. Руссо обходит молчанием отношения между ребенком и его человеческим окружением, и прежде всего связь младенца с тем окружением, которое создается заботами матери. И однако, именно на этом зиждется ранняя психическая деятельность, которая, несомненно, предшествует становлению сенсорно-пространственного восприятия. Руссо, по-видимому, не уделяет внимания этому первому шлгу сознания или, скорее, видит только негативную его сторону. Он опасается возможного развития капризов у младенца. Заслуга Руссо в другом, а именно в его утверждении, что самосознание у ребенка начинается на уровне развития, предполагающем, помимо всего прочего, овладение языком.

Второй период психического развития является предметом второй книги «Эмиля». Это возраст до шести или семи лет. «На этой именно второй ступени начинается собственно жизнь личности: тут она начинает сознавать самое себя. Память распространяет чувство тождества на все моменты

ее существования. Она делается истинно единою, одною и тою же, а следовательно, способною ощущать счастье и горе. Пора, значит, смотреть на ребенка как на нравственное существо» (кн.

Если нужно избавлять ребенка от привязанности к вещам, больше не соответствующим его возрасту, и отучить его от забот, в которых он нуждается, необходимо в то же время остерегаться и не обращаться к тем видам деятельности, навык которых у него еще не сформировался. Из этих двух рекомендаций Руссо чаще всего возвращается ко второй. Воспитание должно быть главным образом негативным. Оно призвано не только сдерживать процесс накопления знания, но и замедлять развитие чувств и страстей. Нормальный ребенок способен довольно рано выучиться читать. Но желания подростка не должны упреждать его физиологических возможностей. Довольно затруднительно, говорит Руссо, взывать к здравому смыслу ребенка в этот период. «Если бы дети слушались голоса разума, они не нуждались бы в воспитании» (кн. III).

В том, что касается знаний, также вредна всякая спешка: «Вы знаете, говорите вы, цену времени и не хотите его терять. Но разве вы не видите, что дурное употребление его скорее, чем ничегонеделание, можно назвать потерей времени и что дурно направленный ребенок гораздо дальше от мудрости, чем тот, которого совсем не наставляли?» (кн. II). Неспособный к построению умозаключений до двенадцати-тринадцати лет «ребенок воспринимает не идеи, но образы; а между ними та разница, что образы суть отрешенные от действительности картины чувственно воспринимаемых предметов, идеи же суть понятия о предметах, определяемые отношениями последних. Образ может оставаться одиноким в уме, его представляющем, но всякая идея предполагает другие» (кн. II).

Быть может, современный психолог воспользовался бы другим языком, но он, несомненно, признал бы справедливость этих дефиниций Руссо. Справедливо его утверждение о том, что в этот период умственного развития ребенок освобождается от конкретного мышления, непосредственно связанного с объектами мысли, но он не способен выделить точные характеристики этого объекта с тем, чтобы его классифицировать, так же как не может определить и объяснить взаимосвязи объекта с окружающим миром. Эта специфическая и логически недифференцированная стадия мышления в наше время называется синкретической. Но, как и в случае с предшествующей стадией развития, Руссо пренебрегает здесь существенным фактором: не признавая иных отношений, кроме отношений между воспитанником и наставником, он упускает из виду то глубокое и необходимое влияние, которое оказывает на ребенка семья, а затем школа. Попадая из семейной среды в школьную, ребенок, однако, совершает решающий шаг в своем развитии. Но Руссо в своем химерическом предубеждении закрепляет заботу о формировании личности ученика за одним воспитателем и лишь впоследствии позволяет ребенку иступить в контакт с миром, где, согласно гипотезе Руссо, тот проявит свое превосходство над другими.

Третья книга этого труда посвящена третьему этапу, начинающемуся к двенадцати годам. Тут создается совершенно новая ситуация, чреватая важными последствиями. До этого времени жизнь



ребенка определялась его жизненными потребностями, для удовлетворения которых на первом этапе помощь другого лица должна была быть постоянной; на втором этапе растущие силы ребенка служат ему своего рода эквивалентом, который позволяет создать своеобразное равновесие между его реальными возможностями и требованиями момента. На третьем этапе соотношения меняются: «В двенадцать или тринадцать лет силы ребенка развиваются гораздо быстрее потребностей. Самая сильная из последних, самая страшная еще не дает себя чувствовать; самый орган ее остается в состоянии несовершенства и только тогда способен выйти из него, когда его принудит к этому воля... Он не только может удовлетворить сам себя, но у него силы даже больше, чем нужно; это единственное время в его жизни, когда возможно подобное состояние... Этот промежуток, когда индивидуум может больше, чем желает, хотя и не представляет собой поры наибольшей абсолютной силы, есть, как я уже сказал, пора наибольшей относительной силы. Это самое драгоценное время жизни — время, которое приходит только раз; оно очень кратко и том более кратко, что, как увидим впоследствии, именно этому времени и важно дать хорошее употребление. Что же ребенку делать с этим избытком способностей и сил, который теперь у него налицо, по которого не будет в другом возрасте? Он постарается употребить его на занятия, которые могли бы ему в случае нужды принести пользу: он перенесет, так сказать, на будущее излишек своего теперешнего бытия; сильный ребенок приготовит запасы для слабого взрослого; но он устроит свои склады не в сундуках, которые могут у него украсть, и не в титулах, которые нужны ему: чтобы действительно обладать своим приобретением, он поместит его в своих руках, в голове, в самом себе. Вот, значит, время для работ, образования, учения, и заметьте, что не я произвольно делаю этот выбор: его указывает сама природа» (кн. III).

Итак, час обучения настает, когда приближение созревания пробуждает в организме силы, еще не ведающие о своих целях и назначении и, следовательно, такие, что ими можно свободно распоряжаться. Руссо предполагает, что у физических и интеллектуальных сил имеется своего рода общий фонд, единый источник мощи. И в предвидении будущего воспитание должно развивать эти силы. Немного дальше Руссо, по-видимому, признает, что они в меньшей степени зависят друг от друга и более специфичны, «Один и тот же инстинкт одушевляет различные способности человека. За деятельностью тела, стремящегося к развитию, следует деятельность ума, который ищет знаний. Сначала дети только подвижны, затем они становятся любопытными; и это любопытство, хорошо направленное, есть двигатель возраста, до которого мы дошли теперь... Есть жажда знания, которая основана лишь на желании слыть за ученого; есть и другая, которая рождается от естественного для человека любопытства по отношению ко всему, что может его интересовать — вблизи или издали» (кн. III). Отсюда видно, что Руссо считает любознательность исходной первоначальной силой, инстинктом, естественной склонностью, которая проявляется сама по себе, и что на этом основании он противопоставляет ей напускной

интерес к знаниям, отвечавший моде того времени. Становление любознательности как будто является фактом функционального развития. И, однако, она оставалась бы связанной с насущными интересами индивидуума: «Врожденное стремление к благосостоянию и невозможность вполне удовлетворить это стремление заставляет человека беспрестанно изыскивать новые средства для содействия ему. Такова первая основа любознания: это естественное для человеческого сердца влечение» (кн. III).

Итак, любознательность вызвана сразу двумя причинами: функционализмом и финализмом; не являются ли обе эти черты инстинктивными? Следовательно, человеку, не достигшему возраста созревания, должно быть присуще появление инстинктивного стремления к знанию. Но этот инстинкт даст плоды, только если будет всегда связан с действительными интересами ребенка и с его личными усилиями. «Среди стольких удивительных методов, имеющих целью упростить изучение наук, мы, право, очень нуждаемся в том, чтобы кто-нибудь дал указание, как учиться с напряжением сил» (кн. III). «Отношение следствий к причинам, между которыми мы не замечаем связи, блага и бедствия, о которых не имеем понятия, потребности, которых никогда не испытывали,— все это не существует для нас: невозможно заинтересовать нас этими вещами в выполнении чего-нибудь, к ним относящегося» (кн. III).

Все обучение должно быть приближено к интересам ученика, произвольным или воспитанным учителем.

Вот что следует знать ребенку на пороге отрочества:

«Эмиль обладает знаниями лишь в сфере естественных и чисто физических наук. История ему незнакома даже по имени; он не знает, что такое метафизика и мораль. Он знает существенные отношения человека к вещам, но ему не знакомо ни одно из нравственных отношений человека к человеку. Он плохо умеет обобщать идеи, создавать отвлечения. Он видит общие свойства у известного рода тел, но не рассуждает, что такое эти свойства сами по себе. Он ознакомился с отвлеченным пространством — при помощи геометрических фигур, получил понятие об отвлеченной величине — с помощью алгебраических знаков. Эти фигуры и знаки и служат для этих отвлечений опорой, на которую полагаются его чувства. Он старается познать не природу вещей, а только те отношения их, которые его интересуют. Все чуждое себе он оценивает только по отношению к себе самому, но зато эта оценка — точная и верная. Прихоть, условность не играет в ней никакой роли. Он более дорожит тем, что ему более полезно, и, никогда не удаляясь от этого способа оценки, ничего не уступает людскому мнению» (кн. III).

Таковы ожидаемые результаты развития, которое, по мнению Руссо, диктуется воспитателю природой, т. е. такое, при котором все этапы обучения приспособляются к определенному возрасту. Социальные отношения по-прежнему остаются в тени, и воспитатель обращается исключительно к тем интересам ребенка, которые, как предполагается, касаются его непосредственно, к индивидуальным интересам, носящим сугубо личный характер. Великой

ошибкой воспитательной системы Руссо является образ ребенка, чуждого обществу или без помех извлеченного из общества, с тем чтобы однажды вернуться туда уже личностью, сформированной воспитателем. Что касается отношения к вещам, то справедливо, что в этом возрасте они остаются в сфере утилитарного, обыденного, повседневного и не касаются проблем, выходящих за рамки их непосредственных качеств или назначения. До достижения половой зрелости ребенок наделен позитивистским видением вещей. Причинность вселенной оказывается вне сферы его воображения и возможностей.

Четвертый возраст, отрочество, завершает формирование человека. «Наконец приходит и торжественный момент, начертанный природой; ему нужно прийти. Раз человеку необходимо умереть, он должен и воспроизводить себя, чтобы род продолжался и сохранялся мировой порядок» (кн. IV). Но в это время, более чем когда-либо, надлежит следить за тем, чтобы последовательность событий не ускорила. Воспитатель должен придерживать, тормозить развитие. «Итак, я возвращаюсь к своей методе и говорю: когда приближается критический возраст, предлагайте молодым людям такие зрелища, которые ил сдерживали бы, а не такие, которые возбуждают; отвлекайте зарождающееся воображение предметами, которые вместо того, чтобы разжигать их чувства, подавляли бы их деятельность» (кн.

Сообразному с возрастом изменению в методах, применяемых для руководства ребенком и юношей, отвечает коренная перемена объектов и целей, которые предлагаются его вниманию. Ранее задача была в том, чтобы защитить ребенка от злокачественного влияния, исходящего от общества; теперь необходимо, чтобы юноша соприкоснулся со средой, в которой ему предстоит жить, о которой он будет судить согласно своему воспитанию. В ребенке требовалось развить его чистые природные черты; теперь ему надлежит столкнуться с чужими образцами и познакомиться с мнениями, от встречи с которыми его ранее тщательно оберегали. «Вот время заняться историей; через нее он будет читать в сердцах и без уроков философии; через нее он будет смотреть в них, как простой зритель, без личного интереса и без пристрастия, как судья, а не как сообщник или обвинитель.

Чтобы узнать людей, нужно видеть их действующими. В свете мы слышим их говорящими; они выставляют свои речи и скрывают поступки; но в истории они разоблачены, и мы судим о них по фактам. Даше самые слова их помогают оценивать их: сравнивая то, что они делают, что они говорят, мы видим сразу, что они такое и чем хотят казаться; чем более они маскируются, тем лучше их узнают» (кн.

Но сколько запутанности и неточности в истории! Сколько предвзятости и умолчаний у историков! Не следует ли наблюдать и за своими современниками? «Итак, что же нужно для того, чтобы хорошо наблюдать людей? Нужен большой интерес к их изучению, большое беспристрастие в суждении о них, нужно сердце настолько чувствительное, чтобы понимать все человеческие страсти, и настолько спокойное, чтобы не испытывать их. Еслд есть в жизни момент,

благоприятный для этого изучения, так это тот, который я выбрал для Эмиля; раньше люди были бы чуждыми для него, позже он сам был бы им подобен. Людское мнение, влияние которого он видит, не приобрело еще власти над ним; страсти, действие которых он понимает, не волновали еще сердца его. Он человек, он заинтересован в своих собратях; он справедлив, он считает их равными себе. Но если он судит о них правильно, то, наверное, не захочет ни с кем поменяться местом; ибо цель всех тревожений, которым они продаются, основанная на предрассудках, которых нет у него, покажется ему целью фантастической» (кн. IV).

Таким образом, разумное воспитание по «Эмилю» — не допускать контакта между ребенком и обществом до тех пор, пока его возраст не позволит ему стать судьей этого общества, не сделает его самостоятельной личностью, имеющей обо всем свое твердое мнение. Чувствительный Жан-Жак мечтает воспитать голову, способную рассуждать. Впрочем, это только кажущееся противоречие: оно не представляет собой с точки зрения психологии исключения. Избыток чувствительности и избыток рассудочности часто дополняют друг друга.

То же движение к абстрактному и рациональному должно наблюдаться и в собственно интеллектуальном развитии. «Не легко человеку начинать мыслить, но как скоро он начал, он уже не перестает. Кто мыслил, тот всегда будет мыслить, и разум, раз предавшийся размышлению, не может уже оставаться в покое... Примите также в расчет, что раз способности наши заставляют нас ограничиваться вещами чувственно воспринимаемыми, то мы по оставляем почти никакого места абстрактным, философским понятиям и идеям чисто интеллектуальным. Чтобы возвыситься до них, мы должны или развязаться с телом, с которым так крепко связаны, или постепенно и медленно переходить от предмета к предмету, или, наконец, быстро и почти одним прыжком перескочить промежуток — совершить гигантский шаг, на который не способно детство, потому что даже и взрослым людям для этого нужно много ступенек, нарочно для них сделанных. Первая абстрактная идея есть первая из этих ступеней; но я никак не могу понять, каким образом решаются ее строить. Непостижимое Существо, которое все обнимает, которое дает миру движение и образует всю систему существ, невидимо для наших глаз и неосвязаемо для наших рук; оно не поддается ни одному из наших чувств: работа видна, но работающий скрыт. Не легкое дело — узнать, наконец, что оно существует; а когда мы дошли до этого знания, когда спрашиваем себя: какова оно, где оно? — ум наш смущается, теряется, и мы можем только — мыслить» (кн. IV).

Рациональным и интеллектуальным путем абстракции разрабатывая познание вещей, ум доходит до идеи Существа, которое является их творцом. Бог — это высшее из абстрактных понятий, с помощью которых человек постигает вселенную. Но сам он непостижим. Несомненно, это одно из тех диалектических противоречий, которыми изобилует философия Руссо; но это противоречие неразрешимо, за антитезой не следует синтез, т. е. дальнейшее развитие мысли. Напротив, налицо отступление назад, отречение от разума. Вероятно, основой аргументации была

непрерывность ступеней интеллектуального познания и наличие последнего шага, который нужно было сделать, чтобы прийти к богу. Руссо столкнулся с существенной трудностью инкорпорации бога в науку, введения его в область умозрительного рационализма. Эта неудавшаяся попытка тем не менее самым лучшим образом свидетельствует о рационализме Руссо, если не в его выводах, то по крайней мере в намерениях. Практически не следует говорить с ребенком о религии до наступления отрочества, чтобы он не вообразил себе антропоморфного бога и не впал в язычество. К вере способен лишь хорошо тренированный разум — но выскажется ли он в пользу религии? Не потеряет ли ценность акт отречения из-за самой сути отречения?

Великая заслуга Руссо в том, что он показал, как поэтапно, в соответствии с возрастом ребенка, должны меняться предмет и методы воспитания. По существу и неизменные принципы. Одним из принципов, к которым он неоднократно возвращается как к обязанности воспитателя по отношению к ребенку и ненарушимо праву ребенка, является мысль о том, что настоящим не должно жертвовать ради будущего.

В страстном воззвании, в котором жизнь и смерть, смех и слезы противопоставляются как в трагическом поединке, в котором неуверенность в будущем рассматривается как основание, для того чтобы в полной мере наслаждаться мгновением настоящего (*carpe diem*), в воззвании, где время представляется необратимым в своем течении, ощущается, что чувствительность автора оставила свой след в этом страхе перед тревогами, тем более что на следующих страницах совет быть беззаботным распространяется на всю жизнь в целом.

«Предусмотрительность! ...Да, предусмотрительность, которая беспрестанно нас уносит дальше нас самих и часто увлекает туда, куда мы никогда не попадем,— вот истинный источник всех наших бедствий» (кн. II). Но как бы ни были субъективны советы Руссо, они тесно связаны с его педагогикой. Он возвращается к этому в связи со вторым периодом детства: «Он (Эмиль) достиг детской зрелости, он жил жизнью ребенка, он не покупал своего совершенства ценою своего счастья: напротив, они содействовали одно другому. Приобретши весь разум своего возраста, он был счастлив и свободен,— насколько позволяла его физическая организация. Если роковая коса скосит в лице его цвет наших надежд, нам не придется оплакивать сразу и жизнь его и смерть, мы не обострим своей печали воспоминанием о страданиях, которые ему причинили; мы скажем себе: «По крайней мере, он наслаждался своим детством; мы ничего не заставили его потерять из того, что дала ему природа» (кн. II). На последних страницах «Эмиля» Руссо опять возвращается к этому: «При той неизвестности, которая окружает человеческую жизнь, станем особенно избегать ложной предусмотрительности, заставляющей настоящим жертвовать для будущего; это часто значит приносить в жертву что есть — тому, чего не будет. Устроим, чтобы человек был счастлив во все возрасты,— из опасения, чтобы, после массы забот, он не умер, не отдав счастья. Меж тем если есть пора для наслаждения жизнью, то, конечно, этой порой бывает последнее время юности, когда телесные и душевные способности приобрели наибольшую крепость, когда

человеку, находящемуся на половине его пути, оба конца, дающие чувствовать краткость этого последнего, виднеются лишь вдали. Если неосмотрительная юность обманывается, то не в том, что она хочет наслаждаться, а в том, что ищет наслаждения, где его нет, и, готовя себе жалкое будущее, не умеет даже пользоваться настоящим моментом» (кн.

Итак, всю свою жизнь человек должен быть счастлив. Его счастье — дар природы. Отказываться от наслаждения и особенно лишать его ребенка, воспитанника, который от нас зависит, значит возлагать на себя величайшую ответственность. Педагогика Руссо противостоит методу тех суровых воспитателей, согласно которым воспитание предполагает наказание в качестве расплаты и которые проповедуют труд как самоцель. Она противостоит и тем, кто, подобно Руссо, стремится к воспитанию в обстановке радости, но пытается достичь этого результата, готовя ребенка к счастливому завтра. Тут налицо две концепции. Известный фатализм у Руссо, который, собственно говоря, ожидает от природы всего чего угодно и потому опасается любого предвосхищения событий, вплоть до того, что даже сдерживает умственное развитие воспитанника. Этому противостоит известный прогрессизм, как, например, у Макаренко, который верит в возможность эволюции не только видов, но и индивидуумов и который ожидает от контактов ребенка с обществом не развращения детской души, но возникновения стимулирующих целей, поводя к плодотворной адаптации. Вот почему надо побуждать ребенка к тому, чтобы он представлял себе желательные и осуществимые перспективы в более или менее отдаленном будущем. С одной стороны, основа воспитания — это поиск, будь то в природе или в исторической традиции, с другой — равновесие, способное изменяться вместе с обстоятельствами, временем и средой.

Второй принцип, не являющийся простой перифразой первого: любое обучение должно восприниматься с удовольствием, ребенок должен ждать и желать его, оно должно отвечать его потребностям, его любознательности, помогать ему в анализе трудных ситуаций, в которых он оказывается. Значит, приобретение знаний должно быть связано с эмоциональной, практической и, наконец, интеллектуальной жизнью воспитанника. Тут потребуются вся изобретательность учителя, чтобы создать ситуации, подходящие для установления связи между сложными положениями, из которых хотел бы выйти ребенок, и открытием знания, которое может ему в этом помочь. Риск лишь в том, чтобы изобретательность учителя не стала слишком очевидной для ученика и чтобы, превратившись в прием, она не уничтожила его интерес и доверие. Некоторые примеры, которые дает Руссо, могли бы хорошо подтвердить это опасение<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Попытка достать пирожки как средство для того, чтобы научить оценивать расстояния; использование тканей для оценки поверхностей; история с намагниченной уткой; история о том, как Эмиль учится ориентироваться в лесу Монморанси.

Методы, использующие интересы учеников, в наши дни получили дальнейшее развитие. Например, д-р Декроли сделал их одним из важных средств в своей педагогике, хотя и в несколько

иной форме. У Руссо интерес каждый раз связан с конкретной ситуацией. Он случаен, а сама случайность систематически создается воспитателем. У Декроли это имеет место только с самыми маленькими детьми. Постепенно интерес становится определенной точкой зрения на предметы обучения, которые сводятся к основным потребностям, ради удовлетворения которых разворачивается деятельность человека, например к потребности в пище, к потребности в защите и обороне. «Центр интереса» перестает быть индивидуальным. Он становится механизмом синтеза необходимых знаний. Ребенок видит одновременно и их единство, и их пользу. Он даже может сотрудничать с учителем в опытах в соответствии с уровнем своего умственного развития.

Третий принцип, общий для Руссо, Декроли и всех, кто сегодня выступает за активные методы, заключается в том, что в основе всего обучения должны быть конкретные наблюдения и познание на опыте. Ребенок нуждается в собственных глазах и собственном суждении еще больше, чем в специальных знаниях. Знать — это не значит верить учителю, это значит — видеть и рассуждать. «Неоспоримо, что о вещах, которые мы узнаем подобным образом, сами собой, получаются понятия гораздо более ясные и верные, чем те, которыми мы обязаны чужим наставлениям... Чем искуснее наши приборы, тем более грубыми и неловкими делаются наши органы: собирая вокруг себя машины, мы не находим их уже в самих себе. Но когда мы употребляем на производстве этих машин ту ловкость, которая могла бы заменить машины, когда проницательность, необходимую для того, чтобы обходиться без них, мы применяем к их устройству, то мы выигрываем, ничего не теряя, к природе прибавляем искусство и, не делаясь менее ловкими, становимся более изобретательными. Если я вместо того, чтобы привязывать ребенка к книгам, занимаю его работой в мастерской, то руки его работают на пользу ума: он становится философом, думая, что он только ремесленник» (кн. III).

Руссо свойственно стремление непосредственно связать ребенка с предметом, который он должен изменить или которым должен манипулировать, и в любом случае заставить ребенка самостоятельно изобрести и построить свои первые инструменты. Таким образом он лучше усвоит не только их назначение, но и какой-либо механический или физический принцип. Он будет видеть в инструменте не таинственное орудие, производящее искусственные действия, а как бы продолжение или реализацию того, что дано самой природой. Следует заметить, что орудия этого типа относятся к периоду сугубо ручного, ремесленного производства; но в то же время они относятся к тому периоду в жизни ребенка, когда он должен открыть и усовершенствовать способность своих идеомоторных комплексов приспособляться к предметам окружающего мира. Этот этап нельзя миновать, каков бы ни был технический уровень эпохи, и в должное время ребенок должен пройти через него. Как предтечу принципа политехнического обучения, выдвинутого К. Марксом, можно напомнить это поразительное высказывание: «Он становится философом, думая, что он только ремесленник».

### **Педагогика и психология**

Чтобы воздействовать на ребенка, чтобы воспитывать его, надо знать его природу. Цель воспитания — подготовить ребенка к жизни в обществе, какова бы ни была опасность, что оно его испортит, ибо именно такой образ жизни лежит в природе человека. Таким образом, цель воспитания — жизнь в обществе, а его отправная и опорная точка — природа ребенка. Природа и Общество, эти антиподы, образуют пару взаимодополняющих понятий. Это противоречие может быть разрешено диалектической интерпретацией воспитания как действия, движения, перехода из одного состояния в другое, цель которого в том, чтобы существо стало тем, чем оно не было, или тем, чем оно не было в полной мере. Однако эти отношения лишь очень туманно выражены в «Эмиле», где слова «природа» и «естественный» часто встречаются без точного определения, не несут устойчивого и определенного содержания, поскольку зачастую эти слова просто служат для Руссо антитезой тому, что он в различных выражениях называет искусственным, напускным или даже несущим в себе деградацию и извращение. Это и есть источник тех звучных формул, к которым он охотно прибегал и которые, будучи вырваны из контекста, создали ему репутацию человека, клеветничающего на цивилизацию.

«Все выходит хорошим из рук Творца, все вырождается в руках человека. Он принуждает одну почву питать растения, возвращенные на другой, одно дерево приносить плоды, свойственные другому. Он перемешивает и путает климаты, стихии, времена года. Он уродует свою собаку, свою лошадь, своего раба. Он все перевертывает, все искажает, любит безобразие, чудовищное. Он ничего не хочет видеть таким, как создала природа,— не исключая и человека: и человека ему нужно выдрессировать как лошадь для манежа, нужно переделать на свой лад, как он окорнал дерево в своем саду» (предисловие). Руссо осуждает технику, с помощью которой человек приспособливает к своим нуждам природные ресурсы в виде растений и животных. Он также умаляет значение порядка, установленного обществом среди людей, сравнивая его с естественным состоянием природы: «В естественном состоянии существует равенство фактическое, действительное и неделимое, потому что в этом состоянии невозможно, чтобы простого отличия одного человека от другого было достаточно для того, чтоб одного сделать зависимым от другого. В гражданском состоянии существует химерическое и призрачное равенство прав, потому что средства, предназначенные для поддержания его, сами служат для его разрушения и потому что общественная сила, соединяющаяся с более сильным, чтобы подавить слабого, нарушает тот род равновесия, который установила между ними природа. Из этого первого противоречия вытекают все те, которые замечаются в гражданском строе между внешностью и действительностью» (кн.

В этом противопоставлении того, что делают человек и природа, последняя часто смешивается с Провидением: «Мы умерли бы с голоду или отравились бы, если бы для выбора пищи, годной для нас, пришлось ждать, пока опыт нас научит разузнавать ее и выбирать; но Верховная Благодать, сделавшая из удовольствия существ чувствующих орудие их сохранения, по тому, что приятно вкусу нашему, извещает нас о том, что годится желудку нашему. С точки зрения природы, нет для



человека более падежного врача, чем его собственный аппетит; и если взять его в первобытном состоянии, то для меня несомненно, что тогда пища которую он находил наиболее приятной, была для него вместе с тем самой здоровой.

Даже больше, Мироздатель печется не только о тех потребностях, которыми Он нас наделил, но и о тех, которыми мы сами себя наделили; и чтобы желание стояло всегда рядом с потребностью. Он так устроил, что наши вкусы меняются и искажаются вместе с образом жизни. Чем более мы удаляемся от естественного состояния, тем больше теряем свои естественные вкусы, или, скорее, привычка создает в нас вторую природу, которую мы так хорошо замещаем первой, что никто между нами уже не знает этой первой» (кн. II).

С помощью Творца, Провидения и финализма, который оно, как предполагает Руссо, вкладывает в существа и воши, чтобы обеспечить их существование, здесь реализуется связь между двумя применениями слов «природа» и «естественный». Одно из этих применений, как мы только что видели, относится к первоначальному порядку в мире, от которого ценой очень большого риска отошел человек. Другое применение определяет наклонности, свойственные человеку, без которых он не был бы тем, что он есть. Несущественно, что Руссо объясняет их финализмом провиденциального происхождения. Фактически они соответствуют тому, что можно описать как набор инстинктов и способностей, необходимых для существования живого существа. Они представляют функциональные возможности вида в их начальном состоянии, т. е. когда они еще не модифицированы использованием.

Таким образом, каждому присуща первоначальная чувствительность: «Мы рождаемся чувственно восприимчивыми и с самого рождения получаем различными способами впечатления от предметов, нас окружающих. Лишь только мы начинаем сознавать, так сказать, наши ощущения, у нас является расположение или искать вновь, или избегать предметов, производящих эти ощущения, — сначала смотря по тому, насколько приятны нам последствия или неприятны, затем смотря по сходству или несходству, которое мы находим между ними и этими предметами, и, наконец, смотря по суждениям, которые мы о них составляем на основании идеи счастья или совершенства, порождаемой в нас разумом. Эти расположения расширяются и укрепляются по мере того, как мы становимся восприимчивее и просвещеннее; по под давлением наших привычек они более или менее изменяются в зависимости от наших мнений. До этого изменения они и суть то, что я называю в нас природою» (кн.

Природа — это то, что еще не подверглось воздействию опыта, рассудка, привычки,— словом, того, что Руссо клеймит под общим названием «общественное мнение», иначе говоря, всей совокупности существующих предрассудков. Чувствительность — это обязательная основа физической, умственной и нравственной жизни. Сюда следует добавить еще ряд естественных склонностей, ряд инстинктов, подчиненных деятельному началу, своего рода стремлению к действию. У маленького ребенка это, прежде всего, простая потребность движения; затем

появляется интеллектуальная любознательность, вдохновляемая подлинными интересами человека, а не общественным мнением.

Со всеми телесными или умственными функциями связана какая-либо потребность, вызывающая их действие и развитие. Каждая из этих функции начинает проявляться только на определенной стадии физического и психического становления. Функции эти, следовательно, обладают известной эволюционной автономией и вместе с тем как бы общим истоком — страстным стремлением личности к собственному благополучию. Любовь к себе является важной побудительной причиной человеческой деятельности: «Источником наших страстен, началом и основой всех прочих, единственной страстью, которая рождается вместе с человеком и никогда не покидает его, пока он жив, является любовь к себе; это — страсть первоначальная, врожденная, предшествующая всякой другой: все другие являются в некотором смысле лишь ее видоизменениями. С этой стороны все страсти, если хотите, естественны. Но большая часть этих видоизменении вызывается причинами посторонними, без которых они и не появились бы; а самые эти видоизменения не только не полезны, но даже вредны нам: они изменяют основную цель и обращаются против своего начала: тут именно человек оказывается вне природы и становится в противоречие с самим собою. Любовь к самому себе всегда пригодна и всегда в согласии с порядком вещей. Так как каждому вверено прежде всего его собственное самосохранение, то первою и самую важную из его забот является — и должна являться — именно эта постоянная забота о самосохранении; а как мы могли бы заботиться о нем, если бы не видели в этом своего главнейшего интереса!.. Первое чувство ребенка есть любовь к самому себе, а второе, вытекающее из первого,— любовь к тем, кто его окружает; ибо при том состоянии слабости, в котором он находится, он знакомится с другими лишь через помощь и уход, который получает. Сначала привязанность его к своей кормилице и гувернантке есть не что иное, как привычка. Он ищет их, потому что имеет нужду в них и потому что ему хорошо, что они есть у него; это скорее знакомство, чем расположение. Ему нужно много времени, чтобы понять, что они не только полезны ему, но и хотят быть полезными, вот тогда-то он начинает любить их» (кн.

Таким образом, возраст и обстоятельства, или, скорее, жизненные потребности, вызывают эволюцию главного инстинкта живого существа — любви к себе — по направлению к его противоположности — любви к другим, а затем и к совсем противоположному чувству враждебности, если желания ребенка встречают отпор. «Ребенок, значит, по природе расположен к доброте, потому что он видит, что все окружающее склонно ему помогать, и из этого наблюдения черпает привычку благожелательно относиться к себе подобным, но по мере того, как расширяются его сношения, потребности, активная или пассивная зависимость, в нем пробуждается сознание его отношений к другим, ведущее к чувству долга и чувству предпочтения. Тогда ребенок делается высокомерным, ревнивым, лживым, мстительным. Если его принуждают к послушанию, он, не видя пользы к тому, что ему приказывают, приписывает эти

приказания капризу, желанию помучить его и упрямится. Если ему самому повинуются, он в первом же сопротивлении видит бунт, намеренное неповиновение; за непослушание он бьет и стул или стол. Любовь к себе, касающаяся лишь нас самих, удовлетворена, когда удовлетворены наши истинные потребности; но самолюбие, которое сравнивает себя, никогда не бывает и не может быть удовлетворено, потому что чувство это, заставляя нас предпочитать себя другим, требует, чтобы и другие предпочитали нас самим себе, — а это невозможно. Вот каким образом важные и сердечные страсти рождаются из себялюбия» (кн. IV).

Так различие между самолюбием и любовью к себе вводит новый фактор в диалектический процесс образования чувств и страстей. Ребенок больше не ограничивается тем, что отождествляет других людей с удовлетворением его потребностей или с отказом их удовлетворить; он видит в других людях, или даже в неодушевленных предметах, своих соперников, со стороны которых он может ожидать только конкуренции. Отсюда и переворот в ориентации его чувств по отношению к окружающему. Осознание того, что есть существа, одновременно и отличные от него, и, однако, принадлежащие к тому же роду, даст ему первое представление об обществе, по представлению мрачное и пессимистическое. Здесь Руссо верен своему принципу: «все вырождается в руках человека».

И все же именно из этой исключительной заботы о себе диалектика чувств еще раз создаст ее противоположность — заботу о другом. «Напит первые обязанности касаются нас самих; наши первоначальные чувствования сосредоточиваются на нас же самих; все наши естественные движения относятся прежде всего к нашему самосохранению и благоденствию. Таким образом, первое чувство справедливости порождается в нас не тою справедливостью, которую мы обязаны делать, по тою, которую обязаны другие по отношению к нам» (кн. II).

В воспитании не следует предпринимать ничего такого, чего не способен прочувствовать ребенок. «Вы найдете у него небольшое число нравственных понятий, относящихся к его настоящему положению, и — ни одного понятия о положении людей в их взаимных отношениях; да и к чему они служили бы ему, коль скоро ребенок не есть еще действительный член общества? Говорите с ним о свободе, собственности, даже о договоре, — настолько-то он может знать; он знает, почему, что — его, то принадлежит ему; а что — не его, то не принадлежит ему; дальше этого он ничего уже не знает. Если заговорите с ним о долге, о послушании, он не будет знать, что вы хотите сказать; прикажите ему что-нибудь, — он не послушает; но скажите ему: «если ты сделаешь мне такого-то удовольствие, я при случае отплачу тем же», — и он тотчас поспежит исполнить нашу просьбу, ибо он ничего лучшего не ищет, как расширить свое владение и приобрести над вами права, в ненарушимости которых уверен. Может быть, даже он не прочь занимать известное место, быть на счету, за что-нибудь слыть; но если им руководит этот последний мотив, он, значит, уже вышел из пределов природы: вы, значит, заранее не загородили хорошенько всех путей к тщеславию» (кн. II).

И здесь опять противопоставление природы и общества. Вместо того чтобы допустить для этого второго периода детства, как он это сделал для предыдущего периода, эмоциональные связи ребенка с его окружением, Руссо предполагает своего рода стадию обмена, впрочем, обмена условного, предполагающего отсрочку, при которой субституция удовольствия предложенным ребенку искушением запоздает по сравнению с его психическим развитием, если только к этому не прибавится то, чего с таким сожалением ожидает Руссо: стремление быть на равных со взрослым, которое есть не просто тщеславие, но и потребность во взаимности и своего рода симметрии, возникающая, когда ребенок достигает возраста, в котором он формирует свою личность по образцу других.

Несомненно, что обмен этого типа между ребенком и взрослым — частое явление. Но его главной движущей силой не всегда является интерес. Это не обязательно и не всегда вклад, делаемый в настоящем ради будущего. Скорее, этот обмен связан с одним из этапов осознания ребенком себя как личности перед лицом других. Однако Руссо отказывается рассматривать социальное чувство как изначальное и как необходимое дополнение чувства личного. Первое он предпочитает выводить из второго, вместо того чтобы возвращать их вместе. Потому-то он и ограничивает общество ребенка его учителем, единственная забота которого — развитие детской личности. Необходимо подчеркнуть, насколько принципы Руссо в этом отношении далеки от современной педагогики, например Макаренко, дающей важную рекомендацию — организовывать детские «коллективы» как для работы, так и для игры, для всего, чем должна быть занята жизнь детей.

Однако наступает возраст, когда, путем одного из нередких в мышлении Руссо диалектических переворотов, значимости природы и общества меняются местами. Каковы бы ни были много раз отмечавшиеся Руссо противоречия между природой и обществом, жизнь в обществе тем не менее заложена в природе человека. Для человеческого рода это необходимо: «Слабость человека делает его общительным; общие наши бедствия — вот что располагает наши сердца к человечности: мы не чувствовали бы обязанности к человечеству, если бы не были людьми. Всякая привязанность есть признак несостоятельности; если бы каждый из нас не имел никакой нужды в других, он не подумал бы соединиться с ними. Таким образом из самой нашей помощи рождается наше зыбкое счастье. Существом истинно счастливым бывает существо обособленное; один Бог наслаждается абсолютным счастьем; но из нас никто не имеет о нем понятия. Если бы какое-нибудь несовершенное существо могло вполне удовлетворять само себя, чем бы оно стало наслаждаться — с нашей точки зрения? Оно было бы одиноким, жалким. Я не постигаю, как тот, кто не имеет ни к чему нужды, может любить что-нибудь; я не понимаю, как тот, кто ничего не любит, может быть счастливым» (кн. IV). Противопоставляя абсолютное или божественное счастье, которое упивается своим одиночеством и полнотой, человеческому счастью, возникающему из необходимости каждого компенсировать свою слабость, объединяясь с другими, Руссо

возвращается к единственной основе общества — к интересам личности; именно любовь каждого к самому себе становится любовью к другим людям. Основываясь на инверсиях или переносах чувств, выданных обстоятельствами или необходимостью, Руссо выдвигает как главный принцип человеческой деятельности и морали поиски личного счастья и в конечном счете врожденную чувствительность. Здесь мы видим важную попытку диалектического подхода к дедуктивной механической концепции психики. «Распространим свое самолюбие на другие существа — таким путем мы превратим его в добродетель» (кн. IV). Итак, самолюбие становится добродетелью при том условии, что элиминирован ее основной, первоначальный объект — собственная личность — и исключены все эмоциональные предпочтения, все душевные порывы. Совершенно неотличимая от любви к роду человеческому, к истине и справедливости добродетель — это результат обобщения, минуящего соображения индивидуального порядка; наряду с «Общественным договором» она вызывает в памяти правила Канта, согласно которым любое понятие морали надо проверять, предполагая, что оно имеет универсальное применение. Как известно, сам Кант признавал, что Руссо оказал значительное влияние на его мышление. Неверно приписывать Руссо построение нравственного чувства, как это часто делалось.

Однако универсализация нравственного закона не единственная черта, объединяющая Канта и Руссо. Согласно Руссо, чувствительность человека возвращает его в лоно природы, а потребности и жажда выгоды приводят его в общество; общество требует от него соблюдения равенства по отношению к другим людям, генерализации нравственных принципов. Между тем, как и у Канта, в этот процесс вмешивается совесть, но не как следствие, а как руководящая и контролирующая сила: «Первая из всех забот есть забота о самом себе; однако же как часто внутренний голос говорит нам, что, создавая наше благо за счет других, мы делаем зло! Мы полагаем, что следуем внушению природы,— а меж тем мы ей противимся; слушая, что она говорит нашим чувствам, мы пренебрегаем тем, что она говорит нашим сердцам: активное существо повинуется, существо пассивное повелевает. Совесть есть голос души, страсти — голос тела. Удивительно ли, что эти два голоса часто противоречат друг другу? и тогда которого слушаться? Рассудок слишком часто обманывает нас; мы приобрели полное право отказывать ему в согласии; но совесть не обманывает никогда; она — истинный путеводитель человека; она для души то же, что инстинкт для тела; кто следует ей, тот повинуется природе и не боится сбиться с пути» (кн. IV). С одной стороны — чувства, страсти, разум, подверженные ошибкам и иллюзиям, вся сфера опыта: от опыта самого элементарного до наиболее изощренного. С другой стороны — совесть, непогрешимый судья добра и зла. Обе эти стороны не имеют единого критерия. Не следует обманываться тем, что слово «природа», примененное здесь к совести, раньше применялось к чувствительности и ко всем ее трансформациям.

В каждом из этих двух случаев слово «природа» использовано в различных значениях. По отношению к опыту оно означает то изначальное, что еще не подверглось культивации, иначе

говоря, деградации со стороны цивилизации. По отношению к совести оно означает то, что, согласно Руссо, в высшей степени свойственно одному человеку, — его предназначение. Теперь Руссо говорит не об опыте, а о боге: «Мне остается задаться вопросом, какие принципы я должен извлечь из них для своего поведения и какие правила должен предписать себе для того, чтобы выполнить свое назначение па земле, сообразно с предначертанием того, кто поместил меня сюда. Следуя всегда своему методу, я извлекаю эти правила не из принципов высшей философии, по нахожу их начертанными природой в глубине своего сердца неизгладимыми буквами» (кн. IV).

Без сомнения, в мышлении Руссо понятие природы остается многозначным. Но здесь он оказывается явным предшественником Канта в различении чистого, или опытно-умозрительного, разума и разума практического, как отражения недостижимой «вещи в себе» — недостижимой, как недостижим для Руссо творец всех вещей, Другое сходство с кантовой философией заключается в том, что следование нравственному закону и понимание этого закона должно быть доступно для всех, даже для самых простых и невежественных людей. «...О, совесть, совесть! божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, верный путеводитель существа темного и ограниченного, разумного и свободного... Но этого мало, что путеводитель существует: нужно уметь распознавать его и следовать ему. Если он говорит всем сердцем, то почему же столь немногие его понимают? Увы! это оттого, что он говорит нам языком природы, а нас все кругом заставляет забыть этот язык» (кн. IV).

Полностью отождествленная здесь с совестью, природа противопоставляется деятельности разума и познания, источников «предрассудков» и философского «фанатизма». По далее Руссо возвращает слову «природа» его привычный смысл, который он, однако, стремится ограничить рамками физических понятий: «Мы работаем в согласии с природой и, пока она формирует человека физически, пытаемся сформировать существо нравственное; но наши успехи не одинаковы. Тело уже крепко и сильно, в то время как душа еще немощна и слаба; и чтобы ни могло сделать человеческое искусство, темперамент всегда предшествует разуму. Сдерживать один и возбуждать другой — вот к чему мы доселе всячески стремились для того, чтобы человек всегда был единым, насколько это возможно. Развивая природные свойства, мы задерживали зарождающуюся чувствительность; мы ее регулировали, развивая разум; умственные предметы умеряли действие чувствительных предметов. Восходя к началу вещей, мы изъяли своего воспитанника из власти чувств; от изучения природы не трудно было подняться до вопроса о Творце» (кн. IV).

Итак, три уровня, три стадии: в первую очередь, тело и телесные упражнения, которые его укрепляют, подменяя собою нарождающуюся чувствительность,— это природа, естественное. Далее — разум и умственные предметы, умеряющие влияние предметов чувственных. И наконец, скачок к творцу природы, к богу, который непостижим для нашего ума. Но где же природа — в пещах или в сознании? Здесь обнаруживается разрыв между двумя сферами, не имеющими пи

взаимоотношений, ни непрерывной связи, — сферой реального, сферой становления, в которой действуют силы, способные найти точки неустойчивого равновесия, в которой противоречия могут быть разрешены диалектически (Руссо известно, как пользоваться диалектикой), и сферой «вещи в себе», сферой метафизической, несоизмеримой с первой. Ничего удивительного, что между двумя значениями слова «природа», используемыми в двух разных случаях, нет согласия.

Среди значений, придаваемых Руссо словам «природа» и «естественный», есть такие, которые целиком подходят для приложения к педагогике: среди них — значение, связанное с деятельностью или функциями, внезапно проявляющимися в психической связи, но еще не сформировавшимися под действием обстоятельств, в которых эти функции могут начать действовать. Среда, испорченная фальшивыми обычаями, предрассудками, ошибочными мнениями, может дать этим функциям ложное направление, и они вырождаются. Напротив, здоровому воспитанию надлежит помочь им в развитии, но в смысле наиболее близком к «человеческой природе», где природа — синоним нравственного сознания. Говоря языком современной психологии, речь идет о надлежащем «кондиционировании» спонтанно выражающихся склонностей, инстинктов, способностей, которые личность несет в себе как достояние своего вида и которые проявляются каждая в свое время, по ходу физического и умственного развития.

В противовес эмпиристам своего времени, Гельвецию например, Руссо не считает, что человеческую психику можно целиком объяснить влияниями среды. Он признает существование элементарных и «естественных» склонностей еще до того, как они моделируются практикой. Эта мысль очень близка к современным представлениям; и по сей день психологи спорят о сравнительном значении благоприобретенных знаний и естественного дара в различных функциональных проявлениях, но они единогласны в том, что оба компонента необходимы и дополняют друг друга.

На самом примитивном уровне психики находятся эмоции, страсти, аффективные состояния. Замечательно, что, желая сделать их полезными или менее вредными, Руссо рекомендует кондиционировать их с помощью ассоциаций и связей того же типа, который изучался Павловым в его экспериментах над условными рефлексам. Известно, что если воздействовать на животное одновременно двумя способами, создавая у него два совершенно различных, иногда даже противоположным образом ориентированных впечатления — одно, связанное с удовлетворением какой-то потребности, скажем потребности в пище, и другое, связанное с реакцией на боль, вызванную, например, ожогом,— животное сможет связать со вторым впечатлением действие первого, т. е. проявления аппетита, с оборонительными или отступательными движениями. Таким образом, синхронизации, простого соположения во времени, при условии, что оно будет в достаточной мере постоянным, довольно, чтобы коренным образом модифицировать поведение в данных условиях. Не может ли воспитатель использовать связи этого типа по крайней мере в

области поведения, не зависящего от деятельности разума, в области эмоциональных реакций? Руссо дает превосходный пример страха темноты, который он считает общим, изначальным и естественным; это чувство есть страх перед невидимым, неизвестным. Этот страх вызывается инстинктом самосохранения, который приводит в действие эвентуальный оборонительный механизм,— отсюда то ощущение реальности, которое дается страхом и над которым не властен разум. Свяжите с темнотой, напротив, благоприятные обстоятельства, приятные впечатления, любимые занятия, и то, чего не добиться никакими объяснениями, достигнуто: реакция страха сменилась реакцией удовольствия.

В этом случае природа удачно подправляется искусственными ассоциациями. Обратил ли на это внимание сам Руссо? Но он, конечно, без труда оправдал бы это исключение из своего правила «все вырождается в руках человека».

Другие виды деятельности, самым тесным образом связанные с общением, также основаны на естественном. Примером может служить язык, различные функциональные уровни которого чрезвычайно удачно демонстрирует Руссо: «Все наши языки суть произведения искусства. Долго искали, нет ли языка природного и общего всем людям. Он, несомненно, есть — это тот язык, которым говорят дети, прежде чем научаются говорить. Язык этот не членораздельный, но он выразителен, звучен, понятен. Пользуясь своими языками, мы до того стали пренебрегать им, что наконец совершенно его забыли. Станем изучать детей, и около них мы скоро припомним его. Кормилицы — учителя для нас этого языка; они все понимают, что говорят их питомцы; они отвечают им, ведут с ними очень связные беседы и хотя произносят слова, но слова эти совершенно бесполезны; не смысл слова понимают дети, а то выражение, с которым оно сказано. К языку голосовому присоединяется язык жестов — не менее энергичный. Жесты эти не в слабых руках детей, а на их лицах. Удивительно, как выразительны уже эти физиономии, еще плохо сформировавшиеся: черты их с минуты на минуту изменяются с непостижимой быстротой; вы видите, как, подобно блескам молнии, зарождается и исчезает улыбка, желание, страх; каждый раз вы будто видите другое лицо. Мускулы лица у них, несомненно, подвижнее, чем у нас. Но зато их тусклые глаза почти ничего не говорят. Таким и должен быть язык знаков в возрасте, которому знакомы лишь телесные потребности: выражение ощущений заключается в движениях лица, выражение чувствований — во взгляде... Из этого плача, который, казалось бы, столь мало заслуживает внимания, рождается первое соотношение человека ко всему тому, что его окружает: здесь куется первое звено той длинной цепи, из которой образовался общественный строй» (кн. II). Первое звено этой цепи, приводящей к самым возвышенным свершениям человеческого духа и обнимающей все виды отношений, на которых зиждется общество, связано с самым субъективным, что есть у личности: с прямыми проявлениями его органических потребностей. Руссо прекрасно показал, что, вызывая к помощи окружения, без которой ребенок не смог бы выжить, эти проявления становятся языком и что с этого момента мимика и крики, единственные



полезные для младенца действия, превращают его в общественное существо. От этого естественного и универсального языка он переходит к членораздельной речи, свойственной каждому языку: «Дети слышат говор с самого рождения; с ними говорят не только прежде, чем они станут понимать сказанное, но даже прежде, чем они могли бы передать слышанные звуки. Их орган речи, пока еще неповоротливый, лишь мало-помалу начинает подражать произносимым перед ними звукам, и в точности неизвестно даже, с такою ли отчетливостью они на первых порах воспринимают ухом эти звуки, как и мы. Я не против того, чтобы кормилица забавляла на первых порах ребенка пением и очень веселыми, очень разнообразными мотивами; но я далеко не согласен, чтоб она беспрестанно оглушала его потоком бесполезных слов, в которых он ничего не понимает, кроме тона, каким они произносятся. Я бы хотел, чтобы первые членораздельные звуки, понимать которые учат ребенка, были медленно произносимыми, легкими, ясными, часто повторяемыми и чтобы слова, ими выражаемые, относились только к видимым предметам, которые перед этим можно показать ребенку. Несчастливая привычка легко удовлетворяться словами, которых мы не понимаем, начинается гораздо раньше, чем думают. Школьник слушает в классе разглагольствование учителя точно так же, как он слушал в пеленках болтовню кормилицы. Мне кажется, что весьма полезным делом было бы такое воспитание, чтоб он ничего тут не понимал» (кн. I). Маленькому ребенку противопоказан большой запас слов. Следуя своему постоянному принципу, Руссо предостерегает против преждевременного расширения словаря, он опасается, что средства забегают вперед по сравнению с потребностями, и потому предпочитает, чтобы воспитатели скорее тормозили, чем ускоряли приобретение знаний учениками. Впрочем, он, возможно, преувеличивает эффективность вмешательства воспитателя в обучение фонетике языка. Появление различных фонем, по-видимому, не определяется извне, а скорее подчиняется морфологической эволюции речевого аппарата, причем коррекция со стороны внешних моделей вступает в действие уже после того, как ребенок начинает спонтанно и свободно упражнять этот аппарат, формируя свои аудиомоторные ассоциации. Именно с их помощью он начинает различать и идентифицировать звуки, производимые его окружением.

Подражание у ребенка не имеет буквального, непосредственного характера. Он оперирует доступными ему средствами скорее по аналогии. На уровне словаря, как и на уровне грамматики, он обобщает известный ему прием на все случаи, которые представляются ему схожими между собой. Руссо правильно заметил по поводу обучения синтаксису: «Прежде всего, у них, так сказать, своя, соответственная возрасту, грамматика, синтаксис которой содержит правила более общие, чем наш; если внимательно всмотреться в дело, мы изумились бы точности, с какою они держатся известных аналогий, очень ошибочных, если хотите, но очень последовательных, которые не нравятся нам только по своей резкости или потому, что обычай не допускает их. Я недавно слышал, как один отец разбил ребенка за то, что он сказал: «*Mon pere igai-<JE-T'Y>*»<sup>2</sup>. А ребенок этот, как видно, лучше придерживался аналогии, чем наши знатоки грамматики: если ему

говорили: «Vas-y»<sup>2</sup>. то почему же он не может сказать; «Irai-je-t'y?» Заметьте, кроме того, с какой ловкостью он избегал зияния, которое оказалось бы в выражениях: «<IRAI-JE-Y»<sup>3</sup> или «y-irai-je?»<sup>4</sup>. Виноват ли бедный ребенок, если мы совсем некстати выбросили из фразы определительное наречие «у»<sup>5</sup>, потому что не умели с ним сладить?» (кн.

<sup>1</sup> Батюшка, я пойду туда? (*франц. непр.*)

<sup>2</sup> Иди туда (*франц.*).

<sup>3</sup> Я пойду туда (*франц.*).

<sup>4</sup> Я пойду туда (*франц.*).

<sup>5</sup> Туда, там (*франц.*).

Но формы языка — словарь и синтаксис — это еще не все; остается смысл: «Самое большое зло, проистекающее от той стремительности, с которой учат говорить прежде времени детей, заключается не в том, что первые речи, которые держат к ним, и первые слова, произносимые ими, не имеют для них никакого смысла, но в том, какой мы придаем, а мы не умеем этого и подметить; таким образом, давая нам, по-видимому, точные ответы, они говорят, не понимая нас и оставаясь непонятыми с нашей стороны. Подобными недоразумениями объясняется обыкновенно и то изумление, в которое повергают иногда пас детские речи, когда мы приписываем им такие идеи, которых сами дети не соединяли с ними. Это невнимание с пашей стороны к настоящему смыслу, какой придают дети словам, и кажется мне причиной первых их заблуждений; а заблуждения эти, даже если будут исправлены, оказывают влияние на склад их ума в остальную часть жизни. Я буду не раз иметь впоследствии случай разъяснить это примерами» (кн. I). Фактически слова являются только материалом для общения между собеседниками. Они влияют на тех, кто ими пользуется, и придают форму их мыслям, правильным или ошибочным: «Я согласен, что если б изучение языков состояло только в изучении слов, то есть образов и звуков, их выражающих, то оно могло бы годиться для детей; по языки, изменяя наименования, переменяют и идеи, ими представляемые. Склад головы формируется по языкам; мысли принимают окраску наречий. Один разум — всеобщ; ум в каждом языке имеет свою особую форму, свое отличие, которое отчасти может быть и причиной или следствием национальных характеров; догадка моя подтверждается тем, что у всех наций мира язык следует за переменами в нравах и, подобно последним, сохраняется или портится» (кн.

Точно так же отправной точкой для познания действительности являются те элементарные факты, которые природа вложила в человека, — ого ощущения. «В первые годы жизни, когда память и воображение еще бездействуют, ребенок бывает внимателен лишь к тому, что в данное время действует на его чувства; так как ощущения его служат первым материалом для его познания, то представлять их ему в надлежащем порядке — значит готовить его память к тому, чтобы со временем она в том же порядке доставляла их и его разуму. Но так как ребенок внимателен только к своим ощущениям, то на первый раз достаточно отчетливо показать ему

связь этих самых ощущений с предметами, их производящими. Он хочет до всего дотронуться, все взять в руки: не препятствуйте этой пытливости, она даст ему первые опыты знания, самые необходимые. Этим именно путем он научается ощущать тепло, холод, твердость, и мягкость, тяжесть и легкость тел, судить об их величине, фигуре и о всяких доступных чувству свойствах, — судить с помощью зрения, осязания, слуха, особенно с помощью сопоставления зрения с осязанием, посредством оценки на взгляд того ощущения, которое он получил бы при помощи пальцев» (кн. I).

Из широко распространенных в его время сенсуалистских концепций, вдохновивших Кондильяка, Руссо выводит здесь принципы педагогического метода, которые 100—150 лет спустя снова попытаются выдвинуть и развить такие реформаторы, как Сеген и Мария Монтессори. Однако Руссо превосходит сенсуалистов в том отношении, что он не связывает переход к мыслительным операциям с одними лишь комбинациями ощущений. Мышление предполагает установление связей и не может автоматически выводиться из ощущений: «Ощущения наши носят характер чисто пассивный, тогда как восприятия или идеи рождаются из активного начала, которое судит» (кн. II). На языке своего времени Руссо выделяет тот этап, который современные психологи описали как период, когда психика ребенка становится способной оторваться от конкретных, индивидуальных объектов и объединять их в группы или дифференцировать в зависимости от их свойств. Это называется категориальной деятельностью. Очевидно, что этот процесс будет протекать тем активнее и точнее, чем богаче будет пища, подготовленная ощущениями, а это означает хорошую тренированность сенсорной системы: «Для упражнения в искусствах нужно прежде всего добыть орудия; а чтобы эти орудия употреблять с пользою, их нужно сделать достаточно прочными, так чтобы они могли выдержать работу. Чтобы научиться думать, нужно, значит, упражнять свои члены, свои чувства, свои органы, которые служат орудием разума; и чтобы извлечь из этих орудий всю возможную пользу, нужно, чтобы тело, снабжающее ими, было крепко и здорово. Таким образом, никак нельзя сказать, что истинный разум человека формируется независимо от тела; напротив, хорошее телоснабжение и делает умственные процессы легкими и верными» (кн.

ком (разумом), заключается в образовании сложных идей путем слияния нескольких простых идей» (кн. II). Интеллект строится на базе ощущений. Промежуточной ступенью является то, что Руссо называет сперва здравым смыслом, а потом чувственным разумом: это еще простые комплексы ощущений, сохраняющие все чувственные стороны объектов, но это уже и первый уровень разума, способного формировать простые идеи, сопоставляя конкретные объекты. «Преобразуем ощущения свои в идеи, но не будем сразу перескакивать от предметов чувственно-воспринимаемых к предметам умственным, с помощью первых мы и должны дойти до вторых» (кн.

Ребенок должен формировать свои первые знания через ощущения, которые ставят его в непосредственную связь с окружающими вещами, а не на книжных примерах, которых он зачастую не понимает и которые в любом случае вызывают только к его послушанию. Однако Руссо не считает, что знания могут быть получены через одни лишь ощущения, поскольку знания не представляют собой ни копии, ни простой комбинации последних. Руссо не сенсуалист; он не верит, что, коль скоро дано ощущение, из него может или должна вытекать вся интеллектуальная жизнь. Он объявляет себя противником «философии» (эмпиризма того времени, и в частности эмпиризма Гельвеция), он не лишает человека «чести» мыслить, оставаясь при этом реалистом и произнося слова, материалистическое звучание которых неоспоримо: «Я, таким образом, ясно понимаю, что ощущение мое, которое во мне, и причина или предмет его, который вне меня,— не одно и то же» (кн. IV). При всем том в его позиции есть известная неопределенность. «Замечать значит чувствовать; сравнивать значит судить; судить и чувствовать — не одно и то же. Через ощущение предметы представляются мне отдельными, изолированными, такими, каковы они в природе; через сравнение я их сдвигаю, перемещаю, так сказать, кладу один на другой, чтобы определить их различие или сходство и вообще все их отношения. Отличительная способность активного или разумного существа есть, по-моему, способность придавать смысл этому слову «есть». В существе только чувственно воспринимающем я напрасно искал бы этой разумной силы, которая налагает предмет на предмет и затем решает; этой силы я не найду в его природе. Это пассивное существо будет ощущать каждый предмет отдельно или даже ощущать совокупный предмет, составленный из двух, но, не обладая никакой силой, чтобы сложить их, никогда не будет сравнивать и не будет иметь о них суждения...

...Когда два ощущения, подлежащие сравнению, восприняты, то впечатление произошло, каждый предмет воспринят чувством, оба предмета восприняты, но вследствие этого отношение их все-таки не стало еще воспринятым. Если бы суждение об этом отношении было лишь ощущением и исходило бы ко мне единственно от самого предмета, то суждения мои никогда меня не обманывали бы, потому что я всегда действительно чувствую то, что чувствую. Почему же я обманываюсь насчет отношения между этими двумя палками, особенно если они лежат не параллельно? Почему я говорю, например, что маленькая палка равна трети большой, тогда как она равна только четверти? Почему изображение, то есть ощущение, не соответствует своей модели, то есть предмету? Потому что я активен, когда сужу, потому что процесс сравнения здесь ошибочен, потому что разумение мое, судящее об отношениях, примешивает свои заблуждения к истине ощущений, указывающих лишь на предметы... Пусть дадут то или иное название этой силе моего ума, сближающей и сравнивающей мои ощущения; пусть называют ее вниманием, размышлением, соображением или как хотят: все-таки остается истинным, что она — во мне, а не в вещах, что я один порождаю ее, хотя порождаю лишь благодаря впечатлению, производимому на меня предметами. Не будучи властным чувствовать или не чувствовать, я властен более или

менее разбираться в том, что чувствую. Значит, я не просто существо чувствующее и пассивное, а существо активное и разумное; и что бы там ни говорила философия, я смело буду претендовать на честь мышления. Я знаю только, что истина в вещах, а не в моем уме, судящем о вещах, и что, чем менее я влагаю своего в мои суждения о них, тем более я уверен, что приближаюсь к истине. Таким образом, мое правило доверять больше чувствованию, чем разуму,— подтверждается самим разумом» (кн. IV).

Руссо не допускает существования того, что называется «ошибками чувств», поскольку ощущение — это факт, реальность, неоспоримая сама по себе. Да, это несомненно, но с точки зрения субъекта. Если ощущение влечет за собой объективную реакцию (будь то в области образов и знаний или в области практической жизни), оно может адаптироваться или не адаптироваться к объекту или ситуации. Итак, ощущение не существует только само для себя. Оно влечет за собой реакцию, уровень или природа которой могут быть, кроме всего прочего, различными, принадлежать как к сфере движения, так и к сфере репрезентации. В обоих случаях налицо непосредственная связь между ощущением и его последствиями. «Суждение, рефлексия, медитация» представляют собой другой этап. Возлагая на них ответственность за сенсорные иллюзии и ошибки, Руссо вводит их слишком рано. Скорее, их роль заключается в коррекции ошибочных данных, предоставляемых органами чувств. И хотя здесь Руссо делает себе честь называться мыслящей личностью, позволительно спросить, как могут его принципы, не приводя к противоречию, позволить ему считать чувствительность — форму выражения, самую близкую к природе,— источником наших иллюзий, а разум, плод цивилизации, орудием истины? Допустив на уровне перцептивных структур посредничество чувственного разума, который осуществляет связь между ощущением и интеллектом, Руссо приписывает его функциям все то, что не является собственно ощущением. В противовес сенсуалистам и своему собственному реализму, Руссо переходит на язык почти чистого интеллектуализма.

На деле основная концепция Руссо предполагает два принципа — активный и пассивный. К том, что касается вселенной, пассивное начало — это материя, которая была бы абсолютно инертной, если бы Создатель не наделял ее движением, с помощью которого она оживляется. В том, что касается сознания, пассивным элементом является ощущение, последствие контакта с предметами. Вес действительное восходит к разуму. Хотя Руссо и рационалист, он спиритуалист. Этот дуализм вдохновляет всю его психологию и педагогику. Таким-то образом он и различает два вида памяти. «Кажущаяся легкость учения и есть причина гибели детей. Мы не видим, что самая легкость эта служит доказательством того, что они ничему не научаются. Мозг их, гладкий и отполированный, отражает, подобно зеркалу, представляемые ему предметы; но в нем ничего не остается, ничто не проникает внутрь. Слова ребенок запоминает, а идеи отскакивают прочь: слушающие понимают их, один он не понимает их... Итак, я говорю, что дети, не будучи способны к суждению, не имеют и настоящей памяти» (кн. II).

Точно так же Руссо осуждает привычку, простой отпечаток прошлого, не влекущий за собой никакой активности: «Привлекательность привычки происходит от естественной в человеке лени, а лень эта увеличивается от потворства привычкам; гораздо легче делать то, что уже делалось; по протоптанной дороге легче становится идти. К тому же можно заметить, что власть привычки очень сильна над стариками и людьми ленивыми и очень незначительна над молодежью и людьми живого характера. Этот режим хорош лишь для слабых душ, и он их с каждым днем все больше и больше ослабляет. Одна только привычка полезна для детей: это — привычка без труда подчиняться необходимости вещей; и для взрослых одна лишь привычка полезна: это — подчиняться без труда разуму» (кн. К). Привычка — это действие, повторение которого сделало его рутинным и которое, следовательно, перешло из активного в пассивное. Рамки привычки могут быть подвижными и содержать в себе какой-то функциональный элемент. В этом отношении психология Руссо если еще и не диалектична, то во всяком случае динамична.

Руссо отмечает этот динамизм психики в связи с эмоциональной и нравственной активностью еще яснее, чем когда говорит об умственной деятельности. Различные эмоции происходят из общей чувствительности. Источником отношения с другими людьми является любовь к себе. Дифференциация вызывается обстоятельствами, воображением, мнением. Сочетаясь, противопоставляя, и контролируя друг друга, эти три источника влияний выражаются в переменчивых равновесных или неравновесных состояниях, определяющих личность как свободное или порабощенное существо. Чтобы не противоречить природе, человек должен был бы быть единственным в мире и одиноким. Это нереальная и противоречивая гипотеза, ибо в природе человека — жить в обществе, под контролем общественного мнения, и вводящее его в заблуждение воображение является его природным даром. Но вполне очевидно, какой смысл следует придавать здесь слову «природа».

Это прежде всего способности, связанные со спонтанным биологическим развитием индивида, до того как они подверглись влиянию каких-либо объектов или деятельности. Чисто теоретическое построение, поскольку любой способности требуются для проявления особые условия.

Затем универсальный порядок, в котором каждое существо, каждый вид имеет свое место и свои пределы, которые могут быть познаны лишь в своей совокупности, т. е. только божественным разумом. Это напоминает лепбницианскую интерпретацию мира, в которой каждая монада, существующая сама по себе, в то же время является отражением всех остальных. В том, что касается целостности и фундаментальных различий, которые тут встречаются, можно сказать, что эта концепция статична.

Однако именно индивидуальному воображению и общественному мнению надлежит дать определенное направление естественным побуждениям, губительным образом дополнив их.

«Оно-то (воображение) и расширяет для нас границы возможного, в хорошую или дурную сторону, а следовательно, возбуждает желания и питает их надеждою па удовлетворение. Но предмет, который сначала, казалось, был под рукою, убегает так быстро, что мы не можем его нагнать; когда мы полагаем, что настигли, он принимает новый вид и оказывается далеко впереди нас. Не видя пространства, уже пройденного, мы считаем его за ничто, а пространство, которое остается нам пройти, непрестанно увеличивается и расширяется. Таким образом, мы истощаем силы, не достигая предела, и, чем более мы выиграем в наслаждении, тем дальше уходит от нас счастье. Напротив, чем ближе человек остается к своему естественному состоянию, тем менее разницы между его способностями и его желаниями и тем, следовательно, менее удален он от счастья. Никогда он не бывает менее несчастным, чем в тот момент, когда он, по-видимому, лишен всего, ибо несчастье состоит не в лишении вещей, а в нужде, ощущаемой нами. Действительный мир имеет свои границы, мир воображения безграничен: не будучи в состоянии расширить первый, сузим второй, ибо единственно от разницы между ними рождаются все скорби, которые делают нас истинно несчастными. Отнимите силу, здоровье, прекрасное самочувствие, — и все блага этой жизни станут мнимыми; отнимите скорби тела и угрызения совести,— и все бедствия станут воображаемыми. Это общий принцип, скажут мне; я согласен: но практическое приложение его нельзя назвать общим, а о нас только мы и ведем здесь речь» (кн. II). Существование двух видов ревности — ревности, являющейся непосредственным следствием полового инстинкта, и ревности, являющейся реакцией самолюбия, подчиняющегося общественному мнению,— демонстрирует две полярные точки, между которыми может развиваться или меняться чувство,— природу и общество. Можно склоняться к одной из двух противоположностей или сочетать их в разных пропорциях. Руссо пользуется своеобразной арифметикой психической жизни, напоминающей концепцию Бентама, жившего почти одновременно с Руссо. Рассматриваются три понятия, между которыми должно существовать равновесие: наши естественные потребности, желания, которые наше воображение, зачастую подогретое общественным мнением, развивает в связи с нашими потребностями, и, наконец, средства для их удовлетворения, которыми мы реально располагаем. Поведение человека извращается благодаря тому, что между потребностями и средствами оказываются фантазмы воображения. Здесь возврат к природе — это возврат к чувству меры. И в этой самодисциплине человек обретает свободу.

«Ограничь, человек, свое существование пределами своего существа, и ты уже не будешь несчастным. Оставайся па том месте, которое в цепи творений назначила тебе природа; пусть ничто не заставит тебя сойти с него! Не противься суровому закону необходимости; не истощай, из желания противостоять ему, сил своих, которые Небо дало тебе не для того, чтобы расширить или продолжать свое существование, по только для того, чтобы хранить последнее, как Ему угодно. Твоя свобода, твоя власть простираются лишь настолько, насколько простираются твои

природные силы, по не дальше; все остальное — это только рабство, иллюзия, тщеславие. Самое господство бывает рабским, когда оно основано на людском мнении: ибо в этом случае ты зависишь от предрассудков людей, которыми управляешь с помощью предрассудков же. Чтобы руководить ими, как тебе хочется, ты должен вести себя, как им угодно. Стоит им переменить образ мыслей, и ты вынужден будешь переменить образ действия» (кн. II). Раб тот, чьи потребности превосходят его средства к их удовлетворению. Природа дала ребенку больше потребностей, чем возможностей. Общество же стремится развить в каждом из нас потребности, превосходящие наши возможности. Строгое применение критерия, согласно которому свобода заключается в том, чтобы не зависеть от других, приводит Руссо к парадоксальному утверждению, что общество возвращает человека в естественное состояние детства, детства как создания самого Творца и потому являющегося примером совершенства. Руссо часто не может примирить свои принципиальные определения и живые ощущения изменений противоречия, которые могут явиться следствием первых. Сопоставляя две стороны противоречия, он утаивает его разрешение или же ограничивается тем, что констатирует наличие «парадокса». Нужно ли в таком случае подчеркивать, что условия «свободы» по Руссо сводятся к простым межличностным отношениям, без всяких ссылок на социальные структуры, регулирующие отношения между индивидуумами? Он исходит из «человека в себе», предполагает у всех личностей равные возможности и равные права, понимает человека в духе XVIII<sup>в</sup> и Великой французской революции. Отсюда вытекает, что свобода в понимании Руссо — это в первую очередь субъективное чувство свободы по отношению к другим людям. Для общества это весьма ненадежный вид связей, так как они зависят от постоянства или каприза других людей. Верный своему методу противопоставлений, Руссо рассматривает отношения между личностями, регулируемые законами, столь же незыблемыми, как и законы природы. Это опять дихотомия «природа—общество». Однако здесь возможен переход от одного понятия к другому. Связующим звеном является чувство необходимости. Осознание необходимости есть основание свободы: в этом Руссо за сто лет до Энгельса предвосхищает его блистательное определение, Руссо выражает его в форме желания, мечты: он еще не проник в смысл законов, управляющих человеческим обществом. Свое решение вопроса он видит в «общественном договоре», заключаемом под давлением необходимости, в общих интересах отдельных личностей, однако в целом такое решение авторитарно и в известном смысле искусственно. Руссо еще не постиг законов развития общества, его структуры, законов, которые управляют его жизнью. Лишь представители исторического материализма Маркс и Энгельс впервые доказали реальность социального детерминизма, нашли объективную основу законов, действующих в детерминированном обществе.

Интуиция Руссо не выходила за рамки психологии и педагогики. «Держите ребенка в одной зависимости от вещей, и вы будете следовать порядку природы в постепенном ходе его воспитания... Обращайтесь с вашим воспитанником сообразно с его возрастом. Поставьте прежде



всего его на должное место и умеете удерживать на нем так искусно, чтоб он не пытался покинуть его. Тогда, не зная, что такое мудрость, он на практике получит самый важный урок ее. Никогда не приказывайте ему,— ничего на свете, решительно ничего! Не допускайте у него даже представления, что вы претендуете на какую-нибудь власть над ним. Пусть он знает только, что он слаб и что вы сильны, что, по взаимному вашему положению, он необходимо зависит от вас. Пусть он это знает, пусть научится этому, пусть чувствует это; пусть с ранних пор чувствует над своей гордо поднятой головой жестокое иго, налагаемое на человека природой, тяжелое иго необходимости, под которым должно склониться всякое ограниченное существо. Пусть он видит эту необходимость в вещах, а не в капризе людей; пусть уздой, его удерживающею, будет сила, а не власть. Не запрещайте ему того, от чего он должен воздерживаться, поставьте ему только препятствие, без объяснений, без рассуждений, что ему позволяете, позволяйте с первого слова, без упрасивания, без просьб и особенно без условий. Дозволяйте с удовольствием, отказывайте лишь с сожалением, но все отказы ваши пусть будут бесповоротны, пусть не колеблет вас никакая неустойчивость; пусть сказанное вамп «нет» будет несокрушимой стеной, так, чтобы, испытав раз пять-шесть перед ней свои силы, ребенок не пытался уже опрокинуть ее» (кн. II).

В целом речь идет о том, что отношения между людьми должны обезличиться, как отношения с вещами, что в их основе не должно лежать чувство, поскольку эти отношения склонны гипертрофировать чувствительность, которой человек наделен по своей природе. «Страсти, которые мы разделяем, соблазняют нас; те же страсти, которые идут вразрез с нашими интересами, нас возмущают, и по непоследовательности, из них вытекающей, мы осуждаем в других то, чему хотели бы подражать. Отвращение и иллюзии неизбежны, когда другие причиняют нам зло, которое мы бы причинили сами, будь мы на их месте» (кн. IV). Однако свобода еще не обеспечена, пока потребности и желания строго ограничены возможностью их удовлетворения, пока отношения между личностями приобрели тот же характер необходимости, что и отношения с вещами. Остается главное препятствие, заложенное в самой личности. Это неспособность человека управлять своими наиболее законными, самыми естественными привязанностями. Владение собой — вот залог счастья, вот добродетель.

Согласно Руссо, имеются следующие компоненты воспитания и нравственности: в основании — природа, на вершине — добродетель и, кроме того, непрерывное стремление к счастью. До тех пор пока действия ребенка ограничиваются объектами, которые являются непосредственной причиной соответствующих функций, они должны свободно осуществляться и даже поощряться и стимулироваться воспитателями. Однако, как только воображение становится способным присоединять к этим действиям другие виды деятельности и оказывается доступным влиянию мнения окружающих, надо пристально наблюдать за появлением возможных иллюзий, пустых мечтаний, отклонении и извращении. Таким образом, свобода может быть спасена оборонительными мерами. Перестав оказывать пользу ребенку, страсти могут направить его в

погоню за удовлетворением желаний, не соответствующих его средствам и его природе, так что его силы будут использованы и растрчены на выполнение иллюзорных и вводящих в заблуждение задач. За этим периодом простых предосторожностей, когда необходимость сдерживает мечты и ошибки, когда строгая необходимость, свойственная вещам, призвана служить моделью для педагогических и «законодательных» рекомендаций, следует другой период, когда внешний контроль должен стать автономным и распространиться не только на отклонения в страстях, но и самые законные страсти, дабы умение владеть собой не зашло в тупик. Тогда человек и достигает неколебимой, ничем не замутненной добродетели. Он недостижим для горя и отчаяния.

В целом мораль, предлагаемая Руссо, это мораль воздержания, удерживающая каждого в пределах, начертанных ему природой. Суть этой морали в том, что она призывает избегать ловушек страдания, которые возникают как следствие любой надежды, опровергнутой опытом. Эта мораль имеет чисто индивидуалистический крен, как и любая мораль, главным критерием которой является личное счастье. Объединение индивидов в общество она объясняет только необходимостью обеспечить безопасность личности и удовлетворение ее потребностей, притом в форме мнимого равенства и действительного неравенства.

Из этих двух противоположных понятий — фактического неравенства и мнимого равенства — Руссо отдает предпочтение последнему: «До сих пор я не различал сословий, чинов, капиталов, не буду различать их и в дальнейшем». Равенство, даже опровергаемое обществом, ставится им на главу угла, потому что оно — естественный факт. Неравенство случайно; это творение людей, которое, следовательно, может быть модифицировано или уничтожено теми же людьми. И Руссо уверенно предсказывает приближение революции, которые каждому напомнят о его долге перед обществом, т. е. об обязанности трудиться в обмен на то, что общество дает ему. Находясь на полном содержании общества, его члены целиком ему обязаны.

Но нет ли неразрешимого противоречия между этой полной зависимостью, которой потребует от каждого общественное устройство, и воспитанием в духе полной свободы, независимости от мнений, личной автономии, которую предлагает Руссо? Несомненно, в основе общества лежит договор, но не является ли он всего лишь оправданием, юридической фикцией? Не подчиняемся ли мы ему поневоле, а зачастую даже не зная его условий?

Если знание этого может дать каждой личности право расторгнуть договор, тогда он и будет подлинным, а не фиктивным договором. «Рассмотрев себя со стороны физических отношений к другим существам, со стороны нравственных отношений к другим людям, он должен теперь рассмотреть себя со стороны гражданских отношений к своим согражданам. Для этого нужно, чтобы он изучил сначала характер правления вообще, различные формы правительства и, наконец, ту частную форму, при которой он родился,— чтобы знать, удобно ли ему жить при таком правлении; ибо в силу права, которого ничто не может отменить, каждый человек, становясь

совершеннолетним и своим собственным властелином, делается властным отказаться от договора, которым он связан с обществом, и покинуть страну, где последнее основалось. Лишь своим пребыванием в ней по наступлении разумного возраста он как бы подтверждает молча обязательство, принятое его предками. Он имеет право отказаться от своего отечества, как и от наследства своего отца; сверх того, раз родина есть дар природы, то, отказываясь от нее, отступаются лишь от своего собственного. Каждый человек, по непреложному праву, остается свободным — на свой собственный риск,— в каком бы месте ни родился, если только не добровольно подчинил себя законам, чтобы приобрести право быть под их покровительством» (кн. V).

И вот воспитание Эмиля подошло к пределу, положенному ему природой и обществом. Он готов стать отцом и гражданином. Возникает проблема его женитьбы. До этого момента все усилия его воспитателя были направлены на то, чтобы отвлечь его воображение от вопросов пола. По теперь совершенно необходимо подвести его к тому, чтобы он выбрал достойную себя супругу. Теперь, когда он будет совершать этот в высшей степени важный шаг, следует руководить им более, чем когда-либо. И снова здесь будут использоваться уловки, чтобы он воспринял как свой собственный — выбор своего воспитателя, ибо, надо полагать, только этот последний способен верно судить о желательных добродетелях спутницы Эмиля. В связи с этим Руссо отмечает различие в склонностях, наблюдаемых; у девочек и мальчиков, противоположность их роли в жизни, принципы (зачастую противоположные) их воспитания.

Психология женщины отчасти выводится из предположения о ее противоположности мужской психологии, а отчасти построена на наблюдениях, нередко проницательных, но почти всегда касающихся женщин из «хорошего общества». Природа противопоставляет друг другу мужчину и женщину как взаимно дополняющие существа, характеристики которых, следовательно, взаимно противоположны. Активность и сила типичны для мужчины; пассивность и слабость — для женщины. В сексуальном единоборстве их приемы противоположны. Очарование и робость, часто притворные, свойственны женщине; самолюбие и настойчивость — мужчине.

Ничто не могло бы охарактеризовать Руссо лучше, чем его описание отношений полов: контрасты, противопоставления, переоценка ценностей. Слабость женщины обращается силой, сила мужчины — слабостью; и эти следствия, казалось бы, отрицающие логические посылки, выдвинутые природой, также результат действия природы. Сама природа учит мужчину и женщину той светской обходительности, которая маскирует все естественные проявления их натуры. Здесь диалектический круг замыкается.

Однако требуется рассмотреть и другие противопоставления между мужчиной и женщиной, в частности в их отношении к обществу. Эмиль был воспитан так, что он всегда отдаст предпочтение голосу разума, а не голосу общественного мнения. Женщина же не остается

безразличной ни к тому, ни к другому; иначе может пострадать ее репутация, основная гарантия ее безопасности.

Одни и те же моральные суждения не подходят одновременно и мужчине, и женщине. Причиной тому — их разное положение в обществе и разная природа. Признание в определенных чувствах невозможно для женщины — в противном случае это привело бы ее к полной капитуляции, которая повлекла бы за собой еще более серьезные нарушения ее обязанностей. Чтобы быть прямодушной, женщине часто приходится лгать. Но она, как и ребенок, владеет не только языком слов: она пользуется и языком природы, который, даже без ее ведома, выражается во вздохах, румянце, возбуждении или вялости, короче, в целом ряде физических проявлений, которые надо научиться воспринимать и понимать, несмотря на словесные заперты.

Женщина живет чувствами, конкретными впечатлениями. Поэтому она умеет проникнуть в чужие цели и мысли и воздействовать на них. Поэтому, приукрасив своими чарами собственные цели, она может властвовать над другими. Для того чтобы усовершенствовать ее природу, в женщине надлежит развивать тонкость чувств и изящество манер.

Однако, согласно Руссо, перед женщиной закрыта одна сфера — сфера теоретического разума, общих идей, принципов, научных знаний. Она не может оторваться от конкретных фактов, от частных случаев. В этом плане она может быть хорошей наблюдательницей. Однако право открытия закономерностей принадлежит мужчине. Следовательно, воспитание и обучение мужчин и женщин должно быть разным. Примером может служить религиозное воспитание. Рассуждения савойского викария недоступны для девушек. Для них бог не может быть необходимым и в то же время непостижимым завершением цепи абстракций, в которой постепенно вырабатывается понимание вселенной. Они могут прийти к богу только через религиозную обрядность, которой они должны покорно следовать.

Женские способности имеют практический характер. Женский характер формируется на основе жизненной практики, главным образом на основе практики ведения хозяйства. Впрочем, на этом Руссо особенно настаивает, — очевидно, по той причине, что это само собой разумеется, но возможно, и потому что, говоря о воспитании, он лишь весьма поверхностно рассматривает женщин из народа. В его эпоху еще не поднимался вопрос об образовании простых женщин. Кроме того, по Жан-Жаку целью женщины является достижение счастья. Задача женщины — внести согласие в жизнь мужчины, дополнением которой является ее собственная жизнь. Можно поощрить любовь женщины к украшениям при условии, что у нее не возникнет стремления к роскоши; то же касается ее склонности к пению, музыке и танцам. Она должна уметь любезно принять гостей своего мужа.

Очевидно, что в вопросе о положении женщины современная цивилизация расходится с концепцией Руссо. Мы высказываемся против всех видов зависимости женщины, включая те, которые полностью подчиняют ее интересам мужчины и целиком возлагают на мужчину

ответственность за их общую судьбу. Эволюция социальных структур и нравов все в большей степени отводит женщине роль партнера, а не подчиненного лица. Что касается аргументов, использующих интеллектуальные различия между полами, то, если и кажется, что Руссо эффективно их использует, их причины и следствия все же слишком мало изучены, чтобы было возможно решить, в каком смысле их следует понимать.

Должны ли мы рассматривать принципы Руссо как прогрессивные и даже революционные в том, что касается воспитания мужчин? Трудно ответить на этот вопрос однозначно. С чисто педагогической точки зрения несомненно, что в начале нашего столетия его именем в той или иной мере открыто пользовались многие новаторы. Некоторые методы, основанные на сенсуализме, опирались на его авторитет, несмотря на то что сам Руссо вышел за рамки элементарного сенсуализма и указал важность раннего становления идеоперцептивного синтеза. Более корректно выделить среди его рекомендаций требование непрерывно обращаться к интересам ребенка и использовать то, что в наше время называется центрами интересов. Этот метод предполагает, что обучение не должно выходить за рамки реальных способностей ребенка и что его предметом должны быть личные ощущения и переживания ребенка. Отсюда кое-кто делал вывод о необходимости положиться на спонтанное развитие, любознательность и другие виды инициативы, свойственные ребенку. Ничто не может сильнее противоречить концепции Руссо. Он далек от того, чтобы элиминировать взрослых из процесса воспитания, наоборот, придает иногда их роли значение, которое могло бы показаться чрезмерным, подавляющим. Учитель должен творить жизненный опыт своего воспитанника и при необходимости тормозить его интеллектуальное развитие. В том, что это требование должно быть основано на знании этапов развития ребенка, на научных данных, как раз и заключается факт, отличающий взгляды Руссо от «согласованного воздержания» педагогов натурализма.

Другие, в частности Клапаред, основатель Института Ж.-Ж. Руссо в Женеве, говорят о воспитании «по мерке». Эмиль не теряется в неразличимой толпе себе подобных. Все его интеллектуальные достижения носят личный характер и хорошо адаптированы к его разуму; это событие его индивидуальной истории развития. Но разве это результат его воспитания в одиночестве, наедине со своим воспитателем? За полученные таким образом преимущества приходится дорого платить нечеловеческими условиями жизни; сам Руссо считал их химерическими, свойственными своего рода абстрактному эксперименту, такими же искусственными в сравнении с естественным ходом вещей, как и любой лабораторный опыт, где все отобрано и скомбинировано с целью продемонстрировать скрытую истину, извлеченную из сложной действительности. Эмиль — это модель, построенная на основе определенных психологических и социальных данных, чтобы можно было точнее представить результаты определенного вида воспитания. Это гипотетическая модель, противопоставленная реальности.

И, однако, разве это воображаемое воспитание в изоляции имеет лишь эвристическую или дидактическую ценность?

Не является ли оно протестом Руссо против учебных заведений его времени, особенно иезуитских школ, в которых он видел средоточие нравственного падения и интеллектуальной деградации, учреждении, самым незначительным недостатком которых было воспитание конформизма и суетности в будущих членах разлагающего общества? Избегнув этих учебных заведений, Эмиль должен был избежать глупых предрассудков и суетных требований общества. Он должен был стать неуязвимым для ударов судьбы. Но мог ли он стать человеком той революции, которая, по словам Руссо, была неминуема? Да, но только негативно: он был готов встретить ее с чистым разумом, способным осознать необходимость законов природы и общества.

В своих планах организации просвещения Революция, очевидно, не могла вдохновляться педагогическим индивидуализмом, развитым в «Эмиле». Образцом Революции служила противоположность «Эмиля» — «Общественный договор». Главенствующим являлся принцип строгого равенства всех детей. В своем докладе Лепелетье де Сен-Фарго говорил, что до шести лет они должны быть предоставлены Природе, т. е. матери. Но позже дети принадлежали Нации, которая должна была воспитывать их без учета каких-либо различий в социальном происхождении, одинаково одевать всех и одинаково обращаться со всеми. Лепелетье был убит, прежде чем представил свой доклад Конвенту<sup>1</sup>. А затем Термидор положил конец демократическим инициативам.

<sup>1</sup> См. «План национального воспитания» Мишеля Лепелетье (представлен Робеспьером Конвенту 13 июля 1793 г.).— *Robespierre. Textes choisis, Les Claspiques dn peuple. Editions sociales, 1957. Т. II, p. 157—198.*

Действительно революционным у Ж.-Ж. Руссо был его образ мышления, его чуткость к противоречиям: он склонен к парадоксам, противоречащим общему мнению, он проявляет внимание к контрастам, из которых рождаются разнообразие и изменения, он ценит противопоставления, стимулирующие мысль, и антагонизмы, источники действия. Он видит вещи в их взаимосвязи, в коренной перемене их взаимоотношений. Он наделен диалектическим мышлением, хотя и не использует еще диалектику как метод исследования и объяснения мира.